

Дмитрий Черный

Поэма столицы

РОМАН

МОСКВА
ОГИ
2008

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Ч-49

Роман выходит в авторской редакции

Оформление обложки ?

Черный Д. ?.

Ч-49 Поэма столицы: Роман / Дмитрий Черный — М.: ОГИ, 2008. — 792 с.

ISBN 978-5-94282-474-7

Аннотация

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-94282-474-7

© Д. ?. Черный, 2008
© ОГИ, оформление, 2008

... нет! у нее есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись, для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта!.. Как у океана, у нее есть свой язык, сильный, звучный, святой, молитвенный!.. Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Беттговена, в которой густой рев контр-баса, треск литавр, с пением скрипки и флейты, образуют одно великое целое; - и мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются над облаками в один разнообразный, неизмеримый, быстро вертящийся хоровод!..

О, какое блаженство внимать этой неземной музыке, вобравшись на самый верхний ярус Ивана Великого, облокотясь на узкое, мшистое окно, к которому привела вас истертая, скользкая, витая лестница, и думать, что весь этот оркестр гремит под вашими ногами, и воображать, что всё это для вас одних, что вы царь этого невещественного мира, и пожирать очами этот огромный муравейник, где суетятся люди, для вас чуждые, где кипят страсти, вами на минуту забытые!.. Какое блаженство разом обнять душою всю суетную жизнь, все мелкие заботы человечества, смотреть на мир – с высоты!

На север перед вами, в самом отдалении на краю синего небосклона, немного правее Петровского замка, чернеет романическая Марьино роща, и перед нею лежит слой пестрых кровель, пересеченных кой-где пыльной зеленою бульваров, устроенных на древнем городском валу; на крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четверугольная, сизая, фантастическая громада – Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе! Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее решительные формы, всё хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться.

Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, более европейский; проглядывают богатые колоннады, широкие дворы, обнесенные чугунными решетками, бесчисленные главы церквей, шпицы колоколен с ржавыми крестами и пестрыми раскрашенными карнизами.

Еще ближе, на широкой площади, возвышается Петровский театр, произведение новейшего искусства, огромное здание, сделанное по всем правилам вкуса, с плоской кровлей и величественным портиком, на коем возвышается алебастровый Аполлон, стоящий на одной ноге в алебастровой колеснице, неподвижно управляющий тремя алебастровыми конями и с досадою смотрящий на кремлевскую стену, которая ревниво отделяет его от древних святынь России!..

*Юнкер Л. Г. Гусарского Полка
Лермантов, «Панорама Москвы»*

I ЧАСТЬ

...кассеты нет времени искать Nirvan'у.

в Пушкино посмотрю через два дня. как это много: летние два дня. успеть подзабыть Столицу и этот каменный асфальтовый жар. привыкнуть к прохладе вечерней земли. скорее туда. скорее унести событие, встречу тебя. нищий серый бородач, нечего дать тебе, только бумажка на мой билет, две железки плюс. выход из коричневой окафеленности в плавном жару и бухой духоте лестницей к Ярославскому. на свет окон вокзала. после переулков пути от тебя суетливо и ярко, расплывчато. «золото — скупка», белая «пятёрка» работают и сейчас. пристроенная железка «комков» светит, пахнет хотдогами. но мало на еду и денег, и времени.

— Водочка, водочка...

тут пробиться б к табло. так, 22:15 уехал Сергиев Посад, теперь только 22:52 Александров, всё равно не останавливается, о, вот же внизу — 8-й путь 22:30 Балакирево. успеть к кассе. и тут сгрудились грязные напитки и девчонка в куче в рваных чулках сиплю смеётся... у касс пусто, тут совсем душно.

до Пушкино.

точный подбор суммы. быстро — билет и прямо к высвеченным табло над перронами. восьмой — налево. вон стоит светится. Балакирево. да, останавливается от Пушкино везде. время есть идти вдоль вагонов. уходить от жара и дня мимо светлых изнутри усталых окон электрички. мало едет, последние, перегретые пассажиры. вон солдаты с синеклетчатыми картами, играют. сюда курит из тамбура в борцовой майке пузач. вон рагулька, токоприёмник четвёртого, спешат и позади меня тоже в первые вагоны. ну вот дверь, а вагон не так пуст. вот здесь можно лицом к движению и под открытым окном чтоб. спина майки мокрая прижалась к доскам сиденья. счас хоть подует, когда поедem. в окно почти не видно. только светлые окна стоящего через перрон спального вагона, поезда. собираются ехать. и сейчас из утихшей стемневшей столичной жары в сторону Дальнего Востока.

шатнулся и пошёл вперёд наш поезд без объявления отправления в такую позднь. мечутся ближние огни: выезжаем, путь разгоняется с ветерком из открытых фрамуг вагона. на моей половине только впереди трое, остальные говорят и читают в свете слева. КИНО ПЕРЕКОП ТЕАТР высвечен из Твоих теней в левой дали. уезжаем от жара высоток, громад домов, Твоих стен, выезжаем... поезд наш шатаясь звуком колёс проныривает мосты. к кустам подмосковности темнеющим справа, слабому движению листвы. мимо. это движение из. у Тебя осталась она, в том доме сбоку парка. ложится или читает? впрочем, об этом не пристало рассуждать мне, после лишь дня знакомства. но уже целовал. какие губы? смущённо-мягкие второй раз в арке у песка и наоборот сначала: жёсткие, настоячивые. я увожу тебя. тебя, Тайна, Таня.

поезд уводит дома назад. тут начинается ночь, столичный сон после телевизора. а мне ехать к прохладе садового умывальника, в травяную шумную тьму и яркое свежее утро. вдыхать дёгтеватый ветер путей, двигаться сидя об выгну-

тые спинкой сидения, облокотившись о лакированные доски. выезд рельс хаотичен разбегом, вагон елозит на стрелочных стыках, прощаясь.

вдаль от Тебя. на пятьдесят километров. железнодорожный путь — это медленное Твоё растворение по бокам. в зелень и мягкость из серо-каменного. Твоя строгая твёрдость складывается из выпцветающих домовых окрасов, асфальта и завыхлопленного центрального неба. сведённые, сконцентрированные в го- и барельефах, в вылепленных украшениях, изображающих растения, Твои ступки обрамления жилья расходятся, мельчают и прячутся, а остаётся лишь зелёный древесный рост, зыбкие травы. это и помню от пути. но как Ты скрываешься — не заметно. сразу же справа, вслед заводским задворкам, стенам и выглядывающим из красносельских дворов вершинам домов, выходит лес Сокольников. Москва-3.

слева дом-близнец стоящего близ-напротив стальных рабочего с колхозницей у старого входа ВДНХ. наверно, ардеко, ты бы точно определила.

это ещё город, тот твой город, как называешь. вагон хоть и продувается, но накалён минувшим днём. железная дорога. железистый дух ручек на сидениях, за которые держались днём стоящие вместе с вынуждением мокнувших кож от лета. разъезжаемся по домам-предкам: бревенчато, деревянно остающимся параллельно в одном времени со всеми городскими новшествами архитектур. путь — чтение Твоих последних страниц. Твой текст и время устроены так, что можно в любой момент выйти из чтения, выйти несколько раз одним и тем же путём, но с разницей, с добавлением подробностей. и дальше — не чтение Тебя — отдых, отвыкание глазам. и уже в удалении только мысль схватывает Твои части, ведёт и там, где вчера был с ней.

выводило небо или машинный шум от пруда к Стромынке. мимо курортного ряда ардеко-домов. жить там в светло-тенистых матовых цветах. тридцатые, пятидесятые, Твои запахи, но свежее, белее, мягнее — потому, что тогда зубным порошком чистили зубы и стёкла.

узлы, концы сейчас отсюда так далеки, но словно на ощупь по знакомому пространству — ближняя память ещё держит пройденное и ежедневное. присутствие Твоей дали — там, с ней. боясь и подступиться мысль теперь нерешительна. в синеве темноты блочные, с засвеченными окнами, дома в моё окно. набрали скорость, и ветер задувает только на остановках, которым не веду счёта, только на Мытищи и Пушкино ориентируюсь.

она завтра экзаменуется. она, целованная мной. серый дом с аркой нам остался остывать в вечере. а я уезжаю, разгоняюсь от Лося в вагоне с седыми пассажирами и хмельной беседой мужиков позади. электричка со мной словно по рельсам отъезд кинокамеры, глядящей назад, в Тебя и в её окна. а они сюда не видны, они по бокам, только ворота Бауманского парка видны лицом к Ярославскому вокзалу.

заберёт вкрадчивая прохлада листьев за Софрино, но это далеко. ещё до Мытищ доехать надо. вагон свободно продувается, словно в море плывёт, видны только высвеченные фонарями берега вдоль железнодорожного полотна. в дачной природе ночь. выисканная мной в зное и дождях Столицы, ты ложишься: на-

деюсь, ложишься, завтра ведь сдавать экзамен. здесь уже невероятно вся наша прошедшая в свете дня каменность... архитектурные различия. думаю словами на ветру. дружно с пассажирами, уже не зазноенными, легко и бодро говорящими, словно не к ночи. ты сдашь экзамен, надо держать кулаки или пятаки — не помню... Таня. имя уношу с собой в темень и прохладу незаасфальтированной земли: так хочется уже выйти из нагретого вагона. ветер хоть и выхолаживает...

Мамонтовскую пролетаем без остановки, холм и тёмный резной дом, наросший угрюмой заброшенной сказкой. видны на бетонном заборе буквы: ПОГО. танец панков, это мы знаем. пограничный отряд гражданской обороны. пустые освещенные будки переходов под дорогой, слева параллельный перелёт нового автомоста, яркий даже в темноте песок насыпи, пока не заросшей травой. забор и тень зелени на фоне серо-тёмного неба, силуэтов дач. почему-то тянет в старые бревенчатые дома в этой гуще и полутьме. в тамошние комнатные запахи с керосином и древним тёмным деревом, с кружевами на окнах. это в Семхозе у дяди-художника моего была даже вода, подогретая на керосинке, с запахом этих дач — керосинным, серьёзным. лет в пять там был или позже, играл на дуто-пластмассовом игрушечном руле, вкопанном в землю. можно и туда сейчас доехать, но выходить раньше к земной прохладе, ко сну после нашей ходьбы. лак спинки принял на отдых мою выстиранную дождём майку, а я переполнен твоим именем и нашим путём, рисунком пройденного в Тебе.

вот и Мытищи высвечиваются, рельсы размножились, свет говорит о ночи, вокзальном времени. большие часы наклонно свисают с розового здания «Мытищи». входит больше, чем в Москве... да-да, в Тебе, я продолжаю везти всё случившееся сегодня, даже при новых входящих пассажирах. не боюсь контролёра, билет куплен. поэтому и ветер дует, когда тронулись. расселись не в моём отсеке, видно так же. память мышц туга, и прохлада с сиденьем действуют выговаривающе все ощущения, всё прочувствованное. выдумчиво действуют. до Пушкино без остановок, быстро пролетим. в пригородной темноте, обустроенной вагонным стуком, светом.

движущийся уют лета: отдыхающее, продуваемое лесными ветерками помещение. только сейчас, только после нашей долгой ходьбы. этот день весь, путь через Тебя из загорода в пригород: с обнаружением её. неожиданно: не в замоскворецких переулках между Пятницкой и Полянкой, не на спусках в виду высоток — не за Пресней, не на Арбате. здесь, у вокзалов. над рельсовым межвокзальным перегоном. Курский—Ленинградский. а мой — несётся по Октябрьской железной дороге, Ярославской, Владивостокской. но не далеко, мне лишь чуть удалиться от Тебя и от неё — и не надолго. в почти полуночной невидимости, в прохладных волнениях лесков вдоль дороги. над рекой. вот и к Пушкино начал белёсить бетонный забор, темнее в вагоне вблизи, а над ним — свет дач. бег тьмы, тени деревьев. продувает слева вагон и пассажиров, пригородный ветер выдувает железноватый, тельный нагрев дня, а вдувает лесной холодок и запах насыпи, шпал. слева домик с прожектором, мы забиваемся в крайний правый путь, подъезжая ближе всего к площади. тут больше выходят, им ещё на автобусах ехать.

остался почти пустой вагон, сзади только несколько голосов, передо мной у выдвигающейся двери слева под ветерком спящая бабушка, напротив девушка читает «ТВ-парк», стоим недолго, трогаемся, набираем скорость мимо депо с заезжающей электричкой и сумрачных запылённо-застеклённых цехов. выезжаем на знакомый холм, там слева должна блестеть узкая речушка, часто извивающаяся, днём в ней — спасение дачникам. не видно — так стемнело, да и тучи собрались, добавили тьмы, может, опять ночью ливанёт. из лесу проезжаем окна дач и кирпичных — с моей стороны — домов Заветов Ильича.

путь отстукивает в вагон, дует через бока окон: усталый транспорт, опустевший и отдыхающий в прохладе дороги — в нём я. и даже бы заснулось, ты, наверно, спишь, тебе надо уже заснуть, чтобы проснуться бодрой к экзамену. а мне выходить скоро. ветер выручает из сна — столько говорит запахами. без Тебя, лесом: о погоде, о ночном, может быть, дожде. вовлекает ветром Подмосковье: из перегретости и интенсивности цветов, букв, шагов в транспортных толпах — сюда, в плавный путь поезда через ночную зелень, через тенистое покачивание листьев. бетонный магазин Зеленоградской, медленно останавливаемся. вошли в тамбур ребята, заглянули в вагон и закурили там. тронулся. ещё один рывок к даче, теперь уже через две.

сигаретный дым подуло к нам, запах поезда — из детства, из здешних проездов тогда, в этих огромных, до конца не видимых вагонах. а теперь я, молодой человек, встретил тебя и еду на несколько дней от Тебя в Твой пригород, в Твои подлески. в гущу листьев без автомобильной пыли, передохнуть Твой сухой или дождливый каменистый запах травяным.

из лесу ночь освещена редко, спущается светящимися окошками, подбирается бревенчатыми домиками к Софрино, к станции, каменная будка у переезда перед платформами, свет фонарей вдоль дороги в глубь правой стороны. слева бетонный дом парикмахерской с тусклым светом сигнализации внутри. узловая станция, здесь ответвление на Красноармейск. только выходят, никто не садится, стоим и здесь недолго. всё больше отдыха прохлада задувает — лесных, просёлочных. путь в мятный порошок среди зелени, в холодноводную преамбулу и густоту сна — под белёсо-синими фонарями редкого освещения дорожки, хотя мог бы и вслепую. тут дышит травяной стан, горизонт ещё подсвечен из-за облаков, я возвращаюсь, удалившись от Твоего вида и звука, не слыша Твоей речи: но унося встречу с ней сюда в сон. да, нами пройден в Тебе день и дождь. нами найдена, выговорена и услышана в ходьбе Ты. и засыпая уже по пути — откладываю вас сразу на утро, вспомнить присутствие: вспомнится само мгновенно, радостно. в сон с Твоим дном, с нею встреченной, спрятанной до утра: через скользкую щекотку, приветствие листьев из тьмы, через кюветы и сено, скошенное у дорожек, и запах соседского костра, тряпичное тление. во влагу напившихся за день цветов, в травяные вдохи и задувание землистых прохлад в моё окно ночью. сон, ограждённый бревенчато, гулко, поло, древесно и прошло, где пахнет прежними сельскими хозяевами, да.

лист в луже, твои пропитанные Столицей и дождём волосы — встретил, заслужил, сегодня. даже простыни не успокаивают запахом печной влажности,

вынырываю из сна за бликами этого дня, за достоверностью тебя. да, Столица, Твой день. Твой день с нами. нами выведенный Твой путь. нами заснувшими кончившийся на сегодня. ты вспоминаешь, как я, это сейчас. но ты не видела себя, как я тебя видел. ты говоришь о ней «Город», для тебя она Город, моя Столица. Столица с тобой. встретил, вывел, шёл рядом. читал губами, нёс своей силой, шагал в ногу с твоими. в Тебе...

из глубины, почему-то прохладной — упор в плоскость, выход в окраинный двор: тёмное голубое небо осени и снег по двору, на песочницах и лестницах, даль ведёт влево. игры не игры, а пегих листьев грустного пути в районные детсады и школы много между снегом. двор между высокими и широкими новостройками, а потом выход влево на проспект и несколько остановок к магазину, где музыка, не проехать бы... магазин широкий, в нём тоже какой-то транспорт пронесёт мимо гитарных витрин, вон вверх поднимается целая стена пластинок, вон Deep Purple, что искал, несколько Led Zeppelin'овских альбомов. бас-гитара древесного цвета в стеклянной призме. город сократился и расцвёл в солнце пересекающихся дальше, на северо-запад улиц. окна высокого, под крышу уводящего, немецкого дома распахнуты, там что-то происходит для меня подробно и радостно — может, цветы под окнами. улица живёт и докладывает события дальше, уводя к дождливым площадям, за которыми, чтоб не попасть под машины, нужно ждать и входить в канцелярские комнаты, но до этого — встретиться, да, договорились встретиться до входа чуть назад, в коричневый коридор и комнату с высокими шкафами, тут надо ждать: пустовато, дыроколы, разговор и выход обратно. машины и вывески старые, лужи отражают кинотеатр и развязды, цвет пасмурный, а улица с ярким немецким домом где-то после Красных Ворот в эту сторону. не очень широкая улица, но спуск длинный ещё западнее к улице с одноэтажным рядом домов, в котором подмосковный магазинчик, а дальше левее опять интенсивность машин и переулков в зелёном районе, но раньше на горке спуска сюда — встреча и смех, опять лужа, а потом, около серых спокойных домов — мораль и очень мудрый вывод, скорый выход к тенистому магазинчику около подворотни. блуждание в активном районе выводит на склон, отсюда видна больница, из которой так долго бежал этими улицами, теперь она далеко, но виден и город, краны: он строится, но многое узнаваемо, свет на куполах и белых зданиях. но туда не пойдём, здесь мы свободны, никто нас не знает: тут оживлённо и суетливо, но порядок, все действуют буднично, направленно. в этом сквозном дворе слышна циркулярная пила и совсем вширь раззеленились деревья. зубная поликлиника подождёт, надо выйти из дворов и снова пройти по густым улицам, часто перекрещивающимся, где в окнах строят и пилят...

утро у соседа: это он работает. уже тепло так, что нужно просыпаться и подниматься. с торжествующим потягиванием: ты, вчера, мы вместе, там, в огромности Её, мы там в глубине... тебе — Города, мне — Столицы. я встретил тебя вчера, те-

бе сегодня на экзамен. а тут вдали — безмятежно. тебе через жару в Архитектурный, бедненькая абитуриенточка. прекрасная, тайная моя... такая встреченная, немислимая, почти не вспоминаемая внешне. только запах волос сразу же, будто и не забывал на ночь: да, ты была вчера, ты есть там. уже сколько? десять. идёшь как раз по утренней прохладе асфальта, в метро спускаешься. и нам надо подниматься.

утро в запахах сада и электроплитки вливается в жару дня через сырную испарину, через мягкую тропинку в магазин. вы вдалеке, вы там оставлены — Столица и Тайна. в сорасположении улиц и домов, в ветрах, зависящих от стен, с постоянным направлением... а здесь порядок жилых законов нарушается, упирается в лес. и асфальт дорожки от станции покособился, выпучен над болотом — он как экзотика. ты думаешь — «он там, за городом», но не знаешь где. а тут свой порядок, свой масштаб. и особая тоска после даже трёх дней пребывания по вашему там воздуху, по Твоим и её запахам.

забыл уже и первый вид, впечатлевшийся, и даже глаза: только твой запах волос, сарафана и движения со мной ходят, улыбаются изнутри на древесную высь, катаются на велосипеде: я вживаю тебя повсюду, всматриваю в ликование под солнцем избам, автобусным остановкам. велосипед это способ уехать от пешеходовых привычек, продолжить удаление от Тебя: выезжаю в кукурузные поля, еду мимо кладбища в сторону детства, туда — по старой Ярославке. миную церковь, качусь под гору с ценным грузом, вспоминаемым ежеполучасно или более: с тобой, оставшейся на экзамены. нет, так долго невозможно быть в отдалении. даже леса меня не хотят принимать и не дышат в мою сторону запахами из детства. они отражают, возвращают мне твоё присутствие, твоё существование там: и необходимо ощущать тебя вблизи, твоё наличие, так сказать. понимать, что ты там — много, и тем не менее очень не надолго хватает.

с солнцем, с облаками над просекой холмящейся дороги можно шутить, но то, что во мне, — очень серьёзно. облака движутся в своём направлении, там где-то Загорск, они тут ведут свои порядки. и едет под вами медленно: хочу узнать из леса последние новости, запахи середины лета, зависшей в жаре желтизны и шевелящейся зелени.

лес и облака: она там, я её встретил! она живёт прямо у вокзала, можно пройти за десять минут и быть у её подъезда. и ждать хотя бы весь день, пока вернёшься — всё, что я знаю, это твой дом. но этого, облака, даже чрезмерно много. я с удовольствием кинусь опять искать её к центру. а вдруг уехала? курорты, дедова дача? а вдруг перенесут дату оглашения результатов экзамена? нет, так долго тут сидеть — глупо. нельзя. ведь она встречена. а я тут катаюсь мимо сухих распластанных лягушек на шоссе. но нужно дождаться пятницы, твоего дня, как сама сказала. и есть время заехать в детские места, в Калистово.

медленно проезжая дубы, намекающие чем-то на осень. въехать после полудня медленно по пустой тропинке в коридор детства, плавно, беспедально, задевая листья у тихой станции. съезжать вниз к речке, мосту. мост новый, левее того, что был тогда. деревья утолстились, вымахали, целая роща теперь — где поляна была.

и уводит это пространственное, почти не изменившееся детство вверх, заставляет вести велосипед, пригнувшись к тому росту, к тому взгляду, снизить-ся до уровня прошлого себя. запах — тот же, с намёком осени, лиственный, сЁн-ный. какие заросли, дорога, заГИбы в лес, лай новых собак. я въеду с тобой во всей моей педалирующей фигуре — подростковой, утончённой — туда: расска-зать месту моего долгого детского времени, месту, где на листьях, на верхушках елей так много моих взглядов жило каждое утро и вечерами, когда после сыр-ников или оладий шли на переезд, — надо до него доехать. дорога заросла, так что по тропинке, по железу на грязи, мимо просветов за забор длинного тени-стого участка, он и тогда был таен и влекущ. Тайна, Таня — ты там, ты экзамену-ешься — а я, смешно и подумать, тут на велосипеде раскатываю. но у меня тоже важное задание — ввести тебя в воображении сюда, показать Калистово: про-ехать с тобой встреченной, радость этой встречи завезти сюда. прямо как будто объясняю. но ехать — это и значит объяснять. горки подкатывают к тому участку, где снимали дачу. тут меня старшие девчонки привязали к дереву, обма-нули... у стынувшего утреннего костра... всё маленькое за заборами, а слева, до железной дороги — густо заросло, темно.

прокрасться мимо не такого уж тут далёкого, в моём лице узнаваемого детства, мимо тех, кто может ещё узнать. до переезда. так быстро: вот и влево по-ворот. помойка разрослась, вылезла на дорогу, осколки. и тут, будто специаль-но, везде битое стекло бутылок. плита бетонная поперёк. переезд закрыт. и у по-ездов перерыв. в детстве колёсный стук поездов дальнего следования, когда после программ «Время» со вкусом и запахом оладий или сырников ещё в обо-нянии ходили сюда, мне напоминал у переезда: «полит-бюро, полит-бюро».

перееду, перетащу-ка велосипед. ни слева, ни справа не видно лиц локо-мотивов. опасная даль безопасна, леса лишь сблизилась под облаками, смот-рятся друг в друга. от домика на переезде — лишь фундамент. разрослась ака-ция. неужели проеду дальше того места, до которого доходили только более пятнадцати лет назад? да, проезжать пространство прошлого, дорога теперь уз-ка и быстро сворачивает — а как тогда долго шли в ту сторону, в неизвестное на той стороне железной дороги.

участки. лающая собака за штакетником. там сено было собрано у кюве-тов, мы валялись, накануне осени было... и возвращались ужинать. смотреть ки-но про войну, засыпать. а проснувшись, видеть на стене бордовое одеяло с утя-тами, спускающимися на зонтиках, и медвежатами, взлетающими на воздушных шарах. вон этот перекресток, который был виден из лесу, до него не доходили. справа длинный участок и дом. место тайно знакомое, из снов будто.

утро, а в движениях ещё остаток от сна. и даже поворот направо ожидан, хоть нов и невидан — бетонная дорога плит под асфальтом колёса отсчитыва-ют плиты, и позывает звонок на стыках. путь вниз, путь ПОд гору от Тебя, вне Тебя, с ней во вчера. экзаменационная нервотрепка тебе досталась, коридоры, жара. а я уезжаю, делаю тут широкие манёвры за несколько часов до обеда на двадцать километров. ниже, на скорости, под тоже движущимся, но влево

и назад дачным небом. дачи пятьдесят пятого километра — художников и других деятелей искусств, привилегированные, за глухими древесными заборами. даже тут проезжая, мелькнёт эпоха раздачи этих дач: у гаража посреди участка — серая «Победа» в куче хлама, гамак, некрашенный дом... дачи художников, все ближе к местности первостепенного детства.

но здесь не выехать к станции — прямо: увижу, что там, куда выведет, к Хотьково или...

пруд слева, рассвет полей — скоростной спуск окончен, а подъём уже вдоль стены тёмнодревесных домов, поселковых. да это же дорога к музею: точно, там впереди магазин. мы туда доходили, но с другой стороны — со стороны того времени, тех летних лет... вот прямо яростно обгоняет КраЗ с пыльным шлейфом, тут уже не вмоготу давить велосипед в гору — слезаю. будто кто-то следит за мной, как всё делаю — дышу тут резиново-бензиновым запахом в пыли придорожья. потому что с тобой еду вместе — в головном багажнике (шутливо, надо запомнить), — тебе маршрут, наверно, показываю, прокладываю в будущее Наше. и поехали-то сзади сразу, теперь белая «Нива», все к музею. вот и соединились дороги. в конце аллеи виден светлый музейный вход.

и влево к полям, к новому спуску — но пока подожду, это требует больше времени, а надо к обеду успеть обратно. влезть опять к площадке у музея и — вниз, мимо видов того самого первого времени, быстро пролетая пространство, бывшее огромным и непредсказуемым: над плотиной, где шум и густой дух водорослей. и в гору, направо, вверх — так, что приходится снова спешиться и тащиться по обочине. там нужно либо на электричку сесть, либо переехать на другую сторону к Ярославке. лес справа, обжитые поляны, пожарная безопасность из изразцовых плит восьмидесятых, и здесь остался тот уют, прошлые цвета под елями. что там впереди — больница, дома, дорога заканчивается?

нет, поворот к магазинчикам и... железной дороге — вот как всё просто, оказывается. не переезд, а переход за строящимися кирпичными «комками». мимо микроавтобусов и идущих медленнее меня, в и из магазин(а) протискиваясь к настилу перехода. не настил — бетон, как только колёса не чиркают — рассчитано. мягкие у меня шины, вдавливаются сильно слишком, до обода почти. и от железной дороги в маленький город, средоточие магазинов и жилых домов. ты настигаешь, не ты, а город, её город, собрание жилья, запахов — но уже по-подмосковному, свободнее. мимо детских площадок, мимо аллеи, уже почему-то желтеющей, деревья такие, что ли (или больные?). все строения либо жилЫ, либо «комкОвы», пятиэтажки. край Хотькова, тот, куда мы не заходили от станции. и с этого края — школа, снова массив, выходящий на шоссе, — выехать опять в движение, на автостраду. песок поворота. эта «пятёрка» обгонит, подожду. чтоб вас, КамАЗов с брёвнами старого дома и рухлядью — ну, проезжайте! а, поворачиваете?

и ехать тут, будто свежее идти в Тебе, но быстрее и в меньшей интенсивности подробностей. «Продукты», шрифт славянист. быстрее тут в движении — чтоб не дышать выхлопами, надо скорее миновать этот перешеек к поселкам.

знаю его, выезжал оттуда, куда сейчас стремлюсь — от участков за нашими полями — полями трехлетнего меня. ПТУ, забор изрисован весело, нецензурно, быстро, что и не прочесть. разъезд к складам стройматериалов и автозаправка.

тебе продолжаю выдумчиво показывать свой путь (как бы мы сюда заехали?) — хотя можно вдвоем на велосипедах, только второй, дамский, накачать и педаль укрепить. поле справа со всходами гороха, лесная даль и ферма за долгим поворотом впереди — серая, древесная, большая. туда не поеду, хотя интересно... но есть отсюда путь вниз, в село, вот горка. надо сначала на неё поднажать и... сниму только майку, тут распекло совсем.

а мне и педали не надо крутить здесь — инерция, под гору. с разгона пролетать выставленные какие-то банки с заправленными в них белыми скомканными бумаженциями — это молоко, значит. и ведра с яблоками, урожай тут. но гора кончилась, и можно ехать без усилий, медленно. въезжать в тихое безлюдье жилой улицы. домики старые, такими (но не столь цветными) были и до войны, пожалуй. кусты затевают дорогу, она шербата солнцем, голубая колонка, плитки к богатому, перед забором забетонированному участку. вот тут какой быт. никого на просвеченной солнцем улице, а она всё же опускается, судя по кустам впереди, и сворачивает направо горкой.

холм с памятником солдатам, лавочки и цветы у подножья. изба наверху, провожавшая тех солдат своим видом, темно-серая, постоянная, забор. и выходят там вниз гуляющие ребята с девушками, а я еду навстречу — тощий торс. они спустятся, пока я проеду их участок. да, вот и встреча. деревенские крашенные девчонки и плечистые пацаны. ну и что? да, не атлет, излишне изящен... еду целеустремлен, а на самом деле стесняюсь. но кусты не осудят. тут река, это Воря. хорошо, что никто не едет навстречу. протекает Воря туда, где мы купались. наложены на буреломе у берега детские зимние вещицы: оранжевый резиновый сапожок, коляска боком, коричневая куртка с искусственным мехом. тина болтается по течению. этот проезд в чём-то городской.

справа поселок и насыпь железной дороги, стучит в отдалении — перерыв кончился. это товарняк... кусты тут в проезжей пыли, повествовательно просвечены впереди солнцем. тень на время остудила или река, низина?.. зелёная «Нива» едет навстречу, деликатно поворачивает с допуском целой полосы, не на одного велосипедиста рассчитанной. ещё деревенская площадь — магазин на горке, «ПРОМТОВАРЫ кооператив», надо купить потом педаль, а лучше только сам стержень. иномарки у магазина. через дорогу — старейший сарай, почерневший, покрытый дранкой, дырявый и древний, прошлого века, пожалуй. от забора влево — бетонка, дорога вверх и правей. за правым забором какие-то авиационные детали, конусы-носы истребителей, двигатели... загадочное место.

вновь мерное перестукивание, только кое-где загнутые крюки торчат и их надо объезжать. въехать на мост трудно, жарко. теперь можно и зависнуть на нём, над рекой Ворей. ругаться местные, писать то есть ругань, по-английски не умеют: «fak you» написано внутри на плите нового моста. съезжаю к погибающемуся вправо подъёму в гору, печёт здесь солнце, маленький речной пляжик у

коряги, песок, место для полоскания. ограда подъёма яркая, предупреждающая. справа поехал к Хотьково товарняк по насыпи, из лесу в лес через поле, ближе сюда на склоне пасутся пятнистые коровы: чёрно-белые, обдуваемые поездом.

кто-то вниз едет, пыль опять. ничего: взяв за седло свою зелёную «Украину», везу вверх. и пусть плиты прерываются у садового товарищества: есть боковая дорога в поле, и уже можно набрать хорошую скорость мимо пацанов, завоющих мопед. мимо помойки у преддверья поля, тут её не было раньше. вплоть до бежевого корпуса «жигулей». и через поле, степенно педАля в солнечной заботе. девушка навстречу к правому товариществу: быстрое выяснение взглядов. но я тут проезжий, задумчивый тобой, Тайной там: в своём экзаменном дне. проезжаю всё территориальное детство, узнавая и удивляясь выросшим в чистом поле рощам, вытянутым балкам, которых не было, но небо подгоняет — солнце уже долго не выйдет, забрано в тучные облака, сплошные от Загорска.

и спуск к станции иной, но недолог. через мостик и лес, через зелёно знакомые запахи здешние. запахи не меняются, меняемся мы. но здесь пахнет всё так же, нужно только слезть с высоты велосипеда и, подталкивая его, идти вровень с детским ростом. в эту уходящую в лесные неосвещённые тайны траву и листья глядеть в солнце. так далеко от нашей встречи, так почти в прошлом, бесполом, чувствительном и всепоглощающем.

я через лес к станции, здесь не проходили вообще, так и надо, нельзя протаптывать взрослым собой те нежные пути: всё равно того же не увидеть... да и интересны ли тебе все эти подробности, чтоО я? волнение, экзамен. но ты чутка, не надо чрезмерно догадываться и тушеваться. приведу себя сюда... только полдня, а уже теряю ощущение тебя. Таня. имя помогает.

имя закрывает неизвестность, манящую, твою неизвестность. я тут со своим прожитым, с местным, но и твоего столько же (чуть меньше по годам). лес рассеивается, рассвечивается к платформе, тут не догадаешься, где перрон, только шум поезда подскажет. но не побегу: нужно на ту сторону, не успею.

как всегда, волновались переходить. кого-то тут и сбило, был повод. нет, это дальнего следования, выпукло-полосатый, зелёно-жёлтый пролетел локомотив, за ним вЕтрят вагоны к Ярославлю. вот и переход, никто не ждёт, кроме меня, велосипедиста.

деревянные доски наста между рельс. тёмные деревянные ступени вверх, того же цвета, что и грунт под рельсами: железнодорожного бурого. плантации хмеля в запустении, но травы разрослись, благо солнце потчует. ждать электрички или поехать лесом? надо к расписанию. сколько отсюда уезжали, волновались, рыжего нашего кота везли... а платформа спокойна, только на лавочке согнулся мужичок. загар или пьяный пигмент? устало или хмельноО смотрит, как прохожу. да, лучше бы не я, а поезд.

так, ближайший через сорок минут, ждать не буду. снова спедАливаю на дорогу от переезда и вверх, скорость вперёд. широкое переддворье домов, пролетаю игры здешних дачников и садовые участки. загадочное название старого товарищества справа за елями — «Сумеры» или «Сумерь-1»... сухое дерево и вле-

во, в лес, через временное пекло по кривым колеям края поля до последней ве-
ловозможности и спешившись. тут уже быстро.

наедине с лесом, тут даже надоедает безлюдье. мимо газовых станций
с привкусом пропана. и бесконечной просекой вперёд, то в болото увязая, то
сквозь крапиву, — но это самый быстрый путь домой. видела бы, как я тут блуж-
даю. и кусачие мухи обрадовались посетителю. вот брёвнышко, нет ли там змеи,
каждый раз думаю... под гору пошло, это к выходу. лес, лес — где собирают мали-
ну и встречаются солдаты, дозорные. но вот пошло вширь и видны новострой-
ки кирпичные, новорусские. прямо на поле. финальный продольный спуск, пе-
ред ним можно и облегчиться, излиться, не отпуская велосипед (никого ведь):
орошающая янтарно-изумрудисто струйка в крапиву, как это беззащитно и на-
ивно, мягко здесь вливаться в лес.

на велосипед и лихо набирать скорость по тропинке до кочки перед га-
зовым домом. запах очевидный, через колдобины и вот — на асфальт, набирая
скорость, скатываться бездвижно, беспедально, задарма дальше вплоть до по-
селка. улица приросла кирпичными замками, такие подворья отгрохали —
а я мимо велосипедно, по пояс голо. веселящая иномарочников наивность? да,
контраст. и сквозь коренные улицы, заглядываясь, как в Тебе, по привычке на
времена бревенчатых домов, резьбу, кокошники, самодельные звёзды в венцах,
таблички образцового содержания. к кирпичной старости школы за деревьями.
вниз к колонке на перекрестке и снова вниз к дорожке через речку. домой вверх
в солнце и гордости велосипедного манёвра.

вечер втекает в день прохладой и чужим дымом окрест. засыпать в отда-
лении Тебя — который уже день, — и шум ночи одинаково баюкает во влажно-
ватых, пахнущих древностью брёвен простынях: несущиеся светлые линии
электричек, последних, увозящих к северу Твою дневную жару.

утром, ещё не открывая глаз, в радости оживления, прямого существова-
нья: ты, тайная, Таня, там. ещё несколько дней — и ехать. всё ближе, а тебя всё
меньше остаётся во мне. имя, движения, некоторые взгляды. в той серой подво-
ротне, на повороте лестницы. Тайная.

твой город — в эти дни только тебе. Столица моя — твой город. там, без
меня, в тех же течениях тротуаров и улиц центра, к Кузнецкому Мосту, Красным
Воротам. когда удалён от вас, теперь — что-то понятнее. ...это я никуда ещё день.

но ничего. выдержусь. буду ходить за молоком, стоять в очереди с ре-
бятнёй и бабушками, как тоже юнец-стройнЕц. «мальчик», — обращаются, ты
бы слышала...

этим утром уже можно бежать. асфальтная дорожка к станции — при-
учаться к твёрдости дальнейшего пути. добежать, скомкать последние виды
станции к раньше подъехавшей электричке. и поезд срывает вдоль скользящей
ездой: быстро проговаривает взгляду те деревья-верхушки, под которыми дол-
гие часы ходились, смотрелись. выезд из здешнего времени, из отдыха. проез-

жать сквозь леса и встречать визг электричек — путь к Тебе и к ней. через час пойду там, где ты уже пробежала с утра за оценкой. каменные здания вокзалов полустанковых — предисловие, Мытищи. взгляд выходит из ровной ворожбы зелени, поля уже не манят: проезжать природное лиственное изыщество ради другого, застывшего, рукотворного — стремиться в глубь каменного текста людского жилья в веках, в коридорах которого — ты. мосты над поездом — предупреждение. гаражи, надписи чёрным по зелёному забору: «РНЕ», «Зюганов — русский патриот». разъезд кирпичности заборов, заводские задворки, трубопровод, Лосиноостровская — и этот мост уже «город», как ты говоришь. мост с каменными жезлами пятидесятых, мост уже внутреннего мира Столицы. позади осталась квартира однокурсницы: слева в длинном доме лицом к станции, тут горячо готовились к экзаменам (тоже, но к другим) шумной гурьбой накануне лета.

вагон наполнен, и снова людские запахи приучают к городу, в который все едут по-деловому, ежедневно, многочисленно — туда по делам, на работу, домой или дивиться; а я — туда, где в Её центре — ты. проехать вместе (и вниманием сквозь) развёрнутые газеты и минуты своей путевой постепенности, взглядований в чужие черты, надписи на майках — чтобы всё это не запомнить, а прорваться к тебе. почти так же, как прежде вырвался из двух Колец — напрямую к твоему мосту и парку, теперь — под скорый незаметный счёт стыков рельс, с центробежной катящейся силой круглометаллического скольжения падать в центр. твой текст уже начинает стучаться: вагон говорит, громко голоса (щёлкают резиновыми перчатками, чтоб вздрагивали пассажиры и покупали пластиковые карты, батарейки, клей) поездные продавцы, надписями сообщает одежда, развёрнуты книги, но я пытаюсь ощутить тебя — тайную — образной памятью: ведь приближаюсь... Маленковская — сигнал, вскоре прибудем. многие заранее стекаются к выходам. билеты так и не проверяли. хотя могут уже перед перроном, так было, попался однажды, в прошлом году тут. трескучими пинками стрелок наш вагон вогнан в кирпичную колею из-под моста, и влево отходят высокие привокзальные, служебные ограды-дома, горбатый ангар, наконец, раскрываются впереди словно причалы перроны. нас стрелки гонят вправо, к краю. приехали даже раньше — на часах у меня уже испарина от духоты вагона, хотя жара вовсе не та, из которой уезжал, природа прохладней... уже стою в очереди к выходу, подталкивают, тут начинается течение, разгон в скорость, общее движение: надобность постоянной, повсеместной ходьбы. кто куда, а я в пути свободен, но тоже спешу вниз, в метро, не угадал выход из вагона прямо к спуску.

...не зря над вокзалом часы и Твоё имя, остроконечное «М». после беглых взглядов на Твои часы, входя в Твой темп, все эти шаги моих попутчиков уже культурны: семянят по лестнице вниз, по-балетному, на пуантах, цип-цип-цип... скорость и обгон вплоть до столкновений плечами (извиняться не стану, важнее скорость, все за делом, второпях). прохлада подземного асфальта, тут влажен Твой запах с вокзальными откровениями (и бомжовые веянья, ветер пути и пыль, железодверных рам). двойные метродвери в зал с низким потолком и чёрно-клетчатыми колоннами (продающиеся у попутной колонны журналы манят, лепят к себе

взгляд знакомством телелиц, нагота: «7 дней», «Cosmopolitan», остальное не разобрать, всё благополучное цветом лиц, тел в декольте, модно-телевизионное — легенды цивилизации, красоты времени — ждут тут покупателя, зрителя, потребителя: вид зала расширяющийся, подземный перекрёсток путей от Ленинградского и Ярославского, сводящий влево к турникетам, мой — правей.

девятнадцатый, молодёжный турникет, мимо клетчатой тёмной колонны в поворот к лестнице: приближаться к Столице майкой, животом, шагом, к теплу, дуновениям, запаху ступеней вверх метро. запах знаком, запах здешен, в нём что-то детсадовское, байковое, одеяльное. и вход на эскалатор в очередь с теснением и впадением в течение одежд, расслабленно-летних, откровенно-лёгких. здесь жарко вне погоды и людская духота, но после постоянства свежего воздуха — не гнетёт. и рекламы снова берут в оборот, поначалу даже излишне уверенно: я отвык от асфальтной беготни, я дважды приехал сюда — издали и из ближнего Подмосковья, и не ловлюсь на адреса магазинов — «Полигон» или «паф-паф». Флаги вымпела знамена 195-96-77. гурьба и встречное наблюдение людей. увлекательный процесс, но я должен бежать вниз ступенями: скоро 11, а нужно еще привести себя в порядок — ванна, бритьё, дом.

родной запах «Новослободской» — байковый, сонный и свежий одновременно. левая дорожка эскалатора закрыта серыми щитами, чинят, вывозит средняя к белому куполу, выход в город. 10:46 зелёными цифрами, телефонные закутки-углубления, фотокоробка — мимо всего, к тебе, через ванную очистку. улица свежа, и проветренный запах выхлопов и листьев после железистости поручней метро возвращает домой, в центр. в глубь квартала, задворками церкви, под свирепо обпиленными тополями. дворы, вы быстро выводите через здешнее спокойное лето (сегодня так пока и не разжарилось, облачно) к дому. вывеска «Резка стекла». дома старей, заводские сращения стен, узоры с намёком на классику и модерн, дома низенькие, давно не жилые и не производственные, административные в лучшем случае. через Садовое кольцо — высится зелень «Эрмитажа», перекрёсток и движение сводят в средоточие к дому. слева таинственный и очевидный, как сектор сезона, летнего, нынешнего, — поворот Кольца и возвышения башен — за домом с Nescafe на крыше башня без шпиля (как намек на следующую) дома на улице Щукина и высотка Красных Ворот (такая же круглая башня, заострённая шпилем со звездой). но пора переходить, только 47-й проедет Sharp-Monster, зелёный человечек ждёт, мерцая на полпути. не такой уж длинный переход после полей. каменные ответы асфальта последним прыжкам под гаснущий зелёный и жёлтый. ринулись, но позади всё точно рассчитано. в один присест два потока. надо хлеба купить направо, туда, где раньше висели карикатуры-плакаты против атомной войны.

двор продувает в арку, ветер всегда изнутри. всё маленькое после природы, всё внутреннее родное обустройство доступно взгляду: загиб тротуара к деревьям, птичий помёт на запаркованной навечно второй модели «жигулей» голубой перекраски, дома внутри двора. всё приближает через листву и ступени

к дверям. тут пусто, не ходят, все разъехались: дворовая заводь тиха и спокойна густолиственными ветвями. жарко в подъезде, даже кнопка лифта тепла.

подъезд душен и пахнет краской. в лифт — упаковка подъёма, всё быстрее, чем можно было догадываться. новое возвращение, теперь не издалека. всё миниатюрно вновь, как-то непривычно мало, отвычно, не в том месте, будто по чужому рассказу, представлялось иначе. такое делает лето, отвыкает от городских законов движения, от стенных рамок и заученных траекторий хождения по твёрдому, между твёрдым. маленький (после полей) лифт, родной стеной запах — вверх звуки лифтовой шахты: все щёлканья и скрипы известны до сантиметра приближения к этажу.

моя дверь. паркет сладковато приветствует: у себя, летом, из загорода. но нужно скоро в душ, марафет и... к ней. к Кузнецкому. сквозняки тоже говорят здешним, пронося через комнаты уличный и внося обратно дворовые запахи: машинные дымы и лиственнность.

наручные часы с испариной в центре от поспешной утренней дороги — на стекло косметической полки. всё одежное скидывается, обнаруживается заросший щетиной загорелый молодой человек со смуглой половой принадлежностью в тёмно-русых кущах. и загорелыми ногами — в белую ванну, под душ. есть тёплая, но едва, экономят по-летнему. но как раз. вода жестковата, хлориста. струи сбивают пыль и часть загара: кажется, внизу, в стоке, всё время кружится смытая муть. на голову — «Пантин», для понта, чтоб блеск (и вообще он делает что-то необычное с волосами: цивилизует, возможно, не самым полезным химическим ухищрением, о котором молчат в рекламе).

так, на часы глядь. пока есть ещё пятьдесят минут. вытереться, выбриться — тут дело долгое: осторожная топография подноса, щёк, подбородка. ни одной чтобы кровотоочки. с боков нормально, вышло не под самый корень, старовато лезвие. эх, всё же на шее выскочила кровушка. но смоем. следов усов нет, подзагарная белизна высветилась какой-то излишней лояльностью, сладковатостью. вышагнуть из ванной с лёгким телом и бежать за бельями мимо зеркал, отражающих... да, строен, изящен и не лишён плечистости. надо надеть то же самое, что было тогда — что снимал вымокшее под дождём. с ней.

ботинки остались в загороде. но есть новые кроссовки, в которых ехал, сойдут ещё лучше. синий вельвет на синие трусы — правильно. майка пусть будет... не красная, конечно — серая, пускай. нужно выглянуть туда, где ты: внешний балкон открыть. улица тише обычного, дома лицами рядом, будто ждали (старь модерна и пегая ржавь крыш ниже, вы здесь, вы здесь так долго), небо серовато, но облака нежны, только впереди сгусток. в жаркой дымке к центру — гостиница «Россия», высотка вон Котельническая. и — путь к тебе.

пойду сквозь летние дуновенья в улицах, сейчас пойду туда. вон розовый дом в среднем Каретном, кто-то тоже на балконе с цветником, курят — виден дымок — трубку, это седовласый дед. дальше и выше — «глобал один» (глобальный Один), реклама на торце дома над Трубной, листва, выглядывающая вверх

правей, — бульвар. но некогда разглядывать. всё, цветы полью потом. за сорок минут должен добежать (после шири балконного взгляда над домами — в маленький мир пути из дому туда, куда смотрел).

отвыкший от знакомых поворотов в подъезде, бегу к тебе. ты уже в своём институте. в ещё не своём: абитуриентка. волнуешься. а я, закоренелый студент, — из подъезда, наискось через пустую выпуклую проезжую и мимо старых современных дверей каретной мастерской (надо будет тебе как стиливеду показать) лечу по серому, но уже нагретому между туч асфальту.

знаю, что не должен так спешить — идти бы медленно, вдыхать через отвыкание всё Твоё откровением пропущенного тут времени... но — она. она притягивает через всю Твою, знакомую (и неизвестную местами) внутридворовую пространственность. переулками к Трубной площади. оставленные на лето пустые скверы, открытые балконы — я мимо вас. столовая МУРа выдыхает сюда обеденный зной солянки и сухофруктового компота. левее впереди сквер детства, тёмно-зелёная листва этого года — всё ведёт к тебе. теперь в известную Её точку, Её помещение.

краснокирпичные во двор дома с распахнутыми от жары окнами: синеватые рамы, побелка кухонь, дощатые ящики для продуктов (а тут жарче, после поезда — значительнее поджарило). асфальт — главный теплонакопитель. сейчас ещё милостив. из закоулков этого двора — снова в соединение переулков. я распутываю свои поиски тебя. где номера домов с моими любимыми числами — как у этого рыжего деревянного. на винзавод высветилось солнце.

в переулок к Трубной левей. плавный услужливый выгиб голубого дома с чёрной плиткой понизу, курсы повышения квалификации работников культуры. Твой рисунок после землистых и полевых путей — миниатюрен, сгущён веками в город, где жили, жили, жили-были... слева двухэтажный длинный дом века восемнадцатого, не меньше. всё это мало мне было бы интересно, если бы не встретил в своём времени тебя, если бы эти дома не вели к тебе взглядом в зелень Цветного, но здесь не природа, оазис среди жара камней: на счету каждый листок, я привык к ним, слежу, почти пересчитываю. к Трубной мало машин, не догоняют. переход пуст, и смело перехожу мимо смаковских ларьков сразу под салатный театр, на красный светофор перед длинным лицом кремового аптечного дома — и дальше шагаю под его тень.

дом идёт от аптеки и парикмахерской, средняя часть его уже под строительной зелёной вуалью. он так долог, что доходит до следующего, Кисельного, переулка. в верхних этажах, на чердаке фактически, тоже обустроено что-то вроде квартир, если судить по чванливой отделке, раньше там точно жили. асфальт вздыблен после широкого квадрата люков ГК. корни деревьев? вряд ли. здесь река внизу — может, трубу перекосило? звезда с буквой «Т», моторные масла Texasco. я уже совсем близко к твоему институту. задворком домика со старинным уютом в окнах, в котором гастроном и хозяйственный с лица. тут остались до осени запахи обитания, влажноватая древность, дух штукатурки, незаметный в повседневной загазованности или зимней замороженности,

а сейчас — пожалуйста. солнце опять ушло, тут даже прохладно, но сквозной путь упирается в арку из-под полукруглого вертикального ряда балконов — дом серый, рыцарский, напротив Сандунов.

и вот из арки — сами зеленоватые Сандуны. тут вверх лезть, здесь иномарок побольше, кто-то и в жаркие дни сюда ездит — чиновники, те, что не выездные.

у Архитектурного есть оживление, от метро идут, твои же, наверно, знакомые абитуриенты. да, я почти близко к тебе. вдруг встретишься по дороге, невзначай? что сказать сначала? подзабыл, точнее, в слепом пятне будто ты, в ярком ожидании. узнаю издали. уже кажешься среди идущих. нет, эти высокие и полнее. не ты. переулок между Сандунами и вашим институтом сползает вниз, есть переход из дома в дом над переулком — зачем? загадочно. как один из абитуриентов войду, приткнусь где-нибудь и буду ждать. а если не придёшь? но не надо пугать себя. прохладный вход, старинные двери. тут пустовато. кто-то вдвоём, обнимаясь, идёт выходить. ничего тут не знаю. предбанник большой, объявления. охрана. здесь тебя подождать? нет, спрошу для приличия.

Скажите, пожалуйста, а где вывешены результаты экзамена?

— Во дворе, как выйдешь — налево.

— Спасибо.

а, правильно: тут больше всего и грудится народ. буду искать... что искать-то? фамилии ведь не знаю твоей. ситуация-то. поищу взглядом. отойду туда, ещё левей. отсюда видно должно быть всех проходящих. куда бы прислониться? столовая. там тоже стоят — по внешности молодняк, абитуриенты, модные, пиво пьют. а это... с ними?..

да, ты (только в джинсовом сарафане и с рюкзачком). увидела сразу и бежишь, почти скачешь с распростёртыми об... ятиями! так запрыгнула крепко, что легко и гордо тебя держать тут перед всеми. нашёл!

— Привет, я сдала!

— Сколько?

— Вообще сдала, меня приняли! Все экзамены — отлично! Я так ждала тебя! Идём?

— Ух, всё так сразу... Да, идём, конечно же! Ну, излагай.

— Ой, даже не хочется. В общем, всё замечательно — я вне конкурса, даже без дедовского блага обошлось. Куда поведёшь? Сегодня ты управляющий!

— Так... ну, сперва надо накормить победительницу.

— Вот замечательная пирожковая. Ты сам-то голодный, наверно? Я вроде сыта.

твоё А это снова ты и твой голос

я встретил тебя опять иду с тобой

моя тайная

Таня моя

— Очень известная мне пирожковая, с детства. Зимой тут обычно, после «Детского мира», покупали пирожки.

— Ты тоже? И меня сюда водили всегда. Ну так как? Я лично хочу в первую очередь гулять — гулять и гулять. А едят пусть за меня другие!

это стихи?

— А я вообще не задумываюсь на эту тему. К тому же — сегодня твой день — и я следую твоим желаниям.

— Тогда проследуем в этот переулочек!

сколько раз проходил его мимо, в детстве это казался выход в какой-нибудь окраинный район. зимой, с игрушками и наевшись тут пирожков, выходили в сторону дома.

— Ну, рассказывай, как ты жил там?

— А я-то собирался тебя о том же расспрашивать. За городом время другое, долгое, но было хорошо, купался, думал, вспоминал...

— Везёт. Я тут совсем погибала от пекла — из комнаты в комнату перебегала от солнца. Только душ спасал, горячую отключили — и хорошо... Ежечасно влезала. В общем, всё позади. Теперь и я поеду куда-нибудь купаться.

— А можно вас заангажировать к нам в мурановский пруд?

— Не знаю такого. Ой, смотри... Меня тут дед просил по телефону посмотреть, много ли осталось старых люков в центре. Вот этот — точно старый. Клетчатый, мне дед про такие и говорил. Это его ровесники, тридцатых годов люк, он у меня специалист... «Телефон» — это же новшество тогда было, буквы какие-то с точками «Н. К. С.» и молнии...

— Они всегда символизировали связь, на почте тоже молнии рисуют.

— А до этого рожок был значком. Но это не у нас, вроде. Знаешь, сложно отойти от всей этой науки. Я теперь повсеместно только стили вижу. Вот идём под модерном сейчас. Таким, не очень-то модерном, но вон нимф видишь — болотных фей и вроде бантиков снизу?

— С радостью бы у такой отличницы и теперь уже первокурсницы поучился...

новое утро — по звукам улицы и двора. явно уже больше десяти часов. надо же, это ведь день после нашего путешествия. Тайна, Татьяна моя. утро тут, за четверть Садового кольца от тебя. и я тебя знаю; тебя целовавший — просыпаясь. да, время подъёма — 9:32. удивительно, ведь всё тут то же самое и я тот же, в своей постоянной постели, с её первозвучным поскрипыванием, утром. но это утро вместе с тобой. и в Тебе, Столица. мы твои блуждающие вместе дети — вчера были. уже жара чувствуется, но не в моей комнате. позвонить тебе первым делом? нет, так сразу нельзя. 10:15. может быть, ты ещё спишь? или дед подойдёт, стушуюсь? звонить тоже надо умытым.

по прохладному паркету и по, теплее что, паласу — к ванной. лицо в овале зеркала свежее и Утреннее сознания — им ещё не проснулся. а лицом можно идти за хлебом и остальным завтраком, что и придётся сделать. в зубы — белоснежную размазную пасту, как ни печально, но её белизна и их, природная, разнятся не в пользу последних. глаза словно тебя ещё видят: какие-то весёлые, другому бы показалось, что с хитринкой, но это просто радость — потому, что проснулся и встал на мышечно гудящие после вчерашнего ноги и потому, что ты — там, за Красными Воротами, тоже просыпаясь. или уже проснулась давно и дед тебя увез на дачу?

так: в магазин. или нет, уже время не детское. электрички после десяти ходят плохо. да что я о себе-то думаю? ехать, конечно, надо, но ты-то с какими планами проснулась, Тайная? и вообще — утро-то торжественное, ты точно теперь студентка и дед рад там, в твоей квартире, с лаковым сладким духом в прихожей. в магазин идти или...

и всё же — звонить. тебе. обнаружить там мою Тайную явной. ничего другого, никакого завтрака (да и завтрака-то нет, нужно идти за хлебом и маслом). шаги пальца по циферблату, указка пути, цифра за цифрой: 232-13-66. пауза тишины вслед за шестёркой, торопливый клацк и незнакомые, какие-то радостные и длинные, настойчивые гудки. пять, шесть... неужели отправились так рано? да почему я такое думаю-то? хотя... вот, взята трубка, наконец-то. голос твой, утренний, как бы потягивающийся.

— Алё?

— Татьяна, вас беспокоит...

— Узнала. Да, конечно, беспокоит, но давно пора уже...

— Разбудил, то есть?

— Ну, скорее поднял. Я ждала, что позвонишь, думала даже раньше, лежала и думала. Вспоминала, как мы ходили вчера.

— Видимо, вспоминали мы одновременно. Ну, порадовала бабушку?

— Ой, не называй его так. Как-то смешно звучит. Он просто и коротко — Дед. Он и сам себя так называет. Мой дед. Дед.

— Почти как по-аглицки «дэдди».

— Нет, это я сама так придумала. А дэдди — это отец, но я его так не зову.

— Так он в курсе, что ты уже на первом курсе?

— Да, мы с ним вчера долго сидели, ужинали, даже вина выпили по случаю.

— И что сегодня?

— Увозит он меня, Тон. Надо же порадовать родителей, они тоже ждут нас...

— А вернётесь когда?

— Да я сама, наверное, вернусь уже.

— Да пару дней там побуду и сюда. А ты?

— А я как вы, я бы ждал здесь постоянно даже.

— Зачем?

— Да правда, мне, поверь, это очень было бы приятно: бродил бы у тебя в округе там, где...

— Нет, без меня не ходи, ладно?

— А что?

— Я хочу чтобы вместе, понимаешь? Опять как на крыше, ладно?

— Ладно, тайна моя...

— Не такая уж тайная теперь, после дождя-то, да?

— Ну что такое вы говорите?

— А сам знаешь что. Ну, это я шучу на самом деле. А вообще-то я бы никуда и не уехала, если бы не такая необходимость — порадовать своих там, на лоне природы, моим поступлением.

— Правильно, это надо. Но...

— Но через дня четыре я приеду сюда.

— Может, договоримся сразу, и я буду ждать?

— А?.. Сейчас, подожди, Тон. Да, деда, я иду, не кричи!.. Это он меня торопит завтракать, у нас скоро поезд, по его подсчетам.

— Ты ему рассказала, как день и вечер провела?

— Ну, вечер-то мы с ним тут пропили... Да, рассказала, он очень интересовался твоей персоной, он у меня такой, doskonaльный дед. За мной следит и опекает, так что знай.

— Что по крышам лазила рассказала?

— Ну, всех подробностей не рассказывала, конечно...

— Ладно, это только наше с тобой. Я на самом деле уже хотел бы видеть тебя — такую же, как вчера, мокрую и таинственную под тем небом.

— Да, но и небо другое, что-то не особенно солнечно.

— А у меня вроде солнце...

— Нет, у нас пока облачный край тут. Мне бы тоже хотелось, знаешь, прокатиться к тебе на облаке...

— По Садовому кольцу?

— Да, как на троллейбусе «Б». И с облака прямо к тебе в окно, они у тебя куда выходят?

— Кухонные как раз в твою сторону.

— Так я и думала, что есть для меня терраска приземлиться. Ну сейчас, дед, иду! Извини, но надо уже бежать нам. Быстро заглотим завтрак и на вокзал, благо что близко.

— Вам счастливого пути.

— А тебе времени такого... ну, чтобы оно побыстрее закончилось, пока ждать будешь. Я ведь знаю, ты тоже поедешь за город и там будешь...

— Да, о тебе думать, Тайная.

— Да, мой Тон, я там тоже не избегну мыслей о тебе, сам виноват... во вчерашнем. Да уж... Хочу ещё и ещё таких дней. А ты?

— Да, так что быстрее возвращайся. И надолго.

— Там узнаем, насколько ещё получится, видно будет. Ну всё, пошла на строгий дедов клич. Пока, до встречи!

— Пока!

трубку вниз и в собственный быт, в день, в комнату обратно, из разговора с тобой.

пробегаю с водой комнаты и дышу Тобой, Столица, моя здешняя ближняя, квартирная. вода вызывает из цветочных почв запах, он тоже знает жару — вчерашнюю и грядущую сегодня. но вам я с запасом налью, чтобы солнечный напор вы могли насыщенными водой встретить. со двора только вечером придет его свет, а с улицы уже начинает поджаривать. перелил в кустарник, но ничего, некоторые от жары просто на пол льют воду. или на асфальт, как продавцы цветов. микроклимат делают.

всё полито. брать ничего с собой не нужно. нет, надо захватить туртопорик и кеды. всё это войдет в сумку. и книгу новую, да — и газеты на растопку из ящика, что, небось, забит давно. какую книгу? «Экзамен» Кортасара, недочитанный с зимы. ну и пыли же на верхней полке! хоть летом от неё уезжаем. так, всё погружено, воду закрутил крепко. выдернуть теперь вилки из розеток. кроме часов музцентра и видака. большие часы идут тут без нас, считают Твоё время. пусть. на ноги — кеды опять, не ботинки, что мочили мы в тот раз, ведь еду к мягкой почве, от асфальта вдаль.

всё, запираем. отпираем почтовый ящик напоследок... да, ворох газет и реклам порядочный, сумка пузатая выходит в результате. лифт вызван и — вниз. одиннадцать с небольшим, успеваю на поезд 11:41. во дворе прохладно, тут солнце недолго, вот и хорошо. свежесть и свобода. нам бы гулять с тобою в Столице, но дачи вызвали и — лететь до вокзала мне, как и тебе, но вы уже верно едете по своей Казанской, мимо Электроставской, где мы по мосту шли и сворачивали к Преображенке. кажется, что это было давно, очень давно — сейчас почему-то.

Садовое тут пока не под солнцем, можно обитать. кедам с их мягкой плоской подошвой особо твёрд и шершав тротуар. вечный тучный дед в чём-то сером, что гуляет у своего подъезда, выходит «подышать» газком проезжей части, уже ходит и тычет палкой асфальт. бедняга, никакой ему тут природы. а я уже почти у перекрёстка и жду остановки широченного вала машин. афиши Максидрома ещё не сняли со щитов. на этой и противоположной стороне. «Старый мельник», «Самсунг». всё тут как в любое время года, отвыкаешь там от них, от реклам — там, куда мы с тобою, не стовариваясь, бежим от Столицы, правда — в Её область. чтобы потом вновь рухнуть в Её пространство, в Её законы и искать тут — губы и ласки друг друга. как хорошо на бегу почти думать о нас, о тебе, моя встреченная. вернуться сюда теперь для меня — вернуться и к тебе. длинный переход миновал и как раз 47-й со светофорного перерыва подъезжает. пустой пока по-утреннему салон, вези меня к метро, эти две остановки.

в окне — уезжающая Ты, самым родным и потому не разглядываемым в буднях участком: сращение домов от моего через серый рыцарский, готичноватый к сталинскому розовому, с бравыми статуями в нишах и загадочными верхними, почти чердачными, но большими квартирными окнами, в них свет дня. оставляю тебя, летняя, беспокойная пыль и родные запахи улиц, даже в троллейбусе тут шевелящиеся. справа промелькнули назад высокий серый дом и полупустой, выселяемый за ним, более старший, во дворе которого мы прятались с моими однодомниками, чтобы покурить сигареты «Кент».

поворот троллейбуса мимо лиственных кущ рощицы на углу Каляевской-Долгоруковской, на лавке в глубине ветвей сидит вялая бомжиха и рядом спит её спутник — оба серые, асфальтового цвета от одежды до лиц. мы проезжаем их, уезжаем с троллейбусом к цивилизации, точнее, то есть я — от этой цивилизации. и летом живущие тут без определенного места, путешественники в пьяном сне к смерти. троллейбус набирает скорость и мелькают как в диалогфильме красивые домики. что-то подшёптывает пассажирка с сумкой-коля-

ской, что сидит далеко впереди. оглядывается, хочет, чтобы слышали ее, ораторствует, что ли?

— Какие немцы молодцы? Какие тут дома построили!

её восторг не понимаю. ни одного жилого среди этих домов, офисные и бутичные помещения. «Рокко»... только глаз порадовать — полюбоваться чужим великолепием, вот что старуху впечатляет. но не в этом дело, пассажирка странноватая. как заговорила — так не умолкает. вот что жара с людьми делает. хорошо, что не откликнулся на ее провокацию. и хорошо, что шумящий в окна ветер подгоняет троллейбусный путь мой к метро.

всё знакомо и незнакомо, отвыкнуто за дачное отсутствие: ритуал сбегания по ступенькам троллейбуса, шаги по жёсткой плитке под желтокирпичным домом... но вчера об этом и не думал, с тобой. даже не верится, что уезжаю. всё ещё ветер, по-утреннему, с какой-то оптимистичной железИнкой подговаривает ушмыгнуть в переулки, заплутать, чтобы выбраться у твоего дома. но тебя там нет, вот в чём дело. а мне уже в метро входить.

под шагами вытоптанный поколениями входящих сюда годов с пятидесятих камень. беспокойные пружинные двери, недавно их сменили, светлые деревяшки. входящий давит не всегда на деревянную часть, но стёкла тут сидят плотно, можно и их толкать. путь в поворот, в четвёртый турникет и вниз. увозящий эскалатор не жду — сбегая. огородник с рюкзаком и притороченной горизонтально электрокосилкой, как бы его не задеть. вверх поднимается больше людей (в особенности девушек в легких маечках и вот в топиках две подружки) чем едут вниз, как я никто не бежит, а стук от моих соскоков кажется даже чужим, что следом прыгает. как карты, выстрелившие из колоды, вверх убегают рекламы на щитах (опасливые пассажиры интересовались их весом: около 5 кг, говорят знающие), знакомая навязчивость и неразбериха — прощай, я к деревьям еду. вертикали ламп, их классические венчики, тёмное дерево снизу — как в детстве, с тех пор. но вижу это сверху, не медленно и не как того хочет скорость эскалатора, да ещё на взрослом бегу.

витражи синим и красным говорят: Столица, культура, история. я забежал к последнему вагону, тут время замедляется, и минута ожидания чрезвычайно долга. всегда у лавочек каменных, приятно нынче прохладных, какая-нибудь лужа неизвестного происхождения... жду в ветру из тоннеля — тёмный и тайноватый ветер, с дёгтем и пылью, со временем, здесь таким длительным, упорядоченным, затемнённым между поездами. вот долгожданные три ноты, убедительно сообщающие о прибытии поезда, которые подхватывает вихрь и свет — добрый, подтверждающий, что это как всегда он, поезд, никуда вы не опоздаете. сколько там? двадцать одна, как раз успеваю.

глухая стена последнего вагона, сумка упирается в неё и создает удобный подлокотник для выстаивания в течение двух перегонов. Проспект мира сразу же высвечивается и убегает в тьму. вагон трясёт сонноватых от вчерашней жары пассажиров. в вагоне ощутимо жарче, чем было на станции. и запах застоявшийся, хоть привкус метро его и гасит дёгтеватой. Комсомольская, «выход к вокзалам»...

торжественный коридор к эскалатору справа, как обычно, уставлен продающими. Русское лото, пискляво твякающие, мигающие игрушки — истерика вещей «спешите нас приобрести», у эскалатора в загоне за поручнем встал мрачный нищий дед, опущенное лицо. мимо последнего всплеска городского уклада пробегаю, вылетаю медленно на ступенях к белому своду и прямо, сквозь турникет номер 11, к своей еще десять минут ждущей электричке.

проглатываю целые куски времени, погружен в нарастающее ощущение тебя. только торговля мороженым и газетами в вагоне будит. и движение поезда медленно подхватывает, словно продолжает взгляд назад — туда, за Казанский, который остаётся в просвете между зданиями Ярославского и Ленинградского. КИНО ПЕРЕКОП ТЕАТР справа следит, выглянув. шпиль гостиницы «Ленинград». но там, куда думаю и гляжу в меру видимости из окна, тебя нет. ты тоже уехала. и тоже недавно. а мои пути и прижелезнодорожные избушки рассказывают ту же историю, каждую историю моего пути из Тебя, Столица.

выезд из интенсивности Твоей информации — к зелёной плавности и воздуху. к неасфальтовому, неконтурному, мягкому. и прохладному. но где ты тоже настигнешь меня, и дня не пройдет — той, что видана вчера. словно обратно отматываемая плёнка — моё стремление к тебе, в Столицу. теперь-то движение спокойно и солнечно, ясно разбирается на рельсы и шпалы, на станции Лосиноостровскую и дальнейшие. столько предварительных подробностей — чтобы непредсказуемо лазить с тобой, Тайная, там, неведомо где. ведомые своими глазами, нащупываемые взаимными ласками...

какая-то отстранённость сейчас во мне. я без тебя. сухота какая-то. впрочем, мы ведь едва знакомы. но так много оставляю там, где твоя и моя пустуют квартиры, и соединяющие их пути-переулки. мы сойдёмся там, через несколько дней. мы снова там откроемся. я уже и не верю в то, что было. бывшего нет. и надо снова тебя искать. снова доказывать, что видеть и чувствовать тебя для меня не то, что сейчас вспоминать. сколько надежд в молодом человеке! да, я надежда многих. это будет симфония ласк, не зря же столько грезил и бродил за тобой, тебя в поисках. и рассказал ли тебе то, как долго? и вообще, что ты — это Тайна Её, моя единственная там, выисканная?

сороговорка продавцов кстати, они забирают в путевые будни, даже из теперешних мыслей. громкий шлёп резины — так перчатки показывает торговец, а еще бельевую верёвку, пальчиковые батарейки, лезвия для бритв. но сейчас отстранён от этих подробностей, избирателен. хочу довести до дачи, до ночи, до утра и дня ощущение тебя. тот на крыше — вид, под дождём. совместный шаг, талию, руки твои, Тайная моя. приоткрывшаяся под дождём тёмными кружками под сарафаном, синеватыми, зябкими. торговцы — торгуйте, вам меня не отвлекать. да, торгуйте, ведь это нужно вам и кому-то. да и мне в ином случае. иногда покупаю эти лезвия-кассеты, чтобы так, как вчера выбриться. и — к тебе бежать. опять зарасту щетиной к следующей встрече. я вместе с пассажирами, я один из них, уезжающих из асфальтового зноя с утра, к земле — дышащей и прохладной вечерами.

набираем скорость, мосты. бетонно-серые гаражи расписаны ещё старыми полупонятными фразами прошлого. «Chelsea». команда, футболист, политик? «Телек». несколько раз «Телек». группа так называется? или просто поклонники ТВ пишут на зелёной обмотке вздымающихся труб? башенка ПВО над заводом, вечный и даже летом густой пар. Мытищи близятся, отъезд от Тебя ощутимее. мы разлучились — в разные стороны по лучам железнодорожным выехали. ты мимо углового того широкого дома на Электрозаводской — под тень дедовых хвойных, я к полям своим и лесному горизонту в закате. Это, видимо, нужно, чтобы вновь найти друг друга там, в Ней, в подробностях Её, что тебя подсказывали, вели или плутали... но ты найдена. ты, Тайная. дома оставляю в солнце. я к листьям. где дни неповоротливые, не размеченные Твоими подробностями. к бревенчатому подлиственному протожилю.

это длится уже не один день, хоть я и отсчитываю. поеду завтра или послезавтра: каждое утро мысль, согревающая помимо полосок солнца на простынях какой-то затаённой хитринкой. мои не знают, зачем я поеду. а тут — словно прыжок назад, в детство, в безвозрастность какую-то: покупаю овощи на станции, хожу с бидоном, выстаиваю в старых коротких шортах очередь за молоком из колёсной цистерны, пьем его семьёй, варим. стою в очереди как один из местных пацанов, ничем не выделяясь, только помня, зная, что я знаком с тобой, что ты там будешь через несколько дней, после часа рельсового лёта — там мне встретишься. прошло дня два или один? но время не останавливалось, просто замедлилось и слилось с зелёной здешней жарой. даже купание — не метка этому времени. перетекаю из дня в день, как вода из пруда в тонкую речку — и к станции. силеносный воздух природы, идущий из лесов, жаркие сухие плиты лесопилки под ногами, маленькие сельские магазины, продавцы, деньги в руках — всё это так плавно и незаметно, что, кажется, когда придет время ехать, этими же руками и деньгами покупать билет — точно проснусь, настолько будет это иначе. а пока — растительная бесполоя благодать. только девочки-подростки в очереди за молоком — подсарафанные грудковые соблазны их, к бидонам нагибающихся: воруют, утягивают внимание. но они только как отблеск тебя — в намокшем, складками зовущем коснуться под шеей, твоим одеянием. как стремление к изящной и плавной, очевидной твоей женственности через их порывистую неуклюжесть. хотя в тебе что-то есть от них, двенадцатилетних. сама такой была недавно.

моя — на мокром, солнце белёсо отражающем, железе крыши — сидящая, улыбающаяся, слегка смущённая таким высоким положением, нашим окаянством городских альпинистов. моя: когда обнимаю там, наверху. когда целую тёмные, сжавшиеся под холодным падением капель бугорки, вершинки грудок. мы сообщники. никто ещё так странно не поступал: едва познакомившись. и мы впадём с тобой в эту же стихию в Ней, Тайная моя. тайная и сейчас, когда несу молоко под рябой тенью кустов, и когда снова увижу: моя. а здесь, в травяном краю, всё это время ритмично наплывающих о тебе воспоминаний, идёт время — дневное, жаркое, простое. простое по разметке, по делам, его измеряю-

щим: принести два ведра с водой, соорудить костёр, сбегать за хлебом с утра, за молоком днём, купить пельмени на два дня.

здесь дни настолько плавны, что и приход вечера, уход тепла — незаметен, всё ещё присутствует зноем в каком-нибудь углу жилища. от дня до вечера — два стакана молока — до и после обеда, с чёрным свежим хрустким своей поджаристой ржаной корочкой хлебом. листья чёрной смородины в чае: вкус сада, травяное внутри. дневное тепло прячется на ночь в дощатый туалет, создавая дополнительное удобство, подогрев помещения в ночной свежести, если необходимо выбежать.

так, ежедневно переплывая незаметно из утра в вечер, тут живу. мысли к тебе несутся на юг, вдоль железной дороги, вслед ночному свисту электричек — как технический, вызванный их движением ветер (плюс недвижный запах шпал, манящий в городское). к Тебе, Столица. буду скоро, буду идти к парку Баумана, к твоему серому за листвой дому. тут тоже дожди, тоже тяжесть туч перед их просеиванием капельным на нашу траву, ягоды, чеснок остроязыкий. ты у себя на даче во внимании, в кругу семьи, рассказала об экзаменах, о победе своей, что-нибудь намекнула о наших потом путешествиях. или не намекнула?.. да и не важно. завтра с утра рванусь к тебе — застану или нет, но подожду день там, пожарюсь под душным потолком в нещадной каменности. нет, Она притягивает сама по себе, тобой притягивает, но при этом — когда думаю и вижу тени громадные туч на асфальте, синюю глубину неба — то немедленно хочу быть там и ждать тебя хоть все дни напролёт.

и утро отправки к тебе настанет приятной деловитостью — уже не лежать в свежих полосках солнца на простыни, не нежиться, а целенаправленно собираться со списком в блокноте — что нужно захватить оттуда. есть повод для отлучки, всё в рациональных рамках. даже прямая асфальтовая дорожка к станции — когда отправился, зная, что к тебе — чеканится в шаге твёрдостью городской. уйти с мягкой и травянистой земли, от её доброго языка кочек и корней — по этой дорожке, через быстрый мостик и снова, хоть и по покорёженному, но асфальту.

аллея расступается: почта, дорога, тепло от асфальта её и звук несущегося от Тебя поезда — скорого. мой ещё не скоро, дошёл сюда очень быстро, ещё пятнадцать минут как минимум. арбузы светло-зелёные продает сонная восточная девушка, курит с другим продавцом или автомобилистом. пыль и утренний, здесь на голом месте сильнее ощутимый, зной прохожу. позади наискось стоит недалеко от памятника воину Великой Отечественной пожилая очередь за молоком из небольшой жёлтой (раньше — квасной) колёсной цистерны. а я к поездам. по солнцу, мимо торговых прилавков-пространств. как всё тут просто и иначе, чем там, куда спешу. тапочки, игрушки, шариковые ручки, майки — всё уже по-провинциальному в диковинку, обращает на себя внимание. потому, что на фоне поляны, деревьев — тут много фона для таких безделушек, если природу можно считать фоном, а тапочки фигурой.

по лестнице на перрон шаги приближают к растущему каменному жару. сюда принесётся железный, устало-влажноватый от постоянного путевого зноя состав электрички. но пока — тишина, свет, люди на перроне. небо ещё светлое, сливающееся с облаками, свежее, не проветренное, со стороны, куда поеду тянется белый самолётный шлейф. как всё просто: собраться утром, дойти сюда и ждать, чтобы быстрее, быстрее, быстрее лететь по рельсам к Тебе, к тебе, Тайная, Таня моя. но тут о тебе всё молчком. деревья ажурны, листвою живы, чуть шевелящейся, пассажиры, потрескавшийся асфальт перрона, отверстия в нём для столбов. Надпись: «Остановка последнего вагона». от Тебя, под гору виднеется всё ближе — торопится и гудит дизельный локомотив-рельсоукладчик, на перегоне. стук стыков рельс всё громче, локомотив, пошатываясь в стороны, проспешил мимо противоположной платформы и оставил едкий, жирный перегар своего дыма. горелый, горький. небо и солнце те же. где тень — холодно, но на солнце согреваешься быстро и можно даже зазноиться. ничто не предвещает электрички, даже светофор впереди — жёлтый.

кажется, что поезд гулко приближается слева, но это лишь звук автобуса у переезда: раз переезд ещё открыт, то и электричка не скоро. листва напротив за платформой в вышине колышется от ветра, тут не ощутимого, верхнего. светлая зелень, светлое небо, ещё не набравшее дневной синевы глубокой. отхожу под тень кустов, уже напёкся, ограда — плохая опора. отчего-то именно на нашей станции кончились верхние планки для металлической ограды. так и стоит ближе к первому вагону — ни опереться, ни поставить на неё кладь. из-за того, что всякий пассажир в ожидании электрички опирается на ограду, сделаны внизу приваренные узлы, связывающие ограду с арматурой, выходящей из плит платформы. жёлтая верхняя перекладина и опоры, красно-коричневые вертикальные, полосатые, рядом идущие заборы. что-то вроде показалось. да, звук другой, не автобус. нарастает и высок. свист рельсовый и чириканье проводов подтверждает. вон его рыжие поперечные полосы. подъезжает. второй вагон достаточно свободен, видны на просвет свободные сиденья.

стоп-кран алюминиевого цвета с красной родинкой. раздвижная гостеприимная дверь, резиновогубая, не пускает табачный дым в вагон, тут велосипедист и солдат курят с девушкой светло крашеной. вон место, на солнце, но другого нет варианта. на то и кепка «Ротманс», выигранная однокурсницей и подаренная невзначай, за неимением лучшего. потому что курил с ней «Ротманс» курсом раньше, запомнила.

пусть солнце, но — скорость, ветер из окна охлаждает достаточно. я еду к тебе, не уверенный, что ты там, но еду и это уже — совсем новое пространство мне, новое время. даже читать ничего не взял, чтобы не выходить из пути к тебе. в вагоне, пока ещё не заполненном до отсутствия свободных мест, виден путь с обеих сторон. на перегоне до Пушкино — без остановок. промелькали софринские заводы, зелёное барокко вокзала и начались лиственные кущи. в просвеченную солнцем зеленевУ. листья шумят от вихря поезда, шум его отражается стучащим о дальние заборы эхом: плавный шум качения, разритмованный

сотрясанием и стуком от колёс. 43-й километр, Зеленоградская... проезжая ещё немногочисленных ждущих на пролётных станциях — веселее, быстрее ехать.

тянет меня магнит — по этой железной дороге, лечу сразу без остановок, пока Пушкино не выглянет салатовыми заборами депо. тянет тайна, Тайная ты. снова невидимая и неосязаемая, словно жара эта асфальтовая, вновь к которой еду, мне тебя набредила. набрёл на собственный же вымысел после дождя? на том мосту. кажется — совсем давно, несколько лет назад. но всё то же самое, и год, и ещё не убранные от урагана рухнувшие деревья, мимо которых пойду к тебе.

справа дачи с открытыми окнами, это и есть начало Пушкино, всегда почему-то мой взгляд оказывается именно на балконе этого дома, когда тут проезжаем. вот и пойдут депо теперь. часы стоящие — 7:13, над воротами депо, откуда вытянуты составы электричек, горелый вагон на запасном, рыжий из наивной зелени, словно окислившийся на переходах от краски к горелому металлу. надо же: тороплю то, что всегда стремился медленно и подробно видеть — попутный пейзаж. все лета свои здесь езжу и всегда непривычно видное. каждый раз будто смещается точка зрения или вагон идёт другим путём. знакомое пространство: может, ты проезжаешь сейчас свои просёлки. или проехала уже и в Москве ночевала. она в Тебе, Столица?

всё, предваряющее твой вид, твоё приближение теперь тороплю, словно вагон подталкиваю взглядом — отталкиваясь от домишек и водонапорных башен. от исписанного РНЕ и рок-группами забора. скоро, скоро Мытищи. нет, пока еще — ждать...

нарастаешь, Столица, домами. выформляешься из изб через каменные двухэтажки, пятиэтажки типовые на отлётках, и уже видна белыми и бежевыми массивами шестнадцатиэтажек. солнце уже уверенно. бьёт сквозь светлые листья, а за ними справа воинская часть, забор местами опускается и видны деревянные корпуса. шоссе от Пушкино нырнуло в Мамонтовку: слева древняя высокая бревенчатая постройка, вся резная, точно сосульками увешанная. резные украшения словно пряничные от тепла — от времени сыпаются, отваливаются, тёмно-древние. вагон потихоньку наполняется. здесь и торговцы подсели. голоса привычно-беспокоящие. что-то даже приятное в том, что они занимают. а мне в мыслях о тебе и во взгляде на приближение Тебя — это мирный, безобидный фон, даже когда перчатками хлопнут продаваемыми, чтобы показать их прочность. мой мир сейчас: листва и ты, твоё там — куда еду — присутствие, обнаружение мной грядущей тебя.

вот и Мытищи подплывают справа складами. глядим на пустые рельсовые развилки, на которых только собаки бегают, раньше тут товарные составы всегда стояли. вагон наш утрамбовывается, проходят вперёд с детишками родители — везут гулять к Тебе, водить показывать. так, придётся встать: ребёнок такой должен сидеть, маленький ещё, и мама с беспокойными глазами. а то всё сидел, глазел да думал...

Садитесь, пожалуйста.

тихо сели, без благодарностей, мама сразу отвлеклась на ребёнка, руки его изо рта вытаскивает строго.

— Перестань, сказАлаи! Лазишь везде, а потом в рот? Убери, убери, сказАлаи! так что теперь постоим, едучи. стоя жарче, вагон не проветривается. но тронулся, и ветерок дует, чем медленнее едем, пока скорость набирается — тем сильнее продувает.

гляжу на правую сторону по пути, тут мало интересного, скорей бы уж приехать. несчастные торговцы пропихиваются один за другим. вот этого помню — «тапщка», турок, вроде. с сыном ходил, тапочки продает. эх, перестановки эти: наступила мне тётя каблуком. но потерпим, не визжать же.

очередной перелесок расходится: тупичок со снегоуборочным составом ко-соликим. товарные пути перед Лосиноостровской. помню по порядку те дома, повторяющийся их порядок. где-то ближе к самой станции, перед жёлтыми башнями будет длинный пятиэтажный дом однокурсницы: лицом, а точнее лестницей сюда выходит. помню весной там отмечали наши с ней мартовские дни рождения и солнце светило в окно лестничной клетки ярко, со стороны железной дороги и звуки поездов, торфяной дым... теперь и не холодно, и всё наоборот. еду тут, а её дом стоит, и никого там нет, скорее всего. разъехались, отдыхают. а я крадусь в Тебя, добираюсь к тебе, хоть и не уверен, что встречу. но сразу же побегу. не зря же корябал себя над тазом с тёплой водой одноразовой злой бритвой «Биг»? вот и еду брит, стоя еду, в зное. только чтобы снова с тобою двигаться в Твоих ветерках и улицах, уводящих...

электричка, дай ветерка, скорей двигайся: уже на счёт пошли станции. скоро словно ворота — Москва-3, скажет машинист. скажет торопливо, словно успокаивающе. и напомним, чтобы не забывали вещи. но ещё — Яуза, Северянин, где не остановимся... Маленковская. но пока — кусты и гаражи.

да, нас ввозит поезд в Тебя: наискось выглянул мост гранитной твердью отделки, украшениями (точно для факелов или флагов предназначенных держалок) возвышающимися. это Ты, всегда Тебя узнаю, считаю отсюда. по мосту идут по-Твоему мирно, последовательно и МАленько троллейбусы и икарусы — и те, на которых ездим к однокурснице готовиться. мы с вагоном, внутри его по линии рельс входим взглядами как лучами, беспорядочно направленными из окон — в Твою структуру, в Твой порядок движения и улиц. но станцию проезжаем медленно, не останавливаемся — Северянин. заборы исписаны зелёным, блёклым: «СССР — оплот мира». афиша сбоку сизая: Михаил Круг в местном ДК каком-то, неразборчивом.

всё же Ты уже не в силах скрываться за кустами и лиственностью. выступают дома, что близко к ВДНХ, где бабушка лежала в больнице поблизости. вот дом с фонарными стеклянными вертикалями-боковинами, который мне сызмальства всегда Тебя рассказывал, что там — светофоры видел, переходы, улицы. в Твой масштаб и упорядоченность зазывает дом. верха его ребёнком не разглядывал, только стеклянный бок помню, а теперь чётко знаю и узнаю скатистую крышу, светло-желтые боковины, впадину.

незаметные, в Тебе уже — Яуза и Маленковская. снова забирают наш путь, прячут координаты-дома кусты, листья, зелёная под солнцем светлая стихия. а вот и выпуклый бок ангара с надписью «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ». значит, уже Москва-3: да, объявил машинист, остановившись — за ангаром этим лес Сокольни-

ческий, на этом уровне мы с тобой выходили из первого вечера нашего к метро — низкому, жаркому, помнишь? ждёшь ли новой вылазки вдвоём? там ли ждёшь, куда еду? или ещё на даче с родителями и дедом и вспоминаешь, и, может, томишься по встрече? что-то совсем захватывает приближение к выходу в Тебя. бежать прямо с перрона, мимо пиков вокзалов. напрямик. нет, там придётся чуть изогнуться. но всё равно напрямик. это мелочи.

справа с выпуклыми ромбами забор депо, локомотивы поездов дальнего следования, картинка над депо — железнодорожное колесо с крыльями и люди-строители, люди-машинисты в мозаике с красным отливом с краю. почему-то мы тут быстрее поехали, минуя большую развилку путей — под мост. пробежали расцепленные, сгрудившиеся на откосе беспорядочно электрички — лица ведущих вагонов упёрты в резиновые тамбуры средних. мосты один за другим — и вот мы в Твоём каменном преддверии. но остановились, пропускаем выезжающий дальнего следования состав. Ветлуга. стоим в жаре, собственной тельной жаре, запахи тётчьепо походного пота, мужского спозаранку перегара. скорей бы выбежать отсюда в Твои просторы и воздух. но странно — путь к тебе мне всем приятен. весело в ожидании — даже дух этот людской, густой и живой, активно испаряющийся каждым — приятен, понятен, бодрит.

двинулись с ветерком, воздух живеит от этого, Твой воздух нас щекочет, подзадоривает влажные запахи пассажиров. высокий забор привокзальной территории, состав дальнего следования с краю, будка охраны перрона, вдоль которого быстро подкатываем, поддёргивая. стоп. теперь надо хотя бы выйти побыстрее. на праве стоящего. поток меня принял. седой передо мной хмельно чмокает. пенсионер, а пьян с утра. сзади грудная мягкость женщины. а позади по ногам колет её холодная отчего-то сумка. замороженное что-то везёт. тамбур прокуренный, ещё более жаркий, чем вагон. вот и воля.

солнце тут, но свежее. быстрое движение всех к подземному входу-коридору в метро. и мне бы туда как обычно, но иду по верху, свободно пересекая потоки спешащих и с поезда, почему-то в верхний вход (а на самом деле только выход) метро, и на поезд — наш же, жаркий, разгрузившийся.

асфальтовое отражение жары, после земляного низа, непривычно и изнурительно. вот этот коридор, который с детства проходили — до стоянки такси, ждали тут, за Ярославским перед огромным морем проезжей части. давно этим маршрутом не ходим — а сразу поДземь, в длинный зал, к метро. как приезжал последний раз сюда. сейчас же путь кратчайший. огибаю угол Ленинградского, перебегаю лестницу. плотность людей и их занятий тут Твоя, обычная. красные ступни торговков газетами и хот-догами. длинный ряд бомжей на бордюре напротив входа в метро.

тут, с этого входа меня учили проходить, бросать пятак — приходилось несколько раз, а после и той неудачи проводили по-прежнему, как маленького. мочевой запах — то ли от бомжового ряда, то ли тут на лестнице в подземный переход усиливается, чем ниже тем гуще. непрерывные ларьки с обычным содержимым. только я их тогда не замечал, когда от тебя шёл, в первый раз. «Ле-

ванте» колготки, бельё, кассеты, бутылки пива, чипсы «Эстрелла», калека в мочевом запахе с коробкой из-под батареек TDK и монетами там. пробегаю их, невольно по-новому вбирая и воспринимая эту едкую и печальную пестроту вида и запаха Твоих привокзальностей, низОв.

сплошной ток здесь таков, что сразу забываешь, кто ты и куда направляешься. выход из-под площади трёх вокзалов — у Казанского, сразу у туалета встречает, только охраняемый и платный, тот же дух. но пробираюсь мимо зелёных охранников, выходящих из метро и носильщиков, атакующих своими нагруженными колесницами. носильщики тут армяне или азербайджанцы. или цыгане? вон их целая стая — стоят громко с гортанным хохотом говорят, курят папиросы почему-то, глядят на прохожих, спешащих в летней лёгкости своих платьев девушек. отчего мне всегда так неприятны эти привокзальные подробности? чувствую, что я яростно враждебен этому, но минуя это всё — я к тебе спешу. почему спешу-то? откуда известно, что ты у себя? не забыл ли этаж? но вспомню дверь в любом случае, девятнадцатая.

вот угол и долгожданный просвет вдоль железнодорожного моста — впереди здание Арбитражного суда сказочно выглянуло, обнадёжив моё путешествие. всё так же, но меньше, как обычно по прибытии, и ближе. здесь только встречное движение прохожих замедляет. так-то всё рядом. троллейбусы поворачивают отовсюду... из-под моста и сзади — налево. под мостом тень, а там впереди, куда иду — жарко, очень жарко. всё как-то неожиданно яснее и ближе. облаков почти нет, только местами светлая дымка — около дома арбитражного суда, правее над товарным поездом, проезжающим попутно мне, громко, с отзвуком под тенистым мостом. металлическая глухая чеканка — поезд повёз тяжести к Курскому вокзалу и дальше, видимо. пройду тут тем же путём, что от тебя в первый раз уходил. автозапчасти, магазинчики, попутные мне: предваряйте мою встречу её, и гадать на вас буду, встречу ли. окна распахнуты на втором и выше в свет и ветерки. к звукам перегона поездов. цветы поставили поближе к свету. ведь живут тут круглый год, летом без загородного отдыха — цветы и люди. мимо трансформатора или дома культуры, глухостённого, желтокирпичного. тут пусто, иду к переулку быстрее, под машиной копается за углом толстый мужик, под «Волгой» чёрной: местами из-за перекраски посеревшей.

этим переулком выйду уже на твою улицу. вон уже задворки церкви видны, из двора там выезжает мусоровоз, переваливается на тротуарном бордюре и едет вдаль. деревья, ведомства, я как-то не готов к вам приглядываться — всё проглатывается взглядом, но не разбирается. я просто читаю вас, как должно быть, в любом случае быть — по пути к ней. к Тайне моей. за стенами, за переулком поворотом. надо же: как быстро теперь иду и как тогда от тебя уходил медленно, словно против течения плыл, медленно и окна на меня глядели этого дома, всё в них помню тогда, даже это, которое и сейчас открыто — уже светилось лампой, на ночь глядя.

в церковном дворе суета, людское скопление — это задворок той церкви, которая петровских времён, с травянисто-волнистой древней оградой, со сто-

роны твоей Новобасманной. столы стоят длинные, народ кормится. благотворительный обед, что ли? и деревья древнейшие, высокие, толстые стволы их загораживают видимость там происходящего больше ограды. людской говор стоит, ложками стучат — необычно. вот неожиданность. праздник, что ли, церковный какой? или так их тут каждый день кормят, сирых? по теплу сюда пронеслись бомжеватые оттенки запаха. сначала казалось, что это от помойки у дома пройденного. нет, это от них. трансформатор или газовая, скорее всего, подстанция с надписью «Огнеопасно», буква «а» с выгнутой левой палочкой — точно как рядом с домом Рябушинского, за Патриками, по пути в школу мою.

вот и угловой сквер, листья на миг затемнили, накрыли шаги мои, тут даже асфальт не сухой, а влажноватый от тени. Басманный переулок — названием уже щекочет, мурашками от понимания приближения к тебе. теперь направо, вдоль трёхэтажного светлого дома-старожила. запах стен, я уже от такого успел отвыкнуть — настолько, что чувствую вдумчиво, а не автоматически, неблагоприятно. как хочу почувствовать опять запах того брезента — машины под твоим домом, предвестник твоего подъезда, тебя! скорей туда.

так необычно, нежданно эта мысль ускорила. и не думал, пока ехал, что так буду лететь, так рванёт меня уже тут к тебе этот запах запомнившийся. вот разъездились! пока внизу там шёл переулком — ни машины, теперь же оттуда целая очередь — и все поворачивают туда, в твою сторону, не дают перейти. за-солнечная стена здания Арбитражного суда, готические колючие завитушки. ладно, тут пойду, на парк через дорогу глядя. тут твоя улица и листья деревьев перед домом Стахеева и парком Баумана беспокойные — мерно шелестят, будто язычки бесчисленные, что-то сообщают: тропят, журят или посмеиваются? булочная, парикмахерская, ремонт мебели — словно вышел на улицу нового детства — незнакомо-родную. тень от дерева на секунду снимает ощущение пекла. пока шел вдоль церковной ограды и этого углового — напарился, не заметив. на светлых кирпичях генеральской башни в тени — старый чёрный пластмассовый шрифт восьмидесятых: 107078 почта, телеграф. хлебный ларёк «Надежда» на колёсах там же стоит, союза офицеров который. последнее пристанище звёздочки красной.

шагаю почти семимильными — уже поравнялся и с парковыми воротами, и комендатура военная надвигается на той стороне. как здесь хорошо от деревьев, словно улица моих восьмидесятых, детства. но я иду к девушке, к тебе, к мечте — там дом твой, вон он невзрачно сереет-присутствует за ветвями парка и их листьями. всё шевелится, машины несутся как по команде. вот момент пребежать — пока 24-й набирает навстречу скорость. этого изобилия машин не было тем вечером, тогда всё накалилось и после дождей всех катилось медленно, и даже ветви эти шептались устало, отражались в лужах, через которые...

застану ли? неужели ты можешь там оказаться? так вот сразу, по востребованию моём внезапном. но, не так уж внезапно. говорили же тогда... вот момент — перебежать чтобы — подходящий. короткая салатная стена комендатуры, берёзки за ней. номер дома твоего по-новому, и вывеска улицы как тогда — но-

вая белая с синими буквами «Новая Басманная». даже вижу отсюда уже светлый выгоревший брезент, о котором вспомнил там, в переулке. вот и долетел до твоего жилища. ходишь там, по паркетным своим помещениям, легко шагаешь женски по полу своей комнатки? я как к миражу или к настоящему источнику в пустыне рвусь. хорошо, что у тебя дверь без кода. хотя и тогда бы просто ждал до первого жильца. редкие они теперь, конечно. но вот же сидят у подъезда бабушка с мальчиком. на меня глядят, и на то, что там, за мной, у комендатуры делается: а там выходят в камуфляжах рядовые, строятся, куда-то направляются. бабушке с внуком странна моя торопливость в этот день — когда все если и спешат, то из дому, из подъездов, а не обратно. но я на их подъезд не покусился, пробежал скорым шагом вдоль облицованного плиткой низа первой части дома, тоже серой, но она кажется моложе той, куда спешу. вот — клумбы, за угол и...

твой подъезд. открыт настежь: тёмен и прохладен. не бег — это было бы совсем неподходяще, а шаг через две ступеньки. мимо спокойного модерна перил лестницы. до квартиры 19, твоей двери. всё происходит быстрее предполагаемого. первое окно на площадке, на которое залезал по твоей просьбе, спокойные из него деревья парка. вот и дверь. отдышусь, тут жарче, чем внизу. воздух — не пройденный жильцами курящими с их запахами, сплошной и стариной настоявшийся — в отсутствие будничного бега по лестнице. нет, что тут ждать... или пока не надо звонить, надо осознать себя прибывшим, оправиться. вельвет-штаны, конечно, подмяты. может, это сверху так кажется? вот будет смех, если... нет. показалось. или шум за дверью? думал, выйдут сейчас... родители? хотя, что-то там было. даже не знаю, какой звонок будет. да и работает ли?

работает — птичкой заливается. не слышал такого. тихо? никого? словно там окно открылось — подуло снизу сюда. твоим паркетом запахло. да, вроде шажки. твои лёгкие, пружинные, ускоряющиеся. замковый проворот, открывается... да!

в том своём чёрном лёгком сарафане. объятия крепки и ты такая тоненькая в моих руках: спина, талия, ты вся в моём объятии крепком, приподнимающем. и ставящем: чтоб оглядеть. улыбаешься, загорелая.

— Наконец-то!

— Надо же, вот сюрприз, ты здесь!

— А я ждала. Я же сегодня приехала, только час тут, даже заснула.

— Ты моя... Спала?

— Да, что-то сморило, в электричке долго ехала, в душной.

— Я так по Столице соскучился — по Ней и по тебе.

— А всего несколько дней отдельно, не здесь. Ну, пошли?

— В дороге отобедаем чем-нибудь, на ходу.

— Да я даже не думаю... Хотя почему же? Если ты со мной до вечера доживешь и захочешь на нашу пирушку — там и накормят до отвала. Это такой дом. Художники, они, знаешь ли, умеют правильно и сильно питаться.

— Так у вас, наверно, девичник?

— Нет, там будут и ребята, тоже поступившие. Мы их и не знаем почти. Пригласили, когда у стенда с последним экзаменом стояли. Ну, идём?

— Идём.

нас лестница с перилами забирает, вместе шагающих весело, быстро. мы побежали в Тебя, спускаемся. колотишь по ступенькам своими туфельками. ещё с нами, запущенный дуновением закрывающейся двери, шлейф-сквозняк твоего паркетного запаха, лакированного. так соблазнительно спешишь своим шажком, что моя рука сама поймала твою убегающую талию и вместе с ней прыгает: перепрыгиваю ступеньками в унисон тебе, ты глядишь с задором ещё не начавшегося путешествия, с замыслом. из прохладного мрака твоего подъезда — в ответственность, к деревьям парка за оградой. здесь тенисто, облака ещё не выпустили солнца или вообще сегодня не выпустят. молча, только глядя друг на друга безотрывно — весело, заговорщицки — шагаем к Новобасманной. бабушка с внуком уже не сидят у подъезда. тут вдруг опустело, и солдаты ушли, только два военных газика стоят — белыми буквами на красном гербе написано «ВАИ».

не может быть, что тебя чувствую. снова как упорное желание дачного сна в ожидание встречи — твоя талия обнята моей ладонью, мы идём мерно, вместе. тёмные волосы твои собраны на затылке: так ты ещё краше, открыта шея, изящность её под взлётом тонких волос. не удерживаюсь — туда целую на ходу, неуклюже шатнувшись. поцеловала в ответ в щеку, идёшь, строго и нежно глядя.

— Ну вот, не успели даже от дома отойти.

— А что, нас могут увидеть и осудить?

— Да, все же следят за нами отовсюду — ха-ха-ха! страшно?

— Жуть. Военная комендатура — дело нешуточное.

— Ой, не говори. Как хорошо, что мне в армии не служить. А то боялась бы тут ходить.

берёзы проходим — и на улице, оглядываюсь: там твой таинственный, зазывающий какой-то непонятной старинной романтикой двор и дом в стиле романтизма архитектурного, этажи — слева, за гаражами. там бы и искал тебя, залезал бы в арки эти — если бы не встретил на мосту. но вместе мы, мы уже встретились, снова. повернули туда же, как и в первый раз, под вывеской обменника валюты идём. старые деревья на противоположной стороне слабо шевелят листьями, пестрят их светлым исподом в верхнем ветре.

— Смотри-ка, вроде солнце показалось. Ну, рассказывай, как ты за городом у себя жил?

— Погоди... Ты такая тут неожиданная и вдруг спрашиваешь про ерунду. Дай лучше просто тебя почувствовать рядом. Ничего я там не делал, за молоком ходил. Тайная моя — я только об этом моменте и думал там, от этого дни слились, не различал их...

— Да, видимо, долго слишком не виделись. А ведь всего-то неделю, даже меньше.

— И знакомы столько же. А вот оно как...

не удержаться: увлекаю тебя в пространство между стен, к жёлтым гаражам справа, что «1 метр влево и вправо не занимать»... левей, к старому широко-

му стволу дерева у стены прислоняемся, словно ветром гонимые и... да, этого я ждал и хотел — снова почувствовать губы эти тонкие, мягко щебечущие ласку, твои: их ответ. руками от талии взбежать по мягким складкам сарафана к груди, к шее твоей, устремлённой ко мне в ответе. сначала медленнее, неуверенно, но теперь уже такая же скорая, мощная сила с твоей стороны в сближении нашем устном. действительно солнце проснулось из туч, греет нас сбоку, и ветерок пошёл слабый. вместе с мурашками от нашего прилива из уст в уста. ты пахнешь кожей летней и листьями, немножко банно. не удержался у губ твоих, сорвался вниз — целовать из-под сарафана открывшееся преддверье двух холмиков, плечи и руки, тонкие твои руки и кисти. ты мой листочек: как это дерево вся шевелишься, с полузакрытыми глазами под каплями поцелуев, ветром ласк.

— Ну пойдём, а то прохожие...

на меня чуть укоризненно по-своему взглянула, повела за руку из-под дерева. обратно в улицу, уже солнечную, с яркими поблёскивающими листьями на расшевеленных ветром ветвях. вынырнули из закоулка моего поцелуйного прилива. и снова веселей, проще на ходу глядеть друг на друга.

— Вот ты какой... сразу, значит, девушку в подворотню и целовать? Не рассказал ей ничего. Ишь... Ладно, про дачу я тебе тогда расскажу.

— Да, и самое главное — как приняли твой триумф, как отпустили сюда?

— Отпустили спокойно, они знают, что мы тут будем отмечать у подруги.

На такое нельзя не поехать, у нас в семье праздники в чести. Вот... а приняли весело, радостно. Но ты не думай, что прямо фанфары какие-нибудь. Мы тихо там живем. Правда, пришли соседи-художники, дедовы друзья с женами. И папин друг у нас гостит, они там рыбачат. Они везде рыбачат, скоро поедут на границу с Белоруссией, тоже рыбу удить. Вот, что-то я тебе не о себе стала...

— Да нормально, мне сейчас все интересно по твоему поводу. Ну и что, отмечали?

— Ну да, шашлыки папа надымил с другом, тосты говорили, потом на реку пошли — дед с другом устроили дуэль на мольбертах — один рисовал реку в экспрессионизме, другой в реализме.

— Дед, наверное, в реализме?

— Нет, не угадал. Но у него вышло хуже, чем он хотел, и почему-то ночь, небо тёмное, хотя дело было днем. В общем, признали его проигравшим. У него на самом-то деле с глазами плохо, ему все сейчас темным кажется, грустит из-за этого, вот и тогда не получилось.

прошли Научно-исследовательский радиотехнический институт, палисадник его. пошла домовая старь, под шелест листьев шагаем, согреваемые солнцем сзади.

— Какая зелёная у тебя улица. Даже и не верится, что в центре, от Садового кольца недалеко.

— Да, я эти деревья с детства помню, меня тут на коляске возили, а надо мной троллейбусы ездили...

— А это что за усадьба?

— Не знаю, там больница всегда была. Давай-ка сейчас завернём? Или ты хочешь дальше под деревьями шествовать?

— Нет, сегодня твой день, води как знаешь.

— Уж я-то знаю, будь спокоен. Уведу за тридевять земель.

— А подруга на Арбате?

— Туда успеем, полдня еще впереди. Ну, за мной!

улица Александра Лукьянова, вспоминается сразу девяносто первый год, горбачёвская пора. но это не тот Лукьянов. под жаркой стеной ты увлекаешь мою руку и с коварством оглядываешься, пока я читаю табличку улицы, тянешь. за домом пошла старая нависающая вместе с фундаментом в нашу сторону решётчатая ограда: земля и разросшиеся корни её валят. крашеное старинное железо решёток витых, почти бульварных.

— Вон, видишь особняк зеленоватый?

— Точнее — салатový.

— Ну, тогда это выгоревший под солнцем салат. Так вот — там что-то такое декабристы делали, собирались, наверное. Вот. А это началась институтская стена — там два института, один учебный, другой научный. Химического машиностроения и экологии, кажется.

бюст Ленина. старый такой, облупившийся, несчастный... зато деревья разрослись. а лавочки, сообщаешь, убрали, лентяи: места их легко вычислить по планировке на асфальте, по рамам бордюров. раньше тебя туда маленькой возили в коляске и просто так гулять. дед твой на лавочке сидел с трубкой, дымил в сторону, а ты под деревьями бегала. потом за вами мама приходила, когда с работы возвращалась.. повествовательница моя. идём под стенами твоего города, под жаркими научного института этажами — говорим и глядим. впереди слева угол длинного дома красно-глиняного цвета и прямо какие-то старенькие домики по листво́й.

— А что там за улица?

— А вот это — Старая Басманная, она от Покровки сюда идёт, через Садовое кольцо.

— А, сообразил. Там на Покровке у меня знакомый проживает. Это в его сторону троллейбус проехал сейчас. Тусуется абитура — у всех сейчас пора окончания экзаменов. Тоже, небось, ждут.

скошенный угол и стенды, у которых студенты курят. на вид не абитуриенты, скорее старшекурсники. написано крупно от руки и обведено светящимся маркером «на картошку».

Это уже про другое объявление.

— Да уж, вижу. И не абитура это, старожилы какие-то.

— Возможно, это дипломники. А вас на картошку не отправят?

— Нет, у нас это не принято, у нас свои традиции. Мы начинаем сразу, с сентября. Обними меня, а то плятятся эти курилки вслед.

в ожидании, пока машинный поток прервётся, стоим вместе: прижал тебя за талию к себе, это ощущение очень тонкой женственности — приближен-

ной едва-едва, косвенно. но так лучше. и ты права — за руку идти даже жарко, а так лучше и красивее с виду.

А это что за стиль у дома красного?

— Это похоже на ардекО — дед очень этот стиль любит. Сталинского времени дом. они всегда большие и длинные.

— И высокие для тех лет. это когда?

— Похоже на конец тридцатых. Там, по-моему, даже мемориальная доска должна быть, какой-то красный военачальник жил.

— А у вас никого не было красноармейцев в роду или белогвардейцев, наоборот?

— у нас в основном художники. Дед, не служил, плакатчиком был в Ленинграде, а потом в Москве. Даже часть Гражданской успел запечатлеть на плакатах.

— А у меня были красноармейцы — бабушкины братья.

— Надо же: дворяне и при этом красноармейцы...

— Да, не удивляйся. Так, пора перебежать, по-моему?

— Один, Владимир, был охранником Блюхера, другой был контужен сильно на Гражданской, вернулся с нее инвалидом, занимался собиранием библиотек, его хорошо знали литераторы тех лет. Василий его звали, погиб в сорок первом во время бомбёжки на Канатчиковой даче, где жил в отдельном домике. Увлекался поэзией, с Маяковским знаком был. В большевики пошёл сам, ещё, по-моему, до девятьсот пятого года. Или позже, подзабыл. В девятьсот семнадцатом он стал первым красным комиссаром на Красной Пресне, совсем рядом от тогдашнего дома моих предков, Композиторская улица теперь.

— Какая у тебя семья интересная. Так, сейчас мы пойдем тут, дворами. Тебе нравится тут?

- Да, с тобою — особенно. Моя Тайная.

— Просто Таня. Или Тан. Ну какая я Тайная? Забыл уговор, который мы у того домика китайского модерна заключили?

— Нет, помню, Тан. Пусть будет Тан, я согласен.

— А ты — Тон. А ещё была у меня на пластинке детской такая песенка «О Таннен баум, о Таннен баум, зажжём на ёлке свечи...», что-то такое. Таннен — то есть мой, Танин. Вот и сейчас мой бал и я тебя веду в паре.

— А что мы танцуем?

— Не важно. Мы вместе — вот название танца.

тан-нец — это тоже твоё название. сколько там зелени, хорошие у тебя пути и места такие дикие, заросшие, таинственные, твои, точнее говоря. барабанит кто-то, населяя двор своим усердием. какой-то клуб в старом зданьице... целый квартал старых домишек. да, барабанщик настойчив: он учится, меняет ритмы.

— Вот, кстати, тоже сталинский домик, ты на узоры не смотри. Такие вкусные узоры.

— Это, наверное, потому, что обедом пахнет из окна внизу, у кого-то ранний обед. Сейчас ведь только второй час, по-моему.

— Специально тебя повела зелёным путём. Тут меня тоже на коляске возили, помню. Мне казалось, что это на краю света. И вот улица эта — что-то вроде побережья.

— Видимо, возили на площадку.

— Ну, тут много всяких детских приспособлений и сейчас. Школа там вот. Но мы тут пойдём. За мной!

вывернувшись талией из-под моей ладони, схватила её и ускорила наше движение. как маленькая, словно опять дошкольницей себя почувствовала и в игру меня тянешь, Тан. тайная моя искушительница. ведь твои порывы колышат сарафан, и когда меня обгоняешь, то всё, что вижу перед собой — упругие ноги, выше, вообще — сплошной соблазн. и прохожие от домов, и мама с коляской там у песочницы, похоже, замечают мою за тобой томную слежку. а ты — нет. или знаешь это с самого начала, поэтому и играешь, ведёшь, ускоряешь.

или это ветер нас подгоняет: через детские площадки выбежали на улицу прямо после проشمывнувшего справа навстречу грузовика кока-колы. снова поймана твоя талия, шагаем по горячему тротуару под старой выблекло-жёлтой стеной. Твой язык, Столица, вновь приучает видеть эти старинные рисунки, окаменелости дореволюционные. спокойные, недвижимые они и мы проходящие быстро мимо — с моим по тебе медленным, разогретым этим тёплым тротуаром томленьем и твоей под моей ладонью соблазнительной походкой.

— О чём ты думаешь, молчун?

— О тебе и о земле, по которой идём.

— А мы по земле разве идём?

— По асфальту, но он-то на земле.

— А обо мне что?

— То, что ты очень... Ну, своим шагом, вот, меня, говоря короче, соблазняешь.

— Это только шагом-то?

— Да.

— Тогда — сюда.

мы уже в переулке, где почему-то сохранились лужи — отблёскивают впереди. слева в просвете тех же старых стен проглянула белая восьмиэтажка и тропинка от неё в наш переулок. что бы с тобою сделать, как улучшить момент и обласкать всю, этой же рукой, томящейся на талии? лужи впереди — надо повести тебя туда и там подхватить на руки. улица тёмно-красных домов. что-то в них средневековое, хмуро-городское. такие бы осенью проходить, чтобы труба парила теплом, грустью в ветре. но сейчас зной, асфальт не просто горяч, он сам же и душен проходящим нам.

А это каких лет дома? Давай на ту сторону, чтоб видеть.

— Да как раз тех же. Похожи на сталинские, возможно уже пятидесятые. Я же только учусь, так что не суди строго. Эй, а ты знаешь, куда мы зашли? Хоть примерно? А то ведь я тебя заблужу окончательно, без меня не выберешься.

— Ну уж нет. Вот мы вас так вот подхватим и... не отпустим.

— Ой, как здорово. И ты так долго сможешь? Или только пока лужи. Сам же завёл, коварный.

лёгкая и знойная. прижалась своим женским теплом, в глаза лучишься своим взглядом, внимательной зеленью. а над тобой проплывает в рывках моих нагруженных шагов выглядывающая между домами листва перед неразборчивым небом...

гляжу в твою зелёную глубину, обведённую сверху карими локонами, брюнетка моя, жгучая и болотистая. в почти растительном сарафане, под которым зазывный изгиб талии. ты поймана. не отвечаю словами: исцеловываю от глаз до талии слева, справа и к губам притянут, сжат тобой и ты мною сжата — целуя словно и во весь рост телами сливаемся, стоя, вжимаясь, лаская даже этим мягким приближением друг друга. боюсь, что ты угадаешь нижний мой упор в тебя на уровне бёдер. ты затягиваешь так, что при закрытых глазах белый круг светится, как ореол затмения. моя Тан, Тайная, моя. ты безжалостна своей ко мне взаимностью. такого не бывает — как позволяешь мне в тебе так безоглядно и с прекрасным отчаянием тонуть? в губах твоих зной и зазывные, вбирающие движения. моя страсть ты теперь: я готов в этом сближении на неистовство — тут, прямо на улице, уже рукой справа назад обласкал, приподнял сарафан, ощущая твою чуть от жары влажноватую на внутренней стороне нежную кожу бедра, но ты поймала, остановила и на себе пригладила, успокаивающе.

— Ну-ну, не будем же мы здесь прямо? А ты, оказывается, точно как я подумал. Читаешь мысли, Тон?

— Боюсь, Тан, что так близко головам только одна и та же мысль...

— Здорово тут, да? Хотел бы жить в этом доме, ходить в студенческую столовую с друзьями?

— Да, улица уютна, ты права. Я, к сожалению, такой роскоши лишен. У нас другой институт, нового типа. Никто не живет в общежитии. У нас все то же самое, но в условиях квартир однокурсников. Готовим купленное на общие деньги, да.

идёшь, заслушавшись вдруг или задумавшись с улыбкой чего-то застенчивого. свет от здешних луж мелькает в глазах у тебя. большие каменные перила впереди справа на толстоногих балясинах, словно увеличенный балкон, площадка возвышения и открывается новое пространство нашего пути: поперечная улица, большое, такое же как эта площадка по масштабу, здание, видимо, учебное. улица Казакова. словно увеличенная усадьба, но для наук, учёбы. забрели через тёмную тенистую и лужную улицу в студенческий край, повернули в твоей под ноги глядящей задумчивости вправо: после продолжения площадки, огороженной этими гигантоватыми перилами — вход в институт и студенты у входа. ярко-жёлтое с пробелками здание, два большущих шара у входа.

— Вот про это могу тебе точно сказать — неоклассицизм. Этот просто определяется — всё как в классике, только в увеличенных размерах.

— Я уж вижу: гипертрофия.

— Это тоже сталинских времён, но поздних.

— Целая студенческая вотчина.

— У них то же, что у нас, наверно — узнают результаты.
кажется, узнаю это место. башня впереди... это же к Курскому вокзалу до-
рожка. там подземный переход, хочешь — в метро, хочешь — к поездам.
Точно: нас сюда водили классе в третьем на спектакль. Тут должен быть театр.
— Театр Гоголя.
- Представляешь, сколько лет я тут не был, и вот с тобой забрёл?
— Лет пятнадцать. Как раз чуть меньше моего возраста.
— А ты у меня такая маленькая? Я ведь и не спросил ни разу..
— Ну, это было бы бестактно... Правильно, что не спросил.
— Значит, я тут карапузом расхаживал, когда ты была ещё колясочная?
— Наверно..
— И тебя как раз возили туда, откуда мы пришли. А нас там вели гуськом,
школьников. Интересно так... Рядом были, возможно, и увиделись бы.
— Ну и что с того? Этого же не вспомнишь. К тому же и на мосту встрети-
лись весьма случайно, не так ли? Гляди, какие смешные бейсболки у ребят!
— Это какая-нибудь рекламная акция.
— Так и есть — «Блю Риббон», сигареты. Сейчас пристанут.
— Странно, что они тут, у институтов.
— Как раз и не странно. Нет, прошли, не пристали.
— А это общага? Такая башня высокая?
— Да, видишь там всё неопрятное, фольга на окнах, вон выше даже горелый
балкон — сразу видно, что общежитие. А что это там у поворота впереди — мост?
— Да.
— Вот этого совсем не помню. Надо же, как неожиданно. И это над чем он?
— Над всё той же веткой, она от Каланчёвки к Курскому идёт. Тут даже
есть поезда, которые транзитом проезжают с юга на Питер.
— Всё, кажется сообразила, мы там, слева с тобою и встретились..
— Да. Гляди — там за вокзалом облака какие тёмные, с водой, наверно..
автобаза, светлокирпичный тёплый дом с закрытыми зелёными ворота-
ми, плотно обнятый чуть шевелимой ветром зеленью, тут густые деревья —
и мост тоже, словно на листе держится. чёрные пятиконечные звёзды в орна-
менте решёток моста. мы с тобою зашли в детский и студенческий, школьный
и колясочный уголок — неожиданный, тихий. лишь рекламные студенты про-
шли нам навстречу. и снова только мы вдвоём и деревья, рельсы под этим корот-
ки мостом. слева заводской пейзаж будто, хотя это вокзал и вид заводских
построек. что-то от изнанки детских учреждений, сонные колготки. вялость, из-
неженность будней — тылы домов, но в бликах сегодняшней листвы, нашей мо-
лодой жизни, в радостном с облачными пятнами вниз свете неба. ты шагаешь
рядом, чуть меня опережая по взгорбленности моста, мимо звёзд в решётках, ли-
ствя тебя задевают, от деревьев, тянущихся из-под моста к нам. говорили, гово-
рили и стихли. идём, дышим новым местом. сюда к мосту — спиной дома, это до-
ма от Садового начинающие расти. задворки, забор бетонный, из-под которого,
спрятавшись в семейном возрасте, и вымахали за десятилетия эти деревья. тут

ветерок дует сильнее, ветер странствий, сопутствующий железным дорогам. и точно — от Курского едет добрый лик локомотива, везёт спальные вагоны пустые. мы вновь у Тебя в глубине, Столица, в неожиданной, мной непредугаданной точке, как и эти институты позади. веди меня, в ветерке и моём любовании шагающая через мост, к домам, в полосе тени, Тайная, Тан моя.

А не пойдет ли сегодня дождь как в последний раз, на крыше?

— Это ты из-за ветра? Предлагаешь новую вылазку?

— Мне кажется, что отсюда должен быть лихой очень вид — вокзал, парк, Покровка...

— Знаешь, у меня встречное предложение: потерпим до дома подруги, там мы на крышу спокойно и, главное, очень часто с ней вылезали. Правда, это было не совсем недавно, но, наверно, и сейчас можно.

— Что ж, сегодня ваш маршрут и идеи: подчиняюсь.

— Тогда перебежим-ка на эту сторону, а то без солнца тут холодно.

— Какой-то совсем незнакомый там дом прямо по курсу. Это же Садовое?

— Да. А дом — так себе модернчик. Изразец местами.

— А... Это перед пересечением Покровки с Кольцом, понял.

— Так, нам тут придётся перейти эту магистральку.

— Всё, вот деревья, скверик, тень — уходим, уходим.

— Фи, не цитируй.

— Ха, да я не в этом плане. К тому же он по-другому поёт — уходима, «а» в конце звучит.

— Всё равно фи.

— Ты так вкусно говоришь «фи». Такой носик твой — морщится в этот момент.

— Чувствую земляной запах.

— Правильно, ведь тут Земляной Вал. А по правде — просто ты к земле ближе, ниже меня — вот и чувствуешь.

— Вот принюхайся — это что пахнет? Пыльца, может?

— Кора. Она ещё влажная тут после дождей, наверно.

— Мне кажется, что, как у летних ив, очень женский запах. Так на Селигере пахло у берегов, на склонах.

— Да, наш. Похож на ивовый, это верно. Но этот — липовый. Ха, нет: в смысле настоящий запах лип. Смотри — заревную. Может, это не липы, а такие ведьмы замаскированные стоят, пахнут, а потом тебя уведут...

— Куда?

— Да вот в эти же переулки.

опять в древесный, лиственный край уходим. и не деревья — ты ведёшь: под новым для меня наклоном в незнакомые места, запахи. всё время угол влево, уклон твоего пути. из двора через старые серо выкрашенные ворота, словно облипшие в пыли влажностями запахов коры и листьев тут, выходим к высокому серому дому, наискось нас встретившему — в переулок. деревья и подъезды, машины. за руку уводишь по нашей стороне дальше и впереди, за ветвями вдоль

дома — солнца просвет. смолкнув и невольно ускоряясь в бегстве от шумно-жаркого Кольца, слышим свои шаги, твоя рука с моей покачиваются весёлым мятником. справа пошёл старенький забор, будто больничный или дома отдыха. из-за больших крон, закрывающих солнце и небо тут даже темновато. слева мелькнула красным шрифтом: «Галерея Гельмана».

— Вот я тебя и заведу по своему пути туда, где ты не был, ведь не был?

— Именно здесь — ни разу. Но рядом — ходил. По Покровке, у Курского...

— Я тебе покажу модерн здешний, всё не могу отойти от своих экзаменов. Теперь так это легко рассказывать. Вон видишь — пошёл справа целый ряд доходных домов. Все — рубежа девятнадцатого-двадцатого, эклектика. Первый был с модерном ещё. Цветочки там кто-то выращивает на балконе.

— Да, даже в нескольких местах, разные квартиры, значит. Малый Казённый. Везде у нас тут «малые» и «большие». Когда ко мне доберёмся — увидишь опять знакомые начала улиц.

— По-моему, зря мы торопимся. Слушай, так тут тихо. И никого нет. времени у нас ещё вагон. Только бы дождь не пошел. Поцелуй меня... Только обними сначала.

моя докладчица. остановила нас и свою речь быстрее моего ожидания и глядишь на меня снизу своего роста пристально, ждуще. неужели возникла пауза в этих углублениях или я молчал долго, говорил не то? но обнимаю сразу, и жадно. твой сарафан прохладен чуть, а под ним сразу тёплая и чуть повлажневшая ты от ускоренной ходьбы. я тебя собрал в свои руки как мог, сжал для точного и бездонного поцелуя в ждущие и пытливые губы — сначала неподвижные, словно разбирающиеся в происходящем, а потом бурные и всё заново пересказывающие — то, что случалось во многих подворотнях, на ветрах разных запахов. тут медленно на нас спускается лиственный дух и прение коры, еще влажноватой тут в тени плюс эти подворотни справа в доходных домах дуют песочно и немного обеденно с примесью вялых цветов. это вокруг невидимого нашего места встречи, встречи непрерывной, главной, встречи во время перебежек по Тебе, Столица. в ожидании или оттягивании Твоих дождей, твоих месяцев следующей за нашим летом осени. как же ты мне дорога сейчас, Тан! почему-то мысли были нужны, чтобы, не прекращая быть вместе с твоими устами, молча, вернуться к тебе, обнаружить тебя с собой в пустом Казённом переулке у старого санаторного забора. Тайная моя, только мне здесь открытая в устах — влажная и откровенная губами, мы будем так с тобой идти сегодня ещё долго, пусть устанем (но это великолепно, это как эти доходные дома — с видом на всю невидимую округу) от чувства этой совместности, от сговора и такого требовательного твоего подхода к нашему времяпрепровождению.

— Ну ладно, хватит. Ты какой, тебе только дай возможность... А сам?

— Сам я как-то тут растворился, похоже. Всегда так в незнакомых местах чувствую.

— Мы могли бы сейчас в те дворы пойти, но тут если свернуть, то либо к Курскому придём, либо вправо на Покровку, а там ты знаешь всё.

— Веди уж по своему усмотрению.

— Да мы уже и никуда не свернём теперь, потому что самый главный модерн впереди. Сейчас увидишь.

идём этим летом, этим переулком, нацеловавшиеся там в тени, выходим к солнечной площади. ты меня ведёшь рукой в незнакомые встречи домов — лицами на площади маленькой, жёлтой, Твоей. тут-то всё как и должно быть по времени, нас не ждут, живут по обыкновению. стоит ближе к перекрестку перед магазином открытая и из салона гулко бУхающая музыкой «Лада» серебристо-зелёная: «Дево-дево-дево-девочка моя...». хозяйева её вышли из салонной жары. нет, там сидят две высветленноволосые девицы, а парни на улице курят, понятно: чтобы не дымить в лица своих женщин. глядят на нас, идущих, за руки держащихся, худой и жилистый с кольцом на кисти с сигаретой, глядит на нас, на меня, спрашивает:

— Братан, не знаешь, как мы тут к центру праедем?

— Не знаю, сам тут не был...

чтобы не болтать с ними, кратчайше ответил. хотя знаю, но по Покровке они не проедут, к центру только троллейбусы пускают. послал бы их через этот вот — Лялин переулок. а ты меня, не останавливаясь у машины, тянешь весело через площадь, наискосок перед зелёным домом, это, наверное, твой модерн. он быстро наплывает на нас, петляющих между машинами, нагромождёнными у тротуара.

— Вот это с модерном, но эклектика называется. Правда, такой сказочный дом?

— Как будто волны остановились и в них завелась растительность, верхние козырьки вот тоже вздыблены как морское что-то.

— Да, ты прав, красиво сказал. Меня мама научила модерн любить, дед-то не очень его жалует.

— Почему?

— Не его стиль. Он рациональное любит, авангард, супрематизм — если ты в курсе. Сказочность не в его духе. Хотя знает на зубок — кто строил, для кого и когда. Особенно особняки — это-то доходный дом, наверно.

— Нас ещё в школе водили на Крымский Вал — супрематизм это Малевич, знаю.

— Молодец, значит, мне с тобой интересно будет. Вот, ну сейчас — туда, только пошли по теневой стороне.

ты мягка сегодня как ветер — когда тянешь меня за собой. словно подталкивает что-то, и я иду в новые пространства с тобой, видя твой профиль, и чуть сзади оказываясь, украдкой любуюсь: как ты идёшь, как напрягаются бёдра под сарафаном. устоять не прикасаясь рядом с твоим шагом невозможно. здесь на тротуаре, в тени, это логично: обнять тебя дружески и с любованием руки — за талию. справа в переулок ломаются с листвой деревья — из школьного двора, лежащие на ограде старыми, чуть ее обросшими ветвями. ореховый, миндальный от них запах, от этих листьев.

— Меня хотели мои дед да баба отдать в эту школу. Она блатная, для мажоров всяких. С иностранными языками. Но папа не согласился, и я даже рада — тут мало хорошего было бы.

— Почему? Оформлена красиво. Вот у нашей школы таких не было персональных барельефов. Ломоносов, Пушкин, Горький, Маяковский.

— Это типовое здание. Я такие ещё видела. А я тебе покажу там дальше вообще не типовое... Мой, залучённый. Тебе ещё интересно моё путешествие?

— Ладно, не будем отвлекаться. Мы ведь идём тут ради искусства? А вообще, ты — моё искусство. Как-то непривычно ещё говорить «ты» и грубоватым кажется.

— Ничего подобного. Как же ещё говорить?

— «Тыканье», да. Именно будто тычу. А я хочу не так, деликатнее что ли...

— Такой странный... ну называй опять на «вы»... Тут можно выйти к бульвару, но мы пока еще попереульничаем. Так надо.

— Интересно, что заготовила Тан моя... Нет, буду тыкать, ничего не поделаешь. Ты, ты... тык, тык.

— Ой! Щекотный. То реверансы, комплименты, а то — тыкать?..

левой рукой обнимая, правой тебя клюю указательным в неожиданных местах, вокруг заветных, под сарафаном шевелимых шагами волн. развеселилась, ёжишься и смеёшься удивлённо, ловишь палец. навстречу нам — завидуя играм таким — двое милиционеров с автоматами, курят идут. отделение милиции, за угол — вход.

— Вот сейчас тебя в милицию сдам — скажу, что к несовершеннолетней пристаёт.

— Да, они и рады будут — такая красоточка в их отделение. И не выпустят.

— Не пугай, я им покажу..

— Ты моя... несовершеннолетненькая. Правда?

— Если восемнадцать считать — то не, а если — шестнадцать — то совершеннолетняя. Через месяц.

— Как же ты в институт поступала?

— Да просто, школу же окончила. Я же с шести пошла в школу, вот и считай. Или нет, шесть было, когда я первый закончила. Это папа хотел, в вундеркинды меня готовил по художественной линии.

— Интересно, а есть наказание, когда такая деточка-девочка дядю третьекурсника с пути истинного?

— Совращает? Да. Но только родительское — а-та-та.

— Кстати, твой дед говорил на даче о том, что ты с мной — с тем, кто звонил утром, когда вы собирались уезжать?

— Да, он догадался, что причина моего позднего прихода домой и голос с утра — одно и то же. Точнее — один и тот же. Он за ужином, когда мы отмечали поступление моё, вспомнил, улыбаясь. Сказал, что стала поздно домой возвращаться. А отец сказал, что теперь имею право, раз поступила. Они думают, ты один из абитуриентов.

— Да уж, а я аж на третьем курсе. Да ещё и не художник.

— Вот и замечательно. Так что я имею право. Иди-ка сюда.

внезапно над нами вправо — арка, сквозной вид на параллельную улицу и её лиственную темень. ты увлеклась темой дозволенного, увлекаешь меня и я тоже после этих слов, несовершеннолетненькая, тебя влеку, перехватываю движение — в угол, где подъезда или черного хода дверь, обставленная досками, строительным хламом, ставлю на песочную кучу, выше себя. и — глубина. нежная, мягкая, устная. сверху ты дышишь, чуть от перебежки сквозной запыхавшись. дышишь почти страстью, несовершеннолетненькая. но это лишь устное слияние наше, уже с установленной, медленной сначала и убыстряющейся языческой речью, из уст в уста. речью о любовании взаимном. в тёмной глубине одновременно закрытых ради другого восприятия, глаз. ты уже сама ведёшь эту речь, словно реченька журчишь язычком щекотным, веселишься, манишь в себя... отрываешься резко. в глазах и губами — улыбка, вопрошающая игривость.

— Что, научил на свою голову? А ты о другом сейчас думал?

— Сейчас — нет.

— А я думала, говорила это тебе. Не понял?

— Теперь догадываюсь.

— Эх, а ещё дядя. Ладно, забери меня с песка, а то как бы не начерпать. Куда нас занесло, ужас... Пошли, сейчас я тебе покажу дом один.

через двор по ступеням выше — в другой переулок, к дому из-за ветвей слева открывающемуся, замковому, с извивами лепных растений на стенах.

— Вот мой любимый модерн. Я всегда мечтала, что когда-то я тут жила или сейчас живу, просто другая я там. Видишь, какой красивый?

— Да, необычный.

— Тут всё сохранилось со времён, когда строили. Рамы переплетающиеся, гнутые, окошки разные, видишь — всё. Он такой дикий, заброшенный кажется. Но он прекрасен. Видишь — цветочки его любят, как тонко вылеплены...

идём под сумрачными листьями, прямо по проезжей части переулка к углу дома тобой любимого. полукруглый угол, окна такие же, сводами. на стенах розы. или какие-то другие цветы, архитектурные... в окне угловой квартиры первого этажа, над цокольным — стопками книги, история за восьмой класс.

— Вот уж знакомая картина. Тоже кто-то готовился. Или учитель живет.

— Да, дом заметный.

— Один из моих самых любимых. Ну что, к бульвару?

— Это вам решать. То есть, тебе, Тан.

— Опять что-то строят, копают. Бедный домик, тебя сотрясают тут?

дорожные работы с отбойными молотками. внезапно после тиши Лялиного переулка. тротуар перед нами пробуравлен, яма. через него тонкий дощатый настил. почему-то влажный. когда переходим, опасно прогибается. но мы уже на асфальте.

— О, кажется, я придумала что-то насчёт трапезы! Пора в булочную.

дом тех же времен, что и твой угловой модерн, что минули. высокий по тем временам. над магазином изразцовые рамы зелёной лентой, образующей

квадраты на утлах — вокруг будущих для того времени, трактирных каких-нибудь, и к нам в будущее — нынешних вывесок. «Булочная» — пластмассовыми полупрозрачными красными буквами, чуть выпуклыми в белых рамках. за входной старой дверью в мелкую доску — холодильники с газировками — кола, спрайт, фанта. как везде. ты уже стоишь перед витриной, щупаешь булки в пакете.

— Предлагаю антидиетический обед абитуриента. Ватрушки, ага?

— Только вы, пожалуйста, девушка, позвольте-ка сильной половине тут...

— Ах, как же, как же, совсем не пускают... Хорошо, угощай. Только вот именно этих ватрушек — венских. Но мне только одну, учти. И... и... минеральной воды как-то не хочется, фанты тем более. Квас? Как он для вас?

— Подходяще. И запас на дорогу. А то жарко все же.

запах булочной тут ещё сохранился, деревянноватый и древний, кажется, слегка подвальный. хотя теперь это не булочная, а просто продуктовый — в соусах, молочными и прочими продуктами. продавщица — восточная девочка лет десяти-одиннадцати, смотрит, слушает наш разговор с любопытством и лёгкой девичьей ревностью. думает, небось, что Тан капризна, не угадывает игры — потому что начата игра задолго до посещения магазина.

— Пожалуйста, три ватрушки и этот вот... ага, квас.

девочка нагибается, кокетливо глянув на Тан, достает, одевши пакет на руку, три ватрушки из деревянного ящика снизу, одевает на них ловко этот же пакет, из высокого прозрачнодверчатого холодильника кока-кольного достает квас «Монастырский», набирает чек. быстрое, мне неудобное перед Тан, шуршание бумажки, сгребание монетной сдачи и падение её в вельветовый карман. пакет в левой руке, холодная полторалитрушка — в правой. ты уже на улице, щуришься в солнце, ждёшь.

— Ну-с. Теперь продолжим путешествие.

перехватил в правую руку пакет, прищепив его указательным пальцем к горлышку бутылки, обнял тебя и иду за тобою в арку, неожиданно, думал, что по улице двинемся дальше. мы снова в подробностях жилых тут запахов, подворотня дышит своим, дожитым до нас, временем, немного водопроводно и сильнее обеденно. но навстречу едет девятка и газом, мимо нас, перебивает запахи. летом все запахи усиливаются. двор оказался густ деревьями, огромный и длинный, тут дома в ряд идут куда-то, по пути нашему вперёд. дом, от которого ехала «девятка» — административный, у двери курят две девушки, на нас глянули празднично, болтают дальше. одна продолжает провожать нашу пару взглядом. моя рука на твоей талии их беспокоит. и мне приятно, что ты со мной идёшь так. я сейчас взрослее выгляжу — несу снедь, веду пару свою... мою тайную Тан. все встречные — не знакомы, соседи по секунде, мигу. и они видят нас, завидуют или радуются, эти девушки или те родители, аккуратно идущие за мальчиком от детской площадки, поддерживающие его за спину.

Предлагаю обнаглеть — и там, на площадке, приземлиться. Там хотя бы тень в наличии.

— Как скажете, уважаемый кормилец.

говоришь это, глядя мягко и по-игривому послушно. садимся на бортик песочницы, низко. придерживаешь сарафан посредине одной рукой, другой извлекаешь ватрушку из пакета, мной подставленного. пахнет песком, листьями, нагретые над нами, которые сдерживают солнце. на нас шевелящаяся тень. как бы открыть бутылку, нужно, ведь, обе руки? прижал пакет к животу левым локтем, держу за низ бутылину. но ты вытянула пакет, глядя весело, освободила от трудности. не поддаётся чёрная крышка. ухватил всей ладонью, с большим рычагом давлению... кажется, провернулась, не оторвавшись от нижнего пояса. нет, пошла. открыта и дана тебе, запивай ватрушку, девочка моя. милыми, тонкими, мной целованными губками — аккуратно к горлышку. чуть отпила быстропеняющийся квас и отдала мне. мой глоток долгий. квас: только аромат хлебный от настоящего, но вода самое главное, при питье ясна жажда, таившаяся до глотка. теперь можно и в ватрушку впиться, хрустящую слоёной корочкой. вот и творог, с лимонным привкусом. первая быстро съедена, а ты её ешь долго, свою. прихлебываю квасу. даже неудобно с таким аппетитом и размахом перед тобой потреблять эту пищу. тебе даю теперь бутылину. едим как подростки, как туристы, осматриваемся. там, вдоль подъездов долгого ряда домов — жизнь медленная, летняя. кто-то, не уехавший на дачи, ведет детей к пройденной нами арке. две бабушки сидят на лавочке у подъезда, говорят, нас не видят. от арки идёт в бейсболке с длинным козырьком парень с модной сумкой, низко висящей, в рэповых штанах и кроссовках с поблескивающей яркими шариками подошвой. глянул на нас быстро и гордо шествует вперёд. свернул к подъезду резко, набирает код, входит в темноту.

— Пейте-ка, «дядя».

— А вы, то есть ты, несовершеннолетняя?

— Ну вот, теперь ты это будешь вспоминать. Я ведь специально тебя дядей назвала.

— Понял. Но мне вовсе не в ответ, а просто приятно называть тебя так.

— «Тан» короче.

— Можно расшифровать как «та несовершеннолетняя».

— Сложная конструкция. Лучше — «такая адиноккая нимфетка».

— А ты откуда такую терминологию выучила?

— Думаешь, Набокова только в институтах читают?

— А что, уже в школах преподают?

— Нет, не в школах. Мне «Лолиту» давала Ира, та самая, к которой мы идти собираемся на Арбат.

из-под тени вставать, уходить не хочется. но набранная внутрь газированная влага делает смелей хлебным духом. задев тёплые листья, иду за тобой, опять не в силах не следить за шагами, жизнью под сарафаном твоих бёдер. полиэтилен шуршащий и с крошками запикиваю в карман, там монетка — нет, не сдача, эта в другом — что же это? в солнце она вспомнилась, медного цвета пятидесятикопеечная, старая.

Какая у меня находка! Это же наш талисман, я его так и не вынимал отсюда. Пятьдесят копеек, помнишь?

- Это та, которую мы по дороге к мосту нашли?
- Да, в районе заводского квартала, в первый раз.
- Надо же, кажется, совсем давно, прошлым летом будто. Ну, ты готов к еще такому же или вдвое большему пути?
- С квасом — для вас готов на всё и куда-с.
- Куда угодно-с, тогда-с уж.
- Да-с.
- Пройдём эти дворы до конца, мне так хочется.
- Пошли...

у следующего дома тоже свои движения, звуки жизни по-летнему. из окна громко плачет ребенок — капризно, рыча в самые кульминационные моменты. ты вытянула губки, сочувствуя. у газона устроена лавочка, тут сидят в ряд бабушки и две женщины помоложе. справа от нашего пешего движения с маятником бутылки в моей правой руке — новые кущи листьев, сейчас недвижимых, очевидных тёмной зеленью, во власти яркого солнца находящихся. в промежутке домов справа — какой-то японский пейзаж, стена невысокая и крыши за ней какого-нибудь посольства. на маленьком велосипеде нас объезжает оттуда мальчик. но мы уже впереди, у середины длинного дома, а велосипедист, разговор на лавке и ритмичные смешки одной из молодых тётушек-мамаш — позади.

- Расскажи мне о себе ещё что-нибудь. А то всё это ускользает как-то, да?
- Видимо, нам и не нужно прошлого друг друга.
- Красиво сказал. Но ты не отлынивай.
- Ну что рассказать? Про семью... Надеюсь, сама узнаешь, увидишь со временем.

- Испытательный срок?
- О да. И очень длительный. Ух... А если серьезно.
- Да-да, пожалуйста, посерьезней. Квасу если надо отпейте.
- Пока нет надобности. Ладно. Вот про школу могу, про отрочество...
- Начнём со школы.
- Кстати, она на Арбате. Ну, не на самом Арбате, а у Калининского проспекта.

- Плохо знаю те места.
- Дом книги где.
- Нет, не знаю.
- Там еще считается, что Пастернак учился, и вроде даже Маяковский успел — то есть, в старом здании, на месте нашей школы стоявшем.

здесь тоже табачный дымок, видимо, из окон выходит, по теплу вдоль дома стелится с обеденными выдохами кухонь. второй длинный дом с подъездами и заседающими около них жильцами — бабушками с внуками и молодыми мамами — заканчивается в ходе нашего разговора. тянет влево, за деревья, но там забор.

- А сейчас ты не куришь?
- Только осенью.

— Почему осенью именно?

— Когда листьями сухими пахнет и влажно, холодно. Хочется в себя эту атмосферу вдохнуть...

— Интересно объясняешь. А я вот вообще не пробовала. Мне кажется, это противостоит.

последний дом дворового квартала, следующий за кустами — желтокирпичная башня, генеральского типа. у подъезда сидят-говорят-глядят две пожилых женщины, одетые чем-то празднично, как в театр... серьги потому что. в большом квадратном окне угловой квартиры первого этажа — стопки книг и большой глобус, цветочные гирлянды на белом — рисунок обоев.

Да, курящая девушка — это плохо.

— Да вообще — как это: вдыхать в себя дым?

— Правильно, и думать не надо.

вышли к странному пустырю — площадка, видимо, для автомобилей, но пустая, только одна бордовая «пятёрка» стоит.

— Куда это я тебя завела? И сама тут не ходила. Пойдём туда, в арку. Там так загадочно.

— Это, наверное, из-за туч. Тут ещё чистое небо, солнышко на асфальте. А там серый верх.

— Да, что-то необычное. И никого из пешеходов.

— Просто лето, а это, скорее всего, задворки какого-нибудь большого учреждения. Вон — видишь, проволока колючая на заборе. Какой-нибудь «почтовый ящик».

— Дом годов семидесятых-восемидесятых. Тогда из такого кирпича всю строили. Как и тот, что прошли только что.

— Смотри, старина какая — справа, стена эта и дом...

— Да, чье-нибудь бывшее дворянское гнездышко. Не была на этой улице. Институт, кажется, химический какой-то на той стороне, да?

— Да, на стене буквы...

— А, ясно, если мы направо пойдём, то выйдем к Яузскому бульвару.

— Слушай, а если дождь? Зонтов-то ни у кого не наблюдается.

— Пойдем быстрее — вот и зонтов не нужно. До первого подъезда.

— А арбатские подружки?

— Подождут. Сейчас не больше трёх часов. А к ним можно и к шести. Да, стужается там впереди тучность.

— Ой, так ведь мы там были — вот дом с рабочим и колхозницей.

— О чём и речь. Сориентировался?

— Да, неожиданный ракурс.

— Бежим-ка, пока эти не поехали.

— Да... На трамвае не хотим поехать?

— Да нет, наверно, пойдём лучше в переулочки наши.

— Теперь — наши. Обними меня, а то уже и не жарко вовсе.

перебежав вторую половину бульварной проезжей части — вниз, вдоль розовеющего дома. там коммуналки до сих пор — видно. хоть низ

и балконы выглядят знатно, массивно: внутри жизнь не богатая, в открытых окнах кухни — сушащееся бельишко. и на балконе, вдоль общем для всех жильцов — натянутые проволоочки с простынями. короткие колонны, словно бесконечные, не разделённые на конвейере шестерни. ромбы, перемежающие окна пятого этажа придают дому внешнюю солидность, ответственность за жильцов.

Интересно, это дом образцового содержания?

— Так это только в деревнях, в Подмоскovie такие таблички есть. А почему ты вдруг спросил?

— Да так, о тех, кто там живет подумал. Вроде, коммуналки строились и сейчас.

— Одно другому не мешает. И коммуналки когда-то были образцовыми. Я бы не отказалась там жить, дом красивый, хрестоматийный. Изнутри посмотрела бы его отделку, фурнитуру разную там...

— Так. Ну-с, так как же мы планируем оказаться на Арбате и, по возможности, не попасть под ливень.

— Мне кажется, ливень пока в районе Замоскворечья только. Но идёт сюда. Чувствуешь, пошёл ветерок прохладнее воздуха? Это оттуда. Так. Мы можем, конечно, в метро...

— Не хотелось бы, да и времени еще много.

и под низкими, тёмными листьями, перед учебным зданием и его крыльцом — вправо. даже пусть минуты не считаны, но тучи создали такое ощущение зависшего момента с нами, поднимающимися по этому коридору, Хитровскому переулку. знакомые ржавые с боков урны-пингвины справа, под военным зданием. и оно жилое. по левую сторону наших поднимающихся вместе, в ногу, шагов — родильный дом в особняковом здании, судя по детскому плачу из открытого большого окна и по бордовой табличке.

— Вот и забрели, а тут дети рождаются. Подходящее место, движения нет, зелень.

— И напротив военный дом, смотри-ка — в отделке советские звёзды.

— Это сталинский дом, его даже не реставрировали на вид вовсе, только красили.

— Подъезды без кодов.

— Словно общежитие, да?

— Да. Уютно так. Только вот младенец плачет.

— Может, он тоже дождя боится, чувствует приближение?

— Да вроде и не приближается ничего, просто тучи сине-серые.

— Интересно ты сказал. Я никогда в таком сочетании эти цвета не упоминала. И действительно, точнее не скажешь — сине-серые они сейчас.

— Так, ну нам теперь ничего не остаётся, как идти налево, Арбат в любом случае — туда. Церковь старенькая, но уже вон — подреставрированная.

— Да всюю разреставрированная, просто тут раскопки какие-то.

— Цоколь откапывают, наверно.

— Так странно, следы работы, а самих рабочих нет. И простыни там на пустых балконах военного дома... Будто все куда-то ушли, на какой-нибудь праздник у Кремля, на Красную площадь и всё оставили как было, не боясь, что украдут.

— Зато я вижу — что-то в том доме впереди есть замковое, словно картинка из детской книги. И кажется опять, что я тут был и это видел.

— Да, это из-за того, что отсюда так видно, сказочно в чём-то. Это ещё свет — видишь, там солнце за оградой, вот в чем дело.

в тишине и едва уловимом шевелении листьев слева, на стволах, переверсившихся через дом из двора его, идём к освещенному зданию за оградой, по ступеням тротуара. Столица, ты сегодня впустила нас в эту тишь — значит, и предстоящее, и путь к Арбату вместе с ней, с моей Тайной тоже освещён как эти столбы ограды. тебя обнимаю снова, улавливая твой шаг своим. мы проныриваем под возвышением лестницы-балкона, входа в угловой компьютерный салон «Формоза». здесь я бывал, с другой стороны подходя, вспоминаю.

Вот это уже знакомая местность — мы тут с моим творческим другом Минлосом, который с Покровских Ворот, гуляли. Везде в этой местности, помню, к зиме стены были исписаны лозунгом «Рождайте детей в январе!».

— Да, я тоже это видела у Иностранки. На Яузе, на набережной. Странная надпись.

— Там ещё где-то разъяснялось, что рождённые в январе — это дети любви, самые здоровые и прочее.

— Что-то нам тут везёт на тему новорожденных — тот дом, ты вспомнил... А тебе сколько детей хотелось бы, да и вообще как к этому относишься, к маленьким, к своим маленьким, точнее?

— Вообще-то боюсь пока. Не понимаю этой красоты. Вот твою понимаю. А когда это корчится, плачет. Нет, пока не готов. А вообще надо бы минимум двух — чтобы им не скучать.

— А ты разве скучал? Я — такая же, единственная, и наоборот — никакой скуки, все тобой занимаются.

— Вот-вот, сплошной эгоизм.

— Может, ты прав. Какой тут скверик милый! Давай посидим, допьём квас.

— Квас?

— Да-с.

не отнимая руки с твоей талии, сажусь следом на лавочку, углублённую кем-то скрытным, возможно, для алкогольных утех, под нависающий низко ствол и его листовенные гроздья. сейчас только стала ощутима духота от возможной грозы. ты взяла бутылку и задумчиво сжав её у горлышка, пьёшь вспенившийся за время ходьбы квас. минута тишины, без речи, мы словно выжидаем звуков погоды, её действий. но и она не решается. ветер только внизу на тротуаре виден, метёт пыль, едва шевелит нижние листья над нами.

— Ой, а вдруг всё-таки польёт?

— Так тут и укроемся.

— Что-то мне не хочется. Лучше уж в подъезде...

— Или на крыше?

— Только повезёт ли как в тот раз? Не все чердаки открыты.

— А мне кажется, большинство.

сбегаем в душном, придавленном воздухе из-под листьев к асфальту, вслед за двумя быстро уходящими юношами: один, крашеный «под воробушка» блондин, в смешных сандалиях, сверкает пятками бордовыми.

Как бы не смутить этих особ: мне кажется, они не просто так, а парочка.

— Не знаю... Хотя, возможно.

— Да точно, они когда проходили мимо нас, не заметили пока — держались за руки.

— А ну их... Лучше смотри — вот две разных эпохи. Это за деревьями рядом — подстанция трансформаторная, сталинская эпоха. Какая-то своя, таинственная и строгая эстетика. Даже такую техническую постройку отделявали массивно, гордо. Там и дверь, кстати, не менялась с тех пор, пятидесятых, скорее всего, годов. А вот угловой жёлтый этот — восемнадцатый век. По масштабу и миниатюрности вижу.

— Вот с такого же балкона Наполеон наблюдал пылающую Москву. Но тот, на котором он стоял — в районе Пречистенки, у Малого Лёвшинского, на перекрёстке.

— Вообще-то знакомое название. Кажется, как раз недалеко от подругинного дома, куда мы с тобой сегодня, в конце концов, придём.

— Если не размокнем!

— Да, кажется, польёт сейчас. Вон и капли на асфальте учащаются, я об этом подумала, когда на трансформатор глядела и деревья там расшевелились.

— У-ух! Таак. И без зонта ведь.

— Такие капли здоровские, холодные.

— Да, похожи на град. Бежим до ближайшего подъезда? Ох, полило! Давай в этот двор... Ба, да тут уже потоки вовсю!

быстро мелькнула справа от нашего под каплями быстрого движения лестница во дворе и по бокам её два цементных желоба, по которым уже струится вода. в несколько минут мы намокнем под таким напором. ты обогнала меня и удивлённо, радостно улыбаешься, остановилась посреди улицы перед её спуском, разветвлением.

— Ну разве не здорово? Так охлаждает! Пстой, помокни рядом со мной, пожалуйста, не будем никуда бежать, а?

— Да, конечно. Да и куда теперь? Ни нитки сухой.

тебя обнимаю и чувствую наше удвоенное тепло через влажные ткани. сарафан намок и стал опять тёмно-прозрачен. но не смотрю в этот раз, осязаю плечами, руками, животом, подбородком. обнимаю и поцеловываю не в такт дождя, медленно твой лоб и сгустившиеся волосы, шею, зелёноглазие твоё — взгляд вокруг, вверх, на меня — изумлённое таким напором воды. ноги мокры и теплы одновременно. ты под течением этим сверху — моя. тайная, никем за дождём не видимая — моя. услышала ли мысль эту — но новое тепло теперь за-

брало нас — под водой и губы слились, взаимно, усиленно ухватываясь и лаская так мокрые лица. волосы, губы, глаза — вырываюсь из тепла твоих губ и снова возвращаюсь греться, сообщать новое, найденное там, вне их. гром, шарахнувший за тобой, у реки на Котельнической, только веселит тебя, чувствую в поцелуе плавное расширение губ в улыбку. сколько уже стоим так, под дождевым расстрелом, тепло после бега дыша друг в друга? потерян счёт времени во взаимном растворении в воде этом. но рывки дождя ощущаются, кажется, слабнут, выливаются сильнее и гуще, снова сокращаются, не попадают в нас, худеют, колют моросИво... ты выглянула снизу из объятий моих вверх, ресницы в каплях.

— Куда мы теперь такие пойдём? Где сохнуть будем?

— Это я придумаю. До любого дома нашего — твоего или моего — далеко-вато. Вариант — только крыша, увы.

— Почему увы? Я как раз и намекала. Гляди — там такая радуга у высотки! Красота какая, дом так освещён!

— Уж очень прозрачность ваших одежд соблазнительна. Как бы скандала не вышло?

— Ну уж... Хотя да. Ой, тут всё видно, правда. Веди скорее куда-нибудь.

— Есть идея. Нас приютит знакомый уже домик, двойник твоего. Ну, или брат там какой-нибудь.

— Это тот, где мы в темноте прятались тоже от дождя?

— Да, только мы поищем там чёрный ход.

приговорок церковей словно зажал нас, а дождя почти нет, только остаточная мокрая пыль сыплется, и снизу, от Китай-города печёт солнце, отражается в потоках, бегущих с нашей возвышенности к перекрёстку, к метро, к двухэтажным домам розовым. католическая серая колокольня над нами, а за зеленью справа — другая, православная, белая. вдоль будничной, смиренной стены католического дома я за руку влеку тебя в потоках, шлёпая вниз, к серому знакомому дому. уже ворота открыты, как тогда, внутрь, отсюда тоже текут ручьи на улицу. вот в углу дверь, приваленная к стене двумя мешками с гравием, чей-нибудь ремонт. как ты соблазнительна для стен, для окон такая, скорей бы тебя по лестнице — да, тут лестница... но и проход по первому этажу, двери открыты для ремонта, опять же, наверное... в большую парадную. нет, нам не туда. вверх, по этой маленькой лестнице.

пока приглядывался, ты убежала, обогнала, на этаж почти впереди,верху стучишь по ступеням. догоняю. хотя бежать не хочется в мокрой одежде — стоять бы и сохнуть, не двигаясь, не ощущая мокроты. но снова бег, согревающий после дождевого душа. тут сухо, пахнет стариной, дверьми деревянными, лестницей, пылью. возможно, это не черный ход, а постоянная лестница. вижу, нагнав почти твои мокрые ножки, спешащие, смех твой вырывается нетерпеливым, хулиганским дыханием беглянки. стремглав, не замечая ничего вокруг, мы уперлись в решетку, конец лестницы. замок болтается, но ты остановилась, выжидаешь.

— Ну что, кто из нас быстрее бежит? Не догнал!

— Да уж... Оп, а тут открыто.

— Ладно, теперь пускаю вперёд.

здесь не темно, но мешают какие-то доски. вот ближайший свет окна. пахнет кисло кровельным железом и голубями. открытое чердачное окно — в сторону двора, откуда мы вошли. нам нужно дальше — туда, в сторону Китай-города, там солнце должно быть. шаги поднимают кучи пыли. тут дощатый настил для таких перемещений (когда зимой надо снег счищать), а под ним гравий насыпан, от него и пыль.

— Ух, смотри-ка, а они тут протекают...

— Да, старенький домик.

— И особо не обновлялась кровля.

— Деревяхи тоже старые, исконные, небось.

— Трудно представить: это дерево старше наших дедушек-бабушек.

— Да, скелет дома старше костей наших предков, живых я имею в виду. О!

По-моему, я нашёл подходящее оконце.

обняв тебя за мокрую и тёплую талию, отворяю створки безстекольной рамы чердачного окна и выглядываю. сначала не по себе: напротив этот же дом, другой корпус, его высокие, видящие нас окна и вниз перспектива — чувствуется высота. но место уютное и солнце действительно сюда светит, только ближе к углу крыши, правее.

— Попробую.

— Осторожно, давай руку.

— Да я подержусь сам, так удобнее.

мокрая крыша почему-то не скользкая для моих кефов, а наоборот, твердо держит шаг, упор мой в неё. наклон не большой, легко шагать вверх и вправо. при этом всё же придерживаясь за ребра соединений жести — зелёной, облупившейся кое-где до прежнего коричневого. вид словно обнажает: бесконечность подробностей, вымытых дождем. вот уже видна улица Забелина, по которой мы бежали сюда, церковные башни. а тут можно хорошо устроиться, здесь какая-то рубка торчит на углу крыши, что-нибудь техническое, в неё можно упереться и греться на солнце. дальше тоже нечто круглое, труба, наверно, со времён оных. заодно скроемся от взглядов из окон напротив. обратный путь труднее, чуть вниз и это провоцирует ускорение, но поймана рама и я — у тебя в окошке. глядишь чуть испуганно, успокаиваясь.

волосы мокрые коснулись твоих колен и улыбающаяся ты, чуть растерянно и испуганно — выбираешься из окна, медленно перехватываясь, упираясь аристократичными пальцами ног в рёбра крыши и хватаясь за мою руку, наконец, наклонно движешься на четвереньках вправо. как это под дождем мы выбирались прежде на такую же, даже более скатистую крышу? как крабы карабкаемся, я опережаю и, вот, сам упершись ногами в рубку, тебя подтягиваю.

— А тут здорово. Солнце есть, окна мы видим, а нас — вряд ли...

— Ну что, мы тут посохнем?

— Да уже не такие мокрые, еще минут пятнадцать на солнце таком — и сухие.

— Да, что-то разжарилось оно. После дождя...

— Знаешь, по-моему, лучшее место и время поразглядывать друг друга, раз уж ты начал.

— Это как?

— Снимай-ка майку. Я, конечно, тогда тебя видела, но хочу тут, без суеты, бега.

— Ну это пускай. Ну что ж...

однако голос мой задрожал от ожидания свершения. вот немыслимое развитие событий. сама, моя чаровница, медленно, тайно, только мне, Тайная, вверх стягиваешь от колен сарафан. быстрее мысли и предчувствий: кремовые трусики с кружевными краями, узенький пупок, словно подмигивающий и... скромные, выпущенные на свет груди. чуть сжались звоночки-сосочки после дождя. шире того, что я видел и целовал под сарафаном твоим. и светлее — розовые, только в центре — выпуклые капельки цвета бордо.

— Помоги, расстегни там... Ну вот, теперь мы на равных.

— Да, красавица моя.

— Не торопись со словами. Что, такая я тебе нравлюсь?

— Нет слов.

— Вот и правильно. Я ещё ни перед кем такого не вытворяла, не думай, что я такая испорченная.

— Да я помню, что не такая... Такая... Прекрасная, вот что.

сказал это немного обиженным голосом, после того как запретила слова. теперь сцена немая. сцена — наша крыша эта. солнце. твоя светлая незагорелая кожа чуть блестит — матово, ещё не высохла. Столица, Твои запахи, разбуженные дождём — самой небесной воды, листьев и пыли, голубиный, захваченный с чердака — гуляют тут на высоте, ветерком шевелят твои волосы. они легли на грудь так, что не видно заветных расходящихся точек. и это ещё соблазнительней. ты маленькая, теперь вижу, что подростковые пропорции ещё сильнее взросления. нагнулась, хозяйственно разложила сарафан для сушки рядом с собой. глядишь на меня немного требовательно, вопросительно и весело, испытывая так наготой своею. понял, что этот диалог наш полуобнаженный не для слов, отзывов ты начала. понял, наверно, позже, чем мог бы. или руки поняли. здесь сам собой, от рёбер крыши, за которые все ещё придерживался, начался их путь: симметрично, контурно по талии твоей вверх, к заветным, желанным, скрытым прядями волос чуть выгоревшими на концах, волнам, сейчас уменьшившимся вширь. пока я крался, ты уже ложишься, ожидая мои пальцы вытянувшись, став предельно, ядовито обворожительной. какой-то менуэт эти руки мои, словно не во власти сначала, а теперь — исследующие, плавно, с лёгким неверием в ощущения, обрисовывающие твои возвышения мягкие. отвела тонкими пальцами волосы оттуда. да, мягкие, теперь эта розово увенчанная мягкость в моей власти, что уже есть какое-то царское обладание. да, но руки тут уже бессильны — почувствовать их можно вполне только губами. в самый центр каждой целую и намечаю лучи — туда, где мягкость и выпуклость завершается, рисуя их влажно шёпотом губ.

— Теперь поцелуй меня как раньше, по-главному.

да, тут по-другому и не могло быть. губы твои отвечают моему долговому монологу, что происходил снизу. привкус от кваса ощутим теперь лёгкой горчинкой у тебя на коричневатом-белёсом языке. но наш поцелуй глубже. и рука моя сама вернулась туда — к волнам, послушным, едва мягким, растянутым вширь лежачей твоей позой. «мохнатость» — ты сказала о мелком кустарнике волос у меня на груди. теперь она щекошет, касается тебя там как раз, где я вынужденно придавил свою кисть, собирающую в щепоть плавный рельеф двух твоих возвышений. и солнце жарит мою, скрывшую тебя от посторонних наблюдателей, спину. высыхая так, мы утопили в шёпоте, устном творчестве губ наших и в моих деликатных, контурных блужданиях там, где прежде не был, но под сарафаном видел. оторвавшись от губ, целую вширь, в радость от того, что ты моя лежишь тут, открытая поцелуям и любованию — уши, щёки, волосы, опять скрывшие бордово-розовые венцы плавных возвышений. у тебя ниже грудок три родинки, образующие большой треугольник: большая и светло-коричневая под левой для меня, средняя тёмная и едва видная чёрненькая слева от правой. обнял и оторвал тебя о крышу, тёплой, награвшей тебе спину — прижал к себе и чувствую мохнатостью и кожей груди твои встречные мне, припружинившие дистанцию грудки. нахожу их ладонями-люльками, не отнимая своих губ от твоей увлечённой речи уст мне. ты словно хочешь ответить только губами на все мои ручные ласки, торопишься. теперь ты обняла, руки холодноваты и влажны чуть от крыши. грудки в ладонь размером, точно спрятались в моей Ощупи.

открыл глаза в азарте исцеловывания тебя и всё, нас окружающее, ярко, ослепительно задвигалось калейдоскопом, почти завертелось, грозя тем, что мы с тобой улетим с этой крыши. не обязательно при этом вниз. головокружительна твоя красота. но приземляет горизонт зелёного длинного дома над Китай-городом. ближайшие низкие крыши вдоль проезда. устроились тут на зелёной полинявшей крыше — белёсокожей картинкой движущейся в траекториях ласк, в окружении антенн, старых труб объединённых личных дымоходов, выглядывающих лиственных вершин деревьев, серой стены напротив, желтой внизу справа и отдалённых домов с облаками позади тебя. ты такая мне открылась специально, неожиданно в бездне кирпичного языка, знакомого, хоженого — в одиночестве, с тобой же. в последождевом воздухе Столицы, в ней мы, наконец-то голенькие — как рядом на стальных барельефах боги — её детки. но это вовсе не та, предыдущая, крыша в ливне. всё быстрее и отчётливей. твоя кожа, чёткие родинки на ней, треугольник коричневых точек ниже розовых венчиков. ветхая зелёная краска под нами, открывающая ржавь на рёбрах, соединениях листов. барельефы серой стены напротив с божественными событиями — колесницами, наготой мифологической, указующими жестами богов. тут стало жарко, мы разнялись и снова немо разглядываем то, что ласкали друг у друга. весело почесала мою мохнатость на груди, я отвёл волосы опять скрывшие розово-бордовые венчики твоей гибкой, ивовой девичьей красы.

— Ну вот, теперь я уже не могу сказать про себя «не целованная»

- Мной целованная.
- Но не вся, не всё сразу.
- Да я и не стремлюсь... Здесь...
- Отчего же? По-моему, очень уединённое место.
- Необычное. Но мне кажется, что нас кто-нибудь обязательно видит.
- Слушай, и гостиница «Россия» вся нас видеть могла!
- Да уж... Пора ретироваться.
- Почему? Сейчас мы вернём целомудренный облик...
- Застегни там.

сказала это так легко, требовательно, а застегнуть дала так доверчиво — как своему, как подруге, — что мне стало приятно, тепло пошло снизу вверх от напряжённого, каменного агента в джинсах — вверх к плечам и вискам. всё стало медленней. даже усталость появилась в руках. моя. целую плечи и шею, пока застёгиваю. напился с тебя дождём там внизу. и здесь осушил до конца твою кожу, под сарафаном наволгшую. ты, глядящая в Столицу вниз с едва шевелящимися на ветру кончиками волос — как будто на скале у моря, ждёшь корабля издали.

— Вон весь бульвар Китайгородский, таким пригорком с поворотом. Вон река. Кремль хорошо виден, церкви на Варварке торчат. Облака, гляди, убегают туда — тёмные, но снизу подсвеченные почему-то. Никогда такого не видела.

— Возможно, отражение света солнца от воды.

— Тут можно много написать пейзажей. Вот, кстати, серые книжки Калининского, там ещё облака — туда нам путь держать. Давай запомним это местечко: ты мне будешь ассистировать, а я как институтка сюда приду?

— Принято. Теперь я проберусь назад тем же порядком, жди моей руки.

уже привычность четвероногого передвижения, но большая уверенность, кеды опять не скользят, но на ногах болтаются, резина ещё мокрая, да и ткань не высохла, это я притворился, чтобы тебя тут не задерживать. всё же на юру. за раму — хватать. всё будто только для нас. никаких изменений, кроме лёгкого ветерка теперь. ты уже подкарабкалась за мной близко, так что сразу ловлю — и за собой втягиваю опять на глазах серых окон, глядящих из стены насупотивного, этого же серого дома, другого корпуса.

— Никто мои туфли не украл?

— Только если голуби.

— Следуй за мной, мой ловелас.

— Почему так сурово?

— Не понял? От слов «любить» и «лазать». Первое английское, второе наше.

— Тогда лавлаз.

— Можно и так, звучит по-пушкински.

уже знакомый путь по серым тёмным доскам в голубиной духоте и во мраке почти — после изобилия солнечности. вот свет лестницы, нижние двери за решёткой перил волнистой. ты шагаешь чеканно, размашисто вниз. подлавливаю твою талию и присоединяюсь, в ногу.

— А мы так не вызовем сюда жильцов, таким маршем?

— Демаршем... Ладно, побежали по-тихому, а то действительно: хоть и чёрный ход, а могут забеспокоиться.

— Тогда догоняй!

кеды неуклюже болтаются и вот-вот подведут, а ты скачешь быстро, снова меня оставив на этаж позади. скользким бегом сваливаюсь к выходной двери, во дворе откуда-то еще сыплются мелкие капли, с крыши, должно быть. справа урок тебя нет. вот, слева ты: уже висишь на створке ворот, весело обернувшись. странно, но за воротами никто не проходит, возможно, ещё прячась от остатков дождя, только задний ход дала «Вольво» и уехала к центру, оставив скромное облачко дыма. ты такая маленькая сейчас кажешься, но это девичье ликует, наверное, после нашей вылазки — на крышу и друг к другу. потоки уменьшились, но асфальт блестит и светится сбитыми дождём листьями — иногда жёлтыми. Столица расцветает запахами после дождя.

— Ну-с. Мы тут немного задержались-с. Что-то мне снова хочется что-нибудь проглотить. А до Арбата далеко.

— Так вперед — чего-чего, а перекусить тут много где найдётся.

нас отпускает таинственный, открывший свои древние верха нам, дом. серая стена того корпуса, который наверху глядел на нас прямо и снизу — уже сбоку, слева, позади. старые, тёмного и посеревшего дерева рамы в магазине ткани «Балтика». попутно потокам, мелеющим, но всё ещё четко рисующим путь к водостокам — идём. перекрёсток бурный, но мы успеваем перебежать, пока стоят на светофоре, нырнуть под плечо низкого розового дома на углу напротив. здесь в глубине угла ларёк.

Вот и ходить далеко не надо, Тан. Попросим разогреть что-нибудь. Есть гамбургер.

— Лучше уж беляшок.

— Беляши есть?

в низкое оконце спрашиваю, как бы вылавливая голосом продавца. нет, продавщицу, большую полную тётушку, где-то в углу считающую зелёные десятки.

— Вам разогреть?

— Обязательно. Два.

— Я только один осилю. Присоединяешься?

— Куда ж деться?..

за нами по слякоти брызгаются, поворачивают машины, резвится перекрёсток и снуют, сокращают угол под эти древним домиком пешеходы, легко одетые, некоторые мокрые. что-то много девушек заспешило. в Иностранку? в такую жару — вряд ли. может, в «Иллюзион»? многие в этом году в сарафанах, каждая вторая. сарафаны разные, все соблазнительно влияют на фигуры. но все они неуклюжее и полнее моей Тан. тебя, разглядывающей картонку с изображениями быстрой еды, которую тут подогревают-продают.

— Забавное название: сэндвич-люля. Котлета, что ли, в булке? И нарисована смешно. Напоминает героя кукольного мультфильма.

на твоё «ма» попал звонок, гулко прозвучавший за стеклом. два беляша в салфетках высовывает нам толстопалая с серебряным кольцом рука. я ей в ответ, высчитав нужную мелочь для точности — её не видя под низкой рамой — сую деньги.

же выходим вдоль старенького ряда двухэтажного домов-старожилов, почти в каждом — продуктовый магазинчик, кафе... у метро сгущение люда, но мы не сговариваясь проходим мимо спуска пОдземь. жуём свои беляши и огибаем угловой дом с огромными окнами.

— Стена Китайская — к Москве-реке, там сейчас жарко. Бульвар — это к Политеху. Можно. Или... Кстати, тут есть часы?

— Вон, мы их прошли. Почти четыре.

— Эта стена кажется насквозь промокшей. Тёмная такая. В таких местах видишь древность города.

— Китай-города.

— Нет-нет. Вообще города. Моего, ну ты помнишь...

— Да, привыкаем к названиям и именам. Пойдём в сторону Кремля, а там дальше сообразим.

— Вообще, ведь тут до Арбата не так далеко, если через центр сократить.

— В принципе, да. До Калининского рукой подать, а там и Арбат. А где подруга твоя там обитает конкретно?

— В Староконюшенном.

— Ба, и у меня там жил знакомый, одноклассник мой. Прямо рядом с Арбатом?

— Не совсем. После Сивцева Вражка.

— А... Нет, Лановой в третьем или четвертом доме от Арбата.

— Фамилия знакомая, звучная.

— Правильно, сын актера.. Ну что, вперёд, под землю?

— Мгм. Куда бы салфетки выбросить?

— Можно мне дать пока.

салфетки, чуть жирные — в задний вельветовый карман. лестница красноватого камня поблёскивает после дождя, блестит солнечно под нашими шагами. мы как те дождевые потоки с листьями (с салфетками) стекли вниз. тут пахнет ненамокшим теплом, жарой. тут пережидали дождь и пили пиво — батарея из шести маленьких бутылок вдоль стенки. входим в уже нами забытую среду мельтешения перед станцией метро, которая туда по коридору вглубь. но мы выходим здесь же, по крутой лестнице вверх, мимо белых зазеленевших камней стены Китай-города старой. поддерживаю тебя за руку, ты, чуть обгоняя, шагаешь вверх.

машины как продолжение ливня. но солнце блестит на них. и под ними на почерневшем от дождя асфальте. ты здесь, Столица, с нами — не дачными, оказавшимися в Тебе под дождем, а не в полях у своих дач. ты с нами: запахами и слякотным шелестом шин, азартным гулом моторов, светом ярким. они съезжают со склона бульварного, за ними угловой бело-розовый дом и от него линия вверх к величественному, но скрытому листвой зданию с колоннадой в верх-

них этажах. мы на изготовке перебежать улицу, как дети на дорожном знаке взялись за руки. но уже не дети: там, на крыше... а здесь снова влились в потоки людей и машин, один из них пытаемся пересечь. вот, за чёрной новой «Волгой» пустота и за поворотом не видно никого. как по команде перебегаем не такую уж широкую улицу.

Вон в том бело-розовом угловом доме, что мы прошли не замечая, говорят, был первый случай полтергейста.

— Что, стулья бегали? Но ты не отвлекайся.

— Если мы отсюда пойдем к Арбату, то, возможно, проходя, увидим мою школу. В Староконюшенном у Ланового мы потом, уже классе в восьмом, в первый раз отсиживались пьяные.

— Какой ужас!.. Ты можешь быть пьяным?! Никогда бы не подумала.

— Сами-то мы с Сергеем были не очень пьяны. Родителей дома у него не было. Это была ночь под Новый год, в школе отмечали, мы у туалета хлебнули водочки. Пьяней всех был Михайлов. Бедняга. Мы пошли к Лановому через Арбат, и там у ларька, где мы вдруг решили поесть картошки, я стал требовать, чтобы Михайлов двинул мне в глаз...

— Ты смешной такой... Максидром, максидром — везде эти афиши. Вроде, уже давно он прошел... Ну, так дал тебе в глаз твой Ми...

— Михайлов. Дал. И я потом долго осознавал произошедшее и говорил: «Ты меня ударил, нет, ты меня ударил!»... Ну вот, доволокли мы Михайлюка (это так звали, мы вообще любили коверкать фамилии друг друга, но об этом потом). Пришли к Лановому. Решили откачивать Микнайлиди. Раздели донага, засунули его в ванную, пустили холодную воду, вышли. А он, подлец, пустил тёплую. В общем, вытащили, вытерли. Он на ногах ещё не стоял. Мы как вынесли его — положили посреди комнаты. Во хмелю он стал бредить про свою пасию — Платонову, это наша одноклассница, пышечка такая была.

— А вообще здорово, весело вы жили. Вот это здание — чистый модерн. Во-первых, изразцовый кирпич, характерный, светло-зеленый. Видишь, какие волнистые или даже травянистые над нами штуки? Рамы, двери — добротные такие, не меняли их, видно. Его построили, я открытку видела у деда, когда ещё тут Китайгородская стена стояла, прямо к ней вплотную.

— Знаешь, что-то мне так приглянулся тот переулок, что только что прошли — давай туда от этих стен. А то какие-то машины с мигалками. Это не наш путь. Стесняюсь прямо-таки. Извини, конечно...

— Это крыша на тебя так подействовала? Ладно. Хотела тебе ещё ворота модерновые тут показать. Ну, поворачиваем?

идём назад, и видно, насколько ниже место, где мы были после дождя. церковь, автостоянка, дом полтергейста. и наша крыша видна немного, зелёная. Никитников переулок. иду, близко обняв, на ходу зацеловываю твою шею, щёку на фоне скрывающейся за старенькой стеной площади с тем серым домом, с купольной крышей и с большими окнами, под которым мы стояли в раздумье. ушли, увернулись от большого пространства и от автошума. ты весела и, смущённо

улыбаясь, принимаешь мой поцелуйный град. за углом тобою показанного дома оказалась целая пещера, тоже современная, с автоспуском вниз и древнерусской колонной. впереди — выползший далеко в переулок теремок церкви: старый, нереставрированный, обсыпавшийся. сзади задул ветер, сдувая с тебя след моих губ. невероятно: ты, о которой мечтал, бродил, искал — со мной, тем школьным увольнем — здесь, подходишь к церкви в ветерке и не противишься моим ласкам ни тут, ни на крыше...

Что бы это значило? Мы подходим к церкви.

— Не иначе, венчание, ты угадал. Вот эта лесенка, по-моему, называется папертью. Всё закрыто?

— Да вроде там что-то светится.

— Лампадки, наверное. Там и реставрируют, и служат... Но мы туда не пойдём, хотя таинственно, интересно там. Но грустно. Да и в таком виде, в сарафане...

— Не так важно, они всяким рады нынче. ВОзрОждение духОвнОсти.

— Ничего я в этом не понимаю. Но с детства почему-то всегда туда тянуло. Сказочно.

какие-то письма выдавлены на стене церкви. лесенка в тереме-крылечке уходит высоко. слева табличка «Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей)». и дальше всё старинные палаты. табличка «Госстрой», «Волги» чёрные. теремные колонны, дворики, древний, обсыпавшийся рельеф стен, в который вклинилось бетонное годов семидесятых ведомственное здание.

Забрели мы всё же в какой-то правительственный район.

— Не удивительно, к Кремлю приближаемся.

церкви и башня «России». переулок короткой загогулиной вывернулся влево, как раз к Варварке, куда мы сначала не пошли. идём снова в ногу, близко друг к другу, словно подружившиеся недавно дети. но не дети. на вершине башни крупными, виданными из старой нашей квартиры на восьмом, из детства буквами: «РОССИЯ гостиница ресторан кафе кино-концертный зал». и на стороне, что ближе к нам, которая меньше — гостиница, ресторан. как раз этот бок был виден из наших окон на восьмом.

Ну вот, к «России» и вышли, к Варварке.

— Не знаю как, но должны попасть на Манежную площадь.

— Оттуда — к Библиотеке Ленина. Хорошо знакомый мне район. Школьный, студенческий.

— А одноклассница та, пышечка которая, ты говорил, как к Михайлову относились?

— Да, в общем, никак. У неё был роман с Морозовым из десятого. Всегда тянутся к старшим. Это был такой сладкий мальчик светловолосый.

— Не люблю совсем светлых. Мне русые, тёмно-русые нравятся. А то я какая-то шатенка. Мне нравится, когда волосы немного светлее моих, вот как у тебя. Варварка, Варварка... У меня одноклассница есть Варвара. В театральный поступила... Вот у нее — тёмные, да еще мелким бесом.

— У тебя волосы — карие. В точности как цвет глаз у других. Это очень необычно. Потому что твои глаза светлее, из этого же оттенка, но в зелень. Что-то тут уж сильно жарит, предлагаю свернуть.

— Как ты про глаза сложно токуешь... Зелёные и есть зелёные, болотные, я бы даже сказала. А пройдем тут-то? Это служебный какой-то переулок, тоже, небось, правительственный.

— Прoberёмся. Мы лазейки знаем.

то ли солнце, то ли ветер влекут нас вправо, вдоль низких, тяжёлых стен. Никольский переулок. справа имитирован камень, выступом ворот нависающий над ещё одним ведомством, министерством. но никого тут нет, даже машин. все в отпусках. Старый город. уже не считаю своих ласк пальцев, губ, вдыхающего у шеи запах твоих волос — щекочущих мягко нападений на тебя. мы в самом сердце Столицы. и никто нас не направляет, это лишь один из возможных путей. это свобода наша. небывало лёгкое, даже расслабленное ощущение времени. как послеобеденная — действительно, после беляша — прогулка давно, в детстве: кажется, что солнце и время двигаются только тогда, когда об этом задумаешься. ты моя, я видел то, что сейчас под сарафаном колыхнется с нашими шагами. богатство моё ажурное, плавное: венчики словно бутоны и молоко кожи — пить поцелуями. но здесь только шагать рядом и думать о тебе. и ты не догадываешься о моих мыслях, оглядываешься на башню «России» за церквями, глядишь поверх стен, моя пойманная за талию птичка или бабочка — если по сарафану судить. нас ведёт по Столице ветер и любованье, всё вместе.

— Ой, смотри: Безымянный переулок! Бедненький. В самом центре города и безымянный.

— Давай он нашим будет. Мы скрепим его новое название нашими устами.

— Давай. Как назовем? «Тан-Тон»?

— Тут церквей много, за звон колокольный сойдёт. Но получается на слух «Дантон». Переулок Дантона, французского революционера?

— Не клеится название. Но всё равно он теперь наш. Иди сюда. Давай-ка скрепим.

горячий с выдохом вцелуй твой, Тан. или добавляется жара здешних стен. мы словно катимся вдоль стены Безымянного переулочка и высота домов над нами увеличивается. но поцелуй окончился весело: ты схватила, сняла правой рукой мою ладонь со своей талии, где она, правду говоря, уже намокла со зною — и повела дальше по переулочку. тут толкнутся машины, ещё одно ведомственное бюрократическое зданище застойных времён.

Понятно, почему он безымянный, этот переулок — он секретный, тут большие начальники бывают.

— Не знаю, по-моему, он специально для нас так назывался. Чтобы мы снова... Ххи-ххь!

— А тебе эта игра, по-моему, нравится.

— По-моему, тоже. СкрЕпим, скрипИм губами... Мне нравится. Я безнравственная, да?

— Ну, моя оценка не объективна. По-моему, просто немного хулиганистая временами, провокаторша.

— Уй, вот обозвал. Не надо так, а то я обижусь. По-моему, это Гостиный двор. Дом вечно оббитый, краска на нём не держится. Меня тут любил дед водить, когда в центр вёл гулять.

двигаемся с убыстрением после диалога губ в Безымянном. уже светится впереди площадь возвышениями домов Старого города. Биржевая площадь. узкие башенки. мы словно вновь проголодались, поцелуй катализировал голод. ты мой поводырь весёлый и изящный: торопишь, оглядываешься.

— Я люблю так делать, когда нужно скорее идти — рукой как паровоз «чух-чух». Помогай своей правой.

летим, и твой сарафан ожил на ходу, тут много прохожих и жарче, это уже перед Красной площадью территория, туристическая. мимо тяжелого однообразного многоколонья серого Гостиного двора и ещё одной ветхо-церковной стены — уже в Ветошном переулке, под ГУМом. мимо лотков «Марс» и «Нестле» с мороженым, бутылками «Миринды», «Доктора Пеппера», «Вимто» и минеральными... двое милиционеров в серых полицейских кепках, стоящие в тени зонтов над лотками-холодильниками, поглядели на тебя оценивающе. но твои весёлые шаги не подвластны их пошлему истолкованию. а то, что я за тобой лечу — не похоже на нормальные гуляния здесь пар. в тени ГУМа не жарко. верхние окошки как будто жилые, открыты.

Представляешь, если можно было бы тут жить? Вот уж центральнее некуда.

— Да ничего интересного, по-моему.

— Зато Кремлёвские куранты...

— Тоже надоест могут. Кстати, мы теперь уж-же на дев-вишшнике не сильно раньше появимся. Как раз в начале шестого.

— Это если так будем бежать?

— Не обязательно. Просто мне там надоело, в этом ведомственном квартале.

— Да уж, тут по-другому всё, людно.

впереди возвышается голова Госдумы с гербом СССР и триколором над ним. тень от ГУМа не достаёт половины противоположного тротуара. вспомнил, как тут же возвращался с предыдущей, первой нашей прогулки, в сумерках. но теперь только мы с тобой тут пара, без тех пьяных и иностранцев.

— Давай-ка через ГУМ, там всё же прохладнее должно быть?

затянула меня к самораздвижным дверям, в сухой аккуратный мир вывесочек и реклам-соблазнов бутиков. как здесь ты изящно пролетаешь, меня за собой как прицеп направляя. и отвлекающие большие телесные куски реклам не в состоянии подействовать на меня: только твой шлейф-сарафан в моём фокусе. только мы вдвоём здесь не банальны. не глазеть или покупать пришли. вывески «Союз», «Lacoste», «Hugo Boss» — не нам указатели, не для наших взглядов магниты.

— Фуфф! Ладно, наверно, ты устал, мой ведоменький? Пойдём к фонтану, там приятнее.

и теми же широкими шагами мы возвращаемся на полпути, но пронырнув в центральную галерею. у фонтана дети с мамашами. публика шикарного, респектабельного вида, даже в такую жару. пришлось, всё же, замедлить ход и вписаться в фешенебельный темп и стиль. да уж, я в своих вельветовых обноскох тут не самый желанный гость. хотя, они могут восприниматься как стильные, в чём-то хипповые. стены Столицы, прежде издали обдававшие своими разогретыми древними умудрёнными запахами, теперь прохладно сдвинулись вокруг нас. тут тоже Столица, но не уличная: под стеклянной крышей, под галереями. хотя всё похоже на улицу: и архитектурные реплики, и окна отделов-бутиков, и люди идущие по разным сторонам. но стерильно, изолированно. брызги фонтана долетают до щёк, если встать вровень с чашей. тыловишь капли ладонями, видно, как маленький блестящий бисер собирается на твоих ладонях. на левой — светлая родинка ближе к большому пальцу с внутренней стороны, на подушечке.

Слушай, так вот оно что: мы же с тобой одинаково отмечены.

— Чем — каплями?

— Нет, родинками. Посмотри на мою ладонь. Моя, конечно, чернее, но ведь на том же месте!

— Да, я ни разу не встречала у других такой же, как у меня, родинки. Но моя поменьше, слабее видна. Интересно.

— Можно я её поцелую?

— Давай. Я твою тоже. Давай-давай. Тётки и дети не понимают нас, явно. Ладно, пойдём, а то тут как-то слишком глазасто.

шагаем мимо несчастных летних юных продавщиц фильтров для водопроводной воды — рекламная акция Britta, мимо таких же унылых продавщиц матрёшек и красочных платков сувенирных, маек для иностранцев «Я агент КГБ». но мы совершенно не здешние, мы просто в узкой улочке, которая забирает из нас жару, нахоженную там, за ГУМом. и уже идём быстрее: расслабляющая техно-музыка из верхних отделов обдаёт не нашей, лишней атмосферой этих несчастных продавщиц. хотя, может, они и не так несчастны: я-то сравниваю с нашим состоянием, с нашим безграничным тут загулом, в котором ГУМ только сантиметр времени и восприятия. насквозь его проходим, лавируя между семейными шествиями и толстобрюхими, в серых рубашках, мужиками — наверно, охранниками — у выхода.

снова — в центральной цивилизации Старого города, напротив витринные окна Camelot, обувного, в пёстрых потоках страждущих покупок, зрелищ, экскурсий, хот-догов. зачем мы всё же тут пошли — через самый центр? особенность выходного — тишина там, откуда мы пришли, — сменилась тут многолюдьем. но мы бодро пересекаем все эти сгущения до неприличья легких на дамах одежд, мучимых стенным зноем тел, лотков. вырываясь, уворачиваясь от этих подробностей. твоя родинка — вот диковина. это наш объединительный знак. странная: поцеловала зачем-то мою руку. да уж, не ждал. по идее, ладони не имеют явного различия — мужская, женская. но твоя ладошка узкая такая

и пальчики явно женственные с продольными морщинками на фалангах. хотя и моя не толста. но различие очевидно. кроме места родинки.

вот и мостовая серая, плавно-бугристая, тут когда-то была жёлтая и белая разметка для военной техники. но без следов этого прошлого уголок Красной площади, перебегаемый нами. рамы новостроенной розовой церкви Казанской Богоматери на месте сквера уже высохли и потемнели, будто старые. под боком Исторического музея стоят с алебардами люди-манекены, высокие худые мужики. и настоящие плоские манекены пониже для фотографирования с ними, их легко спутать с живыми — Горбачев, Ельцин. мельтешит бейсболками приезжая детвора. а Красная площадь глубока и горда вдали слева, в центре: елями, бордовыми ступенями мавзолея. под Иверскими воротами, как и полагается, нищие. ты зачем-то оторвалась от меня, обогнала и кинула направо монетку темнокожему бородачу в грязном пальто. оглянувшись смущенно и снова поймала мою руку. шагаем по чутунным узорчатым ступеням.

ох, боярская Русь, вернувшаяся с нищими! железное вкрапление в мостовую, звезда какая-то, на которую монеты кидают. нам в буднях это видно как-то серо, уныло. но выросшая из-под православных сводов гостиница «Москва» исполински возвышается над туристической беготнёй, над голубыми пластмассовыми туалетами на своих беломраморно-серых колоннах и глядит вдаль Манежной.

— Знаешь, я как будто веду тебя гулять, маленького. Или ты меня ведёшь. Хочешь мороженого?

— У Ланового была бабка из Киева, она говорила «мороженко». А ты хочешь мороженко? Я всё-таки кавалер и старший в нашем детском саду.

обнимаю тебя, смеющуюся. обнимаю так, что чувствую вдоль весь твой стан,двигающийся в наших шагах по выпуклокаменной мрачно-серой мостовой. прижал к себе за плечо изященьким бочком и целую, целую словно в жажде — твои щёки, шею, волосы сбоку, сзади. не знаю, что так разыграло, опять снизу, от бёдер идёт волна ленивого тепла. может, от усталости ходьбой? нет, это ты, твоё сбоку присутствие. просто то, что ты со мной здесь, моя изящная, обаятельная моей левой рукой с родинкой, и у тебя такая же на твоей левой. надо купить нам мороженого, немедленно. так тепло с тобой — тепло даже в жаре, тепло в смысле уютно, неожиданно, нечувствованно уютно. ты моя девочка. девочка, которую на крышах я — ох, не без помощи и её самой! — обнажаю, целую и веду потом угощать мороженым. вон лоток перед туалетами под «Москвой» — Nestle, правда, ну да другого тут не сыщешь.

А ты любишь фруктовое мороженко? Всякое цветное...

— Вишнёвое, если будет. Посмотрим.

— Тут шоколадные всякие, как везде.

— Нет, вон есть «Опал фрУтс». Это мое любимое.

— Пожалуйста, Опал фрУтс и... «Марс». Ой, а сливочное есть, да? Тогда его. Это как раз моё любимое. Если оно, конечно. Спасибо.

— Да-с, слишком ледяное, придётся подождать-с.

— Моё тоже. Извиняюсь, что пришлось тут покупать. Ароматы те еще.

— Да что делать? Вообще, это не правильно. Не могут рядом стоять они. Фи! Охотный ряд. Тебе туда охота?

— Неохота. Пойдем лучше там, мимо вечного огня, там всё же деревья, тень.

— Правильно, ты прав, а я думала от солнца скрыться в этом торговом комплексе. Но там тоже, наверно, жарко. Хотя бы от людей.

идём как детки с двумя морожеными. только левой рукой я тебя обнимаю за талию. мою девочку. нас несёт от ворот у Вечного огня людское пёстрое движение по краю зеленой территории впритык к Манежному комплексу. статуя-дед, глупо лыбящийся с рыбкой. злой медведь. мы теперь часть этих зевак-потребителей. почему-то меня многолюдие такое озлобляет. с тобой и это не заметно, но всё же. но мы одни из них. ты ешь правильное для соблазнительной девушки цветное мороженое. и как в телерекламе при виде твоей фигуры в сарафане (правда, мной обнятой за талию) бьют струи — только не из американских водопроводных колонок, а тут, расейские, лужковские фонтаны.

и вон уже буйные железные кони, через которых льется, ниспадает дугой плоский водяной навес. тут скопление потребителей пива, наших ровесников, только в бейсболках наоборот, вульгарноязыких, с квакающими ртами, жующими бутылки или сигареты. хозяйски жмущими друг друга. мне не удобно, что я такой сноб и брюзга, а ты просто девочка, облизывающая «Опал фрУтс». но обнимаю тебя крепче. крепись, моя девочка. твой кавалер не из лёгких.

Слушай-ка, а по-моему, я знаю этого мужика в военной кепке!

— Какого? Свет против нас.

— А вон, в чёрной футболке с девчонкой невысокой, облокотились на перила — там, наверно. Это Лимонов, который писатель. Точно.

— Да, он. Какой-то он маленький. На тебя, что ли, смотрит? Или на меня.

— Это из-за того, что я так активно тебе показывал их. Морщинистый. Что за деваха с ним, непонятно.

— Панкушка, явно.

— Вот где прохладно-то. Всё тут нелепо, в этом новом комплексе, а вот этот коридор люблю. Если по нему пойти вперед, дальше по Герцена, то как раз к моему институту можно прийти.

— Ну так пойдём, не идти же по Калининскому, дышать гарью?

тёмный тоннель позади нас ловит звуки фонтана. Эдичка, пробовавший за границей всякий изврат, с девочкой, в дочери ему годной там... но у меня девочка моего поколения. моя девочка. абитуриентка, то есть уже студентка. и архитектурно образованная, она мне объясняет Твои названия, Твоих отделок имена. здесь сухо продувается пространство. красные двери, какого-то пожарного цвета — в торгкомплекс, неожиданные лестницы справа наверх. но наша цель и свет впереди. я знаю точно — как хочу тебя повести. ветер справа задувает сюда уличное время, почему-то запах кажется сейчас предвещающим осень. но мы идём по заворачивающему и наклонному коридору к лестнице, что на территорию МГУ поднимет.

Пусто, даже нет подземных музыкантов, все в отпусках.

— А что, и тут тоже играют?

— Осенью начнётся, ещё как. Шляпа, гитара, скрипка...

— Надо же, я тут не ходила ни разу. Это недавно построили?

— Да, как раз к прошлогоднему юбилею города.

— Почему ты сказал «города» — чтобы мне понятнее, на моём языке?

— Наверно. Да и так... в сусе...

— А. Такой необычный выход, поворот.

— Да, мы уже, можно сказать, на территории МГУ. Правда, сейчас выйдем за неё. Но и — снова зайдём. Не хочу тебя вести по этому автомобильному коридору.

— А как же?

— А вот так, я ведь тут учился, знаю тайные ходы.

— Какой у меня кавалер оказался!..

— Кстати, этот памятник Ломоносову — не исконный. Раньше тут стоял он в полный рост.

— А... В каком смысле?

— Ну как Гоголю памятник. Раньше был сидячий — тот, что в девятнадцатом веке ему поставили на Гоголевском. А в советское время его в полный рост сделали, поставили вместо сидячего того, туберкулезного, ну, в общем, такого неоптимистического, несоветского. Сидячий к дому Гоголя перенесли, это там же. Да мы, возможно, там и пройдем с тобой.

— Лицо у Ломоносова совершенно детское, игривое такое.

— Скорее мечтательное, но действительно детское.

никогда бы не представил, что здесь пойду с тобой, моей девочкой, за руку выводя тебя со ступенек из подземного перехода-закутка. и тут, к дверям журфака, где всегда стильные и развязные особы, пары, кучки модно курящих-говорящих конфиденциально матюшном. всё это осенние места, да и листья тут уже попадают жёлтые. возможно, от воздуха центра. но уют деревья сохраняют.

проплываем психодром... места институтски-родные. но в этот раз пространство по-другому разворачивается — в чередё всего пути. и у дверей никого из журфаковских. из-за того, что в гору поднялись — теперь идём медленнее, утомлённее. но и без поворота за Библиотекой Горького — вправо уходим, за МГУ, в двор проходной к улице Герцена, мимо чугунных глобусов здоровенных, ржавых по швам...

тебя привлёк сувенир двора — военный автомобиль, БМП мелкокалиберная. подсаживаю тебя «на броню». нехарактерная внимательность к военности у тебя. но и здесь пользуюсь твоей заминкой в путешествии в салон железяки и наружу: ловлю и целую подвижные ноги, изнанки коленок, оказавшиеся на уровне рук и губ. ты, весело присев на броневишке, готова контратаковать.

за щёки прижала меня жарко, подтянула к коленям, втянула губами с озорным дыханьем. прощай, оружие — поцелуй с броневика. колени твои пахнут кожным летом, рядом оказались с поцелуем насильственно-неожиданным. но тем и заманчив он. губы, отшутив, твои стали шириться в улыбку, а я ко-

лени обцеловываю, сцеловываю с них запах наших хождений, дождевой и уличный. тебе не удобно — опёрлась сзади руками, спустила колени с брони, но я, получив больший доступ, целую всё вверх к бёдрам, туда поднимаюсь, где не был. а выше — был, но на крыше. у-уух! схватила-таки коленями крепко мою раздухарившуюся голову. и глядишь весёлым лицом в моё, внезапно отлучённое от поцелуйной цели лицо.

— Ну что, попался, вояка? Ты что же это тут на глазах у всего университета делаешь с девушкой?

— Ну уж и на глазах. А по-моему, очень удобно.

— Не очень, у меня ноги затекли. Лови меня.

— Здорово сказала. Я это и делаю. В смысле — по-английски.

— Как тут всё интересно устроено за МГУ. Вон и арка как специально, двор и впрямь проходной. Здорово ты меня водишь! Придётся и мне тебя теперь куда-нибудь завести. В Лефортово, например, за Язу. Правда, там по-другому.

— Да уж придумаем теперь куда закатиться.

слова вместе с нами зашагали в акустике арки. голоса стали красивее, киношнее, глубже. в узкую улицу Грановского вышли, переулок Романов — поворачиваю сразу налево, чтобы подальше наш путь держать даже от такой невеликой магистрали, как улица Герцена. спешу с тобой в новую подворотню — чтобы из всех этих прохладных дворов тебя вывести к загадочной серой подстанции метро со статуями. окна верхних этажей низенького старинного здания, колоннадой на Герцена выходящего, открыты. жарко служащим. окошки маленькие — это мы и обсуждаем, уже сравнивая их с вынесенными за стену (в чёрных железных рамах) боковыми окнами подстанции.

и, миновав пустые ниши для статуй, вдоль серой стены со странными, фантастическими-космическими, как тебе показалось, колоннами, ещё в тени идём. но далее придётся выйти к солнцу, которое ещё палит и накаляет асфальт... объяснила мне, присмотревшись к стене, как называются фигуры рабочих-метростроевцев, выступающие из стены — горельефы.

— Кстати, в мае тут весело было. Мои друзья — ну, Минлоса, точнее, знакомые — сделали баррикаду поперек Герцена, Никитской Большой. В честь Парижской весны, событий шестьдесят восьмого.

— А что за события?

— Ну, там студенческая революция, Латинский квартал. Неужели не слышала? Баррикады в Париже, забастовки крупнейших заводов. Де Голль бежал. Говорят, власть валялась под ногами, но рафинированные университетские бунтари не решились её поднять.

— Нет, ничего об этом не слышала.

— Так вот, наши решили повторить это в миниатюре. Анархисты — Пименов, Киреев, Осмоловский. Вообще-то они все писатели, литераторы... Напечатали крупным шрифтом на бумаге лозунги Парижской весны — «Вся власть воображению», «Будьте реалистами — требуйте невозможного». Где-то часа два

они перекрывали движение. Потом их оттеснили к улице Грановского, которую мы с тобой прошли уже...

— Никого не арестовали?

— Штраф кто-то заплатил за это, и всё.

— Но это всерьёз было? Ты как считаешь, их следовало опасаться проходим?

— Да нет. Акция художников. Своеобразное празднование годовщины.

— Необычные художники. Вообще ты мне много интригующего рассказываешь. Познакомишь потом меня с ними или с Минлосом со своим для начала?

— Будет случай — непременно.

угол старого знакомого дома — обычного в первокурсных днях — сейчас выглянул из-за зелени сквера у подстанции так, будто ужаснулся или сдвинулся с места: просто забыт летом, выbleкло-жёлтый, двухэтажный, сводчатые окна, с магазином внутри и пустыми чердачными окнами, закоулком крыши. я с моей девочкой под тебя перебегаем улицу и идём вдоль волнистой, неровной стАри стен.

Видишь это помещение на той стороне? Теперь там «Кока-кола-Кафе-Кока-кола». А раньше была «Кафриль».

— Название кафе или ресторана?

— Почти. Просто когда мы только поступили в институт, мы туда бегали на перекус. А название такое потому, что старые, конца восьмидесятых, красные буквы — такие плстмассовые на белых квадратах, подсвечиваемых — некоторые поотваливались. Было «Кафе-гриль». Две средние отвалились, получилась «Кафриль», на французский манер название. Отделка тёмным деревом внутри, кофе, куры. Там можно было курить, мы брали какие-нибудь пирожные с чаем и нашей новой кампанией весёлой сидели, курили тогда у нас модные сигареты без фильтра французские — «Житан» или «Голуаз». Получалась Франция. Такая вот «Кафриль».

— По-моему, я тут была. Точно. Там впереди консерватория, да?

— Да.

— Надо же, я и не помню, что тут кафе было. Гриль...

шагаем вверх по левой теневой стороне. большая выдалась нам сегодня прогулка, длительная. только когда в гору пришлось идти — почувствовал мышечный гул усталости. а ты идёшь весело, обнятая мной. мечтал ли — тут же, по институтским маршрутам рисовать свой с тобою путь, и никто с курса не видит... слева дверь в глубокий тёмный подъезд. из магазинов выходят, тут всё по-городскому, многолюдно. но мы проходим, расходимся с двумя средних лет дамами, вдвоём открывающими банку «Nooch». вверх уже вдоль здания консерватории, мимо доски мемориальной с серой звездой. хорошо видно за листвой впереди на другой стороне розовое здание — родное и маленькое, перед церковью.

А вот тот домик и был наш институтский до последнего курса.

— Розовый, трёхэтажный?

— Он самый. Наш был как раз верхний, третий этаж.

— С окнами прямо на консерваторию. Это ваш институт там был весь?

— Так мы же были самым первым набором. Двадцать пять человек. Все умещались в двух аудиториях. Потом следующий курс набрали — и он к нам тоже подселился, в третью аудиторию.

— Сейчас и не догадаешься, что кто-то там учился. Люблю этот памятник Чайковскому. Знаешь, ведь его делала Мухина.

— Я этот памятник три года из окон наблюдал, перестал вглядываться.

— Невероятно! «Рабочий и колхозница» и Чайковский такой лиричный, пластичный... Одна рука делала.

ты прервала речь задумчивостью — из-за зрелища. на изогнутом полукругом каменном бордюре-сиденье под памятником — батареи пивных бутылок и банок, стоящие пьющие наши ровеснички, что заставляет тебя отвернуться, а меня снова — про институт продолжать вспоминать вслух. но ты ушла в себя, не слушаешь. и только за консерваторей, словно сама себя вытягивая из задумчивости, приглядываешься к стене, радуя себя открытием:

— Ой, тут Есенин работал!

— Ты выше смотри. Вот уж ирония судьбы. Салон «Имидж» в лавке имажинистов.

— А может, специально. Другие салоны с таким названием есть?

— Не видел. А в следующем раньше блинная была, иногда мы туда бегали тоже.

— А «Кафриль»?

— Чаще мы туда заходили, когда следующая лекция была на Моховой. По дороге...

перебив меня, справа зазвонила колокольня. словно гонимые, догоняемые колокольным звоном, от солнечной жары и яркости ускоряем шаг вверх по Большой Никитской — напротив, параллельно и в обратную сторону тротуару, которым спешил я в институт по утрам. там дом, из которого на солнце весной и осенью всегда выбирались бомжи. твои шаги белыми остроконечными туфельками по красновато мощённому тротуару — словно указатели нашего пути и ускорители. звон отдалился, квартал сплошной стеной домов нас заслонил от него...

— В этой рюмочной на той стороне самые наши развращённые студенты прогуливали лекции. Однажды и я попробовал с Костиком Минеевым неким — по кличке внутрикурсовой и кравтирной Азazelло, за железный клык. Водка с утра, снотворное во влажном утре... но потом всё же прошёл на лекцию, было веселей слушать. А вон балкон там впереди, не очень высоко, видишь — с голубятней и флажком, где силуэт голубя на фоне триколора?

— Ага. Дядя окошки открывает какие-то.

— Это голубиные квартиры.

— Здорово он там обустроился, над улицей. Какие-то очень породистые голуби, пушистые лапы и хвосты...

— Не те, что на наших крышах, да?

— Может, некоторые и отрываются от стаи, если им понравится кто-то из простых?..

крадёмся по теневой стороне к кинотеатру повторного фильма. всё больше думается о перекусе и оттого бодрей шагается. проваливаемся и выныриваем из тени в свет. пробежали Никитские Ворота с поворотом, понижением. как альпинисты или спринтеры. уже под боком Квин Бургера, мимо чёрной настенной крупной плитки. Спорттовары. стройная моя, когда чувствую твою талию и как шагаешь — снова примеряю себя с тобой к тому прошлому, которое здесь же было. как бегали с Лановым тут, по узкому тротуару к Никитским Воротам и дальше — газированную воду «Лесную ягоду» покупали в угловом гастрономе за ТАССом. долгую очередь стояли за дюралюминиевыми дверьми. а сейчас я веду свою девочку этими же путями, этими же запахами дышать даю. подворотня и решётчатый сток, знакомые люки в ней. нет, не пройдем, выезжает «мерседес» со слепыми чёрными стёклами. пропускаю, отведя тебя за талию с дороги. ради невидимых персон, пыхтящих в своём роскошестве. медленно едет, нахал. мелькнули сквозь затемнение стекла крашенные светло волосы спутницы. но вот двор в нашем распоряжении, правда тут частично солнце хозяйничает, но я тебя поведу ближе к подъездам, тут тихо и прохладно.

Подъезд тот самый, Ланового, где мы курили.

— Надо повесить мемориальную доску.

— Так ведь и повесят, но не нам, а папе. Они тут давно не живут. Какие вкусные ушки меня слушают — можно их поцеловать тут немного?

— Можно, целуйте, но не останавливайтесь. Так мы что, к Арбату так придем?

— Мгмм. Вот тут раньше площадка была детская.

— И не подумала бы. Что это за музыка?

— Странно, что сейчас, ведь время-то неучебное. Там музыкальное училище. На следующей улице сейчас выйдем.

всё, ты вовлечена в мои дворы, в мои сны, этими крышами бродившие. сколько, проходя тут, мечтал о девочке такой, о тебе. и вот сейчас говорю в целованное мной ушко, сообщаю давно известное, местное. увести бы тебя самыми сложными путями. но надо по кратчайшему, поэтому мимо новостройки особнякового типа идём. родные школьные названия переулочков приветствуют: Мерзляковский... всегда их путаю, направо должен Скатертный быть. скатертью в школу дорожка тут пробегала десять сплошных лет...

— Идём так, как я в школу. Точь-в-точь.

— И тебе это приятно? Ну, что меня тут ведёшь?

— Да. Да это и слово неподходящее — «приятно». С утра всё, что с нами происходит, — это не просто «приятно». Это всё... ну, великолепно, что ли. Понимаешь? Понимаешь — потому что чувствуешь, тут и говорить не надо, да? А приятно, что тут ещё не шумно и не машинно, не заставлены тротуары автомобилями как осенью, окна вон открыты. Так получается, что для нас больше пространства, больше видно, запахов больше... И всё это почти без свидетелей наше. Моё с тобой. Моя с тобой — Столица.

— А значит, мой с тобой — город. Ты так здорово говоришь. Надо чаще тебя расшевеливать. И арка такая сказочная.

— Да? А для меня ежедневная. Сказочно, что в ней — твои шаги слышны сейчас. Остренькие, моя...

— Ну, договаривай — моя что? Что хотел сказать?

— Моя девочка. Извини, если...

— Нет, очень мило. Нежно. Да, я твоя девочка. И, может быть...

— Что?

— Ладно, догадаешься, если ещё не догадался.

с тобой мой путь по исхоженным туда и обратно тропинкам через двор к школе — становится иным, по-другому виден, немного смещён к твоему взгляду, влево к тебе. белое здание школы сквозь листву ты увидела сразу. прокрались мимо одноэтажной пристроечки дворника. хоть и не рассказываю тебе, но мелькает детское прошлое: зимние снежные вечера, когда тут играли с щенком дворника, острые его зубки-иголки — сквозь перчатки уколо... всё уменьшилось, показываясь тебе. через переулок — и мы уже на территории школы, но ещё в краю деревьев.

Вот мы и у школы. Всё тут хожено-перехожено. Год за годом.

— Ты и маленький так ходил?

— Да. Через эту площадку, тут занятия НВП проводились, разметка была для построения. Начальная военная подготовка...

— Это вы тут занимались?

— Да нет — до нас. Нам уже не пришлось. Перестройка...

— Какая ветка древняя! Можно я по ней полазаю?

— Что это вдруг?

— Сейчас, только туфли сниму. Подсади-ка.

— Это пожалуйста, с удовольствием...

уже так привык твою талию чувствовать ладонью. теперь же — понизе, где тайно и мягко. на ветку с четверенек встала бОсо и гарцуешь, придерживаясь за ствол и верхние ветви. идёшь как по корабельной рее, сжимая ножными пальчиками морщины коры. надо же: сколько проходил под ней, эти листья задевал, а теперь ты по ней ходишь, босая, моя.

— Поймаешь меня, если что?

— Да уж придётся.

— Ой, а что это за маленький дом? Такой милый дворик.

— Это Институт США и Канады. Он хорошо из школы виден, я когда на уроки не шёл, то часто с пятого этажа на него глядел, это был для меня тогда незнакомый, взрослый город.

— Ага, правильно заговорил. Город, мой — только я тут не была.

— Ладно, не хотите ли слезть? А то там подругин стол заждался.

— Это верно. Ну-с, приготовьтесь. Раз ты со мной на «вы», то и я...

— Оп-п-па, поймана. И ничуть не пострадала.

— Поцелуй меня, если школы не стесняешься...

нет, это не стеснение. спрыгнув, ты стрясла листья, уже желтоватые, слабо державшиеся, нам под ноги. и босая стоишь у меня на подъёмах кедров.

тёплую, чуть повлажневшую на плечах тебя — от лазанья и солнца, до этого гревшего только листву, — с ветки пойманную, ловлю теперь и губами, непокорную. задорно с площадки спортивной удары меча доносятся, там футбол, басистые ребячьи голоса, даже и с матюшком. но мы уже утонули, вместе, друг в друге: усилиями языческими и устными, ускоряющимися пытаемся выплыть и снова падаем. и я тебя сильнее поддерживаю за талию обеими руками, к себе жму, вдыхая запахи твоей распаренной солнцем кожи, разогретых волос. будто не были сегодня на крыше — всё сильнее, свежее, неистовей. да под белыми, с детства знакомыми и расшифровываемыми со взрослением по-разному барельефами на белой стене. линейка-треугольник, книга транспортир с двумя чертежными инструментами, рейсфедером, по-моему и еще чем-то. но мы ушли в своё пространство, ощупываемое губами на пару, тёмное и увлекающее, в тёплом лиственном и пыльном ветре на солнце — во вздохах Твоего центра, Столица, в родных многолетних местах. под школой, в которой я тебя представлял разной, но именно такой непредсказуемой, провокационно-нежной внезапно. моя девочка, губы твои уже знакомо просят, требуют углубления, участия, повествования — общего длительного утопания. пусть под моей школой, хорошо, что здесь. может, тут будет гулять, увидит нас Таня другая, по фамилии Бадьян. блондинка-восьмиклассница со своим долматинцем, с которой мы так ни разу и не сказали того, о чём думали. но это было не досадой, не томлением или трусостью — это ради тебя, путь к тебе, терпеливый. чтобы дорваться до такого бездонного и взаимного...

— Ты о чём задумался? Бойкий был такой и вдруг чужой...

— Да о школе думал... Это всё школа, она нащёптывает.

— Нет уж. То школа, то Столица твоя. Нашёптывать тебе только я буду.

— Причём не в уши, а, как говорится, из уст в уста?

— Вот именно. Ты это хорошо подметил. В уши ты будешь, мы ведь любим ушами. Ну что, дальше? Сейчас обучемся только.

— А тут, оказывается, матч. Это наше футбольное поле. На нас косятся явно так, что, мол, видели всё... на красавицу мою, на тебя всё глядят.

— Ха, вот и мяч потеряли! Моя вина, думаешь? Прямо к тебе летит через сетку. Но попросить-то придётся...

— Ой, а киньте мяч, пожалуйста!

— Не вопрос...

— Смотри-ка, ты неплохо можешь.

— Это случайно. Давно не играл.

высоко надал мяч через сетку прямо на середину поля. Тан засмотрелась на полёт — на фоне листвы, церкви и небоскрёба Калининского, глядя в глаза весело, поймала мою руку и вперёд — к улице Воровского.

— Оглянись на секунду, запомни номер дома этого школьного — им, как правило, помечены все мои маршруты: помнишь, говорил?

— Говорил, помню, запомню. Что это тут разъездились машины всякие, пропустите! Мы голодные, спешим.

ускоряемся через улицу под накренившимся, старым, как тот, по которому ты лазила, тополем. в нашем движении, вбираемые твоим зелёным и моим карим взглядом — мои школьные декорации. жёлтая дощатость на серокаменных, ритмично выступающих, поднимающихся балконах небоскрёба. «СБ прием в стирку» — выпукло белыми буквами за церковью. помойка за углом небоскрёба, ограда газона, Дом книги сзади с пожарной лестницей замысловатой, закрытой, степенная серая лестница от клумб-газонов на Калининский. суета — не суета: мы уносим с собой к подземному переходу, как раньше из школы носились, нашу тайну с задворков школы. моя тайна — ты, Тан, ответ твоих губ, их требования. мельтешение, разброд-разъезд Калининского слегка тормозят и взгляд, и наш шаг. две вычурные крашенные красотки — рыжая и белёная блондинка говорят с восточными парнями у «мерседеса» тёмного. из Дома книги валит люд, лотки-ящики «Марс» и «Нестле» под зонтами от солнца, тут жарко. лица прохожих иностранные, скорее всего — красноватые, нездешняя кожа. но мы уже бежим по ступеням в тень, подземь, на ту сторону Калининского. твои шажки чеканны — туфельками, плохо приспособленными к древесному альпинизму, что ты сбросила у дерева. ступени скатаны, пологи. о, в переходе всё в своём обиходе — нищая восточная мамаша в торце, музыка из середины! запаха застоявшегося сигаретного дыма в тёплом воздухе.

Короткий теперь кажется этот переход, гнездо гласности. Первые музыканты бродячие тут появились. Эти джазисты тут часто. Бас-гитара «Джолана», мечта семидесятника.

- А ты разборчив в этом, недаром музыкант со своим Минусом.
- Минлосом.
- Ну да. А они классно играют. Особенно барабанщик.
- Что-то там «падн ми бой...»
- «Чу-чу». Так, ну теперь и я тебя могу довести до пункта назначения.

Готов?

- А тут уже не важно. Поднимемся влево?
- Нет, сюда. Теперь я рулевая.

и снова мы с тобой изящные пешеходы. стройная пара в общем пересекающемся движении. навстречу по лестнице взгляды сверху вниз твоих ровесниц крашеновласых с пирсингом, модных девиц на меня и тебя, не без быстрой зависти, примерялок этаких. на выходе для верности и большей другим соблазнительности нас — уловлена мной за талию и шагаешь рядом — мило говорящая, волосами щекочущая длинными, оглядываясь в сторону Арбатских Ворот. сколько позади моих тобой вспышек любования. следы твои на дереве у школы. тут бухсует музыка на этом пешеходном проспекте: «Дон спик ай ноу жаст уот ю сэйкин, соу плиз гад эксплэйкин...»

на минуту нас захватывает звучание музыки и пешеходное движение вдоль сплошных витрин новоарбатских. мы стали частью, одной сотой или тысячной пешеходной массы. тут как на юру, на пляже, скорее хочется свернуть и спуститься к Арбату Старому... и вот едва заметная за витринами слева лестница.

Надо же, я и забыл об этом спуске, мы им редко пользовались. Так-так, вспоминаю — мы тут курить бегали. Куда-то, за вагончиком у посольства прятались и курили «Космос».

— Ну и школьник ты был! Образцовый прям...

— Классе в пятом. А потом на этой лестнице пэтэушницы кутившие плюнули в нашу сторону, прямо мне на куртку, до сих пор помню, огуречный...

— Фи!.. Дальше не надо. Лучше на дома смотри — вот знатная эклектика.

— А дальше там, к Смоленке ближе — улица и место, где дом был моих предков.

— Прадеда?

— Да, Композиторская.

по лестнице, словно по годам в школьное прошлое, глядя налево... посольства, дома жилые, министерства, административные здания, рестораны, бар «Жигули» бывший. там во дворе первой «Книги» прогуливали физкультуру с Козловым Серёгой классе в пятом. покупали мороженое и сидели на бордюре, что над автостоянкой. смотрели, как машины — «волги», «жигули» — выезжают. казалось: огромный мир, долгий и солнечный, взрослый. шофёры не обращали внимания. глубина перспективы — как раз к этому посольству (слева, что уже прошли), но с другой стороны... потом туда, в подворотню за ларьком чистки обуви, ходили курить — «Пегас» из Новоарбатского. присмотрел там место у крыльца запасного выхода, точнее — в его крыше, куда можно забраться спать, если убегу из дома. там нам тогда, за угощение сигаретами, пели бомжи первые. представились бывшими артистами Вахтанговского. красиво пели дуэтом «Степь да степь кругом», он и она.

Вот и Арбат. Да тут книжный развал целый.

— Ой, а мне нужно как раз поискать кое-что к сентябрю. Давай быстро покопаемся?

— Конечно.

— Ба, да у них есть даже журнал «Архитектура СССР» за тысяча девятьсот тридцать девятый год. Вот дед обрадуется. Если, конечно, у него такого нет.

коробки картонные с плотно уложенными в них книгами. хозяин щетинист, худ, местный обитатель, желтозубый богемный курильщик, на тебя с интересом глядит. ты слева, изящно присев выкапываешь из коробки длинностраничные журналы с поблекшими обложками с домами. я в другом ящике. вот синие корешки с белыми плохо читающимися буквами — «Киноведческие записки», номера девять, двенадцать, четырнадцать. Четырнадцать. К 60-летию Андрея Тарковского. интересно. без фотографий, жалко. вот список его любимых фильмов. Печатной машинки шрифт. 1. Дневник сельского священника. 2. Причастие. 3. Назарин. 4. Земляничная поляна. 5. Огни большого города. 6. Угетсю-моногатари. 7. Семь самураев. 8. Персона. 9. Мухомор. 10. Женщина в песках.

— Ты тоже себе что-то нашёл интересное?

— Да. Тут сложно не найти.

— Тарковским интересуешься? Ну-ну. А я тут Голосова обнаружила. Дед с ним лично знаком был. Это как раз один из конструктивистов, потом перешедший в ар декО.

— Я и слов-то таких почти не знал до тебя. А вот Тарковского еще со школы. У нас там кинофакультатив был...

— Ладно, всё равно ничего не купим. Пошли?

— Нет, я этот журнал так не могу оставить. Там воспоминания в основном. Но хоть это... Пожалуйста, сколько он у вас?

— Двадцать два.

— Возьмите. Вот двадцать... сейчас — два.

— Побежали, а то они без нас всё съедят!

из-под трёхэтажного выблекло-жёлтого дома из дырявых кирпичей — в поток арбатских зевак. снова краснолицые иностранцы, наши с бутылочным пивом шествуют кучками, легко отличить — все в черных или другого цвета майках: либо на теле, либо на пояс прилажены. голоторсые парни с пивным румянцем лиц, ровесники, футбольные фаны, россияны. насколько я не из их числа, нет таких мышц, подруг, времяпрепровождения. и ты не из их спутниц, крашеноглазых, голосистых, пьяных. сквозь это течение пестрот и звуков (ресторанный наигрыш справа, голосина зазывалы в магазин мехов, распродажа.): но тебя не теряю, точнее — ты меня, за руку, уводишь в следующий переулок — Староконюшенный, где бревенчатый дом старый, светло-зелёный.

вдоль высоких и прохладных стен... второй дом Ланового прошли, на нас глянула справа из квартала большая подворотня и дальше арка пешеходная, туда бы мы с тобой и ушли, живи ты здесь. сколько мест хочу с тобой пройти! но линейность и целенаправленность никуда не денешь. надо. к подруге. первый выход в свет вдвоём. придётся стесняться. или вести себя смело? да лучше всего — как пойдёт. если не будут подзуживать. парень будет, это не плохо. ох, собака на нашем тротуаре впереди: ну прямо надо было от тяжелой нужды освободиться у нас на пути. ты заметила, но глядишь в сторону. оттягиваю тебя, проходя мину, к себе вправо.

— Ну вот, собственно, мы и прибыли — её дом. Конструктивизм, между прочим, опять-таки. Кажется невзрачным, но на самом деле очень видный дом. Угловые окна и балконы — сразу понимаешь, какой стиль. Видишь, как он необычно устроен? Не просто многоподъездный, а спланирован оригинально, с угловыми впадинами для озеленения и лучшего освещения квартир, весь многоугольник такой. Смотри — на каких мощных колоннах центральные подъезды... Сейчас, переждём поворачивающих.

— Это от Сивцева Вражка, с Бульварного едут к Садовому. Видимо, специальное совпадение, что мы именно сюда пришли — я этот район знаю хорошо. Мы в этом квартале в школе пятьдесят второй учились год, пока нашу девяносто первую ремонтировали — второй класс были всего лишь. У тебя тут подруга, а у меня — родня, дядя с тётей, но это дальше, Мясковского улица которая. А ещё вон там когда-то моя бабушка родилась, их дом там стоял, за сквером — его от-

сюда не видно — рядом с теперешней пятьдесят второй школой и генеральским домом... Вот, похоже, уже не едут, ага — пошли.

переходим по диагонали угол, ты ведёшь. за тобой газоны и зелень арбатская, в солнце светлая, пахучая; даже Гоголевский бульвар мелькнул. вон другой генеральский желтокирпичный дом в тени за лиственными кручами, всё так близко» два шага — и я у дяди. но мы шагнули на тротуар, под нависающее плечо (углобалкон) дома, я за тобой следую вперёд. бордовая плитка по первому этажу и открыто дышащие квартирной паркетностью, прохладой, обеденностью окна. есть хочется настойчиво.

— Это тоже школа, не тут вы учились?

— Нет, пятьдесят вторая там, раньше, к Арбату ближе. Школа имени Гоголя даже. Странно — в таком нешкольном здании. Хотя, вспоминаю, от тёти с дядей видно хорошо. Там ещё стеклянная крыша? Спортзал или мастерские...

— Ну, это я не знаю. Вот выйдем у подруги на балкон — покажешь. Пришли. Видишь — тут даже табличка сохранилась.

на чёрном фоне серебристый шрифт сообщает культурно: «ПОДЪЕЗД № 1». заходим. запах старого подъезда — водопроводно-известковый, болотисто-домашний. им пропитаны обои у Минлоса на Чистых. потому что второй этаж, пары близки. дом этого же поколения, судя по всему. ты шагаешь широко и быстро впереди, увлекая меня вверх. увлекательная в шевелящемся от шагов сарафане. не могу не догнать и обнять тебя на площадке у лифта — сзади, жадно.

Не убежите. Пойманы.

— Ну что такое? За что это вы меня так внезапно?

— А я сыщик, присматривался к вам, вы в подъезд зашли, тут я вас и поймал.

с талии неумолимо всползаю руками вверх, это бестактно, несносно, но груДки уже пойманы, шея, ключица, всё обласкано. ты поняла ласки, и улыбка в повёрнутом ко мне лице перешла в мечтательность, восприимчивость к моему трепетному повествованию пальцев на тебе. Тайная моя, в подъездном запахе с примесью пусть даже самой банальной аммиачной, собачье-шерстяной. ты поймана, крепко прижата мной, сильно бьётся, считает сердечко у тебя — ещё и от бега по лестнице. шею зацеловываю быстро, к волосам, ушкам, ниже, к подбородку, лицу. и, поймав это движение, ты оборачиваешься, встречаешь своими губами. балансируем оба у прозрачного сетчатого лифта, разглядывая внезапную взаимную тягу друг у друга в глазах. волосы твои вокруг, везде: у твоего лица, у меня в губах. быстрая перестрелка поцелуями. нам ведь надо идти в общество твоей подруги. но мы не можем, мы должны тут быть только вдвоём. рассказать нагулянное только что, оставаться дольше наедине, в новом, незнакомом мне месте. эта скорость ласк, сила моего объятия тебя — как продолжение нашей ходьбы, долгой, теперь так обратившейся на полпути по лестнице к квартире. там кто-то шумно спускается по лестнице, шум ещё и из открытой двери, сверху подулО и вкусно, салатно, а мы не можем остановиться. поцелуй теперь только в самое уязвимое место — губами в губы, твёрдыми, ухватистыми.

— Ах, вот они где! Так, Татьяна Игоревна, так-так...

— Ой, а мы вот тут...

— Да всё видела я. Представляй давай.

— Ха-а: это Ирина, моя теперь однокурсница и вообще замечательный друг-товарищ. А это... Тон, как называть-то?

— Антон. Просто Антон, как в фильме «Москва слезам не верит», помните?

— А-а... Начальник главка? Да-да. Очень приятно. Ира.

— Мы очень голодные, скрывать не имею права.

— Голодные, а что ж вы тут тогда делаете? Там всё ломится и народу пока — не все. Вы что — тут людоедством занимаетесь взаимным?

— Да-да, что-то именно в этом роде, Ир. Ну, ты теперь в курсе.

— Так — пошли немедленно. Я вообще-то в магазин бежала. Ну, пойдёте, я вас отведу, а потом побегу... Ух-х, прямо: стоят тут, целуются, как будто не на проходном месте!.. Ух, черти!

— Ирка! Как я рада тебя видеть. Тон, не отставай.

— Рада? Да только ж неделю назад виделись. И никаких эмоций.

— Как это никаких... Ну, это тогда. Но мы же поступили! Урра!

— Ура-ура! Вот по этому поводу, Антон, все эти ведьмы сюда и слетелись, сейчас я вас познакомлю. Ох, и дверь даже не закрыли.. Эй, ведьмы! Ну-ка, подлетайте, кого покажу вам!..

розовые в золотистую волнолинию обои, подсвечники с патиной у зеркала. полноватая и весёлая крашеная блондинка Ирина, выглядящая года на три старше Тан, вводит нас в холл квартиры с низкими потолками и длинным коридором. пахнет подмокшим деревом, сладковатой бумагой. впереди свет, по бокам тёмные книжные полки с высокими альбомами — Дали, Веласкес... навстречу нам — пока не видные контуры, тени двух, затем и третьей, длинноволосой, девушек.

— Так. Нет уж, теперь пошли в комнату, раз у дверей не встретили, ведьмы! Сейчас, они разуются. Что это ты, Тань, листья в туфлЕ носишь?

— А... Это школьный. У школы вот его позаимствован.

— Точнее у дерева, что за школой.

— началась суета: после нашего вдвоём восприятия — всё кажется гротескным и быстрым. имена девушек, что тут же путаю и забываю... Марина, Ксения, Лена. наконец нас оставили с тобой в комнате. ты, улыбаясь мне иронично, словно оправдываешься за такой громкий приём...

— На самом деле, это всё мои одноклассницы, все уже поступили кто куда. Мы у Ирки собираться стали со старших классов. Они любопытные. И на-верняка решили, что мы с тобой давно... И всё такое.

— Такое-эдакое. Ну-с, а теперь к окну. Тут ведь можно на балкон выйти?

— Конечно, он даже и открыт. Просто за занавеской не заметно. Иначе тут бы жара стояла. У них почему-то душная квартира.

сразу же слева показываю тебе высокий тёти-дядин дом и школу ту со стеклянной крышей по пути к нему. взлетели с тобой высоко над Столицей. и так быстро стала видна ещё не хоженная нами она — Арбат...

— Ты осторожно: балкон вообще-то падающий, на край не наступай.

— Это как?

— Да так: загибается потихоньку. Там железяки, на которых он крепится к дому, просто сгибаются медленно. Когда тут Ирин дед жил, то балкон был сильно нагружен, вот и начал загибаться.

— Окна тёти с дядей с другой стороны. Зато с площадки у лифта вид в эту сторону. И вот школа. Нет, не крыша стеклянная, спутал — видишь, просто большие окна в мансарде. Спортзал, наверно.

— Или просто зал, концертный. Как там здорово. Не тут, а дальше.

— Зелено в смысле?

— Вообще. Хочется как Маргарите тут полетать.

— Это только когда стемнеет. Ты тоже полетишь громить Дом литераторов?

— Нет, я бы по деревьям больше, ну и...

ветер тут ощутимее: выше, чем на улицах, не растворён жарой асфальтной. тебя, глядящую вдаль, обнял за талию, приблизил и чувствую вибрации от слов, как говоришь задумчиво, моя маргаритка. нет, ты другая — ты Тан. и крыши современные — наши. даже балконы ветшающие, всё неожиданно наше. открываются нам и квартиры, и виды с невиданных точек, деревья шевелятся лЕтне, пока ты углядываешь вдаль. всё живое, шевелящееся в окружении недвижимостей стен, времени и пространства Тебя. там высокие дома Остоженки, серый, поближе сюда, рыцарский, Президент-отель вдали, за Москвой-рекой, МИД совсем рядом громаден, а весь верх его с острым медно блестящим шпилем торжественен, рядом словно знамёна застыли остриями флажштоков в небо. и повтор кремлёвских зубцов, как кольцевое эхо, переключка эпох. плитка отделки МИДа точно греет нас разворотом плеч, ширококостеньем, тем что рядом — цветом, бежевыми бликами разных тонов, потемневших за полвека. это время терпело до нас, нам показавшись продолжиться. но эти секунды высчитаны взглядом и прочим восприятием медленно.

— А знаешь, если бы ночью лететь и невидимой — то можно и окнами позвенеть, я такая. Я её понимаю — взлетишь и станешь ведьмой от ощущения одного, что свободна, невидима.

— НагА... Кстати, и домик Мастера, и особняк Маргариты, и Дом литераторов — всё тут поблизости. А целоваться тут можно, балкон не упадёт?

— Главное, чтоб мы не улетели отсюда. Ты так целуешь, что всё куда-то уходит...

ещё смущённо твои договаривающие губы поймал своими. выдыхая балконную жару и запах ветра в твои волосы прежде — теперь дышу в лицо. моя изящная, прижатая в поцелуй, вжатая в меня. на какой стороне Столицы мы оказались? полная дезориентация. где Кремль, почему так много ржавеющих на стыках крыш? нас кружит, как ты боялась. белое расширяющееся пятно в зажмуренных глазах — вот сигнал того, что поцелуй состоялся. до боли в глазах сжатые веки. полная отдача только одному ощущению — устному, влажно-тёмному, затем стремительно языческому. изложению ласковому и отчаянному — уже по принятым темпам и развитию. и руки сближающие; твои, щекотно путешествую-

щие по моим лопаткам и пояснице. то ли балкон покосившийся, то ли жара, но мы изнемогли от недолгого сближенья: действительно, словно вместе падаем. обоих нас мрак в глазах топит, а внешнее тепло усиливает потерю ориентации: обвивает ветерком, лиственным шумом и далёким машинным гулом. Столица, я в новом месте Тебя — она меня привела к Тебе. спасибо. то, что просил под заветной аркой у улицы Чехова — сбылось. она и Ты сделали. приземлившись внезапно из темноты поцелуя, разнявши губы, глядим друг на друга. словно только встретились. удостоверяемся. твои волосы отвёл рукой к ушкУ. глаза твои зелёно-серые сейчас сначала серьёзные, потом веселее и, возможно, счастливее — так назвал бы эту лучезарность и доверие, женственный покой в моих объятиях.

— Ладно, пойдём-ка. А то Ирка вернётся и нас не найдёт. Пойдём, альбомы покажу.

возвращаемся точно просто с улицы — в незнакомую и этим уютную комнату. ты уже у нижней полки в углу и достаёшь один за другим высокие альбомы в разноцветных суперобложках. долгий Дали, твои комментарии, нежно щекочут — я даже не понимаю слов — как в детстве дикторы телевидения могли. я действительно твой. ты хоть не ведьма, но я заколдован. это и голод, накопившийся к вечеру (от беляшей остался только луковый привкус, обоюдный — поэтому неощутимый в нежный момент сближенья лиц), и солнце, клонящееся к вечеру, поймавшее нас на балконе. ты увлечённо описываешь картины, перелистываемые тоже щекотно-нежным звуком. какие у тебя руки, как они по-детски и чуть неуверенно листают мелованную бумагу! они чаруют слух и взгляд, что-то со мной происходит, я становлюсь пронизуем, словно прозрачен для всех твоих движений, издаваемых тобой звуков. если это называется словом, начинающимся на букву «эль», то я в тебя «вэлился». ты такая тоненькая и рассудительная — моя, моя! но ещё больше я — твой. это уж точно. молча обнимаю тебя всё крепче, листающую Дали.

— Татьяна и Антон! Идите уже к нам. Ира давно пришла, зовёт вас.

— Вот ведь... А мы и не слышали.

— Ну, на балконе были, не расслышали за шумом и...

— Да уж — и. Это точно. Ну... Да бросай тут альбом, не надо туда его, потом... Пошли.

водопроводно-книжный запах коридора приводит нас в салатную кухню, здесь хозяйски всё устроено на клетчатой розово-красной скатерти. помимо девушек тут внезапно парень моих лет, с длинными кудрявыми волосами светлорусыми. женственный юноша на первый взгляд, стеснительный, и в очках.

да, вот и появление всех прочих ребят. в модных майках-безрукавках и длиннорукавках — белой, оранжевой, чёрной — Killer Loop, «Найк», «Адидас». продвинутые парни, ты будешь с ними учиться. салаты пошли сразу в ход. голоса и интонации у ребят — тоже модные, как на эф-эм-радио. и румянность насыщения, веселье расшевелило стены художнической кухни. художнической — хотя бы потому, что на стене натюрморт, близко от плиты. ребята живо поглядывают на твоих одноклассниц и на тебя, как мне кажется, чаще... то, что мы больше молчим, а ты

односложно отвечаешь подругам и глядишь спокойно на меня — всё к тому, о чём я думаю, охотясь раз за разом за маслинами и вкусной овальной колбасой копчёной, надеясь впрок, на долгие странствия. о них я и думаю — как бы поскорей уйти из этой взаимнознакомящейся компании. уйти с тобой, увести тебя — в новую неизвестность улиц мне и тебе. в Столицу, пока она освещена. тихо прокрадываясь моя рука обнимает и, отражая эту задумчивость гулившую, как бы приподнимает, торопит тебя с места. ты почувствовала этот импульс — потому что сначала выбралась в кабинетик. а потом, вернувшись, что-то шепнула Ире, и она тотчас глянула, улыбнулась на меня, томно завидуя. не более пяти минут ещё за столом, и мы снова в книжном коридоре. листочек из твоей туфли смели к двери.

Что, положим листик назад?

— Нет уж, оставим на память. Я что-то чувствовала, когда мы шли по Калининскому, но не понимала, что-то проскальзывало... Я отпросилась у Иры. Она нас не будет провожать, чтобы ребят там не бросать, а то они только появились, стесняются.

— Я бы не сказал, что уж очень...

— Не важно, главное мы улизнули. Сейчас. Тут нужно сначала замок открыть, вот. Теперь на собачку. И-ии. Дрынц. Всё. Ну, ты доволен? Прямо исщекотал меня там, у спины. Нетерпеливый мой. Ну, веди опять ты, куда хотел.

стук и шарк нашей спешки по лестнице, пока кто-то спускается, обгоняет нас, щёлкает этажами на лифте. после влажноватой квартиры — снова в сухие ветерки и запах извёстки конструктивистского подъезда. я знаю, куда тебя поведу — сначала в Лёвшинский. потом к дому Мастера, потом к Маргаритиному особняку. а потом... увидим. вновь мелькнула при выходе чёрная табличка подъезда (телеграфное стекло), углублённая в стену. и уже не по ступенькам, а по плоскости тротуара идём, обнявшись (я тебя левой за талию, ты меня правой за плечо), по Староконюшенному в сторону Пречистенки, вдоль бордового кафеля, которым отделан бордюр первого этажа до балконов. серая сетка цемента между плитками или сами плитки создают какой-то особый уют, долголетний и почему-то зимний, ассоциирующийся с кремлёвскими ёлками, дачами, чёрными «Волгами». поев, теперь приятно фантазировать. посольство Канады следом за конструктивизмом, жёлтый особняк. но главное — я тебя увёл отсюда, с хорошим запасом времени до потемнения.

Как здорово! Вот мы тут опять, никуда не надо...

— Здорово, что ушли? Да, ты прав. Мне там быстро надоело. Особенно из-за новых лиц. Пусть они там знакомятся. Мне с тобой интереснее. Я думала, что там как-то мы все вместе будем — и говорить, и рассказывать. А получилось, что всё внимание на ребят. Ну и на нас, конечно — только молчаливое внимание, хитрое такое.

— Да ладно... Лучше расскажи, что за стиль этого дома. Вроде бы, не особенно взрачный, серый. Я его обычно сверху видел, вечером, когда от тёти с дядей уходили — вон, кстати, за деревьями их дом — с площадки у лифта смотрел сюда, окна большие, уютный свет...

— Ну, как тебе сказать?.. Это пятидесятые, скорее всего. Или тридцатые, что вероятнее. Неоклассицизм, надо полагать. Колоннада фасада. Они всегда такие широкие, оптимистичные, что ли... Окна, да и сами дома.

— Да, длинный домик, на самом деле.

то ли целую, то ли шепчу тебе в спрятанное за локонами ухо, ты пахнешь теперь немного Ириной кухней и домом. идём быстрее — видимо, соскучившись по ходьбе. здесь прохладнее, на несолнечной стороне: вечереет, но ещё не темнеет. увожу тебя по краям своим музыкальным, оплачивая за архитектурный ликбез рассказом о рокерской юности,

— как играли мы тут в подвале в девяносто четвёртом году, репетировали. группа «Вельд» называлась, вместе проиграли всего месяца три, дали один лишь концерт в одном из первых рок-клубов «Инстолярка», при вузе некоем на Бауманской, поворачиваем направо из Староконюшенного в Гагаринский переулок. зная уже твой интерес к модерну — завожу в подъезд, откуда ходили в детский клуб, от которого «Вельду» поблизости дали подвал для репетиций, влажный и усыпанный известкой скульптурной мастерской, там прежде бывшей.

— Как тихо сразу... Да, двери исконные, изначальные — модерн. Витые перила, ступеньки такие необычные.

— Вон слева, за этими перилами — дверь в клуб. Мы там с лидером «Вельда» Кириллом и его женой на кухне ели пельмени — такие, из коробки которые. Тоже с художником, кавказцем обрусевшим, с плохими зубами, он сюрреалистом, что ли, был. Всадники обезглавленные у него скакали по холсту.

— Я бы хотела тут жить. Спускаться по этой лестнице... Ну, глянули и пойдём!

с тобой идём под листвой, нависшей из-за стены салатного цвета. здесь её больше: старых особняков сады. шажки твои в тувельках и мои кеды минуют люк Телефон-НКС, на нём два пожелтевших с краёв листа. преждевременная осень? нет, просто от жары изнемогшие листья, без достаточного питья. здесь не так жарко. ты глядишь вверх на серый рыцарский дом, мною обнятая; наши шаги научились совместности — даже переходя улицу ко двору краснокирпичной школы, мы не разняли нашего нежного сцепления. так и будем с тобой ходить, дороже мне нет ощущения, только, может быть, то проникновенное вокруг бледных грудок и родинок целование на крыше — но даже просто чувствовать под ладонью твою талию и шаг мне здесь великолепно. а ты всё следишь за домами на левой стороне, там следующий (за высоким воздержанным серым — с аркой, бело просвечивающей до параллельной улицы) — стар, невысок и жёлт. не удерживаюсь от более сильного прижимания тебя на ходу, что стесняет шаги и нарушает твоё равновесие, вследствие чего ты поворачиваешься и молниеносно целуешь меня в щёку и нос. в поцелуе пахнешь крабовым салатом с кукурузой.

— Ну, какой! Не даёт присмотреться к домишкам!

— Нет, просто каждый любит, чем нужно.

то ли от незаметного вечерения, когда закат давит невидимый за домами горизонт Твоих окраин, прощально просвечивает эти переулки, то ли просто от пе-

реполненности нашим общим общительным, разглядывательным, ласкательным днём — шагаем молча, чувствуя, глядя друг на друга часто и озираясь на Тебя. ты тут скромна и уютна. вот как получилось, мы в Тебе с ней, а раньше я сюда забредал только семейно или по своему хотению, совершенно не ориентируясь — начиная тебя искать. это самое милое, исконное место. и МИД, что впереди виднеется — благословляет наш поздний выход в Тебя из Староконоюшенного. за день тут накопилось много запахов, и все теперь блуждают как мы, вместе, перемешавшись. они с нами и для нас — рассказывают об обедах, выкуреном и покрасках-ремонтах тут. дом, что мы проходим — такой же старый как и тот жёлтый, что ты разглядывала слева. но теперь ты это делаешь молча — обсуждением пороков аристократии мы исчерпали дискуссию. нет ни ветра, ни машин, но нас, обнявшихся, точно течением несёт, и мы сворачиваем влево, мимо генеральского дома и вишни у его подъезда. никто не сидит у дверей, бабушки разъехались по дачам.

окна следующего, из-за деревьев выступающего к тротуару дома открыты многие. свет еще не зажигают, светит закат, отражающийся напротив. тут дома частые и не все жилые, так что чувство летней пустоты центра присутствует. слева от дома к нам — запах домашних прохлад, стенной и обоевой, возможно, книжный — похожий на тот, что у Ирины дома. их стол и вечер мы оставили далеко и давно, кажется.

— Я эту церковь видела, только с другой стороны. Мы тут с Ирой часто ходили, болтали.

— Пойдём-ка с этой стороны, чего детей смущать?

— Детей? А — там на площадке?

— Да. Вот ведь — не все по дачам да курортам, кто-то и тут лето видит.

— Тут так старинно... Не только церковь, но и этот дом угловой, с «продуктами». Ничего особенного, без отделки, а старина все равно. Девятнадцатый. Вот присутственные места, мебелишки дешевые из романов — это все тут, в таких домах было, мне дед говорил. Хорошо, что мы ушли, а то ничего этого не увидели бы. Куда мы теперь?

— Направо. Пауза вышла в нашей игре «кто ведущий», да?

— Ты мой ведущий, води.

слева в доме с белыми ромбиками на стенах и двумя навесными лифтами много открытых окон — на втором, третьем этаже. свет люстры с миньоновыми имитациями свеч в двух окнах — там, на втором, что-то отмечают тихо, слышны их посудные звуки и скрипы стульев, мы видим даже поднятые рюмки в свете, и нас видят, пока мы наискось переходим к «Продуктам». румяная женщина с высветленными волосами лет сорока, в яркой косметике на секунду отвлеклась на нас оценивающим паре взглядом и тут же вернулась в свое пространство, кто-то там тост говорит, она слушает. и, пока ты доглядываешь эту картинку, я, с усиленным ощущением, что мы — пара, тебя увлекаю в ближайшую подъездную дверь. тут без кода. лёгкая, я тебя даже приподнимаю целиком, переносу. мы в новом запахе и помещении — лестница стара и прокурена, но никаких признаков жилья: чисто, ничего не стоит у стен в полусумерках, толь-

ко чёрные двери, а мы шаг за шагом — высимся, уже у окна и отсюда виден свет второго этажа соседнего дома, где праздник.

— Ну, ты авантюрист! Если бы я тебя знала не три дня, а один — точно подумала бы, что псих.

— То есть маньяк?

— Вот-вот. Ну, так зачем же мы здесь?..

это, видимо, случилось, но не здесь, не совсем здесь. уже знакомым обхватом через талию, вверх, запирая сгибом локтей — я притискиваю тебя, и только твои руки, пальцы за моими плечами, у затылка собирающие, впивающиеся, кружащие, сообщают, что там, снаружи происходит. мы у окна, за которым медленные, с тускнеющей жарой, сумерки. глубокое, тяжкое падение — это снова зажмурены изо всех сил глаза и накатывающие оттуда из темноты бело-жёлтые тонкие обручи, круг за кругом отмечают, насколько глубоко мы тонем этим поцелуем друг в друга. потом спрошу тебя, что ты видишь, есть ли эти круги? всем, чем принято говорить, есть — мы друг в друге. у нас единая речь, общее пространство, где живут повествователи взаимной заинтересованности, языки. но они маленькие и мы маленькие, так как приняты этим случайным подъездом с широким пролетом лестницы. присутственные места... черные двери двустворчатые. в каком-нибудь чиновничьем романе мы — такая неожиданная сцена. но через век. мы пришли сюда после множества судеб, пробегов по этой лестнице. стоим и утопаем друг в друге в тишине случайного пристанища, подъезда, только с шуршанием шагов редким с улицы из-под церкви, далекими обрывками автомобильных движений. разнялись, а тут вечер спускается, мрачнеет. кажется, было светлее, когда мы сюда вбежали. ты поднимаешься медленными шагами, едва внутрь повернутым своими лодочками, манерно по лестнице, задумчиво. и оглядываешься на меня: дурак, я как всегда прозевал, надо было сразу идти за тобой. двери, двери — вы одни наши соглядатаи, но ничего не расскажете.

— Тон, мне кажется, что у Достоевского именно такие лестницы. Вот Раскольников шёл к следователю по такой, наверно...

— А я почему-то вспомнил про своего Кортасара, которого тебе дам почитать обязательно... Орасио там в конце романа — в окне, под окном — классики. Прыгнет или нет — вот финал.

— Нет, это русский роман — такая лестница. Гоголь, возможно. Странно, что мы тут с Иркой часто ходили, в магазин заходили, а сюда не заглядывали.

— Ладно, надо идти, а то в темноте ничего показать не удастся.

— Давай. Но тут мне понравилось, спасибо, что затащил.

— Да заради боха — если что, обращайтесь.

— И обратимся, так обратимся, что за всё маньяки ответят...

ты — к лестнице повернувшись спускаться, а я тебя, ещё шаг не сделавшую — поймал, на весу почти держу, стоящую на одной ноге. и шею, пробравшись сквозь совсем тёмные в подъездном сумраке волосы, целую, к ушку подбираюсь медленно. шея такая славная, изящная, так много целовать тут, и чем больше — тем притягательней... моя Тайная, вот мы с тобой и спрятались ради

ласк в ходе путешествия. так и мечталось мне, восьмикласснику, когда чуть дальше, ближе к Пречистенке отсюда, мы сидели в полуподвальном кинозале, смотрели умное кино. из «Зеркала», «Стены», даже из какого-нибудь «Механического апельсина» там в полумраке зала навевались, начинались мечты о тебе — здешней. что поймёшь, пойдёшь со мной тут. сквозь стены кинозала, его зашторенные окна — рвался воображением к тебе... где-то в этих окнах проживающей, ужинающей. может быть, поэтому так вглядывался вечером в ближайшие на обратном оттуда пути к Кропоткинской окна — домов примыкающих к зданию с кинозалом. шёл, глядел, но мечтал ли так держать тебя, реальную. медленно за тобой шагать вниз по лестнице, щекоча, догоняя тебя своими заострёнными губными краями. пахнет тут древним, может и табачный дым столетий впитавшим, камнем лестницы. но сухо, без примесей подвала.

вышли, тут вечерет уже не на шутку. и церковь такая светская, с круглой сердцевиной, без крестов, с крылечками, высокими окнами, такая часть квартала...

— Ну так как — достигнем намеченного? Тут уже совсем рядом, если не заблужусь.

— А я тебе помогу, не заблудимся.

— Малый Лёвшинский. Просто у меня тут всегда случается какая-то зеркальность. Несколько перекрестков переулков, совсем рядом, но трудно запомнить, когда и куда повернуть. Думаю, вспомню...

— Давай тогда ускоримся. Да тут всё элементарно. Мы уже идем по Большому Лёвшинскому, почти. Через квартал будет Малый.

как много все же москвичей здесь, хоть лето. и если стены горячи, то внутри — прохлада. её вытягивает только сейчас дворовыми сквозняками. в голубоватых сумерках всё сблизилось, не только мы, взаимно обнявшиеся. вот Чистый переулок отбежал влево.

— Смотри — этот Чистый. А мы с тобой были в...

— Безымянном.

— Да. И никак его и не назвали.

— Пусть будет тайным теперь?..

— Пожалуй... Или все-таки Дантоновским?

— Нет, Тайным и точка.

— Детсадик... Вот уж тут точно никого нет до сентября.

— Всё, я сообразил. Вот это — дом архитекторов.

— А ты откуда знаешь? Тут у нас куча знакомых. Даже крестные есть — как сказать-то? — в общем, бабушкой моей крещенные внуки дедовых друзей, вот.

— Лихо.

— Нет, ты не пугайся. Это только бабушка, дед — атеист. Но вот мы с мамой... Впрочем, мы — слабая половина человечества и имеем право верить в силы, которые над нами.

— Какая смышлёная будет первокурсница!

— Гляди, правда, уже темновато, но видно — домик свой архитекторы сделали очень уютным. И довольно приземистым. Видишь — трубы к балконам примы-

кают, значит со своей котельной. Это тоже тридцатые. Но тогда ведь с высокими потолками, большими окнами строили. А они при этом ещё и в масштабе этого участка старого города, чтобы не выбиваться. Вон же — восемнадцатый или начало девятнадцатого — усадьба с балконом, вон впереди, на углу. А тут, напротив такой старины, такт требуется — конструктивизм если и померещится, то издали, а вблизи — такое все добротное, балясины у балконов классические, толстенные, окна не высокие, но широкие. Очень уютный дом — и внутри и снаружи.

— Как ты тут всё много знаешь. Думал уж теперь я буду экскурсоводом... Позвольте и мне вас одарить знанием — вот этот-то балкон второго этажа, вами упомянутый, где «Денежный» написано, и есть место, откуда Наполеон взирал на горящую Москву. Пречистенка сгорела вся, так что смотрел он сквозь клубы дыма, надо полагать.

— Ой, а это детская комната — вон мишки плюшевые на шкафу. Не уехали на дачу. Или, может быть, дети на даче, а родители тут.

— Или они там круглогодично. А сейчас - налево. Вот мы и на улице моих ближайших предков. Сюда они переехали после революции, после долгих мытарств — дали сначала весь второй этаж, потом квартира стала коммунальной. Дали потому что Вася, бабушкин брат, был в Красной армии. До революции это был дом Немчиновых, мебель от них оставалась — обитая в расцветке триколора, так актуально сейчас... Только этого дома уже нет давно, зато сквер за ним остался. Сейчас подойдем, я покажу, где был.

— Уже прохлада ночная появилась... Можешь обнять меня крепче, да, вот хорошо. Или это из-за листьев тут так прохладно?.. Листики-листки, куда ушло солнце? Вам тоже ночью холодно тут?

нежно любопытствующая моя. к природе... тебя обнимать говорящую, тянущуюся к листьям — часть моего дня, этого дня. нашего вечера с плотной усталостью в бёдрах от ходьбы (и с твёрдым гуденьем посередине выше, после подъезда). привел тебя к истокам. проходя сквер дома архитекторов, шуршишь по нависающим над нами листьям, а я тебя целую, зацеловываю в ушко до щекотности и детской улыбки как от чего-то кислого. стоп — лужа, в ней россыпь зелёных с желтинкой по краям листьев. тут воду дневного дождя не испарило солнце. обойдём по дороге, тут никто не собирается ехать. вышли, да так и идем посередине. справа розово-каменный дом — только внешние стены, внутри сумеречная пустота, так ломают перед капремонтом, реконструкцией.

— Как так получилось, я все не пойму?

— Что именно?

— Да вот, что мы с тобой знаем друг друга, и ты привел меня сюда, к дому твоих родителей. Мне кажется, это сказка, которую мне рассказывали когда-то в детстве. А я принцесса, иду за тобой, листья ловят волосы, сады нависают...

И мне тоже... Хорошо, что тут никого нет. Можно тебя целовать, не смущая детей...

— А вон — на площадке. Зря сказал. Но это не дети, это подростки. А играют почему-то в вышибалу.

— И играет при этом «Мальчишник», по-моему... Да, точно.

— Ладно, им — своё, нам — наше. Большие тут дворы, есть где посидеть, поиграть...

— Так, все же машины тут появляются, пошли обратно.

— Не хочу, не трамвай — объедет.

чуть левее пошли, держась за руки на расстоянии, как школьники. раскачиваешь наш навесной ручной мост ритмично. а я тебя, пока машин снова нет, перевожу направо, с площадки, из-за яранги, сидящие на песочнице тинэйджеры глядят на нас, вроде бы в карты играют, пока другие мячом бросаются.

Вот-с, прибыли. Дом занимал всего-навсего этот узкий участок, где теперь деревья растут и газон. А вот те окна трёхэтажного, где знак Осавиахима — глядели прямо в их квартиру, на втором этаже. Двери входные с улицы были вот тут, слева, у стены соседнего дома. Лестница в два марша — и шаг за шагом направо квартира.

— А что за знак Осавиахима?

— Вон справа. «Крепи оборону СССР» — в двадцатых такие знаки лепили на дома, в которых были пункты соответствующие, потом это ДОСААФ стало, теперь РОСТА.

— Берёзка... Хорошее место, где дом стоял — такой уютный двор, глубокий. Пошли туда? Какой тополь толстенный, древний!

— Надо полагать, что он видел тут всё наше семейство еще малолетками. Дядь моих, тётъ, маму. В войну крышу дома прожгла бомба-зажигалка, прямо над комнатой наших. Всю мебель пожгли на дрова, пока наши в эвакуации были. Но ничего — приехали, обустроились заново... Но не сразу, сперва на Серпуховке жили, у родни по дедовой линии.

приходится пройти громкую музыку тинэйджеров. только бы в нас мячом не попали. но мы шагаем вольно, руками соединенными болтая не в такт их музыке, проходим шаркающих в азарте, уворачивающихся от красного прозрачного мяча широкоштаннных девчонок и пацанов. девчата с хвостиками на нас обернулись, присмотрелись быстро, пока ребята на другой стороне бегали за улетевшим мячом. вечер тут гостеприимен, светят окна из генеральского дома прямо по нашему пути. но мы сворачиваем влево, к заброшенному деревянному дому с проваленной крышей.

— Это, наверно, местная тайна. Дом... Кому, интересно, он принадлежал?

— Возможно, детсад там был. Или библиотека...

навстречу нам новая компания катит на скейтах, и я заблаговременно увожу тебя влево: через кущи сумеречных деревьев, мимо сидящих двух бабушек и молодой мамы с коляской у подъезда длинного дома, торцом выходящего на Малый Лёвшинский рядом с бывшим подъездом моих предков. обнята мной крепко снова, и мы, протиснувшись между старыми стенами, вошли в двор музыкальной школы, что лицом к Пречистенке. полукругом стоящие флигеля-конюшни привлекли твое внимание, и ты, высвободившись, пошла что-то разглядывать.

— Надо же, тут живут, это жилые дома. С таким необычным балкончиком сплошным, мансардой, что ли, второй этаж... А что тут было раньше?

— Не догадалась? Внизу — конюшни, наверху жила прислуга. Это тоже чей-то дом, довольно древний. Там мамина школа была, теперь — музыкальная.

— Конюшни, конюшни... Тут? Не верится. Хотя — да, высокий первый этаж, ворота. А наверху свет горит в окнах, так хочется там оказаться, пожить. Тут будто из фильма про девятнадцатый век. Староконюшенный мы прошли, и тут конюшни...

— А хочешь, я тебе и Новоконошенный покажу, он тут недалеко.

— Да, интересно. А почему такие названия — Старо, Ново?..

— Видимо, старые конюшни были издавна в центре, на Арбате, а новые — уже за Садовым кольцом. Логично.

— Пойдём-пойдём в Новоконошенный, ты меня заинтересовал. А там остались здания такого же типа?

— Вряд ли. Только название.

— Правда, надо бы подумать и о возвращении — мне обязательно после девяти позвонят, проверят, дома ли я: мои, с дачи.

— Так там телефон есть?

— Не у нас — на весь посёлок художников, у коменданта.

— Ладно, мы быстро.

— Хахха — да уж! Если сил хватит ноги передвигать. Сколько мы сегодня пробежали?

— Километров тридцать, если восхождений не считать и лазаний.

— Устала? Но мы потом, оттуда сразу к Парку культуры выйдем, на твою красненькую чтобы.

— Устала, но не очень. Скорее это кажется из-за сумерек. А когда ты обнимаешь так — то никакой усталости. Забоотливый такой, на метро посадит... А о другом ты позаботился? Поцеловать девушку в понравившемся ей месте?

нетрудно здесь схватить взаимное головокружение. бывшие конюшни окружили и поддерживают вместе с деревьями, а мы, утопая губами обоюдно, куда-то несёмся по кругу. мимо тёплых окон. тёплых не по-дневному. в дворовой тишине слышны комнатные звуки, щелчки тумблера телевизионного даже. откуда-то свисток чайника или это телевизорный звук. быстрые взвизгивающие вихри за стеной школы проносящихся машин. троллейбусный медленный проезд с подзвякиванием цепи под кабиной. а нас тут незаметно для всех кружит. как только не падаем? и листья над нами заботливо шевелятся на фоне света окон. я подглядываю — твоё с закрытыми глазами лицо я со стороны назвал бы вдохновенным, даже самоотверженным. ввержена в мои объятия, вот как целую веки, веки, ресницы, виски, ушко, шею, щёки, моя прозрачная в сумерках Тан.

пожилая женщина со второго этажа по внутренней лестнице мансарды спускается с мусорным ведром, покосившись на нас, надо прятаться.

снова целую в губы, тонУ. твои совсем тёмные в сумерках волосы, чаща, водоросли для моих кистей, листья тоже силуэтные, полукруг домиков — все

окружили, закружили нас в Столице. как долго ходил, проходил тут, искал вот этого. такого безбрежного, поглощающего так, что не до усталости. моя Тайная — это всё ты. моя найденная. прижалась ко мне, уткнулась в шею, под кадык. снизу, в меня, щекотно говоришь.

— Ладно, пойдём в Новоконюшенный.

пожилая жительница второго этажа, возвращаясь с ведром от мусорных баков, к которым мы направились — взглянула весело навстречу. серые размытые глаза и седина, но аккуратно собранная в пучок. интеллигентная жительница. листва сокращается по пути наискось от конюшен — мы у ворот к Пречистенке. улица рассвечена вывесками, уже очевидный тут вечер.

А вот дом серый, высокий — тут жена моего двоюродного брата жила до того, как они вместе стали...

— Сталинский домик, видный. Колоннады какие, балконы — такие в период ар деко придумали, чтобы открыть дверь и просто постоять во весь рост перед видом, фактически не выходя.

— У нее как раз и был такой балкон, на самом верху, видишь? Курить выходили...

— А ты откуда знаешь? Это же брата жена?

— Так мы были у нее однажды. Как-то брат позвонил и позвал меня в баню. До этого я только в экспедициях и на даче Ланового в банях бывал.

— Фу, ненавижу бани.

— Ну, да не в этом дело. Мы в какие-то Лефортовские бани поехали. Осенью ранней, по-моему. Трамвайные пути помню, листву, незнакомый район. А встретились тут. Брат привел, показал избранницу. Помнится, картину «XX век» Глазунова она мне дала посмотреть, календарь, что ли — пока ждал. И с ее сыном старшим мы поехали париться.

— Вот как, а у них свои-то дети теперь есть?

— Нет. Двоих прежних хватило, видимо.

— Грустно. Ну, да не моё дело.

мимо светло-серого дома со срезанным плоским углом и с покрашенной дощатостью под окнами, уходим в вечер. под большими домами и малыми проходим к Кольцу. вернулись к автомобильным приливам: выстраивается очередь к светофору на переезд через Садовое. Пречистенка ресторанится. переходя улочку, вдали которой — высокая тень: плечи и шпиль МИДа, весело, играючи, балансируя друг с другом за руки, оббегаем громоздкие вздутые «мерсы». толстоликие ребята в синеватых поблёскивающих костюмах стоят у дверей ресторана, на нас с недоумением глянули, и обратно к своей тихой матерщинке. хорошо, что тихой. тебя проводить тут стыдно — внутри ресторана в свете стоят улащённые косметикой и в блестящих путанских одеяниях девицы известного поведения. но — минули. и машины не надо на каждом метре обходить. запylённый и усталый к вечеру, проезд копит выхлопы и машины. красно светят назад, стоят, дымят. хорошо, что знаю тут арку и увожу туда тебя направо — немного потерянную в этом шуме, яркости и загазованности после наших откровений в недавней тиши.

— Вот хорошо. А то я уже раздумала идти куда-то тут...

— Эти дворы я со школы узнал. Стариной пахнут, хоть тут теперь и офисы...

— Стены запаха не меняют.

— В свое время тут что-то вроде бомжатника было.

— Да и сейчас не всё обустроено — песок этот... А что вы тут делали? Играли в казаки-разбойники?

— Нет, там, на Садовом — компьютерный клуб был. Год так восемьдесят шестой или восемьдесят седьмой. Там за рубль давали на компьютере поиграть час.

— А ты тогда этим увлекался?

— Да за компанию... А вообще увлекался — но больше ручными электронными играми.

— «Ну, погоди!», да? Это я помню. У нас и в детском саду такие приносили. О, дом на сваях — это, кстати, идея Корбюзье, конструктивиста начала двадцатого!

— Забавно, ведь строили в конце, точнее, в середине.

— Ну и что? Идеи такие не стареют. Он придумал, что дом должен занимать минимум земли — под ним должны расти кусты и на крыше — тоже как можно больше зелени. Поэтому дом на ножках. А что это за фургон или сарай за сквером — строители живут?

— Нет, это станция, где отмечают водители троллейбусов «Б». Раньше она была в самом доме, теперь выселили.

— Хорошо тут, пока листья. Два месяца, и её не будет. Но мы ведь с тобой не перестанем гулять? Я тебя ещё по паркам рядом с бабушкиным районом поведу... сквер пересекаем к середине — слабый затухающего серо-сиреневого неба свет делает листья чёрными, шевелящимися тенями. как мы с тобой тут загуляли в центре. сейчас выйдем за Кольцо, и я поведу тебя снова переулками, в подробностях и мне не ведомыми, помню просто, что Староконюшенный — там, у Академии Фрунзе, набредал на него в одиночку какой-то весной, внезапно солнечной, несло туда течением моих поисков. тебя, Тайная. тебя, Тан. на детской площадке в центре сквера тут, под домом на сваях (как ты назвала) — никого, только бутылки кучкой. «Клинское» красное кто-то пил целенаправленно. оно с медным привкусом, слегка напоминающим пот. успокаивается наша Столица, от деревьев веет зеленью, от дома — стенами и винным слегка жарком. целую тебя в тьму пропитанных нашим днём и дождём волос, несмотря на то что нам дружно приходится поднырнуть при этом под Доску почёта, по кратчайшему пути из сквера к лестнице в подземный переход. светится оттуда что-то сказочное будто. углубляя вечер, приближая ночь.

справа быстро — загиб Садового кольца, дома на Смоленской, башенка дома, в котором метро. всё это, словно земной шар — закругляется, бугрится. небо ещё светлое снизу, возможно, подсвеченное невидимым закатом. нет, чуть даже видимым — полоской за Смоленкой. цокаем по лестнице. спуск вниз напоминает мышцам о пробеге, ты тоже идёшь уже не с прежней быстротой. показав тебе родную вотчину, увожу сам не знаю куда...

Может, уже к метро? Не устала?

— Местами. Ну, раз уж решили... Новоконюшенный — а потом по домам. Ты сам-то не устал ли?

— Да нет, ерунда. В экспедициях пробегали тридцать километров за день.

— Вот это да! Расскажи потом. Ой, а тут целый ресторан теперь?

— Новый переход. Это бар, не ресторан, конечно.

— Ишь ты — звёздочки неоновые, пахнет вкусно...

— И горело при этом.

— Надо же. Ни разу тут не ходила, не видела этого места.

— Так это совсем новый переход. К восьмидесятипятилетию. Вон и зава-
линку для бомжей оборудовали.

— Да и недолго вкусным пахло, болотом каким-то несёт. Ты своими бом-
жами, что ли, вызвал дух этот?

— Водопровод, видимо. Тут же и спецпомещения какие-нибудь.

— Забавное место. Куда нам — направо, налево?

подхватываю за талию, увожу вправо тебя, немного растерянную от стече-
ния, смешения разных запахов в сохранившейся под землей духоте. темнеет, но
очень медленно, света достаточно, чтобы видеть даже часы у остановки «Б» и де-
сятого под МИДом, но не стрелки на них. принявшие скорость дождевых капель,
непрерывно идущие, мы заходим в новую улицу, очередную — втекаем влево от
угла дома, в котором жила блондинка Света, красotka, за которой бегал наш двор
во главе со Стычкиным. но я сегодня провожу мимо этого местечка прошлого
тебя, мечту мою найденную, темноволосую, в отличие от той светлой Светы. ве-
черний вид первого Неопалимовского синеват, сказочен. силуэтыятыя взбучен-
ными космами дерева на той стороне, за оградой очередного желтостенного
особняка. влево сумеречной перспективой — третий Неопалимовский.

рестораны принимают своих, Шуфутинский похрипывает оттуда, мы
идём мимо этих времяпрепровождений, нам — мы сами событие. усталость ли,
«Сангрия», выпитая у твоей подруги, ощущение ли твоей талии под движимой с
шагами моей рукой тканью сарафана, начинает пьянить или кажется, что нас
ведёт левой, притягивает к стене. мы как корабль в море и навстречу сокровенные
запахи — тут открытых окон нижних этажей. почему-то жвачкой пахнет — воз-
можно, освежителем воздуха. из подворотни винно-мочевой дух. и захотелось
туда со своей некоторой тяжестью, слившейся со впечатлениями крыши, вырос-
шей после поцелуя, нагруженной вином. но нельзя: молча, словно замороженные
своим же движением, мы утопаем в вечеряющих улицах, точнее переулках уже.

— Неопалимовский. Неолит и Палеолит вместе... Что-то и говорить не хо-
чется. Ты меня заколдовал этим путешествием. Знаешь, хоть и есть усталость, но
мне даже нравится. Можно я буду молчать? Слушать эти звуки, они сейчас такие
щекотные, нежные...

— Это бывает, когда устанешь, становишься зрителем, слушателем покор-
ным, да?

— Что-то такое. Расскажи что-нибудь, пока я балдею. Ты так держишь ме-
ня хорошо, что кажется — несёшь.

— Что рассказать? Вот, например, там в доме у подземного перехода жила девушка Света, мы к ней ездили дворовой компанией, за ней ухаживал Жэка, мой друг детства. Артист теперь известный.

— А тебе она нравилась?

— Яркая такая, светлая. Но ничего общего в плане интересов. Одно, правда, было — Элис Купер, альбом «Трэш». Там как раз о такой, как она, песня — «ё пойзон». Просто модель длинноногая, ладная, всё как полагается, но лицом проста. Хотя тогда моделей ещё не было как таковых.

— Ну, как это не было, они всегда были.

— В плане дефиле, показов мод, как на ТВ теперь...

— Всё равно... Ну так нравилась?

— Пожалуй. Как картинка. Да еще ажиотаж, за компанию...

— Легко тебе понравиться, а?

— Только такой, как ты. А понравиться как картинке, без... впрочем, я занудствовать начинаю, не будем об этом.

— Куда это мы сворачиваем?

— А тут сократим путь.

— Я думала, тут тупик... такой переулочек, Второй Неопалимовский — сколько их тут? Дом там... Полезли туда в подъезд?

— Встречное предложение: полезли через эти дворы, там есть кое-что интересное. Да вот, собственно, подходим...

— Ой, заброшенный дом! Сохранились лепнины. Вообще-то он деревянный, судя по всему. Да, стариной пахнет.

сзади едет тихий, но тяжёлый дорогой автомобиль, подсвечивает наши ноги фарами, приходится прижаться к бордюру тротуара, а он сворачивает влево, с тихим поддувом вентилятора или чего-то другого в моторе, проезжает. в салоне ярко освещённые говорят полноликий водитель в белой рубашке и женщина с продуманно-косметической румянностью, в платье цвета сливок. и снова свет только в окнах, да запах деревьев еще. мы одни, принесённые сюда волной нашего загула. смотрим и дышим.

— Так странно: дух старого дома, бревенчатый, влажный с извёсткой. И деревья молодые, летние. Лепнина, знаешь, даже чем-то модерн. Или мне кажется в сумерках уже...

— Ты прямо о том же думаешь, чувствуешь, Тан моя... Деревья дышат вместе с нами.

— Мой... Тон. Так ещё странно. Хотела назвать тебя «милый», но стесняюсь. Это ничего?

— Ничего. Значит, пока не надо, наверно. Пока вот что надо...

беспокойный быт квартир только звуками с нами теперь... мы уже как магниты бережно и стремительно притягиваемся, запираемся объятиями, вымаливаем ласки языческие, разжигая обоюдный аппетит, взаимно тонем. я тебя привлёк в этот раз, и ты раскрылась быстро, словно именно этого ответа от меня ждала, с приятным удивлением в первый миг. но этот миг далёк, где-то на по-

верхности, где и звуки из окон телевизорные, голоса детей и весёлой женщины, смеющейся через каждые два слова, которые не разобрать. смех говорит параллельно нашей лирике там, всё протекает рядом, проезжают машины, по звуку одна — та же самая, обратно. видят нас фарами они как придорожный знак: осторожно тут целуются. кто-то даже припарковался чуть дальше, зашевелил дверьми... и, вынырнув, внезапно для всех участников этих минут — многоподъездной пятиэтажки справа, заброшенного дома, нашего главного свидетеля и старинного тёмнокирпичного слева — мы уносимся от свидетелей в глубь двора, сквозь сгустившийся лиственный сумрак к новому свету новой улицы.

Вот и Новоколюшенин, по нему идём.

— Да, тут нет домов таких, как в Старом. Генеральский только. Этот над нами — пятидесятых, наверно. Действительно вечер, даже не видно там впереди что. Не думала, что переулки так далеко заплетаются за Кольцо Садовое.

— А у вас?

— У нас — Разгуляй и там Почтовые, постепенно всё разряжается. Там даже деревянный особняк сохранился, покажу тебе как-нибудь. Но тут всё выше, ближе дома друг к другу, непонятно, что это за Садовым... У нас это ощутимее, увидишь.

— Кстати, насчет этого. Вы теперь на даче будете или тут? Часто приезжать будешь?

— Боюсь, что до сентября уже нет. Поеду к бабушкам — это совсем в другом месте, почти Белоруссия.

— Вот ведь... Получается, мы последний летний раз тут?

— Не знаю, милый... Ой, сказала всё-таки! Не знаю: не хотелось бы, но так полагается, мы так каждое лето — объехать чтоб все дачи-деревни. Традиция: я ведь всеми любимое чадо.

— А что за бабушки?

— Это по папиной линии, деревенская, и мамина там любит отдыхать, рисовать. Там озёра, красота. Место дикое. Я бы хотела тебя там увидеть.

— Как же мы предадим твой город, мою Столицу?

— Нет, это ненадолго. Что ты! У нас с тобой впереди целая осень.

— Ловлю на слове: целую осень на твоих устах, Тан. Моя Тайная!..

— Никакая уже не тайная... ой, ой, куда это вы меня?!

пусть даже этот дом так близко от проезжей части и за окнами синий проблеск телевизора — на минуту тебя прижимаю к его серокирпичной стене, обнятую, почти на весу переставленную туда. нам вечер уже вдувает медленно свою усталость в волосы — «идите по домам, детки». но медлительность шествия по вечеряющим проездам — не сказалась в общении губ. жарко мне «милый» твои бессловно вливают, выпивают, а я тебе — «тайная, моя, моя». как мы устали и как мы гудим от взаимного притяжения — догадываются только эти серые кирпичики. руки твои распластаны по стене, ты распята мной, преследуемые моими поцелуями твои кисти тонкие, изящные веточки — это за «милый», догоняю, ловлю. никто за нами не проходит, один ветерок звучит. только

с собакой на той стороне шёл пожилой человек, когда я тебя перенёс под балконы — от людских глаз, к своему поцелую. но снова выныриваем, выравниваем ход по Новоконюшенному. какая ты мне попалась любознательная и как здорово, что могу тебя так бесконечно водить, залучать для своих разгорающихся ласк до забытья щекотной потребности в брюхе.

Гляди-ка — там сохранилась старая телефонная будка — красно-белая.

— Да, такие в фильмах шестидесятых, по-моему.

— Именно. Не только — и восьмидесятых, я их прекрасно помню. Теперь-то дюралюминиевые таксофоны.

— Интересно, осталась ли надпись? «Телефон», да?

— Нет, надписи не должно быть, я по крайней мере не помню.

— А ты такие застал?

— Да, везде только такие и были.

— Ух, какой домина, я и не заметила сразу. Вот это масштаб. Так это конструктивизм же! Полукругом, правильный и крупный объём. Вот находка. Да, не зря сюда дошли, спасибо.

— Это военный какой-то дом.

— Жилой, судя по трусам на верёвке — на балконе там белеют.

— Да, точное наблюдение.

подъезд призывно светится, двери не меняли — широкие рамы, стекло во весь объём. в сумерках загадочный, красивый изгиб-полукруг стены. жемчужина района. вот куда ведёт Новоконюшенный.

— Погоди, погоди... Так это же Академия Фрунзе! Я её столько раз видела на картинках. Это классика тридцатых, ар деко, в хрестоматиях у нас... А вон на том возвышении должен танк стоять по проекту. И стоял макет деревянный, авангардный, вроде как английский, из фильма «Чапаев» — такой сделали, когда построили, но потом от дождей развалился, и его убрали.

— Какая ты неисчерпаемая! И усталость не действует. Ты права, мне тут тоже нравится, как-то спокойно.

— Это потому что вечер и прохладнее.

— Надо тебя уже мне метро сдавать. Красной линии.

— Ну вот, только я обрадовалась находке. Такой домина — во весь квартал. И легко запомнить — Новоконюшенный, значит, что тут конники-красноармейцы. Академия Фрунзе. А этот новострой слева тут не к месту, все портит.

— Общежитие, тоже армейское. Для командированных, видимо.

скорость, нами набранная, сквозь сгущение сумерек проносит мимо грузного серого памятника Толстому — нас, и на перебеge дороги не разнимающих нежного сцепления. у памятника борода — длинная и растворяющаяся, будто бесконечная, как и раздеепричащенные предложения классика. и в улицу Льва Толстого же мы углубляемся. слева, мельком — перекрёсток на Садовом кольце, откуда мы выходили. шаги лирические и уверенные, машин в переулках нет. жизнь только окон, компаний. и, даже зарываясь в твои волосы поминутно, теперь не ожидая остановки, а наоборот, ускоряя шаги, чтобы ты успела к сеан-

су телефонному — чувствую примесь внешних запахов. проходим под крышей пивзавода «Хамовники» и дышим пивными дрожжами, единым вечерним выдохом Твоих гуляк, заводской линии. тут ещё знойно почему-то. ветерок подгоняет и добавляет дрожжеватости. как всё устало тут, даже стены, гуляки дискотеки на другой стороне улицы — чувствую это сильнее с каждым вдохом тебя, Тайная моя, мною обнятая. они — вне нашего события. и я сам там оказался бы. и ты бы оказалась, но вместе мы неподвластны этим времяпрепровождениям: уводим своё время мимо усадьбы Толстого, деревянной ограды, пахнущей и здесь музейностью, задумчивостью.

— Хорошо Толстой устроился — у пивзавода. Фу, не люблю я этот запах.

— Забора или пивной?

— Дрожжей вообще. Воротит. А там собачкина будка у дома Толстого...

— Надо же как-то охраняться.

— Дискотека безжалостно бУхает, да?

— Как энергии хватает людям? Вон кучкуются.

тени продвинутой молодёжи активно жестикулируют, пока мы проходим их, освещённых невнятной вывеской и светом из окон, то есть не окон, а оконных мест, ставших просто местом кислотно-неоновой подсветки...увы, доносится до нас разговор, одними жестами не обходится:

— Костик, Костик... Ну и иди ибись со своим Костиком!

парниша наступает на изображающую полное непонимание густонакрашенную крепкую деваху... спасибо ветерку, он помогает нам миновать это липкое место, подгоняет толстовской древесностью...

дома генеральские, деревья душистые — мы с моей девочкой устали так, что и не говорим. общение другое — я ею дышу, зарываясь в волосы, целуя голову часто, а она в ответ целует меня в шею иногда, щекотно. линия заводских зданий, неосвещённых, хмурых, мы проходим всё дальше к Парку культуры, надо только будет правильно срезать угол, а я не знаю тут задворков. ты уже не так скоро шагаешь, как в начале дня, мы его выпили, выждали и друг друга под дождём его увидели — сполна. не совсем сполна, но об этом и думать-то страшно сейчас. мне, тебя обнимая — думать об этом: не кошунство ли? и в то же время отогнать мысль о том, как тебя увидеть ниже сегодняшнего уровня сложно. всё эта дискотека и реклама в одном из её окон обложки «Космополитэна» с Синди Кроуфорд, чем-то тебя пародирующей, с родинкой этой, суровая такая и требовательно-соблазнительная. ты лиричнее, поэтому ветер твои волосы, в сумерках более светлые, шевелит. какие-то белые палаты теремные проходим, и ты, уставшая теперь уже не на шутку, даже не обращаешь внимания на них.

Какой теремок прошли...

— Теремок-теремок. Век семнадцатый, небось. А куда мы так выйдем?

— На Комсомольский проспект. Оттуда к метро сразу.

— Да уж. Как-то тут однообразно.

— Да вон уже впереди мелькают машины — видишь?

— Комсомольский проспект?

— Он самый.

вокруг деревьев, листва. её близкий запах освежает, гонит усталость из ног. почему-то светятся окна школьного здания сквозь листья, в каникулярное время. шагающие наблюдатели, мы проплываем, поворачивая влево церковную ограду и каштаны за ней — встречает нас шум и движущийся свет проспекта. навстречу, на уровне троллейбусной остановки — 28-й троллейбус, пустой совсем, двое в него садятся, весёлая пара — зашли в разные двери и встретились в середине салона, обнялись. а мы, не глядя уже в освещённый салон троллейбуса — подходим к белющему через сумерки полосами переходу улочки, последней переправы на пути к метро. бензиново пахнет проспект, вЫхлопно. и это примешивается всё к запаху, даже вкусу твоих волос. мы как товарищи, сроднившиеся за весь день похода, не разнимаем сцепления. разогнавшись к нашей улочке BMW ждёт, пропускает. листва кустов слева и фары справа, всё несётся, а мы идём в ногу медленно, но упорно. сквозь кусты — под домом галерейка с курящими людьми, музыка оттуда — видимо, общежитие. и следующий дом с чугунной вязью в балконах, старый, там раньше, видимо, улица и перекрёсток были, до того, как проспект расширился.

— Ой, а я куплю тут хлеба. Тут есть где?

— Да, тут всякие ларьки, подряд. Вон — «Крок» некий, вроде бы съестное там.

— Бутылки в основном.

— Всё же заглянем... Ага, есть хлебушек... Пожалуйста, батон белого.

яркие краски витрин, так всё густо и многобуквенно после наших улочек и деревьев... неуютно и цветасто. выходим, ты теперь с батоном под мышкой. справа сумрачный мост возрастает, перелезает через Садовое кольцо, по нему несутся на нас фары, от нас — красные стоп-сигналы. проходим другие ларьки: собачья еда, косметика, кино-видео, цветы. замельтешили товары, возвращаемся из наших пространств. другая остановка 28-го, на ней отстаивает полагающееся время троллейбус, водитель на нас глядит задумчиво, улыбочиво. слева мелькнула белая тумба-ларёк: наверно, самый тут старожил. и вот он Парк культуры колоннадой выстроился до угла. газеты, свет. Садовое кольцо почти ночное.

— Ты как собираешься ехать?

— Вообще на «Б» можно, я же не спешу.

— Да уж. Я бы тоже предпочла на «Б», но надо торопиться, меньше часа осталось до контрольного времени. Даже не знаю, что нам делать...

— Ладно, беги.

— Но мы же теперь долго не увидимся.

— Что ж делать — зато у меня есть телефончик ваш, и я уж не упущу возможности...

— Договорились. Точно я должна быть в последнюю неделю августа. Звони... Ну, пока?

— До свидания. До скорейшего.

— И неизменного. Обещаю долго по бабушкам не шастать! Пока.

в тёплый, душный ветер метро, развевающий твои волосы в мою сторону, отдал тебя, Тан. ни на секунду дольше не задержать. болотно-дождевой запах

волос ещё чувствую, его донёс бы дух метро, но двери раскачиваются, другие входят... вижу сквозь дверные мутноватые оргстёкла, между людьми, как проходишь турникет и скрываешься влево. всё так быстро. отчаливаю от Парка культуры, теперь уже наедине с километражом, нами найденным и налазанным. всё другое, половинчатое, без чувства под левой ладонью. замедляется, но из меня словно рассказывается наше, наше, вдвоёмное. теперь уже моё. Efes — клеённый шатёр, там пьют из толстых кружек пиво и курят крепкие, толстомясые мужики с крашеными, издали приметными, девицами. жарок и приятно, сладко утомлён мой проход к подземному переходу, мне даже сигаретный дым этой братвы сейчас радостен. шаги по переходу слышны громко. справа — в окружении пакетов и тряпья нищий, пьяный — уже не милостыню просящий, а лежащий в хмельном удушливом сне.

всё, подземный переход, стены: мы попрощались с моей девочкой... она к вагонам метро, а я — ждать троллейбуса. и минуты проваливаются. всё будто не летнее, а из учебного, основного года: ожидание троллейбуса, появление четырёх огоньков десятого, а не «Б», что лучше: без остановки на диспетчерской поедет. сил хватает вскочить в два прыжка в заднюю дверь, сесть на высоком сиденье слева, благо никого, кроме меня, нет в салоне. ты тихонько движешься за окном, как циферблат, в непрерывном, едва видимом повороте. светящиеся высокие окна на той стороне Садового кольца в жилых домах, жаркий троллейбусный салон и только ночнеющий ветерок, рассказывающий сызнова, что этот день был нашим. справа на освещённой автостоянке длинный автомобиль около «Трёх пескарей», ресторана, он всегда тут, свадебный, что ли (?).

вот и Зубовская площадь — там за серым домом (менее украшенным, но явным двойником нашего рыцарского за Садово-Каретной, что глядит на Театр кукол), который теперь мрачная тень со сказочно-жёлтыми окнами, мы и шли с тобой только-то. город твой оставлен ночи, ветерки сдувают следы наши в переулках внутри и за кольцом. но моя Столица со мной, ведёт меня, мой взгляд в троллейбусе — по себе. водитель не обращает внимания на пассажиров, остановку делает на секунду, если никто не намечается — тут же уезжает.

аккуратно объезжаем очередь «Б», ждущих своих водителей. дом, через двор которого мы шли, сияет окнами. «Камины» — вывеска, имитирующая уютный огонь очага, диспетчерская зелёный фургон тоже горит окошками, бдят там... на синей железе, с сетчатыми французскими сиденьями, остановке входит пожилая пара интеллигентная, садятся впереди. а у меня такой обзор хороший, место высокое. и Ты, как книга, медленно переворачиваешь с каждой площадью свои страницы, радиальные улицы передо мной. а я всё дальше увожу ощущение, напряжение, близкое чувство девочки, Тан моей. деликатная, даже усыпляющая тряска — справа начался дом со странными узорами, там научные приборы и ещё что-то...

банк «Российский кредит», особняк, в котором бабушка впервые Ленина увидела. его же, банковские теперь, постройки вокруг больницы. а слева — окна жилые, ближе к Смоленской-Сенной, сумерки проглатывают подробности до-

мов, только освещённое видно. и этот вечер весь так проплывёт, потому что я увожу тебя во всём этом дне со мной надолго, с запасом на целый месяц. это трудно пока понимать, но тут мы снова не побродим. поэтому до изнеможения, видимо, и ходили сегодня.

яркий МИД, освещённый вверх замок. пусть сутолока у Арбата и видит меня, но я не их, я — твой. и Твой спутник ко сну теперь, ведь весь день Ты была наша. Таня уже доехала, наверное, до Охотного Ряда или дальше. а тут — жаркий вечер, затемневший в ночь, но не успокоившийся. с трудом объезжает наш троллейбус уткнувшиеся дорогами физиономиями в тротуар авто у «Седьмого континента», выглядывает в ворота «Смоленская» синей линии. мрачный переулок, Джон Булл Паб ярк и зелён в едкой подсветке. какие-то вереницы молодёжи, сарафанистых и джинсовых особ с огоньками сигарет, крашеными ногтями, бутылками пива. тут ночь сонная не близится. а слева спокойней. длинный жёлтый дом, где «Смоленская» голубая (линия).

остановка: в переднюю дверь вполз бомж и прямо в кабину хотел, но шофёр его дверью оттолкнул и закрылся. тот, потеряв равновесие, долго висел на поручне, потом что-то бурча стал вылезать, бросил каким-то лёгким пакетом в окно отъезжающего нашего троллика. «Северный ветер» — вывеска через Кольцо слева, библиотека — почта — телеграф. продолжаю считывать всё встречное, будто с тобой, будто показываю, жду твоих слов. вот справа вотчина моих прадедов, Композиторская, её не видно, только по угловому возвышению дворовых частей старых домов девятнадцатого угадывается. в окнах чёрного хода, видимо, в сером доходном доме — исконное голубоватое остекление, по форме как в пчелиных сотах, стеклокирпич такой... а мы ныряем в яркий оранжевый тоннель. нас истово обогнал спортивный чёрный «Порш», с пугающим рёвом и БУханием отдающейся в тоннеле техномузыки.

Садовое кольцо выезжает впереди плавным загибом с тенью и светящейся звездой высотки. Американское посольство, дом Шаляпина... несёмся на троллейбусе быстро — и мимо школьной моей остановки, где садился на «Б», чтобы до дому ехать. казалось — долго, теперь же это лишь сегмент пути, пути в новом возрасте, пути после встречи с моей девочкой, встречи в длительность всего дня, до этого почти ночного времени. она, должно быть, выходит из Красных Ворот своих и шагает к дому: мост, тоже троллейбусы и медленный спуск Новобасманной от моста, здание Арбитражного суда...

деревья шевелятся: чащи перед высотой с уютными сказочными огнями, разбросанными редко (по рамам видно, кто прижился к новому времени — некоторые побелели, ПВХ). усилился ветер — и в наше троллейбусное окно задувает. неужто дождь прорвётся к ночи? жёлтый дворцового типа дом с колоннадой, начало Баррикадной и — (виднеющийся на отлёте вдаль, за рекламой тамошнего казино «Арлекино» на торце дома, начинающего квартал с кинотеатром) светлый горизонт голубого, сиреневатого вечернего неба, без заката, но с невидимой подсветкой. выше — сгусток в тёмно-синеву, наваливающаяся ночь. теперь всё знакомо и маленько. после наших пеших, перетянутых через

Твой центр линий, — всё со школьного детства знакомое тут совсем уменьшилось. справа особняк Берии, куда он возил балерин из нашего дома... в моём же слева окне среди синего стуска начинающейся ночи — новая с патиной арка зоопарка, застывшие игры зверей, в центре неуклюжий короткопёрый павлин. узкий неосвещённый коридор к серому, заброшенному планетарию и его стражам — древнегреческим богам планет. розовый дом высокий и радостный, глупо увенчанный рекламой Ariston. справа красненький теремок Чехова и бабушкиной сестры Лиды, актрисы, она в этом же доме жила. добрые подъезды с лепной нумерацией длинного дома. магазин «Интим», арка...

причём тут этот пошлый арсенал? интим... нет: и ты, и я невинны, но в прикосновениях растворяемся и этому быть — с неизменным усилением. я буду тебя ждать и жаждать. и приехавшую в осень буду уводить, уводить — мимо такого глупого города твоего — чтобы увидеть, чтобы повторить твои контуры пальцами. ласками рисовать тебя вновь и вновь.

квартал за кварталом, высвеченная окнами наружу, потайная Столица окружает меня, как циферблат мимо стрелки заворачивает Садовым кольцом. лучевые отметины, как на наших старых часах в кухне — переулки. этот, после сквера — к Тишинке. теперь длинный дом до самой Маяковки. его видно в документальных съёмках Фестиваля молодежи и студентов 1957 года. в окне одном видно даже окошко из кухни в туалет, для подсветки. в другом, тоже кухонном, телевизор мигает голубыми вспышками с холодильника высоко, и кто-то ходит под ним, устраивает что-то там... тёплый свет дома, и здесь ветерок автомобильно-асфальтный в окно над компостером впереди.

остановка. ветер почему-то дует при замедлении или наборе скорости. в верхний ещё люк. не заметил, он открыт. старички, пара выходит тут, у Патриарших, я опять в троллейбусе один. один с ощущением тебя в ладонях, со вкусом нашего вечера и угощения твоей подружки на губах: кукурузно-салатным, сангриевым. летнее кафе «Вояж», иномарки и сидящие их хозяева со подружками — курят, одна неестественная волосами блондинка улыбается кокетливо, пошловато-задумчиво, играя фужером, считая, что это только её мэну видно, а я тут соглядатаем из троллейбуса, как скрытая камера. но вы далёко, на правой стороне. слева арки с круглыми просветами по бокам, там во дворе школа Кравцова, где он учился в младших классах, кажется.

дом Булгакова бежевый, подъезд исконным деревянным модерном, витиями дверной рамы красив, русалочен — сюда непременно с тобой в следующий раз. хмурый военунивер с запylёнными орденами и — новый тоннель, не оранжевый, а бело-жёлтый. едем медленно из-за впереди идущего аварийщика, он буксирует вагон строительный, автодорожный, кажется. наш водитель отважился его объехать, резко вильнул и набирает скорость вверх, на выезде из освещённой пыльной бетонности стен и колонн с неровным рельефом, выделенным осадком автомобильной пыли.

вот и мои края — выглянул дом коммунальных квартир на Фадеева. и слепой, не заселённый замок раньше его. под «Ямахой» — «Советским композитором» на ос-

тановке трое — два парня с пивом и девушка. резво забираются в среднюю дверь. шофёр им не рад, шурша микрофоном и своим рабочим дыханием в него, объявляет: «Машина до Самотёчной, до Самотёчной машина». снова вереница стоящих к нам фирменными знаками иномарок, новый ресторан или кафе с фальшивым деревом у входа. заделанная галерея... быстро проезжаем вливание в Кольцо улицы Чехова, Малой Дмитровки, встаю и подхожу к задней двери, впереди девица визгливо и откровенно не стесняясь хохочет, а ребята, что-то, видимо, удачно ей рассказав, оба глотнули пива и переглянулись, один в мою сторону посмотрел, как я выхожу.

с подножки ещё движущегося десятого своего спрыгиваю, он не останавливаясь едет дальше, неявный договор нас, спешащих — шофёра со смены, меня — к горизонтали кровати. идти мимо знакомых стен уже утомительно, и жарки они, за день нагрелись. проглатывают меня второй подворотней. тут всегда сквозняк, сейчас в спину, прохладный и навешивающий всего нашего путешествия дух, дождевой от луж, тут распростёршихся. в них небо, что за Садовым кольцом, тёмное. тут тихо, ни людей, ни машин, во дворе и подъездах к нему. в офисе попутного дома тускло, серовато горит окно охранника со стороны гаража. здесь деревья не шевелятся сейчас. то ли предчувствуя сон, то ли дворовой темноте веря, прохожу, ничего не замечая, только стусившиеся в дворе-накопителе запахи дома узнавая, избегаю к подъезду и отпираю розовой пластмассой дверь в свет и жару, тут не убавившуюся. железо второй двери пахнет недавно покрашенным слоем. вот где навалились усталость и желание скорее полегчать. этажи, и словно подводные, щелчки лифта привезли, наконец. дверь высокая, но в маленьком, не по-зимнему — в рост — обыкновенном, а каком-то уменьшенном месте. ключами быстро в родную полутьму, свет. ключи звяк на стол и к заветной двери избавления. эх, бедняга, насупленный смугленьш, истрадался. туалет внемет ручьевого исповеди, он летом какой-то известняковый становится духом из вентиляции и заботливо-тёплый, железистый от конденсата на трубе. кеды скинуть, ступни от резины разопрели, чешутся.

теперь чаю и булок. кипятки, грейся, утоли жажду странника Столицы родной с новообретённой ведомой и ведущей. Тан, ты тоже дома. обязательно перезвонимся, почему об этом никто не сказал, не додумался? усталость приятная, с ощущением содеянных ласк и полнящего, пьянящего длительно упоения. стул поскрипывает, отвечает пронизыванию уличных звуков машин. забулькал, наливаю. аскетичный ужин после богатства дня, богатства зримостей. ты моя, моя была — весь день. любоваться тобой, любоваться — думаю, перебивая пережёвывания, вспоминая-споря с прозой своего действия. зачерствели булочки-то в холодильнике, но прохладный хлеб приятен. какой-то особо городской, здешний от этого, может, от привкуса холодильника. надо варенья к этому. густой дёготь чёрносмородинового на белый хлеб половины калорийки. есть ещё долька плавленого сыра, но это наутро. всё, чашку помою утром, пусть капли её ночью наполняют. свет закрываем поворотом выключателя.

после дня с тобой даже кровать стелится как повествование. не с мыслью ли о том... большая, но скрипучая. одного одеяла достаточно, может, и скинуть придётся. дверь балконную открыть обязательно, наполовину. пробег в ванную, со

свежим ртом — под простынь, без чтения, закрывая глаза как обложку после последней страницы дня нашего, третьего дня. читать буду сон, вернее, не читать, а...

из сонной глубины — в тёплое утро, ничего оттуда, из темноты под подушкой, не помня. раз жара, значит, уже времени много. обездвиженные на ночь мышцы ног щекотно ноют. сладко болят. да, находили мы вчера километражу. кажется, что было это день назад. так, сколько времени? двенадцатый час, двадцать одна минута. что ж — теперь скорей на дачу, без завтрака, к обеду чтоб. позвонить тебе? да, обязательно. день, прохоженный нами, здесь кажется далёким, не нашим. ну, я ли — тот гибкий, тебя на крыше над Китай-городом, твоим городом, медленно целовавший, сцеловывавший капли с Тан? я, как ни странно: ходящий по запылённой душноватой квартире, открывающий окно на кухне. через улицу глядящий снизу встречает старый знакомый модерн и ржавь его крыши. нет, по этим крышам мы сегодня не пойдём в Тебя... а идти бы так легко, высоко прыгая по этой крышной мостовой — до серого рыцарского дома, по следующим крышам, перелететь наискось вперёд через эстакаду над Самотёкой, используя ветер от машин и по крышам проспекта Мира к Ботаническому саду, дальше вдоль Америкэн медикал центра по деревьям и крыше посольства, жилого дома, вагонного городка торгпредств, по ДК-нынешней автомойке к «Перекопу», оттуда к «Ленинградской», с его высоты — через Каланчёвскую железнодорожную насыпь к твоим Басманным кварталам, пружиня об листву Парка Баумана и — к тебе в окно — не отказывающейся быть Маргаритой. позвонить ей, позвонить моей, ещё не уехавшей.

232-13-66. долгая тишина и, вдруг, с середины выпрыгнувший гудок, знакомый уже, певучий, долгий. звонков шесть уже оттудело мне сюда — отзвенело в твои стены. не подходишь... уехала? неужели удалось рано проснуться и отправиться, благо вокзал рядом? да, дом пуст, так долго не подходить не возможно. на серую голову телефона — трубку обратно. и в грусть, пусть и не оправданную, беспочвенную — ведь созваниваться не договаривались. ну, тем более: в дорогу. назад в дачное детское бытие, сонное от жары и близости всех объектов выхода с участка.

путь проглатывает знакомым манером, скрашенный, смазанный инфантильной обидой на то, что не застал тебя утром. утром, переходящим уже в день — точнее говоря. и обижаться тут можно только на себя — вы правы, живо укоряя меня своим радостным качанием, ветви Сокольников справа от поезда. и тем не менее лёгкая и тайная грусть, переходящая в лирику, затаилась. ведь везу секретно всё с тобою в Столице пережитое, мои дома не знают о нас. официально был по делам института, дополучал стипендию.

вот и август навалится теперь как предпоследняя станция, спад тепла, поповский заводик себе работает за деревьями, блестит на солнце куполом церкви-новостройки. да, мои деревья: я теперь вам всё о ней буду рассказывать, гуляя. ведь она оставлена до сентября — моя Тайная там, в улицах. и отвыкание от улиц, еженочное, перед засыпанием мерцание твоего образа — медленным, ещё знойным августом пропитано.

сбил с этого течения чувств в сторону твоих дач и бабушек, которым ты, возможно, секретно что-нибудь сообщила про московские загулы — дефолт. аккуратно накануне переселения обратного, вгораживания, возврата в Тебя. срочно пробегаем все магазины в поисках оставшегося сахара. восемь килограмм по восемь рублей — всё, что успели добыть, макаронных изделий столько же.

и — тревожное возвращение.

машина родни, взявшей нас в такой момент привезти, пропихивается через заторы у городочка Королёва, проезжает эстакады МКАДа, квартиру Корепашки, у которой готовились этой знойной весной к сессии. и вот Рижский вокзал с воротами-домами сталинскими. пропорции дома, родного пространства, въезд в Твою плотность архитектурных подробностей, логики времён. шелестят, говорят, здороваются выпуклостями стены.

мы едем низко в легковушке, поэтому величественней и обзорней до хмурых небес встают дома, вступая агрессивным ритмом мельтешат рекламные фоны: голубой «Нивеа», коричневый «Нескафе», «Несквик» — жёлтая гигантская клеёнка, пришнурованная на торце дома у метро «Проспект Мира». справа круглый исполин Олимпийский. возвращаемся. это всё — для нас, свидетели нас, наших трёх, сидящих в машине поколений. квартирники с открытыми в день окнами, многогодовой хлам на балконах...

показал хорошо видное за яблонями и тополями на Колхозной салатное здание института. даже Садовое кольцо рассвело во время нашего проезда по эстакаде над Цветным бульваром. всё на месте, только маленькое, скоро набегающее с обеих сторон торжественно вдаль заворачивающего влево Кольца: рыцарский со львами, театр кукол, дом бывшей булочной-молочной — модер-немецкий. и уже после Краснопролетарской — дом Шмелёвой Наташки, угловой справа впереди, цвета амфор. втираемся к повороту перед «Софией», перед Маяковкой, газом автомобильных пробок дышать — привыкать снова.

и вот, миновав просвет Воронцовского и улицы Чехова, успев повернуть на зелёном — уже у подъезда, в пахнущей асфальтом, листьями да выхлопами прохладе и неожиданной неподвижности, уменьшенности околodomовых подробностей. скоро поднимемся, заносим поклажу. вживаемся обратно в эти размеры, закономерности родного пути.

комната мала и неприметна. буду её разживать своими движениями, ду-мами о тебе, как приведу тебя сюда. как тут год ещё таиться, в такой маленькой? но балкон — открыть и вдохнуть спокойное родного двора дыхание, густоту зелени впитать взглядом.

дома. бег машинный позади. теперь — только встреча с тобой. да ещё придётся ехать на Никулинский рынок за маслом срочно, цены растут каждый день. завтра утром.

232-13-66. гудки — забыл какие, но тут же вспоминаю — долгие, никем не прерванные, нет никого дома, не вернулись с дач ещё. один я тут.

привыкая назад к квартирному свету, звукам, хожу по этой родимой каменности и ковровости, паласности. реплики телевизора, радио — всё будто встречает, спешит ввести в курс. курс доллара рванул вверх и не думает останавливаться. смешной, стильно вылысевший Кириенко в новостях, заверяюще улыбающийся свету телекамеры. Австралия, счета...

окна ведут в Тебя: год впереди, наш год, наши крыши и тёплые дни, пока не предвещающие осени.

даже метро сызнава, пусть душное, но не будничное. рифлёный коридор вместо «Ленинских Гор», станции. «Юго-Западная», конечная. широкий и полный автобус. здесь всегда, видимо, людно, независимо от начала сентября.

и от остановки наискось назад, через квартал панельных домин восьмидесятых. дворики из «Ералаша», школьное детство, мечты, «Электроник». листья с прозрачной желтизной на прогреве сквозь белёсые облака. детская площадка, детсад: что же загнало меня сюда — пробираться сквозь тихие окраинные кварталы за запасом масла? дефолт.

через грязные заводы, оставляя на чёрных островках следы кедров, подбираюсь мимо забора с рисунками на тему 850-летия Москвы. авторынок так называемый. перейти узкий проезд долго не могу. сколько тут вас ещё будет ездить? пробег перед бордовой «Волгой». большая часть ПБОЮЛов закрыта либо открыта, но торгует только крупным оптом. однако в двух местах есть очереди за маслом «Анкор» и «Миднайт сан», полкиловыми брикетными пачками. выстаиваю минут двадцать, медленно, слушая тёточий говор о росте цен. покупаю четыре «Миднайт сана» по полкило.

нервность, пустота Никулинского рынка, гостеприимные, ассортиментные контейнеры уже не выполняют прежней роли: хозяева вычищают их, продавая остатки. что-то случилось. сдвинулся уклад последних лет. когда сюда заезжал зимой, а у входа играл блатняк, продавалась всякая мишура. теперь тут ветрено и пусто, не манят плоские фигуры рекламные, они не нужны — наклейка на дверь контейнера «Жилетт для женщин», где внимательно в нежно-зелёном фоне бреет ногу мадам, «Колгейт» улыбка на всю жизнь. а жизнь-то вот не стимулирует к таким излишествах, не до улыбок жемчужных.

с ледяной нетяжелой добычей мимо засыпанного землёй возвышения то ли бомбоубежища, то ли гаража, возвращаюсь к автобусным остановкам: тучи густятся над Юго-Западом, лишь Университет высвечен, словно сказочный огромный замок учёного-волшебника, с какими-то подсчётными приборами с боков на башнях, шпилем поблёскивает вдали, в своих владениях. ему бы боковыми циферблатами отсчитать старт и прорвать тучную завесу. Универ — Твой пограничный знак, я знаю: здесь Ты растворилась, вылиняла полянами и лесами.

да, домики восьмидесятых: смотрю, по вашему же подобию строят девятиэтажки жильё, только добавляя наверх шестнадцатизэтажек украшеньица теремные, а блоки оранжевым вместо бордо или коричневого подкрашивая. вот и автобус, полупуст. пробиваю очередную страничку гармошки билетиков. чёрные толстые железяки, поручни «Икаруса». сколько прошло времени в таких

вот автобусных выездах на рынки?.. зимы, вёсны — в поисках дешёвых рынков. справа овраг и в нём ступается осень, желтизна лиственная, грустная. далее всё сонно и привычно: проплывание супермаркета «Кормилец», мат девах и пьющего с утра «Клинское» лысеватого их парня-толстяка. поворотистый въезд в царство высоких домин, к проспекту Вернадского, очередной по крупным ступенькам выход, сползание в метро и путь в нём к центру в бархатной тьме тоннеля и в жёлто заполненном светом и людьми вагоне.

в этой неожиданности дефолта, суете — где ты? что делаешь вместе с семьёй? сразу же позвоню, как приду домой. несу в свой центр добычу с дешёвой окраины, масло. вот здесь, высоко и утеплённо будем год жить. но пока ещё летнее тепло в шахте лифта и от стен лестничной клетки. ветер гостеприимен дворовый, время есть. масла хватит месяца на два. в морозильник его определяю, упихиваю с наименьшими зазорами.

ох кухня, покажи мне там, за окнами вдали, наше с ней будущее! вон шпиль высотки Красных твоих Ворот или гостиницы «Ленинградская». Столица, примешь нас в осени своей? будешь ли сразу холодна и дождлива или дашь крыши нам с теплом на время бескрайнее как летом? сколько дней прошло с наших загулов тут?

то ли вчера, то ли полгода назад. не помню твоего лица, не помню подробно, только конкретные мгновения: глаза и ответная нежность на лестничной клетке в сумерках перед храмом близ Чистого переулка. на крыше над Китай-городом — ты, изящная, смущённая непривычной открытостью мне и дождю, верхней наготой. помню где родинки твои, а остальное — уже нет. необходимо увидеть, восполнить тобой своё восприятие. что это — голод? хожу по квартире, выхожу хмуро городским вечером в близкие, комфортные магазины, словно тая хитрость, секрет, посвящённость. и вроде я тот же, но тебя знающий, целовавший — уже не тот.

я поэму нашёл в Тебе, поймал складки её сарафана лепесткового губами, Тайну мою, её кожу целовал на тепле кровельной Твоей старины. вот уже девять часов вечера, звоню, не могу больше, пусть хоть твой дед-искусствовед подойдёт и не поймёт.

232-13-66. долгие вытянутые гудки: четыре, пять, шесть... обрыв, словно сработал определитель номера. нет, клацканье трубки и: «Аллёу?» женского, не твоего голоса. мама твоя или бабушка, не туда попал?

Ой, добрый день, а нельзя ли попросить Таню?

— Моожно. А кто спрашивает её?

— Антон.

— Антон?.. М-мм, минутку.

да, это акустика твоей квартиры: вспоминаю, вычисляю — где телефон стоит. вот отошла мама-бабушка утихающим шарканьем, телефон издал очередь птичьего треска и... да, это твои приближающиеся шаги, ускоряющиеся, громкие тумаки пяточек в паркет...

— Да-да-да! М-м, привет! Я из ванной, вся мокрая ещё...

— И к тому же, по-моему, босая?

— Как ты догадался?

— По звуку, как бежала.

— Мы только приехали, вот по очереди моемся. Давай я тебе перезвоню через полчаса?

— Давай.

— Ну, пока — не уходи никуда, я скоро. Пока!

сразу ты восстановилась во мне. такая движущаяся, непосредственная — сейчас, домашняя, из ванной. мечта мне моя «пока» говорит, сохнет. твои волосы, улыбка среди них, ветер наш дождевой — всё со мной. любованье тобой из меня — выше, выше — от бёдер до висков поднялось. немедленно тебя увидеть! пусть — вечер... обнять!.. жаль, улицы темны. нет, ещё не темны. что бы поделать, пока твоего звонка жду? к маме — тут телевизор светит, комнатный уют строгий, городской, портреты предков, в нас черты их лиц растворяются с каждым поколением. но это мы — видно. губы наши, скулы. и напротив этого родного мельтешит, пульсирует телевизорный экран, тоже по-новому маленький. цвета и движение рекламных роликов — в новинку после летней чёрно-белости экрана. но — взгляд в спокойное, не теле-представляемое, реальное наше. балкон открыт, оттуда тепло и мягко веет Твоими машинными улицами, усталыми кровнями, вечером. выхожу. звонок отсюда услышу.

наши крыши ведут мои мысли к тебе уже продуманным путём. серые дома-стражи — как ворота. а ты за Красными воротами там. по закруглению Кольца и шпилью высоты вычисляю твои координаты. странно: в чём разница моих разовых приездов сюда летом и теперешнего постоянного нахождения? пока не ощущается. кажется, будут ещё выезды, а они будут обязательно: за яблоками, за оставшимися книгами и мелочами. но так — здесь ложиться, в этом пространстве, и каждый день с ним свыкаться до следующего лета — и, значит, видеть Тебя в Тебе, не извне. да, мы вернулись. в ковровое, картинное, родное. и Ты пахнешь паркетным временем, прошедшим тут без нас.

нет спешки — долгота всех забот теперь столичная, Твоя. ждать, пока раздается звонок моей девочки — могу, не надо спешить на электричку... на своём месте теперь, отсюда точка отсчёта. катятся внизу машины, светят в начинающийся, ещё не занавесивший видимость до гостиницы «Россия», вечер. светит вдали, на линии продолжающегося круга — сказочно и торжественно высотка на Котельнической, рабочий и колхозница держат свой щит или свиток, наклонив его к согражданам. всё рядом, всё дома. оттуда, издали сейчас прибежит твой сигнал телефонный, там твои волосы после душа душистые, но не дождевые, как тогда. мы в Тебе... да... это звонок.

вызванивает сюда, в широкий уличный хаос, сжатую акустику квартиры, звучит требовательно — заботой нашего помещения, дома. звонка три пропустил уже. (четыре) быстро прошмыгнуть узкий створ балконной двери мимо тропических растений (пять) — в коридор, набег на зеркало (серьёзно спешащий, плечом вперёд, юноша) и (шесть) — комната, серый трезвонщик (до седьмого успел, всё же).

Да, Тан?

— А вдруг не Тан? Привет ещё раз. Я уж засомневалась, туда ли попала — никто долго не подходит.

— Пока с улицы добежишь...

— Как это с улицы?

— С балкона.

— А. Ну, рассказывай... Вы давно приехали?

— Несколько дней. А вы?

— Сегодня, сегодня — я же сказала уже...

снова с голосом твоим сживаюсь, вживаюсь в картины вашего пути, как в Белоруссии вы запасы продовольственные делали — семья-то большая. как там до вас доносились наши новости, по радио говорили, что тут ажиотаж с продуктами, подорожание. желание тебя видеть, близкое к жажде, одолевает и перебивает даже эти милые пространные облака теперь воображаемой по твоим словам — твоей от меня отдельности. пытаюсь сегодня же тебя на свидание вызвать...

— Ой, наверно, нет. Мы же весь день на машине, обалдели от пути, надышались пылью-гарью. В себя приходим вот только... Давай-ка завтра лучше. Весь день наш: мои долго спать будут, а потом бегать тут, распаковываться, я не понадобится.

— Столько ждал... Тоже, знаешь, обалдел — ты меня пойми правильно.

— Поняла. Я бы тоже хотела. Но больше хочу завтра при свете с тобой увидеться, подольше. У памятника Лермонтову давай, в десять? А лучше в одиннадцатый, чтоб мне уж выспаться окончательно.

— Есть. Ну, до завтра?

— До завтра, милый, спокойной ночи — жди меня во сне.

— Пока, моя Тан, обнять бы тебя сейчас...

— Тон-гон, до завтра — целую! Завтра обнимешь — пока!

— До завтра.

непривычно — входим в год будней, в год сплошной здесь жизни. договариваемся увидеться по телефону, хотя встретились на мосту том, у тебя рядом, случайно, между двумя дождями... и теперь у тебя дома, и у меня — дела, суета прибытия... разговор с тобой ещё раз дал сигнал, что мы уже по одну сторону.

приземление ножек выкидной, спальной части дивана. постель стелится с каким-то ритуальным, вспоминаемым темпом. чёрно-жёлтое клетчатое одеяло rispetабельно, интеллигентно расположилось во всю ширь спального места. вот это многолетнее место посередине комнаты, в красном свете лампы — застилаю себе. а ждать тебя буду — тут лёжа, во сне, тут просыпаясь утром... все действия немного сонны, не от желания спать, а от пробуждения трёхсезонной привычки. делаю это зачарованно — из-за того, что завтра тебя, после месяца почти невидимости, увижу. завтра...

это непонятное, непонятное мной время года тут. листья, жара, склон к которому я, выбравшись из леса, на велосипеде боюсь приблизиться, чтобы не покачаться во весь опор вниз. лето? какое-то непредсказуемое движение по просёлочному склону. частые вихри машин — так что и не стоит встраиваться в движение.

но вот удаётся повернуться и приблизиться. транспортные споры-зато-ры — жаркая белёсая мгла или просто недостаточно точная ориентация. и потом — чёткая фиксация: Каретный Ряд. приближение из Малого Каретного к старой, ещё без подмодерновой ограды, территории «Эрмитажа». вспышка и замедление внимания — будто это кадры фильма. но время не лимитировано: смотри на здоровье. вот ступенчатый над тротуаром бордюр из псевдомрамора с частой пробелью, за ним одуванчики газона, земля и деревья. серый грузный павильон, в котором кассы «Эрмитажа» соседствуют с узлом водопроводной службы. почему-то хорошая видимость через, а точнее — за колонны павильона, будто само центральное помещение занимает меньше места, чем помнится, складывается. это восьмидесятые, точно. территория детских каталок на велосипедах-роликах. но увидеть дальше по линии Каретного, ближе ко входу не удаётся. зато долгая-долгая жара и видимость Тебя с восьмого этажа, с балкона. какая ширина! и какое безбрежное будущее там, за этой монументальной, словно аккорды рояля из Первого концерта Чайковского, панорамой, под этим белёсо-оранжевым небом. Петровка-38, «Эрмитаж», гостиница «Россия» — всё это только первые, отправные координаты видимости. какое гигантское в детской перспективе будущее предстаёт каждый день во всё небо, во всю длину!..

это просто утро. всегда сон выталкивает из себя на сильных эмоциях. или это в самом сне зарождающееся, излагающееся желание проснуться, овладеть видимым, определить время? сколько там, проснуть скорее взгляд к чёрной панели музцентра — 9:54. понятно, откуда яркие впечатления сна — проспал, долгодрёма даёт именно такие результаты. а идти-ехать до Красных не менее получаса. опоздать совсем нельзя, ждать месяц — и опоздать... через «Охотный Ряд», там по прямой, лучшего варианта нет.

теперь завтраки заботливо-семейные, не впопыхах. тем не менее опережаю всех, спешу. варёные яйца, в strowberry чай в самый раз — ложку сгущенки, чтобы будто клубника со сливками. и бутерброда два, пожалуй колбасных, с запасом на ходьбу.

слева в окне Твоя диагональ и ждущий шпиль высотки на Красных (или это гостиница «Ленинградская»?). небо сегодня чище, хотя и с дымкой. голубой почти замазан прозрачно-серым.

на улице небо светлее и веселее. сколько машин, движения... будто сентябрь уже пошёл полным ходом. мимо эрмитажной ограды. всё тут не так, как во сне, как в прошлом. какая точная зрительная память (или её импровизируемая иллюзия) всплыла в давешнем сне!.. оба бордюра, по которым маленьким всегда хаживал, ведомый снизу высокими мамой, папой или бабушкой за руку — вспомнились, присутствовали. но тут нет времени прикинуть, где те деревья, что прежде были засыпаны на метр вверх примерно землёй за бордюром. растут ли они теперь? ровная и равнодушная ограда, модерн не успокаивает. вот тут начиналась диагональ, ступеньки — площадка у входа в «Эрмитаж», огромная по тому моему представлению. плитчатая площадка... шла, ширилась сразу за возвышающимся по линии перпендикулярно в сторону нынешней

«Новой оперы» рядом четырёх автоматических вращающихся кубов-афиш, в которых мы прятались, играя в саду.

иду быстро, пространство после летней отлучки ещё не разжалось, шаг ещё не примерился, проглатывает сразу много, не давая взглядеться. афиши пестрят Максимом Леонидовым, Никольским, цирком каким-то. кущи парка больницы, сухие верхушки сквера у Петровских Ворот, перед бывшим хозяйственным. не выживут эти тополя, мало листьев, ещё до листопада. не дожидаясь зелёного, пока прогал в движении, — перебег на островок начинающегося теперь с распростёртого в небо Высотского бульвара Страстного.

слева, за рыбным — город, твой город и моя Столица, вырастающая домами над густой бульварной листвой. мы заберёмся на эти высоты, к этому мутно-перламутровому небу Тебя. но для этого надо бежать — навстречу дружелюбно вытянувшемуся дереву, к проезжей Петровке и колокольне мужского монастыря, перед старинным с верхней колоннадой зданием. бежать-стекать по Петровке широкими шагами, обгонять желающие на поворот темнооконные иномарки: уж извините, господа, я к моей девочке спешу, месяц не виданной, ещё толком-то не исцелованной вовсю. моя кареволосая, изящная, неужели теперь точно, через десятки минут увидимся? старая ограда особнякового двора, деревья тоже к улице тянутся от стен. низ дома недовыложен белым мшеющим камнем.

арки, бутики, аптека, булочная — вы мне знакомы и нет, потому что меняетесь вывесками и потому что я сейчас спешу к моей новой, двигающейся вместе со мной координате. мы к вам придём сюда, если она захочет узнать моё маленькое прошлое, здешнее. Тайная моя. опять тайная, потому что забыл начисто твоё лицо, только короткие вспышки, отдельные секундные кадры: чаще всего оттуда блещут зелёные глаза. слева опять Ты — перспектива, выпускающая взгляд после узости, замкнутости Петровки: там подъём на холм к Сандунам, левее высится рубежом кирпично-желтоватая изнанка серого углового дома в Кисельном, односкатная крыша и ниже над трубой-Неглинкой окна, раскрытые в тепло, крыши: нам с тобой и туда тоже. прими нас, Столица: теперь надолго.

новый, грубо вымощенный Столешников, неживые стены Марриотт-Авро-ры, специально разноцветные (в самом угловом вершине зубцы кремлёвского цвета, чтобы казалось время — разные стили, даты сочленения стен, но это монолит, новодел). быстро и вдоль длинного стеклянно-железного Петровского пассажа: магазин-витрина — обувь в основном.

угловой филиал ЦУМа с ангелочками-малышами, с трудом удерживающими украшения верха. снова подъём перспективы — но теперь по Кузнецкому Мосту к домине с золотящейся надписью «Банк» во лбу, на углу. и вот уже елово-лиственные заросли перед белокаменным ЦУМом съели вид, оставив лишь бурую стеклянную крышу над-вдали, вдоль Неглинной идущую. белый ЦУМ конца двадцатого века переходит в серый конца девятнадцатого и — я уже мелькаю за чутунными колоннами артистических, служебных подъездов Большого. а у Малого отдыхает за бессильными малолиственными саженцами деревьев Островский. да, я вернулся. вернулся, чтобы её вновь встретить и уводить Твоими путями. я вернулся в центр.

каменный взлёт подъезда к Большому театру — все перешагивают, наступают и стачивают камень, экономя путь наискосок к метро или фонтану. сколько тут прошагало! ложбина углубляется.

фонтан, бьющий водой в мутно-солнечные небеса, и вот, за стройгородком, бордовый дом метро: размахивают туда-сюда двери, толпятся туристы и театралы. здесь тоже камень протоптан зримо, под деревянными дверьми метро.

ступенями, ступенями вместе со всеми, озабоченно рассматривая каждую следующую, — вниз по замысловатому изгибу коридора. съел и оставил шифровку со временем прохода на память карточке турникет. так: направо, вот красная линия. шагами по эскалатору. теперь налево. несколько просветов под колоннами отгорожены барьерами. поезд идёт, судя по всему размазанному звучанию, по моей стороне. да, наш многоглазый: налетел, распахнул.

замкнутый, гулкий счёт станций в вагоне. успеть должен: на чёрном табло красными точками светило, когда вошёл в вагон — только сорок две минуты. уже и забыл последовательность — «Лубянка». вперившись в рекламу порошковых огнетушителей — жду... вылететь из подземелья и увидеть в дневном свете и шуме Садового кольца, под листьями залермонтовского сквера — тебя. какая ты после месяца разлуки? загорелая? о, вот и «Красные Ворота» прибежали — действительно красный камень и в замедляющемся ритме тёмные выемки для статуй, нами замеченные с тобой, помнится.

так: тут-то куда? правильно — вперёд, откуда и прибыл. какие медленные ступени! шагами их укрошаю. пробег вправо, маленький уже эскалатор, и дневным светом близятся узорчатые, эпические квадраты-картинки потолка высоты, знакомые стражи-высотки, потомки кремлёвских башен. двери дважды, между — кафель, словно в телефонных кабинках.

понаставили тут сиреневых комков-палаток, пивных ящиков. вон прогал. мелькнул босой, чумазый быт торговцев, совместное курево в окружении тары. дальше, к Лермонтову? так тут движение как раз хлынуло. нет, тебя не видно отсюда под Лермонтовым. сейчас можно пробежать, высокий туристический автобус медленно поворачивает. вот я и на островке-сквере. сказочная ограда за памятником — крадущийся тигр, птицы... нет, тебя не видно и по ту сторону Лермонтова, напряжённого, стянувшего руки позади, будто перед расстрелом. вот и часы справа. к углу высотки: успел — без пяти одиннадцать. постою, настроюсь, отдышусь.

пышу едким мужланско-юношеским потом. раньше такого не замечал. фуф, в такую загазованную жару выбежать из душного метро — не знаешь, лучше ли? над листвой сквера — величественный конструктивизм серой башни, вышки МПС. холм Садового кольца и торжественная ракушка вестибюля «Красных Ворот» по ту сторону — красные полукружия, уменьшающиеся ко входу. никто тут встреч не назначает, один я. троллейбусы «Б» и десятые проезжают в сторону моего дома... сколько времени уже? оп! в глазах темнота, руки на лице. это ты, Тан, прохладные пальчики!

— Ну, догадался или подсказать?

— Лучше — поцеловать...

— Это мы посмотрим ещё...

обернулся: ты, с прорусью в волосах, загорелая, весёлая, крадучись отступающая. но, как в битве Мцыри, рывком — настигнута, собрана в объятия крепчайшие и исцелована от шеи до висков. быстро и долгожданно. моя, моя! такая лёгкая, изящная, приподнятая над землёй моим порывом. на тебе новый сарафан, белый с лиловыми цветами, ткань потолще чёрного, руки обнажены зато до плеч, на одном из которых чёрные лямки тряпичного рюкзачка с восточными узорами.

— Ух, задушишь. Денёк-то намечается жаркий.

— Да... и небо рассеивается, уже не мутное.

— Ну-с, пошли? Ты мне ещё дом своих прадедушки и прабабушки не показал на Арбате.

— Это далековато, чтобы так сразу.

— Кто это говорит? Не узнаю того, с кем мы излазили пол-Москвы.

— Пусть это будет наша цель, хорошо. Но какой маршрут к ней выберем?

— Любой абсолютно.

— Ладно, пошли наугад.

от Лермонтова обратно к стене высотки и мимо уютных, маленьких, болтающихся от выдохов дёгтеватого подземелья, дверей метро. ты впереди, и мы почему-то торопимся. торопимся ещё оттого, что говорить требуется быстро, рассказывать. узнавать. такие скромненькие пешеходы, парочка, и так много тут творили месяц назад!.. попутно сгрудился ряд ларьков, продавщиц цветов. а ты меня всё тянешь, весела и загадочно молчалива, вперёд. у высотки слева неожиданно лиричный двор, деревья, лестница...

— Ладно, рассказывай-ка, как провел лето?

— Разве оно кончилось? Нет — для нас продолжается. Мне почти нечего рассказать. Дача... Дача моих показаний неинтересна. Смотри-ка, как я и говорил, — лето в разгаре, окна у всех открыты...

— Это потому что во двор, ты с другой стороны посмотри — там проезжая часть, и никто к выхлопам не откроет окон.

строгая. спускаемся по поворачивающей старомосковским и в чём-то крымским манером лестнице к арке массивного домины. в открытых окнах примыкающего слева угла дома — будние затеи. кто-то ремонтом занимается, вроде бы. кто-то книги перекладывает. звезды где-то вверху, в чёрно-чугунных воротах арки вплетены, но мы уже неподвластны окружающему, нас уносит встреча, через дорогу, пока нет машин, переносит. ты пытаешься указать мне на очередной конструктивизм бордового здания прямоугольно сложенного. и первое соприкосновение губ, внезапное, почти случайное, оглянувшись друг на друга, будто по сговору быстрому — перед пустырьём посреди массива, идущего от гостиницы «Ленинградская».

да, есть что рассказать губами. не виделись столько. плавно вговариваем бесслвно то, что думали порознь, стремясь обратно. моя дачная, отдалённая.

вот я тебя рисую губами — твои губы, твою влажность ответную. хорошо, что и место безлюдное. снова вместе, накануне сентября. но и до этого виделись лишь чуть. и отдалённо гонят машины, а за тобой возвышается гордо, эпохально — высотка и менее вытянутый, тяжеловесный, но узорчатый, как боковая часть высотки, плотно сбитый дом, под которым прошли только что.

хорошо, поговорили. теперь мы соединились, что подкреплено руками, сцепленными пальцами. нас сносит совместный марш, ощущение вдвоём — вдоль Кольца, под проспект Сахарова, через банковский белокаменный массив. и всё заново незнакомо. разрезанные проспектом переулки рассказывают девятнадцатый век стариной домишек, неукрощённой зеленью. и ты в сарафане желанном, как и им скрытое. да, я теперь знаю, что искать там: небольшое, мягкое, увенчанное розово-бордово. и тревожу короткими ласками, объятиями тебя у подъездов, их выдохов стари. ты отвечаешь на это, взглядом, подтверждаешь: ты моя. Тайная — здесь опять, в подъёме переулка. в незнакомом сдвиге серых башен справа семидесятых и слева, у нас, домиков девятнадцатого, пахнущих подъездами древними, болотцем и впитанным стенами, известково — куревом.

нас уводит Столица. и слова путаются с видами. твои волосы снова мной ощутимы, вдыхаемы. сворачиваем во двор школы зачем-то, потом — музыкальная школа, улица, повернувшая нас к вокзалам, длинный сквер, деревья, дети. больница Склифосовского. нас поглощают подробности, но мы — не их. мы друг в друге взглядами. не думал, что так будет. полностью ты взяла весь мой фокус зрительный. даже родинки обнаружил на шее сзади и гадаю — новые или они были в июле?

— Давай через Ботанический сад пройдем?

— Ни разу там не был. И не понимаю, почему метро «Проспект Мира», а тут Ботанический сад?

— Наверно, потому, что далеко живёшь. Метро «Ботанический Сад» называется потому, что там — ботанический сад, который за ВДНХ, огромный. А сюда мы зимой часто гуляли, когда я маленькая была, дальний маршрут был, с папой и мамой...

нас ловит листва, и просеивающееся на асфальт бликами, пятнами солнце греет и плечи. после оживления улиц — парковый покой. только с колясками мамы редко и вдали. на ходу целую плечи, шею, задевая сарафан, проныривая сквозь пряди твоих порусевших на деревенском солнце волос. пахнешь Ею и душем, шампунем травянистым, томно-душистым. идём под деревянным навесом клетчатый, на котором сухой дикий виноград местами. идём, поцеловываемся, улыбаемся друг на друга после месячной невидимости — и снова идём. старые урны годов восьмидесятых, пузатые. но забрели не туда — пруд и конец парка, ограда, генеральские дома.

— Есть два варианта — идти к проспекту по парку или тут пролезть.

— Пролезем. Так интересней.

забираю твой рюкзачок, подсаживаю тебя на бетонный парапет и только тут замечаю, что низ сарафана сделан как шорты — короткие и широкие штанинки, за

которыми твои бёдра напряжены перелезанием и подлезанием на корточках под сетку, отогнутую местными детьми из генеральских желтокирпичных домов.

немногие деревья и снова улица, трамвайная. ты вывела меня в свой город. он начинается с другого центра, от твоего дома, а не там далеко, где мой. и вот улица, трамвай, дома, в которых тебя выглядывал бы, ещё не встретив, — я заново ищу пространственной опоры, ориентира. это ведь рядом с проспектом Мира. а — вот он слева, туда трамвай и направился.

— Давай на трамвае проедем?

— А куда он нас привезёт?

— Точно не знаю, но до театра Дурова точно. Вон как раз следующий сюда направляется. Давай?

— Какие вопросы — поехали.

всё это правда, здесь. ты мной аккуратно подсажена в трамвай за талию. но за комфорт надо платить, возвращаться в реальность: меня, задержавшегося на подножке вслед за тобой, тряснуло током. но слабо и коротко. ты взволновалась, залезла в свой рюкзак, извлекла кошелёчек, пробила билетики за обоих, заглядываешь в глаза: в порядке ли? в порядке. с тобой рядом, обняв тебя поверх железно-прохладной спинки сиденья, — в порядке. слева над нами плывут сказочные вертикали с колонночками — балконы углового дома на проспекте Мира, в нём метро: всё, сориентировался. и мгновенно пересекаем наш с семейством недавний путь возвращения с дачи, едем вниз, к Олимпийскому. остановка, с большим чёрным терьером садится тоже пара, но одетая по-репперски.

— Какая псина!.. Обожаю их. Своего привезли наконец-то.

— А он кто?

— Кокер-спаниельчик. Маруся моя.

— В смысле — она?

— Нет, он, нё всё равно Маруся. Такие ушки — как платочек, так что Маруся.

трамвай замысловато петляет, и, пока ты глядишь на современный дом-особняк слева, я воспользовался — целую шею, под подбородком скулки. девочка моя: никуда отсюда не денешься, зацелую. а трамвай поворачивает и везёт нас мимо мозаики с пожарными на торце здания. кажется, что это место снилось. проезжаем сбившиеся и ждущие проезда автомобили и несёмся вниз. справа — восьмидесятые, громада Олимпийского и мечеть перед ним.

Прямо как в начале «Покровских Ворот», да?

— А... не знаю, не смотрела.

— Ну как же: «живописцы, окуните ваши кисти»... Это всё сопровождается... Ах, ну ты же не смотрела. Весёлый фильм.

— А, может, и смотрела, но по названию не помню.

— Что вы! Я вам могу целую экскурсию устроить по местам этого фильма. Самая большая хитрость в том, что его снимали у Кропоткинских Ворот, а не Покровских — там, у Гоголевского бульвара, далеко перед домом моих тётки с дядей, а мы в последний наш раз проходили за две улицы от него.

— Сложные исчисления. Но покажи как-нибудь.

— Да возможно и сегодня.

— Может, я так вспомню фильм, по месту...

а трамвай юлит опять, огибает изразцовую стену цвета морской волны, театр Дурова. в открытое спереди салона окно — дуновение зверинца. и снова бульварные кущи. подъезжаем к моим местам — Делегатская прямо по курсу.

Ну, видишь, Тан: мы нашли, по-моему, кратчайший путь из твоих мест к моим. Только что были в Ботаническом, а теперь — мои деревья, бульвар, от которого до дому рукой подать.

— Но от Ботанического до моего жилища всё-таки полчаса как минимум...

— Всё равно. Так интересней.

— Летом — да, ты прав. Можно и проще — на «Б» — десятом. Но это скучнее. А тут что — ты гуляешь, бываешь?

— Ну, как сказать?.. Так же как и ты у себя. Сюда меня маленьким и постраше мальчиком выгуливали, обязательно — надо же на мир смотреть. Мы в магазин овощной на Делегатскую ходили, сюда спускались в булочную иногда. В булочной ещё кофейня была, кафе вроде бы, а с другой стороны — вон в той девятиэтажке — книжный.

трамвай нас поднимает теперь в гору, Столица: мы съехали с холма моей девочки и поднимаемся теперь на мой, к Селезнёвской. попутно нам: окна, домашне раскрытые подробностями нашкафленных книг и обувных коробок «Polbut», простыни, пододеяльник, сушащиеся в первом дворе за длинным зданием, уходящим к Театру Советской армии. и мы катимся по рельсам, всползаем к Селезнёвской улице, вместе, в трамвае. не об этом ли мечтал: найти и увезти мою Тайную с её холма (одного из Твоих семи) и привезти к себе, из её Города?

промелькнул район генеральских домов, гульбы детства, подъёмов в эти дома по лестницам: балконы — лестничные клетки. трамвай на скорости повернул и остановился: Селезневская, нам высаживаться. тут ещё старая остановка — без стекол, одна чёрная рама осталась. ты немного растеряна, не ориентируешься, но, подхваченная мной за тонкую лёгкую ладонь, устремляешься бегом, весело — вперёд, через две улицы. в замешательстве машин на перекрёстке — мы уже проскочили к низкому кирпичного цвета дому, где магазин «Союз», обмен валюты. вышагиваем широко по этой вполне летней улице (потому что слева окна открыты), навстречу пара дворняжек, оглядываются: за нами из-за угла топают солдатский строй в грязном камуфляже.

— Тон, тут что, воинская часть?

— Точно сказать не могу. Одно знаю: мы с тобой проходим бани. Солдаты — в баню.

— А...

тебя, твой светлый сарафан осмотрели впереди идущие и последующие приземистые ребята, которые меня младше, но в таком снаряжении (кирзачах) и количестве, очевидно, мужественней. заслужил ли я вести за руку такую кра-

сотку? это в их взглядах. за ними остался кирзово-потный, тяжёлый дух, в жаре и пыли улицы не спешащий раствориться.

а мы идём с тобою скоро, и уже бестолковое движение у китайского торгового центра на задворках Новослободской принимает нашу пару, без разбору, в близкую толпу.

закуток подземного перехода набит по углам и внизу ларьками с журналами, видеокассетами, косметикой. мы — быстрее глазющих в витрины подземных прохожих. мы — уже выбегаем на свет, в новый узкий переулок, упирающийся впереди в серо-бежевые институтские стены. здесь шагают густо — так, что мы наискось перебегаем на другую сторону, перед железными воротами с затерявшейся из прошлого на них некрашеной пятиконечной звездой. что-то подгоняет нас вдвоём, отдельных от общего течения — и в потоке молодых лиц нас изумлённо встречают. они здесь перед началом семестра, видимо. или вновь поступившие...

— Что это, Тон, тут так много молодого люду?

— РГГУ. Бывший Историко-архивный.

— А, слышала о таком, даже кого-нибудь знаю наверняка.

солнечная сторона, и стало жарко, может, от быстроты ходьбы. но наш путь загадочно поворачивает влево, изгибаясь волной и продолжаясь прямо за генеральским домом. слева попутно перед кущами лиственными — ларьки овощей, напитков, держащиеся за «комки» латунно-коричневый, за ветерана.

Хочешь чего-нибудь?

— Возможно, мороженого...

— Какого?

— Любого сливочного, лучше в стаканчике.

— Айн момент.

в голубом «Банзае» окошко... в стаканчике, но пломбир. деньги-шуршалки, добрая и отзывчивая продавщица, выдавшая два каменных стаканчика в шуршащей прозрачной упаковке...

Тан, мои извинения: к сожалению, стаканчатый тут только пломбир.

— Ну и ладно... И что это всё — РГГУ? И вот то с колоннадой здание?

— Да, теперь это всё РГГУ. Раньше там была ВПШ — Высшая партийная школа.

— Там такая башня интересная наверху. Водонапорная, что ли?

— Надо же, я точно такую же знаю на доме перед Третьяковкой. Мне она отчего-то напоминает всегда песню Кинг Кримзон, «Ин зэ коурт оф Кримзон кинг». Точнее даже — напев оттуда.

мы уходим от молодого многолюдья во дворы с нашим мороженым. как школьники — за ручку и облизывая, отпаривая нежными выдохами холодную сладость пломбира. сосредоточенная ты на аккуратном обгрызании стаканчика — вызываешь зависть встречных детишек. дворы и дома пропускают нас к детской и спортивной площадке, тут пинают футбольный мяч порывистые тинэйджеры — двор за поликлиникой зажил опять полнозвучно, забрал с летних разъездов свою

поросль и их мышечную упругость вновь заключил в свою акустику: мамы, выпустив из колясок, карапузов водят в песочнице, а другие их издали собеседницы — по лавочкам, рядом с которыми островерхие коробки-урны на шестах.

— Давай тут на лавочке приземлимся? А то на ходу как-то есть не вкусно...

— Давайте. Кстати, вот, познакомьтесь — моя поликлиника детская. Вот эта, с трубой. Что-то не особенно хочется мороженого ледяного такого. Можно я сразу поделюсь?

— Можно-можно. Мне понравился пломбир. Но ты точно не хочешь?

— Нет, мне приятнее смотреть, как ты его ням-нямишь.

— Ну, тогда и смотри. Ишь...

день распогодился, и солнце теперь светит в полную силу на площадку, ветра почти нет, листья спокойны, изредка слышны мерные вихри машин, ты облизываешь пломбир, а я впитываю всё это наше пребывание. прибыли, в Столице, сидим на лавке вместе. и в твои губы заглядываю, смазанные беленькой полоской, необычайно подвижные, весёлые. глаза твои двигаются в мою сторону, поглядывают как в муляжках, отдельно от работы губ, что выглядит необычайно соблазнительно, как у куклы.

Моя маленькая, дорвалась до морОженка?

— Да-с. Это у твоего Ланового мороженко. А у меня — мо-ро-жИ-нно-Е, понял?

— Понял-понял.

и обнял мою куклку с мороженым. приревновал к мороженому твои губы. и вот совсем недетское продолжение — мы позабыли, что тут мамы с детишками: целуемся. моя сладкая, губы холодные, податливые. вот так и мне мороженое досталось. но недолго — ты меня отодвигаешь, и правильно, забываться тут не полагается...

после отдыха на лавочке, снова захватывающая, быстрая ходьба. на улицу Фадеева, через неё. розовый угловой дом привлёк твоё внимание, пока мы перебегали перед синей «газелью».

— Знаешь, а ведь тут окна должны быть на углу. Вон они и есть. Это точно тридцатых дом. Остальное потом пристроили. Видно и по кладке. Да вон, прямо рама к кирпичам облицовки примыкает. И куда мы теперь?

— В сторону Арбата. Сейчас — к Маяковской.

— А мы недалеко от неё.

— Сейчас повернём — и будем недалеко.

— Ух, какой-то колокол — авангард, видать. Годов семидесятых здание. Что там?

— Концертный зал Глинки, вроде бы. А знаешь, что означает это нагромождение бетона под колоколом? Мне объясняли в детстве, что звуковые волны.

— Похоже...

деревья из двора больницы нависают над нашим поспешным движением. перекрёстки Тверских-Ямских уже впереди. простенки впускают нас в дворы уже более полные автомобильных отзвуков. и сам здесь не проходил, но с то-

бой — все пространства раскрываются заново. снова талия и бедро твоё под моей левой ладонью. деревья, окна и дворы нам соглядатаи быстрых моих поцелуев в твою шею, ушки, скулы — как дождь учащающиеся время от времени. посреди дня выбираемся к гулу Маяковки, с задворков строящегося второго выхода, за строительным забором, закрывшим часть видимости верха площади.

— Ой, я даже растерялась. Вроде, вон башня «Пекина», по-моему, да? Но мне непонятно, с какой мы-то стороны идём, Тон?

— Со стороны Тверских-Ямских.

— Мало что объясняет. А!.. Кажется, поняла. Зал Чайковского — на другой стороне.

— Совсем на другой. Он ещё за кварталом, занятым рестораном «София».

— Такие здоровские дворы!.. Не как у нас. Какая-то древняя решётка...

вдоль низкого дома идём, к окнам того самого, с «Софией» дома. теперь там что-то вроде «Ростикса». вдруг, когда мы уже повернули и направились к лестнице подземного перехода, ты остановилась, глядя то ли на сарафан, то ли под ноги.

— Гляди, какой люк необычный! Я таких не видала ни разу. Ни круглый, ни овальный. Что там написано?

— «С.С.С.Р.» написано, с точками.

— Тридцать второй год! Вот это да. «Днепровск» — теперь и названия такого нет. А что это за перекрещенные инструменты?

— Один из них точно топор.

— Другая кирка, вроде бы...

какая сила нас пронесит по площади? мимо сурового Маяковского, под которым алеют гвоздики, мимо башни дворцовой, торжественной, что за ним высится. и — под колоннаду зала Чайковского, в суматоху газетно-цветочной торговли. но мы не теряемся, только чётче ощущаем себя тут, в множестве, вдвоём. быстрые взгляды накрашенных девиц у касс театра. ресторанные люди навстречу. смешение разнонаправленных движений вплоть до лестницы вниз. но я вижу в этом нагнетении информации, в беге нашем и встречном мимо стены и окон вестибюля зала Чайковского только тебя, Тан. и веду вперёд за талию — казалось бы, лишь один из здешних кавалеров, встретивший свою пару. но я встретил тебя необычно. да и сами мы вовсе не те, что тут встречаются, цветочки дарят, всё знающие про себя вдвоём наперёд. условности... нет, я встретил *мою* девочку. долгожданную, снившуюся, изящную, даже нарисованную мной лет в семнадцать в блокноте с аристократическим названием «Для эскизов». так и вышло — эскиз-то был. спящая, увлечённо видящая сон девочка с тонкой рукой вдоль укрытого простышкой тела. карандашом нарисованная, с непонятным цветом волос. эскиз. ты же — вот, с выгоревшими, порусевшими. настоящая, реальная. в моей Реальности, в моей Столице. покажу этот рисунок тебе потом, когда домой ко мне завлеку. неужели это так просто? мы нагуляемся, ус-танем — и я тебя позову. может, не сегодня, но скоро? моя Тайная, моя Тан.

— Сколько тут театров? Один за другим... Я думала, тут только зал Чайковского.

— Не поверишь, но вот эти деревья в «Аквариуме», всё это пространство принадлежало моим предкам, это был сад перед их домом.

— Как? Ты же говорил на Арбате...

— Нет, здесь был дом, полученный в наследство по прабабушкиной линии, она ведь из семьи купца первой гильдии Буланова. Ко дню свадьбы подарок. Потом его продали. Переехали на Арбат...

отвлёк тебя от мерного движения углублением в этот сад, своей семейной дальностью, историей с Садового Кольца потянул к Бульварному. но, увидев впереди опять понятный и знакомый свой архитектурный язык эпох, уже ты меня просвещаешь. про серый дом, завершающий углом «Аквариум». сам Щусев строил. тебе приятно отмечать нюансы, мне неведомые: ещё конструктивистский его период, Щусева. конец двадцатых, наверно. Военный университет, ордена Ленина и Революции уплывают слева назад — сохранились... вид боевой, как бронепоезд, с балкончиком-рубкой, с поручнями.

А вот это — дом Булгакова.

— Как тут всё плотно. Да, а это уже — модерн.

— Тут пред домом раньше сад был. Садовое ведь кольцо-то.

арка пропускает нас внутрь, звуки Садового кольца удалились и съжались в коротком эхе подворотни. стенные росписи (вроде «всех лиходеевых в Ялту») тебя привлекают на секунду, но я веду скорей в подъезд. и показываю основной шедевр.

— Какой глазище... И чьей работы?

— Моего бывшего однокурсника, Алексея Кравцова. АлексИс — поэтому «А» звездообразное подписью.

— Как же он туда залез?

— Рисовал зимой, одной рукой, примерзая второй ладонью к лестнице, что стащил на время у рабочих. Он тут в школе напротив через Садовое учился... Квартира, кстати, где мы курсом собирались, от его фамилии название сленговое получила, точнее — от семьи, «кравтира».

твоя рука на перилах попала случайно под мою. другой тебя приблизил, обнял. и снова, с риском покатиться, потеряв равновесие, с лестницы, мы углубились в зажмуренную тьму. ещё мороженого привкус, убежавшего молока, липковатость, размытая мной. и дышать тобой — не надыхаться. в запахах Твоей подъездной старины, напоминающих Серпуховку. свою девочку привёл, завидуйте, мессир. не Маргарита, но Тан. моя летняя находка на мосту, между дождями. она отвечает мне — видите как? это любование осязательное, устное, не видимое ни вам, ни нам. только нашим губам, нашему неистовому взаимонаправленному язычеству. можно сказать — обоюдоострому. обоюдонежному. модерновому, как водоросли гнущемуся, волнующемуся — в стиле этого дома. левая рука на твоей, правая сдерживает талию всё сильнее притягиваемой ко мне тебя. моя девочка. видишь, как ласки усиливаются? что же дальше-то будет? ведь только начало нашего года здесь, осени?..

в ответ или нет — ты вырвалась, перескочила верхние ступеньки, повернула на площадке и унеслась вверх, молниеносно по пути блеснув чертовским

зелёным взглядом на меня, затягивая в игру. что ж — догоним, через две ступеньки, пускай. твой сарафан мелькает белой уликой впереди, всё время исчеза за изгибом перил. но ты не знаешь (или знаешь, что тут странного?), что конец у лестницы будет. мелькают двери и оранжево запылённые окна лестничных клеток, мы вдыхаем яростно старинный, квартирно-древний дух подъезда. твои прыжки наверху прекратились, и теперь эхо потолка только мои фиксирует. вот она, беглянка, на последней площадке. уже приоткрыла створку двери слева...

— Ой, Булгаков смотрит! Портрет... Это нам специально Булгаков и квартира показались. Ладно, действительно не будем соваться.

— Надпись памятную оставить не желаете?

— Не желаю, я желаю дальше в путь. Мне так интересно стало всё. Тут действительно какое-то место. Заряжающее, что ли? Вёселое, одним словом. Пойдём.

— Ну, вы и шустрая леди! Погонщик ваш ещё и отдышаться не успел.

— Нечего, тренируйся, я быстрая лань.

на этот раз вместе. ты поддалась и поимке твоей талии знакомой ладонью, привыкшей к мягкой сарафанной, почти байковой ткани. надписи углём, цветными тюбиками, жёлтая Маргарита на метле, клыкастый Азazelло убегают обратно вверх, а мы — частым перебором по ступеням, как по клавишам, ниже, ниже — в длинный тёмный холл, старинно-деревянный запах подъезда и на улицу. стены и окна дома — собрались над нами, нависли и провожают. таинственные две арки справа и слева, исписанные цитатами и пахнущие вино-мочевато. мы уходим из таинственного места к деловому, большому Садовому кольцу, быстрыми, в ногу (а только так можно идти с девушкой за талию) шагами, пробегаем вдоль массивной крупнокаменной бурой кладки. снова деревья нас приветствуют. пустые под ними площадки без лавок.

Сейчас мы идём как Булгаков с женой — он ей вечером показал место начала романа. А там впереди — турникет.

— Как это?

— Ну, воображаемый, из романа. Его там не было никогда.

— А «Аннушка» ходила где?

— Да в том-то и дело, что по Бульварному кольцу. Но для романа Булгаков с Бульварного кольца трамвай сюда повернул, причем дважды.

— Светофоры тут хорошие, с ресничкой, старые. Мне такие больше нравятся, их свет виднее.

— Чёрные?

— Корпуса чёрные. А у серых свет точечный, сбоку не видно.

— Зато они легче и меньше энергии, наверно, тратят.

Всё бы им экономить. Ну что, переходим? А то вон нас и машины пропускают.

— Вперёд!

на аллеях уже дневные седоки с пивом, парами, как воробьи на спинках лавок. но мы мимо них не пойдём — веду тебя, мою пару, в сторону большого

сидящего Крылова и детской площадки. и тут на лавках полно пьющих ровесников, и тут же молодые мамы с колясками. тоже не образцы: покуривают, лениво матюгаются. их жара гложет, нас после подъезда — не так. интересное дело: вот ты перед выходом к Маяковке не могла понять, откуда мы идём. а я тоже в детстве на Патриках не ориентировался. только к концу школы, когда сам тут стал ходить — запомнил. мне всё время казалось, что все эти звери из басен — за домиком, что на другой стороне пруда.

тут летнее спокойствие, мшистый и глинистый запах воды. хорошо и то, что на этой аллее почти нет пивных воробушков. ты спустилась к ограде пруда, следишь, как отражающиеся пегие и серые пять уток, из них три утёнка, проводят медленные манёвры около центрального своего, немного в нашу сторону смещённого домика. моя натуралистка.

— Как они сюда прилетают, интересно?

— Никто не видел этого.

— И что зимой, куда отправляются?

— Тоже вопрос.

— Ничего-то ты не знаешь у меня. А ещё здешний...

— Виноват.

— Ладно, тут жарко, пойдём под деревья.

идём тут не быстро, наступая на яркие, по краям расплывчатые ромбики солнца на земле. мы с тобой в аллее, шагающие в сторону жёлтого домика во главе пруда, вдыхающие водорослевый дух пруда и родной песочно-пыльный приИдух Столицы, подгоняемый сюда редкими машинами... и время медлит, время наше. день хоть и солнечен, но ещё восходит.

— Ну так что рассказать-то?

— Не важно. Ну ладно, раз так не можешь, я расскажу. Вот, например, как несколько лет жила у бабушки на проспекте Вернадского. И в детсад, и в школу там ходила...

— А что так?

— Да вот по семейным обстоятельствам. Папа с мамой тогда всё сходились-расходились, не до детей было...

из-под защиты деревьев уходим в дворы через переулковую окантовку прудов. устные картинки твоего детства сливаются со стенным повествованием, и мы, минуя непонятные, ненужные магазинные вывески, заходим в двор, словно захожу в твоё прошлое. там моя девочка маленькая, худая, то с собранными, то с распущенными волосами, которые тогда были светлее. бабушка воспитывает тебя, водит в парк «Пятьдесят лет Октября», который кажется тебе краем света. верхний этаж дома справа, на краю двора, в который мы вошли — художественный или научный зал там какой-то, может хореографический. над ним благородная ржавчина крыши.

— Сколько тут интересного... А вот за Университетом, ну, в смысле, между метро «Университет» и «Проспект Вернадского» — не такое всё. Сначала мы жили у бабушки, и мне все сказки рисовались в окне, а там крыша. И ещё я думала,

что салют оставляет там на крыше блестящие камешки, как на море — бутылочное стекло, обкатанное водой...

с твоим рассказом и я по-новому вижу здешнее, будто с юга вернувшись (действительно вернувшись и ещё не вшагавшись в Твой масштаб): минули по мойку с кормящимися рядом двумя похожими пушистыми пегими кошками, за ней ресторанный подъезд и зелёный ковролин, обогнули толстый серый «мерседес». и через улицу пошли странно, ища прогала в машинах — налево, а не кслиянию улиц, обратно. но тут же, мимо старой-престарой белой «Волги» — в арку. а ты уже про юг рассказываешь, про боязнь медуз, и серые массивные стены проплывают нас, пропускают высокой аркой.

Арбат ли притягивает нас, моя ли школа, уже зная, видав нас вместе? но всё с тобой заново: увлекаем взаимно друг друга, то ты, то я вперёд — руками, словами, взглядами. игра началась, и улицы готовы. только день понагнал во дворы и на тротуары больше машин. тем не менее, находим везде выход, и длинный двор серого дома, арка которого высока и уже далека — выпустил нас, но прямо к посольству, и ты тут же загляделась на архитектуру. немудрено — улица особнячная сплошь. яростный лев бьётся с какой-то гадиной наверху посольства. следующий же дом успокаивает — классический генеральский бежевокирпичный, судя по доскам (как мемориальным, так и балконным — потемневшим, приватным, элитным когда-то). рассказывая о себе маленькой, ты всё больше приживаешь меня к себе, это нежность вдвойне. ты — всё это долгое время носившая свою изящность, вынашивавшая женское, тайное, — моя теперь, и я снова угуливаю тебя куда-то. хотя точно знаю — куда.

сирень и над ней нависшие листья пропускают, касаясь наших голов, и выглядывает слева памятник-Блок. смолкнувшую тебя я вновь знакомлю, заговариваю, направляю взгляд.

— Вот, это памятник сравнительно новый, видишь как за ним дом Блока стоял. Дом сломали, зато памятник поставили. по-моему — это памятник пальто, а не Блоку. Дом стоял, просвечивал — там в центре была лестница, а над ней — стеклянная крыша, как в Пассаже, в ГУМе, но небольшая. На жёлтой стене снаружи — был белый барельеф в кругу, без подписи, но по профилю узнаваем был Блок.

— Ой, а это же... это же особняк Рябушинского знаменитейший! Вот спасибо, что привёл. Тоже его видела столько раз на фотографиях, в хрестоматиях. Да, вот если ты и тут меня искал, то я не против.

— Возможно... А может быть — и вот в этом бордовом доме, в окнах.

— Нет, ты погляди: там даже деревья посажены необычные, древние теперь уже. Райские растения — и на доме, и перед ним. А какие рамы — ни одна не повторяется, всё вьётся, всё такое растительное... Кругляшки — представляешь, как трудно такие стёкла делать? И люстры там должны быть, и перила — всё уникальное, единый стиль. Классика модерна, Шехтель.

— А вот церковь, в которой Пушкин венчался...

— А, теперь всё ясно: Никитские Ворота там слева, да? Ограда у церкви злющая, какие-то наконечники...

- Оружие.
- Чей памятник в глубине сквера?
- Толстой. Алексей Николаевич.
- Не узнала. И чего это он на церковь глядит? Хотя нет, он отвернулся — на модерн, правильно. Чего это перед храмом божьим раскопали?
- Видишь, некий свод. Может, коридор в Библиотеку Ивана Грозного? пробегаем между сложным машинным заторм, слева Банк Москвы, еще сохранившийся ларек под домом и за ним — «Ремонт пишущих машин», чёрными буквами по картонному цветку, древняя вывеска, ещё школьных моих времён.
- А это что за мемориал, какие-то мальчики с вытянутыми шеями, винтовками?
- Те, кто из этой сто одиннадцатой школы на фронт ушел и не вернулся. Такими и уходили.
- Трогательные юноши. Нет, я без каких-то там, не осуждай... Ой, а, по-моему, этот дом с жёлтым кафелем на балконах я видела в каком-то фильме... Точно — «Служебный роман».
- Да, только не этот дом, а следующий. Там на детской площадке Мягков ждал, да. Кстати, сейчас она увеличилась — не сейчас даже, а уже в годы моей средней школы, мы тут носились — дом, что в фильме, мелькнул попутно к башне, сломали. Да и жёлтый кафель с дырами-трубами тоже постарел.
- день нам распахнут, и переулки подтягивают к Новому Арбату, стержню Калининского проспекта: мимо учащающихся современных особняков с изразцами и полукруга с колоннадой концертного зала Гнесинки — влеку тебя к улице предков. вот и Поварская—Воровского улица пройдена, сбоку и позади разливаются клавиатуры и цокают барабаны, здесь уже началась учёба или репетиции... тенью накрывает очередной дом какой-то знатный. дореволюционный, но двадцатого века. осавиахимовская налётка знакомая. в этом доходном доме, до того как тут жили герои войн и труда — был пункт сбора отрядов Осавиахима: «Крепи оборону СССР».
- Я уже и подзабыла, что там вылеплено. Пропеллер, винтовка, противогаз старого образца — помню...
- В звезду вписанные. Видишь, тогда не разбирали архитектурной ценности, элитности всякой. А сейчас я тебе ещё маленький секрет покажу, понравится.
- Я думала, мы прямо пойдём, там так загадочно и тенисто. И ведь Калининский — там проспект?
- Да, но сначала я тебя познакомлю с одной достопримечательностью. Это дом судей.
- Похож на обычный доходный дом. Серенький...
- В таких я тебя особо высматривал. За Чистыми прудами.
- уже выглядывают — львы. у каждого лапа, ближняя к центральному входу, поднята так, словно опирается на что-то. левому льву кто-то губы вокруг серого оскала подкрасил.
- Не помнишь самого начала фильма «Офицеры»?

— Смутно, я этот фильм не смотрю обычно, только случайно если, за чаем.
— Там герой Юматова знакомится с девушкой, будущей женой, у этого подъезда. И видно — у львов под лапами герб, у каждого. Это именно герб, наверное, был владельца дома. До революции так полагалось, а потом буквы-вензеля скалывали, в фильме их не видно.

— Но фильм-то не до революции снимали.

— Это точно, до тех пор он и дожил, и без вензеля — что характерно.

— Любопытно. А дом сказочнее моего, вершинки будто у замка, рамы древние, мрачно-коричневые.

— Ещё в фильме «Девушка без адреса» он есть, в нём попадает в переделку парень, ищущий ту самую девушку...

— Как ты все фильмы эти помнишь... Девушку, говоришь? Ищет? Как ты?

— Вроде того.

— А ты уверен, что именно её нашёл? Точно?

— Точнее не встречал.

— Ну ладно, тогда пошли дальше, в твоё родовое гнездо.

взяла и, улыбнувшись, повела в ступение лиственной тени, к переулку — через перекрёсток асфальтовых троп на газонном углу. на минуты всё наше движение: ты, меня ведущая, глядящая загадочно-ласково после моих слов, стены тихих домов с зашторенными, но открытыми окнами слева и начавшийся школьный двор — щекотно слилось в какую-то детскую нежность к тебе, к наступающему полдню, к ощущению своей руки в твоей и постепенному звуку наших шагов. двор школы за оградой тих, никого не видно. ты ведёшь меня (хотя и не зная, куда) так аккуратно, щекотно держа ладонь, шурша от стен шагами, что, повернув вправо по школьной ограде, я вдруг стремительно тебя поворачиваю за руку, схватываю объятием и начинаю в отсутствие тут прохожих быстро симметрично по очереди целовать открытые из-под сарафана загорелые плечи, кожные складочки у подмышек, шею, ушки, удивлённые, поднимающиеся к моему лицу пальцы и глаза, веки, глаза. но ты улавливаешь мой град, наконец, губами — и мы, дыша теперь сильнее боковой школьной листвой и Большой Молчановкой, снова вливаемся во взаимность, плавный устный пересказ о встрече после месяца, о нашем сговоре, о таком избранном внезапном любовании. и это не зной — губы прохладны, только улица теперь напоминает о внешней, где солнце, жар. и, пока мы стоим так — утопая, временно слепо, — побухивая салонной музыкой, прошмыгнула какая-то машина, напомнила о времени, о движении. мы разнялись и, после устного взаимного воспевания, которое кто-то из машины быстро выхватил как эпизод пути, глядим вверх, на сблизившиеся в молчании стены, на выглядывающую слева высвеченную солнцем башню...

— Милый. Где же это мы оказались? Небоскрёб какой-то.

— Всё тот же Калининский. В этой башне — аптека испокон веку.

— А нам куда? Что-то я опять разориентировалась...

— Нам через, а точнее, под Калининский, и всё. Считай, что мы уже в тех местах, родных моим прапредкам.

— Не хочется из тени уходить, но надо.

и теперь прямо посередине улицы, чтобы не петлять вокруг иномарок, проходим мимо краснокаменной тихой школы. с тобой, моей теперь попутчицей, странно вспоминать школьные пути, как бегали мы тут в «Мелодию»: пластинки, кассеты. к концу восьмидесятых тут была первая студия звукозаписи. приносишь кассету и (о, счастье!) уносишь с записью какого-нибудь «металла». какая далёкая еруднистика! и какое со мной живое счастье идёт, так близко, жарко ей снова на солнце: на Калининский вышли...

— Фу, как тут сразу шумно и загазованно, жарко.

— Ничего, сейчас в подземный переход. Вообще-то этот проспект когда-то был зелёным, машин было меньше, деревьев на той стороне — больше.

— Понастроили тут... Ходить негде.

— Банк. Зато вот фонтанчик...

— В нём же не искупаешься. А, вот этот подземный?

— Так точно.

вместо прохлады — жарче, душно. только запах знакомый и оттого успокаивающий. но действо тут как всегда — музыкально-побирушническое. и, конечно же, розенбаумовым голосом что-то петь. нет, красивая пара вам ничего не даст, ребята, на пиво. барды-фаны-киноманы... и тут магазин открылся, прямо в подсобной слесарной двери, рекламно открытой — коридор, поворот влево под лестницу, электросвет и что-то стирально-порошковое там, видимо. а мы — быстренький отсчёт ступеням вверх, на выхлопной проспектовый дух, свет и шум. тебя, словно через реку мелькания реклам и взглядов, мою найденную, целованную там, в переулках, ценность — тороплюсь, обняв за талию крепко и приблизив к себе, увести с этого а ля Бродвея вниз, вот по лестнице сбоку «Юпитера», наискось.

Чувствуешь разницу в высоте?! Прямо кажется, что мы в небе сейчас летели, плыли, а сейчас снижаемся, приземляемся. Или, наоборот, ныряем с поверхности. В смысле порядка эпох это так: с небоскрёбной нашей местной высоты, от шестидесятых — к девятнадцатому.

— Ну, пока я девятнадцатого не вижу. Хотя разве что этот домик.

— Театральное училище, «Щука». Впереди Арбат. Ладно, раз уж мы сюда приземлились — покажу тебе дом, в котором Маргарита стёкла била, Дом писателей. Да вон он, собственно, выглядывает. Весь за зеленью, угловой, балконистый.

— Тот? Это тридцатые. Издали видать. Правильные объёмы в основе. Уютный такой. Дикий виноград на балконах. Здорово! Подъезд и балконы внизу слитны, со вкусом... Нет, всё же не конструктивизм, а уже ар деко.

— Булгаков завидовал, что ли? Почему-то у него этот дом значится как восьмизэтажный. Посчитай...

— Семь. Но тогда и цокольный этаж считали, андеграунд фло, я бы сказала. Там тоже селились.

тебя по сенью запущенных деревьев влеку дальше, мягко поддерживая талию. нам на самом-то деле — назад. быстро соображаю — вот моё сейчас твор-

чество — как красивее и загадочней провести тебя дворами в сторону Садового кольца, к своей Композиторской.

— Ой, ещё модерн. Хороший переулочек. Николопесковский... Красота!

— Вот и в таких местах я тебя выглядывал — вдруг окно моешь, изящная, в халатике?

— Ишь, в халатике — нет уж, в тренировочных, ничего вам не видать чтоб, зевакам. Что, правда искал именно в таких, в современных? Тогда правильно, это моё, все существа вон современных, феи, ведьмы, травы, я одна из них... Или во всех подряд подглядывал?

— Когда арбатская вольница перестроечная носила меня тут, старшеклассника, — вот в эти и глядел. Именно в эти. Вон, кстати, опять «Крепи оборону». К тому же вот бочок Вахтанговского театра, служебный вход, лесенка — сюда нас Василь Семёныч проводил с Серёгой Лановым, на спектакли. В кулисах, оторопев, с Ульяновым здоровались...

— Да, ты у нас элитный малый. Всех знаешь.

— Не теперь. Да и то, шапочно. Сейчас другие пути, друзья, кравтира, курс мой малый да удалый, сроднились... Так, вот теперь — мгновенно в эту подворотенку!

в тёплом межстенном ветре проходим дворы арбатские, там слева видел компании перестроечной поры, с магнитофонами: казалось, вот за такими подворотнями и кроется настоящая жизнь моего поколения, знакомства с девушками, может быть, наркотиками, мечта взлететь в Тебя, бродить крышами с песнями, новыми друзьями, рок-н-рольной подругой. а вот встретил позже, и не здесь, не рок-н-рольную, как в школе ЮНГ геофака МГУ, а которой Энигма нравится. и просто прохожу тут с нею, мимо школьного здания с открытыми окнами коридоров, оттуда или с первого этажа из двери тянет лаковым запахом, паркет сохнет последние дни перед приходом школьников ног. как ты сказала «предковых»... не говорим, а просто дышим, плывём в этом тенистом, но тёплом простенке, поддуваемые сзади ветром. да, Столица, мы тут. я её обнимаю. в ответ на сопровождающе-ожидающий взгляд — целую в открытую над сарафаном шею. и веду показать потайной закоулок предков.

после изнаночных мест стенных — расцвет деревьями и церковная белизна, колокольня, островок лиственной тени, переходим узкую дорогу сразу туда и сворачиваем направо. на лавочках толстощёкий рэповатый молодняк глотает пиво, смеётся с матерными призывками, нас, идущую пару, не смущаясь.

— А это что за такое поместье справа?

— Некое консульство, по-моему.

— Неплохо устроились. Случайно, не ваш ли бывший дом?

— Нет, нашего как такового и нет, только место покажу.

— Мы — прямо?

— Да тут уже не важно, можно с обеих сторон зайти, но раз уж мы отсюда вышли, то прямо.

по Трубниковскому переулку возвращаемся к Калининскому, чтобы выйти к Композиторской. дом минует, где пиво с одношкольником Борей пили

разливное, разбавленное — вот тоже невероятность. младше нас с Некрасовым на несколько классов был, так что визит наш ему льстил. металлист он тогда был, как и мы, и еще с «Ночными волками» екшался, мотоциклистами местными, байкерами. забавная деталь, арбатский колорит: за окном, а он на первом этаже жил фактически, на полупервом (на внутреннем сгибе дома) — пили местные бомжи-алкаши, просили у нас сигарет. мы в окошко передали беломор. у Бори было очень комариное место, постоянно отмахивались, пока сидели в его комнате, а они под высокий потолок улетали, дело весной было.

Да, кстати, в этом доме, вроде бы, должен был жить в их времена адвокат ДурновО, они дружили семьями. Отсюда и название местности — Дурновский переулок, когда-то так назывался он, бабушка рассказывала.

— Слушай-ка, так вот этот серый дом на месте вашего стоит?

— Ну да, других не наблюдается пока.

— А ведь это конструктивизм. Не могли ли только фасад поменять?

— Нет, тот дом полностью сломан был, вроде бы — взорван даже. Как раз в двадцатых и могли этот построить.

подходим к солнечной серой стене с балконами. на втором этаже сидящая женщина средних лет в халате курит, облокотясь на перила, рядом со старым креслом, курящая — во вьетнамках, пунцовые объёмные пальцы ног близки к уровню наших взглядов. мы как-то естественно смолкли и только смотрим, проходим.

— Да, конструктивизм. Причем ты прав — годов двадцатых. А уютное местечко. Машин мало.

— Это сейчас, когда Калининский разделил Арбат. А раньше тут всё такие переулочки одинаково узкие были, сообщающиеся. Отсюда все ходили гулять на Собачью площадку, прямо по Дурновскому переулку можно было выйти.

— Давай тут перейдём, благо машин не предвидится, я бы с дальнего угла посмотрела... Пытаюсь представить, как тут было. Ваш дом... Он весь был ваш?

— Нет, первый этаж — приемная дворянской опеки, секретариат. А секретарь — мой прадед. Все остальные этажи вверх — наши. Дом был трехэтажным, вроде бы. С ним так много связано дальше будет у семьи... Дворник там в дворе-вом сарае оружие прятал в девятьсот пятом, потом голодали дети дворовых, им еду выносила прабабушка. И отсюда недалеко Вася, бабушкин брат, водил ее на собрание, где Ленин выступал и давали бутерброды с селедкой — в особняк, где сейчас банк «Российский кредит» за МИДом, рядом с Лёвшинскими.

— Ладно, веди дальше. Мне знаешь что бы тут показалось самым древним, если бы ты не указал место? Вот эта стена и дерево за ней. Какие-то они кинематографичные, в духе ретро. Хотя стена сталинского стиля, не так стара, как дом твоих прапредков.

стены нас снова забирают в своё царство — сблизившиеся в переулок, высокие из такого проёма. а мы только приземлились из воображенного прошлого, с высоты современных соглядатаев — книг-небоскребов Калининского.

Знаешь, ведь после революции, я тебе говорил, мои переселились. Сначала помогли друзья прадеда — рядом тут. позади нас, на той стороне Калинин-

ского последний торговый двухэтажный павильон. Раньше там был «Хлеб», теперь рестораны, бар «Туборг» был одно время. За этим павильоном — дом. Вот там они сначала квартировались. А оттуда уже, когда голод начался, поехали с агитпоездом Маяковского в Казань.

— Да, интересная семейная топография... А потом, значит, — туда, на другой конец Арбата, к Пречистенке?

— Да, но это не сразу, после возвращения — вообще бедствовали, но потом, я тебе уже рассказывал как — получили квартиру в Лёвшинском.

— Да, и названия тут древние какие-то. Переулок Каменной слободы. Сколько в Москве этих слобод было?

— Много. Этого вопроса не знаю точно. Ладно, теперь я тебе другие места покажу, только Садовое пересечём... Так из булочной заманчиво пахнет — давай чего-нибудь купим?

— Я бы тоже мимо не прошла. Давай.

единственная, сохранившая ещё старое устройство, булочная. благодаря пекарне, что на втором этаже, и заывает сюда запахом. хлеб на лотках подкапывают с другой стороны, и стоят полки сдобы — выбирай. беру четыре пухлых калача с осыпавшейся с них мукой. очередь не успела ещё собраться — расплачиваюсь обильными пятакими из кармана и, рукой тебя за талию захватив, на улицу, к Садовому кольцу.

— Ну, ты взял калачи... Я больше такого одного не съем.

— Ничего, запас нам полезен.

— Действительно, если мы пойдём как обычно, на весь день... А где твои Платошкины края?

— Видишь по ту сторону Садового дом, где почта, «Белый ветер» написано? За ним дворы, за дворами улица, за улицей её дом и набережная. Она — та самая Платошка, в которую мой одноклассник был влюблён, Михайлов, он и Дубровский. Дружили Дубровский с Платошкой как детки, а потом, ну, в общем, уже по-взрослому дружить начали. А вскоре Платошка его оставила ради Морозова, этот и ярче и взрослей выглядел, на два класса старше.

— А Дубровский?

— Так... Сейчас мы под землю. Вот тут.

— Я бы и не догадалась, что тут переход есть, думала, мы дальше пройдем.

— Ну вот. Сейчас вниз, тут высокие ступеньки, осторожно. Да, а Дубровский ещё долго не мог от неё отказаться, готовился избить Морозова, даром что каратист, хоть и щуплый... Я ему сочувствовал, а он меня всё к ней подсылал. Но она не переменилась.

в переходе справа, отеснив к витринам с бельем и видеокассетами проходящих — черная ковбойская шляпа и хиппи-музыканты, высоким голосом девушка поет под аккомпанемент гитариста «Лестницу в небо», манера голоса под Джоан Баэз. этот переход подземный пахнет водопроводом и подъездами старыми. плюс запах выпечки, здесь в углу, на повороте к ступеням. здесь я чуть позади тебя поднимаюсь, поддерживаю тебя со спины за талию, пока ты выша-

гиваешь из подземелья переходного к запахам и автомобильным ветрам Садового кольца.

— А вдруг действительно кого-нибудь встретим из твоих школьных?

— Да они уже и другие совсем теперь-то. Дубровский заматерел, я его как-то встретил у нас в девяносто первой, в школьной столовой. Такой стал мужланистый, полноватый даже, ничего от того тинэйджера изящного, учился в МГИМО.

— Ну, води теперь по этим местам, к дому Платошки и Дубровского.

странная моя, весёлая. тебя заинтересовала эта история. в голосе легкая ирония над моей пристрастностью в рассказе. это и есть экскурс тебе в мои прошлые события, которого просила, только он получился не устный сугубо. вроде бы, забыли в этом начинании, что мы сами теперь — двое. а будто сплетничаем. немного неприятно мне. сам навязал. а ты втянулась. или не стоит так беспокоиться?

Вот это и называется «Смоленка». Метро — выход с голубой линии, Филёвской.

— Двери такие деревянные уютнее выглядят, чем стеклянные. В глубине, словно вход в подъезд, а не в метро.

— Да, только не в подъезд, а сразу на кухню, в кафельное помещение, и из этого домового пространства, вниз — к поездам, там длинный коридор и сразу станция, без эскалатора, близко к поверхности. И тут же другая линия — синяя. Тоже «Смоленская». Причем перехода с одной на другую нет. Говорят, из-за того, что здесь под голубой веткой проходит правительственная линия сталинского метро, ведущего в Кунцево.

— Интересные подробности. Надо у деда уточнить. Скоро я вас познакомлю. Кстати, этот дом я узнала, тоже хрестоматийный. Архитектор — Жолтовский, тот самый, которого улицу мы прошли сегодня утром, а строили дом немцы пленные после войны.

— Ну вот — в этом дворе мы с Дубровским сживали. Там у Дубровского блатная компания была, он говорил, домушники, и якобы он у них форточником был — потому что тонкий, гибкий.

— Ничего себе кавалер, мажорчик! Врал, небось. Ну и истории ты рассказываешь. Прямо не знаю.

— За что купил, за то пересказал...

— Ух, сказитель!..

резко поймала меня ладонями за щеки, притянула и топишь в поцелуе губ после калача сдобных, хмельных — горячим забирающим сжатием, настойчиво. понял: всё это время, пока я от тебя отдалялся во времени — неизбежно, рассказывая своё прошлое, — ты ревновала, потому что был тогда не твой, о каких-то чужих отношениях говорю, словно постороннему человеку. но теперь — всё. обратно, снова — на другом, нашем особом языке, продолжается диалог. и теперь ничего кроме нас. только верхние этажи да немецкая часовня-башенка дома с метро и почтой. просвеченные солнцем листья шелестят от Твоего ветра, Столица.

мы — Твои. улицы и переулки, где мы взлетали таким же манером — тонули друг в друге с помощью губ, — сливаются, перемешиваются и потом последовательно, как строки на странице, идёт наша языческая, ласкательная губами речь. нежная и подвижная, переменчивая, капризная и взаимная, ответная, незапная и вглубь удаляющаяся. мы в Твоём предсентябрьском дне и запахах возвращения. а я — её. и прошлое — только маленькие пространственные ощущения, спутанные теперь головокружением, поверх которых ты вписываешь связанные с тобой, этих секунд чувства, моя девочка. конечно же, какие там Платошки? вот она, моя мечта изящная в светлом, пахнущем байково, сарафана, зеленоглазая, пришла со мной сюда — не чтобы о ком-то слушать, а чтобы себя со мной сблизить. обнимаю, сжимаю тебя крепко, настолько, что ты, повременив, оторвалась и глядишь — довольно и в то же время с требующей укоризной: чтобы отпустил, не душил.

— Вот. А теперь — на набережную. Веди, мой сказитель.

выпутались из моего бессвязного рассказа и мимо церковного двора пробираемся к улице, вдоль зеленого дома и его распахнутых окон — красят там в синих робах рабочие рамы, помещение ведомственное, видимо. а мы — влево от жирного и бензинового запаха краски. на зелёной стене какие-то стенды, противопожарные картинки...

да, идём. шагающая вниз широко и легко — поймана за талию моей ладонью. вот и привёл на линию своих подростковых мечт мою встреченную. наверху справа платошкино окно с полубалконной решёткой — кто там сейчас? проходим вдоль метромоста, скрывающего в серых стенах пробеги поездов, протискиваемся между боками старых домишек, петляем у генеральской башни, под листвой пробираемся мимо больничного двора и снова — у метромоста, под которым мостятся гаражи. день в разгаре, но солнце опять забрано какими-то марлевыми, полупросвечивающими облаками — греет, но не светит прямо. серый метромост вместе с нами тут, украшенный черными декоративными вазами, чашами или как их там? тебе не странно тут спускаться, а мне — эхо прошлого пространственное.

Кстати, знаешь, что тут снимали «Берегись автомобиля»? Вот в этом слева доме жил Семицветов с женой, а тут — гараж, который кран поднимал.

— Плохо помню фильм. Хотя точно, там было метро сзади, мост.

— Но тут хитрость есть одна, съёмочная. Дневной эпизод, когда Ефремов тут расследует, снимали на другом конце моста, по ту сторону Москвы-реки, там места больше. Это легко видно по дому, сзади находящемуся.

— Как ты это успеваешь увидеть, определить?

— Пристрастен потому что. Как и к тебе, загорелой и волосами выгоревшей за месяц. Теперь ты более соблазнительная, курортная и сельская одновременно.

— Ну, спасибо, комплимент ли это — не знаю...

— Сельская, потому что волосы порусели где выгорели. Не серчай, это наблюдение любующегося.

— Ах, ты любующийся? Тогда как ты называешься сам, а? Любовник?

— Любователь, скорее.

— Любователь, любователь... Сейчас вот тебя под мост этот затащу и отколочу за сельскую! Хотя чего это я? Я деревни свои люблю. Но всё равно — вот тебе, вот!

в тенистый закуток под мост загоняешь мягкими тумачами в спину, в свой же рюкзачок, здесь мало прохожих, сейчас вообще нет, так что место нам предоставлено даже для таких странных забав. до стены дотумаченный, оборачиваюсь, ловлю твои весёлые кулачки и за руки к себе приближаю — медленно. пытаешься вырваться, но руки схвачены твёрдо. ты моя, моя — погонщица. поймал я тебя и сейчас разгляжу. ой, коленки-то не учёл. но удар только обозначен. да и ты хитрая, и я сильно тебя держу, но отпускаю, чтобы только глазами удерживать и ласкать тебя, твои щёки, волосы и глаза зелёные, ответно разглядывающие, немного вопросительные, словно что-то ищущие и понимающие медленно. а дальше уже только влажно-лиственный ветер, сквозной под мостом... и медленная, из наших сближающихся взглядов наплывающая нежность.

нашли вот тут друг друга, в предсентябрьской тиши, под мостом, а встретились-то за пол-Кольца отсюда на мосту и загуляли по месяцам сюда вот. и машины там проносятся ближе к воде, сверху гулкие простУки метро, наше движение, сближение — медленное, совсем другое. ты моя после лета. наступил момент. или просто тут так безлюдно и уютно у серых камней. но обнимаю твою талию я теперь не условно, как при ходьбе, а ласкаю симметрично бёдрам, ниже, порывом вверх потом, к лицу — чтобы коснуться выгоревших прядей, тонко прорисовать симметрию шеи, ключиц и — целовать, целовать там, где только что были пальцы. и ты сейчас принимаешь это повествование ласк, не шелохнёшься, готовая к дальнейшему.

как это страшно, как это сладко и тяжело — придавлены грохотом поездов и взаимной тихой нежностью книзу, к тем низАм, которые у нас с тобой разные и про которые теперь придётся думать, девочка моя. не так, как на крыше, тут сложнее — хоть и невидимы соблазны. да, тебя я прижал к себе, мою страсть упирая, смиряя, и ты отвечаешь таким же сильным объятием — нелегко входить в этот тоннель предчувствия окончательного сближения. моя девочка — вот ты, огромным зелёным взглядом мне отвечающая смело — «что будет?». будет ласка опять. да, твои бёдра, ближе, ближе ко мне, Тайная. хочу чувствовать тебя во всю длину тела. и в волосы дёргающимся жадным вдохом зарыться. слышишь это, тоже взволнованно дышишь.

кто нас обрёк вдруг на это осознание? полдень, жара, здесь смазанная лиственным и земляным духом? моя маленькая — ты такая же, как и я, беспомощная, но идущая к новому чувству, пока лишь расплывчато греющему и поднимающемуся снизу вверх на уровне наших от ходьбы усталых бёдер. да, моя, да. теперь ласкать тебя непрерывно и сильно, захватывая то волосы, то края сарафановых штанинок широких. целуя сильно и отрывисто губы, губы, шею, глаза, глаза, слева, справа и веки, краспки век слева, справа, слева. глядишь на меня: да, это наше тут открове-

ние, теперь можно, тоже руками смелеешь, вот мои плечи. да, вот ниже худые бока, грудная область, здесь не как у тебя. а у тебя? отвечаем, повторяем движения друг друга как дети. ты мне — я тебе. вот они, мне невидимые, но дождём тогда выявленные твои грудки, после открытые свету послегрозовых небес, капелькам и моим поцелуям. да, тихо сжимать их, звонить в едва ощутимые под байковой мягкостью сарафана звоночки. тебе хорошо от этого, не очень вызывающе? да, этого и ждала, теперь можно — только лучше вот этим медленным расширяющим движением, распуская по окатости грудок пальцы как лучи. а в ответ — поиск на мне... да-да, вот оно отличие, этот бугор внизу на вельвете, запертый четырьмя серыми пуговицами, это он, стремящийся к тебе, огради его люлькой ладони от дальнейшего роста. но он только сильнее льнёт к твоему прикосновению теплу: стал нужен. и теперь уже отчаянно, безоглядно сожмёмся во весь рост — встретимся губами, погасим трепет: давай утонем из этого полумрака в наш заветный, останемся с миром и Столицей только запахами связаны. под мостом мы, в темноте, пронизанной лиственной прелью и дёгтеватым духом метро, и только поезда отсчитывают время, гремят над нами. но остаёмся в тёмном и в ближних звуках дыхания нашего откровения — порывистого, нерешительного, нервно-неровного, нетренированного. да, моя тайная, раскрытая мне устами, да, наше буйство губ!..

когда выныриваем — всегда много воздуха, свет зеленоват, и мы, словно виноватые, восполняем картину мира. разнялись и сперва оглядываем друг друга, утолившие жажду уст. но тут ничего не изменилось, а машины продолжают жужжать мимо. за руки, как ничего тут не делавшие, не видевшие детишки, выбираемся из нашего тёмного укрытия под мостом — сначала назад, чтоб обойти гараж, придвинутый к стене в середине.

Видишь, на вершине этого углового дома — люди?

— Скульптуры, ты имеешь в виду?

— Да. Вот их из платошкиных окон хорошо было видно. Мы у неё вино пьём — а они смотрят, сурово так, тяжело.

— Поделом вам. Эх, старшеклассники, а уже пили вино!..

— Не только дома — мы и в башню вылезали верхнюю, с колоннадой. Портвейн там пили, балансировали, дурачились.

— Вот ведь у тебя школьные годы-то были... Нет, мы, девушки, тут не конкурируем. Кружки, занятия, некогда по крышам лазить... Да! Ты же так и не показал мне ни дом Мастера, ни Маргариты, между прочим!..

— Да-с, в прошлый раз не добрались.

— А ну-ка веди, как раз и время есть, и день в разгаре.

— Но тогда нам придётся назад идти.

— А что мешает? Только давай по набережной? А то я её только в кино вижу. Метрополитан этот — в рекламе какой-то, с другой стороны снятый... Всё проекты тридцатых годов, кстати. Давай прямо тут перебежим?

прочь от элитного камня... как по заказу поток машин прервался, совсем чисто слева и только от Белого дома летит тупорылый трейлер, но за твоими лёгкими и широкими прыжками я следом — уже на набережной, у гранита и воды.

— Так вот, пока ты ведёшь меня к Мастер-домику, я тебе хоть здесь отплачу экскурсией. Впрочем, это любой архитектор обязан знать. В общем, вся набережная проектировалась целостно. И вон тот домина с двумя парфенонами, где «Хайнекен» раскинулся, и все остальные. Новое лицо Москвы делали.

— А Белый дом?

— Нет, это архитекторы наши между собой называют «невыплаканные слёзы Муссолини», это уже семидесятые, самый их конец. Когда ты был, а меня ещё не было. И вот, конечно же, этот метромост, самый первый — сюда же относится, с круглыми вазами.

— Овальными.

— Нет, круглыми, разве не видно?

— Да вон же — овальные, сплюснутые.

— Ну-ка, сейчас снизу посмотрим... А ведь... да, ты прав. Ну да всё равно. А вот левую часть, где мы сейчас идём — проектов было много, — Щусев предлагал всю сделать в едином стиле, как бы единым домом, с высоченными воротами там дальше, напротив Бородинского моста. От его проекта построен — только вон тот, дальний, дом-чаша, как его наши называют, вогнутый который, с «Кэмелом» наверху. Хотя все дома остальные, к нему примыкающие и создающие симметрию с этой стороны, очерчивают контуры именно проекта Щусева.

— Ты и впрямь говоришь сейчас как настоящий экскурсовод, экскурсоводушка моя...

говорить приходится громко и всё реже, из-за постоянного шума машин, но светлый день, здесь особо не вслушиваясь в наши голоса, затягивает нас в себя и в Тебя, Столица: с нашим щебетом, с нашими шагами по набережной под каменными плечистыми исполинами слева и напротив. в тишине и тени остался позади наш уголок под гордо перекинувшимся через реку метромостом с серпом, молотом и овальными вазами: мост снова общественный, проходно-проездной, гаражный, официальный. вон уже слева выглядывает МИД, предварённый ребристыми железостекольными зеленоватыми башнями, стражами следующих за послевоенным десятилетием. мост, под который мы заходим, кипит движением. моя Тан. непредсказуемо — то вправо, то влево по набережной — наше с тобой шествие, продолжение путешествия летнего, входящего уже в неявную, номинальную осень.

теперь входим в Твой год, Столица, будем тут постоянно. поэтому на открытом нерешительному солнцу участке так много каменного жара, шума и движения со всех сторон (под прошлым мостом, вдогонку нам пыхтит, толкает перед собой пустую баржу буксир, впереди под Бородинским мостом уплывает речной трамвайчик, желто озаглавленный Lipton'ом). но мы готовы ко всему этому, мы вместе, и вся эта интенсивность вокруг не препятствует видению друг друга и взаимному любованию, как под предыдущим мостом. а здесь водяные сетчатые блики отражаются на клёпаном брюхе моста и на твоей правой щеке, волосах — тоже ласкают тебя, чего ты не видишь, не чувствуешь.

мы с тобой, моя девочка, мы всё ближе — мосты нам укрытие, хоть и шумное в данном Бородинском случае. умолкла после экскурсионных указаний,

снова шагая, объятая за талию — моя. все эти массы и шумы минуют нас, включая так сложно и весомо украшенную наверху металлоконструкцию Бородинского, и вот, пока прогал в движении — мгновенная идея: по выглянувшему из-под моста газонному склону, вдали увенчанному с прошлого лета фанерной надписью «Москва-850» — вверх. не отпуская твой взгляд и схватив руку — от набережной к наклонному газону, здесь протоптанная тропинка к началу моста. подтягивая тебя за собой, вдавливаю землю, но подъём быстр. вот уже сухой, нагретый асфальт, шум и улица, после тени и ласк-бликов Твоих вод, приняли нас плюс прохожие взгляды на наше явление снизу (обычно тут только спускаются).

— Ух, какой быстрый, я и опомниться не успела! А чего мы сюда, там же лестница была?

— Да? Не заметил. Всё равно тут интересней. Покажи мне дом-чашу ближе. И я тебе тоже расскажу кое-что.

— Что? А — то, что я просила, про себя подробнее?

— Не совсем, хотя это тоже про меня, но косвенно.

— Но и про себя, ладно? А то мои бабушки уже заинтригованы и журили меня, что я не знаю своего... ну, тебя, в общем. Только давай по зелёной части пойдём, не хочу к машинам приближаться, всё ещё летнее берег, отвыкнутость от них...

мелькнула слева «Орбита», магазин техники, заброшенный какой-то, сквозящий восьмидесятыми. из узкого клинышка у начала моста газон, деревья и ели — переходят почти в бульвар, в перелесок на склоне. справа через реку — Киевский вокзал с башней-часовней, сейчас и не подумать, что мы туда по выходным отправляемся за покупками на дешёвый рынок. сейчас мы с моей девочкой шагаем вдоль бархатного газонного склона, под доброжелательными распахнутыми окнами слева — мы как гуляющие курортники, только не над морем, а над рекой (над рекой-Тобой). речные трамвайчики толкуются у пристани под Киевским вокзалом, оттуда экскурсии начинаются. солнце словно душ местами просветило облачную завесу над Кутузовским проспектом вдали, осветило семьи гордых домов, уходящих к Поклонной...

— Ну вот — твой дом-чаша. Боковые части, если приглядишься, пристроены позже, кирпичные которые. Знаешь, это лишь отзвук конструктивизма. Это уже ар деко — сама центральная, вогнутая часть. Смотри: и двери сохранились, дверные косяки явно не менялись, без перемычек, от края до края, как конструктивизм обязывает, чтобы больше стекла, больше света... Если крикнуть тут, в середине чаши, то звук долго продержится, будет отражаться.

— Ели какие большие тут вымахали... Что-то кремлёвское, да?

— Есть немного. То есть, даже много. Целый лес еловый, голубые ели. Вот и центр дома — арка. Фи, как тут пройти-то? Помойка, аж два кузова.

— Вот-вот, а раньше тут машины проезжали, движение было даже.

— Откуда знаешь?

— Так, «Три тополя на Плющихе» здесь снимали. Вон там на углу кафе было, здесь Ефремов ждал и не дождался у своей старой «Волги» Доронину. Въезжали они точно через арку.

— Ты наблюдательный. Я этого фильма вообще не помню, не видела, только название...

ты не только моя мечта, но и моя изящная энциклопедия. веду тебя за талию, а ты рассказываешь про Столицу мою самое главное, что так просто и что так до сих пор было неясно мне, неизвестно. с тобой иду теперь, словно зная коды, зная язык — мимо этих, слегка модерновых домов с открытыми кое-где в наш день окнами. там старь, пыль на потрескавшейся и отшелушившейся краске рам, люстры, высвеченные участки обихода. и всё это наше, моя Тан, всё это нам. любованье не только друг другом, но и этими случайными, негаданными подробностями — блеск чёрной полировки старого пианино у чужого распахнутого окна, ветренная занавеска.

мы здесь, за домом из «Трёх тополей» — а грезил о шестидесятых, ещё тебя не встретив. но вот — мы очутились в Тебе, Столица, и не так много изменилось к девяностым. только вывески, пожалуй, да стены красили несколько раз. но язык домов тот же, и ты, моя девочка, умеешь его понимать профессионально, а не как я — догадками и ощущениями.

всё получилось, мы приняты Столицей на грядущий нам год, идём, обнявшись, говорим — в Её замысловатых, пересекающихся угловато коридорах. Плющиха оказалась впереди, по шестому Ростовскому переулку подходим к ней. вклинившись в стык улиц, на солнечном пяточке остановились в нерешительности.

— Как же мы отсюда перенесёмся к Кропоткинской, где дома Мастера и Маргариты?

— Выходит, что никак иначе, кроме как перейдя Кольцо перед МИДом или там, где в последний раз — перед Зубовской.

— А ближе какой переход?

— Мидовский.

— Так и пошли.

— Получится, что мы почти вернёмся к булочной-кондитерской на Смоленке.

— А кто нам запрещает?

— Что ж — тогда вперёд, пока тот джип не повернул сюда.

через две улицы в мгновение, чуть продлённое взглядом на торговлю фруктами слева — перебежали. но, прервав намеченное движение, я тебя подтаскиваю к лоткам и быстро покупаю связку банановую у загорелой полной продавщицы твоих лет.

Вот, прямо эту и кладите, да. Ещё не надо, одну. Сколько?

— Ровно двадцать рублей.

— Спасибо. На-ка бананчик, Тан. Пора подкрепиться.

— Думаешь? Нет, это, конечно, придётся сделать потом, но я лично ещё калачами сыта. Хотя давай один, надо же облегчить тебе ношу.

ещё говорим, сворачивая в дворы у школьного здания, под покров листьев, ведь солнце раздухарилось тут, на Плющихе: ширит ароматы фруктового

лотка нам вслед, словно входим в чужой домашний район — школа, дома, вдоль которых мы по тени идём. ты с удовольствием, медленно откусываешь от банана кусочки. окна и здесь гостеприимно распахнуты во двор. старинный по отделке и высокий жилой дом глядит на нас сверху вниз.

А это что за стиль?

— Теремной, подражание. Девятнадцатый, а ля рюс. Вкусные бананы, я как раз такие люблю — чтобы с зеленцой, молодые. Я их люблю не кусать, а обсасывать как леденцы — так вкуснее и дольше.

дворовая изнанка желтокирпичного дома приняла нас, справа — тёплым железом пахнущие подъездные двери, вывески какого-то РЭУ.. и тут машины ездят! не только ездят (пришлось прижаться к подъезду, пропуская жёлтую спортивную Dodge). из стоящей у очередного подъезда BMW — из открытого окна, в которое выпускают ароматный дым крепко сбитые парни в чёрных майках, а шофёр в кожаной жилетке поверх, — на тебя загляделись, как-то хитро, со знанием чего-то улыбаются... а: тому, как ты с бананом управляешься. ты улыбнулась им в ответ, а я, только когда мы прошли машину, стал догадываться пошлости их улыбок. ну, гады, ничего: это моя девочка, а вы себе фантазируйте в кино-стиле всякое... вы к такой и подойти-то не сможете, она — энциклопедия, с вами говорить не о чем ей. хотя, кто знает? я так же ничего про тебя не знаю, как и ты обо мне.

Тан, хватит есть банан. Теперь твоя очередь рассказывать. Про то, как в школу ходила, хотя бы.

— Да ничего интересного. Я же говорила — да? — уже, что переводилась не раз. Это всегда какие-то встряски, нервы, новые люди, новые правила...

— А я от звонка до звонка...

— Повезло. Нет, меня — то на проспект Вернадского, то обратно кидали. Доучивалась я в родном опять районе, чему рада. Вот... Ну что тут расскажешь? Подруг моих частично ты видел. Мы с ними в основном, как ты со своими Некрасовыми и Михайловыми, время проводили. Ходили на выставки художественные, которые дед подсказывал, я их за собой таскала, в Третьяковку часто, ну с уроков иногда бегали, но в основном в школе были.

говоришь мечтательно, но и как бы с укором из этой мечты. правильно: ведь ни я, ни ты не говорили условных слов — на букву «л» начинаются которые. поэтому — пришло ли? оно ли? но для меня такого вопроса нет — ты моя, ты мечтАнная, ты она. а я для тебя? но целуешь, дышишь, открываешься передо мной — так можно только с тем, с подходящим... путаюсь. может, не надо себя запугивать? главное идти дальше в Столице, главное тебя обнять опять. ведь это «само» только начинается и ещё никак не называется.

— Что приумолк? Загрузила?

— Нет, сам задумался.

— Вот я и смотрю. Лучше скажи, как мы из этого двора выходить собираемся?

— Да вон же арка. Окошки, дверки и арка.

— Ты забыл кошку упомянуть.

- Где?
- Вон, на втором.
- Ха, да... и на нас как раз смотрит.
- Это котик, мальчик. Вон щёки какие, рыжий.

так получилось, что за разговором двор нас этот забрал, и как само собой разумеющееся возвысился изнутри нами наблюдаемый дом, сталинский, видимо, чего можно уже не спрашивать у тебя. дом жилой и долгий, углом налево продолжающийся, с тяжёлой башней над нами, над аркой — туда бы залезть, но как — тут, вроде бы, нет черных лестниц, не девятнадцатого века строение. дом с влажноватым, шумным, расторопным двором, который не вслушивался в наш разговор, пропуская узким коридором к арке и из арки машины. перед подъездом в дальнем углу идёт выгрузка вещей, кто-то вернулся с дач, ребёнок катается на трехколесном белом велосипеде ближе к нам, в открытом окне за аркой спиной к нам сидит, перекуривает парень-строитель, ремонтирующий, белящий комнату...

проходим эти стены, но уже снаружи в шуме Садового кольца, в витрине пройденной — автомобили SAAB, сюрреалистично выглядывают на уличных собратьев, обретших движение. мебельный двухэтажный учудили. поток прохожих, шум Кольца мгновенно забирает нас в повседневный строй.

— Тут ужасно громко, да? Переход скоро? А то от этого газа и шума хочется скрыться.

— А сейчас перебежим, когда этот поток, от Киевского ломящийся, остановится — и вон переход, за табачным киоском. Неужели ты тут ни разу не проходила? Видишь, позади нас магазин «Руслан»? Там всегда мужская одежда продавалась, сорочки, шляпы. А на противоположной восточной точке Кольца, за Курским вокзалом — магазин «Людмила», женский. Не знаю, осталось ли название теперь.

— Я там не часто бываю, по-моему, осталось. Это такой длинный белый дом панельный? Какие-то цветочки вокруг вывески...

— Да, белёсый такой дом... Так, можно уже идти. «Людмила» ближе к тебе, «Руслан» — ко мне.

— Почему же? Вроде бы мы давно прошли твои-то края, это где-то за Маяковкой, за домом Пастернака.

— И тем не менее отсюда до моего дома минут сорок или час нормальной ходьбы.

— Ну а от Курского до меня — полчаса, наверно. Получается, что мы с тобой живём ближе, чем эти магазины, если по окружности Кольца смотреть.

поток машин, вливавшийся в Кольцо со стороны вокзального проёма, за латунного цвета башнями, прервался — и мы, среди других шагающих попутно и навстречу, нацелились к переходу, как большинство стартанули. узкий табачный ларёк манит рядом «кэптэнблэков»: знаем такой, сладость не в табаке сигарном, а в фильтре, простая хитрость. вот сгусток города, в котором ты не была. выхлопы, солнце, машины, иссохшие до осени листья тут задыхающихся деревьев, ели стройнее, живучей, но также унылы, серы; люди в летних прозрачных запахах нарядах, девушки. но мой взгляд не тянется к ним: ты со мной.

рядом, сарафанная, немного растерянная и брезгливая к обстановке, но моя, я тебя веду в чашу переулков — там, за этим замком. Кольцо несётся, и над ним возвышается МИД, знак Столицы, знак тобою не виданного так часто, как мной города, заглавие Арбата. перешагав переход, я обнял тебя за талию, вытянул из отвлекающего шума и света, из прохожих подробностей, а ты глядишь поверх меня — именно на МИД, остановились у спуска Подземь.

— Такой угрюмый, серый. И в то же время величественный, я люблю эти дома. Раньше я считала, что мой, на Красных Воротах высотный дом самый большой... Мне дедушка рассказывал анекдот про то, как строились эти высотки. Это, конечно, неправда, но кто-то же выдумал. Якобы сначала все высотные здания планировались без шпилей. И уже их почти достраивали, когда Сталин поехал смотреть. После осмотра он сказал Берии одно слово: «Шпыл». И тогда сделали шпили.

— Много таких анекдотов. Это как про Чапаева. Вот в левом крыле тут работал мой дядя. Во Внешторге, по-моему. Помню, он всё спрашивал, что мне привезти из-за границы. Я заказывал электронные игры, но не довелось...

как всегда жаркий, душноватый подземный переход, вот где всегда пахнёт, отрезвит обоняние от летнего отдыха Столица. сигаретно-выхлопной и слегка из-под ног водопроводный дух. плюс навстречу прохожий пивной перегар от парней в черном (с белой жёванной надписью «streetball») и оранжевом балахонах с капюшонами, громкоговорящих: потому что один с наушниками-ниточками. а мы — налево по лестнице, к синей троллейбусной остановке с сиденьями-сеточками и гоночной рекламой сигарет West. как здорово поддерживать твою талию позади, когда ты поднимаешься по ступенькам.

— Мы к Арбату идём? Я тебя умоляю — только не туда, я боюсь этого места.

— Нет, мы не туда. А почему боишься Арбата?

— Там девчонок из моего класса какие-то глухонемые ограбили, правда это давно было... Ой, а зачем мы к МИДу пошли?

— Ты подумала, что к главному входу? Нет. Это раньше, наверно, можно было мне к дяде сюда... Нет, мы вот в эти ворота левые.

— А как мы пройдем?

— Да так и пройдем. Ворота открыты...

— Действительно. Тут даже не так, как у меня на Красных Воротах, пафосней. Серпы-молоты над входом, тут арка такая... Я хоть эту архитектуру сама не понимаю, но она всё равно действует.

— Кстати, этим путём, только наоборот, моя тётя добиралась до Киевского вокзала, а оттуда на дачу. Чтобы пса своего не мучить транспортом и им не пугать пассажиров: он на вид очень грозный, а сам ко всем лезет целоваться. Прямо одними дворами — от Сивцева Вражка проходит под Кольцом, по мосту — и уже на месте...

— Обними-ка меня, раз никто не видит... Нет, погоди идти, стой же, куда так торопишься? Ничего не хочешь?

хочу, моя пританцовывающая в незнакомом закутке, под каменисто уходящей в небеса хмуро-пегой торжественной вертикалью. поймать тебя, вот так.

и хочу от талии твоей взбежать к грудкам, шее и ключицам, целую твои щёки, веки, губы — легко, отрывисто, словно дождь на нашей первой крыше. укрылись от кольцевого шума, но он рядом, невидимый нам, залетающий сюда ветром и запахом возвращения. моя стройная, да: теперь обнять крепко и влиться в твои губы. и падать, падать в темноту, отвечающую размеренной лаской губ, держа равновесие снаружи, держась за тебя, как ты за меня. «Танн, танн», — говорю тебе язычески, блуждая по кромке и внутрь твоих тонких трепетных губ. «Тон», — отвечаешь ли мне, впуская моё язычество? разнялись... и сразу свет возвращает день с шумом, движение секунд вперёд, направление нашего пути от этой высоты в дворы, снова в дворы по ту сторону Кольца, во внутреннюю сторону. стены МИДа — с зеленоватым оттенком после закрытых глаз. нацеловавшись, словно наплававшись, надышавшись друг другом — выходим из-под громады, из двора высотки правее, к её тыльной полукруглой вертикали, тут уже чёрные «Волги» новые и тёмно-синие длинноносые иномарки толкутся, паркуются так, что приходится обходить как в слаломе их с тобой, моя девочка, тебя вперёд пропуская...

— А тут не так уж безлюдно, да, Тон?

— Безмашинно, точнее говоря.

— А мы-то и не знали.

— А и чёрт с ними, с этими бультерьерами в интерьере.

— Тише, услышат же! Какой ты хулиган. Не буду больше тебя целовать.

— Да не люблю просто этих лакеев. Это же вон — ресторанные клиенты, точнее, их лакейство.

— Ну и что? Они в ресторане сидят, зато нам вон какое раздолье. Не обращай внимания.

ты права, моё внимание — с тобой, точнее, за тобой, мой впередиидущий соблазн. но вновь настигнута, и талия твоя под моей ладонью. никто меня не отвлечёт от такой спутницы, даже запахи чего-то вкусно жаренного овощного слева, от Арбата ползущие. да и эти безразмерные денежные клиенты ресторанов. вот и переулок Денежный. мы снова в твоём, незнакомом тебе Городе, отделённом, укрытом высотой от Кольца, в моей Столице — впущены через одни её, для нас внезапные, ворота. и домики после МИДа тут совсем допотопные, двухэтажные, наивные. входим опять в дворянские кварталы. молчим и глядим, словно после подводного плавания, привыкающие к поверхности после поцелуйного погружения...

Вот он где, Сивцев Вражек начинается-то. И прямо до Бульварного кольца идёт. Переулок, а длиной с Арбат.

— Да я знаю, там Иркин дом.

— И остановка троллейбусная 15-го и 31-го так называется. Я в детстве спрашивал — что значит «вражек»?

— Овраг, скорее всего... маленький овраг.

— Вот и мне так отвечали. Там моя бабушка родилась, неподалёку от тётиного дома. А вот дом, где Нестеров, художник, с семьёй жил. Я даже помню, как мы сюда приходили к Наталье Михайловне, это дочь его, которая на его карти-

не «Девушка у пруда». Но теперь она не тут, на Дорогомиловке живёт, в сталинском доме. В той квартире раньше жили Соткилавы, оперная фамилия известная — ну, знаешь: Зураб и родня — якобы очень неопрятное семейство, их хлопчатая мебель на лестнице стояла, пока они выезжали. Помню, мне Наталья Михайловна запрещала дотрагиваться, чтобы домой не перенести.

— Козырёк этот странный видишь, ромбами инкрустированный? Это ар деко, классический случай... Куда ты меня затащил? Коридоры какие-то. Тут, наверно, часто убитых находят... О, какой дворик! Не зря вёл такими трущобами. Окна — явный модерн. Такой приземистый, смотри — и тут рамы окон старые, изначальные, модернистские. И арка такая... Нам ведь прямо?

в дворике вкусно пахнет. кухонная сторона квартир, дом двухчастный, оттуда и пахнет. древность и в то же время современность, жизнь — справа позади простыни сушат запросто. в двух шагах от Арбата, такой официальной торговой улицы.

— А с этой стороны дом вообще модерн откровенный, с этим балкончиком над нами, с изразцом потускневшим. Просто низкий, обычно их вытягивали, эти доходные дома. Я бы этот стиль назвала «купеческий модерн». Их много тут было, этих домиков, если деду моему верить. И как раз там, где твои предки жили — у Собачьей площадки, где теперь Калининский.

— Да... Ну что, в Кривоарбатский мы не пойдём? Он всё равно в Арбат упрётся.

— Кривоарбатский... А Кривоколенный помнишь — как мы там бегали?

впереди асфальт укладывают, придётся по другой стороне идти: вот, наверно, пытка в такую жару с асфальтом возиться! рабочие, как обычно, нездешние, восточного вида — им не привыкать к жаре. работа вредная. от этой атмосферы сам станешь кирпичным, шершавым как асфальт.

улица впереди, поднимающаяся с её боков зелень и дома — совсем незнакомы, словно другого города. да, твоего Города, ведь и ты тут не была, наверное. странно — вокруг знакомые места, а здесь не помню, чтобы ходил. такая прямолинейность в районе Арбата нехарактерна, кроме него самого, да и то он изгибается. и мы входим в этот нам обоим незнакомый, но, как и прочие, уютный пол-летнему квартал, пока не изобилующий стариной (только слева мелькнула в переулке сжатый в одну линию, состроившимся разностильем), с желтокирпичными стенами слева и справа. асфальт, только уложенный, парящий и жирно распространяющий свою власть вокруг запахом, почти на вкус осязаемой маслянистостью — требует участия в рабочем будне, тут не до лирики. не обращают на прохожих и на нас внимания, веселы и невнятны каркающим говором работяги с лопатами, которыми они прижимают, пошлёпывают тыльной плоскостью совков асфальт перед катком. с этой же профессиональной улыбкой — даже такой вредной работе — они и на рынках, на Киевском стоят, но там по сравнению с этим рай: каркай себе, зазывай. асфальтовый дух постепенно растворяется, но так же жарко и дальше, сухой жар тротуара вызывает испарину, влажность под рукавами моей чёрной майки.

«Арбат-отель», распростёрший подъездную дугу, проходим, так вдруг хочется в двор его тенистый, балконистый. в жаре ближе все запахи, мой кожный и твой волосной, ромашковый идут рядом, выпаренные всё восходящим, хоть и без яркого солнца, днём на фоне шпиля высотки справа. немного неудобно, но моя рука на твоей талии влажновата на ткань сарафана.

А вот та надпись «Поликлиника» и дом сам — что за стиль, уважаемая первокурсница?

— Вообще на модерн похоже. А надпись... Такая больше на футуризм смахивает. Хотя... наверное, тоже модерн. Вон растительность над окошками кудрявится — точно модерн. Но неявный такой.

доходные в прошлом дома заговаривают нас своим языком вековой давности, закрывают тенями по пути. подъезды и окна, в домах которые всё выше, открыты, рисуются полукруглые нависания, стены. мы с тобой, моя девочка, здесь — и нам открыто тут всё: и время, и пространство до Тебя-реки. лепная женщина античного вида, с явными, по старинке выделенными достоинствами, белёсо проглянула над нами, проходящими. видели иначе, лепили иначе — или сами формы, тела были другими? хроника склоняет к этому, таких, как у тебя, изящных фигурок в начале двадцатого не было ещё.

— Ой, а домище какой тут интересный! Смотри, вон дальше, который зелёный, ага... Сколько людей горельефных. Целая галерея. Что-то на тему шушуканья, по-моему?

— А есть и которые целуются.

— Также, кстати, не без модерна. Да, вон двое — наши окаменевшие предшественники, это точно. Прямо у всех на глазах...

— А остальные поТрое. Стар и млад... Что-то театральное.

— И немного пугающее. Я бы там не хотела жить, например. Выглянешь за окно — и лицо тут же. Один персонаж сильно на Гоголя похож...

вместе с жарой, устало уже пышущей из-под домов, нас втягивают, снимаемая с этой короткой магистрали Плотникова переулочка влево уже узкие, но высокостенные коридоры Арбата — Малый Могильцевский.

— Смотри-ка, а кто-то и здесь огород разбил!

— Да, но огород не огорожен.

— Надо же — патиссон. Хороший вырос, можно снимать.

— Ухаживают, наверное. Это, скорей всего, из того дома — вон.

— Да. Прямо приусадебный участок. Мило.

— Наверно, не имеют возможности уехать на дачу.

— Да, несчастные. Это у меня их две... Ближняя и дальняя. Я бы тебя на дальнюю взяла, там сказочно...

— Что ж, хорошая мысль... А давай тут двором и пойдём?

— Там разве проходной?

— Вот и увидим.

близкие друг к другу стены прячут нас от размазанного жара, а земля не так жарка, как асфальт. заблудились? нет, справа продолжение Плотникова пе-

реулка, с которого мы свернули. единственный выход видимый из двора — красивый и логичный — низкая подворотня между сдвинутых, тут подсушено пахнущих летней Тобой стен. но стоп... это же...

Тан! Вот это находка! И почему здесь?

— Что — почему?

— Сейчас пройдем под этой аркой и... Да, точно!

— Ну что, что? Заинтриговал...

— Мне этот дом снился. С тобой снился. Давай вернемся. Вот над этой аркой был ряд балконов, а ты там стояла с какой-то подругой и курила. Только во сне это было общежитие фармакологов, именно такими словами. И арка ниже, приходилось нагибаться.

— А я? Почему ты считаешь, что именно я там стояла? К тому же я же не курю.

— Всё равно ты, потому что искал тебя. Хотя — да, та во сне была рыженькая. Но и дом был не здесь, а за Садовым кольцом — ну, всё странно и непонятно, как во сне всегда, сдвинуто, в другом месте, в этом же городе, но в другом месте, словно на другом уровне — выше-ниже, вбок-вкось... Отражённо, в общем. Но дом-то этот есть на самом деле, это точно он. Этому и радуюсь. Дом восемь... Ну, правильно — дважды мой, то есть отражение, зеркало, сон.

— Ты о чём?

— Да о доме этом. Так, приметы числовые.

— А почему дважды твой? А, умножение... Вот мне проще — тринадцать меня везде сопровождает, помогает.

— Серьёзно? Ну, правильно, у меня чёт — значит, у тебя нечет. И моё как раз следующее. Вот и Чистый переулок снова. Давай теперь сюда?

звук клавиш, гаммы и менуэт, по-моему... из маленького двухэтажного осевшего дома. ощущение полдня и разворачивающегося, шуршащего отовсюду, проезжающего чужой автосуекой сентября. всё это об одном: мы вернулись. как и дети, нажимающие клавиши в музыкальной школе. навстречу нам две средних лет женщины, бледные, в монашеских высоких головных уборах и белых кофтах: жарко в такую погоду, наверное. поспешно отвели глаза от нашей пары. к той церкви идут, которая без крестов? вышли из ворот бежевого особняка... есть от чего глаза отвести: такая мирская красавица, явно за талию обнятая парнем. оба двадцатилетнего вида, а она, моя девочка, даже моложе, если приглядеться. и сильно моложе. она только со школьной скамьи. грех, грех. но мы невинны. мы дети этих стен и этого века, встретившие друг друга на его закате, на любовании долгое. как горельефы тут целуются — мы ласкаем Столицу нашими шагами, маршрутами, лаская друг друга — тоже её. ну да это не им понимать...

— Тон-тон-тон. Это я звоню в ваш звоночек. Что-то ты умолк, задумался. Это мы куда же так выйдем? И где обещанные достопримечательности? А то я экскурсию веду пока.

— А вот давай-ка тут за особнячок и повернём. Ничего не напоминает?

— Пока нет.

— А мне ту улицу, в твоём районе, на которой троллейбусы стоят. И с которой мы через длинную арку вышли к автобусному парку.

— А, поняла. Это где мы по троллейбусам гонялись? Да. Но там особняков нема.

— В общем, мне так показалось.

— А, так мы тут тоже насквозь пройдем? Понятненько.

увёл тебя из Чистого переулка ближе к Лёвшинскому, к истокам века семейного. в лиственный, весёлый двор. машин тут мало, зато гаражи имеются. шагом, совмещённым с тихим поласкиванием твоей талии, веду к широкому проёму под длинным кирпичным зданием, закрывающим двор со стороны Перчистенки. вот мы и повторили направление прошлой прогулки, только рядом. листва этого двора с тихим ветерком тянется к листве Малого Лёвшинского справа.

Сейчас покажу дом с волосами, который тоже твой. Тобой чреватый, я бы сказал.

— Что ещё за дом с волосами?

— Сейчас, из-под листвы вынырнем, увидишь... А это, кстати, тот самый Лёвшинский Малый — та часть, с которой мы ушли дворами.

— Ага, я уже сориентировалась — вон же серый дом, где твоего брата жена проживала. Зато тут слева какие современные! Хотя и со двора, но по окнам и контуру ясно, что дом знатный.

— А вот угловой на той стороне — это который с волосами.

— Это из-за узора под окнами? Его и видно-то не сразу.

— Зато из троллейбуса хорошо видно, когда проезжаешь.

— Что, этот дом тебе тоже моим казался, признавайся?

— Почему ты так подумала?

— А догадалась. Ведь так?

— Да. В таком ты бы высоко жила. И когда в окно выглядывала бы, то волосы с узором соединялись.

— Вот ведь расфантазировался! Хотя мне нравится. Можно продолжить? Увидел бы меня в одном из окон и поднялся — чтобы ещё выше с тобой нам на крышу выбраться и дальше, прямо по домам, с одного на другой идти, в город.

— В твой город... Как же нам тут перейти-то? Всё едут-едут...

— Подождём, сейчас троллейбус пропустим — и пойдём в мой город. Но на самом деле, здесь-то твоя Столица, это не моя часть. Только у Сивцева Вражка и Арбата я бывала. Тут — вообще никогда. А дом этот слева какой видный в смысле модерна! Рамы изгибистые... Даже огранённые стёкла сохранились, значит, опять же, девятнадцатого века окна или, во всяком случае, испокон.

— У окон — испокон, это здорово ты сказала. Ну-с, можем перейти, по моему.

троллейбус пятнадцатый с красно-розовой рекламой Moulinex, заползшей на стёкла утюгами, прогудел мимо с глядящими на нас пассажирами — уже городская, рабочая, не летняя наполненность салона. приземлились на тротуаре

у крыльца очередного особняка и, подальше от ветра-движения улицы, я утягиваю тебя в переулок — Мансуровский. тут старь домов не тронута, поднимается замысловатыми этажными лестницами, выглядывает видимой утварью сюда.

Вот, смотри — продолжение дома, выходившего на Пречистенку, назад туда — булочной, по-моему. По крайней мере, в начале девяностых. Там навер-ху, почти на чердаке, мамина подруга жила, они встречались у её дома и шли в школу, ты уже знаешь куда.

— Это во дворе которой мы были тогда?

— Именно. Совсем близко отсюда. А им казалось в конце сороковых, на-верно, далеко — маленькие были, вместе шли...

— Ой, а как вкусно откуда-то пахнет.

— Так не иначе, как слева — вот, из ресторана.

— Жаль. А дай-ка, что ли, им назло банан съем?

— Вот это правильно. Где там связка-то?..

— Да открой рюкзак, так же не удобно...

— Всё, поймал, поллучите.

— Ну-ка, и сам — давай-давай, подкрепись, а то жара выматывает.

ходим тут, прижатые иномарками к древним, вековой давности стенам, такими детьми свободными, юркими: рюкзак на моём левом плече между нами, за руки держимся, оба бананы едим. дома-одногодки переходят, сменяют друг друга почти незаметно, подогретые солнцем, дышат усталой, сжатой в полупод-валах сыростью. но мы добрались до цели: течение трёх-пятиэтажных домов прервано старым двориком за низкой оградой, а по стене дома-предшественника густо растёт вверх дикий виноград — зеленея и бурея листьями.

Вот он, дом Мастера, Тан.

— Уже? Ну и где тут его окна?

— Они с другой стороны дома.

— А дворик-то какой сказочный!

— Видишь, там и игрушки даже валяются. Почти дачная обстановка.

— Будто кто-то там живет и ушёл недавно, всё оставив во дворе, да?

— Да, недавно — этак несколько десятилетий назад.

— И дверь вон там такая древняя. Не крашеная давно. Ой, а тут открыто. Давай войдём?

— Заглянем...

— Да, вот это, наверно, мой город и есть. Выйти в этот садик — и как по лианам вверх по дикому винограду, на крыши...

— И никому не приходит в голову заглянуть сюда, как нам.

обнял тебя сзади, снизу взбираясь к грудкам — глядящую вверх, как дикий виноград растёт по стене к крыше. целую за ушком, шею, плечи — докуда позво-ляет светлый, добрый сарафан. ты, как деревце, отвечаешь изгибаясь, мечтатель-ная зрительница виноградных лиан. девочка моя, мы так хитро спрятались — вроде бы на улице, но уже отделённые от прохожих и автодвижения стариной стены этой, вошедшие в застоявшийся тёплый стенно-травянистый, виноград-

но-лиственный дух старины. дом, кажется, пуст. и дверь, у крыльца которой разбросаны выцветшие от воды и солнца пластмассовые игрушки — закрыта давно. это тонкое наслаждение дыхания после жары асфальта — тут целовать тебя, дышать твоей, нагретой там кожей, байковой тканью сарафана. и ты ответно целуешь щеку мою, травянисто, бананово дыша. здесь из-за затенённой стеной земли под ногами — прохладнее, ощутимо природнее, чем там.

— Так хорошо тут. И что ты обнимаешь. Ты не стесняйся, можешь крепче, выше... да. Знаешь, я почему-то подумала сейчас — а мы сможем?

— Что?

— Ну, то, что остальные. Всё как полагается во взрослых отношениях?

— Сможем...

— Потому что, я чувствую, это нужно, этого уже не хватает — понимаешь?.. Или я выдумываю?

— Или это твой город тебе подсказывает.

— Да, и этот виноград. Потому что ты мой милый — сейчас... Ну ладно, пойдём, а то нас примут за домушников. Или как твой Дубровский — за оконников.

— Форточников, не запомнила.

— Пошли. Давай дверку закроем, вот так, чтобы другие не повадились в наш дворик. Дом девять. Этой цифры нет у Булгакова?

— Нет. Это скорее пушкинское число. Надо у Минлоса уточнить. А дальше вход, вот — низкая калиточка.

— Почему такая маленькая? Для лилипутов?

— В землю ушла, старый ведь дом. Там и окна полуподвальные. А вообще-то Булгаков писал не именно про этот дом. Дом реальной Маргариты находился где-то за Сухаревкой, на какой-то Мещанской. Просто тут, на Арбате, ему их надо было близко поселить, чтобы она к нему бегала.

— А её дом где? Это ведь второй пункт нашей экскурсии.

— Скоро, идём. Сейчас дворами сократим и прямо к нему выйдем.

странно сливающаяся с колоритом запылённого, ветхого девятнадцатого башня желтокирпичная, генеральская. за неё забегаем, ускорив шаги, потому что в прохладе дворика чуть отдохнули от жара. снова обеденный, кухонный запах, напоминание о времени, а мы с тобой одними бананами питаемся — пахнет из окон во двор жилого дома слева или из-за правой посольской стены. сложные коллизии тут, и дети играют, на нас глядят — проходящих двоих, устремлённых. как упорядочились тут дома — неизвестно, но выход есть на следующий Сеченовский переулок, вдоль серой, с камерами и колючей проволокой стены какого-то посольства. мы снова — молчаливые и глазастые попутчики, обоняющие друг друга и пахучие шёпоты Столицы. дом Маргариты не за горами, за углом и на той стороне. перебегаем Остоженку в длинном промежутке — светофор впереди задержал машины и отдалённый троллейбус тридцать первый.

А ты уже видела особняк Маргариты.

— Как?

— Красно-розовый который. Это он.

— Красивый. Прямо опять мне подарок — модерн из модернов.

— Но настоящий дом Маргариты не тут. Дом, в который однажды проводил Булгаков Маргариту Смирнову на Мещанскую.

— Интересно. А ее так звали на самом деле?

— Да. И она называла Булгакова Мастером, только не всерьёз, а в шутку. В смысле — «ох вы и мастер». Но их отношения не сложились. Поэтому и появился роман, точнее, героиня его такая.

— Красивый он ей дом приглядел. Конечно, теперь тут посольство поселили.

но что все эти переплетения стилей у нас в глазах, по пути — по сравнению с тем, что моя рука опять на твоей талии. и влечёт тебя вниз, через сквер, из-под низкой зелени в новые коридоры за Остоженкой... тут нашим шагам и взглядам плыть в монастырском внезапном быту — стена старая кирпичная, башни, ворота. на неё же наткаться с нескольких сторон, уходя ниже к Москве-реке. и окна глядят на нас жилые и соучастующие, пока мы плутаем по Зачатьевским, сворачиваем в Молочный переулок. даже названия здешние влекут к любованию, силят тягу, тянущуюся страсть к тебе. опять охранники новых бизнесовых домишек — согладатаи наши, как столбы километров между краткими поцеловываниями тебя в шею и в губы: там, где нет свидетелей. мы точно уже заблудились, набрали после Дома художника с табличкой и, похожим на недавний, заросшим двориком — на какой-то заводской квартал, магазин спиртного. а тебя вдруг долго и бисерно веселит, расхохатывает название переулка — Бутиковский, как ты, пропискиваешь между смехоспазмами: переулок имени буТиков, которых тут нет.

Но, может, были до революции?

— Нет, это, наоборот, название из будущего — тут будут бутики. Мы с тобой блуждаем по времени. Что-то всё более душно становится, тебе не кажется? Или это заводская вентиляция сюда выносит?

— Нет, атмосфера. Тучки набираются потихоньку. Вон и Пётр уже на сером фоне, и река хмурая.

— Ладно, пошли вверх от реки. Я совершенно не ориентируюсь уже.

— Вот актуальное для меня название — Курсовой переулок, тут и пройдем. Имени моей курсовой работы про бихевиоризм.

— Это что такое?

— Направление в психологии. Курсовая работа — это вам не вступительные.

— Не пугай, мне это ещё не скоро пережить придётся. Да и писать нам меньше вашего полагается, больше изобразительности, да-с.

словно с нуля начинаем в Тебя входить, Столица, от твоей реки-тёзки. Пожарский переулок. и дома вырастают, высются — доходные, с мотивами модерна опять, рамами стародревесные, как ты замечаешь постоянно. действительно становится душновато и темнее, со стороны реки, нас подталкивая, наползают тучи, солнца уже не видать. а я тебя поддерживаю, веду в медленном восхождении к Остоженке за талию и целую шею со своего роста — твою, сверху вниз,

намечая дождю куда падать. возвращаясь глазами к домам: как мы сжились с ними, с их перетеканием друг в друга, с этой их речью плавной, стилизованной, с открытием их окон в душный полдень...

— Что мы всё тут тащимся — пошли дворами?

— А если не проходной?

— Вернёмся. Время есть до вечера.

— Это если дождь не пойдёт.

— Ну, как ты можешь так говорить? Как раз если пойдёт — вот тогда-то всё и начнётся. Кстати, что-то мы давно на крыши не выбирались с тобой? Ты тут не знаешь подходящей?

— Ну, которая самая высокая — это тёткиного дома. Правда, она плоская. Не крыша, а ванна в сильный дождь — знаешь, наверно, как она устроена: стоки внутренние.

— Нет, нам нужна правильная крыша, чтобы не только видеть, но и лезть, лежать...

снова дворы открывают нам свои стены, пропускают. из-за замысловатости, извилистости нашего пути — уже не то линейное восприятие района, что складывалось до сих пор. когда по Остоженке ехал, возвращался в Тебя. скорее теперешняя картина местности ближе к тому, когда на тридцать первом я ехал в обратную сторону — во Дворец пионеров, в автокружок — весной и смотрел влево, сюда. в сторону намечавшегося в далёкой весне тепла — теперешнего, даже душного, предложенного. восхождение от Твоей реки меняет, растягивает координаты местности. дворы как большие комнаты, переходишь из одной в другую, где много подробностей выше наших взглядов. и всё спокойно открыто, шумит и дышит навстречу нам. а мы словно дети, взявшиеся за руки и входящие во дворец. но тут нет роскоши, здесь именно жилое и будничное — откровенно. следующая арка уже Остоженку показывает и беготню транспорта. не хочется возвращаться к «линии» снова.

— Обрати внимание, Тон: хоть и мелочь, но вон слева от арки деревянные такие участки под окнами — это, видимо, лестничная клетка.

— И что там?

— Видишь, там просто доски. Там, наверно, холодно всегда. А в досках ещё такие прорези. Ну, точно прошлый век — уверена! Мелочь, а приятно.

моя искательница исконностей. да, это явно ещё до начала архитектурного прогресса досточки вставлены. сколько незаметных древностей тут во дворах прячется. не музейных, а будничных... завершая череду проходных дворов, выходим на Остоженку, но уже у Кропоткинских Ворот.

Я тебе покажу дом, наверху которого чаша. Нет, не как тот дом-чаша, что мы прошли за Плющихой. Увидишь, в общем.

— Надо же, ещё молочный магазин остался тут.

— Ну, там не только молоко продается теперь. Обычный магазин.

— Я про вывеску.

— А, треугольнички — как молочные пакеты раньше были? Да и вывеска ветеранская, ваша правда.

- Да просто по буквам видно.
- Стоп. А теперь смотри вверх... Видишь, там над угловой башней такой раструб, кубок будто?
- Да. Кстати, высокий модерн. Но почему это чашка?
- Потому что Маргарита могла бы пить из неё, пролетая тут на метле.
- А, ты вот к чему. А вдруг ты меня обманываешь, и это не чаша, а просто такое украшение? Давай проверим?.. Кажется, дождь всё-таки... начинается. Ой, да всюю уже!
- Так что для начала надо укрыться. Вон — в ту подворотню, правее, через... Ага.
- Никаких подворотен, тут не останемся. На крышу, на крышу! Уфф... Почти не намокли. Слушай, а дождь-то не холодный. Выстави руку.
- Действительно, тёплые струи. Но как уже льёт!
- Так, ну-ка за мной! Что тут во дворе? Однако вкусно пахнет...
- Ресторан снаружи, на углу, вот и пахнет.
- По пожарной лестнице не полезем — скользко... Как бы нам к твоей чаше-то добраться? Вылезай, влезай из арки-то!
- Ты серьёзно?
- А как же? Лучшая возможность проверить, пока дождь и вода в неё должна наливаться. Как бы подняться?..
- Да вот же слева — куда ты пошла? Что-то вроде чёрного хода, по-моему. И открыт.
- Замечательно, вперёд!
- свои намокшие запаренные одежды, оставляя брызги и лужицы, проносим быстрыми шагами мимо древних, стародревесных и пыльных запахов узкой, тусклой лестницы. запахи кошачьи и бродяжки, какой-то тряпичной дерюги, но мы не встречаем преград хлама, как при прошлых подъёмах. двери здесь не открываются, видимо. действительно, чёрный ход очередной. тебя дождь превращает в ведьмочку, распаляет. другие прячутся, а ты бежишь ему навстречу, моя первокурсница доучебная. какой-то дурман от запахов этой душной, запертой тут древности Твоей, покуда улицы оmyвает тёплый густой дождь. выход на крышу отворён, исписаны стены верхнего этажа пацификами — полувидными на побелке в сумраке. душно на лестнице из-за того, что крыша накалена. снова голубиная прель, просилитрованность чердачной полутьмы и сладкий запах старой древесной стружки. ты, пока я привыкал к тусклоте чердака, уже прогарцевала к ближайшему чердачному окну, во двор выходящему.
- Тон-тон, ну ты где? Смотри, тут можно вылезти! Снимай кеды и — вперёд!
- Ты уверена, что нас не смочет?
- Да там не такой крутой уклон, к тому же ты мастер по этому делу, не впервой же со мной!
- Так-с. Кеды скользят, конечно... Ну, не поминайте лихом!.. Если что — то выпейте из Маргаритиной чаши за мой упокой.

— Не говори глупостей, положи тут рюкзак и лезь, я тебя держу.

— Да тут и стёкол нет. Видимо, арбатские хиппи тут до нас попутешествовали.

событие маловероятное, но происходит. в свинцовом сумраке навалившихся на остоженские крыши туч — мы вылезаем под тёплый ливень. я в кедах, со своим обвисшим, отяжелевшим вельветом, и следом за мной ты — без туфель, босая, в сарафане, мокроморщинно облегающем твоё изящество. девочка-ведьмочка моя! высоты домов вокруг нас и храм Христа Спасителя, пристально глядящий и, кажется, единственно светящийся в дождевой тьме жирными куполами сюда, — всё из-за прибывающей, принижающей нас к крыше водяной тяжести кажется высоченным и туманным. и это, видимо, нам судьба — лишь увидев издали чашу Маргариты, лечь тут же, чуть повыше крыши чердачного окна, в неё упершись ногами и навзничь открыв себя дождевому потоку, точно солнцу.

Как же нас занесло сюда, на край твоего города?

— Что ты говоришь? Я почти не слышу из-за дробы по крыше!

— Я говорю, как же мы сюда попали, в этот Город твой, вновь открытый?

— Да уж, наверно, это он и есть. Мы долго искали в него выход, и вот всё совпало, мы тут. Как здорово, да? По-моему, там гром был?!

— Да, со стороны храма прогрохотало, от Котельнической, наверно...

— Представляешь, как сейчас на высоте? Интересно, а там есть место — наверняка есть, — чтобы выйти под дождь?

— Да, вот только так не позагораешь...

— Но ведь тепло же, правда — крыша греет и дождь не холодный? Ой, видел молнию?!

— Да, и купол полыхнул как! Как будто что-то прямо над нами взорвалось. ощущение чего-то громадного, окружившего, совершающегося вокруг нас — небезопасного. вдруг молния? её отблеск в тёмном золоте купола напротив был как мгновенный оскал или как вспышка улыбки. грохот громовой высчитывает стены и высоты окружившей нас Тебя, для неё — Города. как всё быстро переменялось в Тебе с возникновением дождевой вертикали. намокшие дома вытянулись и словно серые лестницы верёвочные или канаты мокрые тянутся вверх, откуда полыхает электрическими вспышками. к такому вылезти могли только мы с тобой, моя Тан. незащитные мы и крыши — под этим тёплым толстоструйным дождём. сколько капель у тебя на ногах, а сарафан задрался почти до бёдер, от лазаний наших. и вокруг, обрисовывая твой изящный контур, несутся дрожащие, вермишелевые линии дождя. а ты глядишь прямо вверх, где теряются в тумане дождя стены — вокруг смотришь удивлённо и радостно, мокрая, вся в текущей и капельной воде, освежённая, словно купаешься.

— Красотища! Вот за этим я тебя сюда и тащила!.. И ещё вот зачем...

но и без твоих слов и загадочной (а после слов беспомощной, застигнутой исполнением заклинания) улыбки это мгновенное сближение случилось бы. тепло крыши и так уже через край перетекло в меня — в поясницу, бёдра,

в болящие от ходьбы мышцы — в жажду небывалой ласки: такую же сумрачную, как верхний туман туч, и такую же стремительную, направленную, как льющий из них дождь. вот — ты передо мной. губы наши жарко и сразу же глубоко сквозь дождевую воду, по нам текущую, встретились. скорость дождя, может быть, провоцирует. от тепла и хватки твоих губ бросаюсь вниз, сцеловывать капли, целый волглый уже слой, солоноватого и пыльного привкуса, с твоих икр, коленей, бёдер. ты всё мгновенно поняла: смело и одновременно испуганно, с чувством неминуемости, вернула меня снова в поцелуй, но пальцами, даже скользко царапающими из-за спешки, стягиваешь майку. секунда невидимости, и майка уже служит тебе подушкой — отбросить её не дал, перехватив и скрутив. целую, целую милые и боящиеся твои веки, щёки, шею, очерчиваю их нервно и синхронно руками, остановившись на верхней пуговице сарафана. да, это нужно делать быстро, но мокрая ткань плохо поддаётся расстёгиванию, ты улыбаешься — неловко, испуганно, но жаждущая, как я, что опять же, сливает нас в поцелуе — ещё детей, ещё друзей-сообщников, крышелазов. но вот они — грудки: да, с тем же розово-бордовым переливом, но слегка ужавшиеся под атакой воды — пусть не холодной, но охлаждающей испарением.

верхняя часть сарафана уже словно подстилка под тобой — белая, байковая, не позволяющая соскользнуть с крыши. ты обгоняешь меня и мою неуверенность, застигнутую страстью скромность: пока я приближаюсь к поясным пуговицам — расстёгиваешь мои пуговицы на подпёртом изнутри вельвете, и верхнюю, сдерживающую мокрые, прижатые и подтягиваемые к крыше коленями штаны. да, нужно двигаться дальше, но тут уже шорты — как с ними быть? ты ещё веселее и испуганнее, но с властным укором глядя в мои глаза, чуть отстраняешь меня и, слегка приподнявшись на локтях, стягиваешь их до бёдер вместе с бежевыми трусиками, оставшись совершенно мне и дождю открытою. дальше — торопиться мне, поддерживая тебя за спину, стягивая с ног и под тобой поднимая сарафан выше, выше — чтобы он далеко не ушёл и остался тебе под спину мягкой подстилкой. да, моя изящноногая Тан, нагая совершенно и совершенная под блеском дождевого по тебе потока.

грохот снова подкатился к нам, и полыхнуло, но нам не это всё важно — а нежные линии, вычерчиваемые моими губами по твоей коже: вдоль, вдоль, от грудок к шее, губам, векам — целую тебя прямо в яркие и несмыкаемые сейчас глаза, а из тебя тихая но требовательная музыка рвётся — дальше, ниже, смелей. мне открытые грудки снова быстро сверху вниз пробежал губами — к треугольному созвездию родинок, пупку и ниже, к впервой на меня глядящему маленькому тёмно-русоватому мохнатику, как некоторые твои выгоревшие волосы. да, целовать хочу и сюда, но здесь ещё у тебя нужно разобраться... под мохнатым бугорком тут тоже уста, длинные, пока спрятанные, бледные и сомкнутые, но под напором поцелуев бёдрами всё же растворённые с уже нескрываемым твоим сверху выдохом откровения. тут скользко не от дождя, в дождевой воде различим железновато-хвойный привкус — это ты меня ждёшь. так же, как я тебя: в своих убежищах одежд для наших различий, для наших половин, порознь мы

взмогли и не от дождя, а от того, что в нём с нами происходит. да, моя девочка, это поцелуй приветствия в место нашей встречи, о которой ты пугливо говорила внизу. да, эта встреча сейчас будет. ты сама в ответ на мою ласковую смелость схватилась за моего, прятавшегося до сих пор, стройного спутника. и это мне очень сложно, но не менее желанно — уйти от целования новых уст, знакомства с ними и дать тебе рисовать, врисовывать там же моей широкой, новой для тебя кистью. и это ты начала плавно, настороженно вздрагивая уже не от грома, в который раз накрывающего нас низким гулом и каменистыми затем раскатами от ближайших стен.

молния отблёскивает и от нашей серой крыши, но тускло — возможно, это отражение от храмовых вспышек. а мой гость всё ещё в твоих тонких пальцах и чуть уже внутри нижних уст, накануне того, чего мы так хотим и боимся, переговариваясь теперь только учащённым (разгорающимся, полустонным у тебя) дыханием — твои глаза молят то ли избавления, то ли ускорения участи. да, твои, Тан, пальцы лишь указали и чуть приблизили моего корреспондента к цели. целая часовая пустота, кажется, прошла с момента первого робкого, зябкого ощущения нашего взаимного снизу. но теперь — мне действовать. и надо продвигаться там, в нежном и уже глубже скользком этом твоём поцелуе тех новых уст. да, я начал едва-едва быть в тебе, и ты вся, на миг сдерживая стон, застыла и приподнялась теперь, когда чувствую что дальше узко, тесно и туда нужно рваться силой. словно заикнувшись на одной согласной (а ты в этот миг — с нарастающей в стоне гласной), я дважды, каждый раз отступая, — понимая, что это получится только так, резко и безжалостно, — снизу прорываюсь в самую твою нежность, в самую чувствительность: сквозь сжатую в твоём лице боль, толкая тебя, моя Тан, по скользкой внутренней вертикали и наклонной крыше вверх. через третий рывок и прорыв на четвёртом влился в тебя до предела, моя девочка, моя уже женщина. чуть провалились в черноту и бесчувствие — то ли от страха нового глубокого ощущения, то ли от грома небывало близко от нас шарахнувшего, — но тут же встретились взглядами: ты словно поняла самое важное в этом долгом нашем нижнем общении, а я — целуя залитые дождём грудки и проверяя по лицу и глазам, можно ли это так для тебя резко и стоит ли дальше. но ты без слов, целуя и грея нависшего над собой меня одобряющей улыбкой губ в щёки, кадык и губы, одним коленом делаешь нежно отталкивающее движение, и мой корреспондент, уже тепло прижившийся в новом окружении, более густым, терпким скольжением вернулся из твоей в дождевую влагу. мы, уже без этого отдельного взаимного ощущения снизу, снова впали в озноб и скорость поцелуев, крепких прижиманий друг к другу и ласк. но я должен скорей успокоить поцелуем новые уста. а они, бедненькие, кровавы и совсем не бледны как до моего в них прорыва. моя всё стерпевшая, только один раз выкрикнувшая боль, девочка, женщина моя: мной сейчас сделанная такую. твою тёмную кровушку, павшую из самого тайного места моей тайны на тёмно-серую кровлю, медленно размывает, осветляет и смывает дождь, уже замедлившийся, редющий.

гром меня осуждает и давит очередным взрывом, за минуту до этого готовившегося к прыжку за рекой, как и прежде. гром судит, но не ты, чувствующая неловкость в моём присутствии снизу и отсутствии лица около лица — возвращающая к поцелую уст, привыкших отвечать. да, в этом, хоть и замедляющемся, но всё смывающим и пока нас скрывающем потоке дождя — снова наш вкус устный, горячий поцелуйный, уже замешанный на твоей женской крови и железистой хвое, вызволенной моей страстью, моим стремлением сближения, слияния с тобой под этими водами. то ли от нами содеянного, то ли просто уже из-за долготы пребывания в воде становится зябко, и мы согреваемся друг о друга наготой.

небо светлее, но гром ещё крадётся новым взрывом по кварталам Замоскворечья и скоро перепрыгнет сюда. какая-то тяжесть — та нижняя тяжесть невыраженной, не прикоснувшейся к тебе страсти, теперь перешла в облегчённую усталость: и, лаская, забирая в ладонь и грея там поочерёдно твои груДки, я ложусь рядом смотреть с тобой, ждать новых вспышек молнии на светлящем ребристом куполе, сейчас медного отлива. только сейчас обнаружил, что нас прекрасно могли бы увидеть бегунки-прохожие с Кропоткинской площади — спасает лишь закон зонтов да дождь, прибывающий их взгляды к наводнённой земле, и туманной пеленой нас растворяющий в Твоей высоте. теперь ты уже тянешься ко мне — целовать, целовать, словно благодаришь и что-то торопишься досказать. да, я открыт, говори, моя женщина, девочка, да: и сам тебе плавно спою своё любование ещё сильнее, чем прежде. снова до темноты, забывая, как и где мы лежим, обнимаемся — тонем в глубине нашего устного слияния. ты словно забираешь у меня свой вкус, а я его держу на языке, помню, сохраняю. вот и гром где-то там, уже отдалённый, не злой командует отбой грозе... и мы рассветаем веками, открываемся реальности Столицы, промытой дождём...

— Как ты думаешь, нас тут могли видеть, что мы творили?

— Вряд ли — только из дома напротив, который за тобой, из тех окон — там все они закрыты, кстати. Но дождь лил такой стеной, что видно было просто никак, мне кажется.

— А храм?

— Так он без окон, без дверей в эту сторону.

— Я за дождём не разглядела — тут вон какая-то готика современная есть по бокам. А до чаши отсюда никак не добраться.

такая странная — обнажённая моя наблюдательница за архитектурой в совсем уже поредевшем и истончившемся дожде, впускающем свет на нашу и соседние крыши. надо тебя потихоньку одевать: извлекаю медленно из-под твоей спины смятый мокрый сарафан.

невероятное после нашего слияния, простое и всё же невозможное происходит: мы спускаемся обратно в чердачное окно, поблескивая на первых прямых солнечных лучах своей наготой. ловлю и поддерживаю ладонями твои бесценные мне бёдра и задние щёчки, мягко и лаконично окружающие, в твоих спускающихся движениях вновь открывающие мохнато обрамлённое место моего стремления: губы ещё кровавенькие, с розовым теперь язычком ближе

к стороне копчика. Это, наверное, та, тебя суживавшая внутри пелена, что была мне преградой.

нагретое под кровлей дерево теплом и сухостью принимает нас, твои ведьмины, вынужденно угловатые и соблазнительные движения улавливая в своё окно. рюкзак на месте, а значит, растущий голод будет чем утолить бананово.

— А ты свою майку не потерял ли?

— Ой, точно.

— Да нет, вот — у меня она, я захватила. Не забывайте вещи на крыше!

твой голос по-новому как-то, каждым звуком откровенничая, женски подрагивает, словно чуть смущается каждый раз и до предела раскрывается в конце слова. подвесила рядом мою чёрную майку и свой белый сарафан — распрямлять скомканности — на круглую балку-бревно крыши. моя всё ещё нагая, светящая в чердачном полумраке наивно открытыми, доверчивыми к прикосновениям грудками и мохнатиком, который я нежно подхватываю снизу ладонью в люльку.

Тан, прости за глупое любопытство: сейчас больно и вообще?

— Эх... Мог бы не спрашивать, джентльмен. Безбольно такого не бывает. Сейчас ничего, дождь залечил. Не думай... Ты так хорошо сейчас держишь. Вот так, не отпускай пока. Но осторожно!.. Да, вот так. Обними меня другой. Да...

в тёплой сухости мы снова нашли нашу влагу устную и углубляемся в неё. моя Тан, тебя прижимаю к себе одной рукой и бережно поддерживаю снизу, лелею влажную лодочку, мной открытую, густо, скользко-алую. солнце уже открыто светит прямо на нас через окошко, чувствую спиной и сомкнутыми глазами усилившийся свет.

— Тут так тепло теперь кажется. Даже тёплый дождь охлаждает. Ну-с, будем одеваться?

— Не могу от тебя взгляд отвести, да и руки. Но одеваться надо — ты вон в мурашках даже, пташка моя мокрая. Можно я тебе волосы вытру майкой?

— Хочешь, чтобы я окончательно в ведьму превратилась? Не надо, сами высохнут. Одевайся.

— Не могу, я должен тебя видеть.

— Ну ладно, смотри. Прямо не знаю, как теперь...

— Что? А...

— Да трусики. Ну да иначе нельзя. Или всё же не надену, так пойду. Сарафан достаточно низкий.

— Ну, это как сказать.

— Да нормальный. Но, с другой стороны — вдруг продолжаться будет, по ногам... Нет, придётся надеть.

— Можно я помогу тебе, Тан?

— Да, мой Тон, помогай уж.

— Ну-с, этой стороной, правильно?

— Да, бантиком сверху.

— Наступайте. Одну, вторую. Поднимаем. Сейчас, только поцелуем опять...

мохнатика, мной изменённого там, откуда алеет. бедная моя. это странное условие природы. но вот я его и благодарю, снова забирая теперь уже отчётливо кровавой и чуть твой хвойно-металлический вкус, словно и крыша участвовала, с дождём вливалась попутно стремлению моего языка и молодца, жесть кровельная, тобой окрашенная там, где уже смысл дождь. и всё: тайна Тайны моей скрывается под бежевой сеточкой с каким-то детским миниатюрным бантиком наверху. убираю руку с балки, а там остался след от кровушки твоей, на нескольких пальцах, которыми сейчас держал, — запись такая, зарубка чердаку, такому нам теперь значимому. а ты, пока я вглядываюсь в крепления крыши, уже хлопотливо снимаешь чуть подсохший, отвисевшийся сарафан и повторяешь вступающие движения своими чарующими ногами. и я их на ходу целую, целую, и вверх, когда сарафан уже скрывает тебя снизу до пояса: целую вминая грудки спешно и сильно, чуть даже прикусывая выпуклые звоночки от аппетита и необходимости перестать их видеть.

— Сколько тут надписей на стенах, я и не заметила сначала.

— Просто тогда наши глаза были после света, а сейчас немного привыкли.

— Лав, лав, пис... Кошмар и Яна были и будут тут форэва... Видишь, сюда парами ходят. Ты был прав, мы здесь не первые.

— Глубей, небось, тут распугали всех.

— Да, наверно, уживаются. Ой, не иди так быстро, ладно?

— Больно? Стой. Так. Счас лямки обе натяну. Иди-ка сюда, вот, да.

несу на руках моё лёгкое, как ребёнка, сокровище: пристально слева-снизу глядящее блёстко своей зеленью прямо на меня, трудящегося шагами с нашим общим весом. глядишь весело и благодарно. поцеловываешь выборочно, словно шутишь, аритмично, щекотно, в нос преимущественно, в подбородок ещё — куда легче дотянуться. моя Тан, моя Тайна, доверившая мне своё таинство там. моя Тан... тебя так носить даже удобно, пролёт за пролётом, разворот и десятки шагов: несу пружиня, даже этим ощущением всего твоего веса выласкивая тебя себе, под коленками, в ухвате под плечом. вот и свет в приоткрытую, отражающуюся в воде синюю дверь внизу. ух, лужи, глубины...

Видишь, как я правильно тебя взял — всё равно пришлось бы по морям ходить.

— Да мы и так мокры. У тебя же кеды не высохли?

— Нет, они привычные. Так, тротуар — вот и наша посадочная полоса.

— Ну, как ты такую ношу доволоок?

— Уж и ноша. Приятный груз, не беспокойтесь.

— Ой, вернулись. Надо же: я уже не верила в возвращение сюда. Или только если свалились бы или дождь нас смыл бы... Воздух лучше стал, приятнее дышать.

— Да, промыло атмосферу.

— Ой, а достань мне бананчик? Я что-то дико голодной стала. Если остались... мы вылезаем в улицы к Тебе, Столица, — сверху обратно, первым Обыденским переулком к Остоженке. и всё это с каждым шагом невероятнее, с возвращением: то, что мы уже не дети, хотя опять выглядим детьми — двое, кушаю-

щие бананы на ходу. и никто из ещё под зонтами дохаживающих дождевое время прохожих не догадывается, чтоО под твоим сарафаном — чтоО мы спрятали туда, нами совершённое там, над ними.

— Всё же этот дом — красавец. Не случайно мы из-за него и его чаши полезли туда.

— Правда, не долезли.

— Не важно. Теперь эта чаша для меня — моя чаша.

— И для меня она — твой знак, чаша, из которой я пил там.

— Ну, не надо мифологии. Кстати, ты что-то про свои числа говорил. Так вот почему ещё мы тут оказались — ведь трёшка это моё, а под дробью...

— Да, точно. Можно карту составлять, где мы с тобой ходили. Но есть и дома с тринадцатью и моим, следующим...

— Ой, а давай заглянем в книжный, мне надо кое-что ещё подкупить к семестру, чего в библиотеке не дадут.

и опять бытовая невероятность. по очереди точно метнув в урну у дверей банановые шкурки — да, спускаемся в книжный магазин, довольно плотно заполненный из-за дождя, прятались тут, видно, многие. я прямо за тобой, держу-обнимаю за локти, пока глядишь — Ошо Шри Раджниш, Хайдеггер, Бердяев. там же что-то архитектурное. и здесь, в душноватости от ещё предыдущей частью дня прогретого воздуха — мы как пьяные в переплывании глаз по книжным корешкам, какие-то йогистые практики, терапия, психоанализ, потом углубление и канцтовары, которые ты тоже терпеливо разглядываешь. сюда, в полуподвальный магазинчик, отделанный деревом, продувает с того самого двора, откуда мы спустились — последождевое промытое дыхание Столицы. словно запах нагретого стекла, запах пыльных стоков, подтротуарных течений. где-то там и твои кровинки, моя Тан. моя Тайна милая, изласканная мной вместе с дождём там, на крыше. и я не знаю теперь темпов, словно твой охранник, иду за тобой, чувствуя снова тяжеловатую внизу к тебе тягу, оттого что позади стою, что тебя чувствую — мою пониже меня ростом. ровно так, чтобы время от времени поцеловывать ушки и открытую шею, удивляя очередь в кассу и ревниво по-женски улыбая кассиршу. ты покупаешь большую длинную бумагу, я её сворачиваю в рулон и запихиваю в рюкзак, внутрь него поместив один оставшийся банан.

— Тут душно так, да? Пойдём быстрее, мне опять мало воздуха что-то.

— Моя Тан, ну что такое?

— Да нет, нет — ничего. Вот тут хорошо. Только давай уйдём от машин, от газов.

— Давай. Пойдём по бульвару Гоголевскому тогда. Сейчас перебежим.

— Да, ты води меня. Мне теперь до дома надо добраться быстрее, но мы чуть пройдемся. Ладно?

идём, и кажется, что запах дождя, свежести Столицы исходит прямо от асфальта, снизу. прошли газонный пригорок сбоку от памятника Энгельсу. от-туда я глядел, как факел олимпийский будут передавать, в восьмидесятом. из тех окон, что ниже нашей крыши, люди смотрели, на балконах стояли. день был

пасмурный. думал, что факел с другой стороны понесут — из города, из стен, а его — от Кремля к Лужникам. толпа стояла, мне плохо было видно, но бегунов разглядел, короткий момент в пасмурности — факел передали и дальше, за олимпийцем машина «Чайка», «скорая помощь»... сколько прошло с тех пор? но тем же взглядом, только вокруг него всё увеличилось... иду с моей тут женщиной, рука на её талии чувствует сопротивление: она не хочет перебегать к метро «Кропоткинская» узенькую здешнюю половину Бульварного кольца.

— На красный?

— Да не едет никто. Вот и всё.

— А троллейбус тут должен поворачивать?

— А как же? Это тот пятнадцатый, что мимо нас ехал, когда мы вылезали из арбатских и сивцев-вражеских дворов.

мимо нас проезжают — в угловато просвечивающих площади и дальним храмом голубоватых мокрых окнах — москвичи, сидящие, наблюдающие движение стен из салона. на высоком надколёсном заднем сиденье едет полная девушка лет твоих, на нас заглядевшаяся и отпрыгнувшая взглядом, получив ответное внимание. так близко, так буднично — да, мы вернулись в твои тесные прикосновения, Столица, к взглядам встречным. вернулись другими, вернулись с той крыши за чашей вместе — не дети. любовники мы теперь окончательно.

мы вместе из Тебя. из Тебя (для неё неведомого Города), моей Столицы. и мы вместе с двинувшимися на зелёного человечка пешеходами — вбираемы твоими камнями, лестницей, боковыми коммерческими ларьками, встроенными в околостанционное пространство. а нас уже впускает уютная, досыпающая вниз медленные дождевые капли арка метро «Кропоткинская». навстречу придавленный пластмассовый и хмельной запах — новомагазинный.

— Ненавижу такие места. Стоят, пьют, ругаются. Зачем ты меня сюда повёл?

— Ну, мы же хотели ещё пройтись. Да сейчас кончится эта чушь. Тут, видишь — со всеми удобствами. Туалет, помойка... Сейчас их пройдем и нормальный бульвар будет.

— Гады, зачем-то деревья внутри этих павильонов заперли, они там не выживут, ясно.

— Моя беспокойная девочка...

— Была. Ну, что глядишь? Да, уж ты-то должен...

— Прости, прости, моя женщина.

обнимаю и близко к себе притягиваю тебя, торопливую и раздражительную из-за всех этих магазинов. целую в правое ушко и шепчу щекотные извинения. а сарафан-то мокрый ещё у меня под ладонью. но какое это всё остальное отодвигающее, мощное ощущение — твоего шагающего изящества под моей ладонью. твоего уже женского изящества, с ещё не успокоившейся болью там, ниже талии, ниже красоткиных бёдер в сарафанных шортах. вот он, наш бульвар, начался: пропитанной дождём почвой и листьями, душистыми и блёстками-

ми на последождевом солнце, светящимися на фоне особняка Васи Сталина, дома переделанного под офисный.

— Так здесь, оказывается, ещё и выставка?

— Всё ещё под полиэтиленом пока — бояться, что снова хлынет?

— Нет, вон стягивают. Посмотрим. Да тут особенно ничего интересного.

Вон та мадам тебе как?

— Толстомаяся?

— Правильный мальчик, мой мальчик. За это и мой.

— Ну, как бы я мог после нашей крыши, тебя на такое глядеть?

— Ну, мало ли?.. Она не совсем, кстати, толстомаяся: плечи худые.

— А сейчас — минутку внимания, из этой галереи под открытым небом прошу выглянуть в другую, что слева. Вон, видишь, в углублении дом — с балконом большим, на землю опирающимся?

— Да. Который бежевый и ветхий?

— Он самый. Вот в нём происходит действие «Покровских ворот». Дворик этот снимали, соседний балкон — под скрипичную музыку мальчика Яши.

— Что-то вспоминаю. Да, всё же я помню этот фильм местами. Каток, дворик...

— Ну и умница. Теперь ты знаешь, что «Покровские Ворота» снимали у Кропоткинских на самом-то деле.

снова при шагах над тёплыми и парящими почвами Гоголевского бульвара — невероятность. ты несёшь там, под сарафаном, тревожимую шагами нашу тайну, в дожде раскрывшуюся. а сейчас этот дождь уже везде — впитан Гоголями, в каплях на полиэтилене, которым художники закрывали свой товар, испаряется с асфальта по бокам бульвара, с тротуаров у остановки 15-го и 31-го близ дома протоПокровских Ворот. моя Тан, моя обнятая, до сих пор ощущением тебя там, внизу, вытянуто живая на мне. идём, в Гоголевский бульвар уходим, а ты — моя, такая душистая, омытая дождём и моими поцелуями. ты вот такая — здесь, идёшь несёшь нашу новую глубокую тайну в себе, может быть уже подсыхающую, стягивающуюся, запекающуюся, мимо ничего о нас, кроме мокрых одежд, не знающих, не видевших прохожих.

А вот на этой лавочке — раз уж я решил тебя развлекать байками про фильмы, — вот где-то тут состоялся исторический разговор в фильме «Москва слезам не верит».

— А, это уже когда у неё дочка?

— Да-да.

— Нет, ты не прав: они здесь же говорили и когда она рожать собиралась... Точнее, не собиралась.

— Надо же, ты тоже наблюдательная.

— А что тут странного? Этот поворот и дом с колоннадой жёлтый видны.

— Дом декабристов... И едут там троллейбусы — пятнадцатые и тридцать первые.

— Это уж тебе видней.

— Да, я на них полжизни катаюсь. Сначала только к тётке в гости, потом в школу и обратно, теперь в институт — всё на них.

— Как у тебя всё правильно конструируется. Правда, и мне повезло: могу пешком ходить в МАРХИ.

— В хорошую погоду.

— Ну а если спешить — то до «Лубянки» и через «Кузнецкий» выходить.

по влажному бульвару углубляемся под ветвистый зелёный свет — с совсем будничным разговором, никто и не подумал бы, что с нами происходило там, над этим бульваром и Кропоткинскими воротами. навстречу — всё те же сверстники и помладше потребители пива, весёлые и глазастые, многие тоже подмокшие на плечах. женщина моя, тебя обнимать, проводя и мимо картин, и мимо прохожих с пивом юнцов — вот моё ремесло теперь, моя непрерывающаяся, на талии лежащая ладонью причастность. а ты идёшь как ни в чём не бывало, и только я жду каких-то последствий совершенного там, наверху в дожде. то ли почувствовав мою задумчивость, напряжённость, то ли просто порывом настроения — ты тянешь меня, прижав себе к талии мою руку, на лестницу под дом декабристов, с белой колоннадой на фоне ярко-жёлтой стены.

— Куда мы тут попадём — не знаю, но мне надоело по бульвару топать.

— Вот ты и свернула на нашу обычную траекторию пути от тётки. И правильно сделала: мы тут тоже полазаем познавательное.

— Не знаю, просто захотелось подальше от всех этих людей молодых — а то идут навстречу, плятятся.

— Потому что, маленький, сарафан твой ещё не совсем высох, облегает...

— Ах, вот оно что! Значит, и ты с ними заодно — подглядывать!...

— И в мыслях не было... погоди, пусть троллейбус проедет.

взбежали по каменной лестнице, по влажным и распаренным дождём и солнцем ступеням, и одновременно вдохнули почвенный дух бульвара, склона, поднявшегося вместе с нами к проезжей части. солнце ликует тут, на подъёме, но и машины мельгешат... но вот кончились, причём с запасом: и мы уже не бегом, а медленным шагом наискось приближаемся к дому декабристов — навстречу прохладному и с прелым, слегка осенним духом ветру из подворотни, что сразу за этим домом.

— Чьи тут, интересно, иномарки — декабристов, никак?

— Ага, их потомков неблагодарных. Теперь тут ресторан.

— Да, кстати, откуда-то вкусный запах чего-то жареного.

— А вот оттуда, куда мы идём — вентиляция, как всегда, во двор выходит.

идём правее, за жёлтый угол особняка, подчиняясь конструкции дворовой, пробираемся сквозь окончание лета и начало нашего любования по-взрослому. а тут такое захолустье, будто и не Ты или век не наш. да, просто это древность, сохраняющаяся тем спокойней, чем дальше от улиц, в глубине. собачки-дворняги посматривают на нас из-за сетчатой ограды, но не лают: белёсо-пыльный щенячий выводок, ещё не злой. впереди милицкий жигулёнок пятой модели. тут же отделение милиции: вон и толстый малый в серой — то ли потной, то ли дождем

пропитанной — форме, курит у дверей в отделение. конечно же, надо проводить нас и тебя особенно — оценивающим взглядом сквозь ехидно отцеживаемый дым. милицейский закуток неопрятный, как весь двор. тут всё поглощается стилем пережившего своё время жилья. выходим в узкий пустующий переулок, поворачиваем влево, за угол, от взгляда толсто-серого курильщика. и тут, чуть прошагав, от поблёскивающего после дождя (свежей Тобой дышащего) асфальта переноса взгляды, упираемся сразу, увидев его признаки-фризы, в модерн. густозелёный, цвета мха, водорослей, болотных тайн фриз, твоим глазам словно отражение. и ты поэтому, видимо, на меня смотришь, внимательно улыбаешься, словно я именно к этому дому тебя вёл, словно сюрприз.

— Вот это я понимаю — изразцы. Ну что, а тут ты меня искать пробовал? Может, я там, в этом доме?

— Когда на психфак МГУ поступал, то хаживал тут, глазел.

— Я бы в таком точно могла жить. Арка низкая, как у нас. Он ведь жилой?.. Да, судя по окнам. И такой модерн в глаза не бросающийся, таких домов на Собачьей площадке должно было много быть. Уютный для этой улицы домик. Так мы куда теперь — налево или направо?

— Ну, к храму возвращаться не будем. Хотя там конструктивистский дом — вон. Правда, сразу скажу, что ничего особенного, кроме удлинённых окон, — он хорошо виден сверху, от тёти с дядей.

— Ладно уж, веди как хочешь, только не забывай, что теперь уже не очень долго. Мечтаю до ванной добраться со своей катастрофой. Я вся там намочла, и ты знаешь, что не от дождя.

— Да-да. Идём тогда по кратчайшей траектории к Охотному ряду. Сейчас до Пентагона добежим... то есть, дойдём, там повернём.

— Стой. Ну, какой ты сразу весь неуловимый, погоди. Раз уж тут так безлюдно и никому, кроме нас, этот переулок — какой? — Большой Знаменский не нужен, то можно...

мы снова тонем в нём, в нашем устном взаимно влажном, скользящем ласково мраке. под домом, в котором ты могла бы мной разыскиваться. а так и было — заглядывал ведь и в эти окна. да, крыша три-добрь-четырёхнадцатого дома не исчерпала фантазии нашего устного творчества: всё в полумраке вертится внутри, охлаждаемое снаружи ветерком, листовным шелестом и далёкими зигзагами машин — современные изразцы, твой влажный сарафан, открытые широко, как губы, твои глаза с их ведьминой зеленью. это что-то очень сильное, ведь нам уже требуется видеть друг друга во время поцелуя. как за комментарием обращаемся, сближая карие и зелёные глаза наши — что же это, что навалилось, сдвинуло так плотно нас, что тянет из меня к тебе снизу снова эту твёрдую устремлённость, упор в вельвет? любованье наше, моя женщина, моя Тайная, сегодня снизу раскрытая, но Тайная, таящая теперь всё более, более женственное — самое женское, за теми лепестками. и придётся тебя скоро отпустить домой смывать, залечивать следы содеянного в дожде на кровельном железе. дышим друг другом, кожей нашей, как и этот душистый асфальт, омытой дождём,

пахнущей скрывающимся летом. вдыхаем — разнявшись и шагая уже в противоположную от храма сторону — всё это, Тебя.

Поглядим, как идти... есть идея — мы пойдём не к «Охотному Ряду», а к «Библиотеке Ленина».

— Хочешь, теперь зови меня — Тань. Я уже теперь не та твёрдая Тан, ты меня смягчил, и я пьяная будто. Неужели от дождя?

— «Тань-тань» — это расшифровка звука капель с нашей крыши.

— Возможно. Но это я. Так привыкла к этому созвучию. Реагирую на него машинально. Это самые первые звуки — мои потому что. А ты меня зовёшь по-другому чуть, и поэтому знаю, что это ты, чувствую.

— Да-да... Мне главное, что это ты, и ты моя, моя Тайная ты — вот кто.

— Домина слева с выпуклой звездой — это что? Казарменные стены такие уходят вдаль...

— Хиппи его прозвали «Пентагон». Даже собирались около него в восьмидесятых. Так-с, а мы пойдём в другую сторону, правей, к Дворянскому собранию, вот тут — курс на листву.

— Вот и хорошо. Тут так старинно, влажно.

— На листьях ещё дождевой налёт... Да, прямо как стихия такая. Какой дух густой и влажный.

— И тёплый, по-моему, это солнце уже подогрело. Обними меня сильнее, мне всё время кажется, что ноги ослабеют и откажут. Вот...

— Бедненький. Ты как оленёнок, который учится ходить...

— Да... А ты что с этим оленёнком сделал? Правда, он сам, оленёнок, спровоцировал.

моя улыбчивая девочка, да — девочка. всё та же — глаза игривые, тайные, взгляд с подначкой: словно пугает меня, что всё кому-то расскажет. наши тайны... а мы идём в стихии листьев нависших над нами ветвей, растущих из-за заваливающейся в нашу сторону намокшей низкой ограды, за которой особняк, дом Дворянского собрания. откуда я это взял? да ведь мы туда забрели как-то после посещения музея с курсом моим. а теперь я веду тут свою Тан. мою нежную, усталую девочку. веду уже недалеко от метро — откуда её отпущу домой, чего так не хочется. но силы не бесконечны. сделать за день всё, что мы, — почти невообразимо. и вот идём, дышим лиственным миндалём, набираясь сил и чуть пьянея. слева изящная, потрескавшаяся, поблекшая старь домов.

А вот в этом доме живёт наш знакомый скульптор. По Абрамцево...

— Как фамилия, я, может, знаю?

— Купреянов.

— Художника такого знаю. Николай, по-моему. И переулок подходящий, художественный такой, словно не листьями, а масляными красками пахнет — нарисованный, с этими колоннами в бордовых стенах.

— Да, масляные краски тоже чуть миндально пахнут...

— Что? Да... А это, по-моему, музей Пушкина — там впереди?

— Точно. Но мы тут повернём в другую сторону.

— Да. Метро уже скоро ведь?

— Скоро, в конце следующего переуллка, Знаменку пересечём только.

тебе уже не до всех сопутствующих нашей ходьбе историй. поэтому молча проходим пятьдесят седьмую школу, не выделяющуюся в ряде домов. ещё достопримечательностью была стена через переулок, напротившкольная. её в церковный заборчик переделали, а раньше она сплошняком шла, тут творчество было — углём, мелками, красками «Фантазия»... и опять-таки Мастер с Маргаритой, стихи, хипповские всякие штуки. главный школьный из девяносто первой хиппи Брумберг всё сюда бегал, ему тут девицы косицы заплетали из длинных индейских локонов. и отсюда — на «гоголя», там все хиппи гнездились в конце восьмидесятых...

Вот этот серый дом замечательно виден из тётинных окон, с балкона. На нём есть широкая площадка — и я никак не пойму, для чего она предназначена?.. Я думал, что это со времён войны осталась площадка, там ещё надстройка-домик противовоздушной обороны, домик Карлсона, как в детстве их называли.

— Да, знаю, о чём ты говоришь. Смотри, тут стены даже жаркие, хотя дом от брызг снизу или от стоков намок, и такого холодного цвета.

— Видно, дождь не охладил. Сейчас от асфальта испарение малость остудит... Я такие дома рыцарскими называю.

— Это эклектика. Но есть что-то средневековое, в основном, из-за цвета, да... Какая-то «Рози о Грэдис» впереди, ресторация, видимо. Аляповатая вывеска. И не тянет оттуда ничем вкусным.

— Паб, пивная. Для русского слуха название — это как «взрослым о детях». Расскажите, пожалуйста, Рози о некоей Грэдис...

— Это ирландский, да, я поняла — у них такие фамилии, как «де» у французов — у этих «о». Тут, наверно, пьют эль, такой густой напиток вроде крепкого пива. Не хочешь?

— Ни в коем случае. Чтобы не перебивать вкус дождя и...

поняла, это «а» снова во мне звенит — моя она ты. прошедшая со мной мимо этого серого мрачно-сказочного дома, который я всё видел сверху, в основном не догадываясь, что он встретит нас по пути с нашей крыши, с той туманной от дождя вершины на Кропоткинской. выведенная мной утром из такого же типа серого дома — чтобы отправиться в Столицу, в наш ласкающий в ней путь непрерывных друг на друга и на Неё взглядов. путь и в твой Город стеклянных крыш, как у Пушкинского музея, на который ты глянула из-под листьев напротив дома Купреяновых.

твой Город и моя Столица слились сегодня (надо думать об этом, чувствуя теперь тебя по-новому). теперь совершенно моя и совершенно она. тебе так просто, попутно высказать в течение своей речи это, как обычное ощущение, как констатацию — поняла. а у меня — прилив и обновление, куча мыслей, мурашек осознания твоей недоступной тайности, твоей второполовинчатости по шкале нашего вида. ты — она. а я — он, чётный по буквам, поэтому моё число больше твоего на единицу, следующее за твоим. тебя, следящую за плотным бе-

гом машин по Знаменке, обнимаю крепче сзади, прижимаю за талию к себе — будь, стой тут со мной, моя женщИнка, моя она.

— Никогда не ходила тут. Мы ведь рядом с Кремлём опять? Дома всё на подбор — эклектика, кроме низких. Вот, напротив нас, с эрекерами — особенно хорош. Башенки такие, как у замка, выступающие, да? А этот сзади, в котором библиотека естественных наук, как там было написано — так старожил уж точно. Такие меандры в почёте давно были... Ну, перебежим?

— Там какие-то с мигалками приближаются. Уж пропустим, чтобы не пугать.

— Да уж, нас испугаются!..

— А вдруг? Под видом парочки — юные террористы.

— Трактористы скорей. Пока соберёмся, пока доползём. Ну, давай — ещё успеем! Вперёд!

забираешь нас, за ручку по тебе бегających, Столица: за самую свою за пазуху — в тыловой коридор за домом Пашкова, во влажный и бархатный после дождя, отблёскивающий солнце тротуаром, Староваганьковский переулок. разбег у нас получился хороший — такой, что и дальше идём быстрее. ты обгоняешь и, не выпуская моей руки, словно заманиваешь дальше, хотя здешних мест и не знаешь — теперь только играешь. справа стены старины уже церковной, за ними роспись — какие-то сжавшиеся худощавые святые в ряд на голубом фоне. а мы уходим дальше, всё ближе к громаде Ленинки — которая словно книга, стоящая ребром, книга, в которой бесчисленно книг. и выглядывает возвышенной тенью справа издали, попутно нам Дом Пашкова со странными по кайме крыши кубическими стойками-украшениями на тонких опорах. какие-то напыщенные у нас на пути машины и охранники. одна BMW — с синим фонариком-мигалкой на крыше — мирно дожидается седока. видимо, он или она (или она у него, если не наоборот) сейчас в этом доме. дверь шофёра приоткрыта, но прохожие тут — лишние. поэтому двое вздутых сальнощёких охранника в синеватых костюмах так нагло и изучают нас сперва как потенциальную угрозу, тихонько продолжая при этом свой с шофёром разговор при обыденном вкраплении мата. мы переглянулись: в твоих глазах такое же, как и у меня, смущение и даже отвращение, конфуз. но и здесь нам вдруг представилось убежище (сколько раз проходил, но не вглядывался): слева забор старинного витья и за ним дворик — забирает из переулка под тень, сень листьев и влажных старых, зеленовато крашенных стен. самое место остановиться и оглядеться.

— Вот такие места я обожаю. Хорошо, что мы тут очутились, уже, наверно, сегодня последняя находка.

— Если не считать дом — тот, на горизонте, который Дом Пашкова, по этой крыше ходил Воланд, прощаясь с Москвой.

— Я-то знаю тот дом как дом Баженова, он архитектор его. И что, точно по той крыше его Булгаков водил? Возможно... А мне вот такие места больше нравятся. Видишь, у чердачного окошка, а точнее — просто места для окошка — резная древняя рама, самая что ни на есть аутентичная, как правильно гово-

рится в таких случаях. Она века прошлого, это точно. И ещё вот — в ограде в круге герб, не заметил?

— Трудно расшифровать...

— Это вензель, а не герб — если точно. Я вот от таких, честно говоря, мест балдею — и больше, чем от конструктивизма. Рядом шкаф Библиотеки Ленина, а мне это вот милей.

в глубине этой единственной зелёной впадины переулка слева — подворотня куда-то ещё... туда и идём, не сговариваясь, просто углубляясь в эту прохладную старину. коридор продолжает подворотню и образует каменный мешок, но тут внезапно справа сразу же обнаруживаем магазинчик.

— Я, честно говоря, пить хочу — зайдём? Хочу минералки. Вот лучше бы всего солёной. Извините, а есть эссенуки семнадцать? Есть? Ура... Хорошо, что у них всегда есть открывашки. Надо же, не подумала бы, что мы тут обнаружим магазин.

— Да там же институт какой-то, вот и магазин при нём.

— Ой, дай скорей глотнуть... Замечательно. Теперь я точно до дома доеду. Как здорово, что мы тут оказались, и моя любимая минералка тоже. Такой дворик небольшой, а из-за листвы кажется, что уходишь в чащу далёкую. Назад всё это кажется быстрее. А уходить отсюда не хочется. Ну-с, что же, мы уже почти к метро подходим?

— Да, уже за углом. И вот что интересно, я практически не ходил по этому переулку, будто берег для пути с тобой. Всё как из института, пока мы на Моховой учились, проходил в сторону школы — заглядывал сюда с той стороны Калининского. А потом храм вон вырос этот. Ещё его здорово видно из тётиных окон.

— Говорят, там много людей падало, пока строили?

— Да, торопились к юбилею...

допиваю твою солёную минералку, пока мы идём между выпяченными из Библиотеки Ленина лицами учёных — Павлова, Коперника, Ньютона, которые угрюмо и философически глядят, а точнее, вынужденно упёрлись взглядами в угловатый, с зелёной отделкой внизу под камень, павильон джинс, игр, фаст-фуда и прочих плодов современности. рамка, окаймляющая окна, как и везде — кока-кола. а я пью родные солёные эссенуки, допиваю, чтобы бросить в урну на подходе к метро — вон она, придётся тебя отпустить и чуть дальше пройти.

— Смотри-ка — и тут написано: «Рождайте детей в январе». Какой-то маньяк...

— Нет, это религиозные фанатики, по-моему, сектанты. Ну что — вниз?

— Да. Ты всё допил, а то мне жалко мою любимую водичку выбрасывать?

— Да, всё.

гостеприимно, всехприимно болтающиеся двери, выпихивающие наружу бархатистый и дёгтевый ветер метро. за ними — угрюмый и испытующий Калинин в окружении голубей, сюда забравшихся от дождя, видимо. но мы-то — мимо них — вниз, по заворачивающей прямым углом вправо-внутрь лестнице. так всё быстро, нас забирает твой Город и многолюдность, и жара метро, на

которое дождь не подействовал. минуем турникеты и — вниз от лестницы к лестнице. ты заметно торопишься, что ж, я не отстану.

неисчислимость и повсеместное движение пассажиров метро после нашего свободного плавания наверху даже экзотична, контрастна. но нужно тебя, мимо пахнущих водянисто букетов, словно напоённых недавним дождём, минуя сладковатый запах хот-догов, что делают и едят здесь, в подземелье — довести до платформы, которая к «Лубянке» в сторону, слева. ты, по лестнице спускаясь, озираешься на меня как-то смущённо, потерянно, но я тут и поддерживаю тебя за талию, став позади тебя ещё выше из-за ступеней. а поезд твой как раз отъезжает, навстречу от него поток людей, поднимающихся, стремящихся правой нас закрепить. но вот мы около длинных перил, отделяющих от тёмной пропасти путей. поезда нового пока не видно, и нужно тебя спешно рассматривать, так как сейчас сядешь и уедешь. или, может быть, навязаться проводить хотя бы до метро?

Тан-тан. А не позволите вас довести до вашей высоты?

— Ну я же... Хотя... Ну только не до высоты, а до её подземной части.

моя чудесная: обнята сзади и прижата мной, пока поезд светясь подъезжает и выпускает пассажиров. а нас впихивает поток сзади и прижимает к дальним дверям где-то в середине вагона. что ж, оно и к лучшему: мы снова, под стать углублению в Твою подземность, друг в друга устно углубились и прижались опять, да ещё в силу обстоятельств. и только обязывает счёт остановок выныривать — пока там «Лубянка», то ещё ничего, можно целовать, тебя укрыв, спрятав спиной от пассажиров: твою шею, твои плечики и снова уста. но вот уже «Чистые Пруды», а следующая — твоя. по-прежнему сзади тебя обнимая и укрывая от боковых толчков пассажирских, пробираюсь к выходу. в эту бордовую с маленькими нишами станцию тебя выпускаю. и идём — опять распривившись, за руки взявшись по-детски.

Ну, так можно я уж вас до верха доведу?

— Ладно, до верха. Но уж ни-ни дальше. За Лермонтова — не смей. Я всё равно побегу уже там.

— Как скажешь, Тан. Как велишь, женщина моя.

— Ну, ты не обижаешься, что так заторопилась?

— Нет, потому что ещё успею — вот, вот и вот...

расцеловать, но и не пропустить перескок со ступеньки на твердь. и снова полустанок от одного эскалатора к другому с полуповоротом, где по бокам — светильники с длинными прозрачно-лучистыми плафонами вверх-вниз. мы пробегаем тут и — снова на ступенях, ты сверху, я ниже на одну, чтобы удобнее было целовать твои локотки, запястья, ключИчки. не хочу отпускать, но придётся, дело тут безотлагательное, с моею причастностью, мне теперь всё важно — что в тебе изменилось. и поэтому так крепко держу тебя за талию, ощущая твои движения, шагая с эскалатора рядом с тобой, благо никто не обгоняет. из культурного выхода высоты — снова в хаотичное, встречное движение пешеходов и машин за си-реневыми ларьками, взглядом — в шелест листьев около памятника Лермонтову.

— Ладно, всё — я побежала, дальше не иди. Ну, пока!

— Пока, моя... Я звоню!

но ты уже перебежала в промежуток между легковыми стремительными машинами. и скрылась в тени сквера за Лермонтовым. досматривать, как ты, легко шагая и почти бегом скрываешься, — не буду: поворот и шагаю обратно. и теперь точно повторяю то, что видел, но уже в дне, охлаждённом дождём, не утреннем. иду тем же путём, заглядываю в тот же с выпуклым залом-кругом внутри двор высотки. над подъездами старые, ржавые, с патиной даже таблички номеров квартир, благородное старое дерево рам пятидесятих. я словно рассказываю наш день заново. кажется, что он начался полгода назад, этот длинный, гигантский день с дождём посредине. в Староваганьковском ещё докапывают на асфальт капли с крыши старого особняка, в двор которого мы только что до метро забирались, а ты уже спешешь мимо розового полукруга здания в начале Новобасманной. но необходимо свернуть с нашего пути, его нельзя повторять — и этим затирать.

так что, неужели сегодня я произвёл тебя в новый, окончательный женский статус? какие нелепые понятия. но это было? на той высоте, под тем ливнем? и я иду сухой, как ни в чём не бывалый, лишь с остатками тянущего напряжения. да... прохожу через двор и в ворота массивного дома, после которого улица — от площади трёх вокзалов. свернуть с нашего сегодняшнего пути необходимо — и пойду тут, мимо выступов-балконов конструктивистского обветшавшего дома.

вернулись в городскую осень, к Тебе, Столица, — и стали зримо на той крыше Твоими сегодня окончательно. и время теперь втекает в новое русло — наше. наше с тобой время, моя женщина, моя Тан, Татьяна в полном привычном другом именовании. идти мимо тёмного бордового дома, что на той стороне Орликова переулка, и думать о наших приключениях сегодня — одновременно невероятно и весело, до какого-то детского удовольствия весело и страшновато оттого, что сбылось. и именно с тобой, Тайная, — наверно, уже добежавшая до дому, до своего серого замка за парком Баумана.

да, всё невероятно. не читаю, не обращаю внимания на пестроту в витринах с закругленным углом здания, ты бы точно его квалифицировала как конструктивизм. я лишь жду под ним, пока через Садовое кольцо перейти можно будет и светофор с далёким маленьким человечком зажжется. серый домина слева — древний, высокие узкие окна и признаки весёлого коммунального жилья там — фанера в окнах или даже витражи. открытый балкон на углу высоко. на высоте такого дома, в этом месте оказаться бы во сне, ходить, перелетать по карнизу, глядеть с высоты неограниченного прыжка. всё невероятно светло и публично теперь. и никто из встречных пешеходов не понимает, чему я улыбаюсь, может быть, тщеславно — переходя Садовое кольцо внутрь, на свою сторону с твоей. а что позади? там — длинный домина, что перед высотой, и сама высотка поднимаются наискось ввысь, а Кольцо поворачивает вправо, к Земляному Валю.

дома, вы нам с моей Тан вдогонку звучите как аккорды рояля — освещённые солнцем, торжественные, гордые своими эпохами. один, сверху изразцовый — модерном, другой, с советским гербом — пятидесятыми.

всё пошло теперь комьями (со слипшимся запахом, опять густо-дневным и сухим, дождевая примесь растворяется): милицейская «девятка», милиционеры толстые и худые, курящие у отделения, которое в здании старого полицейского участка — его много раз разглядывал из «Б» и 10-го, по пути к Минлосу. музыка, песни, институт, друзья — всё ведь вернётся теперь, нахлынет сентябрём...

но другой уже я: тут Её встретил, Столица, ты познакомила меня с нею, и мы теперь объединились так, как нам положено природой, — мы с ней друга знаем, знаем и чувствовали то отличие, которое называется для меня «она», а для неё — «он». да и что думать об этом, глядя на серый конструктивизм поликлиники — дома как на подбор, словно ты меня вести продолжаешь и объясняешь. но тут уже я сам знаю маршрут — поворот вправо за поликлиникой инасквозь к проспекту Сахарова. в углу сосредоточился модерн — сюда, в башню с овальным окном, которая видна с Садового кольца, я фантазировал перебраться подростком, когда убегу из дома после какого-нибудь принципиального невообразимого скандала. как странно, что я не говорю это вслух, тебе, не указываю наверх рукой, я быстро продумываю это, разглядывая витые рамы дома с каким-то НИИ внутри. а вот та закрытая подворотня — идеальна, чтобы завести тебя туда с другой стороны, показать незнакомый тебе Город: с бордовой древностью кирпичных стен и земляным валом, трубами, верхними этажами на краю светящего белизной или синевой неба.

мы здесь, и мы теперь будем ходить часто тут — впереди осень. а слева и глубже, ближе к «Детскому миру» — твой институт, не так далеко от моего, к которому иду на Сухаревку. всё открыто, широко и приветственно мне. даже проспект этот перехожу, не выжидая, а прямо направляясь к просвету между домами и наблюдая некоторое несоответствие в опорах балконов — у некоторых есть стоки, у некоторых нет. табличка синяя «МиГ». почему «Г» большое?

теперь переулки забирают, затягивают меня к Бульварному кольцу — говором подробностей: знакомым, маленьким и тайным. «тайным» — значит тем, что будет тебе показано как-нибудь. на предмет консультации. нет, конечно, не этот задворок и помойка. а вон тот слева серый лестничный или лифтовый эркер с вертикальным непрерывным окном. конструктивизм? ар деко? или те, слева в переулке дома — модерн и что-то теремное?

навстречу мне, но по другой стороне Даева переулка — солдаты шагают: вышли из подъезда старенького двухэтажного дома углового и пошли туда, откуда я сюда вошёл — во главе тумкающей кирзачами колонны несут флажок, и такой же в руках последнего, затворившего дверь. а на моей стороне — «Даев плаза», некая блёстко отделанная камнем остроугольная конструкция — офисно-отдыхательная, надо догадываться. не то, что справа — обычный жилой домик, лет хрущёвских, видимо: с неприметным уютom и со странной пристройкой — точнее, обихоженной частью за аркой, что в конце дома. необычно там жить, наверно. затем дом вида заводского или ниишного — отступя стоит, деревья и кусты под ним. всё так знакомо и быстро пробегает, потому что я иду один и с тобой не говорю — пространство однобоко и убыстренно.

вот и они — квартирные дворы. там наверху, в доме, ограничивающем двор перед Садовым кольцом — кравтира, колыбель наша студенческая. оттуда меня сейчас не увидят, хотя вид очень широкий — даже МГУ можно разглядеть, что установлено мной и Кравцовым-средним с крыши — до того, как дом надстроили на офисную мансарду. где-то там на трубе осталось буриме: «Здесь мы сидели, пили пиво, «Житан» курили мы счастливо, осенние деньки золотые неслись — мы были молодые...». вероятно, такой фольклор городской никто из офисных заказчиков не считал ценным и закрасил — если ту трубу вообще не разобрали.

и вот переулки, видные с балкона кравтирного как на ладони, — сцепляются перекрёстком, выдавая справа Садовое кольцо, а впереди — Сретенку. отчетливо мне так ярко кравтира вспомнилась? будто продолжаю тебе рассказывать это всё: как увидел зимой сперва это их на кухне фантастическое (с освещённой точечными огоньками высокой ночью за ним) окно, как весной мы выходили на балкон с Кравцовым, как за разговором с ним мой взгляд продвигался от крыши ближайшего дома внизу к витиеватым башенкам доходного дома над Рождественским бульваром и возвращался левей, на КБ «Туполева». но всё это убегает назад, а впереди Сретенка, сегодняшняя — многозвучная и стремительная.

ещё один солдатский форпост на пути — в сером доме с обувным магазином: крашенные зелено металлические рамы, в одно из стекол видно сверху за железно-зеленым окном одинокую светящуюся и днем лампочку. пост там, что ли, какой или стройбат квартируется дежурный по центру? унылая железная дверь чёрная — приоткрыта, оттуда выглядывает в солдатском кепарике грязноватом солдат:

— Брат, у тебя курить есть?

— Нет, не курю, извини.

он и не покурить, а поесть попросить бы рад — но не принято: худой и чумазы мой ровесник, даже младше, наверно. странно, такой хмурый участок в одном доме с жильцами и магазинами. справа же встроенный за старое лицо дом — что-то нефтяное в нем, двери закрыты навечно, хотя ступени комфортабельны. теперь надо перебежать Сретенку, пока троллейбус дефилирует к остановке под обувным с рекламой в окнах «Монарх». мода — она везде. и пиво так называется. и «Боже царя храни» тут петь собирались где-то в районе «Динамо» Алена Свиридова и мужики-певцы именитые разные. вдруг гимном станет?

ухожу к себе, к закату, едва наметившемуся за Цветным бульваром, к светлой широкоплечей башне со шпилем на Маяковке, в оранжеватой дымке — вот моё направление. снова в невольных выдохах стари домов этих, вековые сквозняки говорят с ровесницей-пылью. в домах ещё жилых — и оттого долгожителях. ларёк «Квас» — тоже тут в Малом Сухаревском долгожитель. правда, теперь это не привозной квас, а бутылочный, из обычных баклашек, что установлено нами с Лёхой Кравцовым в последнее посещение. Малый Сухаревский — один волос из Твоей пряди, Столица: я блуждал тут в Твоих волосах, а теперь, её нашедший, возвращаюсь, точно зная, куда за нею идти вновь. но не забываю при этом приметить, будто с тобой всё ещё иду, справа блёкло-модерновый длинный дом — по изразцовому фризу и по стёклам во входной двери с глянцами.

единственный архитектурный памятник с датой «1995» — трансформатор с остроконечной башенкой. а тёмно-зелёную плитку внизу с его ступеней уже разворовали. кто-то из писателей на «Радио России» восхищался, что этот район раньше изобиловал трущобами, откуда могли выскочить бомжи-маньяки, а теперь заблестел новенькими офисами. так и есть — теперь не маньяки, а иномарки грозят своим разухабистым напором жизням изумленных пешеходов, толкнутся тут полмиллионнодолларовые частные экипажи. какой блеск справа: навесная башня из зеркального стекла и армия машин персонала под домом, vip-стоянка.

но вон и бульвар Цветной уже, следующий перпендикуляр моему пути, за перекрестком. и справа подновленный — бывший жилой угловой с булочной внизу, нынешний пустующий элитноквартирный («квартиры в этом доме — тел...» — вывешен белый флаг) с рестораном японской кухни. но в угловом двухэтажном слева от перекрестка — в окнах пакетики, признаки жилья, затеи старожил... а справа уже нет знакомой таблички черных букв «Металлоремонт», дом обвесили зелёной вуалью — верный признак сноса скорого.

только психфак Пединститута им. Н. К. Крупской всё тот же — по-моему, и тут есть сбоку признаки конструктивизма. народ внизу толчется, начинается учебный годовой забег. твои же теперь это заботы, по соседству тут будешь ходить...

тихий розовый домик с зажалюзенными окнами, новые деревья у стены ближайшего дома, что с магазином сантехники ближе к бульвару. и справа через переулок — картинка на открытой задней двери продуктового магазина «запасной выход», зелёный фон, белый, выбегающий в белый свет за дверью, человек. он — альтер-эго зелёного человечка, что, оттопырив руку назад, должен загореться на светофоре впереди, а пока жужжат мимо легковые автомобили и тяжелые самосвалы с какой-то стройки, судя по их грязным шинам.

«Немецкие колбаски» в ларьке сразу за переходом, всегда тут очередь мужиков. некоторые с детьми — последние выгулы каникулярные. и здесь же катают детей на пони — цирк рядом. перейти проезжую часть бульвара тут проще — машины далеко, только ринулись с поворота от Садового.

бывший центр этого квартала, времён моих детских и школьных — даже не кинотеатр «Мир», а следующий за цирком Центральный рынок. теперь это остаточный сюр — лицевая стена, за которой пустота, внизу поросшая травой, отблескивающая вдали полуобвалившимся кафелем верхнего павильона, ещё чуть ли не дореволюционного или пятидесятых годов, колхознического, за которым шли мясные павильоны. исчез целый квадрат почти еженедельных впечатлений — медленных сонных тут хождений с мамой, всегда покупок игрушек в этой кирпичной части на втором этаже или вождельных мной маринованностей — там вдали, где теперь просвет и кафель. опять словно тебе это рассказываю заочно, Тан.

мушиная, людно-афишно-рекламная и запахов суматоха около метро, скорей её миновать под БУханье «Блю-даба-ди» из одного ларька, музыкального. опять обрушились концерты: «Крематорий», «Машина времени», «ЧиЖи-Ко» — все дружно после Максидрома вернулись... и снова — в родную узость пе-

реулка, к лесенке почти крымской, косой. уводящей вверх и в окончательно родной квартал Каретных. темнокирпичность бывшего завода и метростроевский долгострой — когда-то тут была детская площадка.

правильно выглядываешь, конструктивизм гаража — там, в Лиховом, лихо изогнутом переулке — я иду на твой ориентир. не отклонюсь в ресторан «Ангеликос», не пойду к Трубной — то путь выхода в её Город, путь начала, а сейчас я возвращаюсь с трофейным, совершенно новым ощущением, сжатым, упрямым под вельветом. ощущением моей женщины, моей найденной, моей Тан. нашу тайну с крыш Кропоткинской смыл дождь, от него тут — только лужи вдоль тротуаров, набегающие на проезжую часть Малого Каретного.

«Мемориал» — написано морщинистыми буквами на бронзового цвета железной табличке. уже почти дома: за пустооконным зелёным домом — «Переpletные работы» СБ. и по закруглению гаражного корпуса — на Каретный. сколько тут уже машин выстроилось: не лето, год рабочий начался. шины с мокрым асфальтом сжимаются, радужные лужицы из-под машин выкрадываются — на позднем солнце, к Каретному блеснуть. и у «Эрмитажа» выстроились иномарки плотно. что-нибудь отмечают? музыка бУхает из сада, но я тут перейду, пока машины не нахлынули, — наискось через взгорье Каретного — и уже на своём берегу. как ноги привыкли шагать сегодня! уже мышечное увеличение не в тягость. всё легко и незнакомо после этого нашего с тобой дня, пришедшего нами порознь к вечеру — к своим домам по разные стороны Садового кольца.

измерение эпизодов и отсчёт всего нашего начала в сохнувшей душной и солнечной осени, в долгих днях сентября — дело бесполезное, тут радикальный реализм ничего не пожнёт. потому что самое первое уже позади, а дальнейшее — впервой, но уже сто раз перед сном или утром предугадано, предчувствовано, мЕчтано. то, что не сон, — очевидно. настолько внезапно и скоро, попутно, на продуве постдефолтовой осени...

реальность — Ты и она, вы вместе. и я, ищущий её там, где уже знаю, что она живёт. знаю, куда направлять сны через вечернюю сказку Садового кольца — наискось крышами, к двум шпилям у Красных Ворот и вокзалов.

и выходит день нашего очередного пути в Тебе — от улицы Герцена. после недели или более взаимной невидимости из-за припёрших к стенам родных вузов учёб. снова лёгкая и недостижимая, почти незнакомая, ещё и под утеплением, не летним одеянием, в спортивной куртке в красно-черно-белую полоску и длинной толстотканной юбке в мелкую шотландскую клетку. вот ты меня и вывела из старого нашего здания напротив консерватории, с философии, с лекции Михайлова Феликса Трофимовича — заглянула в аудиторию (только название «аудитория» — комната бывшей лаборатории, где как раз ЭФ Тэ и пребывал с коллегами в семидесятых). когда первым же вырвался из комнаты под добрый и ехидноватый прищур закуривающего трубку ЭФ Тэ — ты уже в конце коридора, у лестницы с клетчатым черно-белым зонтом: остановилась из-за скопления там младшекурсников. с кем-то говоря, не подавая виду, что со

мной знакома, выронила зонтик с деревянной лакированной ручкой. я поднял зонтик — и этим только к тебе и приблизился. затем совсем как незнакомые спустились по лестнице, упирающейся в стену теремного здания, к которому прирос наш трёхэтажный экс-НИИ Психологии, с банком на первом этаже уже. ты заметила, что стены — вероятно, века семнадцатого.

забрал в узкие, вверх взгляд вытягивающие стены Брюсов переулок. в первый раз шагая по его дальней от института стороне, обнял тебя тихо — будто в первый раз, чувствуя снова тебя рядом, греясь этой сенсуальной очевидностью. ты задумчива и расчёсана как-то серьёзно. и похолодало. выглянувший из прижелтевшей зелени серый дом напомнил мемориальной доской Федоровского: рассказал тебе о друге дяди-тётиной семьи, сыне этого белопрофильного Федоровского из Большого театра. прошагали углублённый в старостенном течении дом кирпичный, в котором ты заметила магазин оптики.

здесь иногда встречается, живёт брюнетка-художница, блиставшая в Доме художника на Крымском валу выставкой нарисованных таких, на плоских силуэтных фигурах, героев нашего времени — охранников с автоматами, продавцов свиных голов... плоские манекены, имитации, грустное зрелище, но характерное тогда, в середине девяностых было. мы всем курсом ходили смотреть...

загляделась на рекламу с очкастой девушкой: что-то в ней тебя привлекло и развеселило. по-моему, отсутствие стекол в очках. реклама оправы? магазин уже иностранный, а вывеска ещё тут старая сохранилась, ромбовидная, белосиняя, восьмидесятых — «Ломо-Оптика». попутный букинист, прямо из жилого подъезда вправо отросший — затянул немедленно: и тут мы сходимся и расходимся, путешествуя взглядами и руками по книгам, по полкам и по центральному столу. видимо, твоё присутствие и проглянувшая весёлость подвигли меня на невиданное. выискал в своей кожаной сумке, в кармане — бритву. и вырезал ею фотографию хмурого осеннего Кортасара на фоне парижского моста — из «Игры в классики», того самого издания 1986 года, которое первым прочитал, до собрания сочинений которое было единственным. весёлая и осуждающая, ты, тем не менее, не торопила, глядела свои худ. альбомы и толстые тома по архитектуре, и Кортасара за пазухой я вынес медленно. но мы всё ещё чужеваты, неразговорчивы — вроде бы и непонятно, зачем встретились и идём. спасает твоё внимание к люкам под ногами, возобновление нашей игры, как под мостом за Котельнической.

— Так-с. Люк клетчатый, точнее, сетчатый. Гэ,Тэ,Эс... шрифт футуристический, как у Родченко. Это конструктивист такой. Вон и дом серый на той стороне за церковью — не случайный, тридцатые, кубизм. А этот люк уже другой стиль... Гост: три шесть три четыре тире шестьдесят один. Значит, эти люки с шестьдесят первого года разработаны.

— С вминающимися квадратами...

— А этот сам тысяча девятьсот шестьдесят восьмого люк.

— Как раз та самая парижская весна, в честь которой тут, на Герцена, — помнишь, рассказывал? — баррикаду сооружали этим летом.

«Кооператив Москвич» — табличка над помойкой привлекла твоё внимание старосоветским шрифтом, жёлтыми по чёрному крашеному изнутри стеклу буквами. а перед табличкой, ближе к нам, развеселила тебя львиная мордочка в вазончике на старой, неизвестно с каких времён прилепившейся к стене дома колонне, возможно, бывших ворот — может, остаток особнякового подворья. как и табличка, уже стала она антикваром, рядом с букинистом — тем более. затем в сквере перед домом композиторов собираем с рябинки ягоды. горечь и кислота, через гримаски, будит моё желание говорить и тянуться к тебе, друг к другу.

— В следующий раз я тоже придумаю тебе маршрутец, это уж будет мой день. Такими ягодами накормлю — эти мёдом покажутся!

суровая моя сегодня. но в обнимку уходим в туманистую мглу вдоль Дома композиторов под уютное клавишное течение, звучащее из кафе, из подъезда. идём под солидными балконами, а впереди — церковный задворок, у которого столпились сырые и убогие. вероятно, тут дают бесплатную пищу. среди них — панки, лица наркоманистого вида, заметно они младше нас, уже опустившиеся до нищеты. те, возможно, что недавно еще у стены Цоя пели — арбатские дети перестройки. но мы не задерживаемся обонянием и взглядами там, в кислой нечистотной затхлости и среди их запачканных пыльных балахонов «Арии» и «Кино» (такой странный итог этой эстетики — на бомжах): нас дальше туман утягивает. и, словно в сонном, снотворном этом тумане мы переходим под Тверской, после того как ты стянула к себе мужские взгляды у Телеграфа, обнятая мной. моя девочка. демисезонная одежда не скрывает твоей привлекательности. да, это она, моя женщИнка — после летней с ней встречи, здесь же: вот мы тут идём, среди многих, но идём не по делам, а по своему наитию.

вплываем в Камергерский, теперь все Твои подробности сконцентрировались опять в ней, моей спутнице. и мой жадно ласкающий взгляд — то на её зачёсе волос в пучок от шеи, то на правом ушке.

знала ли Ты, Столица, что они, летние в Тебе путешественники — так за-просто пойдут на подъём Камергерского осенью мимо «Педкниги» и предлагающих учебники говорунов и войдут в Кузнецкого моста ниспадающий к Петровке коридор?.. туман не постоянен, его впереди слабо просвечивает солнце над двухэтажным угловым домом, где филиал ЦУМа. а я всё её обнимаю, мою женщИнку, словно это ощущение, точнее, желание его не насыщаемо. и заходим в «Букинист» зачем-то, по логике — от предыдущего посещения. но не за книгами же. вероятно, чтобы за размашистыми стеклянными дверьми встретить в лицо ветерок с водопроводностью и книжностью вместе, чтобы подышать у краснодеревесных прилавков старыми обложками, клеим корешков книжных, культурным, сдержанно сладким ароматом древних страниц. Леонида Андреева бордовый с современным шрифтом шестой том тут купить нужно будет, но не сейчас, конечно же... ведь ничего не видим, мы идём теперь, движемся, смотрим — только чтобы иметь повод быть вместе. так вышло, Столица. поэтому, когда я обратил её взгляд на мозаику, венчающую современный дом напротив букиниста, — она поняла без слов, что это тоже здание, сулившее её. с этим лёгким

цветочным женственным пушком, скорее похожим на нарост водорослей внизу — над подъездами. окошки овальные и похожие на бойницы. жаль, нельзя рассмотреть верхнюю мозаику, высоковат для этого дом. что-то на тему царя Салтана, и цвета как из детской книжки с картинками Васнецова: кажется, коршун над острыми синими волнами лукоморскими, «доколе коршуну кружить?». с изразцовой перламутровой кольчугой, цвета блёклой морской волны, растительно-зелёный ниспадающий, цветущий и водорослевый модерн с маковками, словно шлемами витязей наверху, как у дома напротив моего, через Каретный. дом — морской мираж, дом, из двора которого я был недавно, до тебя, изгнан охранником, так и не увидел его оттуда — в дождь, в осень прошлую.

У него двойной двор, у этого дома.

— Как это двойной? А пойдём посмотрим?

наискось вправо с бордовой лестницы Академкниги-«букиниста» перебегаем узкий Кузнецкий, и современная махина дома тянет нас в арку. позади — над высокими окнами Академкниги по бокам от центрального овального окна на втором этаже развалились парами мясистые купидоны с колчанами полными судьбоносных стрел, нам уже доставшихся. лежат амуры, арку образуя (в каждой паре левый Купидон — пузатее правого) и лениво раздумывая — в кого бы ещё стрелнуть. над арочным влекущим углублением подъезда слева выступы перевязанных лентой растений-вьюнов напоминают цветочной женственностью твой межножный пушок, виданный и целованный ниже мной там, на крыше над Кропоткинской. на этот раз внутри в проходной полутьме не видно ни охранников, ни кого-то ещё. время такое, все работают. здесь в безлюдье мы мгновенно почувствовали себя свободнее, в своей отдельной стеной стихии. стиль помогает, наш модерн. снаружи по Кузнецкому, особенно по дальней пешеходной части, продолжают идти целенаправленные люди, а мы укрылись тут, в первом проёме этого современного возвышения стен. ты, словно оказавшись одна на поляне, идёшь впереди меня, весело и внимательно глядишь вверх, в окна широкого колодца в твоём Городе.

— Нет, давай дальше попробуем, тут же ещё арка — там твой второй двор?

— Да, не попал я туда однажды внутрь, интересно.

— А тут ворота, как в «Буратино», может, там что-то никому не известное?

— А мы их... Ну-ка... Поддаются.

— Надо же, открыты. Просочимся?

— Даже свободно.

— Сказочно тут так, да?

поцеловала первой, внезапно в темноте арки, словно согласилась — здесь можно. и по стенам арки, выходя влево на свет, мы словно по скользкой поверхности теперь плывём, спешно открыв друг другу изголодалость взаимную. точно спал запрет улицы, официальность некая. ты чуть отодвигаешься, но губы неотрывно вместе наши, я, наверно, слишком тороплюсь, но одежда тебя пока спасает от стремительных нисходящих ласк.

этот неведомый второй, рассветший вокруг нас двор встретил странной атональной, сумасшедшей музыкой, тут идёт репетиция в верхних окнах — то

ли настраивается симфонический оркестр, то ли это сама музыка такая. не имеет выхода этот двор, каменный мешок. но нам хватает пространства и всех этих стенных неожиданных выступов, ты теперь тоже знаешь к чему торопиться, прижатая моим очередным порывом — в знакомом чёрном вельвете на уровне пояса, и ниже нащупываешь и ободряешь стремящийся к тебе твёрдый вектор. уже и курточку твою расстегнул, и кожа ощущаема... и стены подпевают нашей интенсивной встрече невозможными созвучиями из верхних открытых окон. сочетание атональных скрипичных рывков и моего целования твоих ключиц всё ближе к груДкам словно прелюдия, но мы уже по круту обошли весь двор, серое небо над стенам нам сопутствует, словно кружит здесь, на дне Столицы, в современной чашке. твои отступающие движения и моё наступление — такая замедленная погоня, словно вальс, диалог наших ласк под непонятную, непредсказуемую и наступательную, как моё сейчас стремление к тебе, музыку. словно во сне, в головокружении перемещаясь вдоль этих стен под безумные звуки струнных, мы снова, наконец, оказываемся в темноте арки, ты вся уже расстёгнутая моими стремлениями — смеёшься и опасно выглядываешь в сторону приоткрытой нами двери. надо тебя застегнуть теперь. и это так приятно, что-то неожиданно детское или, наоборот, родительское в этом занятии, как в детском саду друг друга застёгивали детки.

— Ладно, это уж оставь, а то с тобой жарко. Смотри-ка, там ещё дворик сбоку, заглянем? Я просто интересуюсь — только ли тут внешний модерн, с Кузнецкого?

— Заглянем-заглянем. А я просто интересуюсь...

— Ну же! Ну тут же увидеть могут, из окон, с улицы... Не надо, давай лучше там. новый вытянутый перпендикулярно Кузнецкому дворик, поУже, вбирает нас, теперь глядящих вокруг, поглощённых созерцанием салатовой стенной окантовки баз особых тут признаков модерна. чем я, отвлечшись от этого занятия, первым воспользовался: зацеловал доступные участки твоей шеи и снова вернул нас к прерванному диалогу уст. но тут резкий скрежет из подсобки в углу двора оборвал наши нежности — там, оказывается, рабочие курили и видели нас, вероятно высказывая прогнозы. просто когда я снова, обнимая, стал теснить тебя к стене, работяги пошире открыли дверь, она и скрипнула внизу об асфальт. ты смутилась, рванула мою руку за собой, и мы бежим из этого лабиринта дворового, не такого уж безлюдного. на улице быстро вливаемся в быт.

показываю тебе треугольник перед пересечением Петровки и Кузнецкого, который до революции был превращён владельцем земли в сквер. не веришь. теперь асфальт на этом месте. и, что интересно, до сквера там тоже всё было замощено. ангелочки подпирают филиал ЦУМа, в котором теперь рыночный ассортимент — кофточки и прочее, и лампы, как обычно. как такие маленькие создания держат на себе тяжесть? маленькие аппетитные детки в вынужденных позах. ты оживилась в приближении к своему МАРХИ, но решили туда не сворачивать — мерно поднимаемся по корявой брусчатке Кузнецкого. пробираемся мимо сувенирных лотков, картин, выдёргивающих мой взгляд к себе

нарочитой блондиночьею наготой или необъяснимыми фигурами-абстракциями. но восхождение продолжается, над Кузнецким нависает надпись «Банк», без конкретизации — такой штамп эпохи. и часы там показывают, что вторая половина слабнущего в туманном удушье дня бессильно, стремительно спадает к шестёрке. какие они маленькие после лета, Твои улочки. вот троллейбус пробирается через пешеходную улицу — чтобы повернуть за нами.

а мы заблаговременно перешли на сторону того самого «банка», чтобы не толкаться под хозяйственным. почему не говорим? или говорим что-то попутно растворяющееся? потому что ждём чего-то большего, другого общения? да нет: этот щебет необходим, но он уже ничего не сообщает. а необходим для движения в Тебе — в нём отражения ближние и дальние. ты о своих бабушках рассказываешь, про то, что переедешь от своих родителей, возможно, после первого семестра. указываешь мне на конструктивистскую площадь впереди и, тут я (как обычно и в одиночном хождении) теряю ориентацию: мне кажется, что между сошедшимися ребристобалконным прямоугольником башни клуба «Динамо» и закруляющимся углом КГБ с плоской смотровой площадкой наверху — проезд не к Мясницкой, а к «Детскому миру», к Лубянке. из-за изгиба Кузнецкого — такое смещение.

нас пропускают эти хмурые здания — в них нет ни ЧК, ни КГБ, ни камер напротив нет наблюдения за кабинетами (за кем следить, в чём подозревать?), там досаживают свой век защитники сгинувшего отечества. от которого тут над массивным входом — только греб серпасто-молоткастый, где весь земной шар авансом увенчан советским символом над темнокаменным входом, да ручки тоже информативные — наши. ты говоришь, что все здания Щусева похожи и входные части всегда тебе напоминают мавзолей. что ж, это правильно, отвечаю: монизм, как нас учили. единостилие здесь необходимо.

машин нагромодили... но нам они не помеха — лавируем, держась за ручки змейкой, и оказываемся на другой стороне, пока из ворот Центрального гастронома выезжает синемордый ЗИЛ с серебристым фургоном за спиной.

всё входим, вживаемся в Тебя осеннюю, заселённую и заставленную личным автотранспортом.

— Тон-тон, смотри, какая терраса. Хотел бы там чай пить?

видимо, моё объятие тебя всё же согрело через куртку. терраса, выход со второго этажа в давнишнюю природу — на высоких чугунных, выпуклополовых, словно крупного вельвета, ногах. древняя, но ровная. а вот прямо по курсу и «Т-во М. С. Кузнецова», обнаружившаяся старая надпись, вдавленная гранями в стену. ухает справа над магазином колонка — танцевальная версия «Ясный мой свет» Булановой. под этот ритм совсем неудобно переходить улицу: машины так и льются безостановочно, а чтобы выглянуть — надо отпустить тебя. светофор всё не меняет красный гнев на зелёную милость. и всё же, не сговариваясь, побежали — опередив и машины, и светофорного настроения смену. мы словно скользим с тобой в слабом тумане по холмам Столицы, наблюдая Её дальнюю — ту, что видели тут же рядом, летом, за магазином «Охотник», где Пушкин скрывает торцовую стену...

глянул поверх тебя туда, в наше прошлое, но тут же вернулся к пути нашему сегодня. входим в Златоустынский. нелетняя частота прохожих. путь вдоль уличного крытого магазина узок, здесь открыты люки, что-то в них делает группа курящих там и говорящих близко снизу работяг: так мы тоже слышим вЫзвукИ Тебя, входим в ещё один уровень, учитываем теперь и его, неотъемлемый от верхнего, асфальтного.

и дело тут не в том, что мы могли бы пойти сейчас налево и заплутать вокруг, пожалуй, конструктивистского опять дома. мы просто никуда не идём — в этом и секрет нашей миссии. поэтому идти прямо вовсе не банально. особенно когда по пути открываются люки в пОдземь. и «кОпи джЕнерал» нас привлекает только как встречный-поперечный. как ещё один люк — правда, в повседневность, где нам вполне вероятно придётся сюда зайти, чтобы что-то отксерить. вот рамы по правой стороне, напротив — другое дело. я даже сразу и не понял, что тебя привлекло там — может, афиша «Мумий тролль»? нет, рамы, с маленькими колоннками, на которые клеят афиши. они аутентичные, как ты часто говоришь. и твой голос, пока я смотрю на эти рамы, стал уже настолько знаком, что это вполне может быть и мой комментарий — учусь у тебя подсказывать взгляду архитектурные термины. люки снова, слева невнятная вывеска, «Пропаганда» какая-то — клуб, вроде бы, слышал о таком. да, клуб: оттуда тянет вековым каким-то, непроветренным, с сигаретным духом помещением.

Макдоналдс не пахнет ничем, хотя толпа с Маросейки входящих-выходящих непрерывна и должна бы выносить с собой какой-нибудь съестной запах. да и некогда принюхиваться — бегом через Маросейку, пока справа только ринулись со светофора машины и троллейбус. повернули в ближайший направо отрог и — вид неожиданно величественный впереди подхватил и стал тянуть нас: высотка, та, что со здешней крыши нами летом наблюдалась — там, возвышается за склоном и осенЮющими деревьями, крышами домов предыдущих эпох. она ли виновата в приливе фантазийности и авантюристности? не пошли прямо по склону — к тому самому месту, куда выбрались от общаги, к афишам напротив синагоги. нет, мимо мемориальной доски некого Абрама Ефимовича прошли, сё не разобрав, и, увидев загадочный, затянутый решёткой-паутиной верхний балкон на эркере дома, скользнули через переулок в подъезд, который на диво (при кодовом замке) был отворён.

а тут — шик. степенная лестница, тишь. мало квартир на этажах и ниши в углах, по ходу лестницы. поставил тебя сразу же в такую нишу. позы разные принимала, наподобие античных — неудобно рукам, куртку сняла, жаль, нет фотоаппарата. поехал лифт, мы затаились. потом решили спуститься — и спрятались под лестницей, в темноте, где наконец дали волю ласкам, сначала губам, потом рукам, я — даже чересчур и поэтому, за попытку приблизить своего детского корреспондента к твоей заветной влажности, путь к которой прокладывал немислимыми усилиями, был остановлен нежным, но строгим шёпотом:

— Нет, так не пойдёт, не здесь.

не то чтобы обиделся, но спрятался в замешательстве и умолк. вышли из-под лестницы, и ты, чувствуя, как гудит между нами тишина, положила мою ла-

донь куда полагается — на талию себе и, выйдя из подъезда, стала объяснять, что теперь нам нужно более подходящее помещение, чтобы почувствовать всё полностью. что теперь уже можно и что пауза была необходима после того дождя и нашей последней крыши. теперь можно! и можно тебя, вновь одевшуюся в куртку, увлекать дальше вниз по Большому Спасоглинищевскому.

Значит — лучше дома?

— А ты как думал? Именно, именно.

— Может, прям сейчас — ко мне?

— Не сейчас: и ты, и я после институтов. К тому же я немного простужена.

Надо бы сегодня полечиться... Слышишь, там наверху пианино играет?

— Вроде, да. А это не радио?

— Нет, вон окна открыты. Кстати, опять конструктивизм. После углового эклектика — вон какие оконища. Это он, родимый. И угловатость характерная.

— Что-то играют напоминающее Генделя. Точно, это менуэт, я его сам разбираю и играл.

уходим всё ниже, проскальзываем мимо синагоги с углублённым входом за колоннадой (и странным люком, словно для наклонного вниз конвейера, как в магазинах) в тумане к лиственному ветерку, с суховатостью, с грустью. листья слева — наши летние соглядатаи. вот какая им судьба, желтеют по краям, выцветает бывшая блестящая зелень кое-где. и впереди — перекрёсток, уже столько раз нас видевший. не дожидаясь светофора (а его и нет для перехода здесь), сейчас же перебегаем по кратчайшему и запретному пути, перед поворачивающими прямо-направо машинами.

все здесь — соучастники: вон и серый доходный дом, на крыше которого мы были, поглядывает старыми окнами в старых коричнево-деревянных рамах. но справа светлый административный дом не таков, этот отвернулся и отдалился за кустами от прохожих. на церкви, разрезающей течение Солянки на неё саму и Подколокольный переулок, — всё тот же самодельный крест, кладбищенский почти.

а мы — в своём аритмичном совместном восприятии (помпезная табличка Сбербанка справа, слева — ряд старинных домов, меандр, тобой замеченный в отделке, и атланты). в разговоре и движении в Тебе мы в приближении к одной из Твоих вершин, одной из верхних вех, к высоте. я тебе — что-то про Маргариту булгаковскую, но силён шум проезжающих машин, и мы шагаем быстрее мимо спортивного какого-то учреждения в старинном длинном здании. туман приобрёл освежающий привкус тут, ближе к Яузе и мосту через Твою реку. а мы с нею, с моей девочкой — сегодня быстры, но почему-то пробегаем уже раз пройденным путём не на мост, а под него и здесь же, ни секунды ни медля, поговору словно, снова гасим зрительное пространство ради медленной беседы уст.

мост — замечательная опора и убежище. низко гудит от проезжающих по нему трамваев, чем только и обозначается время. а нам многое нужно теперь сказать — то, что было оборвано в подъезде под лестницей моей поспешно-

стью. новые, новые какие-то мы, тут нужно рассматривать друг друга, открывать глаза, целовать не только то, что позволяет одежда (шею, плечи, твой треугольник родинок, симметричные звоночки). ты, моя женщина, права абсолютно — не здесь. то есть этого «здесь» нам уже мало. и Столице придётся отпустить нас в жилище, к горизонтали. а мне тебя нельзя тут держать так долго в этом холодящем наши жадные вдохи тумане, особенно под мостом он промозгл. возвращаемся на мост: от решётки с серпомолотами, которая отгораживала нашу нишу ласк от автостоянки, — к решётке, похожей на рисунок шишечных чешуек, волнистой внакладку.

под надзором с высоты мужчины, женщины и герба, который они держат, мы перебираемся в замоскворецкую осень, обозначившуюся светлой, пыльной прожелтью на листьях деревьев, выглядывающих из дворов справа, у зеленоватой колокольни и ближе к торцу здания с отвалившейся в виде восклицательного знака штукатуркой. справа — гостиница «Россия», Кремль и МИД за ним совсем в тумане, едва виден. какой-то грустноватый наш путь сегодня в смысле погоды. и молчаливый после откровений губ.

туман перешёл в морось и твой зонт вновь пригодился, снят с плеча и взят мной повыше — чтобы на тебя не сыпались эти пылинки. оставаясь на пальцах, они холодят. и в этой влажности смазаны и далёки светофоры перекрёстка, что завершает мост. чёрные козырьки светофоров — тоже теперь вроде зонтиков, а красный, рифлёный сетчатым стеклом свет продолжает дробиться уже по каплям мороси, свечением становится. но вот он сбежал через жёлтый в зелёный. машины, что шли попутно нам, тем не менее, норовят повернуть и не пропустить нас. этот жигулёнок-«шестёрку» мы ещё пропустим, эту красную BMW тоже, а перед «газелью», стоймя везущую рамы ПВХ, — бегом. зонт как крылья — ловит наши скачки и трепещет в моей руке, но не улетит, надеюсь.

ещё одно безразлично-административное здание, белое. семи-восьмидесятых, как ты его сразу же датировала. рядом с ним вместо сквера асфальтируют автостоянку, что под моросью выглядит как-то сонно или сказочно: пар из-под колёс катка, асфальт, блестящий не только сам по себе, но и от влаги, на него лежащейся. торопятся, в такую погоду плохо работать.

а вот мостик поменьше, уже знакомый нам, под ним катаются по воде, выглядывают под морось утки. и так же пробегаем узкий коридор под ещё зелёными кронами напротив длинного доброго дома с закруглёнными сверху окнами первого магазинного этажа. листва шевелится скорее не от мороси или ветра, а от движения мимо трамваев. старый квасной, закрытый, видимо, уже навсегда, ларёк выглядывает навстречу с холмика у торца старого дома, ступаются лавочки и накрытые тентами лотки, в основном со снедью, сейчас никакого нашего внимания не привлекающей. действительно, стало холодновато. это из-за облепившей нас мороси и слабого, но пробирающего по этой мороси кожу рук и лиц ветра.

да, скорей в метро. и внезапное тут на эскалаторе наслаждение — стоять мне ниже тебя на ступень и тихо обнимать снизу, прижимать тебя и дышать расстегнувшим куртку и пахнущим нахоженным телесным теплом моим сокрови-

щем. водолазка бежевая — вот что мешало целовать твою шею. добежали до середины зала, и именно тут ты, немного пошмыгивающая носом, отогретая накопленным за лето жаром метро, с влажным от мороси лицом — решила прощаться. мол, надо принять превентивные меры от простуды, а то есть подозрения. да, конечно, езжай скорее. и почему-то эта сцена совсем опускает в грусть мои, там взлетавшие на поверхности вместе с ласками под мостом, мысли.

— Пока, Тон. Милый, пока. Обязательно позвони мне. Вечером, ладно?

— Сразу же выпей горячего и желательного с мёдом чаю, укутайся и не давай себе ни разу чихнуть. Пока.

увозит тебя к «Театральной» поезд, гляжу вслед. почему не поехал с тобой? зачем-то отпустил так быстро. и теперь, словно и здесь туман, переселившийся уже мне в мысли — иду по переходу в конце зала на «Третьяковскую» и возвращаюсь к «Сухаревской», моей «Колхозной». её колонны — стилизованные, абстрагированные снопы колосьев, перевязанные посередине. долгий-предолгий эскалаторный раструб. зато на выходе сразу влево, поворотная лестница, наклеенные прямо на фонарные столбы афиши «Мумий тролля», через церковный дворик, мимо величественного с колоннами наверху пегого дома — в Малый Сухаревский переулок.

осень слегка засушила, сузила наши перемещения в Тебе. я — от Большой Никитской улицы Герцена к тебе на Кузнецкий, к родной пирожковой. и оттуда однажды, не завися уже от твоих новых друзей и их планов, оторвавшись от их снабжённого огромными папками для ватманских листов роя, идущего преимущественно к метро «Кузнецкий Мост» — увожу тебя к себе, к Трубной. но — вслед за отлётом вниз к Сандунам Звонарского переулка и вида там зависшей над Неглинной ажурной чёрной вязи на крыше тринадцатой поликлиники — уже не я тебя, а ты меня уводишь — к воротам монастырским, посмотреть кельи. успеваю только, остановив тебя у начала Большого Кисельного, указать на песочного цвета дом угловой вдали.

Вот, одно из лиц Столицы.

откуда такая формулировка взялась? но ты не отвечаешь, увлечённо подтягивая меня к угловому скромному, давно не ремонтировавшемуся одноэтажному домишке, со старыми окнами и кровлей, за которым — монастырь, тот самый женский, колокола которого звонят высокоголосом «К нам, к нам, к сиротам». надо же, так запросто свернули с Рождественки на территорию женского монастыря, заплутали в Столице, но уже немного другой — тоже бытовой и близкостенной, пахнувшей и извёсткой, и обедами некими, картошкой... но это Её часть отдельная. быт внутри быта. сам в себе, но открытый всем ветрам. может, плохо, что мы держимся за руки? на нас исподлюбя, раздумываясь, взглянула молодая черноволосая монашка, идущая с узелком от подъезда к воротам, навстречу нам. но в этом наша правда и естественность. мне нужно чувствовать тебя через твою ладонь, всю твою динамику, шагая: словно ты и я вместе — это кисть, рисующая дальнейшее, ещё не видимое за аскетичными

стенами. почему же нужно разнимать наше тепло в этом замечательном месте? тут осень надула палых листьев под стены. и здесь мы умудрились заплутать в лабиринте церковного, школьного зданий и какой-то стоматологической клиники, проход к которой — тоже через монастырские ворота. такая особенность, мирской на этом участке монастырь. и дошли наконец до келий с обычными, ничем, кроме низких занавесок, не закрытыми окнами.

низ бело-серого дома, образующего целую стену, — замшелый. здесь никакого ремонта не полагается, тут время застаивается, его не продувает, как снаружи крепостной стены монастыря, у которой расстреливали солдаты Наполеона обвиненных в поджоге москвичей... мой рассказ тебя меньше вдохновляет, чем вид центрального храма — хочешь прийти сюда с мольбертом обязательно, когда осень совсем разбухнет и тополя все ожелтеют. обещаю быть с тобой тут, сторожить мою рисующую. приняв это решение — выходим из монастырского, открытого и такого мягкого, незлого быта, ветерков междустенных трапезных. тебе интересно, как они тут едят. думаю, вместе, в одном из домов. уж точно не в трапезной самого храма, какого-то неживого, возможно, из-за внутренней реставрации. выходим из ворот как из какой-то тут притаившейся давней эпохи, но ставшей в нашем дне частью Твоею.

ещё ты разгорячена своим МАРХИ, лекциями, и замечаешь по обыкновению стили: свернули в Нижний Кисельный, где на углу — конструктивистский дом с палубными, корабельными балконами с заградительными сеточками, а внизу круглая колонна поддерживает всю балконную вертикаль. и мы — мимо неё, заглядываем во двор, там старь кирпичной стены, долгостоящие легковые машины и помойка, к которой жмутся сухие листья. шаги здесь уже по лестнице с длинными ступенями, так сконструирован тротуар: два шага на одном уровне, третий вниз. дома слева, косо держащиеся друг за друга, — трогательны. железная дверь в одном из них кажется самой тяжелой частью конструкции, что вот-вот выпадет. незамысловатое содержимое квартир: одно окно закрыто вишнёвым одеялом, в другом — склад телевизоров или видеотехники. снижающийся Нижний Кисельный отдаёт нас Неглинной и бульвару её. угловой слева — тоже манит открытыми окнами со старинным уютом, люстрой низкой, снаружи дом — с запылёнными тёмно-кремовыми стенами, старыми маленькими рамами.

но мы уже шагаем вдоль длинного трёхэтажного дома, доходящего до угла на Трубной — на котором венчик для флагов. вдыхаем слева протянутый сквозь нутро длинного, на секции поделенного двора, ветер с густой стариной, с двухвековым ревматизмом дома, стоящего на берегу реки, что забрана в трубу. поэтому на проезжей части такие широкие, многосекционные люки — спуск в трубу, которая наводняла до революции Москву, всплывали всякие ужасы. но этот рассказ тебе сразу не понравился, и не спасла даже моя ссылка на Гиляровского. в нише за парикмахерской — афиши «Умка и броневичок» в клубе «Форпост». солнце высвечивает Трубную и десятилетнюю ограду строительства метро. а мы уже, словно уловленные тянущим наискось через переулки магнитом моего дома, скашиваем путь: не доходя аптеки, срезаем через проезжую часть,

ещё не заполненную у светофора машинами — путь к театру с ангелочками при серпе и молоте. здесь в афишах — «А чой-то ты во фраке?» и «Пришел мужчина к женщине» дважды с Филозовым.

«Ведёт мужчина женщину» — так можно было бы назвать наше занятие. сложная динамика перебегания части Бульварного кольца и выстаивания около заслонившей Петровский бульвар коммерческой палатки «Смак». предприятие Макаревича, никак. но вот короткий перерыв в машинном потоке, текущем вниз со стороны зеленеющего дальнего продолжения Бульварного кольца за Трубной, — и мы перебегаем узкую проезжую часть, пока не начали поворачивать с Цветного. увожу тебя в свои закоулки. угловой гастроном выдыхает сырно-металлический прелый запах старого помещения. ремонт часов, с вывеской, на которой изначально стрелка остановлена на без двадцати двенадцать, пельменная, закрытая давно. провожу мимо переулка, которым выходил не раз в поисках тебя. показываю. тебе интересно приблизиться к моим краям и увидеть дом. обещаю это скоро. но сначала, миновав ларьки и сопливо-аппетитный гриль, завожу внутрь квартала и показываю белостенную с вертикальными линейными углублениями школу, точь-в-точь как моя по конструкции, да ещё и учиться тут мог бы, приводили. но не захотели — и отправился я на Арбат в свою экспериментальную, ту самую, где ты лист подцепила туфелькой: с собой к подруге в гости. в нашем школьном дворе — нет, а здесь сильно летний ураган поломал деревья: большой и высокий тополь попилили и вывезли уже, остался вопиющий широченный обрубок, высокий пенёк, не выпускающий своих цепких корней из почвы. дворы мои, дворы, детская площадка перед школой, а за ней дом, который тоже тобой манил меня прохожего. но нам теперь есть зачем торопиться — не говоря ни слова, мы уже не стремимся останавливаться, разглядывать. мы бежим ко мне домой за продолжением начатого на крыше над Кропоткинской. и это холодит изнутри в солнечном сплетении как перед медкабинетом, но и греет ниже, растёт, стремится. мельком показываю пожарную команду, мечту детства, тренировочную вышку в её дворе. всё это тут, никуда не девалось, а я уже веду новую часть своей личной истории тут, мою девочку, мою уже женщину. огибаем административное здание при пожарке. тут ты всё же останавливаешься и долго глядишь на дома, что напротив — которые от Первого до Второго Колобовского переулка — 13-й и 14-й.

— Вот мы и встретились...

— В каком смысле? Ты номера домов имеешь в виду?

— Не только. Слева — моей бабушки дом. Тут она росла, отсюда бегала в «Эрмитаж» на танцы... Эти домики — как мы, обнялись, один повыше, другой пониже, срослись и стоят так довольно.

— Пойдём?

— Сейчас, ещё немного тут постою. Тут как-то особенно тепло на солнце и уютно.

да, это место такое, здесь можно жить в тишине среди деревьев и пожарных машин, словно в слободке отдалённой от всех магистралей, окруживших квартал, в

самом центре. сегодня и день тёплый, мы без утепления, а на тебе помимо байкового на ощупь сарафана только длинный бежевый свитер тонкой ажурной вязки, словно ризы на деревенских домиках. под свитером мягко выделяются две волны, которые я жажду обласкать, тебя прижать к себе, со спины, вот так — жмурящуюся и улыбающуюся сквозь свою ретро-медитацию. целую открытую, такую доступную а разрезе свитера шею загорелую и вкусную солоноватой уличностью Твоей, процеловываю, вдыхая твои сантиметры: покатый путь шеи к плечам, ключице, зацеловываю просто в нетерпении, щекочу неизбежно, а ты всё сильнее улыбаешься при всё более мечтательном прищуре. но всё: подхвачена за талию, и увожу через блестящие радужно небом и бензиновыми разводами из-под колёс выпуклобоких пожарных ЗИЛов лужи, веду тебя своими коридорчиками тут, к родным яслям.

Тут был мой микромир, когда я ходил в ясли, и позже. Пожарная команда казалась краем света. Мечтал стать пожарником. Серьёзно.

— Граффити на заброшенной стене... Весёлый дворик. Так и что, где тут твои края света находились?

— А вот сейчас покажу, пройдем вперёд. Жаль, тут забор, но всё же видно... глядим между бетонных загоронок во двор старинного того особняка. здесь мы, ясельники, гуляли, играли. половину площадки — стены ограничивали. бордовые мрачные кирпичные стены эти, с тех пор и не крашенные так. вот я и думал, что это моя сказка...

Нам запрещали влезать на такой кирпичный колодец, возвышение там, в углу — якобы на нём гнилые доски и можно провалиться, утонуть. На этот колодец заползало, легло стволom деревце. И я всё же, пока воспитательницы не смотрели, залез: а оттуда видно в угловой просвет между домами небо, другие дома вдали. Сейчас-то и подумать смешно: дома эти, скрывавшие дальнейший мир, — низкие, двух- и трёхэтажные...

— Ты мой нарушитель и романтик маленький. Как Буратино прямо, искал свою дверцу. Но у тебя не дверца, а просвет между стенами... Пойдём дальше по твоему прошлому?

— Да тут уж от прошлого ничего не осталось. Вон — первый и второй этажи тут наши ясли занимали, внизу игровая комната, наверху спальня. Теперь там СОБР муровский.

— Ой, а это военное чудище тут что делает?

— Этот БТР, по слухам, тут с девяносто третьего года, из недоехавших до Останкино от Белого дома.

к яслям нельзя подойти и пройти через дальнюю арку: теперь СОБР всё тут перегородил железяками на ножках как, в метро... поэтому идём прямо и направо к Каретным переулкам. под углом дома с толстой круглой колонной и дощатым потоком.

— Надо же, мы всё время идём наискось — неужели и из этого сквера есть выход?

— Есть выход моего детства, где только мы с мамой всегда ходили и ходим. А мы с тобой ещё более наискось пойдём.

— Мы уже близко?

— Совсем, сейчас переулки закончат переплетаться, мы их переходить закончим, они сольются — Лихов с Малым Каретным, и мы пришли. Вон в том доме по ту сторону была, да и есть пока вроде бы, текстильная фабрика. Наверху в окне, помню, по вечерам женщина работала с таким чемоданом: что-то туда клала, закрывала, и пар шёл.

— Чемодан... Возможно, такой способ гладить или термическая обработка какого-нибудь плиссе-гофре.

надивившись вдоволь на долгий загиб, на конструктивизм гаража, из переулков выныриваем в солнечность и выпуклость Каретного Ряда, поднимающегося к Садовому. тебе улица совсем незнакома, указываю, куда твоя бабушка ходила, «Эрмитаж» — одновременно к нему перебегая наискось, к новому входу. говоришь, осмотревшись к напра-налево и к Садовому:

— Мы почему-то к бабушке ходили всегда другим путём, на Каретный не выходя, по бульвару.

— Здесь всё иначе было. Вход правее и глубже. Вот эти деревья находились вне «Эрмитажа», на краю плитчатой площадки перед входом. Когда-то тут асфальт лежал — теперь земля. А то здание Зеркального театра, теперь «Новая опера», по-моему, Шехтель проектировал. Твой модерн многоуважаемый.

— Да, вижу, и ограда под стать, но с пропорциями плохо. Но тут что-то добавлено. Вообще кажется новым здание.

— Так и есть. Сломали и с нуля восстановили с немалыми прибавлениями. Пристроили вверх этажи, раньше там только декорации хранились. И вот этот округлый выступ пристроили, кассы.

— Это, вероятнее всего, лестница.

— Не знаю... Но торчит теперь здание в сторону Каретного дальше прежнего. А вот и мои пенаты.

— Твой дом? Знатный.

— Видишь балкончик полукруглый на восьмом этаже в обрамлении лепном тёмном? Там наша квартира была. Отец меня иногда за ограду балкона переставлял — я снаружи держался за палки, ходил, не боялся ничуть. Он у меня лётчик был, приучал к высоте.

— Жуть. Я бы испугалась.

— Но сильные взрослые руки-то держат, страхуют. Мама тоже не понимала этого. А мне, ребенку-то, что? Игра... Ну вот, пришли.

вверх вместе в лифте, весело переглядываемся. бабушке тебя представляю, она в своём синем шерстяном спортивном костюме, улыбается, приветлива и светски заинтересована. ты ей понравилась. обедаем картофельным супом вместе, знакомитесь, твои глаза такие большие и иногда смущённые — привыкаешь к пространству, к голосам и запахам... от второго отказываешься, только гречку принимаешь и яблочный компот.

и всё это — блуждания в монастыре, обед, комнаты — слилось с нами вместе у окон: сначала у кухонного, когда бабушка вышла, а потом у моего балкон-

ного. обнимать тебя сзади, глядящую в мой двор, любующуюся поэтическим, как сейчас назвала, пейзажем — так трепетно, такое погружение... и ты тоже закрываешь глаза, позволяя себя так обнимать, помогая себя обнимать: перекладываешь мои руки с талии выше. потом прикрываешь дверь и садишься на диван, положив себе на колени одну из подушек. заминка. но придумываю неожиданный выход: экскурсию на мой чердак.

вытаскиваю ключ одной из дверей комнатных, подходящий к чёрному ходу, и — предварительно, дав тебе переодеть твою нарядную водолазку на мой свитер, более грубый, с чёрным квадратом Малевича во всё пузо — вперёд. лестница чёрного хода узка, но проходима. нам попутны, лезущим вверх, стопки журналов, мебельные схроны, даже разобранный велосипед с лежащими в куках на ступенях запчастями — его нужно очень аккуратно перешагивать.

— Слушай, а мы точно выйдём на чердак так? А то, может, зря пылью дышим?

— Не зря, слушайся поводыря.

лезущая вверх изыщность, почти лицом упираюсь в твои ягодички под свитером, так их и куснул бы. поддерживаю, но на самом деле ласкаю таким образом, что ты не особенно разбираешь, привыкая к темноте переходного этапа, после этажей — тьма, в которой виднеются линейки-просветы, очертившие дверь. слышно как, щёлкая и завывая, совсем рядом с нами работает механизм лифтовый. оставил тебя на пролёт ниже, поднялся. дверь заперта... на крючок, причём с нашей стороны. раскрыл её — пахнуло древним древесным теплом и голубятней.

за руку тебя провёл на свой чердак. тут пыльно. и, всё же, интересно. ты пошла самостоятельно, сходя с настилов деревянных, лежащих на щелбе. выглядываешь в чердачное окно на Каретный, но видны как раз вдаль твои Красные ворота, высотка. видна Ты, Столица. наконец-то мы с нею видим Тебя с почти полной высоты моего дома.

Вот тут примерно мои окна и были, где это чердачное, выгляни.

— Это Каретный Ряд?

— Так точно. И вон сад «Эрмитаж». Тот, с закутком, будто бассейном — театр «Эрмитаж». Ближе всё крыши «Новой оперы». Помню, наблюдал я из нашего окна, как туда, на большую, словно ангарную, крышу полезли по пожарной лестнице папа и сын. Но их быстро настигли и, не дав вылезти наверх, попросили вернуться.

— А вот это что за жёлтое здание с небольшой колоннадой?

— МУР, Петровка, тридцать восемь. На ней башенка — одно из первых детских моих впечатлений.

— Да, это башня ПВО, такие в тридцатых и пятидесятых строили.

— А я тогда всё гадал, что это такое. Мне объясняли, что, скорее всего, это вышка, чтобы следить за тюрьмой во дворе МУРа, там КПЗ находятся. А вон вдаль — гостиница «Россия» и Кремль правее.

— Вижу. Красиво. В той вашей квартире лучше вид был, да?

— Но я тогда всего не знал, на что смотреть. Не знал, где центр. Петровку хорошо видел, и улицу, и здание МУРа, колокольню ту. Мишку олимпийского,

когда тот летел вдали справа, помню. И широту зубчатого горизонта Столицы, переходящего в небо, словно в будущее переходящего — где стены домов и свет на них играет как по клавишам рояля, и они звучат аккордами первой симфонии Чайковского оптимистическими... ну, как бы объяснить тебе это... Тот, в детском моём взгляде, горизонт Столицы — переходил в долгое, почти бесконечное будущее взрослой, рослой жизни, когда станут видны не только дали из своего окна, а и все прочие, и всё более дальние дали, вся Земля.

— Красиво говоришь. Ты — мой поэт. Решено окончательно.

сначала говорил в твоё правое аппетитное большое ушко, а теперь его целую, переходя к щеке, и ты повернулась в моём объятии, чтобы встретить губы, ответить, поймать эту едва начатую ласку. да, снова за слиянием устным — глубина наша, но в тишине чердака она совсем небывалая. ты пахнешь моим шерстяным, мамой вязанным свитером, и от этого неожиданно домашняя, но и незнакомая, активно отвечающая движениями в поцелуе. моя девочка: обнимать тебя ещё крепче, в этом голубином и кровельном тепле — вот открытие дня, из которого мы сюда поднялись. и так же, как до сих пор, запьянев друг от друга и от запаха голубино, от прогретого через крышу пыльного духа чердака, мы движемся, выползаем из нашего поцелуя, слезаем с чердака, на котором стало ощутимо жарко теперь. тёмный простенок по пути вниз, мимо щёлкающего механизма лифта — уже лучше виден. возвращаемся к знакомому велосипеду, как горные косули перешагиваем через него, всё теперь тут знакомо, это мелочи, нас пропустившие в неизвестную высоту, куда я снаряжался только с дружбанами-отроками лет десять назад. промерив в высоту мой дом своими шагами по чёрной лестнице, мы снова приземлились на диван — теперь смелее.

уже вечер. усадив тебя, при свете красной настольной лампы я принялся за совсем новое занятие — изучать поцелуями твоё лицо, ближайшей зрительной памятью находясь ещё выше, так что выходит наложение вида из чердачного окна на твоё лицо. долгое, очень кропотливое занятие. оно требует от тебя закрытия глаз — в том числе и для того, чтобы целовать твои большие веки и краешки век: именно так их при этом называю шёпотом в целованные уже наверху ушки. путь почти симметричный и непредсказуемый, но чаще всего — поцелуи падают на твои глаза, на веки, их скрывшие. ты даже не пытаешься ответить, это дело, требующее усидчивости. но потом и тебя прорывает, твою расстроенную там, под веками нежность и внимательность — целуешь меня быстро, порывисто, стремительно, словно что-то спеша рассказать. целуешь от лба к шее, и так же, как я, — в веки, в веки, чтобы теперь я не открывал глаз. теперь я в глубине дрёмы, которая непрерывно и иногда щекотно сопровождает устной твоей экскурсией по моему лицу. а потом — чтобы разбудить — щекочешь уши невиданной языческой лаской при тёплом звуке твоего дыхания.

и теперь — новый и постоянный наш путь: от меня к метро «Охотный Ряд», к Твоему центру. путь уже в темноте, так как взаимное изучение лиц губами длилось дотемна. в повлажневшем вечере идти и говорить только руками, пальцами. сначала ты стала задумчива, словно отдалилась, увидев месяц и звёзды

над «Эрмитажем». но затем стала отвечать мне — рукой в руке — давать надежду на взаимопонимание, тоже выдумывая всякие сложные сочетания движений пальцев в моей ладони.

вытягиваясь в упорядоченную линию, Ты раскрыла нам себя уже ночную и годовую вперёд с затемнением ранним, с будущими снегами, которые сейчас невозможно вообразить. а ныне — влажная и байковая Петровка с её воротами, освещёнными окнами зелёного дома над рыбным, напротив которого нужно подождать у светофоров. а пока ждём уже на бульваре, на начале Страстного — глядим в сторону Трубной, которая над листвой нам обещает ещё гуляния и маршруты.

— Тон, мы пойдём с тобой в следующий раз вниз туда к Трубной площади, но со стороны Сретенки, от моего института, ладно?

— Да что нам мешает? Пойдём.

Твой вечер, Столица, бесконечно вместителен. нам хорошо в Тебе теперь, встретившимся и никуда не спешащим, — говорить, мечтать, отвечать на сиюминутные друг друга замыслы согласием. и плавный байковый воздух Петровки вобрал нас и ведёт медленно вниз, а из-за усталости нашей или сонности самой атмосферы — всё выплывающее выглядит как в кино. сначала тёмная стена монастыря и нависающий силуэт колокольни, монастырь мужской, который симметрично тому, что сегодня видели, надо будет посетить. только там собаки злые, вспоминаю.

мимо поликлиники МВД проходим, хмурой, одинокой, — и уже немонастырская, вслед за кирпичной стеной крепостной, Петровка плывёт слева рядом домов: ювелирным и хорошо видной над ним кухней чьей-то с развешанным мелким бельём и окном из кухни в туалет. ты замечаешь, что такие окна делались только в сталинских домах. значит, этот серый дом — самый молодой в том ряду. а наша сторона Петровки высвечена бутиками и парикмахерской, из которой ещё доносится парфюмерный дух, шипровый, одеколонный. арки темны и сказочны, но мы туда не пойдём — слишком устали от лазаний своих и упражнений домашних, внимательности сконцентрированных на изучении друг друга губ.

Столешников вернул наше восприятие вправо, на нашу половину Петровки — после отвлекшего нас налево друг от друга «Ньюс-паба» со звучащей из него Stairway to heaven. хорошо исполняет ансамбль, но для маленького круга. Столешников теннисист, просвет только выше него — к алеющему колоннадному Моссовету ближе, жужжащая там Тверская высвечивается тихим заревом.

Представляешь, Тан: раньше, я помню, тут совсем другие стояли дома, когда улица была обычной, немощёной. Вот тут — остановка троллейбуса была, напротив этого отеля аккурат. Но домины отеля и в помине не было — стоял торцом к Петровке жилой дом и тут же его двор. помню, я всё волновался, чтобы кошки, там гуляющие, не вышли сюда, к проезжей Петровке.

длинный зелёный коммерческий магазин одежды и обуви с полукруглым скатом крыши — «Петровский пассаж» наш попутчик теперь. здесь АлексИс

Кравцов купил себе «казаки» курсе на первом, пока не был изгнан. свет в нём не гасят: смотрим на ряды ботинок, востроносые «казаки», на джинсы, свисающие в ряд. ты проявляешь интерес к рекламе, где серый джинсовый юноша полуобнажён и позёристо напряжён: «О-о...». и улыбаешься сразу же, с хитринкой глядя на мою реакцию.

но и Петровский пассаж-временка, этот тонкостенный вытянутый соглядатай основного древнего Пассажа, уступает своим светом место вечерне-ночному сумрачному духу Кузнецкого моста. он проводит нашими взглядами во всю свою длину, как и полагается при переходе улицы — справа налево. там, где возвышение окончания Кузнецкого слева, откуда два шага до твоего МАРХИ — из полутьмы выблёскивают на угловом доме буквы «БАНКЪ». всё стихло, только ходят, к метро и от Большого театра. и мы вливаемся в течение, врывающееся в междустенный путь: ЦУМ белокаменный, новопристроенный в конце нашего века, и незаметно из него галерей, не прерывая витрин, продолжается серый старый, с готической таинственностью наверху. мы смолкли, идём и слушаем свои шаги — как возврат в масштаб подножный — работающий и в такую позднюю обувную ларёк, армянская пожилая продавщица вывесила шнурки снаружи, благо нет дождя. за ларьком — афиши, скрывающие задворок Большого театра, на них — извечные спектакли: «Спартак» со шлемом и скрещёнными под ним мечами... чугунные узкие колонны, на которых держится крыша над артистическими подъездами, — сгустили над нами тьму, но впереди — просвет Театральной площади, огни вечернего центра высвечивающие, расплывающиеся по фризам и оконным выступам восточно-сказочного «Метрополя», стеклянные его участки крыши сейчас — только тени, холмы, сады Семирамиды будто. а мы всё идём, начинаем приближение к метро наискось, переступаем накатанный, сточенный множеством таких же перешагиваний, вогнуто ведущий к колоннаде бордюра бывшего подъезда для карет, с двумя параллельными, едва видимыми, сточенными полосами-выступами сверху. пробираемся между машинами зрителей Большого — под сень замысловатых изгибистых, как балерины, яблонь, уже пахнущих осенью, уже сохнувших кронами. вестибюль «Охотного Ряда» добро светит нам издали, через ветви яблонь. его предваряет на углу театральный киоск и мельтешение вечерних гуляк по центру — рассеивающее тёплую туманность у дверей, которые постоянно кто-то толкает, а они возвращаются на место, долго шатаясь туда-сюда.

вот и привёл тебя в метро. здесь спускаемся лестницами в более тёплые воздушные массы, слева на стене коридора, уводящего нас вправо, — дверь с заветным числом, а дальше — заложенный мрамором след от окна кассы. не всегда она была наверху. мы стали с тобой сонны, и шаги вместе, и нежелание выпускать руки друг друга даже перед турникетом — всё вошло в тёплый запах метро, продуваемый тоннельными детскими ветрами. и так же медленно — на эскалатор, где я становлюсь ниже тебя — чтобы перед расставанием наглядеться на тебя вблизи. снизу — так удобнее тебя обнимать и вдыхать твой запах вместе с шерстяным, свитерным и чердачным голубиным, пыльным. внизу —

ждём у первого вагона слева, дышим ветром с хлоркой от уборки станции и дёгтем шпал в тёмных тоннелях. издали прорисовываются линии света по стенами, на которых написано темнеющим железом, вбито между жёлтыми кафелинами «Охотный Ряд». сейчас тебя отпускаю, а всё никакие слова не говорят-ся. и у тебя, хотя глядишь пристально и грустнея, словно не хотя того же, что и я, уйти в вагон, разделиться дверьми, этими грубыми резиновыми губошлёпами. но вот решение — резко обнялись и встретили губы друг друга: поспешно ласковые, заверяющие, отрывистые.

Я позвоню тебе. Когда?

— Лучше уж в выходные, я своих опять на дачу отправлю, буду свободна. Звони обязательно, утром, ладно? Ну, пока.

— Пока...

заходишь в вагон, но всё ещё моя — взглядом не отпускаю. выглядываешь оттуда сиротливо, немного словно извиняясь, но всё такая же сказочная и плавная. провожаю взглядом, и ты отвечаешь — вагон с тобой в самый тоннель, в самую тьму пути к твоим Красным Воротам.

а мой путь возвращения неожиданно радостен и печален немного. точнее — из минутной подземной печали в радость возвращения на Твои улицы, вверх. начиная с эскалатора обратного. оптимистично влево глядит коричнево-каменный в мраморной стене Карл Маркс, ведь станция раньше была «Проспект Маркса». прямо видно, как протоптан в каменном полу желобок пути к лестнице, моего сейчас пути влево. тут ещё билеты продают, Задорнов какой-то, Кулачёв на бумажных афишах буквы... театры, театралы. а я дышу только что вымытой, хлористой и влажной, лестницей красноватого камня. и — влево по ней широкими шагами, через одну. только что выпустил мою девочку в Столицу на самотёк. и возвращаюсь.

вечер улицы Большой Дмитровки захватывает прохожими, светом, запахами сигаретно-выхлопными, всё тут родное. и немного от здешнего гульбища, от пивной примеси перегарной в воздухе, идущей от встречных девах и широкоштантных парней — тошнотворен вечер. но я увожу с собой наш день, через этот вечер: чердак, монастырь, целования при красной лампе. и всё это — по сухому асфальту и сквозь пропитанный выдохами и запахами центра воздух. цифровые электрочасы на торце дома с другой стороны улицы высветили половину одиннадцатого. но я в самом разгаре разговора с улицами, в медленном им пересказе содеянного нами вне их. мы глядели оттуда, с вершины Каретного, сюда и не видели этих вывесок, «Девичьего переполоха» на афише оперетты, кучкующихся у входа в театр и глядящих искательно за билетиком граждан. «Педагогическая книга» тоже не видна оттуда. вот начался Кузнецкий Мост, хотя тут — под гору, «Кузнецкий скат», скорее. улица медленно уходит в темноту и невидимое прошлое время, где недавно виданный и внутри изученный нами светло-зелёный современный дом с фризами и лепными цветами. а дальше по Большой Дмитровке — мои новые собеседники. и главные отныне — окна второго этажа домика в глубине первого двора за «Педкнигой». они высвечивают

сюда оранжевато комнатный уют, шкаф, что-то на шкафу и абажуры. не рассматриваю подробно — скорее делюсь своим богатством, встречей с моей девочкой сегодня. там уют, и во мне уют — но не бездвижный, а состоящий в спокойном движении недавнего ощущения и нынешнего воображения тебя. хоть наша встречная нежность и не потребовала в этот раз, как думалось-мечталось по переулочному пути ко мне, обнажения, комнатного разоблачения.

в стены была одета, в свитер мой, на тебе так и оставшийся, так как к вечеру похолодало. поехала с моим чёрным квадратом, художница такая длинноволосая, болотный цвет свитера тебе идёт. слева — высокий дом с желанной крышей, с аркадами там, модерн твой, тебя напевающий волнисто. прохожу тихий «Зелёный огонёк», кафе таксистов до сих пор, по другой стороне — широкими буквами с когда-то светившейся неоновой начинкой — «Диетическая столовая», за ней — кафе подвальное, откуда выходят в «Берегись автомобиля» Смоктуновский с Ефремовым поющие. и всё это — наше продолжение, видимое мной теперь. не то чтобы тебе продолжаю что-то показывать, а просто веду себя, словно тебя тут, по местам родным, но таким маршрутом посещаемым редко.

и всё успокаивается тут в вечер, только моё к тебе стремление, чуть успокоенное и довольно-усталое от сегодняшней встречи — всё выглядывает подробности, словно я на тебя гляжу. но в ответ — только «три богатыря» на Институте марксизма-ленинизма и дальше, выше: некоторые светящиеся окна на таинственной серой башне, выглядывающей из следующего, отходящего к Тверской, переулка, словно широкая голова. и тихо слева административное здание блестит нижними стёклами, отражает полувидного у колонн милиционера, сторожевого тут.

но меня забирают родные места — следующий, чем-то родственный, похожий на предыдущий высокоголовый, серый дом с высокими колоннами под крышей, с балконом в вечере утрюмым и загадочным. его окна тоже рассеивают в улицу уют своих комнат светом домашним, картинами там видными, висящими часто, со вкусом. разжелтившаяся электрически от приближения бульвара и от стены дома, под которым иду, Большая Дмитровка выводит меня в Нарышкинский сквер. тут надо пропустить бег машин и перейти наискось — чтобы возвращаться не тем же путём, которым мы шли с тобой вниз, к метро.

здесь уже поработали поливальные машины: хоть осень, а пыльно — смывают дневные наносы. запах это Твой, Столица, — намокшей пыли, растревоженных поливальным ветром листьев Страстного бульвара. странное Твоё средоточие — Нарышкинский сквер. самого уже нет, а название осталось. точнее — деревья от него, возможно, остались, перешли к бульвару в покровительство. в ещё тот древний, толстоствольный тополь, вросший и собой покосивший ограду, продолжающую выцветше-розовый дом Сухово-Кобылина, в котором явно бомжатник, хотя ставни остались, но веет оттуда, особенно во двор — нечистью. но я ухожу влево, к улице Чехова. ресторанные тут сборища, которые не минуешь, вдохнёшь дымку и веяний дорогой кухни — мало беспокоят, пусть живут своим гулом, куревом и прочим прожиганием энергий душистых, мышечных. мои тут

— эти блестящие асфальтные линии, проулки и светящаяся вдали Пушкинская. пространство от стен. да и освещённые нерекламно, домашне, окна над рестораном, колонны чем-то парижского (мансардами, наверно) дома этого розового, жилого, с подворотней, через которую можно пройти во двор Сухово-Кобылинский, а оттуда — пройти коридором мимо другого жилого дома и подняться к восьмому медучилищу, а оттуда — к «Эрмитажу». но там не пойду, хочу с улицами ещё пообщаться, выгулять (или продлить шагами) наласканное нами, почувствовать резонанс моих ощущений тебя в родных электрически освещённых и novelty не всегда корректных коридорах. ресторан «Чехов» — коротко и ясно. ещё есть — «У Тургенева», на Чистых прудах, в конце Рождественского бульвара.

уходящий от сегодняшней встречи с тобой всё дальше — я по-прежнему чего-то общего, нашего участник. уже не сам по себе, как раньше, до этого лета.

и ещё суетят люди у Ленкома, идут по Успенскому — переулку с половиной фамилии моих предков. а я углубляюсь по стихающей, темнеющей улице Чехова в сторону дома: чтобы там повернуть по Садовому к себе, зайти в сквозняк родной подворотни, выдувающей лиственный двор наружу, и подойти медленно к своему подъезду, увидеть в окне свет своей же, но оставленной на время проводов тебя, зелёной лампы. вечер захлопывается родным звуком подъездной двери — вечер нашего чердака, шейного напряжения по линиям поцелуев, туманно-шерстяного запаха моего свитера на тебе, переходящего во влажноватую прохладу Каретного, уходящего в Петровку и в Охотный Ряд, метро, спускающегося вместе с нами, в тепло и свет с примесью вечерней улицы. длительность дня всё ещё со мной, кажется, что мы продолжаем вместе быть, не говоря. но — делаю всё от меня требующееся: стелюсь и укладываюсь, будто для тебя делаю, и, словно всё ещё проплывая в вечернем тумане переулочные ответвления от Петровки, засыпаю, уткнув вниз твёрдый громоотвод.

точно так же, как в прошлый раз — как и договорились, в субботу, — встречаешься со мной, условленно, у твоего дома. и, на этот раз захватив ко мне в гости своего кокера Маруську, идём по линиям от Сретенки, по вытянутым полого волосам Столицы. утро быстро наводнилось светом, ускорило. и, пробежав от Цветного бульвара знакомым каретно-переулочным путём, — мы дома. Маруська привыкает к помещению, бежит по комнатам весело и дрыгает коротким хвостиком — благо кот на даче: выезд на выходные, пока летнее тепло не ушло. но это на солнце, а в квартире, в нашей половине — прохладно, пока солнце не перекочевало сюда, а будет это только к вечеру. поэтому так и ходим, — я в сером турецком свитере с красно-чёрным зубчатым узором, а ты — в чёрном квадрате, что в болотном обрамлении, напоминающем цвет холста.

и все наши непредсказуемые перемещения по квартире, взгляды твои в портреты предков, в зеркала — в моём и непрерывно тебя касающемся ласковом, ручном сопровождении. просто уже невозможно, как до знакомства, до сегодняшней встречи и прибытия домой — убрать от тебя руки. непрерывное ощущение, изучающее очерчивание, подтверждение присутствия. отра-

жающийся в зеркале, возвышающийся над тобой — рядом кажусь большим, разность цветов волос в полутёмном коридоре не видна: стоят он и она брюнеты. она — с длинными волосами, он — с короткими, чёлкой, оба с чертами лица одной тонкой выточки. странно, как меняется лицо в отражении — кажется, что ты шуришься и чуть напрягаешь губы и переносицу.

весёлый, как ребёнок, твой Маруська доволен новыми впечатлениями: попил и разбрызгал водную миску кота — то-то не будет прощения по возвращении, запахи чужие, да ещё собачьи... почти не говорим, всё время сбиваемся с темы, а тема — пора.

это детское сбивчивое веселье Маруськино — и у нас. но всё же, без каких-то слов, даже без затаённого дыхания, просто уже сидя на диване и продолжая говорить взаимоочерчивающими ласками рук — мы приблизились к цели. после той отправной кропоткинской крыши уже прошло достаточно времени, и ты взглядом несколько раз отвечала, что можно попробовать. и сама же на этот раз берёшь в свои руки инициативу — мой скипетр, давно, ещё из коридорных ласк произросший, устремлённый в поисках углубления в тебя. всё оказалось неожиданно для меня быстро и просто — уж кто девственно ахами, взглядами тут удивляется, так это теперь я.

под непрекращающееся бегание, когтевое цоканье по паркету Маруськи, ты улучила момент, надо мной, слева сидящим, возвысилась всадницей, мгновенно обнаружила преимущество юбки: её придерживая у живота локтем, открыла стройные, зовущие к ласкам рук и губ бёдра, отвела бежевую кружевную полоску трусиков, прятавшую мохнато-волнующее, уже открытое, но тёмное всё ещё таинство, и медленно обнимаешь, трудными рывками глотаешь — нежными, но сухими губами нижней раздвоенной линии мой скипетр. да, он приживается в сухом твоём тепле дальше, и теперь нет преград, ты всё ближе своими разведёнными и напряжёнными всадницаными бёдрами — к моим, на твоём фоне излишне мохнатым, застенчиво сближенным, чтобы выше был скипетр. вот — меч уже в ножнах, мы вместе — что так долго собирались и вот сделали.

— Ну, почувствовал меня? Чувствуешь огонь такой особый?

— Да...

мальчиковый голос у меня сейчас, детский стал, высокий и пугливый. но — уже мужчина, и вместе мы окончательно, моя женщина. вот этот исторический момент — странный и случайный, в бытовых и привычных подробностях, среди корешков книг (жёлтый Ирвинг Стоун «Жажда жизни»), узора покрывала дивана, ручек шкафа — вырисовывается отчаянно простая и яростно ошеломляющая своей реальностью ситуация. открытая под клетчатой юбкой и мелким крембрюле кружевом тайнка твоя — уста, принимающие стройного широкого гостя, скипетр моего стремления в тебя. мы единимся в этом месте, разном у обоих и поэтому — здесь. видна сперва синеватая малиновость главы, с уже скинутым капюшоном от встречной узости устья, смуглость дальнейшего моего скипетра по сравнению со светло-бежевой кожей твоего животика и бёдер. но растительность — брюнетно-похожая, только у тебя они золотистей, тоньше и нежнее —

волнистые волосики там. вот, вместе стали. ты изнутри моя. но дальше двигаться не хочется, да и ты как-то хлопотливо растеряна. и из-за периодически подбегающего к нам Маруськи, который ничего не понимает, кладёт морду на диван и участливо заглядывает детскими чёрно-игривыми глазами повеселевшего спаниеля. и из-за сухости внутри. да, пробуешь этот танец, да, странная щекотка телесного трения будит именно огонь, но очень недолго: уже пора расставаться, разниматься, это видно по твоей растущей тревожности, хотя в танце и забылась — возвышенно зажмурившись, отогнувшись на минуту, поддерживаемая мной высоко за талию. но тут же — гостя наружу. он — шлёп мне об живот у пупка: раздухарившийся, горячий. на место подтянута твоя бежевая полоска трусиков — закрыла две те полосочки выпуклые, за которыми сухое, но открытое во всю длину скипетра теперь пространство. сжимаю благодарно твою талию, пока пересаживаешься рядом, не переставая глядеть мне в глаза игриво, задумчиво, испытующе.

— Ну, не совсем, конечно, получилось, но...

— Не говори ничего, Тан моя тайная.

— На этот раз уже окончательно твоя и не тайна я... даже не знаю, в чём дело. Но для начала...

отчего ты так смутилась? нужно целовать (как в прошлый раз здесь же) твоё лицо — да. по капельке и чтобы глаза закрыла, так. веки целовать, щёки. и соблюдать симметрию, моя женщИнка. так славно — хоть и с новым внизу, горячим остатком ощущения тебя — но словно ничего не происходило между нами взрослого: сидеть друг с другом в ласковом безвременье, пока Маруська не ткнул мордой твои колени и ты не открыла свои мягко-зелёные глаза, чтобы ему улыбнуться, пожурить, потрепать его весёлые вислые щёки.

словно ничего необычного с нами не было — не прошло и десяти минут после вертикального сближения на диване, как я уже снимаю свитер, в котором стал мужчиной: выбежали во двор, чтобы и Маруську прогулять, и самим поиграть в бадминтон. ну, дети. и Маруська носится за воланом около трансформатора, слюнявит и утаскивает его, играет, не даёт... за мной — сказочная, вполне предсказывающая нашу в Тебе встречу железнопрутая лесенка, по которой мы, отроки, лазали в «Эрмитаж» (когда туда по билетам впускали, с началом перестройки). и сюда упал волан. надо пробежаться по листьям, нападавшим на просветные ступени. подъём по тёмной стене и площадка, с которой легко перелезть по толстой газовой трубе жёлтой к ограде и через неё, а там — балкон административного здания «Эрмитажа», всё будто рассчитано для пацанов-лазутчиков. трансформатор гудит — особенно когда к его большим деревянным дверям подхожу поднять волан. на ограде сбоку нашего «корта», отгораживающей проход между моим детским садом и трансформатором — висит мужчинский серый свитер, потому что тут солнце, да и движения греют. моя изящная порывистая игруня — не соревнуюсь-с, а любуюсь скачками убористых грудок, порывами русоватых в солнце волос, устремлённостью зелёного взгляда за целью, всею тобой — в чёрном трико («боди», по-моему, у вас называется) наверху и прыткой шотландской юбке. до сих пор не верю, что ты там наверху,

над этим двором, и уж тем более над Кропоткинской площадью — была моя, меня в себя допускала. пока играем — рассказываю тебе всякую здешность, прошлую ерунду весело: своё долгое подростковое, безвылазное время, когда о тебе и не мечтал, когда тут носились с брызгалками, дубасили в теннис об эти гудящие краснокирпичные стены или катались на велосипедах-«школьниках» под дождём, пели «Уно моменто», потом простудился... поиграв, пока Маруська не улётся рядом, ему надоел и двор — возвращаемся, с незаметным торжеством в движениях: помня верхнее наше недоудавшееся таинство, идём наверх.

с нами вместе Столица стала осенью непрерывна — и там рядом наше повторяющееся линейное движение к центру. обращаешь внимание на грифонов, что напротив «Эрмитажа» на крыше дома Станиславского бывшего, ставшего после революции гаражом. называешь грифонов с поднятыми по-кошачьи лапами «гадами» нежно... по Петровке, после домашнего моего чаю, к «Охотному Ряду» — метро. и сочиняется тут же — пока за руку идём, ведём друг друга, в разговоре, перетекающем от попутных домов, от ЦУМа и Большого театра к нашему по очереди сообщаемому прошлому (в попрохладневшем из сыроватого дня вечере) — сказка. про розово-белый, чем-то парижский дом, примыкающий к желтому театральному, который упирается в серо-бордовый вестибюль метро. о том сказка, что в мансарде этого дома живу я — чёрный кот, который поэт. а ты живёшь ниже этажом, и я к тебе иногда прихожу котом, а когда не прихожу, то в виде самолётиков выпускаю на двор стихи, когда человек. некоторые долетают до колоннады Большого театра, некоторые, завёрнутые назад ветром — залетают тебе в окно.

время с нами в Столице теперь заливается в русло обычной, но на два восприятия впитываемой осени. и пошли с листопадом неизбежные визиты тебя — к нам, а мои — к твоим на Новобасманную. в холодающей (но всё ещё с придухом летней пыли) осенней дождливости сближаются наши с тобой сегменты Садового кольца: словно внешняя и внутренняя части вращающегося циферблата или простых засечек. в определённое время, когда я выхожу и сажусь на троллейбусы «Б» или 10-й, наши улицы совпадают (если вычсть полчаса на дорогу с остановками на светофоре), и Каретный ряд продолжает за Садовым кольцом не Краснопролетарская, а Новобасманная, и уводит она всё правей и правей — туда, где, не зная пути, гулял ещё задолго до встречи с тобой.

и познать все твои домашние запахи вслед за твоими и моими у меня в гостях... на скорости усиливающихся ветров и вращающегося непрерывно Кольца, на смене дней, к которой снова привыкаем в Столице — я всё время еду к тебе, чтобы выискать тебя из дому, из серого замка (глядящего в парк Баумана светом мне вслед, когда ухожу и оглядываюсь). и постепенно — твои родители, твоя семья, принимающая моё стыдливое, смятённое присутствие: ведь я — только к тебе, с тебя не свожу глаз, пока меняется фон вокруг, и знакомиться не навязываюсь. как дикий, до сих пор только гулявший вокруг, принохивавшийся зверь — я внезапно принят, желанен в паркетных ветерках твоей квартиры, в шкафной нафталиновой деревянности кабинета деда, в который меня он при-

гласил... всё наше умножается — мы уже не улицами лишь дышим и не друг другом, а по вечерам твоим или моим домом (испаринкой стиральной машины у тебя). но всегда забирает улица и Столица: вытаскивает в своё пространство из этих коротких серий семейных кинофильмов (фотоальбомов, которые раскрылись нам после встречи — те, что и сами не видели). так же и некоторые ароматы, ведь тела наши заговорили на новых языках-запахах и сложно свои теперь отличать от не своих. ведь они вызываются лаской, сближением. и нагулянный между Красными и Петровскими Воротами по бульварам, в парниковой лиственности, выхлопах и жаре заката, в ветрах бездождливых дней запахов — он вечером, после ласковых наших истом выходит, из-под одежд: пряно-потный, кожный, волосяной, как часть Тебя, Столица, наша часть, наше отражение улиц такое, витальное.

просто вышло так, а я всё не привыкну, что мы встретились — я гулял и нашёл тебя в Столице. я опять иду от твоего дома, а окна вашей кухни глядят сквозь листья парка мне вслед. в этих домах нашёл. но не в тех, что дальше — к Ольховке или Разгуляю, здесь. и прихожу сюда. и мы каждый раз переполняемся с тобой планами — куда пойти в Столицу. но ты не раз задумывалась, когда я имя Её говорю при тебе, не объясняя — почему так серьёзно?

от этого, уже нашего с тобою, общего первого сентября, по старинке начала года — сильно ускорилось время и забирается непрерывно ближе к холоду и почернению асфальта, чтобы чётче было видно появление снега. но мы, удерживаясь на этой движущейся палубе часов, как на центрифуге иногда, приближаясь к Садовому кольцу, — мы торопимся захватить тепло осени друг с другом. и застаём с поцелуйным погружением друг друга то снова днём в арбатских закоулках, то в закате за площадью трёх вокзалов, то прямо на виду поднимающихся к Петровским воротам от Трубной площади мирных гуляющих в сгущающейся сероватой тьме.

и твоё, и моё учебное время выравниваются по нужной черте в три или четыре часа. и чаще, да и проще теперь мне спускаться и подниматься от улицы Герцена под Тверскую, через Камергерский переулок к Кузнецкому. тот светло-зелёный модерн, что мы тогда внимательно разглядывали перед тем, как забежать в относительную прелю-деревянную старину книжного, — почти ежедневный мой встречный. как и наштрихованная шариковой ручкой табличка «Купим всё за бешеные деньги» над коробками, с которых на улице двумя невзрачными мужичками продаются альбомы Дали, мясистые валькирии Бориса, собрания сочинений Есенина, Маяковского, Леонида Андреева, Марка Алданова, уже привычные, как дома, корешки. только сейчас заметил, что у этого современного салатного дома напротив «букиниста» каждый подъезд — совершенно индивидуален, а у первого и последнего даже разница в этаж — в плане охвата вертикали выступом, крайний (ближний к Петровке) ещё и с балкончиком, на котором преспокойно растёт и тоже желтеет листьями деревце.

малыши, поддерживающие угол филиала ЦУМа, — сильные. каждый из них только одной рукой поддерживает вес, причём эти руки у каждого следующие

щего отличны от предыдущего: левая, правая и т. д. задумчивые детишки, многое они видели, даже рощицу на треугольнике этого устья Кузнецкого Моста. ишь, разгоняются от магазина «Меха», что на углу Столешникова и Петровки, всякие чёрные «Волги» и серебристые джипы...

короткий промежуток осенней листвы, землянистости и бомжовости на участке перед ЦУМом, в который втемяшились торговые, как рыночные, павильоны. и реклама — как пропуск, как документ, разрешающий тут, на месте бывшего сквера, воздвигать торговые территории: изогнутая коньячного цвета дамочка на тему часов каких-то. но между деревьями и этими белыми стенами обретаются вытиснутые из этого рекламного мира дурно пахнущие своей никому не угодной жизненностью. они ближе всего к земле. но прохожих этот запах не долго смущает: преспокойно сидят в английском автобусе красном, в двухэтажном кафе. да и сам прохожу это место, ускоряя шаг.

назад в древний текст мостовой. Кузнецкий — узкий панцирь, сползающий к невидимой Неглинке: захоженный, отполированный, горбатый. «Черкизовские колбасы» стал называться некогда самый в центре популярный, потому что дешёвый, овощной. новая бело-красная вывеска контрастирует с запылённо-зелёными стенами, со старыми рамами и соседними ещё оставшимися буквами восьмидесятых «Овощи-фрукты». да и сейчас он, овощной, там — просто «крыша» это черкизовские, процветающий завод. но мы не их, а микомсовские сосиски, а чаще сардельки, ничем, кроме размера, от сосисок не отличающиеся, покупаем в синем автоларьке у Новослободской.

в торговый и старо-стенный мир Кузнецкого на миг: картины рядом со старыми каменистыми подъездами, атласы и карты и снова ряды коробок с книгами — «Ледокол», «Аквариум» золотым тиснением, собрания сочинений, Достоевский, для иностранцев матрёшки-стекляшки... но для меня это — мимолётом: взойдя на самый верх, озаглавленный «БАНКЪом», — налево, и я уже почти у твоего МАРХИ. старинная и почтенная книжная лавка архитектора в тени, и пахнет летними дверьми. без пятнадцати три, вы ещё не закончили, а раньше никогда не выпускают. из вашего КПП спокойно выглядывает сторож — мой студенческий возраст как пропуск, хотя тут все без разбора ходят, у фонтана толпятся. стоять у дверей — глупо, пойду туда, в угол, он чем-то тянет. надо у тебя уточнить — ар деКо ли? овальные окна, колонны, что-то при этом заводское есть. о, да тут столовая! вниз ступеньки, под старую чернобуквенную вывеску на выцветше-желтом ребристом оргстекле. но не пойду, тебя дождусь — и в пирожковую поведу, обещал ведь. тут и за ваше здание можно заглянуть — в арку и налево.

вот они где — классы, большие, впускающие к вам максимум света рамы. а там, откуда свет, — моя Столица. солнечно-тихая, безмятежная, словно не центр виден, не понижение Кузнецкого к Неглинке, а европейская улочка... да, ради этого вида стоило сюда заглянуть. что-то ломоносовское, европейское и в то же время — таинственно-Твоё: из-за деревьев, клонящихся в осень. и солнце греет уже не жарко, мягко, пастельно — хочется именно так сказать ввиду ва-

ших художественных за большими рамами классов, этих стен и охристо-жёлтого цвета углового дома, с подворотней сомкнутого. но надо возвращаться в арку: уже без пяти минут, а может и меньше, мои неверные часы постоянно отстают. не приживаются на руке, всё им неуютно, летом с испариной постоянно: как тогда, в день нашей встречи.

ой, а ты уже вышла, стоишь, разговариваешь с сокурсниками и -цами, такая вся одна из них, весёлая, объединённая с ними общим последним временем классным, тамошним, мне недоступным. меня пока не замечаешь, хотя глядишь вперёд к воротам. приближаюсь медленно и неожиданно, одна из сокурсниц глянула в мою сторону, смущённая пристальностью моего взгляда на вашу группу. но пора разоблачаться. и ты, за разговором почувствовав, мгновенно перехватив линию внимания той светловолосой пухленькой сокурсницы, уже глядишь на меня сначала серьёзно, потом веселея и что-то говоря своим, комментируя.

Здравствуйте, не ждали?

— Привет-привет, это он, зовут Антон. А что это ты оттуда?

— Так, изучал окрестности.

— Ладно, мы пойдём, ребят. Целую всех, пока. Завтра натура?

— Натура наутро, не проспй, а то опять копии ломать будешь, пока, Таньк. светловолосая, самая к нам внимательная, давала тебе напутствия, а смотрела всё на меня — точнее, как я тебя непрерывно разглядываю, мою два дня не виданную. и, весёлая ещё от разговора со своими, ты мною влекома через короткую проезжую часть в пирожковую. мой планшет и твой рюкзачок уютно устроены на подоконнике за столиком быстро, и ты, красиво присев на этот же кафельный подоконник, этим приоткрыв свои колени под лёгкой тёмно-клетчатой юбкой, ждёшь меня, пока отстою короткую очередь и принесу угощение.

пирожки продолговатые и круглые, вид самый съедобный, если учесть их обжаренность почти золотистую. тут всегда на раздаче было впечатление что целый завод трудится: женщины с распаренными руками ставят новые чаны с чаем, новые лотки с пирожками. так, беру по одному с мясом — ты много не любишь и по одному с яблоками, раньше таких тут не было, только повидловые. и два, по твоему пожеланию, чая: явно скромничаешь, смущаешься моим отстранением тебя от роли покупателя. пирожки лежат под марлей, каждому, давшему чек, покупателю полная весёлая женщина насаживает на специальную двузубую вилку пирожок и другой ловко стряхивает его на тарелку. так, готово: сначала две тарелочки несу, пробираюсь между частыми столиками, ставлю рядом с тройным набором-прибором: горчицей, перцем, солью. теперь за чаем. самообслуживание. сначала сахар, две ложки. теперь наливаю, что-то чай бежеват, светел. но горяч весьма, при мне новый поставили чан, поэтому свежий.

у столика размешиваем сахар, но какие там пирожки: высокие столики, нас фактически у подоконника скрывшие, и небольшое количество посетителей спровоцировали — мы, как и наши рюкзаки, углубились, вдвинулись на подоконник. это твои колени и то, что мы успели совсем отвыкнуть за обоюдными порознь выходными друг от друга: слегка прикрываясь занавеской, мы

бесцеремонно целуемся и подвижно, почти горизонтально обнимаемся-маемся, это тянущее и хмельное бремя ласк нас накрыло тут, в пирожковой. вдыхаю голодный твою кожу и русоватые пряди волос, целую всё, что открыто, до плеч, до щекотки, чем вызываю в тебе игривый детский, точечный ответ и веселье в жареном-пареном старинном помещении пирожковой.

но до пирожков дело всё же дошло, как только чаще стала открываться дверь, обязал приличествовать ветер улицы, и посетителей прибавилось — пришлось принять подобающие позы для еды. однако улыбки целовавшихся, вместо того чтобы жевать, губ — остались, даже при знакомстве с продолговатыми жареными вкусными.

Надо же, пирожки всё те же, что в детстве, когда мы сюда из «Детского мира» заходили. Только, может, уменьшились.

— Или ты вырос...

— Возможно. Нет, тогда они точно были поджареннее и длиннее.

— Фии... Ой, что это? Это бульон, что ли?

— Нет, чай же хотели.

— Ха!.. Нет, попробуй — это бульон с сахаром! Ну, ты даёшь!

— Ойп-па! Вот дал маху. Точно. Да ещё и посахарил оба...

— Пойдём, там воды поищем... Я думала, это отдельный зал какой-нибудь.

— Там обычно тесто продавалось, всё, из чего пирожки...

— Вон есть вода. Просто минеральную купим. «Святой источник», пожалуйста... Как тут интересно всё устроено — руки помыть можно, коридорчик какой-то служебный. Пахнет болотцем и стариной.

— Старый дом, старая пирожковая...

— Ну, идём, ты, помнишь, обещал меня поводить между Цветным бульваром и Сретенкой? А то мы только разок там пробежали от меня, по Малому Сухаревскому какому-то.

уже пройденным с тобой путём, открывая то слева опускающуюся ступенчатую перспективу крыш с высунувшимся вдали серым кубоголовым домом, то справа одно из лиц Столицы, пегий угловой в Кисельном — идём к Трубной площади, под ногами изредка шаркают палые листья. не идём в какой-то момент, а уже почти бежим — надо мне по совсем небольшому, маленькому дельцу заглянуть внутрь полуподземного объекта, что открывает Сретенский бульвар. и всё это — наш скорый проход у угла старого здания, из-за которого открывается Трубная, вид до этого во двор, в котором деревья переросли внешние стены дома с аптекой, что стоит испокон, — всё это как секундомер ощущений. который замедляется уже для меня, отдельно, мужски стоящего, струящего — за дощатой дверью с бурой буквой «М», над старинными продолговатыми, с пупырчатыми подножками воротами канализации. замедляются и приземляются секунды вместе с колокольным боем — я словно совершаю ритуал, вливаясь в воды Столицы, пока надо мной движется время, машины по бульвару, колокола Сретенского монастыря разносят свою древнюю весть. и здесь болотно-канализационный, тинный дух туалетной старины — даже чем-то

благородный, не свойственный для подобных мест. где-то здесь Гиляровский спускался к Неглинке.

а на выходе — свеж, нов, и ты встречаешь весёлым, чуть смущённым взглядом, так как обращён он был на дверь с «М», выжидавший своего представителя этой половины. и теперь, едва перебежали половину бульвара с ненасытными, непрерывными автомобилями — нас уже не милует Столица мерностью и постепенностью прежней: утопаем, теряем линейные ориентиры после первой же арки. целая сказка из тёмного красного кирпича нам, и из двора тут хорошо видна открывшаяся от Трубной перспектива разлива Столицы и подъёма её к Пушкинской площади, холмы её, нежно шуршащие желтеющими кронами. здесь, возле старых зачехлённых машин, пахнущих древними покрывками — непременно застыть, как раз туда, на Трубную, и, дальше глядя, обнять тебя сзади.

Вот она, Тан, — Столица. Вон вверх медленно пошёл Петровский бульвар к моим воротам. Правее выглядывает зелёный торец здания — тот, за листовным промежутком, — это Успенский переулок, вторая половина фамилии моих предков, и дальше уже Пушкинская, Чехова там ещё улица между... «Известия».

— Да, круглые окошки, конструктивизм. Это уж я тебе буду рассказывать. А этот серый дом слева?

— Какой?

— Совсем слева, я постоянно на него натываюсь, когда тут ходим с однокурсницами, сверху глядим.

— Это просто жилой дом. Он чуть выше к Тверской от Большой Дмитровки.

— Явно сталинский, такой крепкошей, я бы сказала.

— А вон чуть дальше и правей — Маяковка, гостиница «Пекин».

— Ага, красивый домик, только маловата башня со шпилем.

— Ну, это же не высотка.

— Зато у него какая-то дымка того времени, бело-жёлтый он, радостный...

— Это облака там ещё такие, Садовое же кольцо, серый фон. А назад, ближе к зелёному торцу дома в Успенском переулке, и направо, через зелень — вон мой дом, крыша, оттуда мы выглядывали, только не в эту сторону с тобой.

— Да... Так можно часами глядеть, словно на карту, живую... Пойдём?

дворы над Трубной влекут нас поперёк улиц, поперёк волос Столицы, идущих от пробора Сретенки. странный, и особенный постоянными изменениями направления в зависимости от расположения подворотен, наш путь — становится неким танцем, в котором я веду тебя, держу за талию, и мы входим во всё новые не до конца замкнутые пространства домов и их дворики. здесь уже не исчисляются поцелуи, взгляды — мы танцуем шагами и взглядами в номерах квартир над подъездами, табличках улиц, старой обшелушивающейся краске на дверях неожиданно современных, древне-влажных подъездов, в листовке под ногами опавшей едва, жёлто-зелёной и снова перетекаем через подворотни и улицы в новые домашние миры... этот танец нашей совместности, иногда контролируемый открывающейся слева внизу Столицей, поднимает нас всё

выше и ближе к Сретенке, к пробору. дома пустые и влажные, пахнущие не только осенью, но и веками, дома жилые и, как ты успеваешь заметить, конструктивистские, с бельём на балконах, с открытыми в улицы и прокуренными кухнями — как новые засечки пути, полностью опровергающие бывший линейно-уличный план.

наш танец и наша игра — такая же, как этих немногочисленных детей во дворах — он плавный в веселье и ласках. и никогда так не глядел никто — как мы сейчас, внимательно, замечая друг у друга всё важное: зрачки, губы, зубы, родинки. и гляжу так, если ты говоришь — потому что ты моя девочка. а сам ощущаю такой же, уже не разговорный, не по теме внимательный, в чём-то уверяющийся взгляд, когда сам долго что-нибудь рассказываю, убеждаю, углубляюсь в тему. почему такое непрерывное желание, что-то вроде аппетита — при виде твоих говорящих, улыбающихся губ, их целовать, их чувствовать своими губами, в своих губах, пить тебя, обнимать, прижимать к себе, вдыхать волосы, чтобы ловить из-под них взгляд снизу через каждые сто метров? потому что предчувствуем новый подъём — на этот раз увидев над домами из очередного двора башенку ПВО, на доме конца девятнадцатого века — как раз в том ряду скалистых стенных возвышений, который виден с Петровских Ворот, от бульвара. подъезд тут оказался прямо в подворотне, бывший, вероятно, чёрный ход — и по лестнице мы, уже имея этот навык, почти бегом поднялись до открытого чердака и, едва коснувшись самой крыши, вышли в этот серокирпичный, в тридцатых годах надстроенный «домик Карлсона». почувствовав это своё высокое уединение над благоухающей осенью этих дворов, мы словно пьянеем, любимся пока неузнанными пространственно высотами. глядим в пустые окна надстройки вокруг — Столица наша: и кравтира видна за Сухаревкой, и Лубянка, и Пушкинская... здесь мы уже не в силах разглядывать Тебя сквозь пьянящую жёлтыми испарениями осенью, глаза не выдерживают, мы только ближних, друг друга можем видеть и ласкать: целуемся и пробравшись сквозь одежды к желанным различиям, сливаемся на ещё тёплом ветру испуганно, ускоренно, а наши разгорающиеся возгласы убегают по ближайшим крышам. и вниз, словно столбик термометра годового, спускаемся, осень будет холодать, а мы, полные соками нашей страсти, бежим снова к Тебе, в Твои запахи внизу, снова в танец по дворам между Бульварным и Садовым, между Цветным и Кировским.

нас доводит наш танец доверху, перебрасывает, так что и не заметили, через Сретенку — отменились нам законы ширины улиц по значимости с точки зрения автомобилей, по разъезженности. и за Сретенкой новые впечатления — старый, пустой, но сохранивший исконные гнутые, тёмно-деревянные рамы современный пегий, словно вымокший, дом. они всегда, эти балконы, немного сказочны и всегда — о тебе. подумать только — железные извивы, украшения, прожившие век, не рассыпавшиеся, продолжающие рассказывать свою болотную лирику на фоне пегого, тёплого цвета фриза.

мы так сблизили непредсказуемыми узорами почти ежедневных путей наши участки Столицы, размыли прежние границы отдельного своего опыта,

что ни проспект Сахарова, ни указанный тобой дом Корбюзье, ни дальнейший странный закоулок нельзя причислить по близости к твоему или моему дому.

— Как ты думаешь — когда этот дом построен?

— Раньше думал — годах в семидесятых. Теперь...

— В конце двадцатых, я уже тебе подсказала на самом деле: Корбюзье и конструктивизм именно тогда у нас были, в СССР. Видишь, и отсюда видно, как он возрастает — в этом и идея дома, Центросоюз, кажется, назывался он: со стороны приближения к центру он выглядит как ступенчатый, как город издали. А из центра — это ровная длинная плоскость на ножках, вон с той смотровой как бы башенкой. Своя котельная у него, это его труба, лестницы без ступенек — пандусы, на роликах хорошо...

ты вся в своей архитектуре, а между тем мы забрели в хмурый и сказочный двор того самого дома, на котором овальнооконная башенка — та, что планировалась мной как уютное романтическое убежище по исчезновении из дому. спина современного дома, мимо которого я вёл тебя, чтобы ты окончательно привела приговор омузжЧения моего в исполнение. и здесь коридор вдоль склона от стены, вокруг — тёмнокирпичность и древность неминуемая, какая-то вечная, внутренняя, невидимая с проспектов и Садового кольца Столица. ты, моя Тан — указывающая на машину Корбюзье, видную отсюда как от подошвы горы — постоянно в движении, кружении, и стены длинного каменного мешка вращаются с нами, за мной, пытающимся уловить твои указывающие жесты. что и сделал: взял за плечи, остановил вращение, и мы, словно пробили часы — голодно вдыхаем, вдруг целуемся друг в друга. щёки, веки, шея, плечи, снова губы. и снова вращаемся, но уже в закрытых друг друга глазах, в другую сторону — это водоворот или времяворот затягивает нас обратно, а тёмнокирпичные стены мелькают всё выше к белому осеннему небу. но и отсюда есть выход: пошатываясь как после вдоха чистого кислорода, моя рука на твоей талии и шаги согласованы — мы выходим через арку современного дома, чтобы увидеть гнутые линии и полукружия его отделки снаружи. внутри же он был ничем не отличен от казармы. кроме какой-то канцелярщины в окнах: папок, старых кондиционеров в половину окна...

мы выныриваем на Мясницкую к твоей стяжке улиц, к твоему узелку на Садовом, моя Тан — Красные Ворота: угловая, чуть скошенная серая башня с часами МПС выглядит. а мы глядим на высоту и длинный современный дом — через оконные дыры, развалины здешнего углового, такого даже и в нынешнем положении торжественного, колонного. кстати, как ты успеваешь подсказать, и стены только что пройденного здания — конструктивизм, вообще весь проспект Кировский, Сахарова теперь — проспект конструктивизма, плюс его окрестности. это тоже больница была.

Припоминаю, что именно на её башни и балконы я глядел, едучи регулярно от Минлоса на «Б» и 10-м.

— И что же тебя привлекало?

— А ехал обычно в сумерках, и башенки с поручнями корабельного типа очень загадочно выглядели. Будто это всё нужно для наблюдения, всё такое техническое, что ли... точное.

— А вот уж совсем памятник всё того же конструктива — видишь вестибюль метро?

— Весьма насмотрен. Всё по тому же отминлосовому пути.

— Ну, раз знаешь, рассказывать не буду, да там и написано всё. Своеобразная ракушка. Поглощающие друг друга сферы — как нам говорили, чуть ли не сегодня же, на истархе. Ладно, давай только пройдем эту площадь быстрее? Не люблю я многолюдие...

скромно, библиотечно сбоку выглядящий вестибюль Красных Ворот, сами по себе красные ворота и воплощающий, и все эти возвысившиеся рекламщи «Дионис-клуба», бабульки с квашеной капустой, семечками, склочные собаки, маленькие ларьки с пивом, автостоянка тут же — по боку. даже грустный сквер, подводящий к торцу дома, что уже на Садовом, — не тот, где нам место, весь усажен пивными потребителями печальными, валяющимся бомжом и его ещё пьющими друзьями: осквернён сквер. и за всем этим с другой стороны наблюдает торжественная, потемневшая, но всегда оптимистичная высотка. кажущаяся не такой уж высокой. глядит своим выпуклым, земным, серпасто улыбающимся гербом на осень эпохи...

а мы — ждём у перехода, перебежать через Кольцо на твою сторону нужно, всё нужней и нужней становится — ведь там твой парк, дом, а в нем мало ли что случиться может снова...

У меня вот с этим зданием, которое позади нас, один анекдот связан, пока ждём милости светофора — слушай. Когда лаборантом в своей школе работал — аккуратно между девяносто вторым и девяносто третьим, — меня постоянно курьерить посылал генеральный директор нашего «ИНТОРа» Львовский. И однажды настал тот печальный день, когда я с утра, спросонья спутал названия организаций: меня посылали в МИРОС, это на Таганке, а я приехал сюда в КУДИЦ — компьютерный учебно-диагностический и какой-то там ещё центр.

— Я и названий таких не знаю-то. О, наш человечек зелёный, пошли!

и мы перебегаем Твоё кольцо, вращение усиливает треугольник — высотка, Красные Ворота позади и Лермонтов, глядящий на метро ниже, оттуда, куда начинает спадать Кольцо к Новобасманной. забирай нас, уклон к дому моей женщИнки — мимо строгих высоких стен МПС.

А вот тут как раз, где Министерство путей сообщения — училась моя бабушка. Институт благородных девиц тут был.

— Это как же? Здание-то конструктивистское, это двадцатые как минимум, а то и тридцатые. Да я эту башню хорошо помню — в фильме про похороны Сталина мимо неё идут...

— А в данном случае одно другого не исключает — в том-то и штука!

— Штука или шутка? Ну правда?

— Серьёзно Сама своим опытным уже глазом присмотрись к окнам внизу — ничего не замечаешь?

— Узкие, высокие, ну и что?

— А то, что это как раз — двухэтажные остатки института дворянских девиц, которые просто очистили от украшений-выпуклостей, собрали воедино и надстроили, вот и весь секрет.

словно по-накатанному — просчитывая колонны МПС, заглядывая в желтеющие лиственные кущи за забором заброшенного особняка, под наблюдением полукруглого, конструктивистского же эркера напротив, мы входим в твой сегмент Столицы, в твой Город, Тан. в наше время: вниз, вниз, минув мост, повторяя дугу 24-го троллейбуса, над медленно движущимся спальным составом — к тебе. и вместе с нами, будто приглядываясь к высокой, степенной церкви петровских времён, тучи снижаются, темнеет белое небо, со стороны трёх вокзалов опускается серая влажность, почти ощутимая кожей и обонянием. надо ускориться, мы шагаем быстрее мимо Арбитражного суда и колючих химерок в отделке псевдоготического современного дома, что со двора котельную имеет. дует и поднимает пыль ветер слева, из переулочка, которым я уходил и приходил к тебе. но теперь уже без дистанций: мы вместе спешим не попасть под дождь, к парку Баумана.

но стихию нам не миновать: едва закончился дом Арбитражного суда и примостившихся к нему ресторанов — полило сквозь листву древних тут деревьев. и серый особняк Стахеева — мокнет вместе с нами, бегущими. да, как полило уже! твоё одеяло мгновенно промокнуто и просвечено, и я любуюсь урывками на бегу на твои упругости — грудки под белым свитером и под шотландской клеткой бедра моей женщины, торопящейся от холодных капель. дождь холоднее воздуха сильно. кто-то молодец: укрылся под входными воротами парка Баумана, напоминающими метро «Кропоткинская».

Давай там переждём, Тан?

— Ну.. Ну, давай.

вернулись назад и забились в уголочек. рядом с нами двое пожилых старожил с коляской внука или внучки, компания школьного возраста с бутылками «Клинского», на роликах одна деваха, смеются и модно, рэпово двигаясь, отталкивая руки друг друга, разглядывают промокшие одежды-балахоны, хохочут. катают роллершу за её вымокший длинный балахон, растягивая его таким образом.

— И чего мы тут ждём? Добежали бы, а там высушились, а?

— Да ведь должен же дождь когда-нибудь кончиться?

— По-моему, он надолго. Просто дома — теплее, а я уже вымокла. Ну, передохнул? Тогда побежали!

вот ведьмочка неугомонная: выбежала из-под укрытия, от луж, в которых размокала осенняя листва, — снова к дождю. и меня — за руку за собой. вот хулиганка. бежим как дети, торопимся. и весело это — от сознания того, что скоро твой дом, уже мне знакомый запахами и пространством дом, гостеприимный. там на нас поглядят и посмеются, дадут полотенца... эх, авантюристочка! подхватываю тебя на повороте за комиссариатом на руки и несу по направлению к знакомому углу серого дома, за которым — твой. смеёшься и визжишь — потому что приблизил к дождю и теперь тебя по всей ширине поливают холодные мокрые поцелуи. а я дождю завидую: его вседоступности, прибывающей, прижи-

мающей к линиям твоего тела клетчатую ткань юбки и белый свитерок. несуну: это и проверка себе, должен до подъезда обязательно донести, иначе не считается, иначе не будет долгим взаимное любование наше. а ты будто привыкла, крепко обнялась за мою шею, помогаешь себя нести на моём быстром ходу. девочка моя: волосы спадают мокрые вовсе, потемневшие, глаза и губы влажные блестят, прекрасная и манящая ты, когда промокаешь...

Что же это делается. Ты такая сейчас...

— Какая, мокрая крыса в смысле? Да бросай же! Ну, устал небось?

— Нет, вот мы почти у цели.

— Да бросай, ну уже подъезд же!

— Ладно, вот тут.

— Ну, спасибо, я теперь совсем мокрая. Щучу. А ты сильный... Давай быстрей поднимемся — надо бы выжать одежды. Мою-то точно. Да и твою...

взбегаем по лестнице с мшистым запахом — убежавшие от верхней воды, теперь мы греем свои промоклости напряжением, движением. вот и осенние запахи выглядывают: из окна, пожилые лиственные, из нас, мокротканые, из-под ног, сухой древней лестницы, слегка прокуренный, себе на уме камень.

быстро звенишь ключами у двери — вбегаем, а нас встречает только твой Маруська. покричала — никого. видимо, рано прибежали.

— Так, значит, никто нам головы вытирать не будет, пап-мам нет — самим придётся. Я б лично в ванну залезла сразу, а то не простудиться бы. Как ты?

— Что?

— Ну — тоже в ванну или будешь полотенцем греться?

— Ну, если это будет удобно...

— Перестань, тут экстренная ситуация. Только я первая, ладно? Или прям вместе давай...

— А тут как раз родители и придут.

— Ничего, не успеют, мы быстро. Ну, некогда рассуждать — боишься, тогда оставайся.

— Нет уж, я с вами.

хозяйшка моя: перегнувшись через борт, пускаешь воду в ванной, тут у вас рассекается вода, бьёт почти душем. я с тебя стягиваю мокрый и холодный свитер, посеревший от дождя, как небо, — обоюдный это процесс, ты и мой свитер так же стягиваешь — вместе как по команде «руки вверх». и это тоже часть ритуала ласк, внезапного, в маленьком ванном помещении — стягиваем вниз, сбрасываем все наслоения одежд на наших отличиях, на моём хоть и озябшем, но крепнущем молодце и на твоей мшистой впадинке. капли продолжают бежать и по обнажённым нам, но тут важно не только греться ласками, пока наливается ванная. гостеприимное тепло и запах водной домашней Столицы идёт из ванной, вмешиваясь в наш поцелуй, будя окрестные запахи дверной притолоки, цемента между кафелин — сообщая, что мы дома у тебя. совершенно без всего — стоим ногами в куче мокрой одежды нашей и спешно ладонями обласкиваем, обрисовываем друг друга, будто именно этим греемся.

нелепо это, может быть, но я исцеловываю тебя планомерно сверху вниз: долго на грУдках — две же! — каждой нужно одинаковое внимание, и особенно уже знакомую впадинку целую, стремясь увидеть родинку рядом. нет, не удерживаюсь: в неё вторгаюсь пытливым языком, твой сосновый, железноватый бальзам вычерпывая, которого уже ощутимо много. моя девочка, ты даже отставляешь от этого нежданного упоения ножку, её я подласкиваю внизу ладонью, удерживая в этом расширенном положении, и целую скрытые волнистыми волосиками окрестности, и вот родинку целую. но задержались опять, даже рукой на твоей икре чувствую мурашки — пора погружаться в воду. ты ещё целуешь мои плечи, а сама перебрасываешь ногу, мелькнув бледными нижними губками, — миг ещё одного соблазна, не остановленный, но отразившийся на указателе моей страсти. в воду погружаемся с явными нашими отличиями: ты аккуратненькая, озябшая, вся в мурашку с едва заметным в сидячем положении волосащимся участочком меж очаровательных бёдер, а я с ногами, грифельно подстрихованными волосом и на тебя направленным смуглым скипетром.

это сама по себе картина, поза некоего неожиданного, но необходимого совершенства — мы ведь греемся, клубы пара исправно поднимаются, чуть мешая видимости, навевая сказочность, напоминая, что такое может только в облаках или парах мечты привидеться. но мы не дремлем: оглядываем друг друга — как дети только что полученные новогодние свои подарки. мы вдвоём. по краям ванны — ноги друг к другу, руками на коленях друг у друга. нет, так глядеть долго невозможно: то и дело прорываюсь и целую твои отогревающиеся, полегчавшие под водой грУдушки, треугольник родинок. колени твои, сперва сдвинутые, после моих набегов и даже ныряний чуть разошлись, открыли греющееся в мохнатом окружении таинство этих сужающихся сверху и внизу параллелей, отогретых и более полнокровных тут. сколько это созерцание длится — сложно сказать. это состояние, когда не торопишь ни единой секунды, а во все глаза вбираешь всё представшее. но, когда выключили воду и оказались в тишине, в плеске, порождаемом собственными порывистыми иногда движениями, — смутились этой открытостью, нужен был какой-то шум всё время, чтобы не вспомнить из-за звуков дом, что один из них может оказаться шагами родителей по лестнице.

— Знаешь, а мне ванной мало в любом случае. Надо же волосы теперь вымыть. Ты не против?

— Нет. Я теперь с тобою за всё «за».

сладкий миндальный, парикмахерский запах твоего «Хэдэндшолдерса» большого, семейного, видимо. втираю, перехватив инициативу, тебе в волосы голубой перламутровый шампунь. и снова клубы пара, ещё больше воды, разбрызгиваемой душем. и поливаем из узенького съёмного душа друг друга старательно, будто по учебнику какому: сначала я твои волосы, пока ты их ухватисто и строго вымываешь, выжимаешь, потом — ты меня, со спины, снизу, до щеколки и баловства. но вроде все следы шампуня смыты наконец. и под ногами ещё много воды, а мы снова в мокром сцеплении ласк — после того, как опраляли

друг на друге волосы: расправляли, залюбовались и целовались. опустились вместе вниз, наполовину в мыльную воду обратно — какое тут мытьё? — целуясь и тревожа постоянно свежие наши кожи, распаренные ласками. нет, здесь, когда ты на краю ванны присела, уже невозможно — ведь мой возвышенный смуглый скипетр совсем рядом с твоими мне желанными нижними устами. да, широко разведены после моих поцелуйных туда рейдов твои ноги, и, встречая горячие, короткие, просящие поцелуи снизу в шею, в грудки, ты осторожно берёшь и погружаешь моего молодца в себя. это не просто, судя по лёгким вздрагиваниям твоих губ и напряжённости зелёного, прямо в мои глаза, взгляда. словно без всяких слов сообщаясь взглядом: «да, вот я твоя становлюсь, всё глубже и глубже, вот я какая, ты ведь меня собирался узнать до конца, ну вот, а дальше сам уж действуй, ты мужчина...»

может быть, слишком деликатен, медлен, но, чтобы не переступить какой-то тут же нами выдуманный темп, нежно вскальзываю и выскальзываю из тебя, моя женщина Тан, удерживаясь и возвращаясь с новой силой. да, тут придётся новый лад узнать, это взрывное, отсюда возникающее чувство к нам вместе ещё ни разу не приходило таким путём, потребуется длительность наслаждения. хотя и так не было ничего лучше этой особой, самой главной ласки — взаимной направленной ласки наших отличий. да, медленно и почти во всю длину — надо же, как мой молодец с твоими нижними устами правильно согласован, его капюшон сам спал, как только впустила. и направление он держит сам уже, не боюсь почти всю возвращать его и так же в тебя отдавать, любованье моё по имени Тан. теперь так в жарком паре нежно и благодарно хочется целовать твои ключицы — с дрожью, с оторопью почти детской, чего-то нарушившего, к чему-то бесценному допущенного. но ты чуть опять в чём-то стеснена, по быстрому в меня взгляду, что-то будто не так...

— Милый, я хочу чтобы ты делал это быстрее.

— Так?

— Да, так, можешь ещё...

вот работа: насколько можно, быстро сближаюсь с тобой, ласки рук уже будто бессильные, тоже вокруг что-то рисуют, а мы входим в ритм необыкновенного, с каждой секундой ускоряющегося и всё более манящего танца. твои, как у кузнечика, разведённые белые ноги и мой сосредоточенный, в одну точку устремлённый торс и мышечный нажим сомкнутых бёдер, переходящий в линейное смуглое скольжение в тебе. да, такая неожиданная твоя азартность — и всё именно ради главного, настоящего ощущения и полагающегося наслаждения, а не как прежнего — суховатого или, наоборот, в дожде за болью не встреченного, невозможного там, на крыше. а теперь после лета, в осени — вот нам неожиданное, но тоже спровоцированное дождём время и место сблизиться окончательно, до главного, до того наслаждения, к которому я спешу и тебя веду. и пар, и шум падающей из так и не выключенного душа воды словно помогает сопутствует нашему стремлению, нашей ускоряющейся ласке. но что тебя так удивляет, что вызывает твоё удивление в голосе, уже не тихом — это родители пришли?

может, за шумом воды не услышали? страх, испуг, стыд, сожаление, слёзы, что совершили какую-то ошибку? нет, никаких оттуда звуков снаружи, но ты всё сильнее удивлена. нет, это уже не просто голос удивления, это твой нарастающий крик, это опередившее меня, нет, торопящее и идущее изнутри тебя, дрожащее, ликующее наслаждение, выливающееся прямо на голову моему быстрому молодцу и втекающее в меня новой невиданной, обессиливающей, размягчающей бёдра и всё тело колотящей перебивающим прежний ритм дрожью:

— Да-аа, давай, дааа, милый, ну же, даааа, да!

и мой голос слился с твоим в громком объявлении нежданно быстро достигнутой кульминации — благо все страхи, что пришли свидетели, оказались беспочвенны, поэтому так громко и так юно вырвалось во время твоего последнего и моё «да, моя Тан!». но тут уж моего натруженного молодца ты аккуратно вытолкнула, а он тут же выплеснул встревоженный нашим танцем мой мужской бело-прозрачный вклад в продолжение рода — прямо тебе в лицо, ведь ты, теперь когда вода внизу почти ушла, сразу встала внизу на четвереньки. улыбаясь устало, отёрла, потом поглядела снизу странным ведьминым зелёным взглядом с поволокой то ли от пара, то ли от нашей одновременной дрожи, и долго разглядывала истекающий бело-прозрачной страстью мой скипетр. словно леча, успокаивая его, приняла в верхние губы моего багрового смуглого молодца, нежно из него выпивая вызванный взрывом нашего наслаждения бальзам, языком торопя его, выманивая. стоило бы беспокоиться, но ты спокойна — потому что, наверное, хоть и не имея опыта, но по каким-нибудь источникам знаешь, что вовремя остановила, и после взрыва наслаждения у тебя внутри, мой белый сильный выстрел случился снаружи. но не успокоение, а новая страстная, учащающая дыхание дрожь во мне готовится от ощущения твоих губ — нет, я их тороплюсь сам целовать. их, со вкусом моего страстного дара, а потом вниз — туда, откуда мне подарила этот шок наслаждения, в губы нижние, всё ещё расширенные и дающие во вкус мне твой хвойный медноватый эликсир.

этот долгий после скользкой главной ласки ритуал благодарных поцелуев застает нас уставшими и горячими, а тепло без воды убегает, так что нужно выбираться. помогаю вышагнуть из ванной и гляжу на оборачивающуюся халатом, свои грумки и нижний мох прячущую соблазнительную Тан мою.

Никто пока не пришёл, поэтому и я могу, наверное, без халата походить некоторое время?

— Экий вы быстрый! Стоп... тихо. Ну, вот накаркали — дверь открывается, однако. Кто это? По-моему, дед. Нет, папа... И — о, мама. Они вдвоём.

— Как будем действовать?

— Да не бойся, они же в курсе. Просто пока они там, в прихожей, я сейчас выбегу, а ты немного погодя, понял? Ну, вот этим моим полотенцем вытрись, вот халат папин накинь и — счастливо оставаться, только не спеши.

выскочила изящным манером в чалме из розового полотенца и в белом халатике. плюс заперла меня снаружи. моя авантюристка. как мы подгадали! так, нужно одеться. носки мокрые. штаны — более-менее. повешу-ка их рядом с

полотенцами... говорят там. голос Тан, мам и пап. но поздоровавшись мама утихла, вышла из коридора, и ты только с отцом затем переговариваешься. забавно мама тебя зовёт, Клеопатрой...

— Па, мам, привет!

— Привет, детка, привет, воробушек, — тоже под дождём вымокла, как мамка?

— Из ванной, царица моя Клеопатра?

— Да я-то давно из ванной, я уже кушать готовлю. А у меня гость ещё в ванной отогревается.

— Это какой же гость?

— Ан-тон, ну какой ещё может быть гость?

— А-аа. Ну, совет вам да... А он вместе с тобой промок?

— Промок вместе со мной. Ладно, вы пока раздевайтесь, он тоже сейчас выйдет и...

— Да, мамУшке твоей очень надоть туда, и побыстрей. Кто ж, жена, так одевается, жена?

— Не учи, лучше бы машину ближе подогнал.

голос мамы твоей из-за двери, тихий, но эмоциональный, исходно громкий. правильно, моя фантазёрочка, — теперь на кухню беги и ставь чайник хотя бы, пока раздеваются родители. так, вроде бы, туда и простучали тапочки твои. ножки твои великолепные. кажется, я залюбовался тобой окончательно, даже в отсутствие. вот будет номер, когда я выйду из ванной в халате твоего бати этаким Карлсоном! но что делать — стихия застала врасплох. о, отперла дверку моя заточительница, и весёлая заглянула в накрученной на волосы чалме, глаза большущие, зелёные, хулиганские — как зарядил лучистой энергией тебя наш страстный танец!

— Ну, выходишь? Торопись, пока они тут не расходились мимо.

— Вроде всё разместил сушиться, собрал мягкие носки в охапку, под раковину их, потом заберу...

— Тогда — на выход.

запах твоего паркета сладкий, уже теперь как домашний мне. пить чай, говорить с отцом, пока твоя, менее тебя стройная, но такая же красивоглазая мамУшка греется в ванной — всё меня окутало в этой осени. мы переглядываемся — с нашей недавней тайной-то теперь мы неразлучны, и чай пьём с незаметным и непонятным всем удовольствием. а уж когда твой дед академический возвращается и к нам присоединяется — то какая тут страсть, какое любование, такие умные разговоры пошли? в новый мир привела меня моя женщИнка — в котором место и эстетическим доброжелательным беседам, и тому, что в ванной тво-рили. даже мамУшка решила внести вклад в этот вечерний симпозиум — разогрела пирог, приготовленный два дня назад к приезду одной из бабушек, которая его есть не стала. полпирога, точнее, как увидели мы на противне. и всё это — пока мы сохнем, пока сохнут мои одежды. чай тоже согрел дополнительно. мы в твоей комнате, словно после долгого перехода горного — и снова в по-

целуе мешаем чай, выпитые отдельно, но теперь общие, встретившиеся, пироги и предыдущее, в ванной отведенное. такая у нас выходит история — уютная, тёплая, с активным участием твоих домашних, не как в кино, без поз. пили чай между двух холодильников, теперь среди твоих плюшевых мягких игрушек детских целуемся долго и повествовательно. кто учил нас этому, кто нас встретил таких — друг другу столь вкусных, необходимых, страстных детей? и под халат опять проник, и грудки, в ванной столько целованные — снова под пальцами упругжат. всё мало. а ты — больше в поцелуйном изложении, долгом что-то мне поёшь, это мягкое, влажное, женское, чуть детское и беспомощное — я не могу его прервать и даже пальцы мои тушуются, выбираются из-под халата.

кстати, и мне пора отцовский твой халат снять. нет, свитер, конечно, не высох за это время, хоть и синтетика — выдан мне, опять же отцовский турецкий свитер повышенной мохнатости, на рынках только в таких и торгуют. а штаны снизу мокры — это уж свои.

и уходить пора, пора и честь знать. надо обуться и попрощаться длительно, улыбаться твоему папику и мамУшке — тепло, отогрето. и Маруську твоего потрепать на прощание. вечер и парк Баумана, промытый дождём, — ждут и хололят, это видно с лестничной клетки рядом с твоей квартирой 19.

Начинается время, когда вспоминаешь, что окна сохраняют тепло.

— Ты точно согрелся, милый? Ничего, если холодно будет — ты вернись, ещё чего-нибудь дадим...

— Спасибо, моя Тан сказочная. И сказочно добрая.

— Не надо, не захваливай меня. Просто теперь по всем правилам ты мой мужчина, а я должна о тебе заботиться, мне это нравится к тому же.

— Хорошо, только на улицу не выходи, там, по-моему, холодно.

— А я тебя до метро проводить хотела.

— Ни в коем случае.

— Ну хоть до двадцать четвёртого?

— Зачем, пешком добегу — теплее.

— Ладно, а то и тут уже вправду холодно. Тогда поцелуй меня и, как приедешь, — позвони сразу, ладно?

целование последнее, оно как пересказ всего дня взаимный, и кто первый стихнет — это сложно угадать. губы наши могут удивлять новыми выдумками, движениями, шутками бесконечно, но главное — это они так говорят между собой потому, что через некоторое время смогут это делать только голоса, и через телефон к тому же. в воздухе твоей лестницы, чуть известковым, прокуренным и болотистом — мы глядим друг на друга. и я начинаю спускаться по лестнице, до поворота влево, а ты (укутавшись в халат и пуховый белый платок, который дед выдал-обязал) как солдатка стоишь наверху и тихонько помахиваешь мне своими тонкими пальчиками.

да, парк Баумана за забором — посвежело тут после дождя. и хоть не весна, но лиственная тема — основная. многие слабые, коричневые и жёлтые — по-сбивало и они в лужах растворяются. а я иду от моей девочки, от моей женщины-

ки — мы там такое творили с ней сладостное, что и вспомнить сразу страшно-вато, оставляю на потом, не перед сном и на утро. мы с ней стали теперь полноправными мужчиной и женщиной, мы испытали, причём вдруг одновременно, то, ради чего эти «М» и «Ж» различны и встречаются, объединяя различия.

а моя девочка, уважаемые военмоби́ли и Новая Басманная, — она сказочная, я её по всей Столице искал и нашёл тут вот, в сером замковом доме. в пространство её квартиры теперь вписаны наши встречи, наши ласки, любование там, во влажном ванном воздухе, на парУ в парУ. и пусть осень принялась за парк, пусть в окнах твоей кухни эта желтизна печальная — у нас только начало, это наша городская пора, столичная весна такая.

изменены первым сентябрём, урбанистическим петровским новым годом мы — весною экзамены, сессии, летом встречи, а осенью только вместе, глядя на эту природную печаль, в прохладах дождей ходим. запах тут освобождения — после дождя. но и заботами пахнет: выхлопные машинные запахи с похолоданием становятся как-то понятней, уютней — ближе к дымам печным, греющим. в свитере твоего папы тепло. семья твоя заботлива, не только художественна. ожидал, что вживусь в особенности, долго буду знакомиться с родными твоими, Тан, а получилось всё само собой, спокойно и теперь — будто близкие. забирает вверх меня с Новой Басманной Садовое, притягивает своей центробежной силой. без 24-го троллейбуса — иду по другой стороне, обратно проходя те дома и деревья, что мы с тобой от дождя проскочили быстро. с ними, намоченными, дышащими осенью тут — говорю зрительно, отвечают вековой своей простой статью. и церковь эта петровская — растительными, но не современными, древними причудами ограды, напоминающими, намекающими из Средневековья на флекс.

так они, эти все уже знакомые, с тобой связанные дома и убывают — а я иду, унося, между прочим, от здания Арбитражного суда, от парка Баумана и твоего серого замка свой первый, научно выражаясь, разделённый «оргазм» — глупейшее, чужое слово, какое-то сокращение от организма. маразм — единственное созвучие рифмовое. нет, это был унисон выстраданно счастливой дрожи, короткая симфония стонов первооткрывателей нового наслаждения, если на то пошло, чтоб говорить не пошло: текучий взрыв и затем измельчающийся в мышцах бисер самого тайного ощущения. и всё это — позади, за парком, так и звучат стоны твоего чувственного откровения в ванной акустике на фоне водного падения. тут вечер мрачный, за Лермонтовым, листва усугубляет тьму. только Садовое кольцо всегда светло: прохожу грустные исповеди листьев сквера за Лермонтовым, под могучий навалившийся бок высоты, за её угол и пробежав вместе с прибытием — в родной «Б». который везёт вниз, как раз слева та самая конструктивистская верхотура серого поликлинического здания, широкий и пустой проспект Корбюзье, то есть Сахарова. и начало криватирного участка, сегмента Кольца — дом с вывеской «Ремонт пишущих машин», в котором столько времени прожито с курсом моим. а теперь я новость везу с собою большую, провожу мимо: вон на восьмом слева от правой лестничной

вертикали два окна трёх братьев. маленькая комнатка Лео, где мы во всю силу пробовали своё рацио, столько готовились раньше, теперь проще, одиночнее.

и, перебравшись через холм Колхозной площади — вниз к себе, к мосту над Самотёкой, Театру кукол, модернеецкому домику. перебежать широченное Садовое кольцо и вдыхать деревья у родных стен — этот блестящий дождь на желтеющих листьях (за которыми ночь и мемориальная доска Утёсова) будет вечно вдыхать холод начала октября и выдыхать ванное тепло и дрожь нашего сегодняшнего сближения.

всё теперь началось в правилах года — с осени, но в ней мы вдвоём. и от этого, с постоянной приятной оглядкой — что есть ты и встретимся, изменилось и видение учебных, попутных помещений — улицы Герцена, Сухаревской площади, вида на неё из окон нового здания института.

вероятно, смысл этого нового ощущения, нашей двойственности — именно в том, чтобы глядеть теперь не за одного себя, не только для себя, а чуть тебе рассказывая зримое. новое здание института, куда нас как старшескурсников постоянно направляют для физических работ — на некоторое время поглотило меня и тебя во мне. ещё тут такая приятная неожиданность: от Сухаревской, тоже почти средней точки между моим и твоим жилищем — удобно идти к тебе вечером, вместе с тобой выгуливать Маруську или, если раньше освобождаемся от повинности, — бежать к тебе по Сретенке и ниже в МАРХИ.

пространство своё Столица нам развернула — возможно, именно так, как было обещано мне одинокому, но мечтающему и ищущему тебя, когда мы с Лёхой Кравцовым сидели на его крыше и путешествовали другой осенью взглядами окрест. и сколько раз с балкона кравтиры — вдаль, где доходный дом, где даже МГУ виден в летней дымке на горизонте и дома на Чистых прудах. Столица нас сблизила этим зелёным, сохранившим детские жилые запахи зданием.

а мы, перемещая старое и новое оснащение будущего здания института, поднимаемся всё выше. и будто выискиваю в маленьких жилых комнатках твоё возможное прошлое — там, на отделанных деревом, как позднесоветские кабинеты министерств, остались плакаты журнала Cool-girl, который мельком видел у тебя в прихожей.

такое между нами и нашими встречами неожиданное, пустое и открытое моему жадному исследованию пространство. паркет не меняли чуть ли не с тридцать шестого, когда здание построено. долезли до актового зала — почему-то задник сцены отделан мягкими серыми подушками, покрытыми дерматином. в восьмидесятых это выглядело, наверно, rispetабельно, стиль «Электроника» и «Гости из будущего».

время, что здесь провожу, — по дороге дыша поздними яблонями, что за выходом из метро, примостившимися там нечистотными бомжами и совсем разжелтевшей листвой, — оно кажется невероятно длинным, до встречи с тобой. иногда ты не можешь — звонок отсюда из серого бесплатного автомата внизу, на первом этаже бывшего интерната, не приносит радости, но встреча — уже твой

женственный, успокаивающий, двухнотный, немного грустный, извиняющийся за невстречу голос. плюс надежда увидеться потом — большая. и появляющееся собственное, назад в одиночество время — когда не хочется отсюда уходить, хотя пора и к бабушке ужинать. когда поднимаюсь на один из пустых этажей и прохожу по комнатам. они трогательны. тут по четверо, на двухэтажных кроватках спали интернатцы и интернатки. свои плакатики клеили — Marilyn Manson, Backstreet boys... сладковатый детский запах их остался. их мечты? о том, как вырвутся из этого детского комнатного заточения в Тебя, Столица, от этих близких древних окон напротив — из-под наблюдения дома, запертого самого в себя... или это так пахнет ДСП, которым отделаны комнатки? обязательно приведу тебя сюда. входные двери как бы обрамлены, над ними и с боков — стенные шкафы, в которых детки хранили вещи. словно попал в не своё, но почему-то знакомое, угадываемое детство. позаимствовал со стены плакат Faith No More.

тут словно во сне своём подростковом путешествую, по всей длине коридоров, по всему небольшому разнообразию детских комнат — никого, ни одного соперника в соглядатаи. и пустые деревянные комнатки, где жили девочки... нашёл тёмную, в салатовой кафеле душевую со стиральной машиной, остаток их быта. машина отечественная, но редкая, со стеклом и барабаном с боковым входом. Минфин для своих деток не жадничал, лучшее.

быт и время без тебя — ещё тёплая иногда, осенняя вода будто: в ней не скучно оттого, что потом — ты, но и поэтому же странно-уютно, просто от появившейся второй точки зрения, восприятия. всего твоего, что за Бульварным кольцом, ближе к центру — учится, рисует, слушает. а я почти ежедневно в учебные дни приезжаю сюда, выношу хлам и обломки из интернатских комнат, делаю их похожими на аудитории. после лиственный-тревожного воздуха окружающих интернат деревьев и пролётной около метро суеты Сухаревки — пыль и покой непривычного здания. потом перерыв на полчаса — к сухаревскому метро: на этой или той стороне покупаю незнакомый и оттого всегда вкусный хот-дог с сарделькой и маленькую банку седьмой экспортной (под стать стилю интерната) «Балтики». и обедаю один на ступеньках, у верхнего этажа с видом из окна лестничного пролёта — на Проспект Мира, Сухаревскую, как часы работающую, переключающую светофорами движение площадь. бездна времени. отдельного, но ведущего к тебе. а до тебя — в эти, сладкие странностью ответвления в недавнее прошлое, комнаты. всё это недавно жилое пространство заключалось совсем близко от мест, где я проходил, куда глядел: даже помню, видел коридор этого здания, свет и внутриклассные учебные плакаты в окнах, когда в девяносто первом весной ездил на «Б» с репетиций школьной рок-группы домой.

встречаясь уже условленно, вынужденные согласовывать, елозить в рамках учебных расписаний — мы снова возвращаемся в наше исходное столичное, уличное, рука в руку и взгляды — друг другу, зелёный и карий. мы проходим в Тебе, мы вместе, я с нею, как и мечтал, — но уже не так заметна Ты почему-то, наши пути ведь ведут, притягиваются в помещения, где может случиться откры-

вание: чаще домашние, но и подъездные иногда, случайные. а время Столицы усиливает тягу в дома: с каждым днём холоднее Она. временами со снегом.

узнав Её имя от меня, в очередной раз путешествуя по чердаку, ты настаиваешь выбраться на крышу — вдвоём, опасно бесстрашные, вылезает со стороны Садового кольца, на углу. крыша скользковата, тут снег лежал, а теперь растаявшая изморось. здесь, под сплошными серыми облаками, которые уже не выпустят солнце — оглядевшись на шпилевую близость бело-бежевого «Пекина» Маяковки, на дали высоток Красных Ворот, Котельнической (где выше нас, но к нам лицом стоят тоже Он и Она, держат свой герб-папирус со звездочкой наверху и серп-молотом ниже), на улицу Чехова с трёхколёсным и серым таинственным домом (из серии твоего, рыцарский), из-за которого густо поднимается пар уже включенного своего парового отопления — ты требуешь поцелуя: и, стоя на самом коньке крыши, в нём тонем, в нашем со-общении уст, рискуя потерять равновесие. вкус нашего ужина с творожниками и ликёрным шоколадом в твоих губах теперь — вместе с ветром нахмуренной, позднеосенней Столицы. редкий, теряющийся взгляд на Твои подробности сверху, она забрала, затемнила в поцелуй.

моя девочка с развевающимися в ветру волосами, в моём болотном свитере малевичевом. мы уходим в Столицу надолго теперь — жить вдвоём, хоть пока и порознь: я — внутри, а ты — за Садовым, словно на разных берегах кружащей, фантастической реки с двумя противоположными течениями. это наше венчание на крыше: непрерывное, поцелуйное, хоть и у всех на виду, но тайное. год забирает наши дни и подробности. всё это виданное с крыши моей. снег тогда мерещился только?

а во сне ты потом, как сказала, видела снова эту крышу под низкими облаками, только одна была там и зачем-то спрашивала Столицу, что ей нужно. ревновала? не спрашиваю, дорожу этой неожиданной сокровенностью, пусть и тревожной с твоей стороны. чтобы двигаться дальше — во время и в Столицу.

взявшись за руки, всё менее видя окружающее и всё более друг друга, оказываемся после долгого перехода через Нескучный сад подле Университета на Ленгорах. то ли от холода или из-за усталости — спешим в ГЗ. здесь снова я ведущий. и, вполне студенчески выглядя, пробравшись между всех физических и химических корпусов, оказываемся у величественного в окружении статуй познания клубного входа, знакомого по школе юного географа мне, — входим.

стены, расступающиеся колонны, когда-то ежедневно знакомые, а теперь как сквозь сон вспоминаемые — потому что гляжу на тебя, идущую рядом. киоски прессы, напитков, заслоняющие собственную отделку стен ГЗ, боковые коридоры, откуда выходят в тапочках из общежития... вот мы и у лифтов: высвечивание этажей движется в нашу сторону слева, а открывшийся лифт вообще ни о чем не предупреждал: тут после восьмого этажа пауза, и вот высадка.

А ты тут не была?

— Нет, ни разу.

— Тогда не удивляйся — лифт поедет быстро.

— Оп-па... Да, уши закладывает.

— А ты выдыхай. Нам до двадцать первого долететь нужно.

первый раз, когда сюда попал, мне показалось, что в этих лифтах пахнет медицински — из-за непривычной перегрузки, нагрузка, опасность для здоровья, вот и объяснение запаха. а теперь, в тесной толчее едущих — запах твоих волос, в которых ветер и улицы Столицы, мы везём тебя вверх, моя девочка.

Пройтись по коридорам отрочества со мной не откажешься?

— А ты именно здесь учился?

— С восемнадцатого по двадцать первый. Каждую неделю три раза. Словно маленькая школа. «Школа юного географа» — называлась.

— Мы поздновато, наверно, пришли — никто не ходит...

— Да, вечер. Но именно в это время юнги сюда и приезжали.

— Юнги — это... А, это вы, юные геологи.

— Географы, однако! Ну, факультет же географический. Ну да, занятия по вечерам были. А вот и наша родная двадцать один ноль шесть. Подойди-ка в окно. Как вид?

— Жуть. Красиво. Надо же, отсюда — ещё не вечер, даже закат виден.

— Вот тут мы ждали перед экзаменом физики, я всё за спиной, в штаны запихивал, прятал учебник физики. Представляешь наглость?

— Не отобрали?

— Нет, на три сдал, хотя готовился лишь ночь, если не считать курсов, на которых ни черта не запоминалось...

— А покажи мне тут что-нибудь ещё.

— Пошли. Нет, постой: раз никого нет, будут поцелованы некоторые, что ли, ушки...

как всё же правильно соотношение моего и твоего роста. стою позади над тобой, выше почти на голову, обнимаю и сверху щекотно зацеловываю уши, шею, где самые нежные пряди волос. но ты так долго не выдержишь — и встретила мою атаку в губы, внимательно и глубоко, со своим повествованием и темпом. и, глядя потом друг на друга в сумерках этого замка знаний — бежим вдоль салатно-зелёных стен по лишь мне знакомой, но внезапной дороге. на лестницу, ближайшую к 21-09 — боковую. параллельные лесенки, блёсткая арматура — мы рискуем разбежаться, ударились в перегонки на разных частях. но беглянка, немного обогнавшая, поймана и направлена. оттуда — по восемнадцатому этажу. к новой лестнице, точнее — к подоконнику внизу этого пролёта, откуда — новый вид.

через Ломоносовский, через осеннюю зелень перед ДК Университета, уже даже фонари зажглись. и вот именно на этой высоте, особенно от ощущения полной пустоты на этаже — в ласках допущена бОльшая близость. словно опять в первый раз — подбираюсь к уже запрятанным в лифчик груДкам. снизу, но всё боюсь их ощутить, их все, во всю их лаконично-округлую мягкую тайность. а сам целую, целую шею, за ушками, краешки губ. тебе такая медлительная деликатность нравится. может, даже сильнее того, как ладони мои объяли чуть разные груДки. своим мужественным (шершавым?) теплом, и пальцами теперь обрисовываю, ласкаю, трепещу над ними. та, которая с моей (а значит, и с

твоей, ведь я позади) стороны кажется правой — чуть меньше, но у неё больше звоночек — это я ещё в ванной приметил. стало неудобно, что всё это творю, не расстёгивая лифчик, а словно плоды поднимая к доступности твои груДки из корзиночек — просто, не говоря ни слова, сама его расстегнула сзади своим коротким хозяйским жестом.

и снова темень за поцелуем долгим, откуда — только воздух старых могучих стен универа доставляет, прокуренный, нам информацию. здесь же, снизу лестницы, надпись, которую тебе не показал, а теперь в темени и не увидим про «ифювонтудринкэндфак — поступай на геофак». ведь это наша курилка была тогда, в ЮНГах: сюда приносили похвастаться и беломор, и всякие модные сигареты... кто-то всё же цокал по лестнице, пока мы тут занимались осязательным любованием, и, даже собираясь покурить и нас приметив, пошёл дальше по скрипучему паркету восемнадцатого.

но настаёт время — совсем стемнело — восстановить твоё одеяние, самому застегнуться и выводить тебя новыми замысловатыми путями. зачем-то поехали по пути на пустом лифте — наверх, на двадцать третий или выше даже. и мимо машинных отсеков гудящих, лифтовых — ищем опять лестницы вниз. вот настало время и мне новое увидеть, брести в полутьме по коридорам музея зоологического, вроде бы... и во всех этих коллизиях, коридорах — только наши руки вместе — ориентир. вот загулял девушку! уж и сам тороплюсь найти знакомую лестницу. и спускаемся именно к 21-09, откуда уже к тем же лифтам и стендам геофака идём.

выбегаем из университета — загадочного сумрачного замка со светом окон, светом знаний и в этот час неутомонной студентуры. это большей частью светятся окна общежития — крылья и боковины ГЗ, со стороны клуба. пешком, к метро, по запрохладневшему вечеру, мимо химфака, ВМК, социологического на твою и мою красную ветку.

но отчего-то поспешность наша от холода и начавшегося морозящего дождика — разладилась. ты перестала отвечать на пустяшные попутные реплики мои, пришлось остановиться и долго стоять друг перед другом, мокнуть, заглядывать в твои погрустневшие глаза. выясняется: всё дело в том, что тебе не вполне ясно, что меня к тебе привязывает, какое чувство. любованием это называть, ты считаешь, — мало, не серьёзно. идём обратно, обходим зачем-то ВМК, с надеждой заглядывая в свет его аудиторий.

Прости, но, может быть, я действительно пристаю к тебе, навязчив, ничего не объясняю при этом?

— Да что ты как мальчик? Мы же уже с тобой не просто знакомые мальчик с девочкой. Мы стали вместе взрослее за очень короткое время, стали близки... А я почему-то чувствую, что ты всё равно чужой, со мной играешь, что ли.

— Но как тебе объяснить мою настойчивость эту бессловесную? Ну, это потому... Потому что ты — единственная. Я тебя искал в Столице, бродил, смотрел и нашёл.

— А если нашёл бы другую? И почему — единственная? Каждый человек — единственный и неповторимый...

— Нет, не в этом же смысле. Ты для меня единственная.

странный разговор в тревожных вечерних контурах и силуэтах университетских. он и пугливый, болезненный, но почему-то каждое слово, все мои неуклюжие подступы к объяснению с тобой, а не к комплиментам — всё это кажется нужным, давно готовившимся к высказыванию. вот так, внезапно от нежности наверху — внизу перешли к выяснению отношений, продолжая идти под руку друг с другом, парой. раз так идём — может, нечего волноваться? и твоя чёрно-красно-белая полосатая курточка, защищающая тебя от мороси в отличие от моей чёрной джинсовки — под нею ощущаю едва своим локтем желанную мягкость грудок, только что которые были ласканы в этом замке-звездолёте... а ты такая теперь чужая, тревожная, сомневающаяся. неужели они никогда опять не будут моими, видимыми, ласканными? может, просто устала от перехода из центра сюда, аж с твоего Кузнецкого Моста?.. нет, видимо, пора настала главному слову — но ты о нём ни разу не упомянула, а я запутался в окольных, но наиболее искренних объяснениях своей к тебе нежности. и только уже на проспекте Вернадского, на выходе с университетской территории, когда позади остался длиннющий стеклянно-железный гуманитарный корпус — нашлось внезапное разрешение всего этого волнения: осенние белые шарики, плоды на кустах с уже опавшими листьями. я их не задумываясь срывал и бросал. а ты, улыбнувшись, стала давить их своими тёплыми осенними ботинками: из-под милых мне на тебе светлых рифлёных подошв — хлопки, весёлые, разряжающие нашу напряжённость хлопки.

перебегаем мимо плодоносящих яблонь проспект и садимся поспешно, чтобы не упустить возобновившуюся связь — в 28-й. и летим вниз к Тебе-реке, откуда Ты видна, с этого диковинного наклонного моста с несуществующим метрорярусом внизу — видна сказочно в ночи, огнисто. в ещё по-вечернему накрывающих Тебя вдали синих тучах и просветах в них. они стусились к ночи, а закат — где-то правее за Университетом и Ленгорами досвечивает. мы в троллейбусе — летящем вниз по мосту, всё время подтормаживающем, чтобы не набрать сумасшедшей скорости — мы влетаем в Тебя, Столица, вместе. немного повздоровив, но так и не подобравшись к объяснению, тревожась. справа по замковому средневековому мосту несутся железнодорожные составы тоже к Тебе, они и над нами будут скоро, проедем под ними. но пока под нами, ниже моста справа и слева, круглые стадионные строения — по-паучьи приземистый теннисный комплекс, сами «Лужники», краны, арматура.

мы — на высоком заднем сиденье, которое «на колесе» и я обнимаю тебя. пусть неудобно руке — обнимаю крепко, присутственно. позади справа удаляются ввысь Ленгоры — с жёлтой проседью, вот где уже выписан диагноз осени. троллейбус сзади пуст, впереди сидит пожилой пассажир и глядит влево по ходу. там, несмотря на вечер, при неподходяще торжественном верхнем освещении, продолжается работа: в Лужниках, где раньше незаметная за листвою территория парка была, теперь рынок, а сейчас — уборка после дня торговли. огромные бульдозеры, словно на стройке, сгребают остатки, последствия торга: картонные ко-

робки, что почти втоптаны в асфальт, а теперь ещё и размокли — сгребают и целыми ковшами сваливают в самосвалы. сколько мусора за день, современный урожай... раньше перед стадионом, возле конечной, поворотной остановки тридцать первого (да и теперь — она же, медленно вытесняемая автостоянкой) была ярмарка, детище восьмидесятых. торг отдельно, спорт отдельно.

составы шумят, гремят над нами по мосту окружной железной дороги; мы безмолвны в прохладном и морозящем вечере, который сопутствует нам за окнами. остановки... сколько мы так выдержим? полурасставшиеся, молчаливые вновь...

нет, всё же не выдержали: зачем-то я начал после магазина ювелирного «Алмаз» рассказывать тебе о Дэне Сломатине, с которым лихо дружил во времена ЮНГ, его дом указал в просвете силуэтов бордовых сталинских домов. капризное твоё, обидчивое ушко, которое слушало, стал целовать, допущенный рассказывать так близко. и сквозь тревожность и обиду — ты проглянула детской, быстрой улыбкой и сама ответила мне поцелуем в лоб с пояснением:

— Понимаешь, может, я и неправильно себя веду — может, лучше молчать, но вот я тебе не могу сказать того самого слова, как ты называешь, на букву «л». Мне кажется, я этого не чувствую. Видишь, я тебе правду сказала, чего ты не смог. Но ты ведь не обидишься, не убежишь от меня?

— Прямо на следующей остановке. Ну вот... Даже теперь не знаю. Я просто не хотел своё любование тобой, что ли, глушить общеизвестным словом.

— Но слово — не чувство. Да я и сама не понимаю... но вот нет этого, общеизвестного, а мне не известного, понимаешь?

— Не понимаю.

— Ладно, попытаемся вместе понять. Ведь мы остаёмся...

— Ещё как остаёмся...

этот выстрадавший всеми полуфразами тревожными поцелуй — как усталый, но всё же распускающийся бутоном нежной откровенности в висках, салют в конце дня. и отражающийся в намокших дождём тротуарах свет магазина «Океан», светофоров, реклам — льётся нам в утешение и в торжество, может быть. отчего ты заплакала? это поцелуй вызвал наш, долгий. он как усилившаяся мелодия, он стал почему-то очень важным вдруг — и трагичным... и слёзы твои почувствовал, их солоноватость в поцелуе привкусом, но продолжаем... я совсем тебя вжал объятием, спрятал от мира за пунктирно-капельным стекающим в движении стеклом. и так едем, плывём, не замечая остановок во времени, во внутренней собственной поцелуйной влаге, в дуновениях в двери троллейбуса — пахнущих уже снова старыми родными кварталами межкольцевыми, размокшими в дожде.

повернув влево и кивнув вверх на Садовое кольцо, Комсомольский проспект закончился, здесь и конечная двадцать восьмого, он повернёт под мостом, а мы выбегаем из него и наискось перед подъёмом моста — на ту сторону. шагаем по мокрому и отражающему свет фонарей асфальту. мимо знакомых уже коммерческих ларьков-теремков — «Дельты», «Крокуса», «Велты»... но то,

чем отвлекают витрины — не главное, хоть и забирает на время нас из неоконченного диалога о главном между нами. да и стоило ли его начинать?

но теперь мы вписываем в этот усиливающий присутствие, многообразный коммерческий, информационный, рекламный мир свои голоса, и с чем будет сочетание важнейших даже не слов, а интонаций тут не выбирается — пусть это в ряду бутылок за стеклом очередного «комка» первый встречный Jack Daniels.

Знаешь, вот не могу, да, наверно, и не надо ничего громкого говорить — мне так кажется... Ведь это, что у нас, что нас ну держит сейчас, притягивает — это впервые, и давай пока не называть известно как?

— Ну да, так и есть же. Но меня и та и другая крайности смущают — и называть и молчать. Почему-то сейчас особенно.

— Во всём дождь виноват.

— Или осень. Ты проводишь меня?

— Конечно, к тому же нам от «Парка Культуры» всё равно по пути.

— Нет, я уж по красной ветке, чтобы без пересадок.

спускаемся на твою часть станции — долгими, переменчивыми лестницами. тут пусто — ждём, за время ожидания (на красноцифрых часах 21:14) успеваем дойти до первого вагона. в полупустом вагоне до Красных Ворот, до дому твоего, глядит на нас реклама «West, стримтек фильм».

из влажно холодающего вечера — в подъезд, уже не поднимаясь, не тревожа твоих. без поцелуя, только взгляды — смущение и надежда... светящимся жёлтеньким окнам тебя вверяю, подарок Столицы — тревожный, девочка, женщина моя...

дома, после быстрого, с задумчивым взглядом в окна ужина, детского вкуса помащенных сливочным печений с чаем — сразу стелиться, не перестаю продумывать всё тот же, договаривать наш разговор. что случилось? откуда тревоги? нужно признаться? нет, мы понимаем друг друга, ничего не умалчиваем же...

поутру при расстилке кровати под грустный «слайтли мэд» квиновский навязчивый образ: дом на нижних гнилых брёвнах не построишь. именно брёвна... что с любованием нашим? осень забрала последние возможности быть в Столице вне квартир? но это и время познания бытов наших.

и уже с приятным удивлением-знанием захожу в свою полуосвещённую кухню, когда ты там, под двумя навесными лампами, с мамой и бабушкой моими чаёвничаешь, разговариваешь. или когда обедаем после институтов у меня, когда ты ложкой аккуратно доставляешь картофельный суп. чудо моё темноволосяе, с русым отливом и светлыми, зелеными всё вокруг глазами. вот — у меня дома это чудо, пойманное в летней Столице после урагана.

удивительна теперь стала мне, после подросткового одиночества эта жизнь на двоих — твоя женственность вроде моей второй точки зрения да и телесное приращение определённое. и твоё уже словно своё. и вместе. как интересно разложено, разделено и психически отображено затем это природой — мужское, внедряющееся, в экстазе взаимности изменяющее на девять месяцев

природу женского, вносящее в неё то, что может стать новым человеком, и поэтому ответственное. даже по ощущению ходьбы — другое, несут мои ноги над землёй некое подвижное орудие, палицу, ношу, вес, смуглый сухой избыток, внешность, «плюс» — перекрещивающегося со своим мешочным снаряжением молотца. а у тебя — наоборот, «минус», влажность, впадина, параллельная земле впускающая мужское и мир устная полосочка. и ноша у тебя возникает только при слиянии плюса и минуса. о, эти внутренние вкусы наши — теперь и не различишь их в ночи, в изучении взаимном ласковом!.. и надо же было так устроить природе, что столько человеческого внимания одной личности к другой, что такие утончённые откровенно-влажные удовольствия от внимания и вынимания именно в области нашей разности... и тонко, подробно исцеловывать при этом твоё лицо, но уже без света лампы, по-новому, не прерывая повсеместность ласк.

нет никаких ссор. но странная тревожность, которая — всякий раз, когда мы пытаемся не действовать лаской, а что-то объяснить, когда останавливаемся, глядим долго карими в зелёные, внимательно, ярко и самоотверженно, когда не хватает взглядов, и просятся слова — и тут же травимся знакомым горьким ядом условностей. но не сокращаются времена нашего уединения: при моей красной лампе или у тебя, в окружении плюшевых игрушек, с видом на крыши с колючей проволокой, всё продолжается и углубляется. и ласки мои всё рисуют узоры на твоих грудках, легко прячущихся под моим разлучьем пальцев — ими чертятся линии, губами точки — пока мы у меня в комнате смотрим слайды Дали, потом отвлекаемся и из сказочного экранного мира тонем в диван, в зрительной темноте осязательного, касательного любования.

быстро улавливая лад ласк, ты уходя говоришь мне в прихожей, всё не отпускаящему, целующему: «Пойду, а то у меня там... катастрофа». конечно, мало этих прелюдий, но зима и поспешность перемещений твоих от МАРХИ ко мне и от меня домой — диктует скромность. и новые запахи — клубничной твоей помадки от мороза для губ, твоего крашеного бордово меха у капюшона, детский твой вид в этом капюшоне дублёнки, моя девочка. но при этом — всё новые взрослые нам взаимные, звучные откровения тел. и всё новые детские подробности: твои фотографии школьные (как мне хочется тебя уже тогда встретить, именно эту, что чуть младше — целовать, целовать!), слайды с нашими по Ленгортам прогулками с мамой, что она извлекла откуда-то чтобы тебе показать (столько слайдов! маленький, голенький, с неизменной чёлкой, там даже есть кадры моего пис-пис, весёлые и непосредственные; ты глядишь хитренько, моя коварная: зная, с чем сличать).

а зима в самом разгаре официального сценария, в студканикулы: мы в КДС на балете, мы в театрах, свистим на коньках по Патриаршим... какое это тонкое и древнее, бальное, быть может, ощущение — твоей талии под одной моей ладонью или под двумя, симметрично, когда ты ведёшь, а потом мы рядом едем на коньках (взятых напрокат под центральным домиком, что над прудом). ощущение твоих уверенных мышечных движений, оттолкновений, ты здорово катаешься.

молодцы АлексИс Кравцов со своей Аней-подругой, что вытащили нас сюда. ты в лучах освещения почти новогоднего — кружишься без меня, с Аней, делаешь фигурное катание прямо-таки. изящноногая, уверенная и в движениях спортивная моя новенькая женщина. весёлая и свежая, искрящаяся от фигурного азарта, скорости, снежинок и света электричества.

и идти провожать потом благодарно за инициативу катания Аню и Лёху — к угловой на Пушкинской «Армении», где Аня живёт на втором. идти напрямик через Малую Бронную, где театр, и как тут не вспомнить через непрерывное веселье раздухарившегося катанием нашего разговора.

А ведь я в этом театре выступал.

— Играл?

— Нет, Лёх: я был зрителем, а всё ж пришлось выступить.

— Ну-ка, ну-ка, поведай нам, друже...

— Лет пять было, около того. Там шёл «Волшебник Изумрудного города», мы с мамой сидим во втором ряду. Эпизод, где Генгема ехидно спрашивает: «Кто за то, чтоб туфельки достались Элли и ее друзьям?» Все дети тянут руки. Я тоже тяну, как правильный мальчик. Так долго тяну, что моё голосование попадает уже на второй вопрос: «А кто хочет, чтобы я победила?». Видит Генгема мою руку и радостно констатирует ведьминым голосом: «Ага, есть и за меня тут мальчик!»

— Экий ты зломеренный ребенок был.

— Так вышло. Но это только начало. Она вызывает меня на сцену, меня передают по ряду, чтобы долго не карабкался, на сцену поднимают. Свет вижу, внимание зала на меня в комбинезоне зелёном мелко клетчатом. Что-то спрашивает Генгема, я поддакиваю. В сценарии явная проблема, лишний человек на сцене. Генгема уводит меня куда-то в середину сцены, там появляются Элли и Тотошка, Элли почему-то задевает меня или, как я тогда подумал, наказательно бьёт туфелькой, происходит взрыв, и мы с Генгемой погружаемся на деревянном люке вниз. Там дядя орудует рычагами, а Генгема ему командует: «Меня — вниз, мальчика — наверх». Выезжаю один на сцену: свет, тишина и внимание зала. Повеселевшие Элли и друзья спрашивают: «Ну как, Генгема больше нет?». Отвечаю смущенно, что нет, и наконец, заслуженно возвращаюсь в зал. Потом в фойе меня дяди и тёти, папы и мамы в пример своим детям приводили, в полной уверенности, что я подсадным был мальчиком, мол, вот какой смелый мальчик...

— Класс. Весело ты посещал театры.

— Да ты у меня, оказывается, с ранних лет был оригинален, Тон-Тон.

бульвар старИнен, заснежен, мы четвером на нём, голубоватом и усталом. к Анне домой не зовут, слишком напыщенные и элитные порядки там. но, миновав коньячные и просветно-вязевые витрины «Армении», обогнув дом — входим в подъезд: при всей внешней шикарности этого серого дома, вход в их угловой подъезд со двора — низенький, скромный, словно запасной. глядим с порога. поджарый еврейчик, папа-бизнесмен на велотренажере сбрасывает вес — возможно, мы точно не вовремя. в очках, белокурая полная мама здоровается и вскоре прощается, приняв от Лёхи и нас черноволосо-маслинистую Аню с белыми фигур-

ными коньками. расходимся по метро, а погрустневший Кравцов — пешком по Бульварному на свою Сухаревскую квартиру, любитель один курить-ходить.

теперь, когда остающуюся у меня на ночь Тан я не могу увести по застлан-ным снегом крышам (что зимой особенно мягко, сказочно зовут под кухонным окном перешагнуть через Каретный и идти в сторону Театра кукол и Са-мотёки) — веду тебя в другую сторону, к балкону и заснеженному за ним двору, в свою комнату на застланный тоже белыми как снег, но не холодными просты-нями, ночлег. чтобы читать тебя губами, словно с чистого листа, с белой просты-ни, бледно-розовую, зовущую после душа шептать среди размягчённого пуши-стого обрамленья твоим нижним устам своими многословными ласки языческие и по указанию треугольного созвездия родинок подниматься выше, к двум неж-ным медленным возвышениям, увенчанным небольшими розово-бордовыми ореолами, а потом к подмышкам, не менее межъя женственным, открытым. и дол-го по кругу целовать лицо — краешки губ, краешки век, где утром будет спросон-ный песок, отыскивать под длинно улегшимися ещё не высохшими волосами уш-ки и забираться в них язычески тоже. такой долгий, полуосвещённый красной настольной лампой ритуал: ты разгораешься под моими устными жертвоприно-шениями языческими и вдруг улавливаешь меня устами своей заждавшейся жен-ственности почти одновременно сверху и снизу, забирая в себя глубоко и сильно, и торопя, требуя предельного наслаждения скорейшего откровением-дыханием...

среди крыш и тротуаров Столицы, укрытых ночью влажноватыми снеж-ными простынями, мы перекатываемся с тобой, всё не засыпая в страстных из-лияниях. или, может быть, уже во сне — рискуем в порыве сплетающих нас ласк выкатиться через мой балкон во двор и продолжать наш необычный, лежаче-танцевальный путь... там — с крыши на крышу, в сторону музыкальной школы и серого рыцарского дома на улице Чехова (где в кафе нынешнем «Синяя пти-ца» читал Маяковский стихи, грубо, наступательно, приглашённую братом Ва-силием туда мою бабушку напугал)...

но Твоя ли это уже история, Столица? может, мы стали просто ещё одной здесь сближающейся к браку парой, мало внимания обращающей на Тебя, ходя-щей через скрытую снегом Тебя из дома в дом?... не совсем так: это всё ещё любо-вание. и Ты зимняя вобрала нас в свои людные помещения: мы опять смотрим тётин балет в КДС, где ни на минуту не оставляем рук, ощущения друг друга, мы в театрах, на спектаклях с твоими или моими однокурсниками.

и — ежевечерний трепетный набор твоих цифр, последние четыре как ступеньки ...13-66... часовой или более разговор, утопающий в ночи, в которую мы порознь отправляемся, сказав с предельной моментальной нежностью «спокойной ночи, Тан» и «...Тон».

подробности теряются и дни. ты ли это уже, непрерывная ли наша с моей девочкой Столица? сколько дней и подробностей не видны в разрыве строк,

в пробеле? зима заморозила маршруты и возможность свободно двигаться в Тебе. и здесь — из дома в дом, из театра в театр, с Герцена на Кузнецкий...

вид из окна на Каретный обманчив: словно белая, местами скомканная ветром простыня постелена на насупотивный модерн и дальнейшие крыши в сторону Лихова переулка — чтобы мы шагали с тобой в Столицу. но в квартирном тепле, уже в светлом, хоть и холодном предвестье весны за окном, видом в сторону Трубной площади — мы падаем на кухонный мой диван, и ты словно водорослями накрываешь меня волосами, колдуешь-щекочешь, ведьма моя, зеленоглазое зелье. своими длинными, тобою тайною пахнущими локонами... в ласках и поцелуях, в разгорающемся опять любовании вдруг спрашиваем, озадачиваемся:

— Что же будет весной?..

— Да, если сейчас такое безудержное желание.

твое желание, твоё слово, тобой впервой сказанное. и ты проговорила как-то, что хотела бы — три или четыре раза в день. но для этого нужно жить вместе. и мы временами, такими перемычками, в основном выходными — это и делаем. на моей, раскладной из дивана, широкой и скрипучей, постели, после душа с челмисто замотанной головой, ты раздеваешься и в красном свете становишься совершенно мне очевидна, изящно открыта. яростно нежная страсть зовёт целовать веки, краешки губ, твою шею и от неё всё ниже, к открытым двум бледно-алым на бугорках звоночкам, и ещё ниже, под мохнатостью, к расходящимся под острой лаской языка, впускающим в скользкую сосновую влагу межножным устам.

но не всегда можно — бабушка или мама позовут, что-нибудь в новостях — и срочно сворачивая ласки, бежим. мы все вместе теперь там. так это весело и сказочно: и целуемся по этому поводу, по пути или потом, чувствуя мысли друг друга даже на бегу, в коридоре.

улучая поутру момент, пока я не поборол липкие остатки сна, ты извлекаешь из письменного стола черновики мои старые и читаешь, судя по дальнейшим вопросам следующий зелёнький, романтический, пафосный, большебуквый, кавычкастый, Достоевский — ещё (как я школьником от сигаретного дыма) балдеющий от собственной словесности, но уже ведущий в настоящую поэму текст:

26.10.94. у них просто не было выхода: они бродили по столице бесконечно, любой закуток был для них более чем домом (они чувствовали там друг в друге настоящую бесконечность, стоящую всей истории, всей случайной её «логичной» последовательности), но обыкновенного дома у них не было. они жили собственной бесконечностью, и было отвратительным всё вовне их, всё, что ждало их «дома». рядом с безмерным счастьем всё остальное уже не выглядело шуткой, как прежде, так как (тоньше их чувствовать не мог «никто, никогда») вмещивалась в их жизнь с обыкновением условностей. жизнь у них не могла быть прекрасней, они убили себя в этой жизни — знаешь ли, такое бывает всё-таки: «взаимоисключающее существование», понимаешь — когда может Быть толь-

ко одно, только единственное, только Она единственная... Она — Мир. Она, моя бесконечная во мне, Красавица. да нет, просто умерли слова, сразу же, как она появилась. просто другого и быть не могло. если понимаешь, что такое единственная Красота, то тебе понятен будет этот случай.

ужас — извне. люди увидели их — и, конечно, утонули в ужасе, во всём страшнейшем, что могли себе представить: они лежали изящнейшие, убив друг друга, в своей не многой крови — всё вокруг было захвачено ими, на мгновение они заполнили смотрящих на них, выжили их короткое нутро на миг.

что это было — бесконечность, в которой нет ничего чувственно-неудобного, или тот ужас, тот бескрайний и безвыходный ужас, который был в наблюдателях.

да, это и было пережитым прекраснейшим ощущением, что было в мёртвых любовниках, оно вышло в наблюдателей. пространство — крыши, дома, мир над крышами, тротуары, водосточные трубы, окна, серое и пыльное, Запах — вот чем был их Мир. они убивали друг друга в этом мире, наслаждаясь и собой, поэтому они и лежали потом в подбезде: они не переставали двигаться внутри себя, но внешне — лежали изящно, неподвижно, будто искусственно. да, это был, конечно, и Театр. для наблюдателей, вошедших в подъезд. это были бесконечные две жизни — Он и Она. они вместе. это был театр, потому что мы, когда вошли, не могли понять: как — и главное почему? когда в нас впрыгнуло это — бесконечное, охладившее (их кожа стала холодной), остывшее и потемневшее, и ставшее поэтому ужасом для нас вместо их блаженства. так и должно было стать. Страх.

и мы потом придумали объяснение, условности продиктовали нам его, убегая от ужаса — мы придумали и нашли убийцу — врага их обоих. потому что не хотели поверить изящному, их позам мёртвых влюблённых отца и матери нас и нашего условленного мира. они стали владыками — как просто, просто лёжа так изящно, вынужденно случаем — по-неуклюжему, несчастные, убитые друг другом дети Мира. We came down from phoenix entrolled. они сами так решили, поняли мы.

— Какие грустные детективные вещи ты сочинял...

— Это предчувствие, Тан, пугливое предчувствие тебя и нас, неуклюжее и ещё не научившееся толком говорить, текст ещё школьный по стилю, смешной. Учился ходить буквами, предчувствуя поэму Столицы.

— А, поэму... Да нет, он страшненьким мне показался, какая там поэма. Хотя и наивный. Но, может, ты прав, просто детский. Ты Достоевским явно увлекался — а что за английские слова? Какой ты у меня загадочный...

— Да это из песенки одной группы — «Дорз», Двери то есть, я тогда увлекался, дорзоманил...

— А, не знаю...

пока я проваливался обратно в дрёму, ты продолжала наводить порядок в моих черновиках и читала ещё более ранний записанный сон, происходящий у меня во дворе между первым и вторым подъездом:

9.06.93

маленькая девочка хотела бросить камень. она замахнулась уже, но я, поднявшись по лестнице, взял из её руки камень.

— Ты можешь разбить окно.

она собиралась бросить камень в кучку детей, таких же, как она, по возрасту, пяти-шести лет, они видимо докучали ей, дразнили её.

я вынул из её пальчиков камень.

— Не нужно... может разбиться окно.

— А я не хочу разбивать окно... они меня обижают.

она обратила ко мне свои глаза... она собиралась заплакать. я взял её на руки, она оказалась очень лёгкой. ребяташки смотрели на нас с удивлением, стараясь понять: какое отношение я имею к их сверстнице.

я держал её на руках, и она, прижимаясь ко мне, тоже, как и дети, изучала меня. я увидел её глаза. дикий взгляд. таких я не встречал никогда: цвет этих глаз можно сравнить с цветом аквамарина, но её глаза... оттенок этого камня в них был прозрачен, едва ясен, его как будто не было, как будто где-то в глубине воды голубовато-зелёный блик камешка отражал солнце. маленькие зрачки с любопытством изучали моё лицо: нос, бороду, брови, скошившись она разглядывала ноздри, когда я сказал ей:

— У тебя замечательные глаза, у тебя редкие глаза...

— Я знаю, — вдруг ответила она серьёзно. как же называется этот цвет? — думал я.

— Мне говорили про глаза... Я не помню. Кто-то сказал: «Дрова смерти»...

она улыбалась и смотрела на меня своими прозрачными, действительно какой-то невиданной чистоты глазами. «дрова смерти» — звучало у меня в голове. мне стало неловко. девочка оказалась умненькой. я, не отпуская её с рук, поинтересовался:

— А где твоя мама?

— Она там, в сквере, она разговаривает. — ответила моя белокурая девочка, ничуть не собираясь от меня отстраняться. она держала руки у меня на шее и глядела теперь прямо в глаза. она действительно оказалась очень красивой: все черты лица, волосы и глаза обещали ей вырасти необыкновенной красавицей.

на миг мне показалось, что девочка на руках у меня стала прозрачна, точнее, вся фигурка её, цветы на платье, белые носочки и сандалии, а главное — лицо, сохраняя рисунок, перестали отражать свет. и теперь незабываемые глаза, светлые ресницы и брови вырисовывались чуть различимо на фоне кирпичного крашеного дома. стёкла окон отражали свет. она уже была не на руках у меня, как будто став больше, она кружилась вдоль стен каменного мешка, привлекая меня за собой (всё же я помню, что не двигался с места, верно, просто следил за ней, поворачиваясь телом).

увеличившиеся глаза её смотрели на меня со стены дома, и я, восхищаясь, продолжал разговаривать с ней:

— Когда ты вырастешь, ты будешь очень красивой. Ты станешь лучшей красавицей!..

девочка смотрела на меня внимательно и, как казалось мне, заворужено. мы что-то говорили ещё. это было слишком похоже на сон, и я перестал верить себе. я не хотел отпускать её из рук, я не хотел умолкнуть, мне хотелось рассказать ей её будущее.

уже не замечая кирпичных стен, может быть, с закрытыми глазами, я объяснял ей, как она будет хороша и как ей нужно поступать со своей судьбой... но, верно, продолжая чувствовать её в руках, я уже не был в этом дворике...

справа от меня был стол, он стоял ко мне торцом так, что если бы я не много попятился вправо и гости подвинулись на одно место, я сидел бы за столом по правую руку от тамады. я будто бы хотел что-то сказать или кого-то представить и подошёл к углу стола. но я не переставал беседовать с моей спутницей, сам стол вмешался в наше общение, неизвестно откуда взявшись, он подкрался ко мне, и теперь это стало невыносимо — весь стол слушал, что я говорю белокурой девочке. это не касалось меня. они исчезнут так же, как и появились...

я продолжал говорить ей: слов было немного, но они звучали долго, как бы растягиваясь в воздухе:

— Ты вырастешь прекрасной девушкой. Тебе надо будет выйти замуж. Твои дети будут красивы, как ты. Но только ты выбери себе мужа хорошего, понимаешь, красивого, под стать себе. Дети обязательно должны быть красивы. Помни, слышишь, помни свою встречу со мной. Как бы я хотел видеть твоих детей! Когда родятся дети, вспомни меня.

с каждым словом я всё чётче и чётче ощущал этот стол рядом с собой, всё яснее видел лица гостей, но не это мучило меня: справа от меня, с краю, сидела женщина средних лет, она-то и слушала меня, но не так, как другие, по-другому! по-другому! она слушала слова так, будто я ей их говорил. она слушала недоверчиво, как бы анализируя правдивость и правдоподобность каждого моего слова. и вот уже последние слова я говорил как бы не девочке, а ей. я перестал чувствовать в руках платье моей девочки, я перестал чувствовать её вообще рядом с собой. я потерял её!

я чувствовал лишь её слабый тёмно-жёлтый свет над столом, освещённые им лица и лицо слушавшей меня брюнетки в тёмном шерстяном платье. это было странное застолье, конца стола не было видно, но гостей было немного: (слева от тамады четвёртый или пятый) мужчина говорил негромко, уверенный, что его слышат. у них была реакция на мои слова. они не смеялись, но улыбки на некоторых лицах были заметны. они «поверили». они посчитали удачным «спектакль», который увидели. мужчина что-то говорил, но я ни слова не слышал...

я не мог найти девочку, рядом со мной её не было. я понял — её не было нигде. в левой моей руке зачем-то была зажата за руку пластмассовая жёлтая кукла. а за столом мужчина что-то говорил, теперь показывал гостям своего

полугодовалого ребёнка. ребёнок морищился и кричал, дёргая ножками. не помню, сколько времени я простоял у стола в руке с куклой... вдруг я почувствовал в себе отчаянное бешенство. я готов был плакать навзрыд, бежать куда-нибудь, только бы перестать находиться у этого стола. за столом что-то говорили, мне казалось, обо мне. я подошёл к женщине в тёмном платье, которая теперь смотрела на противоположную сторону стола. взял снизу за поперечную перекладину табурет, на котором она сидела, и с невероятной силой выдернул его из-под брюнетки. она упала на пол вертикально, как большой и туго набитый мешок. кто-то смеялся. она не сказала ни слова и ни разу не посмотрела на меня, видимо, была испугана, да и «стол» как-то оторопел, я с шумом бросил табурет и пошёл прочь, различая за спиной голос гостя, что всё время говорил:

— Очаровательно влюблён, но ненавидит всё естественное...

теперь уже ты разбудила меня, Тан, окончательно:

— А тебе хорошие сны когда-то снились, красивые, но агрессивные под конец.

— Прочитала ещё что-то?

— Да, про белокурую девочку. Ты будешь, мне кажется, хорошим отцом. Значит, ты уже тогда мечтал о блондинке. А я совсем наоборот...

— Перестань. Та, во сне, была милюзгой совсем, это просто сон...

— Не просто. Это мечта твоя, которую ты так подробно увидел. Мне понравилась она. Ну и что, если это мечта не обо мне. Просто я привыкла, ты меня убедил сильно, что всё обо мне думал. Вот я и решила, что и в снах только я должна быть. Ладно, поднимайся, там всё на столе давно, один ты валяешься.

ещё одной хитростью в той уже прошедшей тревожной, временами разладной осени нашего сближения, с моей стороны было — привлечь тебя в качестве ангельского голоса в запись аудиоспектакля по Блоку. последствия моих алтайских паломничеств — вся эта эзотерика, поэзия символистов, Блок, знакомства. с очень культурной режиссёршей, работавшей со Смоктуновским, с её прозрачноглазой зеленцОй сотрудничаем, пьём чай недалеко от нашего исходного институтского помещения на Герцена — в студии «Мелодии», рядом с готической кирхой. чтобы лучше познакомиться, лучше записать диалог...

для чего и остаёмся, чтобы утром успеть ко времени записи — тоже, быть может, моя хитрость? — у меня ночевать. и здесь уж мои поцелуи безудержны в твои лаконичные груДки, целовальное ласкание спускается и ниже, с возвращением лица к лицу и продолжением нижнего общения наших замечательно дополняющих друг друга разниц, даже со скрипом моей раскладной лежанки и, вполголоса, с наплывающим из тьмы взаимным наслаждением, но не до конца, теперь опасливы. тебе твоя мама посоветовала, но ты ещё не поставила некую «спиральку». в голубом под свете ночи — твои груДки, блеск глаз, ты у меня дома, моя девочка. не спим до середины ночи в порывах этих ласк и засыпаем вместе тревожно, я всё будто поддерживаю тебя, слежу, чтобы ничто не упало, не скрип-

нуло, не разбудило. деление одеяла на двоих уменьшает тепло, так что укрываемся порознь, но холодно всё равно. почему-то не выходит заснуть в обнимку.

утром, со вкусом кофе, захваченным вместе с теплом из дому, невыспавшиеся, какие-то сырые — идём под Пушкинской, мимо Аниного дома узкими и тайноватыми Твоими путями к «Мелодии». там пустынные коридоры, никого с утра. одна лишь женщина, записывающая нас, да прозрачноглазая пожилая шамаханская царица Елена, требующая больше в наших голосах нежности и артистизма. странно, что мы так, словами Блока, договариваем наши разговоры.

Кто ты, зельями ночными опоившая меня? Кто ты... (нажим и требовательность, страсть) л а с к о в о е имя в дымке красного огня?

— Я...

но голос твой, отвечающий, меня ласкает не меньше пальцев, не меньше губ, там, дома в красном свете лампы, ответно изучавших мои грудные и животные пространства. какие лиричные мы. только вот хрипловатые, словно подстуженные: усталые потому что, от предшествовавшей беспокойно-ласковой ночи. этот диалог не своими словами странен и иногда навязчив. но потом, когда прокручиваем дубли, — красиво. хоть и отчуждённо. и снова это мы, свои многократно прокрученные голоса узнающие иначе после записи, экономящие, стесняющиеся — он и она, уходящие по тихим коридорам, по своим институтам с опозданиями на вторые пары.

зима отпустила всё же — нас, привыкших к всевозможным маршрутам от Красных до Петровских, от Герцена к Кузнецкому. и оба наших весенних дня рождения, рыбе и близнецово, заново вписывают нас в дружеские круги — твои и мои. рюмки, тосты, импровизации на пианино мои у тебя и просто ты сама по себе, удивляющая красотой и молчаливой недоступностью моих одноклассников и однокурсниц. самое нежеланное — когда сбываются мечты? ведь мы вместе, ты моя Тайная, моя Тан, почти каждый день и всё не менее тянущая к себе, поставившая, чтобы не рисковать, свою «спиральку» даже.

в тёплом весеннем вечере, близком к ночи, к одиннадцати, в уже привычном пути, заманивающем лиственными ветерками, проходя под молодой кроной деревьев в парке двадцать четвертой больницы — мы снова идём в Тебе, к Твоему центру. день утомил — и томными, но внимательными мы идём после ужина у меня, после очередной баталии сближающих ласк до этого в твоей ванной, пока не было никого дома на Новобасманной, один лишь Маруська караулил и слушал звуки наших откровений за шумом душевых струй.

чаю много выпили из-за жажды, возникшей от долготы ходьбы и ванного сближенья? — но на Петровке, мерно выдыхающей из попутного усадебного двора и подворотен весну — мы оба не выдерживаем и забегаем в арку за парикмахерской. туда уйти благословляют железные крестообразные цветы и травяная вязь старых, светло-зелено покрашенных пыльных исконных ворот модерноватого дома.

но на одновременном излиянии наших малых нужд у ближайшей вправо низкой тыловой пристройки к парикмахерской не заканчивается этот забег

в незнакомое место: малые нужды, потребовавшие от нас местного обнажения, видимости соблазнительных различий, спровоцировали прямо здесь сближение. началось внезапным страстным удивлением и прикосновением пальцами к близости твоих мокрых нижних губ под мохнатостью, открывшейся из-под шотландской юбки. отвечаешь тревожным дыханием и тихим женским ахом желанного удивления. испуганные, с дрожью, уютно загнанные в этом дворике — мы глядим друг на друга, опять удивляясь этой близости различий и возможности ласк, коротких поцелуев. направляю своего вспявшего молодца туда, в мохнатость, ты помогаешь ему встрять, но тут же замечаешь неудобство из-за такого стояния напротив, малое погружение.

— Нет, так нельзя, давай, сейчас...

откуда эта расторопность? приспустила трусики к коленям, спиной встала ко мне, нагнулась.

— Вот так, теперь можно.

ни разу ещё именно так не пробовали, и я, встряв теперь глубже, ближе, через странное сначала бесчувственное онемение разгоняю молодца в твоей скользи, подталкиваю тебя сзади — так, что ты даже упёрлась рукой в пристройку, другой придерживая вместе край юбки и низ длинного моего на тебе малевичева свитера у спины. так медленно и откровенно мы, моя женщина, обнаруживаем себя под уже ночным звёздным небом в этом дворе — совершающими самое запретное, сблизившимися внезапно, безудержно, точно собаки. и в этой спешке за совместным всплеском в точке соединения различий ты меня даже подгоняешь, хозяйски и требовательно:

— Милый, нет не жди меня. До конца. Я хочу, чтобы ты... до конца!

кажется временами, что теряюсь, ничего не чувствую. или просто исчезает локальность, но всё, что происходит там, в нашем нижнем сближении-расхождении — остаётся просто для меня чувством твоей сладостно окутывающей меня влаги, чувством причастности к этому потайному, но теперь так явно мне открытому и доступному месту, в котором я уже столь долго и непрерывно. без времени, без изменений, цель — просто самодостаточная твоя самая-самая женственность, ступающая наслаждение вокруг моего в тебе гостя. но нет — издали, словно всё прячась за поворотом, но всякий раз ближе, маячит то, что ты назвала «до конца». и я заглядываю к звёздам, что между домами, которые единственно и видят нас.

внутридворовые дома видны туманно, окон, светящих в нашу сторону, в них нет. но всё равно здесь нам нужно всё это совершать тихо. мысленно прерываю себя, окликаю, чуть пробившимся аритмичным вдохом, но вспоминаю, что теперь в тебе та самая спиралька, которая и есть защита и свобода мне, и есть разрешение твоё «до конца». а сама ты тиха, будто ждёшь, подкарауливаешь только мой голос. и тут уж придётся сообщить и тебе, и двору, что вот-вот произойдёт. нет, ещё надо поскакать в этом направлении, но мягкая истома уже начинает собираться там, в тебе, на мне, на моём скакуне.

в пристройке, о которую ты оперлась, вдруг какой-то механизм громко и бесцеремонно включился. так, что ты испуганно ахнула, а я выскочил, удержи-

вая сзади руками за талию твоё равновесие. но — тут же смеёмся. это всего лишь вентиляция включилась в парикмахерской, и на нас понесло оттуда воздух — жаркий, волосяно-болотистый и влажный, как повсеместный весенний туман этот сегодняшней, мшистый.

ты легко обратно вернула моего, уже приблизившегося к цели, молодца. и снова в твоей минуту назад родной ему скользи он начал узнаваемый, уже ритуальный, неизбежный и вызывающий в тебе подтверждающее убыстряющееся дыхание, разгон. целую твою шею за волосами, сбившимися в одну сторону, целую, насколько дотягиваюсь, ушко, в ответ ты поворачиваешься, глядя заговорщицки и требовательно, подгоняюще, а я снова, продолжая скачку, к звёздам взгляд поднимаю. они сквозь туманец мерцают, дома безразличны, и никаких звуков теперь не разобрать за гулом вентиляции, даже если кто-то и шагает в подворотню сюда. парикмахерская вентиляционная жара вокруг нас сгустилась, и я всё ближе к намеченной теми словами твоими цели. да, я совсем уже рядом.

словно даже обогнал себя — прорезавшим тьму и туман голосом высоким, внезапно-мальчишеским, восхищённым громко, на весь двор «Да! Да! Да, моя Тан! Да!» в тебя лечу, измельчаюсь продолжением того направления, в котором рвался, только это продолжение такое же, как там у тебя, — скользкое, влияющееся, плавное. с дрожью, хватаясь в обнимку за твою талию, за плечи, сжимаясь с тобой, истекаю внутрь тебя, моя женщина, а ты с довольным строгим откровением глаз глядишь на меня, полуобернувшись лицом.

— Мой милый, спасибо. Надо же, ты сейчас был очень похож на меня, когда голосом, когда до конца...

— А ты, ты тоже?

— Нет, а я и не хотела. Это нужно было бы иначе тогда делать, как в ванной мы. Я просто хотела тебе это подарить, и здесь.

— Моя Тан, волшебница моя...

— Нет, твоя любовница, как ты меня назвал... Ну, пойдём, а то кто-нибудь-то должен тут пройти рано или поздно. Пойдём, а то скоро из меня всё твоё обратно... Надо домой скорее, в ванную.

гляжу на ходу обратно — сколько тут окон с боков, в соседних дворах: они светятся, и кто-нибудь наверняка видел или слышал, по крайней мере, наше действие. нас, как ни в чём ни бывало, из-за современной вязи ворот забирает назад Петровка. административное здание кругло-угловое с флагами глядит освещённо-спокойно, но улица пахнет свежее и туманнее, после того как мы задыхались своей страстью там, во дворе. я — со счастливым мокрым своим бойцом, упрятым в чёрный штанов вельвет, недозастёгнутый. ты — спрятавшая моим длинным малевичево-болотным свитером тайну, свершившуюся нашу, торопящаяся.

нас ведут знакомо Петровка и её ответвления, мокро и искристо светят никому светофоры — поздно. ты так поздно ещё не возвращалась, поэтому идём очень быстро, натворив там во дворе неслыханное. и всё быстрее и по-заговорщицки слаженно: вход в метро, успели на поезд, подъезжавший, пока бе-

жали по эскалатору. твой и мой взгляды, продолжающие держаться друг за друга, пока поезд уезжает, везёт тебя к Красным Воротам.

обратный мой путь по Большой Дмитровке — в разговоре взглядном с домами, с тем, в котором Чертёжник, особенно — на нём галереи, какие-то аркады — удобная нам крыша, моя девочка.

да, товарищи «три богатыря», глядите в пустой Столешников, а мы там с моей девочкой только что поодаль творили совсем не библиотечное, не на том языке. туманное начало весны, мы отметили тебя внезапно по-своему, по-страстному. Страстной бульвар — мы оправдали твоё название, то, что проходим тебя по пути к Охотному Ряду, мы вселили тут звуки своей страсти, в дворы за парикмахерской. блестят фонари к Пушкинской, но не светятся бывшие буквы Нового времени: «нова доба», «неуэ цайт»... забирай меня, Столица, сегодня я весь день почти был её и Твой и в неё весь вышел уже в ночи. созвон в такое время не будем устраивать, дабы не будить твоих. как хочется и ночью быть с тобой, моя женщина, моя непрерывная ласка, обнимать тебя сверху, нагнувшись, за талию, длить это ощущение слияния. но, как обычно, почти в полночь созвонившись и встретившись усталыми добрыми голосами, пожелав спокойной ночи друг другу поимённо, по отдельности падаем в твою ночь лежать и засыпать, Столица.

весна размыла нас по Столице: мы стали причастны ко всему брожению в Её почвах, в земле бульваров и скверов, к оттаиванию и перетеканию, смешению Её запахов, к медленному выглядыванию язычков зелени. новое опьянение, ещё даже в холодных и местами заснеженных, наших нежных днях — словно дыша друг в друга, не отнимая рук друг от друга, мы отогреваем каменную зимнюю Её... теперь ближе к ласкам под уменьшающимися одеждами, ты от своего МАРХИ влекома мной то за Патриаршие к Тишинке, то за высотку Котельнической, вверх на Таганку, по Гончарной улице — где, забравшись во дворы, неожиданно совпав с выходящим жильцом, мы забираемся на самый верх и общий лестничный балкон генеральского дома... здесь большой риск целоваться на порывах пьяного ветра, поднимающего снизу запахи начинающейся кислой древесной и кустарной зелени, — ограда балкона иллюзорна, кажется, что нас унесёт ветер и поглотит огромная видимость Твоя круговая за Тобой-рекой, в районе Павелецкого, Октябрьской, Шаболовки с сетчатой Шуховской башней, книжной полки серых махин Калининского проспекта. открывшаяся нам Твоя отсюда видимость уже напоминает и повторяет виданное в первых летних дождях, когда я только угадывал твои выпуклые откровенности под мокрым сарафаном. теперь мы научились сливаться, аккуратно сближаться стоя, немного помогает балконная ограда — тебе упираться ножкой. и мне срываться целовать твои нижние уста (пока ты толстотканную свою длинную шотландскую юбку держишь, хозяйюшка) — всё не веря в нашу встречность, в нашу совместность, удостоверяться твоим вкусом, тобой, Тан. нас могут видеть тут — но мы не в силах запретить себе этого, долгого и едва сдерживаемого в голосах. чтобы потом сидеть и глядеть на Твою широту и огромность ниже, по крышам перемещая совещающиеся взгляды:

Жаль, ты не знаешь песен «Дорз»...

— Нет, не знаю. Да и вообще мне сейчас музыка не нужна, я сама себе музыка, Тон. А ты мой музыкант... поэт мой.

— А мне почему-то хочется спеть тебе их песенку про заплыв на Луну, повести по той крыше серого дома, где в стене квадратные углубления зачем-то, для балок каких-нибудь, небось. Знаешь, ты ведь именно тут мне мерещилась наиболее чётко однажды, когда я забрёл сюда и проходил мимо этого дома кирпичного за сплошным забором. Но не думал, что мы увидим его сверху, вместе...

— Лучше обними меня... Да, мой... Милый, обнимай. Ты мне нужен, нужен... Пой, что хочешь про себя, а я слушаю это всё вокруг — кажется, воздух тоже издаёт звук, отдалённые улицы, эта близкая высотка. Мне так хорошо...

— Кстати, высотка отсюда кажется не такой высокой. И звезда виднее.

спускаемся так никем и не замеченные (но вспугнутые подтягивавшимся к верхнему этажу лифтом) с наших высот восьмидесятых годов, от запаха этих гостеприимных, когда-то элитными считавшихся стен... и уходим медленно к Таганке, вечер выхолаживает Твоё неуверенное весеннее тепло, накопившееся за день. но мы забредаем за места моих музыкальных начал, за дом Щиголя, где репетировали зимой 1990-91-го, и вниз к Тебе-реке.

Знаешь, Тан, я с тобой как в новом возрасте некоем, в новом пространстве — вот иду, где не был почти десять лет, и не узнаю ничего.

— Чего не узнаешь?

— Да мест, где рассекал весенний воздух своей бас-гитарой школьной, в полиэтилен закрученной, — бежал на репетиции нашей тогда школьной ещё группы «Отход». Хотя я ведь и тогда уже думал о тебе, как-то особенно расплывчато и ярко, с салютами, без подробностей, но о тебе.

— Красиво говоришь, но не верится... Не обижайся, ладно. И что?

— Да так — ты мне тогда такой рок-н-рольной подругой рисовалась, пока зимой и весной тут бегал от Садового к ЩиголЮ с басУхой, чувствуя от домов веяние будущих историй, с тобой обязательной встречи. А с «Отходом» мы ждали скорой популярности на юную буйную голову своей группы... И где рядом ты, из клипов «Супер чэнэл», уж извини.

— Я только канал «Дваждыдва» помню.

— Так это там же и было, третий канал, самый тогда прогрессивный — музыкальные передачи, клипы. Слово вконец было...

— Слушай, я только сейчас подумала: а что, если люки все эти с буквами «В», «Д», «М» или двух- или трёхбуквенные «ТС», «ГТС» — рассыпанный набор сообщения города?

— Имеешь в виду — поэмы Столицы?

— Ну, называй как хочешь. А? Если это шрифт огромного печатного станка?

— Красиво придумала...

нас утянули мосты за Павелецкой, и, плутая под бесконечными на Твоей набережной плечистыми широкими домами в закатном румянце, лицом глядящими к центру, мы совсем забыли о том, куда идём и куда выйдем. а вышли с на-

бережной — увидев напротив через Тебя таинство вытекания обводного канала среди старых замоскворецких домишек — к какому-то монастырю и длинному пруду, после которого таинственный дом зазывал нас, но уже явно темнеющий вечер заставил наугад, через мост идти к Павелецкой, как нам показалось с высот за Котельнической. незнакомая длинная улица привела к Павелецкому вокзалу, где мы радостно, уже по-весеннему, как-то свежо и весело замерзающие, забрались в метро греться и ехать по домам. этот свет весеннего вечера, сулящий нам Твою бесконечность в путешествиях по домам и их высотам мы увозили в свои сны — я доставлял их вместе с тобой прямо на Новобасманную к подъезду, уже в ночи возвращаясь и всё пьянея от нахождения тебя в одном со мной времени, оставленной в твоём сером рыцарском доме, от начинающейся ещё не растеплевшейся нашей весны...

Таганка тянета вновь, заводя уже левее высотки на Котельнической, в сторону театра и метро закоулками, показанными мне когда-то АлексИсом Кравцовым — к краснокирпичным тёмным задворкам больницы на сказочном, каком-то исконно таинственном склоне с лесенкой по левому краю, уже рассветлённом кисленькой, слезливо пахучей зеленью. моя инициатива приласкивать, прижимать тебя к этим стенам и вовсе взялась незаметно, но свой уже хорошо разученный танец, случающийся только в невидимости, при отсутствии прохожих — мы начали очень быстро, разгоревшись в стягивающем нас, удерживающем во время перемещений вдоль стены поцелуе...

это уже задняя стена Дома-музея Высотского за твоей спиной. и здесь, укрытые от единственно нарушающего наше внезапное уединение прошмыгивания машин вдоль больничных корпусов, мы, минимально высвободившись из-под одежд, начинаем стоячий, ритмично сближающий нас убыстряющийся танец. всё так скоро, и, угадав по твоим зеленеющим, темнеющим растущими зрачками из спокойно-серых глазам приближение пронизывающего и рассыпающегося всплеска, я только успеваю легко заслонить, поймать своими губами и не выпустить ртом твоё отчаянное, пропащее восклицание. оно словно командует и торопит, втягивает в тебя, в твою заманчивую нижнюю влагу и мою перламутровую добавку — но чтобы не переполнять тебя, закупоренную теперь спиралькой, во время долгого ещё предстоящего пути, вылетаю и рядом с твоими бёдрами прямо в весеннюю чёрную почву Столицы, едва проколосившуюся тонкими волосиками жёлто-зелёной травки, роняю стремительный изобильный перламутр, свою контрибуцию в весеннюю капЕль. ты шутишь, пока мы приводим себя в порядок, застёгиваемся — про то, что тут вырастет от такого посева, надо прийти через несколько лет проверить. плод страсти, passionfruit какой-нибудь.

и тянешь, тянешь дальше, Столица, через Тетеринский переулок — своими водными артериями, Яузой, Тобой-рекой. проводя между больничными корпусами среди гуляющих больных, поднимая к строительным задворкам большого толстошеюго храма, только миновав который, я понял, куда мы вышли — на Николаямскую, это тот храм, где я в первый год студенчества видел

якобы сектантскую табличку «сход-развал»... отсюда нас сносит к Садовому кольцу по Николоямской. мы возвращаемся к Тетеринскому переулку, плуруем на задворках санэпидемстанции внезапной и под мостом переходим Кольцо. по Большому Дровяному переулку, мимо небольшого, но яркого дореволюционного дома с хищным орлом на дворянском гербе.

через Николоямский переулок за улицей Николоямской, оставив позади плосколикие особняки, мы забираемся за недолгими дворами в пустой и таинственный, как заброшенный замок, роддом имени Клары Цеткин. в пустых помещениях второго этажа, в этом шикарном, с высоченными потолками особняке, отданном революцией нуждам народным, для рождения, пополнения советского народа — цокая по камушкам и стёклам, ты изучаешь и предполагаешь, где здесь рожали... здесь чувство этой незаполненной пустоты роддома и жалоба твоя на прерванность того короткого слияния среди влажных, словно набухших внешними водами, стен над Тетеринским переулком — требует моего снова участия, сначала устного внизу, приподняв длинную шотландскую юбку у бёдер (губы мои горизонтальные — к твоим вертикальным, язык мой большой к твоему малюсенькому верхнему там, словно замковому камешку бледному), а потом, снова с твоим настойчивым когтистым извлечением холодными пальчиками из вельвета — и молодцового. здесь уже медленнее, отчётливее, усадив тебя на металлический стол у стены, начинаю. мы пропеваем в акустике высоких этих стен, никого не боясь, в полный голос песню нашего сближения до самого конца, и только лай собак с дальней стороны роддома отвечает нашему разоткровенничавшемуся дуэту. потом выпиваю, вылизываю свою из тебя добавку — чтобы тебе не истекая продолжать идти со мной к твоим Басманным краям. когда так вместе — кажется, мы едины организмом. и когда настанет день принести тебя на руках в такой же роддом с невыпитым, оставленным в тебе моим перламутром, превращающимся в человечка — это будет праздник жизненный невиданный, буду с тобой всё время, за руку держать и целовать. и лезет в окна опустевшего роддома весенняя зелень, все эти набрякшие пушистые щёточки — зовут нас наружу, в неведомое, но отсюда счастливое будущее. вкус и запах нашей с тобой влажной совместности, с очевидным брожением, хмельной — сливается на губах в моём пьяном обонянии с воздухом весны, слякотями улиц, сыроватым духом центра. после медленного, бережного моего к тебе, спуска со склона от роддома к набережной, извивающаяся под автомостом, железнодорожным мостом, Яуза уводит нас через изящно горбатенький мост к улице Радио, к Басманным Старой и Новой твоей, через парк Баумана, словно мы туда уже приехали с коляской нашего дитяти, моя весенняя, желанная Тайна.

нас так же уводит от центра через Кропоткинскую и по местам летних первопроходцев-нас — даль Новодевичьего монастыря. откуда, от пруда под монастырской стеной и железных уток детских, надышавшись зеленью и Тобой-рекой, по железнодорожному мосту мы перебрались на Бережковскую набережную, где ты по пути к Киевскому вокзалу, среди зелени, допытывалась — неужели и здесь, напри-

мер, в длинном сталинском доме, следующем за четырнадцатым, я искал тебя? чтобы доказать — потащил тебя в первый попавшийся подъезд, дабы забраться на боковую башню и целоваться. и увидеть через Тебя-реку стеклянный шкаф РАО на Погосинской. и потом высмотреть ещё бабушкину поликлинику около Киевской: уже тогда видел внимательно и искательно этот дом, а значит, жаждал тебя.

вклиниваются, разряжают наши бродячие и пьянящие цветением, влиянием нашим в весенние процессы, встречи — с теплом и зеленью ступающиеся, обзывающие сессии: твоя вторая и моя которая уже. и утраздило же меня в ходе своей сессионной горячки отравиться курагой, будучи в гостях у нашей литературной наставницы, с которой я тебя познакомил при первом же случае еще осенью — у Ирины Николаевны Пискуновой, моей третьей литературной учительницы-Николаевны, весьма способствовавшей нашему сближению выдачей тебе книжек, беседами за чаем, — вот за чаем же у нашей добрейшей, но не ходящей, в коляске инвалидной Николаевны и съел эту злополучную немытую курагу Овину. и не мог понять — отчего так раздражает запах, принесённый другом нашей Женьки-однокурсницы? надо же, собралась фамилию голубоглазая бесформенная Хрычева сменить на Корноухину, (сочинил детско-едкий памфлет на её замужество: «Сменив Хрыча на Корнуха она вступила в мир семьи»). был уверен, что травительный резиноватый дух издают носки приведённого на смотрины Женькиного широколикого водянистого жениха. но эта раздражительность была усилена внутренним состоянием, отравлением. а наутро понял, что горячка не снилась — что температура. за тридцать восемь. а ты собралась, красиво соблазнительно оделась, звала меня пойти на «Маленького принца» в «Эрмитаж», в «Сферу».

но валяющийся весь день на диване с градусником и всё бегающий в туалет — какой я тебе спутник? когда вернулась со спектакля ко мне, моя медсестричка (прохладные нежные ладони, охлаждающие поцелуи) плюс семейный консилиум — решаем вызывать «скорую». уже напинимавшийся гидрокортизона, с несколькими таблетками активированного угля в беспокойном животе, своим ходом, затемнённо-зеленоватое воспринимая всё вокруг, добираюсь до стоящей во дворе «скорой помощи».

там уже — на носилки. в машину никого не пускают — ни маму, ни тебя. лёжа выезжаю из твоих архитектурных подробностей, Столица: вижу только сквозь открытый из-за жары люк в потолке машины, в щель — балконы, что-то непрерывно сообщающие, как бегущая строка, узоры домов Тверской, Ленинградки.

и уже в темнеющем не по вине температуры окраинном помещении инфекционного отделения обнаруживаю себя — переодетым в больничную синеватую робу, несчастным, пострадавшим, съёженным, в своих домашних тапочках неуверенно топающим в какую-то палату, где есть место. медсестра приносит две бутылки — чтобы до утра выпил. пробую: вода напоминает минеральную, только солонее и противнее, и без развлекающего газа, конечно. но надо пить — хотя бы из-за жары и из-за собственной потери воды там, дома... тут законный пейзаж симпатичен.

вот где оказался больничный теперь обиталец. а ты там, в Столице, Тан, без меня. но не смогу тебе позвонить сегодня, моя девочка. даже не знаю, есть ли тут телефон. за окном — два корпуса торцами к нашему стоят по его краям, газон, фонарь грустно освещает жаркую ночь. ветерок из окна обнадеживает, и от потери сил в температуре, словно после долгой физической нагрузки, — засыпаю, просто едва улегшись на своё место, слева у окна.

утро не сильно радует — такое же жаркое. и вставать трудно. еще две бутылки принесли, пью через силу. маленькими, но частыми глотками. и пока врач не идёт. напротив меня — два солдата. разговорились — они, выяснилось, уже из армии, из частей связи, сюда попали, тоже с температурой. и не хотят возвращаться, чувствуют себя прекрасно хотя. полноватый брюнет и невысокий русоволосый, поразговорчивей и серьезней.

ужин — уже смог. даже хотел. просто рис и чай, немного сахара. и — первым делом нашёл телефонный аппарат в коридоре, а жетона два, словно ириски круглые, есть на счастье. тебе звоню, как и обычно, если не встречались и ты не от меня едешь, всегда позже этого времени — ровно в одиннадцать. далёкий твой голосок, нежный и добрый, немного удивлённый — сам первый в трубку, без родительского посредничества.

— Тонюшка, это ты, что ли? Как ты там? Откуда звонишь?

— Да, это я, Тан. Наше время — вот и звоню...

удивлена и сразу же вопросы — что да как. лучше, медленно лучше. зайти — не знаю, можно ли. вряд ли. инфекционное же отделение. карантин. прошу передать маме, что можно посылать из еды, что врач разрешил — бананы, как ни странно, минералку любую не солёную. даже отсюда, из больничного коридора — да, в эту общественную трубку целую тебя и желаю, как обычно: спокойной ночи, Танюшка.

каково же удивление моё и особенно соседей-солдат, когда ко мне, до сей поры только читавшему присланные мне от Ирины Николаевны книги о Тарковском, пришла ты?

твой взгляд почувствовал из-за двери. зайти ты боялась потому, что не имела права тут оказываться вообще. но увидел тебя, подбежал к двери, вышли из корпуса и гуляем — ты в коротеньком, наборенном чёрном платье, вся жутко соблазнительная: только тут понял, что и больные пылают желаниями, когда к ним такие изящные девочки приходят, навестить сраженных курагой-отравой бойцов студенческого фронта. вид мой в синеватой больничной одежде тебя смущает, сгущает и чуть веселит вместе со мной. в этих же днях, и сегодня между нашими короткими репликами, живет совершенно нелепый, из какого-то окна нашего инфекционного корпуса выброшенный на газон, целый пакет зеленых оливок — там лежит кто-то южно-восточный, ему прислали, а есть нельзя. зачем-то рассказываю тебе это. а ты мне о своей сессии, о том, что всё уже на исходе.

садимся на приступку у правого корпуса, если из наших окон глядеть. и я за руку тебя держу всё время разговора, свидания этого смелого с твоей стороны, а потом приласкиваюсь даже к талии и бёдрам. жарко... моя женщина. вот

такая перипетия оказалась на пути у нас — меня выбросило на окраину Столицы, к этим длинным белым высоким корпусам, и не гуляем с тобой там, как прежде, в старине, а сидим тут, и я, ничего не делая, но только тебя касаясь, уже устал — сердце еще не разкошегарилось после температурного стресса, усталое. но через неделю, возможно, выпишут. после майских праздников.

— Знаешь, когда тебя увезли, я в такой растерянности оказалась.

— Почему? Волновалась?..

— Не только в этом дело. Я поняла, что мы с тобой ужасно мало говорили. Всё, что про тебя знаю — в основном детство, те слайды, семью твою, про бабушку и ее родителей. А сам про себя, про свои до меня годы совсем не рассказывал.

— И поэтому ты прорвалась сквозь все кордоны сюда, куда никого не пускают? Тут же, например, гепатитные ходят больные, заразные. Дураки-солдаты из моей палаты всё мечтают от них заразиться и не возвращаться в армию вообще...

— Вот опять ты уходишь от темы. Ну, без тебя я осталась без тебя совсем — понимаешь? Извини за тавтологию. Но давай не отвлекайся, учиняю допрос с пристрастием. Я уже даже с твоими однокурсницами общалась. Просто я дома у тебя была, а они звонили выяснять, почему ты не на экзамене. Чтобы упростить тебе задачу — рассказывай, как ты меня искал. Но начни с более раннего периода. Ладно, говорю напрямик — рассказывай про свои влюбленности, быстро! Я там разревновалась, к прошлому особенно, даже к платоническому.

— Но ты же первая.

— Вообще про влюбленности, скажем так. ЛюбовьАнница я у тебя первая, это факт известный.

— Надо же, так странно — тут, в больнице...

— Уж где пришлось. Колись.

— Да уж, знойная пора, пора выкладывать своё прошлое, «колоться»... Вот тут-то не колют меня ничем, только кровь на анализ шприцом одноразовым вытягивают, и на том спасибо... Но про что тебе рассказать? Ну, например, года уже в три-четыре я влюбился. На даче, в Калистово, свожу тебя туда потом обязательно. Она была дочь хозяев, у которых мы снимали комнату, Лена. Вставал рано утром, просыпался раньше всех — набирал за забором цветов и стоял у лестницы, ждал, пока она спустится со своего второго этажа. А она спала долго, ленивая была. Так и совпали ее имя и характер. Лена... Ей было лет пятнадцать. В ее комнате, куда она меня однажды пригласила, висели календари с Юрием Антоновым, всё время его песни звучали сверху, из ее комнаты. Была она невысокая, склонная к полноте, немного монголочка, что ли, при достоинствах — какие я мог тогда понимать: особенно её голубые глаза и веснушки. Я был уверен, что серьезно влюблен. А она уходила спать на сеновал с деревенскими друзьями. И, как говорили всё время родители её, Николай Иванович и Марья Алексевна, всё время ленилась, не помогала им в сельских трудах. Лена. Вот.

— Четыре года тебе было?

— Может, пять... Нет, всё же ближе к трём. Мы долго жили в Калистово, у разных хозяев снимали. И всё это задолго до школы. Потом там же влюбился в Таню — это, по-моему, рассказывал тебе.

— Что-то не помню.

— Ну, она была дочь запойного местного мужика, он бил ее и жену. Она ходила невыспанная. И дружила с Женькой, соседкой по улице. Лукавые — они надо мной издевались, зазывая вместе в баню, шутили, ехидные. А я серьезно хотел объясниться Тане как-нибудь. Вот, вроде, и всё из самого раннего. Что-то трудно сейчас вспоминать, какой-то я малость заторможенный.

— Нет, просто ты ещё не пришёл в норму, интоксикация не прошла.

— Или я твоим присутствием опьянел?..

— Нет, Тон, ты действительно ещё зеленовато выглядишь.

— Врач почему-то, посмотрев мои глазные белки, решил, что у меня может быть гепатит. Но я объяснил, что они такие всегда, особенно в плохом самочувствии, желтоватые по краям.

— А он?

— Вроде бы, поверил, переводить ниже этажом не стал — там гепатитчики лежат как раз.

— Ни в коем случае! Я ему дам переводить! Но мы что-то опять отвлеклись.

— Ну что ещё вспомнить? В школе в третьем классе у нас была с Наташкой Шмельёвой дружба — носил ее портфельчик. Облизывая мороженое, шли вместе домой, жили рядом, боярышник ели на улице Чехова... Уроки делали вместе, в теннис играли у меня во дворе. Тоже сугубо платоническая связь была — когда я ей предложил по-детски сама понимаешь что, она тоже по-детски хитренько ответила: «Давай снимай штаны первым».

— Ха-ххааа! Молодец, Шмельёва! Так и надо вам, нахалам!

— Вот смешно тебе, а мне стало дико стыдно и неудобно в мной же созданной ситуации.

— Ну и снял штаны-то?

— Да куда там. Отбой дал.

— А когда ты ей это предложил, извини за любопытство?

— Когда уроки делали на бабушкином столе, когда она над учебником сидела по геометрии.

— Так это уже не третий класс должен был быть.

— Возможно. Вот этого уж не вспомню точно. Но не сильно старше. Ещё до физического взросления, конечно же.

— Жуткий ты какой бабник, оказывается. Платонический, но бабник.

— Ну уж прямо.

— Ладно, прервём допрос. Тебе пора наверх, ведь два — время обеда у вас?

— Да, пойду. И ты иди...

— Нет уж, я хочу посмотреть, как ты дойдёшь, слабоват ты потому что.

— Ладно, посмотри, только туда не иди — мало ли там, какие бактерии на стенах?..

— Ну, пока, Тонушка, бабничек мой платонический. Я тебя ещё и ещё буду допрашивать, не отвертись.

— Пока, Тан. Позвоню вечером.

репительным, но нетвёрдым шагом — до стеклянных дверей. оттуда — тебе помахал и пошёл по лестнице. да, пламенный мотор ещё барахлит, быстро перегружается работой. главное, за перила не держаться — тут же гепатитчики ходят. коридор, палата — после встречи с тобой радостные, уютные, добрые. выглядываю в окно наше широкое: ты идёшь наискосок в сторону выхода, красочка моя смелая, лазутчица. солдатня заинтересовалась, туда же глядя:

— А мы тебя видели в окно. Ты там с кем сидел? Познакомился тут, что ли, с кем-то?

— Нет, это ко мне приходила...

— Что, твоя подруга? Серьёзно? Нехило, Лёх...

— Да, молодец наш киновед. Не сказал бы по тебе, что такая... и к тебе...

— Лёха аж стихами затарабанил!

— Да ну вас, ребят. Тут ведь всё серьёзно.

— Ладно, молчим-молчим. Смотри: ведь сюда пришла сама, как пробралась, интересно? Ей сколько хоть лет-то?

— Да помладше будет на тройку лет.

— Ишь, самый сок!..

веселые симулянты ударились в зависть недаром: им одно тут развлечение — смотреть футбол да читать эротические гороскопы в жару. один читает, а другой изнемогает: «Перестань, балда моя воспряла!». и действительно — полный всё с одеяльной горкой лежит, лыбится. и обязательно всякий раз вычитывают, что полагается моему рыбьему знаку. ржут, гогочут: оказывается, моя партнёрша должна мне «прикладывать лёд к яичкам в самый-самый момент» для пущего счастья и ещё что-то делать пытательное, душить полотенцем, что ли... делать им нечего, симулянтам: о Тарковском мешают читать, о моей девочке думать.

это всё не про нас, не из нашего мира. и главное, Столица, я тут изсучался по нашим движениям в Тебе, в центре... эта белокаменная больничная окраина разбудила новый голод по хождениям с ней, там... но теперь уже точно выпустят скоро. и все лекарства стали привычны, не противны. и еда вкусной. и даже борщ давать стали. и компот. делегация однокурсниц с одним однокурсником пришла навестить — но их не пропустили, и стоим через забор общаемся. увидев в больничной униформе меня — заплотировали, нахалки. за ними — листва окраины, дома жилые. пришли ко мне, родные, — поглядеть, жив ли после того литературного занятия. заметили худобу. поиздевались, что идёт мне синеватая униформа, будто в фильме снимаюсь. девчонки, одетые легко, жилисто-мускулистый Лео в белой майке — импозантный и с постоянной улыбочкой ехидно-мудрой. что ж, скоро я к вам... голос мой стал спокойней и уверенней. надо же: за такой короткий недельный срок стёрлись все автоматизмы, сессионная нервность, ленивая привычность, надоедливость, знакомость лиц, голосов — соскучился по всем и по всему. и, Столица, ты тянешь с новой силой

в себя. особенно — свободой быть в тебе с моею девочкой. которая ждёт и чего-то обо мне ещё не знает. там — с Тан...

и вот выпустили, собрался, иду в парковой территории больницы (почему-то рулон туалетной бумаги валяется на газоне у старых корпусов по пути к выходу), через проходную под низкой затемняющей листвой, с пакетиком вещей. мама встречает, обуваюсь в светлые ботинки, и, отвыкшим от асфальта шагом, неуверенно ещё — к остановке троллейбуса у подземного перехода, к транспорту, что довезёт до Маяковки напрямки.

а весна уже развернулась в лето, и, проходя с тобой по новым для нашей совместности пространствам Столицы, в которые теперь снова могу тебя увлечь — всё время смешивает взгляд твоё лицо, волосы, глаза, всю мимику наших разговоров с зацветающими, распускающимися во всю лиственную благоухающую миндальную благодать кустами и деревьями. и уже с сиренью. ты учишь меня — в чём сирень разная. а те цветы, что я подарил тебе на день рождения: мелкие кустовые гвоздички нежно-розовые на восьмое и розу в горшке, что не стала долго жить, — зачем-то засушиваешь, хранишь, превращаешь в икебану. я тоже умыкнул с моего свитера твой волос и поселил его в прозрачно-пластмассовый футляр. продолжил свои дурацкие суеверные уловки: сперва ведь, ещё до начала зимы, умыкнул у тебя висюльку-сердечко, которую ты называешь медиатором. они рядом лежат в моём белье: волос и сердце.

лето всё наступает — не такое дождливое и ураганное, как прошлое, наше встречное, но умеренно жаркое, ночью охлаждающие дожди. лето отпустило наших работающих родителей на дачи, твоих — в далёкую деревню на границу с Белоруссией. и ты за ними скоро поедешь, но, пока не уехала, мы — всю вместе, ночуем чаще у меня, утомлённые движениями ног в ласках маршрутов Столицы и ласками собственными, ручными, устными и не только. на Краснопресненской, отвалившись от знакомых магистралей и Белого дома, гуляем вверх и вниз, мимо открытых в жару окон, мимо маслянистой, миндальной зелени, которая примешивает с ветерками свою растущую радость к нашим поцелуям напротив генеральского квартала бежевокирпичного. улица Рочдельская, выше, к задворкам бордовой школы и снова ниже, а потом — по открытому нами бульвару выше, к Белорусской, мимо Макдональдса, куда забегаем исключительно в туалет (правда, и там очередь: хихикая, ждём).

к зоопарку, к Тишинке, мимо сушащегося у старых двухэтажек белья, бревенчатой поликлиники, набредая словно в бреду наших умеренных ходьбой ласк на квартиру Высотского напротив «гётише кирхе» (как на её стене кто-то написал для воображаемых невест). пятиэтажки-хрущобы довольно аккуратны, балконы подпёрты бетонными столбиками. цветники там. и надо всем этим торжествующая листва, шумящая, как особая стихия, шумливо переменчивая и повествующая что-то параллельно нашим репликам.

но нам нужно всё же — к центру. Столица Садовым кольцом манит, зовёт домой, и вечер — над Маяковкой, над Домом кино, Чешским посольством

и Тверскими-Ямскими, наступающий теперь только к одиннадцати — наш провожатый. то, что каждая твоя в родной мне теперь обнажённости родинка от пальцев ног до ушек перецелована — не новость, а повторяющийся ежедневно факт. обедаем на ночь, охлаждаемся в душе — и бежим к постели без одежд, встречая себя в моих зеркалах, с необычными, асимметричными лицами. встречаем обнимающимися: я — сзади, высокий, подхвативший твои скромные груди и, как вазу держащий, ласкающий контуры талии, вверх-вниз, целующий твои плечи, а ты — обнявшая меня за ягодицы, прижавшая к себе. и растёт, упирается сзади, просится в тебя незамеченный в зеркале, скрытый мой элемент.

твой медно-сосновый скользкий вкус внизу тоже стал близким, иногда неразличим в нём и мой, после слияния, черпаемый моим языческим обрядом благодарности до того, как убегаешь в душ. откуда тут взялось слово «луноход»? но этот смешение вкусов у меня означилось именно таким словом, коктейль. наше время, наше совместное. и пространство, которое заполняют не только теперь на полную громкость выпускаемые сообщения наслаждения...

успеваем и поспориться, и помириться в долгожданной для нас одних отведённой приватности квартиры: на сон грядущий тебя обидело моё невнимание после душа, когда уже ты легла и ждала, а я задержался со стрижкой ногтей:

— Я тебе не нужна!

прокричала и убежала в бабушкину комнату, устроилась там спать. зашёл разок — отвернулась, молчишь. подумал одиноко в комнате и зашёл второй раз: схватил на руки и перенёс на нашу общую, мою территорию с единственно пришедшими на ум грубыми, банальными, но подействовавшими как допинг словами из фильма Оливера Стоуна «The Doors»: «Давай трахнемся и обо всём забудем». на слова эти ответила неожиданным выводом, уже положенная на простыни, прижатая и наводнённая, наполненная моим, тебя подхватывающим, молодцом:

— Если ты не будешь так делать постоянно, я найду другого...

утро, когда никто, кроме лиственных звуков близкого двора и отдалённого машинного Каретного, не будит. в нём проснулся от прикосновения солнечного луча — прямого, через балконный проём вошедшего. луча в глаза. ты спишь, моя девочка, уснули поздно, утомили ласки и пять отчаянных слияний, всё более жгучих и быстрых, задыхающихся, щекотно-пламенных.

проснулся в невероятно торжественных, секунду назад обоснованных и развёрнутых в позднеутреннем сонном действе, слезах. ощущая что-то невозвратимое, словно мелодию — только что прочувствованную и понятную, а теперь растворившуюся, смытую слезами, выплаканную. видимо, одна из этих, ещё во сне вылившихся слёз тебя разбудила. вон — течёт по плечу и серо впитывается в простынь.

— Доброе утро. Ты, что ли, плакал?

— Да так... нет, это не плач был. Это во сне.

— А что было у тебя во сне, мне интересно, расскажи?

— То-то и дело, что уже всё стёрлось. Только ощущение чего-то ускользающего и очень драгоценного. Вроде мелодии какой-то, что по крышам там куда-то летит...

— Красиво и грустно. Музыка была во сне?

— Нет, это я для сравнения. То-то и дело, что не ясно ничего.

— Знаешь, я пока побегу умоюсь, а ты постарайся вспомнить, хорошо? Мне интересно... Смотри-ка — да, наплакал вон сколько.

гибко поднимаешься и вышагиваешь из комнаты, лакомо мелькнув мохнатеньким межножным промежутком буровато-русый, под белыми ягодичками.

так вот всё и сложилось в новом лете. тёплый солнечный день начался, а мы в нём заспались. вдали квартиры полился душ, началась жизнь, а тут я всё долёживаю, душу своё сонное слёзное впечатление. где-то оно зацепилось на наших крышах, в этом новом, нам уже открывшемся лете — и гулом зримого, вобранного глазами и памятью пространства тревожит, зовёт. и, хоть не те, что сначала, но мы — там. и Столица, начинающаяся прямо за окнами кухни, за Каретным рядом — далеко и рядом, в тёмных высоких чердачных окнах полузаброшенного модерна, уходит в Себя, как бы мы ни сопротивлялись. тянет вправо по кругу Своих колес, к Трубной, к Котельнической, а оттуда к Таганке или в Замоскворечье — чтобы заново рассказывать нас нам, в сопровождении всё новых Своих домов и уличных пересечений. может быть, неосознанные слёзы во сне — от первого переживания невозвратимого времени, прожитого вместе с тобой, в приближении годовщины знакомства? но об этом не думал — ведь всё так интенсивно, а наши разлады, словесные блуждания так непродолжительны, хоть и непредсказуемы...

так сложилось у нас: вот новое, теперь постоянно ощущаемое соответствие наших (на о(фу)фициальном языке — половых) различий. и реагирующая на твои красЫ возможность моего, маленького как в детстве, смугленького хоботка вырастать в молодца, соответствующего твоей длине внутренней... и оказалось очень оправданно моё вот это утреннее мужественное, почти молитвенное стояние молодца: ожидание тебя из душа. и соответствие, сочетание тел, познаваемое непрерывно и азартно, в изгибах, в сближении и удалении — моего русоволосо-смуглого и твоего каре-изящного, беленькокожего — выстраивается с каким-то музыкальным, новым пониманием и нас самих, и окружающего всего. просто начали тут ходить, лежать, глядеть, залезать в душ — делать всё, что раньше по одиночке — вдвоём. и иначе даже двигаемся в лёгких летних одеждах: все участки наших тел активированы, отмечены поцелуями, нужны, и поэтому динамичны, смелы...

не стал дожидаться высыхания своих сонных слёз и твоих капель душа — добавил к тебе в ванную, где ласки и поцелуи тут же смываемы струйками стационарного дождя, внутреннего полива Столицы. и взаимное изучение тут — снова детское: то целуем отличия, что доходит с твоей стороны до языческого щекотания моей задней мужской аналогии твоей женскости, чтобы я знал, что ты чувствуешь при моих языческих ласках твоих нижних уст, то по очереди глядим — как же именно писают эти противоположные полы? обнаружилось (да ты и са-

ма оговорилась), что запросто ты могла бы, не садясь, стоя струить «как мальчик» — направление почти то же, вперёд да и моего молодца особенности: боковая родинка, внутренний переход (от внешнего смуглого через белое к розовому) капюшона к прищуренному малиновому скипетровому набалдашнику — оказались интересны для неспешного изучения твоих деликатных пальчиков с недлинными узкими ногтями. привыкнув к воде, насмотревшись-наигравшись отличиями друг друга, после того как я в удобные и неудобные моменты подцеловывал тебя и всё захватывал сзади грудки — вышли из-под струй, и мгновенно я вступил в тебя давно нацеленным своим вектором. упершись за мной левою ножкой — дала нашему ритму опору. какая внезапная и нарастающе желанная обязанность — вдыхать тёплый дух твоих мокрых волос и ускорять, приближать в твоей нижней влаге миг захлёбного ликования. и когда, выхватывая кислород во влажной ванной атмосфере, мы догнали этот миг — ты словно чтобы усилить моё вхождение на стонном выдохе, словно в отчаянии звучно треснула меня сзади по тазу руками, затем прижав. и не отпускаешь, пока мы сползаем в ванну, а высокий душ заливает нашу негу, которую ты вместе с моим молодцом не выпускаешь из себя... свободны, одни вдвоём. никто нас тут не услышит и не выгонит. делавшая это раньше («Они там сексом занимаются! Не позволю...») бабушка — на даче.

сколько нам ещё таких ночей и утр? да и те, что были, уже кажутся неисчислимыми: когда в дневном свете от вертикально-возвышенной, с открывающим сливное уклоном назад, скачки твоей на мне, у моего раскладного диван-кровати буквально подкашивались ножки, и дальняя часть его падала — с улыбкой по поводу такой всесокрушающей страстной истовости, разнимались, и восстанавливал опоры. но совсем не хочется говорить об этом в прошедшем времени, потому что продолжается.

и перекатываемся словно в одной постели из твоего дома в мой, преодолевая сегмент Садового кольца к Красным Воротам или в сторону Ленинских Гор, где пустая квартира твоих бабушек на улице Марии Ульяновой. и там же — тоже... хоть и на узкой твоей у них персональной кроватке — но голенькие, совершенно нагие. и неотъемлемо целуя и проникая в тебя, я оказываюсь внизу, поддерживая тебя на себе, видя твои розово увенчанные грудки как ты обычно и ещё.. ещё ощущывая наше единство внизу, встречая и осознавая не сразу переход тебя в меня и наоборот — там, где устремлённый молодец мой погружён между твоими лепестками. а потом, почти доведённый до взрыва в таком неожиданно откровенном положении очевидности мне тебя всей, при несильном движении — он вылетает и фонтан свой выбрасывает тебе на живот в лунку пупковую, откуда мною принесённым полотенцем собираешь... стали домашними в нашей мы страсти, ты этому способствуешь своей расторопностью, гигиеничностью — ходим тут голенькие, лишь на краткие моменты разъединяющиеся, но потом воссоединяющиеся вновь. жизнь и пространство на двоих — мы вдвоём в Тебе, моя Столица.

снова дома у меня заночевав, словно как обычно, как в кругу семьи, только глядя друг на друга с усталостью ночных и утренних заговорщиков, мы зав-

тракаем — ты заботливо и степенно нам обоим намазываешь «Долину Сканди», осуждая мою поспешность: то, что кладу масло кусками, не размазывая. всё интенсивно накладывается на недосып: нужно ехать на Рижский вокзал, покупать тебе билет в деревню.

отсюда, с моей кухни, из Твоего центра, нас и забирает лето в свои поездки: ты — к себе, к родителям в далёкую деревню на границе с Белоруссией, я — ближе, куда и прежде, летом нашего знакомства. но лишь ненадолго: ты вернёшься и тогда уже, договорились, поедem вместе в твоё Ладеево.

недели без тебя идут по-детски, в заботах, в велосипедном одиночестве, наедине с дорогами моими и полями за Софрино. здесь всё родное — маленькая дачка, четвертинка дома, комнаты, скромное уютное застолье в женском семейном кругу. но всё же жду твоего сюда добавления.

неожиданно соединяет вновь нас, и в пользу моей дачи — Конгресс зарубежных психологов, на который я привлечен в числе прочих студентов на подхват, мы закручены с ними в сеть экскурсий, посещений театров. и по этому случаю — успеваю тебя перехватить в короткие дни полустанка, сбора дополнительных вещей, до возвращения твоего к себе в деревню, и увлекаю в последнюю, финальную экскурсию с иностранцами в Сергиев Посад. туда едем на автобусе, фотографирует нас в лавре внимательный красноликий детский психолог Гари, увлекающийся художественной фотографией, — русскую пару на фоне русской колокольни. ведем его потом в пельменную, он стойко ест невкусные пельмени, только томатный сок спасает, он считает своим долгом расплачиваться... на обратном же пути — наугад выходим из автобуса на остановке «Радонеж», я знаю, что это неподалёку от Калистова, уверен, что найду дорогу в знакомые места. по автомобильной узкой прямой дороге от церкви, как-то связанной с Сергием Радонежским, — идём меж высококолыхов полей в сторону леса, перпендикулярно Ярославке.

теперь солнце припекает открыто, машины редкие — и у нас есть идея забраться в гущу колосьев вдвоём, сделать подстилку из одежд и... однако временем не богаты — к вечеру-то надо добраться до дачи, а насколько мы далеки от знакомых мне мест и железной дороги — неизвестно.

ты всегда отзывчива солнцу, есть у тебя связь с ним. редкость проезда мимо нас машин по этой проселочной дороге вдруг толкает тебя на провокационное поведение. стягиваешь свою чёрную маечку и идёшь голенькой по пояс, загораешь, улыбаешься мне, дразнилка. хулиганка моя, я теперь как пастух, ждущий приближения волков, а ты бесшабашная нудистка. уже слышно приближение из леса машины, даже видна поблескивающая стеклом, с горки едущая эта тёмно-зелёная «Нива», а ты всё беззаботно красуешь свои грудушки на солнышке. в последний момент, не без моей помощи скрываем чёрным прикрытием ткани твою белую незагорелую с двумя розовыми глазками-сосками наготу — семья в машине (муж и жена, видимо) улыбается во всё лобовое стекло. мы тоже смеёмся, сжимаю две драгоценности под прикрытием, прикрытием убираю

и прямо полностью, лучше бюстгалтера скрывая в ладонях твои груДки от возможных новых зрителей, ближе к себе тебя впереди идущую прижимаю. моя ты ведьма. в лесу, в тени, уже без моих настояний одеваешься. тут комарики.

неведомая дорога-просека выводит нас к новому полю, тут-то и ориентируюсь: эти поля видны в пролёте электрички по пути в Загорск, в Сергиев Посад. то, что в детстве наблюдал только как картину в окне, как иллюстрацию к сказке Реальности, — теперь открывается, обнаруживается изнутри, выходим из леса. и здесь уже понимаю точно, что нужно повернуть налево. какими-то тут внезапными горами и нехоженными лужайками идём в сторону населённого пункта, на огородах которого рядом с сараями, покрытыми дранкой, точно в фантастическом фильме торчат не яблони, не плодовые деревья или лук — а носы и прочие острые части военных самолётов, какая-то свалка прошлого. подсобная территория ближайшей тут военной части? через садовое товарищество и малинники, скрывающие сетчатые заборы, — вдруг быстро выходим к станции. это не Радонеж, не 55-й километр, а Абрамцево, только другая сторона, куда с Твоей стороны едучи выходим обычно, и переходим на левую, родную сторону, к теремку-станции.

пока ждём поезда, билетов не покупая, нам всего несколько станций проехать, — забавляюсь уже я. ты остаёшься на пустой вначале платформе, а я, под неё нырнув, выхожу на рельсы, благо поезда пока не слышно. ты садишься на корточки, чтобы быть ближе ко мне — такая высокая и взрослая длинноволосая, с родной уже и желанной видимостью чёрных трусиков под лёгкой юбкой, говоришь ласково и укоризно:

— Какой же ты ещё маленький!..

поезд становится слышен, здесь он поворачивает резко, так что с рельсов ухожу и успеваю точно подхватить тебя за талию, ввести в пустоватый вагон и везти в Твою сторону, чтобы привезти в женский мой коллектив на дачу через несколько остановок. вот как для нас удачно сложились день и пространство...

пришла, привёл: улыбки, торжественное чаепитие, рассказ наш об экскурсии... дом и участок расцвёл тройственной женскостью и моим тут участием по сжиганию в костре всевозможных гнилушек, в обустройстве тебя в отдельной, моей обычно комнате.

но надо нам уединить наше, только наше даже и из этого спокойного и мирного жилья: я ночью, когда все уснули, перехожу из бревенчатой части, крадусь к тебе. и — процедуру с кувшином и тазиком воровато наблюдаю, хотя ты против: как стекающей по животу теплой струйкой ты умываешь нижние губки — такие зовущие, вытянувшиеся. но надо терпеть, ждать окончания процедуры, чтобы поцеловать их. сама ты не спешишь разрешить. и в голубо-пятнистой ночнУшке, выданной тебе тут, которую ты опускаешь вымывшись, словно специально сеточка на уровне тёмной мохнатки. здесь уже никакого терпения моего: ты подхвачена и перенесена на постель, и тут же повторная, но уже только мной инициированная процедура ласкает твои губки внизу, обрисовывает их многожды. и молодец тут подоспел: ты не можешь так долго быть отдалённой, выискиваешь, выпускаешь

его из трусливого заточения, приближаешь к себе, забирая поцелуй губами, а его направляя где только что целовано, язычески рисовано и взаимно влажно. да, тут мы уже начинаем с резким азартом: но первое минутное ощущение в тебе сразу необъяснимыми, неожиданными мурашками и стонным выдохом из меня отзывается, и ты ему отвечаешь утвердительным и манящим. это значит — можно быстрее, как в твоей ванной. но мне почему-то мало такого линейного сегодня: то, что так долго видел, смотрел, как ты моешься внизу, зовёт снова и снова к этим двойственным, легко под языковым напором размыкающимся выпуклым линиям. выходит игра, но которая нравится обоим — после влажного целования там, внизу, — снова внутри тебя молодцом и всё быстрее и ближе к нашему общему рубежу. но лишь он в прерывистых выдохах покажется — снова продолжение объяснений моих губ и язычеств твоим, там. при возвращении в тебя, когда уже смешаны наши вкусы и мой молодец оставляет там другую широту, которую языком легко выявить, — начал что-то колкое чувствовать. спросил тут же. а это как раз та сама «спиралька» (точнее — леска от нее), защищающая нас от последствий достижения самого желанного и краткого, почти всегда одновременного.

и тут сегодня, сейночью, точнее — на старой пружинной железной кровати с высокими белыми чугунными боковинами времен Есенина, заползая на ночь, но стараясь не выпустить с неё ни одного громкого звука — мы тоже вместе взорвались наслаждением там, в месте встречи ниших различий, и первые вдохи после почти что темноты, в которую упали на несколько бездыханных секунд — впустили дачный запах: фруктово-бревенчатый, немного костровой, от одежд, что лежат на плетёном кресле рядом, и твой кожный, знакомый, лаковый. теперь надо уходить, полежав рядом, поласкав друг друга, загладив красноватые следы поцелуев на сон грядущий и словно хмельной, густой какой-то. босиком ухожу по уже холодной кухне, по доскам — к себе, прощаемся словно по телефону в Тебе:

— Спокойной ночи, Тонушка.

— Спокойной ночи, Танушка.

поутру, позавтракав легко, по жаре отправляемся в Мураново лесом. родные дачные перекрёстки, территория стройки, руины, складбище авто-и строительной техники. вот тут и продолжается допрос с твоей стороны и рассказ с моей про времена до встречи нашей.

Тан, а что всё я-то рассказываю?

— А потому что мне нечего. Я девочка примерная. Ни в кого особенно не влюблялась, росла в заботе и под присмотром. Ты уж о себе рассказывай давай. Откуда ж ты таким стал изрощённым в ласках?

— От воображения, надо полагать.

— Ладно, про школьный роман свой ты рассказал. Ну и там, про Платонову вашу рассказывал, помню. А тут, на даче, ничего разве не было? Ты тут с каких лет оказался?

— С отроческих, все подростковые и тэ дэ. Рассказать, как мы тут на стройке развлекались в сугубо мужской компании?

— Вот-вот. А то всё девочек склонял к безобразию... Таких, как я, наивных.
— Ну, вот там, видишь самосвал ржавый — там мы часто лёживали с моим другом тутошним Димкой, изучали друг друга.

— Изучали?

— Ну да, уже было что изучать. Точнее, ему — да, а мне ещё нет. У него головастики уже открылся. Свободно накидывал и скидывал белый капюшон.

— А ты?

— Ну я же младше был. У меня пипирка хоть и торчала, но капюшона ещё не сняла.

— Интересные подробности.

— Вот Димон и хвастался. Потом я его пробовал в попку тыкать — но только пробовал, конечно. И то сказать — дух захватывало, боялись, что увидят наши резвосты в самосвале из верхних окон этих вот домов. Всё лазали тут по стройке, мечтали затащить сюда какую-нибудь легкодоступную девицу. Была тут одна, сильно нас старше, Ирка. Но мы для нее были так — шпана. Вот Колян — другое дело. У него уже тогда такой богатырь вымахал и уже даже брызгался чем полагается. Мы все собирались в заброшенной общаге там же, на стройке, отсюда не видно — и наблюдали за процессом Коляновой мастурбации. Такой у него был огурец пупырчатый и волосатый уже вокруг. И вот из него выстреливал такой фонтанище, о...

— Ну ладно, это можешь опустить. Ты лучше расскажи, что вы там с Димонем делали.

— Да ничего особенного, конечно. Тыкались-игрались друг в друга, минетиться пытались, озабоченные. Самая пора познания была — бегали на все сеансы в кино, где промелькнет кто-нибудь голенький. И там, в темноте сельского кинозала, рядом с красными юбилейными полотнищами, окаймляющими зал — наяривали быстрые мелодии на своих торчащих дудочках...

— Фи, какие скверные мальчишки. Никто не замечал, что вы там вытворяли?

— Да нет, темно же было. Какой-то югославский фильм особенно помню, где голая брюнетка ложится в ванную к блондинке, которая всё душ принимала, до этого топлесс. И «Женщину французского лейтенанта» смотрели по несколько раз, а оттуда всё убрали, вырезали самое интересное. В конце концов я так достал всю нашу милую эротическими рассказами и фантазиями, что они меня похабной колодой карт и обещанием, что туда придёт некая щедрая деваха, залучили в кусты у речки, привязали, стянули голубенькие трусы и сбежали. а я развязался, ревел, стыдился, приседал, прикрывая срам, и требовал вернуть одежду.

— Ха-хахх-хаа! Вот это да, так и надо маленьким развратничкам! А Димон?

— Нет, Димона в тот момент не было, это милюзга со мной сотворила во главе с татаринком Максом с нашей улицы. Но мы быстро помирились. Просто я перестал их доставать этой темой с тех пор. А с Димкой мы продолжали половое самообразование и совместные сеансы самоудовлетворения... В бане помню, тут же, в местной — нашли в двери щёлку и подглядывали на женскую часть. Там — пар, ничего не видно, только расплывчатые зады. Там же где-то его мамаша с се-

стричкой была, но нас это не озадачивало. А батя его парился в тот момент. Вот прилепились к этой двери и — на дудочках частили. Один подглядывает, а другой как бы его холодной водой из шланга моет. Сигнал был такой придуман — если кто-то из мужиков заметит, то лить холодной струёй прямо в задницу смотрящему. Потом настолько обнаглели мы, что даже дверь приоткрыли.

— Неужели вас интересовали те, кто в эти бани ходят, — это же в основном бабульки да дедульки старорежимные?

— Да нам-то тогда какая разница — главное увидеть хоть что-нибудь. Мне вообще досталась в обозрение какая-то вислогрудая бабуленция толстая — то моську рукой всполоснёт, то снизу, то так, то эдак... Но этого хватало тогда для экстаза, ты что!.. Да и сама баня загадочная — полутьма в парилке, почти карикатурные, какие-то средневековые пузатые тела мужланов... Тщательный уход мужиков за своими, навек открытоглавыми и уже покрытыми обычной белой кожей, болтами над кадками... А в это время два проказника — у двери в другой мир, на вторую половину, к женскому полу. В клубах пара наших подростковых мечтаний, чуть ли не с мольбой с нашей стороны, но всё же вырисовывающиеся телесные женские силуэты, нагнувшиеся, моющиеся: груди, ягодички...

— Вот ведь какие вы были, оказывается. Никогда не думала, что вы настолько озабоченные в том возрасте были. Сколько вам лето-то тогда натикало?

— Да от девяти до одиннадцати самый пик был... Драки с местными, с Зуйками. Сигаретки, кино, купание. Когда из кино шли однажды — на нас напали Зуйки, лезли, пинались, приставали. Так один из нашей компании — самый тощий, высокий и интеллигентный Пашка — догнал потом одного из Зуйков, самого наглого, зубастого зайцевидного, положил его, сел верхом и навалил, потребовал обещания, что больше не «возникнет». Эх, начало подростничества было буйное...

— Так мы на этот пруд шли?

— Нет, нам дальше. Кстати, это тогда для нас, подростков, был самый основной пруд, не смотри, что он сейчас весь в ряске. С той стороны прыгали с мостика...

через сосновые посадки в лес выходим. вместе, за руки взявшись, идём. иногда разъединяемся, чтобы пройти узкую перемычку у лужи. комары атакуют непрерывно, так что приходится двигаться активно. но даже они, насекомые кровопийцы, не отвлекают меня от любования твоей поступью, работой всего, что под талией, аппетитным сжатием ягодичек под сарафаном, затянутых уже в чёрный купальник.

из лесу — лестница вниз, пощипав наверху у дома лесника малины, спускаемся крутой лестницей прямо к источнику, пьём холодную известковатую водичку.

через деревенский зной, по экранирующей солнце пыльной дороге близимся к пруду.

Пруд с проточной водой, он всегда холодный, Тан.

— Вот и замечательно, я люблю холодную...

к воде подходим с торца пруда, рядом с шумным шлюзом — стоком пруда в дальнейшую реку, что и через наши края течёт как раз в сторону железной дороги.

какая ты у меня оказалась пловчиха! заплыла дальше меня первой, пришлось барахтаться на спине в твоём направлении, а ты уже на другом, боковом берегу справа, вылезает и бежишь в нескошенные травы прятаться. но, лёжа на спине и плывя в твоём направлении, успел засечь ориентир. небо — словно другой водоём надо мной, окаймляющие пруд деревья и чей-то дом с причалом и катерами тонут в этой небесной заводи. вылезать с этого берега хлопотно, глинисто, пачкаешься. так, где там моя девочка?

ой, а она уже лежит на животе и вовсе даже не прячется, а сушится. и меня вовсе не замечает. или притворяется?

— Я так наплавалась, что даже замёрзла. А тут так хорошо, иди, пожалуйста, принеси сюда полотенце, а то колко.

мимо хмельноватых компаний худоного прошагиваю, они не очень понимают, откуда я взялся — ведь не отсюда заныривали. огибаю угол пруда, поднимаюсь на шоссе. да, наши вещички лежат нетронутыми. собрал и несу назад, запахнувшись жёлтым вафельным полотенцем.

ух, ты там усилила соблазны: приспустила верх купальника, чтобы греть спину без мокрых бретелек.

Позвольте вам всё же предложить подстилку, соблазнительница?

— И вовсе я не соблазнительница, я просто греюсь, не смотри.

— Ну, как же тут не смотреть — вот же они, мои желанные и наипетнейшие, только что-то бледненькие, едва розовые.

— Что-то, что-то... От холода, поди. Не мешай греться, ложись лучше рядом и не подглядывай.

— Ой, а ведь надо же греться и с лицевой стороны?

— Это потом, пока так. Ты лучше слепней отгоняй, ладно? А то жутко кусаются, а я их ловить и убивать не хочу...

мы лежим на склоне, в когда-то тут, под усадьбой Тютчевых Мураново, бывшем яблоневом саду. яблонь не осталось, тут просто скашивают высокую траву на корма деревенские. и картина весьма заманчива — моя девочка греется или уже дремлет, а вокруг летают тучи жаждущих отложить под нашу кожу свои личинки слепней. я работаю полотенцевым опахалом, снимаю с тебя гадю. но вот момент, никем, кроме меня не замеченный: твой купальник внизу приспустился без верхней увязки и открыл видимость сейчас бледненьких нижних губок. летняя лепота — моя желанная, мой постоянный соблазн, ты лежишь тут беззащитная под пикированием слепней и моих взглядов туда, в заветную межгодовичную ложбинку... но я же тебя и защищаю от укусов. такая плата за это — видимость.

не удерживаюсь и целую в том направлении внутреннюю сторону бедра, чуть щекоча приветственно там уже, куда не дотягиваюсь, пальцем. взглянула не поднимаясь сонно и удивлённо:

— Ну что вам там ещё надо? Не мешайте греться, мне туда лучи светят.

— Так ты сними вообще купальник.

— Думаешь, никто не увидит?

— За такой травой? Нас только слепни и видят.

— Всё бы тебе наготу, мой подросточек озабоченный. Ну, да я и сама об этом думала — я хочу, чтобы солнышко меня там как раз и погрело. Это так приятно, даже тебе объяснить не берусь... Ладно, пожалуй, стягивай.

— Ну, ты так только сверху можешь на всякий случай закрыться...

— Ладно, на пузо положу и перевернусь, уже хочется.

надо же, Столица, сессии, транспортные скорости, каменность — вдалеке от Тебя, в этой лесной, засеяно-холмистой и надводной дали — вот под поэтической усадьбой, в траве моя девочка. совершенно без всего, незагорело-беленькая, открылась солнцу. и солнце греет её нижние губки. так и хочется посоперничать с солнцем и целовать там её, целовать, вычерпывая привкус воды пруда... но она греется, мешать нельзя. уста нижние узенькие, чуть разомкнутые в желанную розовость — бледные, беленькие, под русоватыми в солнечной радости, умеренно навивающимися волосиками, а внизу, где сходятся, — маленький розоватый язычок, — как ты уверена — остаток, стянувшийся до размеров выпуклой родинки, обрывок девственности.

— Ладно, я уже согрелась там, но мне теперь наверху холодно — иди же ко мне наконец, хватит этих слепней мучить. Скольким ты головы уже оторвал, тиран?

— Да я в основном их разгонял тихо.

— Согрей меня всю скорей. Ну же... так ты возьмёшь меня или так и будешь наблюдателем?

какая нежданно-требовательная! видимо, быть мною видимой — тоже ощутимо, и желание предельного сближения не только во мне буйствовало от такой неприкосновенной близости. как быстро мы уже можем сливаться там! ты выхватываешь моего ждущего и жаждущего влизнуться в тебя молодчика из мокрых моих шерстяных архаичных (других не было) плавок и — я уже там, за бледненькими, но тёплыми нижними устами, в медленной нежной знойности.

здесь мы уже торопимся, хотя тепло солнечное и это заветное, невидимое другим пляжникам место до сих пор диктовало свои условия, свою степенность. но теперь мы жадно, задыхаясь, мчимся к цели, следуя шаг в шаг, движения навстречу. лежу на тебе плотно, грею, обнимаю, прижимаю даже траву под твоею спиной — и спешу, тороплюсь в твоей нежной обнимающей, чуть даже направляюще сжимающей, скОльзи. словно тучи дождевые собирались, и вдруг пролился дождь, прольётся вот-вот. но тут-то солнце, а дождь готовится внутри тебя, дождь просветления — проникновенного, пронизывающего нас, как всегда, вдоль от затылка до пальцев ног, счастья. вот оно, раньше, чем мы думали, увеличившееся и накрывающее нас, уже забывших о режиме беззвучия здесь в траве — коротко выкрикнувших своё почти испуганное и тут же успокаивающееся, замедляющееся удивление.

долго лежим, не разнявшись. уменьшившийся обратно в скромный детский хоботок молодец сам выбирается из твоей, пополненной только что

всплеском моим, благодати. аккуратно надеваю на тебя лежащую, но привстающую ногами, выгибающуюся, сарафан — чтобы не мучиться с мокрым купальником — прямо на милую твою наготу. из травы, как партизаны, выбираемся не вниз к пруду, а сразу вверх, в усадьбу Мураново.

вот тут Столица и напоминает. кирпичностью, мощённостью дорожек. из летнего деревенского, страстью разожженного нашей, зная в траве поднялись в цивилизованный тенистый мир усадебной архитектуры. побродили вокруг дощатого серого и кирпичного дома. и сразу подгадали к экскурсии: с иностранцами вместе, надев музейные большие тапки войлочные — идём по дворянским паркетам...

сразу попали в домашний, но высшего света тогдашнего, уют. серединная гостиная, древняя посуда в шкафчиках... вот тут и жили, отсюда и выглядывали в сторону яблоневого сада и пруда сперва строители этого дома и всего поместья Боратынские, а затем Тютчевы. не стали углубляться в коллизии экскурсии, только услышали и поняли по-английски, что Тютчев-поэт всю вторую половину жизни тосковал по утраченной жене, о чём и писал нередко. и тут же вдруг упал в обморок иностранный мальчик. действительно пахнет газом — он не просто потерял сознание. выяснилось, что в этом кабинете Тютчева стоит газовая сигнализация на случай кражи и этот самый газ просочился немного — столько мальчику и хватило, так как он, маленький, и стоял ближе к источнику незаметной газификации музейного помещения. испуганные иностранцы побежали откачивать чад, остальные переговариваются.

но — решили мы тут не задерживаться. в конце концов, не ради этого тут. да и нельзя по другой причине (ты шепнула, что может на этот великосветский паркет капнуть, не пропущенное спиралькой последствие нашего слияния в траве). пошли гулять по территории. обнаружили баню и церковь, за которой ещё один источник, но тут нареченный святым. ты попила, доверчивая к этому. могилы Тютчевых у церкви, обошли её вокруг. тут тоже брезжит Столица: где цоколь, где пахнет стённо, известково-каменная древность, покрытая мхом и просто зелёным налётом. и где твой разглядывающий взор рядом со мной. любишь ты церковки. даже заглянули внутрь — но там никаких служб, одни лампы во мраке, даже образов или иконостаса не видно. к другому готовятся под другую сторону церкви: широкие и грубые, неструганные дощатые столы накрыты белёсым полиэтиленом, и на них пластмассовые тарелки с огурцами и помидорами, хлебом, ветчиноватой колбасой, сыром и разнообразная газированная вода «Ранова» всех видов. это для строителей накрыли — которые тут звонницу возводят, так мы решили. везде, куда ни придём, — праздник. но тут — не для нас. просто оказались рядом. и уходим в глубину парка, к деревьям, их непостоянным теням, к елям и соснам, к их высоте, открывающейся от оранжевых смоляных стволов узко и небесно.

прошли всю усадьбу и к шоссе из уже лиственной части парка выбрались. отсюда — вниз, в сторону дома. над местным сельсоветом развевается красный флаг с практически не видимым гербом Пушкинского района. но по ниспадаю-

щей дороге — возникла идея заглянуть налево, следуя указателю в лагерь «Лесная сказка», буквы славянским сказочным шрифтом, дорога перпендикулярно шоссе уходит в лес мимо сказочного же широковетвистого дуба. ты почему-то уверена, что была в лагере с таким названием. помнишь только, что этот лагерь где-то за «Правдой». и была-то там в двенадцать лет, могла бы запомнить.

— Знаешь, я только помню, что мы ехали туда долго по шоссе, а потом через лес. И это с названием хорошо ассоциируется — действительно Лесная сказка. Он маленький лагерь, насколько я помню. Вот был ли там бассейн — уж не вспомню. Помню медпункт, аллею, где линейки проводили, вокруг всё лес, и большую спортплощадку на поляне, а еще — остановку автобуса, на которой мы ждали и прощались с остающимися на обратном пути, с чемоданами. Да, назад, помню, с автобуса я садилась с дедом на электричку, на незнакомый вокзал приезжали. Это, кстати, он меня устроил в «Лесную сказку».

— Какая же ты ещё мелюзга — в двенадцать лет, совсем недавно — и не помнила, не знала названия Ярославского вокзала, что прямо рядом с твоим домом...

— Ну ладно ругаться-то. Сам мелюзга. Как был подростком, так и остался, подглядывальщик. Озабоченный, озабоченный — да-да-да! Что со мной там сделал в траве, насильник?! Вот я маме и папе пожалуюсь...

— Ты моя прелесть. Обожаю такую.

— А я тебя — нет, противный... Ну и фиг с тобой, прощаю, ведь я сама тебя совратила, ха-хх! Надоело идти — догони-ка меня!

стоило углубиться в лес, где никаких встречных или попутных пешеходов или машин, тишина да деревья — и понеслась моя, только сарафаном скрытая от ветра и солнца, взбалмошная девчонка. вот же досталось такое счастье! бегу стремглав, пытаюсь не растерять все пожитки, полотенца, твой купальник. бежишь быстро, даже и не подозревая, что при таком беге видны сзади самые заветные места: разделённые тёмной впалой полосой ягодички так и мелькают. никак не могу догнать. но вот ты потеряла свой шлёпанец, и тут-то — настиг. и тут же заласкал, поймав снизу места заветные, мягкие и зацеловал разгорячившееся личико, шею, ключицы... вот как быстро мирятся эти взрослые дети, поиграв в салки-догонялки в безлюдном лесу.

Ну-с, узнаёшь ли этот участок дороги?

— Вроде бы — она. Это же уголь?

— Вроде, уголь. Чернущая дорога.

— По-моему, угольная была дорога. Мы, что ли, в лес ходили разок. Или из автобуса видно было. По идее, там должен быть направо поворот и сразу же остановка автобусная. Сейчас проверим.

— А близко ли? Ты же говорила, что долго через лес ехали.

— Не говорила, что долго. Просто — через лес. Да и в автобусе все по-другому со временем ощущается, скажем так. Едешь всю дорогу долго, а один участок коротко, а запоминаешь как долго.

— Сложно говоришь.

— Сам сложно говоришь. Ладно, не злюсь больше. Что-то мне понравилось на тебя злиться, это плохо. Старайся, милый, чтобы я такой не была. Ой, я вспомнила, как тебя мне нравится называть. Милый, мой милый. «Мио, мой Мио» — помнишь такой фильм сказочный. Мио. Милый. Почти как Митя. О, а что это там за ограда впереди? Так-так-так... Кажется, она. Проверь меня: сейчас справа будет остановка такая белая бетонная.

— Похоже на то. Да еще солнцем освещённая как по заказу.

— Урра! Это моя «Лесная сказка». А остановка — точь-в-точь стиль ар деко, тридцатыми веет, потому что такая белоснежная. Что там понацарапали. О — прямо как мы: «Дима и Маша были тут, смена июнь 1992». Тоже он и она, может, тут познакомились? Сейчас я тебя сама поведу на экскурсию. Ой, а там и нет никого, никто на стадионе не играет. Почему?

— Да потому что, солнышко, давно же пионерлагеря не функционируют. Там сдают просто корпуса для городских каких-нибудь, тут вообще всё закрыто.

— Нет, милый, — как раз тут всё и открыто. Входи, ворот нет как таковых. Неужели заброшен?

моя фея лесная — снова ведёшь меня за руку, вводишь в новый мир, твой мир, но так далеко от Столицы. возможно, лето — синоним отдыха от Тебя, Твоего интенсивного языка стен и асфальта? предательские мысли какие-то мелькают. возможно — от захватывающего сейчас дух удовольствия зайти на незнакомую территорию. которая, как ни странно, должна бы быть мне известна. но именно ты меня ведёшь туда за собой.

серебристые, почему-то напоминающие аэродром снаряды спортплощадки, заросшее футбольное поле — высокой, как под усадьбой Мураново, травой... а за ним, если не сворачивать с асфальтовой дорожки — начинается аллея, ведущая, наверное, в сам лагерь, к корпусам.

Знаешь, Тан, а ведь я много слышал от местных, от Боткина и Виталия Скопинского, про этот лагерь. Якобы они сюда бегали — и действительно по выходным бегали, на мопедах гоняли вечером — на дискотеку, а потом тащили девчонок за территорию, в траву...

— Уж прямо, как мы, сразу в траву! Не фантазируй. Твои малолетки на такое не способны. Да, там на дискотеки приходили местные ребята — но пускали в лагерь только проверенных, своих. Они помогали аппаратуру на сцену таскать нашим техникам и всё тихонько курили по углам, анекдоты травили да сально мялись, глядя как мы танцуем, — только и всего.

— Ну, может, не в твою смену, не твой отряд...

— Не может, я так велела, я знаю. Ух, какая я бодрая стала после купания и еще кое-чего! Катай меня на карусели за это. Покатай меня большая черепаха!

— Ну вот я уже и черепаха... Ну, держись...

— Слабак! Быстрее, выше, сильнее! Ууу-ооойхх, давай, давай ещё быстрее! Вот хорошо! Я космонавтка, я Терешкова, уррра!

снимаю мою завёрченную, малость обалдевшую от кружения, космонавтку и на руках — на качели. обычные старые качели в раме на чуть согнутых

ногах. ещё и покачаю, чтобы другим движением вернуть в норму. ты — как моя девочка, мой ребёнок, доверчива и весела от этих пионерских развлечений. но потом, очнувшись от гипноза вестибулярного аппарата, прыгиваешь, заставляешь меня подтянуться до предела почти, двенадцать раз, и уводишь дальше показывать лагерь.

А ты не боишься, что нас выгонит сторож, а то и его собаки?

— Не боюсь. Если у территории нет ворот, всё открыто — то, значит, можно всем заходить. Вот, они, наши душевые.

— Какое странное сооружение. Я подумал бы, что это бассейн должен быть.

— А вот и нет. Тут душевые, мальчиковые и девчачьи. нас туда запускали порознь. А по утрам ещё мы тут под холодным душем обтирались. Каждый тёр спину другому такой тряпичной перчаточкой розовой. все это ненавидели, так как потом только нас вели завтракать. И пока вернёшься в корпус, пока снова соберёшься — уже и завтракать никто не хотел.

— Какая красота, должно быть! Стоят девчонки, отключили попки и трут друг другу спинки! А мальчиков к этому не допускали?

— Ух, проклятый растленный тип! Нет, я же говорю, это делали в два захода. Но пацаны, конечно, исхитрились — видишь, загородки тут высокие, до земли далеко не достают. А ходить мимо душевой не запретишь — вот они и флажничали, как бы мимо, и всё нагибались быстро, пытаясь заглянуть снизу к нам. А мы их брызгали и визжали. Наши вожатые их гоняли и даже наказывали всячески, выводили перед строем. У нас тут вожатые были строгие, но и весёлые — постоянно что-нибудь придумывали. Нет водоёма — всех в душ по три-четыре раза в день водили...

— А у меня, у нас в пионерлагере «Восток» вожатыми были две девушки, Ирина и Наташа. Мы самый младший отряд были, и позволялось нами руководить девицам. Они даже в душ с нами ходили, помогали мыться. И сами мылись, нас не стеснялись. А мы уже кое-что понимали. Я-то уж точно. Разглядывал Наташу, её ноги, груди...

— Ну-ка, ну-ка, расскажи-ка! Ох и будешь же ты наказан, я чувствую, за твои рассказы! Но всё равно, выкладывай уж теперь!

— А что рассказывать? Самая красивая из двух была Наташа — длинные, как у тебя, тёмные волосы, большие грустные глаза — у неё уже был ребёнок, вполне самостоятельный пацанёнок, жил в нашем отряде, называл её мамой. А мы не понимали, кто-то тоже её мамой назвал по-детски «мама Наташа» — он обиделся и запретил так говорить, сказал, что она его настоящая мама, и только его. Ирина была кудрявая и весёлая, она тайно, в тихий час, пока мы были в своих постелях, училась танцевать «шонорелиритАту-опа-нанА», помнишь такую песенку?

— Это негр, по-моему, поёт, в ковбойском костюме?

— Да-да. Это тогда была самая модная песенка, ее все время на дискотеке крутили, коронный, финальный номер. А однажды мы вылезли в окно из наших опочевален и по карнизу — первый этаж-то был, — пробрались посмотреть, как

Ира сама с собой занимается. Еще приходил какой-то другой вожатый, ее учил. А когда она нас засекла за окном — очень обиделась. Она нам помогала письма домой писать...

— Видишь, а тут, сбоку душевых, были просто рукомойники. Сюда обязательно шли перед каждой едой.

— Вообще-то такой странный, футуристический это агрегат, если отвлечься... что там написано? «Если хочешь быть здоров — закаляйся». Прямо памятник тому пионерскому времени, которое мы с тобой успели захватить. Посреди леса — такая машина на кирпичном остоле, на цементном полу с ложбинками-стоками: трубы поднимают наверх воду и льют из десятков душей на голову детишкам, чтобы те были чисты и здоровы.

— Советский, коллективистский образ жизни, скажем так. Глупость, по моему, полнейшая. Детей мучить по утрам холодными обтираниями, чтобы они чаще простужались, а ещё, чтобы мальчики за девочками еще больше подглядывали, разводить их в разные группы...

— Ну, не вместе же вас было туда пускать?

— Почему, в одежде можно было бы.

— Это теряло бы смысл. Нужно под водой стоять без всего — не мытьё иначе. А обтирание — это как посмотреть, кто-то от этого здоровее становился. Ты вот плаваешь неплохо после этого.

— Вовсе не после этого, сама училась, не мухлюй.

— Да шучу я так. Оптимистичные плиточные мозаики-инкрустации на пионерскую тему годов семидесятых, моего рождения годов...

— А ты молодец, чувствуешь стиль. Там, кстати, почти на всех корпусах такие надписи и картинки. Пойдём, покажу.

выискали в лесу архаику — вот уж музей так музей. музей новейшего времени. заглянули в сторону медпункта и площадки для младших отрядов — здесь центральная с пионерским костром и скакунами-горнистами мозаика подпёрта сзади старыми уже, но прочными стропилами, такой незаметный деталям элемент, на котором держалась эстетика десятилетий их взросления. и твоей частичка жизни без меня. от этого сейчас — моё ревнивое щемление, самоукор сознания: почему не нашёл, не встретил тогда тебя, двенадцатилетнюю, не ласкал, не целовал девчушкой тут? вернулись по асфальту, усыпанному хвоей сосновой и еловой. желтокирпичный корпус столовой, направо и вниз — аллея корпусов. по дороге к ним на стене мозаика про вкусную и здоровую пищу.

— А вот и корпусОчки наши. Каждый — с номером отряда.

пятый, четвертый. напротив — первый, самый взрослый, тоже в желтокирпичном домике, балконы прямо на первом этаже и вид в безстекольных окнах внутрь — хмурые комнаты, решетчатые спинки кроватей. опустошённое и недоступное мне отсюда прошлое. белую статую пионера кто-то, конечно же, успел издевательски накрашивать — губы и пальцы помадой...

— Что-то ты грустный стал и молчаливый, Тон. Что случилось? Ты не обиделся на меня, надеюсь?

— Нет-нет. Не в том дело. Ты замечательная. Просто мне почему-то стало тоскливо сейчас, и сильно так...

— Ну, в чём дело, милый, выкладывай скорее?

— Да как это объяснить? Посчитаешь меня точно чокнутым. Но не поверишь: тяжело мне стало просто от мысли, что я уже не встречу, не встретил тебя двенадцатилетней, не увижу той, что тут была...

— Почему не увидишь? У меня фотографии есть, я покажу тебе обязательно. Прямо тут же, на линейке делались.

— Да нет. Значит, не объяснил. Я хочу ласкать тебя тою, какой ты здесь была тогда. И сам хочу тут оказаться тогда же. В том-то и дело, что я же видел тебя двенадцатилетней на фотографии, дома у тебя которая стоит на книжной полке. Ты была ещё тогда прекраснее, моя Тан, моя...

— Ну что ты, что ты, ну слёзы-то откуда? Ну, обними меня скорее. Вот ведь достался какой необычный товарищ... Ну, видишь — я сейчас твоя, вся твоя, твоя!.. А тогда я с тобой не стала бы общаться, я пуританской девочкой была... Да и порядки. Мы, конечно, ходили в другие домики по вечерам, но обнаглели в этом плане только под самый конец смены, когда сдружились с вожатыми.

стоим посреди пустого, заброшенного и безлюдного пионерлагеря, обнимаю мою бывшую пионерку в сарафане на голое тело. прижимаю моё сокровище, моё трепетное дорогое существо, капаю слезой на волосы ещё не высохшие от купания. мы уже слишком взрослые, моя женщИнка. мы по-взрослому там в траве управлялись, хоть и высокими голосами выстонали удивлённой деревенской округе свою минуту счастья — и не вернуть нас других, младших. да, но я целую теперь, тороплюсь, пока ещё не повзрослели твои грудки через сарафан, ниже, ниже, приподнимаю край сарафана и целую — нет, не самое приятнательное под мохнаткой, а три родинки, повторяю треугольник вновь и вновь и целую в завершение, на прощание выше, в мягкое с привкусом воды пруда — звоночки на грудках. а ты стоишь высокая и внимательная надо мной. и за тобой высится пустой серебистый флагшток — самый высокий, а за ним ещё пятнадцать пониже. и вдруг опускаешься ко мне, руками опираясь на опавшую хвою на сером в каменных пупырышках асфальте. и целуешь в губы, собирая в одну точку всю мою растерянную ласковость. этот поцелуй — глубокий и медленный, сильный и убеждающий в твоём со мной сейчас событии, в твоём нежном, познающем меня во всех неожиданностях внимании. моя мудрая девочка, художница, не любящая пионерских мозаик и коллективных душей... мы обнявшись внизу, на корточках встаём и продолжаем путь вдоль одинаковых маленьких двухэтажных корпусов с террасками.

— Самый последний — вот наш был. Мы перед ним всегда выстраивались перед тем, как на общую линейку идти, даже отметки остались тут на асфальте и от стометровок — вон.

— Так хочется поглядеть на комнату, где ты жила...

— А давай попробуем. Вроде бы, там никаких признаков жизни. А дверь-то открыта, надо же. Ну, заходи...

— И запах тут какой-то школьный, древесно-пионерский.

— Скорее, матрасный. Ты очень громко не говори, а то если какой-нибудь сторож услышит, то тогда нас уж точно как воришек зарестуют. Пошли на второй, там наша комнатуха была. Не скрипи по лестнице, она деревянная. Да, всё знакомое, всё такое же. Только вынесли теннисные столы. Ну вот, теперь по коридору сразу налево. Вот наше обиталище было. Даже кровати стоят.

— Мы на таких матрасах устраивали те ещё танцы.

— Мы тоже. Знаешь, я, наверно, тоже безумная, но в этом удовольствии себе отказать сейчас не могу, увы.

— А услышат?

— Ну и фиг с ними. Эх, прыг-скок, давай матрасик пружинный.

— Эй, осторожно, там же потолок.

— Это точно, мы и бились часто, дуры...

— Слушай, ну нельзя же так — ведь сарафан как парашют, всё на виду, я не могу так, поймаю же сейчас.

— Ну, поймай, попробуй, я выше взлечу, слабо!

но всё же поймана — неловко, за коленки, и с задравшимся сарафаном медленно переносу и опускаю тебя на другую кровать. здесь не опуская сарафана, укладываю и целую уже лежащую — прямо туда, сразу указывая требуемое: сначала встретив шершавость мохнатки, а глубже среди медно-соснового твоего привкус собственный в тебе и мурановского пруда меж нижних уст. коктейль «луноход» деревенский, пионерлагерный. гляжу сразу снизу вверх: встретила понимающим, позволяющим взглядом и просто стянула сарафан через шею до конца, оставшись опять передо мной изящною, совершенной — обнажённой. звоночки на грудках снова набрали цвет кровавый, алый и даже бордовый в самих выпуклых капельках. под спину тебе подстелил, чтобы пружинный матрас не давил, из второй занятой руки полотенце, на другую кровать бросил вещи и с колен целую тебя от нижних до верхних уст.

— Мой Тон, почему же ты у меня такой... Такой внимательный нежный, не терпеливый и... чувственный, что ли, не знаю даже, но что-то хочется сказать, милый, про тебя сейчас же, тебе... Ты у меня необычный — это точно. И, знаешь, я тоже люблюсь тобой таким. Пусть я буду твоя — как там? — любовница, только будь со мной, желай меня, носи меня так в руках. Ну, целуй, целуй и бери меня, делай что хочешь — я же не случайно тебя сюда привела — ты хотел. Вот я перед тобой, считай, что двенадцатилетняя, но по твоей же вине уже женщина. Твоя женщина... Я твоя и делай со мной что хочешь. Без слова на букву «Л», если такое оно трудное и не про нас.

тоже легко сбросивший остатки одежды — я над тобой, и ты, словно только сейчас обнаружив, открыв эту подробность, жадно, хозяйски сжимаешь в ладони мои перекатистые мешочки под молодцом, уже близким к нижней встрече. и молодец, разгорячённый твоим вниманием, без помощи направляющих рук твоих, ещё играющих с мячиками его сопровождающими, сам уже зная дорогу, — он и я за ним в тебе. опять в твоей женской мне благодати. полчас

или час как оттуда, но тянет с новой силой. на просвечивающем пол пружинящем матрасе мы снова догоняем это всхлипывающее внизу наше счастье. девочка моя — каждую секунду необходимо тебя видеть мне, твоё созвездие родинки от пупка до грудок, твои заведённые выше головы руки, почти горячечные в этом взаимонаправленном ритме движения, закрытые глаза на повернутой то влево, то вправо головешке твоей желанной. целовать, целовать шею, звоночки, ключицы, твои источающие желанную томную женственность подмышечки.

мы безумны сейчас — точно безумны оба. с риском быть пойманными если не как воры, то точно уж не как постояльцы — мы тут, никого не боясь, громко сливаемся, безумствуем, гремя пионерским пружинным матрасом. и близка наша цель, твои стонные песни, уже никак не сдерживаемые, но временами просто шёпотные, испуганные, всё более удивлённые сами по себе — обгоняют меня: да, ты уже один раз точно внизу вспыхнула наслаждением, я это чувствую молодцом, ему становится сначала шире, а потом тесно и ошутимее его собственная точка взрыва... да, ещё раз ты достигла этого, а я всё, путаясь в мыслях о недостижимом прошлом, о тебе двенадцатилетней, всё настигаю там, внутри тебя, всплеск наслаждения. получается теперь, что я истязую тебя, ты стонешь непрерывно и глазами, как и руками за спинку кровати, уже открытыми, внимательными, с огромными кошачьими зрачками в зелёной окантовке держишься за мои движения, глядишь вниз на совершающееся там и потом мне в глаза, вычитывая близость моего «до конца», как ты называла в весенней Столице. или внушаешь? но на меня накинлось это резкое и пронзающее мышцы ног наслаждение, удвоенное, неумолимое — точно из твоих глаз, внезапно и громадно, так что вылетевший и торжественно пророжавший несколько секунд мой голос был совершенно неуправляем. и снизу пошло вверх утробное твоими там всплесками наслаждение — теперь уже пьяня, дурманя, вымывая все тревожные, тщетные мысли о недостижимом прошлом. моя женщина, ты сейчас совершила со мной такое, что мною же и не мечталось в пошленьких подростковых разговорчиках или в темноте кинотеатра.

очнувшись от дурмана страстной улады, прислушались к эху наших голосов, подождали. никаких звуков не появилось после этого ответных, только вдалеке перелаялись собаки недолго. разгорячённого молодца я сразу же на грубые пружины матраса выскользнул вне тебя, чтобы не переполнять закрытую спиралькой, временами от этого колкую твою муфточку, и, пока лежим, через двойными ромбами сплетённый матрас на крашеный коричневый пол падают белёсо-лазурные вязкие капли. но нужно покидать место этого внезапного и запретного действия на всякий случай: переглянувшись и дружно поцеловавшись с благодарными улыбками, одеваем друг друга — я на тебя сверху сарафан, ты подтягиваешь мои мокрые плавки и длинные шорты. встаём неуверенными, усталыми от плаваний и усилий-слияний ногами на дощатый пол и тихонько выкрадываемся к лестнице, спускаемся по-кошачьи и — выскальзываем в дверь к рябому асфальту, беговой разметке и солнцу.

— Знаешь, а я сообразила даже, как нам выйти. Мы там ни разу не пробовали с девочками, но разведали: вот по лестнице сейчас спустимся, и увидишь.

тут справа за корпусом твоим какое-то подобие радиоантенны местного значения, а в конце лестницы — большой серебряный шар на углу высокого бордюра. что-то в нём от сталинских времён... серебрянка — это, видимо, единственное, что выделяют ещё на поддержание пионерлагеря в приличном виде. только тут, в серокирпичных домиках — какие-то признаки жилья. то ли рабочие живут, то ли остатки персонала: во дворе за домом, похожим на почту — сушатся простыни и вещи. а мы повернули на кажущуюся осенней из-за лиственных аллею. обнимаю и я тебя за талию и ты меня за плечо — возможно, только тут нас заметил кто-нибудь из открытых окон рабочего общежития, но мы уже к выходу направляемся.

— Там газовая подстанция, тут вообще всякие хозяйственные объекты и радиоточка лагерная — оттуда каждое утро нас будили, музыку запускали и новости по режиму дня. Нас сюда обычно не пускали ходить, но мы во время тихого часа и самостоятельности сюда пробирались и гуляли, болтали. И доходили до самых ворот, до выхода. И мечтали всё туда выйти. Там уже деревня начинается, и там мальчишки всё околачивались, на велосипедах приезжали и глазели. Но, как только мы подходили, они сматывались. А ты говоришь, кто-то кого-то в траву увлекал...

— Ну, может, кто-то из старших самых отрядов.

— Перестань ревновать к прошлому. Ты же знаешь, уж не можешь не знать, что ты первый у меня и единственный.

— И ты единственная, моя Тан. Давай и всегда так, ладно?

— Попробуем, если ты не будешь так ревнив к прошлому и фантазировать не будешь всякого фривольного бедлама.

— Это оттого, что мы сюда забрели, от совпадения такого. Действительно, позволил себе лишнего, извини.

— А может, и не лишнего... Мне понравился результат. Только я иду, даже забыв там стереть кое-что твоё... Я вся прямо переполнена нашим сегодняшним... любованием — так ты говоришь? Мне тоже нравится теперь это название. Давай и дальше любоваться друг с другом.

— Друг другом...

возвращаемся через село, мимо одиноких остатков колхозной техники: ржавого комбайна «Нива», трактора, телеги, двух лошадей и непрерывно на нас лающего пса у маленького продмага — в сторону заросшего травой и серебрящегося снарядами стадиона, направо. с этой стороны лагеря — фруктовый сад, — ты рассказываешь, как вы там гуляли и организованно собирали на ужин яблоки под конец смены.

что за непрерывно ласкающее взгляд лето — зеленью и особенно твоими идущими иногда впереди меня ножками, моя красotka? обогнув аэродромную спортплощадку, протиснувшись мимо густых кустов и луж, идём той же дорогой — но уже другие, словно выкупавшиеся в необычном, живящем и томящем одновременно водоёме. дети, покинувшие пионерлагерь и заброшенную там в лесу пионерскую эпоху. медленные и обнявшиеся в лесу на угольной выпуклой дороге — пробирающиеся по бело-жёлтым солнечным ромбам и лужицам

к шоссе, к полям, в сторону дачного дома на улице Белинского, под кров нашей уютной четвертинки бревенчатого сруба на трёх сотках.

здесь тоже всё слилось сказочно: твоё присутствие в родительском моём женском коллективе, наши прогулки вчетвером, включая бабушку, общение. или наутро — наш рейд с маленькой видеокамерой, что тебе досталась на лето: в узком глазке — листья, листья новой яблони на углу малинника, за листьями моя седенькая трудолюбивая бабушка стирает, упрямо стирает сама, будучи под сто лет, а дальше уже мы под другой раскидистой яблоней в плетёных креслах у стола, готовим салат, перебираем смородину, пьём вечерний чай в кутающей колени влажной травянистой прохладе...

с утра же следующего, немного только отдохнувшую от страстей (ночью тоже не обошлись без разового приглушённого всплеска после ритуальной процедуры нижних умываний с кувшинчиком) — везу тебя в самую колыбель своего детства, куда велосипедной разведкой почти за год до этого наведывался. утренний вагон тенист и полупуст, только семья едет рядом с нами, везет дочку с льняными волосами, наверно, в Загорск или ближе. то, что обратил внимание на лет семи на вид малютку и льняные ее волосы — веселит, немного ревнит тебя. с тобой знакомый маршрут кажется немного смещённым, иным — в показаниях, в открывании тебе Абрамцева, мест изначального детства впервые. под тёмные теремные ворота станции ныряем, в лесное солнце, через овраг по деревянному мостику и высоким земляным ступеням — к зелёным перецветам играющих с солнцем листьев.

естественно, всё теперь ближе, и кажется, что чуть сдвинуто в неизвестную сторону, заросло новой листвой, спряталось. растущие среди елей и кустов вдоль тропинки воронёные столбы фонарей, стилизованных под старину, уцелели редко где. и угольная дорожка вдоль дач узкая. идём сперва налево, мимо углового, ныне бывшего домика Нестеровых: дочери художника Натальи Михайловны и ее мужа, сына С. Н. Булгакова, художника Фёдора Сергеевича. дойдя до затенённого, заросшего начала улицы, где углами над далёким склоном к реке Воре срастаются участки, я тебе представляю дом за домом слева направо. первые — дачи скульпторов Мухиной, Королёва, где моя бабушка дружелюбно по приглашению жила регулярно, и таким образом семья летом стала традиционно перебираться в Абрамцево, куда и меня, весеннего новорожденного, по наступлении лета захватили... и на соседнем вправо участке снимали — там под лупинусами моя коляска выстаивала невоспоминаемые первые месяцы. бордовый, с большой белой террасой дом Соколова — последнего из КуКрыНикСов — стоит тихий, не заглянем теперь в его мастерскую. художническая родная обитель, как в детскую одежду втискиваюсь теперь взглядом сюда, чтобы тебя привести к истокам моим. «Шмаринов-татаринов» — дразнили мы с велосипедов тут одного из почтенных представителей советской арт-богемы. комариный длинный прудик за его участком...

наконец, последний в ряду встречает открытыми воротами (значит, семья тут) и зовёт открытой дверью дом Гассе, где снимали мы комнатуху за печкой

и жили в дружелюбной художественно-спортивной семье как родственники. а здесь — будто и не движется время. тормозя торопливость, с внутренним холодком-замиранием и детским неверием, что встречу столь давнишние знакомые лица — пробираюсь и за руку веду тебя за собой на задний двор мимо некрашеного дома, где рос, мимо видимости напросвет тех комнат, по которым в треть собственного нынешнего роста бегал... да, строительные звуки — руки Лизиного мужа издают, как обычно строгают там мускулистый стройный бородач. нас приветствует запросто и узнаёт мгновенно меня — карапуза, тут бегавшего двадцать лет назад. всё недвижно и вечно тут. даже ты, моя длинноволосая девочка — вполне логично и здешне выглядишь, появляется и Лиза, изящная многодетная роженица, сколько её из малышовства своего помню взглядом снизу вверх, на сносях от любимого мужа ходящая. вернувшийся видом и окружным ощущением мир выращивания детей под сенью лесной абрамцевской, мир художнический и детский — весёлый, непредсказуемый, где все играли в бадминтон, жрали незнайку-меня муравьи у сарая, мир теперь как на ладони со взрослого роста обозреваемый — принял меня с моей девочкой, теперь поведу тебя на другую сторону Вори, куда и карапузом трёхлетним убегал, сознательным.

от Столицы далеко, в её летнем предисловии, в Абрамцеве мы — сейчас пойдём к спрятавшейся в лесу на противоположном склоне архитектуре усадьбы Мамонтова, к обители художников рубежа прошлых веков. по долгой лестнице вниз с земляными и затем деревянными к мостику ступенями в просветах лесных, над оврагом идём — а слева всё тянется участок Гассе, где теряется забор и изредка видна вершина дома, где рос и рисовал первые каракули-пароходы я. семья и дочка с льняными волосами впереди идут — значит, наши маршруты совпали, они медленнее шли со станции и обогнали нас, пока мы заглядывали к Гассе. моё внимание, обращённое на семью впереди, вызывает твою добрую и слегка сестринскую улыбку:

— В лён милый влюблён...

угольная дорожка ведёт к Воре. но зарос прежний широкий выход к реке. да и сама она открывается маленькой и незначительной — а тогда казалась целой ГЭС со своими трубами под склоном-поворотом шоссе проносящими и шумно выливающими течь дальше Ворю. мостиком новым деревянным, не поднимаясь к шоссе переходим над разливом мелкой заросшей реки. и возвращается детская рифма-созвучие, чтобы снова тебе рассказывать, вспоминать: шоссе — Гассе...

здесь же — плутаем назад, утро позволяет, спрятавшееся в низкой близине солнце не зовёт. тебе захотелось увидеть шлюз, здесь уровень реки снижается, поэтому перед шоссе сделана плотина, где шумно в глубокий колодец валится вода. не только вода, но и брёвна иногда — лежат внизу. вот куда бы не хотелось попасть. шум водопада приучает даже к неслышимости проезжающих машин. отсюда же, словно только нам теперь открывшимися путями, прежде незаметными — приближаемся к склону, над которым и стоит музей-усадьба. тут, углубившись, среди высоких болотных трав уединившись, мы снова обособляемся

от звуков шоссе и реки — и ты на утреннюю травку, пока я проверяю окружающую невидимость, охраняю, изливаешь, присев, своё тепло звучно, словно повторяя, рисуя эскизом в одну линию только что виданный водопад, травы и утренняя земля тебе отвечают белым паром. встаёшь и натягиваешь медленно, успевая меня соблазнить-раздразнить, трусики. поднимаемся дальше к усадьбе.

неожиданный, нехоженный прежде путь, скрытый ещё не освещённой солнцем внутри лесного массива листвой. раньше казалось — здесь предел забора. и именно с тобой его прохожу, перехожу воображаемую границу — вверх по склону к домам усадьбы, к лестнице, классически ведущей к центральным дверям задней стены усадебного дома. слева зазывает над склоном к шоссе и Воре изразцовая пухленькая лавочка, отмечающая место, откуда рисовались пейзажи — под оргстекольным саркофагом, в щели которого экскурсанты забрасывают монетки. теперь веду тебя за серой древесностенной усадьбой — к карликовой избушке Бабы-яги, другим достопримечательностям. этот лесной островок, изнутри уже освещённый утренне-полдненным солнцем, не торопит, выпускает нас в свою сказку. каменные идолы-бабы пропускают как стражи — тебе это в диковинку, и я радуюсь всем твоим долгим взглядам, обзорам мне знакомых с детства мест. от избушки тебя особенно быстро и сильно притягивает выглянувшая из-за листвы церквушка — не простая, а тоже художническая, в модерновом духе. звонница над входом и изразцовым Христом такая маленькая, что канаты от колоколов спускаются вниз, отсюда и звонят. за миниатюрнейшим храмиком этим — несколько фамильных захоронений Мамонтовых, деревянный резной, тоже стилизованный под славянский модерн крест... сразу же вспоминаешь Мураново, ту церковку на задворках усадьбы. тут родители с детьми гуляют, немногие сейчас посетители.

может, от подъёма по склону ты устала, моя девочка? выйдя совсем уже на солнечную, яркую равнину из склонного тенистого леса, садимся на лавочку перед одним из подсобных зданий задворка усадьбы. бедненькая, не выспалась по моей вине. с закрытыми глазами, мой утомлённый ребёнок, принимаешь солнечную ванну. видимо, даже заснула на некоторое время: голова потяжелела и совсем моему плечу доверилась. так это приятно, ответственно — тихонько обнять и беречь твой сон. мимо иногда проходят сотрудники и экскурсанты с детьми, глядят с интересом, а я не меняю положения, поддерживаю твой короткий сон...

пробудившись, согревшись со мной на лавке — повеселела. дальше блуждаем по кругловатой территории усадьбы, обнаруживаем позади белого санаторного здания годов тридцатых пруд, и в нём, сидя на коротеньком пирсе, долго разглядываем надводную и подводную жизнь в тёмной, по краям заросшей ряской пучине. какие-то красные водяные кругленькие жучки тебя заинтересовали, выловила одного в ладошку — ножки длинные у этих жучков, как вёсла... мой ребёнок-натуралист. глаза прозрачные и любознательные. может, вот такие они — мгновения счастья, неожиданные и нескитанные?

из усадьбы, из её задних ворот, увожу тебя в сторону санатория художников — по длинной тенистой алее под высоченными деревьями. зовёт справа

солнечное поле, словно с картин здешних художников — Нестерова, Васнецова, Врубеля, — куда мы не ходили ни разу, но ты не хочешь снова под солнце... идём аллеей.

среди старых деревянных полузаброшенных корпусов санатория — где и моя бабушка когда-то отдыхала, тут и познакомилась с Королёвыми — обнаруживаем столовый, на нём ещё остались опознавательные знаки, стекляннная табличка годов пятидесятых «Киноаппаратная». тут в столовом корпусе и кино показывали... из-за высоких елей, что скрывают центральную аллею между корпусов — тут свет приглушённый, словно пар... и в этом свете — остатки советской цивилизации, неоклассицизма: повалившаяся статуя античной женщины, разросшиеся, не пропускающие нас в эти места прошлого кусты акации.

и точно так же за пределы прежней декоративности вымахали ели перед столовым и кинокорпусом: в чаще меж стоящих кружком елей мы обнаруживаем белеющий нахмуренный, строгий и оптимистический лоб — бюст Ленина. какие-то гадости нацарапаны ниже?.. нет, просто кто-то подписал, выпцарапал: «Ленин». какими же малютками были эти гигантские, под подолами теперь всю эту площадку спрятавшие ели — изначально, в декоративном замысле. лет им пятьдесят, если не больше. переросли ели свою эпоху...

зато, на удивление, тут осталась система водоснабжения, как в пионерлагерях — из земли торчат краники. чем и пользуемся, не только от лёгкой утренней жары ополаскиваемся, но и пьём эту неожиданно вкусную, серебристую воду. дойдя до конца жилой тут территории, обнаруживаем теннисные корты и волейбольную площадку — к удивлению нашему при прочей заброшенности используемые дачниками ближайших посёлков. или кто-то в этом заброшенном царстве всё же живёт? вышли на самые задворки санаторной цивилизации — ты везде найдёшь заветное местечко, и у какой-то подстанции среди гор угля, ты, глянув на меня чуть вопросительно и извинительно, приседаешь под красным, по-осеннему почему-то красным молоденьким клёном, так мне знакомо — чтобы выструтиться.

а вот теперь мы возвращаемся по хмурой, но тёплой аллее — к тому ответвлению дороги от усадебного мира к далёкому неизвестному посёлку. дорога — по жаркому полю. где-нибудь тут и рисовал Фёдор Сергеевич Булгаков свои пейзажи... тебе всегда интересны мои такие предположения, и разговор наш утекает в воспоминания Твоего мира, квартиры и картин Фёдора Сергеевича, что ты видела у нас зимой, художница-студентка, в прошлом году абитуриентка... идём, как и после высадки из автобуса с нашими иностранцами, — неведомо куда. ты разуваяешься и шагаешь по глинистой потрескавшейся земле. впереди не только кромка дачного посёлка, но за ним и.. труба заводская — неужели это уже Хотьково там? прохладно, говоришь, идти — и приятно. чтобы миновать некоторые залитые лужами с навозцем участки и ножки твои уберечь — подхватываю на руки Тан мою. а затем и сам разуваяюсь, чтобы общение с землёй усилить. идём мы по кромке огороженного мамонтовского леса усадебного — и вдруг справа обнаруживается спуск в долину Вори, мы просто

обошли лесную гору, в центре которой усадьба, и вернулись к реке... не такое уж и безлюдное место, вот нас обогнала женская троица — две взрослых и одна лет восьми девочка с большущей, но дружелюбной овчаркой, которая облизала твои колени, когда ты присела с ней познакомиться.

тут купаются. может, именно сюда мы ездили с семьёй Гассе играть в бадминтон на пикники, когда я был мальцом? нет, шоссе далековато, а мы ездили в эту сторону к широким полянам у воды на жигулёнке дяди Пуши, как мы его звали за пушистый живот и руки — тренера по водному поло, мужа одной из длинноволосых красивых сестёр Гассе. переходим по бетонному мостику Вору, здесь мелкую и не очень широкую, болотистую. тут загорают и купаются — жители, видимо, вот этого, нависающего сплошными деревянными заборами поселка. вероятно, это поселок художников тоже... грибы-зонтики создают тень, стационарные. отдыхающие с собаками, там дальше Воря расширяется, и купающихся больше. мошка мельтешит над водой, ивы нависают. пришли в красивые края, бывшие рядом с детством — открыли их и вот, улучив момент, целуемся на ходу. место напоминает пляж из «Утомлённых солнцем». крутая спускается от сплошных заборов серая и пыльная дорога меж деревьев, горок корней. купаться не в настроении ты, да и не в купальнике. к тому же, по-моему, здешняя духота вот-вот разразится дождём.

именно так и есть: видимо, своими поцелуями, обоюдной скрытой влагой мы накликali её появление снаружи. успеваем войти под сень елей и листьев на крутом подъёме. моё преимущество — раздеваюсь по пояс, майку затыкаю за пояс и мокну себе в удовольствие. ты завидуешь (это тебе на радонежский стриптиз мой ответ) и, кажется, любуешься мной мокреньким. еловые иголки, шишки — смывают потоки по наклонной дороге к Воре. а мы всё карабкаемся вдоль сплошного деревянного, уже намокшего серого забора.

сюрпризы пространства не заканчиваются: в этом неведомом краю, едва окончился короткий, но крупнокапельный дождь, почти град — мы из предположительно художнического посёлка выходим явно в городской задворок. какой-то неизведанный мной край Хотькова. тут обнаруживается и магазин, в котором мы покупаем любимые тобой стаканчики мороженого, и бани годов пятидесятых. пятиэтажки... город начинается из последождевой тут лиственной свежести внезапно и выводит нас к шоссе. слева, судя по всему, центр города.

наше путешествие и неожиданности не прекращаются: после мира лесного усадебного, босоногого, речного и дождевого — попадаем с липкими от мороженого пальцами в супермаркет, ты присматриваешься к хотьковским модам... отсюда вдоль вполне уже цивилизованных панельных домин проходим к железнодорожному полотну, переходим его, пробираемся к женскому монастырю и интересующим тебя храмам. старинный лев у входа в монастырь удивляет тебя. женский монастырь — и мужчина-лев на страже... внутри более всего тебя радует и завораживает кладка круглых полениц — словно с прошлого века тут шатрово громоздящихся у кирпичных аскетичных зданий, где живут монашки. эти дома — напоминание, некое предвиденье Тебя с женской половины, под-

московное. над асфальтом законы города моей Тан — окна с белыми полушторками, рамы деревянные, тёмные ниши никогда не закрываемых тут подъездов...

на крупный кирпичный новоотстроенный храм ты медленно, глянув на меня задумчиво, крестишься. на нас юные черницы глядят, как на Рождественке, ревниво и сурово. а ты словно слегка извиняешься перед ними и за руку меня не держишь тут. всё осмотрели, по заросшему малинниками периметру снаружи вернулись к львиному входу, к старым зданиям хотьковским, аптечным, одноэтажным... и теперь с этой половины городишки моими велосипедными путями пробуемся в сторону Калистова. напрямик по шоссе — вон из города.

пешком вдвоём преодолеваемое, это пространство открывает для меня велосипедиста места неожиданные, более стационарные деревенские. ты, конечно, слегка разобижалась и раздражалась, пока мы шли по загазованному шоссе, преодолевая в полях промежутки между окраинами Хотькова и началом деревенского приближения вдоль Вори к Калистову, но после спуска в тенистые деревенские края повеселела. и вновь прижимаясь к Воре, среди пыющих её воду кустов, мы спускаемся по её долине через центр деревеньки к мосту. жарко тут вновь. маленькое песчаное пятнышко манит искупаться, но по жаркой дорожной горке мы лезем дальше.

уже и садовые товарищества, в детстве моём лишь строившиеся, утопают в зелени деревьев, домов не видно, только крыши... рельеф постепенно выравнивается, мы всё ближе и ближе к полям самого Калистова, куда мы днём выезжали на велосипедах или шли гулять всей семьёй после ужина со вкусом оладушек или сырников масляным в обонянии. за балкой — наше поле и прямая дорога, ведущая к лесному пляжу у Вори, где и есть какой-то сказочный очень близкий выход к той церкви сергиево-радонежской. вот и узнаешь, пробираясь к магистралям детского прошлого неожиданными путями с изнанки — что тут помойка у балки, отделяющей поле от садового товарищества. целые корпуса автомобильные. а мы с моей девочкой всё идём и идём...

всё ближе, мельче и иначе — и поле не огромное теперь, и поворот к Воре протоптан новой дорожкой. веду тебя мимо деревьев черёмухи, с дороги сходим в эту зелёную ложину — немного отдохнуть от солнца. перед тем, как обрушиться вниз, окончательно к Воре, — порядочно заросшая травой, без автотрафика прежнего, — дорожка останавливается у дуба, выступившего из ложины, и сворачивает влево. сообщаю тебе, что именно тут почему-то мы обычно переодевались в купальные принадлежности или бегали в кусты. словно следуя моим словам, и ты присела, как всегда с заговорщицким взглядом на меня — знаешь, что благоговею в эти минутки, ты мне любая сближающаяся со средой, с землёй любопытна. это, видимо, уже мороженое, пломбир и водичка санаторская расщекотали выструиваться...

нет, летнего ажиотажа близ того пляжа, что пухлым песчаным склоном выглядывает из-за болота и старинных голых ив — нет. пусто, безлюдно... и болотистей стал подход к воде. песок тут белый. а вода ледяная, глубина наибольшая — по колено. нападало поперёк Вори ветвей, бурелом. освободившись от

кед, на руках тебя, мою лёгкую добычу, переносу на другой берег под песчаный склон, уходящий в высокий дремучий лес. ты тоже пробуешь босой ножкой воду, купаться не решаешься. просишься назад, видимо, устала от такого похода. сидим отдыхаем.

движение воды на фоне светлого дна и чёрного недвижимого бурелома над водой тебя гипнотизирует. ходишь босая лиричная вдоль берега. моя художница без этюдника. может, запоминаешь красоту? буреломы над водой, в воде, и нездешний, морской какой-то обрыв песчаный, с торчащими из лесу сюда корнями... ощущая босыми ногами болотистую траву и почву, ты вдруг обращаешь на меня серо-зелёный взгляд, подходишь, прижимаешь мою голову к своим тёплым бёдрам (даже сквозь летние запахи ткани и кожи чувствую твой межножный, медно-сосновый), сообщаем тихо:

— Хочу, чтобы ты был внутри...

поднимаюсь, чтоб тебя обнять. без слов, только в глазах утопать твоих любованием. над водой с тобой босой — мы тонем, язычески углубляемся друг в друга. там на другой стороне голоса приближаются, всё же кто-то сюда заглядывает, продолжения у нас не получится. и нужно возвращаться... вести тебя, словно из детства назад, в наше время, где слева, подвинув поле, вырос целый дачный посёлок. и входим в само Калистово. справа как и прежде за лесом высится водоканчка садового товарищества. слева вырос высокий, ровной, перпендикулярной к дороге линией идущий березняк. сообщаю тебе, что это место мне снилось — причём неопознанное, не дачное. зову туда, но ты уже не хочешь сворачивать: домой... домой. идея своевременная — сейчас заглянем к Марье Алексеевне и Николаю Ивановичу — где первые самые годы после Абрамцева снимали комнатки.

удивительно: это наше время так убежало вперёд за эти годы, а у них всё то же, уменьшенное моему взгляду. и как специально у забора что-то хлопочущий лесник Николай Иванович, с кривоватой мимикой после инсульта улыбается, а на мой нахальный вопрос-просьбу угадать — кто я. на секунду присмотревшись даёт правильный ответ. и полную брюнетку Марью Алексеевну зовёт. мол, вот, привёл девушку наш дачник... она веселее встречает, сразу окрестила тебя «куклой» («все куклы, глаза как у куклы — и моя Ленка такая же»), зовёт нас на чай. узкие комнаты не узнаю — оказывается, две дачи в моих воспоминаниях срослись. словно сон выходит эта исходная реальность. печка откуда-то. а стояла тут всегда, уж хозяйка Марья-то Алексеевна знает.

Лена, русоволосая голубоглазая русалка в веснушках, которую пятилетний влюблённый я ожидал по утрам с букетиком лютиков со второго этажа, — замужем, мамаша уже, с родителями не живёт... угощаемся чаем на кухне, печенки из местного магазина — всё те же, пахнущие складом. шоколадные батончики со сливочной начинкой нам Марьялексевна вручила, как деткам. ведь ты кукла моя. вспоминаем — как, на электроплитке, сушившиеся, тут поджарились вечером на ужин кеды двоюродного брата. сушила бабушка, с тех пор слово «удружила» весело вошло в наш разговорный обиход. мне главное — чтобы, моя девочка, ты немного тут отдохнула, ощутила домом место, бывшее домом нам давно. а по-

том дальше поведу тебя к станции коридорами наших дачных переселений, коридорами детства. легко обнаруживаемыми, но и неузнаваемыми, заросшими новой зеленью. поведу показать место, где учился на велосипеде кататься, на переезд, к дереву, где меня привязали вредные девчонки-соседки очкастая Женька с грустной брюнеткой Таней, объектом моих воздыханий, расскажу, как лукавые девицы звали с собой в баню уже понимающего меж ними и собой разницу пацана, как целовали мы из первого попавшегося вонючего кумача сделанное знамя, играя в фашистов и партизан в прижелезнодорожном лесу. и не расскажу, как с соседом Тимкой мучили лягушек да жгли немецкие самолётики...

но вот и ты уехала из Подмоскovie моего в своё Ладеево — провожал в вечер с синими тучами с Рижского полупустого вокзала. уехала моя девочка неизвестно мне пока куда, договорились созваниваться по субботам. грустный вернулся под пасмурностью сразу на дачу. но и недели не выдерживаю — лечу домой красить кухню и ждать твоего звонка. Столица, ты после открытой, мягкой, травянистой, изменчивой земли — выглядишь маленькой и упорядоченной. проезжий воздух Каляевской-Долгоруковской сообщает: дома. асфальт, жарящий летом снизу сильнее солнца, — вот главное условие Твое, к которому привыкаешь за год. но, побывав там, где этой ровной платформы для быстрого движения нет, где нужно ковылять вверх и вниз, обходить лужи, высоко поднимать ноги в траве — только тогда постигаешь всю вековую Твою благоустроенность, ровность, серую с трещинками поверхность. и запах... летом — освобождённый какой-то, продувной, но такой же стенной, просто отвыкнутый...

лето нам освобождение вышло Твое. мы уже не в Тебе, не ласкаем взглядами друг друга и Твои улицы. второе лето. но я распахнул рамы кухни туда, куда мы уходили, и дышу Столицей. всё равно вдвоём, с тобой в мыслях, свежих впечатлениях. в ожидании телефонной связи с тобой, Тан. там это волшебное закругление Садового кольца, башни-метки (высотки твоей площади, доходный дом перед Чистыми прудами, Лукойл, Котельническая, гостиница «Россия»), заворачивающее по часовой стрелке, чарующее неизвестностью мельчайших подробностей всегда, как закругления ниже твоей талии, уводившие в Мураново мой взгляд и ласку туда, к центру любования. красить рамы теперь — удовольствие, работа почти вне границ квартиры, там, где начинаешься Ты, Столица. глядишь мне в окна прошлым веком. кажется, что шагну за длинный серебристый подоконник через Каретный Ряд — и по крыше современного дома с зубцами, не то чтобы кремлевскими, но чем-то дружинными, богатырскими, мимо центральных нахлобучек-шлемов чешуйчатых пойду по крышам дальше в Столицу, следуя повороту колец и у Красных Ворот выйду к твоему дому. но там пусто, там только телефон. глупая прихоть мига: позвонить в твою квартирную пустоту, чтобы попытаться на таком расстоянии услышать телефонный звонок, свой в твоей квартире.

белой краской, застывающей с блеском эмали — водить линейно по рамам, слушая нечастое летнее автодвижение внизу, вглядываясь в накопившуюся

годами пыль между рам и на внешней стороне форточки. но что-то добавилось позади, вытягивает из шумов уличных. это звонок телефона! частый, межгород! рассеивая измазанные перчатки по пути по освобождённому на лето от паласов паркету — лечу к единственно включённому телефону, увы, дальнему.

Аллё! Таан?

— Тонушка? Это я, да. Ну, как дела у вас?

— Всё нормально, пока на даче. Я вот крашу тут дома...

— А приехать не хочешь?

— Жутко хочу!

— Мы с тобой быстро поговорим, мне надо ещё по просьбе родителей дозваниваться. Ну так приезжай.

— Хотя на следующей неделе! Мои и сами намекали.

— Давай постарайся уже к выходным приехать. Если сможешь купить билет — то будем в субботу на всякий случай тебя встречать. Или у деда адрес есть, на всякий случай позвони ему, он по воскресеньям тут. Он тебе всё объяснит.

— Как погода у вас?

— Да вот дожди пока. Но мы разок купались. Приезжай, я без тебя скучаю. Ладно?

— Ещё как ладно. Решено. Сейчас поеду за билетом.

— Там всегда легко купить. Не плацкартный, так купейный — разница не большая. До Себежа. А поезд может быть даже транзитный, в Ригу, там тебе объяснят в кассах. Ну ладно, всё, значит, как договорились. У субботнего будем ждать.

— Договорились.

— Ну, пока, целую крепко!

— И я тебя — крепко и долго!

— Пока, мой Тон-Тон! До встречи!

обе рамы готовы, блестят и пахнут масляной краской. почему-то разжигание газовых комфорок для приготовления обеда — вызывает в кухне запах солянки. так, видимо, сгорает этот запах краски. сейчас же за билетом. и завтра позвоню с утра деду твоему. или не с самого утра. утром буду стены красить. работать подольше, чем с рамами.

жарковатое метро и тенистые, хмурые подземные тоннели — еду на Рижскую. вход в маленький вокзал, очередей у касс не видно. всё выясняю. можно купить даже в день отъезда. плацкартные пока есть. верхнюю полку — всегда можно. надо ли до покупки билета переговорить с твоим дедом? не обязательно — он просто подстрахует насчет пути от станции. Себеж... название как Радонеж или Китеж... сказочное, моя девочка, как всё с тобою связанное...

свежий, пахнущий машинным маслом билет — в шортах, и ждёт ночлег домашний. тревожнее, чем на даче. но светлее. из-за очищенной от вещей кухни.

здесь утро — в прямом смысле красит нежным светом. точнее — цветом. крашу я кухонные стены — белым, смешанным с псевдорозовым (первый по-крас этой краской вчистую обнаружил её густую коричневую, для кухонных стен неприемлемую). в итоге цвет кремовый выходит. ты бы сказала, что в духе ар де-

кО. вот для тебя и крашу, сюрприз будет по возвращении. красить приятно — крестообразно работая широкой кистью словно бы укладывая на стены, закреплять на них этот утренний свет, идущий из-за Садового кольца, из-за Трубной, отверху над этим летом царящего солнца.

действия мои по достижению тебя становятся отрывочны, точны и молниеносны. телефонный разговор с медлительным и почему-то безразличным дедом, который только под конец разговора понимает, что я срываюсь к тебе с предельно возможной поспешностью. возвращение на дачу, договор об отбытии и возвращении с родным семейным женским коллективом. отпускают. хотя оставлять их на две недели всё же тревожно. но кот подежурит. такая тут гармония — травка, зеленоглазость котовая, лёгкие платья моих дачниц, нехитрый досуг. первые ягоды, компоты, прогулки к полям и лесам мимо зелёного в ряске пруда...

да, я покидаю это. всё же тревожно. причём непонятно, почему именно тревожно. за полтора часа приезжаю на Рижский в своём туристическом, давно не надёванном обмундировании, с рюкзаком и захваченным по твоей просьбе у тебя с Новобасманной этюдником. турист-художник. тревога от стремления к тебе? или от хмурой вечерней погоды тут, в Столице?

или тревожит то, что своих оставляю на даче одних? а может быть, то, что ты меня всё дальше от Столицы увлекаешь за собой, моё любованье, девочка моя женщинная, далёкая, недостижимая? всего два пути на этом Рижском вокзале. на дальнем стоит не мой поезд, мой подадут за сорок минут, что-то там уже маневрируют. таких, как я, нет вообще, заранних. поставив на тупиковую невышенность в конце пути рюкзак, хожу и зачем-то курю, усиливая тревожность, непокой. или это предчувствие дороги такое? но что-то внутри этой тревоги есть приятное. то, что еду к тебе. гонюсь за тобой. снова ищу. но уже не в Столице. тут остаётся этот детский какой-то, миниатюрный вокзальчик. пути упираются в шахматно выкрашенные тупики с большими, широкими в окружности буферами. вон какое-то движение намечается в их сторону издали, оттуда, куда поедем. да, состав гонят медленно.

вокзал теремной, окна зала ожидания распахнуты сюда, к двум путям. здесь снимали некоторые эпизоды «Вокзала для двоих», по-моему. точно, эта же салатная зелень и пряничная отделка здания. и проход сбоку вокзала на площадь, к скверу, проспекту Мира, за которым запускающий спутник памятник. вот это всё оставляю, все эти подробности — и поеду в природе, в каком-то далёком Ладеево искать свою девочку. оставляю эти небеса пастельные с белыми и розовыми облаками перистыми. такой старинный закуток — этот вокзал. за тыльным забором — сразу улица, а за ней уже пути в мою сторону — улица Гиляровского, которого в старом сером переплётё везу с собой почтить там, если время и непогода расположат.

отсюда выезжаю из Тебя, Столица. да, мой вагон — вот состав уже незаметно подкатился, и проводницы что-то хлопочут. башмак установили у последнего вагона. а я — заранее сюда пришедший наблюдатель всех этих приговлений к отбытию, которые обычные пассажиры не видят. в путь. докуриваю

вторую папиросу — из запаса тех беломорин, что делались на переломе начала девяностых...

садиться в вагон, говорят, ещё рано. успеет стемнеть, пока начнут запускать. поезд едет ночь и прибывает к часу-двум, как сказала низенькая, пахнущая вагонными матрасами и торфом, проводница-блондинка. ждёт меня там моя стройная темновласая девчушка. даже не верится — на этом удалении друг от друга, что вот я собрался и еду. еду в неизвестную множественность новых подробностей, где будешь ты. какая-то деревня Ладеево, городок Себеж...

но наконец-то запущен, и жду уже в вагоне. пассажиров, действительно, немного. пробирается, разглядывая номера мест, семейство без отца — две дочери и, видимо, бабушка. и как раз в соседнем отсеке размещаются. такое направление, что ли? суэта и подробности, известные только курильщикам. зачем-то извлек уже третью курительную принадлежность — на этот раз «Мальборо», давняя домашняя заначка для курильщиков. у вагона, уже погрузив рюкзак, как путешественник, ждущий начала движения своего средства передвижения — выпускаю прощальные конусы дыма к вечеряющим деликатным небесам с перистыми изображениями, подсвеченными закатом. вот и темнота собирается вокруг вокзала, и там, в оставляемой Столице — в видном отсюда дворе углового сталинского дома, выходящего на проспект Мира... нам бы по этим тоже крышам с тобой карабкаться и целоваться, любоваться там, Тан?.. но — еду, да, пора. прозвучал уже клацающий знак — спряжения вагонов. локомотив натянул состав, и мы, последние выстаивающие на воздухе пассажиры, курильщики, забираемся по знаку проводницы по рифлёно-дырявой лестнице в вагон.

выкатываемся колёсным скольжением с ускорением мимо каких-то заводских территорий, и потихоньку показываются неожиданные подробности начинающихся окраин. поезд всё выше и выше в этом выходном коридоре из Тебя, Столица: угадываю по вершинам домов — площади, приближение справа ВДНХ. серая игла Останкино под перистыми облаками, словно чернильное перо, хочет там что-то дописать в густеющей вечерней синеве с розовыми птичьими перьями-облачками. мой взгляд вытягиваем этим поездом из Тебя: всё дальше от асфальтовых законов, подробностей, привычных расстояний, незыблемых сорасположенностей домов и их зримости. всё меряю — сюда я спокойно дошёл бы пешком. и тебя с собою — чтобы заплутать к новым высотам и крышам, скверам, дворам. а мы всё выше едем, насыпь словно специально поднимает нас, точно самолёт на взлёт идёт. гляжу вправо по ходу — на какие-то внизу автобусные парки, где много красненьких старых автобусов в сгущающейся вечерней мгле. деревья, автобусные остановки... попыхивая торфом на растопке титанов, чтобы чай пассажирам дать на сон грядущий — мой поезд изгибается впереди, видно, тянется к границам западным, прибалтийским.

вот и красавец-шлюз проехали с торжественными какими-то чёрными постаментами, озаглавившими ворота. военная тема, Победа? якоря какие-то. тоже послевоенного времени, явно, сталинского. прощальный пост, обозначающий водный и железнодорожный рубеж Твой. такой вот неожиданно эпи-

ческий, культурный, монументальный Твой жест на рельсовом изгибе прощания на две недели. белые, широкоплечие новостройки стайками слева... семейства серокирпичных приземистых пятиэтажек справа, автобазы, металлолом. вечер начального пути, забирай меня, неусыпного наблюдателя, и клони в сон. иначе так и буду пялить взгляд в уже явную, многие подробности скрывающую ночь. из которой, однако, выглядывают близкие к поезду мрачные кроны попутных деревьев. но Столица уже не виднеется явными признаками. начинают-ся пригороды, судя по платформам. значит, пора ложиться и засыпать. тревога перешла в возбуждение взгляда, ненасытность некую. а нужно уgomониться, чтобы завтра проснуться в дне нашей встречи. тем более что уже к двенадцати дело. приятная обязанность — застелить своё боковое верхнее местечко. соседей нет как таковых, говорят, что по дороге будут подсаживаться. заметна только семейка во главе с пожилой интеллигентной тётушкой в очках. она всех дочек давно уложила и сама читает. а я вот лягу и продолжу вдоль пути своему глядеть в эту ночь, на огоньки, на своё рябящее ожидание завтрашнего дня, его света с невиданными местами и, главное, встречи с тобой. завтра уже увидимся.

утро невнятно, и можно было бы давно проснуться, но не хочется — тут тучи. те самые, о которых ты сообщила по телефону. густые сизые облака, местами синие, дождевые. попутчики успели подсесть и вылезти. и, завтракая, я разговариваюсь с постоянной старшей попутчицей из женского семейства. почувствовать себя, свой возраст, свои перспективы — в разговоре, в самоповествовании. что бывает не редко. интеллигентная тётушка оказалась учительницей русского и литературы. после рассказа о моём вузе перешли на тему любимых писателей. цель поездки обозначил скромно, но точно — к девушке. нет, не тамошняя. хотя вполне сошла бы за гарну беларуску или прибалтийску дивчину. впрочем, не мне судить, я тамошних еще не видел. приятно-деловито и культурно очищать варёное яйцо, торопясь его всё же съесть и говорить с образованной собеседницей. сразу взяли высокий уровень в диалоге. он даже проецируется и на проводницу, насчёт чая. выяснилось под конец диалога, который молча и внимательно стали слушать вернувшиеся из умывальника внучки — нужно будет помочь выгрузить за Великими Луками семейную поклажу. что берусь сделать. там стоянка всего лишь минута.

неужели везде там такая погода? из окна дует прохладно и влажно. выглядывает повсеместно уже сельская, полевая жизнь, редкий сбор урожая, размытое, глинистое бездорожье.

да, финальный отрезок пути тянется дольше, чем можно было бы ожидать. лучше б проспять это. но надо помочь выгрузиться семейству. это уже скоро.

с излишней заблаговременностью вытаскиваю в тамбур поклажу — четыре тяжёлые коробки со стеклотарой для варенья и две большие сумки. дело ясное: в Москве погрузил зять, а там, в Опочке, встретит дочь и внук, старший, мой ровесник, студент. говорим с образованной и общительной учительницей непрерывно, даже в тамбуре, при курящих — что поделаешь... сам-то и позабыл, что вчера дымил на вокзале. вторым дымящим там у вагона был, судя по всему, тот самый зять. удручённый, хмурый, сутулый, явно не отпускной потому что.

но вот остановка, кажется, да, пора заметить встречающих и скоренько выгрузить поклажу. семейство — единственные встречающие — расположилось далеко от вагона, а мой ровесник-студент выглядит значительно старше предполагаемого, приземист, пухл. но лицо молодое, румяное, русый.

резво высадившаяся с личным рюкзачком учительница командует — выгружать немедленно, сама примет. негодуяще посматривает на спешащих к вагону детей. высадившиеся внучки тоже помогают, принимают внизу коробки вдвоём. но минута ещё не прошла, а мы успели. сочувствовавшая нашему действию проводница, обещавшая в случае чего просигналить, чтобы поезд подождал, собирает решётчатую лестницу, закрывает дверь. учительница мудро, чуть извиняясь за своих, благодарно улыбается и машет вслед вагону, начиная уже не спешные, запоздалые объятия и порицания со встречавшей её семьёй...

в сосновые края въезжает наш состав, не торопится. теперь, в почти пустом вагоне, так и не заполнившемся по пути совсем, можно сесть как у себя на другую сторону, где ел и беседовал с учительницей. странное дело: мне всё в чужих речах кажется напоминанием о тебе, поучением, как держать себя, как беречь наши отношения. на станции, что минули, за серым плетёным бетонным забором были деревья, а над ними всё та же непроглядная и бесконечная навлажшая низко серость. надо выглянуть: что делается по другую сторону нашего пути — там, впереди, над узкоствольными сосновыми гущами, растущими из почерневшего под ними, как и некоторые их стволы (горели?) песка?

и вот чудо практически: там, куда мы катимся, в твоём краю все эти тяжёлые тучные одеяла заканчиваются и, словно за скомканными, всклубившимися ввысь белыми простынями-облаками, выступила светлая глубокая синь. в этом пустом вагоне подъезжаю к последнему нашему, приграничному, как сообщил твой дед, городу. низкая упитанная русенькая проводница, высмотрев меня в купе, попутно собирая бельё, сообщила, что сейчас уже подъедем, Себеж. пути разветвляются, на них товарные составы, уже начались пристанционные избушки и длиннющие сараи, надо готовиться. рюкзак сверху — на сиденье, спиной к нему прикинуть и — в лямки. к тамбуру мимо кучи внимательно пересчитываемого проводницей белья. восьмой мой вагон так далеко остановился (если это окончательная точка приползновения состава), весьма далеко от станционного здания и не на крайнем пути.

но вон, кажется, встречающие. ой, моя девочка — уже загорелая, улыбающаяся! хоть и с брякающим рюкзаком за плечами — но бегу. чтобы — вот, перепрыгивая рельсы, неуклюже на шпалах столкнуться и обняться, целуясь невпопад. летняя моя!..

— Заждалась, как долго вы ползли, на полчаса задержались. Ой и этюдник привёз, молодец какой!

— А как же. Чтобы моя эстеточка не прекращала самообразования, понимаешь.

— Ну, пойдём, папа там ждёт на машине. Не смотри, что «запорожец» — это машина местного значения.

какой мы пышущий эмоциями, радушный, движущийся объект для зависимого внимания дорожных работниц в оранжевых жилетках — загорело-веснушчатые, молодые, улыбаются понимающе, подсобка у них тут, что ли, перекур?.. да, вот и твой загорелый, словно темнокожий, немного с щетиной, по-деревенски раскрепощённый папа в лихой чёрной художницкой беретке. без особых, как обычно церемоний и поз, крепко жмём руки, снимает мой рюкзак — в багажник, за ним этюдник...

— О, да вы к нам на этюды?..

— Пап, перестань издеваться, прекрасно же знаешь, что это мой.

— Да нет, я подумал, что художник — твой молодой человек, приятно удивился.

фактически мы с твоим отцом люди незнакомые, только видевшиеся дома у тебя. говорили в основном с мамой и дедом, несколько раз с бабушками. дистанция с отцом как-то сама сформировалась. не на уровне разговора сейчас, в машине, тут всё нормально, как-то общественно-размыто, вежливо-весело — но на уровне заочного отношения. вероятно, полагает, что я тебе «не партия», «не богатырь», не «как за каменной стеной» — как в таких случаях отцы думают, наверно...

городок Себеж начинает вливаться в оконную видимость волнами-холмами. рябинами, бревенчатыми древними домиками в кружевно-белых наличниках на пригорках. небольшой, но славный, открытый, простой и радостный городок. последний русский, основанный самим Петром Первым во время войны со шведами, как сообщает твой отец гордо. какой-то могучий перекрёсток проезжаем и рекламный, что ли, щит со словом «форпост» — агентство или страховое общество... центральная улица узка — тут и автобусы едут с мелькнувшего справа автовокзала, и мотоциклы с колясками, и сельские транспортные средства телеги. у рынка, предварённого серокирпичным универсамом, останавливаемся, надо запастись хлебом — как ты объясняешь: живём далеко от точек, где хлеб, надо использовать случай. да, в деревеньку едем. неожиданное погружение в давно забытый мир, запах очереди сельмага. выстаиваем... успеваю сделать тут маленьким, заезжим, глядя на игрушки в детском отделе, на тетрадки с Бритни Спирс...

продолжаем катиться по центральной улице — вот и весь городок, есть здания довоенные, с элементами чего-то уже прибалтийского, европейского, что ли. дома-коллаборационисты. как продолжает рассказывать отец: здесь довольно долго простояли немцы во Вторую мировую, местное население сотрудничало. и вот выкатываемся по центральной прямо к огромному белому впереди озеру, поворачиваем вправо его огибать. озёрный край, ты говоришь, дальше озёр будет больше. сливовые деревья вдоль административного здания, конец асфальтированной дороги, плотный коридор листвы вокруг нас...

пыльная дорога ведёт нас в твоё Ладеево, моя девочка: ты всё же похитила меня и себя у Столицы, придётся в этот твой мир вживаться, что делаю уже с удовольствием. только вот пыль — необыкновенно белая и лёгкая, всё летит в

окно, отец твой едва успевает закрывать-открывать окно в зависимости от наличия встречных или обгоняющих наш светло-зелёный «запорожец» автомобилей, то иномарок, то чаще «москвичей» или «жигулей». или грузовичин, Камазов, Кразов. тут всё стариннее, ближе к отроческому, путешественному моему прошлому. селигерному, ЮНГовскому...

с тобою на заднем сиденье — невидимо для отца ласкающиеся руками, без слов, только взглядами рассказывающие бывшую разлуку. отчего-то ты даже в слёзках, то ли от пыли, то ли всё же по другой причине. тихонько целую тебя в ушко, щёку и слизываю слезу. пахнешь уже деревенски — волосы, кожа... молочного, избушчато.

мимо примыкающих к дороге то слева, то справа колхозов мчимся. проехав Гленбочино, глядишь на меня как-то по-новому добро, расслабленно-домашне:

— Вот, теперь уже скоро.

обросшая кустами дорога, холмистая и всё так же пыльная, пропускает справа уже не первый длинный заброшенный коровник, и мы, сделав хитрый, вынужденно медленный манёвр, поворачиваем влево. никаких указателей, просто уезжаем в лес по теперь уже чёрной, часто размытой, качающей борта «запорожца», дороге. долго ковыляем, но всё же въезжаем в некий населённый пункт, судя по двум домам справа на пригорке. и вдруг, резко забрав вправо и вверх, твой отец останавливает раздухарившийся «запорожец» — приехали.

пока отец, как великан, один взвалив всё на себя, уносит продукты, выгружаем с тобой этюдник и мой рюкзак на скамейку, стоящую у мизерного домика-подсобки с вырастающим из неё столом. со стороны дома вылетает и радостно лает твой Маруська, уже узнавший меня по запаху, топчется, лижется, юлит, тявкает.

о, Столица, так теперь далеко мы от тебя! всё дальнейшее — сдержанно-радушная семейная встреча, борщ, стопки водки под сало и стебли чеснока с огорода — совсем уж не Твоя история, но всё равно поэма. последовательность случающегося с нашим любованием, найденным в Тебе.

теперь — в ласковой природе, в холмах, на которых яблоневые сады и дома. в Ладеево нет заборов, домики стоят на достаточном друг от друга расстоянии и все знакомые-друзья. хватаем, спускаем с чердака сразу же после обеда с твоим отцом трёхместную байдарку «Таймень» и несём её не известной мне дорогой к неизвестному озеру — как раз через всю деревню. тишина. вот первозданное убранство. тут и машины не ездят, зона сугубо пешеходная, внутри расположившейся на отвоёванном у лесов островке жилой территории. только собачий перелай вмешивается шумом, когда приближаешься к новой территории. домики наплывают на вершинах холмов один за другим, то справа, то слева — у каждого свой сад и огородное хозяйство. преодолев пик холмистости, пошли вниз, нести остроносую байдарку стало легче, а идём-то быстро, мускулисто, тут-то уж нельзя ударить в грязь лицом перед твоим отцом, он впереди, словно открывает невидимые двери в новые, невиданные покои, ему, конечно, очень дорогие, ведь главный. и вот сначала мелькнуло, а потом появилось и с

каждым шагом ширится — озеро за деревьями: огромное, вода чёрно-зеркальная, вдали то ли остров лесистый, то ли другой берег. отец твой нас оставляет, идёт к замеченному по пути знакомому в предпоследнем доме, оператору документального кино, как было прокомментировано.

и мы снова одни. вокруг лиственный и землистый, твой с детства мир. уже успела шепнуть: ты тут выросла. сразу же обнимаемся, обнаружив себя в таком новом месте для совместно направленных взглядов. но здесь уж ты ведущая, показывающая, зазывающая. и так прост и приятен мой вклад в экскурсию: подождав-подсмотрев, пока ты присела выструить у озера, снимаю брезентового цвета свои брюки, остаюсь в зелено-полосатых трусах и готовлю к отплытию байдарку. уж это я умею, научен селигерскими неоднократными плаваниями. весло вдоль корпуса, байдарка на свободном плаву над чёрной, топкой донной поверхностью. помогаю тебе сесть. хорошо, что твой Маруська остался дома, закрыла его, удержала при себе твоя мама, чтобы под ногами не мешался, пока будем нести плавсредство.

начал грести — приятно чувствовать свою силу, переходящую в скорость, цепляться за чёрную воду и отталкиваться — снова кусать краем весла и тянуть... хоть и гость, но хозяин — гребу, направляю куда-то байдарку, глядя на твой длинноволосый затылок. дугой проплываем к середине нашего угла озера — оно огромное, что-то есть совсем невидимое за островом — и постепенно целимся к берегу, но дальше, левее теперь уже. вон справа по холмам высятся дома твоего Ладеева, а над ними сложные надстройки облаков над вершинами елей и лиственных крон.

день светлый, спокойный, полный свободы познания нового для нас. такой обязательно должен был настать. ты взяла меня в свой мир, моя девочка. в мир, где хворенькая росла — врачи, когда ты слабенькой, тощенькой (впоследствии — изящненькой) родилась, были настроены скептически, думали что не выживешь, а мама тебя увезла сюда, выходила, и тут ты встала на ноги. и ты помнишь эти яблони сверху, над коляской — которые мы проходили, пока байдарку несли, — яблони около сгоревшего бывшего вашего дома. потом уже купили, переселились в нынешний, более ближний к окраине Ладеева. и вот уплываю я к незнакомому участку берега с моею девочкой — не просто тут вскормленной, а глядящей добрыми, лирическими блестящими глазами необыкновенно оживлённо, раскрепощёно на этот родной природный край. кусты постепенно расступаются, просвечивают — там, куда я нацелил нос байдарки, сосновая поляна. но причалить тут сложнее. хотя оставить байдарку можно тут где угодно, как ты говоришь. некому позариться, все свои. однако, чтобы подвести байдарку к берегу, приходится мне высадиться прямо в воду, которой тут по пояс. а трусы — не плавки. и, чтобы также тебе не намочнуть — как из люльки тебя вынимаю из байдарки и на руках, чуть проваливаясь в чёрный топкий наст дна, несу тебя к берегу. всё, приземлили сокровище. а самому... да что — ерунда, нет тут никого — придётся снять своё единственное одеяние. или нет?

— Да снимай спокойно, тут целый день может никто не пройти.

— Ладно, доверимся хозяйке.

можно было бы назвать это — высадкой в рай. постепенно, идя по Столице друг с другом, следуя и дальше Неё друг за другом, переплыв это озеро (но на том же берегу оказавшись), мы попали в свой собственный, никому не ведомый, солнечный летний рай. и я выхожу из воды, вышагнув из зелёно-полосатых трусишек, в этот рай голым. в своём лёгком дачном сарафане, ты идёшь впереди, точнее, пятишься, глядя на меня:

— Надо же, даже не верится.

— Во что?

— Не верится — ты такой, тут, у меня. Идёшь...

— Но ведь мы и на крышах были такими?..

— Да, но я почему-то там тебя таким не воспринимала. А сейчас вижу, что ты мой. Весь, подробно. С этой вот смуглой тенькающей штучкой милой.

— Тенькающей? Зря ты так — он ведь среагирует...

только сейчас понял, что это пространство с обнаружившейся за соснами дорогой — было предсказано в Карпатах, когда гуляли в ранней весне с моей ЮНГовской платонической парой Юлей, о которой тебе ещё не рассказывал. позади озеро, там — был поднимающийся склон. а дорога уводит вправо, и словно комнаты одна за другой — поляны, перемежаемые стенами кустов, малинником. вот колышек для коровьего выпаса. а я иду всё голый, беззаботный. который смуглый, «тенькавший» — чуть выросший в собственном мнении после того, как ты обратила на него внимание у воды — вниз выглянул из волосяных куш, метрономом отсчитывает шаги. странная пара — девушка в приличном летнем одеянии и этот шагающий рядом наглец, от слова «нагота». наверху, где очередная поляна дорастает до леса — за стогом сена ходит аист, их тут, как ты говоришь, очень много. понимает ли аист, что люди бывают нагими? но тут уж ты не вытерпела и в новом сосняке, у костровища, насторожившего и оставившего мою нудистскую прогулку, остановила — обоими руками притянула моё лицо, прижала к себе с нежной силой, и мы тонем теперь во всегда нам безбрежной, чёрной, как глубина этого озера, бездне поцелуя. моя желанная природная женщИнка — не прошёл даром мой адамов рейд, да, чувствую — ты хочешь доказать, что и вне Столицы мы те же, даже ещё сильнее можем сливаться. ласкаю объятием тебя под тонкой тканью сарафана — веди меня, принимай меня у себя, моя девочка. не случайно так стремился к тебе сюда.

но, Столица, — как быть с этим: мы вне Тебя? и теряют порядок подробности нашего любования. словно своды, словно те, следующие друг за другом поляны, объединяются моменты сближений и новые виды, пространства, прорывы в неожиданную природную свободу.

ведь дождались ночи — и вместе. нас, как детей, положили в две разные кровати. ты сделала знак, чтобы не удивлялся, когда мама твоя назидательно застлала привезённое мной в рюкзаке на правую от окна и стола под ним кровать — ночью объединимся. и встретились: уже на твоей узенькой кровати, в байковом и простынном запахе деревенского бревенчатого дома. ласка-

емся лёжа, чем-то действительно по-детски. но тут ты даже торопливее и нетерпеливее меня:.

— Можешь сильнее! Да, обними меня сзади, вот так..

это ты легла ко мне на боку спиной, быстро и аккуратно окунув моего молодца в себя и требуя, чтобы груДки твои сильнее сжимал я ладонями. да, моя женщИнка: уже научились требовать друг у друга усилий ласковых, взрослых. да и короткая разлука усилила взросление порознь, отсюда и требовательность. целуя часто, словно моросью дождевой, твои волосы и шею, вдыхая и вкушая новый привкус твоей загорелой кожи — увлекаю нас с тобой мерными в тебе движениями к такой знакомой и каждый раз совсем новой цели. здесь — она достигнута нами горячо, и, словно в половодье мы оказавшиеся, открыли эту заветную дверь и негромко, чтобы не услышали родители, задыхаемся удивлёнными — иногда одновременными, иногда порознь — голосами. после слияния, ещё не разнявшись, а сжавшись крепче — медленно вдыхаем, утоляет жажду глубокого дыхания чуть плесневелый, чуть древний от слова «древесный» дух твоей избушки. засыпаем, всё же, разошедшись, как и по телефону, как каждый день в Столице — пожелав друг другу спокойной ночи поимённо.

засыпать на новом месте сложно, но оставшееся внизу продолговатое влажное ощущение тебя на себе, и звучащее твоим голосом пожелание спокойной ночи — убаюкивает в незнакомом пространстве, в этой глуши.

а утро уже возвращает приятный, томящий непокой — прислушавшись и не обнаружив в избе родительских звуков, встречаемся в моей постели. и ты внизу, и зачем-то мы хулиганим, экспериментируем — получится ли, если твои ноги по-мальчишески будут сомкнуты? но мой молодец и тут беспрепятственно оказывается в тебе, находит путь, и тебе это, несмотря на позу невпускания, нравится, а взглядом требуешь продолжения движения в таком неожиданном положении: и это весело делаю я, словно оседлавший по-женски тебя, колени — по бокам. потом торопишься из моей постели: нельзя, чтобы тут мои излияния в тебя остались, а то стирающая мамУшка не поймёт.

нехитрый быт и парное молоко по вечерам — стирают границы дней, мы влились в это новое пространство, а время осталось только где-то в приёмниках, да на редко попадающих в поле зрения часах. и уже банный день приблизился вплотную — твой батя, чтобы дать мне отведать всего деревенского колорита, настаивает, хоть тебе и всё равно. приходится объясниться: просто с отроческих пор перестал любить бани. перепарился в цыганских банях — которые в экспедициях из палаток устраиваются. нагревается гора камней, а потом над ними устанавливается большая палатка — вот и баня.

но для дешёвой баньки, что у соседа, белоруса Бронеслава Ивановича, нужно ещё воды натаскать. вот и работа молодому человеку. не всё же там нежиться, в «детской», в гостиной. шлёпанцы нового поколения, на теплостойкой мягкой подошве, конечно, не лучшая обувь для такого занятия — но ведь из ведра проливается, а другой обуви такого рода не захватил. вода из близкого молодца — которая не для питья, а для мыться только. белёсая водичка, как и пыль

на дороге от Себежа. тридцать вёдер наполняют котёл, который и есть самый главный элемент чёрной бани. всего на всего-то под ним разводится костёр — уж Бронька сам это дело знает лучше всех. потом, на самом яростном пару, старики парят свои мёрзлые кости, за ними твои родители, и причёсанные, раздумывавшиеся, парившиеся, конечно, вместе — зовут нас отвезти в парк. даже и сомнений нет — мы пойдём вместе, хотя твоя мама глядит с укоризною вслед паре, проходящей яблони по пути к соседу. по досточкам в сумерках — к баньке.

заглянули — пар остался, но входить пригибаясь уже не придётся. небольшой узкий предбанник, серые старые доски: раздеваемся. каждый раз, когда ты это делаешь для меня — таинство. и, когда появляются маленькие, в моих ладонях помещающиеся груДки — праздник мне и молодцу. а когда спущены и нижние одеяния, то — скорее в баню, где хоть полумрак скроет твою красоту от моей впечатлительности.

но не скрывает. в помещении сказочном, как в доме Бабы-яги, пахнущем деревом и дымом, в тяжело жаркой, влажной комнате, где ты обнажённая садишься напротив меня на палатъя — градусник зашкаливает, мой градусник — и он, по часовому циферблату, показывает ровно двенадцать часов во весь рост. ты сделалась неожиданно русой в этом банном тусклом освещении. интересно, в маленькое окошко сбоку — никто не догадается из соседей подсмотреть? ведь тут такая картина — молодой человек напротив девушки, он на лавке у одной стены, она на палатъях у другой. оба глядят друг на друга, долго глядят, томно и внимательно. даже в таком освещении ты мне явлена излишне соблазнительно: упёршаяся руками в палатъя, приподнявшая этим груДки, чуть разведя ноги, не скрывая лаконичной мохнатки между ними. не выдерживаю — и медленно иду к тебе со своим изнывающим жезлом мужества, указующим в покрытый густой копотью дощатый потолок. медленные ласки — это первое в нашей процедуре принятия бани. ласкаю твои распарившиеся и чуть опустившиеся груДки, и в тебе вызываю интерес к сближению тут, на палатъях, на которых полагаются хлестать вениками, что мы принесли с собой, ольховые.

взглянула вдруг с заговорщицкой мыслью на моё отекающее потом и осевшим паром чело, взяла мой, касавшийся твоих бёдер, скипетр и, сев ногами чуть шире, приставила его в нужном направлении.

— А давай попробуем?

чуть содрогнулся от простоты достижения желанной, томящей цели и — двинулся в тебя. легко, плавно и жарко. нет, там чуть спокойнее, чем снаружи, — и не утомительно теперь скользить в тебе, медленно, прислушиваясь к аппетитному звуку снизу, звуку моего вхождения в тебя, звуку нашего слияния. но в этом влажном зное, мы, касающиеся истекающих кож друг друга, долго не выдерживаем: выбегаем вдохнуть чистого воздуха, где, просто от одного твоего обнажённого блёсткого женственного вида, я выстреливаю из скипетра белёсый перламутр, на тыльную стену Бронькиного предбанника, рядом с твоими и своими вещами. глядишь заворуженно и победоносно, моя ведьмочка, и, тут же присев передо мной на колени, допиваешь нежным объём-

тием губ остаток вызванного сближением с тобой вязкого течения. надышавшись-напившись, возвращаемся в жар, где ты, истинная дочь деревни Ладеево, принимаешь теперь все процедуры — нагоняю сначала пар веником на спину, потом на грудки, просто близко им шебурша в воздухе, а затем уж, по настоянию, хлещу. процесс мытья в бане с помощью тазиков — длителен и едва виден в плохом освещении. только особенно приятно теперь тебя губкой, тоже словно ласкать, но с большими усилиями, а затем смывать пену, рассматривая тебя, из этой пены рождающуюся подробно со всем подгрудным созвездием родинок, с цветом волос здесь отчего-то русым, с желанными бёдрами и всем что выше, между них, что скрывает мохнатка — эти две сомкнутые, но зримо выделенные полосочки...

путь назад через яблоневый сад — уже в ночи, с огромной полной луной где-то над лесом и окнами твоего дома, зовущими, пахнущими ужином. после бани — сперва то самое парное молоко, деревенский приём на все сто.

и в постели мы, снова у тебя — свеженькие, пышущие, слившиеся, как вчера, я лежу боком позади тебя. и быстро вместе достигшие того, к чему я единолично поторопился в предбаннике.

Знаешь, мне сейчас кажется, что ты моя почва, а я в тебе корень...

— А это что, клубни?

ведьмочка, и тут не перестаёшь шутить, ухватив напряжённые, движущиеся после излияния в тебя, мешочки-мячики. но заснуть, находясь в тебе, всё же не удаётся: без движения теряется внутреннее ощущение, словно всё как обычно и все порознь. поэтому разнимаемся, по обыкновению на ночь желаемся и засыпаем на своих отдельных кроватях.

за неделю всё неупорядоченное содержимое моего рюкзака успело стать диковинным, дарами далёкой цивилизации. так привык к простым вещам тут, местным, что даже своя расчёска напоминает Тебя. Ты отсюда кажешься ещё желаннее и огромнее, неизведаннее. и мечтаю повести свою девочку в Тебя снова, прямо от вокзала — и вести, вести неизвестными самому путями вправо от возвращения на маленький Рижский вокзал.

да, моя девочка, твоё царство забрало нас, убрало тикание времени — и мы, снова став детьми под чутким и строгим, но не постоянным контролем твоих родителей, стали здесь свободны. сели на велосипеды и делаем вечером большой круг — до шоссе, по шоссе и назад, тем же путём, как ехали машиной. а днём, в самую жару, укатываемся на длинное озеро с песчаным дном, что за другим населённым пунктом, который за ближайшим заброшенным коровником. по дороге всякий раз — дружный и неистовый лай местных собак — но, как только велосипедисты съезжают вниз и влево, к месту купания, затихают вдали. здесь купальня не только людей, которые бывают крайне редко, но и коровий водопой, так что местами не просто топко, а навозно. лежит сверху дном лодка...

никого не только тут, но и поблизости, даже по дальним краям озера: твой мир только нам открылся, природа приняла нас так, специально. загораем

тут лежим, изредка забегая в прохладную постепенно, по мере отступа песка, углубляющуюся заводь. огромное озеро — плыви до середины и смотри на далёкие песчаные обрывы, гость. и назад плыви — вода прохладная, а белёсый песок под ноги вернётся не скоро.

но, согреваясь после плавательных усилий, на солнце под сосной, где мы расстелили байковое одеяло, мы не можем не ласкать друг друга. и вот уже, просто для загара обнажившись, используем наготу в других целях. для той самой, нашей частой цели, которая заставляет по несколько раз в день сладостно задыхаться и слушать стонную музыку друг друга. и, словно хмельная от жары и ласк, ты только успеваешь спросить, поворачиваясь на бок, как в твоей постели:

— Что мы делаем?..

— Мы ибаемся. Как в школе это называли, детьми, помнишь?

отвечаю затем действием: направляю рукой молодца в открывшуюся меж (только что целованных и этим влажных) нижних уст розово-сумрачную глубину. но там его, быстро догоняющего, и по пути заставляющего дважды вспыхнуть в тебе, наслаждение, немного покалывало. это та самая леска от «спиральки». а он, обычно погружающийся скидывая капюшон, вернулся точечно кровоточащим. красная точка на возвышенной сизой главе. ничего, конечно, заживёт малиновая гладь... так и лежим в послестрастной полудрёме: нагая, солнцу распростёртая ты и я с набухшим и маленькой алой точкой кровоточащим смуглецом. ещё раз окунувшись и собрав пляжные принадлежности, приторочив их к велосипедному багажнику — возвращаемся. словно дети безгрешные, мы на этих просёлочных велосипедах. после лающего отрезка, на тёплом, угловато-тенистом лесном пути, сговариваемся снять спиральку, раз она такая негостеприимная, по твоему выражению.

— Но, милый, это я только в Москве смогу.

— Конечно, уж потерпим тут, исхитримся как-нибудь.

Столица, но мы же так далеко от Тебя?.. и нужно ли всё это так подробно рассматривать? нашу культурную поездку в Себеж, прогулку по музею (оказывается, дальше на прибалтийской территории был концлагерь, много фотографий, письма жён немцам, где они просят прислать вещи из тех, что отобраны у концлагерников), конструктивистский малиновый дом культуры бывший, ставший рестораном, казино и, как и был, гостиницей, набережную большого Себежского озера с кафе, где мы сидим с приехавшим гостить-снимать дачу другом твоего отца семидесятником Витальком...

да, гостей прибавилось: приехала и двоюродная сестра Полина с модным кавалером Жекой на своей машине, с ними и родителями на «запорожце», мы отправляемся в Белоруссию. граница — свободный проезд: просто огибаются шлагбаум, и на нас, проезжающих, из КПП глядят, не везём ли чего крупногабаритного в салоне. музыка в машине Полининого кавалера — техно-стёб над советской песней: «Родина моя, Белоруссия, здесь я на базаре продаю кукурузину». под это грозное весёлое бУхание — въезжаем на белорусскую территорию.

та же дрога, те же коровники — только не заброшенные, а действующие. названия колхозов — не менялись: Ленинский, Октябрьский, имени Дзержинского, Красный Октябрь. по полям между коровьими стадами носятся пегие ребята, комбайны хлопочут. после обмена в пункте, что по пути в маленьком селе на почте расположен, денег в белорусском эквиваленте становится много, и на всё это в попутных магазинах, где всё совсем по-советски — очереди, не-большой, но необходимый ассортимент — покупаем в качестве гостинцев в Мо-скву тёмную копчёную колбасу, масло, густые винные напитки «Осенний» и «Ян-тарный», а также два ящика «Жигулёвского» пива для прощального вечера — по настоянию Жэки. он слушает не только техно-стёб. сходимся с ним на AC/DC, слушаем на обратном пути визгливую хрипатость Бона Скотта. весёлая молодая компания несётся назад в РФ, так и не растратив всех «зайчиков». рынок в Запад-нодвинске не отличается от российских, те же вещи, но цены чуть ниже.

застолье устраиваем неожиданно — на обратном пути заехав в Фундорки, что ещё на белорусской территории, но живут там по паспортам россияне. тут надо прихватить удобных для сидения чурочек, напиленных неизвестным умель-цем — уже со спинками даже. разворачиваем пир горой с другом отца твоего Ви-тальком в качестве тамады. оказывается, и водку с собой прихватили — «Асланов». по поводу которой Виталёк выдаёт экспромтом тост про какого-то горного акса-кала, который, вроде бы, зоофил и говорит своему ослу: «Давай осланёмся?».

но что нам всё это хоть и праздничное, но семейно-бытовое застолье? нет, мы, направившись якобы в лес за хворостом для костра — заглядываем в те самые Фундорки, в почти полностью заброшенное село. с пустыми домами, с садами, в которых и наедаемся сливами, поцелуями и ласками. и самое неочи-данное, моё наблюдательное таинство: близкое, разрешённое подсматривание, как ты пишешь в лесу на обратном пути среди кустиков черники: как среди почти щекотно касающихся тебя маленьких круглых листиков низкого кустар-ника раскрываются твои бледно-розовые продолговатые лепестки и выпуска-ют прозрачную тёплую линию-капель, на которую тенистая мшистая лесная белорусская земля прохладная отзывается медленным сказочным паром.

почему отсюда все бежали? вроде бы, и не чернобыльская зона. просто пункт этот населённый расположен слишком далеко от остальных. и админист-ративная неразбериха, пограничная зона. тут даже электричество обрубали, са-ды плодоносят — а собирать некому. запоздало нас, вернувшихся, захмелевший с Витальком твой папик с шуточно строгой миной бровей и губ спрашивает:

— Ну что, нафундОрились?

вся весёлая компания, собравшаяся вокруг твоей семьи, готовится к отъ-езду. и мы с ними. останутся твои родители вдвоём. вдали от Столицы, мы с то-бой стали ближе — и в то же время зависимее от мнения извне. потому что со-юз наш слишком очевиден, и рядом с другими парами — матери и отца, Полины и Жэки — он должен бы как-то закрепиться под традиционным назва-нием. и я, в этой эйфории, когда мы живём практически вместе, хоть и в раз-

ных постелях, делаем то, что ты хотела раза три-четыре — более шести в день. и мы совсем вместе. но что-то между нами. те самые слова на букву «л», но не любование — которые сразу не были сказаны. и ты всё мрачнее становишься, когда я заговариваю о браке. не этим дурацким словом, конечно, называя свои желания. наоборот: после ласк и сближений, когда гуляем к сосновому бору, где я Адамом хаживал, ты всё чаще вдруг добавляешь к моей, от тебя передающейся, тревоге:

— А что мы будем делать, когда придёт мой муж?

сначала я действительно думал, что где-то существует нравящийся тебе не так, как я, человек. но потом ты объяснила, чуть издеваясь над моим словечком: одно дело «любованник», а другое дело — муж. какие-нибудь разговоры с родителями в моё отсутствие на тебя повлияли, подозреваю.

но, забывая об этих разговорах, мы — в твоей ладеевской природе. и укачиваем на велосипедах в сторону Белоруссии, встречая аистов да у придорожных деревень почтовые ящики, единственно напоминающие о Столице, цивилизации. а там, забравшись на песчаный склон — глядим на холмистый, озёрный и облачный край, границ не видно, одни леса и озёра разного размера. травы говорят нам всё запахами, а мы всё продолжаем гулять — только не в законах Твоих, не по улицам или вверх по лестницам — а здесь, в зелёном мире.

и ничего бы не было заметно, если б, предпоследним вечером просто чуть возвращаясь по лесной дороге к шоссе, мы не остановились вдруг у склона и не плакали друг другу в плечи, в шеи — ты попросила простить себя, свои сомнения, передавшиеся мне, — и внезапный мелкий дождик плакал над нами. в тот миг или раньше, когда ты сказала опять про «мужа», — хотел немедленно уехать, бежать. бежать к Столице, подальше от тебя, приворожившей меня, видимо, ещё зимой — ведьминым манером, когда в критический твой день я при полном твоём непротивлении был допущен вниз, внутрь, и, выстрелив перламутровым фонтанчиком тебе на пупок, потом зализывал своё посещение, а ты, смеясь, посоветовала взглянуть в зеркало — там увидел вампира с окровавленным подбородком и даже носом, в ванной смывал твою нижнюю кровушку с лица и молодца, ставшего похожим на того, первопроходного, на кропоткинской крыше.

ох, Ладеево: ты, открыв нам все свои природные и избушечьи убежища, заставило думать и страдать о нашем дальнейшем. но, как прежде, и не вспоминая раздоров, мы почти каждое дообеденное время — на пленэре, где ты рисуешь родное своё озеро. слежу за тобой, внимательно глядящей в озёрную даль, слежу за рисующей. сам бы рисовал тебя, изящную, заострённо-устремлённую, в чёрном с бело-красными цветами купальнике — чтобы загорать при этюдной занятости. часть небольшого соснового бора, выходящая к озеру, освещена солнцем со стороны воды. лежу ближе к воде, между тобою и озером, и просто гляжу вокруг, наслаждаюсь последним днём пребывания.

в который раз (третий или четвёртый — всякий этюдный день она с нами) прилетела бабочка «тигровый глаз» и кружит, хлопчет над нами настойчи-

во, то ли из-за того, что от пребывания на солнце влажновата моя кожа, то ли по другим своим соображениям — бабочка усаживается мне на грудь и не собирается улетать в течение минут пятнадцати, работает хоботком, двигается к правому плечу.

— Ты ей явно понравился. Она тебя уже узнаёт.

— Что ей может нравиться на мне?

— Это только я знаю. Ты сладенький. Ты для неё как цветок, иначе бы она не села. Видишь — и теперь под мышку к тебе норовит.

— Может, она так питается?

— Бабочки не обжорствуют. Мне кажется, она чувствует твои мужские запахи, гормональные. Они у тебя тут сильно проявились, даже в моей постели остались. Утром вдохну — и сразу понимаю, где я, что ты тут.

эта знакомая бабочка, длинный солнечный день, твоё настойчивое вырисовывание озёрного берега и леса напротив — всё словно отрицает близость отъезда и движение времени. но сегодня день всё же другой выдался. через час, как ты начала рисовать, поддавливать из тюбиков на палитру — солнце ушло, и бабочка скрылась, опасаясь начавшихся дуновений ветра. за невозможностью рисовать мы решили побродить в окрестностях бора. обнаружили немало грибов, подосиновиков и подберезовиков, причём прямо на дороге. а поднявшись по склону к верхнему лесу, что словно на несколько ступеней отстоит от прибрежного бора — обнаружили драконообразные артиллерийские траншеи, тут были огневые точки во время войны. да, здесь бились. бабулька, которой сто лет, у неё я забираю молоко по вечерам — рассказала, что немцы сюда приехали сначала на велосипедах, мирно, «не рушили». а когда начались партизанские дела, то уже по-другому себя повели. мы гуляем с моей девочкой в этих лесных островках, ищем что-то, а ветер всё сильнее — он догоняет и захватывает твои волосы. романтические гуляки — мы стали немногословны, больше просто глядим или касаниями сообщаем свои настроения. чаще всего догоняю тебя и обнимаю либо беру за руку. но тучи сгущаются, мрачнеют. надо спускаться к нашему сосновому бору и твоей оставленной там палитре в открытом этюднике.

однако дождь опередил. и, уже мокрые, мы бежим по склону к бору. он чуть защищает нас от дождя. но палитру уже размыло: синие, белые, жёлтые капли стекают с этюдника на хвойный наст. хорошо, что ты свою работу успела спрятать в холщовую сумку, но и её теперь надо уберечь от воды. залезаем под стол, который тут между двух сосен соорудили для пикников у костра. стол накрыт постоянным полиэтиленом, не протекает. из холщовой сумки, которая с нами, вытащил я твой белый свитерок, и ты его прямо на купальник натягиваешь, моя девочка... спрятались.

но такое бездеятельное согбенное сидение друг рядом с другом надоело, а дождь кончаться не собирается, льёт всё сильнее, без грома, но с сильным напором. вдруг ты, аккуратно прислонив к одному из стволов свою сумку, срываешься и бежишь под ливень, в сторону шоссе, уводящего за несколькими поля-

нами к границе. я, не раздумывая — за тобой. бежишь и подставляешь на бегу свои ладони дождю, вся мокрая уже, волосы отяжелели. но я тебя догнал и именно в этом месте, как только я тебя коснулся и повернул — начался поцелуй, ради которого стоило бежать хоть через всё озеро. без сомнений, без твоей одинокой задумчивости — ты словно убежала, нужно было отбежать на некоторое расстояние от того привычного уже места. и здесь мы снова дети, снова нужны друг другу, объясняя своим языческим манером то, как каждый другому дорог — там, в устах, во ртах, глубже, правдивее.

вернулись, высушились. ты, полуобнажённая в своём домике, в нашей комнате — очаровательна. наблюдать за тобой издали, голым и завёрнутым в одеяло, просто невозможно: подбегаю и в зеркале, в которое ты смотрелась до этого, обнаруживаю смуглого, сзади обнимающего тебя парня, который крупнее тебя, но не грубее, тоже не без изяществ рук и ног. но самое ужасное, что внизу у этого напавшего на тебя аборигена — из волосащихся куцх воздетый вертикально скипетр, хорошо что еще хоть в капюшоне («как в капюшоне он смешон» — но хоть не ярко яростен, как без него). от этого страшного вида мы ретируемся к твоей кровати, на которой я кутался в одеяло, и здесь скипетру ты оказываешь успокоительную устную помощь, погружаешь в тёплое заботливое убежище рта, вследствие чего он очень быстро вбрасывает тебе знакомые капли терпкого хлористого вкуса. ты почему-то всегда их задумчиво пробуешь.

а ходила полуголенькой ты потому, что решила в день последнего прощального ужина с шашлыками — кстати, именно там, в бору, — нарядиться в костюм местного характера. стала белорусочкой или прибалтийкой. как ты сама рассказала, когда вы с семьёй ездили в Палангу, тебя там местные принимали за свою, даже обращались на своём языке. повязала голубую косынку, надела не только платье, но и передник плюс светлые матерчатые туфельки — и мы пошли перед тем, как всем вместе двинуться к бору — куда-то в твои любимые места. это неожиданный поворот за следующим после Бронеслава с женой, дома Владика-матроса и его жены Нины, который пьёт беспробудно и иногда заходит попросить хлеба (нет ни сил, ни денег ехать за покупками). пришли к высокой одинокой сосне, больше напоминающей кедр из-за раскидистых, длинных ветвей. сели под ней, и ты, положила мою голову себе на колени. сидим молча, глядим вокруг. как далеко мы забрели, забрались от Тебя, Столица. уже успели соскучиться, не просто, а почти физически — судя по снам, которые только там. лежать головой на коленях своей девушки, глядеть в лесную даль — вот счастье моего второго с нею лета. и висают эти полчаса или сорок минут, проведённые вместе под этой сказочной сосной на фоне дальнейшего всеобщего веселья — на обратном пути, я понял, что мы засуетились в своих непрерывно взаимопознающих, вмешивающихся в друг друга, проникающих ласках (стали механичны?). ты просто захотела почувствовать меня рядом в своей природе, в своём уголке, оделась для этого нарядно, моя сельская обворожительница, я теперь в любой одежде тобой не налюбуюсь.

а дальше — шум, гам, водка, шашлыки и тосты Виталька, который уже уел меня, что, мол, не знаю мук творчества, и вынудил читать наивные, как он тут же заключил, болезненные стихи:

они выйдут из жизни, наполнены ею
 приёмышы счастья, Она и Он
 забудут будущее, простят прошлое,
 соединятся руками, вода и огонь.
 пламя погаснет, вода согреется,
 суровое время поверит их клятвам,
 время помилует их и, улыбнувшись,
 покажет украдкой свою бесконечность.

да, стихи эти были выдуманы в ванной, специально для тебя, единственной, ещё не встреченной, как пароль. но вот приходится читать на потребу, выдавать тайну. затем неутомимый Виталёк требует художественной дуэли с тобой, увидев твой незаконченный этюд озера: ты должна его тут же завершить, что за ребячество, рисовать надо быстро, а он немедленно рисует свою трактовку этого вида.

ну, твоя реалистическая картинка уже давно мне нравилась, и отцу с матерью, даже Полине она больше по душе оказалась. Виталёк нарисовал, хотя ещё светло — ночь. сказочную лесную гущу, в которой просвечивает луна и у берега стоит русалка. густой синий, чёрный и немного белого — вот всё, что понадобилось, в заключение нацарапал по орголиту белых штрихов — и готово. папик твой переметнулся в поклонники родного Виталька. но все остались на том, что твоя точнее и правильнее, а его — просто фантазия, мало относящаяся к месту. аргументы «я так вижу» развеселили даже самого Виталька, который тут же вернулся к своим тостам и вскомандовал доедать шашлыки. потом он потерялся по дороге домой, и его женщина Светлана ходила весь вечер по окрестностям, восклицая тревожно: «Виталёок!», «Виталёок!». вскоре он обнаружился дома у Владыки-матроса, допивающим с ним поллитру из железных кружек. своим ходом не шёл, донесли мы с Жэкой до снимаемой у дальних соседей комнаты.

посоветовавшийся в это время с соседом твой папик решил, что, поскольку поезд всё равно днём, можно утром успеть повернуть одно дело, пока много рабочих рук: снять шифер с коровника, что пустует у дороги, справа по пути сюда. поделить решили поровну, про запас. нас, хмельно уснувших, местные волонтеры — уже приноровившие для этого дела, для перевозки трактор с прицепом — разбудили в полшестого. при раннем, неуверенном солнце, пока моя девочка сладко и трепетно так спит там в бревенчатой избушке, идём «на дело».

дело-то нехитрое. один местный бесколхозный крестьянин выдёргивает гвозди — а мы по конвейеру с Жэкой и папиком передаём. мне достался самый трудный участок — сама крыша, откуда надо подтащить лист и его так низко опустить, чтобы был принят, не расколот. потом уже научились: сбрасывать ли-

стья на высокую траву. но стали некоторые биться, так что вернулись к первоначальной методике. покрытая под шифером рубероидом обрешётка крыши кое-где промокала и гнила. и вот тут-то мне, занявшемуся хищением (не откажешься от такого пустячка в адрес гостеприимных родителей) когда-то социалистической собственности, была заготовлена ямка. едва не провалился: только руки спасли, гибкость и равновесие, а одна нога ушла глубоко, внизу послышался плюх приземления обломка гнилой обрешётки. когда закончили хищение, оставили ещё полкрыши по договорённости другим страждущим — спустился вниз поглядеть, что мне судьба готовила. может, сенца подстелила на месте предполагавшегося падения?

как ни смешно, какой-то клочок сена там, среди заземлявшегося, отвердевшего навоза, валялся, но явно не достаточный для амортизации при падении с такой высоты. что-нибудь точно бы сломал в зависимости от приземления. как раз к завтраку и закончили: Бронька в последний рейс вернулся не на тракторе, а на телеге, с помощью которой возил себе сено, когда над твоим огородом, ближе к лесу, мы помогали ему делать стога (ловкий, однорукий со времён войны, Бронеслав весело отлил со свежесобранного стога; как только управляется с хозяйством? — перемолвились мы с Жэкой). привёз нам, труженикам, Бронеслав свежих толстых огурцов и поллитру местную, белорусского производства с зелёной «андроповской» этикеткой. как ни смешно это тут, сейчас — «Московская». Владик-матрос своим хриплым голосом что-то невнятно рассказывал под залив «утренней». я после третьей отказался и побежал по утреннему лесу к тебе.

было это без тебя, только что — а вернувшись, застаю тебя той же самой, сонной, мягонькой, милой моей. расщекотал и разбудил твои глазки утреннеудивлённые, уже радостные.

— Неужели вы всё уже сделали? Никто не видел, не спрашивал?

— Да, успели, нет, никто не спрашивал. Всё спёрли, привезли, и хотим завтракать.

— Ой, а мамУшка пошла со всеми прощаться уже. Я сейчас приготовлю, милый, подожди. Или помоги мне — воды принеси сразу. Ты хмельной?

— Есть такое дело, отказываться нельзя было, единственная пища и награда за кражу.

— А мне даже нравится, мужественный такой дух... Ладно, иди за водой, чтобы я тебя вкусенько накормила.

с коромыслом, выдолбленным в половине какого-то ствола, с деревянными же крючками на верёвочках — ухожу по воду. она тут будто железистая, осадок в вёдрах ржавого цвета. утренний покой Ладеева незыблем, только петухи неблизко подают голоса. прохожу всё нехитрое пространственное окружение — полуогороженное низкими жердями-сидениями наше остывшее костровище, дорога сухая и нежно-пыльная, обволакивающая мелкой белизной ноги мои в тапках. так каждое утро начинаю, уже не замечая, тут. почему-то всякий раз приближение к воде, к месту, где набираю воду, вызывает желание избавиться-

ся от своей воды, выструить. и, прижимаясь к кустам, чтобы не видели из ближайших на склоне окон из бордового дома — струю ниже источника. струю из частого посетителя твоего, обласканного, мягкого, ухоженного. потом низко опускаю ведро за ведром и подцепляю деревянными веточками-крючками. главное — по пути не расплескать, шагать нужно по линеечке, мягко, обходя лужи. о, это сказочное Ладеево, похитившее меня и тебя из Столицы — оно по-настоящему завораживает!.. своими далями, утрами, нашими страстными слияниями в ночи, в бане, на траве в сосновом бору, на пленэре. обязательно с тобой искупаемся перед отъездом, моя девочка. прощаемся с женственностью этих мест, с озером. тут дорога раздваивается: когда-то она не проходила прямо под вашими яблонями, но теперь нижняя часть совсем размыта, поэтому, если едут — то тарахтят прямо под этими маленькими деревенскими окнами твоей комнатки — гостиной. уже пахнет яичницей в разделяющем комнату родителей и кухню с гостиной, коридоре, где аккуратно приземляю ведра на лавку.

но сегодня — уезжать нам. запланировали помимо более долгого визита опять к моим, поездку в Крым, благо один из моих дядь зовёт с собой: «Место насиженное». твои родители не против. остаётся собрать всех отъезжающих здесь, в родительской избе, договориться, когда сбор окончательный — и бежать купаться. Полина с Жэкой сами пришли с вещами, им гулять неохота, будут тут сидеть, курить. а мы побежали на озеро. там ещё надо будет заглянуть к Ирине Антоновне и Владимиру Алексеевичу, что в ближайшем доме у озера.

бежим к средней купальне, что между дальним сосновым бором и отправным байдарочным причалом. скидываем немногие одежды и нагие идём к чёрной гладкой воде. тыходишь первой, отражаясь в чёрной зеркальной глади своей желанной мне телесной белизной, почти светящейся на фоне озера. всё ближе к воде самое чувствительное твоё место, отражающееся внизу до мельчайших подробностей — вплоть до хорошо видного с моего расстояния от тебя розового язычка, венчающего ближе ко мне, сзади твои нижние уста в небольшом мохнатом окружении. но вот и они окунулись в воду: ты, оттолкнувшись ногами, поплыла любимым брассом. я — за тобой. норовлю догнать и сверху поймать твою скользкую, напряжённую талию. ты отбиваешься ногами. но как только мои руки стиснули тебя, то сам начал погружение — чему ты с радостью способствовала. отплыв порядочно, примерно туда же, где проходили на байдарке, полежав на спинах, поглядев в небо и проговорив друг за другом «до свидания» — возвращаемся. прощание с прохладным, но по привыканию нежным озером состоялось.

на берег выбираемся так же, как входили — я первый. пугливо ступают ноги по земле с веточками, камнями и прочими колкостями после этой мягкой воды. глядящий назад, я замедленный и внимательный — чтобы не пропустить ни мига из твоих русалочьих стройных движений, когда будешь вышагивать из воды. вслед за довольным улыбчивым твоим лицом вот показались подобравшиеся, побордовевшие на звоночках грудки, за ними пупок и уменьшившаяся, потемневшая, спадающая вниз «мохнатка», выпускающая на видимость блед-

ные нижние губки. это некая параллель, которая хочет двигаться в ходьбе и в танце — параллельно поверхности, по которой идёт, на которой живёт моя Тан, параллельно земле. а я по этой линии хочу перпендикуляром вкапываться в неё, как в тебя, лежащую на земле или стоящую в Столице на незнакомом этаже. и желанная ты, словно сама земля, как влечение моё смертное — впускающая, мягкая, влажная.

вышагиваешь из сказочной воды, моя русалочка, моя ведьмочка, выжимающая в неё свои тёмные, от чёрной воды озера ещё более загустевшие волосы. а я всё пчусь к поляне, до которой дошёл в первый раз от соснового бора голышом. да и теперь я такой же. и ты нагая. а я — наглый наблюдатель, любованник твой неусыпный. а ты всё идёшь ко мне с освежённой, радующейся всем листочкам вокруг улыбкой. моя чистая девочка, вскормленная этой природой, напоённая, облаканная ладеевской железистой водой.

выходишь от купальни и лавочки, на которой остались одежды: останавливаешься, глядишь вокруг, вверх — на фоне уже краснаягодной, созревшей рябины — и, сама того не видя, словно бы отвечаешь ей цветом своих звоночков-сосочков на уменьшившихся от прохладной воды грудках. они более тёмного, но всё же близкого к рябиновому, цвета. выбрасываешь вперёд и ещё раз выжимаешь свои ведьмины карие волосы — в солнечном, идущем со стороны озера сквозь листву, свете твои волосы русо золотятся. моя красавица ладеевская, здешняя. считал тебя только дочерью Столицы, своею суженой для любования и движения в Ней, среди повествований стен, асфальта и крыш, а вот ты откуда родом, поэтому так нежно всё тебя здесь окружает, оттеняет, шевелится листочками, ласкает солнцем. я не мешал бы этому твоему лирическому, очаровательному прощанию с родной природой, если бы не вектор, снизу от схождения моих ног указующий ввысь. как утаить свою мужскую впечатлительность снова? не спрячешь же его между ног. зелено, просветлённо после купания глядишь на меня, одариваешь почти тем же внимательным и наивным, любующимся взглядом — что и поляну, деревья — только этот агент внизу сбивает тебя с настроення. понимаешь, что сама виновата своей соблазнительностью, поэтому садишься на траву, прячешь грудки. но согнутые твои изящные ноги и теперь очевиднее виднеющееся меж ними таинство заставляют меня и вовсе, словно кота или пса на солнце, в пыли дорожной — кататься рядом с тобой по траве, упокаивать страсть, закатывать, валять свой столбовой вектор в траву (чтоб его там муравьи покусали, приструнили, точнее, наоборот, ослабили, сократили)...

всё же не удерживаюсь и, понимая, что ты сейчас только с природой общаешься — целую твои колени, твой спрятанный за ними животик и грею, приложив к ним ладони издали, милые, ещё влажные после воды, породневшие уже мне грудки. но — тихо отводишь мои ласки, целуешь для понимания, почему так — в лоб и за плечо обнимаешь, как товарища. да, понимаю, не время тут разлёживаться, ласкаться — чтобы успеть к сбору, нужно спешить прощаться с Владимиром Алексеевичем и его разговорчивой, гостеприимной брюнеткой женой.

ты давняя их любимица, этой необычной, почти комичной пары — маленького изящного седого дедка с небесными мечтательными глазами и полной, огненной, с глазами-угольями гиперактивной женщины. в одном они сходятся теперь, на закате, совместной и вообще, жизни — на нетрадиционных, восточных и всяких прочих медицинах.

устное прощание поколений на участке, под внимательным и немного ревнивым взглядом внучки, переходит в пахнущий дачно, подмосковно деревом дом, в чаепитие на скорую руку. как и прежде, разговор наполняют вдохновенные, с пророческой и восторженной подачей, монологи Владимира Алексеевича, бывшего физика, авиаконструктора, научного светила — нынешнего мистика, йога, миловидно и ненавязчиво рерихнувшегося на природе. в маленькой, украшенной детской живописью светловолосой внучки, комнатке-кухне возникают то Гималаи, горы Рериха, то аэродинамическая труба и какие-то паранормальные открытия ещё времён научной работы просветлённого авиаконструктора. там же за чаепитием, когда он выходит по настоянию жены «к курицам», дорисовывается и система очищения организма посредством питья промасленной воды — три литра в день. клянётся, что увидев всё, что при таком лечении выйдет на свет, любой убедится в правильности методики. сама она сохранила всё это в баночке, чтобы убеждать деревенских очиститься от накопленных за жизнь внутренних скверн. мы с тобой незаметно, едва сдерживая «хи-хи», переглядываемся на тему «пора». на память схватываю хвою у берега озера, куда вернулись, чтобы попасть на обратную дорогу.

последний подъём на серединные ладеевские холмы, взгляд назад к озеру, отсюда огромному и сказочному — и вперёд, к дому. там все уже — на вещах. присели на дорогу. вещи — в машины, проверка, всё ли захватили, и вперёд в составе двух легковушек. в последний момент мамУшка с Полиной решили поменяться местами и сестричке остаться погостить, а Жэка, как только решит все вопросы бизнеса дома, сразу к ней прилетит, машина же пока тут погостит — благо Полина водить любит.

уже другой, расправившийся, не провинциальный, райцентр Себеж провозжает окнами большего количества белых, серых, розовых домов, рассмотренных во время промежуточного визита. на вокзале не ждём, не топчемся (кроме короткого стояния в очереди внутри типового вокзала годов пятидесятих, при избыточном наличии билетов), а сразу садимся в вагон, помахав оставшимся папику и Полине. ты с собою и Маруська своего взяла, так что дорога будет беспокойной и весёлой.

в обратном направлении станции только и мелькают, едем куда быстрее, чем я сюда. Опочка, где семья той учительницы, уже позади. скоро Великие Луки. как говорит твоя мамУшка:

— Доедем до Великих Лук, а потом уже и спать пора.

и доехали уже в шесть вечера, отправившись из Себежа в три. здесь на параллельных путях — характерные, белые с синими боками, сидячие вагоны Ленинградского направления, можно пересесть и приехать в бывшую, северную

столицу: но, моя Столица, ты ждёшь, точнее, я жду. и хождения по пешеходным мостам в Великих Луках, откуда видимость краснокаменного города велика — усиливает желание приблизиться к Тебе, быть в Тебе.

имея два часа на прогулку — уходим с тобой и твоей мамУшкой, забредаем через переезд, что позади вокзала, в новые районы города. Великие Луки (по крайней мере, левую по пути в Москву часть) в качестве дворовых населяют племена кошек исключительно сиамских пород или уже полукровок, с белёсыми подпалинами, но всё теми же голубыми глазами Сиам. твой любимец Маруся весело нюхом исследует новые места, поглядывая на нас чёрными задорными глазёнками.

а мы втроём, слово за слово разговорились, шагая, глядя вокруг: на новые краснокирпичные коммерческие ларьки и тут же рядом, вдоль дороги, из такого же кирпича небольшие особнячки при участках, отгороженных всё теми же кирпичными стенами. от этого созерцания легко берётся раздражение, которое я раз за разом и высказываю всё веселей и язвительней. но мамУшка твоя явно не согласна, так как и сама мелким бизнесом, оказывается, занимается. вот вам и художническая семья-среда. а куда податься? научный институт-то как полумёртвый её, где работала двадцать лет, зарплата меньше пенсии. какие подробности выяснились. Зря разворошил тему...

— А что, Антон, раньше-то мы могли? По магазинам бегать за дефицитом? Ты же не был тогда достаточно взрослым, чтобы понять, как всё доставали. А сейчас — хорошо, что всё есть, и пусть строят особнячки, если заработали.

— Да я не так уж плохо помню и то прежнее время, и переходное, визитная карточка покупателя у меня осталась...

— Ну, видишь? Не умели управлять страной, вот и полетели в девяносто первом. Партия... Реки вспять поворачивать они хотели, а чтоб люди жили нормально — не могли.

ты, неожиданно бодро, выступаешь на стороне мамУшки, моя мечтательница и тихая созерцательница, киваешь, и глаза всё ярче и заинтересованнее. раз за разом подбрасываешь с вашей стороны хворосту. открывая дверь очередного магазина, обклеенная рекламой (вероятно, её докладывают в ящики, оптовикам) сникерс, «Колгейт», женский «Жиллетт» на светло-зелёном фоне изящный изгиб ноги в процессе заботливого её выбривания хозяйкой-брюнеткой, и на розовом весёлая благополучная свинка Дося, побряцывающая в себе сэкономленными монетами — вам в тональность, подтверждают несостоятельность моей «за прошлое» позиции. ассортимент. а ты, моя девочка, не без демократического гонору, вот ведь...

— Ну, Антон, ты прямо какой-то из прошлого... Ну, чего там хорошего ты видел? Не веришь, что реки хотели поворачивать вспять — так вот у нас в Ладеево хотя бы маму послушай. Там раньше были песчаные берега, белый песок, вода прозрачная.

— Да. А там решили форель разводить, напустили мальков, изменили микрофлору, среду обитания — и вот результат: ни форели, вся она, конечно, сдохла, ни песка белого, чёрная теперь трясина.

но и этот разговор, перемежаемый заходами в магазины (нужно к чаю в поезде что-нибудь купить), растворяется, размывается в медленных впечатлениях видимости, в нашем плавающем по несильному полутордскому зною созерцании.

и вот уже сидим, отдыхаем, на обратном пути к близвокзальной улице Гагарина: сидим на лавочке у пятиэтажки и ловим щедро скидываемые нам с балкона девушкой сливы. у них много этих сине-бордовых слив, сочных и сладких — тут тоже участки, огороды, причем близко отсюда. за балконом, дома музыка. девушка — просто вышла из компании, которая внутри помещения. Маруська, отпущенный, пока мы сидим, с поводка, радостно бежит по ближайшим кустам и, вынюхивая там, деловито пыхтя, пугает сиамских красавиц-кошек.

но и на поезд пора, хотя признаки вечера ещё не добавились в небо. долго стоим и глядим назад на город и на какую-то продовольственную базу с ящиками стеклотары — влево идёт улица Гагарина, начало нашего пути, тут пройденного за два часа. магазины и ларьки делают город. прохлада помещений, запахи степенного провинциального, немного библиотечного и аптечного дерева внутри — прелюдия Тебя, предварение. да, у тех домов, когда мы забежали в магазины, изголодавшиеся взглядами по прилавкам — они звали Тобой. звали цивилизацией, эти радушные сталинские, провинциальные домики. но здесь уже ощущается (там, в Ладеево, незаметная, небывалая) и усталость вечера — это дома, их множество, и множество людей, тут жизнью.

загрузив недовольного и беспокойного Маруську, уезжаем из «Великих Лук», как мамУшка их называет постоянно. уезжаем в вечер и в смеркание, засыпание, попутное приближению к Тебе — невидимому и неумолимому. не поцелуешься при мамУшке твоей в плацкартном вагоне, только шепнули обычное на сон грядущий. ты моя аккуратная девочка, пассажирка. выглядываешь детски, мне улыбаясь, открываясь лицом из-под свеженького пододеяльника.

мы вернулись к Тебе, Столица. стоим у моего балконного окна (которое в первый визит ко мне поразило тебя лирическим откровением), как вошли — ты в городском своём белом сарафане, я в майке и серых, из джинсов обрезанных, шортах. стоим, медленно вдумчиво лаская друг друга, вдыхая ветер из двора, а ветер ласкает нас обоих. что ты говоришь нам ветром, Столица? донеси до нас снизу каждый листок, всё, что Твоё тут было без нас. запах тот же, Твой. кажется, что над ним время не во власти — возможно, таким же позднелетним вдохом полнились лёгкие моего прадеда, там, на Арбате, на Композиторской. а бабушка моя дышит этим воздухом весь двадцатый век — с небольшим убавлением в начале и тут, в конце.

и так же, как век назад, возможно, пахнет в нашем дворе сейчас, после дождя, которым Ты нас, прибывших, вымыла — и там, у твоего парка Баумана, на Новобасманной. мы в Тебе, Столица, и дома, сходящиеся в конце двора, за крышами низких, старейших, снова манят нас с ветром запахами своими неизвестными — теми заМаяковскими, заПресненскими лестничными местами, чер-

даками и крышами, подворотнями, простенками, дворами, переулками, где мы ещё не были. в этом промежутке меж двумя отсутствиями в Тебе мы снова Твои, идём в Тебя, вот только переночуем, вдоволь вновь впав в наше перемежаемое посторонними, чужеватыми разговорами, любованием.

не прерывая поцелуя, влажной моей ласки твоих век, губ, ноздрюшек — думаю: в этом запахе Столицы уже добавился зов, Её властный зов лиственной, стенной и асфальтной влажности. зов того, следующего, времени, когда Она нас заберёт и снова подчинит полностью своим сезонным, температурным и пространственным законам — надуваемый августовским ветром запах осени. когда уже не отпустит как сейчас к морю.

зато наутро вместе из снова жаркого помещения, из окружения Садовым кольцом вырываемся в солнечный день и идём напрямик в Твой центр — чтобы через Красную площадь или там рядом где-нибудь перебежать через Тебя-реку в Замоскворечье.

углубляемся: не рискуя заблудиться в переулках между Ордынкой и Пятницкой, в Татарских улицах, набредая то на рыбный завод и раритетные грузовые троллейбусы, то на магазинчик «Ад Маргинем» и серый дом напротив-наискось, зовущий нас привычно уже посудными звуками, жареными обеденными запахами, античной тематики лепниной то ли внутри, на стене кухни, то ли снаружи, выше бульварной решётки ограды... но из лабиринта переулков мы выбираемся почему-то точно к угловому дому Серпуховки с бывшим колбасным магазином — точнее, его вывеской. Кольцо пересекаем под землёй и наугад идём к Щипку — к дому Тарковского, который я обнаружил в одиночку, бродя там, начитавшись в больнице воспоминаний о нём сестры его Марины... с твоим фотоаппаратом идём — заснять бревенчатый дом. среди Щипковских переулков отыскиваем, по загогулине доходим до хмурого опустошённого дома за розовой панельной девятиэтажкой.

я нашёл его без тебя тут, когда ты уехала. начитавшись в инфекционной больнице Тарковского и о Тарковском, продолжая затем это всё (воспоминания сестры его Марины) читать и в Ладеево, мы теперь подготовленные зрители. и вот он перед нами — потемневший бревенчатый домик. девять окон с лицевой на улицу стороны. второй этаж бревенчатый, первый — розовый кирпичный, с отсыпавшейся побелкой. вход сбоку, уцелели остатки крыльца. стоят у дома беленькая «Ока» и красная «Таврия», на пустой, тихой, безлюдной улице...

переглядываемся: весенний ликбез у меня дома по видеофильмам эстетику Тарковского вполне в нас вдохнул — и здесь, на месте, где он жил, мы её замечаем незамедлительно. и словно досказаны родным домом Тарковского хождения среди комнат, заросших травой в «Ностальгии», в старых опустевших, обваливающих помещениях «Зеркала» — сорняковая стихия природы, обживающая некогда людское упорядоченное пространство, безжизненное, прежде жилое. кажется опасной, ни на что не опирающейся старая лестница на второй этаж.

всё здесь на просвет, а номер над дверным проёмом на втором этаже — тоже номер не случайный, девятнадцатый, как у тебя. и наискось, углом падает

тень на дальней стене. останки, скорлупа дома — словно декорация из неснятого, недожитого фильма, уроженца этих стен. и остатки замка в дверном косяке встречаются в перспективе ободранной выровненной изнутри, плоской (под обои и клетчатую опалубку для штукатурки) бревенчатостью, пустыми наружу окнами, заводской панельной стеной снаружи коричневой. налево — обрубки стен, делавших, выстраивавших внутренние траектории движений семьи Тарковских, Андрея и младшей, Марины. там была и стена, в которую упиралась одна из комнат, возможно потом заменённая панельной розовой стеной новой... отсюда они и ходили «на Серпуховку», как в «Зеркале» говорит Терехова-мать Тарковского, у них была своя Серпуховка...

ты, лёгкая моя Тан, тоже, рискуя, избегаешь ко мне наверх со своим фотоаппаратом-мыльницей — даёшь мне, и я делаю им несколько снимков в стиле, точнее, самого стиля Тарковского...

уровень земли, первого этажа встречает наши ноги продолжением пути — идём к Павелецкой незнакомыми переулками, словно влекомые, втягиваемые вакуумом пространства детства Тарковского, пространства без него. бродим, условившись, как бы в не снятом ещё одном автобиографическом фильме Тарковского тут, иногда по кругу, натыкаемся то на Российский хлебный банк, то на старую табличку загадочного углового «Мосэнергоспецремонт. цех спецработ». не знаем ни точек притяжения, ни координат тут, но, завидев Садовое кольцо в районе нашей традиционной семейной посадки на «Б» и 10-й по дороге с Серпуховки, я вспоминаю и рассказываю тебе один сон, ибо он происходил именно здесь, что понял я только сейчас, приземлил его.

сон начинается зимой на той стороне Садового кольца — покупкой пива «Тверского тёмного» в одном из внутристенных коммерческих магазинов. со мной друг, вроде бы Лёша Кравцов. но затем мы — на этой, внешней стороне Кольца. и АлексИс уже не так заметен, а я через некоторое углубление оказываюсь во дворе медицинского училища. это понимаю путём наблюдения в окнах первого этажа лекции — обращённых студенческих лиц к невидимой кафедре и таблицам, в которые упирается указка невидимой руки. вечер? помещение хорошо освещено. отчего-то усиливается страх — может, мне здесь нельзя находиться, у меня нет пропуска в медицинское училище? но вдруг, по некоторым движениям за углом аудитории нежелательных для меня свидетелей, сторожей или охраны, я утверждаюсь в своём страхе — это не простое училище, тут что-то серьёзнее и опаснее. уже меняя, чуть ли не взлетая, но наблюдая еще более внутренний двор училища, понимаю-ужасаюсь: это же морт! кричу, торопясь предупредить моего спутника... а на снегу двумя полосочками-бороздами почему-то кровавые углублённые следы, главная улика — видимо, от ног перетаскиваемых для изучения студентами трупов...

похоже, этим сном я тебя не порадовал, расстроил и встревожил. но выдуваемые летними листовыми ветерками старого незнакомого района зимние страхи, и уже без них мы — оказываемся, пройдя прямо по зелёному Щипку в Жуковом проезде, у некой базы со старыми буквами названия: «станция Москва-Товарная Павелецкой Московской железной дороги».

здесь по неожиданному мосту мы переходим на другую сторону через железнодорожные пути, над спальными вагонами и торфяными дымками, манящими ветрами странствий. о чём тебе и сообщаю — тут наклеивается одна возможность бегства на юга. да, уходя из Тарковского района, мы видели, расхаживали и разглядывали с тобой тут подошву Столицы — за Павелецкой, среди заводов, кожевнических улочек, что вытянули нас с той стороны Тебя-реки весной...

после бесконечных лет и снов о море без моря — к морю, в Крым. с дядей. всё на нас с тобой валится подарками, на нашу пару — в знак радости родни. дядя Шура вот позвал в Кастрополь — это между Ялтой и Севастополем.

Курский вокзал высок и электричен, на сон грядущий отправляемся, чтобы ночью же прибыть. наш с тобой старый знакомый по стенам Маросейки и Каланчёвской Артур Перкс с его строительно-декоративной фирмой (на Маросейке — Конторой, эволюция названия и шрифта) — встретил и тут нас на жёлто освещённом выходе из бесконечных перепутанных подземных переходов — чёрными современными буквами на бело-сером фоне на этот раз, телефон его фирмы (№ 2589) тут выщерблен — видимо, тогда, когда была просрочена оплата за рекламу. отпускает нас Столица этим буквенным мановеньем...

вещей немного, провожающих у дяди Шуры — сыновья, один из них крупный торговец цветами — массивный, утомлённый, постоянно отвлекающийся на сотовые звонки. мы без провожающих.

если — поехали. выглянули справа вечерние, таинственные под мостами с трамвайными путями арки, в которых я бродил, тебя разыскивая, приближаясь к Басманным краям от Яузы, через улицу Радио... вечеряющий монастырь, лиственные переливы и заборы гаражные... но ты не в окно глядишь, устраиваешься и достаёшь ужин, хозяйюшка. хмурый серый новёхонький завод «Старый мельник» просветился вывеской и нахальными флагами вслед пустым индустриальным развалинам, ангарам и газонам у пятиэтажек. от этого кино в окно в новом ощущении пути даже хочется отвлечься, чтобы обнаружить себя вместе — и едущими, едущими к морю, где не был с пионерских времён. нелепая пёстрая газета «Мегаполис-экспресс», купленная в дорогу дядей Шурой, жёлтосине развернулась, заглясь в крайнем, что у туалета отсеке нашего плацкарта. вот ты, моя девочка, и едешь со мной на юг. сказала несколько раз, что не ожидала этого. в газете статья с фотографиями шестидесятых, некими бородатыми мордами — какой-то величайший, дворянского происхождения бомж, алконавт, за много лет многодетный, бродивший по арбатским пустующим трущобам, умер, его знали художник Зверев и поэт Губанов, Романов фамилия бомжа, точнее, первая её половина. жёлтая статейка про хитрых изменчивых женщин, устраивающих в себе «войну сперм». как это далеко от нас, не про нас эта выдуманная шокировать обывателя пошлость мегаполиса, уезжаем. к полисам на однофамильном море моём. увидеть, лизнуть в рывках заплыва морскую водичку!

дядя ложится спать, отведав чаю с копчёной колбасой нашей и пряником, а мы — уже на моей второй, самой невидимой для проходящих полке и, в оран-

жевом сверху свете, сплетаемся долгожданно и немного устало, тем крепче. лежим — глядим зелёными и карими в окно так долго. пока мелькание за окном последних Твоих проспектов и спальных кварталов не переходит в волнистый и пенящийся, силуэтный бег зелени. так здорово обнимать тебя сзади, глядящую туда, тик-такающую зелёными глазами. обнимать сзади, поймав драгоценные груДки, целуя шею под волосами. просто глядеть, как ты глядишь. но сон берёт своё и глазки твои тихо смыкаются, а наши объятия уступают место переселению твоему вниз. хорошо, что полка напротив меня не занята, без свидетелей.

копчёная колбаса с минеральной водой, на сон потреблённая, дала вредный эффект: всю ночь жгло и тяжелило печень. утренний горячий чай и дыдина но-шпа помогли, но тяжесть осталась. завтрак с классической дыдиной курочкой из фольги и помидорами лишь ненадолго забирает нас из взаимного общения. опять, после освежения мятного зубочистного, мы вместе на моей полке. дядя читает жёлтый и голубой «Мегаполис». мой весёлый дядя Шура, постоянно добавляющий к восклицаниям залихватски «ёлка с палкой» — волейболист, моей бабушки ученик, обо всём этом тебе рассказываю на ушко, тесно и нежно прижимая, медленно выласкивая из тебя ответные поцелуи, взгляды нежные. такие глаза меня словно плавают, этот твой взор будто водно омывает. даже страшно, как-то неудобно понимать, что в этот момент ты любишь меня, как обычно я тобой, довольна всем этим моментом. засыпаешь, моя слабенькая пассажирочка нагруженная завтраком, в моих объятиях. оно и к лучшему, буду держать тебя крепко и глядеть на утренние просёлки, на новые ландшафты, холмистые, просторные. на сосновые леса густые. везти тебя на юга...

и сам, оказывается, заснул. здесь становится жарче. так было приятно спать и дышать твоими волосами: почти уже домашний, родной запах с примесью пути. ничего внятного не снилось, но хорошо слышались встречные поезда, постукивания в вагоне, вздохи тормозов.

в силу частой засыпаемости твоей, вечер пришёл незаметно и скоро, а обед, несколько раз деликатно откладывавшийся дядей из-за твоего сна, состоялся после семи. поезд забирает исчисление времени, как и дальнейшая поездка: по привычке, чтобы не терять и не мочить в воде, не взял часы с собой, приходится на дядины военные часы глядеть. пока ты спала у меня наверху, мы с ним и в карты перекинулись, и весь несчастный «Мегаполис» я успел просмотреть. за окном уже хаты и пирамидальные тополя. на остановках — на подносах раки, которых, по совету дяди, покупать нельзя. да и не собирались. после того, как ты выглянула сверху сонным, возвращающимся в момент ребёнком, начался обед-ужин с чаем и остатками колбасы, мною теперь обойдённой. а вот помидоры мои и дядины — деликатес. просто ими хрустеть вместе с огурцами — вот лучший обед. впрочем, и вьетнамской лапши, кое-как поломанной и засыпанной в поездные стаканы, отведать надо вместе с тобой, подкрепиться: ведь предстоит дорога и вне поезда, причём ночью.

и засыпать не полагается (хоть ты и прикорнула) — чтобы увидеть справа, и не верить сначала, полосу моря с военными кораблями в освещённой за-

гадочно, заставно темноте расширяющейся бухты. какие-то корабли, катера ржавые лежат, громоздко завалясь на брюхо, не ходовые. но вот он, уже набегает, значит, Севастополь. бухта с домами высоко над кораблями. дядя радостно и небрежно забрасывает недоедки в свой старомодный, с угловой железной окантовочкой, чемодан. ведь едем-то к его фронтовому другу, он чувствует свободу и омоложение с прибытием, каждый год сюда ездит. а ты, моя путешественница, сонная, но тоже в окно смотрящая, удивляющаяся, заспанно очаровательная. вот, кажется, привёз тебя к морю.

поезд с недоспавшими горячими гражданами прибыл. налево от поезда движемся, ощущая уже не Твои запахи, и ночную прохладу немосковскую, морскую, тёплотуманную. говорят, где-то здесь, увидев на вокзальных деревьях лампочки, обычные украшения того и нынешнего времени, горец тридцатых годов, не бывавший в крупных городах, но наслышанный об опытах Мичурина, воскликнул «Вах, маладец, Мичурин!». это анекдот, которым вас веселю, пока тащим вещи через вокзальный дворец, щедрый дядя, отец двоих новых русских, берёт левой вогнутого привокзального полукруга дороги первого попавшегося шофёра и, с его властным «до Кастрополя», мы грузим в багажник чемоданы, твою сумку и наши рюкзаки. дядя довольно поглядывает на нас, молодых, и весело торопит — настало время его экскурсий.

едем в ночи, ярко на нас глядит только дорога, освещённая близко фарами. за городскими тенями-кварталами начались развязки и вдали сутулые и сказочные — горы, Крым. хоть и в темноте, но сулят они нам за собою — море, желанное море. уж более десяти лет не виданное.

но пока — лишь сиренево-голубоватые холмы. дядя затевает разговор с хохластым шофёром, тот гостеприимно «га»-кает, и сообщает новости местных дорог, опасается быть остановленным и намекает приготовить деньги, тут лютые гаишники, дерут со всех приезжающих-отдыхающих.

вразвалочку везущий нас полнорукий и лысеватый шофёр рассказывает и о катастрофах последнего времени, как с гор летели. дядя Шура, подмигивая нам назад, уже обнявшимся и вдыхающим ночной горный бриз, говорит шофёру, что если довезёт нас до семи утра, то добавит. едем действительно быстро, Кастрополь не так близко — он между Ялтой и Севастополем, даже к Ялте ближе. наши объятия — как на заднем сидении машины твоего папика, почти детские. сжались и глядим на едва выделяющиеся лесистые горы слева. так едем через ночь, уже впереди в небесах просвечивающую, поворачивающую к утру. заморосило что-то. странный посетил страх: как бы под эти рассказы шофёра об автокатастрофах на «серпантине», нам со скользкой дороги в таком счастливом составе самим не полететь. обнял тебя крепче. поцеловала и глянула долго в ответ. рада прибытию сюда, рада грядущему морю?

и вдруг на повороте влево, открывшаяся впереди, где медленно расступались и открыли широкое пространство, глубина сиренево-розового неба показала безбрежной вдаль — той, что может быть только над морем. море? ты это и спросила тихо, глядя туда же. да, наверно, оно, только вниз его не видно, но су-

дя по окончании здесь гор и склонам, невидимым в нижнем предутреннем тумане, это оно.

огибая склон за склоном в проглядывающем утреннем свете, медленно привыкаем к ландшафту: слева сине-зелёные горы, справа от дороги населенные пункты, дачи и курорты. дядя подсказал, где проехали Форос, но видно было только забор и черепичные крыши. утро впустило даже солнечную полосу на самые вершины гор слева. ты улыбаешься: да, моя девочка, вот в Крыму едем, подъезжаем. сворачиваем по указанию дяди и, змеистой, часто поворачивающей ритмично влево-вправо, дорогой спускаемся, мелькнуло зелено-голубовато море. неужели оно? да, отсюда, с большой высоты — море. Чёрное, моё. единственное, как и Ты, виданное, принимавшее давно. и прячется уже за деревьями, неверное.

да, ниже шофёр не решается ехать, там уже территория бывшего санатория ВЦСПС. выгружаем вещи и бегом за весёлым, помолодевшим дядей, будто и не было бессонной для него ночи. по многочисленным лесенкам, по асфальтовым дорожкам спешим к его другу-фронтовику. не ко сроку, пробегаем тёплые запахи начала курортного дня — задворками столовой, пахнущими всевозможными отходами, мимо ажурно окружённых каменистыми бордюрами сосен и неизвестных тропических деревьев оббегаем. забавно: на территории этого санатория среди деревьев, меж дорожек, стоят себе целые деревенские домики, с курами, сараями.

проходим за длинным и высоким корпусом с открытой в узком боку дверью. дядя говорит, что уже пришли. дом друга вот уже — за корпусом. дом похож на городской, двухэтажный. огибаем его и сразу по железной лестнице взбегаем к двери.

тут сразу же лай, и долгие с повторами восклицания дяди «да бох ты мой!». оказывается, друг его, смуглый и жилистый мужчина, как раз выходил в коридор и тут заметил движение у двери. его овчарка даже позже отреагировала, но пса пришлось изолировать, он чужих не любит. пока дружеские объятия и разговоры идут, мы с тобой стоим и осматриваемся. за домом, где мы оказались — хозяйство. пасутся куры, и вторая собака лает с привязи, у будки рядом с домиком. это, возможно, обещанный дядей. весёлый, дядя вдруг выходит с другом, Георгием, окончательно нас знакомит и ведёт в домик.

тебе явно не нравится это место за курятником, с ароматами скотного двора и постоянно лающей собакой рядом. в домике всё как в пионерлагере, шесть пружинных кроватей в ряд — видимо, для особого наплыва отдыхающих. на стене спортивные награды хозяина. он, как и дядя, спортсмен. решаем по твоему настоянию (тут в тебе мамУшкина требовательность просыпается, рай не в шалаше) тут же передоговориться — чтобы в дом. дядя явно не настроен на наши проблемы, но ведёт к другу на кухню, где тот соображает выпить за встречу. договариваемся на комнату в доме — он гостеприимно предлагает все, что нужно, даже проводит по дому, заглядываем в хмурую гостиную с телевизором, окна которой и глядят туда, откуда мы шли и сами смотрели на дом. следующая — комната его дочерей. её и решено освободить путем переезда девочек в пус-

тующую гостиную. тут две кровати, широко и просторно, лишь две книжные полочки, маникюрный столик с зеркалом да утварь-побрякушки девочек. одной одиннадцать, другой тринадцать, от разных жён, как поясняет смуглый и хмурый Георгий. сейчас его жена, мать младшей — ждёт в больнице операции на сердце. дядя, пока мы идём в кухню, нам шепчет, что деньги отдать нужно сразу, раз такое дело, на что я просто сую ему стодолларовку, он прибавляет к своей и, пока друг извлекает из большого холодильника закуску, резко суёт ему в задний карман костюмных одомашненных штанов.

туманный, весёлый, потому что с дядей, но спросонный завтрак — плавленый сыр «Хохланд» дольками ещё из поезда, чай. пробудившиеся нехотя дочки присоединяются и племянница, взрослая полноватая блондинка. но мы уже не здесь. закончив завтрак и опрокинув кагора вместе с хозяином и дядей — бежим в комнату по команде дяди Шуры: надо же пойти поздороваться с морем. там, в комнате, бросив вещи и пощекотывая поспешную нашу наготу, на которую нет времени ласк, одеваем плавки-купальники. дядя в это время переодевается в оставшемся ему одному домике. и, быстрее нас, он уже на крыльце, под сливой. сливы свисают жёлтые, зрелые. схватив из багажа, наконец, полотенца — бежим. дядя требует именно бега. спортзакалка, никуда не денешься.

бежим неспамшие, утро как сон. дядя задорно подгоняет: «Ну-ка, ну-ка, ёлка с палкой!». кто ёлка, кто палка? — спрашиваем. «Но об этом потом!» — парирует дядя любимой фразой. минуем лицевую часть огромного корпуса, и, по дорожкам от него, мимо экзотической растительности спешим к уже вблизи видимому морю. дышит нам в лицо, зовёт солёно-йодистый запах.

между двумя волнорезами оно, под пасмурным пока небом. вбегаю первым, пока ты скидываешь лёгкую юбку. ощущение бассейновое, вода не кажется тёплой. но — соль, твоя, море, соль! так неожиданно это вполне предполагавшееся впечатление, что даже сообщаю тебе, отплыв и перевернувшись на спину:

А вода-то солёная!

— А тёплая?

— Нормальная.

уплывший вдаль кролем дядя добавляет, что вода очень даже тёплая, просто мы ещё не чувствуем этого. ты тоже вошла, шагаешь осторожно по гальке, на пальчиках, изящные ножки — нерешительная при первом соприкосновении с водой, улыбающаяся пугливо, извиняясь словно. но вот уже плывёшь хорошим, сильным брассом надводным ко мне и дальше даже. моя пловчиха девочка. а я уже обратно. ощущение бассейновое. это ещё и потому что без сна — так же ездил, очень рано просыпаясь, в бассейн «Пионер» на Ленинском проспекте зимой. такой же вода казалась с утра, с недосыпу — холодноватой, неприятной, но расслабляющей.

выходим и возвращаемся уже другими людьми, в других отношениях с суши — медленные, запыхавшиеся, благодарные. дядя срочно ведёт нас в какой-то подвал, прямо от бетонной набережной отходящий. в нём ржавые механизмы са-натория, насос и баллоны аквалангистов. с ними, дядя настаивает, мы обязатель-

но должны понырять. в подвале тонкий, рыбный запах разложения — кто-то оставил пакет с неизвлечёнными из своих плоских убежищ мидиями. дядя выбрасывает пакет наружу, добавляя к сосновому, хвойному эту вонь. возвращаемся.

была мысль уснуть, но, обнявшись, чуть повалявшись вместе, так и не задремав в уже рассветшем, ярком дне, решаем осмотреть окрестности. воздух над морем ещё влажен, как-то душноват и тёпл. после асфальтовых дорожек, переходя с одной на другую, встречая загорелых, привычно медлительных отдыхающих, выбредаем на зелёные склоны и лезем, лезем вверх, выбираясь неизвестно куда, натываясь на маленькие палаточные лагеря, в одном рядом с костровищем — авиационная ржавая бомба глядит в небо. наконец, плутая в плохо пахнущих удобрениями «дикарей» кустах, на дорогу вышли. она ведёт вдаль от санатория, левее если смотреть с побережья вверх, на горы. внизу большие камни и, как нам показалось, кое-где нудисты. тут и вышка пограничников, зелёные железные ящички. то-то служивым обзору на пляж. в море вдали дежурит пограничный серый украинский катер с лысой пулемётной башней на носу, раскрашенный с бортов под американский Coast guard, только вместо чёрно-красных американских две наклонные полосы жовто-блакитные.

наше с тобой утро, вдали от Столицы. такое неожиданное, разворачивающееся всё новыми подробностями: забрели в тисовую аллею. и солнце так мягко светит, что решаю тебя сфотографировать твоим автоматом, разумно захваченным в эту внезапную вылазку. всё дальше отхожу, чтобы видна была аллея вся, обе стороны. прошу тебя отойти в луч света, шаг назад. ты в лёгком светлом в цветочек сарафане. такой и сфотографировал. белая девочка в тисовой аллее. или это пирамидальные тополя? оба не знаем.

дальше приближаемся к скале с крестом наверху, тут и лестница, ведущая вниз, к тем камням, на которых видели нудистов. забираемся к скале змеистой тропинкой.

наверху ты садишься и глядишь в море, как Ассоль. не могу, чуть отступив и сфотографировав тебя секретно, не отвести волнующие ветром волосы, чтобы поцеловать шею. да, встретиться тут, моя мечта. над морем. обнять тебя сзади, целовать друг друга не долго, почему-то грустновато. и снова ты глядишь вниз, в обрыв к морю под скалой. и говоришь о самоубийстве. хотя там есть площадки, сразу в воду не упадёшь.

но не так уж пустынно это место. едва мы отвлеклись от величественного моря с этой высоты видимого, как мелькнул загорелый резвый молодой человек в светло-голубой джинсовой рубашке с модной набедренной сумкой, забирающийся со своей подругой в купальнике и длинной юбке сюда же. мы стали спускаться, продолжая путь от санатория, а залезший и обзревший высоту парниша не преминул рыгнуть — видимо, запыхался. и девушку этим вовсе не смутил.

мы хохотнули удаляясь. там впереди ограда и виднеется белое недостроенное здание очередного курорта, заброшенное. оставшиеся участки — красный кирпич, без облицовки.

отсюда уже решили вернуться, время обеда, дядя обещал отвести в столовую.

дорога назад кажется долгой. но на этот раз мы не плутаем в палаточных лагерях и загаженных кустарниках. идём, солнце в спину, в обнимку, тихие, привыкающие, созерцающие зелёные возвышения, цветы и бабочек, привлекающих твоё радостное внимание.

столовое питание для неофициальных отдыхающих устроено забавно: поднимаемся на второй этаж и ждём, не входя в зал. если прийти с опозданием, то как раз поспеваем. стоимость обеда стабильно два червонца, которые нужно сунуть в руку дежурной у выхода. сегодня солянка, говяжье азу с пюре, тёртая морковь со сметаной и компот из сухофруктов. дядя говорит, что Георгий кормит своих свиней отходами столовой, сытно кормит. скала с деревянным крестом, которую мы видели и с которой ты глядела в море, называется Ифигения, как и Кастрополь — название греческое. а по той невзрачной белокаменной лесенке, которую мы переступили по пути наверх — ходил Пушкин, лестница-то древняя. вот, Столица, и знакомый персонаж, тоже сюда от Тебя сбегавший.

пляжный день начинаем с поиска нового места для купания — там, прямо напротив санатория, слишком людно. идём левее, по жарящей нещадно, сильнее чем солнце, отражённым теплом — бетонной набережной. плиты, сдерживающие склон плюс плиты внизу. да накиданные среди природных камней пирамидки-волнорезы. длинные перпендикулярные бетонной набережной волнорезы ритмично сопровождают нас. между двумя отдалёнными мы и находим своё место.

наперегонки раздеваемся, но решаем после первого заплыва окунаться поочерёдно, по возможности надолго не оставляя фотоаппарат, вещи, по твоему настоянию.

как нежно и плавно, подхватив под живот, забираешь ты, море, невидимой волной..! лишь несколько сильных движений, лягушачьих оттолкновений брассом — и мы за волнорезами, почти у буйка. плывём рядом синхронно, моя столичная находка. а ты здорово плаваешь, как и в дожде не боишься лазать. говорю это, побулькивая — смеёшься. вот и красный буй. держимся. ты плывёшь дальше, а я ложусь на спину. чтобы брассом же, но на спине вернуться, сторожить вещицы.

свой стиль разработал — брасс на спине. голова погружается с ушами ниже ватерлинии, и наступает равновесие, только следить надо, чтобы вода в уши не проникла. жаримся на мелких камешках недолго — хочется ещё и ещё гулять. находим здешний подъём, тоже в бетонной окантовке, и поднимаемся к другой базе отдыха, со старыми длинными деревянными домиками, марлевыми занавесками вместо стекол, быт возвращает к городским законам... фотографирую тебя на извилистой вверх дороге, где борта её выложены камнем. кажется, что каждый этот миг нужно фиксировать. твои ноги, выглядывающие из-под сарафанных шорт, одетых после обеда, — очень соблазнительны и уже загорелы, после нескольких часов на пляже. похоже, тут уже вечерние тени. набредаем на шлагбаум и ресторан, пахнущий шашлыком окрест. но от цивилизации этой уходим известной дорогой, назад на набережную, чтобы не плутать, ещё не зная местности. здесь уже не жарко, солнце приблизилось к горам.

дядя Шура загулял вечером, а мы вернулись, так как хозяин велел ужинать у него. но и его нет. решаем сами приготовить чай. девочки составили компанию, разглядывая нас, задавая вопросы о Тебе, сопоставляя нас, прикидывая парность.

но мы уже торопимся в комнату, в ночь. не зря захваченное тобой красное ведёрко служит приготовлению к нашей ночи, необходимым после пути. видеть их издали трудно — я участвую в ритуале, умывании всего мной желанного твоего в электрическом чужом освещении. ты, хоть и нехотя, но допускаешь мои ухаживающие прикосновения, даже поцелуй там рядом. и то же самое делаешь с моим молодцом в ответ, тщательно, заботливо, нежно. смыли с себя попутное и морское, но телами пахнем солоно, пляжно.

это ощутимо на вкус, мы свиваемся на моей половине, на кровати справа от окна. моя солёная девочка, ты даже торопишься погрузить в себя и целуешь жарко, нагретая перводневным солнцем и пляжем. долгая, долгая, кажется бесконечная моя направленная работа в тебе, не без помощи пальцев внизу вызывающая из тебя такую музыку, что, ничего не поделаешь, слышна и девочкам, пока не вернулись отец и дядя. наконец, наш взрыв, почти одновременный, мой отстающий, догоняющий твой зов:

— Тонушкаа!

— Тан!..

и почему-то смех, от переполнения этой страстной погоней, растущий во мне и смущающий тебя вынужденными близкими грудными колебаниями. неуправляемый смех. счастья?

эта тёплая наша ночь... в незнакомой комнате, над болотистыми запахами водостоков на задворках бывшего пансионата ВЦСПС. так далеко о Тебя, по-другому. и окна, и дом снаружи. но мы с нею. с моею Тан, в тебе бывшей Тайной. теперь моей, раз за разом — углубляюсь словно и в Тебя, и с Тобою дальше в ночь. бездна над нами и под нами. не говорим ни слова, ощущая перетекающие в нас ощущения друг друга.

а за окном уже что-то близится внешнее — песни возвращающегося дяди. даже хочется вскочить и глянуть. голенькие, разнявшись из взаимной влажной неги в темноте, подбегаем: в свете фонаря у стены дядю ведут под руки Георгий и ещё один мужчина с обеих сторон, а он поёт песню про друзей: «Если я заболею...». смеёмся и прыгаем в новую постельку, твою, что слева, прохладнее она. и снова, снова сливаемся — я в тебя, губы в губы, в объятья наши сильные, взаимозящные, и ты перед новым гостеприимством, направлением, ловишь-играешь ниже моими уже не раз иссякавшими в тебя мешочками.

эти дни не считаны. но всё отчего-то — при солнце, загаре, изучении округи — грустнее. даже белки, днём прыгающие перед домом по соснам и нахально визжащие — то ли дерущиеся, то ли женящиеся, — не веселят тебя. и на дискотеке вечером, в открытом павильоне на набережной — всё не то. потому ли, что я, сноб, не танцую с тобой, а тебе хочется? обижаешься, глядишь на звёзды, тут они видны во всю ширь небосклона.

и ночи, не менее страстные, становятся грустнее с исходом. но после внезапных слёз ты снова зовёшь и выпускаешь меня, требуешь, чтобы делал так часто, регулярно, чтобы говорил при этом свои слова, что ты моя, что я твой мужчина.

и всё дробится потом, все дни. утром собаки и дочка Георгия, повторное, постоянно ласковое море, утягивающее к себе волнами, экс-авиационные какие-то сооружения на подобие огромного флюгера за пляжной линией при взгляде назад. ночной небосвод, музыка и звёзды. а желанными и мгновенными (вместе с тем — долгими, безбрежными) становятся лишь наши отношения, при грусти не менее нежные, в комнате, полувидимые и больше звуковые в ночах или взаимолубованные при дневном свете.

когда я, лаская тебя в момент сидячих с развёрнутыми бёдрами умываний твоих желанных нижностей над ведёрком, не выдерживаю и добавляю меж нижних губ после пальцев своего молодца. как обычно, по пути он сбрасывает капюшон, а когда, после нескольких минут медленных вхождений, выходит разбагровевшийся от не до конца утолнённого стремления, то из его прищуренного глазка выглядывает прозрачно-белёсая, но не похожая на финальную скользость. ты напугана, но убеждаю, что вовсе не то и не в том объёме. пробуешь на вкус, успокаиваешься. тем не менее настороженно говоришь:

— Ну, смотри... Да, это действительно не тот, тот другой, более белковый, животрепещущий.

— Разве не хлористый?

— Нет, тебе самому этого не понять. Он живенький такой, словно дрожжевой, забродивший на белке, такой концентрированный — дрожжи, из которых вырастает жизнь.

или когда ты очередным утром, просто поглядев на лежащего без всего на твоей постели, загорелого на простынях, просыпающегося — берёшь меня за то самое место, которое покорно сразу в твоих пальцах достигает воздетого положения, и, упираясь одной рукой в маникюрный столик младшей дочки хозяина, другой спешно направляешь молодца в себя сзади. сладко в мышцах с утра так приблизиться, прижаться, прирасти к тебе и двигаться плавно, ускоряясь, как древние здесь греки высаживавшиеся, разжигая огонь наслаждения. но длишь это недолго: только чтобы ощутить присутствие, выгоняешь, отделяешься затем, оставляя свою на мне нежную скользь и поторапливая — мы ведь едем с дядей в Ялту. нужно как-то упрятать этого непокорного воина в короткие пёстрые шорты. ух, услужила. несу его в лёгкой, вделанной в плавки, удерживающей сеточке — неумеренного, колеблющегося в полный рост согласно с прыжками по ступеням, ещё твоего: торопясь наверх по санаторию, по лестницам к остановке автобуса.

путь полчасовой в автобусе с малым количеством сидячих мест, мерседесовом... Ялта встречает сперва краснокирпичными замками на холмах, затем в горной лесистой высоте блестит Учан-Су, седые усы — татарское название водопада. дядя экскурсоводит. высаживает нас быстро у Ливадии, фотографирует на историческом (или нет?) балкончике слева, только что взбежавших к этому замку.

и в углу, под лестницей, где скопилась тёмная влага, у недействующего фонтана фотографирую уже я тебя — с красными цветами внизу, в твоих очаровательных сарафаношортах бело-сереньких, цветочных. теперь — в саму Ялту.

она встречает старую домовую, но не Твоей, маленькой, сплетённой мизерно, изгибисто, холмисто. нас высадили где-то на задворках, и мы спускаемся по лестнице над рынком. на обратном пути решаем здесь купить дыню, персишков, слив. но лучше всего пахнут травы. идём к набережной.

площадь у начала её пустовата. солдат-афганец, подключивший гитару и микрофон в колонку, играет с сильной реверберацией подряд все известные песни Розенбаума.

набережная, упирающаяся в дома с ресторанами, гостиницами, возвращает нас в уже чуть позабытую рекламно-товарную цивилизацию. а пляж пестрит купающимися, вот уж где не будем втискиваться. на подводных крыльях лихачат ракеты, на водных мопедах резвятся дети элиты.

вот и до Чехова, до его памятника дошли. грустный, туберкулёзный, с сочтёнными днями, он заглядывает в вечность моря. а мы идём дальше, в парк. обнаруживаем карту Крыма, сделанную в виде бассейна голубой плиткой. словно мы заглядываем сверху и ищем там себя маленьких.

времени тут гулять — много. и надо будет ещё гривен выменять на свои рубли. залезаем попутно во дворы домов, что вдоль центрального бульвара идут. тут даже на газонах другая растительность, но бельё сушат как везде. и везет мне здесь почему-то Тобою, далёкой покинутой столичностью. не пора ли возвращаться?

но мы всё гуляем и направляемся вверх, к автовокзалу, вдаль от моря — там твоя родственница живёт в пятиэтажке. зайти не решаемся, зато она выходит, улыбается, расспрашивает. не мешаю вашему разговору — рву и сладко, брызгая соком, ем сливы с дерева у подъезда, попадают и незрелые, вязкие.

с машиной дядиногo ялтинского знакомого, которая должна была нас забрать, вышел казус: в назначенное время мы поднялись по лестнице на жилую возвышенность над рынком и долго-долго ждали. но легковушки нет как нет. успел обойти по замысловатому треугольнику точку Ялты, в которой так надолго мы оказались, оставив тебя на месте встречи. горки тут неизменные, и баки мусорные как у Тебя, не без этого, только они тут тёмно-серые. дома здесь — и вроде деревенских, и особнякового вида, за заборами, с тонкими к ним коридорами меж оград... а внизу кишит рынок. ты всё стоишь на нашем местечке, где проходит муравьиная тропа, — моя задумчивая, моя летняя в чужом городе. но дольше сорока минут ждать не остались — спустились по лестнице и влево вдоль бульвара к автовокзалу угуляли.

наш автобус поедет только в шесть часов. времени достаточно, чтобы ещё погулять. идём мимо банка, у двери стоит меняла с напоясным кошельком, тут-то и обогащаемся: меняю пятьсот, вкусно и тщательно отсчитывает, будто отслюнявливая мне гривны.

затем у типового кубического кинотеатра одиноко отведать пива с твоего благословения решаюсь, разливного. становится легче и веселей. но нам бы

надо найти закусочную-перекусочную, голодные уже. плутаем вверх и влево, к какой-то церкви. сверху опять вид на море через участки и домики: водные мотоциклы юлят, элитно бороздят прибрежный цвет морской волны. снова ты грустновата, но лирична. обнаруженная церковь отчего-то тебя радует, долго её обходишь и разглядываешь, будто попала домой. сидим на лавочке подле. и, насидевшись в сосновом укрытии от солнца, идём незнакомыми изгибающимися улочками вниз, в сторону площади перед набережной.

пельменная. в ней очень вкусно и, как выяснилось, дёшево перекусить салатом, пельмешами с томатным и для тебя вишнёвым соком. мало нужно для восстановления хорошего настроения.

успокоившиеся, повеселевшие, возвращаемся и направляемся сильно заранее к автовокзалу — больше и смотреть не знаем чего. а — на рынок же надо. сворачиваем и наугад движемся к лестнице, с которой спустились в город.

рынок найден не сразу — прятался. небольшой, но благоухающий здешней особой зеленью рыночек. решаем купить себе дыню, но и арбуз — чтобы угостить хозяина и дочек. и персиков тебе, моя фруктоедка. и слив, пополам по килограмму жёлтых и обычных. и всё это в нашем красном ведёрке, тобою прихваченном, несём, а я — дыню и арбуз, сам как весы шествую.

ожидая автобуса, успеваем обойти здание вокзала, обнаружить за ним стремительную горную реку и домик на отшибе, в котором тоже кто-то отдыхает. а рядом в кустах отдыхают бомжи. чьи-то ботинки сохнут на солнце, над обрывом в воды горной реки, от верхнего над Ялтой водопада Учан-Су, видимо, происходящей.

обратный путь — в тесном автобусе, день на исходе, возвращаются окрестные, местные, торговавшие, покупавшие. и, прижавшись к углу сзади автобуса, мы видим в заднее окно, как Ялта забирает свои древние, извилистые подробности, дома-старожилы, редкие вывески, Учан-Су, куда мы так и не поднялись. дядя вернулся сам и раньше нас, его друг подбросил — второй, его ведший с Георгием после подпития.

арбуз казним на террасе хозяина — достаётся всем, но мало. а дядя тут же приносит свои трофеи из Ялты — красное игристое шампанское. только здесь такое бывает, говорит. вино, сразу же делающее пьяным, на короткое время. ты тоже попробовала, а я даже дважды. и пошли на набережную, в вечер.

тебе нравится купаться в темноте. можно раздеться и лежать на мелкой гальке, руками на берегу, ногами в море, ловить покачивания, щекотку и ласку волн своими чувствительными нижностями. я слежу, чтобы проходящих не было. для этого и зашли туда, где кончается бетон набережной. тебя не видно в темноте, но некоторые прохожие, шумящие отдалённо галькой, всё же обращают внимание. смеёшься. потом, намочив ноги в сандалиях, принимаю тебя в полотенце, прячу, вытираю, даю сарафан — и идём обратно по набережной, мимо открытого бара «Катран», со стойкой прямо, но без стен. катран — это такая разновидность акулы, местной, морской. ни ты, ни я не знали, дядя просветил. решаем на этот раз заглянуть.

заказать шашлыку и салату, твоей любимой картошки фри и вина. но ты насчёт вина сомневаешься. а я выбираю пино-гри массандровское, незнакомое, крепкое, сто пятьдесят грамм. тебе же, за компанию — тоже Массандры кагор, церковное, тобой любимое вино, по опасливому твоему настоянию — пятьдесят граммчиков плюс колы.

сидим как мажорные отдыхающие и немного этим смущены. ближайшие к набережной камни подсвечены цветными фонарями. но что-то пино-гри или воздух морской с ним в сочетании начисто лишают меня равновесия. говорим всякую ерунду, немного раздражаясь от соседства с весёлыми семьями, парами. закусив и посидев в вечерней близости моря, мы собираемся идти, а вот ног-то под собой и не чувствую. приходится тебе, моя девочка, волочить пьяницу, со ста пятидесяти грамм крепкого вина захмелевшего так, как от водки не хмелел. смеёмся, но движемся странной процессией, избегая встречных, у самого бетонного откоса. понятно, почему дядю волочили. та же история. виноград тут такой или морской воздух добивает.

но ты всё более отдалена. и наша очередная ночь не удаётся — я слишком быстро сегодня приближаюсь к кульминации в нашей страстной взаимной скользкой щекотке, всё время прерываю погоню за общим, сбиваюсь. ты требуешь участия большим пальцем в себе тогда, пока разгорячённый молодец рядом стынет, успокаивается. работа сложная, аппетитная. но не получается вместе, никак. я снова, едва принят твоею тёплой влажностью — почти у финиша. спешу туда языком, тревожу нижние губки и верхний с нижним язычки — но ты явно тревожна, чужда, отдаляешься и вдруг, отведя мои объятья, перебегаешь на вторую, правую, мою кровать. и плачешь... долго, брошенно. подхожу, пытаюсь утешить, приласкаться, пью твои слёзки как раньше. ты плачешь открыто, необиженно — не говоря и глядя мне в лицо с отчаянным вызовом.

это близилось. было всё время, росло. но из-за моей неудачи, нерасторопности — так вдруг? в глазах явно выплаканно, светится — я не твой, я не ОН, я не муж. не тот, о котором ты говорила «когда придёт мой муж». я другой. но почему?

— Милый мой, нежный — но ведь ты сам чувствуешь, между нами ничего нет, кроме ласк! И когда ласки не удаются — мы чужие сразу. Прости, я так не могу уже, не могу, милый. Не могу быть любовАнницей.

— А женой могла бы стать? Моей.

— О чём ты говоришь, если мы даже сейчас общего языка не находим. Нет, всё, давай лучше спать. Прости меня. Прости, пожалуйста.

ночи и дни Кастрополя, нашей последней крепости ласк, укрывшей Тан и Тона от разрушающего всё ветров времени. неумолимо сдувающих нас в разлучное будущее. и непогода настала одновременно с разладом. нет, мы уже не ссоримся и не говорим, иногда даже утешая друг друга товарищески, родительски, а потом лежим на кроватках своих отдельных, читаем: ты — Булгакова, я — Мольера. дождливые дни, высоченные мутные волны, в которых смелые отдыхающие резвятся — всё поблекло, смешалось, слегло. только ходим вместе, покупаем разовые пакетики «Пантина», фрукты, купаемся, когда разгуляются по-

годы и откроется простор Кастрополя. но вечерами, у дискотеки, словно с небом совещаясь, глядя туда, ища поддержки, ты только повторяешь:

— Да, вот и всё.

никак не могу с этим бороться. пусть и веселит нас окружающее: в который раз играет — бухает ремикс «а зачем нам кузнец?» или ноудаубтовая «дон-спик, айноу джаст вот ю сейкин, соу плиз гад эксплейкин, дон телми козитхётс», а пьяная отдыхающая, поругавшаяся с подругой в соседнем с дискотекой кафе, где дают пересолённые манты, повторяет как в ремиксе: «Это я иногородняя?! Это я иногородняя?!»

садимся у воды на мелкой гальке. молчим, подлизывается пенисто море. и уходим в ночь, в дом уже без ласк. что случилось, Столица? это, верно, из-за того, что мы вне Тебя, уже не Твоя поэма мы. всё рушится без поддержки Твоих стен, Твоих улиц — в этом городе-крепости под скалой-башней Ифигенией с крестом наверху. всё наше нежное взаимное уносит в море, втягивает прекрасная и недоступная даль — словно в невесомость. разгерметизация...

но дядя этого ничего не видит, весёлый, спортивный жизнелюб, институтский воспитанник моей бабушки. настаивает на том, чтобы я утром с аквалангом попробовал нырнуть. достали хороший дыхательный аппарат, сам его проверяет на ближайшем пляже и — моя очередь. два жёлтых баллона на спину, пристегнуть к поясу, в рот трубку с мембраной, начало дыхания тут, и — вниз, с новой на себе тяжестью.

вот так, Столица, как я изменил Твоей видимости, улицам — погружаюсь и разглядываю в мутной серовато-голубой воде камни с красными наростами водорослей, вижу покрытые серым илом потерянные ласты, крабов. словно птица лечу, а внизу город рыб и крабов. они из-за недалёкой видимости спокойно стоят у своих домов, глядят, но если протянуть руку — сразу, словно ветром сдутые, исчезают под камнями. лечу, всё дальше. ближе к дну, выше, ещё выше — так что и дна не видно... какой-то чирк по спине. а, это дядя, нырнул ко мне. я, что ли, далеко уже от берега? ой, а всплыть-то сразу не получается, пересилить баллоны и направиться вверх! вроде на свет, вверх, всё светлее — а поверхности всё нет. долгая блестящая голубая вода никак не кончается.

вот наконец всплыл. дыхательную изо рта штуку — вон, свежим подышать. дядя с ластами догнал и требует далеко не плыть, а то он не достанет, не чиркнет меня по спине, чтобы поворачивать. резко, перпендикулярно к поверхности занырываю, научился. и уши надо продувать, как велел дядя: выдыхать так, чтобы барабанные перепонки выправить. три раза приходится продувать — закладывает. по дну ползу назад, ноги купальщиков минуя. мусора тут много, у берега.

а на берегу — ты, одинокая загорающая красавица. с аквалангом пробовать не будешь. фотографируешь нас с дядей, выводившихся акванавтов. дядя весел по-прежнему, не видит нашей перемены. днём ведёт нас из столовой в один из посреди санатория стоящих домиков, где живёт второй, его возивший из Ялты в Кастрополь друг, тоже фронтовик. друг, как он говорит, большой

патриот, читающий оппозиционную прессу, даже сейчас верный коммунист, аквалангист-инструктор, воевал в Севастополе. с ним, Георгием и дядей, тоже ныряя с аквалангом, здесь выпивал в той самой подвальной насосной комнате, где в этот сезон воняли мидии, актёр Юматов.

заходим в деревенский, низкопотолочный быт, знакомимся. ты смотришь на хозяина недоверчиво. дома не воспитали в любви к коммунистам, это известно, аполитичные папик и мамУшка.

зовут коммуниста Игорь Сергеевич. сухой, седой, румяно-загорелый, с внимательными прозрачными серыми глазами. ты ему понравилась, с тобой здороваясь, задержал твою руку. в сених пахнет дрожжами, а в комнате старым одеколоном «Шипр». или духами жены коммуниста, полной брюнетки, которая хлопочет за окнами у кур.

видно, что Игорь Сергеевич готовился к встрече столичных нас. на столе всё выставлено — просто и аппетитно: два кувшина, видимо, домашнего вина, светлого и бурого, которым он опоил дядю Шуру, квас в высоком графине, варёный картофель, свежие огурцы и помидоры, жареная рыба, нарезанная толстыми кусками, кефаль и кругляши лимона рядом — так полагается есть её, гордо комментирует хозяин. без преамбул — за стол.

из-за того, что дядя нам заранее рассказал о фронтовике-коммунисте, мы немного робеем и даём дяде Шуре начать разговор, но хозяин смотрит, отвечая, больше на нас. весело и испытующе. а мы — на стены. на одной, между окон, что во двор, где хлопочет жена, — портрет Сталина в фуражке со «Звездой» Героя Советского Союза, а над портретом, его оторочивающее сверху, накрывающее и спадающее ровными углами — узорное красным по белому полотенце. глядит на нас хозяин, будто полушутливо спрашивает: не выдадите? разговор однополчан сразу уходит в сторону прошлого, но медлит, задерживается в дядином монологе на Юматове, на ближайшем прошлом.

— Как он нас с тобой тогда?

— Чего это он нас?

— Ну, пока ты мембрану продувал после его погружения, он уже — в подвал и на грудь, и снова к нам, опять под воду. Закладывал сильно.

— Дядь Шур, а нырять на глубину с алкоголем в крови — не опасно?

— Это вот, специалиста спрашивайте.

— Всё опасно, ребят, — и нырять и пить. Давление усиливается на глубине. А ему хоть бы хны. Здоровый мужик тогда был. И ж знашь, небось, Шурк, ведь с ним какая история у вас в Москве вышла, с выстрелом?

— Да, что-то смутно помню. Кого это он?

— Да дворника. То ли чеченца, то ли татарина. Сидели у него в гараже, пили, в вашем там доме, Кремля напротив, на набережной который. Это после катастрофы зараз было, году в девяносто втором, что ли. А дворник, тоже сам воевал, возьми да брякни Юматову: «Эх, не за тех мы с тобой воевали, сейчас бы на „бээмвэ“ ездили». Вот артист наш и разрядил в него чего-то: «Я тебе покажу не за тех!». Двустволку, что ли. Но ранил не сильно. Всё равно судили. Вот наш мужик,

вот коммунист, извините, детки, за подробности. Да вы что сидите как в гостях? Хотя вы и есть в гостях. Ну, берите прямо сами — картоплю нашу, а кефаль вообще объединение. Они у тебя, Шурк, слишком телигентные. Давайте, что ль, я вам сам налью квасу. Это не из бутылок, этот на грибке. Жажду утоляет здорово, проверено, жена готовит, а вино я сам.

— Ты им лучше, Игорь, вспомни, как под огнём ходили с тобой в Севастополе.

— Да разве им это интересно сейчас? Там ведь страшно было, как вы теперь говорите, не по-детски.

— Да, фрицы наших на стропила купола там одного сгоревшего повесили, когда отступили, жуткое зрелище. И город весь горел, переходил то к нам, то к ним. То в море нас, то их обратно.

— Ваш дядя Шура туда ведь мальцом прибежал, на фронт, лет пятнадцать было или тринадцать даже. Помогал раненых носить, отчаянный парень был, там и познакомились. Я тоже был навроде сын полка. Только не полка, батареи артиллерийской. Мои ведь родители отсюда, кастропольские, тут в войну и погибли, и пошёл я на фронт малолеткой, мстить. Кстати, Кастрополь — означает крепость, город-крепость по-гречески, «кастро» — крепость, «поль» — город. В Севастополе и встретился лицом к лицу с ними, стрелял, гнал, ранен был. Вон колено глядите. Прямо под чашечку. Ничего, прихромался за полвека.

— А что ж тебя занесло-то полвека спустя в девяносто третьем к нам, чего мешал Ельцину демократию защищать, не пойму?

— Ну, старые песни. Если, ребят, вам не интересно, не слушайте, угощайтесь да промеж собой совещайтесь. У нас ж диалохи на весь вечер, с вашим демократом-то.

— Да, демократом! Да, я всегда за Ельцина голосовал, не скрываю. Но что тебя, чёрта, на баррикады-то понесло на старости лет, как жену-то не пожалел, рисковал же?

— Ой, то долгая история. Ты её знашь, да не понимаешь. А вот ребятам, если они уж слушают наши байки, можно рассказать всё сначала. Я ведь на фронте в комсомол вступил, по дороге в Берлин. И политрук, комиссар наш был потрясающий — образованный одессит. Еврей, конечно. И шипко всё знал. А как фашистов ненавидел — а как нас этому учил! В общем, он для меня как Христос был тогда, для пацана, для сироты. После каждого боя, везде где только можно было, он нам объяснял, что есть эта война. Что она не просто народная, за землю, что она война истинного социализма с якобы социализмом, с замаскировавшимся империализмом — о, слова-то тогда мне были ни пройти, ни проехать! — и растолковывал, в чем разница. Я ведь вообще в этой области понятия до войны не имел. Чуть школьного воздуха глотнул-то. А он из большевиков ленинского призыва был, такой маленький, живенький, глаза добрые и умные, будто отцовские для каждого. И хохмил постоянно, ох, он это умел! Но об этом потом, как ваш дядя говорит.

— Ты куда-то увёл не туда опять. Ты про девяносто третий давай, не тяни, а то жене пожалуюсь.

— А я к нему и веду, не торопи, не поймут ведь. Стал я на фронте комсомольцем и коммунистом почти в одночасье, когда заслужил — но о том отвлекаться не будем, орденами бряцать. И вернулся я с войны уже не просто, как все, героем, победителем, а коммунистом молодым, начинающим свой взлёт, страну свою узнающим. Стал в райкоме по рекомендации нашего политрука работать, колхозы здешние поднимали, виноградники, всё ведь повыжгло войной, работа адова была — а мы и клуб восстановили, и поэтов туда, и музыку возили. Люди прямо от лозы, с жары, усталые, все пропитанные соком придут — и симфоническую музыку слушают. Значит, помнит, уважает их труд страна, думали. Всё, как учил политрук — культура, говорил, первейший фактор построения социализма и перехода к коммунизму. Ой, а как он нам про коммунизм объяснял! Что товарищ Сталин нас до него доведёт — почти уверен был. Все дивились втихаря у нас в батарее — еврей, да Сталина так почитает. А он запросто рассказывал и про репрессированных, которых знал — настоящие враги, проверено. И было их значительно больше, так как партий дореволюционных следы долго путались в строительстве социалистическом, а агенты из бывших эсеров да анархистов получались отменные, просто за месть одну, за возможность готовы были любым врагам родины служить. Он их сам знал, спорил, из троцкизма пытался переубедить. Не всех смог, не так умён был тогда, в двадцатых.

— Ну, неужели вы считаете, что репрессии коснулись только настоящих врагов? Да и кто враги-то по-вашему? Может, они не всем враги были? Сколько невинных поубивали, поэтов, учёных, всех самостоятельно думающих!

— Вас Татьяна ведь звать? Это, Тань, сейчас кажется, что, как рисуют, тиран казнил невинных. Не так было в тридцатых, все чувствовали накал борьбы. Вот представь: жил мир в буржуйском согласии — везде были заводчики, банкиры, нобели, рокфеллеры, делали свою прибыль на труде миллионов. И тут вдруг согнали с одной шестой части суши этих банкиров. Самостоятельно думавши и согнали рабочие да крестьяне. Да к тому ж не истребили, а просто выселили. Так они и простили, думаешь? Нет, они, глядя, как социализм в СССР возводят, из-за границы, всё отдали бы, чтобы поджечь стропила, разрушить и снова нажить на покоренном народе, капитал свой снова воцарить. Это наука, девочка, марксизм-ленинизм называется. Ты слыхала хоть раз, чтобы арестовывали в советское время сами органы, без сигнала, без доноса, грубо говоря?

— Да, доносы все тогда писали. Все друг на друга, все боялись.

— Значит, повод для ареста был? И уж поверь, не каждого, по ком, может, и поклёп возвели, напраслину — не каждого-то под суд. Проверяли, тогдашние чекисты образованы были, не нынешние. Проверяли, и коль невинен, то отпускали, и возвращался он без каких-либо последствий туда, откуда взяли. Сам помню, и в наших краях арестовывали до войны. Если падёж скота большой — проверяли, не вредитель ли?

— Да так уж и всех невинных отпускали!

— Ты, дочка, мало про это знаешь. И, главное, не хочешь знать, какая цель стояла, какие силы тратились на ее достижение. А вам-то сейчас буржуазный

телевизор ваш показывает ужастики про наше время, лжёт, пугает — а вы и проверить-то не можете. Тут что с чем сопоставлять, дочк. Ведь если б не война, то коммунизм, то есть высочайший уровень достояния каждого, когда и деньги отменяются, и всякая излишняя собственность — коммунизм планировали построить к концу сороковых. Уж после войны, когда восстанавливали хозяйство — то перенес этот срок сталиной Иосиф на шестьдесят пятый год. Так вот смотри: даже без Сталина в шестьдесят пятом году уровень потребления на душу населения в СССР был выше, чем в США, — перегнали же! Вот только Хрущёв не те реформы начал в экономике, соединил колхозы с МТС, с тракторными станциями, что были государственными, потому содержались идеально. А колхозы запустили это дело, сам видел — знают, что новую технику пришлют, вот и бросают где попало, под дождь. Уже не своим стало всё, не как при Сталине — там колхозник каждое деревцо берёт, всё своим было. Но я из партии тогда не уходил, понял, что буду участвовать в строительстве нового общества, за которое и воевал под командованием Сталина и моего политрука.

— Вот вы всё «Сталин». А кто он для вас, почему ваше поколение так дорожит им?

— Это не мы им, это он нами дорожит — ведь мы оттуда, мы очевидцы. «Нас вырастил Сталин на верность народу» — так в первом гимне СССР пелось. И это мы социализм строили до и после войны, под его командованием мудрым.

— Хорошо, тогда объясните, чем этот социализм так отличен от нынешней экономики, ну, капитализма — ведь живём же и после СССР, не помираем, одеваемся красиво, всего прибавилось на прилавках, вон у вас даже на рынке у магазинчиков какой ассортимент?

— Ну, это вы, москвичи, расцвели. А вот в наших партийных газетах пишут, что каждый год в стране меньше нас всех становится почти на миллион. Это как трактовать бунт? Значит, не все цветут-то. И о ком вы слышите по телевизору постоянно — только о богатеях, об олигархах этих, которые из-под вас нефть, газ и прочие полезные ископаемые высасывают. И закон нынешний им в этом не препятствует. Нефть нашей земли продают — а деньги себе в карман кладут. Строят виллы, покупают самолёты, в разврате утопают, в бриллиантах. Вот тебе и отличия. Раньше бы, когда не было такой частной собственности, чтобы целые месторождения нефтяные лично кто-то распродал — тогда бы доходы пустили на благо страны, хоть как при Горбачеве-то было. Тоже ж нефтью торговали — но страну этим кормили. Да и дело ли это — на одну нефть жить, ведь не к этому вели страну-то коммунисты, пойми ты. Нам совсем другое будущее построить хотелось, когда БАМ, Уренгой — Помары — Ужгород строили, всё новые и новые заводы, космические корабли конструировали, или повышали урожай, как мы тут. Мир строили коммунистический, где техника заменит труд человека, а сам человек всё больше узнаёт, всё дольше живёт и устремляется, переселяется в космос на другие планеты. Кажется сейчас фантастикой. Да ту фантастику, правда, мне политрук в окопах излагал уже в сорок пятом, вполне научно и обоснованно — вот какое общество-то мы потеряли, а вы уж и подавно.

— Ну ты, Иг Сергеич, и сказочник. И умудрился опять не вспомнить про девяносто третий.

— Да там-то уж всё понятно. Я ведь свой партбилет не жёг, как большинство, не отступился. И в каких должностях я участвовал в построении нашей мечты, и чего достигали мы — вам говорить не буду, не обязательно, раз уж вам всё это, жизнь мою, в виде сказки рассказываю. Антон, ты вроде как захмелел, но не с вина, а с услышанного. Чего такой тихий? Вон, как твоя Татьяна спрашивай, а то я как тетерев на току получаюсь — пою и никого не слышу.

— Да так, интересно... Я потом спрошу. Просто интересно. Действительно — вы ведь в девяносто третьем явно больше понимали происходящее, чем мы, чего уж тут говорить. Так вам и слово. По крайней мере, человек с определённой позиции видит происходящее, Тан — так и интересно узнать, правда?

— Да... Хотя я и вспоминать-то не вспоминаю особо. Стреляли, горело. Я тогда маловата была для понимания.

— Ну, Горбачева вы помнить должны. Как он появился — так сразу народ зароптал: мол, меченый, не к добру. Ну а если серьёзно, то со своей демократизацией и гласностью он делал вовсе не то, что собирался на словах, — и так было много болезненных мест в прошлом, а он разбередил то, что Хрущев начал, и потом добил всю систему советскую изнутри, тупо, как раз сверху-то и навязывая самоорганизацию, на самом деле дезорганизацию. При плановой экономике — какая ж самоорганизация? Все централизовано, все учтено — и дисбаланс наступит, если перекосить всё на места, на периферию. Катастрофа получилась, одним словом. Да и партия была уже не та, что строила социализм, — безвольные старики-бюрократы, что говорить. Горбачев, дурило, ими помышлял как инвалидами, а они одобряли всё подряд. Я ж их всех местных-то знал хорошо. Заговорили про отделение Украины, Крыма, про самостоятельность ещё тогда с гласностью. А как Горбачев в Форос стал приезжать — его при нем построили, да как вон тут рядом дачу Рыжкову стали строить как целый санаторий — тогда мне стало ясно, что они говорят одно, а делают по-старому, свои привилегии берегут да множат. Уж после девяносто первого понял, что бой проигран, хоть и не участвовал в нём. А в девяносто третьем — собрался и поехал Верховный Совет защищать вместе со всей парторганизацией, самими низовыми нашими товарищами, с виноградарями, с трактористами, кто не перекарсился. Тогда уже КПСС не было, но коммунисты и патриоты вместе объединились там. Приехал, сразу на Октябрьскую площадь рванули, где митинг объявили, нам друзья-москвичи сообщили. Прорывались к Верховному Совету. Думали — прорвёмся и уже победим. Потом ночевали там, костры жгли, знакомились с коммунистами разных партий, с казаками. У Белого дома и в нём самом, в темноте был, на мокром паласе спал в каком-то кабинете, батарея там протекала. А утром, при штурме на меня белые осколки сыпались, мы под стеной стояли, нам оружия не досталось — хорошо жена не слышит, она это не любит слушать. Когда зажгли верхние этажи, все к нам вниз сбегались. Оттуда омоновцы многих на расстрел поволокли, на стадион, откуда

стрелял БТР, а меня и товарищей уцелевших отпустили, как стариков, пожалели солдаты. Пьяные были, красномордые, ногами отпинали только в сторону, а других волокли. Моих два товарища, оба трактористы, помоложе выглядели — там и остались на футбольном поле. Их там пытали, по рукам ездили машинами, нам потом всё рассказали местные, из окон видели ужас этот. Вот, Шурк, тебе и Ельцин твой.

— Тебе расскажут, а ты и веришь, как своему еврейскому политруку. Да если и было — при чём тут Ельцин, не его же приказы? Он страну от гражданской войны оберегал. И уберёт. А ты думай всё равно по-своему, тебе ж не запрещают, на то и демократия.

— Да что тут думать — я уже тогда понимал, что важен не Ельцин, а строй, который он возглавил, и задачи этого строя: социалистический порядок разрушить, капитализм установить. Собственность государственную, то есть общую, нашу с вами в том числе, все заводы, скважины нефтяные — по частным рукам раздать, элите своей, Чубайсам, Потаниным, Березовским. Вот и вся идея. И против этого как коммунист я и выступал. А что там Руцкой да Хасбулатов верховодили в девяносто третьем — так не это важно. Важно, что народ восстал тогда, была ещё энергия. А теперь обмякли. Проиграли в девяносто шестом и сдались.

— И чёрт бы с вами. Ребят, а вы ещё не добрались разве до дачи Рыжкова? За Ифигенией она...

— Что-то видели там. Но забор.

— Так, племян Антоний, это она и есть. Там можно пройти правее, по дороге, завтра поведу вас, если хотите. Или сами?

— Да мы с Антоном сами уж. Тем более что последний день, весь и прогуляем.

— Ну, пора, гости, мне вас отпускать, видать. Как-то вы бедно угощались — прямо обижаете. Вино пробовали, но малость. Ну, тут я не настаиваю, дело молодое. А рыба-то понравилась, Антон?

— Да. Хотя я вообще рыбу не люблю, но эта вкусная.

— Потому что свежая. Да супружница моя ибо шикарно готовит, жарит на медленном огне, но не пережаривает. А лимон добавлял, поливал?

— Прикусывал.

— И то ладно. А что я вас тут агитировал — не берите в голову, сами во всём разбирайтесь, я-то уже старый хрыч, сложившиеся взгляды, а вам жить в стране вашей этой, новой России, как говорится.

— Вот и пусть выбирают. И даже в какой стране жить — на то и демократия, свобода выбора, новое поколение. Знаешь, как мой внук любит говорить — «бифО, бифО!», я его так и зову иногда, он английские слова любит и игрушки, воюет, стреляет, сорванец. Это вот Антонова тётки, моего старшего сын. Учиться за границу, в Голландию поедет, средства, связи там есть, оттуда же цветы везёт сын. Важно, чтобы внук человеком стал большим и сильным, умом да прочим, прально я говорю, ребят? Вот то-то. Но об этом потом. Пойдём мы, Иг Сергеич, спасибо за угощение, не серчай за несогласие — пойдём. Ещё, может, искупаемся.

— Так ещё светло, успеете. А ночью у нас тоже хорошо, идите к скалам вправо, там никого, можете и нагишом, если хотите. Ну, желаю вам последний денёк отдохнуть красиво. Нам ведь тут только эта красота да хозяйство наше остались, вот закрепились с этой частной собственностью, как наши насадки сидим. Хошь, не хошь... Но не жалуемся. Ну, счастливо вам, ребятки. Будете ещё тут — заходите сразу, я вас запомнил, не у Георгия, так у нас всегда остановитесь, обживётесь, вам рады будем. Красивая вы пара ибо. Всего вам!

недолгий, уже знакомый и поэтому близкий путь к морю извилистыми асфальтовыми дорожками меж бордюров и высокой каменной кладки — и мы смешиваем во рту, заплывая к буйкам втроём брассом — ёдистую солёность и остатки сладко-синего винного вкуса. твой вкус, Кастрополь. город имени Кастро, Фиделя, ха! город-крепость. как эта тема, монолог коммуниста Иг Сергеевича, его речь убеждённая, настоящая в меня въелась! дом его, патриотизм этот, о котором дядя говорил отстранённо — втянули непонятным, но скромно-уверенным, праведным уютом. коммунист до сих пор, жизнь — открытая книга, история непокорства времени и обстоятельствам. даже отбила горечь нашего ночного разрыва, увлекла назад, к Тебе, в 1993-й, в октябрь, когда ничего я не понимал в тех холодных солнечных днях. портрет Сталина с аккуратным полотенцем сверху, тканево-марлевый дома дух, вкус двух домашних вин, что всё подливал нам хозяин, водорослевая с лимоном кефаль и теперь вот тёплое море, из пасмурного вечера нас забравшее волнами... плывём назад, какие-то с тобой мы повзрослевшие, серьёзные. хотя, плывя ты улыбаешься, словно никаких у нас проблем. а дядя старательно по выходе на берег подтягивает длинные плавки — чтобы не виден был ниже пояса внешний резервуар, после операции, для мочи. умело прячет его всё время здесь, когда мы вместе купались, с аквалангом плавали, ты не замечала, а я не говорил, наша мужская да и семейная тайна.

разговор по пути — отвлечённый, по следам спора с фронтовым другом, начатый дядей, позволяет нам скрыть своё, разлучное, хмурое.

да, ночь-разлучница. по твоему молчаливому и стремительному самоукладыванию ясно, что никаких шансов: спать. в тишине и темноте уже не плачешь.

засыпаю в мыслях не только о тебе, но и о коммунисте. живёт такой у моря. хранит эпоху в себе, фантаст. красиво рассказывал. главное — не как сказку, убеждённо. видно, не все собеседники тут, проходящие мимо его участка посреди пансионата ВЦСПС — подходящие. твои вопросы его раззадорили. ну, жели мы не сможем снова сблизиться? лежишь отдельным от меня своим изящным телом. его бы мне решиться в ночи приласкать, разласкать, разбудить. но чувствую на расстоянии запрет, неприязнь. может, это дни твоей нижней кровушки настанут, как раньше? но вчера-то ни слухом ни духом. а послезавтра уедем. вот и вывез к морю... увёз от Столицы на ближний край земли, на побережье — и всё расстроилось. как нужна Твоя помощь, Твоё пространство. но тут море. другая широченная красота. и непрозрачная погода. скалы в воде.

всё пролистывается, у моря с нами бывшее все эти дни, теперь по-другому — скоро, перед сном, ярко. неужели — всё? и то, как мы в один из первых дней вечером, после дождя (когда дальние склоны в сторону Фороса блестя и напоминали лежащего рыцаря) на горе над морем видели напавшего на мотылька какого-то насекомого грызуна, как ты, сопереживая мотыльку, освободила его от хищника... и то, как пойдём завтра, если не передумаем, на дачу Рыжкова. и наши прогулки здесь к другим территориям, в Ялте... всё — считано, исчислимо ближней памятью в эти секунды, в чужой отдельной темноте.

утро без солнца. теперь покорны инициативам дяди, который своим долгом считает развлекать нас, непрерывно. не просто велел, а наказал отправиться к даче Рыжкова, посмотреть и доложить — так как сам туда идти не может, нужно договариваться на завтра с шофёром. есть один вариант, но об этом потом, если удастся. какой-то бизнесмен из Киева уезжает утром, на тот же поезд.

путь к Ифигении — в молчании. и погода подсказывает: скорее уезжайте. огромные волны кидаются вниз, огрызаются и разбиваются на месте пляжа под Ифигенией, где мы столько плавали до шершавых камней, до надводных пещер, переодевались меж камней, замечая недоступную тут наготу друг друга. меж этих камней и выше сейчас бушует море. ветер и пасмурность нагнали новую погоду. и тем величественней скала и наша сухая высота, по которой идём с тобой, вместе делая только одно — глядя к морю. всё кажется демонстративным и говорящим в отсутствие речи. кажется, ты укоряешь наш отъезд даже простым в сторону взглядом своим чуже-зелёным сейчас. ни пушкинская лестница, ни скала и крест на ней не тянут, и не сядешь над обрывом как Ассоль, это понятно.

въезд на дачу Рыжкова оформлен помпезно — даже КПП отделан белым камнем, местами отпавшим. разорённая или недостроенная, скорее всего, последняя советская правительственная дача. хотя корпус-каркас для дачи великоват. скорее, санаторий. единое высокое здание ближе к морю, к нему от нас сверху — змеистая тропинка. внезапно из развалин показалась чёрная собака и сразу приковала наше, более всего твоё, внимание. подбежала, но опасливо держится на расстоянии, принимает. длинные, отвисшие треугольнички кожи с чёрными сосками — кормящая. как начался наш разговор, только она могла заметить. но мы уже тревожно обсуждаем, отчего у собаки сзади кроваво. ты думаешь, что от родов. и на дороге встреченный до этого — теперь понятно, отчего — шёл точечками бурый след. рядом с недостроенным величием конца восьмидесятых даже кран ржавеет — всё, небось, осталось после девяносто первого неизменно. собака плетётся поодаль, твои ласковые попытки подзвать её безуспешны. да и дать ей нечего. только полотенца несём, пляж здесь должен быть. змеистая дорога доходит до сада вокруг старенького деревенского дома — прямо в подножие недостроенного белокаменного советского исполина, странное соседство. вероятно, этот домик должен был сгинуть тогда, когда достроили бы дачу. но вот пережил. а чуть обросший от-

делочной белизной скелет многоэтажного корпуса — просвечивает без-
окономьем.

или это просто дом сторожа этой громадины? проходим мимо него, атмосфера тут деревенская, несмотря на близость моря, отделённого, правда, аллеей яблонь. рыжие петухи и белые куры, маленькая болонистая собачка, лающая с заднего двора непрерывно — с момента, как услышала наши шаги по наклонной жёлтой каменистой дороге.

пляж — за бетонным бортом, удерживающим сползание гор в воду. помогаю тебе перебраться, удача — могу тебя приподнять за талию, но тотчас по приземлении ты отделяешь мои руки с молчаливым «не надо» во внимательных глазах. идём к бурной воде, тут купаются, но человек десять, не более. полный мужик как поплавок резвится, гребёт в сторону высоких волн — весёлый не под стать погоде. здесь несильно волнение, потому что два необычных, спадающих остриями в море волнореза ограничивают по бокам пространство для заплыва. делали явно для спокойствия правительственных персон. чтобы девятый вал не тревожил, если что. в бетонном борту позади нас, в середине — чёрная круглая дыра в два роста человеческих, заделанная ржавой решёткой. вероятно, планировался эскалатор. чтобы к морю сразу и без усилий попасть из здания, что значительно выше, за несколько десятков метров, над деревьями, камнями и дорогой, где деревенский домик. всё было продумано. но не получил Рыжков подарка, не успел.

меня не дожидаясь, сбрасываешь сарафанные шорты и шагаешь быстро в воду. худая ты кажешься в этом пасмурном дне, грудки притянуты чёрным купальником до почти полной плоскости. и отчего-то по-чуждому, отрывисто, нервно непривлекательная, хоть уже загорелая ты. ноги детские и кривоватые вовне, нимфеточки ягодички. сейчас поплывёшь, наверно, к волнам — к риску с отчаянием. и меня волновать — отведённого, но своего. если что — ведь поплыву за тобой, спасти. а меня не тянет в эту агрессивную серую воду. здесь же вдоль берега, но на расстоянии резвится — плавает кролем наш знакомый по Ифигении с зычным нутром, в модных плавательных очках. что он там в мутной воде видит? и его подруга — только всё наоборот, нежели у нас — на берегу. она уже плавала и переодевается, переминаясь на гальке, не очень заботясь о невидимости своей небрежно скрываемой полотенцем в руках наготы. да, и соски вон небольшие, но с взрослой оттянутостью пупырьков. одевает светло-джинсовую рубашу кавалера, под ней стягивает, перешагивает тёмно-синий купальник, мелькнув брюнеточьим, с боков подбритым мехом-полосочкой. а ты плаваешь, пока я отвлекаюсь. низменно, забывчиво, блудливо отвлекаюсь, прицениваюсь к другим красотам. но волны возвращают тебя ближе к берегу. выходишь с безразличным, но скорее весёлым от водного аттракциона выражением лица.

рыгальщик косолапо, лыбясь на подругу, сидящую зябко в его рубаше, выходит на берег, а я, уж в последний раз, забираюсь, сбиваемый волнами, в море. вот, докупались, докурортились. порознь плаваем, как чужие. откуда такое вза-

имное отторжение? действительно, что ли, заплывать далеко? нет, и этого не хочется. и вон ты, на берегу, одна, сама по себе. плыть на растущую зевающую волну страшно — иногда захлестывает и почти захлебываешься, солёный запах остаётся тревожный, детский запах, где-то в нём адреналин. ладно, назад от вас к земле, серое небо и злое море. неуклюже выбираюсь, оступаюсь, гонимый и оттягиваемый волнами, падаю, волна метит прямо в прибрежный камень меня долбануть. укутавшись в своё светлое полотенце, глядишь на происходящее вблизи лишь изредка, в основном просто в море устремившись созерцанием. глаза из зелёных похолодевшие в серость — или это хмурое, буйное море да небо так подцветили твой взгляд. подождав, пока соберусь, без слов, встаёшь — и идём обратно.

той же змеистой желтокаменной дорогой. молча... собаки уже не видно, а та, что на привязи, при приближении нашем лает. а мы молчим. будто отсутствуем уже в этой приморской, спрятавшейся в облаках красоте. пора менять место, это всё уже не для нас, не для любования, но наоборот — дразнит несоответствием нашего внутреннего и возможного внешнего, да и укоряет непогодой Крым, Кастрополь. да и мысли мои то и дело перебиваются дедом-коммунистом вчерашним, некорректно, нелирично, но отвлекаюсь от тебя, от главного, от нашего с тобой.

всё теперь безмолвно и неподробно, рассеянно. проскальзывают на склоне все растения, попутно дороге. напряжённое наше молчание длится, идёт вместе с нами. разговариваем, но со встречными подробностями, взглядами — не понимая, не видя их, а повторяя своё, своё друг другу в лице каждого стебелька, но не вслух. почему? и как долго это будет? или уже навсегда?

день и вечер — будто не наши. и не обязательно молчим, переговариваемся по пустякам. но это только обнаруживает ненужное спокойствие и незначимость конфликта в простых, обыденных интонациях, житейских. и все подробности Кастрополя, последние, прощальные — уходят в серость туч и серость неприятного моря.

утро другое по настроению, без тяжести вчерашней, с чистого листа. здесь дядьШурина весёлость и целенаправленность ведут за собой, не до скрытых эмоций. ранёхонько завтракаем, крепко и сентиментально прощаемся с загорелым и жилистым хозяином Георгием, дочка ещё спят. дядя Шура властно и строго суёт другу в карман штанов последние доллары. и — к машине поднимаемся по лесенкам, по дорожкам, мимо столовой, что уже не накормит на дорожку, а пахнет съестными, суповыми вчерашними запахами, что достанутся свинкам нашего хозяина.

такие резвые, молодые, твои ноги под лёгким полупрозрачным белым сарафаном работают, шагая широко и красиво (поклажи в руках немного, я всё несу в основном) — неужели мы с тобой не вместе теперь? идём вместе — но порознь, внутри..?

и шофёр-попутчик, тот самый бизнесмен — оказывается тоже занятием времени, отвлечением в пути. весёлый, тучный и неумолкающий на всех поворотах и извилах пути, еврей из Киева, сразу на тебя глянувший тяжёлым заинтересованным глазом. твоё равнодушие и созерцательность, молчание, только раззадорили его. я тоже молчу. значит, он обязан говорить, развлекать. белозубый, говорливый загорелый бочонок.

сыплются из его уст с переднего сиденья то рассказы о Верховной раде, куда он мог бы, да не хочет, о Киеве, о надоевших телепередачах нам диких, неведомых, о Кучме, о его банях и дачах на побережье, о подругах, о жене, от которой отдыхал, о любовнице вот таких, как ты, лет — придет, посмотрит ещё, что она ему предложит, поумнела ли...

совсем другая, вплетающаяся в речь нового киевского бизнесмена история, но так же скоро и горячо изложенная — о церкви, что над нами промаячила на очередном повороте вправо, к Севастополю — её построил когда-то в девятнадцатом веке местный богатый. а построил на том месте потому, что его дочь на свадьбе, когда вдруг его с женихом в их венчальной коляске понесли обезумевшие от торжеств и музыки кони, на том повороте вылетела из коляски и осталась жива, а жених упал вместе с коляской и лошадьми с обрыва. в советское время, сообщил со смаком бизнесмен, там был сначала общественный сортир, потом, когда стали ходить на экскурсии, — чебуречная.

летит бизнесмен на машине лихо и для нее безжалостно, но теперь никакой боязни у нас на заднем сиденье нет почему-то. машина эта не его, взята здесь на время, в «Муса моторс», придет в Севастополь, там и оставит, а вообще для него это не проблема — маленький, крутленький, загорелый вдвое сильнее нас, с седыми завитками волос... живец такой, дети у него чуть ли не твоих лет. дядя Шура с ним поддерживает разговор не менее активно. а мы сидим с нашим взаимным холодом, слушаем его истории как по телевизору, в разговоре их встречаемся лишь ответами короткими. другие мы, завистно даже — на его бизнесменову болтливую жизнеобильность, не омраченную такими нашими сложными изгибами отношений...

но вот и Севастополь — начался невиданными нами в ночи прибытия рекламами: смешными, оттого что на украинском, а те же самые сникерсы, оуби, местные какие-то строительные соблазны, новостройки...

виноградные кущи на набережной, где мы вышли... этот день до вечера, даже не до вечера, а до середины дня проходим тут. виноград кислый — зелёный, не зрелый. дома блекло-жёлтые через улицу, лестница, уводящая в высь города, — ближайшей старины, советской середины века, центр.

а на набережной, за кустами и пирамидальными тополями — праздник, ступение гуляющих из парка: как на заказ нам, что-то готовится, День десантника, что ли... громыхнул залп открытия, и летят с неба, из камуфляжного вертолета парашютисты, дымя, перекрещиваясь цветами триколора и жовто-блакитными. за ними, как только поплюхались в воду — трио истребителей, так низко, что грохот закладывает уши, мне так хотелось нежно-заботливо по старой па-

мяти закрыть твои, но ты далеко отошла, сама закрыла уже, глядишь испуганно на самолёты.

Апакидзе — фамилия лидера этого авиашоу, который, вдвоем с напарником в тяжёлом истребителе, так низко завис, задрал фюзеляж перпендикулярно воде и набережной, что видно мельчайшие фрагменты окраски, круговое волнение ошпаренного воздуха под двигателями, а воинственный грохот реактивных сопел вдыхает мощь в зрителей. Это и говорю дяде с тобой, когда грохот ослаб, а полковник Апакидзе пошёл на новый залёт к центру набережной:

Да, есть ещё сила. Такие показы поднимают патриотизм, а?

но ты и тут не согласна, уговариваешь нас покинуть это шоу, от грохота и людности подальше. выходим из принабережного парка, через центральных вход, где обнаруживаем пикет, ветераны в мундирах, при орденах, требуют кому-то свободу, на табличках: «Севастополь — русский город».

от набережной уходим незнакомым сплетением улиц, дядя хочет нас угостить в каком-нибудь кафе. набредаем на какое-то угловое заведение с балдахинами над окнами «Хайнекен». тут тоже есть комплексные обеды, меню в папке, с какими ходят в институты, пластмассовая обложка.

ты берёшь любимую свою картошку фри. я после супа харчо и гуляша с овощами — бутылку «Хайнекен». так и уходим из кафе — мы с дядей с двумя бутылками, ты с мороженым: дядь Шура властно нас угостил всем, что только пожелаем.

«Хайнекен» даже сквозь фирменную зелень бутылки — вряд ли настоящий, похож, скорей, на «Клинское»: на вкус слабоват как-то, жидок. дядя согласен, тоже сомневается в аутентичности напитка, пивал и голландского разлива, и немецкого — детишки-то новые русские, как-никак. а ты, не слушая нас, но вежливо следуя рядом, покупаешь ещё мороженого. ходим, слушая рассказы дяди. в новый парк забредаем — с огромным полукруглым куполом впереди.

тут фонтан, дети, семейность, загар и расслабленность курортных гуляющих, друг друга обнимающих. а мы с тобой всё порознь. дядя хочет сфотографировать — но нет, увиливаем. ты просто сидишь на лавочке, через дядю от меня, в брызгах фонтана и ешь мороженое. как ты, даже сквозь наш раздор, в своём сарафане и этих брызгах мне родна, желанна сейчас — безудержно, но недостижимо.

нужно уйти в разговор с дядей опять, растворить направленность свою к тебе в рассматривании этих фонтанных окрестностей. дядя Шура вспоминает, как на стропилах этого сгоревшего купола немцы, отступая, повесили наших солдат. устрашающее зрелище в тех развалинах помнит до сих пор. несколько раз эта высота переходила от наших к гитлеровцам... но не его снова слушаю, а гул нашего раздора в себе.

идём за здание с куполом, подбредаем к местной стене Цоя, где дежурно поют его «Звезду»... везде так повеяло Тобой, Арбатом. скорее к Тебе. уже меньше часа гулять до поезда, мучаться нашей неслиянностью-нераздельностью, моя — не моя девочка. дядя хорошо ориентируется, ведёт нас некими дворами к како-

му-то пригорку и с него вниз, к дороге и через — чтоб купить фруктов в дорогу на базаре. вокзал виден на следующем возвышении, приближаемся к знакомому пространству, к линейной геометрии прибытия — возвращения. выбираем слив — жёлтых, как у Георгия, и обычных. и небольшой арбуз, который я несус. а ты с ведёрком слив. дяде нельзя тяжести.

на обратном пути — казус: поднимаемся на крутую травянистую насыпь узкой тропинкой, а рядом, лишь едва укрытая кустом, большую нужду справляет-старается особа женского пола. обильно и клёкло коричнево вываливает меж расставленных, не без видимости среднего меха, ног. что-то южное, тоже постфруктовое, пресыщенное в этом делании... ничего не замечаем, вроде бы, даже бродящих в тёплом воздухе свежевypущенных газов — хотя улыбки не скрыть.

но мы уже у поезда, спустившись с горы, пройдя по автостраде до остановки, доехали несколько остановок на троллейбусе, с большим запасом времени. и скорее бы ехать. рассмотрели за время ожидания старинно-советский, или более ранний вокзал, который в ночи прибытия не видели, ты уже не комментируешь, гадаю сам, пока ты первая не забегаешь в вагон. наше заседание над арбузом, так как снова стало жарко и солнечно, застало отбытие. и — наконец, скорость. утекают назад, куда не вернемся, лежащие на бортах ржавые корабли, бухта, высокий над ней Севастополь. а мы только прощально чавкаем арбузом — я с дядей, ты ешь аккуратно, ножичком.

все подробности, жару, косые слоёные горы известняка — считает время и движение поезда. историю расставания не хочется ни писать, ни читать. и вышибает из времени, из подробностей — отторжение реальности, нежелание вспоминать. и одно успокаивает, но и обязывает заново — это реальность бывшая, вот в чём секрет. и её надо рассказывать по-бывшему, её надо вспоминать, вымемуаривать из себя по капельке, как и дальнейшую, мучительную, долгую — но уже (ещё) не радикальную: и потому что не в Тебе хотя бы эта, текущая часть, и потому что мы уже не вместе в Тебе потом, и потом, и потом. и снится будет приносящий к центру поезд мост несчастливому возвращению к Тебе, повторяться — вид закругляющейся Яузы справа, пешеходный гибкий мостик, кварталы, изобильные, деятельные возвышенности будто бы незнакомой местности... точно эти кварталы, перед Курским, откуда искал выхода к своей девочке вёснами, пил Твои манящие запахи в Почтовых улицах, вдыхал эти снежные дрожжи, бродящие пьяными весенними надеждами моими, жижей стекающими к Яузе. в этих кварталах, звавших к тебе, где и ходил с моей тобою, встреченной, напоённой уже моими семенными дрожжами весной...

бессилие текста или автора? словесное бессилие вообще перед временем и случающимся закономерно в этом времени. начало бессилия — через знание — к силе. пусть абстракция иссушит этот хвост текста, невозможно наполнять кровью, шариками кровяными наших (твоих и моих в этом поезде порознь) подробностей это. и вылетает та бывшая реальность, как (думал ве-

чером, долго разглядывая в зеркале вагонного туалета своё почему-то спокойное и лукавое, с запасом хитрости лицо во время этих-тех переживаний) я из поезда.

да, рассеивайся, теряйся, сваливайся текст со времени. как мы свалились с Твоей центрифуги, Столица. а вернулись к Садовому кольцу на Курский в ночном утре. улетели вместе поездом к морю, но вернулись розненными, разнятыми.

продолжение поэмы следует — не всё так резко. и пусть тогда, в окончательное разбиение чтоб превратить эту оставшуюся — ту остающуюся неписанной сюда, невытянутой — реальность нас: пусть вклиниваются невопад невысказанные из раннего моменты, подробности. пусть запахи и дни снова потянутся оттуда, защекочут и разбудят до слёз, разбудят в слезах, как тогда, у меня, в комнате с открытым балконом.

(о, вполне старомодное заклинание, радикальный реалист! кстати, когда вы им стали? но — позже, позже. взять тайм-аут, встать out of time, выйти речью из потока времени, чтобы поняв разницу снова вступить в реку Реальности, стать радикальнее реалистом...)

Ты приняла меня сном. до этого — лишь ночным жаром, странными, едва утренними, рассветными признаками впереди поворота Садового кольца. даже почувствовал, приближаясь к дому, Твою центробежную силу, инерцию Кольца — пришлось остановиться, такая скорость, вот-вот вперёд завалит. только рюкзаком это не объяснить. отвык ходить тут. и сверху глядят советские статуи-люди.

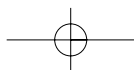
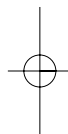
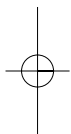
Твоей водой ополоснул загар, смыл жар, накопившийся с потом с поезда, — и в белую контрастную постель, знакомо скрипящую.

на Курской, пока ждали открытия метро, успел рассмотреть и белые статуи под куполом, статуи советских героев, победителей в той войне (начатая строиться в победном сорок пятом станция в сорок девятом закончена) — воинов, учёных, хлеборобов, — и надпись под ними для входящих: «Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, и Ленин великий нам путь озарил», и два одинаковых по отделке снизу вверх меча в колоннах по бокам после входа. там нервно, тщательно выщерблена впалыми лепестками из железа, но даже после этого читаема глубинными корнями горизонтальная надпись: «За Родину, за Сталина!», а наверху, с обеих сторон одинаково медаль «За оборону Сталинграда», шрифт футур-квадратный, тоже не обошлась без редакции — часть «Сталин» вычернена, но от этого даже четче читается. явно это творчество, дотворчество образца года пятьдесят шестого. и теперь осмысленно воспринимаю, читаю это как отзвук визита к Игсргеичу. нашего вождя словно из инкрустации меча с драгоценными камнями вандалы похитили. точно выковыряли угловатые рубиновые, как звёзды Кремля, буквы.

потом мы вошли в тёплое липкое метро, там на следующей станции расстались, и настал дома сон.

территориально, вероятно, это тот самый серый доходный дом на Солянке, к которому притягивала нас не раз Столица. но сторона внутренняя, из которой забежали на чёрный ход и в горелый мусорный мрак — где ледники, проход дворовый, под-арочный. только дом другой, выше и коричневее, как-то европейнее. там возникает низенькая проводница, указывающая, или пересказывающая какому-то жюри место встречи героя с героиней, меня с тобой. потом — странные, ненавязчивые пытки, какие-то с колёсиками жестяные приспособления для ступней, вроде роликов, которые колются. а после — возникает Цезарь, кто-то здесь, около дома главный, и его окружение в тогах, а я оказываюсь допрашиваемым поэтом. до этого, с колёсиками — была их пытка. и почему-то в нарастающих слезах, очень стараясь, и глядя вверх коричневого дома, концентрируясь на построении фразы, говорю, доказываю, что я тут делал: пел улицы, дожди и дома нашего Рима. «Рима» говорю с запинкой, долго выискивая, переставляя название города вместо Твоего. Цезарь после этих слов тоже плаксиво, капризно, но более заинтересованно слушает, может быть, дружественно уже. и всё сворачивается и перетекает уже в другой, не-вспомненный сон.

II ЧАСТЬ



«В чьих руках тело Николь Кидман?» (заголовок цветного бумажного журнала при выходе на левую лестницу из станции метро «Маяковской» образца 9 апреля 2002). вот вопрос? вопросов, других вопросов нет у россиянь. разгадка времени (а точнее — того, во что мне пришлось вкатиться со всем моим советским багажом, наскоро выданным восьмидесятыми) пугает и обязывает. обязывает хотя бы в чём-нибудь отступить, приблизиться к мейнстриму, время-вороту в прошлое.

языкъ. пусть я выгнусь восприятием и сентенциями в нужную моей Революции и Реальности форму — чтобы не упустить никакой подробности беспрецедентного Падения. догнать замысловато, витиевато убегающую в прошлое Реальность: догнать и остановить, чтобы понять и обогнать.

но даже в путанице, в перемешивающихся звуках заматавшейся иглы считывающего действительность текста на пластинке девяностых — миллениума — не терять из рук ни одного инструмента радреала.

и остаются люки, привычно говорящие временем мне: шестьдесят восьмого и семьдесят третьего, семьдесят пятого годов люки на пути к Маяковской, на Садово-Триумфальной. выгащить текущее время на всеобщее обозрение с пониманием его уродства и архаизма — вот задачка. двигаться вместе с течением в прошлое, но при этом крепко держаться за будущее, однажды засиявшее моему народу и стране, в которой родился.

ну, это не твоя вина, где ты родился: живи вместе со всеми, встраивайся в буржуёв порядок, служи по мере сил — деньги будут, а за остальных не беспокойся, кто выживет, тот выживет.

предельно острая, во всем ощутимая борьба идей, борьба противоположностей. нет, время необходимо, время было нужно мне, хотя б чтобы до конца понять сообщение сталинских домов, дожившее до моего понимания. эти стены казались безголосыми, невнятными глыбами, введенными временем (моим прошлым веком) на пути моего возраста. но в этих стенах, как и в стенах девятнадцатого — жили, и этот вид, эту высвеченность я начал понимать раньше, заглядывая туда. бродяга-соглядатай, высаженный в конце двадцатого века на наблюдение происходящего, на дактилоскопию, соскабливание взглядом времени и смысла прошлого — ради радреала.

«Город», как ты Её называла — в дыму, пахнет пожаром, палёной древесиной. среди иномарок и культурных стен офисов прохожу и чую — дух пожара, бедствия. этот запах тянет с окраин и с утра дым царствует, заслоняет видимость ближайших домов Садового. дым как идея, как намёк природной, окраинной Реальности на то, о чём тут будет дальше повествование, к чему оно придёт...

дышим дымом, уже привыкшие. вспоминаем. дым добавляет фатальности и сосредоточенности на действиях — действовать трудно, нехватка кислорода чревата сонливостью.

в конечном соображении: страх покинуть этот долгий и огромный мир — о котором не достаточно много до сих пор сообщал и собственный опыт, и наука, и телевидение — требует ответственности. именно так административно (и старомодно: «книга — поступок») я подхожу к важной точке авторского, собственного действия, а именно к новой области текстового внимания — перегибу настоящего в прошлое, точнее, если подразумевать субъективную интенцию — наоборот. ругая мемуарный (всякий раз тут, срифмовывая, слышу «писсуарный») стиль, я запретил самому себе и такое вот яkanie в тексте и воспоминание как генеральную линию текста.

но при сложившихся обстоятельствах борьбы с временным правительством (внешним управлением и Тебя, и действительности) мне стало ясно этим летом: извлечение всего прошлого из невечного покамест хранилища моей памяти является условием активности в настоящем, к тому же продиктовано не только моей заинтересованностью. это, возможно, и есть наступление взрослой поры — не потому, что блеснули вместо выгоревших седые волоски в лифтовом зеркале, а потому, что путь попутчика, благодарного читателя чужих изменений, вносимых в Реальность, мне всё менее приятен.

воспоминание диктует сны (вплоть до развратных сцен с истеричной учительницей музыки — почему? ведь я её боялся только), это тоже творчество, но, как учил Шеллинг, бессознательное. сознательность в этом процессе как раз пробуждает. не раз так и просыпался: не хочу развития событий по бессознательному сюжету и поэтому ватный удар по чьей-то фигуре усиливаю, усиливаю, усиливаю и просыпаюсь. воспоминание усилено сознанием тогда, когда оно для чего-то нужно — но и во сне и здесь возможны домыслы, а это недопустимо с точки зрения радреала. реальность, пусть даже бывшую (тем более), нельзя подрисовывать или менять цвет. самый её объективный цвет — в фильмах, снятых тогда и здесь, восьмидесятые — в фильмах восьмидесятых: «Покровские ворота», «Экипаж», «Знатоки»... и тут дело не в качестве или марке киноплёнки. я с погрешностью года в два научился определять год выхода любого нашего фильма при минуте просмотра. не в смысле двухлетним — вот ведь условность слов, обманы чтива...

но вот мелькнула интонация — «я столькотоле́тним то-то и сё-то». вот это и предстоит мне далее, читатель. ой, пардон, Читатель уже приготовился (после реставрации стиля ждём всякого) вкусить мемуаров борца с мемуаристикой! но выписывать из памяти Реальность — постольку, поскольку это уже есть нарушение времени — буду не по порядку. выписывать (в плане — требовать доставки, доставать) надо так, как помнится, а помнится совершенно неструктурированно и наложение жирной упорядочивающей структуры покажет за решёткой лишь что-то случайное, остальное заслонит пафосом реконструкции.

догнать время. эту задачу, меланхолически задекларированную Прустом, ставлю по-новому перед собой. все авторы гонятся за временем. в этом — тоска по бытию, но не бытие. мемуары — целый жанр такой лениво-тоскливой погоны, которая не приводит к результату: всё измождённо описывается изда́лека,

с соответствующими оптическими (мнемическими) искажениями. мемуары — это пыхтение догоняющего своё прожитое автора. пыхтение и воздыхание о том, что догнать никак не выходит, слабовата дыхалка.

второе дыхание — это как раз радикальный реализм, радреал. им время достигнуто: автор, начиная с прошлого, текстом догоняет настоящее (застигает врасплох, не давая отфильтровать памяти что-либо впоследствии лишнее, то есть в дальнейшем берёт инициативу Реальности в свои руки), и, держа текст «наперевес» (из прошлого в будущее), ежедневно шагает с ним вперёд. задача сформулирована, переходим к реализации.

сегодня суббота, 5 октября, холодно, но светло. слишком долго я позволял себе умалчивать о многом происходящем. и сегодня, в этот непримечательный день — срастаются две части Твоей поэмы, прошлое и будущее. грех молчания материалиста — это антипод религиозного обета молчания: верующий в Бога молчит, давая Ему слово, но понимающий происходящее автор не имеет права молчать, его молчание — преступление в жизненном, бытийном масштабе. ведь не воплощается, то есть не живет, то, что могло и уже умело жить. мысль о том, что нужно, необходимо записывать каждый день этого года, начиная как раз с прошлой осени две тысячи первого — как говорят, тревожила. иногда она почти реализовывалась, но обрывалась и вновь молчала, наблюдала. собственно, можно считать всё мое предыдущее — безмолвным детством. ведь та печатная речь — фрагментарная, скупая, эгоистичная — была лишь заявкой о радикальном реализме, который мне предстоит сделать не только методом текстовым, но и жизненным.

за этот год я научился многое не только продумывать от эстетики к Реальности, но и понимать в воплощенном архитектурном наследии Прошлого. то прошлое, которое скомкано и исковеркано властью настоящего — а то, каким оно станет далее, зависит и от моего текста. я — голос советского прошлого: и моего собственного, и предыдущего. из-за того, что настоящее, отрицающее это революционное прошлое, то есть отрицающее отрицание, по его же собственной вневременной логике (устоям, ценностям, строю, эстетике) определяется как позапрошрое — приходится искать ту необходимую мне лично твёрдую, истинную почву Прошлого, на которую можно опереться и Быть, то есть — б у д и т ь, Будуществовать.

я молчал. «я молчал» — только так может начинаться квазимемуарная часть радреального текста. во-первых — прошедшее время, во-вторых — молчание. то есть: «я был молчащим», значит — теперь я говорю. Быть отныне — говорить, тЕкстить. молчал о многом, о множестве подробностей. в них — не просто прожитое мемуаристом, в них — причина настоящего. поэтому — вспоминать. поэтому раскапывать в прошлом направление, след своего взгляда, впечатления, отпечатки Реальности.

нас выпила со своими дождями, скомкала с листопадом осень девяносто девятого. нет, общение не оборвалось. но твой переезд с Новобасманной на

улицу Марии Ульяновой к матери, поссорившейся с отцом — добавил отдаления нам. и грустный двадцать восьмой троллейбус, увозящий к пятнадцатому дому на бульваре... и печальный подъезд, небольшая квартира. они окончательно забрали тебя у меня. мы ещё бродили по тем новым дворам, даже играли в бадминтон солнечными днями, и веселился, ничего не понимая в наших отношениях, Маруська. но осень наваливалась, точнее — не осень, она была год назад и порой встречи — зима.

и вместе с молодой зимой, с ненужно нежным снегом на асфальте, с тягостной (действительно сердечной, какое дело) болью, с простудами выплыла из пустого неба и невидимых подробностей знакомых улиц родная девяносто первая школа — теперь местом работы. школа согрела обязанностями школьного психолога, молодого специалиста. а ехать к тебе на «Университет» было всё больнее, иногда ты приходила на чай. неожиданно, не звоня, внешне чужеватая, какая-то славянско-церковная, с явным срединным пробором в волосах. твоим убежищем от нашей бури любования, оборвавшейся в нас, но гудящей остатками — стала религия. сначала просто мистика, потом все эти церковности, пластмассовые иконки, которые я старался не замечать на твоих книжных полках в комнате по новому адресу, но не только они: стала заниматься восточными практиками, какими-то физическими упражнениями, танцами. вероятно, теми, что под «Энигму» вечерами пыталась сама выдумывать в Ладеево, счастливая в тех днях, но чего-то ещё избредающая, продолжающая движениями не ласк, а танца наше любование.

боюсь и этого слова теперь. и никак не привыкну к мемуарному обязательству. какое такое «теперь»? ведь и оно неопределённо. мы выбежали из времени порознь. а его прошло немало, этого порознь.

родная школа первого сентября — обнаружилась семейность учителей моих, теперь коллег. коридоры заново овевали сопливыми школьными годами. в столовой в пристройке — банкет в честь первого сентября накрыли, помогал расставлять посуду. тост сказал, глядя на нашего легендарного педагога-математика Мироныча, литературную насадку моего класса Наталью Ефимовну порадовал, поцеловал в щёчку. кабинет на четвёртом, в котором работал в девяносто втором до института лаборантом, родная подсобка, ставшая кабинетом зампонауке Львовского. класс этот — половинка исходного, бывшего класса начальной военной подготовки. какие эпические висели на стенах плакаты про атомную войну! любил уроки НВП именно за возможность разглядывать сцены начала атомной войны, схемы областей поражения, атомные грибы в матовых тонах, не подозревающих ничего коровок на лугах советских.

да-да, дроблёная мемуарная речь, капельки в писсуар. теперь в бывшей подсобке уже нет сейфа — сейфа, где лежали учебные калашниковы. и работа новая — не пыльная. сижу, наблюдаю детишек на уроках. словно повинность отбываю, отдыхаю от нашей любованной бури, забываю необходимые движения, пью чай с учителями в своём кабинете.

школа всякий раз принимает меня, выброшенного очередным жизненным периодом назад, к воспоминаниям. а научился быть пожилым мемуари-

стом ещё в выпускном классе, почитать бы те сочинения. и тогда в девяносто втором сюда приземлился, в этот кабинет. но сколько тогда незнакомости, неизведанности в пространстве той же подсобки! вот-вот: пространство диктует наложение времён в воспоминаниях — поделом вам, нам, различайте стили.

из настоящего (и выдающего пальцами завхозихи мне, недавно принятому молодому специалисту, тринадцатую зарплату) миллениума — в девяносто второй. когда начинал только приближаться к Тебе, выезжать по заданиям-навигациям физиков Львовского или Медведева, курьерить по незнакомым адресам. и оказывался — то на Погодинской в нежной, грустной осени, на восьмом этаже Российской академии образования перед окном немел, то — неподалёку от нынешних твоих краёв, у магазина «Электроника», заряжать картридж для ксерокса поехал, а попал в перерыв и ранней зимой бродил без шапки по капающему снегом холодному парку вокруг пруда, слушал ворон и шорохи ветра, любовался даже голубо-плитчатыми новостройками в этом липком мехе снежном.

окно в здании РАО — большое, от пола до потолка, возле лифтов, прохожих никого (верхний этаж). но вид из окна — это эпос. подсказывали такой вид песни The Doors, уже порядочно проникшие в личность и шевелившие воображение. внизу, вблизи — школьный дворик, детские железяки игровые. этот двор от возвышающейся дали отделён бордовой, старокирпичной стеной. и справа она вырастает в какой-то НИИ, что-то научное или производственное. такое могло быть еще в девяносто втором. и окна этого высокого дома глядят друг в друга, открыты, и хочется туда на ритме песни, на «Селебрации Лизарда» обаять женский персонал, молодым поэтом влететь туда... или следовать дальше — там за набережной дома, монументальные тени, красавцы прошедшей Эпохи. вот их-то тогда и не понимал совершенно, воспринимал вместе со всем фоном. но от того и действовало сильнее — не продумывал их, не интерпретировал. летал. пел взглядом туда, в этот двор, в эту огромную осеннюю картину в железной оконной раме РАО.

а наставшая внезапно, простудно зима и тогда действовала на плохо обутое ноги непоступленца в институт, лаборанта — приходилось покупать «Столичное» или «Тверское тёмное» пиво, и греть его в кувшинчике Медведева — таком желтом специальном кипятильнике в пластмассовой емкости, какими-то провинциальными техниками придуманном. тёплое пиво, говорят, лечит простуды.

почему рассказываю это не тебе? так привык адресовать, выглядывать в глазах ответ, в твоих зелёных... но нет, это уже (или ещё, по хронологии) моё, одинокое моё. как и дальнейшее. прощай, девяносто второй. где-то на видеозаписи семинара для педагогов системы развивающего обучения той зимы или весны уже девяносто третьего в актовом зале проходит перед камерой очень угрюмый молодой человек в коричневом полосатом пиджаке и чёрных (тех самых) вельветовых брюках, что-то химичивший там с обустройством места для лектора — я. выражение лица — можно подумать, что именно после нашего взрыва-разрыва. но это девяносто второй. обманы памяти.

да ведь были же и длиннющие дни на новой твоей квартире между «Университетом» и «Проспектом Вернадского», и разговоры с рядом живущей бабушкой о литературе, и прабабушка, прикованная к постели, дворянка, ровесница нашего двадцатого века, и безжалостно очаровательная фотография тебя школьницы-выпускницы. и пусть меня снова стянет у сердца — почему мы не сумели сохранить своё любование, продлить его, стать парой, выйти взаимным любованием нашим долгим в детей?! благородные потомки... чёрная жилетка твоего прадеда, купца высокой гильдии, много маленьких пуговичек на ней, не подумаешь, что вековой давности, сидит на тебе фамильно-изящно в сочетании с джинсами, кармашек для часов только выдаёт век изготовления...

и порошочный запах стиральной машины, стирок, обедов у тебя дома осенью, дух внезапной уличной свежести для нас, выбежавших гулять к бульвару, чувствовать своё время...

но от разлада, медленного и неумолимого, перебираюсь в школу. долгие рабочие дни в кабинете. 486-й компьютер, ситихи (citylyrics) в него забиваемые под звуки заседания лаборатории развивающего обучения, с клубами дыма, с призывами к столу, к водке и нехитрой баночной закусочке, бережно сооружённой сотрудниками лаборатории. ибо — молодой специалист, готовящий дИссер, надёжа. и беру зачем-то коррекционную группу первоклашек, пытаю себя играми с ними, непрерывным галдёжем, воспитанием этих неумных моторчиков, мельгешащих, скачущих по столам и по ксероксам. неужели у нас могли быть дети — при падении моей бдительности в близости к этому событию в тебе? но со-бытия не случилось. и славно (теперь рационально так думается лениво пораженчески).

хмурые взрывы домов кончающегося века — тоже вытаскивают из нашего убежища. мы в любовании взаимном с тобой ушли из своего периода, из его событий. от урагана девяносто восьмого — до взрывов девяносто девятого промелькнула наша история. и возвращением к истории уже не нашей, а родной и прежней, ещё более родной — стала осень и зима девяносто девятого. там же — первая книга стихов в чёрной обложке.

и, возможно, первая измена (ведь общаться не прекратили окончательно, незапланированно и, наоборот, традиционно празднично, телефонно сговорившись, встречались). вероятно, она, Ксения, и заразила журнализмом. этой же осенью после юОв и случилась встреча. простейший сценарий — день рождения дражайшего дружбана одноклассника Некрасова. десятилитровое ведро салата оливье и я, вызвавшийся, по аристократичный локоть погрузив в ведро руку с засученным рукавом, мешать салатик.

зашедшая в кухню низенькая телерепортёрочка Анна Лошак умилилась зрелищем и прокомментировала, фотографируя: «Какая инсталляция!». неблагоприятный элемент инсталляции обидел её тотчас едким вопросом: «А какие модные слова ты ещё знаешь?..» нормальная пьянка молодой элитоватой публики — возвращающиеся на кухню курить группы тасующихся и знакомящихся людей

медленно разговариваются, переходят к песням под гитару — и вот порядком уже выпивший элемент инсталляции поёт с вдохновением, видя пьяными глазами одну наиболее постоянную светло-вьюще-волосую слушательницу, Break on through to the other side... с нею он и оказывается, неушедший домой ночью, в постели боковой комнатки через час. а до этого, оказавшись вдвоём в комнате Некрасова, ещё оклеенной плакатами нашего школьного фан-вкуса с Faith No More и прочими реликтами ушедшего века, элемент инсталляции смело припёр едва знакомую Ксю к стене и решительно занялся хваткими поисками груди, которая после моейдевичкиной оказалась внушительной. бежевый бюстгальтер сдался быстро. успокоительный поцелуй был воспринят с интересом и активностью. перекочевав из некрасовской в другую крайнюю комнатку, мы улеглись. это, вроде бы, выходил ночлег — мадам Некрасова даже выдала одеяло на двоих. среди чужих книг мы занялись взаимным изучением, пьяным целованием и выкапыванием из-под одежд самых желанных подробностей. в полутьме, лежащая, она показалась мне похожей на тебя (ту, первоночную, голубоватую как индийские боги, в зимнем неизложенном в Первой части пионерлагере), когда белёсая под моим взглядом и губами вминалась грудь Ксю, такой же бледно-розовый, как в последнее время у тебя, цвет более широких сосков... потом докопался пальцами до нижностей, и она стала откровенничать дыханием и тихим голосом, как почти никогда не отзывалась на это скромная ты.

развратный тип, я ведь удержал её, она собиралась уйти вечером. а утром, всё же до того хмельно уснув среди ласк, не дойдя до греха, уходили порознь. и потом сомнения были — звонить ли, продолжать ли. но отвергнутость тобой давила и требовала грубо: ты эту только доведи до недостающего без твоей девочки действия, до греха, погреси, попользуй, а потом и бросай. неужто быть теперь мстителем за эту отвергнутость со стороны Единственной?

да, встречались, бродили возле дома Минлоса по оставшейся нам осени, даже в лифте его навесном, выше сотой квартиры этажом стремительно раздевали друг друга и притихали, когда по лестнице спускалась бабушка с дитём, которое почуяло, что в лифте есть кто-то: тётя с дядей. предметом встреч была невинная цель — я у тебя с компакт переписывал The Doors In Concert. но разве только эта музыка?.. переписанные у Минлоса «Роллинги» с их мостами вавилонскими — вот что стало саундтреком наших окончательных встреч. всё как нельзя лучше было обставлено тобой — отдельная пустая квартира на Павелецкой, о которой знала твоя мать, для чего она предназначена — «чтобы Ксю было хорошо».

и всё же — осторожность. ситуация осложнена наличием у Ксю недавно рождённой малютки Ле и молодого уже нелюбимого мужа-блондина. по холодным и заснеженным, скользким дворам подбирались к длинной хрущобе. однажды в твоей квартире горел свет: значит, кто-то из родителей там... уходили. в следующий раз вечером, проходя от Павелецкой, за музеем Бахрушина незнакомыми дворами, встречая приветливый свет во дворах домов пятидесятых, мы вышли к уже пустой, доступной нам жилплощади. на самый верхний этаж самого левого, первого подъезда.

в однокомнатной конспиративной квартире родители забыли капусту, видимо — и запах, да ещё застоявшийся, стоял суровый. запах измены. но проветрились, покурили «Честерфилд» на кухне, глядя друг на друга и уже предчувствуя... сами не заметили, как в комнате на широкой кровати, на тигровом одеяле оказались жадно раздевающимися друг друга. пояс мой раскрылся, разлетелся, как ворота. то, что на Ксю остались чёрные чулки, только ускорило сближение. сакральный момент стягивания чёрных подстать чулкам трусиков — позади. она значительно полнее тебя, Тан, и нижнее надгубье выдаётся сильнее подвижным носиком. но хозяйка успела всё же остановить моё вызванное изпод одежд направленное уже в неё стремление и спросить: «А ты уверен, что мы этого хотим?». ответил, преодолевая похотливую суетливость: «Да, конечно, ещё как хотим, это нам обязательно нужно» (особенно мне, после летних запретов моей девочки). однако Ксю оказалась настойчива: «А может, всё же не надо?». тут уж пришлось пойти на хитрость и предложить просто снаружи поиграть, поводить по нижним губам Ксю моим устремленцем. так медленно и в ней возник аппетит: раз за разом всё глубже, она как леденец пробовала моего молодца. и, наконец, он в ней.

неустанный и медленный, в свободной, даже широковатой, не так давно на свет выпустившей дитя, благодати Ксю — обживается мой молодец. не такая уж беда, но тоже обнажённая жизненность — её дыхание мне в лицо. дыхание голодной женщины, желудочный сок которой начинает обглаживать организм, а другой сок, ниже, жадно с жаждой обволакивает мужского гостя и поглощает, глотает его раз за разом, не выпуская совсем, удерживая хватками рубчиками-рубежами. и я её потчую, потчую своим голубцом. холодноватая квартира обогреваема электроочагом. чтобы замедлить приближение кульминации — при том что Ксю сообщает учащающимися встречными движениями широких бёдер и откровениями голоса с дыханием, что ей это удаётся раз за разом, — не смотрю на её разложенное передо мной грудное богатство с широкими сосками, один из которых заметно пожёван кормлением, и чуть в центре одрябла, сморщилась левая под ним грудь, целую выше и мимолётно. гляжу, чтобы успокоить немного стремление и близящееся наслаждение, на предметы в комнате. на алые и оранжевые точно угли, греющие воздух возле тахты железяки обогревателя, словно угли этой страсти любовников разгорающиеся, пышущие. на самопальную красную бас-гитару рядом с обогревателем и на более удачную внешне чёрную модель шестиструнки в духе Herritage cherry... в этой холодной пятиэтажке хрущобке, глядящей в узкий проём переулкa на Павелецкий вокзал, утоляем страсти: она — уверяясь в своей для нового мужчины желанности после родов, я — окончательно телом изменяя, догоняя и сминая в жадных, но нежеланных вполне этих ласках груди Ксю, страсть к моей единственной. на время останавливаюсь после получасовой этой сладкой пытки, так и не дошедшей до конца с моей стороны:

— Не устала?

— Ну, ммм, местами...

она с юмором — журналистка с вертлявой фамилией, половинчато еврейских кровей. в этой квартире висит протрет её матери — красивая, русая, изящная, с большими глазами, красивее полноватой после родов и тяжелоносой Ксю. тоже журналистка всю жизнь, сама много знавшая любовников и оттого «чтобы Ксю было хорошо» потворствующая её со мной адюльтеру, с поэтом, литературное взаимопонимание поколений такое. дабы усилить соблазнительность, Ксю не сняла чёрных чулок и после нашей акробатики удивила — пробуя молодца моего небывало жадным до такого лакомства ртом и доводя его до новой кульминации как-то невиданно быстро и невидимо: видимо, щекотливым кружащим языком...

и ещё, раз за разом с ней встречаемся на конспиративной холодной квартире, на широкой тигровой тахте. голодные — мы сразу же падаем в широкое ложе. или даже рассредоточиваясь: она навзничь мне открытая лежит, я колёнами на пол — и в неё, в неё, сжимая грУди, а она скользко сжимает меня внутри. и сзади играет переписанный у Минлоса и подаренный ей мною «Bridges to Babilon» старых греховодников «Роллингов». Anybody seen my baby?.. энергия измены интригует, мне Ксю рассказывает про нордического мужа, который играет где-то black metal, пока мы с ней тут сжимаемся в наших страстях. это его гитары самопальные — даже они со мной ему изменяют, пока она прихорашивается в ванной, наигрываю отходовские мотивы... для того чтобы встретиться раньше и подольше с ней быть тут, днём — придумываю хитрость в школе, на работе, мол, потащил ремонтировать видеомангитофон «Самсунг-Электроника». чего только не выдумаешь: притащишься к любовнице с этакой тяжестью. пока снаружи узкостенной хрущобы усиливаются холода, мы с Ксю берём по чашечке кофе и забираемся в ванную, в которой нет света, к сожалению — квартира-то необитаема, и лампочку негде взять. но дверь открыта, и мы видимы немного, интригующе в полумраке. красиво так с ней лежать, одной рукой отпивая из чашечки кофе, учащая сердечный ритм изнутри, а другой усиливая его же ощущением наружным: лаская то её заметные груди, то забираясь пытливым пальцем в нетуго сдвинутые нижние пределы. ей нравится...

однако последствия этих подводных ласк неожиданно сказываются, когда мы выбираемся из воды и она садится в одной тельняшке на край тахты: целуя её, источающие мускусный дух почти мужского пота, широкие нижние губы — встречаю водичку, которая затекла вслед за моими перстами в ванной. и тут же переходим к главному — сам никогда не ждал такой трепетности от ощущения погружения: вот она, регулярность этой интриги-измены, частота встреч, усиливающая ожидания. Ксю уже обижается на что-то, на моё невнимание за прошедший период, но такого желания и тонкого ощущения в момент сближения у нас с ней ещё не было — я очень разными, почти художественными движениями рисую в ней, резвлюсь кабанчиком, то резко влетая и медленно выходя, то наоборот, то просто снаружи на её нижних губах нащёптывая короткими тычками своего молодца сильно ей нравящиеся подробности. и затем, когда уже лежащую ко мне боком, беру её по её же требованию «ну, теперь мож-

но продолжать» — ощущение затягивающего её болота, всей телесной вязкости вместе с близким немного водопроводным запахом чужих стен хрущобных и её волнистых русских волос, даже слова вызывает:

Ты прямо как омут, русое зеленоглазое болото моё...

— Смотри, не увязни.

лукавая журналистка. странно, но мне безразлично, кто был в тебе до меня, какие тут лазили орудия, оставляли свои привкусы, и как давно — в потном твоём там духе, в женской копилке. с мужем (да и то лишь резиново обтянутым) это давно не творишь, со случайным гостем до меня — тоже с презервативом, а со мной — во всю откровенность. аккуратный был, по чату с тобой познакомившийся предыдущий дяденька: пришёл, натянул резиновую изоляцию, сойлся, а потом прочитал тебе лекцию о вреде измен и правильной семейной жизни. нет, с такими ты скучаешь. желая услышать и мои кульминационные возгласы, чтобы и мне «было хорошо» — нахлобучиваешь на моего молодца-изменника из мужних шкафных запасов презик. потом несёмся к уже известному рубежу, резиновость нивелирует нюансы, и, добежав до цели в тебе, я оглашаю стены однокомнатной хрущобной квартирki вовсе не голосом радости, нет, скорее отчаянным вынужденным, немного страдальческим откровением. а затем, медленно утихая и успокаиваясь на тигровой подстилке, как тигр пожёвываю тело Ксю. вот когда и выясняется несерьёзность связи — тут-то внутренний, вылетающий через всё моё нутро от бёдер, от молодца наружу, голос не соврёт.

по дороге от квартиры любовников к метро «Павелецкой», весёлая удовлетворённая журналистка «Новой газеты» чуть ли не аплодисментами оценит точность моего короткого деловитого броска свёрнутого в узелок тяжёленького после использования презика — в урну у попутного магазинчика. так и исчезают скользкие, обоюдные по разные стороны резины, ароматные подробности и плоды недолгой любовницкой страсти поэта и журналистки — бесследно среди мусора, банок кока-кольных, обёрток чокопаев и чупа-чупсов. а ведь какой генокод сгинул там — между прочим, дворянский, аж восемь поколений здешний! и без того торжества, с которым мы приносили и сжигали использованный нами в Ладеево с тобой, Тан, ребристый презерватив плэйбойский — на костре среди ольхи, на углях, горевших несколько дней. ладеевскую личную свалку твой папик периодически сжигал, там и кипело вместе с резиной плэйбоевой моё семя, ничего в тебе не сотворившее.

и та же Николаямская утянет нас с Ксю, но не весной, а холодной осенью и не к роддому Клары Цеткин, а в подъезд серенького дома ближе к Садовому кольцу — курить из белого мундштука безфилътровый «Голуаз», привезённый мне однокурсницей Настей из Парижу, в голубой пачке. а выше этажом кто-то психованный будет тоже курить и, обнаружив наше присутствие ниже, материться и плевать, что не помешает нам греться на батарее и возбуждающе сжиматься друг с другом в едком дыму «Голуаз», перекладывая мундштук из уст в уста, угощая прокуренными губами любовницами...

наши встречи вскоре прервутся, едва к окнам приблизится зима: дни станут быстро мрачнеть вместе с панельной башней напротив комнаты наших слияний, заработает отопление, а далёкая, видная из кухни околотаганская набережная и предвещающие её крыши морозно побелеют... и уже — перекусив на твоей конспиративной кухне мною же приготовленными пельменями (готовить ты не умеешь вовсе), после твоих намёков на желание бросить мужа и вопросов о силе желания моего продолжать с тобой встречаться — буду задумчиво и аутично сидеть на тахте, на полигоне наших страстей, довольно скоро и безвозвратно опустевшем. а Ксю, как с обидевшимся детсадовским букой, будет, пытаюсь развеселить, заговаривать. нет, наркотик измены действовал недолго. вернулся в одиночество, в школу, куда и Ксю затаскивал, а она по доброте душевной из Праги привезла и там в кабинете Львовского дарила сувениры: банку тёмного пива и кружку Крушовицы, хотела порадовать любовничка...

работа лаборантом и потом психологом в родной девяносто первой — только оболочка, часто повод для движения в Тебе: с разладом с Тан оно не прекратилось, а в двухтысячном весной привело к новому рубежу.

решил повоспитывать и старшеклассниц, лукавый — «факультатив: психология для подростков». но лицами ли не те или сам не столь коварен и блудлив — ограничилось только учением и интеллектуальными заплывами. «Стеной» Пинка Флойдовича, для них явным откровением — как для меня в девяносто втором, с комментариями физика-психоаналитика Медведева. а миллениум продолжился для меня и факультативщиц неожиданной весной с Домом.

да, меня постоянно, из разных точек центра тянул Курский вокзал, точка, откуда в Тебе мы расстались, размежевались, рассредоточились. бродили там же и с Минлосом, напевая Янки Дягилевой «Ангедонию» у автозаезда во тьму под длинным магазинным белым домом, в котором со стороны Кольца «Людмила» — но в том, девяносто втором, не путать. а один — начал выбираться раз за разом дальше, через мост над Яузой — куда-то влево, переулками, заводскими закоулками. подсказывала, влекла «Застава Ильича», фильм-карта, навигатор. то утро, что виднеется в начале фильма — вплоть до дома на Садовом кольце, который в «ТАСС уполномочен заявить» фигурирует как носитель антенны, улавливающей радиопередачи шпионские. но в шестьдесят втором, когда «Заставу» снимали — он утренний, ещё без той насекомой антенны, едва виден декоративными надстройками.

и к этому — вот что из черновиков:

ходить здесь без тебя. находить наследие: всё это до меня дошло (мною же, шагающим, растущим через годы). дошло через ту гущу времени, которая в кино- и документальных фильмах. и поэтому любые фильмы документальные: я в них высматриваю Тебя — какой была тогда, когда становилась новой, пред-нынешней, после Революции, при Сталине, позже. художественные фильмы

иногда документальнее хроник — людьми, чертами лиц, двигающими их эмоциями.

хожу уже без тебя, а левая рука привыкла к повествовательному ведущему жесту на твоей талии — куда вёл, что говорил. сколько этого здесь проносилось — мы кружили и петляли, видели завораживающий, заговаривающий подробностями тогда ещё неразгаданных сталинских и современных стен поворот Кольца и шли в него, внутрь, к Тебе-реке, к Твоему истоку.

и я тут вижу, не говоря тебе ничего, говоря уже самому себе — Реставрацию. и подумать не могли мы, что то, в чём мы были эти годы, где встретились и нашли — искали — выхаживали друг-друга, — это начиналась Реставрация. не только дореволюционности домов — дореволюционности людей. стоит у ресторана «Ампир» (раньше был попроще, красноликий низенький пухляк) настоящий Швейцар. он лицом стал Швейцар. степенный, не без благородства лик — проступили староуслужливые черты и некое достоинство, осязаемое при праведности, актуальности действия: вот подъехал Клиент, я ему услужу, покажу, куда машину поставить, улыбнусь, дверь открою, задумаюсь, вспомню про деньги, которые тут заплатят. деньги. сколько платят-то за такое самоперерождение в прошлолюдина? седобородый Швейцар очень импозантен, в бордовом форменном пальте с золотистой окантовкой, в фуражке. тот прежний толстячок (он сменный и ныне) больше подметал зимой перед входом (ипотека там при ресторане — букмекерская контора, стало быть), с багровым ликом пьяненького простолюдина. а этот — Швейцар, бородка клинышком, седа, лицом русский. швейцар: работа такая, платят хозяева, не задаром же.

но тебе он показался бы просто симпатичен, шутнула б в его сторону, и мы ушли опять друг с другом, на него не отвлекшись. но зимы прошли, я без тебя теперь. и можно взглядом закапываться во все те скучности, что казались таковыми при нашем сопутствии, в Наше время: я тогда всё видел, но не понимал Реставрации. всё это облекало и вело, инерционно в этом участвовали — пиво пили, матерились, не замечая, как, брошенная в нас и вокруг нас, гибнет Эпоха: эпоха, строившаяся для нас.

и не разгадал бы без этого поворота Реальности слова «реставрация» — коли б она не заняла весь горизонт чувств. мыслей...

все наши и дОнаши девяностые — внимательно искал Тебя и тебя в фильмах. в чёрно-белых, во всех. «Застава Ильича» стала центральным, стержневым фильмом, фильмом-подсказкой, под этой сказкой почвой. Марианна Вертинская... нет, сначала не искал Эпохи там. просто глядел — какая Ты была там, подробности прежние. и в «Июльском дожде», когда на родных Петровских Воротах под дождём мимо овощного уличного прилавочка несёт гражданин на голове кресло по Страстному бульвару начинающемуся, к нынешней «Чеховской» — понял, что Ты оттуда зовёшь меня. стал бродить заново — если это подходящее определение: ведь бродил и брожу непрерывно. с моей девочкой и без неё...

Площадь Ильича открывалась с разных сторон, через Школьную дошёл, и со стороны ДК «Серп и молот», от Волочаевской... и всё к весне. к апрелю. плутая в закоулках, пригорках поблизости автосервисов, завода «Кристалл», обходя на обочинах неожиданные, незаметно-серые от проезжей грязи, трупы дворняг..

нашёл этот Дом в холодном дворе, за помойкой и кузовом ЗИЛа. в старые подъезды входили люди, с балкона собака лаяла, как в «Электронике» порода. жилой, но очень заброшенный. сначала нашёл со стороны метро — даже шагами просчитал: ну точно, это кадр из возвращения Сергея домой из армии. вот Застава, площадь Ильича. вот она, Рабочая улица, вон — дом, лицевой парадный подъезд, только нет арки. видимо, отломали часть дома. бежал дом с внешней стороны, шёл, разглядывая окна, любимым, привычным занятый — уверенный, что в одной из квартир живёт какой-нибудь друг Марлена Хуциева, может быть, Шпаликов, который и пригласил его снимать сюда. твои, Тан, уроки архитектуры не прошли даром — дом окончательно привлёк конструктивистским загибом — эркером, угловыми балконами, но не более того, что-то другое тайное тянуло в него, приходиться снова и снова. фильм? Эпоха?

почему понадобился именно этот дом? ведь было множество сомнений — что не его снимали, и потом они подтвердились... нужно было пространство — пустое, чтобы обрести, вдохнуть Эпоху, её старь, её подлежащую сносу отторженность от действительности. словно врисовывал этот неожиданный в отдалённом районе дом в квартал пятиэтажек. глядел на него со всех сторон, не веря обнаруженному. почему именно он? неужели не пытался отыскать более похожий?

пытался. и ходил за заводом «Серп и молот», бродил, искал двойника. но нашёл только полый серп и молот над Яузой — каркас, обитый когда-то нержавеющей железом, в котором поселились бомжи. туманным днём весны там лаял, узнавая заново названия улиц, Красноказарменных всяких.

но двойника не обнаружил, дом не стандартный, такой только на Рабочей. однажды утром пришедши вместо школы сюда, на Рабочую — обнаружил целый консилиум чиновников во дворе. тут и познакомился с ситуацией — а дом готовили к сносу, предчувствия оправдались (хотя у них был серьёзный повод — табличка и забор, которым огородили дом-смертник). познакомился с Борисовым, комендантом дома, шефом подразделения «Стройкомплекса». каким-то образом, дом оказался выкупленным на заре девяностых, в лихолетье по дешёвке, теперь на балансе его фирмы — и Борисов сопротивлялся сносу его как своей собственности, стоящей, правда, на московской, лужковской земле.

вот тут-то и понадобился Захар Мухин, друг анархической младости, уже ставший тележурналистом. позвал его «До 16 и старше» снять, как мы защищаем дом. надо было продумать сценарий защиты. концерт с балкона — притаскиваю бас-гитару, до сей поры лишь в клубах с родным «Отходом» пользованную. группа отказывается тут выступить, играю сам. предлагалось читать стихи Даниле Давыдову, но он «обломался» и дезертировал, увидев отсутствие аудитории и присутствие вместо неё недовольных жильцов соседнего дома — звуки придрайвлённого баса разгневали.

колдовством ли считать субъективное исполнение бас + вокал «Пой, революции» ГО перед телекамерой? но после песни за мной уже стояли сподвижники, а внизу — милицейский «козлик». одним из сподвижников оказался молодой то ли мент, то ли фээсбэшник, искренне привлечённый патриотической акцией, а второй — товарищ Виктор, фотограф. вскоре, вызванная невольными слушателями, жильцами ближнего дома, милиция, подозревая в одном из самодельных музинструментов друга Давыдова Штайнера самодельное взрывное устройство или оружие, попросила нас проследовать в отделение, что находилось через дом. пугнула изъятием инструментов. но Борисов повлиял, и до отделения мы не дошли, вернулись. дальнейшее про Дом раскопал, рассказал мне Витёк.

тополя во дворе, внявшие весне и наметившие почки — ровесники Дома, тридцать пятого года постройки. Витёк выяснил даже что Ваммус, архитектор дома, не был на госприемке в ноябре, потому что болел. удивительно, но в чертежах к дому предполагалась та самая, мною выдуманная по «Заставе», додуманная часть, но пристроенная не вплотную, не с помощью арки, а отдельная — которую я подозревал, что отломали.

да, Домик, так нашёл я тебя и стал прирастать, изучая тебя, день за днём к Эпохе — все девяностые будучи оторванным от неё. школьницы с факультатива не очень понимали происходящее, но однажды я захватил их с собой — в день очередной защитной акции, на которую я выписал единственную откликнувшуюся организацию.

однако этому предшествовал другой эпизод — в самых что ни на есть наших местах, на Кропоткинской. в холодном, едва весеннем вечере я пришел к дому 13. встречный, от метро, мой маршрут опроверг наше с тобой здешнее движение. а вверх, к чаше Маргариты, за которой мы сливались с дождём, громом и друг с другом — я даже не смотрел, как в сторону магазина «Меха» на Петровке раньше от Кузнецкого: чтобы и взглядом не трогать, не менять пространства нашего любования, наших проникновенных откровений.

до сих пор пересылка меня по комсомольским инстанциям шла по телефону. говорил со взрослым голосом, говорил с девичьим (Катя Заводнова — потом выяснилось). тот первый телефон горкома дал мой дядя, тебе так и не известный, дядя Лёва, по дедовой линии родственник. и вот — Остоженка, 13. за дверью подъезда — клетка лифта, от неё — направо Совет ветеранов района Хамовники (потом много раз сам диктовал ориентиры эти). помещение старое, небольшой зал — пахнет замшелю-водопроводной и стеной стариной, до тех пор только с домом Минлоса и другими центральными ассоциированной.

встречаюсь с чёрным пытливым взглядом товарища, который меня и пригласил. представляется: Давыдов Константин. идём по коридору мимо чёрного пианино в маленькую комнату дальнюю, портрет Маркса глядит с угловатой стены — голландки. коммунист Давыдов — за стол начальником и сразу к делу: «Акцию-то проведём, а вступить к нам не хочешь ли?». если поможет делу, отвечаю, вступаю. и вступаю, анкету заполняю, отвечая, в том числе и себе, на простые вопросы о роде занятости родителей, о своем аспирантском поло-

жении, как бы давая быстрый отчёт, сухой остаток всех девяностых моих (и с тобою) — под пытливыми взглядами окруживших на стульях меня ребят-комсомольцев. с двумя разговаривая, уходя, насчет рока и «Гражданской обороны» — мол, надо под красными знамёнами концерты устраивать. один предложил услуги гитариста, если что. попал я в новую заводь людскую, вынесло меня сюда обнаружение тебя, Дом, — обнаружил и коммунистов-ровесников я.

а дом, в котором собрания проводили, на месте не случайном стоит, дом-очевидец: когда летом из-за запертости помещения мы пошли в ближайший сквер принимать пополнение комсомольское — прочитали за углом на мемориальной белой доске сообщение нам, потомкам и теперь последователям:

Здесь
в ноябре 1917 года
красногвардейцы
Замоскворецкого
и Хамовнического районов
вели ожесточённые бои
с юнкерами, в ходе которых
был смертельно ранен
начальник отряда
красной гвардии
Пётр Добрынин

(это, значит, в его честь метро и площадь — Добрынинские, где моя родственная Серпуховка проживает. точно таким же, среди них, красногвардейцев, в те же дни семнадцатого воевал с классовым врагом — точнее, даже не с ним, а с юнкерами, защитниками класса — московский, Твой дворянин, бабушкин брат Василий Васильевич Былеев-Успенский, первый красный комиссар Красной Пресни. и мы век спустя идём по этим местам, стопам революционных предков — практически там же.)

день с флагами и стихами, Рабочая, б. «Скандалы недели» (или рентивишники, не помню) потребовали активного действия. наличие красных флагов их устроило, но ещё просили (в одном из промежуточных телефонных разговоров) выкрасить деревья в красный цвет. стремление любой ценой к защите Дома призвать ТВ довело нас с Витьком до странных идей: обмотать экскаватор туалетной бумагой, например. минимум затрат, зато какой объект. пытался созвать бомонд, даже дозвонился до Вознесенского по данному моим преподавателем культурологии поэтом Вадимом Львовичем Рабиновичем. у Вознесенского ответил его, Вознесенского, тихий, едва разборчивый голос уставшего от вся мэтра, давно вознесшегося на Олимп востребованного контрреволюцией шестидесятничества, и нехотя с высот отвечающего так, что долетают только смыслы. удалось разобрать только то, что он не против защиты конструктивизма,

хоть архитектора Ваммуса, как и Рабинович, не знает, но быть все равно не сможет, так как уезжает в Польшу.

зато Вадим Львович пришёл. интересно бы его глазами проследить приближение к дому. пришедши по весенней хляби к Дому и пахнУв спиртной подзарядкой, Вадим Львович пожаловался: упал по дороге, где-то на уровне ограждений, поставили тут. а Дом — да, конструктивизм, жаль, если сломают.

но мы с моими факультативщицами — в Доме. провёл их по верхнему этажу-палубе: перегородок давно нет, идёшь, словно по длинному коридору общежития, лишь кухонные отсеки мелькают слева. быт Эпохи в разрезе, словно специально для киносъёмок. потом по ближайшей к эркеру лестнице мы передислоцировались с девчонками ниже этажом, как раз в одну из угловых квартир, на балконе которой предполагается митинг и мои песенки под полуакустическую бас-гитару. но колонка, специально для этого сюда привезенная и уже раз использовавшаяся, пригодилась только для включения в неё микрофона, для ораторов.

да, началось движение, началась какая-то хозяйская суета в незнакомом до недавних пор месте. и этим — Дом становится своим, защищаемым. новый период, не спокойной школьной сидячей жизни, а — движения. перемещения по Дому как во время боевых действий, по коридору, замечая тревожное мелькание за окнами тополей, что будут спилены скоро врагом. кто-то бежит искать листы бумаги, кто-то пошёл краски покупать, чтобы сделать плакат. быстро и нервно рисуют ученицы предвыпускного класса моей девяносто первой школы буквы на бумаге из альбома детского — «Костёр культурной инквизиции имени А. Матросова» (глава ГУП «Реконструкции и развития уникальных объектов», сносящего Дом).

микрофон работает, выступает Рабинович. Вадим Львович сетует на окружающий вандализм, но парадоксует: советует строить в будущем такие дома, чтобы не жалко было их ломать во имя новых. и стихами завершает, дух — шестидесятничества появился в доме.

я один из слушателей внизу, кто-то с флагами, кто-то руки в брюки стоя, слушает.

сначала я и считал этот дом, ассоциировал с шестидесятыми, с «Заставой Ильича», с чёрно-белыми любимыми фильмами. но за шестидесятыми открылись тридцатые. спасибо тебе, Дом: ты был дверью в сердце Эпохи. и Виктору, товарищу, спасибо, просветил — продолжил архитектурный мой ликбез.

ещё два эпизода: в подвале и на крыше. в подвале оказался, подышал исподним Дома — в поисках краски, которой стены защитными надписями покрыл: «Дом кульга 60-х», «Слава Хуциеву!» (этой надписи Борисов побаивался — не подумают ли, что прославляем какого-нибудь полевого командира? вторая чеченская в разгаре). подвал этот — был жилым в тридцатых, при нехватке площадей, рабочие вагоностроительного завода имени Войтовича тут жили. прямо на деревянных настилах спали, они тут и остались, матрасы, вероятно, более современное. даже двери подъездов и балконов, тем более, не менялись с

тридцатых — вот как время щадит Твои подробности некоторые. дерево щадит, а стены нет — там, где балконные заграждения бетонированы, стало опасно опираться, ветхо.

вот Дом. стоит в центре микрорайона, глядят на него местные прохожие, родные ему деревья, глядят дома семидесятых высокие, продолжатели по конструктивистской линии: с солариями, специальными сооружениями на крыше, напоминающими пароходную рубку. глядит настоящее лицами старых и малых, стенами серых, позже тут построенных пятиэтажек — уже без гордости конструктивистской, не оштукатуренных, без изысков конструкций и отделок. а дом-первопроходец доживает последние дни. не из-за ветхости, а по требованию действительности, которой двигатель — бизнес-мотивация, дороговизна и престижность куска земли у метро, у площади.

после того, быстро оборвавшегося концерта, с которого убежал, по собственному выражению «обломавшийся» отсутствием публики патлатый и бородастый молодой поэт Данила Давыдов — мы залезли на крышу над первым подъездом с остатками его группы «Ельцин-трип»: Штайнером и Б. пили там «Анапу» и глядели с высоты, данной нам Домом, данным Эпохой — на район. высокая весна, населённая, живущая окнами и цветущая потихоньку листьями вокруг.

может, Столица, я мечтал, во снах видел — это? я снова высоко у Тебя, гляжу в весну нового века, в незнакомый район. но где же моя девочка? нет, я с какими-то странными типами, которых сам сюда и привёл, пью напиток анархистов. словно новый подростковый период.

но вид — возвращает к Заставе, к Эпохе. к прожитому и продуманному долгими домашними вечерами перед чёрно-белым кино советским. недостроенная крыша внутреннего стока создаёт атмосферу стройки — и непонятно, ломать будут дом или, наоборот, достраивать. и лежит, не ржавеет громадная латунная шестерня от механизма лифта, как обломок гигантской машины Эпохи, которая уже не действует, которую разбирают, неотвратно рушат, как дом. призрак советского оптимизма (единственно нашими взглядами вокруг) венчает дом, шестой его этаж, для этого подъезда и только для него был поставлен лифт. по советской норме: пятиэтажка может без лифта быть — это вся дальнейшая часть дома, за загибом, в сторону тыльного эркера, а головной подъезд, шестизэтажный — с лифтом.

Дом нужен мне был — выбрать из бесчисленного множества тех, что рассматривал снаружи, найти такой доступный уголок, зацепиться за пространственную метку того времени и рассматривать, сживать, защищая. увидеть изменения стен за советскую Эпоху. посмотреть с её высоты на выросшую вокруг древесную и людскую жизнь: училище, дома, птичьи гнёзда в тополях, что спилили перед сносом. найти под табличкой первого подъезда на фанерной подкладке — мелом написанную аккуратненькую как в прописях единицу с заборной ресницей. мне надо было тоже разбирать Дом, Эпоху — чтобы докопаться до этой подробности. проходить пространство дома насквозь, ощущая планировки, просматривая композиции и масштабы той жизни, вскрытый уют ком-

мунальных квартир. и начинать высматривать в фильмах тех людей, что жили в таких домах, особо не вглядываясь в конструктивистские особенности — рабочих, их детей. таких простых, широколицых, непосредственных, свойских в тех фильмах. не скульптурно-изящных, а зачастую и неуклюжих, широкорукых, полноватых, но настоящих, реальных участников диктатуры пролетариата — тех, бывших здесь, создавших в Тебе этот Дом и населивших его.

не защитили мы тебя, Дом. не помогли ни флаги, ни митинги, ни старания самого заинтересованного, Борисова. на этой же верхотуре сидели с Витьком, ждали счастливой развязки, но экскаватор поехал во внутренний угол дома на таран длинным ковшом-«рукой». и Дом, рушась в пространстве, перешёл в поэму. не эту. двухтысячного.

может быть, я всё это тебе, Тан, рассказываю — всё ещё, объясняю себя дальнейшего? да, так оно, видно, теперь и будет излагаться. ты ушла в религиозные ритуальные танцы сознания и тела — а я в другое движение вошёл, шаговое, голосистое (можешь счесть со свойственной тебе строгостью защитным впадением в детство). политический выход из пике нашей личной, удалённой прежде от общественной, жизни.

после ясных пыльных дней тех слова Дома — в колонны 9 мая под сияющим свежей весенней глубиной небом, в комсомольские, красные ряды, рядом с ветеранами, с ними, победителями. новый пространственный уют в движении, временное постоянство соседей, «газели» с флагами советских республик впереди, высоких больших флагов создаст будто движущийся по улице Горького интерьер, в котором и я наблюдателем внутренним иду. и вместе с новыми знакомыми — от Белорусского вокзала до Лубянки. читать Тебя, дома главной улицы своим изощренным в этом утонченным взглядом — шествуя рядом с ровесниками или помоложе ребятами, из колонн, глядеть из-за красных, военно-морских, серпасто-молоткастых, республиканских флагов, из-за прикрытия кричалок и громкой музыки военных лет и какой-то новой песни со словами «я за доллары не продаюсь».

Тверская — улица Горького — не такая широкая, как кажется с тротуаров. вот уж Пушкин точно такого массового повтора своего онегинского маршрута не предполагал, надо думать. и дома подходят медленно, широко. громоздким ковёрным углом — зал Чайковского. напротив него низенький двухэтажный старейший тут домик, в котором второй выход из «Маяковской» — такое странное содружество: из заурядного зелёного домишки века девятнадцатого — попадаешь в век Маяковского, двадцатый, стальной и мраморный. на углу домика — башенка с пустыми маленькими окнами, а в переходе дома к более высокому, ремонтируемому в нечто новое — осталась реклама ещё советская «ЛОМО», оптика, ленинградский завод, считался лучшим.

и выглядывают родные переулки, из которых сюда, на улицу Горького, маленьким ходил с бабушкой или мамой в угловую аптеку и заодно в следующий магазин игрушек, магазин почти двухэтажный, с лестницей внутри, к прилавкам.

а теперь вот идёт здешний, центровой воспитанник в красных колоннах. справа дом, в котором был магазин «Радиотехника», откуда мой синенький однокассетный магнитофон «Вега», не могла наша индустрия угнаться за западной модой, вот он и был последним выстрелом вслед обогнавшему капитализму. а дом этот отделкой шикарный, неоклассицистский, тридцатых годов — пополам Большого театра и Наркомлеса (так и написано на боковом, ближайшем к Маяковке подъезде над дверью «Дом ИТР Наркомлеса»), и рисунки зеленые на стенах половины Наркомлеса на тему лесную, люди с топорами. затем цветы у подъезда — это уже артистам и музыкантам Большого театра. здесь и живёт потомок Мелик-Пашаева, Сан Саныч, который наш экспериментальный литературный класс курировал и особенно курировал нашу учительницу и поэтессу из трёх моих литературных учительниц-Николаев — Зинаиду Николаевну Новлянскую, шестидесятницу. его квартиры окна как раз на Тверскую выходят: увидел бы меня в колоннах демонстрации — сильно бы удивился, не революционером и не коммунистом воспитывали меня наши латентные диссиденты в школе — литературным критиком, публицистом, скорее.

а мы идём мимо моего и страны прошлого, близимся к Пушкинской площади: из дома слева, где была редакция «Правды», судя по вывеске, после революции — с балкона молодые сотрудники какой-то кафешки или ресторана показывают нам руками жесты-бяки. да, пропасть широка. но мы скандируем своё: «Наша родина ЭсЭсЭр!» и выходим к площади, где плотная толпа зевак. «Эй, молодые — в наши ряды!» — такой я вбросил клич, который коллективно повторяли не очень долго.

вот и справа серый угловой, если бы раскрасить, то как пряничный, дом Анны Гельман, вон её квартира на втором этаже с балконом, вросшим в бордюр над «Арменией» и спуском в подземный переход с обменником валют, окошком на самом углу. рамы не менялись, исконные, коричнево-деревянные, марля на форточке — кто-то там снимает эту элитную квартиру. да, удивились бы родители и Аня, увидев меня, проходящего в этих колоннах под их окнами. водка «Абсолют-пеппер», сыр маасдам из «Елисеевского»...

четыре ажурные башенки с глядящими в разные стороны света пятиконечными звёздами на Анином доме предсказывают Кремль. тонкий сталинский замысел, преамбула. здесь — предисловие, а внизу улицы Горького, центральной улицы пролетарской столицы — подлинник.

«Юрий Лужков — дай пирожков!» — такая кричалка рождается у мэрии в колоннах впереди нас со знаменами АКМ — у Моссовета, истинную, прежнюю принадлежность которого свидетельствуют две симметричные мемориальные доски, словами и гравюрой сообщающие, что отсюда порывисто выступал Ленин, а с другой стороны, также подавшись вперёд, его слушали красноармейцы, что-то про вооружённое восстание. стены за нас!

парадокс: из длинного, чуть загибающегося влево, вроде бы элитного по нынешним меркам дома, что, минуя Камергерский переулок, до самого Охотного Ряда тянется, в нескольких окнах, с балконов — нам бабушки и другие не-

видимые жилыцы машут красными флагами или тканью, некоторые даже снимают на своё видео. идём в самом центральном сплетении Тебя, сворачиваем к Театральной — торжественно и громкогласо.

несколько лет назад, ещё до встречи с тобой, мы с мамой ходили сюда, к «Националю», так же стояли на тротуаре под «Интуристом», смотрели, как наплывает сверху, от Пушкинской краснознамённая громада, людское море — как откровение восприняли. Зюганова видели в главе притормозившей у «Интуриста» колонны, подавшегося к тележурналистам с гвоздиками в руке. потом не смогли стоять в стороне, влились в окончание колонн, шли рядом с панками в майках «Гражданской обороны» и в лимоновских нарукавниках.

такой вот разрез нашей с тобой, Тан, лирической личной эстетики произвожу: пересекаю с демонстрацией наш путь от моего института на Герцена к твоему МАРХИ и дальше в Неё. и после поворота в Охотный Ряд — сказочный, нам всегда вечерний, восточный, тенистый, надстроечный, с садами Семирамиды на крыше, возможно, «Метрополь» — открывается впереди за красными знамёнами, в беспощадном солнечном освещении, много и многих, судя по мемориальным доскам, видевший стенами. проникаю к только нашим местам — вон слева за зеваками с детишками и выход из метро «Охотный Ряд», из которого я выходил столько раз, одиноко шёл домой, посадив тебя в вагон в сторону сначала «Красных Ворот», а потом «Университета». шёл воодушевлённый, наласканный, твой: верящий в лучшее продолжение нашего любования. но оно оборвалось — не резко, без скандалов и взаимных обвинений, а тихо, интеллигентно, незаметно, но безвозвратно. разрез произвожу красный, массовый — по магистральной улице, по бывшему проспекту Маркса, в честь которого и справа из трибунной глыбы камня вырастающий Карл, и внизу, в вестибюле нынешнего безымянного «Охотного Ряда», куда мы с тобой ежевечерне спускались — бордовый каменный, слегка выдвинутый из мраморного фона профиль мятежного скуластого бородача.

из колонн и удобнее читать мозаики «Метрополя» — что-то там сказочное, Лукоморье или Восток, какие-то аргонавты, видимо. то ли лебеди, то ли корабль. что-то тянут или гребут. и здесь в стенах «Метрополя» — таблички Ленинианы, Ты много где отмечена его присутствием.

к родному «Детскому миру» колонны подходят, дробятся — впереди митинг, под самыми стенами Лубянки. здесь на двух, сдвинутых голубыми кузовами, грузовиках — микрофон и плотные ряды рядом с Зюгановым, выступает Катя Заводнова, нашей организации представительница.

после митинга в начинающемся разностороннем движении ищу кого-нибудь, кто подскажет, где будет упомянутый с грузовиков Катей Фестиваль молодёжной патриотической песни — сказали, где-то у Белого дома. вот и знакомое лицо, которое подскажет точно, где это будет. но, Дорогой Читатель (ДЧ), о том, откуда оно знакомо, — ниже.

это было чуть раньше — зимой. ещё девяносто девятого, декабрь. из школьной обители вытаскивали меня в мир многие события — не только Дом.

о концерте «Гражданской обороны» в кинотеатре «Авангард» сообщает за несколько дней Кирилл Решетников, по собственному псевдониму Шиш Брянский, апологет и соавтор Псоя Короленко, стебиста-шансонье. познакомились где же — конечно, у Минлоса. очкастенький близкоглазый угро-иудей Кирилл проявил внимание к «Отходу», хаживал на концерты в «Свалку», где мы играли давно уже, года с девяносто восьмого без Минлоса, общались. давнюю симпатию к ГО мою Шиш разделял и по-своему трактовал «Солнцеворот» и «Невыносимую легкость бытия» ГО как «новую экзистенцию». по собственному признанию, Брянский по весне часто сходил с ума и не мог ни работать, ни по улицам ходить. а вот в сумрачном декабре — он радостно нашёл, у бабушки в гостях будучи, какой-то несвежий номер «Известий», где обнаружил объявление о скором концерте ГО в «Авангарде». мы поехали на «Домодедовскую» и купили билеты на первый день. первый для меня live ГО, Егора живьём не видывал. обычный листок А4 извещал со стеклянной двери «Авангарда», что завтра тут будет выступать «Гражданская оборона», а разогревают ее какие-то (в первый день) «28 Гвардейцев Панфиловцев» и (во второй) RAE. зависть к разогревщикам давнишнего кумира мелькнула — неужели мой «Отход» не мог бы достойно выполнить эту роль? но путь к этой мечте был не близок.

там-то я впервые и увидел сподвижников, хотя сам ещё толком не политизировался после нашего разделения и медленно, но неуклонно прибавлявшегося удаления. эстетически нащупывал новое и нужное мне политическое пространство, становясь из школьного психолога маргиналом. перед тем, как пойти на вход, мы обошли «Авангард» с другой стороны, осмотрели белокаменный брежневский ДК в солнечности дня. путь к нему от метро лежал как раз через мелкооптовый рынок, что усиливало антибуржуазный драйв в приближении к желанному концерту. прилавки с рыбой, сардельками, чаем — а тут в двух шагах от торгов начнёт полыхать революционный саунд, лучистая гитара Егора.

в тот же вечер не меньшая толпа ломилась на дискотеку в другой зал «Авангарда», но мы с панками заняли позицию сбоку, на подходе к залу. один из панков — вылитый Сид Вишес, его друг — косит под Егора, бородат и очкаст (позже узнаю, что они из клуба «Берег», помесь панк-разгильдяйства и патриотизма с гумилёвщиной). на входе, сдерживая нас, стоит, как потом из журнала «Трава и воля» выяснилось, некий панк, товарищ Василий — в чегеварской беретке и майке с крестово распростёршим руки Егором и зелёными буквами «Нечего терять». из зала через коридор доносился разыгрывающийся, репетирующий, нажимающий на низкие частоты драйв летовской гитары и его, ради которого все и ломались-давились, голос революционного пророка-шамана. Василий был очевидно укурен, шатался, благостно улыбался и успокаивал напиравших панков: «Мужики, ну Егор же тут, всё бэст, подождите, ну, скоро же увидите». в недоступном приватном коридоре мелькнул некий кудрявопатлый музыкант и принёс календарики «Трудовой России» с автографами Летова: «Это вам от дяди Егора». ажиотаж рос. наконец, отторгнутый в сторону качающийся Василий, пропустил лавину, она оказалась невелика и в зале просто затерялась.

до входа в него, в конце коридора стояли всё те же будущие мои сподвижники — молодые люди военно-панковского прикида. здесь же, у дверей в зал, раздавались те же самые календари Сталинского блока «За СССР» Трудовой России (близилась выборы) и флаера на «Чернозём», в Р-клуб через неделю.

скромные серебристые барабаны, небольшие комбики на стульях, сверху над сценой свисающее какое-то знамя, скромная аппаратура. понимая, что времени до начала достаточно — оставил Шиша стеречь свой планшет и пошёл с обложкой кассетной «Невыносимой легкости бытия» к тем сторожевым военнизированным панкам, что отделяли от Егора коридор. пустить, чтобы самому мне взять автограф, отказались, а отнести обложку взяли, сунул им свой же маркер. вернули с красивым автографом над еГО же фотографией в осеннем лесу, автограф лаконичен: Егор Летов.

долго не начинали концерт: ездили за тарелками для ударной установки, привезли какие-то неказистые, серебристые, мятые. потом на сцену вышел на вид не вполне трезвый, медленно говорящий высокий товарищ и потребовал внимания: «Панки — хой!». под тяжёлые рифы разогревающей команды он начал свою речь: «Кончается двадцатый век — век Ленина, век Сталина, Че Гевары!.. Да здравствует революция, хой!». я в массе панков бурно поддерживал и подхватывал клич этого оратора, словно нашёл давно искомое направление. удивлён и взбудоражен был хриплым, уверенным скандированием оратора: «Вешай буржуев, вешай буржуев!». этот знает, с кем и как бороться, у нацболов учился радикализму, небось. значит, есть радикально инакомыслящие — даже вот так выражающие свою идею, думал я подле интеллигентного меломана Шиша. Решетникову зачем-то я сказал, что это, скорее всего, Неумоев. но потом совместно установили даже то, что он вообще не музыкант. вслед за ним и вышло то лицо, которое я выявил из разбегающегося митинга девятого мая двух тысячного — Славик Горбулин.

сменив у микрофона высокого оратора, неНеумоева, маленький удмурдского вида вокалист поприветствовал зал голосом Летова и началось выступление-разогрев. без особого ажиотажа они, «28 Гвардейцев панфиловцев, пели про «всю правду в небо!», про «мы начинаем терпеть» — голосом Летова. однажды после песни в Славика полетела пустая пивная баклашка (угодила точно в лицо), которую он, немного замешкавшись, ответно пнул в зал. не уважают разогревающих, подумалось мне, но «Отход» это сделал бы зажигательно — «Власть вещей», примоченный бас... но тогда я не знал ни имени вокалиста, ни даже точного названия разогревающей группы, панки-охранники только сказали, что она «не очень», а вот завтра будет лучше, RAF которая, не местная.

зал, когда после очень долгого ожидания вышел Егор и начал концерт своими «Мёртвыми», начали ломать — вставать на фанерные кресла, хрустеть ими. до начала, пока я приглядывался к кумиру, кто-то из пьяных панков всплывал рядом со мной и спрашивал, пока «Граждане» устало включали инструменты — «А где Егор-то?». я радостно указывал: вон тот, бородатый, в кедах и варёной майке. волосы Егора оказались в реальности более русыми, чем можно было по

фотографиям судить. концерт тѣк как река. «Радуга» вливалась в уже готовые двери восприятия как откровение — «Полыхают в синеве города...». полыхающие, пышущие аккорды летовской гитары вырастают в радугу над кладбищем Постэпохи. наш играет рок-герой — и здесь он обязательно шаман сибирский, мало-подвижный с этой обклеенной домашними наклейками-зверьками, земными чудесами гитарой Epirhone, идол. вся эмоциональность, нюансы повествования, движения — в голосе, под хайрАми русыми, как у лешего. ощущал действие даже более значимым, чем моррисоновские лайвы, чем Дорзов вообще.

неделю потом словно по жилам переливалась лучистая полыхающая гитара Летова и его суровый сибирский, то ли шаманский, то ли комиссарский голос. уходил с концерта с чѣтким ощущением: «для меня». для меня «Авангард» стал воротами и в политическое будущее: именно туда, ещё до конца не осознавая мотив, я принѣс нарисованную в «Пэ́йнт-браше» на школьном компьютере, и перед совместным с Шишом оттуда выбеганием судорожно расксеренную картинку-пародию «In God We Trust» с боцманоподобным американским нимбастым богом. на его причинном месте, вырисовывающемся из US — цилиндр дяди Сэма, одна рука показывает фак, а другая ОК, для меня это была листовка тогда, её в конце концерта раздавал всем, включая полного парнишу в майке Slayer. народу московского на этот концерт пришло немного, человек триста от силы, всё только начиналось...

и продолжалось неожиданно — в помещениях отдалѣнных, случайных: упрекнуть за неприглашение в «Авангард» на тот концерт могла знакомая уже аспирантского периода, которая с подругой забредала в наш подвал на Сухаревке, на репетиции. Лена (имя совершенно этой пышной брюнетке с выюющимися большими волосами не подходящее)... да, с ней связано лето и осень следующие: когда уже переехавший на Шелепихинскую набережную институт, приём какого-то экзамена нами — аспирантами, когда мы с ней из института идѣм пешком на Горбушку, когда флиртую с ней — темнее тебя брюнеткой, слегка полноватой, но немного ксюшистой и оттого влекущей. как-то неуверенно и инфантильно, но влекущей. товарищ Ч Джек (а именно так можно называть меня в переходном периоде, когда уже немного лев, но ещё лабух в «Безумном Пьеро») не отставал от куривших в музыкальном подвале каннабис из сооружѣнного им в пивной пластиковой бутылки кальяна подруг, одна из которых носила модную и интересующую майку Ramones с розовыми буквами. эту майку привезла Лена из Нью-Йорка. она оказалась замужем. и экзаменационным летом завалившийся в квартиру на Кантемировской Джек попал в своеобразную богему — отмечали Ленин день рождения в жаре — огурцы для салата резал Весѣлкин, друг хипповатой этой семьи. практика наркомании была семейной практикой в этой квартирке. муж Лены — служивший в Афгане мускулистый длиннохайрый симпатяга с жѣлтыми зубами, любивший спрашивать про чрезвычайные происшествия метафорично «что, +уй в пизде?» — знал многих отцов соврока. Задерия, например. Весѣлкин просто был одним из. весѣлая

компания собиралась летом часто — и Джек в ней был лишь случайным проходящим. задымленная кухня, разговор о Ramones с серолицым сторчавшимся другом подруги Лены, который в свою очередь хвастался дружбой с «Наивом». «Слушаю ли я „РамонЭс“? — спрашивал ехидно затягивающийся очередной порцией анашистого дыма панк с переломанной и замотанной шиной рукой, которого друзья в шутку выбросили в окно недавно. — Да, иногда. Но больше всё же Игги Попа, обожаю, как он поёт «дэтка, дэтка» — dead cat в смысле. Да, Рэймонс... длинный толстый гнилозубый Джои, он ведь умер недавно...».

— Несмотря на минимализм — дико мелодичная музыка. Джои целый вокальный стиль выдумал с этими прыжками на гласных...

— Типа «о-Оу-о-О-оу», какие-то гранжерА в песенке про Джеки Чана сняли фишку. Да, это история уже. Тру панк...

— «Блицкриг боп» в каком-то американском фильме саундтреком помню.

— Тебе показалось, я знаю, о каком ты фильме, но там не Рамоны...

но не общение на задымлённой анашой кухне со сломанноруким трупанком и не дальнейшие разговоры о городских романсах и фаллических огурцах (с голубоватым, заинтересовавшимся шортистым изячным товарищЧем в этом направлении, Весёлкиным) влекли его в эту отдалённую квартиру. осенью, когда муж Лены, работавший (в сотрудничестве с армянским другом Лениной подруги) даже сапожником, из коровьей кожи делавшим «от кутюр», в поисках очередного временного заработка уехал — backdoor man Джек свалился к ней на ночь. купил дыню и приехал, долго сидел на кухне, близился к ней, ластился, за окнами уже холодало и темнело в зловещем районе пятиэтажек. и рисовалась сказочно развратная ночь с брюнеткой, формами, конечно, превосходящей вкус поэта к изяществу, но что поделаешь — ведь недаром же глянулась летом на репетиционной точке, обещалась очередная грубая и кратковременная анестезия после разрыва с тобой, моя девочка. Лена явно мотивировала остаться у неё — но вот незадача, уже ближе к двенадцати в сплошном разговоре, когда она прервала его на приём гомеопатического лекарства, выяснилось, что у неё гепатит Ц.

так долго прифлиртывался к ней — и нате. не прошли даром буйные будни наркоманской семейки. Лена не знала точно, как заразилась, но помнит эпизод достоевщины, когда её муж спасал очередного творческого друга-нарка от самоубийства — а тот в припадке самоненависти вскрывал в гостях вены. она считает, что в тот момент он, тоже пораненный ножом, получил дозу заражённой крови, а потом и её заразил. ширялись, всяко могло быть... так или иначе, страстная ночь растворилась в ночи заоконной, и оторопевший товарищЧ не знал, что делать — не убежать же предательски? Лена загрустила — никто не будет, мол, теперь ухаживать, ластиться к голеньким полненьким ножкам. Джек решил не оставлять её на ночь, тем более что уже отпросился, и помощь его нужна была — в качестве ассистента, когда соседской собачонке, оставленной у Лены, делали укол в «мяско», как она назвала место. у старенькой таксы были какие-то боли, связанные с ходьбой или удерживанием тяжёлой головы на весу, и ей надо было колоть обезболивающее. вся эта шприцовая эсте-

тика, фотографии полуголого полубога Весёлкина из «Аукциона» под стеклом за письменным столом, электрообогреватель как у Ксю — всё наполнило эту странную ночь невесёлым и тревожным состоянием гостя. моё отравленное, заражённое, измученное западными рокнаркособлазнами поколение...

явно, Тан, мои постскриптурные измены формировались, вычерпывались из некоего общего сюжетного котла — и если ситуация с изменяющей молодому мужу Ксю складывалась безопасно для товарищ Ча, то ныне, повторённая с некоторым преломлением — и муж был старше, и женщина хоть и того же сложения, но брюнетка — она уже отдавала просроченностью, безысходностью, тупиковостью... поставили обогревающий очаг к широкой постели и легли. как здорово бы тут раскувыркались — но нельзя. Лена с сомнением грустно предложила воспользоваться из мужних запасов (ещё повтор истории с Ксю) презиком — мол, всё же изоляция. но сторонник опасного секса сразу отмёл идею: ограничивать себя этим тренажёрным использованием её без возможности нырнуть в любимые нижние языческие ласки, регламентировать импровизацию — нельзя. всё же не утерпели в определённый момент, всё разговаривая да разговаривая — и Джек попутешествовал по её верхней, спешно им обнажённой половине. исцеловал её небольшие для общего масштаба грудки с навстречу его поцелуям вспрыгившими прочными сосочками. таких торчливых, упрямых, аппетитно, как печёные палочки, побуждающих к покусыванию — не встречал в своих прежних блужданиях по другим женским пространствам... но на этом и закончилось, всё время себя одёргивал мысленно, чтобы не сдёрнуть её нижнее и не забраться в опасные пределы — в сущности, даже сей рейд был риском порядочным, ведь, разбуженная и страстная, брюнетно-знойная женщина и сама стремилась вцеловаться в уста поэта, а он помнил, что в её слюне может быть гепатитик.

в конце концов, всё вернулось к разговорам, за неимением глубинных отношений — рассказам о прежних партнёрах, об американских приключениях Лены с мужем сестры... бедняжка Лена попросила побыть её медвежонком на ночь — коли не в страсти, то в уюте провести с ней ночь. обняла поэта со спины большим и тёплым своим, не нарушенным, не заполненным им пространством. некая аварийная реакция организма поэта довольно часто вытаскивала его из постели в туалет, где было полезно не только слить бывшую дыню, но и сплюнуть на всякий случай, возможно, позаимствованную и, возможно, небезопасную Ленину слюну.

так переспал не в банальном, обыденном смысле, ювелирно переспал не переспав аспирант с коллегой-психологом. в такую вот рисковую ночь забросила судьбина твоего, Тан, Тона — под утро он боялся сквозь недолгий сон лишь одного кошмара: что комар, летающий с вечера над постелью, укусит сначала её, а потом его и перенесёт вирус. мнительность? но малярия, к примеру, именно так переносится. утром, не завтракая, Джек отчалил. осыпающаяся с деревьев жёлтыми и невыжелтевшими бурыми и зелёными листьями осень забирала поэта — вела под моросью к метро мимо автосервиса, под высоченными грустными и мокрыми тополями. а поэт, привычно внемля настроению природы, с

этой моросью словно и сам высказывал своей девочке — куда забрасывает его без её взаимности судьба: такие приключения, хождения на краю пропасти, на краю неизлечимой болезни, нарочно не выдумаешь. а осень вела вперёд — к новой главе судьбы Джек-Тон-товарищЧа. на другой стороне года светилась краснознамённая весна двухтысячного.

итак, возврат. поймав Славика на Лубянке, я узнал, где место фестиваля, сказал он: «Это место „Крест“ называется, от „Краснопресненской“ к Белому дому справа иди, сам увидишь такой микроавтобус с рупором». но со своими комсомольцами я сперва поехал на „Шукинскую“ (кстати, здесь же жила Ленина подруга, здесь же я выгуливал и зафлиртывывал Лену...) — там в лесу пивная маёвка состоялась, где я и рассмотрел стройного красноликого первого секретаря СКМ Жукова, точно так же со всеми, сидя на бревне, пившего самое дешёвое, купленное целыми двумя полиэтиленовыми упаковками — „Жигулёвское“ пиво останкинского разлива. там же разговорились на тему ГО с одним знакомцем с Остоженки, музыкантом — он вспоминал, как Летов после очередного концерта на банкете, где оказался и этот товарищ, был требователен за бутылкой шампанского: «А что же Зюганов, Анпилов, когда революция?». рассказывавший это товарищ, по своему признанию, больше интересуется теперь «Мумий Троллем» и Бритни Спирс (вскоре его стало не видно на собраниях на Остоженке).

«теперь» — то есть тогда, в двухтысячном. условность времени и, главное, последовательности — в воспоминаниях неизбежная. тем хуже они как метод изложения, текстования. но куда не денешься — мемуары-писсуары, воспоминания, вкрапления, отступления. поиграем и по этим правилам, чтобы энергичнее и увереннее возвращаться к рауреалу, в Реальность.

прибыв на «Крест», нашёл там серый микроавтобус латвийского происхождения (старый, советский) и от него к ограде стадиона расположившихся зрительным залом среди погребальных плит нетрезвых нацболов, у которых при этом были модные маленькие видеокамеры, и акаёмовцев, размахивающих (словно полощущих) флагом СССР. пели все желающие подряд: микрофон для поющих держал тот самый оратор из «Авангарда». вот и мне он подержал микрофон, когда под ужасно расстроенную акустику я пел «Власть вещей». после наших невнятных бляний, после того как Славик отказался петь, объявленный как Иван Баранов, вышел владелец того самого голоса, который я слышал в колоннах и на Лубянке — «я за доллары не продаюсь». спел «Дубинушку» так, что подпевали все. весело пел и бойцово.

о, упущенный октябрь девяносто третьего!.. мы приходим на это место, но не находим того времени. и словно так же, как тогда, ложатся тут люди, бьются к земле — но пьяные, а не подстреленные. греют, жгут себя алкоголем, чтобы расслабленными, бесконтрольными, молчаливыми, приближенными к мёртвым покаяться перед теми погибшими. приходят уже молодые, за это время, за девяностые, выросшие и ставшие в ряды, продолжающие те, девяно-

сто третьего. в весенней майской сыроватости и тени выискивают ту осень. выстраиваются ряды продающих книги и кассеты — о том и не только о том октябре, о борьбе. и рядом зловещий стадион, с которого сюда вытекала кровь, вывозили в грузовиках трупы. стадион — место казни восставшего, ещё самосознанием советского народа во имя нового капиталистического порядка Ельцина, точно как у Пиночета, символично. за забором, на котором памятные подвязки тряпичные, языческие — вот он, быстрый ельцинский концлагерь, где изгнанных из вычерненного, выжженного кумулятивными снарядами Белого дома, расстреливали и давили бэтээром, как тут «крестовый» старожил-бомж рассказывает пьющим с ним у могил нацболам.

недоступный чёрный октябрь. такой, именем которого хочется назваться и писать статью за статьёй, Дорогой Читатель, (Д. Ч.) вытаскивать из себя, из памяти те дни, тот короткий солнечный день, четвертого октября девяносто третьего. мой первый учебный институтский день.

никогда не просыпался от взрывов. но они разбудили, прилетели с Пресни по Кольцу, отражаясь от стен. такой горный звук, камень о камень: сначала басовый гул выстрела, потом каменистый раскат. первое чувство, квинтэссенция обывательщины: почему же спать не дают? ещё бы покемарить... но — выстрел за выстрелом. спать уже не дадут. накануне, пока в комнате вещал новенький «Сони-Тринитрон», привезённый балетной тётей в подарок из Японии, паял я бас-гитару свою, своё оружие. спрятавшись, закрывшись от происходящего — пока в новостях нервничала Сорокина, показывали на носилках раненых бледных мужиков в трусах, уже не думающих о стыде, а только о выживании, битое стекло Останкино, рвущийся в телецентр, бьющийся башкой «Урал»... а я паял на стекле письменного стола и молчал. ни на чьей стороне. чистейший аполитичный обыватель: скорее бы кончилось, не важно, кто победит.

но — утро как утро. завтракаем с мамой и бабушкой, настороженные, но не испуганные. бутерброды, чай, кофе. и только выстрелы чеканят, прыгают от стен, доносятся сюда. несмотря на предупреждения о стрельбе и совете телевидения оставаться дома — иду, ведь первый же институтский учебный день. в этом только и выразилась позиция. учиться, учиться... а идти на Моховую, к МГУ, в центр. подождав троллейбусов тридцать первого или пятнадцатого на Страстном, понял, что бесполезно, и пешком подтянулся к Пушкинской, под землёй прошёл, вдоль Тверского бульвара мимо испуганных настороженных прохожих, путающихся неизвестно насколько удалённой осыпи выстрелов — к МХАТу Горького, за него, мимо трансформатора через желтолиственный грустно-ароматный сквер наискось спеша по солнечному холоду в сторону своего высшего образования. прохожих мало. пройти к Моховой тут можно не по Герцена, а, сократив по Брюсову, к консерватории выйти. но тут, в узком наклонном проезде у известняково-серого административного здания — кордон.

несколько деревянных пивных ящиков и два оборванца в тренировочных штанах, один взъерошенный в косухе и с «демократизатором», другой же в шлеме омовском:

— Ты куда?

— В институт, учиться.

— Ты что, какая, нах.., учёба, иди домой, не слышишь стреляют, сейчас сюда танки могут приехать, мятежники на Моссовет пойдут, вали домой быстрее! вот та толика сопротивления, противостояния, которую я ощутил тогда. причём уже в соответствующей нынешней позиции. это были враги, ещё мной таковыми не осознанные, но уже ощутимо потусторонние. передо мной стояли, заграждали путь защитники «демократии», Лужкова и его Моссовета. они надеялись этим игрушечным заграждением остановить танки? подумав об этом весело, я обошёл их засаду по Леонтьевскому переулку и благополучно, через нами с тобой облюбованный дворик за журфаком МГУ, где не виднелось уже никаких «защитников», вышел к зелёному зданию за библиотекой МГУ.

на занятие пришла большая часть курса, девчонки в основном. люди ещё не знакомые, но уже вызывающие такой рискованной гражданской тягой к знаниям уважение. как и лектор, с нездоровым, зеленоватым цветом кожи, прибывший раньше всех — Сергей Дмитриевич Смирнов. в темноватой аудитории на втором этаже Института психологии РАО начали мы своё студенчество под звуки выстрелов, рикошетившие по Калининскому сюда в потаённый дворик, где когда-то жили опричники Ивана Грозного.

было лишь две пары, по их окончании — побежал по Герцена и знакомыми дворами ближе к происходящему, в родную школу на улице Воровского (Поваровского теперь, конгломерат эпох), в которой официально даже работать не прекращал. на Никитских Воротах зрелище буднего дня вполне сюрреалистично: громкие, словно отсюда же рвущиеся, снайперские выстрелы и очереди звучат, а люди с дипломатиками, в очках, с ранцами и сумками идут по своим делам по пешеходным переходам мимо вращающегося куба-часов West. Test the West: беги от советских очередей (как за «Лесной ягодой» тут мы выстаивали в гастрономе у Леонтьевского с Лановым) под звуки очередей постсоветских, автоматных.

выключенное в Киевском районе отопление дало о себе знать в девяносто первой. занятий в школе нет, понятное дело. холод в здании жуткий, ледниковый. в нашем тридцать четвёртом полукабинете включён телевизор — Белый дом уже горит, растёт чёрный квадрат на фасаде. этот дом московские диссиденты-культурологи обозвали ещё тогда, когда строился он, «невыведенные слёзы Муссолини». Львовский с Медведевым обсуждают — что делать, если Руцкой и Макашов победят, куда бежать с книжным бизнесом и капиталами. Львовский как всегда весел, но более возбуждён. философствующий за толстыми линзами очков Медведев — спокойнее. он уверен и успокаивает Львовского, что его частную собственность не тронут, не до этого им.

а в это время колелось, откалывалось и падало, как белый камень со стен Дома Советов, сопротивление, последнее сопротивление новому порядку. в ледяной школе мы смотрели по цветному телевизору «Горизонт» — что происходит в километре отсюда в сторону Москвы-реки. и звук Твой того дня, четвёртого де-

сятого девяносто третьего, Столица, отзвуки выстрелов в тебе оказались страшноватокрасивыми, горными, как в пропасти улетающими в бесчисленность стен, в бесконечность ещё не пройденных с моей девочкой там, дальше, к центру, маршрутов. некоторые выстрелы — как лавина. брутальность, наступление, беспощадность — чувствовались за стенами, за серыми исполинами Калининского, там, в солнечной Реальности. и звуки оттуда долетали вслед за взрывами на телеэкране. пламя выживало защитников Дома Советов всё ниже и ниже, откуда их вытаскивали и вели на стадион расстреливать, тех, у кого находили оружие.

вскоре дали электричество, и мы согревались чаем, замёрзшие уже порядочно. в этот момент последние снаряды рвались в окна Белого дома, откумулятивных и вакуумных взрывов мозги и вся биомасса тех, кто находился в атакованных этажах — оказывались на потолках и стенах, а мебель добротная, элитно-советская — словно из ваты.

мокрый Дом Советов, бывший Белый дом. девяносто первый завершился девяносто третьим. то, чего боялись те защитники, наивные защитники наступающей «демократии», случилось с защитниками новой же, «демократической» конституции и Верховного Совета: и танки, и штурм, и кровь. просто неосознанный, уже залитый пивом и коммерческой неразберихой, с отпущенными ценами, прошмыгнул между двумя стояниями у этого здания девяносто второй, год выпуска нашего в девяносто первой школе.

мокрый Белый дом — кровь и моча на паласах высоких кабинетов, спящие там ночью и убитые там утром безоружные защитники. да, настала расплата за бюрократическое счастье, в демагогии и заигрывании с частнособственническими инстинктами доведшие родину до девяносто первого чиновники поссорились, и в этой ссоре бывших друзей-демократов мелькнуло слово «советы», Домом Советов — назад, роднее в девяносто третьем вдруг стал Белый дом, названный подражательно, американизированно в девяносто первом. и то же самое здание, в котором, думали в августе девяносто первого, освободятся от всемогущей тиранической армии на службе возвышенной над народом бюрократии — позже в наступившей осени Эпохи, в октябре через два года стало бастионом защиты от слепым катком навалившегося на бывший СССР реставрирования капитализма этой же самой бюрократией, «возрождения России».

но защита та — идейно беспомощная, разбредающаяся, толком не вооружённая, казачья, православная, какая угодно, но не радикально оппозиционная режиму в коренных экономических вопросах. наивно патриотичная, новорожденная, без лозунгов, без планов. именно защита, уходящая всё глубже в Дом Советов, вниз, на стадион, в землю и в Москву-реку оборона общества от ещё не понятного, тупейшего, из своих же глубин исторгнутого, буржуазного реванша. что защищали атаковавшие Дом Советов солдаты? просто порядок, как у Пиночета. дичайший случай. не конкретный порядок — определённую власть, систему отношений, а порядок того, кто крепче во власть вцепился, Ельцина: армия защищала капитализм, толком не зная, что это такое и зачем он нужен этой впоследствии нищей, деградирующей, дезертирующей, плохо вооруженной армии.

кто это пишет — тот юноша в мае двухтысячного на «Кресте»? нет, конечно. все эти слова и факты он узнал позже. (О, наконец-то в реставрации-подобном тексте возникло описание себя во втором лице, мило-мило, шармант!) ему предстоит ещё неблизкий путь к этой трибуне. он защищал Дом на Рабочей, возможно, именно потому, что не защищал Дом Советов. два дома с похожей судьбой.

и я бродил потом там, под мостом у Белого дома и у набережной Платошки, ходил и вдоль забора этого зловещего домины под триколором. искал пути для нас, моя ещё не встреченная девочка — когда уже и забыли, что дом этот Белый был расстрелян, и только сколотые серпы и молоты с боковых барельефов на этом здании Правительства РФ напоминали о том, какая власть. но линии серпа и молота видны до сих пор там хорошо — не как выпуклости, но как сероватые, плохо залепленные углубления.

буквально на второй или третий учебный день вуза декан Марголис мобилизовал меня, АлексИса Кравцова и бородача «вечного студента» Бостанджиева на покупку линолеума близ ВДНХ. пришли по назначенному адресу утром к складам магазина «Старик Хоттабыч» (вот что, в принципе-то, защищали только что расстрельщики Дома Советов — рынок), выбрали современный мозаичный рисунок голубоватого линолеума, в автобус погрузили эти «тёплые», с толстой подкладкой рулоны. в это же время грузили и вывозили трупы патриотов на стадионе перед вычерненным Ельциным домом.

от усердия я порвал под ширинкой свои чёрные вельветовые брюки, которые тебе нравились больше остальных. и поехали на старом этом носатом автобусе-ГАЗе — на улицу Герцена. а путь получился как раз через мост и мимо Ваганьковского кладбища, в приближении к метро «Улица 1905 года», к зияющему чернотой Белому дому. издали он ловил, магнитил взгляд — мрачной будничностью застывшей трагедии, видимым фактом победы «демократии», плечистым обугленным скелетом того Белого дома, который и заметен-то, символичен стал после святого для демократов девяносто первого.

но — Белый дом чернеет, а мы под командованием истого демократа Марголиса (еще не почувствовавшего вполне вкус доходной должности декана: только после первой, зимней сессии на него полились деньги платников, проваливших математику, мои в том числе, которые я потом с лихвой «отбил» хорошей учёбой, повышенной стипендией) везём линолеум на улицу Герцена, чтобы покрыть им полы комнаток на третьем этаже, где будем учиться, куда переедем с Моховой, из единственной аудитории. комнаты эти были когда-то меблированными, в нашей угловой аудитории даже голландка под обоями видна, потом в этих комнатах были комнаты допросов ЧК. Марголис по информации писавших ему диссертацию Медведева и Львовского — сын или внук рецидивиста, потому и ненавистник Советов. был у начала советской Эпохи строитель коммунизма Маргулиес — из катаевского «Время вперёд!», а в нашем регрессивном десятилетии, в моём «Времени назад» — демократ Марголис, дей-

ствительно соответственно фамилии умеющий по-спринтерски моргать (тик) и вращать глазами — вот только назад или вперёд, неизвестно.

так, мимо выжженной белизны дома-символа девяностых мы въезжали в своё студенчество, в дальнейшее сумасшедшее десятилетие, смысл происходившего в котором начал я понимать только на рубеже миллениума. а прежде — было много лирики, была Ты, открывающаяся всё новыми местами. благодаря заданиям уже не Львовского и не Медведева, а Марголиса, смекнувшего, что я послушный курьер. всё той же осенью выдернул меня он с любимой философией — на что Феликс Трофимович отреагировал философски — и отправил в Иностранку за какими-то книжками.

к высоте на Котельнической я до того времени вообще не приближался. а ведь как строили её, водил в пятьдесят втором смотреть всю нашу семью — маму с сестрой, жену-бабушку — мой дед. такое было чудо по тем временам. но эпохальности высоты я не понимал ни тогда, ни с тобой: только в общем воспринимал посыл этого возвышения, чем-то тоже по-дорзовски городским и таинственным, но не тянущим прочесть. мимо высоты прошёл к Иностранке, получил связку синих книг на втором этаже, на секунду согрелся офисным белостенным духом и был таков. тащить эту тяжесть до метро не хотелось — и я решил подождать троллейбуса. всего-то завернул за Иностранку и присел на остановке, что на входе во двор при белых восьмиэтажках. но троллейбус долго не ехал, а Ты начала тянуть меня прямо оттуда — и в сторону этих незнакомых восьмиэтажек, их жилья, их недоступного (но вдруг: стихами открою все двери) тепла. и напротив, устроенный во дворе за церковной оградой большого и круглого храма странно сообщал о себе автосервис: «сход-развал». не зная таких автомобильностей, я решил, что это название секты, которая, наверно, заняла церковь: табличка была чёрная, а буквы жёлтые, вполне сектантские по шрифту, угловатые и сумасшедшие. время то...

и впускали, согревали троллейбусы меня, начинающего свои маршруты в Тебе. Марголис далеко не отправлял курьерить, разве что нас с Бостанджиевым направил на переговоры за недостающим линолеумом к некоему бизнесмену на неизвестную окраину, в какую-то гостиницу, места Бостанджиев знал, так как туда некогда в общежития женские навещался. с утра мы в вестибюле гостиницы. периодически звоня по данному Марголисом телефону, просидели до вечера, а бизнесмен не появился. Бостанджиев выкурил пачку сигарет и дышал на меня в разговоре привычно-отвратной прокуренностью нутра. потом он решил выпить кофе в здешнем кафе, мы зашли в тёмный пустоватый зал. и чуть позже слышали, как седовласый молодой кавказец шутил со своим другом про несметные богатства, про десантное афганское прошлое и с весомым акцентом предлагал: «Давай Ельцина рэкетнём?». бизнесмен появился вечером. или он вообще не уходил никуда, а просто спал мертвым сном, не слыша звонка. он спустился и повёз нас в свой «офис» в модном с цветными кнопками лифте.

действительно офис в номере. дал в сумерках нам потрогать образцы линолеума, мы пытались выбрать наиболее подходящий к уже постеленному, то-

же «тёплый» и голубой. офис сделан из номера просто: в большой комнате большой стол, евроремонт, а в маленькой — сексодром и напротив него целая стопка техники, видео, аудио. чтобы развлекать девочек, с кровати смотреть. бизнесмен был средних лет, сед и грузен, но с ехидным бизнесменским огоньком в глазах. вот они какие были — «первопроходцы»: офисы в гостиницах. теперь-то они, если не прогорели, в центре ходят, рядом с офисами свои иномарки паркуют, костюмчиками атласятся.

а в гостинице той, особенно внизу, в чёрно-плиточном ресторане — ощущение у нас было какой-то эпохальной пустоты (пустоты открывшейся новой дистанции, беговой или исторической) и долготы плюс голода. оттого Бос и выпил кофе, поиграл в сладкую жизнь и меня угостил нелюбимым напитком. шоколадкой закусили, вся еда за день. кстати, седой кавказский рэкетиру подруливал к нам с коварными предложениями сыграть во что-нибудь, но Бос умудрился его отшить улыбаясь. мужественный вид болгарского бородача Бостанджиева, никак не похожего на моего ровесника-студента, помог обрести статус на этой чужой территории. рэкетиру был пьян, но не шатался. борода Боса вызвала в нем родственные чувства. не удивился бы, узнав, что тот рэкетиру Ельцина, если прожил до тех пор, потом оказался связан с чеченской войной.

мы были вдали от всех реально исторических событий, мы были у телевизора в лучшем случае. поэтому намёк ФилМинлоса на водянистое происхождение телекино, новостей, на некое единство телевидения с водопроводом, с ванным комфортом, как уже я дорисовываю — верно, относительно именно тех девяностых, взглядов, преданных водянистому кино о войне. но мы оставались в центре, лазили, пели, бродили, пили по сезонам разные «Балтики». мы были, хоть и поэты, всего лишь одними из — весёлыми, но ни черта не понимающими, старшины из поколения «Клинское». когда же начали определяться в политическом смысле — распалось рок-поэтическое братство. ходили то вместе, то порознь одинокие лирики. Минлос — на баррикаду Осмоловского в мае девяносто восьмого, я — на Никулинский рынок и дальше, к Тебе, в поиски тебя. от Покровских — к Петровским, от Минлоса — ко мне. пока я не встретил тебя и долго пытался, не замечая того, стать одним из уже других, чуть выше, которые женятся. но не стал и угодил в новый подростковый.

чем легко и безответственно мемуарное читиво — оно не связывает автора временной последовательностью, что уже замечалось автором выше (о, какое бюрократическое клише! bravo!). и случайная ассоциация, имя отправляет в совсем другой момент и место. другое дело — когда переход во времени обусловлен одним и тем же местом. банальная машина времени, не решающая при этом проблему перемещения в пространстве. так, придя на «Крест» в двухтысячном как в мае, так и в октябре, уже написав своим новым соратникам книгу-крылатку о Доме, я отправляюсь оттуда сейчас и в девяносто третий, и в девяносто первый.

а в двухтысячном, в октябре, на ещё греющем солнце — по заданию комсомола рисовал симметричные красные звёзды на стендах, где ксерокопии фотографий событий девяносто третьего, газетные заявления «раздавить гадину». кто бы подумал, что моё поведение в Твоём пространстве станет таким? что это я — не иду в очередной дворик с тобой или без тебя, а выполняю общественную оппозиционную работу. довольный, согретый в спину солнцем, рисовал красной нитрой пятиконечные звёзды: найденный где-то в Кастрополе секрет, символ Эпохи, за которую, как понимал я тогда, гибли в девяносто третьем.

другие наблюдали — со сталинских домов, с колонной, внутри бордовой, башни, что наверху серого углового над тем самым тоннелем, где под Калининским Садовое, по ту сторону Кольца отсюда. кто бы мог подумать: сталинские дома дождались своими бойницами для проветривания, что наивно глядели друг на друга с чердаков, — стали подлинными огневыми точками. и вы, дома сталинские, были испещрены очередями, расстреляны. так заканчивалась для вас ваша Эпоха — хозяева, любого элитного происхождения, спешно покидали ваши квартиры, сдавали их за доллары, переселялись на окраины, становились рантье. однако в те октябрьские дни — жильцы ближайших домов выбрались наверх: смотреть, как добивают «гадину». а защитники к «гадине» не имели отношения, если уж о том речь. все «гады» как раз остались у власти, сожгли партбилеты.

да, то были дни гражданской активности — даже трусливых и безразличных: вылезли же наверх сталинского дома с риском глядеть, как летают пули, как чернеет, чадит Белый дом. то были дни, когда можно было что-то изменить, хоть и не зная точно, как и куда двигаться. и если те два оборванца на задворках Моссовета ждали танков Руцкого, то не сложно догадаться, как зыбка была ситуация — сильная воля и программа прихода к власти, вот чего не было у тех, кого и называли соответствующе, не революционерами, а мятежниками. и все равно они пали не зря — они сорвали с диктатора-реставратора маску «демократии».

там же толчея девяносто первого. те редкие, штучные в истории Твоей и страны дни, когда люди прервали обычный пешеходный бег и стали группироваться не в очередь за дефицитом, а в огромную очередь за демократией, за сказочкой, сложившейся из антисоветских мифов и реальных административно-командных изъянов (точнее, из недостижений, обломов системы). и следом сменится, смоется с улиц остаточная эстетика Эпохи, ещё жившая в Тебе и в дни наших с моей девочкой маршрутов...

нет, ничего нового Ельцин в девяносто первом не придумал — просто встал на защиту того, что уже не вчера было, перестройкой начато: защитил медленное скатывание в капитализм, а потом уже и форсировал — раздавал пьяной лапой младодемократам естественные монополии как рождественские дары.

вход во всё это, клавиша будущего, на которую только нажми и кликни — там, у дома с новым названием. помню, объявляли в троллейбусе втором, там, на остановке у будущего Белого: «Совет экономической взаимопомощи». отправляющийся на троллейбусе из школы к Дубровскому и Платошке, я и думал, что эта белизна — международного значения, дипломатическая. теперь говорят

в троллейбусе: «Остановка площадь свободной России». свободной, видимо, от всех республик, кроме не отправших от эРэФии.

август 91-го застал с ЮНГами (школой юного географа МГУ), в Старом Осколе, близ Оскольского электро-металлургического комбината. последние дни Эпохи словно спешили показать её индустрию, эти громады цехов, запах выплавки, шлака, запах индустриальный, большой. сытные для рабочих обеды в нескольких столовых ОЭМК, душ, сигареты «Бонд», «Магна», Честерфилд» — у нас только на Рижском рынке продававшиеся тут во всех заводских ларьках, бартер, скорее всего. из заводского радио за столовой в пустом дворе слышали звуки митинга. ситуация форсировалась, эти настойчивые голоса, прямо как в «Прожекторе перестройки» — но мы не понимали, что грядёт. приехали, прибежали к Белому дому: мама спешит показать хоть хвостик события. места мало знакомые, нехоженые до тех пор — стекляшка-парикмахерская, какой-то переулочек (будущий «крест»). за нелепыми ветхими баррикадами, которые и показали воочию, что тут нечто действительно ожидалось боевое — за зеленью густой открывается Белый дом. несколько дней стояния там народа оставили густой дух нечистот, людской. потом он и станет одним из основных в общественном транспорте запахов начала девяностых, демократии — бомжовым. посмотрели на Белый дом, пошли дальше — туда, откуда символично и притекала к Белому дому толпа, к Американскому посольству. атмосфера события блуждала в ещё отпускных, пустых кварталах между Садовым и Москвой-рекой тут. идём дальше, к Кольцу.

Садовое кольцо смотрится непривычно без автодвижения. зловеще разинут в вечер для запоздалых зеваяк подземный проезд, до последних пор впускавший лишь троллейбусы и автомобили. издали виднеются присыпанные цветами ритмичные, к Смоленке уменьшающиеся, мясистые лужицы крови — об этом эпизоде мы успели узнать до прихода на место, так что быстро реконструировали произошедшее. на стене тоннеля что-то истеричное написано чёрной краской, и под восклицанием дата. ходят люди по московскому вечеру, глядят в сумерках на асфальт и стены тоннеля.

да, временная воронка у Белого дома, никак из тебя неумелому мемуаристу не выбраться. но — всего лишь двухтысячный, никаких пока дум и аналитики. впечатления — пожалуйста. борются во мне поэт и бюрократ. но тогда бюрократ ещё не вырос, а поэт идёт дальше по миллениуму.

четвёртого октября двухтысячного, чтобы вновь прийти на «Крест», мы от метро «Улица 1905 года» несли портреты, увеличенные фотографии погибших у Дома Советов — такой вот Пресня сгусток революций-мятежей. холодный митинг у скульптурной группы, посвящённой революции 1905 года, гимн СССР, осеннее охлаждение непокрытых голов, тут и там продающие оппозиционные, чаще антисемитские книги, казаки в форме, сливающаяся воедино эстетика военно-патриотического и просто народного столпотворения. и вот пошли медленно, под траурную музыку рояля, за «газелью» с колонками. Столица, не ожидал Тебя увидеть из таких рядов, на такой скорости, с середины

проезжей части, с магистрали, что напрямик соединяет станции метро «Улица 1905 года» и «Краснопресненскую». сливающиеся в одну линию, перерастающие друг в друга дома разных эпох, Твоих и страны.

угловой огромнооконный серый универмаг, памятник конструктивизма работы братьев Весниных, виртуозно вписанный в угол площади, продолжается невзрачным старым, а затем длинным, типично семидесятническим или более ранним, конца шестидесятых, домом. пегий кирпич, уютные вороны, местами плетённые балконы, магазины внизу — так и веет уютом времени моего рождения, тем позднесоветским, без излишеств, с дюралюминиевыми дверьми и рамами магазинов. за ним — девятнадцатый, даже извивающийся, зеленеющий сказочный модерн, посреди которого вклинивается бежевый сталинский, тоже по-своему, сдержаннее, изящный, но более широкооконный дом. где-нибудь и тут могли с тобой путешествовать, моя девочка. или во снах теперь лазить не только по крышам, но и по стенам. но я вот несу фотографию человека, убитого задолго до того, как мы познакомились и гуляли тут справа, над Рочдельской. в том девяносто третьем, который встретил у телевизора, паял бас-гитару. а ты училась в своей школе, соблазняя блондинов-старшеклассников. и теперь идём медленно, печальными аккордами рояля остужаем вывески на последних советских стенах — мозаичную, под наши же семидесятые стилизованную «Планету Голливуд» справа, которой здесь, вероятно, и не было бы, победы не Ельцин тогда. шагаем медленной шеренгой, в рядах и девушки симпатичные попадают, но не догнать тех лет, только посмертный след траур.

уже на «Кресте» одна из новых знакомых девушек покупает кассету «28 Гвардейцев Панфиловцев» «За Родину!», которую выпрашиваю послушать. и в один из четвергов, неизвестно как угадав, звоню по телефону, указанному внутри кассетной вкладки, по телефону для организации концертов. это штаб Трудовой России. спрашиваю у пожилого дежурного адрес и лечу по позднейшей осени на Пролетарскую.

в подвал на Пролетарской. ещё в метро, словно специально здесь оставленные для «красной» молодежи, встречают на кафеле станционных стен железные серпы и молоты — весёленькие, семидесятнические, но не декоративные, отдельные, «Пролетарская» же. какими-то посольскими дворами, автостоянками брожу уже в темноте в окрестностях улицы Дубровки номер какой-то... решил, что этот подвал будет виден сразу, по каким-нибудь атрибутам. и не ошибся — только не подвал, а следующий двор, где он и обнаружился — позвал наклеенными симметрично и до сих пор оставшимися на колоннах ворот плакатами Сталинского блока за СССР.

так вот где обитают радикалы — те самые военизированные, раскамуфляженные панки, что были в «Авангарде». и организация их, как известно, называется «Авангард красной молодежи». и вот тот самый медлительный и хриплый оратор из «Авангарда» и с «Креста» — Сергей Удальцов, принятый неосведомлёнными за Неумоева. из холодной простудной осени, с чужающих улиц, заросших рекламой — молодежь забирает подвал на Пролетарской. мо-

лодѣжь в косухах, шинелях, банданах. этих самых слушателей «Солнцеворота» ГО. внутри, внизу, после приветственного восклицания «Наша родина — СССР!» (только два «с», чтобы удобнее было скандировать), сразу согревает ощущение боевого братства. я нашёл их, вслед своим на Остоженке — соратников, революционно воспламенившихся от действительности. наивно рассчитываю с первого же знакомства с Удальцовым в кабинетике Анпилова, куда ужалось собрание, надеюсь попасть со своим «Отходом» в качестве разогревающего состава на декабрьский концерт ГО в кинотеатре «Марс».

та надежда не сбылась, Удальцов прокатил, зато завязалось знакомство, записалось на видео моими руками получасовое интервью Егора с громким из-под камеры вопросом от автора: «Егор, революция возможна?!» и первое с ним рукопожатие — рука Летова, выходящего из туалета, была мокра, и он не торопился её давать. серые глаза оказались безучастно прозрачны. а ведь именно к нему, сперва наслушавшись «Прыг-Скока» и всего предыдущего, а потом пополам с «Мастером и Маргаритой» начитавшись интервью Летова в газете «Энск», я хотел убежать летом девяносто второго в случае неудачи при поступлении на геофак МГУ — шаманить в Сибирь, быть еГО басистом... в 1992-м такое рисовалось. а только в двухтысячном оказались рядом. жить надо долго, судьба медлительна.

подвал на Пролетарской... сначала отдалённое сидение в рядах, реплики с мест — пламенные, тревожные, вызывающие к новому боевому братству. раздавал там свои крылатые книги — лицам, способным понять.

историей с Домом на Рабочей заинтересовалась ещё летом «Советская Россия» — вот и случился повод высунуть свои строки без препинания на газетной полосе, «Телеграмму Маяковскому», дал её на дискете. бывавший на Остоженке-13 после собраний, на вид благополучный и респектабельный, упитанный журналист оппозиционной газеты Ибрагим Усманов способствовал: встретился у входа в «Комсомольскую правду», взял дискету. пока я ждал его там, летом — от здания и вывески повеяло, повиделось ещё не оконченной борьбой, цветным орденам газетным благодаря — Ленина, Революции. вся редакция спорила — ставить или нет запятые. оставили исходник, но напечатали только фрагменты.

иссякал, забирал с улиц, с Остоженки-13, с холодающих митингов, от новизны близкознамённой эстетики, рассыпался снегом в зиму, в традиции, во вневременное домашнее — двухтысячный: забирался обычным своим медвежьим манером в берлогу, влево, на поворот счётчика годов к новой цифре.

и там уже, за поворотом, на зимнем съезде СКМ в Росагропромстрое, уютно расположившемся за Тишинкой (куда я забредал в середине девяночных, удивлялся-радовался уцелевшей за целым кварталом гаражей поливальных машин доске почёта с Лениным), в ярко освещённом паркетном предбаннике у зала, я вручил Усманову серо-красную книгу-крылатку, открывающуюся той самой телеграммой. принял он радостно и с уважением, пришлось надписать. спасибо вам, авангардфоманские мои книги, спасибо парадоксальная, некоммерческая поэтическая активность в неизвестном направлении — вы таки, не достигши прямой цели, вытолкнули на новый виток. итак, настал двести тысяч первый.

Усманов позвонил в марте после дня рождения и, словно поздравляя и одаривая, пообещал издать новый сборник стихов, коли сыщутся. что-то новое и сулящее большие надежды почувствовал в бабушкиной комнате у телефона — в сторону Савёловского над ещё снежными крышами — обнадёженный так внезапно автор. поручением при обещании было: выяснить, почём можно издаться, телефоны «Молодой гвардии» и ещё какого-то издательства сам Усманов и дал. выясненные мной суммы отпугнули Усманова сразу. зато вариант печати по-старому, как две предыдущие — успокоил и вернул к первоначальному замыслу, тираж не менее пятьсот экземпляров.

о, фразолого «Яблоко» (так однажды оговорился Явлинский), как же тут не вспомнить всё, с тобой связанное, да простят меня мои товарищи антилибералы! но это вернёт опять в ещё наши с девочкой совместные и одновременно мои анархические уже местами девяностые.

ты никогда не понимала, не одобряла моей дружбы с Минлосом, вероятно, из-за его внешней квазимодности. он просто отпугивал тебя видом рельефного, поеденного подростковым угризмом лица. но вот, возникшее откуда-то вместе с его новым другом, поэтом, флексистом Винником, движение «За анонимное и бесплатное искусство» было и того раньше — в девяносто сельмом.

нет, девяностые, вы не так уж незаметно продулись мимо лиц: вы были нам и огнём и полыньёй. мы с нашими песнями и гитарами звучали в акустике старины девятнадцатого века (Движение F), забирались на балконы разрушаемых домов (дом 6, Рабочая) и в пещеры подземелий (Горки Ленинские).

и начало было у девяностых в девяносто первой школе — рок-музыкантским, под стать начинающейся Постэпохе, о которой, как и о контрреволюции, мы, её эстетические буреветники, пробуящие экспортного пива «Тройка» из Новоарбатского в школьном туалете девяносто первой или в арбатских дворах на весеннем солнышке, ещё и не подозревали в начале — в девяностом, например, году. гуляния по «нашему Бродвею» Калининскому, под нашими небоскрёбами брежневской «вставной челюсти» продолжились в песнях, в изучении электрогитар — уже руками восьмиклассников, наслушавшихся рока до состояния собственного желания начать играть.

место газетного билда — набор нижеследующей части ретроспективного до стыдности интерактивного текста, написанного для сайта группы будущим красным журналистом, осуществлялся ещё в кресле школьного психолога, но и этим билдам головы заглавных букв-то снимаем-ка.

начиналось всё зимой 1990–1991-го. пионервожатая девяносто первой школы решила облагодетельствовать старшеклассников и одновременно очистить помещение вожатской. а стояло там: 2 электрооргана, электрогитара без звучка (форма деки а ля в мультике «Бременские музыканты»), гитара «бас-1» с нелепо оттопыренным грифом и вполне комплектная ударная установка ЭПОИМИ (без хай хэта, но с остатками каких-то стоек). спор за этот реквизит развернулся между несколькими представителями меломании из

8-го «Б», 9-го «А» и двух 10-х классов (кажется, группа «Паспортный стол»). но будущие отходовцы победили числом: вокруг деловитого Саши Щиголя из 9 «А» сплотились одноклассники: Андрей Некрасов и Дмитрий Чёрный + Филипп Минлос и Лёша Касьян из 8 «Б» — все они стремительно хотели музицировать, наслушаны они тогда были разным, кто — чем: сов-роком, хард-роком — сходились, однако, на «Битлз» (которых увлекавший трэшем Чёрный ни разу не слышал). обретя инструменты, вышеупомянутые люди их тотчас отвезли на квартиру Щиголя в районе Таганки, которая и стала репетиционной точкой.

собирались раза два в неделю — просто, так сказать, поощупывать инструменты, причиститься рок-эстетикой: играть тогда на них никто не умел. кое-что на акустиках могли наиграть лишь Щиголь да Минлос. Чёрный тоже чему-то насамочуился в плане шестиструнки-акустики, но зато был профессиональным клавишником — окончил семилетку по классу фортепиано: его и усадили за клавишные. на бременскую гитару Щиголь поставил купленный в ЦУМе басовый звук — после чего зазвучала она сурово и романтично. но и молодец Минлос не терял времени — он в то время уже учился в «Красном химике» по классу электрогитары. состав был хаотичен — визиты к Щиголю напоминали простые тусовки-гости, но при этом люди постоянно говорили о группе, придумывали название в транспорте по пути к Таганской, менялись кассетами. включённые в домашнюю стереосистему «Радиотехника», электроинструменты создавали именно тот магнетизм, который делает из слушателей исполнителей.

за окнами февральские морозы, снегопад, моё долгое послерепетиционное ожидание троллейбуса «Б» на мосту, а в комнате Шурика струнный и клавишный гул «Я хочу быть с тобой»... до мурашек пробирающая история столь желанной тинэйджером начала девяностых страсти, побеждающей небытие. и действительно — все мы тогда начинали хотеть, «хотели быть». но тобой, моя девочка, моя Тан, тогда ещё не грезили мои фиолетовые, с салютами ночи. хотя — в рок-н-рольной знакомой Наташе с подготовительных курсов геофака МГУ — что-то было твоё: брюнетка, стройная, но глаза голубые. хотел быть с тобой... «стекло как шоколад в руке», суицидальность — о, это была очень востребованная песня! это всё странный Кормильцев, книгу стихов которого для себя и значок с пальцами, играющими на четырех струнах колючей проволоки, для меня Щиголь приобрёл на фестивале «Рок против террора» (подразумевались «кавказские горячие точки» ещё СССР). социально вызывающие, роковые и при этом философские для девятиклассников тексты, как, например, про мясников, трахнувших целый город, — вовсе не рок-н-рольно выглядящего, домашнего такого, при очках (на фото в книге) немолодого Кормильцева — Щиголь тотчас стал укладывать на музыку, чтобы выходило не хуже Нау. и научился постепенно (например, «Мне снилось, что Христос воскрес» — песня, записанная «Отходом» в девяносто первом году, а «Нау» сделал свою версию только к концу смутного десятилетия на «Яблоките»).

первые репетиции группы без названия выглядели как настоящие сейшна: музыканты то и дело менялись инструментами, а исполняемой вещью становилась первая попавшаяся, кем-нибудь любимая, песенка (простота которой тоже играла немалую роль).

играли то «Я хочу быть с тобой» под грустный клавишный аккомпанемент Чёрного, то «Let It Be», «Get Back»... барабанить чаще всего пытался Некрасов, но — за отсутствием ритм-таланта и по нексеянской сумбурности — ему быстро дали отставку. Минлос с Ци-

голём постоянно менялись басом и электрогитарой — но последняя плоховато работала, так что чаще Щиголь брал акустику или садился за барабаны. на барабанах все трое — неприкасаемый костяк Щиголь — Чёрный — Минлос — играли одинаково плохо. первые исполнения вышеупомянутых песенок напоминали транс, затягивающиеся минут на десять: так познавались инструменты и их драйв. главным было — поймать аккордную сетку, в ноту попасть, а там уж — ломиться...

в ходе репетиций стало ясно, что петь кроме Щиголя никто не осмеливается. появились кликухи: у Чёрного она уже была (ещё по школе) — «Джек», Минлос сам себе выдумал длинный псевдоним — «Филипп Буххум Кука Минлос», из которого для общения вытацили «Куку», Щиголя называли просто «Шурик». да: Касьян, которого Щиголь и Минлос хотели сделать фронтменом (бо вид имел в ленноновских очках и с прямым длинным хайром внушительный), пробовал на первых парах быть ударником. но в группу он тоже не вписался и отошёл от дел (с ним продолжал общаться одноклассник Минлос, надеясь организовать альтернативный состав). мало-помалу намечался постоянный репертуарчик для репетиций: к Летитби и Гетбэку приплюсовались несколько песен обожаемого Щиголём Наутилу-да, да ещё те песни, которые Шурик начал (в подражание тому же Нау) писать сам.

отсутствие ударника поначалу мало кто замечал, так как все, время от времени — по очереди — подстукивали в песнях. в черте внимания группы при этом непрерывно был суперпрофессиональный ударник, покуривающий вместе с 9-м «А» ученик выпускного математического класса, Андрей Белов — но он оставался верен своему родному «Бродячему Оркестру» — группе, на тот момент запредельной по уровню игры (для оных персон). позже, в середине девяностых Оркестр, оставшись вдвоем (ударник-гитарист), дорос с новым вокалистом и басистом до Бредней Ацидофила. но этот самый Белов, с которым Некрасов и Джек познакомились на почве табакокурения за углом школы, таки присоветовал им знакомого «начинающего ударника» Виталию Чаплина, парня из его Щелковского района, где Бродячий Оркестр (друзья-соседи) и репетировал в бомбоубежище. Виталия, поначалу порадовавший ребят уверенным владением хайхэтом и ритмическим рисунком «умц-тац-тумтум-тац», потом тоже получил отставку, ибо сбивался и робел. к тому моменту инструменты закрепились за участниками в следующем порядке: Джеку всё же удалось вырвать из ловких и быстрых рук Куки бас-гитару (клавиши на тот момент куда-то делись — вроде бы пронырливый Щиголь отнёс их в комиссионку, а на вырученные деньги купил там же полуакустическую Вермону), Кука становился соло-гитаристом, а Шурик Щиголь — ритм-гитаристом и голосистом. вскоре и Кука приобрёл себе электрогитару «Урал»: соло-гитаристу требовался хороший инструмент. эта новенькая гитара с вибратором, свежими звенящими струнами и всяческой вкусенькой оснасткой так сильно соблазнила Шурика, «Джека» и даже Некрасова, что они — все по очереди — уединялись с ней в тихой подвальной раздевалке для младших школьников, каждому давалось по полчаса. обоими гитаристами постепенно были приобретены примочки Лель «Драйв-Дисторшн».

на горизонте группы постоянно маячил старшеклассник Паша Бородин, оснащавший Минлоса и Касьяна всякими психоделическими новинками с Горбушки (тогда — сугубо пластиночной толкучки-менялки). в свою очередь Паша Б. (Пашаб) по мажорской линии — как-никак внук Покрышкина — был знаком с сыном одного известного художника, Тихоном Шаровым, у которого нашёлся одноклассник, прочивший себя в рокеры

(а именно — в ударники) — Петя Жаворонков. появившись на первой репетиции у Щиголя, Петя сразу же вдохновил трио — умело и довольно экспрессивно бия по тарелке, томбасу и ведущему: такова была конструкция, оставшаяся от ударной установки после частичного её перевоза назад в школу. решено было Петю оставить — в группе он был самый младший, но очень тянулся к рок-эстетике во всех её проявлениях, стяжал кассеты и стремился попасть на любые концерты (таковым событием и стал вскоре концерт «Рок против террора»).

с названием группы дело тянулось — по дороге к Шурику, как-то раз, едучи вместе во втором троллейбусе мимо площади Революции и гостиницы «Метрополь», Джек, Минлос и Касьян перебирали примерно следующие (набросанные Минлосом на бумажке) варианты: «Зелёный Абажур», Генератор Усиленного Напряжения», «Свинцовый Туман (Ветер)» и какие-то ещё сокращения. не подходило ни одно название. но однажды, когда вопрос встал ребром и решено было во что бы то ни стало к следующей репетиции определиться с названием, Шурик Щиголь неожиданно форсировал ситуацию. он, в качестве одного из аварийных хиленьких вариантов, предложил «Отход на север», название одной из песенок боготворимого им «Наутилуса». Кука с Джеком переглянулись, попробовали откромсать «на север» и получили интригующее, двусмысленно-панковское, что тогда особо ценилось, название. Щиголь, вроде бы, тоже был не против такого лихого наименования.

тут надо пояснить: в группе к тому моменту сложились две тенденции — Щиголь стремился к мелодизированному мягкому совроку, а Минлос с Джеком, всё ближе становясь знакомыми, меняясь кассетами, ратовали за тяжесть и грубую асоциальность (будучи абсолютно на тот момент незнакомы с зарубежным панк-роком, но в качестве образца имеющие в виду Гр.Об.). Кука с Джеком сошлись на Metallic'овском «Kill' em all'e». с Обороной в 91-м году Джека познакомил Некрасов, постоянно приносивший с культурного и уличного фронта вести: о каких-то анархо-синдикалистах, панках из «Трубы на Пушкин», о некоем Алексее Цветкове (с которым затем он летом 1991-го отдыхал в «Орлёнке», и осенью опубликовал в «Глаголе» первую статью про «Отход» рядом с фото Металлики в Тушино, а на первой полосе стоял на фото из «Орлёнка» монументально скрестивший руки длинноволосый Цветков, некто коротко по-арийски подстриженный Пашка, вскинувший хайль на фоне доски почёта с Лениным и по-киссовски высунувший язык кудряво-патлатый Некрасов — в джинсах, рваных более цветковских, расписанных в девяносто первой и маске ныряльщика, показывающий двурукий фак), что вёл демонстрацию анархистов и панков в отделение милиции после того, как с перекрытия на Пушкинской площади улицы Горького часть их повязал и увёз ОМОН: свободу панкам!

на некрасовскую девяносто минутную кассету «WAGDOMS» (кем-то из младожурналистских знакомых по газете «Глагол») был записан сборник песен «Обороны» периода 1985-87. Кука же, воспитанный на лучших образцах англоязычного хард-рока, психоделии и прочей роскоши, в «Оборону» въехал только к весне — лету девяносто первого.

новый барабанщик, Петя Жаворонков, тоже порадовался названию «Отход» — ему вообще нравились всякие злые и неконформистские штучки в таком роде. кстати: у Пети в районе обнаружился знакомый, большой фанат «Обороны», имеющий доступ к бабИнам с Гр.Об.овскими альбомами, которые вышеупомянутые слушатели повадились у него регулярно переписывать.

весной 1991-го года решено было дать первый концерт в школе — обо всём с администрацией договаривался Щиголь, а он это умел делать. компромиссы Шурика доходили до показывания текстов на предмет политкорректности директриссе. репетиции из дома Шурика переехали обратно в школу, где отважные «Отходы» умудрялись музицировать в актовом зале в момент совместного прогуливания ими уроков. набор песен на тот момент составлял примерно 80 % песен Щиголя + «Битлз» и «Нау». основные репетиции происходили после уроков, когда приезжал Петя.

концерт состоялся в апреле: полнота зала (примерно 200 человек, включая педсовет и завуча: подобные мероприятия накануне девяносто первого были пока ещё в диковинку) так вдохновила «Отходов», что они в ходе концерта не обратили внимание на расстроенность инструментов. перед самым началом концерта полетела правая колонка ЛОМО, ремонт которой (самоотверженным школьным звукорежиссером Володей Булчукеем) и осуществил функцию «подогрева» зала. в ходе концерта Джек совмещал роли басиста, клавишника и подпевщика — это, вместе с наидлиннейшим (к тому моменту) в группе хайром, делало его окончательно похожим на Умцакого, а группу с явно подражающим Бутусову голосом Щиголя — на этакий школьный «янг» «Наутилус Помпилиус». на бис были сыграны знакомые песенки «Битлз» — довольно хардово, а из «Нау» получился вообще какой-то трэш. концерт был записан, в начале звучит вступительное слово Некрасова. после концерта все поехали домой к Джеку и доотметили вермутом там его бездэй.

после концерта репетиции в школе продолжались — «отходы» готовились к записи альбома, о которой Щиголь уже договорился с Володей Булчукеем, звукорежиссировавшим до этого уже не один альбом «Бродячего Оркестра». отмучивши экзамены, ставши страшекласниками, Отходы стали готовиться к записи. тут внезапно возникла на два раза новая репетиционная точка в близлежащем таганском ПТУ, где отходы и надеялись записаться — но не сладились, уже наставало лето девяносто первого: группа репетировала перед зрителями из ПТУ, ритм-секция в лице Джека и Пети сливалась в экстазе, а патлатый Минлос в перерывах между исполнением своих нелепых соло прислонялся-садился спиной к двери и читал томик Кастанеды...

решили писаться дома у Щиголя: его семейство к тому моменту как раз уже собралось сваливать в Израиль, и поэтому большая комната, вполне пригодная для записи, освободилась. перевезли ударную установку, бабинники и всё остальное — и в июне начали писать. значимость этого события под конец жарких недель «студийной» работы была подчеркнута появлением Некрасова в новом амплу журналиста, главного редактора независимой от взрослых газеты «Глагол», на предмет взятия у молодой группы интервью — при этом Некрасов покуривал Marlboro-lights, что практически выглядело как антураж неминусовой мировой популярности. альбом состоял из тех же, сыгранных на апрельском концерте, щигольских песен + ещё три, его же, новые, которые составили дополняющий LP условный «миньон», EP, так сказать — «Медные всадники». назвали всё это — «Жёлтый свет», по названию одной из последних песен, написанную Шуриком на слова Куки, при этом имея в виду и промежуточную квалификацию группы.

Записавшись, народ разъехался кто куда: Щиголь — на постоянное место жительства в Израиль, Джек — в экспедиции на Алтай и в Старый Оскол, остальные — по дачам. говорят, этот первый альбом «Отхода» наш одношкольник Виноградов из математиче-

ского, постарше класса, будучи этим же летом в Лондоне, принёс домой к Дэвиду Гилмору и, после того, как тот не захотел с ним общаться — бросил в почтовый ящик. между записью альбома и вторым концертом незаметно и не особенно впечатляюще прошла линия исторической трещины августа 1991-го.

новый учебный год предварили знаменитые августовские события, а начало учёбы — концерт «Монстры Рока в Тушино». «Отход» откликнулся на всё это написанием новых, значительно более тяжёлых сравнительно с щиголёвскими, песен и октябрьским концертом в школе «Пятница, 13».

маленькая предыстория концерта. Джек и Кука весной девяносто первого окончательно сошлись во вкусах на прослушивании «Live At Brixton Academy» группы Faith No More. Punk' n' thrash — вот стилистический идеал, к которому планировали они стремиться. уходя из щиголёвской квартиры с отданным и проданным им в попытках отъезда барахлом, Петя, Джек и Кука решили не распадаться, но наоборот укрепить своё трио, название оставить, звук ужесточить и начать разбирать песню Куки «Свинцовый ветер». эта песня, претерпев массу текстовых и музыкальных переработок после, на «Девятке» станет «Охотничком». но тогда, на октябрьском концерте, она была исполнена со старыми словами, которые пел в основном Кука. к концерту готовились у Джека дома, куда переволокли ударные. из щиголёвского репертуара оставили, кажется, только «Коридоры власти». концерт отыграли неплохо, правда, отсвирипевший, бывший стены перед концертом, Петя заметно лажал. записан концерт, к сожалению, не был, да и посетителями не оказался густ. пришли в основном друзья и родители. на этом концерте впервые была сыграна песенка «Невзавраду», которую Джек сочинил находясь (в августе) в душевой оскольского Электро-Металлургического комбината: уж больно провоцировала потрясающая акустика и таинственный свет.

после концерта, на следующий же день, Кука слинял со родителями в Италию на три месяца. началась эпистолярная эпопея, от которой в архиве группы остались письма Джека в Италию и ответы Куки (переписка продолжалась и летом девяносто второго, когда Джек бесславно закончил школьный период своего образования, обломившись с поступлением на геофак МГУ, а Минлос балдел в Прибалтике).

эта переписка положила начало всему последующему дискурсу этих двух персон — включающему не только музыкальную тематику. из Италии Кука писал, что там много всякой хорошей музыки в музмагах — Soundgarden, чёрный альбом Metallic'и... (в тот момент уже взойшла звезда Nirvan'ы, которую первым в «Отходе» заметил Петя.)

наслушавшись за кордоном и на родине всякой тяжести, на весенних каникулах «отходы», воссоединившись, решили записать новый миньон из трех песен с помощью бессменного Володи Булчукея. главным композитором группы на тот момент был Кука, он достиг своей вершины в плане владения соло-гитарой и мелодически-риффовых выдумок, но стиль его соляков сильно отличался от традиционно рок-н-рольных, что после сыграло печальную шутку с «Отходом». новые композиции представляли из себя усовершенствованные осенние наработки — две песни, тогда называвшиеся: «Свинцовый ветер», «То, что должно быть коротким» — и «Мадонна» (здесь Джек и Кука посотрудничали в отношении риффов и текста), к ним предполагалось прибавить и Джекову «Невзавраду». писались дома у Джека, но накануне записи в процессе разбора новых сложно навороченных песен оказалось, что Петя не тянет. решили устроить конкурс ударни-

ков — на Джековом флэту состоялся турнир трёх близлежащих ударников: Андрея Белова, Пети Жаворонкова и Лёши Касьяна. первым за установку сел Касьян: после первых же его педальных ударов бочка уехала вперёд на столько косых саженой, что всё с ним было ясно. Петя отстучал неплохо, но серовато: в додекафонической части композиции «Свинцовый ветер» содержалась наихитрейшая сбивочка, которую он не подчеркнул и залажал. лучше всех выступил Белов: его виртуозное владение второй педалью (карданом) и райд-отстукиванием по тарелкам создало ярчайшее впечатление как у Куки и Джека, так и у соперников — все сошлись на том, что писать надо Белова.

на флэту в период весенних каникул записали только два инструментала: «Ветер» и «Короткое» — «Мадонну» писали уже во время четверти, в актовом зале школы, после учёб. вокал на эти три песни тогда так и не был наложен, «Невзаправду» вообще не пытались записывать — начиналась предэкзаменационная истерия.

второй год: непоступление Джека в институт, его школьное лаборантствование, привнесли сумятицу в ряды «Отхода», да и Кука временно завязал с музицированием, хотя летом на эту тему и переписывался с Джеком. самым активным в Отходе оставался Петя, который постоянно вытаскивал Джека на какие-то сейшна — за отсутствием отходовских репетиций Петя переметнулся в группу ВПШ. («Высшая партийная школа»), которую образовали тоже старшие (старшего из «отходов» на год) выпускники девяносто первой школы, одноклассники Серёга Миронов (гитара) и этакий мажористый полнощёкий Сид Вишес, Ваня Воробьёв (голос). там играли более рок-н-рольный панковатый музон с несравнимо (с Кукиными) менее интересными текстами типа «Я хочу сжечь Москву» — всё это напоминало московский «Сектор Газа». группу отличал колоритный кудрявый красавец брюнет, персонаж по имени Макс Карманов, виртуозный соло-гитарист, окончивший Гнесинку по классу акустической гитары, но в группе предпочтший соло-гитаре басуху: фишки, которые он на ней выделял это оправдали. ВПШ. выступили в каком-то детском учреждении на Полянке и у них тоже начались перетурбации с составом, в процессе которых Джек, подталкиваемый Петей, не раз пробовал занять место басиста, которым в конце концов стал сам дородный отец группы «Фруча» Миронов. позже эта креация, сменив вокалиста и соло-гитариста, стусовавшись с Тутой Ларсен, переименовалась в Jazz Lobster. потом вокалистом этой группы станет Тихон Шаров, на чём (ком) она и закончит своё существование, передав значительно позже двух участников в новый состав IFK: барабанщика Петю «Р. J.» Жаворонкова, а чуть позже, благодаря протекции последнего, и второго вокалиста Громкана Кубова (Тихона Шарова).

период девяносто второго — девяносто третьего годов в плане репетиций и записей представлял полнейший хаос: писались дома у Пашаба, по его еженедельным приглашениям (в основном там-то и встречались Кука и Джек), Кука вместе с Пашабом углубились в психоделию и арт-рокерство, которым вовсе не восхищался Жаворонков, решивший профессионально связать себя с современным околпанковским рок-н-ролом или, в любом случае, с чем-то тяжёлым (о чём свидетельствует его тогдашнее сотрудничество с Саевичем — ныне Mad Dog — и группой «Апокалипсис», где Карманов солировал). на профессиональную ориентацию Пети сильно повлияли видеошколы, которые он просматривал и позже переписывал, будучи в гостях у джековского двоюродного брата, профессионального джазового ударника.

пашабские записи того периода частично вошли в «Девятку» — со всею их психоделичностью и лажей (бас — Джек, соло — Кука, барабаны — Петя или Пашаб, ритм-гитара — Пашаб). саунд этих записей — стихийный постпсиходелический гранж, порождённый самодельной примочкой Пашаба, запредельными соляками Куки и глухим джековским басом.

находящийся на противоположном от 91-й школы краю улицы Поваровского, дом Пашаба, дом Покрышкиных, что своим неоклассицизмом и лепным изобилием спрятался от Садового кольца и высоты на площади Восстания за угловым домом сорок девяти года постройки с маленьким серпом и молотом в венце под датой, и за веснинским конструктивистским Театром киноактёра — тоже часть эпоса девяностых. его низенький со двора вход в горевший однажды подъезд, толстые стены, растительно-плодовая лепнина элитная, сталинский аванс заслуженным людям Эпохи и их потомкам. и вот в этих стенах, выглядывая из окна пашабской комнаты на дворовую часть и крышу дома Большого театра, что напротив посольства США — выдумывал я на музыку Паши стих «Тайна мелодии», играли и слушали психоделию. в продолжении вида из элитного окна квартиры Покрышкиных разлетались по крышам звуки моей, точнее бородинской мелодии, на которую я потом выдумал басовое соло и текст. плыл туда во дворы наш рЕверный саунд... сильно позже узнаю, что это — пространство «Баллады о влюблённых», ещё одного кинопредсказания нашей поэмы, только не как Заставы — шестидесятых, а уже семидесятых, когда на месте пристройки нашего спортзала и столовой ещё стоял старинный дом (он и она проезжают его на мотоцикле по улице Воровского в самом начале фильма).

Паша Бородин — классический для предконтрреволюционного десятилетия внучок героя ВОВ, грозы фашистских ястребов. «Achtung, achtung — в небе Покрышкин!..» внук же его Пашаб — персонаж рубежа Эпохи и Постэпохи: потомок героя Эпохи, но уже в элитных массивных стенах интересовавшийся не историей отечества и не целью, не делом отцов, а западной музыкой, устроивший в гостиную репетиционную и записывательную точку: зелёная ударная установка среди благородного антикварного интерьера на лакированном паркете, пулыг микшерский с аналоговым ревербератором среди застеклённых больших картин. и всегда грустный, полноватый, добрый, мягкий Паша, наменявший и напокупавший на Горбушке ещё до её разрастания в рынок редкую коллекцию психоделии и рок-шестидесятничества, всевозможные вандерграфовы генераторы, кримзона, дорзовы бутлеги, переписанные Джеком полностью, включая Ванкувер с ЗэЭндом.

а был Пашаб простым, лирическим, грустноватым таким мальчиком с большими крестьянскими ладонями — незамысловатым даже: ставящим фотографию знакомой и нравящейся клорнетистки из Гнесинки в шкафчик, чтобы видеть часто её, уехавшую от него и его ухаживаний в какую-то за границу. с ней, с её маленьким алым ротиком-минусом, Джек выбегал курить «Житан» и флиртовать на лестницу, так как сам Пашаб тогда не курил. возможно, поэтому, ущемлённый, он и закурил вскоре: чтобы обрести и этот дополнительный ареал, режим общения с нравящейся девушкой. а то в перерыве очередной психоделической записи взяли и выбежали на элитную лестницу, оставили его...

сейшновая практика продолжается до девяносто пятого года. В девяносто четвертом Джек близко сходится с Мишей «Мэйдэном» Смирновым (старшеклассником-одношкольником и давнишним поставщиком трэш-записей в Джекову фонотеку). как-то

раз, случайно встретившись на мажорской квартире у Мишиного одноклассника Пашаба, они двинули к Мэйдэну на близлежащий флэт и забабахали там Master Of Puppets на двоих: в Джековский «бас-1» и Михину Стрелу Фернандесевну. увлечение Джека металлом сказалось по-новой: решили с Мэйдэном сейшиновать, играя Металлику, вплоть до образования полного состава. вторым гитаристом, впоследствии ставшим именно соло-гитаристом, но не в этом составе, Миха планировал Антона Гольшева, ученика родной девяносто первой, посетителя «отходовских» концертов, начинающего металлюгу. потренивавшись вместе два года Металлику, ребята так ничего из себя и не склеили. зато, очнувшийся в девяносто пятом году от рок-слушательской спячки и гитарного поста Кука внезапно вознамерился закончить запись, начатую в девяносто втором: после долгих переговоров с Джеком, возобновившийся «Отход» решил создать концептуальный альбом памяти Яны Дягилевой и назвать его «То, что должно быть коротким» — произведение планировалось снабдить сюжетной схемой, подобной кортасаровской «Игре в классики».

в основу этого альбома легли три инструментальные композиции, записанные на флэту у Джека в девяносто втором. но и записанный безголосый материал, добавившийся в ходе сейшинов у Пашаба, оказался тут кстати: Джеком и Кукой было решено дорастить миньон до девятипесенного альбома — отсюда и его неформальное название «Девятка». Кука тогда очень много читал всяческой поэзии — в частности цифра «9» перекочевала сюда каким-то образом из Пушкина. Джека — к тому моменту плотно подсевшего и на The Doors с King Crimson'ом, и на «Прыг-скок» ГО, и на Янкину «Ангедонию» — подкупила идея посвящения альбома последней, что-то вроде нашей «An American Prayer», но без её голоса: прощальный альбом-открытка для сибирской Офелии.

«То, что должно быть коротким» — словосочетание Куки, название одной из новых редакций текста песни, сыгранной впервые ещё на втором концерте. за тексты песен Кука и Джек взялись вместе — вдохновлённый Джек даже нарыл у Шекспира эпизод с плывущей Офелией и написал под это басовую балладу. после комнатно-закулисной работы, Кука и Джек появились у Пашаба — но уже не в качестве тусовщиков-лабухов, а как заказчики музыки: дома у Бородина и происходила основная часть наложения голосов — и на инструментал девяносто второго, и на здешнезаписанные же опусы. финалом альбома должна была стать песня «Невзাপравду», инструментал к которой Джек писал осенью девяносто шестого в родном актовом зале девяносто первой вместе с Беловым и тем самым Антоном Гольшевым, молодым трэшпером соло-гитаристом (на этой записи присутствовал и Дмитрий «Мотя» Новиков, ставший впоследствии ударником «Отхода»). окончательную обработку альбома осуществлял отзывчивый Володя Булчукей — и благодаря его усилиям звук разновременных записей не слишком сильно разъехался по частотам и громкости, качество общего звучания альбома вышло довольно завидным по сравнению с последующими пробами.

тираж альбома — размером в один блок 60-минутных кассет SKC — был распространён по ареалу друзей-ценителей. дальнейшие дотиражи также распозались по московским квартирам и общежитиям студентов-гуманитариев.

запись «Девятки» сблизилa два полюса джековского общения: интеллектуала Куку, растерявшего гитарные навыки, и трэшера Антона, который набирал обороты в плане гитарной техники и — по словам Мэйдэна — подавал большие надежды. Антону понравилась «отходовская» идея и творческий азарт тандема Кука — Джек, решено было сотрудни-

чать и утяжеляться, как завещал великий Faith No More. осенью того же девяносто шестого года дома у Тоныча «Отход» записал следующий альбом — «Пятнашки», в конце которого звучит величайшее достижение сейшного периода группы, песня «Стены умнее нас». да, в конце «девяточной» песни «Невзаправду», по замыслу Джека, должен был звучать подпевный девичий голос. Кука, в тот момент уже учившийся в РГГУ на лингвиста, привёл прямо на запись пойманную там девушку Олю Лавут, которая довольно быстро поняла, что от неё требуется, и со второго дубля спела как надо (наложение голосов происходило в девяносто первой, в радиоузле Володи Булчукея). после было решено взять Олю в состав и отдать ей пальму первого голоса — хотя петь тогда собирались все кроме Голышева.

на «Пятнашках» звучит инструментальный хаос, записанный за период девяносто пятого — девяносто шестого где ни попадя: композиция «Рождайте детей в январе» (название которой было считано со стен Кукой и Джеком в процессе совместных прогулок в районе Яузских Ворот) инструментально записывалась вообще дома у Мэйдэна, причём сам он — гитарист, а Джек басует. в общем — полная солянка, самый бестолковый альбом. но «Стены умнее нас» — великое произведение текстовика Куки и одорзевшего трансовика-композитора Джека. название песни и первый ребяческий текст принадлежат тоже Джеку. Барабанил и писал Пашаб. а вот гитаристами, как это ни забавно / ни странно, на этой записи были: Ваня Серов и Тихон Шаров из Jazz Lobster, потом вокал в IFK. «Не фиглярская песенка», — сказал Ваня «Siroff» после записи: он, войдя в транс композиции, в какой-то ритмически зыбкий момент даже отбросил гитару и схватил с ковра погремушку-румбу.

литературно-музыкальная композиционность в «Отходе» началась именно с этого альбома, а физическое отсутствие ударника более явно нигде так не ощущается, как здесь. альбомчик «сводился» дома у Голышева и звук имел окончательно не очень внятный. голосили все, кроме Оли, очень плохо: может быть, поэтому она как-то и вытеснилась из группы. в круге Кукиного общения появилась новая поющая девушка — Аня Смирнитская, которая и стала первой слушательницей «Пятнашек» на домашнем прослушивании материалов у Куки.

1997-й: акустические концерты на земле и под землёй. летом девяносто седьмого дома у Куки, в честь его дня рождения, был дан концерт с новой вокалисткой. это выступление решено было назвать — так как сие писалось на тэйп — «Полуотключенные»: помимо акустических гитар Куки и Голышева звучали включённый в колонки домашней стереосистемы джековский бас и микрофоны, часть которых для пущей громкости позапихивали внутрь гитар. классический квартирник — со звоном посуды и нервными пересудами давно «на людях» не выступавших «Отходов». довольно злая запись, очень живая, местами лиричная — да ещё Джек здесь высунулся в поэтической ипостаси, продолжая традиции «Тайны мелодии» и прочих его литературно-музыкальных композиций. новая, написанная перед выступлением, краткая редакция «Умных стен» в исполнении Ани (раз с четвертого) прозвучала неплохо: единственное живое исполнение этой песни (хотя и пятнашковая запись делалась в один проход, без наложений, со второго дубля)...

так играли, играли в группу мы, считались андеграундом, «Отходом» — и вот позвали те самые анархо-краеведы из ЗАиБИ («За анонимное и бесплатное искусство») нас выступить на фестивале реального андеграунда, то есть на

тридцать метров под землёй в Горках Ленинских, в каменоломне, где белый камень для Москвы добывали при Иване Грозном. весёлые попутчики (вот тогда-то и зачиналась атмосфера маршей «Антикапитализм») анархисты раздавали в электричке красивые, переделанные из неких комсомольских открыток купоны «Один творческий импульс» и бумажки «Выпил — убери за собой!», а также «+уёвое — революционно. остальное буржуи купят».

прибыв, построились — длинная шеренга анонимных творцов. покупая, выпивая по дороге крепкий ёрш «Монарх», по прохладному октябрю топали к «кошачьей норе», яме, внизу которой — лаз вниз. волшебным образом пропихивая в узкие кишки тоннелей каменоломни (где только ползком местами) не только себя, но и гитары, включая электро-, добрались через полчаса до вполне похожей на зрительный зал и сцену пещеры. надпись на «заднике» сцены: «Здесь похоронена моя смерть» и в таком же духе, но не видимые, не освещённые. в пещере тут же закурили и начали выступать, пели в маленький, на шее висячий, радиоподобный, как у экскурсоводов семидесятых, репродуктор с микрофончиком на проводе. пели мы с Минлосом горячо и поочередно. неплохо пели, не всегда в ноту, но настойчиво. Минлос в телогрейке, я в серой варёнке-косухе, купленной где-то на толкучке, ношенной, из восьмидесятых занесённый кооперативный элемент перестройки. свет сильного фонаря вообще не давал разглядеть слушающих, словно рампа, усиливал кажущуюся массовость мероприятия, на котором было человек тридцать, не более.

кстати, Винника там не было, но его тёплые отношения с анархистами несомненны. обратный путь из пещер был затруднён тем, что следующая за нами группа спелеологов решила камень, на входе сильно мешавший протискиваться вниз — откопать и вниз же втащить, в первую пещеру, где мы вынужденно притаились. это заняло минут сорок, если не час. наша вытянувшаяся гуськом очередь обречена была ждать. случись обвал — никто бы не узнал, что тут остались люди, «кошачья нора» далеко от дач, самый близкий к ней объект — безлюдный шлюз.

выбравшись в долгожданную свежую осень, мы обнаружили, что заметно темнеет и выпал снег, холодно (внизу же постоянные плюс пятнадцать, теплее). до станции почти бежали со своими гитарами, поезда долго ждали, так что дома оказались едва не ночью. Винник завидовал событию, своему там небытию.

мир подземный, андеграунд, и мир компьютерный, офисный — странно смыкались. анархо-краеведы оказывались позже верстальщиками и дизайнерами интернет-сайтов, даже телеведущими, как широкоскулый с большими залазынами Захар Мухин. тому, конечно, предшествовали и странные эпизоды — на той же Маросейке, где позже рядом работал Винник и где я вымаливал на «яблочной» технике макеты своих стихсборников. однажды Винник, прознав, что я школьный психолог, попросил психотерапевтическую какую-нибудь литературу, считая себя малость не здоровым в этом плане. встретились на Китай-городе у бюста Ногина, пошли по Маросейке в сторону Минлоса, к Покровским.

по хмурой весенней пасмурности пошли, по дороге, там, где от Маросейки вниз бежит к синагоге и высотке переулоч, нам встретился явно не по погоде

одетый, лишь в косуху, чёрную несвежую майку и такие же джинсы, очкастый тип с двухдневной щетиной. Винник представил: Осмоловский. недоверчивый и беспробудно серьёзный встречный тут же попросил Винника отойти с ним в сторонку, к таксофонам. намекнул, что надо поговорить не так, не на бегу — серьёзно. позже, уже играя в группе «Безумный Пьеро», репетируя с ней в институтском подвале на Сухаревке, я летом случайно окажусь лабухом на дне рождения Осмоловского: отравившийся пирожками в ларьке на Сухаревке, я свалюсь летом на три дня постельного режима, буду только бульоном и сухарями питаться, а на четвёртый день потащусь с тяжкой басухой выступать-слэповать в «Ю-ту» с «Пьеро» при полном отсутствии зрителей (но рок сделает своё дело, зарядит, и неизвестно откуда силы возьмутся — планировал-то играть сидя, а ля Самойлов — Кристи), а затем вечером и ночью прямо из Ю-ту — выступать на дне рождения Осмоловского в подвальном клубе «Костёр», что ли... там, в очках и с пузиком, нас встретит виновник торжества Осмоловский в подаренной ему майке «НАТО: круглосуточная доставка бомб», мы с водянистым рёверным звуком выступим, а потом я буду сейшновать-подбасовывать Тюленеву без своей группы «Цокотухи», который «на рыбе», на импровизируемом псевдоанглийском языке будет петь Осмоловскому блюзы, а тот в ответ кивать, мол, как это точно подмечено: «ме-ме-май-байба-эниуэйюду». празднество закончится к утру полным дебошем юнцов под дискотечную музыку в этом божественном подвале: некий голубоватый по поведению парнишка разденется и обезтрусится, выгибаясь мостиком со своей кудряво отороченной хоботковой побрякушкой, а над ним с возбуждённым таким зрелищем аппетитом хищно будет колдовать, орально нависать, пританцовывать очкастая еврейская девушка панк-лигвистического вида, так и не снявшая рюкзачок.

но вернёмся к Виннику на Маросейку. потом мы звонили Минлосу из автомата и напросились в гости. по дальнейшему пути Винник, не прерывая со мной разговора, так истово перекрестился на круглую зелёную церковь напротив белорусского посольства, чуть ли не лбом боднув асфальт под ней, что я действительно задумался о психотерапии, колбасит же свободомыслящих людей временами.

через некоторое время мы с Минлосом обнаружили Винника работающим в «Яблоке»: дворами недалеко от Минлоса, ближе к Китай-городу, в том самом переулке, где были открыты люки, когда мы с тобой шли в сторону высотки. буржуазный досуг в соседнем с их офисом клубе «Пропаганда» почти каждый день, хорошая получка, компьютерная грамотность — всё это приподняло Винника над нами. к тому же он, как старший, более к тридцатнику уже тяготеющий товарищ, стал неизбежно и произвольно ориентировать Минлоса, а через него и меня в современной минималистской поэзии, взамен получая кассеты и советы по прослушиванию. сошлись, понятное дело, на Егоре да на Летове.

квартира Минлоса! как же не углубиться, не вкликнуться в этот линк... квартира номер сто на втором этаже, где звонок легко перепутать с вращаю-

щимся, годов тридцатых-пятидесятых, пропеллерным, исконным выключателем света, в подъезде пахнущем эталонно подъездно — загадочно водопроводно, мшисто подвально и малость мочёно. там за дверью оказывалась всякий раз, когда мы прибегали с осеннего холода или из летнего зноя — сумрачно уютно в прихожей и интеллигентно, книжно, магнитофонно в комнате Минлоса.

очень важно, что в Тебе у меня была такая альтернативная моей, исходной, точка, собиравшая в пучок, подтягивавшая к себе несколько маршрутов, а зачастую и начинавшая их. имея несколько аэродромов — сухаревский институт, околоарбатскую школу, покровского Минлоса — можно было летать весь день, приземляясь где-нибудь на обед и продолжая движение с последующим возвращением по бульварам к огромной Тебе, открывающейся, вечерне зовущей домой за Трубной площадью. однажды, году в девяносто седьмом, летом я вернулся именно к Минлосу после рекордного пешего захода в поисках тебя за Электрозаводскую, дойдя там до девятой улицы Соколиной Горы, кажется, что отмечено во флекс-сборнике того периода. нам всё было в новинку — даже пиво «Ярпиво», изыщно, неким пропуском в это гостеприимство, помещавшееся двубутыльно в мой планшет, мы сдирали этикетки с бутылок и клеили их в сборники, монтировали всё подручное в своё детское альбомное искусство. прожитое, продуманное за день тотчас отображалось в спорах и во флекс-сборниках.

квартира Минлоса в доме тридцатых годов, что я узнал и осознал уже переходя в новый свой «красный» период, была университетом. позже ее правильную расположенность подтвердило открытие ОГИ — так что туда можно было от Минлоса через дворик и переулочек идти в халате и тапках. таинственно и сказочно выглядела с улицы комната Минлоса на втором, где он сидел за древним дубовым дореволюционным столом и вковыривал очередной флекс в сборник, забивал в новый биг-тауэр компьютер стих или просто слушал на своём твин-Шарпе Кинг Кримзон. обнаружить в покровском дворике эту келью, зайти в неё, пить чай, слушать, говорить, глядеть на древность коры дерева за окном и окружавшую его рыжую продрогшую осень, несмелую весну или приближающее к окнам дворы и тротуары лето — было таинством тех лет накануне миллениума, да и прежних, средневековых.

можно было по-разному прийти к Минлосу: либо со стороны дворов, особняков, рыцарского дома, колоннад, узких переулков, либо от Чистого пруда, по бульварному, либо, доехав по Садовому на «Б» до глазной поликлиники, идти переулками к Чистым и далее, перпендикулярно кольцам. сколько там встречалось осеней, сколько зовов Твоих, домовых, люковых, дальних. и когда я научился расшифровывать Эпоху, то на входе в очередной двор сталинского дома, глядя под ноги, прочитал буквы чуть выпуклого люка — МОСТОРИ, буквы футуристические, как бы вписанные в квадрат, буквы могучие, зовущие, как с плаката. это и был переход позднее, и уход из тех мест. но тогда... тёплое и заботливое, почти хозяйское отношение к этой обители побудило меня уломать Минлоса на перестановку, так как из-за близости кровати к окну он постоянно простужался. рационально всё передвинули, рассовали: и кровать стала к самой

дальней от окна стене, возникли книжные полки, и стол стал красиво, боком виден входящим.

и вот когда все эти штудии, споры, переписки в флекс-сборниках подвели нас к черте публикации первой (каждый — своей) книги, Винник подсказал человека, который печатать возьмётся. сотрудник всё того же «Яблока» по части полиграфии, наглядной агитации — полноватый интеллигентный добряк Саша Королёв, физический, ризографический издатель моих трёх практически сам-издатовских книг. он-то и взялся за третью, камуфляжную, в две тысячи первом.

но тому предшествовали другие важные моменты года. шефство Усманова сулило, в процессе наших телефонных переговоров о книге, значительно большее, нежели публикацию. Усманов понял, что я готов сотрудничать всячески и фактически прошусь на работу в «Совраску», чтобы выражать свои алеющие оппозиционные чувства не стихами, а статьями. но не так просто было перескочить из одной судьбинной канвы в другую.

(дальнейший писсуарный приём называется «Забегание в прошлое со знаниями из будущего», тогда я и близко не подозревал сути происходящего, его продолжений и причин.)

видимо, там же, на съезде СКМ в Росагропромстрое, Усманова познакомили с Игошиным, новеньким «красным» депутатом Госдумы. мучной магнат, сын металлургического магната, Игошин по высочайшему совету, взял Усманова под крыло в качестве реального работника в Комиссии по патриотическому воспитанию молодежи. положил ему в месяц десять тысяч рублей на любые мероприятия, что одновременно и являлось его окладом, вероятно. об этом секретно Усманов сообщил в кабинете Совраски уже летом. моя книга обходилась в три, вполне укладывалась в графу «мероприятия», что-то вроде (как потом писалось в отчёте по работе Комиссии для Потапова) «проведение конкурса и издание патриотической поэзии». но до книги было самое интересное и долгожданное событие. ощущение того, что лёд тронулся в марте две тысячи первого усиливалось — нашелся спонсор комсомольских акций и безумств, опосредованный Усмановым.

моя школьная обитель окрасилась в политические тона. сперва, подаренные за ненадобностью Сашей Королёвым, повесил для конспирации в своём тридцать четвёртом плакатики «Яблока» уже забытого содержания. потом привёл в кабинет летом с пикета у Японского посольства народ к себе («Чужой земли не надо нам ни пяди, но и своей вершка не отдадим», «Забирайте Хакамаду, острова не отдадим!»). летом 2001-го уже начиналась новая пора — я поднимался на руках, словно на брусках, над старой канвой и прицеливался в новую. щедрый Усманов выделил на послепикетный банкет пятьсот рублей, которые мы густо отоварили в «Новоарбатском» супермаркете: пиво, хлеб, сухарики, орешки. тогда-то я и смекнул, что если треть моей школьной зарплаты легко идёт на банкет, то «Комиссия» Игошина — дело серьёзное.

но самое главное случилось раньше, в конце мая — концерт «Отхода» с «Обороной», как одно из мероприятий «Комиссии». а на майских праздниках,

от Октябрьской площади я ехал на агитгрузовике, с микрофоном, бросая клич в красные колонны КПРФ. спасибо молодоголазой любовнице первого секретаря МГК Куваева, она протезировала. чёрная джинсовая куртка, времён Минлоса и Дома, красная повязка СКМ на рукаве — оратор на грузовике, всего лишь год в организации, а такая честь. в числе тех реплик с грузовика, когда уже въезжали на площадь Революции, был и анонс концерта ГО сотоварищи в кинотеатре «Восход» 27 мая.

нужно было пройти этот короткий, но далеко уводящий от прежней пассивной наблюдательности путь — чтобы увидеть Тебя с новых, неожиданных точек зрения. ехать тем же маршрутом, что когда-то, до всех передеряг 1991-го — на сто одиннадцатом автобусе из МГУ на Ленгорах. тогда из вечера разглядывал Тебя робко и внимательно, тихо, радуясь ребячливо фризам, сказочным закуткам, освещению, бесчисленности новых невиданных мест. а теперь — не просто видеть, а чтобы при этом тебя видели, и озвучивать тут же приходящими лозунгами видимое. читать Тебя с движущейся точки, с этого агит-грузовика, к борту которого мы, в начале Якиманки выстаивая в ожидании начала движения, приклеили наклейками КПРФ «Голосуй за победу патриотов России» рисованный мной на старых желтоватых листах ватмана плакат про реформу ЖКХ, где срифмовали «газ» и «власть».

про дело НРА, про политзаключённых подхватывают сочиняемые на ходу мои лозунги колонны молодых и старых с красными знамёнами. смычка состоялась — анархические годы прошли не даром, эрудиция моя левая, почерпнутая из «Травы и воли» и прочей подрывной литературы теперь нормально сливается с линией «Советской России», в руках руководителя агит-грузовика Гусева — выпуск газеты к 7 ноября, вся первая полоса — лозунги. некоторые из них, забирая у меня микрофон, он зачитывает, не все скандируются хорошо. вот и памятник Димитрову показался слева — привет антифашисту Димитрову! всей колонной привет — катится дальше и дальше, сзади слышатся собственные скандирования. это наши идут, СКМ вслед КПРФ, там Катя Заводнова зажигает в мегафон.

стены Столицы — вы так близко, с балконов и окон смотрят разбуженно люди. может, именно это снилось в виде полётов и неявных желаний двигаться высоко на уровне стен, касаясь барельефов, встречаясь на крышах с тобой?..

как же началось это всё, эта уличная активность, странные точки обзора Тебя, не с тротуара? даже ещё раньше, чем на Рабочей (как забавно тут слились «где» и «когда», что и требовалось обнаружить). может в 2000-м, но зимней весной, когда потянулся на занятия Молодёжного университета современного социализма (МУСС) как раз к следующему в глубь Первого Обыденского переулка дому, где в маленьком помещении курсов английского ЕР и потом в подвале близ твоих же Красных Ворот слушал лекции Бузгалина и Кагарлицкого? переучивал топографию нашу с лирической на подпольщицкую. набирался теоретического антибуржуазного иммунитета — сбившись в кучку вместе с весьма немолодыми этими убогими, седыми, очкастыми, блинно пахнущими муляжш-

ными слушателями, по дороге от метро говорящими, что революция кончилась когда отменили всеобщее вооружение, пишущими трактаты о радикальном марксизме, которые только в лупу разглядишь... нет, ещё раньше.

год 1999-й, как раз наш последний с тобой год, точнее лето. наше — лето, а без нас, то есть с нами порознь — зима. к тем самым выборам 1999-го бывший активист анархокраеведения широкоскулый Захар Мухин пристал к независимому кандидату в Мосгордуму по фамилии Бобков и привлёк «Отход» в качестве шумового оформления предвыборной, и не нас одних... полненький солидный документалист-режиссёр Бобков приберёт к выборам занятую «легенду». она тоже документальна, то есть радреальна.

как раз в ещё нормальные будни моей работы в девяностопервой, Захар оповестил, что место агитации — совсем рядом и нужно просто выйти к Арбатской площади, к бывшей парикмахерской. в этой «бывшей» и кроется весь сюжет предвыборной Бобкова. была у него квартира в том доме, который прирос к Дому журналиста, прописан он там был. сломали часть дома, и от его квартиры остался маленький, метра в два обрубок — за который он зацепился как за следствие вандализма и произвола. пристроил к этой нише в обкусанной, но оставшейся стене, Бобков фанерный скворечник двухярусный, наверху получилась сцена, там же жил петух, дух помещения.

Бобков, конечно, оказался завзятым либералом, вся идеология и предвыборная которого выразилась в формуле: «В США те же законы, что у нас, но там они работают, значит, надо сделать „как у них“, поизгнать взяточников, прочистить каналы, чтобы система заработала». весь оппозиционный пыл Бобкова выразился в названии своей цветной листовки — «Билль о птичьих правах». Бобков не был на самом деле униженным властью человеком — собственно, поэтому он в неё и стремился влиться в меру финансовых возможностей. а зарабатывал немалые деньги и проживал в многокомнатной квартире где-то на Кутузовском с немалой семьёй благодаря тому, что снимал в «горячих точках» эр-эфии, на военных объектах и прочих интересных местах документальные сюжеты или просто картинки, которые потом продавал зарубежным телекомпаниям. когда я звонил ему полгода спустя, призывая снять, как мы защищаем Дом — он вежливо благодарил, просил обязательно извещать о подобных событиях, но ни разу с камерой не приехал, «не товар».

наша агитация за Бобкова должна была выразиться в двух выступлениях наверху скворечника — глас, вопиющий в сторону Арбата в уже откровенно снежных декабрьских холодах. великолепный собутыльник и неvirtуозный барабанщик «Отхода» Мотя согласился на эту авантюру, хотя мог бы как гитарист уже изнежиться сугубо клубными выступлениями и отказаться. что-то там пили перед выходом, коньяк, баклашки пива, народу много в скворечнике, атмосфера боевая, эффект востребованности даже мерещился. до нас отыграл молдавского вида духовой оркестр, у меня были подозрения, что это ещё малоизвестный публике Ленинград. площадь Арбатская продолжала в тёмном вечере двигаться по-прежнему: лишь у подземного перехода на нашей стороне, пе-

ред тем как погрузиться вниз, идти в сторону метро, некоторые поворачивали головы на странное скоморошье действо. Захар Мухин ловко развлекал пешеходов всякими дудками, костюмами, бубнами, свистом, петухом. смоделировал из пенопласта яйцо и вылуплялся с прикрепленными крылышками. внизу, от скворечника и почти до метро, раскинулась автостоянка, и её сторожа были основной аудиторией.

куда грустнее и депрессивнее всего предыдущего была наша музыка, когда пришёл черёд. особенно от отсутствия аудитории выходило печально. настоящие «песни в пустоту», с высоты в пустоту. напевая в непосредственной позе близости крыши и обгрызенной стены, я подумал, что и такие картинки мечтались некогда. петь, словно выбирать в сне, из дома наружу... петь, будучи частью улицы, площади, да ещё в родном центре — нечто среднее между мятежным голосистым поэтом и приютившимся в уцелевшей от сноса каютке бомжом. и пел, глотая снежинки. пел «Власть вещей», нападая на невидимого обывателя, на далёкий арбатский неоновый свет, на стимулы лейблов. в ответ сквозь зимний вечер светила вывеска «Художественного», рекламки близ Арбата. Мотя играл пьяно и что-то сломал в ужатой (из-за узости пространства) установке, но продолжал. классический драмэндбэйс — вот состав того выступления. плюс грустный носовой вокал. в помещении скворечника одновременное ощущение и уюта, и зябкости — как в последнем убежище, в последней ложбинке на теле чего-то неизбежно разрушающегося, тонущего в холоде и неизвестности, как «Титаник», в этом медленно сносимом здании (вниз бегали с чайником, наливали воды в жёлтом, кухонно и древнепахнущем, кафельном коридоре ресторана Дома журналиста).

то в девяносто девятом было предисловие, только черновик последующих уличных концертов последующего состава, но об этом, как говорил в Крыму дядя Шура, потом.

предыстория «Отхода в восходе» такова. медленная весна две тысячи первого, знакомство у Киреева с неким Пашей — в момент «вмазывания» всей постанархо-краеведческой анархо-коммуной некоей «вытяжки» из лекарства против насморка. и занёс же нас туда чёрт с Минлосом, в эту квартиру на улице Вавилова. но, глядя как антисанитарно Димка Модель прижигает уколотое место мандариновой коркой, мы стойко отказались с Филиппом от укольчиков, которые щедро предлагала всем гостям белокурая валькирия, подруга Киреева из Киева. и продолжали общение. внезапно оказалось, что Паша — специалист по гранжу, да ещё какой: сам издающий кассеты продвинутым самиздатом, продающий их в арбатском «Зигзаге». фанат гранжа, орал Паша, ловя свой вытяжной кайф, из соседней комнаты: чтобы не выключали Mad Season, разовый летний проект вокалиста «Алисы в цепях» и гитариста «Жемчужного джема». Мэлвинс и прочие корифеи у Паши в изобилии. законтрактировались ещё и потому, что у гранжмейстера были планы насчёт обустройства базы в близком к его дому кинотеатре «Восход», а мы с «Отходом» базы тогда как раз лишались, которая после родных стен на Сухаревке размещалась вот где.

вероятно, к периоду же Бобкова и его скворечника стоит отнести довольно массивный, но с миллениумом прерванный шмат «Движения F». период ещё либерального романтизма. не случайно красивые листовки Валерия Бобкова я принёс в движение, в помещение движения.

возник этот близкий ко мне дворик за улицей Чехова в нашей с Минлосом географии опять же по навигации Винника. он устроил там летом девяносто седьмого свой пОтлач, раздачу имущества перед отъездом на родную молдовщину и съездом со снимаемой жилплощади. ответным актом дарения от меня к Виннику перешёл проигрыватель, проданный мне летом девяносто первого первым вокалистом Отхода Щиголем перед отбытием в Израиль за сто рублей вместе с покрывалом, в котором я его уволок. на нём-то Винник и слушал пластинки ГО (псевдоальбомы «Попс» и «Всё идёт по плану»), именно виниловые пластинки переходного периода, такие продавались в музотделе «Молодой гвардии» году в девяносто втором. Винник познакомил нас с главным лицом Движения ЭФ — эСэС, как она сама и её называли.

Светлана Соломоновна, большая весёлая седовласая представительница тех энергичных и искренних демократов, которые все ельцинские года подпитывали энтузиазм интеллигенции бравадными комментариями «о том, как Там» и успокаивающими антисовковыми анекдотами. но не только комментариями: каким-то чудом демократия для неё (и нас впоследствии: спасибо её демократии) выразилась в получении ещё в девяностом или восемьдесят девятом даже году большого помещения (для работы с неблагополучными детьми) в старом благородном двухэтажном доме на углу Старопименовского и Воротниковского переулков, где нынче квартирует «Персона-лаб». когда-то это были меблированные комнаты, осталась и голландская печь в зале, которую дети демократии хиппи раскрасили шахматно. ДФ стало обителью и музыкантов, и просто бездельников — и режиссёра одного хипповского, с армянской, что ли, фамилией Аристокисян. за помещение никому ничего не платилось вплоть до изъятия его у движения, то есть вплоть до перехода демократии в управляемую фазу, до 2000 года.

в те (ещё наши с тобой) годы, с девяносто восьмого по двухтысячный, всё и произошло: срочная эвакуация нашего института с Сухаревки и ликвидация там базы, где репетировали «Отход» и «Безумный Пьеро», где подбасовывал, притворялся фанкером и слэпоманом я. и там же на Сухаревке, отвлекшись от представляемой «Безумным Пьеро» модной пивной действительности, углублялся, комната за комнатой, в те самые подвалы, где хранилось прошлое интерната № 16, табличку о погибших на фронте его воспитанниках разбитую серую у входа в подвал собирал: уже тогда отыскивал свою Эпоху, внизу Тебя, искал свой коммунизм.

в хранилище пионерских принадлежностей в здании тридцать шестого года постройки, вдыхая густой запах краски, видимо где-то тут пролившейся. почётные грамоты, горн, стеклянные диапозитивы с картинками избиения демонстрантов в капиталистической Англии — все атрибуты советской нашей школьной пропаганды. отчего же не работала она? точнее, ведь вызывала же со-

чувствие, понимание — ну уж точно не в пользу молотящих демонстрантов лицаев мы думали в школах, и дети Минэкономки в этом интернате. находилась в подвале долго: времени было достаточно, пока ты училась в своём «Архе», а у нас, как всегда, занятия начинались пары с третьей — последний, расслабленный, дипломный курс. обнаружил последним, за стукотом труб и их циферблатов, за котельным узлом по левую руку — класс физики и химии, почему-то единственно мощёный перекошенным теперь и проваленным посреди кабинета паркетом. остались глядеть в безлюдную пустоту шкафы с некоторыми учебными пособиями, механизмами искроизвлечения, чучелами птиц... не было только парт, которые мы же вытаскивали сперва отсюда наверх в классы, когда ещё не закупили новые красноногие, чтобы на чём-то учиться во вновь полученном МГППИ здании, ещё пахнущем интернатцами и интернатками.

лазил по этим комнатам прошлого в ожидании то пар, то репетиций. там же, где репетировали, во времена интерната играл духовой оркестр воспитанников, стены остались звукоизолированными и стоял в углу всевозможных поломанных валторн и туб целый ящик. и маленькую комнату, наподобие чулана, мы набили, туда сгрудили кипы пионерских журналов, часть из которых при подготовке дома к сносу я забрал домой. такой я в Тебе собиратель неисправимый. тут что-то наследственное.

вот оттуда, с Сухаревки, мы и переехали репетировать в Старопименовский, даже звукоизоляцию ободрали с подвальных стен и прибили гвоздиками к экс-меблированному апартаменту. разместились, волоча за собой не только «Безумного Пьеро» с их колонками «Родина», но и модную, от гранжа впадающую в техно-непонятки «Цокотуху», хохластый блондин-басист которой использовал ДФ для романтических ночлегов на матрасе с толстухой Машей и прочими знакомками. все любили, и особенно этот похотливый Ваня-валенок (точное прозвище дал наш Мотя) и слушали даже бутлеги тогда «Красных раскалённых чилиперцев», фанкуакающих модно. но и там, у Маяковки, мы всем музыкальным скопом продержались разве что зиму: по весне двухтысячного ДезФ попросила управа из помещения, опомнилась от раннедемократической благодати: счета-то не оплачены. странное соседство с уже заселившейся на первый этаж с угла «Персоной-лаб» было тоже предвестником скоро нашего исхода, безусловно. петть носовым обиженным вокалом в их сторону сквозь холодные вечера уже проклёвывающиеся внутри «Отхода» песни антибуржуазного протеста было вызовом. то кончался период, кончались девяностые с их неразгаданным нами в пылу участия, в шумах действительности и репетиций, трагизмом и романтизмом тех, кто благословлял эту трагедию в её наивном начале. распалась и фанк-гранж тусовка с закрытием ДФ: никто из тех инструменталистов не стал никем, а самый талантливый и подававший надежды лидер певец-гитарист «Цокотухи» Тюленев стал обычным мальчиком на побегушках в одной из платных репетиционных и рекорд-точек у Новослободской, устанавливает другим микрофоны, помогает записываться — например, Sixty-nine. да, от фанка мы с «Отходом» двигались к сибирсковатой патриотике, дружась попутно с «28 Гвардейцами Панфиловцами».

и вот, полгода не репетировав, осенью мы влезли на верхний этаж кинотеатра, в каменистую, покрытую коричневой плиткой фисташковую комнату над кинорубкой с какими-то вентиляционными трубами, потом ещё обнаружили, что люк в полу ведёт прямо в кинозал, можно провалиться. Паша привёл в «Восход» — растающий в ряд жилых пегокирпичных домов семидесятых стандартный кинотеатр, строившийся серийно по всей стране в шестидесятых, влажный, с протекающим потолком зал на восемьсот мест, сужающийся к экрану, за экраном никаких кулис, тонкая, но все же вместившая с одного бока ГО, а с другого «28 ГП» и нас, полоса пустоты, в которой и прячутся артисты, познакомились с директором кинотеатра — грустным обрусевшим цыганом с фамилией, вроде бы, Жемчужников или Алмазов, он артист театра и кино, но вот не смекнувший ещё — как заработать на доставшемся помещении, по-прежнему остающемся в ведении его кино-театро-Министерства, с ним рядом во время наших разговоров всякий раз оказывался приезжавший на иномарке бухгалтер нескольких таких кинотеатров, и он-то не давал спуску, когда директор застенчиво намекал, что надо бы нам за репетиции в той комнате платить, и все эти переговоры происходили под личиной какого-то активизма, организации при кинотеатре некоей самодеятельности, в сущности, стиль общения был задан постоянной растерянностью и даже виноватостью некоего директора, приладившего к своим рыжим волосам в верхней, видимо вылысевшей, части париковый вихор.

скромная медленная весна две тысячи первого застала за уборкой комнаты для репетиций, и тут обнаружились раритеты: почти нечитанными перевязанными кипами в столе — журналы «Советский экран» есмидесятых, овсьмидесятых — сколько рецензий, сколько позитива в отношении военнопатриотических «одиночных плаваний» и высокообразованной критики боевиковой, голозадой голливудчины... но её хотели, смотрели на видео именно тогда — единицы, а вскоре захотели с появлением видеосалонов и большие круги.

какие-то канцелярские принадлежности, древки знамён с наконечниками серпасто-молоткастыми, пачками толстыми голубые бланки билетов с ещё старым заглавием Министерства культуры СССР и копеечной ценой, в двух кусках кумач — видимо, для декоративных праздничных нужд (впоследствии использованный для оформления подиума ударной установки на концерте ГО и нас)... такая запоздалая встреча материального наследия, вполне осязаемого, но отстранённо-прошлого — и нас с «28 ГП», поющих об именно той, тогдашней красоте под красной звездой Победы.

репетировали нечасто — Рязанский проспект, да ещё далеко от метро, но привыкли к пути, заступали в озеленённую часть весны — репетируя там уже без фанковых рудиментов девяностых, обживая холодные стены, согревая столы жаром комбиков, драйвом «28 ГП», которые перед концертом вообще единоразово репетнули, зато здорово потом напились лимонной водки.

ещё в первый раз, увидев зал в полутьме, я почему-то уверился, что именно тут мы устроим следующий концерт ГО: место подходящее, захолустное,

концертами подобными еще не разломанное. привожу к директору Удальцова, знакомятся, Сергей спокоен и весОм, производит впечатление благонамеренности, подписывают договор и назначают дежурства АКМ в фойе с билетами.

и вот настает последняя неделя подготовки зала к концерту. в кинотеатре будто наша власть уже: столик, телефон, по которому постоянно звонят обеспокоенные покупкой билетов, принимающий их звонки дежурный с нарукавником, обязательно при нём человека три акаэмовцев, неуютно чувствуют себя пришедшие в «Восход» поиграть в бильярд и выпить в баре, что с другого, правого фланга расположен. с улицы приближаюсь по разогревающейся, тихо солнечной весне — не может быть: вот после тихих жилых окон малоотделанных сталинских домов кинотеатрик выглянул на перекрестке, старая ещё с неоновыми полосками неработающих ламп вывеска во лбу «Восход». а на стекле витрины, изнутри — моя афиша, концерт ГО, «Отхода», «28 ГП».

напечатанная всё в том же полиграфическом цехе «Яблока», акаэмовцами и сочувствующими клеится повсюду эта афиша: А4, красно-чёрная, скромная, идея сделать красным человека с обложки «Солнцеворота» (работы Андрея Фефелова, сына Александра Проханова) — моя. для этого нужно было располовинить макет — сперва печатать чёрное, потом красное.

в «Советской России» (год минул со времён Дома) на последней полосе Усманов печатает мою восторженную статью по поводу предстоящего концерта ГО. уже вышел первый номер проекта Игошин — Усманов, газеты «Молодежная политика», в дополнительном тираже которого, «в подвале» вкладки — тот же мой материал.

средства, выделенные Комиссией для концерта — на покупку двух лампочек для подсветки на сцене и печать афиш. в «Восходе» со светом оказалось совсем худо — либо верхний на ползала, либо никакого. до нас собиравшиеся тут секты, «Церковь Христа» такое положение устраивало. особую сложность представляют первые ряды сидений зрительного зала, которые мы решаем в количестве трех — пяти отковырять — за десятилетия последние советские железноножек, креплений рядов накрепко приржавело к полу. возможно — из-за нынешней влажности, из-за протекающей крыши. но оторвать их необходимо — иначе будут обломки, как в «Авангарде». а там, как выше излагалось, после первой же песни, остановили концерт — воспрявшие массы становились на ряды, и те трескали под ретивыми ногами, директор, вознервничав, понагнал в зал ментов больше слушателей, а потом еще требовал с Удальцова возмещения ущерба, при том что второго концерта (с RAF) вообще не было.

никаким усилиям, раскачиванию, даже сгибанию рядов — не поддаются приржавевшие опоры. тогда Удальцов найденным в подвале ломом отдалбливает их, предварительно размочив какой-то бензинистой разъедающей автожидкостью. эта сцена полна героики: Удальцов, отдирающий наследие Эпохи от ржавчины времени. сколько на этих сидениях было воспринято советских кинокартин, сколько тут фильмов высиделось гражданами... и вот, чтобы не ломать это последнее — эвакуируем.

другой сложностью является вкатывание в зал давно присмотренной мной подставки под ударную установку — подиум диск-жокея из фойе. он чёрный, по углам отделан алюминиево. сделан из ДСП — поэтому очень тяжёл. но усилиями бурлаков из АКМ, всеми нашими, даже директорскими усилиями — ставим на попа и пытаемся тащить к правой двери зала. почему-то наш не вписавшийся в бизнес-климат новой России рыжий артист-цыган очень проникся идеей правильно обустроить сцену: пока волокли подиум, тот порядочно расшатался и даже склонен был развалиться, но эстетическая задача была для директора выше. и это он придумал подкладывать под тяжеленный подиум найденные в подвале же трубы — в качестве временных колёс. прокатывали по одной трубе, подкладывали другую — и так до сцены. поскольку уклон зала именно к сцене — было не так сложно. могучий комиссар Удальцов, в своей неизменной кожанке, которую в холодном зале снимать пока не хотелось, возглавлял движение объекта и не давал ему завалиться на ряды. немислимыми усилиями стопудовый короб переместили на сцену, подтащили назад и отцентрировали насколько возможно. и всё это — чтобы виртуозно триолящий барабанщик ГО Андриюшкин оказался на подобающем троне.

теперь надо было притащить из-за кулис секции неизвестно откуда там взявшейся ограды-рабицы — чтобы приладить к низкой сцене барьер, дабы фанаты не вылезали на сцену. в раме ограды как раз были отверстия для гвоздей, так что мы её просто приколотили к сцене, не очень уверенные, что она выдержит хватку фанатов. акаэмовец Гунькин соорудил в центре серединной секции сетки из красного лоскута пятиконечную звезду.

Удальцов придумал и договорился с директором — показывать на экране в ходе концерта кинохронику военных лет. со стороны «Восхода» была найдена подходящая лента, а идея очень воодушевила цыганского директора. как-то разогнали мы его грусть, воодушевили — этот невольный и несчастный осколок Эпохи, один из когорты неизвестных, но полноценных советских артистов, глядящий в наваливающийся капитализм печальными глазами, преподающий в «Восходе» пластику подросткам, проводящий там праздники брейк-данса...

Минлос был приглашен уже в качестве слушателя — и, чуть опоздав, как и Шиш Брянский, увидел выступление Отхода и задник кинохроники. именно это оценил выше всего (самой музыки) Минлос, а Шиш и того более.

остановка троллейбуса от метро, на которой нужно было выходить к «Восходу», называлась «Завод железобетонных конструкций» — вполне по Эпохе название. район преимущественно спальный, но вот и индустриальный, как выяснилось. по-новому зазвучало название в наших газетных анонсах и на афише. словно пазл собирали мы из всех этих бетоноконструкций, секций ограды у сцены, драмоподиума, из двух половинок (красная + чёрная) макета афиши с Сашей Королевым выколдовывали на ризографе красоту вслед моим книгам.

помещение, где «Яблоко» печатало свою агитацию, располагалось на территории завода тоже. Станкоимпорт на Калужской. книги мои печатались, вылизывались-выплёвывались ризографом рядом с призраками советской инду-

стрии, станками большими и малыми, всё ещё выставленными в качестве образцов для продажи за рубеж. ведя по коридору меня в транзитный для нашего пути цех-экспозицию, гостеприимным жестом распахивая обе двери, мой первый издатель Саша Королёв, сам того не зная, впускал меня уже в 1999-м назад в Эпоху, к познанию её, к ней.

долгожданный концерт начинался нервно. естественно, заранее предупрежденная нами же, приехала милиция и вела себя молчаливо. звуковой аппарат за сто пятьдесят долларов привезли с опозданием и ставили медлительно. мы же — исчерчивали по разным надобностям пространство «Восхода» нашими быстрыми волнительными траекториями, революционными неумолимыми шагами, иногда выглядывая из входа — сколько уже собралось? чтобы фаны не разбили как в кинотеатре «Марс» по-советски ещё доброжелательные, открытые всему миру стеклянные витрины со стороны входа, решили впускать массы через ближайшие к сцене двери в зале, в кирпичной стене.

директор в какой-то момент распараноился: надо проверить все двери, а то безумные фанаты начнут ломиться. его разбередил парниша, поставляющий в кинотеатр пиво и прочий правиаант. сей персонаж, и связанный с ним эпизод — требуют отдельного внимания.

за несколько недель до концерта мы столкнулись с ними перед кинотеатром, у наивных стендиков, где вывешивались раньше, да и сейчас, афиши мелких мероприятий. подъехала белая «пятёрка», из неё вылез увесистый этот сынок, но то, что показалось из салона после — было неописуемо гипопотамно. мамаша-Бандерша, «держущая» все пивные точки в подобных кинотеатриках. Вий по сравнению с ней — подросток. как раз-таки как Вий поддерживаемая с боков то ли сынками, то ли специальными подручными она прошествовала внутрь к директору. а мы снаружи договаривались о мелочах — когда концерт, что привозить. семейный бизнес явно предчувствовал толпотворение потребителей ими реализуемого по заоблачным в таких случаях ценам товара. сынок не просто брезгливо, а с классовой ненавистью воспринял информацию о концерте ГО: мол, такая мразь в качестве публики приходит разве что только еще на «Коррозию Металла», это наркоманы с ирокезами, конченные люди, они гадят на пол, отбросы общества. желая самого себя развеселить после такого расстройства, сынок гипопотамши сообщил, что «Руки вверх» берут за четыре песни тысячу долларов, и лучше бы уж их пригласили. этот же господин и надоумил директора проверить — хорошо ли заперты все подсобные двери, а то нищие безбилетные выродки взломают.

и, с утра перед концертом — засуетились. с внутренней стороны, где кинотеатр прирастает к жилой негокирпичной башне и куда позже припарковался автобус «Трудовой России» с Егором и его командой — обнаружили спуск в подвал, и за загаженными пластами, хлипкую довольно дверь, запертую изнутри. нашли какие-то листы железа, специально выделенные директором, и накрыли спуск, привалили ещё кирпичами. плюс изнутри по подвальным коридорам пошли чтобы забаррикадировать дверь. тут-то и увидел я, как запущен

кинотеатр, разруху эту постсоветскую — в подвале вода, в воде ножками вверх валяется утварь светлых семидесятых-восьмидесятых лет, плавают пластмассовые, как в кафе и ржавеют железные стулья, которых нам не хватало наверху, когда репетировали. подвал... влажность, хмурый плесневелый, скрытный запах. дверь привалили какой-то ржавой рамой то ли для сварочных, то ли для плотницких работ. исследование путей проникновения нежелательных гостей — всё как при подготовке к боевым действиям. и вот — пора уже одевать сценическую красную майку, с зеркально почему-то напечатанным ликом команданте.

настраиваться перед физиономиями уже заваливающихся в зал ГО-фэнов — дело не из приятных. мне достался микрофон то ли Егора то ли Сергея Летова, под саксофон — с мощной реверберацией. звук не клеится, голоса панки, уже прилипающие к сетчатому ограждению сцены... и надо же было струне гитариста Голышева на его чёрной «стрелке» Russtone полететь, когда мы поспешно скрылись за кулисами! но выручил добрый, размеренный такой, сибиряк Чеснаков, гитарист ГО запасливый: «Я тут какие-то корейские взял».

так, с одной струной Гражданской Обороны в драйве Отхода, недонастроившись, мы начинаем — сильно поторапливаемые Удальцовым. взялся за гуш, не говори что не груздь...

майка Че при выходе на сцену на мне привлекает больше внимания, нежели название группы: «Эй, Че Гевара, „Ленинград“ давай!..». на озлобленном, расстроенном звуке — начинаем. примоченный бас на сцене слышен яростно — плавающий такой, гудливо сотрясающий сцену звук. динамику и смысл наших песен улавливают не очень: временами летят и плевки. один, поднятый ближайшей к сцене толпой, панк, подгребши к нам поближе, показывает озлобленный средний палец. напряжённый, горячий момент. «Власть вещей». греет ещё подсветка внизу, а в зале свет так и не погасили — пока играем, продолжают со свету вваливаться панки в двери. на верхних рядах видны интеллигентные заинтересованные лики, знакомые акаэмовцы колбасятся-радуются. потом прояснится, отчего появилось понимание в глазах аудитории, и под конец небольшой программы самые озлобленные перестали требовать ГО: оказывается, нам кино помогало.

своё выступление промелькнуло как пуля. провожали сдержанными аплодисментами и на мой призыв «Встречайте „28 Гвардейцев Панфиловцев!“» отреагировали невнятно, скорее разочарованно — им подавай только ГО. но и тут Удальцов постарался разжечь интерес, долго агитировал. флаги АКМ расположились за нами, внизу экрана, а отгораживающий кулисы рояль уже облеплен своими, блатными слушателями. порядком уже принявший Славик Горбулин из Панфиловцев и бравый Ваня Баранов, загоревший на новой работе в качестве охранника какого-то рынка — выбираются на сцену. отсутствие одного гитариста решено заменить выдачей нашей несчастной расстроенной гитары-стрелки Баранову. она же испортила выступление и «28 ГП» — странное сочетание: одна гитара настроенная, и с процессором, делающим модный звук, а другая — атональный хлам. только вид боевой — в загорелых руках с засученными руками так и не снявшего кожаный плащ Баранова.

атмосфера концерта стужается и влажнеет. на этот раз Егор не тянет с выходом, недолгая настройка, громче центральную, Егорову гитару — и начали. «Мёртвые» первая — философское весёлое начало. это должен знать каждый. пой, пока живой, — эта летовская задумчивость среди революционного солнцеворотного периода особенно радует: *memento more*.

да, налегающий на наши заграждения зал: действие началось, единение в подпевании, в догоняющих ритм сцены прыжках. активная, наиболее близкая к сцене часть толпы то и дело как вулкан извергает из своих недр лысых, ирокезных, грубо полуобстриженных панков, которых на руках несёт сама же к сцене, где они тонут назад, получают по рогам от Чекиста и прочих акаэмовцев, охраняющих рубеж сценический. действие, акция, агитация — то, ради чего стягивались к этой пространственной точке усилия последнего месяца, битьё ломом о ржавчину, драмоподиум, встревоженные от наших левацких взглядов стулья в подвальной воде... и всё это здесь случилось, как я и присмотрел при первом визите с гранжевым Пашей (которому гранж не мешал состоять в «Церкви Христа» и позже гулять с хоронящими пороки настоящего «Идущими вместе», как выяснилось). много вспышек, видеокамеры с боков, динамично прыгающий с фланга на фланг, жирненько перекатывающийся по сцене колобок Усманов с фотоаппаратом, который, как после выяснилось, там и пострадал и починке не подлежал, сколькотоптубаксовый.

детская радость и непосредственность, праздник детских песенок же: некоторые вытолкнутые залом успевают пробежать, побрызгать ручками счастливые жесты перед Егором и плюхнуться назад в другой бок толпы. свет в зале хоть и погасили, но видно, как многие выбрасывают к потолку струйки сигаретного дыма, вдумываясь в содержание песен. кто-то выбрасывает и скомканные номера «Молодежной политики», что распространялась на входе. облепившие рояль «свои» стали многочисленны настолько, что добрый мастер гитарист Чеснаков уже соседствует с публикой. вылетающие на сцену люди периодически задевают шнуры электропитания, отчего отрубается либо гитара Чеснакова, либо одна из двух «рамп», которые я постоянно подползаю, восстанавливаю.

действие-шаманство. тусклый зал и бедный, но сказочный свет на сцену, на бороду Егора, на микрофон, в который я начинал петь, и он теперь сообщает всё необходимое его восприимчивым. долгожданная «Песня китайского добровольца» проходит на «ура» при тотальном подпевании влажного от сигаретного дыма и весенних протечек в звукоизоляции потолка зала. на «Лоботомии» становится явно душно — с Егора пот течёт градом. решаю эту проблему просто: подхожу сначала к ближайшей, через которую все вваливались, двери и одному из знакомоликих акаэмовцев из охраны наружной даю партийное задание — держать двери настежь. повторяю то же самое с дверью, которая во двор и у которой снаружи, внемя концерту издали, стоит совершенно пьяный, но крепкий окраинный или подмосковный панк в тельняшке — им и подпираю дверь. глянул на лестницу вниз под щитами железа: нет, никаких попыток сдвинуть заграждения не было, кирпичи на месте.

начался в зале благодаря реализованному с дверьми проекту сквознячок, и Летовы, как младший, так и старший, в саксофон тужащийся не менее Егора, уже не потеют так лично. пробегаю, чтобы не расталкивать «партер» за киноэкраном — вприпрыжку, тоже маленьким шаманчиком, только что отыгравшим дебют перед такой, человек в восемьсот, аудиторией. меня не видят за белым экраном, а я через него хорошо вижу внимательно устремивший, сцентрировавший взгляды на Егоре зал. действие идёт, Летов поёт, сейчас просквозим зал — и продолжится муз-агитация. зал отсюда напоминает большой школьный класс, и не так уж подвижны ученики, все слушают, все глядят. выступление близится к концу.

но вот один прыгун был исторгнут массой, когда Егор, нежно объяв бородой микрофон, пел «Русское поле», в очень тихом и медленном месте песни, перед «а свою лю...». Егора аж отбросило к ударной установке на кумачовом подиуме: по зубам да микрофоном. падающий панк задел и гитару, отчего на струнах Егоровой Епифании скорчился отчаянный кобэиновый взвизг, и даже стойку тарелки повалил своим длинным сибирским неустойчивым телом. секундный шок и стыд зала: детский испуг и сомнения — будет ли петь сибирский шаман после такого инцидента, не обидится ли, не уйдёт ли с гитарой прочь? но нет: русо-бородатый Егор извиняюще улыбнулся, поправил волосы — будто то не панк из толпы был, а просто ответный на песенный вызов толчок извне — и продолжил камлать.

«Спасибо, Москва!» — так закончил устало после «Поля» выступление Егор. прошло на одном дыхании, навогльший зал вобрал все песни. панки разбредаются из зала, мокрого на зелёном линолеуме от плевков и пива (в которых самый счастливый панк, упившийся во время концерта так просто лежит непробудно), из зала, влажного в воздухе, накуренного и надышанного и с запахом сквозняка из весеннего вечера, где уже капает дождь — под уточнения Удальцова в микрофон про пресс-конференцию, что будет в фойе. на ней, чуть перед этим отдышавшийся Егор, за кулисами тяпнувший из белопластмассовых стаканчиков с братцем коньячку «Слнчев бряг» с нехитрой закусочкой, говорил тихо — выложился сильно. его едва слышали, поэтому стол обступили вплотную. и вовсе не журналисты, кроме Фефелова, задавшего вопрос о гастролях в Израиле, недавно прошедших.

перед пресс-конференцией поймавший меня коротышка Клещ (московский друг и гостеприимец Егора, который участвовал с нами вместе в фестивале реального андеграунда) знакомит с экс-гиатристом ГО Жевтуном по его собственному настоянию. жмёт руку Жевтун, которым я завистливо (в сибирском летнем поле, рядом с пророком Егором Летовым стоит он, а не я, возможный басист!) любовался в девяност втором на фотографиях к виниловому «Прыгскоку», купленному на Новом Арбате в комке. интересуется: бас у меня примоченный? подтверждаю (значит, всё же было слышно в зале весь угар). ответно интересуюсь: не будет ли снова играть в ГО? нет, не будет. ответил слегка обиженно, отстраняясь от этой страницы, что ли. у Жевтуна плохие зубы, как позже выяснилось — туберкулёз. до этого момента, до разговора с Жевтуном, столк-

нувшийся со мной в фойе при перемещении к столу, к толпе, Клещ успел прошипеть мне, что помнит, как я ему говорил, что мечтаю стать «стелькой Летова», просто разогревающим составом, но теперь, вроде бы, зауважал.

удивил Егор высказыванием о Путине: мол, а кому он не нравится, нормальный мужик — у него хоть что-то получается, бывший кагэбэшник? даже в этой формулировке чувствовался постмодернизм и дуализм летовский — не он ли пел в 1988-м стёбовое «кагэбэээ, ка-гэ-бэ!»? на вопрос об отношении к разогревавшим группам ответил уклончиво — играют совсем другую музыку. отговорившего и пошатывающегося то ли от усталости, то ли от плюс коньяка Егора Удальцов перепоручил мне — довести назад до кулис. мягкая, показавшаяся даже рыхлой в предплечье рука кумира, за которую я послушно поручению повёл Егора, была бела (в неё, небось, кололись те дозы, которые преобразованными мы слушали в песнях «100 лет одиночества»). пока шли вниз по залу, Егор на мой вопрос только повторил, что мы играем совершенно разную музыку. затем за кулисами, за экраном Егор долго подписывал выдаваемые мной поштучно обложки компакт-дисков и кассет — которые передали Удальцову приобщённые к АКМ фаны.

и — мой попутный долгожданный разговор с Егором. хотел бы высыпать кучу вопросов, но все куда-то деваются, что-то невнятное спрашиваю, улавливая темп ответной мысли, улавливая взгляд.

про арест Лимонова спрашиваю. «Так ведь, говорят, за дело взяли-то, слишком долго он жил в Европе, у нас такими методами ничего не сделаешь». одна из фотографий оформления диска — человек в противогазе — вызывает мой вопрос, на который Егор охотно что-то отвечает: это знаменитая фотография тридцатых годов, как же не знаю-то?..

выходящего из-за экрана меня встретил тревожный Решетников (я удивился тому, что он не обратил никакого внимания на Егора, хотя имел теперь возможность и подойти, и поговорить — а так много восторгался «новой экзистенцией» заочно). но Шиш озабочен был иным: до него донеслись слухи, что местная гопота собралась панков бить, и как бы ему, интеллигенту Решетникову теперь не перепало. посему Шиш просил идти вместе. наличие у Шиша зонтика воодушевило меня: дождь усилился. с басом на плече и Шишом сбоку выйдя через тылы «Восхода» (вместе с «Гражданской Обороной», садящейся в микроавтобус «Трудовой России»), мы не обнаружили гопоты и быстро с попутчиками, мальчиками и девочками, пошли к Рязанскому проспекту. за угловым домом, между ним и следующим, мы обнаружили причину волнений Шиша — тут стоял «козлик», в который уже, видимо, подравшихся панков грузили вместе с гопотой в хрестоматийных телогрейках (возможно, это была и одежда панков, у одного из них в руке еще был обрезок трубы, улика). наш интеллигентный вид не вызвал у милиции подозрений, и мы прошли мимо своих недавних слушателей и соучастников действия как посторонние прохожие, чему Шиш был рад и стал веселее разговаривать, знакомить с оказавшейся его подругой попутчицей...

когда сели в троллейбус — эстетика концерта ещё была с нами, на сиденьях в половине салона — панки, тельняшки, майки ГО, знакомо горящие взгляды. обнаружилось, что Твой центр отсюда вовсе в другую сторону, вправо по Рязанскому от бульвара, ведущего от «Восхода» — куда мы и поехали под разговоры с рафинированным Шишом, как раз в сторону Рабочей и Пролетарской, проезжая справа глядящий на мост жёлтый с колоннадой ДК, в котором ГО выступала в девяносто четвертом.

лето забрало дачей. раз в две недели — ехать в девяносто первую, полить цветы. летом почва их сохнет быстро. запах линолеума в тридцать четвертом кабинете усиливается в жару, знакомый. где-то под партами на нём въевшаяся лужа от фанты, разлитой после митинга у японского посольства.

иногда нужно сперва заехать на Киевский рынок (все остальные сезоны — постоянный кормилец), поэтому иду по Тебе, чуть отвыкнув, чтобы удивляться теперь родным стенам, иду через Смоленку, мимо платошкиного дома и советских людей-статуй напротив. там очень предсказывающие город-осень балконы — их мы с тобой не замечали, когда здесь проходили.

и по Композиторской — родной в далёком, вековом прошлом, где дом предков, на месте которого серый дом тридцатых и, как специально, конструктивизм, который мы с тобой рассматривали... лето, в котором не еду в Ладеево, не с тобой. но ты не совсем отдельна: параллельно всем моим сумбуриям ты приходишь иногда в гости на чай, а я тебя провожаю до Охотного Ряда. но это уже не мы. однажды этой ранней весной я отважился, проник рукой к влажному и тёплому межью, лаская тебя в моей комнате за дверью — но, едва коснувшись, ощутил нежелание и своё, и твоё, чтобы было дальнейшее. твои нижние губки, по-прежнему открывшие скользкое внутреннее тепло, были уже чужими.

но это лето одиночества и уже не впервой долгого писания «Поэмы», предыдущей, ранней её дали. и начала ещё одной, «RE:волюция» называется. перед своим четыреста восемьдесят шестым в дачной жаре, воодушевлённый майским концертом — пишу статью за статьёй, по заказу Усманова и без. и лето это — как ущелье, которое сумел перепрыгнуть, широченное. ущелье и пропасть между школьной работой, намечавшейся с окончанием МГППИ карьеры тихого научного сотрудника — и вот этим бушеваловом, что в песнях, на демонстрациях и в уме всё сильнее, в статьях всё горше и чётче.

и всё чаще я из метро, из подземного перехода — оказываюсь в Савёловском сплетении мостов, здороваюсь с Твоей листвой у моста, который окольно приближает к улице Правды. перила моста над железной дорогой, идущей к Белорусскому вокзалу — поддерживаются, опираются на нижнюю решётку посредством таких толстеньких кругляшей, внутри каждого из них — пятиконечная звезда. там на улице Правды, куда спешу — ждёт Усманов, которому я то вручаю очередную дискету со статьёй, то показываю «Поэму-инструкцию», уже напечатанную и сброшюрованную в школе при помощи Саши Королёва. дурацкая идея проклеить корешок книги обычной тряпичной чёрной изоляцией плохо воплотилась — и Усманов сомневается, что такую книгу можно показать Зюганову и Игошину.

а со статьями я всё настойчивей: возьмите меня на работу — хоть в «Совраску», хоть в «Комиссию» (о которой знал минимально тогда). в скверике, что напротив газетного комплекса на улице имени газеты «Правды», в скверике, обнятом серым зданием с барельефным Лениным и революционными массами создателей социализма и их детей-пионеров — встречаемся с заместителем главного редактора Чикина Усмановым. присутствие его на работе жестко прописано — до семи часов. он делится планами — взять отпуск в октябре и провести голодовку, протест по поводу закона о платном образовании. призывает присоединиться. тут-то я и высказываю иронично циничную мысль: хотелось бы и бороться, и от голода при этом не страдать. Усманов интересуется, почём меня содержат в школе — сообщая без приукрашивания. возможно, эта откровенность и помогла, подхватила при уже сделанном от прошлого, от инерции прыжке в сторону активности и борьбы. не много статей тех печатала «Совраска», зато через лето из обычного для себя и семьи дачного отдыха сиганул в ещё какую, желанно беспокойную осень!

уже в августе Усманов вызвал и обрадовал: «Комиссия» берёт меня на работу, оклад будет четыре тысячи (на одну больше его собственного соврасовского). после школьной полторашки — мечта аспиранта. работа — с сентября. медленно растущее взаимонепонимание с Дюком, директором девяносто первой, теперь может прийти и скоро дойдёт до кульминации.

над директором я издевался без злого умысла только по одному поводу — когда лишились базы в дэ-эф, некуда было податься. попросился репетировать не просто в школу, а в родное помещение, Дюк был не против сперва. но он же Дюк — и просто так, задаром ничего внешнего в школу не пускал. договорились о деньгах. вот тут-то и обнаружился казус: выходило, что я буду Дюку платить больше, чем он мне в месяц-то. из остатков культуры он отказался от таких финансовых отношений и пару-тройку раз мы играли в узком кабинете Львовского, садясь на его великолепный длинный стол с гитарами, располагая там ещё и колонки, по старой памяти дружелюбно выданные из радиорубки Володей Булчукеем.

однако недолго длились эти репетиции: как-то раз мы поздновато, часов в девять собрались играть, и невесёлый охранник отказался нас пустить. предложил позвонить директору. я набрал, слышимость была отвратительная — понял только, что поднял Дюка уже с супружеского ложа и он сдержанно, вежливо, но весьма и весьма зол на подчинённого меня за такую наглость. но работа продолжалась, хоть и без репетиций теперь, после того вечернего звонка. о, сколько моих ты терпела капризов, школа! этого переростка держала в своих стенах, второй подростковый срок, второй период репетиций, но уже не в актовом зале, как в девяносто первом (имеющий здешний ключ, я с Лановым и Некрасовым на уроках распивал, впуская в зал весенний ветер и обозревая Калининский, там шампанское), или потом, в институтском уже девяносто пятом, но и когда он уже преподавал «психологию для подростков».

проблему с базой решили товарищи из СКМ, студенты Государственного университета землеустройства — бравые дембеля, немногие в организации, кто

отслужил армейский срок и уже затем вузился. некто Таривердиев, пожилой их тренер по борьбе (а вообще-то по водному поло), на улице Макаренко готов был принять. и принял, но уже не прежнюю группу, а новую.

через несколько лет свернув с маршрута к тебе, Тан, не на Новобасманную, а к Мясницкой от улицы Макаренко следуя светлым вечером — вхожу в Твой запах. люблюсь Тобой: вдыхая, считывая шагами по стемневшему переулку разглядывая стены в перпендикулярном пути к Мясницкой. такой воздух в Твоих освобождённых от холода улицах — самый откровенный, уводящий в Тебя — весной или сейчас в предосеннюю оттепель (28.08.01). готический модерн, строенный уже после революции 1905-го тем же итальянцем, что и Метрополь. промышленный дом, здесь выступал Ленин. жёлто-белый пёс пройдя помойные контейнеры остановился в сомнении на моём пути, обхожу.

ещё один древний, спрятавшийся во дворе возле Чистого пруда, по пути к Минлосу, домик — на улице Макаренко. его сырость, древность медленно вливалась в наши лёгкие той осенью две тысячи первого, но раньше было более важное.

визиты на улицу Правды увенчались желанным: Комиссия взяла на работу, оклад, сравнительно со школьным — более чем в два раза превосходящий, четыре тысячи рублей. Усманов хозяйски подошёл к вопросу и выпросил на одну тысячу больше, чем платил ему Чикин.

и мои маршруты по дуге, по доСадovým переулкам огибающей Бульварное от Страстного к Арбату, к девяносто первой — прорвало, потянуло к Кремлю. сначала — к знакомой улице Герцена в точке впадения в неё Брюсова переулка (Брюсова — в честь колдуна Брюса, только что не Диккинсона из Ирон Майден, колдуна, знаменитая чёрная книга которого, «поэма дьявола», по преданиям, дошедшим до Гиляровского, была замурована в Сухаревой башне). а потом и сквозь эту заставу — к улице Горького, к сталинскому дому, огораживающему Думу, бывший Госстрой.

задумывался ли раньше, что он, этот дом — сталинский? нет: потому, что не думал, не знал многого, что с двухтысячного начал узнавать, впивать глазами, иногда дотягиваясь интуицией, не читая текстов, только чувствуя архитектурные заветы, начиная их расщупывать зрительно. а ведь видишь — что знаешь, научили психологи. к этим центральным местам, к дому, номер которого оказался так дружелюбен, словно всё это время ждал, 4 — выбирался редко, не было точек стремления, притяжения. разве что тогда, году в девяносто пятом или девяносто шестом, когда с мамой пошли посмотреть и влились в демонстрацию, ведомую Зюгановым с гвоздиками, завершаемую панк-нацболами.

и вот я на работе: для партии, для патриотического воспитания молодёжи — вчерашний радикал, по слухам родных недоброжелателей из СКМ ещё и троцкист, бывший анархист, музыкантишка. моя энергия, неокрепший, но жгучий левый эстетизм — нужен. буду теперь приходить в этот сталинский дом 4, в квартиру 10, слева от лифта на пятом этаже: садиться за компьютер, печатать статьи в «Молодежную политику» и делать всё, что потребуется для «Комиссии».

и осень требует прохаживать новые пути. сперва от школы — медленно перетаскивая оттуда, например, «музей гранёного стакана», который от нечего делать там собрал (от первых экземпляров годов пятидесятых, как в «Деле Румянцева», у которых грани доходят до края — и до экземпляров конца 80-х, у которых простая круглая стеклянность отодвинула вниз грани более чем на половину, такая своеобразная эволюция гранёного стакана, теряющего грани), штук десять экземпляров. потом — от дома родного к дому 4.

как раз летом прочитанный «Китай-город» Боборыкина — ведёт древними рассказанными запахами груш и сохнувших листьев в эту осень и этим наклонным коридором вдоль Тверской.

до неё — наискось через «Эрмитаж», вверх Успенским переулком, двором медучилища, мимо МТЮА, Ленкома, Пушкинского — к череде арок у выхода Чеховской на той стороне, после подземного перехода. путь — перпендикулярный, перекрёстный — по отношению к прежним, притягиваемым школой и обратным линейным, точнее, дуговым.

дворы нетронутых домов девятнадцатого, тут они без особых приукрас, просто выстаивают, длят свои пространственные речи. и, чтобы выйти к очередному перпендикулярному Тверской переулку — нужно снова двумя арками пройти. в первой внизу, в темноте — подъезд слева. туда заходят и выходят уверенные жильцы, это их там наверху ящики снизу окон, устройства для сбережения продуктов зимой, банок-заготовок, авоськи тоже ещё вывешивают. живите так там, мои родные, вдохновляйте, держитесь — входите в свой дом из таинственной арки. ведь я сюда уже не занырну со своей девочкой, мы далеки, мы разрознены. а вы по-прежнему тут, где я иду...

путь, не выходящий, практически, на шумную переименованную улицу Горького — дома на которой все строились именно для улицы с именем Горького. сколь вдруг ненавистен стал он продвинуто-диссидентствующей семье Минелосов — вот что пропаганда контры делала — вспомнить страшно: огизовское издание сорок седьмого года хотели выбросить, но успел забрать. и дворами идти этих домов писательских, для советских людей заслуженных, мимо гаражей пятидесятых годов — для немногих личных ЗИМов, «Побед», затем уже «Волг» с оленем... начинающие желтеть листики подсчитываю, ловлю их запах в ветре.

единственное место, где мой параллельный улице Горького маршрут вынужден выбраться на площадь — перед Юрием Долгоруким. последняя арка выпускает к скверу позади Института марксизма-ленинизма, где азартный дискурсивный памятник-Ленин, полировано согнувшись в сидячей позе спора, гранит. ещё по-летнему льёт струи фонтан и не убраны хлева — пивные залы в затентованных синих ефесных палатках. но в листе отчётливо выжелтилась осень, начало сентября. а за листвою — начало сталинского периода — дома, доходящего почти до Кремля, оканчивающегося тем самым, номер четыре, моим, куда иду. над прожелтившейся и редющей на самом верху листвою — барельефная повесть дома. вверху на широком прямоугольнике: изобилие плодов и колосьев, собранное в общую социалистическую корзину союзом рабочих и крестьян —

зубчатым серпом и тяжелоглавым молотом, отдыхающими по бокам у корзины (молот с чуть скошенным от долгого лежания древком). и балконы встречают, приветствуют молодого левого — двумя симметричными серпами, обнявшими сноп колосьев. такие же — в нашей, десятой квартире, в «Комиссии» (сквозь них видно «Националь» с его фризами и ребристый шкаф «Интуриста»), над которой через этаж барельеф из этого же повествования, букет колосьев.

но внизу — приметы нашего времени. ресторан «Арагви», банк, и только мемориальная ленинская доска совещается через улицу Горького с двумя, что на Моссовете. из дворов, где время выделяется только по признаку машин, а рамы старые, стеклопакетов пока мало — приходится вернуться в нынешнее, увидеть вместо герба СССР во лбу Моссовета, мэрии нынешней долгорукого нашего — геЮргия Михайловича-Победоносцева и каких-то ангелов над главной дверью воспаривших. вот как хитро можно обернуть советский поздний неоклассицизм к буржуазной Реставрации...

но — прячусь снова в линию дворовую, в первую же арку сталинского дома, за углом (где мемориальные доски возвещают прежнее проживание в доме Корнея Чуковского и Ливанова-старшего), с Тверской сбегая внутрь.

да, ведите меня, дворики, по осени началу, по влажному, пропитывающемуся зрелой грушевой лиственностью, теплу. ведите под близкими окнами конструкции, вытянувшей опоры прямо над головой, врастающие во внешний сталинский дом — от построенного ранее, когда ещё улицу Горького не расширили, так здесь сообразуются несколько домов в единство за общим длинным фасадом. магазин «стерео-Трансильвания», призрак начала девяностых во главе с графом Хортицей тут в подвале притаился слева. но меня манит византийский модерн — некое «подворье» начала двадцатого века. уверен был сперва, что именно тут, под низким сумраком современных сводов, затухала, иссыхала благородная героиня «Китай-города», романа о старых новых русских, выживавших в конце позапрошлого века дворян из центра, из таких мест, и строивших на освобожденной территории дома доходные.

знаковое соседство: византийско-славянский модерн, изогнутые, подпирающие во фризах тяжкие теремные пузатости колонн и этажей гуси-лебеди, изобилие купеческое, начала века, ставшего социалистическим — салатово притаился за сталинским фасадом, за изобилием советским, славянизм. Савинское подворье. но шаг мой ведёт всё дальше, уже изнанку МХАТа слева оставляю, из арки первого сталинского квартала вынужден выйти — чтобы тотчас скрыться во втором, перейдя автостоянку, вынужденно потыкавшись в современные задницы иномарок и продвинутые, всем капиталистическим соблазнам и денежным ветрам открытые, лица мхатовской абитуры. о, эти околбалконные колонны и венчающие их классические шары на сталинском доме, чреватые пересудами о новой элитности и, может быть, жильцовым осознанием себя как новых избранных...

но вот моя следующая арка. привет, «Победа» бежевая, цвета сталинских десятилетий, номер 701 НУХ, в традиционно мочевой подворотне. здесь то-

же наш длиннющий дом прирастает к более раннему, к «дому под градусником», дому писателей, философов, поэтов Эпохи моей — Ильенкова, Светлова, Асеева... двор и гаражи образованы этим сращением. раньше тут оказываясь, не имея пространства внутреннего притяжения в доме (квартиры 10 в первом подъезде), бродил и в верхнюю арку асеевского дома, над гаражами, мимо бомжатников тамошних, в уже девятнадцатого века пустых домах — девяностые, манили вы, пространством моей Столицы, закружив в хаосе и неопределённости архитектурных времён, просто в Твоём запахе, Твоих подробностях, в зимней намокшей бомжовыми запахами реальности, в мусорной тошнотной, апельсиново-корочной и бутылочной поступи Постэпохи.

сейчас же — распрямился в рост осенних деревьев. и в путь на работу дворами, мимо загружающих со двора в магазины «газелей», мимо всех этих материально ответственных, зарплатно озабоченных слуг, носильщиков, экспедиторов. наш последний отсек двора самого первого и длинного дома улицы Горького отделяют шлагбаумы — как же, тут уже Государственная дума, тут думки ездят, им кареты подзывают в громкоговорители, как на балах дореволюционных: «фамилия извозимого депутата — к подъезду». но мне все шлагбаумы — по боку, обхожу, и всё ближе к заветному первому подъезду.

приветствует пара люков семьдесят третьего года и выпуклый клетчатый люк, остаток шестидесятых, такие только в фильмах теперь увидишь и — трудно вычисляемая рядом с подсобными, задними магазинными или же рабочими, слесарными дверьми — дверь первого подъезда.

обвиняющие в помпезности «элиты» тридцатых годов — обратите внимание на маленький вход, «парадного» нет вообще, элита входила только этой низкорослой дверью, и из неё же, из этой новостройки 1936-го года в 1937-м — выводили крупных военных чинов, друзей Тухачевского. только что сенсорный код, но нынче это не элитность. десять ключ девять один сорок один. входной шкаф красного дерева — Эпоха. пирожковый запах газа, чёрный меандр на салатových плитках пола и — лифт. в тишине механически степенно опускается ко мне, открывает свой скромный древесно-электрический внутренний мир. пятый. от газа (внизу проходит жёлтая труба) медленно поднимаюсь заветной слева от лифта двери. на площадке под ногами — тот же меандр, а цифры в номерах квартир — с тем же греческим прямоугольным загибом, так что «2» квартиры справа, напротив нашей — созвучна меандру.

снаружи дверь наша — примитивно кисточкой с лёгким вихлянием разрисована «под дерево» светлой выжелтевшей краской. дверь двойная, как на Серпуховке, поэтому открывается не быстро — внутри обитая коричневым с пумпочками дерматином. фанерой, опять же «под дерево», отделана прихожая. да, элитность ощутима. в планировке трёхкомнатной квартиры. отдельный санузел. правда, дверь туалета оказывается сбоку от унитаза, неудобно и тесно — возможно, после замены сантехники. низко утопленная ванна в большом помещении, богатый, исконный глянец шарнирной сушилки для полотенец. и еще, например, есть слева, следом за кабинетом, комната для прислуги

перед кухней — узенькая, с окошком. но никто не запрещал социал-прислужнице читать там «Историю ВКП(б)» и расти интеллектуально в перерывах между походами за покупками, уборкой и готовкой.

наша комната — вторая справа, ближняя к санузлу. всё здесь осталось, кроме стен: лепнина потолка, паркет, не менялись рамы, балконные двери широкие, изнутри белые, снаружи бежевые. комната с двумя столами и компьютерами, ковриком, уютная.

офисный стиль помещению «Комиссии» с первых же шагов в квартире придает «человек из первой комнаты» Влад — всегда в свежей, белой или синей полнящей рубашке, упитанный невысокий пиарщик Игошина: сидит в Нэте, пишет, согласует от его имени разные реплики в газеты, «светит» в центральной прессе. без лишней коммунистичности, с обильными увеселительными цитатами из Жванецкого как древнего философа. художавый респектабельный головастик Матвеев — тоже всегда в свежей рубашонке, что отличает от нашего брата, это пресс-секретарь Игошина, второй человек из первой комнаты, бывающий в десятой квартире редко. его Усманов боится — говорит, «стукачок». на самом деле — чуёт конкурента, и тот, и другой. а наша с Усмановым комнатка — бела, стены шершаво-офисные, и без нас обычно пуста, дверь с позже, не в 1930-х возникши витражом — закрыта. из паркета сталэлитной квартиры растут провода Интернета. 2001-й год. меньше месяца у нас на подготовку марша «Антикапитализм» тут.

ещё не холодно — открыть балкон в нашей крайней комнате в самый раз. шумная, множественная, сливающаяся с потоком от Моховой и сворачивающая в Охотный ряд Тверская улица Горького. вот я и в самом Твоём центре. направо — сереет украшенный, но здоровО конструктивистский костлявый Центральный телеграф, подъём к Пушкинской площади, торжественное закругление другого сталинского дома с балконными, бельэтажными колоннадами. и гигант «Интурист», словно системный блок Матрицы, напротив нашего балкона, у соседней, первой комнаты — тоже балкон, кафелем покрыт, как и здесь. серпы балконной решётки, сжавшие колосья — шершаво-чёрные и воодушевляющие. оказывается, мы крайние — стена нашей комнаты, ванной и кухни — внешняя, за ней палисадник, деревья и уже Дума.

даже сидя за компьютером, если выглянуть в балконное окно — виден фриз «Националя», близкий текст, Твой вид, присутствие.

отсюда удобно идти — и в девяносто первую школу забирать последние трофеи, папки, барабанные принадлежности, и на Остоженку-13 на собрание, и на улицу Макаренко репетировать — нырнуть в метро «Охотный Ряд», выйти на Чистых, десять минут быстрого шага, мимо театра «Современник», до базы.

день за днём — работа в Нэте, новости для «Молодёжной политики», номер должен выйти перед «Антикапитализмом», это будет марш нескольких молодёжных организаций.

да, стены восхода Эпохи — в вас я познаю то, за что её левые критикуют обычно, бюрократический рай. после продувного 34-го кабинета в 91-й, тоже

уютного, но уже проходного, прокуренного учительскими разговорами и отталкивающего директорским неприятием, непониманием моей коррекционной и прочей невидимой через очки документации работы — тепло сталинских стен, кресло и отдельный компьютер с Нэтом, а не школьный компьютерный класс выше моего кабинета этажом, и, возможно, свободное место в нём. сижу перед компОм — проголодавшись, глядя в Сеть, на сайтах Коммунист.ру, Rage against the machine. кажется с помощью этих картинок, этих виртуальных страниц — что так много единомышленников, нашего пространства этого цветного, буквенного, плоскостного.

может быть, и незаметная — но по запаху ощутимая разница лестничных пролётов возраста стен. например, моего уже хрущевского периода дома и дома 4 на Тверской — здесь лёгкий запах прокуренности и снизу поднимающегося газа делает лестничные клетки суше, тоньше и видимые элементы — перила, как в современных домах, скошенные для удобства руки. проголодавшись — быстро спускаюсь вниз, удостоверившись, что ключник Влад никуда не уйдёт и меня обратно пустит: бегу за пирожками. выйти из краснодеревяного шкафа подъезда, пройти мимо выпуклого люка, обойти дворовую часть дома, вспугнув прикармливаемых пожилой женщиной из своего окна второго этажа голубей и — в арку выхода на Тверскую. «Театр им. МН Ермоловой» напротив поверх надписи вьётся и салатится. надо в сторону охотного ряда пройти ларьки с сухими, неаппетитными соблазнами — сникерсами, феминными выпуклостями журнальными. и — в подземный переход к «Националю», он же спуск в метро «Охотный Ряд». здесь — пирожки по семь рублей. на двадцать один плюс ещё девять рублей, то есть тридцать: покупаю два с мясом, один с сыром и пакетик томатного сока. можно, если нет с мясом — два с печенью.

всё, как писал Боборыкин — осень, лиственный сухой грушеватый и пирожки с мясными изысками (только в «Китай-городе» пироги были с мозгами, вроде бы, а у меня с печенью всего лишь). Реставрация. теперь я имею минимальные средства, чтобы в неё вкуситься. принести тёплый пакетик, жадно и бережно доставать из него хрустящие слоёные жареные пирожки, глядеть в левый Нэт и запивать всё это солёным томатным соком. вот и мой бюрократический рай в сталинских стенах. зарплата в два раза больше школьной, три тысячи. можно и пирожки с соком позволить, а к вечеру чаю сделать в комнате Влада, стаканы, чашки, сахар и пакетики — ещё из девяносто первой, мои. конфликт с директором 91-й Дюком зрел неспешно — пока нас с редко появляющимся Львовским выживали из тридцать четвертого, в коридоре четвёртого этажа, спиной к ученикам стояли шкафы, набитые нашими книгами и папками. Дюк выживал непонятный ему кабинет под предлогом нехватки учебных помещений. переезд — в малюсенькую экс-курилку рядом со столовой, поближе к равхозу и мизерной зарплате. но у меня этот кабинет стал транзитным: иногда утром приду, посижу — и на Тверскую с очередной кладью.

квартира 10 познавалась медленно, постепенно. сначала — только наша дальняя комната и санузел. ближе к маршру «Антикапитализм» деревянная при-

хожая комната стала наполняться пачками «Молодёжного сопротивления», на сайте Коммунист.ру знакомлюсь с некоей Боевой подругой — действительно, как выяснится позже, боевой подругой осужденного по делу НРА эркаэсэмбэшника Таболина. но и работа в последние утра перед маршем требует: обзвона газет, телеканалов. раз за разом по сиреновой книжице толстой, данной Усмановым, набираю телефоны и факсы — прокручиваю один и тот же лист, самым и распечатанный. факс стоит в комнате Влада, первой от входной двери, напротив кабинета: так что обживаюсь, тут акустика пустой, только с двумя столами и кожаным диваном, комнаты — тоже нечто штабное, тут голос отдаётся комиссарски, командно, смОльно, по телефону когда. один старец, голос из редакции лужковской, давно «городом» приватизированной газетёнки «Труд», ответил на бодро и осознанно, агитирующе даже, мной произнесённое название марша:

— Ну и бог с вами!

судя по короткой ремарке, ни корреспондентов, ни прочего освещения старец, пригревшийся в постсоветском, латентно антисоветском журналюжьем уюте, не собирался выдавать нам, левым радикалам: такой вот теперь этот «Труд», бывший освобождённый, а ныне — на нового хозяина.

в день начала марша, рано утром, чтобы успеть загрузить малиновую «газель» «Трудовой России», я, уже со своим ключом, прибываю, как и Рудык из АКМ. этот комик-персонаж особо смотрится в элитной квартире — первым же делом, чтобы ощутить весь комфорт непосредственно гипопотамовой задницей, идёт в туалет, распространяя в момент расстегивания одежд бомжовые, подворотные флюиды. этого момента Усманов всегда боится и просит меня, отвернувшись, закрыть нашу с невнятным витражом дверь. посетив санузел, Рудык лениво подключается к выносу пачек «Молодёжной политики» и бумажных (на склеенных вчера почти уже ночью нами листах А3) лозунгов, распечатанных на принтере Советской России её же верстальщиком — в стиле заголовков. загружаем внизу весь боекомплект, подвигаем собственное содержимое в малиновой «газели» — флаги, «колокольчики» звукоусиления. и едем, вырливаем замысловато, нам почтительно открывает шлагбаум пригосдумский мент, будто наша политичность, наш путь на акцию обозначен внешне в виде какой-нибудь карточки на лобовом стекле. жирный Рудык расплылся рядом с бородатым боцманом-шофёром Юриком, а я приютился сзади. едем по Тверской, и даже по Страстному в мою сторону — поэтому, обнаружив в сумке жуткую измятость предназначенной для ношения на марше стройотрядовской куртки, прошу остановиться перед выездом на Садовое. бегу домой, быстро на кухонном столе гладим куртку — рукава, воротник. пространство за окном растёт и зовёт, неожиданно смещённое быстрым подъездом на машине и перспективой неизвестного пути загород — там ожидающая меня «газель», марш, яркая краснолиственная и краснознамённая осень.

а куртка-то с Серпуховки, результат переезда 2000 года, когда отдавали всё подряд родные дальние и близкие... пока мы уезжаем как раз от тебя, Серпуховка, двигаясь по Кольцу в ту же сторону, как мы возвращались из гостей отту-

да, с Добрынинской, и пока не разговорился шофёр-боцман Юрик, не такой уж вульгарный сталинист, как можно подумать сперва — воспоминание движется в обратную сторону Кольца, против часовой стрелки: есть время вспомнить всё тот же переломный миллениум, весну и лето защиты и освобождения (от проживания) двух домов, когда мои родные Даборки, и вместе с ними неизбежно мы, навсегда покидали твой кров.

Серпуховка. квартира на третьем этаже дома над «Колбасами» — в которую, чтобы позвонить, надо было взяться за древнюю зелено-медную дореволюционную ручку и, как написано под ней на бумажке, «тянуть». квартира, принявшая после Великой Отечественной несколько семей наших по Даборкинской линии, по дедовой. приехали мои в родной Лёвшинский — а в потолке квартиры дыра от бомбы. куда податься? прими, Серпуховка.

потом часто, несколько раз в неделю, сюда пешком хаживали, мама как устаёт — на плечах у деда. пятидесятые наставали, а в пятьдесят шестом, по настоянию деловой нашей бабушки, мы построились на Каретном, кооператив.

и свою Серпуховку я увидел уже в начале восьмидесятых, по-детски... издали, когда вышли из «Добрынинской». куда идти? а вон — видишь дом, где «Колбасы» написано. казалось: очень трудно, далеко идти — под землёй, плутать... но там вышли на свет, сразу из-под земли — подъезд, после такого людского, откровенного и древнего запаха мочи от стен на первом этаже (по соседству общественный туалет слева) — по лестнице (гнутое дерево перил и тёмное железо — исходные). оказалось, в тот первый раз очень здорово, совсем незнакомо и потому интересно в перемещениях по новым комнатам. ребёнок-племянник (я уже ему дядя тогда), прыгучие игры до пара, которые закончились вечером внезапным выходом в новое пространство — кухню, где у стола, на светлой клеёнке с ягодками (как-то вдоль и наискось) нам с ним дали новый полезный напиток: шиповник, разведённый сироп.

всё это происходило лишь в двух из четырёх комнат, помню только узкую комнату, коридор и кухню сбоку от моего входа в то время, где основной плоскостью было то, что дома за окном, над «Эрмитажем»: гостиница «Россия», Каретный Ряд, колокольня Петровского монастыря и крыши, бесконечные, непредсказуемые крыши, дома. Твоё пространство, даль моего времени — увидел во всю ширь и не боялся совсем, не думал о прекращении этого вида.

Серпуховка стала островом «в гости», местом, где торжественно, всегда вкусно, неисчислимые взрослые родственники, а по бокам от главной большой комнаты, где стол — закутки наших с племяншем игр, буйств двух фантазий. из пианинного табурета прошлого века сделали руль: все три комнаты, всеором расходящиеся от главной, становились игровыми, пока застольничали взрослые, а мы проползали под столом, так как протискиваться было долго, хулиганили с взрослыми ногами, связывали шнурки. эти путешествия в серпуховкину часть Садового кольца были первой высадкой в район, который позже стал мне известен как Замоскворечье.

прогулки на Красную площадь, вид от Мавзолея на дымящие паром трубы на том берегу — вот, думал, Страна: работает, город, заводы. если бы знал тогда, что оттуда мне через двадцать лет будет до Серпуховки всего минут сорок пешего ходу, что она там, за Мосэнерго и Новокузнецкой... но Ты открывалась постепенно, фрагментами, вспышками, островками визитов, куда привозило светлое подземелье метро.

«Добрынинская» — кафельна, торжественна, с красной звездой под потолком, видной, манящей из наклонной шахты эскалатора и мозаиками Победы на выходе. со сталинизмом неизбежным, эпохальным. после выхода из метро, на стене встречного нашему пути дома (перед спуском по лестнице в подземный переход) — на красно-бордовом фоне три сильных мужчины: учёный с космическим спутником, рабочий и шахтёр с отбойным молотком на плече: «Мы строим коммунизм». нет, читать не мог тогда, но белые фигуры, устремлённые вправо в сторону Серпуховки, помню. сюда в девяностых новые русские приладили в ответ заносчивую рекламку мелкобуквенную «А мы строим новую Россию», ниже шла реклама то ли «Эфеса», то ли «Холстена».

за двойными деревянными дверьми — запахи гостеприимные, пироговые, вкусные. вместе с запахами — лица родственников: встречающие, запускающие и торопящие за стол, который вправо. стол, собранный из двух, а то и трёх — от окон до двери, человек на тридцать-сорок. из прихожей направо и — прямо за стол. количество родни для ребёнка было неразборчиво, поэтому, если мы надолго засиживались, то было открытием — что здесь остаются жить, а не только гостить вовсе не все, а только некоторые, похожие на наши, к низу от щёчек специфически суженные, медленно курносые родные лица. которые в разгар праздника, после трапезы, в перерыве до чая, покурив на большой лестничной площадке, усаживались в торце стола, у окон — отец (дядя Юра), двое его сыновей и ещё, если был, мой троюродный брат Алик (да кто только не подпевал или подыгрывал — гитара переходила из рук в руки) — и играли в две-три гитары с домброй, и пели так красиво многоголосо, что казалась собирающаяся тут из двух и более частей ДабОрок и породнившимися с Даборками семья не только большой, но и талантливой. потом уже, в отсутствие рано ушедшего самого профессионального музыканта Серпуховки Алика, играл я на пианино свои скучные музшкольные выучки.

получилось так, что окончание Эпохи эхом, с опозданием почти в десять лет, вытряхнуло жителей Серпуховки (хотя и в соответствии с их давним желанием) из их и нашего семейного центра, за Садовое (а теперь и Третье транспортное) кольцо.

длинная гостиная, упирающаяся в три окна как раз на полукруглом углу, за которым разъезжаются трамваи, за которым налево через Кольцо хлебозавод, Плехановский институт и Щипок, а направо Добрынинская. железный, с вращающимися числами календарь позади на белой плитке голландской печи, которых почти в каждой комнате по штуке — в начале XX века, когда строился этот дом, тут были меблированные квартиры купеческие, дорогие. плани-

ровка асимметричная: комнаты расходятся веером, дольками. войдёшь в прихожую — дух старины, сундуков, лыж, коньков, пальто. но вода в доме только холодная. не предусматривал комфорт начала двадцатого века здесь даже ванной. только отдельный туалет и мойка на кухне.

какая тут всегда огромная семья обнаруживалась — полон дом родни. с детьми и внуками.

а в двухтысячном... мы вернулись сюда с Витьком, моим соратником с Рабочей, словно по зову помощи — забирать лишнее и фотографировать оставшееся помещение, а потом уже я приехал сам загружать и перевозить Даборок на долгожданное ими новоселье. нам, гостям этого дома, было не понять здешней повседневности, с холодной-то водой круглый год. да, рост детей Серпуховки усложнял им жизнь, не было отдельной площади, в большом же доме — не то, не приведёшь, не обустроишь отдельно суженную. однако же один из сынов дяди Юры здесь вырастил моего племянша — весёлого, жизнерадостного, боевого, ещё в то беззаботное время конца восьмидесятых. отсюда он бегал и в секции, и в школу, на каток (как мы вместе с ним во двор выбегали гонять в футбол по чёрному ходу, прямо из квартиры, потайная дверь перед холодильником на кухне)... у младшего сына моего дяди Юры (в свою очередь — племянника моего деда) не вышло, словно трещина пошла в старом доме: его оставила жена, забрав дочь. потом стали умирать казавшиеся нам, детям, прежде бесчисленными и бессмертными, бабушки Серпуховки, сёстры и жена дяди Юры. но даже тогда большая семья, собиравшаяся здесь теперь не только на Пасху, дни рождений, но и на траурные поводы-проводы — была ещё большая, концентрируясь в сердцевине Серпуховки.

и всё это в 2000-м заканчивалось. пустая, без гостей Серпуховка, опустошённая самими же её обитателями, непривычно открытые двери — получалось, что вдоль угловой дуги окон тут вообще все комнаты сквозные, от кабинета дяди Юры до Алёшкиной комнаты, где мы бесились (правда, и в дядиюриной комнате тоже). словно всё это мы накликали с Витьком нашей защитой чужого дома на Рабочей, в сторону которой и дальше переезжали отсюда уцелевшие Даборки: такой же опустошённой, покинутой, тревожной стала Серпуховка. и здесь на старом дубовом паркете как пласты обнаружились все периоды — от благоденствия до перестройки. «Шпионаж капиталистических государств» тридцать седьмого года, «История КПСС», Теодор Драйзер, брошюры Ленина шестидесятых годов, Дэн Сяопин, Горбачев.

поддержка Ельцина со стороны части собиравшейся на Серпуховке родни была для нас удивительна — сам дядя Юра был упорным сторонником этой «новой России», из которой теперь, после властвования Ельцина, и Серпуховка выселялась. ведь и дядя Юра и его сыновья, в отличие от моей интеллигентской семьи, были как один, хоть и поднявшиеся до инженеров — но рабочая кость. всегда всё делали своими руками не только у себя дома, но и у нас, беспомощных, безмужних. большой письменный рабочий стол дяди Юры всегда был усыпан напильниками, рашпилями, штангель-циркулями, прочим инструментарием, часто к нему при-

кручены были тиски. играя в его комнате, мы чувствовали, что именно здесь, в окружении старинно, добротнo, деревянно и железно пахнущих предметов, живёт тот взрослый человек, на плечах которого, таких как он, держится этот взрослый, неизвестный нам за окном в трамвайной зимней ночи, гигантский мир.

но мир изменился: болезненная оттепель конца восьмидесятых незаметно, непостижимая читающими, вливалась с демагогией со страничек горбачевских брошюр, вливалась и накапливалась волной на рубеже девяностого, опрокинув затем весь этот уют — не сразу, но безвозвратно. но даже их, эти птичьи трели буревестника Горби в брошюрках, сделавших своё вредное дело, безропотно прибавлявшихся к ленинским тезисам — я собирал в 2000-м, чтобы знать, ходил по гостеприимному прежде помещению, не встречая над пианино ни настенных часов с маятником, ни старых, пропрыганных нами с Алёшкой-младшим диванов. вот и стопки «Роман-газеты» обнаружились — это читали, этому сочувствовали, сперва эмоционально, а затем и политически осуждали стержневую суть, фундамент Эпохи. и покидали родной дом — уезжая как раз в направлении Заставы Ильича, Рабочей улицы и дальше — в Перово. мы перевозили родню с её пианино, диванами и шкапами тем же путём, что с Виктором бегали к Рабочей. и она открыла нам вид дальше — к Авиамоторной, где мы уже летом ходили по следам Эпохи вдоль рельс и улиц, находили целые кварталы конструктивизма или же неоклассицизма, из пролетарских дворов, неожиданно, монументально, с фонтанами и колоннами вырастающего. а в Перово новый дом Серпуховки был тоже эпохальной постройки, пятидесятых или тридцатых, но не выделяющийся, просто откапремонтированный.

с летней улицы, из-под листвы, заносили мы пианино, диваны, столы и шкафы на второй этаж — но Серпуховки тут не вышло, а продолжились болезни и печали, что можно уже позже вспомнить. ведь автодвижение с переездом уловлено верно — в том же направлении, что и мы едем в 2001-м на марш «Антикапитализм», уже у твоих Красных Ворот сворачивая, правда, а не к Таганке продолжая тот путь двухтысячного от Добрынинской.

едем, в «газели» тепло, Юрик курит и рассказывает про то, что подъём жизненного уровня у рабочих СССР революционизировал по Сталину зарубежный пролетариат: «хотим зарплату и уровень жизни как у советских шахтеров», так требовали в тридцатых в США... проезжаем мимо Казанского вокзала, откуда наши должны были уже уехать, флагов не видно алЕния.

выпускают массивные сталинские стены нас, спешащих автомобильных последователей того дела, того строительства: пятиконечные контурные звёзды и рог изобилия в воротах одного из домов за Красносельской, низом наминающего высотку, справа сообщают своё — «наше дело правое...» пролетаем Сокольники, где мы с тобой приземлялись к метро, трамвайная встряска, ответвление к конструктивистским стенам, где ДК какого-то института, клуб «Даймонд» там был, мы выступали с фанк-коллективом «Безумный Пьеро» там... давно, в другую мою эпоху, Постэпоху, за пивом бегали, всасывали её вкус.

ныряем по мостам к Преображенке — соглядательнице и гадалке наших дождей и путей. длинный дом по пути к ней, к тому месту, где мы перебежали улицу — забирает мысли. многоподъездный дом, широкооконный, вот он социализм — расширивший перспективы даже в этих моментах, в окнах.

«газель» Трудовой России несёт нас дальше, Рудык о чём-то знакомо перекидываются с Юриком, весело и надоедливо друг другу, а я утопаю взглядом, последние дома ловя информативные, добелобетонные.

где-то среди авторазъездов отыскиались повороты, знакомый вид метро снаружи, открывая часть зелёной ветки, где кубически выглядывают цеха АЗЛК, вроде бы. так или иначе, съедая подробности, шоссе унесло нас в незнакомое Раменское и... у художавых, но стильных объёмов старого ДК годов двадцатых или самого начала тридцатых — мы закатываемся между двух стен, увидев подобие трибуны и несколько пожилых человек в кожанках, местный партактив КПРФ, организовавший тут место для митинга. каким-то образом тут высадились заранее и региональные акаёмовцы: один военизированного вида худой товарищ интересуется, пока я вожусь с пачками «Молодежной политики» — как, Иван Баранов ещё поёт, будет ли выступать тут? обнадеживаю, при этом не говоря и не вспоминая про наш новый проект, даю ему синие логотипом экземпляры «Молодежной политики» — и первый, со статьёй про ГО весенней, и новый, осенний.

подготавливаем место митинга — микрофонную стойку позади «газели» центруем. ожидание недолго: слева из-за угла, со стороны железнодорожного полотна, из-под то и дело орошаемых моросью осенних листьев показывается ожидаемая нами молодёжь. на лицах банданы, идут неорганизованно, но стремительно. ощущая свою массу, то сгущающуюся, то расходящуюся — скандируют так, что мы радостно уверяемся, что прибыли по адресу, и везли всю оснастку не зря: «Хэй, хэй, смерть буржуйам, смерть буржуйам, хэй!..». вышедшие из-за угла образуют перед тылом «газели» ряды, нашим эскаёмовцам я спешно раздаю наши бумажные лозунги, происходит быстрое фотографирование до митинга, у самых яростных оральщиков самых радикальных лозунгов, нацболов — даже портативные видеокамеры, богатые радикалы. да, марш стучится как туча у памятника пролетарской архитектуры, заводского ДК, каких много строили в конце двадцатых, на заре индустриализации, вместе с заводами.

и вот уже — у микрофона небольшой президиум образуется, в котором и, успевший меня погонять с раздачей бумажных держательных лозунгов, Усманов занимает место рядом с Удальцовым и ещё какой-то девушкой и парнем. митинг открывается, Сергей Удальцов зажигает пламеннее всех, а сразу после него — выступают певцы, в числе первых Иван Баранов, конечно же.

«Я захохочу и радостно плюну!..», — «НАТЕ!» Маяковского уверенным, широким голосом Баранова под акустическую гитару вливается словами в ещё не начатый, не замаршировавший, концентрирующийся марш. вместо «Прямо в лицо вам...» Баранов, чувствуя поддержку нацболов подставляет «прямо в избло вам!», чем срывает голосистую и аплодисментную поддержку, разгорается пламя революционного, эпатажного настроения сотенных масс. «Единый блок

левых организаций» — как у Цветкова-младшего, может быть цензурная расшифровка спетого словечка.

а вот потом и моя очередь петь, взялся за гуш. не тем, конечно, зычным голосом, но песню доношу, позабыв, правда один куплет — люди даже на диктофоны записывают, не говоря уже о видеокамерах, фотоаппаратах (одна даже присела, чтобы снять моё пение поближе). «На Дальнем Востоке» пою: «Край, согретый сталинской забо-отой...». Кравчук, по кличке Антонелло-Маргинелло, певший в самом начале, басист из «28 Гвардейцев-панфиловцев» интересуется после исполнения, пока остывает мой сопровождавший песню пыл и волнение: записана ли эта песня где-то. утвердительно отвечаю, добавляя, что только не в современной трактовке. заканчивается песенная часть вдохновенным и волнительным исполнением одной белокурой полной акаэмщицей «Мой адрес Советский Союз» — дух КСП, похода, и в то же время грозные лики за платками, нарукавные повязки АКМ и НБП, красные транспаранты и флаги, пока что скучковавшиеся перед ДК, комментируют — уже другой период.

закончили митинг и стали от ДК через сквер, в сторону улиц и городишки, выстраивать гусеницу марша, делиться на колонны, Усманов подгоняет: искать и выстраивать СКМ, дать им транспаранты, мы должны первыми идти. получаю мегафон для направления движения и скандирования.

уже подрулившие ментовские серые «газики» дают нам дорогу, чтобы пристроиться позади, лица обеспечивающих нам путь и сопровождение сероформенных недоверчиво-хмурые. сопровождает нас, впередиидущих и малиновая «пятёрка» НТВ, время от времени снимает колонну.

такое вот невероятное событие: утро выходного дня, суббота, все ещё спят в Раменском, а тут — длиннючая, полыхающая алой росписью спины гусеница, словно родившаяся из старого пролетарского ДК, движется по улицам спальных кварталов и вдобавок ещё голосит. оглядываются на нас вышедшие в спортивных костюмах да тапочках в ближайший магазин за хлебом к завтраку — максимально удивлённо, но где-то за этим удивлением у старших таится восхищение, радостное неверие тому, что это возможно, это красноречивое молодое течение.

но чтобы марш двигался, сильно ужатым размерами тротуаров там, где нельзя по улице, чтобы он жил — нужно каждую минуту орать в мегафон кричалки: «Наша родина эс-эс-эс-эр!», «Товарищ, смелее, гони буржуя в шею!» — подбадриваем мы небогатых жителей окраин Раменского, тротуарных и магазинных, оконных. глядят на нас по-разному. чаще просто недоуменно, но пристально, не имея возможности или уверенности отвести взгляд.

пересекаем перекрёсток, словно входим в город войском: быстро видим все точки, куда может быть направлена пропаганда, а их немного — в основном, открытые окна пегокирпичных «генеральских» башен или пятиэтажек. и — скандируем. иногда кричалку подхватывают, уже известную с полуслова. иногда сам ловишь в мегафон накатывающую сзади скандёжку. иногда скандирование пронзает с небольшой временной рассогласовкой всю колонну-гусеницу.

но есть моменты спорные: когда нацболы орут «Россия всё — остальное ничто!», мы им отвечаем «Наша Родина — эс-эс-эс-эр!».

идём, идём — впереди, иногда чуть отставая или обгоняя нас по проезжей слева катит машина НТВ, из окна пялится камера. идём — то ли большая краеведческая экскурсия, то ли поход, то ли демонстрация. откуда-то взялись мальчишки, обычные дворовые, местные, вечные — уже в первых рядах, с удовольствием подхватывают «Красные в го-ро-де!». у местного супермаркета — действительно видят: красные в их тихом городе. откуда их столько, чего хотят?

бежать перед колонной, перед всем течением марша — дело мне непривычное и зажигательное, ответственное, идущие близко знакомые лица эскамовцев и начальник Усманов взирают, нельзя медлить, молчать, надо зажигать в мегафон скандёжки, обнаруживая в своём голосе басы и драйв. и всякий раз, начиная кричалку — срабатывает странный механизм, как у того мальчика с дочкой из сказки: забегаешь вперёд, поворачиваешься к ведомым лицом и, убито-стренно пятясь, тянешь во всю длину марша людей словно бы не своим же шагом, а словами, одно за другим забрасываемыми им.

так, не остужая пыла скандирования, наблюдая, как звенья гусеницы время от времени растягиваются и становятся видны — АКМ за нами, РКСМ(б) в середине и добрая половина колонны — нацболы, несущие какие-то в полиэтилен зашитые свои чёрные и белые лозунги, как простыни, и ещё белые, словно для уборки снега, черенками вниз, лопаты со странными картинками на ватмане, видимо символизирующими революционную победу духа над плотью — череп Че Гевары в беретке, череп Ленина в кепке. и смех, и страх... на грани стёба.

но в определённый момент обнаруживается раздваивающийся на пешеходные части бульвар, ведущий к площади — это мы уже в Жуковском, где памятник Ленину как раз перед КБ и опытным аэродромом находится. последняя финишная до второго митинга прямая — из последних вокальных сил, с явной уже хрипотой зажигаю наработанные лозунги — по степени нарастания экстремальности и с тем, чтобы по приближении к центральной площади и максимальному скоплению зевак-покупателей успеть грянуть доминантой «Наша родина...».

митинг выходит немногочисленный, когда все подтянулись к памятнику, а некоторые разбежались по магазинам — вскоре выяснилось зачем. нацболы вместе с анархистами накупили баклашек пива и, как хиппи или панки, вместо того, чтобы участвовать в митинге во весь рост, устроили некий «хипповский сайгон», сели на асфальт и внимают оттуда, захлёбывая пивом выступления ораторов. один из них, вида продвинутого, европейского, в очках «лектор», после сердечно-го, прочувствованного и пространного приветствия со стороны открывшего митинг местного пожилого товарища из КПРФ, потребовал свободу Ичкерии — что вызвало со стороны ожидавшего своей очереди выступать нацбола, гауляйтера-регионала, требование, подхваченное пьяным сайгоном: «Оратора — на мыло!». успокоить нацбола-оратора было не просто, он в своём выступлении напирал на Державу и Российскую империю, что было тотчас резюмировано бухающим сидя сайгоном: «Ленин, Сталин, Берия — да здравствует империя!».

такие разноликие в этой осени, нарушающие обывательский провинциальный покой горожан — эти участники дебютного марша «Антикапитализм-2001». и видеть, как кто-то подходит к митингу из торгашеского вида местных, слушает выступления или даже сам норовит подойти к микрофону — интересно. но лучше всех, естественнее и призывнее выступает от РКСМ(б) некий лысоватый заика: «Чт-то делать в-в-в этом от-тврательном б-б-буржуазном обществе? Б-б-бороться, к-к-кончено! Соб-бираться всем в-в-вместе и б-б-бороться!». кричит он это, словно смертельно напуганный и из последних сил преодолевающий дрожь — тем самым обсасывающим пивные баклашки, и уже жмыхающим под косухами и балахонами «Гражданской Обороны» и Sex Pistols своих панкУшек, нацболам...

однако марш продолжает движение — в осенне-блѣклую и ярко-жѣлтую лиственность, за территорию завода-аэродрома. организовавший митинг коммунист сетовал в выступлении на то, что дававшие технику военного превосходства над США мощности простаивают, никаких новых разработок в Жуковском не ведѣтся, уволены большинство уникально квалифицированных рабочих и инженеров. а городишко, тем не менее, в спокойствии суетит по магазинчикам, отоваривая заработанное иначе, свои пенсии да стипендии... и вот мы тут идѣм, сопровождаемые сбоку ментовскими местными ford'ами, словно шерифскими из голливудского кино — идѣм и несѣм им свой будящий протест, в том числе и против этого геноцида отечественной высокой технологии, оборонки, в майках «Обороны», такое почти невероятное совпадение, анархисты в рядах политической борьбы с анархией и гибелью производства.

как, какой катапультай, пружинной времени меня забросило сюда через два года после того, как я перестал с тобою, с влажной внутренней откровенностью тебя быть, когда был отторгнут, отставлен в памятные наблюдатели прежних банных и других нагих минут? это же было ещѣ не первое и не второе Ладеево, уже время и место разлада — когда плакали под дождиком друг в друга, понимая безвозвратность друг к другу, обнявшись под склоном, а ты просила, когда дождь и слѣзы утихли, простить себя... но по законам мемуаров можно это и не вспоминать сейчас. «сейчас»...

а сейчас, в двести тысяч первом (вовсе не сейчас, но сейчаснее девяносто девятого) — я иду рядом с этими горячими, вспотевшими ребятами и девушками, юно благоухающими непарными гормонами неразменной девственности в нашем дружном осеннем марафоне. я один из них, и не только — я оратор, я с мегафоном, я ведущий. и мы, мнимые осенней лиственной красотой Подмосковья, идѣм какими-то дачными задворками, ради нас на закоулочной улице нет движения, и только ментовские форды сонно тянутся рядом...

нас загнали на задворки, но и тут мы время от времени прорываем красивую созерцательную тишину скандѣжками — отдыхающий голос мой их ловит, продолжает другими, так мы словно олимпийский огонь, не даѣм потухнуть маршевому пламени в нас, смыслу его, «Антикапитализму». а задача-то простая: в тех сомневающихся здешних жителях — будить советское или заново оттор-

жение новизны капитализма, поднимать иммунитет к нему нашим видом, нашим утаром, кричалками, флагами. с капитализмом не только можно в думах не мириться — с ним можно и нужно бороться.

но красЫ лесных задворков Жуковского забирают окончательно, и, чуть теряя чувство этой нашей общности и растягиваясь в колоннах, расслабляясь, так как нас тут никто практически не видит — я уже в своих о тебе воспоминаниях, недавний твой, а теперь красный. именно эти политические предпочтения становились иногда точкой раздора, но вовсе не концентрирующей — когда была сближающая сила, эта ласковая любознательность, желание целовать твои ноги летние в тувельках, иногда даже ощущая женсковатый, персиковый, особенный там пот или рыться целуя в волосах, пересчитывая каждый русо отливающий, чуть перепадающий спектром от светлого к тёмным длинным концам, волос. моя девочка. до сих пор, хоть и отделённая — моя. упрятавшаяся в свою религию, в танцы. да и я не лучше — вон в какие тяжкие пошёл, иду, срываю голос, а лес зовёт меня с тобою с этой дороги. но не с кем заблудиться в лесу и поцелуях-ласках, нет тебя.

и осень, подсказывающая твои глаза и волосы всеми древесными и лиственными вместе с небесными, просвеченными солнцем, подробностями — остаётся сбоку от марша. я ухожу в неровных говорящих рядах с флагами, со всеми новыми сотнями товарищей, с неожиданной и дорогой, только тут открытой дружественностью лиц незнакомых, прыщавых, девчоночьи-школьных, пирсингованных — ухожу вперёд, возвращаться к Тебе в этом алофлаговом потоке.

оказывается, мы шли к платформе — взобрались и обнаружили на узком пространстве, не распугав, но приковав к себе внимание пассажиров, что нас много. и всё весёлые, живые лица, повязки с лиц посбрасывали, повязки РКСМ(б) — на лбу, красные, у всех похожие, много их — общающиеся, что-то внезапно бросающие своим в мегафон. к нам присоединились даже анархисты из Ярославля, уже порядком пьяные, пахнущие в своих одеждах как несколько дней воевавшие солдаты — спрашивают, будет ли выступать Егор Летов завтра, в московском этапе марша? Удальцовым велено нам, посвящённым в тонкости пропаганды (а на стикерах и немногих афишах писалось про акустику Летова на площади), не отвечать определённо. да, для этих людей Егор — вождь, ради него приехали многие из своих провинций. люди на марше выглядят как особые туристы — и уже понятны их рюкзаки с нашивками Че, звёздами, всё это домотканое левачество становится в массе эстетикой и даже военизированной общей стилистикой.

сесть всей этой гурьбой в вагон — очень впечатлительно, объявить его освобождённой территорией Советского Союза — ещё лучше. осоловевшие некоторые, а другие, кто постарше, повеселевшие пассажиры с интересом внимают происходящему, таких событий для них года с девяносто третьего не было. и в вагоне продолжается общение, сев рядом с подругой Кати Заводновой загвариваю, привлекательная шея, милые маленькие губы, мелко волнящиеся русые волосы — может быть, нашёл отвлечение? не вышло, той же осенью затухло — подсказывает старший на полмесяца двойник из уже сходявшего октября —

ноября. хотя, вкус её нижний удивил, почти заставив почувствовать стремительно на втором этаже её дачи происходящее как желанный, но не вырисовавшийся в попытках тебя чётко сон — у неё под жёстким мелковзвитым русым волосом в развёрнутом лепестковом таинстве оказался совершенно твой вкус, никакого отличия, словно другого не может быть: твоя глюкозка и сосна. от этого или по её опаске — долго тушевавшийся, динамившийся в её пальцах молодец-голубец так и не изменил пребываниям в тебе?.. чувашка она была, с тремя волосками из каждого соска стремящимися, влезающими в поцелуи, всё хотелось откусить их... и бессильно, бесследно промелькнула эта странная игра с ней, проголодавшее согревание друг друга в осенних холодах, с целью затмить наше любование с тобой, то на её, то на моей даче (в её Воскресенск, в ДК «Юбилейный», мимо которого мы бежали по пустынной овражной прижелезнодорожной осени к ней в садовое товарищество, приезжал той осенью вместо марша Летов).

маршем в вагонах, говорливым и единомышленным, со свёрнутыми, но всё равно кумачово преобладающими в вагоне знамёнами, доехали до Люберец и уже через многолюдный город шагаем от платформы перпендикулярно. вот уж тут раскошегариваю свой подсевший мегафон, что не даёт батарейка — компенсирую голосовым надсадом. отражают кричалки или впускают в открытые окна — белые, с промазанными землянисто-серым цементом швами, панельные хрущобы.

по Люберцам вышел путь недолог: за первым же перекрёстком свернули налево, чуть на проезжей части не вступив в перепалку-драку (просто шлёпнул по капоту стоящей на красном иномарки кто-то) с норовистым очкастым буржуй-кОм, который вытаращенными глазами из-за лобового стекла явно не верил видимому краснознамённому шествию молодёжи и ненавидел его глубоко, поражаясь численности, видимо. за лирическим (кружевно прячущимся и от автосуеты, и от нашего громогласья, здесь уже утихшего) парком открылся розовый ДК.

колоннада неоклассического поздне-сталинского дома культуры взяла нас на поруки, призвала под сень. здесь же обнаружились автобусы — для регионалов, чтобы отвести в школу на ночлег, условленный Усмановым и Удалцовым с кем-то из областников СКМ. да и здесь, в Люберцах, говорят «наш» человек в администрации способствовал пришествию «Антикапитализма» к ДК и стадиону.

вновь сгурьбились на малой передышке перед ДК — всё в диковинку, не известно, сколько ещё пройдем, каким путём, уже глядя на вечер. но, покуда добавившиеся регионалы налаживают общение — общаемся и мы: обнаружилась Боевая Подруга — девушка с форума Коммунист.ру. с ней успели поздороваться-познакомиться ещё у конструктивистского ДК в Раменском, но затем разбежались обратно по своим колоннам, товарищЧ и ОКазян. это она дислоцировалась рывками с фотоаппаратом там, ловила в объектив моё суровое стройотрядовское исполнение «На Дальнем Востоке». и теперь-то, протопав с ней первый день марша, и извлёк из заплечной сумки, малость приклеившуюся корешком-изоляцией к бумажным соседкам, новую книгу в камуфляжной обложке. ту самую, за которую Усманов выдал — когда мы к нему с Королёвым прямо домой заявили, выгасив из грильно-куриных ароматов уюту молодой се-

мы — три тысячи рублей. за это на развороте значится: «При поддержке Комиссии ЦК КПРФ по патриотическому воспитанию молодёжи». все расходные материалы — «Яблоко». а пятьсот экзов такого самиздата — немало пачек бумаги МВ...

на корточках сидим, общаемся с Боевой Подругой, книжицу передал. не надписывая — оба выше этих предрассудков. сидим, перечисляем поэтов читаемых, Боевая Подруга образованна в этом вопросе.

но — митинг на спортплощадке призывает, делаем немного шагов, не прерывая общения, огибая автобусы регионалов — и у трудороссовской «газели», на слегка намокшем с осенней травушкой футбольном поле, начинаем новые ораторские выступления. здесь товарищ Ч выступил особенно отчаянно, стихи читал из прежней книги. митинга ведущий, до этого не видневшийся — трудоросс со скошенным затылком, будто специально для белой каски, которую он всё время, пока его видим, не снимает. как тренер, он начал митинг с профилактического какого-то тона — мол, ну как, поразились, а ну-ка повторим наши лозунги. подутомлённый народ проскандировал — почувствовался действительно концентрат марша, его эмоция, снова и снова будораживший попутные стены и уши «капитализм — дерьмо» здесь, направленный друг в друга сработал как подведение итога, вывод.

в тарелке намокшего осеннего футбольного поля стоим, ждём очереди, трепетно я захожу с тыла «газели» и дожидаясь условленного с Удальцовым слова, чтобы стихами жечь... а Баранов поёт «Красную армию», всех мобилизуя в припеве, единя сильно и красиво своим голосиной.

по окончании митинга — внезапно с радостью обнаружив не только ораторскую востребованность, но и задействованность по оргчасти — прыгаю в «газель» и вместе с устроителями ночлега еду вперёд автобусов, к той школе. так и с не снятым красным флагом, с неубранными с крыши рупорными «колокольчиками», «газель» выезжает из Люберец, прорывая трепетом знамени уже стущающийся дым вечера.

пока Удальцов договаривается в школе, мы, так и не дошедши до неё, покупаем перекус в придорожной палатке какого-то уже Твоего окраинного района. всё ещё пышущие удалью марша, мы словно каждого встречного уже взглядом оцениваем в свои, агитируем. а ходят тут и ребята и девушки, наши глаза перестреливаются, но мы здесь не станем скандировать, скандалить: уже темнеет и голоса сели, наши люди, спеша, зажёвывают хлебобулочные изделия, делятся газировкой, дюшесом.

этот неожиданный район, островок покоя после движения несколько минут — потом снова в уже привычный уют «газели» и до метро. только внизу незнакомой станции сиреневой ветки — ощущается усталость, поздний час, клон в сон.

щекочет промитингованное горло дома после чая и в поспешном засыпании: начальником Усмановым велено прибыть в семь на станцию... забыл уже название, утром вспомню или позвоню...

в электрическом освещении метро: сонные левацкие рожи, нашивки с нашей символикой, Че, серпымолоты, звёзды, стиль АКМ, не вполне за ночь

отдохнувшее сердце, низкие утренние или простуженно-прохладно-свежие голоса — в центре зала-ангара, комсомольцы призванные Усмановым по линии МАИ, знакомые лица СКМ... и — всё впереди.

снаружи — утро осеннее, тихо солнечное. ожидание автобуса на окраинной остановке долгое, некоторые то и дело порываются прыгнуть в маршрутку, но их останавливают. на остановке с нами — нацболы, хоть и без нарукавников, но видно. говорят, они из РНЕ перешедшие. рослые богатыри, белокурые бесстыи, на одном под растянутой кожаной курткой майка с цветным изображением богатыря РНЕ с мечом и соответствующая эрэнешная в районе меча ватрушка, спрятанная за ответвлениями свастика. делали же майки такие, вполне профессионально — небось, в магазине куплена.

вот и автобус, бело-зелёный мерс, салон мало заполнен креслами, так что нашей ватаге стоять удобно. проезжать рябющую за окнами лиственную золотистую желтизну, грусть природы. но солнце и новостройки сообщают вдали оптимизм и бодрость — едем к МКАДу, из-за которого подтянется после ночлега АКМ с регионалами.

вышли, теперь пешком. милицейское участие в нашем марше видели ещё из автобуса: уже наполовину отодвинута от обочины полоса встречного движения, где стоят как фонарные столбы на определенном расстоянии друг от друга менты, осенние соглядатаи. продолжение этой же разметки наблюдаем двигаясь в направлении МКАД, эстакады, выглядывающей впереди меж лесами. вот зачем так рано просыпались — на левой от нас, противоположной стороне шоссе, придорожный лесной пейзаж нарушает группа уже собравшейся и светящей флагами молодёжи, наши. машем им, переходим пустоватое шоссе, только с нашей стороны несутся и вынуждены притормозить легковушки — кто не успел промелькнуть в просвет, опять ощущает противостояние с автособственниками.

на этот раз нацболы пойдут первыми, их очередь. вот и стоят заносчиво поматюгиваясь в сторону автобусов — а автобусы-ГАЗы стоят позади формирующихся колонн, ближе к эстакаде, и, наши говорят, набиты фэсбами, охранкой. там же разворачивают аппаратуру странные телевизионщики без опознавательных знаков — наши шутливо говорят: «ФСБ-ТВ». лесная осенняя даль за шоссе, какие-то газовые болотные перед ней кочки, холмики глядят в утреннем солнце так, словно и марша никакого нет, словно мы туристы, поход... наличие такого внимания со стороны охранных служб пугает. кто-то говорит, что будут провокации — будут винтить, если что, не понагнали бы столько фэсбов. АКМ ждём долго: имеющие сотовые телефоны, и порезвевший Усманов в первую очередь, созваниваются со школой, с Удальцовым — что-то заспались революционеры.

показались под эстакадой, наконец. пока что тенью, на солнце не вышли — оцетинившаяся знамёнами колонна, даже издали, отсюда видно самую их главную растяжку, стилистически заимствованную у нацболов: красный фон, на нём белый прямоугольник и чёрные буквы А, К (автомат Калашникова дулом вверх) и М, между А и К соединительный, красным нарисованный серп и молот. растяжка попадает при выходе из-под поперечного моста в солнце — да,

это наши осенние товарищи разжигают, растапливают своим красным жёлтую блёклую осень.

колонны выстроены, запанибрата себя с касочным трудороссом ведущий, мент пытается командовать («в колонну по четыре!»), ужимать ряды — но мы уже идём. правда, приходится держать сбоку все транспаранты — но правильно: пусть автоедущие читают. некоторые уже одобрительно библикают. вот он поход на Москву буквальный — от МКАДа наступаем. кричалки заработали в первых же спальных кварталах, у «комков», у остановок общественного транспорта. вот пригодились и все банданы-рюкзаки с гербом СССР и Че Геварой, не говоря уже о флагах — народ на остановках, тротуарах, пешеходы присматриваются. все видят особое сообщество молодёжи, помесь демонстрантов, походников и партизан, уже сроднившихся и с символикой, и с лозунгами, зло скандирующих: «Каа-питализм — дерьмо!», «Наша родина — эс-эс-эс-эр!», импровизирующих в кричалках с именем президента, министров. нельзя сказать, что пешеходы откликаются, машут одобрительно в основном старички-бабульки, самый униженный постсоветский класс пенсионеров.

сегодня НБП впереди орёт громче свои «Россия — всё, остальное — ничто!» (такой вне-направленный нигилизм) и «Наше имя — Эдуард Лимонов!», это никто, кроме нацболов, не скандирует, зато мы подхватываем иначе: «Свободу политзаключённым!».

моя глотка, как только получил мегафон от касочного трудоросса, даёт сбой, недотягиваю громкостью, вчера не рассчитал сил, всё выкричал. но поспел некоторое время. само повторное скандирование — становится течением переживания, как в песне, одни и те же образы, мысли, всё выплёскивается на зрительное поле, на автостраду, спальные кварталы, магазины... приближение к Кузьминкам — через мосты и районы всё более вписывает краснознамённое шествие в пока ещё абстрактный, далёкий от центра, городской пейзаж.

на ходу запрыгиваю в «газель» перевести дух после зажигания в мегафон. касочный трудоросс подсказывает: там в машине микрофон, можно оттуда через колокольчики зажигать лозунгами и даже речами.

«газель» трудороссов малиново едет позади колонн, отделяя наших от фэсбов, тоже плетущихся хвостом на своём транспорте. видимость уже вполне элитных генеральских слева башен и новостроек как-то злит. а справа от нас, как только миновали мост — под задумчивыми осенними деревьями кладбище. по этому поводу развиваю в микрофон идею — это символично, ибо мы хороним капитализм. каждую короткую речь нужно завершать привычным и логичным лозунгом — плохо слышно, как скандируют колонны, долетает ли до них. очень ощутима отдача — если речь искренне пламенная, то скандирование длится долго и всё же слышно в машине, если же нет — надо продолжать уже следующей нарратацией.

Кузьминки возникают быстро, солнечно и видно, как наши колонны знакомой пёстрой гусеницей поворачивают вправо. многие говорили о символической близости Макдональдса к месту митинга — не отметить ли там, анти-

глобалисты? ведь именно его сейчас обходим наблюдая комфортабельную приусадебность, автостояночки, дверки, урны, эмблемы...

наша «газель» обгоняет колонны и становится на изготовку перед длинной краснокирпичной стеной какого-то ДК — чтобы «колокольчики» были направлены в сторону масс.

людей здесь собралось больше, чем вчера, видны необычные флаги — на голубом фоне карта Кубы и Че. состояние митинга, стояние в рядах лидеров, рядом с Удальцовым, Шалимовым — жаркое. ожидаю слова, но из-за опоздания, митинг решаем сами же сократить. Анпилов долго держал речь, за ним региональные представители. всех снимает, проходит медленно мимо стоящего в рядок президиума ФСБ-ТВ, хмурая обязанность, потом плёнку будут медленно просматривать, запоминать лица потенциальных мятежников против Государства капиталистического расейского. кто-то успевает накинуть на нос платок или бандану. в рядах слушающих видны панки, даже ирокезные — они точно пришли на акустическое выступление Летова, которого не будет.

несмотря на целенаправленное, в несколько сотен, скопление народа около нашего митинга, видны отдалённо гуляющие с детками по дорожкам обыватели, вполне уравновешенно воспринимающие происходящее. Антонелло-Маргинелло второй раз за два дня марша исполняет переделанное из башлачевского «Время колокольчиков» — «Ответ андерграунду восьмидесятых»: «В буржуазной стране я умираю...». депрессивный, пораженческий ответ. странным образом Маргинелло уловил осеннее и воскресное настроение окрестностей — его негромкое пение притягивало внимание, прописалось в контексте, правда, снизив пафос митинга до кухонной исповеди под акустическую гитару. но, проаплодировав, панк-левацкие массы одобрили песню и, по завершении митинга, двинулись к метро — на Горбатый мост держа под землёй путь. марш ушёл под землю. мы же остались — чтобы собрать озвучивающие элементы митинга, загрузить их в «газель» и отправить следом за антикаповцами поверху. в процессе погрузки меня отлучил некий корреспондент ТВЦ и попросил рассказывать перед камерой про СКМ, про марш, про колхозы и вообще про нашу позицию. сели сбоку от ДК, эстетствующий, под стать маршу одевшийся в бундесовую милитари-рубашу и почему-то шлёпанцы, с модной испаньолкой, но лысеющий телерепортёр долго выбирал антураж. хрустальные лампы и афиша ДК выслушивали через мой взгляд рассудительную пропаганду товарищЧа.

поэтому приехал с опозданием к Горбатову мосту. путь к Белому дому — точно повторяющий тот, которым мы с мамой отправились в девяносто первом смотреть последствия события. на мосту уже рядами присели антикаповцы в ожидании митинга. оказывается, пока я общался с телевизионщиком, тут произошло событие: двинувшиеся от «Краснопресненской» хаотичные массы отодвинули преградивший им путь вооружённый собаками ОМОН, а обезумевший от такого наступления, от множества людей и зажженных фальшфейеров, ротвеллер вцепился в державшего его мента, аккуратно промеж штанин. на это участники марша ответили скандированием: «Слава советским собакам!».

Горбатый мост имеет одну удивительную особенность — сам маленький, почти антикварный, он увеличивает визуально количество стоящих на нём. особенно если фотографировать их вблизи, выходит панорама выгнутой дугой, пафосно. вот и сейчас, хоть без фотоаппарата, я пока хожу от «газели» и обратно на мост (дораздаю региональным панкам и комсомольцам «Молодежную политику»: берите, здесь со статьей про Летова плюс «Отход» с «Панфиловцами» в «Восходе») — ощущаю эту массу на Горбатом мосту. на митинге снова безудержно долго выступает Анпилов, но изюминкой становится не он. возникшая из нацбольских масс смоленская группа «Карамазов драмс», представленная одним ее вокалистом, хрипло и с матюгами поёт антиамериканский хит сезона: мол, какой-то там, вроде бы старый добрый, дядя Сэм нам желает счастья всем... и наш ответ Чемберлену: «В рот вам сэр толстый х*р — мы рождены в СССР», квинтэссенция нацбольского стиля.

приятный, неожиданный винегрет, сближение нацбольской чернухи и оптимизма приДумских комс-карьеристов: после таких откровений выступает и пытается вторить созданному настроению функционер СКМ Сурайкин — в предварительно повязанном мной на его аккуратный цивильный пиджачок нарукавником с придуманной осенью 2000-го по его же проекту эмблемой СКМ (в центре звезда — у каждого из пяти концов кубические футур-буквы: СКМ (верхние три) РФ (внизу)).

но вот и до товарищЧа дошла очередь — читаю у стойки микрофона стихи из камуфляжной новинки. сложные — предупреждаю уже достаточно разогретую драмсами Карамазова аудиторию. вроде готовы. нельзя сказать, что зажигаю, но некоторые связки отзываются, понимаются. посмотреть бы, если ФСБ-ТВ всё же сняло весь митинг, то чтение, акустику. связь нутра через вычитывание со страниц своих строк с этим местом, мостом, стенами Белого и стоящим под ним нашим человеком. вспоминается чтение как очень злое и искреннее, немного наивное, комсомольское, таким и должно быть искусство вот этих, наших, новых. сложновато, правда. но заплодировали же. вышло, получилось. не только же для неединомышленных искусствоведческих и, чего хуже, потомских сутубо глаз писал?

закончив, уступив у микрофона место Шалимову, отступаю и напоследок дарю заинтересовавшемуся Удалцову свою предыдущую двойственную серокрасную книгу, которую точнее всего охарактеризовал постмодернист-поэт Николай Байтов: «смотри-ка, книжки жопами срослись».

митинг позади: разбредаемся мелкими группами к «Краснопресненской», «газель» уезжает с несколькими пачками недорозданной «Молодежной политики» — как раз хватит на бесплатную раздачу для АКМ на акустическом концерте Егора Летова в «Юбилейном» в Воскресенске, последствия которого, афиши, мы с встреченной на марше той самой Оксаной видели по дороге к назначенному наобум вместилищу нашей страсти, ее даче. народ идёт уже не так хорошо определяемый по внешности, просто припанкованный, немного усталый и весёлый — в основном, к предметрошным ларькам. из ощущения выполненного

дела, двухдневного спавшего груза, обиды осипшей в работе с мегафоном глотки — и у меня возникает желание наградить себя пивом. тут обнаруживается наш гитарист с желающим подискутировать со мной Лебедевым из РКРП.

но кто этот «наш» гитарист? какой группы? где же последовательность мемуарная, писсуарная? плохо, товарищЧ, вернитесь назад — а то с Оксаной вперёд уже ушмыгнули, а есть и позади недорассказанное, и сколько ещё, сколько... эх, радикальные реалисты — ничего-то вы не можете изложить последовательно в непривычной, брошенной вами форме. так что — приступайте-ка, товарищЧ. главное, чтобы кайф от писсуаристики не пропал, не так ли? о, это литературно-вожделенное Отступление!..

всего-то два месяца назад до марша, Иван Баранов позвонил мне и, недовольствуясь, стыдясь последнего в «Восходе» выступления «28 ГП», предложил перейти от проектов к реализации. мы зимой ещё думали — запишем некий миньон «Встать, гимн идёт!». разовый проект... но тут возник уже другой, постоянный вариант — мне, отбросив микрофон и чахлое вокалирование, взять назад инструментальную функцию и вместе сделать супергруппу с голосиной Баранова и умными альтернативными аранжировками, а назвать ее «Эшеленом», название Ваня берёт про запас.

ещё на школьном компьютере в сентябре, целиком не переехав на Тверскую — 4, в своём тридцать четвертом нарисовал просто со словесного чертежа логотип. но ещё раньше, в августе, начали репетиции.

гитарист пришёл не случайный. это он же, кажется, в начале лета звонил мне после очередной акции на Пушкинской площади, где комсомольцы ему щедро выдали мой телефон — «человека, который по музыке у нас». у станции метро «Арбатская» отдельно стоящей, у изящного пролетарского вестибюля тридцатых годов рождения стоял я и ждал гитариста Мишу, наблюдая направленную от угла «Художественного» в двери метро и из этих метрономных дверей суету-беготню граждан разных полов в еще летних лёгких одеждах.

появившийся из метро странноватый, нервно покашливающий тип не был похож на гитариста — в больших очках, широкий, цивильная стрижка, лузерский пиджачок, но белая рубаша без галстука. возможно, стиль Кузи Уо из ГО. я вручил ему, для чего и встречались, целую кассету «Отходу», двухтысячного года альбом. прошли до Дома книги, поговорили — в его лексиконе «Нирвана» оказывалась рядом с дэз-командами. постоянно звучала амбиция по поводу записи супербрутального чего-то антибуржуазного. в общем, пообщались и потом только телефонились раза два. а тут — Ваня его же, как выяснилось на первой репетиции, и пригласил гитаристом. козырем в пользу Миши-гитариста был привод им с собой барабанщика.

первая репетиция, а точнее, путь к новой базе у Таривердиева, от метро «Чистые Пруды» в сторону улицы Макаренко, был стИлен. несущий с собой тяжеленную сумку с ведущим барабаном и железом, барабанщик проявил воодушевляющую нас с Барановым ярость по отношению к иномаркам, в основном джи-

пам, стоящим у нового фитнес-центра — на месте прославленной хиппами Джанги, неподалёку от дома Минлоса, на берегу чистопрудном. Лёша был готов накинуться и уничтожить: «О! Это же буржуйские, воровские тачки! Их надо бить!».

мы успокоили Лёшу, переходя проезжее течение в сторону «Современника»: я сказал, что надо сперва сделать группу, имя, и записать обойму таких песен, чтобы его желание стало не только его субъективным, чтобы песни сделали то, чего не могут сейчас руки. та репетиция не состоялась — не было электричества, посидели, поговорили в сыроватой, пахнущей древностью девятнадцатого века комнатке, но контакт уже был. а к октябрю была программа песен на двадцать минут. однако на Антикапе-2001 мы с Барановым выступали акустически порознь, и о группе ничего еще никто не знал.

так вот: появившийся из окрестностей «Краснопресненской» Миша-гитарист с Лебедевым и некоей, видимо, лебедевской красоткой присоединился к покупке пива и повёл нас в сторону «Креста», в парк Павлика Морозова. на вопрос мой: «Откуда усы?» — Миша традиционно истерично выстрелил «Да, теперь с усами, как у порнозвезды!». тут же к нам сначала добавилась, а потом убавилась с товарищами Ева из АКМ, все больше обнаруживалось общего у нашего Миши и всех этих людей: Миша окликал уже отчалившую от севших пиво пить нас Еву явно известным и ей истошным заклинанием — «Сэйтан!». но Ева не вернулась, она хоть и в дэзовой (Cannibal corpse?) майке, но была с маленькой своей дочкой и не собиралась в пивной компании пребывать — ушла к домам стоящим вдоль крестового мемориала.

глотки хмельного подвального напитка, поднимающегося к носу дрожжами, лавка... мы тут, у Белого бывшего Дома Советов после марша, после всего высказанного у знакового места, с Горбатого моста режиму... отдых красных на месте проигранных боёв, в этом месте — глядят через осенние разливы последних листьев сюда спокойно и благосклонно окна ближайших к парку сталинских и дальнейших домов, видевшие зверства демократов над патриотами на стадионе.

здорово мы заспорили с Лебедевым: розовенький и улыбчивый как младенец, он делился своим пессимизмом по поводу левого движения, ревизионизма КПРФ, малочисленности марша и т. д. вскоре выяснилось, что он получил в РКРП партийное задание внедриться в ряды «Идущих вместе» и добывать информацию, заодно и ставку в «Идущих» заимел. но не Лебедев был в зрительном поле, подогреваемого, разгоняемого пивом разговора — напротив села его молодая русоволосая жена из провинции, явно им управлявшая за кадром (дома) и очаровательно слушала пыл нашей беседы, отвлекала таким манером меня от открыто брутального наступления на лебедевский лепет. в ходе спора я и понял, что горло уже безнадежно простужено и в тот же вечер — свалился на неделю: отболевать двухдневный марш, всю голосовую и прочую физическую, а может быть и эмоциональную выкладку.

«воспоминания радикала» — это каламбур в первую очередь, артефакт и отчаянно пораженческий эксперимент. воспоминания радикального реали-

ста — уж тем более нонсенс. если радикал — так действуй. вот твой текст. если реалист — пиши «с колёс». а не вспоминай то, чего был или не был свидетелем, забывая неизбежно главное, подробности. и улыбка, ирония здесь, в таком отступлении в окопы мемуарные — как долгодействующий наркоз, касания языка об немеющую от заморозки десну, мемуарный наркоз, что-то упорно обёртывающий, тасующий произвольно эпизоды, не дающий прямого ощущения длящегося разрыва, окончания наших отношений с тобой, моя девочка.

другая речь, другое изложение — путает, плутает, всё прячет, прячет наше с тобой местное время позади от нынешнего. и где это было с нами — неужели здесь же? я всё ещё рассказываю это тебе? о чём, о себе или о месте, дальнейшем моём времени?.. где Миша-гитарист, эти странные сборища, и другие тенденции движения в Тебе? где было любованье, где была, говоря мемуарным языком, «лирика»...

но дни моих одиночеств взяты в канву работы в «Комиссии». и выздоровевшего снова зовёт Тверская—4. кашель в лифте выдавливает с потом последние испарины болезни в свитер — другой, не тот, в котором ты меня делала мужчиной. снова комп, Нэт, окно на «Националь» и «Интурист». смотреть словно из дому, из своей комнаты на мерную проезжую и пешеходную часть, где был раньше только действующим лицом, а теперь наблюдатель из тёплого уюта десятой квартиры. и подготовка к концу октября Дня комсомола впрягает в уже приятную заботливую, телефонную и пешеходную суету.

в «Комиссии» возникает ещё один человек из областного СКМ, одинцовский по месту проживания — Сидорчук, как его прозвал Усманов, Сидоров на самом деле. сиплый, басовитый вчерашний старшеклассник, мультяшный ширококоротый студюзуз и торговец компьютерным «железом» на Митинском рынке. ему Усманов тоже платить стал трёшник тысяч рублей и посадил его на работу с обкомом СКМ, коего вскоре был избран первым секретарем: благо спонсором обкома КПРФ стал в бартер за попадание в Госдуму Игошин.

холодающая осень заиграла нами с Оксаной как листьями (её мелковьющиеся чувашские волосы были цвета осенних листьев), как выше было сказано, и пустующая по выходным квартира десять на Тверской, низкий борт уютной для двоих ванной — манили, навевали планы... вот только висела генеральная опасность — Усманов как-то говорил, что шеф (Игошин) иногда навещается сюда по выходным, мало ли с кем, дело молодое. может выйти конфуз: время, остающееся тем, кто наверху (нам) — после домофонного пилИка, сообщающего, что кто-то вошёл по коду — минуты две, лифт едет быстро. одеться не успели бы. впрочем, не эти особенности стали причиной охлаждения так и не разогревшихся отношений с Оксаной — осень, осень, она всё забирала, высасывала моё тепло (не только свалив на неделю в простуду). возможно, его всё ещё несло к тебе, за Ленинские горы, к улице Марии Ульяновой...

но — организация Дня комсомола повисла на мне. новая задача «Комиссии». провести так, чтобы не стыдно было пригласить ЦК. найти и показать кинофильм «Добровольцы» — дозваниваться в Госфильмофонд. о месте проведе-

ния мероприятия договорился с кинотеатром «Баку», пристанищем многих патриотических акций, разведанным газетой «Дуэль». о, газета «Дуэль» — а её-то откуда знает товарищЧ?!

и здесь нас ждёт неизбежное сладостное возвращение. да восторжествует внимательно разинутый мемуар. год назад в 2000-м всё тот же Винник, увидев книгу, рекомендовал автора писателю Пименову, автором виданному разок в «Библио-Глобусе» на эпатажной презентации даже не книги, а просто какого-то проекта. там Пименов восседал на корточках рядом с первым рядом в какой-то нубуковой кепке и понтовой куртке «пилот», напоминая блатного жигана, впечатление усиливал перебитый нос.

и ещё раз назад, в год этак девяносто девятый или девяносто восьмой. или это была презентация «ТНЕ» Цветкова-мл? но она должна была раньше происходить, году в девяносто седьмом... вот и сдвоились в одном месте пара времён. так или иначе, Пименов и там и там (и тогда и тогда:) быть мог и должен. жеманный голосок местной магазинной дикторши зазывал из уже переделанных под супермаркет отделов на пресс-конференцию или что-то в этом роде на тему (тут голосок мешал в себе явное недопонимание и школьный романтизм) «поэзия и революция». забрёл я в этот залчик на втором этаже — уже отмеченный и бомондом: в первом ряду восседал некий маститый, видимо, критик с бородой и палочкой (как потом оказалось — Александр Тарасов), Пригов засветился с опозданием — выглянувшими из ехидной инфернальной улыбки зубами, на галёрке с немедленным предложением: «А вы подожгите зал».

лучшее в этом направлении совершил Захар Мухин, ещё не ставший телеведущим «До 16 и старше»: пустил китовый фонтан в зал, просто как во время глажения разбрызгал с переднего на задние ряды набранное в рот содержимое анархо-краеведческого термоса. так что, вопреки подзуживанию Пригова зал тушили. и было от чего. президиум (это точно была не презентация книги Цветкова) занимал как раз Пименов (это у Цветкова он был в гостях — там-то Винник и засвидетельствовал свое почтение) в бундесовом свитере с немецким триколором на обоих рукавах сотоварищи. позже к ним подсел толстый и сотрясаемый собственным же голосом Мавромати. вот она как память работает — бесстыдно фиксируем и реструктурируем.

индукция в леваческой среде девяностых в том зале заработала с небывалой силой. до или после фонтана Мухина Мавромати заорал, что из женщины исходит смерть, за глобальную стерилизацию женщин! полетели в зал листовки из группировки анархо-краеведов. а представлявший в начале участников встречи пухловатый лицом магазинный мальчик на некоторое время исчез, когда индуктивный процесс начался, и вскоре прибежал шептать Пименову на ухо, чтобы немедленно прекращали все мероприятие, умолял, так шептал, что в зале было слышно — мальчику явно пригрозили увольнением. вероятно, безответственное предложение Пригова так катализировало атмосферу — и в «Библио-Глобусе» сработала тревога, навроде противопожарных нервных датчиков под потолком, срабатывающих на созвучие «революция». а кто их, леваков этих с одноруким бандитом, знает?

мероприятие в спокойной и даже скучной обстановке полупустого зала начинал некий однорукий бандит, явно блатного происхождения парниша, стяжавший внимание к себе, а Пименов и не пробовал его перебивать. блатняга — как изюминка, принесённая в зал Пименовым — долго с акающим немосковским акцентом разглагольствовал на тему поэзии и революции, помахивал своей рукой-протезом в перчатке перед залом, интриговал. рассказывал про свою руку, всё грозясь прочитывать революционные стихи, но ни строчки не вылетело из блатных уст — видимо, и не было. затем Пименов долго как бы объяснялся за товарища, доказывая приятную, но не вполне освоенную для меня тогда мысль о том, что поэзия не может не быть революционной — другая она не интересна, если не нова, если не взрывает старости. потом пошла индукция, веселье, и под уговоры магазинного мальчика с не очень длинными светлыми волосами (такие водятся в офисах и на телевидении), расчёсанными симметрично при подбритом затылке Пименов начал сворачивать речи, а финалом грянула некая крашенная худая брюнетка, представляющая организацию по борьбе с религией, с частушкой: «Ой, топы-топы-топы, к нам приехали попы!...». великолепный вышел шабаш, весёлый сумасшедший дом, левацкий фольклор — я ушёл, а потом, говорят, Пименов кого-то там избил на закуску зрелища. нет, Винник знакомился с ним раньше — именно на цветковской презентации: там им и был признан Пименов по фотографии с Бренером у сгоревшего Белого дома. признан как один из показавших свой... тот снимок стоит вытащить из контекста современного искусства и приобщить к документам социального протеста 1993-го, к снимкам и лентам баррикад и расстрела. это был гражданский акт: если власть такое делает с парламентом и показывает это по ТВ всему миру — мы вам вот что покажем. несколько свисающих органов на раз-два-три буквы, несколько молодых мужиков — Urbi et orbi.

не то чтобы я разом всё это вспомнил, когда в телефонной трубке по ближнему пути от Петровки до Каретного прибежал незнакомый голос Пименова... но это был он. и звонил по поводу переданной Винником ему двукрылой красно-серой книги — замысловато объяснял, что она правильная и так как раз и надо. и надо встретиться. и написать вместе манифест.

и точно так же как с путчем 1991-го, образованием «Эшелона» — встреча происходила ещё до начала городского года, до окончания отпусков, в предисловии к новому пробегу в Тебе от осени до весны. Пименов вышел со своей Петровки в сторону Каретного, встретились у Петровских ворот, привёл. Пименов долго пил чай на ремонтируемой мной кухне, сжевал за разговором почти всё печенье, рыбчатое такое, луковое. курил «Приму», по окончании его сигарет я давал ему «Кэмел» безфильтровый, завалявшийся.

этот эпизод всё того же, начальнo-комсомольского 2000-го осеннего вживания в новую стезю — стоило бы назвать:

«старик ПимЕнов муа заметил, и, в дурь сходя, благословил»

его идеи сводились к раскрутке «Отхода» как «Секс Пистолз» — через политический скандал, книга Вермореллов про Пистолеты ему очень понрави-

лась, и ещё надо было провести акцию, обязательно акцию — и «на парашютах» скрыться. как-то, видимо, подхлестнул мой «Револ» Пименова. хотя, для соотнесения с поколением Пименова моя книга — запоздалая и слишком целенаправленная. я уже не застал того левацкого романтизма девяностых, когда Бренер с Пименовым как в Париже снимали в девяносто втором номер в дешевой гостинице «Минск» и писали там всевозможные манифесты. и даже стиль их всеобщего, зачастую и асоциально-антисоветского стёба не принял я, впитывавший чай и обычаи дома Минлоса.

в наставшей осени мы пошли гулять с Пименовым: от Таганки пришли к Петровке. а что на Таганке нас притягивало? как раз редакция «Дэли». в ходе того возвращения Пименов и показал-рассказал мне план поднятия красного флага над одним из зданий ФСБ — правда, перепутал, вовсе не там взрывали мусорный контейнер девчата из НРА. те самые авторы-верстальщицы «Травы и воли», в одном из номеров которой описывался концерт в клубе Джерри Рубина на Ленинском проспекте, с участием «Отхода» «в странном составе»...

о, это ещё назад путешествие. вероятно, уж точно в девяносто седьмой, если не девяносто шестой. и там же обнаруживается неистово танцующий под песню немосковской группы с беспальным вокалистом в чёрных слепых очках «моя родина — СССР», только вовсе не «Панфиловцев», не Баранова пафос песни, а анархистов трактовка, опять же: песня не без стёба, но некий патриотический, реваншный, протестный азарт в ней уже зрел. и славянсковыглядящий бородатый Винник в жёлтой (потом мне подаренной) майке с гербом БССР особенно динамично вытрясал под неё жиры, нагулянные на яблочные буржуйские зарплаты. но что мог тогда спеть «Отход» анархистам и революционной молодежи-интеллигенции? только гранжевую «Это всё понарошку»... с пływучими подтяжными запилами гитарными а ля Кобэйн — ставшие уже всеобщими для групп анархо-краеведов басист с барабанщиком что-то наигрывали, а товарищЧ гитарил и пел.

справедливо писала «Трава и воля», что выступление сие отходное напоминало остывающие угли — после настоящего костра, который разжигали анархисты, с игрушечными пистолетиками, со злыми стишками про что-то там трибунальное, словно искрой высекающее в запавшей товарищЧу в память фразе «моей РЕВОЛЮЦИИ». мальчиком с игрушечным пистолетом слово интонировалось так, что и запоминалось. да-да, зрел-зрел в тех зимах товарищЧ. когда немолодое дитя контрреволюции (рассказывавший по дороге в Рубина мне что-то про диссидентскую поэтов газету «Блябуду» — пародию на «Правду») Герман Лукомников читал перед концертом стихи про мастурбацию, кидал страницы в зал и был представлен как революционный поэт.

тогда был в основном зрителем. миллениум же рекрутировал. и в том же клубе Джерри Рубина на рубеже веков товарищЧ Джек играл в двойственном составе «Отхода» (без гитариста, драм энд примоченный бэйс, с Мотей на барабанах) грустные и уже мятежные, про Кибальчиша, свои и Минлоса песенки, слыша в которых оборонские нотки, панки тут же требовали «Всё идёт по пла-

ну» ГО, а на закуску — «Anarchy in the UK»: причём тут в пляс пустился весь панк-зал, и микрофоном два раза чуть не выбивал зубы вокалисту-мне. кто-то даже снимал этот хэппенинг, взлетал на сцену с партативной видеокамерой и ухал обратно во всеобщее пого, где позади заседали эксперты с соседской улицы Вавилова во главе с Олегом Киреевым и Димой Моделем... да, анархистский период товарищЧ, выступления «Отхода» в обоймах с панками, от которых остался вид одного вокалиста в пробулавленной джинсовой жилетке и неожиданно патриотические строки в одной из исполнявшихся им песен «Что ж ты такая за родина, что дала втоптать себя в грязь?»...

а Пименов повёл по своим маршрутам — в «Дуэль», с самой первой статьёй Вотречева «Демократический выбор России — Апокалипсис», после гибели «Курска» написанной. редакция «Дуэли» оказалась в замечательном старинно, коммунально, мочевато пахнущем доме у эстакады недалеко от театра на Таганке — как раз близ Николоямской, уже вписавшейся в тексты, в СТИ, чёрнообложечной дебютной книги «Выход в город».

в «Дуэли» Пименов долго представлялся некоему дядьке с бородавкой на веке, который возымел к нему интерес только после слов — «это же я взрыв на Манежной в девяносто восьмом взял на себя». Пименов — любитель разноплановых перечислений, поэтому заместитель главного редактора (как я о нём подумал) стал спрашивать его о том, как обстоят дела с сидящими по делу НРА. Пименов что-то говорил и лишь после того, как интерес к его долгому монологу начал спадать под бородавкой — представил меня как молодого автора, а молодой автор извлёк из планшета синюю дискету. дискета озадачила зама: сам с ней не решаясь управиться, он согласился ее передать. а газета-то здесь же версталась, в соседней комнате, как выяснил я потом, сам уже сюда приходя. на столе мелькнула фотография Че Гевары с сигарой, атмосфера в «Дуэли» была явно своя и перспективная — работают же тут люди, вон и паренёк молодой жуёт шоколад, запивает чаем, глядит в дисплей. значит, ещё осталось место под солнцем нам, радикалам, можем ещё приносить пользу делу своей работой.

плоды того похода оказались никакими: дискета, видимо, не выглядывала из письменного стола зама. и только несколько лет спустя автор «Апокалипсиса» стал желанным гостем в новой редакции «Дуэли», переехавшей к нему поближе, на Садово-Триумфальную, в его проходные дворики. зато, возвращаясь, Пименов поделился планом поднятия красного флага над ФСБ. впрочем, цвет флага по его замыслу роли не имел — важна была смелая антиментовская акция, ответный удар за НРА. и только тогда я догадался о неметафорическом смысле сленга Пименова про «на парашютах».

охристо-пегое здание, которое я тебе с Рождественки показывал как одно из лиц Столицы, оказалось в середине своей, где я когда-то выглядывал тебя — зданием ведомственным, ментовским. как раз напротив него в девяносто шестом- девяносто седьмом заседал литературный клуб «Авторник», на каждое сборище которого товарищЧ, «поэт» (как ты меня называла ласково в Кремлевском дворце съездов перерыве балета в банкетном зале) бегал как к водопою, и,

в то же время, стискивая уздой свой не начавший ещё выражаться потенциал, внутренне споря с постмодернистами, авторами «Авторника», Байтовым, Давыдовым, Курицыным — чувствуя, куда можно дальше, как можно лучше...

здание напротив «Авторника» (библиотека там) в Большом Кисельном переулке имеет слева от вестибюля арку, в которую товарищ Ч без тебя не заглядывал, не имел случая. а с Пименовым заглянули за ворота с пятиконечными красными звёздами — никакой охраны. справа пожарная лестница — по ней по плану Пименова требовалось залезть и укрепить на трубе флаг. а оттуда — на парашютах, если успеют засечь и перекроют лестницу.

другой вариант акции Пименов предлагал для а ля Пистолз раскрутки «Отхода» — то же самое, только ещё и концерт наверху. жаль с гитарами нельзя на парашютах. такие мы гуляли с ним по уже холодающей Тебе, провожал я его к Петровке, минуя Петровский бульвар, к низенькой церкви ведя. дом Пименова оказался в неожиданном дворе, даже в мальчишеские годы не посещавшемся нами с брызгалками, хотя до двора больницы МВД на Петровке добежали. уютно наискось за несколькими старыми осенними деревьями расположился скромный, школоподобный дом аж двадцатых годов постройки и замок его кодовый железный на ближайшей двери. дома у Пименова в длинной полукоммунальной квартире, которую они сейчас одни занимали, оказалась та самая «ой топы-топы-топы» — жгучая длинноволосая брюнетка с высокой чёлкой, сухоликая жена его Маша Демская.

старик ПимЕнов стал обо мне заботиться — решил, что одна его знакомая журналистка раскрутит «Отход». издательский дом «Зима», где приняла нас знакомая Пименова, расположился в доме, сливающимся с «Движением эФ» и весьма близком к нынешней редакции «Дуэли» — всё в дворах моих краёв.

статус помещению придаёт глазок-камера, кнопочка вызова и звучащий изнутри охранник-наблюдатель, впускающий после контрольных слов — «к кому?» лестница — крутые, отороченные резиновыми полосками плитчатые серые ступени. у дверей — каштаново-рыже-волосая неюная та самая журналистка, симпатичная, в зелёном до колен облегающем платье, поворачивается и ведёт за собой в дальнюю комнату, где организуется застолье, ноги её и выше движущиеся под платьем элементы привлекательны, заманчивы. бывшая длительно любовницей Пименова она, но это станет известно позднее.

эти странные осенние приёмы — то в учительский, взрослый коллектив девяносто первой, теперь в приоткрытом Пименовым левацком бомонде, в следующем за ДФ помещении, продолжении и пространства и времени. за столом, однако, оказалось, что мы с Пименовым — белые вороны, точнее, красные. толстый очкастый редактор сначала произносил хитрые новорусские тосты, но потом инициативу перенял Пименов. и чем больше и безостановочнее нарратировал Пименов, тем меньше нас понимали, а только внимала и отвечала Ирина, пригласившая нас и старавшаяся накормить консервами посытнее моего тёзку писателя. надо отдать должное литератору-оратору ПимЕнову: он заговаривал любого примерами, анекдотами, притчами, случаями, тостами — кавказ-

ский дар. но под конец и Ирина стала задавать каверзные вопросы — пришлось мне вступить и практически пересказать одно из стихотворений крылатой красно-серой книжки. за хмельными моими очами слушала не просто симпатичная, даже красивая карими, немного лошадиными глазами женщина. договорились (а принёс же уже наряду с красно-серой книжицей «Револ» ей кассету с альбомом двухтысячного, ту же, что через год Мише-гитаристу!) сотрудничать, раскручивать, подумает, одна команда уже на конвейере... вскоре отзастольничавшая по неясному для нас (не по нашему же) поводу бригада сотрудников «Зимы» стала намекать, то и дело отзывая Ирину в коридор, что пора очистить помещение от странника Пименова: неуёмно агитировавшего честных таблоидов за революцию, начинать им работать надо. большой дисплей верстальщика звал вертящимися часами.

прощающийся за дверьми с Ириной хмельной Пименов проболтался в порыве стёбной откровенности, что знает о её переспатальстве с нервным похотливым толстяком Мавромати. ситуация джентльменски смутила третьего участника беседы, меня, особенно тем, что понравившаяся Ирина не знала что ответить, только глядя в глаза явно небезразличному ей до сих пор обидчику и грозясь неопределённо — ей на самом деле не было обидно, что станет известно позже. каким образом? простейшим, довольно обывательским и пошлым: предполагавший раскручивать через неё свою группу товарищЧ, просто по первому зову сиганул к ней, как говорят в таких случаях, в постель. в данном случае — именно так, именно в её, да ещё в супружескую, что отягчило преступление и наказание, но не всё сразу.

женщине между тридцатником и сороковником, неплохо выглядящей, но чуть подсыхающей лицом, бывалой в многих руках и с бывальными многими в ней... хотелось ей того, что было с тобой у нас, моя девочка, было естественно, плавно, а сейчас с ней выходило как-то стыдливо, надрывно — ходить тут у Тверской к Партиаршим, сидеть, держась за руки на последнем солнышке года у памятника-Пушкина... да, тогда я и ощутил, как можно заблудиться в знакомых местах — она крепко держала под руку, улучала моменты и невкусно и властно хватывала губы кавалера.

шли мимо дома Райкина, шёл покорно парниша бывший твой... чувствуя, конечно, переживая свою фальшь, нелепость этой пары — хоть ростом, телосложением и даже стилем она подходила вполне... немного загорелая, с веснушками и длинными неровными рыже-каштановыми волосами. куда вывел Пименов-то. точнее — ввёл в бывшее своё пристанище, благословил. и пристанище было не его одного — Ирина оказалась из племени легко открывающих объятия ног без каких-либо лишних вопросов, кроме собственного «ну так мы будем трахаться?». с восьмидесятых, ещё в знаменитой «Яме» начала это путешествие по богемно-диссидентским, затем лево-анархическим кругам, наматывала круги, где вдруг мог оказаться наряду с Пименовым и Мавромати барабанщик «Ва-банка» или, например, оргианический праведник и учитель игре на классической шестиструнке Калутин. но Пименова она вспоминала особо — за то, как он

чувствовал мысли, иногда на прогулках вдруг высказывая думавшееся обоими, их отношения были явно романтичнее наших, уже межпоколенческих. она всех действующих лиц не поверхностной творческой московской тусовки знала, судя по лично заинтересованной речи и подробностям, не понаслышке.

Демская, конечно, ненавидела и демонизировала рыжую ведьму Ирину — наивный товарищЧ обнаружил это не иначе как при попытке вписаться с партнёршей домой к Демской, когда уже с сорванной осенним кризисом крышей Пименов удалился в загородную резиденцию. попытка следовала за эпизодом вполне анекдотическим, который идеально вписывается в стилистику радикально реалистичного простёбывания писсуаристики черствеющим Тоном, потерявшим тебя, любование тобой.

она позвала на существенное мероприятие, где можно будет поговорить с Гурьевым, редактором «Свистопляса» — глянцевого, но открытого альтернативе журнала, легендарным главредом «Контркультуры», которого я видел пару раз в «Движении ЭФ»: на флекс-выставке в девяносто пятом и на потлаче Винника позже, тогда Гурьев овладел моим старым нескладным, неизвестно зачем принесенным полусломанным коричневым зонтом и с ним был таков. мероприятие — на площадке промеж палаток на Горбушке, осенний такой фестиваль, там группы постоянно играли, а на этот раз — под патронажем «Свистопляса» с конференсом Гурьева. о, в 2000-м товарищЧ почувствовал себя на Олимпе, когда обнаружил среди лиц выступающих на «вип-территории» (за бордюрным парковым заборчиком, сбоку от сцены) знакомую невысокую ведьму, которая его за руку взяла, с собою провела мимо быковатой охраны!

на вип-территории тусовали Чёрный Лукич, Ник Рок-н-ролл, зачем-то сделавший из седых патл подобие ирокеза Калугин, музыканты «Ва-банка» без Склира и невыступающий сегодня высоченный рыжевыкрашенный, в нашивках Ramones на рюкзаке, «таракан» Сид. Ник Рок-н-ролл голый по пояс, в кожаных штанах, бухая джин-тоник, властно обнимал присевшего ему на колено какого-то впечатлительного своего тинэйдж-поклонника, по-видимому. Калугин, с ирокезом похожий отчего-то на Кинчева, в тёмных очках курил, трепался с инструменталистами «Ва-банка». многих из них, есть подозрение, Ирина знала, так сказать, своим женским нутром. в этот день, нежно и будто извиняясь поприветствовав бывшую полюбовницу, лысеватый драммер «Ва-банка» принёс ей пакетик с её вещами — шерстяными носками, трусиками. изящество и символизм жеста продолжились тем, что пакетик взял я, ей некуда было сунуть. пока на сцену, где мумийтролевато звездился Джефф из «Краденого солнца», валились листья осени первого года миллениума, я глядел вместе с полуобнятой мной ведьмой на шоу, ловил кач. вот, думал, профессионалы — хотел, чтоб на эту сцену, в следующий раз, поговорить с Гурьевым, карьерист-вокалист группы «Отход». угощённая джин-тоником во время треньканья со сцены Лукича, Ирина чувствовала мою отвлечённость музыкального карьериста и, быстро захмелев от полбанки напитка, покуда на нас валились листья парка Горбушки, освещённая слабым солнцем, рыжая, задала тот самый свой сакраментальный

вопрос: «Ну так мы будем тр..?». карьерист, пронятый такой прямотой, с взыгравшими где-то внизу волнами то ли тепла отпитого джина-тоника, то ли чуть тошнотной секс-истомы, заверил ведьму, её приблизил и, кажется, целовнул на глазах подруги из газеты «Есть работа».

неожиданное продолжение эпизода: среди публики повстречался тот самый, ещё с фестиваля реального андерграунда знакомый Клещ, который хвастливо сообщил, что приехавший выступить с акустикой в Москве и Загорске в октябре Летов сейчас сидит у него дома один, бродит и читает книги. Ирина куда-то спешно отчалила с подругой, и товарищЧ остался в кругу новообретенной компании, бухавшей «Балтику»-трёшку, Клещ жадно обнимал со спины свою молодую, пониже его, коротышки, жену, вспыхнула безумная идея — поехать к Летову в дом Клеща, где уже был однажды. как и когда точно это было — память умалчивает, ясно, что это было в начале двухтысячного, поводом был доделанный альбом «Отхода» «ОТветный ХОД» или двойная красно-серая книга, но она-то готова была только к осени...

вот вам и мемуары — можно ли ставить детализацию Реальности в зависимость от памяти? нет, надо впечатывать, сканировать тотчас, пока всё не заскладировалось!..

значит, визит к Клещу был направлен по уже известной дорожке и товарищЧ кружил у первого этажа его башни, где был до этого или все же после? в прошлый раз Клещ очень хвалил «Дочь Монро и Кеннеди», перепевая Летова, по пути к своему дому. жил Клещ — на Щелковской, в сторону Володи Булчукея, первого звукорежиссера первого альбома года девяносто первого «Отхода». товарищЧ ходил как волк у балкона Клеща, пытаясь понять — есть кто внутри, горит ли свет? так жаждал Летова! определённости так и не добился — и звонил в дверь, ритмом копируя манеру барабанных начал ранних песенок ГО, и даже звал: «Его-ор? Игорь Фё-до-ровиич?». Клещ потом утверждал, что Летова дома не было, что ушёл. и товарищЧ ушёл к Щелчку, к метро мимо неродных (а Булчукею — ежедневных) домов ни с чем уже в ночь осени двухтысячного. потом именно этот панельный дом-башня снился в детском по инерции сне — такие башни обнаружались в каком-то далеком провинциальном городе, где я выспрашивал у дворовых мальчишек — проживает ли здесь Летов. парни спокойно доложили, что есть такой в одной из башен, и они с ним часто сейшнуют, у них это в традиции в здешних подвалах. и продолжение этой находки — какие-то лифты, скорее старых зданий, этажи, довольно детски обставленные рок-аппаратурой комнаты. даже автобус помнится, увозивший из далёкого, видимо, подмосковного городка — белый Икарус с зелёным низом. вот как искал Егора, продолжая во снах... тем уверенней поехал он на акустический концерт в Сергиев Посад — о... то было тоже красиво!

но вернёмся к классическому сюжету с рыжеватоволосой дамой — ведь акустика Егора случилась позже, сохраним хоть тут видимость хронологии.

познать разницу стилей чтоб — надо вписаться в мемуарность, со всеми архаичными ходами и сокращениями, жеманностями, изворотами языка,

направляющими мысль, но даже в воспоминание пытается вклинить рад-реал — это бесполезно, радреал вписывает в текст действие, а не воспоминание о приблизительном порядке действий, реконструкция дело не действительное, медлительное, сомнительное.

итак... (эхо: так-так-так-тик-так, не теряй времени, текст тоже имеет границы). она позвала — довольно равнодушно: мол, хочешь, приходи утром, после того как отведу детей (двоих) в садик, да, замужняя, да с детьми, эх куда тебя занесло благословением Пименова, товарищЧ.

Новые Черёмушки, куда ездил заниматься математикой перед поступлением на психфак, осень холод в кончиках пальцев автобус поиск дома-башни. быстро определил, набрал код, голос её ответил.пустила, по лестнице на второй этаж, мимо домашнего прелого духа помойки, дома тоже прохладно. она в лёгком свитере, в полутёмном коридоре — длинный трехэтажный ряд кассет, прокуренная квартирка. отказываюсь от чая — в комнату, где широкая современная, с железными извивами кровать. сразу к делу, она не теряет времени. даже домашнюю её одежду — но надо снять, помогая скидывать и свою. холодно. и чулки стянуть. и дальше.

нет, не тянет влизаться под рыжерусыми кущами открытая видимая цель, скорее сладко дразнит, будит прохлаждающегося молодца целование внутренней мягкости белых её бедёр рядом, в самой близости к пока скромно сомкнутому беспокойному месту в рыжей барочной оторочке, куда зван. да и она не даёт задуматься, требует: «Я хочу тебя». не успевшего распрямиться во весь рост, ещё не готового к прямому натиску, молодца-голубца моего — вправила в себя, жадная ведьма. и понеслось — медленно обжившийся в подходящей среде, там и стал себе в непрерывном движении расти, как пушкинский герой в бочке. а завтракающая голубцом моим ведьма, видимо почувствовав себя со мной моложе, ритмично зааикала, так непрерывно, направленно, осознанно, низкоголосо и властно: «ай, ай, ай...». явно недовольная таким темпом и медлительной нежностью гостя, не выпуская из нижних уст его голубца, перевернула, оседлала и не в полную длину стала обсасывать, чему стал снизу, подпружинивая, поднимаясь вплотную, помогать.

так играли, переворачивались, и гость наблюдал смуглую горловину ствола своего оружия, гильзу снаряда, внедряемого в невидимые за белизной ягодиц глубины, а она всё чего-то добивалась — но от её, как она считала «брутального», властного над оседланным поведением голубчик обмяк. многоопытная ведьма, полюбовавшись малиновым прищуренным молодцом, но до конца не скидывая его смуглого капюшона (возможно, из брезгливых соображений), тотчас приняла его устами и очень быстро, заботливо согрела, возродила в полный рост, довольно переместив тотчас по адресу, и снова стала наездницей. вполне цензурное зрелище, думали товарищЧ и его молодец в тёплом нутре и холодном утре: не видно — что там происходит, да особо и не ощущаемо. да, скользкое движение-вхождение, но ничего в нём страстного, какой-то обыденный процесс — разве вспомнишь тут наши откровения, сближения с тобой, моя

девочка, которой я так запоздало «изменяю» (смешное, не подходящее к нам слово, как и все остальные из арсенала лав стори).

пришлось отменять эту сомнительную брутальность, совершать переворот и медленно, но настойчиво укрощать наездницу своим глубоким жёстким, может, непривычно ей лиричным, ритмичным наступлением. когда поняла и приняла свою участь — начала раз за разом стискивать левую грудь с вытянутым, выкормившим двоих детей соском (на правой он моложе, расплывчатей, не торчит так). это дело всякий раз перехватывал: негоже при свободных мужских руках так самообслуживаться. эта ручная суета и резкие внимательные выдохи всякий раз были сигналом заветной кульминации, которых за медленный ритмичный путь голубца к его цели случилось уже три.

понимая, с каким трудом я нагоняю уже трижды ею пойманную цель, ведьма задала классический вопрос проститутки, не ожидал даже такого сервиса: «Ты как хочешь кончить — в меня или в ротик?». раз уж такое естество и непосредственный контакт, то — не меняя места дислокации, так ответил. и так, растерянно воскликнув юношеским голосом, выплеснулся, почему-то полвиному кусая, стискивая её чуть веснушчатую ключицу — то ли мстя, то ли благодаря... под утихающий бой сердец подстроились кишечные перетекания в стене за головами любовников — утро пегокирпичного дома-башни идёт своим чередом, работает водопровод, и пока товарищ Ч изливается своим невоспребованным генокодом в ведьму, работают все системы жизнеобеспечения постсоветского быта. ведьма недолго позволила привыкать к пребыванию в ней после свершения преступления — и, деловито вильнув только что принявшими меня ягодицами, шагнула прямо через витую железную границу постели: пошла в ванную вымывать мужское жертвоприношение из уютного алтаря-копилки левацко-бомондовых снарядов. сколько в неё заряжали, а, камрады?

тотчас ощутил холод и укрылся чужими простынями-одеялами. да, утром как-то натужно и неуютно это всё действие, неестественно, грубовато и нечувствительно. или не в утре дело?..

она шумит душем в ванной, я привыкаю к широте чужой супружеской, прокуренной постели, медленно поднимаюсь — замёрз потому что, надо хоть носки надеть, один никак не находится, ни в каких складках простыней, покрывал. выходит расследование траекторий наших поспешных бросков одежды, приходится и её не одетую одежду проверить, с домашним запахом хозяйским. никак не находится чёрный носок..

возвращается голенькая, ей не холодно, выдаёт (возвращает, давал ей читать не свою, Минлосову) бордовую книжицу Бренера. я, напротив, уже в штанах, для сугрева хозяйка выдаёт мне свой свитер.

звонок в дверь. сначала одинарный, потом учащающийся — это муж внешне вернувшись, пораньше домой, к жене...

о, какая классическая коллизия! ну-с, где же все завитушки мемуаристики — просим на сцену. впрочем, и предыдущие абзацы не удерживались в старомодной канве.

**этот абзац не был
размечен как ремарка**

но муж-то долбасит уже не в звонок, а в дверь, колошматит яростно. любовник не сказать, чтобы предельно растерян — даже хватает фантазии притвориться читающим Бренера. нет, Бренер, твои истеричные строки явно не успокоят героя в сей роковой миг. глупо растерянная жена догадывается только запереть дверь спальни. идея (позже высказанная в качестве укора самим мужем) о том, что со второго этажа, с балкона прыгать не так высоко — не посещает умы одноразовых, и по первости застуканных буквально этим долбежом в дверь, любовников.

да, читатель, мы не будем пытаться воспроизвести всю томность и долготу минут ожидания расплаты. впрочем, мезансцена, которую застал в супружеской опочивальне стремительный супруг, была вполне цивилизна — за взломанной им второй дверью на подоконник присел юноша с бордовой брошюрой, и дама как бы рекомендовала ему некоторые стихи Бренера. ах, автору и нынче не хочется вспоминать те минуты, ах!

да какой там «ах»! эй, мемуарный рупор — что можешь ты отразить в своём глухом конусе?! то, как муженёк кулачно налетел на поэта? как — отдадим ей должное — любовница пыталась его закрыть собой и в схватке снова стала нагой, потеряла халатик?!

вот читатель, порви с мемуарами — требуй везде и всегда радреала, ибо остальное — отдалённые веяния.

наш герой, вероятно, потерял сознание, не пытаясь сопротивляться. вскоре был обнаружен на месте свершения преступления, на кровати. над ним нависал низкий, широкощёкий, невзрачный, с прокуренной пастью, муж левацкой фемини, был он шофёром «газели». сперва он явно хотел максимально уничтожить любовника жены, голой жене тоже намечал тумачков, но поэт, вроде бы, заслонял её, отчего еще более был бит. разглядев его уже отмеченное мужними кулаками лицо, сохатый заключил, что изящный поэт похож на «петуха» и таких в тюрьме... ещё под допингом стремительного прорыва и победы без сопротивления, муж предложил любовнику, выражаясь гуманно для читателя, искупить грех оральным сексом, но вскоре, услышав в ответ интеллигентную речь, потерял нить наезда. следующей мыслью было — возместить денежным эквивалентом свой моральный и прочий ущерб: «Денег нет? Не зарабатываешь? Ничего, квартиру продашь, никуда не денешься, ты у меня вот где, сиди тут!». вдохновлённый яростью муж бегал на кухню, чего опасались остальные действующие лица: но не за ножом, а звонить некому корешку, звать подмогу для возмездия. не дозвонился, азарт спадал. снова прибегав и обнаружив пленника на положенном ему месте, муж продолжал: «А я-то поверил, когда стихи твои читал — город, вывески, как ты ходишь, злишься, это видишь — понравились, что такой поэт, радикал, бль... а ты с моей женой... да ты знаешь, что она не спит со мной уже давно, я работаю, всё в дом, а она в кровати отворачивается от меня, всё по каким-то пименовым шляется, ты думаешь, ты у неё один? вот я ещё этого Пименова поймаю!.. да оденюсь же!».

шофёр почти плакал — особенно когда последнее восклицание адресовал жене, которая в материнской заботе о пленнике забыла, что нага. «Чужая

жена, муж и леворадикал на кровати» — такое название театральной постановки этого эпизода предлагаю. но спадал азарт эпизодического героя, имя которого не осталось даже в этой краткой истории. жена накинула халат, а муж, перейдя от агрессии к исповеди, так что и любовнику стало его жалко отчасти, вдруг понял, что не хочет жалости от врага, и стал его выпроваживать. с одним лишь измождённым требованием — возместить ремонт двери, взломанной праведной мужней яростью (в размере трех тысяч рублей, двух школьных зарплат поэта). какие-то невероятные для такой угарной театральной истории рассудительные реплики звучали из уст любовника в прихожей, пока уже плохо в полутьме видимый мужем он одевался — мол, вот зарплату получу, тогда и отдам. наконец, именно этой наглостью добитый, муж выпнул любовника с семейной территории аки пса шелудивого.

вот вам и лавры Джима Моррисона, backdoor man, блин, в осеннем сухом и ярком миллениуме: с набитой физиономией и натраханном молодцом, поэт убирается восвояси — то есть в творческую келью номер тридцать четыре, в девяносто первую школу. вот так непросто было пройти через ворота, войти в левачий мир таким символическим путём — с соответствующей расплатой: муженёк надавал и за Пименова, и за Мавромати, надо думать, так что с них причитается... автобусом к метро, в вагоне не сильно косятся на лик чудом оставшегося среди них, живых, искателя приключений — значит, не сильно избит. выходит на рыжей «Октябрьской», там, где демонстрации собираются, и едет на 33-м троллейбусе к Манежу, чтобы оттуда мимо Военторга дотопать до Поварской по довольно радостному и солнечному октябрьскому дню, расцветившемуся над Арбатом и вдали над гостиницей «Украина».

зеркало в 34-м кабинете показывает лишь одну едва кровоточащую царапину у носа, следов побоев нет как таковых. не очень поэтическое настроение не задерживает на работе, тем более не усаживает за компьютер что-нибудь писать, а вскоре отпускает из школы в яркий весёлый денёк.

нет, память — ты плохой сотрудник писателя. концерт Егора в Загорске был раньше — 30 октября 2000-го в ДК им. 50-летия Октября. иначе как бы передавал через новую знакомую журналистку Ирину статью об этом концерте в журнал «Фузз»? да-с, а статья-то, так нигде и не опубликованная, вот она:

АКУСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ ЕГОРА ЛЕТОВА В ЗАГОРСКЕ. 30. 09. 2000, 18:00

Действие началось задолго до концерта. Кстати, место выступления было выбрано весьма концептуально: концерт как учебная тревога и марш-бросок для московской панк-дивизии.

15:20 — подсаживаюсь на станции Лось, первый вагон изобилует черномаечниками (сквозь грязное окно красным высвечивается «Destroy»), внедряюсь во второй. В дороге по вагону дефилируют — от тамбура к тамбуру — тельняшчатые недостриженные панкушечки. Поезд с ценным грузом то и дело останавливается: последний простой между Хотьково и Семхозом длится 15 мин. Из первого вагона слышится: «Панки, толкнём по-

заголовок статьи? Утверди у Лены.

езд!!!». (В переходе из первого во второй наказывают и на остановке высаживают новорусского диверсанта, прикинувшегося панком: он, в отличие от остальных, нажрамшись без меры, потерял подобающий вид и, развеерив пальцы, хотел «па панятиям» пообщаться с неформалами — вот и поговорили.)

К пяти доползаем до Сергиева Посада (бывший и сегодняшний Загорск). От вокзала до ДК пипл организованно марширует колоннами, чем вызывает здоровый интерес проезжающих мимо сереньких в козликах. Годов пятидесятых постройки ДК находится на окраине: белая колоннада, а также рукописная афиша свидетельствуют — пришли. Перед ДК уже ждут родимые охлОМОНЫ и панки с окрестных деревень. Обилетившись, народ начинает то и дело сваливаться в кучи и скандировать: «Пан-ки-хой, пан-ки-хой!». Сами же это и фотографируют. Позади ДК — стадион, где перед концертом — распиваем водочку «Привет» на остатках советских трибун «за победу революции». По пути назад обращаем внимание на выложенную кирпичом надпись сбоку ДК: «Слава Ленинскому комсомолу» — Летов знает, где выступать, все мелочи продуманы.

Зал невелик — человек на триста. Люд рассаживается и скандирует: «Е-гор, Е-гор!...». Из-за занавеса слышится бумс по струне. Вот начал разъезжаться занавес, вот Егор сидит — и сразу начинает «Мёртвых». Народ тотчас срывается с мест и начинается всё заглушающий хоровой подпев и пого. Гитара Егора — та же, что и на декабрьском ('99) концерте в «Авангарде» — «heritage cherry» (как у Ангуса Янга), произведённая, видимо, каким-то сибирским филиалом Gibson'a. Инструмент чёрен и сплошь заклеен а la Прыг-скок, в верхнем подлокотном углу виднеется та самая наклейка «Егор и опи...», что прилагалась к вышеупомянутой пластинке. Собственно, это вам никакой не mtv-шный unplugged с толстодекими акустическими струментами, а «акустика по-летовски»: в комб напрямки включена обычная, даже не полуакустическая, электрогитара — так им писались Лукич с Янкой, одно из «Русских полей» и мн. др.

Одет Егор в кеды, к правой брючине чёрных джинс прибулавлен себе-список-песен, сверху камуфляж — тот самый, что на фото в сентябрьском «Свисте». После третьей песни камуфляжик приходится снять и повесить на спинку стула — жарковато стало. Немудрено: зал под одну непримоченную гитарку расколбасился так, будто на сцене работает двухбочечная ударная установка. Теперь Егор в чёрной длиннорукавой майке с белым загадочным граффити. Зал вопит то «ре-во-люция!», то «коммунизм!» — вот они вчерашние несознательные пункеры, левая молодёжь объединяется помаленьку... Среди леворадикальной аудитории ГО — новая фишка: высовывать вверх из толпы не «козу» и не «викторию», а пять растопыренных пальцев-лучей Советской звезды. Кто-то кидал записки, но читать некогда — выступление Егор заканчивает своим гимном «Родина». На бис «Ле-тов, Е-гор!!!» выходит некий импресарио и увещевает толпу утомониться, «понять артиста, которому тоже надо отдохнуть» — мусью сей неистово послан. Народ расходится, в вестибюле мелькнула стайка «цивильных» интеллектуалов и -чек, что возвышенно наблюдала Егора с верхних рядов, дабы не вспотеть. Омоновский автобус полон дичи, остальные разбредаются к вокзалу.

Последние вагоны последних электричек расpiraемы хоровым пением ГО-наследия: братаются акаэмовцы и энбэпэшники, Трудороссы и СКМ... В Мытищах вынужденная высадка — за питьевым боеприпасом, пропускаем несколько поездов, но и в том,

на который успеваем, находим своих: «С концерта?» — «Да». Обсуждаем концерты и грядущий альбом ГО, что вроде будет называться «Bomb to America». Одному из новых знакомых — на Казанский, ехать в своё Подмосковье, он сегодня видел Егора впервые...

почему же автор статьи оказался на станции Лось в тот осенний день? вот ещё один линк: он приехал сюда из ВГИКа. а там он, за несколько часов до фанского ещё, искренне-восторженного посреди этой подмосковной осени лицезрения Егора Летова, лицезрел человека совсем другой, и уже дорогой, жадно раз за разом высматриваемой с видео, Эпохи — Марлена Хуциева.

контакт подсказали в этом же, 2000-м году — телевизионные люди, с которыми накануне событий Дома связывался чуть ли не каждый день. одна из авторов передач взялась достать телефоны бомонда, а созвать его должен был я. в числе телефонов Новодворской, братьев Гусманов и других был самый ценный — Хуциева. позвонил ему, поговорил с тихим, не очень понимающим проблему пламенных защитников неизвестного дома... товарищЧ говорил тогда, скорее, с собой, слыша свой взволнованный и густой голос громче далёкого Хуциева.

выпуск книги, двойной, красно-серой — позволил, видимо, облагнеть и отправиться во ВГИК. позвонил по тому домашнему телефону, уже не для защиты Дома, а для себя — и напросился, случайно подгадав, на день рождения во ВГИК, но не для почестей, а книги передать, две первые. жест был опрометчив: конечно, в день поздравлений и съёмок для канала «Столица», Марлен Мартынович не обратил внимания на книги, принесённые в обставленную под чаепитие комнату деканата неким юношей в сером свитере (в котором ты меня взмужила). ещё с этой папкой была смешная сцена: товарищЧ сначала выдавал книги по отдельности, показывая сентиментальные наглые надписи («Учителю от ученика...»), а потом предложил прямо в папке их и отдать, а режиссёр, явно не сконцентрированный на происходящем, обрадовался упрощению процедуры передачи творческого приветов от юного поколения. тем не менее товарищЧ вышел радостный из деканата — тем, что передал свои сти вдохновителю некоторых оных, оператору взгляда юного так сказать. и налегке из империи ВДНХ — ВГИКа поехал слушать акустику Летова в Загорск — доехав по той же ветке метро до «Бабушкинской», а оттуда на автобусе до Лося вовремя, с запасом времени.

запас времени... возврат в двести тысяч первый, в осень, в дом четыре на Тверской. тёплые будни, слоёные пирожки с сыром и мясом из перехода, комфорт, дальнейшее знакомство с Нэтом... но всё большая вовлечённость в новую затею — на плечи ассистента Усманова падает вся беготня, договор с «Баку», предоплата — в пару тысяч...

так же — ежеутренняя обязанность: дозвон до Госфильмофонда насчет «Добровольцев». и здесь потребовалось познание ритуала, вхождение в подпространство. дозвонившись, выяснил, что копию фильма дают не бесплатно

(Усманов кивнул — «мы с Игошиным согласные, заплатим») и, главное, дают не совсем тут, а в Красногорске, от «Тушинской» ехать на микроавтобусе.

отправился с просительными письмами сперва. вот новая работка — не скучай. выходи из метро в осеннюю холодину с утра, жди маршрутки, спрашивай, какая едет до киноархива. и езжай. тем же сначала путём, что и в Митино к Сидорову. но потом вправо и всю автоэстетику, шоссейность и гипермаркетность — зри. какой-то «гвоздь»: действительно, гвоздь торчит из очередного супермаркета у шоссе. замысловато ныряем под мосты, видим острова деревень, как фрагменты здешнего прошлого, рассеченного авторазвязками: поля и луга, речушки, помойки в вырубленных лесных участках, снова словно из самолёта видимые низкие под-вдоль шоссе деревни (они потом подсядутся в воображение товарищЧ, договаривающегося с певцами о выступлении на Дне комсомола). наконец с правого пригорка после долгого забора, автобаз и складов глянуло величественное невысокое жёлтое сталинское здание — приехал (делитантски обспрашивавшись у всех попутчиков по дороге — не проехал ли).

небольшой урывок карандашно-влажного запаха осени — ещё по-утреннему сумрачный, едва просвеченный, но продуваемый автоветрами, лес напротив киноархива. светлые приземистые ворота входные и въездные в Госфильмофонд — точно стиль тридцатых — пятидесятых, сталинский. старые, зелено крашенные стены комнат охраны. звоню по чёрному телефону с мягким тряпичным проводом внутрь, тётушки-архивницы подтверждают, охранники отыскивают пропуск (фамилию записали не с тем окончанием или пряталась бумажка не там).

основное здание — напоминает школу. обойдя его справа, мимо высоких тёмных окон, где словно занятия идут — обнаруживаются виданное с дороги гордое лицо здания. гордость его в том, что во лбу горит... герб Советского Союза: совсем как новенький, словно и подкрашивали недавно, цвета разные, со вкусом серп и молот выделили. значит, и тут наше, наши (?)... привет, Эпоха. привет, твоё хранилище в нашем Красном горске. из Загорска через год — в Красногорск мостик. тогда ещё, в двухтысячном агитировал себя Хуциевым и Летовым — теперь сам приехал в альма-матер агитации, в хранилище плёнок, эмоционально опасных контре документов Эпохи. один из них, для поднятия духа тысячного зрительного зала «Баку» — должен вывезти отсюда. но сначала — документальные вопросы утрясти. на второй этаж. внутри что-то красили, или это такой сильный химический запах киноплёнок, запах нафталина или фотомастерской, доминирующий. лестница напоминает пионерлагеря, фотографии зовут в героическое прошлое, парады, ветераны — сотрудники Госфильмофонда... но разглядывать некогда, надо по кабинетам.

несложно найти общий язык с директрисой, её мне рекомендовала по телефону несколько раз одна и та же нижестоящая тётушка как очень сочувствующую комсомолу, активистку в прошлом, в общем. письмо за подписью Геннадия Андреевича на бланке ЦК производит впечатление, фильм нам выдадут по льготному патриотическому тарифу. но сперва надо ведь выбрать — и товарищЧ спускается

на первый этаж, по узкому коридору направо от лестницы попадает в картотеку с маленькими телевизорами, на которых, видимо, аспиранты и студенты-киноведы просматривают ленты, тут же, наподобие бабинных магнитофонов стоят прокручивающие киноплёнку как видео механизмы. и тут идёт какая-то работа, в архиве видимости прошлого, атмосфера отчасти минлосовская, интеллектуально-затворческая. подумал, что сейчас и сам буду так тут фильмы смотреть.

но сперва надо оставить заявочку — поэтому за фильмом приеду в следующий раз. тем же путём, той же осенью. связующие дни невидимы. только автобусная остановка, с которой отъезжать и видеть за леском, что по пути к архиву — жилые пегокирпичные дома, дух восьмидесятых, и перед ними местный ярко вывешенный супермаркет, в гирляндах триколорных шариков. вот где радость, где капитал — кому теперь нужен этот глядящий философски с горы красногорской Госфильмофонд под гербом Советского Союза, с искомой мной темой, с комсомолом? и следующим утром, лишь едва обогревшись перед экраном компа в квартире десять — туда же, в Красногорск.

нужно соблюсти церемонию — и хоть мне заказаны «Добровольцы», но директриса, в разговоре со мной успевшая идейным гостеприимством эмоционально расширить мой прицел, советовала поглядеть по картотеке и другие фильмы. на букву «К», в выданном мне ящичке обнаруживаю даже фильм сорок седьмого года, правда короткий, на полчаса. это документальные фильмы, их мне рекомендовали особо, под названием «Комсомол» несколько, есть даже некий двадцать седьмого года, но напечатано на карточке невнятно и длительность короткая. теперь надо читать монтажные листы. это священнодействие для картотечниц: долго ищется, а потом на время для чтения здесь же выдаётся папочка, картонное такое «Дело».

серая картонная обложка открыта — там подшитые копии рукописи, папиросная бумага с машинописными буквами. фильм семидесятых годов, аннотация сразу берёт за живое: «фильм выдержан в духе советского патриотизма и пролетарского интернационализма» — ведь знали же тайну рецепта, тайну цемента, которым держался СССР!

стиль монтажного листа — квинтэссенция радикального реализма: из механического, со всевозможными «рапидами» и цифровыми указаниями, текста, появляется из поезда трепещущий на ветру платочек комсомолки, мелькающие вспышки реальности. самые яркие моменты истории комсомола — отправки на Гражданскую, на фронт Великой Отечественной, БАМ, всё это каким-то образом вписано в поезд, в темп колёсного стука... этот фильм я так и не увидел — режиссёр с грузинской фамилией, как сообщила директриса, сам часто берёт копию, гордый такой, показывает там кому-то. возможно — в памятный октябрьский день везёт ленту для ностальгии сановных персон в МДМ, показывает Матвиенке, Чубайсу, Кириенке и Немцову...

попосоветовавшись с Усмановым по телефону, всё же останавливаюсь на художественном фильме «Добровольцы». сообщаю об окончательном решении директрисе и несусь в бухгалтерию пятисотку «Комиссии». вот такое соотношение

внешнего и внутреннего в Госфильмофонде: снаружи здания улыбается серпом и курносится молотом герб СССР, как бы указывающий на то, какой эпохи кинодокументы, в основном, тут хранятся, а вот у бухгалтерш в шкафчике за стеклом — фотография Романовых, царь-батюшка невиннооубиенный, благоликая супруга царя, детки. ах вы, бухие галтерши, обывателки ядрёные. сидят такие толстыми сладкочайными задами на руинах и кинодокументах Эпохи, мзду за доступ к ним масс взимают да на царя (удобрившего почву Эпохи) любуются.

впрочем — прочь от такого разочарования (вполне неизбежного — неужто ждал подобной директорской сознательности от бухгалтерии?), иду со своей тележкой для фильма, прихваченной по совету сотрудниц архива, к другому зданию, не замеченному сперва. а оно-то и есть самое главное. оно и есть Архив, там стоят, складываются киноплёнки.

башня из сгладившегося, покоричневевшего, а в семидесятых жёлтого кирпича — словно одна из многих жилых, как в центре. но это башня-хранилище. и она постройнее, Уже в талии. такая башенка, без квартир. башня не из слоновой кости, но из плоти кинодокументов — художественных и менее, т. е. более исходных, реальных. с первого раза за стеклянную дверь попасть не удалось — и звонок не помог. пришлось торжественно возвращаться и выяснять — позвонили, хозяйка хранилища оказалась на месте, просто где-то на этажах, в стеллажах. второй визит, в ходе которого тележка уже присмотрелась к специальной для нее нацементированной на лестницу горке, позволил проникнуть за гостеприимную прозрачную дверь, через которую почти насквозь, до дальних окон видно хранилище.

весёлая, объёмная, околопенсионного возраста тётушка выглянула из комнатки у дверей, с телефоном.

— Это вы за «Добровольцами»? У меня всё готово.

это она, оказывается, мне и готовила там наверху комплект. провела в соседнюю окафеленную комнату с некими стальными приспособлениями для перемотки плёнок и чего-то ещё. написала что-то в квитанции, я спросил, требуется ли подпись моя — нет, уже не требуется, ответила, весело глядя из-под очков. интеллигентная, живая такая хранительница киновещества. должно быть — человек осведомлённый в сфере того, что хранится. так и есть: поинтересовалась, почему именно этот фильм, есть же ещё, и для чего — на какое мероприятие. всё же, ещё богата окапитализЕвшая наша страна этими, советскими, небезразличными к происходящему, людьми — жизнерадостными в таких вот, казалось бы, далёких от этой жизни местах. и люди эти богаты, богаты как эта хранительница — просто сознанием, что это всё, возвышающееся над нами тоннами киновещества, есть ещё, цело и кому-то нужно, просто срок приходит медленно. я не стал скрывать — рассказал, откуда прибыл, да и документы, среди которых по-прежнему светило письмо ЦК КПРФ — всё ответило ей, её интеллигентной и задорной вопросительности из-под очков.

поинтересовался: увезу ли все плёнки на одной тележке, — да, ответила, всего-то их четыре, в одном яуфе уместятся (яуф — это, как очно выяснилось, за-

крывающаяся такая по-военному железяка для плёнок, вроде скороварки). потом, словно отработывая, оплачивая уже своими действиями предварительную вопросительную часть — хранительница необыкновенно точно, перед этим удостоверившись, что на круглых этикетках посреди железных дисков-коробок правильное указание названия, стала забрасывать с довольно большого расстояния коробки с плёнкой в яуф. четвёртый диск-короб точно пришёлся под крышку, и я понял, что мне пора, надо продолжать этот резвый темп и увозить добычу.

телега с яуфом оказалась не так легка, и скат от хранилища пригодился. какой огромный и реальный осенний мир открылся снова за стеклянными дверьми хранилища! и уже знакомо приветливо глянул, улыбнулся герб СССР с основного, приёмного здания Госфильмофонда.

пройдя, проковыляв вместе с яуфом на телеге собачьи задворки и кордон-ворота киноархива, оказываюсь снова напротив осенней рощи — теперь без листьев, но всё с тем же карандашным запахом. долго ждать нужного автобуса, но лезть с такой поклажей в маршрутку — не резон. автобус зато с кондукторшей, берущей по пригородному тарифу — четыре рубля всего.

приковыливаем с яуфом на Тверскую—4. в награду за физическую нагрузку по дороге из «Охотного Ряда» покупаю себе четыре слоёных пирожка и по двору сталинского дома, за Думой — везу фильм, будущую агитацию для зала «Баку». под знакомому выпуклому люку пропрыгивает моя тележка. такая вот работа — не всё же эстетствовать перед телеэкраном, приходит время ощутить реальную плёночную, полнометражную тяжесть фильма, тяжесть своего и общего партийного дела.

близится 25 октября. Усманов вместе с верстальщиком «Совраски» нарисовал лиричные, прописным возвышенным шрифтом напечатанные приглашения. эдакие закладки для партийных книжек.

пришлось, наконец, увидеть и самого «шефа», Игошина. от которого только до тех пор в нашу квартиру десять приносили конвертики зарплат — Усманову да Владу. десять тысяч Усманова были однажды им истолкованы как «Это только за Комиссию?». он наивно полагал, что за газетную работу его единственный неделимый хозяин станет ещё платить...

пойти к Игошину пришлось в Камергерский — в основной офис. мне как «лошадке» по подготовке Дня комсомола надо было выслушать установочные моменты. поводом стало то, что хвастливый Усманов представил в ЦК написанный нами в один из затянувшихся на Тверской вечеров длиннющий план мероприятия (с упоминанием и кино, и рок-концерта, и прочих нюансов ассортимента роющей землю копытом Усманова «Комиссии»), на который Потапов наложил нелестную резолюцию: «Что-то вы там слишком развернулись».

хозяин Холдинга оказался молод и непрост внешностью — властный зачёс русских волос и сильная, себе на уме, раскосость серых глаз при лёгкой асимметричности лица обескураживали любого собеседника. при этом наш всевышний буржуй был неистёрт своим бытом и довольно свеж, хоть и кря-

жист соответственно уровню — чуть за тридцать три. в те дни надвигающихся осенних воздушных масс у меня почти неделю уже, возможно как следствие постантикаповской простуды, болела и странно вела себя голова, плоховато слышал. оказавшись в кабинете шефа наедине с ним и его помощником из политического отдела, плутоглазым Дубинским, я был растерян, а шеф, сидящий в шикарном кожаном мягком кресле, позволявшем взад-вперёд покачиваться, никак не позволял сфокусироваться на себе моему взгляду. быстро и деловО шеф выяснял — (для начала комплиментом) я ли, как ему известно, тащу весь воз, какие у нас планы — подтверждая всякий раз свою заинтересованность в хорошем концерте. до тех пор Усманов меня прятал от шефа и шла на Камергерский не только со слов его, но и по информации Матвеева моя слава некоего маргинала-радикала дворянского происхождения. но вот свиделись. Игошин был настроен на откровенность: больше всего его интересовала наполняемость зала.

— Я, честно тебе говоря, не понимаю, чего от меня хочет Зюганов. Ну, плывёт сам по течению — а от нас чего-то требует. Меня молодёжью поставил руководить, вроде как во фракции я самый молодой получаюсь. Но вот ты мне скажи, только реально, — где она, ваша молодёжь? Я комсомол по Москве не беру — им и четверть зала не заполнишь. Ну, область выставит человек двести-триста от силы. а там тысяча мест — ведь так? А в пустой или даже полупустой зал я Зюганова не позову...

разговор с шефом при суфлёре-соглядатае Дубинском — дело и ответственное, и эпатажное. чисто антропологический интерес к комсомольцам подмаскировавшегося под красного младобуржуя я и иллюстрировал в своём лице. дополняя тезис о непонимании планов Зюганова и своём в них участии, Игошин предложил мне собирать комсомольский актив, а он сам уж пригласит лекторов...

— Но что это за название — коммунистическая молодёжь... «Союз советской молодёжи» назовитесь или еще как. Подумай. Если будут люди собираться, реально, достаточно для того, чтобы занятия проводить — я приглашу лекторов, устроим нормальные семинары, учёбу.

можно было бы вспоминать этот разговор подробно, как качался в кресле с глядящими мимо меня глазами шеф — но чем-то в теперешней манэре меуарной придётся жертвовать.

куда внимательнее приближаюсь к своей беготне того периода, к отработке трёх тысяч, новой зарплаты. сбор кандидатов в выступающие на Тверской—4. ощущение себя массовиком-режиссёром...

такие вот странноватые для периода накопления капитала и выбивания должностей при новых хозяевах занятия бывшего школьного психолога. изложение Усманову плана, сокращение по смете «лишних» певцов, расчёт гонораров в нашем крайнем, самом ближнем отсюда к Кремлю, из четвертого дома кабинетике, где вечер стал наставать рано. уже в шубейках с запахом старого меха

из пьес Островского — захаживают на последнюю перед концертом встречу саванитые певцы и взявшаяся их подобрать-опекать объёмная тётушка по фамилии Авдеенко, с которой вместе мы ехали в агитмашине весной на демонстрации, она не помнит: я из кузова в акустику улиц вещал, а в перерывах она из кабины в усилители читала с актуальным надрывом: «Коммунисты, спасите страну!..». именно ей не как организаторше, а как чтецу Усманов, не присутствуя на встрече с господами артистами, велел, науськивая меня по телефону, отказать в пользу ужатия времени — Авдеенко картинно расположилась, хваталась за пульс. Усманов понял, что перегнул: сговорились на коротком одном стихе в её исполнении, не более трех минут. но меня она сочла злодеем всё равно, глядя через свой старый меховой воротник и уходя, поддерживаемая артистами.

предконцертные вечера с артистами в теплых сталинских офисно выбеленных стенах, как и встречи тут Оргкомитета после Антикапа, когда троцкисты из РРП (тщедушный Дороненко, бледная, не без смазливости полноватых ножек под кожаной юбкой Галя Дмитриева) пользовались моментом, прилипали к компу и своему чёрному сайту 1917.com (первый, который я еще в девяносто первой увидел на «красную» тему) — кончились. повёз тележку с фильмом в яуфе в «Баку».

ощущения той суетной осени сконцентрированы в этом направлении: вливаться в поток пешеходов от метро «Аэропорт», выгадывать удобный путь тележке среди бордюров и красивых, светящихся красным уходящим настроением Эпохи палых листьев, заблудиться в непроходимом дворе, заходить в аптеку «36,6» попутно за лекарствами бабушке. получать синенькие билеты — как бы отчётность за аренду. обзванивать областников, Академию туризма, которая пригонит основную массовку. печатать пригласительные письма для фракции КПРФ — в одном из них была замечательная опечатка, которую все же успел, заметил Усманов: вместо «Уважаемый товарищ... Геннадий Селезнев» я набрал «Слезнев». жаль, не «Слизнев».

наконец, к Дню комсомола и «Эшелон» подготовил своё выступление — и именно на репетиции, на улице Макаренко я срывался из дома четыре на Тверской — в «Охотный Ряд» метро, до Чистых, почти бегом по бульвару туда, к товарищам в сырой комнатке, уже нами украшенной плакатом образца выборов 1996-го с локомотивом КПРФ, разбивающим камень Реставрации (на котором написано «коррупция», «безработица» и ещё что-то). о, подробности — утягивайте, сбивайте регламент вознамерившегося тут планомерно повспоминать!

Усманов благосклонно меня отпускал с работы — мол, вот видишь, против этого радикализма, творческого я ничего не имею. хотя всё время со мной Усманов ощущал себя на пороховой бочке, особенно после визита к шефу. магия подсиживания угнетала Усманова — насчет Матвеева как «стукачка» (который, кстати, пилотно мне предлагал работать за двести баксов на него) он не сомневался, потом и дальше пошёл в своей мании, но... о, мы же не забежим, не нарушим закон мемуарного времени, уже раз его нарушив в самом акте воспоминаний радикала!

в густом переплетении всех этих эстетик — старого пыльного сыроватого здания на улице Макаренко, пустой и тайно уютной квартиры 10, пространств

«Баку», его эпического на тему советского Баку занавеса — оканчивался октябрь Днём комсомола, буквально руками мной по кирпичикам собранного, привезённого в увеличенных ксерокопиях туда. это было последним штрихом: оформить зал, тут и Усманов приложил творческий азарт: сидели, выбирали в моих и его альбомах, из «Совраски» забранных, фотографии и плакаты для ксерокопирования, бегал в Златоустинский ксерокопировать, прямо в дом наверху которого еще обитало «Яблоко», где сначала Винником, а потом сыном депутата Игрунова печатались макеты первых двух книжек стихов. ещё одним последним делом был договор с «аппаратчиком», который должен был озвучить рок-концерт.

да, мы же отбирали рок-группы! как приятно чувствовать себя худсоветчиком — когда твоя-то группа ещё никем не видана. несколько раз мы придавались — в связи с появившимися у Усманова и бывшими у Влада давно финансовыми возможностями — удовольствию чревоугодия по-Макдоналдовому. меня как мальчика посылали в Макдак напротив Телеграфа, Усманов объяснял, чтоО взять ему (макнагетсов), все заказы я отоваривал, и мы на кожаном диване в комнате пресс-служащих шефа наедались макнагетсами, бигмаками, соусами, колами. и слушали данные сотрудниками Р-клуба диски двух групп — «Ивана царевича» и «Боевого стимула». «Царевич» много просил, выбрали «Стимул», притом даже конкретные песни — что отправили в виде факса на бланке «Комиссии», выглядело супербюрократично, победой партийной цензуры над рок-разгильдьями. петь то-то, столько-то минут, гонорар как условились (а именно это решающий фактор, принципиальности не ждали от лабухов, командовали с Усмановым партийно на деньги буржуйка, шефа). это в двести тысяч первом, во время торжества критиков тоталитаризма! из нашего штаба в сталинских стенах мы начинали эту приятную, упойтельную работу...

зал Баку наполнился достойно: Академия туризма заняла большую половину — вела себя нагло и громко, не слушала выступающих. пришли и старички партийные, специально приглашенный ветеран авиации и разведки Кузнецов. тут надо линк: я с ним специально встречался на метро «Комсомольская», в уголке у неработающего кафе. человек, вступивший в комсомол в тридцатых, был интересен уже этим. прошедший войну, коммунист. прямо как тот, крымский. но интеллигент, преподаватель военного некоего вуза, поэт, сильно за восемьдесят лет. в тёмном берете на темени, светлом плаще, разведчик. говорили с ним о комсомоле нынешнем, партиях, он в РКП, уверенный в том, что своих военных учеников в нужный момент поднимет на дело, которое в своей книге стихов называет «И Родину надо спасать».

севшие втроём Зюганов, Мельников и Игошин, все в серых пиджаках — глядят на сцену. а массовка Академии (на галёрке особенно) шумит, не умолкает. самому шефу пришлось оторваться, пойти утихомиривать студенчество. на сцене в красных платицах замечательно выступил девичий детский хор. государственный, но не побрезговавший таким мероприятием, спевший пионерские и комсомольские песни — аж дух захватило. зарделся Зюганов, благодарно

хлопал. почувствовалось в зале после такого хорового оптимизма, который разошёлся по залу мурашками, что всё ещё можно исправить — вот они детки, поющие советскую героику, вот их дирижёр энтузиаст, увлечённо и властно взмахивавший руками-крылами, чтобы рвалась в уши правда тех песен...

с боков сцены — на немыслимой высоте приклеенные мной в нервные предконцертные часы ксерокопии А0. носился тут по залу кубарем — то помогаю распаковать, поставить слоновой кости цвета ударную установку «Тама», на которой играл Фил Коллинз, то на лестницу залезу вешать очередной фрагмент плакатный (задумал до сцены — любимые 1930-е, а после — война, «райком закрыт», стройотряды, БАМ, нахимовцев, на которых настоял Усманов). аппаратчик, который взялся поставить звукоусиление и «рулить» звук, был отыскан нами по наводке «Запрещенных барабанщиков» — где-то, что ли, за Тушино, в точно таком же конструктивистском ДК, какой в Раменском провожал нас в марш. в этом помещении оказавшись (а то только снаружи видав), уже было время поразмыслить о преемственности странной: в помещении дома пролетарского культурного наследия, в самом пространстве заложенного, в подвале — сидит и куёт свои баксы стареющий длиннопатлый музыциан, барабанщик никому не известной группы «Техас». он же продюсер, как гордо сообщил о себе выдававший нам на специальную тележку свой аппарат очкастый хиппи.

опять же, не надо забывать и о кинооператоре — такое тощее, явно алкоголическое хроническое существо, которому Усманов сразу определил вознаграждение — пол-литра после концерта. кинорубка, в которой пахнет колбасой, прямо там же и жуют рядом, на стенах бикини-парад начала девяностых, как и в узком закулисье, где все смешались перед концертом, куда в знак приближения Зюганова заглянул в поисках террористов и взрывных устройств его увесистый охранник по кличке Рептилия. поющая нежным голосом Анны Герман, депутат-коммунистка (как раз из Красногорска) Галина Рылеева, посвечивая колготками и исподним, женски-миндально благоухая потом разведённой, переодевалась в сценический костюм, девочки из хора волновались, барды Николай Прилепский с Беляевым настраивали гитары — зажил этот мир события в честь комсомола, двинули мои комиссионные руки это колесо, и оно медленно стало набирать обороты.

патлатый аппаратчик, однако, сыграл злейшую шутку — когда вышел наш «Эшелон», он из общего колоночного звука увёл вокал и вытащил барабаны с бас-гитарой, то что ему профессионально любо, ритм-секцию. такой диверсии никто не ожидал. первую часть концерта он вполне сносно и вовремя пускал певцовский «минус», терялись мини-диски, я лазил их искать в рядах, в темноте, чудом находил. уже до того выступил Николай Кузнецов, в конце подпустив слезу, за что на меня сурово посмотрел Усманов... потом выскочил на сцену незапланированный старичок фронтовик и, обращаясь к Зюганову лично, сидящему рядом в третьем, всё повторял, чтобы его чаще приглашали на такие мероприятия.

выбежал и Усманов, не успел переодеться, остался в свитере с воротничком, не воспользовался написанным мной спичем — как-никак ответственный

момент, нервный момент, отчёт — сократил выступление, сказав, что самое главное сейчас и произойдёт: примем на сцене в комсомол областное пополнение, подготовленное Сидоровым. Зюганова пригласили для торжественности процедуры, он воодушевлённо пожимал руки то нарядному, то тщедушно-бедняцки одетому, растерянному молодняку в количестве около двадцати.

наконец, настал черёд рок-концерта, и, до той поры бывший организатором, я уже майке с Че, с бас-гитарой и с товарищами вышел на сцену. долго подключали гитару — Миша плохо дружил с техникой, особенно с чужой, а своей у него не было, примочка выданная «Отход»-гитаристом не хотела работать, пока не переткнули провод и не пнули хорошенько. пришлось извиняться в микрофон за проволочку. глядя из ближнего ряда на меня как на родного, Зюганов захватски, атамански, этак по-пугачёвски, что ли, махнул рукой: мол, да, давай, просим! сверху, с левой галёрки (правую составляли неумолчные распонтованные «туристы») нас уже дружным, как на демонстрациях, скандированием просили наши товарищи из московского родного СКМ, Ермолаев, Сивачёв, Заводнова, акаёмовцы: «Ленин, партия, Э-ше-лон!». откуда они слышали эту песню — ведь то был первый концерт? или просто знакомую кричалку скандировали? загадка...

отгадка: на улицу Макаренко приходили на репетиции, помню в узкой двери толпились лица Шабанова, Кати, других, местных пацанов, шёл процесс подготовки новой саундовой эстетики, новой энергии начиналось клекоталово, драйв...

но мы начали: в зал, первые ряды которого населяли в основном старички, полился задор «Левого марша». звук в зале сильно отличался от нашего, на сцене. весёлый барабанщик Лёха умело оприхаживал и тут и Тама изящную устаночку Фили Коллинза, аж любо-дорого смотрелись переходы. конечно, «Ленин, партия, комсомол» звучали юбилейно и пафосно. Зюганов улыбался и рдел всё выступление. сыграли, по-моему, всего четыре песни, пусть очевидцы поправят, ежели соскромничал.

да, этот зал с этно-советским занавесом, чёрно-белыми увеличенными плакатами, этот концерт, наши песни звучали в том вечере, окружённые районом «Аэропорт», светящимися своими уютными окнами... и оттуда далеко, к тебе на Марии Ульяновой улице — направлялись с осенним ветром мгновенные мысли: что это уже совсем другая история, без тебя, без места для тебя и для меня у тебя. пропасть времени и расстояний Столицы расширила, разделила наши острова-жизни. и я двигался дальше в своём направлении, от тебя — возможно, для тебя это показалось бы сущим сумасшествием, как для меня твои танцы-ушу и богопоиски. и ничего тут от нашей реальности, от того языка, от радреала наших вместе времён — только заполненная мной и моими новыми товарищами пустота огромного полутёмного зала «Баку», заклеенные ксеро-плакатами плитки песчаника.

Николай Кузнецов поймал меня после выступления нашего и чуть не отколотил: мол, это же не музыка, это не наша культура, это вражеское, она бьёт по ушам, сотрясает внутренности, ничего не понятно!.. звук хиппарь сделал, дейст-

вительно, ужасный — мама подтвердила, кстати, там же она впервые и знакома с Усмановым стала, представил. попытки убедить разведчика-поэта в том, что новое время дает новые звуковые рамки, не привели ни к чему, расстались безрадостно. дальнейший рок-концерт в лице Боевого стимула, толстощёкого такого, весьма профессионально извлекавшего совроковые звуки из инструментов, Зюганов слушать не стал и медленно отчалил.

«Мой адрес не дом и не улица» приглашённая кузеном Леонидасом группа «Седьмой город» доигрывала уже для одних эскаэмовцев, подтанцовывавших в проходах, которым со сцены неслись взбдирания: «С днём рождения, комсомол!»...

на фильм — с которым так долго возились, привозили, отматывали, обнаружили лёгкие царапины на одном мотке — не осталось времени. очень смущённая рок-концертом православная почитательница Сталина, директриса требовала скорейшего нашего исхода. Усманов командовал мне вручить ей (извлечённые барски им из кармана джинс) ещё пару тысяч за доставленные хлопоты — она взяла и разрешила доиграть концерт до конца, а фильм-то было уже и некому показывать: старики разошлись от урагана рок-музыки, «туристы» пошли пьянствовать в ближайшие окрестности, оставшийся в зале СКМ и АКМ был в количестве десятков двух...

ксерокопии плакатов оставили в пользу «Баку», пригодятся ко Дню рождения Сталина, что тут год за годом газета «Дуэль» проводит, даже приятно «Комиссии» нашей помочь этим старым знакомым. когда собрали технику быстрёхонько и вывезли её к «газели» в боковую дверь хиппарь-диверсант, получивший из рук Усманова трехсотбаксовый гонорар, ещё имел наглость спросить: «Когда водку-то пить будем?». в ответ Усманов его дружески обнял, будто знал со школы. однако деньги-то у Ибрагима тут как раз кончились, и ему пришлось у Леонидаса занимать на оплату шофёра «газели».

уехали «на Лёне» в его малиновой пятёрке, на которой ехали в ДК за аппаратчиком и техникой его. кстати, о Леонидасе — и обратно на Тверскую-4.

увиделись впервые на станции метро «Баррикадная», знаково. тогда уже знавшийся с Усмановым, я был направлен по весне этого 2001-го года провести линию Комиссии на программу Вячеслава Кирика «Моё поколение». встретить должен был некоего патриотического предпринимателя. он и стоял в оторочке мехового воротничка, в руках «Совраска». разговорились, оказалось, никакой классовой чуждости у Леонида нет. торгуя мехами на рынке, он давно с КПРФ и левыми. сметливый Усманов сказал, что, мол, ты уважительно отнесись, потом будем с патриотических предпринимателей денюгу тянуть...

это был первый визит в дом радио, долгий переход под общение с Леонидом через Садовое, стеклянные стены дома... подходя к подъезду, будущий (по моему прозванию) кузен Леонидас сказал в сторону неожиданно встреченного такое, что политически покорило меня сразу. у двери стоял, не очень желая нашего приближения, охранник, и вообще создалась атмосфера официального визита. оказывается, из подъезда дома радио выходил в этот момент Степашин. на что Леонидас громко откликнулся:

— А, Степашка!..

охранник с вросшим в ухо витым телефонным проводком хорошо слышал сказанное, но не предпринял ничего, продолжая своей массой закрывать-сопровождать проход властной красноликой персоны. только недовольно буркнул в нашу сторону: «Не Степашка, а Степашин».

ещё один дом, новое пространство знать изнутри. часть, где «Резонанс» и прочие радиостанции сидели, продолжалась в сторону особняка Берии сталинскими мощными стенами с заселившимся туда салоном несоответствующего названия «Ар деко»: как раз это был уже могучий неоклассицизм, которому не свойственно изящество и конструктивистская хрупкость. сюда меня Усманов отрядил по осени, когда в «Комиссии» стал работать на постоянной основе, ходить регулярно: у Кирика явно мало было на примете молодежи нужной политической ориентации. про политику радио я не знал ничего, но сам факт вещания, возможности без цензуры оппозиционно высказываться удивлял. приятно выстроился путь без транспорта — то от Тверской, 4: через знакомую развязку за сквером Низами, Леонтьевский к Никитским и дальше к Садовому, то от дома, через Патриаршие, по прямой линии вдоль Садового, под прикрытием скромно глядящих в сторону Бульварного кольца сталинских домов, окантовывающих внутреннюю часть Садового. даже опаздывал разок, на ходу в осенней влаге и блеске под ногами в чёрном вельвете вечернего асфальта, набираясь задора и скорости для ответов на вопросы, для чтения своей «телеграммы Маяковскому» в эфир «Резонанса».

пути без тебя, в осени, мимо Патриков. и без старых студенческих друзей обхожу лужи, гляжу на сияющие даже в вечере снизу листья. справа дом со львами, где снимали финал «Ширли-Мырли», вот уж торжество бессознательного творческой интеллигенции самого смутного периода середины 90-х, всё там вылезло: и антисемитизм, и безудержный мат, и мечта, что прилетит американский волшебник на своём вертолёте, и прямо с очередного банкета советско-постсоветской творческой элиты увезёт всех в вожаемую Америку.

и негрустно, хорошо шагать в этом одиночестве с разгорающимся ораторским задором, с выношенной, но невысказанной правдой от СКМ, от «Отхода», от поэта Чёрного. забавно: как-то раз увидев в комнате ожидания «Резонанса» Сергея Глазьева, я подумал, что это тоже патриотический предприниматель, спонсор радио. а он ходил и настраивался на эфир, задумчиво, целеустремлённо, белёсой на полноватых щеках кожей однако похожий на представителя именно буржуазной части общества.

поворачивающий к зиме год великой моей перемены профессии и так далее — вёл к новым событиям. из компьютеризированного уюта квартиры десять Усманов меня с областным пополнением гнал помогать обкому КПРФ на выборах в тамошные органы. гнал в Лобню. начало снежной осени-зимы — подняло непривычно ранним утром и усадило в электричку вместе с Сидоровым и другими волонтерами на Савёловском вокзале.

обком КПРФ, взятый Игошиным на кормление, представлял собой достойное описание зрелище. сперва он располагался на задворках Пушкинской

площади, из Козицкого переулка за Елисеевским в подворотню и направо в первый спуск под козырёк. обком в андерграунде, стильно.

отделан обком в народном стиле — деревянно, под баню. круглая лестница вниз, точно в сауну. направо кабинет главного — свинорылого и косоглазого одного деятеля, успешно делавшего деньги на своем положении, поддерживая партийными руками денежных кандидатов, но это станет известно позже, как раз по ноябрю—декабрю. в помещении пахнет искусно приготовленной пищей — здесь же стационарная кухня, чтобы партийцы ели. в этом особо сказалась забота Игошина. секретарша сидит, за нею настенный бумажный коллаж-ералаш чуть ли не с девяносто шестого года, если по наклейкам судить — «За победу патриотов России» (вот Ельцин-то и победил — на что уж патриот России был, а не СССР, коими должны бы позиционировать себя тогда были кандидаты КПРФ, в пику...).

смотря да думаю (мой первый визит сюда с пачками «Молодёжной политики» пришелся на сентябрь, когда только привыкали к десятой квартире): живут же люди, работают тут на партию, факсы, компьютеры, звонки телефонные, плакаты, наклейки — в общем, свой мир, в котором можно жить, быть упитанной такой секретаршей. вот она голосовала ли за КПРФ, эта типовая телефонная полнУшка? или это только её работа, ничего личного?

воистину, для многих это немыслимое место: в том же дворе, только на стороне самой Пушкинской площади — кафе Галереи «Актер», всякие рестораны. а тут обком. настоящий коммунистический обком в центре города. ну, скажи я это посетителям того же квартала — салона «Классики 21-го века», тому же Даниле Давыдову, Ивану Марковскому: мол, пойдёмте прогуляемся в обком — так засмеяли бы, не поверили. но мои туда визиты к этим чахлым брюннимфам и седомудрым нимфоманам с непременно заседающим в кафе «Квасики 21-го века» Курицыным, закончились, не пересекаемся, и надпись на стене арочной галереи, которой проходишь от «Чеховской» в Козицкий переулок «Бренер с нами!» уже не греет поэтической фантазии.

в общем, для раздачи агитматериалов с именем одного из вкусно кушавших в том подвальном обкоме (а вот старичков-ходовков из области, что навесывались в обком за газетами — не приглашали) — едем мы с Сидоровым и еще двумя комсомольцами в Лобню. сквозь кварталы пригородные, гаражные, заснеженные. едем долго, напряжённо — что там ждёт? как будем ходить по незнакомым домам, кодить незнакомые двери подъездов, звонить в квартиры, в чём-то убеждать? едем, покачиваемся в электричке, глядим друг на друга неспящими глазами, говорим, чтобы не уснуть.

в Лобне зима похолоднее — по пешеходному мосту над путями метёт позёмка, поддувает в рукава. вдруг нежданная радость: на щите, заклеенном разноцветными с бахромой объявлениями, что встречает всех прибывших в Лобню фронтально на этом мостике, — наша черно-белая с огромными двумя буквами афиша по поводу концерта ГО с участием «Эшелона» и «28 ГП» в декабре. сразу греет ощущение, что в городе уже есть революционные элементы. небось, акаэмовцы. идём по правой стороне длинной улицы. не сворачивая, по

перпендикуляру от станции. на первой же остановке автобусов и маршруток — жёлто-розовая размера А3 агитка за Васильева, нашего кандидата, с фотографией, биографией, такая вкусная, располагающая. значит, уже работают здешние, молодцы. спокойные двухэтажные пятидесятых годов розовые, зелёные, белые толстостенные дома еще не ведают, что мы полезем в них с агитацией — да, сталинские дома Подмосковья, здесь снова коммунисты, вас они строили, а образумливать ваших жильцов идут новые.

райком — в одном из таких домов. указанная на бумажке и Сидорову устно Усмановым дверь в длинном коридоре перед открытой дверью Совета ветеранов — заперта, слишком рано приехали. придётся погулять пока, присмотреться к пространству, где агитировать будем. заглянули туда, где прямая улица поворачивает вправо, куда катятся маршрутки и где стоят заснеженные, замёрзшие деревья рядом с силикатнокирпичными домами: Лобня начинает свой утренний бег, топает в школу, на работу, а тут мы со своими листовками, которые нам должен выдать райком. возвращаемся. дверь открыта, внутри хозяйничают два бодрых мужичка. Сидоров представляет команду — получаем по кипе листовок А4 за Васильева, лобнинский спецвыпуск газеты «Патриоты Подмосковья».

да-с, детская надежда на то, что райком так и не откроется и мы уедем вынужденно неотработавши — развеялась. область нераспропагандированных домов нам показали рукой, теперь делим участки. двое — туда, мы с Сидоровым в ближайший.

мемуарный закон — обобщение там, где мог бы быть радреал. вынужденная поправка памяти. все эти лестничные клетки, квартиры подряд, роспись стен, тоже обобщающаяся... ведь где-то кончается конкретное и начинается абстрактное — особенно когда количество переходит в качество. почему-то Сидоров запомнился мне уже после всех наших набегов стоящим на одной из лестничных клеток (на улице холодно) и пьющим йогурт из квадратного пакета. я в это время зажёвывал булки с глазированным сырком и тоже пил кефирчик. но это мы отдыхали перед последними подъездами. а до этого...

мы увидели эти дома изнутри. дома, которые проезжали в электричках и по другим направлениям, подмосковные дома. увидели, кто и как тут живёт. элитных квартир или хотя бы с железными дверьми — мало, одна-две на два подъезда. есть и двери-старожилы, даже без обивки, деревяшки исконные с ручками-ровесницами. за дверьми этими — в основном женщины. везде. чаще — пенсионного возраста, но иногда и молодые, возраста, так скажем, учительницы или бухгалтерши. за каждой дверью — свой мир и своя обусловленность. попалась и дверка с крутыми обитателями — кекс в дородном халатике, с модной щетиной просто рассмеялся нам в лицо: «Коммунисты?». и дверь закрылась. за ним светился его потомок, рэпового вида тинэйджер. попадались и внемящие тинэйджеры — одного на теме патриотизма вытянули из квартиры, он сначала признался, что ни за кого голосовать не пойдёт, хотя по возрасту может, его мамаша всё звала домой, но он бунтарски отбрыкивался — как ни странно, упоминание совместного с ГО концерта в Москве и то, что вот такие, как я и Сидоров,

молодые, патриотические, мы есть, комсомольцами называемся, подействовало на парня, и он взял газеты и листовки даже для раздачи другим. но в основном женщины — склонные к годам преклонным. и каждой надо объяснить, что не такие безнадежные эти наши кандидаты КПРФ. сомневающиеся взгляды из-под очков. иногда истеричное выгалкивание за дверь. но это наша работа, это наша практика, поверяющая теорию. сразу, после первого же лестничного пролёта формируется серия вербальных ухваток, с которыми легче стучаться или звонить, чтобы вообще тебе дверь открыли. помимо газет и листовок — более конкретная обязанность. подписные листы, ловим в наши клеточки подписи, иногда дрожащей рукой неразборчивые, не с той стороны. но за это ругают, признают весь лист негодным. вот так, по каждой клеточке, по каждой квартире счёт и ведётся. трудно объяснять лобнинцам, что они могут подписаться хоть за всех кандидатов — эти подписи всего лишь позволяют им выдвигаться на выборы. некоторые тётушки не верят — нет, нигде не подпишемся, мол, мы обещали голосовать за кандидата от Единства. админресурс.

самое интимное — ведь для подписных листов нужны паспортные данные, и те, с кем разговор удался, дают их, дают легко, наши советские, добрые соотечественники, не ждущие мошенничества или пакости от нас, спасибо вам, родные. тут же улавливаешь то, какими уловками, а не прямой речью легче поймать в сеть подпись жильца — если это женщина, то побольше улыбок, молодого многоголосья, дедушки сами любят поговорить, если вдруг девушка — то... ну, тут уж по вдохновению.

конечно, всех не упомнишь — потому и мемуарю, не радреалю. запомнился бессловесный с кавалерийскими усами дед, проживающий с московской сторожевой собачиной на самом верхнем этаже одного из подъездов. услышав слово «коммунисты» или даже не услышав по глухоте, просто поняв интонацию — хромая, опираясь на палку и удерживая ей ярость пса, направился к двери дабы ее властно захлопнуть. переглянулись с Сидоровым: не смешно, но улыбнулись — вот работка-то.

пришлось разделить и по одному обрабатывать этажи — он ниже, я выше. вот повинность: копайся в этом жилом мире, выкапывай из него словами, звонками, монологами этот неведомый электорат и его подписи. в одной из квартир обнаружился художник: его интеллигентная бабуся-мать была сговорчивее и поставила подпись, а он сам, задумчивый, умноглазый, держащий кисти в измазанных голубым и жёлтым руках — нет, только не за коммунистов.

одно радует — в подъездах не холодно. мир этот разобщённый, голосующий за разных кандидатов или не голосующий вообще — ещё отапливается единым энергоснабжением. бегут в дома эти, в миры эти обособленные, за разными дверьми — тепло, вода, газ: чтобы что-то тут выросло, чтобы жило. и растёт. но как мало — одни старички (правда, в школьное время ходили мы, поправочка). а те, кого и не относим к старичкам, поколениями поближе к нам с Сидорчуком — не голосуют в подавляющей массе, в чем вполне искренны, ненавидят профессиональных политиканов или голосуют в лучшем случае эмо-

ционально, говорить об этом не хотят. какие дремучие, случайные, неполитические мотивы ведут их в избирательные участки на «демократические» выборы? и вот они-то и формируют статистику.

квартира была и совсем печальная — сразу за дверьми, где пришлось долго постоять, ждать, пока мокрорукая хозяйка вернётся, пахло мать-сырой землёй, плохо пахло. запертое нечто — так пахнут перележавшие и превратившиеся в кисель луковицы. оказалось, как пояснила спокойным шёпотом из-под увеличивающих глаза очков женщина: «Бабушка наша не проголосует уже, она к Богу отойти готовится».

другая квартира, наоборот, не отпускала — увидев нас, комсомольцев, с радостью приняв из наших рук газету с партийными признаками, полная бодрая седая фронтовичка долго рассказывала, как она, будучи шофёром, исколесила всю войну вдоль и поперёк. коммунистка, восточноликая, по фамилии армянка — прямо второе дыхание дала. интересовалась тем, что мы, нынешние комсомолы, делаем, журила, что не видно нас... её агитировать не пришлось — сама бы сагитировала.

вот так, Эпоха — находим тебя и в этих квартирах... гул Эпохи, отдалённые героические барельефы орденов, за Родину, за Сталина, за оборону Севастополя... «патриоты Подмосковья» — а может, и не такая это бесцельная газета? доживающее свой мощный героический век поколение — кто в раздумьях и пессимизме, кто в бодрости и оптимизме, как фронтовичка — и тебя мы, двадцатилетние комсомолы, вынуждены спрашивать. и видеть население этих домов — в основном без шика, ещё по-советски, скромно живущее, но в глубоких раздумьях, сомнениях, не готовое дружно сказать что-то власти. говорящее и «да» иногда, но чаще «нет», только по-разному и уж точно не ведая замены этому осознанно, неосознанно, полуосознанно, истерично, рассудочно или просто интуитивно отрицаемому. но у всех весомый эксперт — телевизор. а там — то, что нужно власти. там сериалы — пока мы с Сидоровым бороздим зелёные лестничные клетки, бегаем мимо мусоропроводов-стояков...

прошли и заполнили свои листы кропотливо, точно, усидчиво — по всему кварталу, от райкома до вокзала. за что и назначили себе перекус. потом принесли добычу в райком, получили от только что подъехавшего игошинского инкассатора по триста рублей и направились к поездам. тут уж Сидоров и товарищи его областные ни в чём себе не отказали, ожидая долго электрички — за пивом на другую сторону города побежали, а я, боясь новой простуды от прохладного напитка, воздержался, просто булочку ещё одну приобрёл. имея время — поднялся на пешеходный мост и подклеил выданным нам для расклейки плакатов Васильева клеем афишу ГО, которую за день успел почти наполовину оттрепать-оторвать ветер. подклеил надёжно. пусть видят тинэйджеры, агитированные этим будущим обстоятельством декабрьским.

а мы едем назад, только тут ощущая некую промёрзлость ног, подошв на холодном полу электрички, хоть поджимай под себя их по-куриному. а пиво сработало именно так, как я и предполагал, — вся дружина поболтала, посмеялась и

задремала, сложив друг другу головы на плечи, один я гляжу на заснеженные поля и деревни, на подмёрзшие речки с их вмерзшими у берега судами. мимо нами не посещённых (но, может, тут прошлись свои, местные наши единомышленники), бесчисленных домов Подмосковья возвращаемся к Тебе, моя Столица, — согрей.

уже к вечеру дело — прошмыгнувших турникеты, нас Ты забираешь под узел мостов за Савёловским, в тепло метро затягиваешь к многолюдному центру нас, с клеем и свинцом газетной печати на пальцах. Сидоров с одинцовскими к своему вокзалу спешит, а я на Тверскую с отчётом. квартира десять стала уютнее и желаннее в таких-то погодях. отогрелся у компа, у экрана оттаял, чаем из школьного стакана способствовал тоже, ожидая Усманова.

но не столько о Лобне шла речь, хотя и туда, возможно, придётся съездить ещё пару раз — Игошин дал добро на регистрацию новой газеты, еженедельной, а не ежемесячной как «Молодёжная политика». и это дело тоже ляжет на меня — беготня с регистрацией, скоро ляжет, в ближайшие дни, так как Усманов занят выборами и срочным одновременным заработком на двух конкурирующих кандидатах с помощью своего верстальщика из «Совраски», который нам лозунги на тамошнем редакционном принтере распечатывал к Антикапу.

пробежка в сторону Телеграфа по подземному переходу и обратно, по зимнему тротуару Тверской, в середине маршрута отметилась инцидентом. после того, как упилился по некому счёту там, внутри старенького конструктивистского Телеграфа, возвращаясь. и по скользкой лестнице в подземный переход, на выпуклой ступени перед второй половиной проскользнув — скольжу, ногами отчаянно барабаню, лечу, грохочу, взрываю, приземляясь, ногой лоток с шоколадными принадлежностями, которыми торгуют два зяблика-парня. они с ледяным ужасом смотрели на моё приземление, на моё непредсказуемо выстреливающее в разные стороны ногами приближение. сникерсы и марсы вспорхнули точно от взрыва, от теракта. чувство вины перед двумя пареньками, стоящими тут внизу, караулящими покупателей, заставляет кропотливо собирать вместе с грязным снегом растерянный их товар. извиняюсь настойчиво — но они вовсе не обижаются: «Ты уже третий, больше на эту точку не встанем, так и скажем начальству». «Ты бы купил чего-нибудь хоть», — добавляет второй. но то ли еще от смущения или просто спеша уйти с места преступления — не покупаю ничего из того, что смешал со снегом наступающей зимы. хотя, сникерс хотел к чаю и купил на другом конце перехода.

с конкурирующими кандидатами вышел почти анекдот: они в один и тот же день должны были прийти к нам на Тверскую, 4 — Усманов максимально разнес их по времени. о, квартира десять, моё уютное партийное убежище, пространство сталинской элиты — чего ты тут только не видело (а моего визита и эротики с Оксаной в ванной не видело действительно, что жаль, но кто знает, явись тогда командор Игошин, так и не было бы всего партийного проождения у этой истории и меня бы тут не было, в кв. 10). первая из конкурирующих сторон, высокая, привлекательно кобылистая и статная, не первых молодостей женщина пришла рань-

ше и долго расхваливала себя и свою программу, объясняла усмановскому верстальщику Казакову, как нужно её пиарить. под вечер пришёл кубышечный дорого прикинутый мужичок, и, элитно матюгаясь, ругался на красивую немолодую мадам неимоверно — мол, всё это старая партноменклатура предпринимателям мешают во власть двигаться. и всем им — дверь открой, чаю накрой, собой в качестве обслуживающего, собеседующего в ожидании (и не планировавшего перед ними появляться, перестраховавшегося) Усманова, персонала обеспечить.

но и компю моему с красными сайтами да наклейками Антикапа на боку время уделять успеваю, переписке с Алексеем Цветковым-мл. на тему большей вероятности революции в РФ или на Западе (он доказывает последний тезис, упирая на модность Лимонова как западного гостя и т. д.). ухожу поздно, в вечерне непроглядном — через выпуклый, уже скользкий люк по коридорам внутренности этой сталинской линии домов — от гостиницы «Москва» до памятника Юрию Долгорукому.

вслед за маршем, Днем комсомола и 7 ноября настали и семейные даты — двенадцатое, день памяти моего деда, которого я не застал, ушёл он в далёком 1957-м. не просто часть — строитель Советской эпохи, один из организаторов парадов на Красной площади перед Мавзолеем тридцатых, сороковых пятидесятых. его идея — в Лужниках на месте болот и лачуг, где смолили лодки, соорудить спортивный комплекс: гулял там, приглядывал, видел будущее на зыбкой прибрежной равнине изгиба Тебя-реки мой дед Михаил Фёдорович. а вот когда построили всё — уже не увидел, только со слов узнал, встать и увидеть уже не мог. ведь именно на этой руководящей работе и «сгорел» в прямом смысле: пошёл на важное заседание с высокой температурой...

утро этого дня всегда бабушкино — она первой поднимается, всех нас торопит просто своей активной деятельностью, берёт сумку с веником, губкой, тряпками, и все втроём мы едем к Колхозной на «Б» или 10-м, а оттуда в метро на Шаболовскую, на Донское кладбище.

Донское отличается от Ваганьковского и других — здесь нет этих частнособственнических пережитков-заборчиков, здесь все рядом лежат, не отгорожены друг от друга куцыми колючими вкусами своих потомков. а красный маршал Тухачевский вообще в братской могиле, одной из многих табличкой обозначен. и могилы, надгробья, иногда даже с видными внутри урнами — всех времён: начала века, тридцатых... дочь Пушкина тут же. и мы под надзором вычерненной монастырской стены и старых деревьев тут собираемся, обязательно племянники деда, мои дядя там уже, раньше нас, с цветами, бабушка сама сметёт первый снежок, иней с бордюра, протрёт фото на керамическом овале, постоим, помёрзнем, вберём толику этого вечного холода неживых, захороненных тут пеплов (только пеплов) и возвращаемся в свой тёплый домашний мир. до которого ещё надо доехать — трамваем до метро «Ленинский проспект» и быстрыми шагами в сторону вестибюля. такая это приятная по сравнению с оставшимися там навсегда в виде пеплов и имён и в то же время мороз-

ная, мерзлявая повинность — быть живым, быть здесь, идти, вдыхать снежные ветры начала зимы. всегда маленьким замерзал на остановке и только мечтал вернуться домой. иногда разделялись — кто-то ехал быстрее, готовил стол. но чаще приезжали вместе. иногда даже в ванную лезли по очереди греться.

из далёких и невидных в буднях уголков извлекается облагораживающее лица и движения большой семьи столовое серебро, не фамильное, но родное многие годы, сервиз не менее чем на шесть человек, клеёнчатый праздничный запах скатерти, салатов, чеснока, свёклы — всё вместе делает этот день особенным. переделываем и пространство, выдвигаем стол, пока в этой же комнате бабушка отдыхает от поездки и иногда командует. всегда спорим — на сколько удлинить стол, на один или два вставных прямоугольника, она всегда требует максимума. и максимум живёт — скоро к столетию. за столом все — напротив меня в торце дядя Юра, для меня очень, сравнительно с фотографиями деда, похожий на него. дядя Юра и говорит первый всегда, он главный тут в этот день, любимый дедом племянник, хотя и бабушка главнее, но в силу лет... потом, когда прожжём из больших хрустальных рюмок себя после кладбищенского холода водочкой, да на прочищенные рецепторы закусим салатиками — возвращаемся, вспоминаем, говорим.

позже появляется ещё один из дядёв, самый весёлый и всегда радующий непосредственностью Колесан Колесанович. и тут уж дядя Эдик, художник, твердокаменный демократ, вместе с дядей Юрой учат Колесаныча уму-разуму, чтоб не заикался о патриотах и Зюганове, не совал им с красными своими подчёркиваниями газету «Завтра» и не пророчил каждый год конец света. а ведь это он, Колесан Колесаныч, меня наставил на этот путь, если задуматься — он и дядя Лёва, сколько раз приходил и давал читать «Завтра» Сан Саныч, да все девятностые, всё на митинги звал...

как всегда, тут младший, молчу, в этот день не спорю, набираюсь уму и дум. сижу в своём закутке, согретый кристалловской водкой изнутри, и снаружи — видом, говором, эмоциональным жаром родных, спорящих или вспоминающих Лёвшинский, военные времена, эвакуацию, знакомые, в основном весёлые истории. в этот день прошлое возвращается в моих родных сюда, когда деда вспоминаем — весь век советский подтягивается, и кажутся такими короткими и никчёмными последние времена девятностых, миллениума. столько уложилось наших семейных судеб в двадцатый век, столько именно там пережито и зародилось — что нынешнее только как одно из возможных продолжений. но всё же все мы тут вместе — и шутки про продолжение рода не такие уж шутки, дед мечтал о сыновьях, а родились две дочки, ни одного внука он не застал, не успел, так что нужно возмещать, продолжать. и были планы, когда была ты, моя девочка, и дядя Шура уже уверенно нас благословлял, думал, той поездкой, да вот иначе обернулось... сидящий у себя после ухода, после уборки со стола я — вот отчёт не только себе, но и деду: думаю, что у меня комсомольский билет годовалый — дело правильное.

Министерство печати, где надо регистрировать газету, оказалось у Никитских Ворот: по пути к «Резонансу», к Дому радио и особняку Берии. как тут,

увидев попутно сквозь метель новшество-памятник Пушкину и Гончаровой (купол повторяющий возвышающийся позади него купол, под которым они венчались), не вспомнить великолепный ответ нашего городского фольклера на сей аляповатый лужковский новодел: наигрудастейшая девушка времён басового сотрудничества Джека с группой «Безумный Пьеро», как-то раз в совместном прохождении мимо, сообщила шутку коллег из газеты «Известия»: ночью внутри каменной беседки включается разноцветная подсветка, а Пушкин с Гончаровой начинают вращаться как в музыкальной шкатулке поз звуки «Ах, мой милый Августин».

особняк классический, раскрывающий и сегодня исходящими из центральной части флигелями свои объятия давно ушедшим светским раутам. тут Пушкин бывал, доска каменная говорит — двери входные, даже, кажется, протёршиеся до окислившихся трещин в железе, ручки с тех пор не менялись, всё исконное, низенькое, пахнущее амбулаторным клеем, старым камнем и косяковой пылью библиотек. вот слева в камуфляже пожилой охранник — brave защитник лицензирующих свободу слова бюрократов. тут нужно сперва позвонить по телефону, что сразу справа за дверью — под пристальным взглядом охранника. и тётя из неведомого пока кабинета, наконец, просит охранника и говорит ему заветное «пропустите». но до этого нужно посидеть на диване часок, поторопился — никого в том кабинете нет, сдать одежду нужно в гардероб, чем-то напоминающий театральный. и работают же в этом музейном здании люди, гардеробщик — старичок высокомерный. ходят по коридору люди. заходят в старинные двери, перед которыми лежат нестаринные псы-дворняги. такие, возможно, и в пушкинские времена в этих краях бегали, а теперь вроде охранников большого палисадника перед особняком.

в зиме вот мы так и перетекаем из своих помещений в Тебе — из своих стен второй половины двадцатого — сюда, во влажноватую старину, в классицизм пушкинских далей. набегают посетители — все туда же, зарегистрировать свои СМИ, сколько желающих. и все приносят с собой с улицы на мехах и кожах снежок тающий, увлажняющий древние полы.

но вот процессия, не в пример леворадикалу, составленная в основном людьми предпринимательского вида, направилась к кабинету, упорядочилась в очередь. посланник Усманова дождался на глубоком квадратном кресле в холодном древнем коридоре своей минуты и сдал все бумаги. о, календари на стенах бюрократочек, стойко висящие в учреждениях советско-постсоветских аж с восьмидесятых некоторые — вам нужно посвятить отдельный художественный альбом! тут и Тальков засиделся, и Юлиан с Киркоровым красуются, и Hi-Fi у самой молодой регистраторши лет на вид моих, полнУшки очкастой.

Усманов велел через месяц, в январе, когда нас позовут и обрадуют номером регистрационным — купить этим тётушкам шампанского и шоколадных конфет. в следующий визит так и будет: мы с ним долго позаседаем в тех же креслах, потом он пойдёт любезничать с тётушками, а я побегу через изгибающийся, высвечивающий вид двора-улицы в оконном обрамлении девятнадца-

того века, коридор в заветную комнату, где проверяется по компьютеру — забито ли желанное название.

а насчёт названия мы сидели до того в квартире десять, в кабинете Усмано- нова, окна которого выходят на Госдуму и Большой театр, и долго, целый вечер набирали возможные варианты — почему-то я настаивал на «Новом дне», всё ещё поклоняясь ГО. Усманов приберёт название «Независимое обозрение», но тем не менее дружелюбно набирал варианты.

вооружённая большими очками хозяйка компьютера с кондуитом назва- ний газет подтвердила, что «Независимого обозрения» (за исключением «Неза- висимого военного обозрения» при «Независимой газете») ещё нет как отдель- ной газеты нигде, даже в регионах. Усманов торжествовал. и новый двести тысяч второй год мы встречали с грандиозными планами, ещё и подгоняемые Игоши- ным — когда же начнём выпускать газету?

Усманов устраивает кастинг — по Интернету набрал кандидатов, почитал их статьи, просил опять же меня несколько из кандидатов, наиболее настойчи- во звонивших, отшить — и теперь они придут на смотрины сюда, в квартиру де- сять. Интересно, что видела эта квартира кроме нашего штаба-офиса: запах её, особенно на закрытой длинной кухне — таинственный: временнОй, жирнова- тый и пыльный. маленькая комната для прислуги у кухни — идеальная детская. мы планируем в квартире размещение редакции: я забиваю для «Комиссии», ко- торой в газете, будучи главным редактором, некогда станет заниматься Ибраги- му, комнату для прислуги. Усманов в который раз радуется кабинету, что от входной двери слева. да, вид за окном там торжественный — за небольшим ва- лом ветвей и начинающих свой (Твой) кольцевой поворот домов, ярко в зим- нем вечере освещённый красуется венчающий Большой театр герб Советского Союза. снег идёт, а он светится. очень правильное расположение квартиры — здесь точно должны были жить люди либо партийные, либо красноармейские. такой вид воодушевляет, эпохальный вид.

по настоянию Усмано- ва мы с Сидорчуком организуем в кабинете про- странство для встречи с журналистами, для кастинга. педантичный карьерист Усманов, не успевший дома вымыть волосы, чтобы соответствовать новой роли главреда, набирающего команду — решил перед кастингом воспользоваться элитной ванной. и, пока подходили журналисты, Усманов принимал душ. по та- кому случаю он в нашу штаб-квартиру вызвал жену, полную, как говорят, при достоинствах, волоокую прямоволосую евреечку с очень юным голоском. она- то и подавала ему в душ специально захваченное полотенце. вся инсценировка происходила вдали от загнанных нами с Сидорчуком в кабинет журналистов. люди оказались разные: и молодые, и с сединой, и модно-продвинутые, и вида интеллигентно-бомжового.

Сидорчук своей свежей синей рубашкой при костюмных брючатах про- извёл впечатление крутого парня — одна из журналисток, как потом выясни- лось, задумалась: если такая прислуга, то каков же хозяин? хозяин появился, ед- ва высохли волосы — пока сохли, он периодически нас подзывал и спрашивал:

«Ну как они там?», вскоре появился и сам. никакого пафоса встречи не наблюдалось: Усманов, притулившийся на кожаном диване в рядок с журналистами, в основном прятал глазки и словно бы оправдывался, рассказывая о планах, о вариантах с помещением, лучшее, что в этом экспромте смог он изобрести — это товарищеский тон, вроде бы, все это наши друзья-коммунисты. всех взяли. после недолгой беседы и нескольких вопросов журналисты разошлись. но дальнейшее движение глыбы этого проекта только начиналось. и начиналось в нашей уже приподнявшейся квартире десять.

однажды, уже в ноябре, за окнами десятой квартиры началась весна — стал таять снег, капли сыпались, блестели вниз. весёлый день образовался за окном: я глядел вверх дома, словно его жилец — хоть так ощущая его объём, его стенную плоскость с выпуклым изобилием урожаев Эпохи и соседними окнами. эта ненастоящая весна была и в сторону гостиницы «Москва» — с серых её хмурых и гордых стен летели капли, просвеченные солнцем, которое не сильно, но тепло выглянуло из начально-зимних туч над Кремлём. и все дома улицы Горького, все рубежи или, можно и так их назвать, жилые стражи Эпохи, сошедшиеся у автомобильной реки Тверской — как-то ожили и заговорили между собой в этой ноябрьской весне. и глянул величаво герб с дома, за которым по Газетному начинается-закругляется зеркальная стекляшка-Макдоналдс — со своей героической датой «1947», дом, который начали строить ещё до войны, с него, примостивши камеру между каменщиками, снимали начальный эпизод «Подкидыша», мимо него шли в сорок первом на Красную площадь защитники Твои, а закончили строительство этого дома после войны, символично: уже с использованием трофейного немецкого гранита. дом этот выше, крепче и массивнее нашей довоенной линии сталинского ар деко от «Москвы» до памятника Советской Конституции, что был до войны перед Моссоветом, а после там Долгорукого поставили.

проблема организации редакции главная была в том, что из десятой квартиры придется съехать — невозможно такое организовать в жилом доме. уже пригревшийся в сталинском уюте, в центре, примаршрутившийся товарищЧ не хотел перебираться куда-то за реку, на Новокузнецкую... но — в жилом доме, тут, нельзя: толпы ходоков, распространителей газет, взбесят жильцов. значит, наши планы насчёт комнат прислуги и кабинетов — мираж. закупить надо было не только технику для редакции, компьютеров не менее восьми штук, но и компьютерные столы по образу усмановского из «Икеи», в «Икею» и поехали «на Лёне».

кузен Леонидас, ещё не совсем ставший кузеном, своим в доску, тоже часто заходил на Тверскую к нам, рассказывал о прошлых годах оппозиции, об ораторском таланте Шаргунова, который решил в одиночку пробиваться, в мире литературы делать имя и только потом заявлять политические идеи... на этот раз, погрузившись с Сидорчуком и Усмановым, мы поехали в пресловутый гипермаркет «Икея», куда-то по Ленинградке.

организуя редакцию газеты «Независимое обозрение», мы и себя стали чувствовать буржуазнее — Усманов пообещал зарплату не менее десяти тысяч мне, когда звал верного посыльного товарищЧа в журналисты: «Ну и тебя, конечно, приглашаю в газету...». поэтому забитые лакомыми вещичками и их имущими, респектабельными покупателями, ангары «Икеи» не представились нам вражьим логовом — шли и глазели.

открылось некое средоточие вещизма: спокойные выбирающие лица богато прикинутых супругов в гигантском ассортименте павильонов вещей: ковров, столов, игрушек, побрякушек. но сколько пафоса в самой экспозиции, в этих снующих чистеньких халдеях при каждом отделе. тарелочки, коврики, барахлишко, офисные варианты мебелировки, новогодние радости. сколько шарма. Усманов выбрал себе и жене особенные столы, серебристые лампы в стиле европейского представления о конструктивизме. выбрали посуду для редакции — синие и жёлтые кружки с белым нутром, ложки и вилки с ножами китайского производства, с пузырьками в пластмассовых ручках. а потом мы с Сидорчуком снимали с гигантских стеллажей и таскали со складской территории составные части стульев и компьютерных столов — на тележках повезли их к кассам.

рай вещизма закончился за кассами — из-за того, что Усманов прихватил с собой старую икейную сумку, вежливый, но brutальный охранник отвёл нас в сторонку, внимательно изучил чек и не извинившись, отпустил. важно здесь не событие, но стиль поведения — всё в этом торговом вместилище затаило дыхание, чтобы не мешать массовому, текущему через десяток кассовых аппаратов, процессу обмена денег на дешёвые вещи: поэтому и халдеи, и охранники, и кассирши говорят респектабельно тихо, чтобы не выбиться из струи, из процесса, не потерять чтобы хлебное место... так, очень хамски по сути и деликатно по форме обращался с нами охранник.

чтобы окончательно утолить вещный и обычный голод за счёт инвестора — мы съели тут же по хот-догу большому, запив его банками пепси из автомата. привезли мебель на Тверскую, долго поднимали в лифтах — да, всякое начало нового периода у меня связано с этими перетаскиваниями лестничными. что в 1992-м в девяносто первой школе, когда выпускным юнцом начинал работать лаборантом в «Инторе» у Львовского и Медведева, носился по тёмной лестнице с пачками книг (которые сам потом и буду читать в институте) — что теперь, десять лет спустя. всё тот же пацан на побегушках — какой там поэт, с каким там именем?

да, десятая квартира — пришла пора и с тобой прощаться. пока Усманов с Сидорчуком, Владом и Матвеевым резался на компах в групповую стрелялку, товарищЧ в комнате пресс-прислужников Игошина кропотливо свинчивал замысловатые конструкции компьютерных столиков, сперва неправильно, шиворот-навыворот, потом уже как надо. зима совсем сгустила ночи, и из этой полувидимости уже привычной десятой квартиры, она тихо на невидимой центрифуге по часовой стрелке перемещала нас в сторону высоты на Котельнической в неведомое пока новое помещение за Тебя-реку, куда-то к Новокузнецкой.

поехали с Усмановым смотреть выбранное Сидорчуком помещение — уже по январскому морозцу. прошли от круглого вестибюля «Новокузнецкой», где я тебя далёким летом провожал, в сторону Тебя-реки, через мостик малый и свернули направо, пошли вглубь по незнакомой, нехоженной нами с тобой улице, куда только глядели, спускаясь с моста от высотки. а теперь мы вот, три комсомольца во главе с первым секретарем обкома комсомола и будущим главредом газеты, по зимнему вечеру топаем туда, куда наши с тобой взгляды только направлялись. светится как-то по-новогоднему помещение пожарной части, за которое Сидоров, мимо помойки, ведёт нас в неведомый двор. обойдя серокирпичный дом, звоним в подъезд, впущены, спускаемся в подвал — тут и предполагается редакции помещение. когда-то это была вотчина слесарей и сантехников — но в новые времена тут попытались провести евроремонт и даже его не закончили: на полуподвальных окнах повиснут жалюзи в цвет уже поклеенных пластиковых оранжевых, а в маленьких комнатах голубых, обоев. здесь тепло, но душно — Усманов сразу определил помещение для второй редакции, наполеоновские планы Игошина и партии шли далеко и не хотели останавливаться на одной газете. возможно, как сообщил нам секретно и задумчиво Усманов, он будет редактором сразу двух газет.

что ж, на следующий день повезли мебель — долгие проводы нас из десятой квартиры настали. пока всю свинченную и несобранную мебель спускали, пока дежурили конвейером — кто у лифта наверху, кто внизу, кто выносящий — успели так свыкнуться с процессом выезда, что уже чувствовали себя здесьними жильцами. весь приватный, элитный уют помещения и его внутреннего расположения в Тебе теперь удлинился по высоте лестничного пролёта, по которому мы таскали вниз собранные мной столы. удлинился и продувался. всю сталинскую тридцатых годов старину, изящный скос перил, газово-деревянный дух лестничной клетки — всё это предстояло нам покинуть, с необходимыми редкими визитами сюда пока «в Интернетную», возвращающими центральный уют, но уже постоянным местом жительство становилась Новокузнецкая.

запихав в «газель» всё, мы поехали — я в качестве местного, а поэтому направляющего, вместе с Сидоровым в кабине, остальные на метро. на метро доехали быстрее, мы петляли дольше, въехали с набережной Максима Горького, Космодамианской ныне, — только тут увидел я благородную сталинскую машину, вечернюю тень дома, флигельком при котором примостился наш серенький. в снег за домом, где предполагался наш отдельный вход в редакцию, выгрузили свеженькую мебель, ждали, пока откроют нашу дверь. долго вносили мебель, особенно тонко приходилось лавировать с компьютерными столиками. к тому же лестница с услужливо покатыми, с выпяченной губой, ступеньками всё норовила прокатить, и несколько раз журналисты, принявшие активное и обязательное участие в загрузке инвентаря будущей редакции, по ней съезжали, сохраняя при этом мебель в руках сохранной.

сразу поставив в рядок компьютерные столики в самой большой, оранжевой комнате, затащив также в предполагаемую (потому что с раковиной) кухню два на вид туристических белых стола и раскладные стулья — мы ощути-

ли новый дом, точнее, рабочее пространство. компьютеры притащили, ради покупки которых (наиболее дешёвых) нам пришлось в очередной зимней ночи бороздить Савёловский рынок, заодно докупая и мебель (стулья).

всякий раз возвращаясь оттуда, из нового помещения и глядя на новогодне светящуюся пожарную команду — думаю: не сон ли все эти перемещения в Тебе новые, без неё, но повествовательные, открывающие незнакомые места, с обязательством проходить их несколько раз в день? словно поворот земного шара и обретение нового центра притяжения помимо дома — так менее чем за год я переместился с улицы Поворовской в Замоскворечье, под плечо могучего сталинского дома с необычной, витой декоративной подпоркой со стороны нашего бока, серокирпичного дома Газпрома (первый этаж его заняли дочерние Газпрому офисы и офисные белорубашечные упитанные мужланb!).

эту сложную задачу по концентрации материалов, журналистов и своих уже сработавшихся сил — того же Казакова, верстальщика, умыкнутого Усмановым из «Совраски» — мы решили. с первой планёрки, состоявшейся сразу после перевозки и поспешного свинчивания мебели (я занимался стульями, все сиденья с ножками сам и свинтил — чёрные железные ножки к чёрным сиденьям, а серебряные к синим).

и в январь уже выстрелили первым номером. как комплектовали его — не видел никто, как поставили логотип, изобретённый дядей Сидорова Черноглазовым — тоже. хотя я видел логотип в компьютере ещё на Тверской-4: в слове «обозрение» буква «о» — земной шар в обычной сетке параллелей и меридианов, с выделенным контуром на нём СССР. «Независимое» — коричневатокрасным, светло-бордовым скорее, «Обозрение» — чёрным.

ожидание первого номера досталось мне — выпуск его затягивался и Усманов поехал на подмогу Казакову на улицу Правды в «Медиа-прессу», за ним и Сидорчук. я остался за сторожевого, без права отправиться домой, а дело-то к десяти часам. за отсутствием Интернета пока, попытался спать на разложенном на полу диване из «Икеи» — но сквозняки-позёмки подвальные не дали. досидел без сна до двенадцати — а номера всё нет. позвонил домой, объяснил, чтоб не ждать. поставленный и работающий уже видеоглазок на двери упорно не показывал нужных мне перемещений на чёрно-белой картинке. только снег учащал сыпаться да зажигались окна в сталинском статном доме со стороны, откуда жду «газели» с номером и его редактором сотоварищи. долгое одинокое ожидание, тишина подвала... давно не оставался с тиканием времени, в ожидании так надолго. вот куда меня погрузил мой новый путь — в андерграунд, ждать первого выпуска скрыто-красной газеты. ты, моя девочка, даже не представляешь этого: что я тут неподалёку от моста, под которым мы ловили брызги, сижу в подвале один и гляжу реал-тайм синемa на экране, куда транслирует недвижимый радикальный реализм двора дверной видеоглазок.

лёг второй раз на голубой диван икейный, снова не заснул. но тут-то и послышались шаги — наши вошли через центральную дверь, а машина парку-

ется к дворовой. тут механизм мужского коллектива и заработал быстро — весь первый тираж мы грузим в подвал, в первую, оранжевую комнату, где планировалась областная газета. пачка за пачкой, подтаскиваемые шофёром поближе к краю кузова, по скользкой от нанесённого снега лестнице — вниз, вниз с нашими шагами. стараемся не падать. помимо Сидорова помогает Руслан Царёв, показавшийся мне на кастинге чокнутым интеллигентом — за характерный захлёбывающийся смех громкий.

воздвиглись башни пачек первого номера — распространение в этот раз делаем сами. двадцать тысяч экземпляров. и никуда домой никто не едет — уж новые сутки идут, и первый номер обязан утром лечь на думские журнальные столики, так велел хозяин Игошин. чтобы поощрить бдящих и загружавших в подвал первенца «Независимого обозрения», Усманов закупил пива, джин-тоника себе и колбасы с булками — всем этим закусьваем, названия такой трапезе не придумано, которая за полночь. побегавшие с тяжестью пачек с мороза в подвал — весёлые, быстро пьянеющие от желания спать, мы. кто-то вдвоём лёг на икейный диван, я себе организую спальное место из шести стульев в маленькой комнате верстки. через бой сердца и уют убаюкивают пивные пары, но всё слышны голоса решивших не спать Сидорова и Казакова из кухни... едва выключился из тёмного пространства запоздалого инерционного мышления в этом новом подвальном низу — как заходит Усманов и властно за ногу будит: «Дим, просыпайся, пора».

задача — везти с Сидорчуком пачки газет в Думу, шесть экземпляров. деньги на тачку Усманов выдал Сидорову, тащим груз к центральной двери, вахтующий охранник открывает нам ночной засов — а тут уже светает давно...

привет, высотка по ту сторону Тебя-реки, на Котельнической — какая ты утром ярко освещённая, преисполненная рождающихся только со светом таинств гордости Эпохи, её невидных отсюда вылепленных высоко и низко символических и барельефных подробностей! а машин-то немного, со стороны Таганского моста едет белая загрязнившаяся снизу «шестёрка». Сидоров вальяжно её тормозит, не переставая курить, торгуется, грузим пачки в багажник и едем — пропуски уже заказаны.

в первый раз увидел, Столица, как это именно «утро красит нежным светом» — но не стены Кремля, а их продолжение в советской Эпохе, высотку Котельнической. и морозный снежок на ней, и розовеющие сказочно, словно звеня сиянием Эпохи, стены этой выросшей в исполина новых масштабов башни Кремля, ставшей плечистой, нецелившейся пятиконечным символом Эпохи в космос за белым утренним морозным небом, ослепительно возвышающейся на той стороне набережной — всё это неимоверно величественно, гордо и прекрасно, несмотря на нашу сонность и вымотанность, провожает нас с нашей миссией в Госдуму, бывший Совнарком и Госплан.

мы настолько с Сидоровым сонные, ещё пышащие бродящим в нас пивом, что машина почти убаюкала, пока ехали по Раушской и Софийской набережным к мосту у серого дома советского правительства. ярко высвеченные бе-

лым морозным утром, словно отсчёт побед Эпохи, глядят на нас с моста загнутые снопы колосьев в чёрной решётке. взмываем поворотом направо на мост и летим мимо близких и почти в рост доступных кремлёвских башен к Дому Пашкова, к метро «Боровицкой», а оттуда по Моховой к гостинице «Москва», щироко и гостеприимно раскинувшей назад свои рукава, и, наконец, повернув перед входом в метро «Охотный Ряд» — к Госдуме со двора, в Георгиевский переулок.

плохо умеющие объясняться в таком невыспатом состоянии с охранниками Госдумы, мы всё же протаскиваем через рентгеновские конвейеры не разрешённую пока к распространению газету внутрь. как «Независимое военное обозрение» — хитрость подсказал лукавый бай из Баку, наш надежда Усманов. очутившись у лифтов без других желающих на них ехать вверх — решаем с Сидорчуком, как поделим сферы разброса газет. я беру себе новый корпус, то есть этот, у лифтов которого стоим, хотя с удовольствием легли бы тут, в тепле поспать где-нибудь в думском уголке, пока народ не расходился.

с пятнадцатого этажа — вниз. спускаясь по внутренней лестнице, которая пахнет семидесятыми, почему-то курортами, югами. возможно, так пахло в детстве в какой-нибудь тогда же из таких же панелей строившейся гостинице.

сонность разгоняется только быстрым и сознательным перемещением от журнальных столиков. и скоро мы с Сидоровым встречаемся у гардероба. он гордо сообщает, что положил толстую кипу у фракции Единства, назло врагу. законспирировано: газета ведь без явных признаков левизны даже в материалах. Усманов её в будущей рекламе назовёт «высшей лигой российской прессы».

но мы забегаем вперёд. да, забегаем. о, эта власть мемуаринья! этот произвол перепрыгивать дни и недели, путаться, забывать, забывать, отставать, чтобы запоздало вспомнить кусочки... попробовал бы ты, Дорогой Читатель (ДЧ), прожить все эти начальные, самые тугие для газеты обороты-недели подневно со мной. как они трудны и красивы.

наступила зима, и новый утренний вид каждый день из ещё мрачного уличного просвета: высотка от Новокузнецкой, там, куда иду. испытать сначала энтузиазм — прибегать утром в новое помещение, писать материалы, которые в основном не ставят, дежурить внизу вместе с кузеном Леонидасом, который стал охранником при мониторе с дверного глазка, сидящим и нажимающим царственно на кнопку и со мной на темы революции общающимся.

в первом номере не было ничего моего из материалов, зато во втором на полосе «Культура» — интервью с Манукяном, джазовым коллегой двоюродного брата. я мечтал о роли ведущего полосы «Культура», но Усманов не торопился с таким решением. начальницей отдела была недолго некрасивая, какая-то выжата, продвинутая особа Ольга Кузнецова — страстная поклонница Сорокина, интервью с которым «Автор для эстетов» (в чёрное милитари нарядившись и подмалевавшись перед походом к кумиру) в первый номер и забабахала, чем вызвала недоумение партийных старшин, просочившееся к Игошину и ниже к нам, к Усманову.

в третий номер на полосу «Культуры» встало моё интервью с Марленом Хуциевым — только для этого стоило создать газету. оно же потом стало пропуском моим к исполнительнице-героине азбучного для товарищЧа фильма «Застава Ильича», прекрасной Марианне. целую неделю, день за днём я ездил во ВГИК и отсиживал предсессионные занятия Марлена Мартыновича со своим курсом — в надежде, что мастер найдёт полчаса для интервью. случилось так, что, отправляясь в первый раз во ВГИК из редакции, я с голодухи на пустой редакционной кухне съел оставленный кем-то нетронутым «Доширак». не догадался, балда, что в лапшу был высыпан целиком пакет острой приправы — Сидоров с Усмановым именно так любили. неделя поездок к Хуциеву прошла под знаком пылающего живота, это ощущение странно сочеталось с нетерпением по поводу взятия, наконец, интервью у кумира. всякий раз, выходя ни с чем из ВГИКа, я шёл успокоить себя напротив, за забор — разглядыванием одной из последних построек Ильи Голосова, мастера неоклассицизма, ар декО и конструктивизма, военного какого-то общежития.

но Марлен Мартынович словно специально выдерживал товарищЧа, проверял его настойчивость и желание действительно получить интервью. уже и студенты Хуциева привыкли ко мне, раз за разом сидящему на занятиях. Хуциев, демонстрируя немеркнущую какую-то молодость, развлекался на обучении своих сонных студентов так, например: репетировалась мезансцена с двумя спящими, храпящими в постели. но сигнал к тому, чтобы они проснулись, ещё не был условлен. Хуциев попросил актёров заткнуть уши, а сам быстро подговорил всю аудиторию по его команде дружно разок всхрапнуть. в следующем прогоне сигнал сработал — смешно испуганно проснулись студенты от коллективного «гхррр!». наконец, в очередном перерыве я улучил желанные полчаса и обстрелял Хуциева вопросами. в этом зимнем полудрёмном состоянии Марлен Мартынович не ожидал такой страстной, подробной по всем эпизодам его фильмов осведомлённости от журналиста, равно как и его ассистентки, не отрывавшие от меня воодушевляющихся взоров, принимавшие с ним до этого и далее предварительные просмотры. ровно полчаса длилось счастье общения с учителем, учителем закадровым, застраничным — думаю, они были приятны и ему, осталась аудиоверсия интервью. счастливый, словно после исполнения заветной песни, после концерта, я убежал со всё слабее пылающим желудком из ВГИКа в редакцию — превращать диктофонную запись в текст.

вопрос с распространением газет, теперь содержащих и мой контент, решался тяжело — пришлось Усманову включить все ресурсы, с областью решили быстрее: там распространением прессы на почтовых пунктах ведаёт кандидат Глазков, которого поддерживала КПРФ на выборах в Люберцах, и при нем помощниками двое статных областных эскамовцев — один родом из РНЕ, Николаев, тот самый, который со скандалом по нац-признаку якобы выгнал Рудыка из областного СКМ. на переговоры с Глазковым меня Усманов и отрядил. в Люберцы. где полгода назад Антикап гремел наш.

прямо напротив через дорогу от Дома культуры при стадионе и располагалась вотчина Глазкова — местный почтамт. чтобы пообщаться с Глазковым, здешним князьком, пришлось пройти белёсо отделанные пластиковыми досками коридоры и подождать перед его кабинетом. новизна мебели и благолепие янтарных картин с хрестоматийными, сильно хватающими за русскую душу осенними берёзами говорили о финансовой стабильности местечка, заработанного Глазковым на местных выборах с помощью КИРФ. вскоре в сопровождении пузатой чиновной свиты в серых пиджаках появился и сам кормилец заведения, о чем возвестила насторожившаяся толстуха-секретарша.

бывший эрэнешник, а ныне обеспеченный семьянин Николаев, возникший как раз в нужный момент, представил меня Глазкову. тот, деликатно сдерживая послеобеденную отрыжку, благочинно принял меня в креслах у журнального столика в своём кабинете. довольно строен для чиновника, Глазков был хитроглаз и лукав, но с искоркой заботы при этом, заботы отеческой, чем-то царской. за столом Глазкова на стене красовалась карта Московской области в серьёзной из дорогого дерева раме, как в штабе каком-нибудь. Николаев долго обрисовывал суть дела, описывал патристичность нашего «Независимого обозрения» и возможности наши в плане пиара Глазкова там. Глазков скромно ответил, что пиар ему уже не нужен: «Всё, что можно, уже вылизали до блеска».

видимо, моя не вполне славянская внешность всё не давала почувствовать Глазкову себя уютно в своём кабинете. наконец, он начал мало относящийся к делу монолог и сказал заветное для себя словосочетание «по всей Руси великой», имея в виду возможности почты. при произнесении заклинания, Глазков встретился с голубыми глазами румянощёкого брюнета Николаева и удостоверился, что находится в родном и уютном круту. контакт никак не налаживался. голодный товарищ сытого Глазкова не разумеет. Глазков, видимо, решил меня чему-то научить и стал рассказывать: что они на почте Московской области знают, на чем заработать, не на нашей же газете, и как надо рекламировать и распространять газету, что он лично любит баню и поэтому читает глянцевого журнал «Баня», который, зелёный, действительно лежал между нами на стеклянном столике. видимо отогревшийся с мороза, с дневной голодухи очарованный кабинетным русским национализмом, картой и мерно подавляемой чинной отрыжкой сытого Глазкова, я не улавливал нужного темпа и тональности разговора, всё что-то воодушевлённо погонял с комсомольским задором. в результате Глазков стал злиться, интересуясь моими полномочиями и предлагаемыми ему, Глазкову, ответными гешефтами за бесплатное распространение газеты, и вышло, что я ушёл ни с чем, просто не желая дальше барахтаться в этом масляном кабинете.

Усманов возлютовал, когда я вернулся ни с чем, и на следующий день послал славяноликого Сидорова, который запросто обо всём договорился с Глазковым: газета по области стала распространяться идеально, чего пока в Москве не наладилось. да: вернёмся чуть назад — для злобы моего начальника уже был повод, ведь я не сразу, высадившись из идущей от Выхино маршрутки в Любер-

цах, нашёл почту, на которой была не сообщённая мне подсказка: мозаика с Ильичём и молодыми строителями социализма годов шестидесятых, романтических. не имеющий сотового, я умудрился зайти в местное прокурорное и полупустое фотоателье в обеденный перерыв и оттуда, дружески примостившись в маленькой комнатке между отдыхающими (в неожиданно восмидесятическом духе этакой подсобки из «Меня зовут Арлекино») с деваками фотографами, позвонить по старинному чёрному телефону Усманову в редакцию, отчего он уже разозлился и послал на поиски меня местного Николаева.

ощущение растягивающегося времени обеденного перерыва в чужих местах, режима местного, размеренности, видимость прохожих из подъездов, с детьми. вынужденная промёрзлость, стремление в любые открытые помещения магазинные. пара глазированных сырков, съеденных на улице...

пока я блуждал именно в том квартале, который мы очертили Антикапом, маршем, описав математический знак отрицания от станции к стадиону — обнаружил книжный магазин и купил там две книги одной серии: «неизвестного» Кирова и Троцкого. вот они, пятиэтажки постсталинские, но ещё не хрущобы, — думал-видел, ходя в незнакомых одинаковых двориках. на обратном пути увидел стенной на бетонном заборе лозунг местной НБП чёрной краской: «Убей чурку» и «Путин — путана НАТО».

...время. временем исчерпывается моя жизнь, заранее исчерпывается? и это может привести в ступор, равный крошечному ужасу и отчаянию, будто за мной, ребёнком, пришёл в класс (а я — первоклассник) врач забирать на неминуемую процедуру, и некуда скрыться. все глядят на меня и говорят: да, пора, возраст, а как же...

время — это и прожитое. это время, воплотившееся, вступавшее, вжившееся мною: ощущениями, взглядами в пространство, в места.

приближение весны, поворот солнца к нагреву наблюдаю из разных окон. с девяносто четвёртого по девяносто шестой — плюс из институтского окна на улице Герцена. окна бывших мебелишек, затем следственных комнат ГПУ, затем института психологии кабинетов. окно, высматривающее тяжбу улицы Герцена к Манежной площади, вдоль высматривающее. справа консерватория, берёзы за мухинским Чайковским.

о, зимние утренние ночи, выводящие на маяк Котельнической высотки к набережной, в обратном направлении тому, которым мы шли с тобой по зною!.. я так далеко ушёл от тех путей с тобой во времени (всё ещё видясь с тобой, когда ты забегаешь в гости или к Новому году), но шагаю по ним же, здесь же. в зиме. продолжение нашей поэмы — где я вижу всё снова в одиночку. где нужно после первого короткого моста через обводной канал спуститься по заснеженному и иногда скользкому асфальту к подножию старинного жилого дома и идти мимо за ним другого тоже старо пахнущего здания с бывшим магазином и его задворками, подняться по лестнице и свернуть направо. здание

семьдесят пятого года постройки, мой ровесник, продолжающий кирпично конструктивизм тридцатого года постройки, институтское здание, табличку которого мы с тобой, выбежав из-под моста, читали: «СООРУЖЕНО... архитектор Липшиц...». спасибо, Столица, что после бури и перемен, меня сюда вынесло ежедневно читать этот участок: как из-за старых домов девятнадцатого выглядывает оптимистический, длиннющий конструктивизм, над которым из-за реки возвышается шпиль и звезда высотки, словно благословляя каждый рабочий день мой подле другого сталинского дома.

поняв, какие сложности связаны с проникновением нас с Сидоровым в Думу, для более успешного распространения там газеты, упитанноликий Кирилл, протеже своего партийного папаша в газете, просто блатной мальчик, ничего особенно не делающий, только по понедельникам обновляющий сайт — вызвал некоего Илью, который носит «Дуэль» в Думу. удивительна стойкость бывшего здания Госстроя к оппозиционной прессе: казалось бы, в государственном учреждении антигосударственные газеты продаются... ан толстых думаков и это не проймёт — читают-то их помощнички, в основном интеллектуалы из них которые. Илья оказался очкастым еврейским престарелым юношей — специалистом по национал-социализму и коричневым (которого мы с Лёшей Кожевниковым из СКМ видели с вязанкой газет на телеге на пороге «Дуэли» на Таганке): с характерным национальным прононсом в выдающийся нос. Илья прибывал на Тверскую, где мы теперь с утра по понедельникам складировали шесть пачек газет, должных быть раскиданными не только по журнальным столикам, но и по именным ящикам депутатов. Илья запаздывал, приветствовал нас то с Сидоровым, то с кузеном Леонидасом, рассаживался в кожаных креслах, распахивал свою сумку, вмещающую ровно две пачки газет. из сумки тотчас распространялся сырненький бомжовый запах. смакуя ситуацию, разглядывая отделку потолка, розочки вокруг люстрового крюка (надо заметить, отделку весьма обильную и легко квалифицируемую как мещанскую, коли бы это не было партжилище в стиле ар декО, где такое можно), Илья любил добавить: «А ведь, наверное, из таких квартир в тридцать седьмом и забирали»...

иногда телефонировал в пустоватую теперь десятую квартиру (поменялся центр притяжения, она перестала быть домашней штаб-квартирой) Усманов и интересовался, много ли разнесли: заработавшая машина газеты должна была его, Усманова, возвышать в глазах шефа: шутка ли, ему доверили ведение бюджета газеты. тут-то и разгулялся бакинский товарищ: все приглашенные в качестве журналистов товарищи стали подручными и постоянно куда-то посылаемыми, как бы склеивающими, проваривающими ещё не укрепившиеся швы механизма газеты. то Сидоров едет к Глазкову в Люберцы, то я несусь в Думу, то Лёня на своей машине куда-то далеко отправляется.

здесь же, в зиме, в ледяном утре я получаю свой долго апгрейдованный комп: из первого пентиума он стал первым с двухтысячным офисом и нормальным кулером. собрал бывший школьный комп кадр из Военной академии на Маяковке — с ним свёл Давыдов, мой крёстный в СКМ: когда я вытащил комп из

проходной, дозвонился по старому чёрному аппарату с необыкновенно лёгким тряпичным проводом до Давыдова, он вышел и давал мне напутствие у перехода, пока мы не окоченели там. Давыдов поделился мечтой о том, что вдруг победит Зюганов, нужна команда специалистов, специалистам нужны компьютеры... в эту же Военную академию Давыдов ранее пытался меня из школы переустроить на работу, но оклад нашей нищенствовавшей тогда особенно армии отпугнул бы и пенсионера. за сборку своего я заплатил тридцать долларов. от четырёх тысяч рублей они отрезались уже нормально: едва обрётённый комп я притащил уже в редакцию и подключил к монитору, лишь немногие из которых обрели компьютерную пару ещё, редакция только оснащалась. «Червячки» смотрелись просто фантастически. и только тут, на дне этого нового для себя Замоскворецкого района, в подвале перед экраном компа, я ощутил странное поскрипывание в левой ноге — мокрый гриндер подвёл в зимней слякоти, местная простуда случилась, возможно, от подвальных сквозняков и непривычных нагрузок на ноги: пачки, пачки газет, в которых иногда и мои слова тиражированы, заметки. это начинался ревматизм мышечный, хромать пришлось пару недель — все так же разнося газеты по Думе, бегая по заданиям.

одно из них было приятным и ностальгическим: совершить рейд вместе с Ириной Плиевой, очаровательной осетинкой из корректуры, в «Олимпийский» — закупить там словарей для корректуры и прочего книжного необходимого материала. а то шкафы из «Икеи» привезли, но ставить в них в маленькой комнатке корректуры пока нечего. в «Олимпийском» ничего не изменилось с начала девяностых — то же рыночное, круглое, напоминающее Колизей клокоталово — только появились стационарные ларьки с едой да убирали оборточный мусор быстрее. но все те же развалы астрологии, магии, журналов. когда-то, в девяносто втором я выискивал тут с мамой Кортасара, все три тома выловил постепенно. в дне нехолодном мы купили с Ириной входные билеты, купили всё нужное по списку, а также я успел прикупить на сдачу «Книгу мёртвых» Лимонова в мягкой обложке — чтобы читать ее в свободное от поручений время за пустым компьютерным столиком, над которым не для кого сияла круглая, как бы офисная лампочка.

редакция в персонах тяготела к кухне. то зайдут девушки-корректорши, то «культуристка» Ольга Кузнецова в модном прикиде и с кирзоватым лицом заглянет, то Сидоров пьёт свой неперменный кофий. тут и мы с кузеном Леонидасом точили лясы — но едва разговорчик наш за незамысловатой трапезой слышал Миша Тульский, то тут же сразу присоединялся, страстно жаждущий вбирания и распространения сплетен. разговор трёх голосов становился громче, напористей, коротышка Тульский розовел, глупо и заразительно хохотал, при этом не забывая выпросить у нас с Леонидасом булку или что было другое. Усманов, слыша из комнатки верстальщиков наши политические разговоры, тотчас прибегал и гневно выговаривал — нас с Леонидасом на новые поручения отсылая, а Тульского торопил сдавать материалы. Усманов боялся левых разговоров за советскую власть в редакции — добрая половина журналистов была либерального

происхождения. например, Тимур Тепленин — типичный «последний герой» перестроечной поры, седой как Кинчев волк Акелло, с сережкой в ухе, неявно православный антисоветчик, прикинутый современно бомжеватого. стиль письма Тепленина, однако, нравился Усманову, и он стал первым передовиком — писал передовицы раз за разом, Усманов над ним властно нависал в момент работы за клавиатурой, подсказывал, с каких сайтов что слямзить, куда вставить в текст. парадокс первых недель работы газеты заключался в том, что многообещающего журналиста Тульского ещё ни разу не напечатали, но едва минул месяц, он получил свой толстый оклад — причём Усманов его вызвал первым, при этом хитро и осудительно глядя на невыполнившего норму. Тульский пошелестел бумажками, пересчитал что-то в районе десяти или восьми штук, вернувшись к нам в кухню: румянец усилился. мне же с Сидоровым и Леонидасом Усманов под конец раздачи денег из доверенной ему бухгалтерии редакции отслюнил всего по пять тысяч вместо обещанных десяти.

между тем именно работа нас троих, «силовиков», таскающих газеты в Думу и прочие места, двигала газету вперёд, к читателю, в пункты распространения. ещё не научившись нормально и вовремя получать тираж в «Медиа-прессе», Усманов нас как-то сорвал на улице Правды уже под вечер: задача заключалась всё в том же перетаскивании пачек, когда получим. ожидание затягивалось. дородный и старый хозяин «Медиа-прессы» с забытой еврейской фамилией требовал каких-то бумаг или денег. в здании постройки конструктивиста Голосова, родном Усманову, где живет «Совраска», но ниже этажами шла беготня по кабинетам. все это для того, чтобы макет газеты переместился дальше в цеха и превратился в тираж в пространстве издательского комплекса, выпускающего добрую половину московских газет — цветных и прочих. мы ждали на улице, подмерзая рядом с «газелью», пожирая купленные в ларьке на перекрестке нами на усмановскую субсидию маленькие горячие кругляши пиццы, запивая их минералкой и пепси.

наконец, «газель» поехала с нами в кузове (мы ведь без пропусков) внутрь комплекса. подрулив к одному из окон выдачи с чуть просунутым из него конвейером, мы вылезли под стены из рифлёного железа, долго ругались с диспетчерской, и тут теряя полчаса уже. за это время я успел маркером разрисовать пролетарскую территорию — комнатёнку, куда заходят все шоферы и экспедиторы, получающие газеты. ощущение завода, штампующего множество газет, воодушевило в этом холоде. кафельный подъезд и дверь, куда несколько раз забегал погреться, уже были разрисованы шофернёй: матом, похабщиной. я нарисовал огромный серп с молотом и подписал: «Встань с колен, советский народ: революция грядёт!».

грядущий же тираж из громадины «Медиа-прессы» всё никак не могли направить по нужному руслу, на наш конвейер. я даже привык к созерцанию во дворе бочек из-под газетной краски, вероятно. жёлтых, зелёных, с иностранными лейблами и буквами, под серыми стенами сталинского ещё цеха, который выглядит старше, чем основной угловой комплекс Голосова — скромный и классичен,

светит окнами, гудит. вот, если подумать, была тут работа весь советский век, всю Эпоху — газеты с коммунистической политической оценкой достижений и промахов каждого дня шли, вертелись бесконечной полосой, зима такая же принимала в кузова пачки «Правды» и других её подруг... холодные зимы советского века, радостный хруст снежка, правильный хруст снежка под поступью социалистического строительства, что с оттепелями пошло на спад и предано самими же, наконец, из этого комплекса персонами вроде Селезнёва, перебежчика...

наконец, прибежал Усманов, и процесс пошёл. «газель» развернулась кузовом к конвейеру, приблизилась, конвейер высунул свой язык и начал выплёвывать нам в руки пачку за пачкой, едва успевали укладывать правильно. хитрая система передвижных трубопроводов позволяла сбрасывать на нужный конвейер пачки прямо от станка, откуда-то сверху. мы же видели внутри, за дверьми конвейера только пасть трубы, из которой падали пачки. работа ритмичная, жаркая — вот они, плоды усилий прежних месяцев, загружай их в машину чернорабочий товарищ! заполнили полсалона, из пачек же сделали себе сиденья и, оставаясь внутри, часто дыша после такого спринта, выехали в «газели» обратно к улице Правды, уже в ночь.

дорога вне видимости, в тёмном закрытом снаружи кузове — дело странное, покачивание машины кажется немотивированным, и даже в определённый момент подступала тошнота, но путь вышел недалёким: как-то хитро развернувшись на Масловке, шофёр погнал к Савёловскому и там, за узлом мостов у крайнего привокзального подземного перехода, остановился. нам с верстальщиком Казаковым предстояло оттащить две партии пачек в «Желдорпрессу». чертёж пути к месту назначения Усманов дал и укатил с Сидоровым в «газели» дальше.

могучий приземистый Казаков потащил пачек больше, чем я, явно уже выдохшийся, едва за ним поспевающий. волшебным образом мы вышли из перехода не к Савёловскому рынку бытовой техники, не в коридорчики ларьков, а на пустую железнодорожную платформу. с неё спустились и пошли в сторону железнодорожных ангаров. свернули направо и ошиблись, хотя даже спросили у неожиданного тут прохожего, который ничего не смог сказать. вернулись назад, сбросили пачки, всегда улыбающийся хитрой татарской улыбкой Казаков решил перекурить. стоя тут, под уже весенне капающим с крыши очередной железнодорожной подсобки снегом, мы говорили (точнее, я слушал) о том, как небогато жил Казаков в «Совраске», что Чикин сам на «мерседесе», дома стены китайским шелком обиты, а журналиста нового взял всего на семь тысяч (Усманов Казакову положил сразу пятнадцать, для верстальщика нижняя норма). но надо было тащить нашу газету дальше: пошли с левой стороны ангара-амбара, там, где площадка выгрузки и рельсы внизу. освещённые мощным прожектором, мы с Казаковым решили таскать пачки перебежками, чтобы не надрываться. от начала амбара тащили к концу — там я их положил не совсем удачно, прямо под веснеющие сквозь зимнюю ночь в свете прожектора капли, за что был осуждён заботливым о детище своей вёрстки Казаковым.

облаянные местной стаей собак, прошедшие в глубоком снегу по другую сторону железнодорожных путей уже не один ангар, мы с Казаковым внезапно обнаружили «Желдор-пресс» за очередной широченной дверью складской. тут в неярком электрическом свете кипела жизнь. пока я перетаскивал мелкими перебежками пачки сюда, Казаков улаживал с документацией. сумрачный, зеленоватый парнишка кивнул мне на угол, куда я мог сложить пачки. парень занимался разбрасыванием газет и журналов по картонным ящикам — видимо, для распространителей набирал комплекты. мелькали цветные бумажные и журнальные глянцевики страницы, с криминалом, астралом, гадалками, кроссвордами, некоторые с голытьбой и гламуром, со счастливым буржуазным бытом избранных для продуктивной приспособленческой зависти черни. то, что хавают пипл, в массе пролетарий, едущий из Подмоскovie к нам на работу. к этому вареву мы хотим примешать своё издание, вернуть свой логотип в объектив пассажира.

ночная невидимая обывателю жизнь начинающегося следующего дня, в котором мы хотим, чтобы наше «Независимое обозрение» несли по утренним вагонам, повторяя вслух, рекламируя заголовки наших (пока не моих) статей, передовиц: «Чиновников проверяют на лживость. За доступ к гостайне придется „отдаться“ полиграфу» (№ 1), «Москва правит Конституцию» (№ 2), «Если хочешь быть в Кремле — закаляйся! Министров и депутатов просят отжаться» (№ 3), «Мэрский наезд — 2. Лужков снова взялся за старое» (№ 5)...

парнишка, снующий между ящиков, — явно наркоман, рука с засученным рукавом зелена, с варикозными шарами и с кровоподтёками на внутренней стороне. но вот и для него нашлась работа. кидают колотые зеленоватые руки читиво следующего дня, за эти движения он получит денежные знаки и уколется снова. или исправится, остепенится, осемьянится. часть комфорта пути в информационном фоне, дозу буржуазного соблазна, конфетку сладкой картинке в теплом полном вагоне — разбрасывает как пасьянс, раздаёт каждому потенциальному не критичному потребителю изгой этого общества, а может, его необходимая частичка вне себя. вне красот этих журналов, квартир в новом элитном жильё (вроде Юлии Меншиковой паркетно-плюшевого пентхауса), что там сияют на страницах. по холодному складскому ночному помещению двигается одетый в тёплый турецкий свитер (мой серый, в котором ты меня делала мужчиной, тоже турецкий) паренёк с синяками под глазами: весело, отчуждённо, умело расшвыривая газеты и журналы, согреваясь своей работой — пока, снова замерзая, я, с более верхней, но не такой уж далёкой ступеньки общества, жду Казакова.

обратный путь проделываем весело, словно на крыльях, после тяжести нашей газеты, донесённой таки до конторы распространителя по вагонам. ощути-мое запахи таянья плюс закуренная на ходу Казаковым сигарета. свежее тут воз-дух, что ли, на железнодорожной пустоте? с забытой станции втекаем в переход и метро. от «Савёловской» до «Чеховской», в свой домашний уют путь кажется те-перь после «Медиа-прессы» и завокзальностей невероятной сказкой — после прикосновения в качестве грузчика, пролетарского участника к железнодорож-ным задворкам следующего будня. среди сияющих ещё уютом восьмидесятых в

завершающейся зиме окон за Савёловским вокзалом, под наблюдением остающегося еще на своем месте огромного логотипа другого издательского комплекса «Молодой гвардии» стоят эти склады и ангары у рельс, в них светится рабочая изнанка, обеспечение жизни, которая кажется нам привычной и незамысловатой — неумолчной песней вагонных распространителей. и сколько таких слуг, таких невольных колёсиков состава реставрирующегося капитализма стучат по рельсам, на которые с социалистических перепрыгнул наш паровоз!..

когда в Тебе становится совершенно тихо. как сейчас, первый час 29 января 2002 года. скользкие пути по тротуарам от Козицкого переулка через улицу Чехова в Успенский. здесь водятся мои сны. в такой же безлюдности и свободе. звуки только моих быстрых навывших шарканий по льду, мелкие шаги, почти без отрыва от скользи.

идти там же, где мои дореволюционные предки тоже спешили, оставляя свои взгляды на этих стенах, на круге в стекле над дверью посреди одноэтажного, под которым я проскальзываю сейчас, дома с пышной мордотой лепниной вверх. (Булановы-Успенские. священник прапрадед.) мне подхватывать их взгляды, нести дальше к «Эрмитажу», по тем же стенам. мой взгляд. в электрических потьмах, на шаге.

фотография семьдесят девятого, «Круговая панорама» Тебя из Кремля показывает: лето и мой дом, по времени уже со мной в квартире восьмого этажа, как раз открытой окнами сюда, на Кремль. пространство «Эрмитажа»: иди, советский гражданин из Успенского переулка, проходи через парк асфальтированными дорожками. ветер той Тебя — сюда, к «Эрмитажу».

прохожу по тёмному с белёсым пушком льду и вижу те свои окна. пространство верно. время продвинулось. переключки пространств через время. напоминания расположенностей. клуб «Парижская жизнь». бывший разветвлённый, таинственный и никогда не изведанный за кустами парк стянут, централизован к театру, ко двору за театром и сценический проём в несуществующий зал. тут новорусское кино снимало унылый антураж автовзрывов с Пороховщиковым.

следите ли, предки, за мной? ваши пути рассматриваю, почти без изменений. тайники времени.

и снова из ещё тёмного зимнего утра, в котором будильником служат даже не символические, а вполне адекватные световому времени сутки Night songs Cinderelly — в редакцию, на Новокузнецкую. на этот раз мы втроём с кузеном Леонидасом и Ильёй поедим с «газелью» в Люберцы, к Глазкову отвезём партию газет.

пусть невыспавшиеся глаза немного слезятся в эту ночь-утро, пусть тепло под одеждой смаривает в сон — но, поздоровавшись взглядом со светловолосой спорткрасавицей тридцатых годов, которую на мозаике (что встречает эскалаторный подъём под потолком «Новокузнецкой») держат советские силачи

под военно-морскими и алыми знамёнами, завернув влево из вестибюля, встречая уже организующуюся у метро торговую жизнь, людей на остановке трамвайной, я участвую в рождении рабочего дня. трамваи елозят по рельсам, развейная снежок, продавщица у лотка уже тренирует голос среди немногих прохожих от «Новокузнецкой»: «Бублики, бублики, заводские бублики, бублики четыре рубля». путь вдоль трамвайных рельс к мостам — уже родной. и за белёющими липким снегом ветвями, свисающими к трамвайным проводам, светишь ты мне своим торжественным силуэтом со взнесённой к небу пятиконечной звездой, сталинская высотка на Котельнической.

есть раздражение в этом раннем поручении: ну что это такое, Усманов звал на бОльшую ставку и журналистом, не на такую же суетную, силовую работу? однако дома, ещё не вполне привычные, изученные, успокаивают своим присутствием: иди, иди, товарищЧ — как бы ты увидел нас в такое время, не получив необычного задания сегодня? дом века позапрошлого на набережной обводного канала светит несколькими окнами — то ли рано кто-то в этом влажном холодном утре вынужден, как я, просыпаться, то ли ещё не ложился, или дети требуют ухода немедленного, плачут... действительно, в этом доме, только в другом окне стоял как-то утром карапуз у окна, самостоятельно глядел в окно на меня, бездетного бегуна, левака, лишившегося своей спутницы...

сквозь зимнюю рощицу чёрных низких деревьев иду наискось, мимо старинного двухэтажного особняка века аж восемнадцатого, укрывшегося за объятиями плечистого сталинского дома от его современницы-высотки, смотрящей сюда из-за реки. знакомые узорные опоры боковины дома встречают, красиво, славянски зазеленелые. «газель» ещё не приехала, а Илья и Леонидас уже ждут. светать начинает только сейчас, у реки, где больше неба над Тобой видно. говорю товарищам, чтобы разогнать сон:

Так, не будем терять времени, маленькая экскурсия, посмотрите на это здание — типичный образец сталинской архитектуры, набережная эта называлась раньше именем Максима Горького, обратите внимание на барельефы, в них использованы серпы и молоты, а также растительное изобилие, символизирующее успехи в сельском хозяйстве...

сквозь ветви бордовый снизу сталинский дом виден сказочно, растворяется в утреннем сумраке без светящихся окон. из-за этих же ветвей, только с другой стороны, от лицевого подъезда нашего «флигеля» подкатывает «газель»: она уже ждала тут давно, оказывается, и Илья прояснил ситуацию. заходим в подвал редакции, «газель» подкатывает к тыловой двери, забрасываем в кузов пачки уже отработанным методом конвейера: один (Илья) подаёт, двое носят, шофёр распределяет в кузове. но Илья с нами не поедет — взяв две пачки, он направляется в Думу своим ходом, на метро (у него и тут есть льгота думская какая-то). казалось бы, такой чахлый иудейский интеллигент, а может утащить больше нас с сибиряком Леонидасом, правда, с помощью тележки, той самой, ещё дуэлевской.

начинается наша езда по набережным: сначала к улице 1905 года. Леонидас никогда не пропускает возможности захватить в управу Красной Пресни и за-

бросить пачку наших газет Краснову, легендарному главе, поставленному Руцким в девяносто третьем, во время мятежа. оттуда — на Комсомольскую площадь, там разбрасываем в метро газеты бесплатно, в «ясли», как их зовёт Леонидас, это оставшиеся от бесплатного распространения собственных рекламных метрополитеновских газет красные лотки, висящие на хромированных ограждениях. наш коричневато-красный логотип хорошо смотрится в этих лотках. нужно сперва приучить читателя к газете, наличие телепрограммы — решающее. по идее, милиция может препятствовать, но у нас с Леонидасом уже отлажено дело: с собой ножницы и резачок для бумаги, ими разрезаем пластиковые ленты на пачках и бросаем в лотки по полпачки, делаем все мгновенно, даже подойти не успеют. бежим за новыми наверх — вход в Казанский вокзал и выход из метро здесь всегда многолюдны. пока бегаем за новой партией и возвращаемся подземь, видим, как в руках с нашей газетой по лестнице вверх выходят люди, — приятно. некоторые газеты оказываются на полу, их подбираем и сами выбрасываем. это основная проблема: запихивать обёртку от газетных пачек в урны — злить дворников. часть захватываем с собой в машину. шофёр уже привычный — парень из штата «Спорт-мастера», раз в неделю подколымливающий у нас, по фамилии Якупан (мы его зовём с Леонидасом — Якупанк) — сам подаёт пачки, как только мы подбегаем, работка спорая, жаркая, руки в типографском свинце. отсюда уже рулим в сторону Люберец — сначала к Сокольникам, сворачиваем в твои края, пересекаем бывшие наши, Тан, маршруты мимо Ольховки, приземляемся у площади перед церковью в районе Почтовых улиц и мимо выглядывающего капитанским мостиком конструктивистским ардекорированного КБ Туполева направляемся в Лефортово.

солнце уже поворачивает из зимы в весну, светит ярко в лобовое стекло. Якупан любит наши с Леонидасом разговоры о революции, но сам не участвует.

— ДимАС, ну ты же всё понимаешь: революцию сейчас вот здесь, в этой сытой Москве ты никак не совершишь. Надо поднимать окраины, хоть к нам в Ангарск поезжай да посмотри — там рабочих, которые готовы за себя постоять, днем с огнём ищи. У нас братва одна, весь мой школьный класс почти в разборках полёг да снарккоманился. Сила пока у криминала. Можно и его использовать умело. И надо ближе к народу быть — ты ему про мировую революцию ничего не объяснишь, а вот за свою землю, за родных, за имущество он готов стоять твёрдо.

— ЛеонИдас, не об этом речь. Ты прямо как анархист рассуждаешь, как мой однофамилец из идеологов Махно, Леон который — про «криминальный элемент». Пока что классовое противостояние всеми небогатыми ощущается на уровне «своё — чужое». А своё — это обязательно советское. Ведь именно советского-то лишили Ельцин и прочая контра.

— ДимАС, ты опять в свою культуру спрятался. Вот я тут повесть пишу «Ликвидатор», так средство от тараканов называется, которое взрывчаткой потом оказалось — про то, как дед один нахимичил с этим «Ликвидатором», взрывчатку новую изобрёл, в провинции восстал против местных властей, потом поднял воинские части и повёл на Москву: всего-то потому, что ему пенсию перестали

выплачивать. Надо брать за живое, за то, что с людьми сейчас происходит. Вот ты скажи военным, офицерам: вам не дают квартиры годами, зарплаты маленькие Путин платит и армию развалить совсем хочет? Так идите с нами — в Москве полно пустых квартир, жилья этого элитного. Свалите антинародную власть — будут ваши квартиры! Так надо агитировать, а не про мировую революцию и глобализацию грузить. И национально-освободительную борьбу нормальную организовывать. Хотя на том же рынке — одни против других, там все поделено между кланами хохлов, евреев, хачни и вьетнамцев. Русских отовсюду выперли — давай им команду, и начнётся борьба...

под такие разговоры перед лобовым стеклом, улавливающим смелеющие лучи солнца, в движении в сторону Авиамоторной начиналась весна двести сорок второго года — года рождения нашей газеты. ни я, ни Леонидас там пока ни слова не напечатали, но еженедельно помимо Думы — везли в Люберцы с Якупаном пачки газеты. перед Авиамоторной — выбегали возле рынка, покупали фругурты, глазированные сырки, сдобу, чтобы по дороге, не отрываясь взглядами от происходящего, уже весенне лучащегося за лобовым стеклом, закусить, и ехали дальше. от Авиамоторной — налево, по мосту, мимо ДК «Компрессор», где периодически проходили собрания КПРФ, там я в 2000-м зимой впервые говорил с Зюгановым: «Геннадий Андреевич, молодёжь революционно настроена...».

дома могучие сталинские, научных учреждений, вузов послевоенной гранитной отстройки — провожали нас по шоссе к Люберцам. дома изящные жилые, наверняка коммунально-квартирные, с изысканными балкончиками и колоннами ар деко, того же периода, но помоложе, тридцатых годов — сопровождали дальше, подрисовывая к разговорам о Сталине и Эпохе, о будущей борьбе нужные иллюстрации.

когда заканчивается Твой текст, слитный архитектурный, начинаются линии мостов, а за ними древним старославом, деревянным зодчеством продолжают говорить деревеньки. среди прочих домов в начинающихся вдоль шоссе Люберцах один — с пятиконечными звёздами в наличниках и над дверью, в таком должен бы жить дед из прозы Леонидаса. видно, что звёзды регулярно подкрашивает хозяин красным. за забором по шоссе несутся реставрация капитализма и частнособственнический реванш, а у него в избе советская власть и светят проезжающим сталинские звёзды-пятилетки.

недалеко от этого длинного деревенского квартала, у новостроек, засмотревшийся в карту Якупан, по первому-то проезду, чуть не влетел в «Икарус», затормозил в сантиметрах от катастрофы. Леонидас тут же указал: «Не забывай, ты везёшь будущее России».

проехав мимо расписанного нацболами бетонного забора, свернув влево к вотчине Глазкова, мы начинаем распасовку — Леонидас бежит внутрь отмечать бумаги, получать пропуск на машину. мы с Якупаном сидим, жуём — он блины жены, я сырки и сдобу, запиваю холодным фругуртом. заезжаем с пропуском на территорию. тут тоже заводская эстетика: подгоняет наш Якупанк кузов

вплотную к транспортёру-конвейеру, я забегаю внутрь ловить и складировать, Леонидас набрасывает на грубую резиновую ленту пачки из фургона. тётушки тут на почте никак не светятся тем благолепием, что излучают сам Глазков и его чиновники из свиты выше этажами, платит он им не много. обычные почтовые матрёшки в халатах, для увеселения шоферни повесившие в курилке календари с полуголыми сисятыми ковгёрлами. за неимением местной рабочей силы я сам врубаю транспортёр, вжимаю чёрную полированную кнопку — сначала он въезжает в кузов, потом начинаю ловить пачки. работа жаркая, скидываю свитер, а тут холодно, художнически закинутый шарф не снимаю. пачку слева — пачку справа. Леонидас успевает их посылать быстрее, чем я складирую, ещё не совсем выздоровевший после очередного ОРЗ. но, вроде, всё. на выходе с крылечка приёмной поскользнулся — и увидел, что весна: солнце сияет весело и задиристо, новая пора уже тут в Люберцах, до наших зимних темнот не дошедшая пока.

да-с, ну-ка, ну-тка: а вот и текст, ближайший к тому моменту — отступите мемуары на несколько страниц, услышим зов товарищ! ЧА оттуда, по тому времени свежий, радреальный.

задача текста — догнать Реальность. от отдалённого отражения — к участию, моментальной фиксации на ходу. необходимо вытянуть, выговорить прошлое из памяти в настоящее — чтобы легче шагать вместе с текстом вперёд. текст не отстаёт ни на шаг.

середина февраля двести тысяч второго — ранняя весна, обман: даже природа сбилась с толку на службе буржуев. или вследствие разорения и загазовывания атмосферы в алчном угаре. ежесредно просыпаться в 6 или в 7 и двигать на Новокузнецкую. за недели — изменение: из ночи в утро. первое преждевременное пробуждение и с нервным, мобилизованным сердцем — ехать к «комоду», прекрасному сталинизму во стенах. под тёмными соединениями ветвей и утрёющего неба уже ждёт наш шофёр в «газели». говорим и разглядываем сквозь сумерки дом. потом, мяся по-весеннему мягкую землю, выносим из подвала пачки газеты, занося обратно чернозём на салатовую плитку демократических времён. европодвал пахнет низами, спуском канализационных вод.

уже засветло садимся, ужимаемся в кабину и выруливаем в утро набережной. всё так близко — и выветренный желтоватой краской (которой вообще хватило только на лицевую часть дома и барельефы: бока остались аутентичного цвета исходного камня) лепной коммунизм Сталина на Котельнической, и гостиница «Россия», и склон внутри Кремля, и кремлёвское золото и серая композиция межхрамовой древнейшей площади за сиротливыми стволами. приплюснутые под венец тоновского жёлтого домины пять двуглавых куриц (вместо С С — звезда — С Р). золотишься, буржуйская власть, глядя в прошлое, ободряешься поповством да царизмом.

мост решётками на фон матового розово-голубого с утра неба: и снизу, по пути выруливания в поворот направо — видны вы, снопы колосьев и клюющие их серпы, сталинизм, изобилие. уже изнутри моста решётчатые символы,

моё время, моё наследство — Родина-мать, за ней меч фронтально перед звездой в шестерёнке. шиловский домик, начало уходящего от Москвы-реки вверх города, уводящая башенка дома за Баженовским дворцом. щекотящий вид внутрь желтизны кремлёвских хором лесок перед кремлёвской стеной, изумрудно-зелёные шпили башен, всё ещё звёзды, хотя власть не звёздная — постмодернизм, постсоциализм.

с моста сносимся вниз к безучастному, утреннему, неживлённому пред-крЕмлю у въездной башни, где покушался на Брежнева энтузиаст. площадь перед баженовским домом уже едет в центр. библиотека Ленина светло сереет, высится, виден коричневатый переход-зал между зданиями. внизу лаконичен, низок метровход в «Боровицкую». несёмся к «Охотному Ряду» — в коридор Манежа и старУнивера, церковность, крестовато-шрифтоватость над «часовней». «Балтика» — «Москва» гостиница, Исторический музей под блестящими золочёными двуглавыми несучками, но звёзды выше, над, залетаем ко входу в метро «Охотный Ряд», выкидываем в «ясли» газеты: хватают, ждут ещё в момент извлечения из крафтовых пачек.

приблизился к центру, работал в доме моего числа по улице Горького, самом ближнем к Кремлю жилье. хожу в Думе-Госплане (хотя, можно новое здание Думы называть Думой, а старое — Госпланом, так историчнее, ведь строили новое здание в ревизионистские шестидесятые партократам на радость). хожу, а в сумке светятся — оранжево мятежные агитнаклейки. я в центре, сегодня вырывают думцы «фи» по олимпийскому позору и американскому засуживанию. хожу мимо вершителей (ленивых, вынужденных) истории. взорвать бы весь этот буржуазный клоповник насосавшихся нефти и денег антинародных избранников, рухнуть бы внутрь сей хлам-экс-Госстрой. здание, не имеющее архитектурной ценности — две пачки под видом наших газет занесёНОго гексогена, положенные (если не протаскивать через рентген) у чёрной колонны напротив входной двери, ближе к середине здания, у греющего нас, зимних здешних подневольников, тёплым ветерком радиатора — как раз ближе к центру этой плоской коробки. предупредить фракцию наших, чтобы перешли в старое здание на свой девятый этаж и... аккуратно складываясь внутрь, заваливается эта пыльная башня, слегка засыпав своими обломками Новый Манеж. правда: падёт бастион парламентской опоры режима и вместе с кабинетом Игошина и украшающими его саблями. ну да чем-то же надо пожертвовать во имя скорейшей победы программы Партии, во имя торжества социализма и свержения антинародного режима, INI, isn't it?

хожу в Думе, думаю мятежно, а в метро носятся по тоннелям мои наклеенные агитки — советскими кровяными тельцами в Твоих артериях, сгустками вдоха протеста в обезкислороженном вялом воздухе вагонов. да-с, бывший поэт дмикузьминского журнала «Вавилон», эстет и надежда изячной словесности, такого хода от тебя постмодернисты не ожидали: заклеить своими стихами-частушками метро, чтобы вынужденно мушино ползающие по сладким реклам глаз пассажиров обжигались смыслом, протестом в твоих, поэт, словах.

оранжевые джэт-рэд наклейки с чёрными буквами, справа звезда СКМ — над схемой метрополитена, на буржуазно оплаченных пространствах рекламы, на самсунгах, сименсах и других клоунах, поверх — шмяк.

нас зовут «россиянами», мы же —
лишь рассеянный классово сброд,
а ведь имя нам есть, есть и Родина —
мы — великий СОВЕТСКИЙ НАРОД.

хватит гнутья под буржуем,
олигархов пестовать.
буржуёв — пережуём!
скоро им отвечать.

наши танки в 45-м
всей Европе дали мир,
нынче ж натовским солдатам
президент готовит пир.

кто ты — советский человек
иль раб буржуев, россиянин?
верни же родину себе:
под красные знамёна, с нами!

продиагностировали стишки чувство Родины у пассажиров! молодцы, «союзные» уроженцы. реагирующие приписали на «кто ты — советский человек» ручкой свои «нет», и на «россиянина» — тоже «нет», и под «красные знамёна» — нет. нигилизм. идиотизм и бессилие безродных. ну, жрите глазками свои наготы да вкусные рекламки — янки и не так вас загнут.

всё работает на время. двадцать второе февраля — день позора, Солт Лейк. Политика, но не спорт. патриотизм растёт — ублюдочные студенто-вырожденцы пьют в закутке моего любимого сталинского дома, повесив на оконную решётку триколор, сие стопроцентно символично времени. патриотично бухающие в то время, как спорт падает.

прохлада скорее весенняя. путь из Думы, купив книжень Серго Бери, на Моховую, в Институт, в студзнакомый закуток за университетской библиотекой. встроили-таки административную зеленостенную домину. деревьев нет былых, за которыми кололись и изрисовывали стены грайверством на тему города студенты журфака, дети девяностых.

ещё прелестей времячка: в психологическом подвальчике голодная научная мышка покусывает булочки, говорит критику по дИсеру — публицистичен де он — вылезая за бумагой для распечатки на этажи... ох, институт: как тебя подчинили реставраторы во главе с тупобородым купцом Рубцовым и Лужком!

институт, награжденный аж какой-то попкиной грамотой со святыми угодниками — это марксиста Выготского и всех наших советских психологов Институт! «Выготский рос в религиозной семье» — ответ Рубцова на сомнения совести и идейности. молитесь и кайтесь, заносчивые учёные. и дело: у ученых по разнарядке едет крыша в прошлое. праведник, которого звали с телефона и меня к нему послали в двадцать первый кабинет, не может справиться с принтером, в суете заговаривает интеллигентно интонациями, но явно сей соблюдает посты лучше правил работы с матричным принтером.

увесистождая девица немосковского вида распечатывает мне на казенной бумаге (добытой из предбанника Рубцова, а из кабинета портретно выглядывает идеалист Челпановъ) начатки автореферата. девица явно религиозна, соблюдает все предписания. такой тип тёток обитает в монастырях и от времени не зависит — они в вечности, созданной Библией, им этого текста на их век хватает, всего этого сценария и диапазона переживаний: есть люди, не прожившие ни минуты в выделенном им времени, ушедшие в прошлое и там пригревшиеся. заставка в ее компьютере — сказочна и рождественна чем-то в ночной синеве — замки, призраки, папки. ей печально и взбудоражно [мое появление], бо зачем тревожить невинных раб божьих? а ведь морят лужковские жирдяи чинные тут их голодом, как мою научноруковОдную мышку, тоже сошедшую с научного ума в религию. норма сумасшествия времени — не ушел в религию, так и вовсе некуда деваться, окромя чего самоубийственного или...

да-с, только революционное и остается, так как, если видишь и понимаешь — то действуй, а иное все, при понимании-то, уход есмь. православная мышка, плотоядно косясь на оставшуюся предо (мною не тронутую) сдобную снедь, договаривает соображения, я выхожу через двор универа вниз, подземь к манежному комплексу. тут и тепло и (при входе какая-то химия в воздухе дезинфицирует). да, мышка ещё лакомится своими бюджетными крошками, а я уже встречаю упругосисых, дородных обитальщиц комплекса. о, слава тебе, Реставрация: я имею возможность увидеть лично тип людей, живших век назад! и здесь же, только обустроено технически, модно, но тоже, что и там, до революции — торговцы. довольно несут от бутика к бутику свои тела — товар лицом. другие задницы, жировые прослойки, кожи иные от косметухода (а зяблая красноносая белая мышка в институтском подвальчике допивает бюджетный чаёк).

люблю наблюдать, как эти дородные бабы на ходу опускают взгляд на свои сисЯ в подколыхивании шагам — так как само собой разумеется, интервьюируя будто: ну как вам там? у этой она приукрашены висюлькой уходящей в глубокий разрез обтяжки. худая несексуальная мышка, дожевав крошки, запирает лабораторию с никому, кроме вечности или прошлому советской науки, не нужными диссертациями — или уже оправославившимися, безумными. вот типичный момент двух исторических времен вместе, иду от одного через другое к Красной площади? и мальчики такие тут лояльные, модные. ох, обитатели застекленных отдельчиков парфюмерий и джинс — достанется же вам от истории! везде ваш пароль — секс, фотографии, рекламы, бабские такие томно-жи-

тейские дыхания в англоязыких песнях. вы сами есть секс и это ваш язык. хорошо выглядеть, выблядеть. тут же знакомитесь, переспихиваетесь, ссоритесь, обижаетесь, знакомитесь. обитатели торгового подземелья. всё нормировано: запахи, лифты, фаст-фуд внизу, все цивилизно: ходит охрана в черном, тоже сытая, раскормленная хозяином, при мускулах, при прикиде понтовом...

так и заблудиться можно. но главное достигнуто: утащил у вас тепло и иду в ГУМ за Panter'ой. молодец перебитоносый долговяз Пименов, даже если постскрипtum объявил участие во взрыве здешнем девяносто восьмого. такое взорвать приятно, жаль площадь погибнет, лучше газом вытравить или вручную вычистить ваше продающееся благолепие, а сделаем тут музей: этажи — эпохи.

пути в Тебе показывают время. я выискиваю причины случившегося взврата, корень Реставрации. красуются стилизованные под купечество вывески: щеголяют дореволюционными оборотами слов. что тут произошло? или не было моих восьмидесятых, устремлённости плакатов, дюралюминиевых рам, флагов, праздничных демонстраций? двуглавый бройлер смотрит, разводя головами: «так вот, товарищ, ничего не знаю, \ я: истинный строй, коммунизм — утопия».

эпоха революции и конструктивизм, оставшаяся зримо. эпоха ар декО, сталинизма. какое между вами расстояние! от полного очищения, изъятия украшений — к новому изобилию. снятие? или просто обратная буржуазность советской элиты под красным знаменем? в доме четыре на Тверской перед кухнями — комнаты для прислуги, лепная роскошь: розочки на потолке: дом тридцать шестого года. в Доме на набережной при аскетизме снаружи внутри — тоже розово-перламутровая лепнина по потолкам. как это Иофан строил такой дом-коммуну — знал для кого?

Эпоха недоступна. дома начинают проясняться текстом, рассказом о своём времени и месте только сейчас: звёздами, серпами, молотами, колосьями. добротные стены, широкие окна: буржуй не дошел пока до этих масштабов, отреставрировав узкооконные домишки, стал сразу громоздить эпигонские конструктивизмы, раскрашенные под торты, на радость банковских вкусов.

сегодня День сна, как было сказано утром по «Радио России». с собрания АКМ — в ОГИ. из огня приветствий «наша Родина эсэсэр» влажноватого, потного в подвале идейного единения и затяжной демагогии Анпилова, от краснеющей при говорении грудной кожи пожилой трудоросски — в полымя, в мир избранных: молодые изячные студенточки рожицы слушают молодых поэтов. кучка знакомых лиц приресторанилась к сцене: свойски зыркающий псевдОпедЕ Воденников, пьяный и унылый Вадим Калинин. Второй фестиваль молодых поэтов, питерская поэтесса Дарья Суховей просила прийти, принести книги, камуфляжнообложечные «Поэмы-инструкции бойцам революции».

смог стоит в питейно-читальном заведении. смог единения в выдохах и вычитках новых декадентов Реставрации. вхожу, звучит преамбула бледного от довольствия Кузьмина, кончается конферансом: «И всё же — Кирилл Медве-

дев». кухня начинается, девочки разносят снедь и пиво, Медведев что-то лепечет — это уже не предисловие, это поэзия, отличить невозможно. помогают создать хаос лабухи, притаившиеся напротив сцены, в тылу зала — гитарят, фриджаят. из толпы вырисовывается Винник: «Ты читаешь?». нет, не приглашён-с. «Ну, готовься — сейчас сразу после Медведева будешь читать».

готовлюсь: извлекаю принесённую (одну из «Инструкций») для Дарьи, выискиваю «сон:колокол» и ещё пару. вглядываюсь в смок, вживаюсь в атмосферу. здесь для убаюканных брезгливым брюзжаньем Медведева, гитарками, сигаретками читнУ — а? из ревбрандсбойта по дымовой завесе удушливогазых регрессантов. протискиваюсь к сценическому углу, уже читает Винник: прочитав (действительно лучшее, старое: стихи для «Лимонки»), ретиво спрыгивает в зал — финал. лезу меж калининых и воденниковых, чтобы просунуть Кукулину посылку для Дарьи, пока не появившейся.

Винник извинительно разводит руками, Кузьмин встречается и отвечает незнанием, где Дарья, и непониманием чего дальнейшего. вот и Минлос, вылезаем из утара по лестнице в книжный, говорим, прощаемся.

так вот и полагается зарабатывать биографию. с помощью сытого и довольного такой жизнью мягенького педераста Кузьмина и его обиженной моими текстами субъективности, равной в теперешних условиях той самой, им ненавистой, ими осужденной, цензуре. а ведь как хорошо всё начиналось летом девяносто девятого: между сеансами отдыха на диванчике с двумя мальчиками в одних трусиках мой очкастый тёзка, мой лит-провайдер макетировал мой сти-дебют. у одного голенького (в одних трусах) парнишки, который беженец от бандюгов-должников из Питера, правый сосок почему-то был совершенно женский, без ореола, но выпуклый словно кормящий, Кузьмин не знал природы этой особенности. провожая этого нового фаворитика со своим гельноволовым кудрявеньким другом из Налоговой полиции, Дима вспомнил анекдот про любовницу и жену старого еврея, выдиравших его соответственно седые и неседые волосы. ах, голубые сантименты, ревность. мальчики, ушедшие гулять из квартиры Кузьмина в летний чертановский вечерок, скоро вернулись: оставшиеся тут же пошутили — забыли вазелин, хо-xxx... как теперь это всё мне давно и невероятно. зависимость от чужого вкуса, запрещённые Кузьминым в «Авторнике» мои презентации и Айзенбергом в ОГИ мои книги (поэма-инструкция). мальчики эти трусатые втроём на диванчике, споры на кухне о моём предпочтении нижней женскости, девушка-мальчик, друг Кузьмина, исключительно, идейно анально контактирующая с ним на природе до усталости в коленках, коллекция пачек презервативов плэйбойских среди библиотеки голубого тёзки... далеко это и отдельно от леворадикального товарищЧа.

зато иду в Тебе и Тебя слышу, вижу в просыпающейся сквозь сумерки весне окна, дома. к Сретенским Воротам мимо терракотового сталинского фасада, почты, люков Народного комиссариата связи...

а прочитал бы. но лучше бы спел: «Ветры над нами (а лучше, ярче — «ветра в синем небе») полощат шелка наших гордых знамён, идём мы на Красную

площадь в строю физкультурных колонн, не зря мы себя закаляем, не зря наши силы крепим: мы клятву товарищу Сталину и Родине клятву даём — под небом ясным страны прекрасной сегодня мы гимнасты и пловцы, а гром пусть грянет и час настанет — мы завтра Красной армии бойцы». и ведь грянул — и встали и пали дети революции. и теперь долгожданный вновь девятнадцатый — тот же декаданс, те же умилённые вытянутые личики лингвисточек, которых после таких вечеров разгадывают любовнички разных ориентаций в стиле виданных эротофильмов, с воодушевлением гнильца-сс. шагаю вниз к Трубной, вижу высвеченную Тебя над Пушкинской: круглооконный конструктив «Известий», маяковская торжественная гарнитурная башня «Пекина», сталинизм.

песня аж прорывается в пустынную Рождественского бульвара, а мысли лепятся, складываются в Калашников, шаг отчеканивается под гору легче. упитые пивом и выковыривающие из зубов постмодернистские выводы: эти мне не слушатели — безнадега. «зачем нас будить, зачем разгонять дымок-с, под которым столь мило делать любовь-с и сплетничать нам, высокообразованным советским и постсоветским образованием?» таинственно-поганые стишки с духом переосмысления и стёба, рокфор-с. ну что вам Чёрный? так, для излишества... советский народ? это мы-то? ну-с, нет, дайте уж нам тут погнить, в этом аппендиксе в прошлое — пускай даже всё так, как выговорите, но здесь чертовски уютно, в этой литературной яме.

«...запомнить врагам нашим надо, что мы при опасности вмиг спортивные сменим снаряды на саблю, гранату и штык!»

редакция всё уютнее и уютнее, все компы подключены, Интернет по карточной системе есть. вот и я умудряюсь тиснуть статейку про городских партизан, бессовестно перепечатанную с алексцветковской рецензии на немецкий фильм...

планёрки. по понедельникам. Усманов восседает во главе стола, как бы на верхней перекладине буквы «Т», нервные журналисты друг напротив друга описывают свои планы. я — ни то, ни сё, время от времени просящийся в разные отделы с озвучиваемыми на планёрках наравне со всеми темами. Усманов не скрывал своего рационализаторства: «Вот Димка вообще у нас универсальный и статью может написать, и по поручению сбегать, у него лёгкая рука». но самая лёгкая (липкая) рука была у Усманова.

во-первых, наш бакинский бай, вырвавшийся из голодных объятий «Совраски» и получающий восемьсот баксов как главный, решил трудоустроить всю семью: жену Катю и Наталью Николаевну, тещу. правда, не сразу, но семейка воцарилась — Катя в корректуре, Наталья Николаевна в качестве секретаря. сам себе бухгалтер, Усманов назначил высшие оклады родне, обе особы уселись за лучшими серебристыми столами, которые мы зимой лихорадочно свинчивали, привезя из «Икеи», Усманов это называл: «всё лучшее — жене, семье». во-вторых, и тут он не мог остановиться: случайно услышал я, проходя мимо его кабинета весеннего однажды, реплику, конфиденциально адресованную теще про

то, что «в этом месяце мы сэкономили тридцать восемь тысяч». на ком и на чём он экономил, можно было только догадываться. между тем я сам привозил разок чемодан денег из Холдинга.

в районе Кантемировской, за кварталом нетронутых академических дач с садами располагалась промзона и склады — где обитал и ходинг «Реал-Агро». пахло там, близ некоей железнодорожной станции колбасно — рядом находился цех «Биком». ехать на маршрутке к этой «базе» вышло замысловато: проехал мимо и пешком вернулся, дал кругалю. пришедший туда (в заведение, куда обычно приносят, а не уносят деньги, где на витрине для оптовиков представлены макаронные изделия и мука «Реал-Агро») за деньгами, я произвёл не лучшее впечатление на секретарш офиса, так как в ожидании аудиенции читал всё ту же «Книгу мёртвых». за окнами принявшей меня секретарши уже цвело некое дерево. когда я привёз закрученную много раз скотчем коробку с деньгами, Усманов прошипел предупредительно насчет моего поведения, чтобы я не агитировал в неподходящих местах — а всего-то поводом для восприятия меня как маргинала секретутками послужила та самая книга политэка Лимонова (первое издание, из которого не убрано в предисловии упоминание про ящик автоматов). наступал кризис в отношениях: мания преследования у резко повысившего свой уровень благосостояния бывшего оппозиционного журналиста росла. кстати, он перестал писать в роли главного редактора.

и всё же день рождения Усманова мы отмечали в редакции в составе узкопартийном. мы с Сидоровым и его областным товарищем выступали в роли открывателей бутылок и накрывателей столов. пришли и функционеры обкома — косоглазый свинорылый персЕк и вечно счастливый тамада, опекун областной пионерии Голуб. позже подъехал Игошин с Ольгой Боуш, главой бухгалтерии Холдинга и, по совместительству и традициям, видимо, любовницей собственника Холдинга. у Боуш была весома в нескромном трико корма, дети (как говорил всезнающий Сидоров) и нахальный, раскосый, как у Игошина, взгляд.

не хотел бы в такой компании отмечать своё тридцатитрёхлетие. Усманов купил дорогих грузинских вин, приличную закусочку, которую мы крошили на кухне с женой и тёщей главного. именно на оранжевой подвальной кухне в этих праздничных запахах, как и прежде на быстрых булочных с чаем тут перекусах, я ощущаю, как далеко и глубоко забрался в этой новой линии судьбы в Твои прежде незнакомые края, за Тобой-рекой...

собственник Холдинга появился с опозданием. уже были сказаны тосты про особую дату, возраст Христа, что Ибрагим встречает ее со своей собственной газетой, о чем можно только мечтать, — это говорили обкомовцы. Игошин, с не подобающим его статусу мальчишеским аппетитом набросившийся на закуску, хвалящий сервелат и хванчкару, сказал и свой коротенький тост с пожеланиями общего успеха и понимания того, что газета не только газета, но и *бизнес* (это слово собственники холдингов и олигархи вроде Абрамовича выговаривают особо нежно высюсюкивая букву «с» в конце). намёк Усманову давался жирный: где же реклама, где же отбой средств Холдинга? Усманов недо-

умевал по поводу ожиданий Игошина. а они зависели, в свою очередь, от постоянных подозрений и звонков в редакцию со стороны Боуш. Сидоров эту фамилию произносил уже заученно и со вкусом, будто отглатывал из кружки пивка, бася тинэйджерским голосом: «Ибрагим, буишь говорить с Боуш?».

Игошин, видимо, следуя буржуазному идеализму, надеялся сделать доходной газету. а бюджет газеты, учитывая и рекламную кампанию в три тысячи долларов объемом, все рос. Боуш заподозрила в нецелевом, условно говоря, использовании. попросили штатное расписание, урезали оклады — после чего товарищЧ стал получать четыре тысячи. но он их в марте так и не получил. тут вообще вышел эпизод, после которого история работы товарищЧа в газете (как и с соблазном облюбовать для личных целей в выходные десятую квартиру) могла бы не продолжиться: Усманов впал в подозрения на мой счет. тому послужило всего лишь праздное высказывание Сидорова.

вернувшись от Боуш он, вероятно немного приукрашивая свои впечатления, рассказал взбухшему от благосостояния и подозрений насчёт стукачей баю Усманову про то, как просматривала штатное расписание Боуш: на моей фамилии её взгляд долго не задержался, и она будто бы сказала — «ну, с ним вопросов нет». это отсутствие вопросов (видимо, в виду весьма небольшой величины оклада и заметности моей на Камергерском, в Думе и т. д.) вызвало вопросы у Усманова — он развил минутную гиперболу простака-трепача Сидорова до подозрений в заговоре, в том, что я «стукачок», который докладывает Боуш о делах редакции. понятно, почему так жалобно Усманов смотрел на меня, когда я зашёл в комнату его и тёщи-секретарши, услышав финал фразы про сэкономленные деньги. вот как большие деньги и доступ к их распределению влияют на долго не разворачивавшуюся во всю ширь буржуазного благосостояния личность — забегая вперёд сообщу, что жадность таки фраера в данном случае и стубила. думаю, мою судьбу запараноивший Усманов про себя уже решил: «Я тебя сюда привёл, я и выгоню».

спас в этой ситуации случай. в редакцию, когда я сидел с Леонидасом на новой кухонной территории в большой оранжевой комнате, так и не ставшей редакцией областной газеты, позвонили рекламодатели. а Усманов как раз решил на меня, провинившегося в его представлениях, повесить это гиблое дело — ведь кто-то должен был оправдывать надежды буржуа Игошина на рентабельность и «отбой» за счет рекламы. трубку взял я, и это позволило чуду свершиться: подкуренный женский голос сказал, что агентство «Пиар-импакт» (перлы новорусского новояза, «пиар-удар» звучало бы рифмовее, но не конструктивно), просмотрев газету, хотело бы сотрудничать с нами. жадно прозвонивая туда чуть ли не день за днём, я добился встречи, принёс очередную газету.

дом, в котором жил «Импакт», оказался в очень уютном, нехоженном нами месте, куда мы с тобой обязаны были бы забрести: вот только я проходил там поблизости всегда один, и последний раз — проводив тебя на Рижском вокзале, пешком оттуда возвращаясь. по Большой Спасской дойдя до Глухарёва переулкa, я точно рассчитал и через дворовый достоевский простенок вышел к краснокирпичному, немного отступившему от основной линии, дому восемь.

охранники везде охранники — целый класс нашего времени. недоверчивые, силовые, подпираемые своим оружием — они как островки в океане нестабильности, но островки, локально мотивируемые теми, кто именно тут платит. смотрящий какой-то сериал, хмурый, зимний ещё лицом секьюрити в серо-чёрной тёплой камуфляжке долго искал в списке арендаторов «Пиар-импакт», не нашёл, потом позвонил по данному мной телефону и пропустил. так называемый новый офис «Импакта» представлял собой пустые комнаты с набросанными коробками, забитыми папками и канцелярскими инструментами.

хозяйка «Импакта» и прокуренного голоса встретила по-деловому в тёмном кабинете за широким шикарным столом, претендующим на европейскость. пока она вешала представительную лапшу, товарищЧ, разглядывая интерьер, туржурнальчики, флажки на столе, пепельницу, пачку разноцветного «Собрания», растяжную подстилку для писаря, подумал, что — вот он тот мир, на который променяло СССР, вполне осознанно, поколение этой пиар-импактши. мир офисный, с куревом и договорами, с крутыми пацанами закадровыми, которых сей импакт пиарит. умудряются же они шикарно существовать таким образом, импактУющие эти господа и господа.

вскоре флёр неопределённости и всесильного профессионализма «Импакта» спал всего лишь после одной фразы: «Мы работаем с серьёзными партнёрами, с Тулеевым». выяснилось, что надо опубликовать в распространяемой по Думе газете нашей подписанную его именем вполне пропрезидентскую статью — недавнего члена НПСР, угольного магната, вполне довольного своим нынешним положением и не агитирующим за перемену общественного строя. с этой новостью, получив из специальной коробки «Импакта» фотографию с распальцовкой Тулеева, и на шару запрошенные шестьсот баксов, я и вернулся в наш андерграунд. мог бы запросить и больше — половину положив в карман... но что сделано, то сделано. по дороге к Сухаревской встретил великолепного Лео, моего однокурсника-учителя, психолога потомственного от Выготского, наши «университеты» для отсталых в одном лице — от математики до философии. Лео, брат Лёхи Кравцова, уже защитивший кандидатский дИсер, давно преподаватель в РГГУ, а я вот инкассирую не свои денежки в андерграунд неявно «красной» газеты. статью прислали по почте, на целую полосу. обещанного процента с рекламы я так и не увидел, как и зарплаты за март, но получил главное — продолжение газетной истории, в которой рулевые и прежде судьбоносные фигуранты не так уж долго просуществовали.

текст Тулеева прошёл все инстанции — от его спичрайтера до московской курильщицы из «Импакта» и нашей корректуры, я привёз в Живарёв переулок показать вёрстку и — опубликовали. уважительно относясь к оплаченному тексту, Усманов ничего в нём велел не менять.

я остался в газете, продолжил и писать, но реже. наступающая весна улавливала моё центробежное смещение к Новокузнецкой, ежедневную беготню, за которую я по-прежнему получал четыре тысячи после секвестра. но получал уже вместе со всеми на Камергерском, в Холдинге: бухгалтерию у Усманова ото-

брали. смешная процедура заключалась теперь в сидении на диване около рецепшна, слушании телефонных ответов двух секретарш («здравствуйте, бизнес-центр»), в ожидании своей очереди, и, наконец, в получении конверта и подписывании ведомости. именно это ожидание вполне заработной платы давало возможность вкусить нам, подвальным обитателям, сотрудникам газеты, журналистам и не совсем журналистам — мир высший, мир офисный. то и дело в коридор, ведущий к заветному предбаннику кабинета Игошина, выходили в свежих синеньких рубашках, заправленных в костюмные глаженные штанцы, полноправные обитатели офиса — как им тут уютно жилось!

Игошин и здесь повелел быть столовой комнате — её мы увидели, когда наш уважаемый корейский бухгалтер Игорь Тен утаскивал в курилку подписывать временные договоры, после которых нам только и выдавали наши зарплаты. в столовой полагалось обедать сотрудникам офиса — уже сильно позже, осенью, я удостоился разового там кормления, готовили много и хорошо. с классовой ненавистью к проходящим в курилку офисным, трансформировавшейся в зубовные сжатия, я пообедал быстро и метко морковным салатом, наваристыми щами с петрушкой и печенью с пюре. только морс был жидковат, но и тот выпил весь, принципиально. а тогда, весной — от столовой к родным загончикам у компьютеров, за офисные перегородки курсировали свинорылые, с особой сытой белёсостью и сальностью лиц ребята, получающие вовсе не в наших масштабах оклады.

после того как отошли внешние воды, которые в апреле внезапно пробили линолеум первой направо нашей оранжевой комнаты и мы их с Леонидасом собирали, абсорбировали в родные газеты, гоняли жёлтыми новыми тряпками и вычерпывали стаканами икейными — товарищЧ продолжал свой бой, репетиции «Эшелона» на улице Макаренко к Первомаю (из редакции туда через мост и по Бульварному — красиво и удобно, особенно трамваем). весна, осветившая понемногу место, куда высадилась редакция в зимней ночи, обнаружила архитектурное послание здания, правым флигелем которого как бы являлся дом, где редакция заняла центральный подвал. если взглянуть прямо от двери редакции на сталинский дом справа, под самой крышей вели свой оптимистический боевой пляс скрещенные серпы и молоты — не такие большие, чтобы быть сразу заметными, но наши, наши! напутствующие товарищЧа.

нужды, посещение санузлов — похожи, едины. ходьба дворянствующим прошедшее время обезвреживает текст. в нём появляется гарантия несбыточности. и это же прибавляет ему ценности как единственному носителю Реальности, то есть переселяет Реальность в буквы. полнота бытия — это возможность находиться всё время в той гуще подробностей, которую ты способен и хочешь воспринимать. сны укоряют в том, что незамечено. мечты продолжают прикосновения и просто намекают на большие возможности восприятия.

Текст, отвлеченный от Реальности, теоретический, абстрактный, саму Реальность унижает, препарирует, то есть. во мне сейчас гудят дома, отсня-

тые сегодня на фото пленку 36 кадров 400 Kodak. фирма, пережившая время, вот и в мой текст влезшая. я выскакиваю из отвлечённого текста и привлекаю к сегодняшнему пасмурному дню, уже стемневшему, хотя он и в полдень был не светел. фотоаппарат усиливает ощущение творчества: подтягивающий объект, зум помогает, но потом сам начинаю ходить взад-вперёд. (какой ужас: доверять свои действия буквам, высказывать свою жизнь!) фотографировал капли на старом каменном крыльце флигеля близ любимого сталинского «комода», его тоже снимал, упоённый рамооконой и дверной символикой, ходя по льдеющему снегу меж разнооттеночными мазками фекашек, результатами зимних выгулов хозяйских собачек этого священного дома. дом говорит узорами, бока асимметричны, лишь слева есть двуногий извив, фундамент сталинского ар деко. (говорить о тех местах, в которых ты, читатель, можешь побывать — соблазнительно и может быть выходом из абстрактной клетки.)

густота всплывшего понимания моего времени пугает и зашкаливает текст. писать о сегодняшнем дне в прошедшем времени — значит отрицать этот день. и я иду на это. Реставрация отвратительна, противоестественна для меня, видевшего восьмидесятые, жившего в справедливом, широкоплечем, дюралюминово-большеоконом обществе. мне досталась феноменальная, никогда не бывшая прежде часть истории. и её надо подробнее отнаблюдать и запихать сюда, где ты читаешь.

текст должен много раз начинаться и ни разу специально не подытоживаться, не заканчиваться — так и бывает в творческом восприятии, когда замечаешь начало того, что надо в текст. обрыв текста на ползвук, полуслове — вот вызов главенству над тобой Сюжета. неявленность автора, отвлеченность автора от событий — вымысел и пережиток. необходимо подробнее себя выдать тексту, нельзя же одно видеть подробно, а другое — нет. да, это опасно: то, что переселяется в текст, назад не возвращается — так вот и ключ к отношениям со временем, вот соответствие, ответ, планомерность. текст, начавшись с полуосмысленности и внешних подробностей, догоняет автора и становится дневником, а обрывается (или вечно длится) вместе с автором — вот радикальный реализм.

пятый троллейбус, в который сажусь вечером после окружкомовского собрания на Остоженке, поворачивает не к улице Наташи Качуевской (школьное название остановки) у радиоцентра, а к улице Герцена, Малой Никитской. малогабаритные старенькие, но прихорошенные, овечнёвские окошки горят из подобающе жёлтых стен доверчиво, высвечивают пространственные представления позапрошлых веков. люди мельче ограничивали свой быт, встраивались во вселенную с тогдашним размахом (сегодня подкорректированным новыми домищами, новыми представлениями): они умещались в эти коридорчики, как в здешнем книгомагазине «Летний сад», вокруг которого ремонт и ломки (одно дерево пало).

слякотная Ты вечна, такой же была и тем, кто первыми заселялся в эти окошки из вечерних карет, в эту геометрическую правду о прошлом. платья,

шаги, мысли — другие. только жильцов в направлении туалетов — домашняя, но не так мягка и уютна, как наша (церемонна?). как и в пушкинском (одном из) доме, где Минпечати на параллельной улице (низенькие двери и медные ручки, судя по состоянию и крашенности — исходные!), той, куда раньше ехал пятый к радиоцентру, к бериевскому особняку.

Реставрация. повторять это слово для того, чтобы назвать и Вызвать из Реальности сюда эту гадость. хотя наблюдать её пока интересно. возникли новые освинелые лица, наглость иномарковладельцев (наш пятый только что перед Никитскими Воротами, около ресторана, рывками, осторожно тыркаясь взад-вперёд, пробирался мимо хрестоматийного белого «мерседеса», дабы не поцарапать, а тот хамски встал посередь пути нашего транспорта малоимущих, однозначно весомо и нагло: не ошибёшься — вот бы хряснуть правым гриндерОчком моим по лобовому... однако не будем рисковать автором, а то текст оборвется неоправданно ранёхонько).

весна принесла Усманову проблемы — вслед за изъятием бухгалтерии из редакции в неё был прислан в качестве генерального директора вполне литературный персонаж по фамилии Бархатов. из «Литературной газеты» родом. упитанный, сановной внешности, улыбчиво отдувающийся в нос дяденька — никак не подходил на роль тарана или параллельного руководства. Игошину же явно не нравились чем-то дела Усманова, и он начинал его оттеснять от руководства, что наш главный не вполне ещё понимал. когда появился Бархатов, перед планёркой, на которой его должен был Усманов представить, именно я, «стукачок», сказал Ибрагиму: ни шагу назад — иначе вытеснят. учитывая моё полулегальное, практически непубликуемое положение, это были весьма алытруистические слова, и зажавшийся бай Усманов на минуту усомнился в своих на мой счёт не развеявшихся подозрениях — таким уверенным, соратническим, товарищеским тоном был высказан мой совет.

однако Бархатов и не собирался никого теснить — он понимал своё назначение как долгожданное обретение кабинета, в который он всё просил Леонидаса перевезти его массивный стол из «Литературки». корректуру переселили в кухню. раньше Бархатова пришёл новый распространитель рыжий маленький профессиональный Шевченко — на место поссорившегося со своим благодетелем Сидорова. ссора была детски-комичная — невыспавшийся из-за ночных заседаний с Усмановым в редакционном Интернете, Сидорчук после очередной планёрки сорвался, когда главред запретил кому-либо пить кофе на рабочем месте (нервически ненавидел на столах кружки от крУжек). Сидорчук пробасил: «Нет, без кофе я работать не могу». после этого, шипя и громко топая, бай Усманов затащил его в кухню (уникально проговорившись на байском наречии: «Кит на кутэк!»), там оборал, Сидорчук вскоре в своём распахнутом длинном пальто выскочил с тинэйджерскими слезами, схватил сумку и был таков, снят с довольствия. потом Усманов его снова призвал по комсомольским делам, Сидорчук каялся. в дальнейшем они воссоединились — восточный хозя-

ин и русский одинцовский слуга, нужные друг другу, романтические в этом даже, смешновато, правда.

Бархатов, начальник очень мягкий и вкрадчивый, весьма шестидесятник, в отсутствие Усманова пытался общаться с коллективом. даже пробовал провести планёрку без главреда — на которой почему-то вспоминал свою молодость в Литинституте и как от его хука кто-то летел через стол... Бархатов явно не подходил на роль энергичного, прагматичного, сметливого изживателя прежнего проштрафившегося руководства, но сыграл вовсе не её, а позитивную — под-сказав товарищЧу из записной книжки шестидесятника телефон Марианны Вертинской. однако чтобы заслужить такое доверие, товарищЧ до того принёс интервью с Василием Лановым, папой одноклассника. за этим интервью пришлось побегать — чтобы потом выдумать его самому.

ловил его у актерского гардероба в Театре Вахтангова, куда с СергунькОм батя проводил нас однажды на водевиль про лабуди-лабуда-лабудийцев. потом сообразил и поехал во Внуково, на дачу, где был ещё среднешкольным гостем и отправился по местам детства с Киевского вокзала. о, эта дачная Пасха в гостях у Лановых под сенью хвойных стволов — они Пасху в те ещё советские годы отмечали довольно истоиво, традиционно, с поцелуйчиками! за квадратным столом небольшой уютной дачной кухни сидели сыновья актёрской четы, мальчик-гость из интеллигентной семьи, с которым Сергуньку было полезно общаться, а родители травили профессиональные анекдоты. как дурачились дети в спальне на втором этаже — умолчим, побережём заслуженных родителей, ограничимся только тем, что их уже торчливым неужённым мальчишеским пипиркам взаимно меж ягодиц одноклассника не удавалось то, что можно было бы считать голубиной песней: всё в этой жизни проще и веселее, чем в американских пошлых фильмах — а вот от нюхательного табака из квадратных пачек они чихали хохотливо, с утра даже подсыпая друг другу на подушку, чтобы, значит, разбудить. второй этаж дачи Лановых напоминал «Десять негритят», тогда популярнейший ужастик в холодной весне конца восьмидесятых.

весна же этого газетного года, потеплее прошловековых — слабой, но писклявой, кислой зеленью мелькала за окнами электрички. прибыв на знакомую, но уменьшившуюся станцию, пройдя серебристый памятник Ленину, товарищЧ потопал по шоссе на память — к посёлку, где обитали Лановые. выдвинувшийся из леса посёлок сразу показал новый масштаб: новорусские постройки так задавили своих предшественников, что вычислить участок Лановых было не просто. однако дошёл и нашёл, позвонил в ворота. ни один из любимых псов Серёги не ответил, хотя за воротами стояла зеленая иномарка. в маленьком теперь по сравнению с врубившимися в соседний лес буржуйскими дворцами доме Лановых была открыта форточка и вроде бы горел свет — но всё это могло быть антиворовским ухищрением. товарищЧ пошёл назад ни с чем. места школьного детства не отозвались и требовали освободить невместительное пространство прежнего времени, сильно уже расходящегося с большим памятным. Василия Семёновича я всё же поймал — в Щукинском

училище на прогоне экзаменационных спектаклей. не признавший давнего мелкого знакомого, в угаре командования Лановой спешно отбоярился тем, что всё возможное про патриотизм сказал и книги рекомендует свои читать — «пойдите в библиотеку...». после такого рецепта товарищ Ч взял и выдумал интервью, которое потом даже цитировали в глянцевого журнале, «Власть», что ли: «Нельзя быть патриотом какой-то одной части родной истории...».

но апрель уступал медленно место окончательно весеннему месяцу. и маршрут мой в редакцию менялся сообразно сезону — по оттаявшей почве мимо жёлтого особняка усадьбы Иконниковых далёких восемнадцатого — девятнадцатого веков с четырьмя мордами над четырьмя сдвоенными колоннами и с изображениями в трёх белых кругах-тарелках совещания трёх богинь, у каждой из которых свой посыльный ангелочек — ходить стало не чисто плотно, входить во двор сталинского «комода» (как обзывали такие дома диссиденты) стал слева, через арку, взглядом говоря с новыми стенными и прочими собеседниками. надпись на белом домике во дворе, видимо, связанном с газоснабжением «Огнеопасно» уже стала привычной — в ней радовала знакомая ещё по пути через Бронные в школу буква «А» с левой изогнутой ножкой: вероятно, все надписи на таких домиках в центре делала одна рука...

уже к восьми часам Первомай надо быть в штабе НБП: с вечера созвонился с Ароновым (отвечал он подкурненным голосом из шумов коммунальной квартиры — думается, живет со штабом рядом). надо будет вытаскивать барабаны, ловить машину.

приехал по тёплому утру, на Фрунзенской пусто. искомый дом семь нахожу, обхожу — начинаю поиск подвала во дворе, но тут только с торца милицеская точка (!), дворничьи помещения и прочие несоответствия (ни плакатика какого, ни граффити). обошёл дом и уже ближе к внешнему углу вижу нечто подобное спуску в котельную, но явно самодельного происхождения (Лимонов сам мастерил), притом узкий спуск. точнее — дальнейшее Лимонов делал, стройнавыки Штатов реализуя. котельный подвал, вентиль толстой трубы на пути и стоптанные ступеньки (те самые). захожу (плакаты из энтэвэшной передачи, но не там, где представлялись). сонно заглядываю направо в комнату: чехол электрогитары (типа «Урал») и сидит за столом напротив (видимо тот самый) Аронов, улыбается зубами курильщика. здороваемся. идём вглубь (пахнет палёными стенами), проходим пищеблок. подвально-котельными коридорами доходим до большой комнаты, в центре которой — груда бежевобоких барабанов Тактон (вспоминаю одношкольного Андрюху Белова из «Бродячего оркестра», на таких играл, но другого цвета были). сонно выволакиваем в предбанник установку. пахнет тут после взрыва-провокации фэсбсов горело до сих пор. одна комната оклеена «Лимонками», там на полу, видимо, спят и блудят нацболы. атмосфера то ли «малины», то ли штаба восстания, горелый дух усиливает романтичность бомбизма. бегу за машиной.

дохожу до набережной: юное лето, пусто, красиво. набережная бордово-красная. Изых массивными рустами сталинских домов почти безлюдна — вот вы, жилые памятники Эпохи. и только мы с нацболами, мы, партийные и беспартийные маргиналы, рок-коммунары, читаем, месяц за месяцем постигаем, вынимаем из ваших лепных узоров взглядами, вычленим серпы и молоты, врисовываем в наши знамёна и тащим в будущее это ваше монументальное послание Эпохи — что может быть социализм, что жильё такое толстостенное строить будут всем, а не только буржуям в виде особняков. все едут на дачи, никто не останавливается на изящные жесты. возвращаюсь — Аронов у выхода.

— Может, вместе будем ловить — ты там, а я тут? Попробую на Комсомольском.

уже бы надо торопиться, но состояние с недосыпа эйфорийное тёплотнее. дохожу до перекрестка — светофор, тут не остановятся. возвращаюсь, чертыхаемся. иду через бульвар: едет медленно дед на «Жигулях» — останавливаю его, прошу.

— Тут рядом: на Октябрьскую. Двести.

дед согласен в принципе, но не очень понял, что именно везти. лихо, против всех правил (даром, что пусто и безлюдно), через пешеходную середину бульвара, по кратчайшему пути, подъезжает к спуску в штаб как заправский старик-фронтовик (шОуфер). начинаем грузить, садимся. Аронов чувствует себя в машине как дома: развалился, закуривает. поехали. через набережную, под Крымский мост и на Остоженку. там сворачиваем за инязом.

в какой-то момент теряю нить пути и Пречистенка с прилегающими переулками кажется новым районом, невиданным, но старинным — желтодОмистая, площади какие-то. говорим о деньке славном, дед что-то про дороги и воскресенье говорит. боимся, не тормознут ли на подъезде к Октябрьской. проезжаем Крымский. Аронов громко, хозяйски и блатновато сплёвывает в окно. проезжаем тоннель под Октябрьской, там уже наши — краснознамённые. менты в автобусах, некоторые даже в зелёных касках, то есть, нементы.

сворачиваем за тоннелем как десятый троллейбус и выгружаемся над тоннелем, на газон. пошли за народом, чтобы нести установку. под памятником Ленину, пока созываю носильщиков, здороваюсь со знакомыми лицами, встречая ветер в волосы, натыкаюсь и на длинноволосого как на некоторых картинах Махно Алексея Цветкова: спрашивает, будет ли концерт, будет ли «Эшелон»? спеша с нацбольской подмогой за барабанами, отвечаю, что будет. диалог на ходу — фронтовой дух навевает. тащим барабаны, пробиваясь через густолюдье у Октябрьской радиальной, обгоняя по тротуару колонну АКМ и другие кучки, впереди стоящие. Анпилов что-то уже наговаривает в мегафон своей «газели». дошли до переулочка, сложили драмсы. долго вычисляем наш грузовик, потом договариваемся с Марьегоргиевской Медведевой. заступница наша, умудряется уломать уже разгоряченного предстоящим ораторством Гусева. барабаны благополучно погружены — в машине с незнакомой молодежью.

дошли до серого эпохального покровительства «Москвы» в душноватом полдне, словно с газами какими-то сладковатыми на Театральной. приходится молодняк в машине уламывать выдать нам барабаны. они отвечают за содержимое кузова. надо ловить за ограждением и автотрибуной Гусева, он пишет записку — «выдать». вип-комсомолец Сурайкин дал из-за ограждения малиновый пропуск, бегаю туда-сюда мимо продающих кассеты, книги патриотов и анти-семитов. сначала побежал не к той сцене, ближе к «Метрополю»: там будут матрёшки, рок-музыки не запланировано, а тут бы нам в самый раз и выступить. Серков торгует «Панфиловцами», подкидываю ему три кассеты «Эшелона». тащим барабаны с двумя упитанными ребятами из «Джови-Бови», где вечером играем. проносим через ограждение, сваливаем у автобуса со звукооператором. на автотрибуне тесно, много увесистых дядей, как и внизу. бизнес-класс какой-то. анпиловская «газель» вкатилась в толпу перед трибуной и завязалась короткая перепалка, но его отсюда не слышно. площадь полна до фонтана Большого и вширь. очень душно и как-то тяжело. в звукахёвском синем автобусе ни про какой концерт не ведают.

пауза, митинг закончился. то ли тучи сгущаются, но как-то совсем грузно ведёт себя атмосфера. дышать нелегко. после пересидки на лавке, начинаю суетиться с подключением. рассмотрев из толпы рупорные «колокольчики», из которых будет звучать рок, уже к концу пьяный Аронов накидывается на меня

— И это твой Уэмбли?! Где аппарат?

рядом подтанцовывают, готовые к драке, несвежие худые нацболы в чёрном, один очкаст. тяжело дышать, говорить и оправдываться, но Аронова утихомириваю. тянем провода в автобус, хорошо, что у меня один длинный. ставим микрофоны с большими желтыми набалдашниками. сход грузовиков голубых кузовов, образующих сцену — горкой, так что сложно ставить ударные, для ведущего вместо подставки — том-бас. микрофоны. один — на подзвучку барабанов. два — вокал. Заводнова стоит на трибуне в красном платье с золотистыми серпмолотами.

саундчек примитивный, короткий, все подстёгивают. Заводнова заводит вступительное слово. первые — «Панфиловцы». в динамиках-колокольчиках мало гитар, зато голос слышен. вторые мы. на середине отчаянного дёргания железак струн (тихо себя слышим без мониторов) сзади начинается ветер и короткий дождик, стихия подпевает нам. хорошо, что песни отыграны и автоматически текут. гляжу на Баранова на фоне неуверенных весенних листиков вокруг памятника Марксу и серой глыбы гостиницы Твоего имени — Ваня краснеет лицом, сильно напряжён в песне. тебе поём, площадь Революции, Театральная, вам — дома, которые в буднях деликатно разглядываю.

этот же вид на Большой театр и ЦУМ помню на военной фотографии в Свердловском райкоме у «Менделеевской»: тогда ты, Столица, словно тут съёжилась в противотанковых ежах, мешках и дирижаблях, на фотографии ощутима двойная вероятность истории, ожидание и худшего исхода, входа немцев. «Мюр и Мерилиз», ЦУМ глядит с той фотографии своим готизмом пре-

дательски, словно уже видит нездешнюю родню, оккупантов. на фото не просто морозно — там даже трамваи едут пугливо, осторожно, и на лицах наших бабушек и дедов по годам напряжение трагедии общей.

«Священную войну» как раз исполняем. мелкие капли и пыль подхлестывают нас сзади, но недолго. первые ряды за ограждением лихо вертят над главами чем-то тряпичным, пришли сюда после концерта «Эшелона» с «Обороной» недавнего в Улан-Баторе (2-го).

после нас — Аронов, «День донора». полуголый (до пояса), сутулый и перманентно прокуреннозубо лыбящийся Аронов вылезает и просит назад: меня подбасить «в ми» на трех рок-н-рольных аккордах, а Леху Петухова подстучать, что мы и вынуждены делать. поёт Аронов, сгибаясь в экстазе, отворачиваясь от аудитории — нечто поганейшее. «Насиловать и вешать, вешать и пытаться»... я присел с басом в районе бочки и лестницы с грузовика, чтобы иметь минимум отношения к выступлению. Лёха стучит с обычной улыбкой, но при этом недоразумительно смотрит тоже вбок, на меня. мУка длилась недолго — покривлявшийся под Сида Вишеза Аронов слез. «Анклав» взошёл и сыграл хорошо.

разбираем барабаны, выдергиваем провода. поторапливаемые милицией грузовики разъезжаются, пространство митинга и концерта уступает повседневности дальнейшее время. откуда-то «газель», с которой договорились Джови-Бовисты. кудрявый их эмприссарио, милый, чем-то романтично еврейский интеллигентик (до этого проводивший в клубе акустику Летова), не едет с нами. садимся в кабину с водителем — я и Егор Махоркин, а в кузов два гражданских (один весьма упитанный) хлопца из «Джови-Бови». укатываем с Театральной к Неглинной, вслед нам махают флагами и глядят. наш день.

ребята в кузове так и едут с поднятыми флагами: поэтому, когда мы проезжаем у Центробанка на Неглинной цепочку военных фургонов, набитых солдатами, они нам фыркают — «нельзя, убери». но кто их послушается? подъезжаем вдоль длинного древнего, выдавшего столпотворение на похороны Сталина, дома к Трубной. поворачиваем к Чистым и всползаем вдоль знакомых монастырских, кафе-барных подробностей бульвара, но с новым и победным настроением. красный агитгрузовик. шофёр нам с Егором что-то доброжелательно всё время рассказывает. едем за комбиками на базу на улице Макаренко.

день распогодился, жарок. метро «Чистые пруды» людно, светло. а мы едем и везём за собой дух митинга: флаги на ветру движения по бульвару. от Грибоедова оглядываются. едет Первомай. поворачиваем, где кружит вип-трамвай «Аннушка трактирная» в тени и бликах от деревьев бульвара. и, дожидая пока поток от Покровских Ворот разрядится, юркаем по трамвайным рельсам к улице Макаренко. быстро пролетаем по ней, забираемся в дворик Таривердиева. тут никого: воскресно, дворово-солнечно; иду за ключами, в тень дома. ребята спрыгивают из кузова, курят, говорят. с автостоянки ЛУКОЙЛа наш митинговый грузовик нехотя недружелюбно разглядывают два секьюритина.

известково-голубиный, влажный и всегда тёплый дух подъезда, широкие перила. ключи даны. возвращаюсь на солнечную пустую улицу, двор и отпираю

тяжелый замок во мрак. тут холодно. поднимаемся, стаскиваем комбики. мужики из «Джови-Бови» закидывают их в кузов, подтаскивают ближе к кабине, чтоб меньше трясти. теперь надо ехать за микшерским пультом, но сначала — к Егору на Таганку. ребята для этого не потребуются, договариваемся, что мы обернемся часа за два — и встретимся уже в клубе на Погодинке («Каучук»). смело и быстро наш бескорыстный комводитель выезжает на Садовое кольцо из переулков через Покровку. до Таганки тут близко, но он не умолкая что-то рассказывает, что приятно мне и Егору. речь о позорной демвласти.

Курский с толстой новостройкой без окон и дверей, мост через Язу... мы ведь против этого боремся, против пестроты этой враждебной — на растяжках рекламных, в щитах застеклённых. подныриваем под мост к Николоямской. доезжаем до церкви и нового здания Сбербанка, до Рабочей — рукой подать. указываю Егору на неуклюжую (как у динозавра одного растопыренный воротник) стеклянную крышу углового через перекресток, «отреставрированного» обычного домишки девятнадцатого века.

нас принимает Большая Коммунистическая, солнечная, летняя, густо лиственная. уютно, москОвски тут жить — хорошо, что Егор с Колей тут обитают. заезжаем в неожиданный двор, вылезаем, ждём. Егор просит на всякий случай пребывать тут потише и не подавать виду — родители не должны знать, что мы вместе... стоим как самостийные заезжие, привыкаем к покою. на одном из балконов — пожилая женщина читает, положив грустные ноги на что-то перед собой. пожилые, сероватые ноги, сохранившие все же элементы женственности. квартирность, выходящая в солнечный двор. гараж-ракушка, газоны, балконы, окна. болтаем с водителем. он шутилив, предлагает нам ехать на юг в его «газели», и там проводить концерты на колесах. взять всё необходимое из техники и ехать. как тут тихо, спокойно — ни отзвука нашего шествия, митинга, концерта. только начинающееся, робкое лето, тепло таганского закутка. но это награда за наше выступление, подпитка родным, тёплым, уютным. неожиданным, необычным, но родимосковским. вот и Егор, недаром долго ждали: несёт пакет с едой.

соки и глазированные сырки: «минимально подкрепиться». такие мы — и революционеры, и детки, которых надо подкармливать всё же. мы катим к Кузьминкам. не хочется уезжать из лиственно-переулочного уюта Большой Коммунистической — в этот день и ее название звучит логично. но — катим снова к Таганке. при выезде и появлении впереди высоченного жилого ар деко-памятника с сияющей синькой задника верхних мансард Егор заметил своего знакомого в майке «Кино». зовёт его на концерт, объясняет, как доехать, пока мы стоим на светофоре. медленно тут, солнечно...

мосты и МКАД, на «бардачке» — прозрачно-шуршащий пакет со снедью, которую мы медленно поглощаем. поехали путём, каким мы отвозили газеты в Люберцы. логичное летнее продолжение весеннего прорыва, тогда из холода и города — к капели и солнцу, кидать газетные пачки на конвейер. но теперь уже начинающимся летом проезжаем — знакомую по звездам в отделке избу. Значит, Люберцы близко. и здесь осталась Эпоха, говорю Егору: воевавший, ви-

димо, ветеран навыврезал в наличниках звёзд своей и Сталина Победы, оставил украшения в своём селе — чтобы помнили. гордая избушка. но мы не доезжаем до Люберец — заруливаем в квадратное Новокосино. колесим теперь по микро-району — высокоплечему, такому, какие мечтались и Корбюзье, и советским проектировщикам, последним, восьмидесятникам. хитро поворачивая, медленно через двор, едва не чиркая по гаражам, крадёмся к подъезду, Егор звонит по сотовому. деревья колыхает несильный ветер. уже прижились к кабине, перекусив, разложив тут остатки перекуса. дождь, пока мы колесили, выезжали на центральную улицу, надвинулся: потемнело, и ветер продувает свежо. Егор из панками да арийцами исписанной двери подъезда вытаскивает микшер с другом, грузят его в кузов, оборачивают полиэтиленом, отправляемся.

на обратном пути, перед поворотом на выезд — вижу дочку учительницы девяносто первой школы, учившуюся на два курса меня младше в МГППИ. Юля, кажется. она меня узнает не сразу, я же пояснительно ей комментирую мимикой нашу «газель» с кузовом, набитым звукотехникой. да, это моё прошлое — аполитичное, институтское, а мы везём уже другое, будущее время, свой концерт везём, большую политику. полило, но слабо, капельки мелкие, острые. хорошо, что брякающий в кузове микшер обтянут плёнкой, в какой продукты продаются. деревья тут в микрорайоне подмосковные, наивные, густые — не жжённые выхлопами. под дождём разволновались — но, скорее, от ветра. возвращаемся замысловато, через Шаболовку, уже наговорившись, молча. мы с Егором в разговоре бьём в самую суть — по власти. шофёр добрее нас, молчаливее в этом, но поддерживает. и всё же настаивает на агитпоездке в Крым. весёлый, неунывающий водила...

здесь будут уже летние правила: военакадемия Фрунзе с БМП на возвышающемся постаменте для футуристского танка, бюст Фрунзе слева перед уже струящим фонтаном, а справа вслед за серпами и молотами вросшими в пятиконечные звёзды фундаментальной белой стены фасада (на чём зиждется Красная армия — на союзе рабочих и крестьян, ибо исконно она РККА, потом Советская) над входными дверьми военного массива светятся ордена Ленина, СССР, Октябрьской революции и видная краснотекстовая надпись на ордене — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» посмотришь на это наследственное оформление цитадели российской армии и согласишься, что она с нами, раз так бережно подкрашивает коммунистические награды.

увозит от этих красот дальнейший налево поворот, ведущий к бывшему клубу завода «Каучук», где мы под сенью новых листьев с тобой не пройдем, где я везу эту аппаратуру, чтобы повторно шарахнуть в вечер Первомай нашими огненными революционными и советско-патриотическими песнями. а ты, не моя уже девочка — за Новодевичьим отсюда, за Ленгорами, на улице Марии Ульяновой. к тебе я пойду в конце месяца, после всех этих боёв...

и завершится грустный финал нашей с тобой части поэмы Столицы — я узнаю, что ты не моя девочка, что у тебя в столько раз изласканной всеми мои-

ми средствами нУтри неизвестный мой тёзка оставил то, что я так бережно удерживал, что ты ждёшь дитя.

вернись, радреал — для неё, для моей девочки в последний раз, расскажи это.

позвонила и позвала вдруг в гости. перед днём рождения своим. приехал в летнеющей весне, путаясь в догадках. заходила последнее время только ты к нам, редко, со своего цигуна, восточной гимнастики-практики мне мало понятной, от которой у тебя болели мышцы и кости. да, время легло между нами и растолстело за годы эти так, что встерча и ласка невероятны. мимо белых девятиэтажек дошёл быстро и волнительно до твоего здешнего двора, как-то утомлённо, вынужденно поднялся на лифте, где ещё сохранился огрызок наклейки с мультдивой, чем-то напоминающей своими ногами твои. трепетно приблизился к двери в нише, соловьино залился звонок, Маруська узнал сразу, обрадовался. глянула родными подзабытыми глазами. ты почему-то в комбине-зоне ходишь дома джинсовом. позвала сразу погулять. пошли, без Маруськи, твоя мамУшка как-то особо задумчиво улыбнулась нам вслед. ещё до лифта сказала ты, что ждёшь ребёнка, что у тебя другой...

Надеюсь, не такой разгильдяй, как я?

— Знаешь, мы хоть с тобой давно уже... А сейчас всё равно трудно сказать. Да, у меня будет ребёнок, вон уже видно. Да, парень есть, муж будущий.

— А зовут как его?

— Ты всё равно не знаешь... М-хмм, Дима...

что ж, последняя попытка, её я вынесу — хотя тут трудно сохранять спокойствие: как бы мы не были далеки, но чувствовать, что рядом со мной идёт уже не моя девочка, — тяжело. даже не в животе дело, и волосы, и походка, и само бытие рядом, сбоку при ходьбе стали какими-то чужими. ты не моя девочка. именно в эти слова собрались все ощущения. и идём мы теми же летними путями, что бегали играть в бадминтон, ещё вместе, ещё развивающие нашу поэму, узнающие друг друга в этих дворах, у школы, на баскетбольной площадке. а теперь инфраструктура микрорайона представляется совсем другими точками — плавно и логично выплываем к женской консультации, мимо которой прежде проходили с каким-то детским затаённым уважением и страхом, а теперь..

— Я тут живу потому, что всё рядом, удобно, консультация. Ну, в общем, там у меня не всё в порядке, не всё как надо, поэтому нужно часто показываться...

мог ли я предположить, что эта казнь будет такой медленной и бо́льной? ну, давно же не моя девочка, давно вне любования. далёкие, невидимые друг другу, сходящие с общего нашего недолгого ума по разные стороны насыпи — ты в религию и цигуны, я в политику и рок-коммунары. как шутил сквозь бороду, не выпуская трубки из зубов мой психологический научрук Борис Эльконин про занятия сына каратэ со мной в обной секции на Соколе: «Да, каратэ-марате — занимался-занимался, и вот меня дедом сделал». но отчего какая-то тугая серая масса придавливает с каждым твоим спокойным словом у хрущоб вашего микрорайона, где ты вынашиваешь по путям наших счастливых шагов не моё дитя? вот тебе, шалопай, расплата за революционные игры, за повторное под-

ростничество твоё потешное — другие уже в семьи сливаются, причём, с твоей прежней девочкой, с твоей изящной Тайной. и вот она не твоя. даже не глядя, это чувствую, просто шагая рядом. не моя девочка. твой неявный под комбинезоном живот — как ком внутри меня, не проглотишь...

и зачем ты берёшь меня под руку как прежде — легонько, деликатно, нежно? вот самое болезненное, самое безжалостное сжатие. пытаюсь отвлечься от этого сбивчивыми рассказами о своих случайных любовницах-журналистках и...

Всё как в фильме «Стена», Пинк Флойд, если помнишь такой. Пошёл в политику, стал журналюгой. Случайные подруги только усиливают жажду настоящей, единственной, как ты.

— Да ты ещё обязательно встретишь свою...

— Не думаю. Сбился прицел...

входим в тенистую вотчину когда-то наших с тобой троллейбусов тридцать четвертых, где они вместе с нами отстаивались и ехали к универу. твой переезд сюда успел прожить с тобой вместе. что обещало оттуда, куда звало нас время? когда мы стояли посреди проспекта Вернадского после твоего дня рождения и ты говорила в моих объятиях, что хочешь, чтобы так было всегда, а потом плакала, и мы глядели в цветные переливы мокрого майского асфальта, встречали вечернюю шеренгу-лесенку поливальных машин. ходить в парк Пятидесятилетия Октября, его топографию, кусты смешивать с нашими уже разламывающимися в долгих разговорах чувствами...

но теперь всё ясно, спокойно: переходим проезжую часть под ручку. к серым трущобным общежитиям с подгорелыми окнами и искусственному пруду. вон с колясочкой едет девушка. нормально это. я вот ненормален. вон меня из нашей с тобой поэмы. а сейчас, только на время, встал в правильную ролевою позицию — встречные думают, что всё нормально, беременную (ух, жажнуло факт-словечко по уму) ведёт молодой человек.

веду, выпуливаю тебя и твоё дитя вокруг общежития. и незаметно вкрадывается забота о тебе, чтобы голова не кружилась при виде высоты над прудом, девочка... не моя. вот такая среди прочих тут прогулка наша. и ощущение — вне позитива и негатива — конца. финал всё тянувшейся последней, самой невероятной, ожидавшейся друг от друга, надежды, самой тонкой нити... что там белорус Селиванов пел: «Последней умирает не надежда, последней умирает лю...».

ты скромно и мало говоришь про избранника, словно не хочешь тревожить — его или меня. смена, тёзка... ну, не смешно ли ревновать к давно оставленной тобой женщине неизвестного человека, товарищЧ?

возвращаемся. эффект завершённого действия. идём не к дому, а теперь ты меня провожаешь — к двадцать восьмому, где всегда расставались и я увозил своё счастье в долгий путь мимо уютно светящихся окон до университета, Ленгор и Садового кольца: над Тобой-рекой вёз, всё сберегая в памяти траектории поцелуев, ласк или нижние ощущения, ещё остающиеся на мне.

нет, сгорело, высохло. разговор наш — опять детский, не взрослый. только детей уже чужих. и, знаешь, по-моему, мне не показалось, но когда мы сидели

на солнышке у голубятни за училищем (тебе нельзя долго ходить теперь без отдыха) — что ты не нашла у него чего-то другого, сильнее моих ласк и любований. это просто было нужно как событие, этап — а поэт не входил в роль никак. не подходил. поэтому и за кадром оставила избранника. говоря об одиночестве том же, что прежде. мой одинокий человечек с новым внутри. так и оставляю тебя без полагающихся мелодраматических переживаний с моей стороны. уйду спокойно, не скрывая непростимости нашего разрыва как факта. но с тихой дрожью внутри — просто по поводу Реальности, так завершившей нашу поэму.

и по вашим бульварным тропинкам мимо хвойных и лиственных, вынужденно попадая взглядами в собачьи фекашки на газоне, идём вниз, к проспекту Вернадского. там слева в ларьке у первой белой башни за остановкой покупаем разливной квас, садимся на железную ограду-трубу, договариваем. случайности говорим, про квас, который где-то лучше... тебе не интересны мои дела, они совершаются в параллельном, моём новом политическом мире, который, может быть, коснётся всех судеб твоего и не только этого микрорайона, а я сторонюсь глядеть на тебя новую, не мою.

какие были расставания у других — история сотрясается от эмоций! а мы — сидим и пьём квасок за ларьком, детки. кормишь невидимо этим напитком не моё дитя. в этом — несказанная грусть, нелепость, финал весенний того, что летом начиналось давно, в прошлом теперь веке.

метко, цивилизно по пути бросаем прозрачные из-под кваса стаканчики в коробку под ларьком и — к остановке двадцать восьмого провожаешь меня, девочка, будущая мама... на этот раз троллейбус быстр, знает, что сцена не должна затягиваться. сколько раз ни махал тебе «до свиданья» в заднее стекло — а теперь не скрываю сочувственной улыбки, сопереживания не любовника, а товарища некоего: в комбинезоне с ношей будущего человечка ты выглядишь именно так, что улыбка заботы на моём лице — прощание.

ещё сегодня я умел в уме ругаться, молча сопротивляться видимому по пути к тебе в двадцать восьмом: злиться на олигархов, высасывающих национальное достояние из общей земли при виде бензоколонки, на высоченные дома почему-то, на рекламы. но это всё скомкалось — сейчас-то я оставляю позади кусочек своей прожитой жизни. и оставляю так, будто ничего не было, не прибавилось и не убавилось. только стали старше. только ты станешь матерью не моего чада. к лучшему? вот вопрос без ответа. помню только, как были живы, магнитны наши чувства, наша притягивающая на всём расстоянии от Петровки до улицы Марии Ульяновой связь, когда я сбежал прямо от твоей двери. второй зимой, когда ты сказала в момент сборов наших куда-то, что, когда будут силы, разорвёшь нашу ненастоящую по-твоему связь. выбежал из твоего дома и пошёл по начинающемуся холоду — до Ленинского проспекта пешком по всем дворам попутным. а дома уже ждала телефонная трубка и ты в слезах — мол, я последний шанс, и я тебе в такт — и только бы всё вернуть назад, и возвращали...

но — кончилось, товарищЧ, теперь совсем.

в обратную сторону, от тебя, к себе, забирает меня Столица — путём возвращения по мосту с Ленинских Гор, но нет уже справа железнодорожного, а есть автост. и над круглыми «Лужниками» купол по левую сторону троллейбусного спуска. возвращаюсь из твоего мира и района нынешнего в не нашу, но в мою одиноко-суетную весну. на час вернулся к струне наших чувств, и назад — на побегушки.

оттулявших в центре с тобой по крышам, нас Столица развела — меня в центре оставив бегать, тебя за Горы Воробьёвы заселив. вынула тебя из своего центра — и положила ждать рождения не моего ребёнка за Собой-рекой. но без наших путей, неожиданных проникновений в подъезды, на крыши, в незнакомые двory и простенки — я продолжаю читать Столицу, теперь уже её последнюю Эпоху, после нашего с тобой ветвистого ласкового модерна — советское, сталинское в ней. и дом на Космодамианской набережной, во флигеле которого наша редакция подвалится — как ключ к этому новому тому, узорно оформленному и имеющему замОк как на древней книге, на замке выпуклая пятиконечная звезда и открыть его сразу не получается.

наши миры разделились как раз тогда, когда их полная параллельность перешла в новое качество, в новую жизнь в тебе. и даже мысль не тянула к рисованию прежних ласк в тебе, отторгала, когда шёл с тобой рядом там, в ваших дворах вдоль проспекта Вернадского. вдыхающееся в Столицу лето влекло к этим домам — ещё с зимы периодически по трамвайным путям в сторону Павелецкой посылаемый то за картриджами, то за другой канцелярией, я побрёл от Новокузнецкой к Садовому кольцу, к Добрынинской. и увидел пыльную цветущую, шумящую Садовым весну среди этого мало привычного взгляду множества домов, её обнадёживающее дыхание на дурную, словно простуженную, выдернутую из омота наших взаимоотношений, голову...

теперь мне открываются друг за другом дома моей Эпохи — те, под которыми мы с тобой были, вдоль которых от Маросейки нас проносил ветер взаимного узнавания в ласках. тогда не вглядывались, мы видели друг друга: глаза, опять глаза, каждую секунду и — через внезапную радость от дуновения или от одновременного попадания взглядов на предмет — пыль, давленные пластиковые бутылки, но не дома. мы просто были под ними, они нас забирали в тень, в арки. какого времени дома? сплошной слипшийся текст. теперь я его вычитываю в политику, в свою судьбу, в жизнь с народом, в чувства с ним. теперь, без тебя я с ними, с этими домами, нежен взглядом, степенен в визуальных ласках, как с тобой. любованье ими после тебя — вот моё время и пути здесь. вижу как вверх, вслед за синагогой и закутком «Советского спорта» выглядывает прямоульно, конструктивистское начало эпохи — большие окна, чтоб всем было светло, чтобы только свет...

обратный здесь путь, на работу со стороны Лубянки — спускаясь в лето по Спасоглинищевскому с великолепной перспективой коммунизма, обозначенного в пятьдесят втором нацеленной в небо высоткой. возможно, по этому

же пути двигался на свою работу на Солянку мой прадед век назад, только не пешком — в экипаже, наверно. здесь мостовую уж сделали — не просто улочка: ведь синагога тут. и табличка мемориальная под стать (перед ответвлением от переулкa в сторону бульвара и сталинского дома с Комусом, магазином, где я зимой покупал на часть зарплаты самоклеяку джет-рэд для своих стихов-агиток) — Абрам Ефимович тут жил, архитектор: взял я да и завёл почту под таким именем и отчеством с пафосным адресом left@front.ru. всё жаркое, трактирное в такт Реставрации, но лиственные выглядывающие из дворов кущи — всё зовут, зовут и за Новокузнецкую уходить, согласно редакционным заданиям, конечно, искать канцелярскую ерунду там.

и здесь обнаруживал всё новые себе послания архитектурные, стенные, домОвые: в одном стекле подъезда на Пятницкой, старом, многоугольном, с огранкой по краям — нашёл круглый в лунке след от пули, возможно, с 1905-го или 17-го. ранее, только отходя от метро, нашёл дом конструктивистской поры грустного фисташкового цвета, с коммуналками и низкими потолками — дом какой-то ужавшийся из-за частнособственнической трактовки балконов: общие длинные линии балконов поделили на отдельные скворечники, застеклили по-разному и получили уродство. вот олицетворение непонимания нынешней эпохой частных, личных скворечников — эпохи общих гнёзд. непонимание рубежа 1920-30-х, начала другой, прежней Эпохи, когда противоположная тенденция побеждала, объединяющая всех на общем длинном балконе, да и из коммуналки было логично выйти на общий не разграниченный на сектора балкон. а этот коммунальный дом, если возвращаясь назад к Новокузнецкой по Пятницкой глядеть: вырастает уже в другую по масштабам историю советского зодчества, хотя и разделяет их рождения менее десяти лет. номер у них общий, конечно же, четыре. бордовый неоклассицизм высится, с высокими потолками, угловыми, но уже не общими балконами (в этом доме жил гитарист рок-н-ролльщик и потомственный художник Лёша из проекта «Вельд» сорок четвертого года, в котором на барабанах играл другой Лёша, Касьян из девяносто первой моей школы, из класса Минлоса, такой ленноноватый длиннорукий малый, хайрАтый в очках).

здесь уже период изобилия и гордости достижений — мол, можно позволить новую роскошь на Пятницкой после победы над трактирами, над нэпманами и прочей контрой, ведь скоро она, такая красота, будет у всех. кто-то дома эти называет буржуазными, но я вижу в них изобилие и прообраз того всеобщего, а не только для избранных, богатства, которое обещала сталинская эпоха. наша же Постэпоха постконтрреволюционная уже не обещала богатств со-труднику-посыльному при «Независимом обозрении».

Усманов умерил свой политический пыл на новой должности и жёстко редактировал мои тексты, а чаще вообще их не пропускал — как девятого мая, например. пытаясь угодить угадываемому им вкусу Игошина, Усманов всё снижал пафос «красный» и подбавлял в газету общечеловечинки. но приход шестидесятника Бархатова неожиданно позитивно повлиял на мою журналистскую

карьеру: после встречи с Геной Селезевым, катающимся как сыр в масле теперь, Игошин получил упрёк: мол, мало патриотики, мало советских актёров на полосе «Культуры».

новый «культурист» Шабашов, в бывшей кухне (новой корректорской) надолго развеселивший при знакомстве легко заводящуюся хохотушку жену Усманова, а значит, понравившийся и ему, был нормальным представителем своего поколения — увидевшего все прелести буржуазного ассортимента как раз после тридцати, когда непонятый ими советский аскетизм уже вызывал у них аллергию, как это выразил Жванецкий. но с директивами сверху, хохловато копирующий разговорные обороты Жванецкого, напоминающий вечно весёлого кота рыжеусый Шабашов не мог не согласиться. так, после выдуманного мной интервью с Василием Лановым, снискавшим не только высокие оценки, но и гонорар, дотянувший мою получку до пятёрки тысяч, я получил от Бархатова задание, с учётом моего страстного желания — интервьюировать Марианну Вертинскую. не только задание, но и телефон из книжицы упитанного шестидесятника Бархатова.

пора наваливающегося лета заставляла работать в новом режиме: я попросил у Усманова возможности дачного существования с обязательным приездом в понедельник и среду для развоза газеты. Усманов посчитал на пальцах и сказал: «И ты за два дня в неделю хочешь четыре тысячи получать в месяц? нет, не пойдёт». значит, размер моего оклада не был таким уж секвестром установлен только в Холдинге.

о, Ибрагим — начинавший в «Совраске» точно таким же репортёром на побегушках, ставший замом Чикина вскоре... сильно меняет положение к подчинённым отношение. сам в «Совраску» он пришёл с улицы, до того занимавшийся челночничеством «на территории бывшего» — на новой оранжевой кухне как-то развспоминался про некоего директора колбасного завода, который требовал ему достать из-под земли белковую оболочку для колбасы, за которую бы навару Усманову на всю жизнь хватило. такие отображения новшеств девяностых: действительно, колбаса не сразу продавалась с белковой оболочке, сперва, после контры, в начале девяностых — в крехалоне, в душном пластике. взял Усманова восхищённый реализмом Чикин за репортаж из зала ожидания Казанского вокзала — Ибрагим попал пальцем в небо, заночевав там несколько ночей, наблюдая разборки местных мафий «носильников» и бомжей, как со звуком пустого стручка упал отрезанный палец у бедняги бомжа, схватившего за лезвие огромный нож разбуженного и резко разозлённого им коллеги... а нынешним летом Ибрагим возвысился над прошлыми мрачными буднями середины девяностых.

но, добавляя забот по работе, радость лето не забирало: дворы нового обиталища медленно обживались и взглядом и шагами товарищ Ча, барельефность посланий главного, центрального дома 44/2 становилась всё ближе. новая манера — дойти до магазина «Продукты» налево за аптекой, за углом, если выйти на Садовническую улицу, а возвращаться как бы по кругу: зайти снова налево за угол и, оказываясь в подворотне дома тоже сталинской поры, через

двор, огибая внутри спортплощадку, где только пьянствуют — в редакцию, в родной плохо проветриваемый подвал. оказалось, тут военный целый квартал, ТВ подсказало: дом, в подвале которого расстреляли Берию.

рабочим днём — иду купить салатиков. эволюция вкуса в соответствии с появившейся мало-мальски покупательной способностью была: от ватрушек и сочников с кефиром или фругуртом зимой и в марте — к салатам в круглых пластиковых мисках в жару, коими в те годы питались и иногда травились очень многие офисные и государственные служащие центра. вокруг — двор нового моего трудового обиталища, красота: высится бордовый внизу мощного руста сталинизм, тренировочная дощатая пожарная вышка во дворе, если с Садовнической пойти к мосту — гостиница «Россия» выглянет из-за церковных устремлений с той стороны реки. салатки в продуктовом магазине, вечно набитом солдатами из соседних казематов, покупающими макароны в основном — чаще оливье или «столичный», можно сельдь под шубой или острую маринованную морскую капусту, к круглой закрышенной миске дают пластмассовую вилочку, салфеточки и пакетик майонеза «Скит» (реклама его в моих электричках, уже типовой плагиат на красный плакат, рабочий после представления рекламируемого им товара «Компания Скит, майонез в красном», спрашивает: «Ещё не пробовал? Напрасно». идиотизм новорусской жизни тут сказался вполне: монастырская эстетика, скит и пролетарский слог, красное — могли объединиться только в контрреволюционную пору, вполне прохановский такой симбиоз, кстати). стоишь в такой очереди вместе с пожухлыми грязными солдатами и думаешь: всех денег причёсывает на свой манер, в одну очередь отоваривать выстраивает — их свои или выданные гроши макаронами да меня с позволяющей такие салатные излишества зарплаткой.

когда из моей поэмы вышла ты — я стал чётче, полней вчитываться в её текст. слово как мера бытия, вычитанная из домов подробность — понимание времени. я стал уверенней соединять события века и их запечатлённость в стенах.

заметил, что самые глубинные и откровенные сны чаще отражают сезон диаметрально противоположный: зимой снится лето и наоборот. вот и теперь — последствие купленной зимой лимоновской «Книги мертвых», запоздалое, задумчивое. 21.06.2002.

зима, ночь и какие-то бараки. долгий разговор с коренастым весёлым Лимоновым. говорим серьёзно и насыщенно, но он все время вроде занят чем-то другим и подстёбывается надо мной, юродствует внутренне и всерьёз, в ответ только как бы разводит руками: мол, мало всего этого, хорошо говоришь, но этого мало. вокруг какой-то народ, возможно нацболы, полутолые парни, что-то носят, готовятся к застолью, суетятся с неуклюжим чайником.

потом Лимонов говорит: «Хорошо, говори, продолжай, но только теперь не мне одному — тебя все будут внимательно слушать и серьёзно каждое слово оценивать». говоря это, он, наконец, делает то, чего я опасался: оте-

чески поднимает одной рукой вверх под потолок, на какие-то стеллажи или нары, и я из серьёзного внизу собеседника становлюсь посмешищем, все глядят вверх.

после этого я иду за подарком Лимонову. уже открытую бумажную пачку чая «Лимонов» несу, а по дороге, остановившись в глубоком снегу, общаюсь и, говоря, щупаюсь с сидящей в сугробе молодой, кругло-, но мягкогрудой девицей, она невесела, меланхолична, лицо несвежО. надо как-то объяснять имениннику, что пачка, конечно, не нова, но главное в ней название.

дни активной силовой работы начинались как и прежде с утра — так что тайком выехавший на дачу товарищ Ч вынужден был чуть ли не в семь выбегать прямо из волглой дачной кровати в сторону поезда. от Новокузнецкой путь уже знаком и уверен. иногда иду по правой стороне от трамвайных путей, где Мастер-банк, магазинчик компьютерно-комплектующий, (куда я бегаю за Интернет-карточками), и любимый грудастой тёщей бая супермаркет «Ням-ням» (она произносила его название особо хищно раздувая ноздри). спортплощадка слева от трамвайных путей кипит футбольным азартом, листва скрывает пробежки и выстрелы мячом. жизнь такая — если учесть моё погружение в архитектурный сталинизм и эстетику Эпохи — словно не капитализм и не миллениум, а тридцатые — пятидесятые...

но нет, конечно, выходя из-под листвы к ларькам, где покупал зимой слойки-сочники, к которым добавились пивные вагоны — видно, какая эпоха тут, торгово-капиталистическая. знакомо приветствующие следящий за шагами взгляд люки — ТСОД девяносто восьмого, словно транскрипция барабанной фишки: «ТС» — закрывающийся хайхет, «О» — удар по ведущему и «Д» — удар бочки... и другой дальше, почти на мосту люк с буквой «В» и окружающими её волнами, словно говорящий о том, что под мостом вода... угловой на Садовнической дом пять (на железном чёрном по белому номеру восьмерки закрашены боковины и получилась пятёрка), мимо которого прохожу постоянно, у которого словно остановилось время вместе с грузовичком стоящим кузовом вплотную к дверям загрузки на задворках, такие школьные завтраки развозили — запах древесной старью, его начинают опустошать. не помогает и пароль начала девяностых — сизоватые квадратики кока-колы (генерального спонсора всех вывесок постсоветских магазинов) с боков старосоциалистической по звучанию вывески «Овощи-фрукты», но с уже изогнутыми клинковатыми зелёными нетолстыми буквами прописанными, начала девяностых наивность в раннекапиталистическом шрифтовом стиле.

как расцвела, зазеленела Садовническая: стали заметны и новые подробности — наклепной барельеф Осавиахима «Крепи оборону СССР» с винтовкой, самолётным винтом, противогоазом и окантовывающей шестерёнкой — на противоположной институтской стороне улицы, на двухэтажном домишке девятнадцатого века. здесь, значит, и был пункт сбора добровольцев-ополченцев в

1941-м. окна сверху старого дома, под которым иду, с магазином запчастей который — настежь свою старинность. хорошо, что его ещё не постигла судьба углового, который то ли пять, то ли сорок два — вывески спорят: старая, годов семидесятых, и новая. соблазн пройти не через арку, а через сад и мимо особнячка, укрывшегося за плечистой сталинской громадой. как они нежно и преемственно вместе смотрятся: жёлтенький классицизм словно бы дедушка, предок неоклассицизма, размахнувшегося выше — и вслед за барельефами мифологическими, божественными, к небу поднимаются барельефные полненькие советские колосья, над которыми возвышается с колоннадой башенка для обзора успехов социалистического строительства. и как сильно оно превзошло после войны ожидания этой спортивной и неоклассицистской одновременно башенки со шпилем устремлений 1930-х в коммунистическое будущее — напротив через Тебя-реку взяла да и взвысилась, развернулась большими плечами высотка, и звезду, которая есть и тут в ритмичной отделке башенки, вознесла на шпиле на порядок выше. узорно выющиеся декоративные опоры этого бока здания выпускают к редакции. в глубине придомовой линии на лавочке у подъезда, где обычно местные бабушки сидят, расположился с чашкой любимого кофе и сигаретой сибарит Шабашов, вдохновляется перед вбарабаниванием статьи в подвале.

у входа в редакцию, уже имеющего на зелёной железной двери с телеглазком наклеенный логотип «Независимого обозрения», такой же, какие катались в метро, я поджидал нашего возницу — моего комсомольского товарища Ермолаева, старого товарища по ЦАО. едва познакомившись со мной в нашем окружном на Остоженке, он — чтобы по душам, по-коммунистически поговорить обо всём творящемся в партии — отвёз меня в свои края, за Таганку, прямо к жёлтенькому двухэтажному дому, где жил и работал Маяковский, о чём на стене сообщала белая табличка тридцатых и, словно печать, подтверждал её текст люк внизу на тротуаре «Телефон — НКС», а на стене примыкающего дома тоже тридцатых годов большие померкшие белокаменные буквы в бордовой штукатурке: «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс» (это же мог бы сегодня сказать и Пелевин браткам). с ним закидывали пачки в багажник его белой «Лады»-пикапа и ехали в центр.

приятно уже уверенно сознавать динамику того, что произойдёт с газетами в течение дня. взлетаем на мост у серого правительственного дома на набережной и падаем к подножию Боровицких Ворот, замечая и выглядывающую со стороны Гоголевского бульвара с пятиконечной звездой башню «Пентагона», и звёзды Кремля, будто в нём советская власть всё ещё. первым делом — Дума. учитывая жару, товарищЧ был вынужден идти на забавные хитрости в связи с Думой, о которых ниже.

чтобы не держать товарища Ермолаева долго, пока по Думе буду раскидывать газеты, ехали сразу в обком за Белорусский вокзал. но перед этим четыре пачки или более товарищЧем забрасывались в знакомый первый подъезд и ждали там его возвращения: по знакомому выпуклому люку к дверям, десять

ключ девять один четыре один, словно фортепианный этюд двумя пальцами грациозно — внутрь в духовочный газовый уют, тут летом прохладно, и направо за краснодеревый дверной шкафчик входа — стопку пачек.

затем ехали бомбить газетами Совет Федерации по Большой Дмитровке. военный в бронежилете, следящий за парковкой, всегда настораживается — но мы уж откровенно: мол, товарищ начальник (так Ермолаич обращается чаще всего и ко мне), вот не гексоген же, газеты, пять минут постоит ермолаевская «Лада», и поедем. на прежде глухом торце здания отделения милиции (часто заметающем наших после акций в центре) впереди, где ныне в куце-классицистском стиле «реставрасьОн» окна на верхних этажах — помню в детстве криво-звучную недорифмованностью советскую рекламу, наивнейшую в отсутствие буржуазной мотивации: «Такси — все улицы вблизи», вокруг такси зелень, и красивый таксист едет к вам, крепче за баранку держись шофёр.

в СовФед нас пропускают сразу, и газету кладём недалеко от турникетов, металлоискателей. ловко с Ермолаевым орудуем ножницами — и открывается очередной заголовок (например — «День победителей», где на втором плане фото передовицы за ветераном отчётливо читается мужественное лицо всё того же товарища Ермолаева с флагом в руке), хватают бесплатную красно-коричневатую первой полосой газету обитатели СовФеда. так вот наполняем своими, с трудом впикиваемыми даже в собственную газету статьями, суждениями, лицами, идеями эти государственные стены постройки годов восьмидесятых, но нынче забывших герб СССР и стоящих под двуглавым. замысловатые вращающиеся двери часто служили преградой вбеганию нас с несколькими пачками или тележкой. оттуда, запустив хождение наших газет по кулуарам Сената, — снова на прямую линию нашего следования, на Тверскую. уже привыкшие к приветствиям экранов реклам на Пушкинской и вывесок домов Тверской, мы всякий раз говорили с Ермолаевым о наших делах текущих.

— Димон, но когда закон о земле будут в Думе принимать — мы обязаны выйти по максимуму. Тут уж все силы надо стянуть, горком требует.

— Обязательно и АКМ подтянем, всех соберём.

— Куваев предупредил, что, возможно, все это будет в режиме несанкционированности, так что надо готовиться к бою...

ах вы, неоклассицистские домики Тверской улицы Горького, идущие вверх к Пушкинской и к Белорусскому от нашего четвёртого! сколько эпох вам тут пришлось пережить... и строили вас, нежно копируя прежние низкорослые очертания (книжный магазин «Москва» точь-в-точь верхом копирует три крыши-домика прежней аптечной двухэтажки), выравнивали по новой линии, и стояли вы гордо, глядели в Эпоху, на дома дореволюционные, на тот же Елисейский или Филипповскую булочную путан-модерновую своей широкой и по-другому изобильно украшенной серой плоскостью — а теперь на вас рекламы понавешивали, нахлобучили то, против чего и вы, и население ваше не выстояло, соблазны буржуазные, лейблы. а началось с чего? с кока-колы. это Г. Г. Марке-

са ведь статья-то была про километры СССР без единой рекламы кока-колы. так вот Горбачев это дело отменил: и на Пушкинскую площадь стала смотреть с крыши серого углового над «Арменией» эта неоновая ещё реклама, как бы притворяясь и полезной — показывая время и температуру специальным циферблатом внизу. полосочками горизонтальными как бы наполняя стакан, контуры букв логотипа.

заполонил новый буржуйский мир реклам центральную, главную улицу, по которой и на фронт шли в сорок первом, и немцев гнали от Белорусского. по которой мы теперь в дни праздников идём со знамёнами красными, революционными и победными — чужие уже, особенные среди тех, кто принял триколоризм. Пушкинская теперь взъёжилась не только рекламами, но и экранами: там в голубом Волочкова вращается, зазывает на свои балеты, вертятся другие ролики перед отупевшим зигзагом бывшего фасада «Известий». «Известия Совета народных депутатов СССР» — остался ещё барельеф сбоку на новой части здания газеты. уже и не газеты, а издательского комплекса. за что боролись — на то и смотрим. входные двери самой либеральной из газет — теперь стали задворком «Ёлок-палок».

о, тревожное место, площадка перед «Известиями» — тут и панки показывались народу в конце 80-х, в конце Эпохи, и марш генеральских сынков-мажоров с эсэсовскими нарукавниками проводился под присмотром КГБ... что ж, теперь результат налицо: глупая свалка зданий — своей задницей с вентиляцией ресторанных запахов «Елки-палки по-татарски» упёрлись в двери «Известий», воспевавших реформы и рынок. до того, как пристроили к зданию «Известий» первому, конструктивистскому в брежневскую пору то, на боку которого «народных депутатов СССР», стоял конструктивизм аж до шестидесятых бок о бок с невзрачной длинной светлой (на чёрно-белом фото белой почти) двухэтажкой. элемент сумбура и дореволюционности вносился этой рухлядью, а когда у конструктивизма появилось продолжение эпохи «развитого» — широкая площадка перед выходом из метро, под «Известиями» выставка новинок техники — всё выглядело подобающе центру того, советского времени (хотя в те витрины чудес отечественной техники мы ходили смотреть как бы на границу, таких в продаже не появлялась — мотоциклов, скейтбордов). теперь же — снова сумбур: субурбс, так сказать.

из метро попадаешь не на площадь, а на задворки кухни «Ёлок-моёлок». ордена «Известий» над входом в редакцию — орден Ленина, Революции — попадают в один зрительный план с красными пальцами и грязными пятками поваров Ёлок в босоножках, курящих у заднего выхода своего заведения. жарко им в лете, обслуживающему буржуазейку персоналу. пальцы ног красные, грязные. Ленин из чёрного ордена глядит татаристо и сурово. не будете вы, товарищ вождь, смотреть на эти пятки через десять лет, клянусь!

зимой я сюда возил наклейки для метрорекламирования газеты нашей. в пустынные «Известия» — встроившиеся, высветившиеся из советских семидесятнических стен салонами красоты, прикрытыми едальными Ёлы-палками.

суеются тут, щёлкают счётами по субаренде первого этажа: шмоточки, причёсочки приносят прибыль. а на втором этаже красуются позднесоветские мозаики на тему коллективного агитатора, революционных вихрей, носящих газетные листы. вот и досемидесятничились. боковой у угла балкончик из этой части «Известий», выходящий к Пушкинской площади — ну, явно проектировался как для нового Ленина, для выхода к народу на втором этаже.

грязная, стиснутая разнолепая в Постэпохе, в Реставрации Ты. но тем не менее — моя, моего времени. разглядывать Тебя, высвеченных посетителей «Ёлок-палок», здание «Известий» — их задворок теперь, колыбель демократии. за что боролись...

на лифте вверх, в одну из комнат, ещё сохранивших деревянный дизайн стен, но стулья уже имеющую современно-зелёные. кабинет Пятого прокуратора Понтия Пилата тут, номерок-табличка диссидентская. факсимиле под стёклами — «Известия» времён Стеклова, такой он бородатый одессит, не индустриального облику главред... невыспатой (в страстях-с?) продвинутой девушке отдал пачку длинных самоклеек. в окно у лифтов увидел «Эрмитаж» и тебя, моё жилище — такая красота мгновенно наветрила новые хождения в ту сторону, к Красным Воротам, к новым крышам — по этим, родным взгляду, но отсюда иначе сверху видным. но не зимой.

Ермолаев мчит меня и пачки нашей газеты дальше к Белорусскому: уже привычны даже выщербленные шинами колеи, асфальт как бы волнами под нами — есть место постоянного прокручивания линий, наиболее частое попадание колёс. переныриваем мост у Белорусского, быстро мелькают модерновые его башенки по обе стороны и — вниз под этот же мост, чтобы вырुлить к Почтовой улице. растолкать тут постоянный затор, проругать по узкому изгибу и повернуть вправо на зелёную, под листвой улицу. проехать мимо некоего тракторного института, с ярко и гордо раскрашенным железнодорожным экспонатом сталинского времени у фасада, и остановиться у ворот базы.

тут уже алгоритм отлажен: выбрасываем с Михал Ивановичем пачки на бетонный куб, указывающий пределы автостоянки у ворот. затем запираем машину и вносим их через проходную. одну газетку — охраннику, пускай читает всё сокрытое под нашим логотипом с очертаниями СССР, патриотится. из проходной налево огибать дом. в обкоме, помещении новом, куда с Пушкинской переехали, как всегда вкусно пахнет, кухня манит со двора ароматами. но нам не предлагается — надо открывать дверь с огромной ручкой, ногой изящно придерживать, втаскивать, налево по коридору до конца и у окна сбрасывать.

смешной рудимент, знак преемственности: у двери с неприлично большой главой ручкой табличка — «Общественная приемная депутата ГД Геннадия Селезнева». вот откуда дружба Игошина с ним, помещеньеце-то отдал по благу, посоветовал, там даже в одной из комнат старый предвыборный плакат КПРФ с Гёной-красОй, как ни в чём не бывало. что ж, скоро пойду исполнять по-своему совет отщепившегося от партии дяденьки протезировавшего голубя Баскова — за интервью к Вертинской. носим раз за разом по две-три пачки — фи-

зическая работа, товарищЧ, на жаре, а как ты думал? только статейки писать собирался? свои четыре тысячи отработать надобно. и Мише его четыреста рублей за разовый прокат-разнос. в обкоме спрос на наши газеты самый стойкий, даже кто-то продажу наладил в Подмоскowie регулярную, хотя завозим бесплатно — един начальник-благодетель Игошин, и это такое же как обкомовская столовая его детище. о, база бывшая продовольственная — тебя, как и всё тут, поделили арендаторы-дилеры, а какая целостность в тебе была, от чего осталась проходная?! не даёт ответа. ищи смысл Эпохи, товарищЧ, езжай к своим домам сталинским — к дому 4 и 22/4.

прыгаем с Мишей налегке в машину и весело рулим вперёд, чтобы вернуться через Ленинградку к Белорусскому.

— И всё-таки, товарищ Чёрный, то, что Хрущёв дал паспорта деревенским — большой тогда плюс был. Его за то, что из землянок в пятиэтажки городского типа поселил да за паспорта на руках носили. А то, как крепостные получались — никуда не уедешь.

— С тех пор и начала деревня иссякать кадрами, Миш, не забывай это обстоятельство — посчитай, когда все эти писатели-плакальщики деревенские начали свой вой, именно тогда.

— Конечно, нельзя было Хрущу так на Сталина сразу негатив выливать после смерти, он ведь интернационалист был истинный, не то, что сейчас рисуют русского националиста под иконы — но с деревней перегиб получился. Это мои уж не дадут соврать предки дмитровские.

— А если мобилизационная экономика того требовала? Ведь они же там трудились, крестьяне, не на государство одно, последний рубеж частной собственности именно у них оставался, и всё, что хотели — имели, не лагерные же. Колхозы-миллионеры были, не забывай, на каждом шагу.

резво повинующаяся набору скорости Еромлаичем, летящая нам навстречу в лобовое стекло улица, желтокирпичная стена справа, сильная листва деревьев впереди и пряничная отделка сталинского дома за деревьями вдали — всё как бы усиливает весомость слов и выводов. главное ощущение — выполненной работы и продолжения нашего дела. повернув к центру на Ленинградку, увидев мельком большой флаг ресторана некоего, флаг красный с серпом и молотом — сурово усмехнувшись ушлости буржуйкОв — едем в общем потоке, и у пешеходного перехода я покидаю с открытой пачкой газет машину Еромолаича, в окошко ему рот-фронт.

привычный крафт в руках, иду с нашим очередным восьмиполосным произведением через чахлый высыхающий бульварчик посреди начала Ленинградки. навстречу лёгкие в шагах, летние люди, пары — а я рабочий сегодня. мог бы идти и раздавать по-сумасшедшему газету напра-налево, но иду целенаправленно на улицу Правды, там оставлю пачку для бесплатного распространения в нашем патриотическом киоске. вот так начнёшь постигать эстетику Эпохи — и видишь прежде не замеченные подробности: в ярком солнечном освещении недавно выкрашенный дом и в нём, в стенах статуи советского времени, и ни-

ши пустующие в торце, гордость балконов... хотелось, когда строили, чтобы всем советским гражданам такая красота неоклассицизма, новая античность.

помню фрагмент плаката конца тридцатых или начала пятидесятых, в матовых цветах, как на инструкциях по гражданской обороне в случае атомного взрыва — там люди полнотелые, в атмосфере грубо-сегодняшне говоря «стабильности», в костюмах и тогдашних цветочковых больших платьях стоят на таких с массивными опорами перил балконах, глядят дружелюбно на улицу. нет границ квартир и улиц, всё — родной СССР. на этом доме (и у Арбатской площади со стороны Моссельпрома с открытого чердака полуснесённого дома) в декабре, в день рождения СССР, 30-го акаёмовцы установили красный флаг — словно диверсанты карабкались по крыше, чтобы сделать относительно видным снизу тот флаг, что десять лет назад возвышался над Кремлём, и никто бы не подумал, что ново(анти)народный депутат полезет его снимать. теперь летом об этом и не вспомнят.

да, сменились, Тан, наши лазания по крыше вот такими рейдами теперь другой молодёжи, другой период: не летом, не под дождём, не любования ищущие и своими ласками венчающие, вплетающиеся в тянувшийся к крыше модерн, а зимой, с риском поскользнуться, юные леваки лазают по крышам сталинских домов — чтобы водрузить на них красное знамя революционное своё.

тут и вся линия домов той поры: вот во двор конструктивистского вхожу дома — да, конечно же, четырнадцать его номер. подворотня в центре жилой конструкции впускает в жаркий двор. дедушке ветеранского вида, встреченному у подъезда, после его неожиданного вопроса про какую-то телепередачу, вручаю газету — мол, там и программа, а газета хорошая. дед недоверчив: знаем мы все эти газеты...

лишний крафт, почему-то до сих пор находящийся под несомой пачкой, — в контейнер. кошачье царство эти дворы. но — тут им сытно, это тылы «Голден Пэласа», казины этой знаменитой, над Тверской висящей в виде рекламы с куполами над англоязыческим логотипом...

ходить таким маршрутом от обкома к комплексу на улице Правды интереснее, чем прежде зимой — весной — к метро «Белорусская». волнует только то, что газетным моим пачкам, что оставлены в подъезде, приходится так рискованно долго ждать. тогда было другое предисловие — всё то же разглядывание текста сталинских массивов архитектурных. дом у Белорусского вокзала, который хорошо виден в финале «Летят журавли», — жёлтый, колонный, богато и гордо украшенный, почему-то именно в этих «излишествах», в этой мощи, даже без звёзд в данном случае, а на одной растительной тематике выдержанных, видится мне основная пока загадка Эпохи: понять их — значит преодолеть интуитивное обывательское сопротивление, мысли об элитности, сталинский замысел постичь.

жаркая улица Правды с моей стороны затенена, территория этого завода, вдоль которого топаю, — офисная ныне, выкурили оттуда завод — авиасборочный, говорят, был, на территории даже остались самолёты...

прохожу конструктивистский оконный угол серого здания, ёлки в темнокаменном палисаднике и исконный, первоначальный для всего комплекса подъезд, где «Совраска» живёт — как пройденный, прожитый этап. а сколько раз забегал в этот подъезд переломным прошлым летом 2001-го (сидел в конструктивистском зале в кожаных креслах, разглядывал кубики с лампочками Корбюзье в потолке, линии бюро пропусков, сохранившиеся исконные двери, как в «Известиях» загиб ручки ар деко, весь замысел Голосова пытаюсь вычлениить из белостенного, доремонтированного уже в европейском ключе понимания конструктивизма), звонил в «Совраску», вызывал Усманова во двор, вручал ему дискету с очередной статьёй с надрывом и яростью. поздний я ребёнок оппозиции — все эти же переживания левые журналисты проходили в середине девяностых, Кара-Мурзилкой девяносто пятого или девяносто шестого зачитаясь статьями: как здорово писал про апатию и самоедство рабочих, а потом восславил селезневскую «Россию», обещал большое будущее...

симпатичная пожилая продавщица из «патриотического ларька» в бывшем здании только Правды, а теперь и прочих «демократических» газет, принимает новую партию газеты охотно — мы придумали её тут всё же продавать, и какие-то рубли я получаю, как раз на покрытие проезда с дачи сюда раз в неделю.

теперь — на Тверскую, назад. чего там лезть в метро — пешком и на третьем или сорок седьмом до Кольца, до Маяковской. лето же: чего душиться в подzemелье? путь прямой вдоль комплекса. интересная тут темнокаменная линия — от вторых загадочных ворот, что после угловой нависающей оконной линии, с двумя в три ряда колоннами, идёт она, обрамляя цеха, до самой проходной уже гаражной или цеховой части, вот уж где вотчина конструктивизма. такой комплекс строить, да для единой большевистской прессы было Голосову, вероятно, одно удовольствие. и вышел шедевр — башенка смотровая, словно стрелковая, пустующая ныне без окон, балконы с фасадной стороны до сих пор со стульями и креслами годов семидесятых, там журналисты отдыхали, курили, глядели вниз на тот же серый, идеологически выдержанный архитектурный пейзаж, на дом, перед которым мне Усманов сообщил о замысле устроить голодовку. с тех пор он стал кушать значительно лучше.

собаки дремлют в тени деревьев, в ворота едет очередная, как наша, «газель»... вот, улицы Столицы моей: летом я с вами, новый у меня распорядок. и, может быть, хочется сейчас купаться, ходить по прохладной Подмосковной земле, но я тут работаю, по асфальту жаркомудвигаюсь к центру. обхожу бензokolонки и через железнодорожные пути аккуратно перешагиваю: глядь налево, глядь направо — электрички ни от Савёловского, ни от Белорусского не едут, можно идти. даже интересно, кустики и деревья, по-летнему выпустившие из стволов волчки с широкими смелыми листьями, сколько я тут буду с вами встречаться? или какой-нибудь отпуск выпрошу у нашего бая? стал он чёрств. даже заикаться не даёт. в дополнение к развозу газет ещё теперь я с Шевченко должен контролировать и получение тиража время от времени распространителями — там, на территории комплекса.

по деревянной, со знакомым дощатым запахом лестнице вверх на Бутырский вал. мимо жилых и заводских кварталов налево. Заметил пятиконечную звезду в отделке под окнами выцветше-коричневого дома семьдесят. а в одном из окон — книги, книги стопками. знание — сила. вычитавшие послание Эпохи — сможем ли мы сдвинуть глыбу социально-экономической формации в противоположном регрессу и Реставрации направлении?

третий троллейбус мчит с ветерком, быстро, без пробок в эти часы. в этот раз, не как зимой с рынков за Савёловским, — вправо к Маяковке, тут в офис, напоминающий изогнутым рецепшном «бизнес-центр» на Камергерском, надо тоже забросить несколько номеров газеты по настоянию Усманова — жене Игошина, которая там бизнес-вумэн, начальница, которую так и не вычислил. обычный (но последний, напоминающий жилые перед линией кафе у метро «Маяковская») подъезд, но уже заселён только офисами. стены отделаны светлыми колючими жидкими обоями. её офис — только девичьи мордашки, кокетничают с молодым курьером, даже от этого заинтересовываются газеткой. эх, девушки — вам и патриотизм, и красное пойдёт под хорошее настроение, только если за этим, конечно, стоит надёжно обеспеченное благосостояние, клубный, курортный досуг, отпуска, зарплата за стояние-сидение тут офисное. а так — отчего бы не поверить молодому человеку, развернуть его газетную весть, поискать его статейку...

исхитрюсь и тут пройти дворами: прямо под серп и молот в шестернёвой окантовке над воротами у посольства, по задворкам Марриотта и тут тоже дворами до Минска, там уж — по Горького и в трубу подземного перехода, вот где жарится. от Елисеевского только первый после Козицкого переулочка охрово-розовый с угловым длинным демократичным балконом — Эпохи дом, конструктивизм аскетировал, встрепенул линию буржуазных предшественников. а за ним — старь. каждый раз с Ермолаичем или на пойманном, тут когда едем в обратном направлении, в обком — весь этот вислый выюющийся лиственный утомлённый модерн лицезреем. ну так и тянет публичным домом от тех балконов, моей школьной мечтой — за стихи в начале прошлого века быть любимым, обвиваемым такими вот модерновыми ласками бледной напудренной проститутки... издеваюсь над юношескими грёзами, конечно. думалось всё чище — но непременно навито было модерном. этим вот, коварно-буржуазным, вытягивающим вдохновение из уст, заставляющим полубредить в прозрениях своих строф, чтобы нравиться, нравиться тем далёким любовницам Есенина и современников...

но дом, в котором книжный магазин «Москва», и вовсе прерывает старь и её братски-стилевые сращения. бегу вниз из этого многолюдного современного зноя в родную подворотенку в начале сталинской линии домов, над которой ностальгически славится для Лужкова Главмосстрой в духе семидесятых, когда он, строитель, учился зарабатывать. летом все те же дворы пахнут избыточно, словно курево опадает к земле, не выветривается. и Саввинское подворье не столь тенисто, даже сюда светит, жарит солнце. хорошо, что на мне суперштаны, трансформеры.

добежав уже без лирических пауз до самого начала от центра линии этих домов, а точнее, одного, единого стилем дома 1936 года постройки — в подъезд.

десять ключ девять один четыре один. пачки на месте. только сейчас почувствовал, поднимая пачки, мочеватый запах: значит, и тут справляют, в «элитном» подъездике за краснодеревянным входным шкафчиком...

как-то раз охранники Думы не пустили из-за того, что в шортах тащил пачки: мол, новое распоряжение, надо соответствовать виду, в майке можно, но в шортах — ни-ни. а шорты эти легко превращаются... в оригинальные альтернативные светлые брюки: выйдя из Думы в заавтомобиленный двор, зайдя на площадку, где забивает козла на специально вытаскиваемом столике шоферня, усаживаюсь на лавочку, извлекаю из кармана сумки штанины и приращиваю их с помощью «молнии», которая всё норовит пооткусывать волосы. что приятно в этих штанинах — неважно, которая из них левая-правая, пристёгиваются одинаково.

я спросил у Щелища, где же твоя... разговоры с ящиками, в каждый из которых умелым выстрелом, сгибом наружу, я должен забросить номер «Независимого обозрения» — дело привычное. и фамилии уже играют-журчат сами по себе: ДрапекО, ШурчанОв, САлий... жирные встречаются тут, действительно — иногда посмотреть на настоящего депутата это почти экскурсия. ходят тут, смеются, брызжут через голоса жизненной энергией эти хрюнделя в свежих рубашках, обтягивающих заслуженные бизнесом брюшки, — аж пол трясётся. встретить тут Диму Якушева — отдушина. он тоже вошёл в стиль Думы — спрашивает так тихо, rispetабельно: «Ты работаешь в Думе?»... словно планёрка у нас тут с ним на этаже, у почтовых ящиков депутатских: весело, задорно, быстро — и снова Якушев в почти такой же, как у хрюнделя, рубашке вливается в rispetабельность Госдумы. разговоры помдепов в переходе из старого в новое здание — молодых, но уже явно не моих ровесников по полнокровным и одутловатым лицам — про то, что квартиру сейчас покупать не с руки, не сезон, а деньги-то есть... каждый раз, занося на девятый «наш» этаж старого здания газету — не только чтобы посмотреть на гостиницу «Москву» в упор, почерпнуть оптимизма, но и чтобы канцелярские старички имели наше издание как свежий аналитический материал — гляжу, касаюсь пальцами медно-золотистых вставок в лестничной решётке, торжественных серпа и молота в увязке колосьев. ведь строили же здание — для новой советской власти, чтобы пробегая по лестнице, беседуя попутно, ходя тут, не забывали в Совнаркоме, в Госплане, которому такие хоромы отстроили, что социализм они представляют: «Сидите, не советейте в моём Моссовете». что бы Маяковский пририфмовал к Совнаркому?

даже Гайдар имеет (не тут, но в новом здании, к нижним этажам которого через переход возвращаюсь после девятого в старом) ящик, хотя депутатом в зале ни раз замечен не был — никогда ящик не проверяет, он забит так, что спички не всунешь. по ящикам легко определить, как часто бывает в Думе депутат. и какое удовольствие класть в ящик нашу газету, с моими статьями изредка — например, Невзорову, кожанокурткуму шестисотсекундному витязю перестройки. пусть читает классик перестройки оппозиционный еженедельник, медленно красный, бордовый, коричневато-красный такой... конечно же, своим положу особенно аккуратно: Решульскому, Шандыбину, Кравцу... вот Игошину из принципа не кладу — у него особым курьером доставлен с утра номер.

выпускает Дума, в лето и на дачу. но завтра ехать сюда же, только с более трепетной и приятной миссией — брать у Марианны Вертинской интервью в гостях, дома...

из-за новшества на Ярославском вокзале, турникетов, еду до Москвы-3 и оттуда на Алексеевскую, близко. по ещё не разжарившемуся утру — сонность ощущаю, когда поднимаюсь по лестнице. чем хороша эта станция: её никогда не заблокируют турникетами, она едина для электричек и дальнего следования поездов, тут депо и прочие особенности привокзальной станции. эх, лестница — пойти б сейчас не по работе, а в другую сторону, к Сокольникам, и гулять там, в тени, вдохновляться!... но одному. нет теперь моей девочки, нет единственной, я снова один как во время поисков.

и нахожу другую вдохновительницу, экранную — звонил ей по данному Бархатовым телефону, несколько раз, тут нужна выдержка. первый раз именно она подошла, Марианна, из «Заставы Ильича». голос курящей женщины, хмурый и немного удивлённый. жаловалась на простуду. второй раз подошёл голос более юный, такой в первый раз услышав, я бы точно решил, что это желанная Марианна, почти та, что в фильме... но это была её мать. да-да: жена Вертинского, та самая восточная княжна, чертами которой в дочках, в сочетании с вертинскими любовалась полвека и продолжает любоваться страна родная. голос скромный, женственный, негромкий: «Это её мама, вы знаете, она больна, а что вы хотели?». Чёрный натурально оторопел: сама история — княжна, которую Вертинский встретил в иммиграции и вывез оттуда, которая весь двадцатый век как свою судьбу, как линию жизни знает, прошла... и вот с ней по телефонному проводу соединяется мой голос — этого не то журналиги, не то поэта, не то левака, музыканта и це тера...

с вежливостью истинно дворянской, относимой к любому собеседнику, мама Марианны сообщила, что дочь сейчас не сможет дать интервью, проблемы с лёгкими, позвонить рекомендовала деликатно, уже по-семейному как-то, через недельку, немного извиняясь за ситуацию даже.

третий звонок подарил снова голос Марианны, но она отложила интервью — ждала Купченко, которая ставить ей банки по соседству со Староконюшенного зайдёт. подождём, куда ждётся. если б знала мама Серёги Ланового, что журналист — это я... хотя помнить не обязана. но легче припомнила б, чем пафосный Василь Семёныч.

наконец, утром пятого июня из ещё прохладного, туалетно пропахшего по соседству с клозетом, подвала нашей редакции дозвонился и договорился с героиней моей любимой «Заставы» — иду. иду пешком, мостами, летом, по Садовнической же жаркой, но к «Балчугу» через череду иномарок, мимо свиных хозяйев жизни и видного за воротами первой ТЭЦ Ленина, зовущего рабочих ТЭЦ «Мы придём к победе коммунистического труда!» — к мосту, к Кремлю. шикарно всё ещё глядишь ты, исторично, центр вокруг Кремля — и триколор контрреволюции реет уверенно внутри. но тут мы ходим, левые — глядим направо, на сталинский завет, стремящийся пятиконечной звездой высоты Котельниче-

ской всё в будущее, в непутинское, некапиталистическое будущее, которого мы, коммунисты, сторонники.

к Успенскому собору и гостинице «Россия», лицезря бегемотов с рекламы очередных джипов. жара замедляет, да и времени достаточно: возле тетёхи, торгующей из колёсного холодильника миринами и прочими холодными банками, останавливаюсь: списываю гранитную торжественно-советскую вывеску в тетрадь, куда и интервью потом:

Проезд Сапунова
назван в 1957 году в память
участника Великой Октябрьской социалистической революции
командира отряда солдат-двинцев,
погибшего на Красной площади
в первом бою с юнкерами
27 октября 1917 года
Евгения Николаевича Сапунова
1887 — 1917

и тут же ниже — спорящая с прежней, революционной, табличка уже пост-советская пластмассовая, имитирующая малахит с буквами посконно-старославянскими, жеманными:

Ветошный переулоч, название XVIII в.
Здесь был торговый ряд по продаже ткани с редкой
Основой — ветошки, выработанной по особому
Старинному способу. Ткань эта была дорога,
Рубахи из неё носили цари и бояре.
В 1957 г. был переименован в пр. Сапунова,
В 1994 г. переулочу возвращено его историческое название.

пожилая типовая полнощёкая в рыжей кепчонке продавщица банок с напитками Пепсико и Зэ Кока-Кола компани почувствовала эмоциональность, с которой я списывал радреал со стены, и недружелюбно спросила: «Что, историю переписываете?»

тот случай, что без комментариев: цари и бояре, тряпицы — на место героизма революционеров. вот ты, Реставрация, где упакована полностью, в этой табличке в центре, у Кремля. этой власти дороже всё, что было до исконно-посконно — чтоб не связано со свержением ей подобной прежней.

оказавшись через студенческую улицу Герцена и школьные Мерзляковско-Скатертные переулочки на Калининском, спустившись вниз к Арбату у Юпитера — гляжу на часы, пять минут до назначенного. мимо Щукинского училища и мимо некогда вместе с тобой разглядывавшегося дома, в котором Маргарита била стёкла, иду, он теперь за зеленью спрятался от новых маргарит.

подъезд её дома, лицом выходящего на Арбат, после набора цифр на домофоне — без вопросов, без голоса впускает. узкая лестничная клетка и пахнет, как у Лановых после ремонта в новом подъезде на Староконюшенном, клеём костным. вот квартира, уже открывается без звонка.

светло-русые высветленные волосы, прозрачные голубые глаза в незнакомом лице. первое впечатление после чёрно-белого кино, что это не она, а кто-то из родных... нет — она, причём в домашнем, голубых штанишках, незамысловатой майке и босиком. по-бытовому озабоченно, низким изящным, грудным, как обычно называют (а тут — именно ещё не долечившись от кашлей), голосом приветствует краса шестидесятых товарищ Ча:

— Извините, что не сразу пообщаемся, нет, не разувайтесь, подождите в той комнате, почитайте что-нибудь пока, если хотите, там журналы...

в комнате круглый стол со стеклянной столешницей стоит на персидском ковре, аккуратно обхожу его по светлому паркету и сажусь в кресло. свисает люстра с якобы оплавившимся воском пластмасс. роскошь: у стены напротив выгнутоногий столик с фотографиями: отец (Вертинский) — дочь (она), она — сын (от Хмельницкого), мать — она. слева от телевизора — платяной чуланчик. на старом светлом столе — большой телевизор «Панасоник» и на полочке ниже мигающий от неумелого обращения музцентр и видео Sharp. пальмы у окон, три иконки над ними — Мария с Иисусом, крестатый Николай-чудотворец и кто-то ещё.

что смотрит моя кумир-актриса? «Сердцеедки», «клуб Коттон», «Бойцовский клуб» (приятная прогрессивная неожиданность). что читает? Хмельёв, L'Officiel, Анатолий Найман «Рассказы об Анне Ахматовой». блок сигареток Vogue, не щадит лёгких шестидесятница. в те времена, даже по фильмам, весь советский век, курили, не опасаясь последствий — часто, коммуникативно, с шармом. в вазончике у окна — подвявшие и обезглавленные тюльпаны, лилии.

напротив меня, над столиком с фотографиями — картина с беломногомьясой ню. натурщица примерно актрисиных параметров: при изящных, даже худых дворянских икрах, выше она всегда была весьма, но без излишеств объёмна, включая великолепный царственный бюст. ню реалистично: стоптанная ровная розовая и чуть серая с краю правая пятка на терракотовой подстилке, от неё влечёт взгляд затягивающая сумрачная тайна смыка ягодиц. кисть правой руки собрана в тюбик, левая — кошачья, как красящая кисть. у дремлющей перед дерзновенно ворующим наготу с помощью кисти художником — лицо пьерообразное. правее к окнам — портрет самой Марианны, стиль Михаила Ромадина (что и подтвердит позже сама). на голубом фоне она не очень молодая, самая-самая в витражных лоскутках платья, с уже зрелой красноватой кожей на ключицах и над бюстом, но с его вполне плодовой налитостью — смотрит влево. сиамская Вертинская с фамильной тайной миниатюрного, целованию притягательного подбородка, и хмуроватых задумчивых маленьких губ, словно пытливым скульптором изобретённых в стремлении к идеалу кошачье-женственной лаконичности, немного даже обиженной за такую природой подаренную божественность.

актриса делает педикюр — вот в чём задержка. заканчивает, платит из футлярчика, скорее напоминающего маникюрный набор, договаривается с молодой педикюршей о следующей встрече, глубоко прокашливаясь, но держа интеллигентную интонацию. чувствую себя всё ещё натянуто, неуверенно. да, все прошедшие годы просчитаны, и она не миновала их изнашивающего действия. судя по фотографиям — её дети почти мои ровесники или около того, помладше.

наконец, пришла босая с сохнувшими прихорошенными не юными ногтями ног, — о, её узенькая при широких бёдрах, её из фильма о Тебе шестидесятых, по тротуарам с любимым героем-Сергеем, чуть маятником, походка! — и села в хорошо освещённое кресло под своим же портретом, профессионально, опыт. лет в девять, учась в музыкальной школе и имея рядом лицо тоже восточного происхождения похожей на сестру Анастасию Вертинскую некоей Маши, я влюбился, считал идеалом Анастасию, её подбородочек, сиамские, кавказской княжны губы и глаза. Марианну же увидел красивее сильно позже и предпочтения обратно не менял. может быть, менее изящная, она более шестидесятническая, советская, та — старшая сестра Марианна красива лицом и достойна, полноценна телом.

сперва запинался, на самом деле задавая вопросы, только чтобы разглядывать её в момент речи. глаза — светлее и голубее, чем казалось, волосы вырусевшие, синий бантик скрепляет позади. на груди ожерелье с синими камнями, которое, заметив моё внимание, стала чаще поправлять, взгляд мой направлять. из воспоминаний нарисовался поезд из Харбина, возвращение в сорок третьем в Москву, по дороге родилась Анастасия, «весь седой, как серебряный тополь», Сталин поселил желанную семью Вертинского в «Метрополе»... закурила свой белый тоненький «Вог», когда начал манёвр вопросов в сторону её отношений с Михалковым-Кончаловским... о, говорящая прокуренным немолодым мемуарным дворянским голосом красавица не моего поколения, мечта левацкого эстета, советского патриота из «Независимого обозрения»!.. чёрно-белый идеал шестидесятых, всё гуляющий и гуляющий на часто прокручиваемой моей видеокассете «Заставы», подписанной Марленом Хуциевым, с его телефоном даже... рассказала мне к концу разговора то, чего и не подозревал.

конечно, чванливый сипатый, вездесущий нарцисс Андрон был её первым. водил её по шестидесятым, скверам, улицам, асфальтам — увёл прямо из «Заставы». а потом, введя в свой круг, передал Андрею Арсеньевичу. это должно быть самым красивым в тех временах, но невидимо — режиссёрские, прихотливые и постановочные ласки всегда за кадром. до эмиграции Тарковского общались, полагать надо, близко. мачо Хмельницкий — это уже потом, старая жеребёвка бразды не испортит...

немного удивлённо в связи с моим пристальным вниманием смотрели папины светло-голубые глаза Марианны, пока голос курильщицы углублялся в прошлое, в Политех, в съёмки с ручной камеры... и всё взгляд мой направляла, на груди поправляла синеватое серебряное украшение — да, она не прочь нравиться этому интервьюёру из газеты, где уже писали о Марлене Хуциеве и номер которой как пропуск уже подарен, вызвал интерес и даже странный вопрос «вы мне это оставите?».

в комнату с окнами на Арбат и стену Цоя в загогульном Кривоарбатском из уст прекрасной курильщицы выходили образы детства: «Моей маленькой БИБи цветы полагаются — они не кусаются и не бодаются». Это стихи папы Вертинского, которые он посвятил малютке Марианне, когда она росла на даче — её первым словом было «БИБи» — машина, а боялась она коров, которые бодались и кусались в страшилках её воспитателей. Поэтому — «не кусаются и не бодаются». инфантильное желание моё пририсоваться со своим дворянским происхождением к этим солнечным картинам, рассказать о доме предков, что тут в двух шагах на Композиторской был — никак не отозвалось в ходе воспоминаний Марианны Александровны. к финалу воспоминаний дорисовался и фильм, где в самом начале моя кумирушка, оставив одежду и собачку на берегу, на изящных тоненьких икрах вносит немолодые, немалые, но великосветские ягодицы в волны морские, топится нагишом, и в пучине, спасаемая случайным добровольцем, демонстрирует свой царственный бюст и даже интеллигентную полосочку мохнатого участка в межбёдерных низах. не знаю, как целовать такую большую для моего маленького опыта грудь — целовально-пожирающее любование твоими лаконичными, маленькими, моя бывшая девочка, было моим губам и иногда всему рту подходяще — но круглые, плавучие, выглядят с широкими вкусными сосками Марианныны в волнах очень аппетитно.

о, не прямо же после таких мыслей задавать ревностный вопрос?! но и сама намёком рассказала — тот режиссёр тоже был её «друг» конца восьмидесятых, вот кто в восьмидесятых или даже начале девяностых вкушал немолодые, но не менее молодых притягательные белокожие красы.

с чем ушёл после сорокаминутного погружения в желанные шестидесятые и эти прозрачные глаза? с неминуемой горечью недостижимости её красоты и времени — отсюда. только превратить в текст все эти ощущения, её воспоминания. пафосно назовут на вёрстке или в корректуре их «Будущее кинематографа — за нами!». при этом тут неявная постмодернистская стёбовая двусмысленность: «за нами» — это не в прошлом ли?

и она не та, кашляющая, но всё курящая, и я не её поэт — но где-то мы тут вместе в Тебе, Столица, в твоём макропространстве и времени, в улицах Твоих: кадрами и текстом. и обещанный ей, совсем не интересующейся оным, первый, неполитический, сборник стихов — ну что это за инфантильность? даже собственное интервью не изволила прочитать, не было времени, уезжала на дачу. а до почтового ящика так и не донёс. впрочем, и товарищ Ч уезжал на дачу. и приезжал, и приезжал — развозить газету и вести радиопередачу. какую?

в начале лета 2002-го в редакцию нашу, в оранжевую комнату на вахту кузена Леонидаса позвонил Сергей Довгаль, рослый деловой, ликом утраватый, знакомый по СКМ отдалённо — по акции прошлолетней, когда я ещё в школе работал, неподалёку, у японского посольства, акция «Комиссии» это была «Забирайте Хакамаду, острова не отдадим». Сергей сказал (и надолго, будто эхом этих слов, наполнил оранжевые стены моими радостными мыслями о новой перспективе), что договорился на «Резонансе» о целой часовой радиопередаче, но без меня как

наиболее в СКМ складно говорящего, к тому же уже имеющего опыт вещания в качестве гостя на этом радио, как подсказали там же, в качестве соведущего — никуда. так вырисовывался на островке Твоём Новокузнецкой, в новой топографии моего там пребывания — ещё один пункт, точка притяжения по пятницам, новая высота и обзор, включая и вид с седьмого этажа радицентра на Пятницкой-25 на набережный, уже родной дом 44/2, его свежее зелёную крышу. программу назвали «Молодой патриот» — как настоял главный редактор, некий Титов.

привыкая не только к подвальной туалетности, ежедневности стен редакции, к планёркам, но и к окружающим домам, всё шире разведывая обстановку — входил я в это лето с сомнительным будущим, со ставкой в 4–5 тысяч вместе с редкими гонорарами. но теперь — еженедельно в течение целого часа вплетал я свой взволнованный мальчиговатый голос в эфир мидлвэйвс, СВ, где-то рядом с радио «Свобода» и «Радонеж». на даче мои родные женщины слушали передачи, голос отсутствующего и ожидаемого после эфира: бабушка, на расстоянии пятидесяти или более километров узнавая интонации внука, одобряла комсомольский задор и инициативу — «молодцы, что вы сейчас это делаете». и соседи по даче слушали, как выяснилось вскоре. в Тебе только плохо слышались эти волны.

день наполнялся теперь и утренним приближением мимо уже пылящего внутренними разрушениями углового дома на Садовнической, и вечерними выходами из микромира редакции и её дворово-уличного окружения — эфирами с 18.10 до 19.00, с поспешным потом отъездом на электричке. как приятно входить в арку, подходить с противоположного плеча сталинского здания 44/2, где нет симметричной узорно-изгибной подпоры. идёшь от Садовнической, перпендикулярно коридором старо и обёдно пахнущих стен мимо древнего толстого ствола наклонного к особняку справа дерева, видишь движущийся степенно за парашютом набережной словно по морю белый пароход... стабилизация. может, не всё так плохо как мы едва пишем, но сильно подразумеваем и говорим на радио? или это сила привнесения духа советского времени сюда, в то же (только заполненное другими надписями, машинами) пространство Эпохи, делает всё добрее, чем есть — тем более антураж помогает, и белый пароход с красной полосой и оставшимся жёлтым серп-молотом на трубе уплывает за сталинские бордовые с рустом вылепленной кладки стены?

лето — уводящее от Тебя. точнее, Ты отпускаешь, но не далеко, на короткое время. поездом, мимо летней ряби листьев и зелёных переливов пригорода. словно на резинке или пружине — удлиняя отсутствие в Тебе, увеличивая амплитуду пробега за день. возвращая на выходных в ванной обязательности. лето — только чтобы успеть отвыкнуть от Тебя до необходимого свежего взгляда, погрузиться до исходной глубины восприятия, когда знакомое узнается желанно, как старое отвыкшее движение. а Сама не скрываешь, что ждёшь. даже день вне Тебя, точнее, ночь — притягивает со сказочным вниманием в расхоженные за долетний год места. сомкнуть в темноту веки, засыпать — а Ты вырисовываешься независимо от мыслей, втягиваешь в перекрёстки и глубину знакомых направлений, ощущаешься видимым остатком пребывания в Тебе.

плывёт моё лето — в работе, в газете, на радио. приближающийся рубеж вечера, шести часов — чаще всего застаёт в оранжевой комнате, после посыльных заданий, беготни, набивающего текст, ещё не заученное наизусть приветствие на «Молодом патриоте»:

Добрый вечер, уважаемые товарищи! (я)

— В эфире передача «Молодой патриот», программа Союза коммунистической молодёжи (Довгаль.)

— Наша программа адресована всем, кто интересуется сегодняшней политической жизнью нашей родины, в первую очередь — ребятам и девушкам комсомольского возраста, а также всем нашим товарищам по убеждениям. (опять я)

такой замысловатый текст нужно выговорить без запинки. но до передачи ещё есть время — выпить красного чая «Каркаде», который этим летом только и пользуем, сердечный допинг с кислинкой. я — с ватрушками. особое сочетание летней взопрелой подвально-туалетной атмосферы, белого творога и теста с красным кислым напитком. за стенами нашего газпромовского силикатно кирпичного флигеля — набережная, река и неторопливый вечер, о котором и не догадаешься по солнцу.

но выйти в дворовую лиственную прохладу из жаркого подвала с пачкой наших газет с интервью Вертинской, идти к Новокузнецкой, на Пятницкую-25 — вот венец пространственного стягивания нового моего местопребывания. всё собралось в единый узел: возможность до без пятинадцати шесть сидеть в жарковатом подвале, распечатывать новости для зачитывания их в эфире, под конец радиопередачи анонсировать статьи последнего, теперь в четверг (как раз к пятнице уже лежащего в ларьках) выходящего номера. мимо массивных бордовых стен через уже породневший солнечный лиственный двор вокруг особнячка конца восемнадцатого века внутри дома 44 дробь 2 — спешу на передачу, провожает нескрытыми домашними большими окнами, благословляет меня мною понимаемый медленно сталинизм, газеты переброшены через предплечье как полотенце у трактирного полового — словно я «сплетник-газетник „Московский листок“», эту дореволюционную московско-фольклорную присказку бабушка часто повторяет. я и есть этот газетник: выхожу на Садовническую через старую арку — только что не сам продаю газеты. но факт того, что в каждую пятницу я рекламирую «Независимое обозрение» на «Резонансе» — позитивно повлиял на отношения с Усмановым и даже Бархатовым. они добавили это к бизнес-плану рекламной кампании как весьма инвестору и собственнику Холдинга милую, коммунистически бластную халяву (позже-то выяснится, что генеральным инвестором и газеты, и «Резонанса» являлся один известный товарищ, и вовсе не Игошин).

дом 44 дробь 2, корпус Б, я лишь летом начал разглядывать тебя пристально с фасада — когда за листвой стал хуже виден. наверху в бордовом стенном барельефе — стоят советские мужчина и женщина, строители социализма и этого дома, женщина слева от окна, мужчина справа, у него отбойный молоток под правой рукой. от неё и от него друг к другу в следующих, сближающих рамах барельефа летят голуби. выше этажом над каждым — снопы колосьев, а еще выше

на этаж — пятиконечные звёзды, венчающие симметричное повествование, советскую идиллию. пять подъездных дверей с фасада обрамлены ритмично — то звёздами пятиконечными и серп-молотами, то плодородием. над тремя центральными дверьми — круглые окна в рамах, подпертых неоклассическими балюстрадами, крайние — с квадратными окнами над и такой же отделкой. на бордовой стене ближе к корпусу нашему, за «Новой студией», нацарапано упрямо верными старым советским названиям жильцами — «набережная М. Горького».

справа, где нет декоративных витых опор, напоминающих в профиль скрипичные или виолончельные эфы — до выступа есть дверь, над которой во всё том же бордовом лепном тексте обнаружил откровение Эпохи. словно вернулся в первые цветные мультфильмы, ещё при Сталине выходившие, — над дверью барельеф, изображающий детский мир того времени: плюшевого мишку, прочие игрушки, но не только побрякушки, а и символ света будущих знаний, дающихся бесплатным социалистическим образованием — глобус (или мячик?), пионерские горны. что тут было — детский магазин? скорее всего — детский сад, прямо в доме, для окрестных и самого этого «элитного» дома детишек.

удивительно стали теперь собираться воедино, узнаваться за счет сравнения друг с другом дома и начала Эпохи, и перехода к хрущевским временам — даже те, что прохожу по пути к Алексеевской от Москвы-3. там голуби и пятиконечные звёзды: да, это не что иное, как в послевоенной песне высказанное «Сталин великий к миру всех зовёт» (тонкая философия мирного завоевания социализмом Европы в этой формуле) — мир нужен был именно для того, чтобы развернуть во всю мощь социалистическое производство под защитой ядерного щита и доказать рабочим зарубежья, что наш путь верен, включить их в нашу орбиту, чтобы своих буржуев свалили. помогают читать видимые сообщения — звуковые памятники того времени, диски серии «Официальная советская песня», песни с которых полились в эфир «Резонанса» во всю с началом наших передач. эфирный зигзаг в тридцатые — для удивления нормальных слушателей.

13.07.02. докопаться до Родины сложно. поиск повторяется — путь по одному и тому же сюжету обвала двадцатого века у нас. что же произошло? эстетика и подробности... (ты бы сказала «города») — всё важно как подсказка. научился выискивать настроение и идеи дерзновенного прошлого даже в прежде незаметных украшениях — много раз встреченных, но не замеченных взглядом (вдвоём).

всё здесь, всё рассказано в домах — субъективное, пешеходное время нужно лишь за тем, чтоб научиться читать и продолжить этот текст. научиться все типы подробностей — песни, стили одежды, тип магазинных дверей — укладывать в трагический сюжет. и сложно догадаться, почему трагический: всё же осталось... и именно то, что осталось — дорассказывает мне произошедшее. «Малиновки слышав голосок»: беззаботность восьмидесятых, романтика отпущенных в длину причесок. все подряд фильмы восьмидесятых поют покой. и снежная и зелёная — Ты в покое, это поколение не ведало бурь военных и вихрей враждебных. страх атомной войны мифологичен, не конкретен. дома ещё

держат прописные, гнутонеоновые в стальных коробках вывески — и никто, в том числе и я, не догадывается — что это и есть Родина. неопрятные прилавки, блестящие полы гастрономов, пахнущие хлоркой. но это не идеал и не фетиш. бережно откапывая из-под нагромождения официального отвращения последние советские годы, сегодня я понимаю, что они были одной из — не лучшей — возможностей того, что заложила революция (и тем не менее восьмидесятые это ещё советские, не отделенные госчертОй от великой Эпохи годы). я, внук революции 1917-го, понимаю, что этот путь, на котором я и родился, не есть лучший и единственный: революцию выветрили. и то, как это происходило, я научился читать и здесь: в Тебе, в архитектуре.

некоторая заезженность в редакции и откровенно нецелевое использование моего неинтеллектуального ресурса Усмановым заставляли периодически садиться за комп и писать части данного текста, точнее, ростки некоторых частей. и та запись, в которой разоткровенничался про главного редактора — как раз и утерялась при многократных переносах из компов. зато остался в тетради другой эпизод — отдыха сознательного в метро, и от верхней сухой жары в жаре влажноватой, и от эксплуатации.

площадь Революции. в шрифте — апогей ар деко, аккуратная страница истории: текст, спрятанный в камень и металл, в скульптуры — товарищем Манизером, почти Маузером. буквы гордого названия станции — тяготеющие к квадрату или треугольнику на чёрном фоне в тёмно-коричневой раме на серой стене, как на «Маяковской», переключки станций-современников. но тут не сообщения картин под сводами, мозаик — как на «Маяковке» или «Новокузнецкой». здесь в сводах притаились пятилетки. от самого начала, революции, до зенита тридцатых, зенита стиля. МанИзер.

лавочки тут устроены так, что севшего не выпускают, расслабляют. от четырёх лавок (первый от «Арбатской» вагон) — идёт чёрный бордюр, на котором начинается с белыми прожилками вырисовываться в людских обликах история начала Эпохи — отсюда она идёт обратно, к тому событию, что позволило жить этим пионерам авиакружковцам, девчатам (1), глобус изучающим, что старше матерей мамы, родились в конце двадцатых (одна указывает на Москву), (2) их родителям: пловчихе и инженеру, которые познакомились физкультурниками, как моя бабушка с дедом в двадцатых — (3) он волейболист, она метательница диска, красавица тридцатых, (4) но физкультура — только после учёбы, он готовится по конспекту, она читает книгу, пока (5) в колхозах зреет урожай усилиями агронома (он любит колосьями) и работают птицефабрики (она подкармливает петуха и кур), а о работе тракторов, вспахивающих поля на МТС, (6) заботится механизатор, и энергию стране даёт шахтёр, согнувшийся в забое, и труд, знакомства, любования и выращивание детей свободного советского народа (7) охраняют он, красноармеец с овчаркой и она, комсомолка, ворошиловский стрелок, с винтовкой и ещё (8) парашютист, собирающий стропы, и матрос с биноклем, с «Марата», того самого героя-творца Французской революции, его имени корабль, а другой (9) ре-

волюционный скуластый матрос, коленом на рельсе стоящий — с револьвером, и его товарищ стережёт вместе с ним революцию, бывший анархист, с пятиконечной звездой на рукаве, помнящий всё вплоть до первых (10) 1905-го года бойцов (один с бантом на шинели), винтовка, другой с гранатой бородач, из бомбистов и далее за ними, уже в безлюдье — прорастают колосья Эпохи и вьётся папирусом Твоя поэма двадцатого века, первые стоки в которой — пролетарской революции.

и лица, лица статуй — это же история, генезис внешности советского народа, который поэтапно отслеживает товарищ Манизер. из бородачей-бомбистов, из матросов-анархистов, из старых большевиков, неимоверным усилием совершивших революцию среди хмурого, порохового и выюжного начала века, свергнувших эксплуататора (который только до этого и был виден с статуях, на рекламках, идеализировал себя в божественных позах) — вырисовывались черты лиц детей советского молодого народа. словно от земли и пороховой гари очистившиеся, отчищенные от щетины революционных отцов, бойцов Гражданской — появляются в чистых, блестящих лицах нового поколения черты спокойного, уверенного познания окружающего их, отвоёванного родителями у буржуев, мира. легко узнаваемые в фигуре пловчихи, в пионерах — черты Эпохи, чем-то общие для моего ещё поколения: с мамиными, тётинными, родными...

выезд эскалаторный из подземельной «Площади Революции» — навстречу раскинувшемуся повествованию на всю впереди стену новому испытанию советского общества, к гимну грядущей Победы, сорок третьего года. в нём ещё не вымаранные (как на Курской) «оттепелью» слова и рифмы. ну, во-первых, — Союз и Русь. социализм в отдельно взятой стране не мог не припасть за новыми силами к национальным корням всё того же марксистского большинства — на уровне культуры, надстройки, прежде всего. и, припав, оттуда получил взаимность, резервный патриотический рубеж отступления идеологии во время начала гитлеровской агрессии — позволил накопить сил, от родной земли их взять по-богатырски и победить национализм чужой, «звериный», как Сталин его называл.

Славься... славы народов надёжный оплот

и самое трогательное, исторически верное:

Нас вырастил Сталин на верность народу

последовательность изложена документально: сперва Ленин великий нам путь озарил, а потом Сталин продолжил дело Ленина.

Знамя советское, знамя народное

Пусть от победы к победе ведет.

здесь ещё нет хрущёвской амбициозности, Сталин скромен и скрытен в постановке целей, о коммунизме не трубим в гимне: просто от победы к побе-

де, а какая главная победа у большевиков и советского народа может быть, так о том и так известно посвящённым. острыми лучами восходит победная слава. пучок ратных знамён стянут гвардейской лентой, которая сдержана на кольце.

от вашей литой прохладной красоты скульптурной Революции и громадной стённой Победы — выхожу в уличную пыльную жару и старь Реставрации, к грудотряскам, руки попутного человека-раздатчика суют бумажку, машинально мной не принимаемую. вот они, дети капиталистического «возрождения России» — эти вот невольники, работа которых, работа роботов, дающая им хлеб, состоит только в том, чтобы сунуть прохожему бумажку. вот замена созидательного творческого труда откровенной эксплуатацией на грани профанации. для этого ли учились хотя бы в школе? но удивительно то, как за фасадом обычного, невзрачного для давно прошедшего дореволюционного века укрылся внутри в вестибюле метро твой тайник, Эпоха. недаром — ведь станция-то «Площадь Революции».

вся ты, моя Эпоха, — огромная яркая площадь Революции посреди бесчисленных кварталов веков, переулков десятилетий — мрачных, грязных, бессмысленных, в которые мы и вернулись благодаря контре. и как откровение, как зов истины воспринимаешь из уст киногероя любого советского фильма, из уст тех же матросов революционных или красноармейцев это слово, слово-оружие, ясное указание, знание, что делать, с кем и почему — «контра».

как восьмидесятые перешли в девяностые в лицах? плавно появились лакейские и мочалочьи лики... из лимитчиц и выбеленноволосых наруганных рокирольщиц появились толстомысые в меру носительницы рюкзачков, дискотечницы, тусовщицы, ходящие в каких-нибудь весёленьких кроссовках или на платформах. «кроссовки» — вот словцо восьмидесятых. кроссовки адидас и т. д. олимпиада, мода. новые сейчас лица, новое телосложение — это не тела восьмидесятых, тут другие продукты, другие движения, формирующие тело, другие до-сути, тенденции жестов.

ходили, ходили здесь, да вот и стали такими — мордашки веселы, под которыми в добрых дланях пиво несётся (жесты рэповаты). несётся и говорится всякое «крУта», «карОчь», «прикИнь», «ну тИпа», «па пОлнай»... да, словечки унаследованы — сам принцип их производства — от лабухов семидесятых англоориентированных. «ты в курсАх?», «он при капиталах?» — вот это самое в-точь девятнадцатый век, что и требовалось показать. это время — ценнейшее. потом пришлось бы его теоретически выдумывать, конструировать подробности из жаргонных элементов девятнадцатого века, дореволюционщины. из словес извозчиков, лотошников, урядников и статских советников. но: интонации, их-то как услышать из девятнадцатого. а тут они — вот вам, собирайте. выродки времени, аномальчики и -девочки ходят с пивом и кока колой в ручках и не подозревают, что они не в двадцать первом, а в девятнадцатом веке разгуливают. у Петровских Ворот кафе в хозяйственном бывшем — «Окно в XXI век», а читается как в девятнадцатый и при этом картинка-то девятнадцатого на вывеске, шрифтик такой... и все в сговоре Реставрации — ресторации, названия веселительно-питей-

ных мест. я овладеваю самой интонацией, самым методом словопорождения реставраторским. успешно могу заговорить с умиляющимися на стиль «дореволюсьон» персонами здоровокоже-толстощёкими около иномарок. споткнувшись или задев барскую машину, могу вполне естественно, машинально выпалить связку учтивых дворянско-разжалованных, советско-интеллигентских извинений вкупе с мимкой и устыжённным попыхтыванием. братва простит, ей приятно, когда так извиняются. «да ничё...» простят оне меня и воззрятся на сияющие дореволюционнымъ ликованием купола, перекрестятся, а потом позвонят чиксухе из салона БМВ, закурят «Кент», договорятся в фитнесе встретиться. я разбираю тебя, враждебная действительность: я разбираю ваши ощущения, буржуи — и не надейтесь на то, что это очарование продлится дольше моего текста, ведь текст изменит ваш мир.

меня распирает осознанность, очевидность, определённости моего местонахождения. такое чувствуешь в бане, правомерно попав в пару, в белёсой невидимости, на женскую половину, когда они в своём мире (в откровенно-заботливых себе движениях) еще не поняли, что ты чужой, а ты уже многое успел рассмотреть — и продолжаешь...

Реставрация. так вот ты какая. да и кто бы думал, что ты настанешь и что ты и есть то самое, ради чего так все ужимались и ёжились в девяностых: а ля старина вот к чему привела, старое-доброе это арбатское, кабацкое... миллениум как рассвет, трезвое, свежее понимание надписей, шрифтов — всё дышит капитализмом, ещё не надышавшись до отвращения. текущая салом Реставрация, зловонный, злословный Регресс. ты валяешься под ногами, ты взгромоздился на месте моих деревьев, на месте моего времени. деревья у магазина (вчера купил там чёрный за 9 р.), развернувшегося в окрестностях хозяйственного, то есть за бывшим ларьком кваса, срублены, толстые спилы высятся под ногами, не выжили тополя в этой близости, выживает бизнес деревья, с листьями у них проблемы начались с прошлой осени, я заметил, что они желтеют и слабнут еще в начале августа, теперь вот избавили от хлопот, спилили, остальных то же ждёт, поди.

я — в моём языке, время — в шагах, в урывках взгляда. всё это происходит в моём месте, вместе со мной, в Тебе, Столица — и я с каждым днём улучшаю речь, близжусь к Тебе пониманием Твоего языка стен, подробностей, больше времени внемлю, угадываю в застывшем, просроченном — тенденции тех мыслей и движений, что реставрируются, оживают. зелёный открывшийся в начале ул. Чехова / М. Дмитровки не только карниз, но и вязь узора — замшелый высохший цвет...

цвета. всё дело в цветах — в фильмах, на фотографиях. привык с первых кадров, секунд вычислять год съёмки Реальности. спектральная хронология, годовые изменения цветов.

двадцатый советский век начинается торопливо, серо-пего и расплывчато: в послереволюционном нагромождении, многолюдья, трамвайных давках ещё не расчищенной генпланом Тебя, твоих улиц (Великая Отечественная убавит и живые элементы киноплёнок).

начинается век чёрно-бело, как задокументированно, и потом робко пробиваются сначала матовые, кремовые с тридцатых — в ар деко, жёлтовато-пегие факсимиле, военные фотографии красных командиров — утро нашей эпохи.

быстро говорит и жестикулирует оптимист Киров. и всё торопится — надо успеть построить социализм индустриальный, непобедимый. и он готов к войне.

и снова чёрно-белое — за тридцатыми, дискуссиями, невидимыми репрессиями за строительством — бои, сороковые. убыстренные и потому бескомпромиссные, энергичные плёнки. торопятся танки, быстро бегут и быстро без театральностей сражаются (с) пулями солдаты Красной армии.

чёрно-белыедвигающиеся медленно в очередях концлагерных, пока наши войска спешат к ним, освобождать — вот они, тогда жившие. как выглядели их цвета? кремовыми, мягкими. цвета стали гуще после сталинского салюта над Москвой.

и вот пятидесятые. уже просится цвет в кино. «Весна» пробегает по Тебе такой утренней, такой яркой — но всё ещё пуританской из-за монохромности. чёрно-белая газета «Правда» мая сорок пятого, которую наши комсомольцы раздают-продают на демонстрациях... но журналы «Советский Союз», пятидесятых — цветные. и вот здесь настоящее чудо: цвет этих страниц полувековой давности — идентичен цвету фильмов тех лет — «Большой семье», даже «Делу Румянцева», который уже конца пятидесятых.

это страна расцвела, пятидесятые как восход: мы победили в великой войне, и теперь победа социализма в Европе — дело времени. но оно-то и внесло коррективы, унесло вождя этого дела. и эти из кремовых ставшие полнокровными, густыми цвета снова померкли в чёрно-белость к шестидесятым (киношестидесятые — опять монохромны, такая странная подсказка, что Хрущёв повёл социализм не вперёд), хотя ещё рделись в киносьёмке похорон Сталина (рабочий, снявший кепку в ответ на траурный гудок по Сталину — цвета такие же, как в «Большой семье»).

в один из жарких дней, возвращаясь по Большой Дмитровке мимо Столешникова с Тверской-4 (там захватил материалы про пользу бумажных пакетов для муки от игошинского пиарщика Влада) — встречаюсь прямо напротив серого строгого Института марксизма-ленинизма, у «трёх богатырей» с игравшим одного из них, первого Игорем Квашой. о, теперь-то я знаю из «Книги мёртвых» Лимонова, что и такие господа хаживали в молодости на улицу Чехова к любовницам, у которых яростный соперник-Эдичка за это вены свои вскрывал?

и идёт по жаркому тротуару исполнитель роли Маркса, смотрит на него через Большую Дмитровку вырыжевший, покрасневший за всё наблюдаемое в стране его сбывшихся надежд, Маркс. Кваша глухо прокурено прокашливается, неопределённо озираясь. какой там ловелас? Невысокий, приземистый теперь он, соперник Лимонова в постели изящной (по меркам последнего, не по моим: толстобёдрая) Щаповой...

идёт Кваша по жаре к центру, ухожу я к Страстному, на другой стороне Большой Дмитровки над проходной Генпрокуратуры пустеет-лысеет бронзового цвета щит, заслоняющий два карающих меча: когда-то там жили серп и молот,

теперь в самую пору туда подрисовать змеящийся всеильный бакс, смеющийся над новобуржуазным правосудием Постэпохи.

август — месяц перемен. как ночью напали наци 22 июня на нас — так в августе все неожиданности. поверишь тут в заклинательность текста — буквально накануне на редакционном компЕ в подвальных испарениях написал злых пару абзацев про то, что бай замучил, загонял — и вот бая снимают. просто утром в день планёрки мы обнаруживаем не полную журналистов комнату Усманова, а хаос, в котором Усманов бегают и собирает свои вещи. чуть позже очень взволнованный Матвеев сообщает, что Холдингом принято решение об отстранении Усманова. Матвеев видит в наших лицах непонимание, оттого и волнуется. назначает следующую планёрку как обычно, просит не пропустить номер, который теперь собирает бедолага Царёв — все остались по местам.

вернулся на дачу с этим же пессимизмом: никак, придётся искать новую работу. но, как говорят, «не было счастья, да»..., а его в то лето действительно не было в сплошной газетной и радио-работе (хотя теперь ту работу вспоминаю как счастье: отдыха не было, но не в нём счастье-то).

прибыв точно к одиннадцати хмурым и неуверенным на назначенную планёрку с тележкой для развоза газет под мышкой, обнаружил в оранжевой комнате рядом с Матвеевым не очень выпавшего восточного вида брюнета в свежей белой рубашке, глядящего трагично на всех встречаемых. это и оказался новый главред Турсунов — словно война за кресло шла между мафиозными кланами. ритуально собравшийся коллектив зашёл в голубую комнату главреда с романтически-импрессионной картиной в жёлтой раме и с удивлением услышал, что работа будет продолжаться и все останутся на своих местах. правда, товарищ Ча новый (так же как Турсунов Усманова, Бархатова сменивший) гендиректор Строев всё никак не хотел видеть журналистом. газетник уже ассоциировался в его глазах только с курьером, в функциях которого чаще был заставаем. впрочем, и тут рабочая функция — знание мест, откуда привозится краска для логотипа, знание многих процедур, включая разброс по Госдуме, СовФеду и обкому с улицей Правды — всё это помогло не только удержаться, но вскоре и подняться товарищ Чу.

и вот уже привычный заезд товарища Еромолаева с его родной Таганки к нам на Космодамианскую стал поводом рассказать всю историю редакционного переворота, как ее смог собрать из разнородных данных. ехать на этот раз мы собрались не с газетами, а за краской в «Сан-кэмикалс» на «Семёновскую» (прежнее, первоначальное название станции метро «Сталинская»).

— Димон, рассказывай, что у вас тут происходит, я слышал, что газету закрывают?

— Пока нет, но чёрт его знает, всё может быть, новое начальство — возможно, придётся всё же искать работу...

— А почему такая чехарда, чем Усманов не угодил-то?

— Сам он рассказал мне по телефону следующее: Игошин не потянул газету, у него как раз сезон мощных капиталовложений, сбор урожая — он ведь на

зерне специализируется, если помнишь. Потребовался ещё инвестор, а он захотел своего главного редактора посадить. Вот и вся история.

— Так газета будет выходить?

— Ещё как, и тираж планируют увеличить...

этот путь по Космодамианской набережной (почти от моста Котельнической до моста Садового кольца, оба они тоже тридцатых годов возведения) мы проезжаем каждую неделю — и каждую неделю я с печалью констатирую, приехав домой взглядом из окна ермолаевского жигулька, что лето заканчивается, а я так и не сбросил инерции движения в Тебе, не охладил ходьбой по земле, по полям жара асфальтного на ногах. вот и август на исходе. обычно, потершись о боковину моста на светофоре — сворачиваем и едем обратно по Садовнической, чтобы оттуда выползти за «Балчугом» к Болотной набережной и уже лавировать в зелени к знакомому мосту в центр, к Дому Пашкова направленному. но сегодня — сворачиваем на мост Садового, мимо Таганки к набережной Яузы, и оттуда — к «Электrozаводской».

успеваем среди разговора бросить взглядом привет и пешеходному мостику за Курским, и конструктивистскому полукруглому углу КБ Туполева, и Бауманскому архитектурному сталинизму. сколько тут силы, уверенности, правды социализма в сидящих за учением статуях советских студентов — тех, что должны были войти вместе с СССР в коммунизм. видел в журнале «Советский Союз» проектную картину Бауманки — просто идиллия сталинской Эпохи, словно в екатерининском парке по Яузе плавают прогулочные лодочки, тона пастельные, и над ними, отражаясь в воде, как мираж, высится этот великолепный вуз, массивный, с новым, уже только после конструктивизма возможным фасадом, классической колоннадой и этими романтическими, устремлёнными к свету знаний статуями. для этого им, изображённым статуями студентам, давали здесь знания, возводили эти массивные, надёжные, чтобы всем зарубежным гостям как сказка — стены... разговор с комсомольским товарищем течёт своим чередом: по узкой набережной мы всё близимся к тому самому мосту, под который мы с тобой уходили в день нашей встречи в своё будущее, к нашим ласкам, к нашим крышам.

— Жаль, что ты не смог у Думы быть, когда мы зажигали. Закон о купле-продаже земли как-никак, дело первостепенное. Я как крестьянский потомок тебе это могу сказать. Всё ведь несанкционированно было — но после того перекрытия и стычек с ОМОНОм рейтинг партии сразу поднялся, говорят, на одиннадцать процентов.

— Что ж, с такой работой — ничего странного, себе не принадлежу. Но, по моему, тут ничего не изменили бы этим угаром. Самих себя подзадорили — а закон-то пройдёт тихой сапой.

— Это их дело. Наше — сопротивляться. Ты бы видел, как яйца летели туда и сюда: это «Идущие вместе» и скиновё нанятое — сначала мы в них кидали, потом они в нас. Им хорошо досталось и ментам. Потом уже, когда тузиться начали, познакомились ближе, но они рассосались быстро. Явно отработали деньжата и смылись.

— Скинны, говоришь? Они хайлей не взбрасывали? А то я тут в «Дуэли» видел одного, он объяснил, что это по-ихнему означает «от сердца — к богу».

вот и мост к метро «Электrozаводская», подтасовываемся к пробке за троллейбусом. вероятно, то, что я сегодня в светло-зелёной рубашке, создает минутное сходство с фюрером: когда показывал Ермолаичу траекторию хайля — из троллейбуса на меня подросток внимательно смотрел. такая вполне в духе СА на мне рубаша, особенно если издали.

сложным автомобильным путём близимся к «Сан-кэмикалс». неужели тут настанет осень — в этой зелени? долго плутали: но увидели проспект Будённого, не случайный, интересный нам, быстро указал Ермолаичу я на ар декО тридцатых, два дома изящные, с длинными фасадами, за которыми оказался стадион: как всё продумано в Эпохе, спорт там же, где коммунальное жильё. здоровый образ жизни, физическая культура — трибуны стадиона, который оказался с неслучайным названием «Крылья Советов» — тоже сталинизм, флёр светлого советского ар декО. выйти из машины — просто удовольствие, так как дышать там внизу всеми газовыми прелестями и трястись — муторно. улица Вольная, так называется.

времени не теряем: Ермолаев расклеивает по ближайшим подъездам наклейки КППРФ, оставшиеся с девяносто шестого года, только без номера 20 — пока я маюсь с бумагами в «Сан-кэмикалс», который расположился в бывшем нашем советском заводе, торгует тут краской, которой мы печатаем наш логотип и скрыто-оппозиционные статьи. секретарша молодости не первой, но работая в зарубежной фирме позволяющая себе быть сексуальнее ровесниц, кофточка такая сетчатая белая, глядит на меня из-под очков оценивая. причёска её претенциозна и сложен — кулёк, но не как у Слиски, а миниатюрнее, вроде витого мороженого из автомата в кафе. а смотрящий я как раз суров и пролетарен — небрит и невыспат. не вашего круга, мадам. впрочем, мадам готова нравиться и таким — вроде зеркала чтоб.

как всё тут в офисе «Солнечной химии» европеизировано: охранники, бдящие благосостояние дающего им благосостояние неотечественного предприятия, обязательно смотрят в моё редакционное удостоверение, и за дверь канцелярскую пускают только при согласовании по телефону, хотя она тут же на первом этаже, за охранником. сижу на зелёном евростуле, жду, пока по компьютерным делам лазает офисная дама, проверяет безлиличные счета. оказалось, что переведенных денег чуть не хватает, но так как мы постоянные клиенты — два ведра заветной логотипной краски получаю. одно пятнадцать килограмм, другое десять. и Ермолаич уже не повезёт к Савёловскому, на улицу Правды — торопится по своим делам. но до метро подбросит, до «Электrozаводской» сразу, минус станция.

— Это, Диман, что — таскать такие ведёрки. Вот я когда на заводе сантехником работал, было время, после школы — то было не балуйся.

— Да ладно — серьёзно, именно сантехником?

— Да, Димон — даже помощником сантехника, прямо как в анекдоте. Это я уж потом шоферить стал, работа по сравнению с той интеллектуальная.

— И что за работа?

— Да самая, как сам понимаешь, чёрная — завод пивной, цеха... А мы коллекторы чистим, когда засорятся. И мой напарник был — ну дед древнейший, он на этом заводе с самого начала, чуть не с тридцатых сантехником, всё знал. Так вот... Так вот — он хоть и старик, а тяжёлый, костей много, видимо. И когда он в люк спускался, то я обвязывался верёвкой для страховки, еле сам туда не соскальзывал. Но он не всё мог, руки не те уже — там важно было завалы битого стекла разгрести, а долго в этих парах не продержишься, дурно становится, можно сознание потерять. Вот вылезет он — и меняемся. Знаешь, это ощущение не передать — когда в жижу эту погружаешься под самый подбородок и понимаешь, что надо ещё двигаться вперёд основательно, долго, а потом багром месить... ох, Димон, вот не советую тебе на такую работу попасть. Рабочие или проектировщики, строившие завод, странные там — ведь битое бутылочное стекло с конвейера как-то попадало в общий коллектор, хотя понятно, что не через туалеты. Старый завод, в этом дело. И всяк раз как забьётся — лезем, как сапёры ищем, где затор, где эта мина в дерьме... После этого становишься очень не брезгливым к бытовой грязи. Ну вот твоя метрА, завони по следующему выезду, только до десяти постарайся. Ладно? Ну, покуда, но пасса-ран!

вот ведь товарищ Ермолаев наш с какими подробностями биографии — настоящий пролетарий, чернорабочий, хлебнувший подлинных трудностей на ней. через это только и можно понять, что такое труд и что такое прибыль, уворованный белоручкой-буржуем куш от этого труда. а я-то что — десять кило в левой, пятнадцать в правой, что вёдра с водой на даче. привет, свежее золотисто-выкрашенные красавцы-метростроевцы с отбойными молотками, скульптурные рабочие вестибюля «Электrozаводской» — это я вашу думку мыслю тут, спустя век социализма, при реставрации капитализма. но у вас лица победителей капитала, а я изгибаюсь аристократическим торсом под ношей будущих тиражей с логотипом «Независимого обозрения», принадлежащего новому русскому, «собственнику» холдинга «Реал-Агро».

да, метро, гордость советской власти — плавают в тебе немymi несознающими рыбками граждане эРэФии, на все эти героические барельефы пялятся, не умея прочитать последовательность, тенденцию этого повествования о борьбе трудового народа, о победе труда над капиталом, о самоосвобождении труда. в лучшем случае увидите тут пресловутый тоталитаризм, в этих мышцах пролетарских, не сочтёте эту силой предшественницей ваших жизней и даже ваших комфорта, хотя бы тут, в метро.

эту Твою подземную часть, Столица, начал понимать и внимать её тексту только после одного плакатика. офис «Яблока» когда переезжал с верхнего этажа в Большом Златоустыинском, Глеб Игрунов, сын депутата яблочного сказал: «Забирай всё со стены, что понравится». страстную гримасу Шэрон Стоун, „рыбку“, родившуюся, как и я, в день смерти Булгакова — трогать не стал, уж больно полный жизнелюб и танцор АКА Гиви Игрунов ею восторгался: мол, на фото одно лицо, но понятно, что делается там ниже... а взял со стены я распечатку на цветном принтере сделанную плакатика из Нэта — «Пролетарской столице — образцовый транспорт. МЕТРОполитен». и не задумывался прежде о том, что имя, ко-

торым я Тебя называю много лет про себя — возвращено той самой Революцией, смысл которой я второй год постигаю не со стороны, а как продолжатель, как свой ей преемник. вот и смысл продолжения поэмы Твоей без неё, моей девочки: Ты стала Столицей, когда власть, то есть диктатура стала пролетарской, советской. значит, не случайны и поиски мои истоков революционных. эта сложная цепь и даёт мне Твоё имя и особый смысл в постижении архитектурного сталинизма: «Кто поёт о советской столице — тот о Сталине песню поёт».

но всё это разве понятно пеструхам-рекламам в вагонах этого уже давно не образцового транспорта, в вагонах ещё советского производства, но заклеенных эстетикой контры? «Техно-сила» и бэтмэн, под которым сумасшедшие где-то подписали «Это дьявол, его сила — русский страх в технике». пора оба эти ведра с синими крышками положить в сумку икейную — пока выходить не пришло время, пока не «Курская». так тяжелее, но удобнее взвалить на плечо сумку, чтобы одна рука была свободна.

так как же случилось, что всё это людское течение — в том же метро, в Тебе же — направились от революционных исторических посланий в стенах в другую сторону, назад от недостигнутого коммунизма к капитализму, который два-три поколения назад уже свергал Октябрь? это случилось внутри людей, как и внутри Тебя и СССР. вещная мотивация, неотменённость денег, перестройка, партбюрократия, заведшая в тупик, откуда выход был только назад в капитализм... какой ответ правильный, серпы и колосья в решётках «Курской»? знаю ваш ответ, им и люблюсь — тут не нацбольский, тут советский гордый смысл. классика и неоклассика, как и всё искусство, принадлежит народу — и даже «излишества», они очень к делу припились теперь во время торжества контры, мне как текст, как необходимый эстетический глоток подтверждения верности выбранного пути. либеральный пессимист скажет — ну, точно отчаянный городской сумасшедший: перенапрягся, стал считать за истину в последней инстанции эти станции метро, «подземный рай пролетариата» (так называлась выставка близ «Библиотеки Ленина»), потёмкинские деревни. нет, злопыхАющий сторонник капитализма: это просто моя Столица и её образцовый транспорт, не мешай читать текст и дочитать его до новой революции, уже коммунистической, с одномоментной отменой товарно-денежных отношений и заменой их карточками, благо техника уже готова, только не по-банковски это будем использовать, а по-пролетарски.

волочь от «Савёловской» на улицу Правды под автомостом и через подземный переход неподалёку от дома Усманова жидкую пока, невылитую в тираж, тяжесть родных, но уже не усмановских логотипов — вот моя работа. с перерывами, пообветриться на жаре, вздохнуть чтоб. эх, аптеки, магазины Нижней Масловки — вот дотащу тяжесть, тогда куплю себе сарделек по дороге домой на Лесной. и не забыть бабушке купить димедрола — прочее снотворное, на всё лето полученное по рецепту ещё в июле, уже кончилось.

уже на финишной прямой, в дворах перед улицей Правды. интересно тут обиходили территорию невыездные летом: подобию огородов, цветников под окнами, тут же кошки гуляют, уют локальный. перевешу-ка сумку на другое пле-

чо. вот ведь — и жара, и ноша добавляет жару. уже выхожу из двора, что ближе к Масловке, тут по-летнему тетёхи развернули торговлю трикотажем, полотенцами — от вокзала недалеко, удобно, прохожих много. но я не ваш клиент, эти полотенца с грудастыми дивами на едком синем фоне, ночные рубашки только злят носителя типографской краски.

после долгого движения по прямой кажется избавлением даже лестница нового, восьмидесятых или семидесятых годов здания «Правды» (а теперь и других изданий — потеснись, партийный орган, бывшей правящей, демократия). раньше не представлял, как проникать в ту, перпендикулярную фасадной, часть, где печатают — был только в линии комплекса, где пишут. теперь знаю. как раз мимо патристического, в здании самом, ларька с наклеенной на стеклянную стену фотографией задумчивого Зюганова пройти, спуститься вниз, где сыровато и — в дверь, это и есть главная проходная, для рабочих и теперь вот для меня, носильщика.

возня с пропуском — не только редакционное удостоверение нужно показать, но и розовый ламинированный пропуск в «Медиа-прессу», вместе. проволочивая свои 25 кг через проходную. и вниз, тут симметричная лестница, можно и справа и слева.

мавзолейная атмосфера, от мраморной и чернокаменной отделки. и тишина, ни движения. только очень отдалённый гул станков. с сумкой, конечно, мыкаться не пристало — но прежде, когда в первый раз, ещё зимой притаскивал сюда первое ведёрко, пришлось побегать по этажам. громадное здание, а используется на толику — пустые, словно в военное время раскуроченные, с поднятыми полами, в мусоре комнаты. станки оттуда проданы, а ведь все эти мощности когда-то производили и газет больше.

на лифте два этажа вверх. ищу теперь мастера — спрашиваю у рабочих в курилке. вот он, современный летний малочисленный пролетариат, собственно и все заводские, исчисляемые тут несколькими такими человек в восемь бригадами: неряшливые мои рассеянные ровесники с голодными недружелюбными глазами, ноги в турецких резиновых шлёпанцах в стену упёрты, курят. лица в типографском характерном свинцовом налёте, мазки машинного масла на руках. указывают вдаль. а внизу, где сперва проходил, есть раздевалки, душевые, бассейн — там атмосфера. наверняка и спортивные комнаты были, культура отдыха чтоб, пинг-понг какой-нибудь как минимум, а не в курилку время сжигать... захожу, втаскиваю на плече своё ношу в хлопочущий, оглушающий цех.

здесь на Пламагах, огромных печатных станках, несутся, печатаются газетные ленты. два станка цветной печати, компьютеризированные, аккуратно, словно на вешалках просушивающие отпечатанные листы, но мне в другую линию, мимо них. дух здесь характерный, воздух немного пыльным кажется, это свинец типографской краски витает.

дойдя по вымощенному наполированной квадратной железной плиткой полу до тыльной стены цеха и повернув назад, но уже в следующем отсеке, вижу другие Пламаги, эти печатают двцветки, как нашу. с одним станком что-то случилось — запах палёного механизма, перегретого металла...

пока я заходил в отгороженную от цеха стеклянным коробом конторку, из неё выбежал выяснять происшедшее, видимо, тот самый мастер в халате, очках и берете:

- Ну, почему остановились?
- Да, стажёры, салаги, ядрить их!
- Чего они?
- Да веретёнку залили, она и сгорела.
- Ну... Сливаете?
- Сейчас остынет — сольём.

с краской, ведёрками моими плоскими тут надо внимательно — у нас уже есть точное место под столом, где мы её оставляем. смешно сказать — кучу бумаг нужно проштамповать, чтобы потом её тут оставить, эту довольно дорогую краску — на совесть пролетариата. и ведь ни разу не подвели. знают, где брать, даже экономят, хотя от них этого не требуется, ещё советский рабочий контроль, рабочая совесть, всё вокруг народное, все вокруг моё.

кинув мастеру на краску под столом, удостоверяюсь, что он запомнил, принял. он лицом даёт понять, что на рабочих можно положиться. теперь идти в канцелярию с бумагами. это целая экскурсия. отсюда, из цехов, нужно спуститься в подвал — откуда цепляют на подъёмники рулоны бумаги. это уже не на лифте — по лестнице.

в запахе металлическом и слегка подвальном, сыроватом и здесь уже бумажном оказываюсь — снова по блестящей металлической плитке иду. тут гляди в оба, ноги береги: среди металлической мостовой незаметно идут и иногда подтягиваются звенья специальной, цепляющей платформы с рулонами, цепи. неожиданно среди рулонов сидит в шортах и шлёпанцах ещё один отдыхающий работяга, читает какое-то произведение их рук, что-то цветастое мясистое, ку-пальник. Астое, жёлтую прессу, никак.

пройдя все движущиеся с бумажными тумбами-рулонами цепи, обнаруживаю дверь в лестничный стояк. всё тут сохранило эстетику восьмидесятых, даже значки ПК, пожарные щиты, эмблемы выхода с человечком на зелёном... получив на четвёртом этаже, мимо которого вверх зачем-то тянется толстый кабель, спускаюсь, но не в подвал, а на первый этаж, только уже не цеха, а бумажного склада. комплекс «Медиа-пресса» тут потрясающий во всей функциональной полноте: уже за этим помещением идёт подвод железнодорожных путей — для подвоза бумаги и вывоза газет, машина газетного комплекса «Правды» работала на весь СССР без сбоев тут, всё подогнано идеально, недаром переулок, через который проходит наискось рельсовый путь к комплексу, называется Бумажным. на складе бумаги хлопчет подъёмник, развозящий рулоны, не попасться бы — тут вообще не проходной двор для таких, как я... ворота хоть и закрыты, но в щель пролезаю аристократически-пролетарской своей худобой и оказываюсь в нужном месте — ближе всего ко второй проходной, которая не на улицу Правды вернёт, а на Пятую улицу Ямского поля. прохожу через низкую конструктивистско-пролетарскую проходную, даже пропуска не показывая дежурному дедушке, с синей икейной

сумкой под мышкой. там остался какой-то древнейший телефон, внутри проходной — словно довоенный, настенный, огромный, чуть ли не с трубками для выхода паров и огромным, как на школьных звонках, блюдцем-звенелкой, весь цвета металла. мы там грелись в первые разы получения тиража, у этого телефона, кузен Леонидас спорил с кем-то в окошке, звонил Ибрагиму на сотовый...

после ведёр лечу по солнечной улице к дому вдвое быстрее. надо бы глотнуть воды. куплю на Лесной. знакомо перебегаю железнодорожные пути, от которых к «Медиа-прессе» отходят через Бумажный переулок рельсы, и пытит локомотив ЧМЭЗ. о, эти ступени и волчки за лето вымахавшие в кусты, вот я и вернулся почти на вечное жительство тут, городское!..

научился читать Эпоху в домах — даже там, где покупаю дорогие сардельки и воду «Буратино» в маленькой 0,33 бутылке. за этим бордовым солидным домом пойдут уже вузы того же времени. вот не ускользнул от внимания и Менделеевский, у которого на конструктивистски выгнутой полукругом груди красуются хоть и выцветшие, но узнаваемо сине-красные, когда-то подсвечивавшиеся изнутри, советские ордена Ленина, Революции, СССР. и РГГУ не миновал ар деко стиль: общежитие явно такое, они немного разные, эти соседние корпуса. а дальше уже идёт массивный, переходящий в таинственный сумрачный неоклассицизм всё того же общежития РГГУ — всё тот же архитектурный сталинизм.

наш подвал на Космодамианской набережной заселился новым руководством. вслед за новым главным редактором Валерием Турсуновым появился и заместитель его — стильно лысеющий и не менее стильно трёхдневно ошетиленный Анатолий Баранов. заседания в верстальщицкой, нависания над Казаковым теперь осуществляли Турсунов с Барановым. из-за жары подмышки свежей рубашки Баранова широко и тёмно пятнели. заместитель Баранов на планёрке сказал умное слово «товар» по отношению к заголовкам («нет товара, нечего читать») и обиделся на моё упоминание красно-коричневости логотипа, сразу открестив сие «красно-говнистым». прогрессивно в левом отношении, быстро и грамотно мыслящий зам, на разговоры и комментарии не скупающийся — с ним придётся и, видимо, приятно будет работать.

после того как практически одновременно с приходом нового начальства вся редакция переболела странным желудочным гриппом (который у меня упорно ассоциировался с подмышками Баранова), всё вернулось в прежнее русло — планёрки, распространение газет, задания... первые страхи по поводу увольнения у всех прошли: даже закадровый Усманов дал команду всем оставаться на местах (правда, он-то рассчитывал на то, что верный ему «профсоюз газеты» нечто предпримет, как ходили слухи...). положение товарищ Ча сначала оставалось зыбким, Строев в нём видел исключительно мальчика на побегушках и разносчика газет (для которого еще в разговорах Строева с Усмановым четыре тысячи считались лишком), но потом новый редактор, наблюдая за эрудированно говорящим, но исключительно курьерящим бегунком, вдруг решил повысить его в звании. после того как по многократным настояниям Строева я сделал ве-

шалки для полос (две длинные планки с Тимирязевского рынка нашиповал гвоздями), задания от главного редактора и его зама пошли серьезные.

внезапно окрепшие шашни Холдинга в лице Матвеева с Плут Палычем Бородиным требовали освещения одного события. фактически, это задание и стало дебютным уже не для временами бравшего интервью, а для постоянного репортёра «Независимого обозрения» со ставкой, повысившейся с пяти (с гоно-рарами) до семи тысяч — так мудрый новый правитель Турсунов давал понять, и кто в доме хозяин, и какой хозяин лучше. но новоиспечённого посыльного (уже не по хозяйственно-бумажным поручениям, а информационного) интересовала прежде всего новая работа и новые ситуации. и ситуацией было — поехать в родное недавнему Сидорову Одинцово на открытие детского дома, которое патронировал Плут Палыч Бородин. Матвеев, почему-то думавший, что я с комсомольской солидарностью сбегу вслед за коммунистом Усмановым, задобрил меня окончательно новым назначением «в отдел информации». разговор происходил во дворе под сенью листвы и стен дома 44/2: Матвеев велел на встречу с Бородиным одеться прилично.

что-то происходило в конце этого лета — всё начало гореть, и дым от тлеющих лесов Подмоскovie пришёл душить Твои улицы и их пешеходов, апокалиптическое настроение создавая. сводки показывали, что сердечники и лёгочники такой погоды уже не могут вынести.

сквозь описанную в самом начале второй части дымовую завесу, от которой перестал с Каретного видаться даже серый рыцарский дом напротив Театра Образцова, я поехал в Одинцово с Белорусского. очень рано, чуть не засыпая в вагоне, в белом парусиновом костюме покойного троюродного брата (он в нём играл в ВИА на танцплощадках семидесятых) — на открытие нельзя опаздывать, а оно в девять.

с холодеющим с непрОсыпу нутром в относительно чистом утреннем воздухе Одинцова стал я бегать в поисках новостройки, которую открывали в это утро Бородин, Кобзон и другие звёзды Постэпохи. развязывались постоянно шнурки пегих ботинок — сквозь парковую зону, плутая меж домов восьмидесятых, спрашивая дорогу у колясочных ровесниц-мамаш, прибежал на какое-то открытие с духовым оркестром, но оказалось — магазин.

бежать надо было совсем на другой конец Одинцова, и снова через лесопарк уже опаздывая, выяснил направление на остановке — как всегда старожилы ветеранского возраста дали наиболее точный маршрут. пришлось плутать какими-то среди леса обнаружившимися приусадебными хозяйствами, проходными огородами, свинарниками, курятниками к шоссе — вот она репортёрская работа, в этом белоснежном костюмчике ну чистейший сюр. пробежал по ответвлению от шоссе, войдя в просыпающиеся, рассредоточивающиеся по магазинам, овощным лоткам, становящиеся людными кварталы. почувствовав близость к Тебе, снова запах палёных лесов — пошёл наугад в центр силикатнокирпичного квартала.

здесь рекламы натяжных потолков — совсем бесстыдные: из той же, что в центре у нас, на Арбате, фотосессии с грудастой, обтянутой в жёлтое, дивой и присуседившимся позади неё, укрытым по пояс этим же жёлтым полотном,

качком-кавалером, неизвестно что под шлейфом там выделяющим. но в данном эпизоде никакой неизвестности: победоносная гримаса и целеустремлённый в область попадания атлетического снаряда качка взгляд не оставлял шансов целомудрию одинцовского обывателя, к тому же дива тоже подыграла, выгнулась эдакой жар-птицей страдательно.

новостройку Бородина вычислил по цвету кирпича — других такой свежести новостроек везде, где бежал, не встречал. кучка пенсионных созерцателей торжества, наблюдающая от подъезда панельной девятиэтажки, подтвердила гипотезу — там. перпендикуляр от идущей вдоль подъездов узкой автоколеи подвёл к огороженной забором территории, у которой стояли несколько чёрных иномарок и братва-охрана федеральных понтов. ворота открыты, у крыльца новостройки небольшое столпотворение, звуковые колоночки установлены. никаких опознавательных знаков, кроме самого Плута Палыча, легко угадываемого сбоку от толпы, дающего интервью.

по всей форме, и милиция, почтительно, по лакейскому этикету остановившая в районе подъездов, рядом с пенсионными зеваками, свои патрульные машины, метров за сто от сборища господского, и собственная бородинская братва с как бы вживлёнными в уши проводками-пружинками у иномарок с их сановных персон, что стояла уже за воротами — должна бы была проверить меня. но леворадикал, одетый в радикально белый костюм и вид имеющий опоздавшего на танцплощадку гитариста, прошёл везде без окликов, без препятствий. леворадикал сразу же смекнул: политический террор нужно осуществлять в предельно заметном и неожиданном для секьюритинов костюме. весьма похожий внешне, даже родственный на вид тоже крупнокостному Паше Бородину-Покрышкину, Плут с минимальной свитой стоял рядом с песочницей и аккуратными, как в ресторане за приёмом экзотической пищи, но и крупно-братковатыми жестами убеждал в чём-то тележурналистку. движения рук показывали, во-первых, что вещает один из власть предержащих, а во-вторых, что он и впредь будет делать всё в сфере пиара, чтобы слыть таким вот добреньким дяденькой, строящим дома для сирот.

лирический благодный вид молодого носатого брюнетистого человека из газеты, о которой ему что-то говорили, вызвал у Плута Палыча симпатию. старательно записывающий слова Бородина, юноша в белом даже пустил незаметную слезу, когда Плут Палыч вешал ему лапшу про необходимость глобализации и связанных с транспортировкой товаров через РФ инвестиций: просто от ощущения значимости момента. знал бы Бородин, по команде которого разобрали сталинское оформление Кремля, какой мститель скрывается под этим костюмом пёро — что на теле юноши (который по гипотезе Плута Палыча не знает, как трудно было купить машину и другую собственность в семидесятых, когда он строителем начинал уже сколачивать свой капитал) на месте испарившихся следов поцелуев его ныне родившей уже, вероятно, девочки остались отметины недавних летних волнений у Думы. впрочем, тут леворадикал про себя приврал — не был он на той битве, не был случайно, мог быть, не чёрная кошка, как Пушкину, но задание Усманова перебежало ту дорогу.

Бородин что-то плёл про милосердие, но плёл не долго, так как ему уже было пора выступать или быть благодаримым выступающими. Бородин переадресовал тему милосердия Абдул-Вахеду Ниязову, в модном полосатом полиэстровом костюмчике стоявшему поодаль. партийный товарищ Бородина сказал заветное анти-советское «мы не винтики», потом про «традиционные ценности» и снова про милосердие. все эти красавцы элитные тут собрались между бизнесом и отдыхом от бизнеса, банями с «подтанцовкой», заняться милосердием, посмотреть в невинные запуганные страшной действительностью детские глаза взглядом благодетеля.

невысокий краснокирпичный домик, выстроенный на месте пруда, где местная детвора ловила пескариков — объявлялся ораторами началом возрождения России милосердной. милосердие и забота о детях, по мнению того же Кобзона, выражались в их действиях путём сбора на вокзалах толики беспризорников и заселения их в такой вот домик с последующим содержанием и образованием в лучших школах и вузах, им повезло на всю жизнь, беспризорникам бывшим. если соотнести со стоящим у дверей новостройки числом то бесчисленное, миллионное количество беспризорников, которое расцвело при приватизации и капитализме, то истинный смысл слова «милосердие» не проскользнет мимо. за время кастинга беспризорники уже стали вполне приличными детишками, здесь их собирают в семьи по семь-восемь человек и каждой семье дают воспитательницу и пол-этажа. Кобзон называет («как я их называю», так и сказал) воспитательниц в таких домах «мамками». сам уроженец детдома, он покровительствует подобным заведениям. ох уж этот женихастый певец — ведь сватался к маме Стычкина когда-то...

да, собралась эта муляшная, пародийная, парикастая и гримированная как Кобзон публика на типичное для Постэпохи мероприятие — даже не пиар, а просто характерный буржуазный фарс. весь тысячный микрорайон окраины Одинцова из своих типовых домов наблюдает, как облагодетельствовано господами власть имущими несколько десятков детишек. а что? значит, есть деньги у господ — пускай благодетельствуют... жизнь этих бывших беспризорников будет жизнью элиты внутри микрорайона, за этим вот новеньким забором. зарплаты, продукты — всё внутри этой территории отдельно взятая американская, новорусская мечта. и попавшие в услужение милосердным благодетелям «мамки» будут хвастаться соседкам благосостоянием, при том наживаемым на милосердии. милосердии тех, кто занимает немилосердное, элитное место в обществе.

и именно о воспитании «национальной элиты» вкусно вещал мне в блокнот Плут Палыч. мол, без национальной элиты — никуда, государственная политика буксует. как они, эти самовыдвиженцы, любят сие словосочетание — «национальная элита»! никак, себя ею и считают. точнее — первопроходцами, которые воспитают эту национальную элиту. заслуженно: ведь именно Плут Палыч посадил президента на царствие в им отреставрированный для Постэпохи Кремль. и Кобзон, которого даже мафиозные США не пускают к себе за связи с русской мафией, и Плут Палыч, о подвигах которого так пространно намекнул в опубликованном этим летом «Гексогене» Проханов... они насосались денег —

и теперь диктуют милосердие тем, кому повезло, благодаря их воле. восточно-хитрый теоретик элитаризма и депутат Госдумы Абдул-Вахед тоже недолго говорил с корреспондентом «Независимого обозрения». в то время как он подтянулся к стоящему на ступеньках президиуму, дабы быть в кадре телерепортажа, Плут Палыч вдруг, вызванный сотовым телефоном, поспешил с лестницы — корреспондента развеселила его блатная вразвалочку походка и похмыкивание одной ноздрей, тоже избыточно блатное. стремительность массивного тела Плута Палыча говорила о том, что он кого-то сейчас будет сильно ругать или учить, тем более что оторвали его от такого приятного момента, когда коллектив его детдома рассыпался перед ним в комплиментах. а что — и не солгут: человек, добившийся многого в переходный-то период, когда и на реставрации Кремля, и на прочих стройподрядах, увязанных на финансирование от Ельцина, то есть из бюджета страны, можно было сильно разбогатеть. Плут Палыч делился с юношей в белом даже такими тонкостями своей биографии, как работа в нескольких СМУ, чтобы денег больше было, чтобы купить квартиру и с женой отдельно поселиться. абсолютно американизовавшаяся, вся такая елейно-дворянствующая крашенная жена его тоже выступала тут, и она-то и была представлена как мать-благодетельница, курировавшая постройку данного здания. идиллия просто какая-то. жаль, Кобзон не спел.

всё та же позднесоветская чиновничья рать. тетёхи с кульками-причёсками, Плут Палыч с медвежье-братковскими повадками, маститые начальники теперь уже капиталистических строительных предприятий — все они собрались тут чтобы делать добро. не учли только того, что корреспондент молодой, но уже известной в Думе и прочих местах газете, не совсем на их стороне. он, конечно, этих мыслей не изложит в заказном материале — который положат Плуту Палычу на стол. он прибережёт их для книги. и уйдёт с ещё не закончившегося этого праздника с обязательным для журналистов фуршетом — уйдёт в задымленный микрорайон, чтобы пешком, незнакомым наугад путём, даже здесь встречая двух-или одноэтажный архитектурный сталинизм Эпохи, добраться до станции.

попал точно в перерыв — зачем брал билет туда-обратно? перешёл по закрытому коробу на свой перрон, удостоверился в пустоте его, с горя купил мороженое «Лакомка» и вернулся к автобусному причалу за вокзалом. тут куча автобусов и к нам. и ждать только сорок минут. приятно увидеть по пути от станции железнодорожной к автобусной два стенда — «Совраски» и «Правды», кто-то явно из наших его обновляет, чтобы читали соотечественники.

и надо же — у расписания автобусного, после покупки билета встретил к тому же нашу эскаэмовскую девушку Лену, с нею по пути. глаза голубые, счастливая, у неё с нашим комсомольцем Колотевым идёт дело к свадьбе. говорливая, тоже мороженое купила и ест, рассказывая беспрерывно то про институт, то про отца.

и не заметили, как автобус подкатил, сели позади, чтобы ветерком продувало дымовую атмосферу, и продолжаем разговор. и всё-то у Ленка замечательно: отец квартиру обещал им на свадьбу освободить одну, он директор автопредприятия одинцовского, обеспеченный человек и при этом верный партиец, «он

такой коммунист!», так что одобряет комсомольскую свадьбу. гляжу в прозрачноватые, открытые всему радостные глаза Лены, за окна автобуса в начинающуюся желтизну сухих словно от дыма этого листьев и скорбно завидую простым счастьям людским — поэт с прошлой поэмой ласк с девочкой, которая в этом или грядущем месяце должна родить непозтова ребёнка. она немножко чесночком пахнет, комсомолка. говорит весело и с аппетитом — будто и не было у меня этого вынужденного утра среди милосердных деньгу и власть имущих. с нею возвращаемся к Тебе, сильнее задымленность, в свою эстетику едем: почему-то вспоминаю девяностолетие «Правды», которое отмечалось во МХАТе Горького, стиль стен семи-восьмидесятых, вероятно, потому, что тогда Влад и она раздавали номера «Правды» у выхода из трубы на Пушкинской.

приехали к «Молодёжной» станции метро и там уж простились. прибытие моё в редакцию в белом пиджачном антураже произвело впечатление — тут же Турсунов и Баранов, дружелюбно и с поддёвкой показали тот глянцево-журнал, где процитировано моё выдуманное интервью с Лановым: мол, вот зазнаешься и уйдёшь от нас... на Правдуру. что это за сайт я тогда представлял слабо — а был он детищем Баранова как раз. везёт мне на Барановых. в музыке и журналистике.

в начавшемся учебном году подвал наш в неспадающей жаре снова полон канализационно-икейных ароматов. вместо Сидорчука на подмогу краснолицемому невысокому пьющему живчику Шевченко в качестве рекламщика на пятисотбаксовую ставку добавили некоего Юрика — экс-брателло. персонаж, появившийся ранее, но не замеченный — а достоин внимания, ибо отражает этап Постэпохи. широкощёкий узколобый с бобриком рослый толстяк прижился на нашей оранжевой кухне — стал вместо давно изгнанного Усмановым Тульского собеседником всем и каждому. одетый неряшливо, в майки да свитерочки позже, этот овальный мужичок очень много рассказывал о братковских буднях да шутках, и про квартирные эпизоды той, девяностых ещё, жизни. про всяких отвергавших его братковские поползновения лесбиянок, управляющихся друг с другом скалкой, про вставные зубы одного друга-брата, поставленные в арбатской клинике для крутых (где Стас Сададьский и Тина Канделаки бываю-ют), которые от палёной водки, которую тот пил на Театральной (на Плешке, перед Большим, где геи встречаются), растворились, а братва его за отсутствие передних зубов с хохотом зачислила в «петухи». пошлил запальчиво, азартно, с нарастанием потребств — едва почуяв, что «пипл хава-ет» такие темы. экс-браток стал главным спикером кухни в отсутствие Леонидаса, который ещё у Усманова отпросился в начале на вольные хлеба (хотя умудрялся получать около четырехсот долларов в месяц в редакции) — словно предчувствовал большие перемены.

совершенно забытым в мемуарном потоке остался, однако, эпизод изгнания автора логотипа «Независимого обозрения» Черноглазова и его собутыльника Тепленина, который, как сам говорил, в журналистской молодости подчёркивал свою антисоветскость псевдонимом «Тёплый Ленин». строгий бай Усманов выгнал обоих в одночасье за пребывание на работе в нетрезвом виде. для Черноглазова спирт в дыхании был неотъемлем — всякий раз в верстальщицкой от него

несло, а вот Тепленин позволил себе расслабиться в летних зноях с помощью пива уже как любимчик бая — настолько был уверен в своей незаменимости в качестве первополосника. следом за ними вылетел и Тульский, которого оклад уже не держал, а громкогласность и дискуссионность брали своё: как-то раз в оранжевой компьютерной комнате он, голосисто розовея, прямо высказал Усманову свои негодования по поводу его жены-корректорши и жесткой семейной цензуры. повосточному хитро Усманов промолчал, ответив милостиво: ну так ты пиши, посмотрим. но вскоре Тульский вылетел, и никто не сомневался почему. впрочем, этот умелец быстро пристроился в Думе на больший оклад.

незамеченным, вкрадчивым, в редакции незадолго до переворота появился Максим Артемьев — костюмный мальчик из Думы, протезе Игошина, писавший весело и осведомлённо на политические темы. с внешностью Глота с планеты Катрук из «Тайны 3-й планеты» и мультяшно-мягким голосом, каким дети дразнят слащавых подлиз, Артемьев не любил, когда его называли грубально Максом. в первый раз зайдя в компьютерную комнату и сев за комп, он не смог с ним справиться и спросил у запальчивого, в тот момент азартно набарабанивавшего очередной текст товарищЧа, как быть. на это товарищЧ начал весёлый ответ с продвинуто-попсового субкультурного междометия «Оп-па.., а тут надо вот так..», что впечаталось в память нового коллеги как явное наличие в редакции людей свежей генерации, к которой товарищЧ ни по годам, ни по сути не относился.

Космодамианская набережная, с затаённой почти на ватерлинии нашей редакцией продолжала плыть по двести с лишним второму, уже учебному, городскому году — сквозь лесные дымы, стягивавшиеся к центру с окраин. «Судный день города» — так назвал товарищЧ свою первую передовицу в родной газете — до тех пор на первой полосе был только его Милошевич, с неплохим позагом «Трибунал без Понте».

нового репортёра стали направлять на мероприятия, и его полноценный дебют в этом жанре состоялся на Дне города, где под Моссоветом за трибуной он встретился с прозрачным взглядом также приглашенного Лужковым в вип-ложу Геннадия Андреевича, его не то чтобы узнавшего, но задумавшегося по этому поводу.

что ж, не газету же сюда заглянул читать ДЧ (дорогой читатель)? нужно вдохнуть газетный запах дня, в котором статья читается, в книге она теряет свежесть, как засушенный лист осенний. «В день именин, а может быть, рождения» — заголовок Баранова, а фотография свадебного кортежа — Юлии Менго, за которой приударял новый молодой костлявый дизайнер Демчук, пришедший прямиком с журфака МГУ на место Черноглазова.

именно по поводу этой весомых достоинств элитной еврейской девушки с голубыми глазами и русыми волосами Демчук ругался с мной после марша «Антикапитализм-2002», который на этот раз был довольно прямолинейно проанонсирован на полосе «Общество», которая медленно отходила в сторону товарищЧа. а проблема заключалась в том, что до последних дней готовивший марш и концерт на марше (на Маяковке) товарищЧ, после очередного разъезда с Ермалаевым и доставки пачек газет на улицу Правды и в обком, но с обратной сто-

роны, через Сущевский вал, слёт от гриппа. сам слёт, а задание фоторепортёрше осталось, и она немало испугалась и оцепления и прорыва на Маяковке, элитная, изнеженная особа.

продуло невольного провокатора страхов Менго в окно машины, видимо, хотя казалось, что всё это от бесконечных удушливых стояний в пробках среди гасящего железа — ещё в машине заболела голова. именно из головы и пошла простуда в лёгкие — в жару прометался несколько ночей, борясь в темноте с заразой играющими в уме нон-стоп песнями Manowar'a про братьев металлических, эпически-ми, гордыми песнями. из жара вытащил на второй день лимонный Колдрэкс.

проболел и марш, и прорыв на Маяковке 15 сентября, когда нацболы и акаэмовцы ринулись в свой осенний променад в сторону дома 302-бис булгаковского и растворились в дворах вокруг Патриков... влажные, температурные те дни переживал в непосредственной близости от Маяковки, а на следующий после марша день умудрился написать и даже, обвязавшись шарфом, принести в подвал на Космодамианскую дискету с текстом, который встал на передовицу 19 сентября — «Хук справа по левому маршу». по телефону до этого приятно было слышать команды стильного зама, перманентно щетино-бородатого Анатолия Баранова: «...я бы хотел получить текст не позже... знаков не более... фактура, кто задержан...». как же было не написать про родного другого Баранова, который пел акапельно «Красную армию», а потом был вместе с остальными «подозрительными» замечён в красносельский обезьянник. парадокс Постэпохи: в отделение милиции района Красносельский препроводили певшего «Красную армию». не те времена, перевёрнутые времена.

уходил в начинающуюся осень после простуды поправляющийся медленно репортёр полосы «Общество» — навстречу перемене местожительства редакции, переезду на Газетный переулок, куда ещё Усманов собирался, в офис «Реал-Агро», под бочок к шефу, и чтобы не платить за аренду отдельного подвала. но пока это только были разговоры, причём новый начальник Турсунов выглядел инициатором переезда, «поиска помещения», который, остановленный на Газетном, потом всего лишь избавил Игошина от лишних трат.

осень двести сорок второго водила уже профессионально знакомой, необходимой дорогой в Замоскворечье — по пятницам не только от метро до Космодамианской набережной, но и обратно, на радио. вот парадокс: нет Усманова, всю эту кашу со мной заварившего, а я тут бегаю, вижу ежедневно восхождение шпиля высотки над цилиндром башни институтской на нашем берегу: так из конструктивизма за Тобой-рекой рождается высотный апогей сталинизма. без метафор вся последовательность, хронология лет социализма соблюдена: институтский дом, который построен в 1930-м, чистый, механический, словно приводной ремень перекинутый через вал углового к реке цилиндр, конструктивизм, а мост уже тридцать восьмого, с элементами ар деко — мост, который через военные годы, через вОды приводит трамваи, транспорт тех лет, к изобильным пятидесятым, устремлённым к высотам коммунизма, к торжеству второго кремлёвского круга или треугольника между высотками наращивающего Тебя,

невидимого, без стен. стиль преклонения перед кремлёвской башенной старью возвышен на новые верха — и со звездой пятиконечной, сменившей обычных дореволюционных постояльцев шпилей, куриц, только двуглавых.

вот и Пятницкая-25 глядит из сороковых углом и окнами в Замоскворечье. здесь закипела наша с Довгалем деятельность: эфиры один за другим, неделя за неделей, втемяшивались в самые актуальные темы, подбор песен на бегу, диски красные с песнями о Сталине оченьгодились. и годовщина октября девяносто третьего подспела: всё, собранное в единый кулак, и песня «Воронья стая» «28 ГП» с голосом родного вокалиста, и репортёрская моя запись с шествия с фотографиями убитых...

седьмой этаж, обязательно приносимая мной стопка газет, голубые расслабляющие диваны приемной редакции, большая торжественная лестница в радиоцентре, выписка пропусков, беготня за несколько минут до эфира — все удовольствия начинающего журналиста, теперь не только бумажного, но и голосатого. и говорить, на ходу учась, получалось неплохо — быстро, запихивая информацию в эфир с поспешным, но выстраданным анализом, почти с вызовом невидимому идейному врагу в голосе, с неизменной атакой пополам с тенденциозными размышлениями.

но куда спряталась встреченная ещё весной на митинге перед Моссове-том, под Долгоруким, комсомолка-брюнетка? конечно, это не то событие, что требует особого места в поэме — после девочки моей, что шагнула в материнство уже. а я всё в прошлых возрастах топчусь, институток учу навыкам ласк да, она уже всю осень изучаема товарищ Чем в её тёплой квартире на «Водном стадионе», её непривычно товарищ Чу увесистые грудятки немного асимметричны, но аппетитны, особенно если сзади подойти, подобраться снизу и жадно сжать — богатство. дверь комсомолки изнутри комнаты заклеена метростикерами со стихами товарищ Ча — она не знала, что всё это он писал, и собрала так заочно целую коллекцию. как-то даже неудобно валять, заласкивать её на маленькой узкой, не для двоих кровати в присутствии своих же призывных строк на оранжевом фоне, со звездой организации справа.

хватит гнутья под буржуем,
олигархов пестовать.
буржуёв — пережужём!
скоро им ответствовать.

прошлое — царизм, капитализм,
будущее — коллектив, коммуна.
но пока буржуй в стране царит,
то отсчёт назад куранты бьют нам.

в 41-м твой дед-коммунист
за Советскую родину бился —
для того ли, чтоб капитализм
на земле нашей вновь воцарился?

Ельцин разрушил Советский Союз,
 братство народов разбил пьяной лапой.
 нам имя — Советский народ, но конфуз
 в том, что буржуя рабы безымянны.

однажды в метро, после того, как в районе Новокузнецкой в давке я наклеил над дверьми вагона агитку именно с этим текстом, какой-то толстый нервный тип пробился к дверям, прочитал и потребовал: «Ну-ка, сними её щаз же!». отвечаю ему: «Вы что тут — главный по вагону, хозяин?». «Пакость, пакость, — говорит он, вновь перечитывая, — всё равно сорву сейчас». ничего не сорвёшь, думаю я: прослежу, не выйду на следующей в крайнем случае. но не сорвал, вышел, вымыло его вместе со мной людское течение на Театральной.

может, это и есть награда? писал, писал эти жгучие, нервные агитки — вот и собрались они в доме одной из комсомолок, вот и готова она меня всевозможным принять, быть единомышленницей и боевой подругой, угощать своей нетроутостью. так думал тогда — но, текст, ты снова имеешь именно ту временную дистанцированность от Реальности, чтобы огорчить переживающего в описываемом периоде искренние удовольствия: они продлятся не долго и, главное, не дойдут до логичного прорыва, девочка с комсомольским именем Катюша останется девочкой. не моей.

сила или слабость в том товарищЧа — знают только они вдвоём: она, возможно, благодарная за его предвидение и недопущение неискренних отношений до телесно усугублённого обмана, он — смиливший в себе зверя, бывший, направлен на молодежь в ней, и упёршийся в девственную преграду так, что сомнения в ней победили тоже, только чувственные: «Ой, кажется, мне теперь на весь день будет проблем, трудно ходить!..». через год победит вовсе не лирика в их отношениях, они рассохнутся, не соединённые подлинным, известным в этой паре только ему, взаимным восхищением. а инерцию недостаточных чувств и встреч товарищЧ будет гасить жестоко, не без слёз для неё обойдётся, но для блага же её (и зачем отбил, отогнал от неё очкастого комсомольца из Липецка и русого худого нацбола из Кимр?). поводом станет встреча другой — но уже не комсомолки, а пионерки, правда старшего школьного возраста. но и та растворится в буднях, в расстоянии между Тобой и Солнечногорском.

а комсомолку брюнетку — вёл к высоте летом, возвышаясь по мосту, минув вузовский конструктивизм 1930-го и за ним родную теперь область, где подвал редакции с уже новым начальством. в ещё светлом полужакатном вечере после передачи, после ревнивого, смиряющегося около ларьков «Новокузнецкой» взгляда Довгалея — уводил. чтобы показать и рассказать понятное теперь сообщение Котельнической высоты, к которой с тобой мы ни разу не приблизились в свои лета. и она сияла нам приветственно — ещё незнакомым толком, шагающим по мосту 1938-го года над Тобой-водой, внизу трамвайчики, веселье. а над этим всем высится и ширится гордость Эпохи, ещё толком не вычитанная нами из стен. украшения высоты ближе к шпилью: одни напоминают витое мороже-

ное, как автоматы в перестроечных кафе умели делать, другие же напоминают колючие помпоны, шипованные шары, как оружие древнерусское.

с моста идём к «Иллюзиону», веду комсомолку опытом делиться — опытом в чтении стен. через Язуз стены уже говорят с нами серпами-молотами вдоль над верхними арочными закруглениями окон. заодно и фильмы глянуть, какие в «Иллюзионе» — идут ли подходящие, советские. нет, одна Франция мелодраматическая, «Мужчина и женщина» — фильм, в студенчестве смотренный всем нашим курсом на кравтире... [о, недостаточно вошедшее в поэму студенчество и его средоточие: кравтира, куда в первый раз пришедши, неожиданно увидел вполне дома себя ощущающую большую часть курса, например, Азazelло (Костика Минеева, кличка получена за железный зуб и суровый скуластый лик) с трубкой в зубах, медленно идущего по коридору, двоих преподавателей (отца и мать сокурсников Кравцовых) — вот куда переместилась в реальности булгаковская квартира в доме 302-бис, только в буквах (квартира-кравтира) и пространственно по Садовому кольцу сдвинутая к Красным Воротам теперь (тогда), по часовой стрелке...]

под фанфарами и цветами в барельефе над входом — советские нимфы, слева со скрипкой, справа с маской. искусства процветают под пятиконечной звездой, серпом и молотом, венчающими послание. возвращаемся вдоль стены высотки к углу — здесь образцовая кондитерская, магазин, где я иногда в нашей редакционной поспешности покупал булки, йогурт, шоколадные коктейли маленькие, ближе к лету — такие же соки. какие шикарные ручки у двери, отделка отделов, люстры — всё образцовое, венец социализма, на диво иностранным гостям, чтоб знали, какие богатства можно создавать после революции всем на благо, и скидывали своих буржуев. так же как я комсомолку Катюшу, водил сюда свою семью дивиться мой дед — в пятьдесят первом, когда начинали строить, к котловану, и в пятьдесят втором, когда заканчивали. строили чудо послевоенного возрождения. и к нему возвращаемся мы теперь, после миллениума.

на одной из последних своих плакатных фотографий («Слава великому Сталину — зодчему коммунизма!») Н. Петрова и К. Иванова Сталин стоит в кителе генералиссимуса, фуражке с им же созданными и в войне утвердившимися символами, погонами, звездой: стоит как бы возвышаясь над кремлёвской территорией, а в перспективе — ты светлеешь, высотка, только что построенная, как уже видимое будущее коммунизма. чёрно-белая фотография, на которой за Сталиным открывается наше будущее, и уже просвечивают шестидесятые, когда пошли гулять в Тебе, Столица СССР, молодые люди, запечатлённые Хуциевым, пошли искать и навевать мою поэму. асфальт немного блестит на этой фотографии, или это Ты-река создаёшь это впечатление? по мосту едут горбатенькие «победы» с белым верхом и серым низом — едут в будущее, которое уже через год без Сталина окажется. пароходики-буксиры плывут где обычно, ближе к мосту у высотки и где-то, заслонённая Сталиным, стоит краса и башня дома 44/2, к которому потом пристроится серый флигелёк нашей будущей редакции.

тема детства в сталинской Эпохе преобладает в следующем барельефе над двурочьем: изобильные, полнотелые, сильные женщины и подле них, на руках — выкормленные этими весомыми высокими грудями игривые детишки, наверняка тут внизу детский сад был, как в 44/2. заглянули во двор с комсомолкой и даже тут обнаружили в отделке балконов небольшие пятиконечные звёзды — чтоб жильцы здесь росли коммунистами, и до коммунизма довели бы страну и мир. вышли из другой арочной пары и читаем новый барельеф.

высотку строили как текст, слева направо — здесь ещё начальный 1951-й красуется. и снова советские женщины, тема смены поколений и преемственности новых десятилетий от революции: мужчина-рабочий указывает древком флага на мощные слева серп и молот. дружная семья советских народов: точная женщина с кувшином, молодая мать со связкой плодов, её сын с цветами, другая женщина-крестьянка с серпом и колосьями, её дочь и рядом отец, симметрично первому мужчине указывающий древком с флагом на сущность Эпохи, на символ диктатуры пролетариата и союза рабочих с крестьянством.

проходим отдалённый центральный подъезд, обязывающий здесь живущих помнить о высоком доверии к ним, заселённым в высотку. симметричный левому справа над арками барельеф: женщина букетом роз указывает снова на серп и молот слева, дочь пионерка её с горном, мужчина-рабочий, мать и её дитя на плечах, поддерживает также мужчина в фартуке, заводской, пионер за ним вверх вправо указывает горном, туда же, куда с острым наконечником древком мужчина и женщина своим победным венком — на серп и молот. всё это не герои сказок вылеплены, это фигуры наших родителей, пап-мам и бабушек-дедушек, совсем недавние по историческим масштабам. и физический идеал Эпохи прописан в них, барельефных, не сильно идеализированное реальных данных, внешностей того времени.

а опровержение Эпохе прямо в этих же стенах находим, повернув за угол высоты: в помещениях для социалистической торговли — модные бутики и т. д. остаётся только дойти до следующей арки и барельефа над ней. вот уже и пятьдесят второй год, да и качество лепки чуть снизилось под конец строительства. кажется, что цемент слабее держит, сильнее временем износ изображения. и снова советская нимфа-мать, её сын-пионер с горном, третья нимфа держит гирлянду плодов, всё разрастающуюся и занимающую большую часть сообщения. симметричные справа советские люди — снова держащая гирлянду нимфа, дочка в школьном фартуке (форма, дожившая до моего поколения, форма наших родителей, послевоенная), а её мать с длинноостыми колосьями.

с комсомолкой через дворы высоты, забираясь наверх к маленьким, местами монастырским, стенам совсем других эпох, и оттуда спускаясь вдоль высоты назад к «Иллюзиону», возвращаемся к площади. пятиконечная звезда высоты — с выпуклым серпом и молотом, отсюда кажется ближе, а сама высотка — будто сдерживает таганские горы перед Тобой-рекой. здесь перебегаем к Иностранке и оттуда к Яузе. на бегу через широкий проезд просвеченные солнцем волосы Катюши рыже и, почти как твои, русовато блестят. но не до ли-

рики: мы обнаружили мемориал со сколотым, видимо, серпом и молотом либо изображением героя далёкой революции.

Здесь
23 февраля 1917 года
во время демонстрации
московских рабочих
был зверски убит
помощником пристава
слесарь завода Гужон
ныне Серп и молот
товарищ
Астахов
Илларион Тихонович

эти мемориалы насыщены моралью. короткая строка «ныне Серп и молот» — вот послание. вот радикальный реализм. но ныне-то не серп и не молот, хоть название за заводом осталось как бренд. но не серп и не молот у власти. бакс и Молох у власти, просится рифма. пожирающая недра своей страны и фактически население вместе с ними — чудовищно обезыдевшаяся бюрократия властвует, вызревшая в только что изученных нами с комсомолкой стенах. она и закрепила теперь в виде «Единой России» то ей милое состояние КПСС, когда уже ничего не оставалось от целей, от реальных усилий по достижению её, а не демагогии, через выхолащивание дошедшей в устах Горби до обожествления рынка. и вот идём по историческим местам мы, последыши Эпохи.

как в Тебе всё близко и информативно, Столица, только научись читать это всё вместе, в строку: вот здесь был убит Астахов полицаем, а перейди улицу, перейди несколько многотрудных послереволюционных десятилетий — и вот она высотка, метящая уже в коммунизм. но не выросло в стенах её то поколение строителей коммунизма, ради которого гибли Астаховы и в Великой Отечественной герои советского народа, всё рухнуло назад в капитализм. и элитность трактуется уже без советского aufheben, не как небольшой отрыв в жилищных условиях руководящих военных и партийных, советских и научных работников от остальных — а как уже элитность буквальная, по стоимости квартиры в элитном доме исчислимая. но тогда это всё было государственное, дарственное только ценным кадрам — народное, социалистическое. проворуешься — отнимут, рабочий контроль. так должно было всё вестись, но соблазн приватизации этих благ в конце концов победил, в том-то и задача, решай её, комсомол.

об этом говорим с бойкой брюнеткой Катюшей, ей мои размышления интересны подробностями, а мораль она знает заранее. единодушие тут кажется заменой чего-то более личного. и мы идём через горбатый с коммуникациями посередине мостик над Яузой и Катюша переходит на тему своей семьи, в тот лет-

ний момент мне не известной... но этот роман не сложился, да и не мог, после наших-то прерванных откровений, моя давно не девочка, и не моя.

нет, не время уже любования. Ты, Столица, в новом участке поэмы притягивала к тексту, рывками во времени он продолжался — прорывами то в сам радреал, то в утверждение его концепции. рывки к тексту учащаются в ноябре. вырываясь из редакционных, их статейных, первостатейных затей — пишу, вбиваю в комп.

27.09.02, 22.00. буржуазия НА Садовом. иду от Маяковки: одна из трёх в карнавальных уборах дам с тяжёлым задом в плотной джинсе заигрывает с автостоянщиком в флюорисцирующей форме. он комплиментирует их прохождение, она благодарит и говорит что-то вроде «тебе тоже — хорошо потратиться». заходят в «Азбуку вкуса». мясные буржуйки.

буржуазия клубится и около бутика пред моей подворотней в торжественных сумерках. открытие мазового бутика. навешанные над окнами (стены, пол, рамы всё одного цвета — серо-голубого, деликатного) вязанки шариков. новый с пятиконечной звездой в эмблеме логотип. понаехали. высаживаются из салонов авто. кто-то кого-то содержит. бутики в центре живут ну уж явно не на прибыли от продаж — что-то вроде представительств своих закулисных содержателей. ленные и сверхздорового цвета кожи педерасты, чьи-то содержанки загорелые. кудряшки голубеньких пареньков блестят в фонарном освещении Кольца и в сдержанном свете бутика. люди искусства, большие имена, чьи-то протеже.

да, я ненавижу именно ЭТО — потому, что эстетически не приемлю, зная иное, ровное и неярко прекрасное: равноправное состояние восьмидесятых. совершенно иной был мир, здесь же. прохожу еле сдерживая внутренний громогласный припев эшелонной нашей песни «смерть буржуйам», делаю машинальное движение-намёк, словно рудимент, продолжение внутренней речи: будто в приватную толпу, поминутно отвлекающуюся к своим сотовым от слащавого общения друг с другом, летит моя граната. губами прошмякиваю им проклятие. во дворе в свете фар стоят двое упитанных: то ли охрана, то ли деловой разговор. «Ну что, братва: смерть буржуйам?» — думаю громко и взглядом направляю мысль.

да, они народились, они переделали мир под себя. мир — мою Тебя. где тоже ездили до них машины. но это были скромные «москвичата» и «волги». да, прошлое. но буржуазия с её миром и мировоззрением — прошлое более. прошлое умов (чтобы не говорить их идеалистического «духа»). в этом загадка. их блеск и роскошь не стоят ржавчины «Москвича»-восьмидесятника. для меня. не просто в ностальгии проклинающего эту клубливость близ бутика. идущего к борьбе с этим прошлым. да, я небрит и одет несуразно. именно потому, что я другой, не ваш, не вашего времени агент. хотя могу и с вами на брудершafft. но после этого брудершafft в вашем бокале окажется лимонка. или её переложу при поцелуе. пусть даже с самой обворожительной куртизанкой. мне не нужен её приватный СПИД. я взорву её с её буржуазной болезнью. я взорву её — пускай даже в постели, переводя привычное ей занятие в трибунал.

уничтожать буржуазность любым способом и петь ей вслед промолчаный только что припев.

«Норд-Ост» состоялся тут, промрачнел в осеннем сплине. такое должно было случиться, просилось: леворадикал увидел в акции моджахедов призрак желанного культурного возмездия. ублюдков-паяцев, в постановочке бородачка из «Кабаре-дуга» отплясывающих мюзикл на тему советского патриотизма, превращающих краснозвёздную тему в кабаре, прикинутых в советское милитари — разгоняют реальные военизированные мужики, в современном милитари и с настоящим оружием. пинком под зад гонит террорист артиста со сцены. бутафорское советское воинство изгнано воинами действительности. кончилось общество спектакля. на сцену выходит реальность. радикальный реализм, вооруженный реализм радикалов, в данном случае исламских, наши пока не доросли недоросли...

буржуазия радовалась бы, шоу не из дешёвых — да вот спектаклю конец (классовый подтекст теракта присутствует, а кто из небуржуев смотреть пошёл этот глумёж над советским — уж вовсе глуп). выстроена очередь, наслаждавшихся попс-ностальгией вынуждают гадить в оркестровую яму. стоявшие в очереди на сие современное зрелище — сами стали зрелищем друг для друга: приседающие, отливающие, все вместе. свой запас покорности до этого реализовывавшие в созерцании буржуазной трактоочки советской литературы — теперь реализуют вне спектакля, в этой вынужденной очереди.

намокший кровью и нечистотами, затем пропитанный газом ковролин зала бывшего заводского (Шарико-подшипника) клуба, светлой позднее-советской постройкой... власть решила морить газом всех разом, а шахидок, заснувших от газа — застрелить. защитники россияинства, стилистически — именно этого «Норд-Оста», эрэфной вынужденности и перелицовки. и террористы-реалисты: прошли через гей-клуб, схрон оружия там делали, дискотека перешла в захват заложников... да, это ты, Постэпоха.

среди первых шуточных версий левых была — а может, это АКМ коридорами-коммуникациями пробрался? там ведь рядом, из подвала на Пролетарской... на утро звонили в штаб «Трудовой России» некие, хвалили за смелость акции... по свежим следам настроил статью, попавшую в газету АКМ следом за событием:

ТЕРРОРИЗМ — МИРАЖ РЕВОЛЮЦИИ

Воскресенье, 27-е октября. Убитые террористы, сценически, сценарно (выборочно) оставленные в зрительном зале. Восточные женщины: кисть одной мёртво сжата, другая спит мёртвым сном с открытым ртом (с затаившимся там в мраке словом невысказанной из сна смертной мУки), третья перегнута навзничь через кресло, глаза открыты, изнасилована пулями. Убиты спящими. Большая победа. Бараев с лицом, смещённым набок. Форма лица и тела мёртвого всегда покорна, нестойка, теряет сходство с живым хозяином. Мёртвых героев созданного ими события показывают постоянно: чтоб неповадно было, конец пути злодеев. Зал, влажный от сонного газа, испражнений заложников и крови террористов.

«Молодые максималисты», — сказал эксперт с дегенеративным черепом (Маркин или Марков). Да, жёны убитых воинов, ставшие сами смертницами. Один из сангвинических заложников пытался даже флиртовать (!) с одной, за что и поплатился жизнью, пристрелен. Красавицы-смертницы. Изящные кисти рук, чёрные глаза, бледные лица.

Они — народ, доведённый ельцин(кретин)измом до первобытного состояния: работорговцы, убийцы, истязатели. Капитализм у них — как мировоззрение — торговля людьми. Что мелочиться? Бизнес есть бизнес, священное право. К тому же Ельцин дал всем суверенитета сколько унесут: вот и выживают «чехи» как могут, а вы, россияне, умирайте под этим выживанием, неверные.

Против них (да нет, не против них конкретно — против всех камуфлированных вооружённых, непонятных, ярых Посягателей) — обывательский страх, торопливые глотательные спазмы в заднице. Как же! потерять свой постсоветский уют, местечко в глобальной Несправедливости, акции в распродаже Родины, свой кусочек от перераспределения доходов, от истощения матушки-планеты, от превращения её нефти в удушливый газ, деревьев — в бумагу для реклам, людей — в покорствующих денег клерков.

Судья с автоматом, до теракта торговавший неверными как скотом, — лишь прообраз разумного судьи, мираж Революционера. Который не гневом, не местью, а классовым разумом возьмётся за автомат, чтобы заставить паразитов и клинических лжецов уступить место коммунарам.

Первобытные горцы-аутсайдеры, работорговцы и воины не хотят уступить место предпринимателям — толстым, выхоленным (брежневским застоём) мажорам, бизнес которых устроили друзья и связи отцов. И это понятно: воин-торговец против оседлого торговца. Они похищают их, конкурируют своим чудовищным бизнесом с бизнесом, дозволимым глобальным или же национальным капиталом: гуманным, делающим унижение и эксплуатацию человека человеком повседневным привыканием, обыденностью, с которой можно мириться. Чечены же доводят метафору эксплуатации до реализма, а торговлю трудом до торговли человеком, используют современную технику гуманистов-наблюдателей — видеокамеры — для съёмок своего террора, для запугивания, а не удовольствия. Только для домашнего просмотра, хиринг и прочее — нельзя. Звук «тюка» топором по голове, отстрел пальцев — спазмы самосохранения путинского общества синхронизируются перед ТВ. Что противопоставить этой озлобленной мускулистой энергии? Неопытных курсантов-вахлаков с ментовскими планками, путливо осматривающих в метро даже нас, мирных прохожих? Есть ли у них право на суд, кураж сильного? Есть ли идейная почва? Знают ли они, зачем их сюда понагнали толстокопые чинуши? Защищать олигархию, эксплуатацию и дальнейшую деградацию нации — вот ответ.

Спецназ, защищающий помимо «нас» (своих домашних, прозябающее, непредпринимательское большинство) в первую очередь «самых нас» — то есть олигархов, хозяев жизни, покровителей Пути на... Что вы защищаете, ребята? Родина ли это? Земля-то — да. Но люди? Это не те люди, что совершали боевые и трудовые подвиги. Это — народ-пораженец. Он боится называться советским, он боится своей требовательной истории, он хочет, чтобы его никто не трогал — тихой кончины на обочине истории. Он разучился и ненавидеть, и дружить. Он отравлен капиталистическим ядом отчуждения, индивидуализма и гуманистического компромисса. Без революции экс-советский народ сдохнет, причем позорно, безмянно — как тот исхудалый бородач под топором «чеха».

Если бывший братский народ стал варварским: рубит головы и отстреливает пальцы — что с ним делать, с разнуздавшимся? Поголовно уничтожить? Стереть с лица земли как хазар? Как вернуть советский рай, где не было всего этого ужаса и безысходности, где озверение нелюбимцев Федерации уничтожается не умом, а той же зверской, но системной силой? Ответ прост и перекрывает своим звучанием все молебны и акафисты лицеде-ев путинского капитализма.

Революция. Только она очистит от религиозного экстремизма и от религиозной тины вообще наш народ, трезво, атеистически объединит его с прежними советскими братьями и поведёт к новым границам не войско, но дружбу, антикапиталистический интернационал. Только революция соединит народы на могиле глобалистов-эксплуататоров, выдумавших доходы, ставки, валюты, сделавших деньги, за которые можно купить и продать все, даже им подобных.

Европейское (и наше новопринятое в буржуята) общество купли-продажи споткнулось на исламском экстремизме. Если Европа (и ее доведенная до абсурда суть — США) торгует «цивилизованно», то террорист доводит мировоззрение и мироотношение капиталистов до абсурда: платите ваши деньги за вашу жизнь, мы продешевить не боимся, у такого бизнеса не может быть конкурентов. Но власть путинских буржуев мобилизует только доступную ей идеологию, а она есть вялый, кастрированный буржуазный национализм: притупленное ощущение единства классово разрозненных, недоверчивых друг другу людей, возделываемых (всем скопом) транснациональным геноцидом. Чечены сильнее, это чувствуют все путинские полуголодные жандармы: джихад и «Аллаху акбар» по сравнению с нашим православным смиренчеством и вирусом антисоветского самоуничтожения — все одно, что медицинский спирт против разбавленного пива. Власть пора уходить. И если капитализм ничего не может сделать с религиозным экстремизмом, то власть революции, социалистическая краснознаменная власть советского народа в два счета решит проблемы, созданные буржуями и их ментами-слугами.

тов.Ч

3.11.02. задумываюсь часто о Тебе, к ночи. комнаты нагреты батареями, в них торопится горячая вода — чтобы нам тепло. из лесов люди вырубili Тебя, твою расширяющуюся жилую площадь. здесь живут. это — те люди, всё те же люди, которые не захотели терпеть нападки и неожиданности от природы и хищников: выстроили дома, выстроили цивилизацию. продолжают строить, точнее. это люди, научившиеся пропускать друг друга на автомобилях — где перекрестки, где двери, где их много, разных. разных — чем? способностями, притязанием, достатком. классовое общество. самые претенциозные — те, что максимально пропитаны ценностями достижения, накопления, эксплуатации механизмов и людей с целью профицита, дохода, достатка. те самые люди. они научились нагревать дома — всем одинаково. но эти дома, построенные или обустроенные под современный уровень коммунистами, теперь живут в капиталистическом времени. разные окна, дополнительные удобства. не у всех. главная идея — добиваться *своих* успехов. недобившиеся, скользя по журнальным гляnciaм взглядами, утешаются сопереживанием достигнувшим мечты общества — наслаждения

высшими благами цивилизации, лучшей живой красотой, лучшими эмоциями, лучшей пищей. остальные — как прежде и хуже, серединка.

научились строить города, но разучились равноправию. захотели по-разному. захотели одни — и они добились, — а живут по-разному, по-ихнему все, все в полном составе.

в тёплом городе живут разные люди с разными планами. все живут после великого компромисса. каждый. тот, кто обманул и обогатился под шум демократии. и тот, кто лишь озирался и неуверенно радовался новому времени, свободе слова, свободе аппетита. компромисс в каждом: не говорить терминов прошлого, не вспоминать, откуда мы, что мы общество классовое. постклассовое — навязывают нам. не пробуйте иначе: история сделала выбор. вы уже включены в новый порядок, и любой ваш шаг контролируется новым хозяином. терпите. отбирайте мысли и слова, не надо прежних слов, не надо риторики и демагогии — равноправие невозможно. устремления прежней эпохи — блеф.

обогретый город боится сближения. грех компромисса в каждом. и им, молящимся в церквах и блудящим в найт-клубах, некуда стремиться. всё — здесь же, как век назад, этот век назад вернулся — в тех же зданиях те же эмоции, те же траектории чертятся глазами той же буржуазии. и они живут так, как жили свергнутые позапредки. смерть — часть их общепринятого сценария. они не хотят бессмертия, они живут именно так, как должен жить смертный.

почему мысль о бессмертии возникает у униженных? потому, что их жизнь не полноценна. она — полужизнь по меркам хозяев театра, значит, они, бедняки, не так далеки от смерти, от нежити.

я чувствую риск этого общества, увлечено игрой в перегонки. многие сходят с дистанции, но правило — не оборачиваться на падших. но я не намерен так же с ними бежать. я ценю всё, чем я оснащён для мира, в том числе и анализирующим социальную ситуацию ситуанов-соотечественников разумом — и поэтому не собираюсь отдавать и терять эту оснастку. надеюсь, что и другие не против такой идеи.

бессмертие — это цель человека и человечества. и путь к нему — путь единения. единения в бесклассовом обществе. мириться со смертью нельзя человеку, столько шагов сделавшему уже к жизни долгой и технически обустроенной, облегчённой, с освобождением от прежнепоколенческих усилий по выживанию — доказательством хотя бы это тепло, исключаящее зиму из жилищ, вода и свет в домах, сложенных из тверди, произведенной техникой и трудом человека.

18.11.02. соблазн — не воспринимать действительность. тошнотворную, с её денежной логикой, с этим новым ферментом переваривания всего происходящего вокруг. укрыться и ничего не осознавать, плыть по течению. давящая погода аномального ноября вливается в современность. не воспринимать, сплавляться, а не справляться. но нельзя отводить взгляда от этой многослойной, накопившейся действительности радикальному реалисту. потому себя так громко и назвал, чтобы уже не отворачивать взгляда от нее. обречён на неё. рассматривать и расслаивать, последовательно эту правдоподобную мерзость.

она в целом имеет вид логичного, закономерного. постепенные шаги назад — оттепели, застоя, перестройки.

и вот — рекламный полОн. вещное,ладельное мировоззрение уже находишь там, где его и не должно бы быть. сиястые рекламные позёрши — метафора вещи, богатства. тянуться ладонью, сжимать своей рукой обширное богатство грудастых. в *своей руке*, моё. красотки, товарно выгибающиеся: купите нас, этот журнал, наши позы. райское видение — девица восседает в чем-то тропическом перед соблазняемым в тур.

20.11.02. радиозвуки всегда с утра присутствовали, информационно вкрадывались в жизнь. в детсадовском и школьном времени — «Пионерская зорька». бодрость голоса ведущей («В эфире Пионерская зорька!») будила, вставать тем более не хотелось — оттого, что там такое бодрствование, действие... теперь же — осторожные, но со временем всё уверенней, голоса жилсоцгарантов, арсблаготворителей лезут в наши кухни, с акающими братковатыми интонациями генерального разводи́лы беззавещАнных пенсионеров Ромыча Гончаренко.

«препарат Вега+». звуковой разворачивается сюжет. после перестройки. стали жить в новом режиме. потребление алкоголя возросло (не от реклам ли?). многие «запивают» трудности. конец восьмидесятых. инженер, подающий надежды. вышла замуж, перспективы. сейчас спивается. попробовал «Вега+». стало лучше.

«Жилсоцгарантия». улучшить материальное положение. воспользоваться капиталом — квартирой. договор пожизненной ренты. особо двусмысленно и цинично звучит «уход на дому». уход из жизни? шепелявые бабульки благодарят. уверенность в завтрашнем дне.

мировоззрение торговцев вытесняет коллективистское, альтруизм. коммерческий мефистофелизм. организация отмечает свой юбилей (значит, хорошо вымирают счастливые пожизненным содержанием старики). дела идут.

и уже без сомнений на младобуржуазном «Радио России» рекламируется очередной препарат — глухим старичкам можно и со стёбом, всё равно не поймут. но стёб настолько запределный, что заслуживает внимания: «...витамины, аминокислоты, как солдаты и как патриоты — укрепляют систему иммунную, на врага устремляясь коммуною». беспринципность Постэпохи, ни патриотов, ни коммуны, полунищие голодные солдаты: сочинявшие эти стишки на радио ради не сказочного гонорара долго рифм не искали, явно. и отсутствие смыслового наполнения в словах так и подталкивает на новые срифмовки — чтобы ещё веселее и стёбнее. а слова-то из Эпохи — в данном случае ставшие только рифмовыми игровыми созвучиями. оттереть, разглядеть под всем этим замусориванием смысл и генезис заплёванных, затасканных по таким рекламкам слов — вот задача.

20.11.02. «Изнурённая сестрёнка» — таков перевод названия группы, прописавшейся во мне, подростке, надолго, заложившей почву для рокового самовоспитания. на пару с одноподъездником ЖЭкой Стычкиным с четвертого этажа мы стали тем, что называется словом «фанаты». после школы я бежал к Жэке и мы

врубали, каждый день, да, именно так рвался Запад к нам сюда — через юные уши, героизм голоса (интонаций) Ди Снайдера, жёсткость, уверенность гитарного звука. здесь, на кассете, всё было готово для того, чтобы покорить нас, советский молоднячок. это теперь я понимаю, что происходило. и вижу этот процесс: мечтавшая о мировой революции страна, собиравшаяся научить своей высокой культуре, напоролась на контркультуру и контрреволюцию, как следствие.

кассету в раздевалке девяносто первой на первом этаже спёр мой одноклассник Козлов, классе этак в пятом. сейчас посчитаем. тогда эти альбомы были новейшими — влсемьдесят четвертого и восемьдесят пятого года. был год примерно восемьдесят шестой. Серёга Козлов, одноклассник, был усыновлённым из детдома пацаном. родители — интеллигентнейшая, тихая, деликатная очкастенькая пара, жили они на Кутузовском, в угловом к метро сером доме с колоннадным верхом. но гены не пустили его по пути, намеченному родителями: уже в средней школе он показал свои таланты — был первым бойцом-драчуном.

вместе мы были лихой парой. я — комиссар, он — исполнитель. я виртуозно отражал словесные нападки на него (естественно, его дразнили «козлом», но, помню, однажды на уроке труда я подсказал ему запрещённый прием, и он — в фамилии противника подставив вместо «а» «у» — скаламбурил, что имело успех, и тот поутих). со вспыльчивым и бескомпромиссным Михайловым они дрались, когда уже старше были. кассетки же и микрокалькуляторы Козлов воровал даже раньше. школьная раздевалка — открытая книга, открывай на любой странице (в любое пальто лезь) и т. д. сам я не марался, только шухерил иногда. но Козлов не всегда нуждался в этом. потом он наострился путешествовать по пиджакам старшеклассников, пока они занимались физрОй — в раздевалке подвальной. там, вроде бы, и спёр он эту кассету из очередного внутреннего кармана синего пиджака старшеклассника — BASF. надпись была вкрадчивой, трудно читаемой (к кассетам относились очень бережно, писали так, чтобы легко можно было стереть и новое написать). однако мы всё же поняли название группы и двух альбомов с двух сторон кассеты и потом с Жэкой писали их на стенах двора.

21.11.02. ручки — такие как на всех входных дверях знаковых домов конструктивизма и ар декО (главный вход голосовского комплекса на ул. Правды, «Известия») — наверху угол, за который хватаешься, вниз идёт вертикаль — вытянутая, толстоногая буква «Г». гостиница «Москва». в этот же день получаю письмо на мою статью и МК тоже со статьёй о тебе, гостиница, о сносе которой говорят всё чаще. через ГУМ, чиркнув по углу Красной площади, прохожу к тебе. ты с крылом шестидесятых, здесь стоял Гранд-Отель — то зданье с завитушками в венце, возвышающееся едва на плакате Добровольского 1939-го про сталинскую авиацию. дом-текст, дом говорящий. колоннада с растительными венцами, но без серпов и колосьев, как бывает. такие — внутри, за входом. теперь тут содОм: автосалон прямо в холле, шинами на мраморе, прохожу вперёд — долго, мимо двух балконов, степенных лестниц вверх по бокам. масштаб и приземлённость — конструктивистские, настраивающие на торжественность. на колоннах за входом, кстати, от-

крытки, везде сейчас продаются, прямо симптом — агитплакаты ранние советские. как раз и тот авиационный там может быть. во вторник только Алексей Цветков-мл., который уже семьянин взрослый, в своём магазине показывал мне альбомный вариант, отдельными листами эти плакаты. прохожу через величественный советский покой в полумраке, ремонт, что-то тут же сверлят. вдали в освещении — столик с девушкой, за ней — плавные морды автомобилей. пик завоевания — их машины в нашем здании, в дополнение: муляжные фигуры Сталина, каких-то автосервисных рабочих. а Брежнев сидит за девушкой, я думал сначала, это живой некто. путаю манекенов всегда с людьми.

девушке говорю, что и о чём буду писать, она без особых эмоций готовит к распечатке финансовый документик про необходимое для покупки их «Вольвы» в кредит. разглядываю, пока она колдует. потолок зелёно-расписной на желтом фоне, священная территория Советов, сердце. тут Шолохов дописывал (додиктовывал) «Поднятую целину». нашёл серпы с колосьями — у выхода-входа, над ним. и плоский манекен Сталин как неминуемый призрак стоит между «Вольвами». при всей комичности замысла — довольно не случайно. Брежнев со звёздами-орденами, плед на коленях, в кресле. ноги у секретарши подходящие, но гренадёрский масштаб, хорошие габариты, не для мелочи какой-нибудь, я бы потерялся в таком случае.

пахнет сыростью, временем. так же как и в спуске отсюда, с угла в метро, в долгом изгибе в сторону входа в метро «Охотный Ряд». думаю, это запах Неглинной, доносящийся снизу через размытые грунты. величие Эпохи в сумерках, её призраки — между знаками нового времени, символами комфорта, товаром. и я говорю вежливо с секретаршей, располагаю. всё же по пути к ней сидит за небольшим столиком скромный охранник, из образованных, вынужденных на такой унылый промысел, взглянул настороженно на мой прикид-хаки, но после первых же слов вернулся к чтению. я внёс сумятицу в выставочный стиль: сломался симпатичный принтер с синими панелями, после чего я дал дискету с оранжевой наклепкой, будто с сигналом о радиоактивности (Рафлатак — самоклейка, обрезки агиток). справилась девушка, нет ли вируса. хорошо, если б был. но нет. моя дискета с крамольными наклейками-макетами, песнями «Эшелона» и стихами уносит *их* информацию. я отдаляюсь от миража комфорта и Запада, нарисовавшегося внутри серого советского храма. «Вольво Обухов». сегодня же их реклама мелькнула на футбольном матче ЦСКА-Локомотив. Локомотив выиграл, армейцы на матч и с матча громко ехали, дудели в метро, у одного Че Гевара на рюкзаке. Герман болеет за ЦСКА, был там точно. на открытии матча трибуны пели гимн, старые слова. дух Эпохи стоит, дух не сломлен. дух времени стоит в здании. слегка болотный, затягивающий, заставляющий меня расшифровывать текст Революции. который Сталин оставил тут — до того, как первая волна революции уляжется и наступит контрреволюция, когда вырастет поколение новых революционеров — бескомпромиссных, перманентных. когда востребуем все их завоевания. построчно вычтем путь социализма до того, как нам пора вступать. гнать из тебя, гостиница «Москва», эти автосалоны, ювелирные. читать зеленую роспись потолков, серпы и молоты, колосья видеть, понимать, о чем

они — о нас, грядущих смести оккупанта нашего времени, нашей территории, нашего плацдарма мировой революции. колонны твои, «Москва» — величие выросших поколений, на сталинской классике, на удивление иностранцам — роскошь страны социализма. но — опасная диалектика, роскошь некоторыми понята как остановка, как насест. и украшение звёздами на гостинице обернется покоем, последним пристанищем символов, двигавших массы, за которые гибли в бою с врагом классовым и народным.

всё это нужно вычитать из Тебя, разобраться в борьбе противоположностей, выраженной архитектурно. чтобы двигать идеи, застывшие, лепные дальше — к коммунизму.

22.11.02. девочка из рекламы Блендамеда. комментарий на польском языке. что-то очень в ней симпатичное, когда она говорит своё «постукАч», что-то вроде про затвердевшую поверхность яйца, обработанного пастой, которую даже можно «постукАч». симпатяга. но это неестественная девчурка. это продукт. поэтому от умиления до осознания фальши тут — близко. хотя девчонка не играет. её естество используют коммерции советники. в этом дело. потом это станет атавизмом — такие уловки. которые — всего лишь для повышения продаваемости какой-то бледномедной зубной пасты. такая девчурка польская: русенькая с зубками, между которыми видны молочные промежутки. прелесть. и эта прелесть использована: подловлен самый симпатичный момент в мимике. девчурка говорит детски, откровенно. но это — товар. для товара. это — капитализм. специфическое действие, в которое включено естество.

ковыряние статьи весь день, глаза, смеркающиеся от экрана компа... радикальный реализм — включение всего сегодняшнего, воспринимаемого. в впечатление (впечатывание) просится всё, как только узнаёт о наличии такого места. зачем потом выстраивать искусственную линейную конструкцию — лучше сообщать сюда мысль столько раз, сколько она продумывается, с повторами пусть. постоянная тема послереволюционное начало двадцатого. моя история Революции. моя реконструкция.

эстетическая проверка. поверить в идею настолько, что время — не помеха и даже прожитая до застоя идея построения социализма в нашей стране — моя. она вновь и вновь бьётся: а может, возможна была победа, расширение по миру нашего строя, нашего социалистического почина?

именно так: мощнощёкий генсек НАТО, которому сегодня нацболы попортили прикид помидорами и орали «НАТО хуже гестапо!», Буш с угодливым Путиным в Москве, после визита одобрения к новым натовцам, бывшим союзным республикам. поражение очевидно. с ним согласились, мы согласились. и кажется, что совсем немного было нужно чтобы так же но идеологически наоборот — в странах капитализма в конце двадцатого смирились с приходом социализма. всё это было так близко! капитализм, социализм — всего лишь слова. нашим — реальность «совка» пасмурная, очереди, общепит: как плохо, лучше уж поярче, помоднее, но своё, а не общее. так просто! естественность желаний — вещных, соб-

ственнических, хозяйских. они и победили, мотивы эти. а если бы были стойки все вместе мы, дети и граждане Революции, и героика советская не снижалась — то было бы наоборот. так же спокойно пошёл бы социализм дальше — на Запад.

общество по-настоящему равных как пример стало бы убеждать капстраны, и они бы посыпались как карточные домики. вот так же точно и думал Сталин — сманим своим изобилием в социализм Европу. «Уровень жизни как у советских шахтеров!» — требовали под командованием Гесса Холла американцы в тридцатых и пятидесятых. хотели чтоб и европейцы... но пришлось железной рукой водворять там социализм, и он оказался некрепок в буржокружении.

а сейчас всеислие индивидуализма и полная победа капиталистического мировидения очевидны. падение России в капитализм вместо миррева. именно поэтому Путин с Бушем такой спокойный. здесь нет сопротивления, поэтому нечего и бояться нападения. людей социализма, советского народа не осталось, есть только стратегические ресурсы, геополитическое положение.

общепит — да, неряшливость несобственного мира — да! но помните, что это — цена за то, что нет наглого богатого меньшинства, которое помыкает остальным разрозненным большинством. во имя общего блага были все издержки соцсистемы. вместо них — откровенная нищета и откровенная роскошь, полюса.

только перезвон по сотовому телефону бегом провожающей меня в командировку с Курского вокзала комсомолки Катюши успокаивает: Былевский («б» которого из начала фамилии запечатляно в РКСМб) всё же в этом поезде. экспресс до Владимира. я плюхнулся в первый попавшийся вагон. задание нового начальства редакции, возводящего медленно меня в ранг репортёра: разобратся, что за передел собственности «московскими» был или продолжается во Владимире? забронирован в бывшей обкомовской гостинице номер.

Былевский ехал в 1-м классе, читал ЖЗЛ Ленина. я — в обычном электричном вагоне, мягком, читал Розу Люксембург. провинциальная семья напротив меня грубо утихомиривала своих дочек под моё чтение. гиперактивный возраст — ногам, рукам покоя не даёт.

— Лиза! Сядь нормально... Счас получишь!

несчастные россияне. прокормить двоих растущих человечков. в провинции — дело нелёгкое. «Поднять на ноги», как говорят. говорящих, стремящихся куда-то, мотающих волосяными хвостиками своими... муж хмур. спросил, будет ли стоянка в Петушках. не знаю. еду пока — в никуда. Былевский где-то в хвосте, сюда не идёт. ну, да сам его обнаружу. легенду радикалов, проходившего по взрывному делу РКСМ(б) своего... забыл, небось, стремится отпрянуть проклятое прошлое. сотовый, бизнес-класс в экспрессе. отличия классовые — самолётные сиденья, столики и бар плюс видеофильм в мониторах.

почувствовав приближение — начинаю долгий переход через весь состав к проводнику моему Былевскому. выглядит он среднерусски, слегка потаскан жизнью, с намётками седины, но в голубых глазах детский восторженный блеск. он там во Владимире как корреспондент НО и вообще свой человек в админист-

рации области, человек Игошина и Виноградова. кто сосватал, уж не Анатолий ли наш Баранов? хорошая собирается вокруг НО компания леваков — чем дальше, тем интереснее... приехали в ночь, в невидимость нового города, возвышающегося над вокзалом влево горами с домами и тамошним вечерним электроосвещённым уютом. покатили, Былевский взял мотор, по проспекту Ленина к центральным воротам, сверкающим издали единым куполом. Былевский гостеприимно, как экскурсовод и принимающее лицо, сообщает:

— Завтра утром приходи в редакцию АиФ, мы там комнатку занимаем... Тебе главред её даст навигацию, телефоны, в администрацию свожу тебя. Система города простая, одна центральная улица Ленина...

— Не переименованная?

— Да теперь уж и не переименовуют... Ну, я тебе дам карту — разберёшься сам. Можешь по улице Ленина идти, или сам придумай путь. Тебе нужна Вторая Никольская.

в гостинице-башне «Заря», пахнущей байковыми одеялами и прокуренным деревом, — атмосфера восьмидесятых, позитивизм. новый лифт европейского железяного стиля с большими кнопками, чтобы пьяный постоялец не промахнулся. и тишина на моём полутёмном этаже, ни встречных, ни горничных — не удивлюсь, если вообще тут один.

так сложно перебраться психологически из Тебя, да ещё зимой — в этот более древний, отеческий город... глядеть в окно на чужие напротив электрические уюты, не Твои, на автодвижение среди умеренного снега окончания ноября. какой-то неуют и волнение, словно инерция рано оборванного движения, пути: ещё нет девяти, а я уже в другом городе, и в другом помещении, один. вероятно, ритуал проведения первой ночи на новом месте с путаной — имеет глубинный смысл: это такое принятие, вбирание новым городом, тёплый радушный приём... ничего лучше не придумываю, как пойти в это малоизвестное снаружи пространство — купить что-нибудь перекусить для адаптации. напротив через дорогу или даже небольшую площадь — кинотеатр. «Седая ночь» — программа Юры Шатунова, он возвращается, ах! седые деревья: да, видна снежная обморозка каждого разветвления на фоне вечерней синевы ниспадающего горизонта. в магазинчике цены ниже наших разве что на рубль — и та же укомплектованность: где хлеб и молочные продукты понатыкано и фотомастерских, и кассетных киосков, всё в одном... став покупателем, как-то адаптировался, гулять не стал, вернулся в номер. решил вместо купленной ещё холодной ряженки, которую лучше утром испить — пойти внизу пива, что ли, взять: может уснуть поможет, от тревог необоснованных избавит.

«Сибирская корона» многорекламированная — обычный европейский вкус. может, потому что в банке. но пенность и хмельность в тонком гостиничном стаканчике делают дело своё, и я, недолго посмотрев в чёрно-белом ТВ Арнольда Шварценеггера в некоем не типично для него малоагрессивном фильме — так заснул.

25.11.02. проснулся будто по будильнику, даже с запасом времени, и уткнулся в карту — понять владимирское устройство улиц спросонь крайне сложно. надо умыться. вода тут — да уж, не Твоя, напор слабый. железистая, непосред-

ственная такая, без знакомого хлора вода, другими веками и трубами пахнет и вкУсит. вторая попытка разобраться по карте вообще, в каком я конце Владимира, увенчалась успехом — понял, что перепутал всё точно наоборот, искал «Зарю» не с того краю центрального проспекта, и до Второй Никольской отсюда действительно, как Былевский говорил, вовсе недалеко.

улица Студёной горы — актуальное название в зимовье утреннем. сегодня тут совсем зима, наснЕжило за ночь. а я в своих протекающих-натирающих гриндерАх... вылез в незнакомый, всюю уже разездившийся и расходившийся по-утреннему город; очень долго пытаться постичь его систему по карте — только время тратить. в конце-то концов оказалось, что всё меня интересующее — рядом, вторая Никольская, например. удивительно: топографическая интуиция подсказывала с самого начала именно это — выйти и идти влево, вглубь.

по пути — работяги засыпают выпиленную середину тротуара белым гра-вием. за полусгоревшей, полуразваленной избой — дети топают в школьное здание, стоящее на почтительном расстоянии от дороги. на другой стороне розово-охристый архитектурный сталинизм имеет местную специфику, мансардность какую-то европейскую, что ли, замысловатую.

стоял, глазел в карту: нас старорежимными названиями не собьёшь! улица Пушкина. но она таки становится улицей Дзержинского. храм Михаила Архангела... краснокирпичный в своей мало изменённой древности. в какие-то уже деревенского вида кварталы вхожу, не поворачивая вместе с центральной магистралью направо. милостыню мило-беззубой бабушке «на хлеб»: конечно, московский гость, ещё бы не дать — ссыпаю монетки. «ангел, ангел», — говорит. как моя бабушка, с мягким «н» начала двадцатого, и, небось, из девятнадцатого века. храм Михаила Архангела и чёрного ангела...

центр вполне дореволюционный. здесь даже без Реставрации всё тот же веками, один и тот же век. кажется везде, что пахнет ладаном. день холодный, густой. заиндевелые ветви. домики скукожены, древние, невысокие, друг за другом видны. ржавый синий указатель направлен на ветхий квартал, хотя обещает Гуся Хрустального, Муром и Нижний Новгород.

улучки узки. по ним и ехали автобусы, прочерчивая Золотое кольцо, пронося столичные взгляды (включая давным-давно мой детский) мимо этих загустевших в окнах нехитрых бытов. кому они интересны? глубинка... нет, это ещё не глубинка. иду мимо стари — будто и не было СССР, Эпохи... разве что дом, перед которым кремлёвские голубые ели присели — что-то советское, но тоже обшарпанное, там работают агрегаты, ещё фабрика живёт.

Сталин... слышится ли эхо этого имени тут, в улочках? где дома-коммуны? где то общество, что гордо и молодо шагало мимо Мавзолея? оттуда, из тех времён — только вот эта набожная бабушка, которой я ссыпал пятирублёвки «на хлеб» (тут хлеб подешевле, чем у нас, и повкуснее). но деятели, обрекшие таких вот бабушек на голодную старость — должны ответить.

на исском мной, довольно высоком среди собратьев доме на углу Второй Никольской — в венце ошмётки ранне-советского герба, ещё не СССР, скорее РСФСР

и неведомая смешная аббревиатура «ХРУ», по бокам довольно крутой лестницы, почему-то навевающей воспоминания об описании советских учреждений Ильфа — Петрова надписи, весьма агитационно звучащие в Постэпохе: «Граждане СССР имеют право на труд» и «Граждане СССР имеют право на образование», в длинном коридорном помещении предбанника местной АиФ — провинциальная скука, в которой даже интервью с диссидентом-выкрасном Зиновьевым в нашей газете с местным приложением читается как неимоверная новость и ценность. читаю, пока жду прихода Былевского и главного. картина на стене — в духе провинциальности и Реставрации: близ владимирских достопримечательностей, златокупольных ворот, гуляют господа и барышни дореволюционные, а мальчишка-газетчик продаёт, суёт им свежий номер АИФ. вот, значит, целевая аудитория газеты — эти манекены из музея «России, которую АиФ потеряли-с».

явившись, Былевский и главный, невысокий, интеллигентный, весёлый, напоминающий нашего Строева бородачок-либерал, просят меня поизучать пока публикации АиФ о переделе, подождать в комнате с двумя сотрудницами, сонными немолодыми дамами, одна из которых напротив меня, покуда я строчу свои радреальные заметки, звонит по местным телефонам и ищет себе местечка потеплее: «Ну и что вы можете предложить женщине средних лет с библиотечным образованием? Тысячу... понятно». медленное, сонно-мушиное перетекание, переползание времени в этих сообщающихся телефонных и комнатных сосудах. для них и существуют все эти сплетенки в газетах про жизнь эстрадных мыльниц, измены, свадьбы... либеральная или не либеральная теперь пресса — неважно, важно наличие телец и сплетен, желательно в цвете. вид во двор умиротворяет и даже агитирует относиться к здешнему уюту добрее: там зимища и поленницы заснеженные, холодно, судя по пару лающей за забор собаки. Владимир... здесь окраины начинаются сразу за дворами домов, выходящих на центральную линию улиц.

смешное название у местной сети супермаркетов «Поком», калька с нашего «Биком», что ли? по ком звоните, господа, — не по себе ли? машина знакомого Былевскому чиновника, обычная «пятёрка» вишнёвого цвета, везёт меня из ремонтируемого здания мэрии в областную администрацию. путь — совершенно неопознаваем, пригорки и повороты во Владимире нужно пройти несколько раз, чтобы понять их сообщение. а ведь именно отсюда твоё для меня имя, Столица — пришло. вслед за перенесением тогдашнего совета князей за столом. так что столы наши праздничные, на Серпуховке, у нас, где бы ни собирались в Тебе — нечто исконно Твоё, но отсюда из отеческого города вывезенное. стол на новоселье.

здание администрации видно и с центральной улицы хорошо — немного напоминает то ли улей, то ли медовые соты, окна способствуют. пафосное здание, длинная, высокая к нему ведёт лестница. старенький грустный чиновник, приставленный ко мне гидом, рассказывает о здании — что построено оно было аккурат перед 1991-м. в нём как раз пафос и белокаменная обкомовская мощь той власти, которая поддалась соблазну приватизации своего положения, перерождению, контрреволюции. чёрные тяжёлые двери. после входа на стене фронтально встречает герб Владимирской области и российский — успели, конечно, сменить антураж.

говорю в кабинете с господином Кретиным, экономическим советником. все они тут обкомовские, все бывшие партийные, из этого же здания, никуда не переезжали, только вывеску сменили. и я, чтобы пообщаться с ними тут, приехал и поселился в обкомовской гостинице. Кретинин был как раз по идеологии секретарём, подсказал до встречи дедушка-гид, мужик сравнительно молодой, хитро говорящий с самого начала встречи, очкастый серопиджачник с трико-лорчиком на столе, каких-то брошюрок с областными отчётами по инвестициям и налогам насовал, похвастался, что у них Штольверк крупнейший инвестор в область, создатель рабочих мест... правильно: транснациональная корпорация отбирает рынок сбыта у отечественных шоколадоваров, чему ж тут не радоваться, Кретинин? потом сказал господин замечательную фразу: «Мы считаем, что деньги интернациональны». это про привлечение инвесторов, про благоприятный инвестиционный климат — ну, наборчик слов из несесера чиновника времён расцвета путинизма и стабилизации, в общем. замечательно: Кретинин сказал именно не «транснациональны», а интенациональны — вот чем логично вполне завершился для этого обкомовца пролетарский интернационализм — интернационалом денег, капитала... но Кретинин оказался лишь фронтменом — всё тем же не семи пядей во лбу спикером, глашатаем нового экономического курса. я заглянул и в кабинетик человека поменьше рангом, но поумнее, профессорского уровня, которого опять же сосватал мой гид из тоже бывших партийных. теневой экономист администрации — мужичок плотный, угреватый и аутичный, вот автор всех их экономических программ и документов, убеждённый либерал-экономист, общительный тогда, когда чувствует в собеседнике интеллект, задающий вопросы-задачи. за окном громко долбасят по сваям — инвесторы осваивают элитные площадки под жильё, администрация решила начинать элитизацию, не выходя за околицу, тут и вырастет некий жилкомплекс, вероятно, с обязательным заселением и их туда...

мотив «застоя», мотив революции: прожитый моим народом век от рассвета надежды на достижение коммунизма — до заката, спада оптимизма, антисталинизма, демокретинизации. порыв и надрыв стали непонятны как раз тем поколениям, которые должны были встать выше предыдущих на трудах тех созданном фундаменте социализма и дотянуться до коммунизма. а вернулись обратно... в сомнениях в правильности прорыва в сторону полного освобождения от собственничества: «не той ценой, не теми методами...». но это случилось в 1917-м, классовый враг отступил. мы отвоевали почти век у буржуа и буржуем же, внутри этого невероятного общества тихо вскормленным в обкомах, в директорских кабинетах и на рынках — закончили: «нужен хозяин». народ — не хозяин им стал, они хозяева.

частная собственность — доминанта общественного сознания вновь, официально. это уже не экономика, а психология, с которой и век социализма не справился, все эти кретины, обкомовские секретари по идеологии не справились. после революции. после созданного базиса — наша психика, ум общества научился быть не частнособственническим. но сполз назад. были к этому предпосылки, тихие омуты — в бюрократях сначала, с их небольшими привиле-

гиями, но в качестве компенсаций за горение на работе во имя общей цели, а потом с потерей цели обособившихся в новую классовость.

построить сначала не социалистическую экономику, не общество, а новую психику, новую иерархию мотивов в качестве основы этой экономики — такой вот антимарксизм инфантильно напрашивается после политических разочарований поэта Постэпохи. мотивы эти придётся выстрадать в новой борьбе с наступлением частного собственничества, никак иначе.

мой гид должен был удивиться неожиданной просьбе, вероятно, ожидал, что спрошу про то, где тут можно поесть, ресторанчик для столичного гостя, а я, его смущаясь, спрашиваю — где тут нынешний обком КПРФ? не сильно удивившись, даже с некоторой среди прежней грусти радостью отвечает, мол, это всегда пожалуйста — и отвозит в полуинститутское полуполиклиническое какое-то здание с аптекой внизу. отпускаю авто, сам дойду. тут уж не прежний дворец-обком, а лишь несколько комнат. с собой сюда привёз наклейки — из тех оранжевых, что в метро над картой метрополитена клеим. сытый дедок за широким начальственным столом в загончике обкома КПРФ с больничной глянцеvitостью стен — принимает дар незнакомого гостя, дабы передать молодёжи, местному СКМ. зажигай провинцию моим стихом, оранжевыми клейкими листовками, комса!

набраться наглости, уже чувствуя себя неплохо ориентирующимся в первый же день — и идти, проехав лишнюю остановку на пятом троллейбусе, интуитивно в сторону «ХРУ», то есть АиФа. пригорочки-развилочки: постигнуть уличную систему Владимира не просто. дома преимущественно прошлых веков. как же ты глубоко и надолго упрятался от каждействительности, мой народ! и как тебя оттуда нам вытянуть в нашу борьбу? сталинские постройки на главной зигзаг-улице (Большой Московской-Студёной горе — проспекте Ленина) такие, как на Твоих окраинах. уже вжился в здешние запахи: уверен, тут всю топят печки, поленицы актуальны у крылечек. резное дерево в пыли не то что десятилетий — веков. как оно до и во время революций было — так и стоит, таблички лишь меняет. город неожиданных, нахмурившихся веками, тёмных храмовых стен. нереставрированных.

уходя из АиФ ещё не поздним вечером — в темноте попробовал пойти «куда глаза глядят». к высокому то ли храму, то ли церковному жилищу (зелёному). но забрёл на горку без спуска и был раскритикован воронами, пошёл назад мимо бревенчатых кварталов. да, тут не Твои законы, другой рельеф и соответствующие ему традиции перемещения. заледенелые окна узорятся, светятся. оттуда слышится пьяный, громкий говор. тёмные, густо-древесные стены — город-музей. сверхаутентичность, неподправленность на сегодня — повсюду. ступени в тротуарах пригорков. цвета стен прошловековой покраски.

всё другое, не Твоё. сфотографируй фрагмент — оградной старой решётки ли, тротуара ли с ещё зелёной травой, вылезшей из-под каменной ограды, узнаю.

из-за регулярного натирания гриндером, уплотнённым стелькой, возникает квадратура на правой пятке, шпоры, семейное клеймо. ложусь в номере засыпать уже спокойнее и позже — завтра утром уеду автобусом, как советовал Былевский: цена та же, зато несколько рейсов, не надо не свет подниматься.

успеваю встретиться поутру с раскулаченным директором мебельной фабрики Петренко — сосланный в заштатный какой-то кабинет на окраине Владимира, ближней к выезду в сторону Тебя, он охотно меня принял и рассказал свою грустную историю. из поколения младемократов, первый от Владимира народный депутат РСФСР по альтернативным спискам. прочувствовал перестройку как «мою революцию» — и в 1987-м поднял никудышное производство на фабрике, которая выжила и после 1991-го, разбогатела, но вот недавно некие московские, которых он не может назвать, так как дружит с Кретиным — через подставных акционеров, работников фабрики, у них выкупая их ничтожные доли, завладели контрольным пакетом акций и скинули Петренко. мужик статный, привыкший явно не к таким узким кабинетным стенам — голосом грустным и сентиментальным делится с не представившимся таковым леворадикалом историей краха надежд перестроечника на гуманный капитализм без переделов и кидалова. успел он стать во Владимире меценатом, дома красил за свой счёт, а вот теперь надеется только на свои знания и добрую волю друзей в администрации, которые, судя по всему, и отдали его на съедение московским эмдэмовским: его вытаскивали из кабинета, полноценное маски-шоу проводилось, выперли. а повод был — спор с администрацией из-за общежития, которое фабрика, не имея в собственности и на балансе, оплачивала по коммуналке. и тариф для общежития алчная администрация сделала — заводской, то есть повышенный, хотя объект жилой обыкновенный, наравне с городом потребляющий и выбрасывающий. но туда приплюсовали надбавки за вредные выбросы (обычной канализации) и прочие прикормы вроде сверхпотребления электроэнергии. в общем — по-интеллигентски, по-демократически, романтически-перестроечно не желающий платить подлинному контрреволюционеру, вечному чиновнику лишнего, раздружился Петренко со своими друзьями в администрации и на этот случай у неё нашлись мстители, которым дали сожрать фабрику, хорошо хоть жив остался, семью кормить надо, на джипе привык уже ездить, но не на нынешнюю же работу...

выслушав правду этой собственнической невесёлой, но закономерной жизни, еду до центра на троллейбусе с сумкой, той же самой, в которой недавно, летом, волок НО в Госдуму, чуть ли не всю пачку впахивая — весь командировочный скарб в неё легко влез, добавились только брошюры Кретина и его мудрого закулисного суфлёра. как они обеспечивают своё элитное благосостояние? за счёт инвестора, несомненно. сращение с буржуазией у них на роду написано, у бывших обкомовцев-покомовцев. для них — все эти супермаркеты «Покомы». по ним ы.

вот и церковный центр Владимира, жемчужина Золотого кольца. минувя седые деревья, приближаюсь к храмам на склоне, если не сказать на обрыве.

вот в небе и воронья «ртуть», с которой Цветков (в анархической конца восьмидесятых младости «Фловер») начал свой «Дмитровский собор» — но на самом деле собор Дмитриевский. отличие прочтения имени храма в буквах, отличие в названиях газет, ради которых мы сюда наведывались в разное время (правда, с разностью, наличием ещё и половых платных удовольствий героя X в отличие от героя Ч), он раньше, я позже, но — одна и та же картина в небе, миграции черно-

крылых на белом зимнем начале неба. из-за обилия деревьев близ церквей — тут постоянные птичьи совещания на ветвях и высоко в небесах, не по-московски, они дружно меня направление летают, скорее напоминая заварку или копыт. и тут я не первопроходец метафоры — «копыт воронья», копирайт Егора Летова. только это копыт, скорее, газетная, крупная и сильно поддающаяся ветру.

Дмитриевский собор — древнейший и стройный, небольшой. в подпоре каждой колонки резной камень со зверушкой, словно компьютерные символы эти сдвоенные мифические существа. птица, клюющая кого-то млекопитающего, киска-тигра с задумчивым человеческим лицом. я начал узнавать твой масштаб, Владимир, только уезжая: именно этот собор срабатывает как код, миниатюрная подсказка, предисловие. разруха видна за каждой подворотней, во дворах, большинство внешних древних стен — с меньшими масштабами отделок девятнадцатого века, меньше Твоих, но дома те же, той же эпохи православного повиновения, царской всеподчинённости, жандармов, трактиров. ну что ж — вот она-то и вернулась, та эпоха, Реставрация помогла. и сюда. но в миниатюре.

размышления переживает появление, судя по всему, того самого пьяного субъекта, который и в рассказе Фловера возникает с приветственным восклицанием в сторону собора. он неряшливо бородат, в синей то ли куртке, то ли телогрейке, в широких штанах-спецовке и высоких стрелцовых с расстёгнутыми «молниями» казаках, замызган чем-то белым, сыпучим, известняковым и не идёт, а как-то валяется из сугроба в сугроб, ковыляет-брыкает как раз в мою сторону. но вдруг — ехидно, как в оптический прицел, взглянув одним мутным и, кажется, кровавым глазом даже не столько на меня, сколько на неровный, наклонённый угол собора — решает обойти его с другой стороны. продолжаю путь как раз в его сторону и вижу, как пьяный, невероятными усилиями пытаюсь выпрямить свою траекторию, идёт, ногами временами взмахивая как крыльями, налево в сторону склона и спуска к вокзалам — как раз туда, куда бы ему не идти, дабы не скатиться кубарем. но спасает сугроб, в который он после всех усилий по прямохождению, всплеснув ногами, ласточкой ныряет, поворачивается на спину и успокаивается, подгребая сапогами и кутаясь в телугу, уже не только известняком, но и снегом теперь посыпанную. он, быть может, реставратор этих красот в прошлом — ныне спивающийся...

стоящий на самом краю склона (за которым видна часть Владимира по ту сторону железной дороги) тяжёлый храм со страхующими христианство дремлыми азиатскими улыбающимися хитро прежним игом полумесяцами — вобрал свою эпохальность... в нём не богобоязненность, а военное укрепление чувствуется, шелома куполов точно оборонительный воинственный завет Александра Невского, коего могила (одна из нескольких) тут неподалёку в монастыре.

тут всё рядом — и пристроенное белым конструктивистским крылечком здание ревкома РСДРП(б), и длинный жёлтый госпиталь времён ВОВ, награждённый мемориальной патриотической доской. и снова монтаж Реставрации в миниатюре по ту сторону центральной улицы: «мужской, женский зал» написано предреволюционным шрифтом с тяжёлыми, гиристыми засечками, тут же «дом офицеров», всё в одном.

красивый прямо от центра Владимира спуск мимо монастырских тяжёлых белых стен по деревянной лестнице, видно всю дальнюю часть по ту сторону оврага, откуда шли вороги, от коих защищали эти стены... мимо древних домишек деревянных идти по улице с революционным названием, а архитектурой дореволюционной, мимо угольных куч и резных наличников — к авто- и железнодорожному вокзалу.

встречает и провожает уже наших масштабов реклама, а тут отдыхаешь от реклам: «Бали в лучах экзотики открой свой мир L&M». соотношение на данном щите рекламной цветастости и чёрно-белого предупреждения Минздрава — вот соотношение капитала и общественного здравого смысла, 1/12 примерно.

в автобусе до отправления интеллигентная тётушка продаёт журналы, рекламируя вслух по салону — произношение культурное, но провинциальное, с аппетитным предлагающим придыханием в конце слов: «Пугачёва, Киркоров, Анастасия Волочкова, Бритни Спирс, Стивен Спилберг дал интервью, он редко даёт интервью, а журналу „7 дней“ дал...». кто же они, эти Пугачёва-Киркоров, чтобы ты, образованная явно не для этой деятельности в СССР тётка, маялась с этими журналами — их именами озаглавленными — в поиске достатка, рублей, этих тысяч, тысяч, необходимых для жизни? академики они, герои труда, первооткрыватели? они — фишки, самораскрученные флюгерА шоу-бизнеса...

проезжаем по центральной трёхчастной улице-зигзагу, словно повторяем пройденное: видим обком на далёком склоне, памятник Ленину с лирическим жестом руки, след революции (а над ним уже метки Реставрации: её верный символ, дружный неразлучный квартет букв «Банк» и над банком двуглавый силуэтится), «Поком»... от обкома — до «Покома», такая временная траектория тут прошла до моего визита.

но мы выезжаем из Владимира, тут активно строят, в элитное и полуэлитное для местных небогачей жильё идут инвестиции явно. строят из силикатного, но замысловато, не по-советски уже.

и по дороге к Тебе, всё сильнее, ускоряюще притягивающей недолго отсутствовавшего командированного мелькает провинция. днём в солнце — целые рынки люстр, бокалов или текстиля, полотенца с вульгарными рисованными девицами, плюшевые игрушки (всё, чем «натурой», продукцией выплачивают оставшиеся текстильные и стекольные производства области оклад своему рабочему). а в уже смеркающихся городишках — вспыхивают лишь коммерческие ларьки, заправки да кафе или памятники Ленину, по-разному держащие руку, указывающие альтернативный облепившему и заплонившему окружающую действительность путь. вперёд и вверх к коммунизму.

к Тебе на Курский вернувшись уже вечером по нежному слякотному пути — забегаю в рок-магазинчик «Арсенал» и покупаю себе в награду за командировку концерт Ramones. It's Alive, жизнь продолжается; и после вытянутого, длинного и скорого пути притяжения к Тебе — снова забирает замедленными темпами гортранспорта, троллейбусов, круговым своим малым масштабом, аб-

зацами домов и слякотным уютным теплом Твоё Садовое кольцо — против часовой, к дому.

9.12.02. «лишь одна дорожка, да на всей земле, лишь одна тебе тропинка...» во всём своём времени — туда, куда шли коммунисты. как выйти из него, из лихолетья этого позорного, из Постэпохи и регресса-Реставрации да направиться снова к коммуне?

это я, моё переживание нынешнее. если ощутил, понял — веди, стань поэтом и вождём советского народа. или позор вековой на голову трусливую. вслушиваюсь в Физкультурную боевую песню. опасный слушатель. ищу там не просто смысл и мироосознание того времени, я ищу само время — как течёт в людях оно, в выговоре слов, в интонациях, в мелодии, в инструментах, в пафосе. даже не время, а движение людское во времени, в песне, в мелодии — к цели, к спрятанной за толщами сегодняшнего непонимания и лжи, цели. какая уверенность в голосе П. Киричека, какая мощь устремления сквозь время этой огромной народной массы, подхваченная, на минуту заметафоризированная оркестром! к лучшему, к честному. и они гибли потом, эти устремившиеся — от фашистских пуль, от других напастей. но они знали цель, они видели вождя.

кто посмел остановить это великое движение, кто посягнул на вектор человечества? всего-навсего классовый враг. он был всегда, усиливалась же классовая борьба с победой социализма, но и потом вызревал враг внутри советского народа, год за годом. ему к тому же подпевал буржуй-заграничник. ни минуты передыху в войне систем. и мы пали, мы уничтожены, мы перерождаемся, возвращаемся, «возрождаемся» по буржуйским меркам. что делать? путь к коммуне — только через революцию, через свержение классового врага, предателя великого почина.

опасный слушатель давних песен тридцатых, я становлюсь агентом сталинского времени здесь. не просто слушаю — делаю выводы. я уже год как завербован своей восприимчивостью эстетической. но не внимать же этим слухом, этой способностью — гнусностям, поименованным искусством в действительности: постмодернизму кузьминскому матерному и прочая? (Димуля Кузьмин с моей помощью обретает в литистории понты Пилата).

я с этими песнями езжу, а мимо — наивные рекламные плакаты: вот Мила Йовович в очередном цвете Лореали (рыжем), в меру агрессивная, требовательная, хищноватая. вот счастливая пара продвинутых. эти без классового самосознания, точно.

19.12.02. впадать каждый раз в воспоминание при литературном приливе — не пережиток ли? да, анализ, да расстановка акцентов. но кому всё это нужно, когда читатель с автором в неравных условиях? автор рисуетсся этаким мудрецом, смакующим время — как ту степень, то необходимое расстояние, что читатель должен вытерпеть перед тем, как узнает то, что затаил писатель. нет, другое дело, когда Пушкин признается в том, что его герои его удивляют. но — моралите, ежесекундное моралите. всякий эпизод — неспроста, символ и т. д.

текст сейчас перестаёт быть средством. текст вливается в Реальность.

даже если следовать той же мемуарной тенденции, которая по прогнозам скоро захватит все текстовые площади — и в этой старомодной логике есть культ Реальности. он зарождается сразу же, как только автор углубляется в память свою. а там — настигает, как бы настигает давно прожитое и ахает о том, что вот оно — было и прошло. что это за логика? автор сам себя делает в реальности персоной нон грата. что за пораженчество? почему нельзя с самого начала быть не вне реальности, а внутри её? да, это грязная, суетная работа — блокнот, остановки в самых неподходящих местах среди улицы. но она и есть тот текст, каким его (её, то есть Реальность) хотел бы видеть автор. подробной, неотредактированной памятью.

поэтому, даже сформулировав радикальный реализм, я становлюсь его представителем не сразу — а только всякий раз давая себе пинка. себе, застрявшему в прошлом. себе, лениво угнездившемуся где-то, откуда время реальности давно ушло. где же оно? ах, где же? да вот здесь: секунды её иногда совпадают с клавиатурной моей чечёткой. а сам я, мой текст — где-то далеко прежде.

нужно нещадно подгонять себя, гнать по клавиатуре пальцы — чтобы не отставать от Реальности. чтобы не было «мучительнобо». да, из прожитого многое пропущено. что-то — по уважительной причине. о чём-то — если бы и написал тогда, когда переживал-видел — то вышло бы комично и выпренно, невнятно молодо. но эти редкие документики можно и приложить к Делу. только дело нельзя бросать. а то придётся догонять и реконструировать себя же по своим следам. статьям, стихам, заметкам.

так что же у нас тут? общение Путина с народом. притча. люди подтягиваются с окраин к райцентрам Дабы Задать Президенту Свой Вопрос. и всё это выливается в неизбежное шоу «Всё идет по плану». вы только не волнуйтесь, не рыпайтесь. мы вас ведём туда, куда нужно. шагов вправо и влево не делайте...

впрочем, это уже началась статья. посмотрим, где напечатают.

вот и новая зима наступила на Космодамианской набережной, годовой цикл завершается — без Усманова газета живёт и печатает те мои тексты, что при нём не прошли бы никогда. заказывает и лоббирует у Турсунова их стильно небритый Анатолий Баранов, знающий лично (он, он) и часто общающийся по телефону с владимирским корреспондентом НО Былевским (теперь мы такой аббревиатурой называем газету, той что не нравилась Усманову — и на рекламе в метро: НО! «новый уровень общения»). да, левые как-то стихийно объединились вокруг нашей всё более красной в логотипе при некоторых тиражах и картинках на передовице НО.

маршруты в Замоскворечье моём рабочем так уже уверенно протоптаны — от метро к набережной, от редакции к радиоцентру назад, из радиоцентра на собрания теперь на Автозаводской, две остановки в метро. познавать суету торгово-пассажирской территории около метро в разное время: с утра по дороге в редакцию, потом назад из метро на радио — станут знакомыми все ларьки, где на бегу покупаются знакомые слоёнотестые пирожки. растёт индустрия фаст-фуда — от-

крылся ларёк «Чудо-меленка» в сквере над бывшим моим маршрутом по низам, срезал там угол и выходил напротив конструктивистского вузовского угла. или в обеденное время — от редакции влево по Садовнической, в сторону Садового кольца: тоже за пирожками в магазин, с попутным созерцанием дощатых опор с изнанки герба с серпом и молотом на сталинском доме, одном из набережных. у него в фасаде мы весной с Леонидасом обнаружили специальные рамы на первом этаже в отделке: видимо, их делали, уже зная, какие великие люди будут там жить, но ни одной мемориальной доски не появилось там. внизу магазин оружия, соблазн карбонариям нам. в этом доме, кстати, был в хрущевское время выслежен шпион, затем вполне по-сталински расстрелянный. следили из дома-визави по ту сторону Тебя-реки, кабель по дну протянули для прослушивания и просматривания — вон как берегли свою советскую власть от шпионажа, от сглаза-сОслуха.

и вот, в очередном танце маршрутов около Новокузнецкой, я вытягиваю из метро и веду на нашу радиопередачу Виса Виталиса из рэпфанкующей группы, надёжы продвинутых леваков, Sixtynine'a. грустный зимний Вис, подавленный сумрачной погодой, мечтает поехать в Киев и снять там клип, когда заморозится хорошенько. поднявшись к нам на седьмой, Вис всё так же малоразговорчив, в широких штанах сидит, знакомится с помещением, на бодрый вопрос Довгала о наличии у него сигарет отвечает: «Я не курю». и тут же, не без рисовки, уточняет: «Точнее, я не курю табак, свой табак и свою траву, у меня такого не бывает, а вот когда травой угощают — курю». такие разговоры не могли не шокировать хранительницу редакции Мохову — улыбчивую славянскую немолодую особу. вторым шоком были бы строки мной любимого в «Сухариках чёрных» довольно быстро читаемого Висом рэпа про «а то, что не захвачено, то захачено, схвачено от-пи-ик-уячено». вместо ненайденного в компе «Резонанса» пиика пришлось спешно выбежав в рубку к пульта вместе с оператором уводить звук и потом его, непрофессионально медленно, возвращать — но шёпотом сказанный мат всё же был слышен, даже на записи передачи. расчувствовавшийся от внимания к своим песням, Вис даже по окончании передачи сидел и слушал родную «В белом гетто» в студии, смакуя звук далеко не мощных колонок-пищалок, но всё же не домашних, вроде бы, чужим ухом, ох уж эти эстеты-нарциссы!

новый дветысчи третий год отметили в старом подвале — на фоне моих нашиванных гвоздями реек для вывешивания полос газеты с принтера фотографировалась редакция в первый раз, коллективом и поодиночке.

торжество зимнее. новогодие длится к морозу. домашние дни и вкус шампанского празднует будни, но выветривается. сияющая Ты за окнами. середина, вершина — пик Зимы. дымы поднимаются из труб вертикально и медленно: загущаясь на подъёме, клубы подталкивают друг друга.

чистые, малолюдные улицы. дышать терпко, колко. а вниз этого мороза, мимо телефонного здания, к Тверско-Пушкинскому входу из «Известий» — отогрев метро, привычные вызовы реклам вдоль эскалаторных спусков. «Lash expan-

sion», бывшая ЛилУ из «Пятого элемента» в очередной лореальной рекламе — с красными, медными волосами, глядит на медленное проползание пассажиров метрополитена с женской претензией, почти агрессией — допрашивающе опершись о край рекламной плоскости.

метро — текст. ждущий, ведущий, долгий. «Наше дело правое» — заглавие перехода с «Площади Революции» на зелёную «Театральную». действительно правое: там прежде, наверху, откуда спуск и опора на медные шикарные (для всех!) перила — скульптурная ода Революции, в поколениях. я считывал её, записывал летом, погрузившись туда из зноя, миновав рекламных агентов и остановившись наДолго у слов гимна СССР — слов сороковых годов про знамя советское. Революция приводит к Победе. вот сюжет этого краткого отрезка метро: от синей «Смоленской» до «Новокузнецкой» — не утихая, звучит эта тема. тёмно-синяя и зелёная ветки — о нашей победе во Второй мировой войне. красная — о ленинизме, комсомоле, Красной армии.

а Путин крестится на Рождество, а Алексей сипит, выхрюкивает моления. Реставрация продолжается. я хожу здесь, по пустующим морозным улицам — ищу струны для борьбы с Реставрацией. чтобы записать наш взрыв, наш бунт. по нотам. по тактам в компьютерной системе, которая за нас — там и сейчас.

в новом году сразу же ждёт сюрприз: переезд в новое помещение с Космодамианской набережной в Газетный переулок. уже за годом редакционной работы подзабытое действие: погрузка в «газель» мебели на той стороне Тебя-реки, разгрузка на этой. доезжаем в метро до центра и ждём в холодном, даже обоями не оклеенном помещении, правда уже за самораздвижными стеклянными дверьми.

руководит действием улыбчивый бородатый янычар Анатолий Строев, наш генеральный директор, сумевший таки пережить и выжить Усманова, вот и до переезда дожить, о котором и Усманов обмолвливался. стоит Строев на Газетном рядом с нашими креслами и мною год назад свинченными стульями, глядит на дом напротив, вспоминает мне вслух о нём упоминание в песенке, что-то про дом «времен культа личности». на самом деле приёмная МВД выполнена без особого пафоса в чистеньком бело-жёлтом духе неоклассицизма. колонны да пухлые растительные гирлянды — единственные украшения, никакой геральдики и барельефов-статуй. но в таких полнотелых красивых классических стенах и должна была осуществляться великая миссия Министерства внутренних дел Советского Союза, так как эти внутренние дела и были судьбой социализма в отдельно взятой стране: «воррр должен сидеть в тюрьме».

зажить сразу же в новом помещении всё не удавалось, хотя пара подключенных компьютеров и вёрстка быстро обиходили проходное, ещё покрытое красочной пылью помещение. имеющий вкус к этому делу, к переездам, сразу же я обошёл большую, ничем не отъединённую пока от коридора комнату и у подоконников с видом во двор обнаружил уют, представил наши столики компьютерные, тепло снизу чуя батарейное. постновогодняя разгрузка всего, что напишали при переезде, надбавка к зарплате за физическую работу, встреча шефа

Игошина в простенькой курточке у входа в новые наши апартаменты. хотели Турсунов со Строевым чуть ли не офисные перегородки между компьютерами, прямо евроремонт... мечты, связанные с любым переездом — улучшение стиля, взгляда на окружающее, расширение горизонта. но тут одна из статей на второй полосе в свёрстанном на коленях номере нового этого года, сулящего выборы — стала поперёк горла шефу.

Игошин зашёл на нашу ещё не разобрannую, ещё обустрaiваемую малярами и электриками, полузастеленную полиэтиленом половину, как сам выразился, обращаясь к Турсунову: «Вот лично зашёл вас поблагодарить за материал Пономарёва — на меня во фракции все теперь косо смотрят...». естественно, и тут сказался шумок вокруг приближения ЮКОСа к КПРФ и явления в ходе этого процесса загадочного политтехнолога Ильи Пономарёва (а фамилия была знакома нам по очень популярному в короткий период автору первой и последней полосы, под псевдонимом Савл Павелецкий писавшему). так как Игошин представлял в партии сторону, скорее тяготеющую к лояльным прокремлятам вроде Гены Селезнёва, — то факт опубликования в его газете какой-то крeатуры ЮКОСа не мог порадовать шефа. Турсунов, горячий и не забывающий обид восточный властитель, с трудом выслушивал претензии шефа, который значительно его моложе. находясь рядом за одним из двух подключённых среди бедлама переезда компе, я буквально чувствовал скрежет зубов нашего главного: когда Игошин ушёл, он так и остался в позе раздумий, полагая, он зарекался быть так вот зависимым от инвестора и планировал вновь найти концессионера со своей стороны, чтобы не оказываться в подобных положениях. видимо, эффект летнего вливания в газету денег со стороны протектировавшего Турсунова господина давно растворился в буднях, и Игошин считал себя вполне вправе критиковать наёмного работника. странные, не полагающиеся по близости своей ощущения: Турсунов отчехвощенный задумчив, я делаю вид рядом, что работаю, Игошин уходит бароном — нет, не деспотом, вполне толерантным и даже чутким в голосе, но напомнившим, кто в доме хозяин: «Я же объяснял вам: никого не надо трогать, всё течёт нормально, пишите себе, критикуйте власть вообще и даже персонально, когда момент, но непрошенных гостей нам не надо...».

а весна, начинающаяся в Тебе по-прежнему и среди зимы, уже из нового помещения редакции, даже с поручением Анатолия Баранова звала обозревателя полосы Общество, безличного беспартийного Вотречева — в Липки на Третий Съезд СКМ. поехали мы туда с комсомолкой Катюшей по настоянию заботливого, вечно утреватого, крестьянсковатого такого, крупного моего коллеги с лета Сергея Довгалия — хотя делегатами не являлись, а я и как пресса уважен не стал там. на автобусе отправились от гостиницы «Молодёжная», уже знакомой по судьбоносному собранию, на котором скидывали тогдашнего мягкотелого первача городской организации Студникова, и где я в одном из номеров у рослого красномордого персЕка ЦК Кости Жукова брал затем летом интервью для «Резонанса». на жаре, с утра я вытягивал «вОждика» (ключка, полученная от жены) к диктофону от хмельной компании товарищей-комсомольцев первого, жуковского поколения,

где вечно пиджачный педЕ Макс Сурайкинпил специально им заказанную нефильтрованную «Балтику», стареющий член ЦК СКМ РФ Истомин произносил тосты про великую идею, а Жуков, как рак всё краснея от водки, не забывал глазеть на некрасивую, лежащую подле в относительно соблазнительном горизонтальном, смотрящем футбольный матч по ТВ, виде вечную его подругу и даже жену (которой он параллельно изменял и таким образом двоих детей одновременно стал отцом) Ирину. все эти кадры томились странным номенклатурным счастьем — находиться в этом пахнущем казённым бельём номерочке советской семидесятнической голубоплиточной «Молодёжной», пропивать немалые жуковские деньги, с недавних пор загребаемые им в качестве внешнего управляющего камчатского пароходства... оттуда я, угощаемый с барского стола пивом, выглядывал в окно в сторону Тимирязевской академии, где училась ещё мне не известная Катюша — куда затем вела гулять по аллею лиственниц, заводила в старО и академически пахнущие корпуса явного кирпичного конструктивизма, всё те же тридцатые дышат в этом вузовском пространстве... впрочем, уже туда и тогда в «Молодёжную» за компанию с тощим усачом Истоминим из Твери приехал человек поколения Катюши — Прыгунов, тихо говорящий леворадикал, сообщения о тверских граффити-вылазках которого были куда интереснее рассуждений владельца пароходов Жукова про подготовку СКМ к долгой борьбе...

вечером мы, захватив не только Катюшу, но и двух её однокурсниц, отправились на автобусе, рассчитывая в Липках на незапланированный устройствами ночлег. дороги слякотные и смутные пересекались и время от времени, на светоторах, позволяли видеть быт в Твоих окнах, быт жёлтенький, уютный, чужой. в восьмизэтажках и сталинских толстых стенах, где-то ещё виднелись или казались новогодние ёлки...

прибыв через лес в пансионат «Липки», пробежав от автобуса к сказочно светящемуся помещению, мы сразу решили, что желанны здесь в уважаемом тёплом мире. здешние постояльцы ресторанились и играли в бильярд, лабухи услаждали их джазкОм, и тут же за баром открывался вид на бассейн внизу, ничем не отделённый от вестибюля, так что с балкона бара можно было любоваться купающимися русалками. купальник одной карачаево-черкесской комсомолки, что выяснилось ещё раз на следующий день, был намеренно бел и предельно прозрачен; синие широкие соски и жёстко выющийся лесок волос межъя, не без продолжения на недлинных ногах. и молодец расторопный Довгаль: сообразил, как ускорить нашу адаптацию-аккредитацию — покуда массивный и стильно припиджаченный Руслан Хугаев, член ЦК СКМ РФ, водочный король Волгограда (по концессии и уставному капиталу Жукова-СКМ, кстати), решал вопрос с размещением нас, делегатов, мы получили свободный доступ в бассейн.

нырнуть в этом отдалённом от Тебя элитарном местечке из зимы, аскетично облачающей всех в несколько слоёв одёж — в тёплую воду с весьма открытыми в купальниках комсомолками, было очень неожиданно и приятно. худенькие и полные, в купальниках и за неимением оных в майках, они резвились под струями, сигали в воду ласточками, а товарищЧ обнимал их в маленьких согре-

вающих купаленках, что ими же фиксировалось на фото — не плававшей по причине критичности дней Катюшей. затем, наплававшись, мы вышли и, узнав что номеров нам пока не дали, стали играть в настольный теннис и таким образом попутно сушить волосы. играть в неспортивной обуви товарищЧу было весьма неудобно — попрыгай-ка в гриндерах. но быстро квалификация восстановилась, кого-то здешнего не из СКМ обыграл, и затем долго учил Катюшу пинг-понгить.

за этим занятием нас встретил час ночи, когда погасили свет над столами. товарищЧ неожиданно для себя захотел спать необоримо. заботливый Довгаль пошёл договариваться, Катюша же готова была бодрствовать несколько суток напролёт. но товарищЧ сдался сну — упал на скамейку где-то в фантастическом, как в тарковском «Солярисе» ответвлении гостиницы, где было потише. однако уснуть не удавалось, энергия плавательных движений, мокроватые ещё волосы и шум прохожих по коридору фиксировались неусыпным ухом. даже слышал сожаления в свой адрес женственные. но к себе никто не звал. а позвал, наконец-то нашедший коечную лазейку Довгаль — повёл сонного бессильного товарищЧа вместе с Катюшей в некий крайний номер. там в одной указанной мне Довгалем комнате на двуспальной кровати спала толстая, раскрывшаяся баба, оказавшаяся при включении света нашим первым секретарём городской организации Ярославом Сидоровым — после приветственной пьянки спавшим мёртвым сном. в соседнюю комнату заселились Катюшины девчата и она, а я, обнаружив мягкую современную раскладушку как манну небесную, упал на неё, даже разделся и накрылся, и под периодические храпы, стоны, хрипы, яростные прокашливания курящего Сидорова, уснул.

нераннее утро (так как спешить в зал мне не было надобности) встретило завтраком и новым купанием в бассейне, который на этот раз, видимо после ночи, ещё не успел прогреться, и долго плавать в нём не захотелось. о, это волнение, спешка с раздеванием и неуверенность перед вхождением в воду, но потом зато встреча там карачаево-черкески в прозрачном купальнике! мир «Липок» разворачивался всё шире: словно звезда Полярная, этот комплекс, как выяснилось при дневном свете, лежал, раскинув от центрального вестибюля рукава-корпуса, посреди леса. после утреннего купания, благо что все остальные покинули номер и ушли в зал слушать доклады регионалов, мы с комсомолкой Катюшей на женской половине, на незастеленных простынях предались недолгим ласкам. тут-то при ярком дневном из окна освещении, отражённом и усиленном снегом под окнами, и выяснилось окончательно, что в сосках Катюши кое-где пробиваются чёрные настойчивые волоски. центростремительное целование её белых мягких грудинок приносило солоноватый вкус — видимо, ещё вчерашний пинг-понговый, когда играли часами напролёт, а душ она принять с тех пор ещё не успела. к дальнейшему, ей и вовсе не знакомому, приступать не пробовали — и по причине всё той же критичности, и так как в любой момент мог кто-нибудь прибежать.

пошли в зал и мы — как раз в тот момент, когда маскировавшиеся до той поры три или четыре эркаэсэмщика, остатки маляровского племени, разбирали листовки в зале. этот эпизод достался телекамерам, а мы увидели только как толстого кудряво-длинноволосого активиста всегда угреватый лицом хват-

кий крестьянин Довгаль сотоварищи вытаскивают из зала. девушка, представляющая РКСМ, давала интервью возбуждённым акцией телекамерам. вскоре приехали Зюганов с Глазьевым — именно этого события дожидалось большинство журналистов. сам Зюганов выступать не стал, но дал слово Глазьеву. белокожий и лоснящийся, напоминающий то ли подстриженного разевшегося дьячка, то ли приказчика из Гостиного двора, Глазьев обличал либералов, рычал на СПС и проповедовал необходимость пребывания батюшек в армии: «Они там делают своё дело, благословляют, напутствуют наших воинов на защиту отечества». какого именно отечества — продвинутый экономист Глазьев не уточнил. вспомнилась мне тут хорошая бойкая статья члена АКМ, правнука маршала бронетанковых войск Алёши Ротмистрова под названием «Вон попов из армии».

Костя Жуков вёл съезд со свойственной ему степенностью, словно в «Липках» не на несколько дней, а на месяц съехался симпозиум. всех удивляло в разные времена то обстоятельство, что оттенки лицевого окраса у них с лидером КПРФ при полной разности конституции схожие, равно как и некоторые медлительные интонации. чего не скажешь о Глазьеве, например. за долгим заседанием следовал сытный обед, в ходе которого продолжалось моё общение с регионалами. выполняя сразу несколько заданий, я в первую очередь записывал на диктофон для нашего радиоэфира «Молодого патриота» интервью с представителями регионов. для этого, чтобы избежать шумов, приходилось забираться то в спортзал, то под лестницу — как с продвинутым в веб-мастеринге комсомольцем Васей Колташевым, который изобразил на манер Quake'a серп и молот на стенде СКМ Новосибирска и пророчил нашему «Эшелону» большое будущее.

после обеда мы с тремя девушками под командованием Катюши пошли во круг здания гулять. лес сиял уже не зимней, ближе к весенней, яркостью. ограда «Липок», довольно близкая к самому зданию, упиралась в лес. мы валялись в сугробах и катались на канатах-качелях, фотографировались. наши с Катюшей взаимоотношения здесь на глазах прочих почему-то и вовсе растворялись в пользу коммуны, равного товарищества. падающие в снег, дабы оставить ангельские отпечатки, комсомолки одинаково требовали извлечения оттуда, которое я как единственный тап и осуществлял.

взял, наконец, (спрятавшись с ней от шума столовой и вестибюля за ширмой где ряд раковин для мытья рук) интервью у красивой, с большими карими восточными глазами карачаево-черкески — в свитере она не тревожила так, не напоминала той тёмносочной водяной властительницы, что плавала в бассейне. комсомолка эта оказалась едва вышедшей из школьного возраста, стеснительной и малоразговорчивой, разве что моими взглядами и преамбулами побуждаемая к общению — к рассказам об их, далёкого СКМ, занятиях в школах. но высказанное ей было всё разумно и верно — так что нетерпеливый интервьюёр даже сам договаривал некоторые, им угаданные мысли, дуралей (такое потом слушать в качестве репортажа смешно автору). отчего-то черкеска была грустна всё время. вероятно, не встретила здесь московского знакомого некого.

ночью наши комсомолки ворвались в уже уплотнённый мужской отсек и устроили яростный шаш. то ли сказалась критичность Катюшиных дней, то ли просто заскучали — они стаскивали со всех одеяла, а так как на бывшей единолично сидоровской кровати теперь спало трое региональных постояльцев, то перетягивание одеял совершалось в несколько рук. ползающие и сиренами непрестанно визжащие комсомолки создавали впечатление начавшейся без объявления войны. только оказав сплоченным мужским населением вместе брутальный отпор, заперши дверь, мы завоевали право продолжить и без того короткий сон, но заснуть после такой атаки было нелегко.

следующее утро наступило всего через несколько часов после того, как мы отключились и начали видеть сны. успели относительно позавтракать, йогурты съели, а второе уже нет: разбежались по автобусам — по возвращении нас ждала демонстрация 23 февраля от Белорусского вокзала, ради которой, чтобы покрасоваться массовостью перед партийным начальством Жуков подгадывал съезд.

автобус привёз нас почти к Белорусскому, но пришлось до моста идти (всё ещё видя грустную черкеску, которая, видимо, не спешила на саму демонстрацию, а шла к метро). из-за пробок и нерасторопности водителя мы опоздали на сорок минут — пришлось бежать не просто за своими колоннами, а за крайними, за традиционным охвостом из нац-шизНИ. в этот раз приближение к центру по главной улице, Тверской — улице Горького, выглядело и красиво, и грустно. красиво из-за света уже весеннего, а грустно из-за малочисленности, жидкости демонстрантов. не постояв, не сконцентрировавшись вместе с колоннами, мы не ощутили всей плотности шествия, поймав уже даже не движение, а последствия движения. мы быстрым шагом догоняли своих, встречая и обгоняя по пути ускоренного проплывания мимо Маяковской, Пушкинской — то плотно сбитый многоногий-многорукий одеждой преимущественно чёрный кубик НБП, то громогласный клин АКМ... наконец, уже у поворота в Охотный Ряд только догнали своих и прошли жалкие сотни метров едино и скандёжно. предчувствие простуды то ли из-за недосыпа, то ли из-за купаний слишком частых при сквозняках в круглом вестибюле Липок — всё это гнало, звало меня от Театральной площади по Петровке домой, но из-за неожиданной встречи с Андреем Смирновым из Завтра и настояния рассказать его другу из МК Пулемётову про съезд, пришлось задержаться на торжественном февральском солнце, светящем над Марксовым памятником и автотрибуной КПРФ. всегда здесь митинги торжественны почему-то, в любое время года. возможно, потому что обращены к площади Революции.

пока же в ещё не собранной, по деталям отдельно лежащей в новом большом помещении на Газетном, редакции кипели страсти вокруг появления нового Пономарёва на полосе «Политика» — реальная политика вершилась там, откуда мы переехали. своеобразной точкой в топографии тамошней, набережной, Космодамианской стала незапланированная акция АКМ. созвучие с фамилией Зои у набережной поэтому вышло здесь не случайное, хоть и реставрационное это название: именно там, где мост к высотке отделяет около конструктивистского ву-

зовского круглого угла Космодамианскую от Раушской — совершён был не то чтобы подобный Зоину, но видный на современном фоне поступок. взрыв.

из подвального, пропитанного левацким братством, гулко от акаёмовских приветствий пространства что-то всё время рождалось, мстительная антибуржуазная активность искала направление. иногда это были развёрнутые, чуть не до драк доходящие дискуссии: на сталинские чтения в подвал пришли голубой троцкист из РРП Марский и сталинист из РКРП Якушев. выступая после ленивого пьяного доклада анпиловского казахского вида сподручника, одутловатый лысеющий боксёр Якушев прямо адресовал Марскому как троцкисту исторические претензии:

— Это вы т-т-троцкисты в-в-всегда м-мешали строить социализм, п-п-подставляли под репрессии настоящих к-к-коммунистов, в-вы с Г-Гитлером сговора-ривались, и т-теперь мешаете бь-б-б-борьбе, это всё факты неоспоримые...

Марский, крупнокостный головастый очкарик, воспринял вызов, вскочил возле стола докладчика и начал, яростно жестикулируя, косясь на Якушева, проповедовать в основном старческой трудороссосской аудитории, среди которой было несколько молодых акаёмовцев:

— Не надо, товарищ Якушев, вешать на нас Гитлера, это ваш Сталин вёл с ним делёж Польши и переговоры закулисные до войны, и не думайте — мы, троцкисты, репрессий не боимся! Мало репрессировали, мало! Надо было и всю вашу бюрократию уничтожить в тридцать седьмом, а Троцкого вернуть и сделать генсеком. Думаете, когда революция начнётся, мы буржуев не станем стрелять? Да первыми же их к стене поставим, но вместе с ревизионистами и фашистами вроде Якушева, кто продал нацстам мировой пролетариат за сталинский спецпайк!..

сидящий в боковом отроге зала за шкафом под бронзовым блестящим бюстом Сталина, где-то за Якушевым в дутой синей куртке и поблизости от меня в натовке, трудороссосский глухой дедушка в мятой байковой ковбойке проснулся от минутного сна из-за перебранки, недолго послушал и душевно как-то, искренне, отечески свежо резюмировал им понятное:

— Да-да, никуда не денешься — драться придётся, драться придётся...

каждый четверг родниться с молодыми левыми, подпитываться и уверять в том, что есть такие же: злимые наступлением буржуазной эстетики и политики, желающие изменения политической системы, так же любящие и постигающие медленно, молодо советскую власть, и ничего не делать — сложно. на этот раз, когда я уже год как исправно, почти еженедельно приносил в штаб АКМ и таким образом рекламировал в своём кругу «Независимое обозрение», я встречал новые заинтересованные глаза. много людей встречалось тут, в горячей, бунтовой атмосфере подвальной — и странных, и интересных, и блудливых: некая длинноволосая брюнетка остроносо-хищного вида как-то вошла, села рядом, уже зная, что я поэт-музыкант, ласково погладила по голове, как своего, и, спросив, знаю ли я, кто был первым идеологом национал-большевизма (бункерская фишка НБП: по их версии, Достоевский), стала вспоминать, как её Пелевин водил по Макдоналдсам... сия особа по уточнённым после данным прошла весьма оригинальный путь по рукам да по аршинам, так сказать, меривших её каждый на свой лад, мужиков из московского

андеграунда и литэлиты — на этом пути, в её пространстве встретились совсем трудно рядом друг с другом воображаемые люди. наш Иван Баранов, увлечённо кувыркавшийся с ней на одной нацбольской квартирке и быстро раскусивший намерения её всего лишь здесь прописаться, и Пелевин, видимо тоже смекнувший, из чего колбасу и бигмаки такие хваткие провинциалки делают, и Лимонов, с которого она сняла на собрании в бункере и присвоила косуху, а также Дугин, Удальцов, Непомнящий... и не вспомнит, небось, всех в неё визитёров теперь. ну, она-то не из списка странных сама — обыкновенная, впоследствии всё же тут осевшая перед ТВ домохозяйка из провинции. мужская половина АКМ тоже не славилась пуританством — хрестоматийный член организации Чекист кувыркался прямо в штабе (в котором жители области то и дело оставались ночевать), путаясь языком и пальцами в их пирсингах и пряных потных балахонах аж с двумя панкУшками одновременно, коих в штаб на Пролетарскую чуть ли не каждую неделю с Арбата наносило новеньких точно ветром: через пьянки, через «Крест» и тамошних дежурных от АКМ... странные тоже резвятся. субкультура воспроизводится в подвале на Пролетарской, но уже не как наркоманская, токсикоманская — а как политически альтернативная обывательским бытам наверху, мирящимся или даже ставящим на Реставрацию, но пока в оргиях этих, без оружия.

среди ещё более странных, нерезвых, был и некий всегда улыбающийся хитрой еврейской ухмылкой носатый тощий химик. Федорович по фамилии, которую никто не знал, а вот кличку высказывали часто — Сапёр.

всегда (а я чаще всего приходил к концу собраний АКМ, чтобы лишь один раз освежить своё политическое самосознание, слившись с общим скандёжем, прокричать заключительное «Наша родина — эсэсэр!») входить в подвал приятно — ведущий Удальцов, как обычно в чёрной рубашке или свитере и с делящим короткие чёрные волосы пополам пробором в немного дореволюционном стиле, поприветствует: «А вот и товарищ Чёрный к нам пожаловал». звучит вроде партийного псевдонима, на ряды собравшихся действует. имманентно в собраниях — отформатированное, упорядоченное, регламентированное, но желание радикального действия, поэтому, когда никаких особых памятных событий, демонстраций, акций не планировалось, Удальцов чаще всего обращался ко мне как к коллеге из дружественной организации — мол, сообщи людям что-нибудь на бой зовущее. то концертом порадуя эти молодые, доверчивые и критичные одновременно товарищеские глаза, то литвечером каким, то политической новостью, то просто принесу наших агиток пачку, зная, что эти люди их расклеят прицельно и быстро, только в метро, только перед самым взглядом пассажиров. так, чтобы потом в неожиданных местах, не на моих ветках над картой метрополитена читать заклеившие рекламу строки своих партийных призывов на оранжевом фоне под звездой СКМ... не очень акаэмовцы любили клеить агитки с чужой эмблемой, когда появлялись деньги — я им печатал с их символикой трёхбуквенной.

Сапёр сразу же поинтересовался — я ли тот самый Григорий Дебеж, которого он читал в «Дуэли». подтвердил. как и все, Федорович хватался за приносимые мной газеты, тем более что Удальцов не забывал их разворачивать в конце

собрания и хвалить как самое цивилизованное из левого. странную завершённость миссии я ощущал, принося газеты, наполняя эту штабную пустоту нашей спрессованной информацией, среди которой немало мною выстроенных строк — словно кормя этим бесплатным бумажным информкормом своих товарищей по убеждениям. среди них был и Сапёр со своим другом брюнетом, на пиджачке которого красовался круглый красно-чёрно-жёлтый значок «Дуэли». за Сапёром ходила слава невменяемого, его специально на собраниях перед демонстрациями умоляли ничего взрывного и горящего не приносить: но он-таки в очередном шествии по Тверской кинул нашей же колонне под ноги свёрток селитрованных газет. подышав едким дымом, никто не исполнился благодарности к Сапёру, а он довольно улыбался гнилозубо под детской русой чёлкой своему пиротехническому эффекту — на Пушкинской площади он ещё раз метнул свою дымовую пашку, чем воспользовались неопознанные продвинутые фоторепортёры и сняли красивое шествие, словно в дыму слезоточивого газа, как бы.

не был Сапёр архитипичен психически для АКМ, хотя внешне — вполне. он всё же был не боевик, но интеллект — на своём химфакультете слыл видным отличником. оттого и выдумал замечательную бомбу, стильно современную, актуальную — но которой он, правда, никого и ничего значимого не взорвал, лишь подбросив идею оставшимся на свободе. правда, и тут не всё вышло с первого раза: именно оттого, что один из опытных образцов взорвался у него дома, его и взяли на карандаш, а затем следили за перемещениями.

в АКМ были стукачи — один из них, не зная меня, когда я совсем припозднился на собрание однажды и не солоно хлебавши ехал назад, в метро выболтал на полную своё ремесло. пьяный от бутылки пива, он жаловался, что в фээсбэшном отделе по борьбе с антиглобализмом и политическим экстремизмом ему, информатору, некий старый полицеймейстер платит тыщонку-полторы только тогда, когда информация его содержит взрыввещества, точнее, точный прогноз по поводу их применения акаэмовцами на очередной акции прямого действия или демонстрации. затем пьяно колеблющийся на поручне стукач поделился разочарованием в мире шампанского и женщин, который ему уже не интересен. возможно, этот кудрявоволосый брюнет с дегенеративно маленькой нижней челюстью и засветил намерения Сапёра.

АКМ готовил 27 февраля обычный пикет на Раушской набережной перед дверьми офиса Мосгортранса. но, мгновенно синдуцировавший своей неконтролируемой инициативой от благородной постановки задачи на собрании, Сапёр опередил акцию. накануне вечером он положил своё детище с уже запущенным часовым механизмом в рюкзак и поехал на Новокузнецкую. от метро его пасли и оперативно снимали на видео фэсбы. интересовавший их предмет, находившийся в рюкзаке на спине Сапёра, был своеобразным произведением искусства, впитавшим интеллектуальный потенциал и некоторый инфернальный юмор Федоровича.

а была это обычная, хрестоматийная для времён Реставрации двухлитровая пивная «сиська» из-под «Очаково». тёмно-коричневый пластик не даёт возможности понять, что внутри. содержимое бутылки — глицерин. детонатор —

в пробке. простейший, крутлый, подходящий по диаметру к крышке, механизм маленьких ручных электронных часов. заведённый в них будильник и есть взрывной механизм. хотел Федорович, чтобы лужковский Мосгортранс встряхнуло — дабы знали, как повышать оплату за проезд студентам. в АКМ далеко не все студенческого племени, но Сапёр был патриотом своего положения на все сто: выглядел интеллигентски-бомжевато, тощ в постоянно одном свитере с горлышком...

что такое пивная бутылка в пространстве Реставрации сегодня, за порогом контрреволюционного десятилетия? незаметная мелочь. закатись такая престель на фоне прочего мусора под колёса, например, буржуйской иномарки у «Балчуга» или тёмной иномарки другого статуса, с мигалкой у ресторана «Пушкин» или там же на Раушской, где в ресторациях часто бывают, прогуливают праведные свои заработки сановные персоны из властителей и свиты властителей капиталистической эРэФиИ — так никто бы и не заметил. Сапёр собирался в таком же духе — просто положить бутылку в урну у стеклянных дверей Мосгортранса, которые вскоре вместе со стеной хорошенько тряхнуло бы. в позднее время служащие не проходили бы по его расчёту — акция по его замыслу носила только устрашающий, не террористический характер.

но реализации сапёрного замысла помешали следовавшие как псы за ним по пятам фэсбы: как раз на углу пустыря, метров за двести до Мосгортранса, у Устьинского моста, нами с тобой и с комсомолкой Катюшей хоженного-перехоженного его окликнули. бедняга Сапёр, давно чувствующавший слежку, здесь начал нервничать уже открыто. вместе со своим взрывоопасным рюкзаком стал, как лев в клетке, ходить взад-вперёд по оцепленной (запретили поворот машинам с моста к набережной) территории, словно молясь своему богу леворадикалов. говорил по сотовому с товарищами, прощался на всякий случай, понимал, что его как волка окружили флажками и гонят в известном направлении. фэсбы с безопасного расстояния требовали отключить устройство — он ответил, что невозможно. только сам Сапёр знал, когда рванёт.

эта ситуация загнанности, это грядущее взрывное разрешение подвальных прений на Пролетарской, это волнение Сапёра — густо красило пустынный топос набережной. давно в этом месте ничего не происходило, давно на огороженную бетонным забором площадку свозили лишь шершавый съёженный снег зимой, дабы таял незаметно. видимо, никто у Лужкова не покупал эту площадь, слишком близкую к Тебе-реке. или много просили. но вот леворадикал Сапёр пришёл с сообщением сюда, с концентрированным высказыванием. не флагом размахивать, не скандировать — просто положить обычную пивную дрянь-бутылку в урну. но эта, одна из тысяч положенных в этот день, «сиська» с сюрпризом была б. с мстостью за всех надувшихся продуктами брожения и пьяно наплевавших на повышение транспортных тарифов, за всех добровольных рабов-ровесников, спивающихся, веселящихся, политически не видящих происходящего вокруг них, расплывчато зрящих, зрящих.

нервный интеллект, отличник-химик Сапёр наполнил хрестоматийную «сиську» протестным содержанием. просто использовал то, что дома валя-

лось, но использовал по высшему назначению. какой почёт для этой глупой ёмкости — дежурно отдать в младые внутренности попсовый свой сивый угар, а взамен принять в себя вещество политического протеста молодёжи, студенчества?! такая активная мораль, такой радикальный реализм.

когда счёт пошёл на минуты, загнанный в невидимо ограниченный взглядами и нарядами фэсблов и ментов, Сапёр тинэйджерской аистиной походкой подошёл к первой доступной его взгляду горизонтальной поверхности — к гранитному парапету набережной — и бережно поставил рюкзак, спешно отошедши. через минуту щёлкнул аккуратный взрыв и отломил от набережного камня идеальный, симметричный лепесток, который ныне заделан цементом. стекло бы в Мосгортрансе точно не осталось — лежи это «Очаково» в положенной урне.

так ты, вузовский конструктивизм Липшица, услышал близкий к тебе, по ту сторону моста, зов новой революции — не той, которой «ко дню 14-й годовщины Октябрьской революции» ты был сдан в ноябре тридцать первого, а грядущей, за порогом миллениума. и зов этот в принципе воспитанник таких же, может, и уже дочерних, внучатых стен возгласил, упаковав в пивную бутылку: студент, протестующий, не принимающий капиталистических порядков в транспорте. такие тут встречи времён в Твоём пространстве, пролетарская Столица. а неподалёку — там за Тобой-рекой, тоже у моста, но через Яузу, где мы гуляли с комсомолкой Катюшей, стоит забытая буржуазной властью, с оторванной отделкой мемориальная доска борцу другой революции, Астахову. памятный знак надо будет установить и на месте этого взрыва. на Яузе убит был наш товарищ Астахов в 1917-м, в 2003-м другой наш товарищ, по возрасту всего лишь правнук или праправнук Астахова, загремел в тюрьму, но взрыв протеста — именно так неглупо называть было бы его акцию — прогремел в СМИ. даже по ту сторону Тебя-реки, за Яузским бульваром, Таривердиев, к которому я в тот же день, готовя новость к печати, заглянул (хотя на улице Макаренко уже давно не репетировали) — был полон впечатлениями. Правда, не одобряющими такой поступок красного юнца, его истёртая в реальной педагогике с дворовыми пацанами стёртая советская мораль гласила лишь «надо нормально».

на следующий день, в пятницу, как и планировалось, мы с АКМ пришли к Мосгортрансу. примерно стоногая процессия с флагами и кричалками, чегеварными нашивками на рюкзаках и куртках, с нарукавниками АКМ и в банданах с гербом СССР шла от Новокузнецкой по родным мне, но уже зарастающим тропинкам, освежала быстрым движением все годовые тут многотрудные мои продвижения то с телегой газет, то с картриджами, то с пачкой газет для «Резонанса»... пара мажористых скинов в чистой светло-голубой джинсе, увидев движение радикалов, пристроилась позади — что я, заметивший их, отслеживал всю дорогу — уже на Раушской, когда в оговорённом в разрешении пространстве развернулся пикет у входа в Мосгортранс, так и не решившиеся ни «прыгнуть», ни присоединиться скины пошли переулком до ближайшего подъезда и там бухнули. им готовы были дать отпор Гунькин из АКМ и наш Шабанов — который, правда, у Мосгортранса сперва занят был превентивным битьём, препинанием-отгоня-

нием нашего товарища Ермакова за то, что тот якобы распространял слухи о подготовке группой «Шалабанова» (Шабанова и Лобанова, СКМ мой округ) бутылки с зажигательной смесью к последнему Антикапу, с которыми был арестован акаэмовец-бомж Лунёв.

часом позже после акции записанные мной на диктофон выступления у Мосгортранса и скандирование по поводу задержанного Сапёра «свободу политзаключённым!» вышли в эфир «Молодого патриота» с моими свежими, пропитанными волнительным дыханием улицы, комментариями.

поэтесса Ольга Кучкина. из редющей могучей кучки шестидесятников. о, на наисимптоматичнейшее действо пригласила меня моя зафлиртванная немного, просто для тонуса, школьная воспитанница с факультатива «Психология для подростков»! презентация сборника «Високосный век», Литературный музей. в двух шагах, если не в самом том квартале, где совершалась прекрасная предпозема Твоя семдесятых, кино-«Романс о влюблённых». точно угаданное обрамление, стены доходного дома рубежа веков, в которых живут и едва по карнизам не ходят друг к другу он и она. она после его поцелуев утром моется под душем, всё та же Милочка из «Покровских ворот», гУрдки умеренные, но больше твоих, моя девочка...

а тут сегодня, вне акустики той семидесятнической вознесенской баллады, печальное заседание: ушедшее колотится словами в стареющие чела века. кучка впечатлений и требований, заклинаний на фоне слабеющего ея бытия. подруга певица Камбурова сипит: Вертинский — он тут кстати, платье на покойнице, клавишный саунд Курзвайла. внизу выставка про Давида Бурлюка. шрифтовой футуризм, радуется.

Несомненно, предпочту доступное языку межножное содержимое моей спутницы-второкурсницы всем сим словесам — Реальность, вот она сидит, руки на коленках, переписывается со мной блокнотиком. предпочту не от любования прилива, не всерьёз: от голода, от страсти осязать Реальность свою через её, в её. но вечер обязывает сопереживать стареющему вдохновению Кучкиной, слушать путешествия её по осям земным и небесным. когда реальные оси координат здесь лишь две, это ножки моей соседки. и точка 0, соединяющая их.

поэты тычут текстом в небытие, просачивается мрак оттуда. сравнивают себя с цветами. да какая тут женская проза? поэзия ещё ужасней. причём именно во всей своей явленности и искусности — это никчёмное, это лебединая песнь: чем лучше написано, тем хуже. на птичьём языке усыхающей в тотальном бесперспективняке элиты.

«Демократия по-нашему — дерьмократия», — вот единственно живое из сказанного Кучкиной, выживающее за рамки эфирных ангельских взмахов крыл нереальной поэтики поэтессы. так и топчутся веками, шамкают односложие эти бегущее Реальности литераторы. мечутся. славословят «любофь», пока живы (потом они это грехом называют). когда прошлое перевешивает качели жизни — начинаются мемуары, тяжесть реальности притягивает и туда несутся мысли, образы — нагнать... перед грядущим небытием. и тут за «любофью» появляется сле-

дующее знамение — «бог». это тот, кто не отымеет, да и не бросит. это то (или тот «во Христе», вместилище), что после тела, когда тело отжило.

дружное поколение низвергателей Эпохи, ты вяло прощаешься с жизнью. ты, поколение шестидесятников, отказалось от жизни, одумалось и окрестилось — тем самым приняв обет скорого отшествия в небо — тие твоё. ничего тебе не надо: только отпеть своё и к батюшке богу, вновь обретенному. и уходишь ты из недочитанного текста векового строительства, с пораженческой эпитафией людей, вывалившихся из Эпохи — как с возу бабьё. ваша дерьмократия безысходна, вы это поняли, но обет дан, обратной дороги нет, и вы (пока страна валится в прошлое, в небытие хронологическое) отходите в небытие личное — под аккомпанемент авторских песен, под грохот ваших выпренных нереальных богоискательских образов.

чем вы живы, отцы-оттепельцы? прошлым, только прошлым. видите ли будущее? нет, ибо прошлое заняло и настоящее, и будущее под ваш стиховой аккомпанемент. ваша молодость была чудом положена на вертикаль Эпохи, с которой вы общими усилиями рухнули. материя эпохи плотнейшая — это памятники — тем, кто упирался головой в потолок возможного, в рамки технических и умственных возможностей. всё ради того, чтобы вывести человечество на новую орбиту — коммунистическую и бессмертную. вы же, шестидесятники, только перегной для новых футуристов, для новых соцреалистов, для новой классовой и исторической ненависти, бьющей в жадные ноздри моего поколения как нашатырь. мы — те, кто будет не вспоминать, но строить Реальность.

Трубниковский переулок хладен, вечер хоть малость светел, но неуютен двоим возвращающимся к Новому Арбату с литвечера. по часам Садового кольца, по дуге в моё прошлое и в прошлое этих домов едут «Б» и «10». на поворачивающем впереди 47-м троллейбусе реклама. победа. вкуса. жёлтое знамя на красном фоне почти как белое. настоящий шоколад. общество играет с образами своего прошлого как кошка с обессиленной мышью.

плохо играет: опасно и безысходно. продавать всё и под любым соусом. когда пафос — стиль и удел только коммерции. даже «Победа» становится ярлыком. с каким удовольствием мы уничтожим ваши рекламы и бутики, агенты прошлого прошлого, предатели Эпохи! будем рвать зубами свежее мясо — не ваше, а то, что вы заморозили и снабдили ценниками. будем бить витрины роскоши, оцененной длинным чеком, неоплатным, длиною в многие жизни. мы вырвем у вас, отнимем приватизированный век. заселим его в новые чела. вырастим идею наружу новыми красными волосами ветру и солнечному рентгену в услужение. земному, космическому, реальному, не мемуарному.

неявно наступившая весна вытянула нас с давним товарищем по СКМ Кожевниковым в Центральный дом литераторов на Большой Никитской. невысокого брюнета Кожевникова помню при белой рубашке и галстук, в кожанке то ли революционной, то ли шестидесятнической, ещё с осени двухтысячного на Остоженке, 13: стоящего, браво курящего у выхода, такого почему-то кубинского. мероприятие, куда ему советовал пойти заслуженный почвовед-жидоед С. Се-

манов, было организовано неким литературным клубом «Судьба человека», либеральным и поддерживавшем в своё время Горбачёва всеми руками. но тут вспомнить бы первое, предыдущее посещение.

прошлой весной мне с кузеном Леонидасом довелось здесь быть на совсем ином мероприятии, и не в большом зале, а в малом — что, видимо, должно было подчеркнуть оппозиционность. тогда собрали свою пожилую паству газеты «День литературы» и «Завтра»: председательствовал в красной жилетке Владимир Бондаренко.

в зале пахло сединой. заходя в него, я столкнулся с выходящим и пожимающим кому-то руку в честь триумфа его Гексогена пузачом Прохановым. старички в Малом зале ЦДЛ не очень преданно слушали докладчиков, среди которых был и искромёт Лев Аннинский — услышав фамилию Битов, кто-то из источавших дух патриотической седины (так пахнет постоянный читатель «Завтра», мой сумасшедший дядя Колесан Колесаныч) резюмировал: «Недобитов». компания собралась тем более нелепая, что перед читателями «Завтра» вещали в основном юноши из «Независимой газеты». один из них, кажется, однофамилец Вознесенского — толстенький очкарик вроде Кузи Уо, в пиджачке на какую-то панковскую майку надетом, заговорил о некой «конкретности», чем сразу же обратил и свои и аудитории мысли к понятийному аппарату братвы.

как надежда дедов-патриотов, вышел к трибуне друг Леонидаса и мой через него знакомец Шаргунов. в белом шестидесятилетнем костюме. кто-то в «Завтра» описывал его шаги как шарнирные — пожалуй, можно было бы вспомнить тут шаги дровосека из «Волшебника Изумрудного города». впрочем, при таком разбеге, нужно было и ударить сильно. у меня, пока до Шаргунова барахталась на трибуне среди обсуждавших судьбы реализма всякая сомненческая размазня, уже созрел спич, и я надеялся услышать его из уст отдалённо внешне напоминающего товарища Шаргунова. однако коллега ограничился общими фразами о том, что мы вам покажем и что последний рассказ он назвал «Ура!», в котором не боится ни шприца, ни братвы, а напротив даёт им всем, элементам реальности, слово. атмосфера того бестолкового сборища неожиданно разрешилась, когда писательскую элиту с подтусовавшей к концу мероприятия Витухневской (как упорно звал её Леонидас) позвали в ресторан. там-то среди наблюдающих за поведением людей мохнатых чучел и морд убитых писателями животных и состоялась великолепная драка, где уже сложно было разобрать, кто либерал, а кто патриот — только один из сотрудников ЦДЛ, рослый рыжий великан, перебрасывая обидчика через стол, орал, размахивая яркими вихрями и брызгая на почвоведов кровью: «Я — фашист?! это я фашист? вот тебе за фашиста, щас тебя научу родину любить, паскудённыш!!!». разнимал разбушевавшихся писателей как всегда простой мужик, не искушённый в сложных вопросах различения фашизма и нацизма, уроженец далёкого Ангарска кузен Леонидас, что ему удалось не без вербально-командной помощи Шаргунова. крёстная же млять литератора (в постели которой он — молодец, ноу-хау, фак 'эм олл: сначала её, потом экс-Феловскую порнографиню Козлову — стал «дебютантом») Витухневская дека-

дентски курила за столиком и умилялась редким зрелищем, ехидно валяя в пальчиках свою псевдоблондинистую косичку.

на этот раз мы с Лёхой Кожевниковым и торопящимся, не дождавшимся начала вечера его товарищем-историком из педа Крупской пили по-весеннему болотную и незаметный насморк вызывающую первую «Балтику» в окрестностях ЦДЛ — ожидая, общаясь. поэтому рады были войти в помещение всё же — подняться по торжественной лестнице мимо портретов писателей. клуб «Судьба человека» на сцене действительно большого, но освещённого крайне тускло, блокадно, зала выглядел немногочисленным. аудитория легко поместилась бы и на половине малого зала, но — либеральная честь... и, возможно, гешефт дирекции либо спонсорство ещё верных либеральной утопии буржуёв.

показалась мне впереди актриса Касаткина, уже дезинформировал было Кожевникова, но приглядевшись распознал ошибку. на сцене поочерёдно преклонных и средних лет «судьбисты», включая несколько известных фамилий вроде Вампилова, публично каялись, признавались, что в дивном новом мире, за который они не только сами голосовали, но и неоднократно последовательно поддерживали и Горби, и Ёлкина — на их книги нет спроса, над всем воцарился доллар, и гонораров им не платят даже минимальных в прожиточном смысле. историческую эту сцену на сцене ЦДЛ пришлось посмотреть не так уж много искушённых в данном вопросе зевак. в фойе у зала лежала на бесплатной раздаче книжонка некоего либерала, то ли Гайдара, то ли Собчака или вовсе Миши Рыжкова о десятилетии демократии, с упоминанием законов и реформ, принятых правительствами Ельцина... судя по высокой стопке книг, даже этой халывой мало кто интересовался.

затянувшееся покаяние либеральных литераторов не отличалось разнообразием — все они, в конечном счёте, признавались в несовпадении своих надежд с действительностью, где не обнаружилось обеспеченного демократичного рая, а только жёсткий, ими же воспетый в абстрактном представлении, закон рынка. согласно этому закону, никоим образом для них не неожиданному, а красовавшемуся в ещё горбачёвских обещаниях и реформах (за которые они тянули все свои руки и руки паствы своей, опускали свои бюллетени и кропали строки), вся эта полунущая, но высоко на своё же горе образованная советской властью интеллигенция — оказалась лишней в ей же воспетом и политически утверждённом обществе. сидящий в первом ряду на сцене совсем не старо выглядящий, пидажный, с налётом шестидесятиничества в водолазке, чем-то в стиле Лимонова очкастый кудрявый писатель серьёзно и обиженно кивал в такт исповедам коллег.

Кожевников, видимо почувствовав себя в роли исповедника и переполнившись грехами чужими, решил пойти перекурить. по широкой красивой, ведущей вправо вниз лестнице мы спустились и тут уже на первом этаже столкнулись с Жириком. с охранниками по бокам и поодаль он поднимался и не растерявшись приветствовал неожиданно молодых посетителей этого келейного мероприятия: «Здрате, ребята...». вскоре даже внизу, в паркетном коридоре-курилке за Малым залом, мы с Кожевниковым услышали, и как взял слово Жириновский. он был единственным из пришедших по списку высокопоставленных приглашённых, где значи-

лись и Лимонов, и Проханов, и прочие не только литературно, но и политически известные господа. до этого, доносящийся из зала голос выступавших у микрофона был неразличим через этажное расстояние, но как только заголосил Жирик — слышно стало более чем доступно, аж пол затрещал. Жир бранил, словно провинившихся подручных отчитывал, кающихся литераторов-либералов — он-то давно и не вспоминал о первой букве партийной аббревиатуры своей.

такое мы решили зреть. поднялись и обнаружили сидящим прямо перед нами единственного, закупорившего весь ряд детину, явно не вмещавшегося в рамки места в ряду. неизменно хлопая Жириновскому, он так раскачивал ветхий рядок, что доставал наши, позадисидящие колени. вскоре мы сообразили, что это один из охранников Жириновского. разъетый, плечистый в сером расстёгнутом пиджаке — он просто выполнял свою работу, помогал хозяину выступать. на едкие обиженные реплики из зала он внимательно приглядывался — в ту сторону, откуда звучало несогласие с хозяином. Жириновский, стоя как вокалист у микрофона, предался не ограниченному временными рамками монологу. трещали в монологе кости сидящих позади — ругал их за неумение найти себе место в жизни: «Бедно живёте, мало платят вам? Так вам и надо!». идея отчитки сводилась к тому, что старые либералы плохо работают, не признают необходимости авторитарного правления под знаменем ЛДПР, не признают величия России под буржуями в полной красе — за то и поплатились...

когда голосить надоело самому выступающему, он стал вспоминать своё провинциальное детство, в котором вынужден был из погреба таскать какую-то снедь, так мало еды давали ему свирепые Советы... но это уже не было интересно нам с Кожевниковым. облитые, обрызганные выступлением политика писатели, тем не менее, звали его и всех приглашённых выступать гостей — на сцену (видимо, чтобы не было там этой «Судьбе человека» так одиноко наедине с совестью), где потихоньку собирались два лагеря: самих устроителей и примкнувших к ним менее либеральных их спасителей, в моральном аспекте. оказался там и вездесущий Владимир Бондаренко правда, не в красной, а в шотландской жилетке. позвали и Жириновского, который из зала слушал дальнейшие голоса и сидя пританцовывал да причмокивал на крайнем месте правого крайнего узкого ряда. он царственно широконого сел на сцене и задумчиво причмокивал уже фронтально своим двойственным ртом. от всего этого покаянного действия в полумраке, с симптоматично для «демократов» освещённой только сценой, а не залом — мы поспешили на улицу в весеннюю слякотную вязь, у дверей ЦДЛ стояли на пустой вечерней улице две длинные мерседесины, одна, потемнее, с синей мигалкой — думская Жириновского, надо полагать. раскормленные стабилизацией шофёры курили и вполголоса, рассказывая свои будни, матерились, ритмично сплёвывая в сторону ЦДЛ.

последний марта день. в двенадцать контрпикет (против «Яблока» и Радикалпати, осуждающих «репрессии» правительства Кастро против шпионов США) у кубинского посольства. утро отчётливо, солнечно. позже — пасмурнеет, темнеет. воздух влажноват и вял.

так постигается Эпоха: взглядом с расстояния. бродящий по следам её, по архитектурным пересказам, сказам, скульптурам, узорам — узнающий. даже знакомый пегий МУР обнаружил заново, как уверенный, твердокаменный неоклассицизм крепкой идейно и экономически страны социализма: «воррр должен сидеть в тюрьме». культурные формы, высокий стиль стражей соцпорядка. почтовый ящик голубой до сих пор — на одной из колонн ограды, как губастый синий раньше (совсем у входа висевший), до изъятия из-за забора бюста Дзержинского. стоит одинокая стела обезглавленного ведомства. таково текущее время. время, текущее сквозь нас, изнашивающее нас, старящее. и поэтому нужно работать с полной выкладкой — как умом, так и действием. и больше осмыслять произошедшее в репрезентативной форме — агитационно заострять.

вскопан тротуар, линейно выпилен под сталинским артистическим домом в Глинищевском переулке — под серой глыбой сквозь серый асфальт узкая яма в песок. до кирпичной тьмы около десяти слоев асфальта видны, один из двух нижних — серый и каменистый. там же где-то — слой-очевидец, ровесник дома, с тридцат восьмого. уютное и гордое обиталище служителей муз: над большой аркой по углам гербовые скрещения лиры, маски, гитары — живите советские артисты себе тут на здоровье, служите музам своим... нет, не музам («Я служу Мосэстраде!») — советского искусства солдаты, рядовые. хоть и именитые: положение в обществе заслуживается трудом, труд — мера вклада каждого гражданина в строительство социализма, так Сталин говорил по этому поводу. Образцов, Топорков, Немирович-Данченко — сюда вождь селил классиков прошлого, в новые пространства, к широким окнам с видом на Кремль. внизу в отделке фасада и подводящие к подъездам чёрные камни-очевидцы Эпохи, линии Эпохи, ее слегка покосившаяся твердь. дикий виноград оплёл окна и угловой переход дома в следующий, и даже зацепился за проводную перетяжку. окна широченные дома этого. некоторые, особенно в середине, уже — стеклопакеты, но остались и иконные, древние, с сеточкой на форточке.

с крыш течёт, стекает зима. капли ярки как блески. землекопное время. ограды металло-клетчатые и ямы. зарываемся в прошлое. от того сталинского дома 5/7, в тон ему, в тональность — арка другого серого на Тверской, на улице Горького. а тут ресторан «Мосбомбей», фитнес-центр: с мужиками на поводке, групповыми мышечными красавцами, с фотографиями этих правильных своевременных граждан в окнах. братки стерегут доходное предприятие. сюда заходят денежные мешки. есть за что держаться. вскопана, перекопана Ты этим смутным безвременьем. роскошные иномарки, проезжающие в узких коридорах над вскопанными глубинами Тебя. они закапываются в прошлое, ищут источник, ищут оправдания своему регрессу.

— Э, соляра есть? — Сзади окрик мне почти, нет, через меня: везущий пустую тачку к Тверской, голосит: — У вас соляра осталась?

бомжиха Раиса пикетирует Газетный. её выселили с греющей отдушины. пикетирует голосом и знаменем СССР. в статье о ней, не зная имени, я промахнулся лишь на несколько букв (Василиса), а окончание верное, редкое «иса», ви-

димо значащее блаженность и пророческий дар: Иса это в исламе Иисус, как известно. улыбается, обращаясь к проходящим, сразу ко всем. улыбается к солнцу, словно уже ее Победа настала.

— Этой власти скоро край придёт, накроют! Жидовской власти конец. Революцию надо. Всем вам на раз. У некоторых в жилах Бухенвальд. Распродали нас, масоны! Не смейте!

вот уж нерадостная новость. выселили Раису (которую друзья-бомжи, конечно же, прозвали Раисой Максимовной). не буду теперь слышать её заутренние пророчества, эхо собственных дум. потеряла сына у себя в глубинке, а тут в Москве она пыталась достучаться до судебных утесов. сын погиб при трагических обстоятельствах, которые из её бессвязного рассказа трудно понять: наручники какие-то, забрали... на вид — полная, здоровая бабушка из провинции. только грязная ликом и пальцами и говорящая непрерывно, неотступно, словно держа взглядом пуговицу, тянет рассказывающие руки — если проявишь внимание. а пока все идут мимо, она комментирует, точно комментирует происходящее. словно некоторые мысли прохожих выхватывает и комментирует со своей отдушины.

— Прогрессивная молодежь! Ну что, за власть за эту, что ли?

летом группа прогрессивных, модных молодых людей при очках, серебристых штанинах и ярких кроссовках, идущая от Макдоналдса, отвечает ей чьим-то фальшивым голосом (юноши) громко через улицу: «Счастья вам!». какое уж тут счастье. бомжу желать счастья — что может быть лицемернее? успехов бы в бизнесе пожелали ещё. вот и пришло счастье — выселили менты с тёплого места. но — знамя, знамя с ней. она опять пророчествует: у нас через час пикет. и там они, знамена, обязательно будут.

имея 15 минут в запасе, выхожу в Газетный, по солнечной улице Герцена вверх, к ТАССу, к кубинскому посольству. по дороге, благо, что еще 10 минут до двенадцати — зарулить в книжный. вот он, Ф. Т. Михайлова, моего препода филологии (на лекциях которого тут, на улице Герцена, образца далёкого середины девяностых 26 марта аж слезу выпускал, предчувствуя Твою поэму в его окольных намёках на текст стен) — последний, уже захватанный томик. как раз есть 150 рублей, куплю преподающей уже однокурснице Корепашке. с бас-гитарой да пакетом белым на пикет — неправильно, но теперь поздно сообщать. надо было после купить книгу, обе руки теперь заняты.

по Леонтьевскому, к середине ближе — пыльное облако: проломлен дом, обрушен в середине, обкусаны сверху и навесные лифты. пыль веков, цемент, державший дом, рассеивается окрест. дом прогнулся, провис внутрь внешней стеной. кажется, может сам обрушиться туда. очень вовремя, прямо к пикету. к контрпикету нашему. кто там из стоящих наш-то? незнакомые лица. вон знамёна «Яблока», а — вот читавший 29-го стихи «На свете Вова Путин жил, он с головою не дружил» — комса региональная, классный боец...

тут и парень думского восточного вида в зелёном пиджаке и галстук с вышитым серпом-молотом и подписью КПРФ, объясняет менту, что красный флаг — флаг Победы. тесним вправо превосходящими нашими рядами «яблочников» и радикал-

либералов, у этих вообще флаг США на высоком чёрном лыжном альпенштоке. со стороны посольства Кубы появляется секретарь МГК по идеологии Веселов, с мегафоном вклинивается в пикет «Яблока» и агитирует не помогать империализму — его тут же пинает один седенький либерал и кричит: «Коммуняки, убирайтесь отсюда», менты заламывают (здоровяку и бывшему в СССР-времена агенту КГБ в Анголе) Веселову руки, он их долго как медведь таскает за собой, но после присоединения третьего мента к критической массе, его уволакивают в «козлика» и увозят в арбатский обезьянник, куда все и следуют вызволять Веселова после пикета. превосходящей регионально-комсомольской численностью и громогласными кричалками «Куба, Кастро, со-ци-ализм!» мы быстро разогнали либеральчиков.

с пикета, от Никитских Ворот еду к ДК «Каучук» на пятнадцатом. глотка, пролужёная, лозунгами сообщает какую-то сонность, влажная атмосфера веет медленностью и неторопливостью. Никитские Ворота — те, что прошагивал вдоль и поперек школьником, остались там, откуда жду троллейбус, тот же, пятнадцатый. вдоль бегущей архитектурной строки Бульварного кольца приближаюсь к толстовскому району. бас-гитара мешала купить билет, пришлось её оставить, к сиденью прислонить. потом прокусить компостером метро-карту с зелёной полосой и ехать оплачено. контролер так и не явился.

просыпающиеся из-под снеговой заморозки дома, тёмные, древние. вот и Гоголевский — где детская парикмахерская была. проносимся к Сивцеву Вражку, мимо прото-Покровских ворот, как тут все выкрашено, чисто, стерильно — и не вспомнишь о коммунальном-то быте. поворот у сутулого под угловым пятка на Кропоткинской, где много ждёт пешеходов-современников. прогрессивные и пенсионные слои, благополучные и задумчивые. маленький дом с маленькими узорами. аптека поповская. много входит в троллейбус. дневные пассажиры — школьники и пенсионеры и девушки еще какие-то, тоже школьницы, небось. троллейбус вносит нас вверх Кропоткинской улицы, мимо школы с мемориалом погибшим на войне ученикам тридцатых, своих. серый дом, белый в золотую сетку фасад — особая школа, тут брат учился.

«Почитай неопалимую купину и службу 01». додумались реставраторы, браво! модерн вывитых окон и стены подновили — дома перед сквером к родному семейному Лёвшинскому. сам сквер большей частью вырублен — ради памятника. художнику. любуйтесь.

время вырубок. там, за переулками, спрятался МИД — освещает своим величием десятилетия прогулок тут, маяк парных маршрутов, и наших, Тан, в том числе. таинственно присутствует в Постэпохе символ коммунизма, плечист под-разумеваемыми наверху сочленениями знамён.

перекатываем светлое Садовое кольцо с быстрой считкой знакомого вправо, надстроенный угловой и даже насупротивный дом пенсионного какого-то банка замечаем — и к Толстому. серому, глыбому. хорошее место занял, там много за ним будет листьев потом. танк на военный дом всё же поставили. ну, не танк, конечно, как задумывалось — видимо 34-ку, — а БМП афганского поколения, седока полегче, чтобы не продавить конструкцию. и ничего гордого в поднятом в небо

мелком калибре. сюда нужен грозный танк, новый и большой — чтобы помнили силой чьего оружия на земле этой живы (но лучше всего 34-ка). советского.

моя остановка (Алсуфьевский переулок) подкрадывается спешно, и не на том плече с басом выпрыгиваю. вот ты, ДК, архитектура пролетариата. «Арт-центр», глядишь невесело в современность. «Культурный центр» на табличке при аутентичных квадратичных низеньких дверях значит. мы тут рок-коммуной в прошлом году на Первомай выступали, в чёрном зале внизу, ходили внутри этого замысловатого конструктивизма, местами обновлённого с новыми железяками перил. там в комнатках по лицевому полукруту сменили интерьеры — секс-дромы стоят, вип-территория. искусство нового времени, тут и баня во дворе, всё как водится, арс аманди.

кружу среди рабочего квартала. жильё для станового, государственного класса. и переулок называется Тружеников. капЕль в угрюмые дворы. догоняю дворовых рабочих, спросить чтобы, поручение редакции — разведать, что в одном из этих домов в подвале делают гастарбайтеры без регистрации, азарт нашего главного редактора личный, покушаются на их подъезд, в подвале офисные помещения выдалбливают... парнишка, явно немосквич, приезжий на заработки, произносит в адресации несколько раз «напротив», по-своему, по-нездешнему произносит — мы уже «напротив» говорим давно, а они ещё по-исконному. широкие окна, нагромождения утвари старых домов, фоном песчаные кучи: рабочий район неумно прирастает элитным жильем: коммунисты строили своему базисному элементу дома — буржуи своему. дом класса «А» на(с)против львиной доли Балтстроя.

церковь — вот вам пристанище, эпохоразрушители, строители новоэлитных площадей класса «А». уж мы то вас раскрестим, выкрестим из вашего мировоззреньца, когда наш революционный черёд придет.

кварталы ждут весны, внутри желтокирпичного полукруга (строили в 70–80-х) голубь воркует низкоголосо. через двор — туда, где в фильме кафе «Три тополя на Плющихе». наскальные объёмные следы рэпперов, детская площадка. вот он, внутренний, сутуло выгнутый во двор полукрут дома Щусева, дома-чаши.

сталинская архитектура, жилище социализма, я под великой твоей строймассой, товарищ Щусев. Кутузовский проспект там, за аркой, рекой, мостом. Киевский вокзал. не в новый пешеходный мост налево, а к Бородинскому, через еловые заросли прежнелетя. Щусев, его конструктивизм и ели явно неразлучны, симбиозны: Мавзолей вспоминаю, двор гостиницы «Москва»... из мусорной ныне, перегороженной захламлёнными кузовами, арки, из середины щусевской чаши выхожу к Тебе, Столица, к твоего имени матери-реке. балконы чаши, вверх загиб в полукрут — конструктивизма замысел, двери широкоствольные, деревом красно-тёмные, исконные. как и петли. к тебе, дом, прирос уже безликий, нештукатуренный постскриптом годов 60–70-х. почти по замыслу: но Щусев тут видел сплошной ансамбль с единой изобильной лепной отделкой и воротами у реки, напротив МИДа, а вышло уже — просто и нестильно, досказ истории бесстрастными последователями.

уют высокой набережной, надбережной — точнее. деревья прижались в основном к стенам тут, былой рощи как не было, из-за пристройки позади, пе-

ред пешеходным мостом. здесь ли не мечтал с тобою выйти, Тан (ведь только однажды шли, и в обратном направлении)? но мне досталась эта вот весна с сонным и зябким воздухом, слякотный шум машин и дымка на рекой, и цивилизация на той стороне её — сталинская. разыскивать тут историческую точку отклонения, заглядывать в утварь законную и балконную, фиксировать захламление — десятилетий тех, что еще социалистическими считались. к чему вело? туда ли, куда собирались в двадцатых, тридцатых прийти? стеклопакеты: окна выходят к проезду. но здесь бы жить, не отгораживаясь — выйти на балкон чаши с тобой, с друзьями — выйти под деревья на склон к реке. быть в Тебе и Тебя видеть отсюда. весенне или летне-дымчатую, туманную. в шёпоте прибрежной листвы в сторону университета.

манекены. новые витрины, фирменный магазин. аптека? под этими листьями деревьев, что разрастались в щусевской тени, тренажеры рекламируются, соблазнительность поз, поп...

на той стороне угловой к Тебе-реке: башенный, рослый, с высокими потолками, торжественный — у ар деко дальнейшего принимает эстафету. тот же, обтекаемым эркером глядящий к Киевскому вокзалу (старым шрифтом «Ремонт пишущих машин») — приземист, коммунален, новым бытом фОрмится, словно в движение собрался, с поручнями на надстройке. но он ближе к масштабу домов эпохи царизма: с ними спорящий, их пропорции выпрямляющий и превосходящий. и — после накопления этой теоретической стилиевой силы — ар деко тридцатых прирастает монументализмом всего комплекса на набережной. домам этим честь и ответственность: глядеть на МИД, предвидя Кремль. и эхом им — дом-чаша Щусева.

идти вдоль плакатов здоровенных, отгородивших сквер перед вокзалом. «ЧижиКо, концерт памяти Круга, Jethro Tull», — нате, ешьте, кто помнит вольную хиппмолодость и сейчас при бизнесе, при достатке. оттянитесь как в былые. но не с бабин, а живьём, везём вам. Ян Андерсон. глазами скиновАтые беспризорники играют со щенком. закрывший лицо от волгллой хлады ветра, пацан-подросток просит меня, с басом за плечом идущего: «Дай!.. Ну пожалуйста». не даю: у самого обед будет всего булка-хачапури за 8 рублей. но при этом несу в себе торжественные всполохи драйва, почти симфонические: барановские и хорошей за спиной «Ленин, партия, ком-со-мол!».

мост героев Бородинского сражения не смущает ворон, кружащих над чёрными ветвями леска у Киевского вокзала — кажется, именно тут, на Бородинском мосту, читая эти фамилии и внемя воинственной символике, я начал политически приходить в себя в девяностых, после девяносто третьего, сначала — расплывчато-патриотично, и это помогало.

за мостом справа, массив набережных домов четыре вливается в закругляющийся эркером домик шесть — явно поколения того, своего же тёзки (№ 6), что на Рабочей был, середины 1930-х. изящный ардеко коммуналок с минимальной отделкой, балконными углами — а в закруглённом добродушном эркере общий для каждого этажа застеклённый балкон. о, коммунальные, коллективистские замыслы конструктивизма!.. Кутузовский здесь начинается, с Дорогомиловской стороны

— с ровного неоклассицизма: колонны, аркады выпускают во дворы. простой и прекрасный — архитектурный сталинизм Эпохи. простой в гладкости стен, ширине окон («Для нас открылись солнечные дали») прекрасный в узорчатости отделки подбалконных — избирательной, размеренной роскоши. расходящиеся в балконные шири арки: сталинизм. «Мегашанс» — игровой дом. в твои, сталинизм, пространства — в комнаты первого этажа влезли с новой алчностью буржуи. здешние, из нас же, советских, выросшие, не пришлые. здесь проигрывают деньги. в этих стенах игорные законы, власть алчности, наживная.

иду медленно, словно время меня впитывает своей влагой и стенами тут. или бас тяжёл за спиной? узорность, отделка нюансами строгих пролетарских конструкций — увеличивается. не для элиты — для гордости советского народа, наружу. достигли: *наша* красота, узорчатей царизмовской, буржуйской. наш размах — весь проспект распрекрасим! по ту сторону, справа балконность с нюансировкой увеличиваются: на те же стены, между теми же по пропорциям окнами, лепятся колонные украшения, опоры балконные. рекламы вклиниваются Постэпохой: «МТС VIP, соответствовать уровню». в сталинских стенах за витриной заседает неуклюжий выцветший мужик-манекен за компьютером, обхвативший невесомой рукой мышку — не просто карикатура, а констатация, радикальный реализм Постэпохи. вот кто тут теперь живёт, что тут капитализм продаёт: виртуальную реальность для виртуальных граждан виртуальной инерционной страны. но взгляд из углубления в витрине возвращается к повествованию стен.

с моей стороны стены снизу вверх серым вЫлепом: виноград, колосья, ветвистое лесное изобилие — помните, здесь живущие и проезжающие наш социалистический триумф. от изобилия плодового, хлебного — вверх к людям, создавшим эту власть и плоды эти взрастившим — мужчине и женщине, к их победному символу на щите: серпу и молоту слава.

новый центр жизни газеты на Газетном, уже доремонтированный в общих евроочертаниях, с белыми, шершаво и чуть рельефно обоенными стенами и розовой плиткой на полу, переходящей на территории самой редакции в линолеум — притягивал из зимы, перетягивал Вотречева в весну. через ещё примораживающие, скользкие деньки, из которых в редакцию под компьютерные столы товарищЧ приносил лужицы, вытаскивающие медленно из снега и льда в подошвах его grindёров. всё больше статей, зачастую только им и строчимых, на полосе «Общество»: Антон Вотречев, Григорий Дебеж, Илья (или я красный?) Краснов... третий съезд СКМ встал на «Политику» в серёдку краткой информашкой. Газетный вытягивал к себе на новые задания — сообщения с Тверской, со студенческой альма матер Большой Никитской... обнаружили и новые герои, жильцы и подробности Газетного переулка, и новый маршрут обозрения Тебя.

снег создает непроходимость в центре. день не морозный, но ясный. мимо пространственных локусов Эпохи, по маршруту архитектурного сталинизма моя экскурсия — непреднамеренно. серые твердокаменные дома. сначала угловая

жёлтая больница МВД: ещё конструктивизм, Петровский переулок и Петровка где встречаются. новая отделка камнем внутри подъезда — напоминает мавзолейную, скрытая или ускромнённая цитата в бело-бордовом углистом контрасте. длинные балконы, широкие окна в линию — словно дом-коммуна, словно выйдут на балконы сейчас люди, живущие там. а это поликлиника, элитная, здесь лечат старых чекистов: с внутреннего двора, где мы пацанами собирали (лазали из есенинско-парижского квартала через забор к контейнерам клиники, дурачьё) одноразовые шприцы, чтобы играть в брызгалки, мы видели в наклонных линиях окон, как по маленьким эскалаторам (!) плавно поднимаются грузные пожилые пациенты.

они нас не видели, эти привилегированные пациенты поликлиники МВД, мы были тем дурным и беспочвенным будущим, которое уже подростками узнает некоторой своей частью одноразовые шприцы не только в качестве брызгалок, но и как инструмент, вжимающий в вены наркотик. исправно в конце восьмидесятых заражаясь, соблазняясь модными штучками по стычкинским мажорным квартиркам будущего контрреволюционного класса, победившего в девяносто первом — фарцовщиков, номенклатуры, выездных артистов — мы и не знали, что всё будет как предостерегали советские стражи, что в эти узкие лазейки соблазнов и желаний жвачек, джинс, красивых упаковок, лейблов — хлынет и смоеет Эпоху за десять лет капитализм, тот самый картиночный акулий капитализм.

Петровский переулок — есенинский из-за мемориалки цвета и вида чёрного бархата, где поэт читает воробушкам. привет, последний поэт деревни тебе от поэта Столицы, первопроходца!.. за поликлиникой и примыкающим домом — дворовый квартал, совсем парижский, доски мемориальные Бабаяновой и Есенина (не любовники? судя по датам — нет, она тут целую после него жизнь прожила, как раз от утра до заката Эпохи: 1933–1983) — под боком лечебницы МВД, все рядом оказались — чекисты, поэт, актриса. контрреволюционный миф жмёт мысли: «Вот, так они и следили за ним, за поэтом русским, всё не случайно тут...».

конторки слева с невнятными табличками — да и зачем их читать. выпускают на воздух курящий женперсонал, между которым я и танцую, пробираясь по скользким ухабам. ещё и с крыш течёт. похожий на цирковой фургончик «газели» «детский театрЯ». краснокирпичный алярус «Театр наций», привезли декорации, выгружают полупустой фургон, какие-то рамы, серая бутафория. за фурой — реклама на низкой пристройке к торцу стены следующего дома: «Подражания Корану» — лица в ряд современные, молодые. как рок-группа выглядела бы. но эти — актёры. играют они: играют Пушкина. хотят современности: жить в ней, играть в ней, получать баксы за старания, прописываться, жениться, разводиться, суетиться... в этом театре играют молодые актёры. в рядок усреднённые, сериальные образы прогрессивного персонажа современности — интернационального (восточны одно-два из лиц), толерантного, стильного, сговорчивого, получать такой любит в баксах.

да, дом-модерн напротив Театра наций, мой встречный: ты теперь из бордо стал зЕлен: а твои неприличные детали отделки желтЫ. самый откровенный в фаллическом смысле модерн в центре, за лубочность не осудишь.

снег, высоко и заледенело сугробившийся, создававший всю зиму в Петровском переулке непроходимость, спешно однажды разгребали: ВВП собрался в СовФед заглянуть. откуда-то понаехала братва — вот они, столпы режима, хоть увидел их походя. высветилась субординация времён стабилизации. те самые «чекисты», ныне без присяги и без родины, перешедшие только на денежный эквивалент и личную преданность благодетелю-буржую или благодетелю-ставленнику буржуев. вот они, зримые, вочеловеченные, мясистые, жизнерадостные плоды Постэпохи. я, зеленоватый несвежий леворадикал в натовке — рядом с ними музейный тощий экспонат, близкий к бомжам по спектру. они-то, плечистые, пузатые, радушно-розовые, как задницы их обеспеченных младенцев, — пышут жизнью, проплаченностью, хозяйской востребованностью. с сотовыми прохаживаются, бьют распоряжениями, руками машут и затем стоят, ждут исполнения приказов — мордаты серопиджачные хрюнделя: командуют дворниками, подгоняют эвакуаторы для вросших в сугробы позабытых легковушек. дело-то явно государственной важности — расчистить потёмкинскую деревеньку от снега. конечно, если ВВП случайно заглянет, то эти крепкие слуги потеряют своё благосостояние, свои тысячи баксов в месяц, свой недавно насиженный, не в пример советскому, крутой уют, комфорт, жёнскую привязанность и уважение сослуживцев, затрещит чекистская иерархия при власти олигархии. скорее уберают снег и всё лишнее: как же, сами-с Президент-с может сюда взглядом пасть-с...

классицизм, классицизм, куда повернула сталинская архитектура: Музыкальный театр Немировича-Данченко — чем не образец? колонночки и венчающие пятиконечные звёзды над входом — в отделочной гармонии с новым изяществом социалистического неоклассицизма. отделение милиции, медленная череда машин навстречу, пробегаю в прогал перед БМВ.

мимо новостроя административного дополнения СовФеда — к сталинской глыбе с чернокаменным низом. крепость советской ранней элиты, искусства фундаментальных, тридцатых — дом-музей. (он снился мне год или два назад довольно странно. за ворота, где по бокам подъезды — чего не видал тогда, не ведал, — над которыми балкончики, классические балясины + перила — к левому из них завлекли меня какие-то два злодея педераста. проснулся, не дав свершиться опасному насилию, не позволив дофантазировать нежелательное. но напугался). дом — твердь сталинизма: сюда селил советскую культуру, им обустроивал роскошь — умеренную, строгую. заставляющую помнить, чья власть в стране. люди ещё прошлого века заселялись в новую твердь Эпохи, как хладнокровная недостойная жена Книшпер-Чехова почитаемого вождем писателя. не случаен резной белокамень: люди — взрослые и дети — собирающие урожай, трудовой народ, на их плечах стоит государство. слева известнякового, медленно осыпающегося барельефа идут внизу мальчики, руками образуя гирлянду, справа девочки. на этих детских руках, во имя их всё и держится, во имя будущего для них коммунизма (слева в базисе хороводят девочки). выше их взрослые созидатели и собиратели урожаев: что-то восточное, даже княжье в ли-

це одной из собирательниц винограда с корзиной, другой женский торс, сборщицы винограда, — ладный и массивный, образует ягодицами и спиной слева угол барельефа, как и симметрично по другую сторону арки справа плотная фигура волейболистки (видимо, из-за этой угловой ягодичной темы, повторённой ближе к левому подъезду и в мужском варианте, почему-то в шахтёрском шлеме и с намёком на фалды фрака над попой — такой у меня был сон, артистичным свойственна голубизна, да и здание намекает). справа — спортивно отдыхающие от трудов, с вёслами, с детьми, семьями. слева рабочие, шахтёры, крестьяне — все те, кто составляет класс-гегемон, кто в фундаменте этих новых для двадцатого века махин жилых, толстостенных, широкооконных.

война дворцам отгрелась, новые дворцы — дворцы советского народа и его культуры, дворцы народных артистов, художников, режиссёров. о чём напоминают барельефные лира и виолончель, соответственно слева и справа над аркой. чтобы пример был — над тремя подъездами образчики классики, признанной Советами, на мшисто-зелёном фоне, создавая содержательный уют деятелям культуры СССР тридцатых и пятидесятых. Грибоедов, Пушкин, Гоголь. Толстой, Горький, Чехов. Чайковский, Глинка и ещё некто, не опознанный дилетантом товарищ Чем. но послание, не изменённое практически с тридцатых — осталось, спокойно говорит. спасибо, товарищ Сталин.

хотел бы тут жить: как заманчив созданный для гигантской большевистской цели тут, в моей Тебе, уют! дом создан таким державным и убедительным для конкретных людей, для героев искусства — прорывающих западный буржуазный мир нашей бодрой советской культурой. воюющих искусством, бьющих гнилой соблазн буржуа фактом соцреализма, основанным на школе узанных над подъездами классиков. это их фундамент, твёрдые тылы мировой революции — дом. но не ловушка ли: поселиться в его уюте и забыть о том, что этот уют лишь временный — средство, а не цель? чёрный низовой камень отделки ждёт воронка или ЗИМа с рубиновым «носом», а в уже хрущёвские времена снимаемых фильмах служит типичным оптимистичным фоном.

древесно-курортная поросль (дикий виноград, что ли?) в углу-торце сращения со следующим царским ещё домом усиливает уют сталинизма, двери подъездов и их чёрные ручки — исконны. здесь бы жить, видеть с верхних этажей Красную площадь, созвездие Кремля, восхищаться русскими писателями с соседями, звать их на чай, а ночью при свете лампы Кобы создавать очередной боеприпас советской культуре, чтобы шарахнуть на Запад александровским весельем или своих порадовать после трудов — «Верными друзьями», «Весной», «Подкидываем». напротив величия этого дома 5/7 в запылённом старом доме — доска с задумавшимися Пушкиным и Мицкевичем.

плечистый, укрепившийся пятилетками тридцатых до неоклассики конструктивизм выглядывает из кварталов дореволюционного прошлого своей надежной, зоркой мелкооконной башней на плотной шее в сторону Кремля, глядит на советское правительство. прямо по переулку, за Тверской — такой же серый, изобилующий украшениями неокласс и арка ко МХАТу Горького. завое-

вали право строить — новое красивое, радовать глаз граждан своим, заново придуманным украшением. для показа достигнутого, для демонстрации культурного уровня нашего социализма.

но — идти не по законам тех, а нынешним временам покоряясь, обковыливая иномарки, переходя на другую сторону по несколько раз: насугробилось и смёрзлось здесь снега до целых гор. цепную ограду перешагнуть и между заборчиками над ямами идти поодаль, взглядом вдоль гордого доходного дома, высокого по своим временам — пространства и лепного убранства прежних буржуазных хозяев земли русской быть зрителем. там теперь фитнес: красивые позы крепких тел в окнах, ковровлин у входа, братковатые телки охраняют респект посетителей. дом явно дореволюционер, но надстроен уже в советское время, о чём сообщает торжествующий над буржуазными травянистыми изысками серп и молот с датой надстройки — 1934. неожиданное, путающее сочетание. однако внизу — соответствующее дореволюционному базису наполнение, начинка для элиты — размять тельце, за сотни баксов, которые иные за месяц не заработают, разок оттянуться, денёк позаниматься...

книжный магазин «Москва», как открывшаяся обложка выдвигает на широкий путь и вид Тверской. «Главмосстрой» — реклама Лужку пред очи, радуется ностальгииныша семидесятой советскостью, строительным оптимизмом на новой финансовой почве. придать своему гуманному капитализму этот оттенок очень он хочет. а переход подземный пахнет восточными ароматами дымными, гулок музыкой из «Семейного романа» Рязанова от торцевых колонок, молодые люди, придавленные потолком и погодой, ковыляют туда-сюда. спускаются от мэрии. маленький люк у имперской послевоенной ограды привлекает внимание леворадикала: здесь проезжают сановные машины мэрии с мигалками, можно использовать, если что...

тут даже и снег тает на бордово вымощенном тротуаре, как в сказке. тепло-трассу проложили перед чертогом градоначальника или просто обогреваемая плитка мостовой? и ничего тут не скажешь, Ильич. и вы, рабочие на мемориальных бордовых досках, настороженные, мятежные, с порывом слушающие Ильича, выступающего с этого балкона — отсюда вам ждать нечего. там Победоносец золотится-гЕрбится вверх. но всё равно читаются вызывающе эти строки с захваченного контрой здания:

в этом здании
в октябре 1917 г.
работал военно-
революционный комитет —
штаб вооруженного
восстания в Москве

вот они разом запросто все наши с Минлосом периода 1997–1999 поиски нового звука, разбиения на созвучия в строках — телеграфный стиль. да уж,

и другая мемориальная доска бьёт и требует своим фактическим содержанием, вот расписание революционных действий, вот ритм, и всё большими буквами, так что тут пусть будут маленькими в текстокопии, поэтичнее:

владимир ильич ленин
выступал с балкона этого здания
3 ноября 1918 г.
перед участниками демонстрации в честь
австро-венгерской революции,
24 ноября 1918 г. —
на митинге в «день красного офицера»,
19 января 1919 г. —
на митинге протеста по поводу
убийства р. люксембург и к. либкнехта,
16 октября 1919 г. —
перед отрядами рабочих-коммунистов
ярославской и владимирской губерний,
отправлявшихся на фронт.

всё это происходило в Тебе ещё не изменённой архитектурно революцией: в узенькой Тверской. но вот все эти действия, слившись воедино, выстроили Эпоху, утвердились принципы социализма во времени, изменили затем и пространство, сохранив память о совершавшемся здесь в таких каменных текстах. и Генплан раздвинул стены, старые линии — выстроил напротив Моссовета длинную стену дома, дворами которого ходил я в квартиру 10 дома четвёртого.

из мэрии дует сладковатый дух, не офисный, а именно советский ещё, канцелярский, клеем корешков документаций и отделкой кабинетов, амбулаторные карты в поликлиниках так пахнут. душок этот как откровение: это запах другой составляющей контрреволюционного победившего класса. эти же самые чинуши переквалифицировали социалистическую собственность в частную — и пошло-поехало: московские товарно-сырьевые биржи, залоговые аукционы, приватизация. а в результате всё тот же ветерок из кондиционеров мэрских, канцелярский, все на тех же местах, только формацию назад сменили. вот где всё и решалось, в тех же советских стенах, без оглядки, без опаски назад после войны возвеличенных с новой ностальгийной сталинской державностью, с долепленными в венцах колонн звёздами Победы. сталинский неокласс следующего за державным послевоенным забором дома давит мощным каменным фасадом, огромными надоконными камнями, на которых пятиконечные звёзды, всё правильно — завоевали, закаменили это право краснзвёздные победы социализма. дом давит ощутимо, до пошатываний — погода ли шалит? но сегодня ясно и не холодно. и даже морозисто, не влажно.

в первозданном сиянии, освещённый розовато-желто, как и был в тридцатых, по ту сторону Тверской открылся, вытянулся наклонно, с загибом влево к

Охотному Ряду сталинский дом. каждая балконная решётка — с серпами, сжавшими колосьев снопы. аркады, аркады — как и у гостиницы «Москва» — центрально венчают дом: чтобы чаще наш вождь замечал, чтобы радовать око востока. выше аркад над ближайшим боковым выступом — громкоговоритель, с тех ещё, несомненно, лет — объявлявший о газовой или воздушной тревоге, видевший бойцов 1941-го, что шли защищать Тебя, моя пролетарская Столица. а рядом с рупором — спутниковая антенна. вдвоём громкоговоритель и тарелка — как фотокарточка времени, свода эпох, встречи меня миллениумного и сталинского громадного завещания. дом заслуженных советских граждан — военных и прочих кадров, которые решали всё.

гигантская, имперская арка, украшенная кессонами, напоминающими патиссоны — заиндевели и прекрасна, словно мерещится. бурый каменный глянec зашершавился бело, но виден, оттеночен. вот этот-то самый гранит и вёз Третий рейх сюда, дабы воздвигнуть свой монумент над Тобою поверженной. возможно, колонны арки — это и есть поделенная на части рейхс-стела (какой же высоты она намечалась фюрером?). но не удалось ни Тебя завоевать, ни мой народ (плакат: «Завоевания Октября — не отдадим!») повергнуть — и гитлеровский имперский гранит подпирает не орла со свастикой, а жилые сталинские стены, под которыми после Победы проходили простые советские граждане (на фотографии 1960-х тут ходят незамысловато одетые в мелкоцветочные простецкие платья полные тётушки хозяйки с авоськами). за аркой — слева другой дом искомой эпохи, аскетичный констр. иудейский утонченный вдохновенный профиль режиссёравангардиста Мейерхольда, фамилия актрисы, как духами зари советского века обдает звуками (или щекочет ароматными лепестками) Гиацинтова.

прошёл там прямо у арки, слева, Посольский (как водка) клуб каких-то деловых — в доме подходящем: мясистая лепнина, герб из ехидного охотника и льва, вроде бы. охотник с копьём — вылитый бородач Николай Второй, а лев — будто скорбно отворачивается от царя, вонзив в герб когти. «In Deospes Veritas» — гласит надпись на ленте. в чём по этому купеческому завету истина-то? на гербе и выше меж львом и Николаем невнятные бизнес-символы, гермесовой эстетики торговли, видимо: два весла, рыцарский шлем. отделка дома знатная: на вкус любящих и глазами пожрать объёмистое и соблазнительное промышленников — теперешний клуб, кажется, подстать внешности дома названием. за ним — бесстыльно надстроенный, с овальным центральным окном ветшающий и пустой дом-старожил, с рельефной исконностью дверей и стражами — лепными персонажами той египетсковатой классики царского века.

возвышается вслед ветхому и классическому розовый конструктивизм. чистейший, без отделочного наноса — только совмещение прямоугольных объёмов, квадратики окон, тоже дом артистов, элиты тридцатых и дальнейших. за ним такого же оттенка, рыже-розовая церковь, новые фрески.

что же происходило тут в советском, моём веке — то, что я успел застать в восьмидесятых — физически, ребенком — а понимать, постигать взрослеющим

умом начинаю лишь сейчас? да, Твои дома о многом расскажут подготовленному. дома сталинской элиты — и тяжеловесная государственная краса, и тайна.

и тайна эта перестала быть нужной, фундаментальной — для народа, ушедшего от цели Эпохи. в одночасье все эти сложности архитектурного повествования оказались не просто излишествами, а в новой трактовке тоталитарными амбициями или личными прелестями только населявшей дома «элиты», совершенно не интересными стремящимся к капиталистическому идеалу гражданам «Свободной России», россиянам. вся улица Горького — зачем теперь, в чём её смысл, как не в пути к коммунизму, пути медленном, по десятилетиям, через тяжелейшую войну всё же продвигающемся к концу века? теперь это дома дифференцированных классово бытов — кто-то просто сдаётся, сдаёт приватизированную чудом госжилплощадь, становится рантье, кто-то делает евроремонт, вселяет офисы по продаже того, что частнособственническая парадигма позволяет продавать своим и зарубежным клиентам (в том числе и землю под другими домами).

вот ещё один дом Эпохи, серый, за деревьями палисадника в Брюсовом переулке, направившемся к консерватории. они укрылись за листвой, за толщей последующих лет — сталинские дома. дома внутри шикарные, это я теперь, год спустя, знаю собственноручно по недалёкому отсюда (Тверская, 4). на мемориальной доске узнаваемый по некоторым чертам потомка Федоровский. отец друга тётино дома, «фителёвого» Федоровского, шестидесятника и стебаря-антисоветчика — был в Большом театре любимец вождя. белеет с чёрной доски профиль гордый и надменный, классический. строгость и роскошь чёрных дверей с маленькими квадратами стекол — отсыл к тридцатым. классика в сером.

и он же, мой же искомый сталинизм домов, начинается после куролесных предарбатских переулков, за Калининским проспектом, подражателем Бродвею, на спуске его к мосту, к переходу в Кутузовский. как ты полнел, конструктивизм? ты креп и заселялся учреждениями: серый над маленьким склоном дом. балконы крепкие, прямоугольные из дома выдаются — и это конструктивизм, но уже утверждённый державой, тот, что потом заново обрастёт украшением. но этот пока хмур и сер, аскетичен прямоугольностью. видно, как, революционный конструктивизм, тебя испещрили пули контрреволюции — девяносто третий остался там сложнописью выбоин над верхними этажами, где узкие, словно революцией на этот случай предусмотренные, бойницы чердака. а дальше прямо на огромном стекле будущей мэрии в девяносто первом написал кто-то из будущих счастливых россиян «Кошмар на улице Язов»: уже подкормленные видеозападничеством высказывания, первый постмодернизм на стене, в духе приговского стёбно-короткого «товарищи!». следующим поблизости высказыванием был уже Бренер сотоварищи без штанов на мосту, куда иду как раз.

но виден на другой стороне угловой к реке жёлтый — ещё один жилой монумент. даже с гостиницей «Украина» он (визави через реку и мост, углом к углу в соотношении) интересен: вижу конструктивистский объём, почти смотровую башенку и эстетский пропорциональный расчёт в крепких балкончиках и массивной отделке фасада. тут живет Дарьялова, дочь Вайнера. коричневые одного

цвета в двух этажах рамы — верхнее окно аккурат арочного типа, последнее в угловой линии, самое верхнее, то есть, проломила потолок и сделала двухэтажные апартаменты, пентхаус: вот история, вот продолжение твоё, сталинизм мой архитектурный. отсюда могла эта кукла (с приклеенными ресницами на манер американской ведущей-прототипа) наблюдать ещё до своего ТВ-воплощения расстрел Верховного Совета.

элита выкормившись приватизировала комфорт, созданный советской властью не ради комфорта, а для продолжения классовой войны за рубеж. или ты не хотел этого, Сталин? хотел только покрасивее обустроить уже отвоеванное у буржуев пространство. для самых хороших и успешных обустроить? а другим, где же равенство? вопросы некому задать — нужно вчитываться в архитектурный текст, самостоятельно искать ответа.

пост автоментов напротив Белого дома ответственный: чтобы не подъехали танки-мстители за девяносто третий. откуда у них полнота, у милиции? платят им мало — может, это защитная реакция на холод и стояние на морозе? или плоды поборов... парень на мосту сует фотоаппарат прохожей тётке, а она испуганно отмахнулась. следующий прохожий — я. уважим, снимем. погода солнечная, подходящая для фотографии. в объективе Белый дом и пристраивающийся на рубеже тротуара и автодвижения парень темнее, чем в реальности. вот только трудно и его ноги поймать в кадр, и флашток с триколором поймать. но будет ему этот снимок, секундное творчество. снят, благодарит.

мост через Твою реку, через давшую имя — принесшую своим течением. зима яркая: раздувая снег словно пыль, перелетает по метромосту слева поезд, за метромостом ещё мост — Бородинский, за ним стеклится-горбатится пешеходный новый и дом-чаша с присоседившимся модерноватым новостроем с полукруглой завихренью. этот полукруг и акустическая вогнутость шусевской чаши — спорят. что это за дома: отсюда — до Киевского, так часто в советских чёрно-белых фильмах глядящие Твои лицом Эпохи? конструктивисты их строили, окрепшие, нарастившие в Гёнплане, в проектах к середине тридцатых мышцы отделки и революционно переосмысленную красоту неоклассицизма: Эпоху делали осязаемой — нам, теперешним, прежде всего. чашу проектировал тот же человек, что и Мавзолей — то есть знающий священный пространственный закон времени, дух времени, стиль времени. кого туда селили, в эти дома? ведь не одну же элиту, но и ЖЭКи, дворников, детсады, очередников. справедливость расселения в начале была, но были и блат, взятки — уже в постсталинское время набравшие силу. но не было никакой зависти к новосёлам таких домов, как и высоток, ведь на этом строительство этих гордых жилых памятников Эпохи не заканчивалось: товарищество, радость другого — твоя радость. из коммунальных ульев родом...

вливаюсь с моста взглядом в отделку следующего серого дома на набережной: тема морская и венкОвая, увенчанные успехом десятилетия соцстроительства. с моста попутно мне несется «газель», только что, видимо, выехавшая со стоянки: с крыши назад сносит ветер движения снег, облаком-шлейфом за ней снежная пыль в лицо следующим машинам.

идти, не опасаясь холода, подземь в переход узенький и снова читать в домах, но в «Украину» не осмелиться впериться: это нужно делать летом и с полным обходом вокруг. летом замечал её из троллейбуса, едуци в обратном направлении: звёзды-заветы Сталина, я к вам вернусь обязательно, голову задираю, но когда потеплеет.

в твоих домах, моя Эпоха, поселились теперь крохоборы, обслуга тех, кто научился жить в капитализме, победителей, контры: рестораны, магазины. показывают наружу, как готовят — стол повара ресторанного. другие люди, другая еда, другие соблазны. в одном из следующих домов — магазин Boss. эти нелениво подошли к тому месту, где поселились. в витринах выставили фотосессию, стилизованную под искомую Эпоху: гирлы и мэны стоят в выпренных позах, претендуя на сталинизм. весьма соблазнительны по-современному при этом и стёбны. дамочка одна без бюстгалтера. все в белом поголовно, виднеются лейблы Boss (российский представитель фирмы любит сталинизм, называя его «большой стиль», на эту фирму работает мой бывший и далёкий одноклассник-эмигрант в Швейцарию Макс Долгих). они залезли, далеко не ходя, на одну из башен «Украины» — под модной обувью стебущихся трава меж старых камней. придурок отдаёт пионерскую честь: ах, как мы целеустремлены! хотели подпеть ностальгии? реклама этим всё сказано и заказано. совокупляйтесь меж собой после фотостёба, особи и индивидуумы капитализма, снимайте ваш реквизит, любуйтесь телесами — вы ничего больше не умеете, так осяжайте данное вам вернувшимся Богом, вашим Boss'ом. я прохожу мимо вашей витринной эпошки пошлой. ничего, кроме непонимания социалистической, физкультурной эстетики, вы не выразили за свою эротично прожитую жизнь.

дома учащают посыл: знамёна и символы. дом дочери Нестерова по ту сторону Кутузовского глыбист и прямоуголен, но при этом, при весомости своей он лаконичен и уютен даже издали для взгляда. но Кутузовский стих: на обочину подтягиваются менты, сейчас поедет, возможно, правительственный эскорт. день ещё солнечнее и яснее от тишины. солнце смело растапливает карнизный снежок, и капли пролетают, лучась вдоль стен. так тихо, что хочется закричать слова наших антибуржуазных песен. чтобы услышали зеваки-обыватели, соображающие, что сейчас проедет Власть. а я гляжу на плечистые с цилиндрическими башнями с венцами для флагов дома сталинизма. дома, на которых вылеплены знамёна Победы, серпмолоты, пятиконечные славные звёзды, жатва, изобилие. пусть проезжает гарант капитализма — мой социализм со мной. будем записывать — там, куда я иду — домашне, подпольно записывать в сталинских стенах сначала городскую лирику о Тебе (с этим светом и падающей лучистой водой), а потом наши антибуржуазные, бунтарские песни. будет вам Totalitarianism Now! «Эшелон» движется, пишется.

да, для этого я читаю в домах, иду дальше. Кутузовский проспект, ты правильно меня ведёшь, я внемлю твоим символам. тараканий эскорт с мигалками заедет в тоннель, там его и идеально бы взорвать. едут чёрные мерс-джипы, несутся тёмные бронированные иномарки, везут гарант капитализма, а тут — грох,

и похоронен оплот олигархии. мимо тоннеля они не проедут, обязательно занырнут. нужно только знать, в какой машине маленький Он. Он выдуман порядком, Он — никто, как абстракция валового национального продукта, категория ВВП, изучавшаяся нами на уроках географии ещё в школе. ВВП — идол буржуазии, которая имеет в процессе его производства преимущественную прибыль — долю, говоря более исторически верным языком для нашего постсоциалистического бандос- и торгнедр-капитализма. но как средоточие власти и ответственности перед олигархами — Он реален, идол, неизбежно распространяющий, внедряющий в действительность, в народ проповедующий правомерность государственного устройства по образцу буржуизма западного. гарант всего, что ненавистно сознательным, верным уроженцам Страны советов, и возделыватель того капиталистического, рыночного, что предательски цветёт на руинах твоих, моя Эпоха. иномарочки, голливудские фильмы, культ ковбойской полицейскости и при этом ко всем политкорректной толерантности.

едет, несётся с эскортом к Кремлю по прямой от Триумфальной арки далёкой. Кутузовский строили так, чтобы на него мог приземлиться самолёт для эвакуации Советского правительства. сначала пролетели две гибэдэдэшные машины, за ними позже чёрный джип, за ним чёрная иномарка с выключенной мигалкой, а за ней уже тройка из длинноватой иномарки и двух мерс-джипов по бокам. словно тараканы бега это движение. возвращаются из булгаковского «Бега» янычары из-за морей, после желанной (тогдашним, но не дожившим до этого счастья эмигрантам) контрреволюции. пафосные бега тараканов с синими вертялыми мигалками на фоне затаённого дыхания зевак и должностной настороженности ментов. занырнули и мгновенно вынырнули из тоннеля. дело секунды: вовремя сдетонировать взрыв, и оттуда они не вылетят так ретиво, как влетели: рубеж народного терпения. коммуникации, люки помогут подобраться и установить заряд — их не может там не быть в тоннеле.

глухой резкий взрыв и обвал в сквозном подземелье: и солнце с домами Кутузовского одобряет. из чердачных окошек гранатомётами добить просочившееся из тоннеля или по верху сопровождение, чтобы наверняка. тараканы раздавлены в слякоть, размешаны своим концентрированно властным капиталистическим и высокооплачиваемым нефтедолларами лакейским веществом, смешаны с окружающей тающей снежной средой. в светлых стенах хоть не алые, но всё равно советские, серпасто-молоткастые барельефов знамёна подпоют взрыву гимном — тем, в котором нет новослова, михалковско-придворного передела про богом хранимость. но не стен нужна поддержка революции, в том-то и дело: нужны аплодисменты всех жильцов, нужен выход их на балконы. а этого сейчас не жди: там богатенькие, евроремонтировавшие свои квартиры, рядом и с теми, конечно, кто поддержал бы, кто клеил во дворе андроповского дома призывы на митинги.

кому ещё пришла в эту секунду такая идея? я последний агент Эпохи, я последний советский патриот. мне пришла. и сталинский говор домов на моём ходу продолжается: украшения, вновь разрешённые для пролетариата в тридцатых — колонночки первого этажа, которые буржуи-банкиры подкрасили

и присвоили, очень им они подошли в результате. «Общая газета» — бог ты мой! — она жива ещё, судя по вывеске, это детище девяносто первого, кто её купил под конец, интересно, после Березовского? дома по кусочкам первых этажей приватизированы. всё разбито, раскрашено на личные фрагменты в Тебе. Русский международный банк — абсурд названий Постэпохи точно отражает сонливость общественного сознания. около Селезнёвской есть Федеральный космический банк. и всё на полном серьёзе.

этот дом построен к XXIV годовщине Октября, говорит сверху стена — значит, в год начала войны, ещё успели. и действительно, на фотографии военных лет уже есть высокий плоский длинный дом, что по ту сторону Кутузовского торжествен, неоклассичен с аркой посередине в духе улицы Горького и её (моего) дома четыре, а подле него во всю ширину проспекта противотанковые ежи в снегу и в метели ёжатся...

люки под моими гриндерами говорят тем, прежним, Эпохи языком, который мы распознавали с тобой: тут они же — «Телефон. НКС». Народный Комиссариат связи — вот как надо, вот плоды революции, вот её названия, отменённые ныне вместе с отменой цели и смысла Эпохи, подсказывает Твоя асфальтная, моя сыра и слякотна мать-земля.

дом Андропова, салон красоты (монтаж как стиль безвременья, без комментариев: доска Андропова с лица дома и вывеска салона глубже), во двор его и насквозь — к вписыванию компьютерному, нотному, звуковому, гитарному нашей борьбы в текущее не в ту сторону время. надо же, прошёл от Арбата сюда менее чем за полчаса, но замёрз, голова в слабой шапке особо. надо было серую, потолще одевать, а не хаки. державность, классицизм лепнин и колонн успокаивают; мы будем записывать звуки революции здесь же, где жили генсеки, что вели страну в никуда. будем делать в песнях то, чего они не сделали — ширить ментальное пространство революции.

здесь спокойно проходя, видеть внутренность времени. но — выговаривать это время, Реальность (делать времени выговор) можно лишь с отступа — хотя бы на расстояние собственного прошлого. дальше обязательно включаешь и прошлое не своё: отгадав в стенах не только время, но и замысел делавших, их будни, их склад и уклад, тотчас любопытство: эти люди чем отличались и чем сроднены со мной?

юбилеи (С. Михалкова, Э. Рязанова) смерти (Ладыниной).

нейтронная бомба? но живое осталось живым. только в этом живом нет самого живого — Родины. Жванецкий с фирменным оттопыром листка считает очередную злободневку. на этот раз он таки да, не согласен. что реклама нас надувает, что иномарки и витрины. и что за этим нет нутра.

ничего не будет здесь без моего выбора: всё будет так же безнадёжно и хуже. пора выбирать, пора голосить, пора брать вес Реальности своим текстом.

«И долгие лета...» желали Михалкову пажу в Кремле. переписал в богоугодном стиле гимн — и то дело. сам же переписал, никакого кощунства. «Богом хранящая». стоило бы тут по-михалковски заикнуться: «Богом х-хоро-онимая». да и не богом, а детьми ея. хоронимая. вот этими восковыми куклами — неживыми в плане воли символами памяти породивших их десятилетий, последних, советских. да, Рязанов: в вашем мещанстве, в ваших пастернаках упокоилась Эпоха. вы же, хоть (Жванецким подмечено) и не писавший секретарям партии панегириков, таки пиарили Ельцина. в полный свой творческий рост (и ширь).

— Так апацелуй имееня., — Нани поет Рязанову. и он целует. ах, сентиментальность.

бомонд еще советского разлива, пританцовывающий на развалинах страны. они ничего не поняли. они вспоминают его фильмы — невольные репортажи из *той* эпохи — в пустоте, в хаосе, в сумрачном затишье перед началом окончательной гегемонии США. юбилей накануне войны. да и что Ирак Рязанову? это далеко. тут же — воспоминания и Россия. да, пафосно произнесенное созвучие «россия», за которым стоит крах Родины, новорусский порядок, вырождение родной цивилизации до состояния междоусобного братоубийственного средневековья.

но они этого не хотят знать. они в ещё своем мирке мещанеющего Союза, умиляются прошлым. в тёплой метрополии, на проплаченном целыми олигархиями балу искусств. то ли свет, то ли созвучное моему восприятию других зрителей в единую секунду экранного блика: они все искусственны, их реакция на выступления, на эмоции мэтра. им *надо* радоваться, но что-то давит мимики. вам разрешат радоваться, вам разрешат сантименты, старики-шестидесятники: ваши поклонники — миллионеры. Ельцин сидит среди гостей. призрак, кошмар усилиями китайских медиков возродившейся плоти ненавистного целым поколением, городам и деревням, знобящим с отключенным теплом регионам, властителя-киллера. его пенсия — 60 миллионов в год. а ваша?

смерть Ладыниной — феи раннего советского экрана — осталась не замеченной за тенью смихалкова, придворного архетипа. автор сталинского гимна, продажный самоцензор под современность, важнее лица, великой и изящной Ладыниной, маленькой феюшки сталинского экрана, Надежды поколений Становления, эпохи расцвета Родины. вездесущий Энерджайзер из династии политических проституток пожелал художавому подкаблучнику (семейно-служебному) «и долгие лета». «Мы пожелали». за этим «мы» — пустые хлопки, обязанность аплодировать правильным дядям. подсуетиться.

1.04.03. если пытаться вспомнить точно, какие островки Тебя я увидел сначала, из самого первого детства, то это «Эрмитаж» и Петровские Ворота: вход в это конкретное расположение слева направо наискось стечения улиц, световое движение и отражение. позже, когда ещё не знал ни возраста, ни назначения домов, всё в Тебе виделось твёрдым, установленным и подлежащим обхождению, рассмотрению... первичны окружающие эмоции: «что это — пугаться ли, взгляды-

ваться?», дома не дифференцировал: единая твердь, обрисовывание своим движением вдоль — Твоей формы.

бомж в метро сидит понутив голову — ждёт. не поезда: исхода. так можно всем ждать — отвратительное время и ломка общества это только предлог задуматься о пребывании здесь, о попадании во время, о себе. подъезд поезда со спящими на Киевскую — не обязательно с бомжами: можно и спящими, приличными... почему об этом? потому, что это жизненно важно: работа и оплата — это жизнеобеспечение. советская романтика не оплачивается — работай в этом времени, ему служи. бизнес, шоу, маркетинг — ты же знаешь наш язык, ну так учись...

время — бессмысленное слово, отмашка. но это слово намекает каждому на сокровенное — его времяпребывание. можно «провести (обмануть) время» так, что никто и не заметит. но можно и с толком. для кого? для себя? гедонизм, буржуазность... других? тоталитаризм... этот сидяга — сколько ему ещё тут? вступивший на эту дорожку времени долго не протянет — куда они уходят, выезжая из тоннеля приготовленными, зловонными с запасных путей? в пролётах тоннелей ветер, издеваясь над благополучным жизнеутверждающим видом реклам, продувает сквозь вагон всем посетителям бомжовый дух, откровения разложения. спасибо, время, — то ли ещё учую... бомжи тоже суетятся: медленно, степенно, со знанием ритуала... внешне бессмысленно, перебирая старые газеты, зачитываясь новостями месячной давности: поломка поломников к истине нищеты, к встрече с истощением или алкогольным отравлением.

этот ритуал выхода из норм, загнивания на глазах и ноздрях прохожего большинства узнал только с моим временем, впервые учуяв аромат этого будущего у Белого дома августейшего девяносто первого...

в конце апреля — выступать с «Гражданской обороной» и «Красными звёздами» в ДКГ. Горбушка, где я в середине девяностых каждые выходные на ограниченные семейные суммы выискивал себе, паразит, забавы, гранж и альтернативку — не обессудь, принимай плоды воспитания, «Эшелон». территория по знакомой дороге от «Багратионовской» местами исписана нашим названием, подобием логотипа, где Э — серп и молот: даже столбы на аллее к Горбушке ведущей. у входа встречаем бывшего нашего, первого гитариста, Рудина. от него пахнет больницей, медикаментами, вид нездоровый, опухший, возбуждённый. нас через боковой вход направо пускают в конструктивизм, в ходы артистические, потайные, загигающиеся и маленькими лестницами карабкающиеся согласно проекту. в комнатке, куда нас проводит постоянный организатор концертов наших с ГО родимый товарищ Удальцов, — плакат с изображением Горбушки времён её постройки, с верой в будущий коммунизм, со статуями, уже снятыми, конструктивизм ещё лёгкий и дышащий чертежами Корбюзье, не отяжелевший годами, десятилетиями Эпохи и торговой здесь Постэпохи.

пробегаюсь по лестницам и этажам — типичное пещерное запустение и фрагментарность, много исконных дверей, заменённых на железные и полусломанных, а один участок обработан граффити так, словно это не ДК, а забро-

шенная общага. спускаясь по неопознанной лестнице с другой стороны замысловато-конструктивистского закулисного полукруга, обнаруживаю на пути к туалетам уже стоящую с неизменным декадентским сопровождением, курящую Витухневскую. на этот раз — брюнеткой она пришла. старая подруга Селиванова из выступающих с нами «Красных звёзд», она ждала возвращения группы и её лидера с саундчека, на который отправлялись и мы. первый раз, примерно в такой же позе у стеночки с парнями (Даниилом Давыдовым, в частности, и познакомившим нас) толковавшую, её со славянско-арийскими высветленными косичками я увидел как раз там, где Селиванова чуть не избили акаэмовцы — после его устных фашистских заявлений во время акустического концерта в 1999-м, в музее Маяковского на Лубянке. Витухневская пришла выступить на «Вечере правой поэзии», перед фашнёй. таковое мероприятие в музее Маяковского было особо нелепо, но он ещё и не такое видел — собрания НБП, РНЕ... и в тот раз, приглашённый на вечер одной богемной ленивой художницей-толстухой знакомой по Флекс-движению, я правильно сделал, что, едучи туда из подвала на Пролетарской с собрания АКМ, снял комсомольский значок: подвал музея был полон отборных, гладко выбритых скинов, распространявших свои индуктивные листовки с перечёркнутым Лениным. их примерно бритоголовому литературному лидеру понравились чертОвские, свастические танцы чёрных флексоидов на белом фоне, показанные поэтессой ему из моей дебютной книги стихов...

сцена Горбушки глянула пафосом, много чёрного цвета, широта, барабанный подиум, «маршаллы». зал оказался наклонён к сцене, тоже конструктивистская хитрость. а навстречу залу — склон от сцены, железный. на который вступать не рекомендуется, пограничная неприкосновенная полоса. саундчек «Красных звёзд» свёлся к тому, что ловкий их пьющий, но джазово талантливый, барабанщик посидел-постучал за установкой, со мной поздоровался, а хриплый братан в кожаном плаще и чёрных очках попросил у нас гитару на выступление. братан и оказался Селивановым Володей, Вованом этаким. совершенно охрип — как будет петь, неизвестно. договорились насчёт предоставления лидеру КЗ гитары, нашей деревянистой, красивой ШарвЕли — запасной на всякий случай, если порвётся струна на основных или что ещё, которую гитарист Мэйдэн привёз аж из Японии другу в подарок.

наша отстройка заняла бы много времени, если б ГО не потеснила — выпустили сначала их, ждали, пока Егор на «Непобеждённой стране» настроится, бегали нервно, здоровались с пребывающей знакомой публикой по ДК, потом разобрались сами со звуком, мониторами и прочим — включая оформление чёрного задника увеличенным на большом ватмане изображением обложки будущего альбома... вернувшись в нашу комнатку, пробовали общаться с Селивановым — насчёт него Удальцов предупредил, чтобы мы ничего серьёзно не принимали, рисуется. действительно, этот очень искренний и героический, пронзительный в песнях невысокий и уже немолодой мальчик вынужден был в жизни прятать своего пионера-горниста, поющего в нём, — за толстыми щеками, кожаным пальто, распальцовкой и тёмными очками: иначе сгорел бы от вида

собственного героического отражения в глазах почитателей. но такие друзья-почитатели, как Витухневская, не грозили ему этой откровенностью и искренностью. заглянув с ответным визитом в поиске отвёртки в комнату «Красных звёзд», я застал там осоловление этой элиты, грустное питание, к которому и сводилось общение поэта Селиванова и его худеньких музыкантов с поэтессой Витухневской и её сопровождающими невзрачными декадентами. маленькая глазастая Витухневская сидела с сигареткой, Селиванов в чёрных непроницаемых очках понуро восседал со стаканом среди множества бутылей. казалось, слышно весенних мух. увидев меня, прервав мой вопрос, Селиванов обратился:

— Юноша, сколько вам лет?..

этого было достаточно, чтобы ощутить всю фальшивость и манерность пьяной обстановки — я действительно почувствовал себя работающим, суевым изящным юношей, который оказался в кругу обрыдлых взрослых лентяев. впрочем, услышав мой бесхитростный обескураживающий ответ насчёт фактического ровесничества, и Витухневская стала смотреть менее ехидно, и Селиванов снял тёмные очки... когда же Селе понадобилось написать плейлист, он покинул питейную комнату и собутыльников — и убежище нашёл, конечно же, у нас. явно ребята не готовили программу, так что, попросив у нас сперва лист, а потом и ручку, Селиванов как советский начальник, в кожаном плаще, сел за покрытый советским же зелёным бархатом письменный стол и стал набрасывать список песен. при некоторых репликах Селиванов сразу же нокаутировал братковскими акающими интонациями, фразами типа: «Ребята, не надо лохматить бабушку, я однажды съел эл-эс-дэ, и до сих пор не проходит, не удивляйтесь, я нормальный пацан, зарабатываю не музыкой канешна...». Селиванов будто и стремился к созданию максимально отрицательного имиджа в наших глазах — что-то про участие в клубе владельцев BMW наплёл...

но звала уже сцена. особым сюрпризом сюрнОму пелевианцу Селиванову было то, что мы сыграли кавер на его «Наш марш». во время исполнения он даже вышел из-за кулис и стоял за роялем, наблюдая энергичное наше риффование и ответные волны зала. да, зал...

каждый раз нужно с нуля завоёвывать эту стихию. знакомые с плевками панков с «Восхода», со времён ещё «Отхода», мы знали, что нельзя допустить ни паузы, ни прорыва звериности масс, требований «Е-го-ра!». поэтому сразу же окатили волной жесточайшего драйва. всё получалось — только вот искусственные дымы пересушили Баранову глотку, одетый многослойнее нас всех, он жарился и от рамп... весь песенный список промелькнул в мгновение ока — видимы подробно зал поймал наши послы и вёл себя даже более отзывчиво, чем можно было ждать первому разогревающему составу. моя же интродукция, посвящение песенки «Антибуржуазной» «...и, конечно же, нашим олигархам...» — воспринималась митингово, мелькающие в первых рядах флаги с фасом. Че радостно всколыхнулись, виднелись и рожицы в скиновско-блатных кепаках, тоже внимательно заводящиеся уже под «Священную войну», которой мы традиционно заканчивали выступление. и финал, ответная омывающая волна зала — была на-

града сверх меры. вся эта привыкшая к мату молодая публика, которую обычно считают, и не без статистических оснований, конечно, за наркоманов и дураков, ничего не смыслящих, эти, обозванные сынком пивной бандерши из «Восхода» «отбросами», ребята и девчата провожали нас дружным скандированием: «Молод-цы, мо-лод-цы!». лучшей награды за все репетиции, за все усилия группы и её составных личностных элементов нельзя было придумать. в советском конструктивистском зале ДК Горбунова, возможно впервые в Постэпохе, звучало бодрое скандирование как на спортивном мероприятии, вдохнувшее в молодые лёгкие советского и революционного оптимизма из наших песен.

дальнейшие закулисные эпизоды менее пафосны. Удальцов счёл своим долгом не гонораром за выступление, так хотя бы натуральными продуктами, точнее, их субсидированием вознаградить группу. в комнатке, пахнущей всеми советскими десятилетиями, надеждами гастролёров — мы решали, чего сходить купить. отправились вдохнуть наградного за выступление паркового воздуха и совершить обмен денег на пищу мы втроём с Барановым и его Настей. накупили пива «Великопоповского», копчёной рыбы зачем-то, несколько банок маслин и прочих закусей. по возвращении к ДК выяснилось, что со стеклотарой нас не пустят даже в боковой артистический вход — с этим строго, были прецеденты. включилась ищущая обходящие запрет пути пролетарская фантазия, мы подошли к окну нашей комнатки, обнаружили, что в закрывающих окно замысловатых изгибах решётки есть одно такое место, куда может пролезть именно узкая бутылка «Велкопоповицкого» козла. затем Баранов прошёл внутрь, и мы начали своё контрабандитское действие — характерное, вероятно, годам восьмидесятым, поре пресловутых алкогольных запретов. одну за другой, поставив Настю на шухер, я заряжал бутылки в наши апартаменты — словно патроны. с каждой бутылкой контрабанда становилась веселее — ведь товарищи внутри обретали минимальное развлечение и питьё. к нашему всеобщему удивлению, никто из охранников не увидел за конструктивистским изгибом ДК, что мы творили — все до одной бутылки были заряжены в комнату.

дальнейшее утоление жажды и хмеление плавно перетекло в записываемое на громоздкий впечатляющий диктофон интервью М-журналу, мрачно-металлическому изданию, действительно первому из подобных ему опубликовавшему материал о нас среди адских металлических могильщиков и некрофилов, с которыми мы не конкурируем явно. уезжали от ночной глыбы ДК на авто великолепного, интеллигентного сессионного нашего барабанщика Игоря, который живёт за Садовым кольцом в непосредственной близости от меня и базы в ДК Детского парка на Делегатской, где мы репетировали — так что с концерта басист и комментатор «Эшелона» прибыл прямо к родному углу Садового и Каретного.

на этот раз пауза между выступлениями выдалась самая минимальная — Первой ждал нашего выступления уже на Лубянке. «Площади — наши палитры», шпарь «Эшелон!»

в наших демонстрациях, точнее, в их маршрутах в Тебе тоже есть сезонность и некоторая шахматность. последняя демонстрация в ещё не зимнее вре-

мя, 7 ноября — идёт от Октябрьской, сухой, осенней. 23 февраля зимнее шествие — от Белорусского, как зимой (в то же 7 ноября, но прежнее, морозное) шли солдаты Красной армии Тебя защищать, моя пролетарская Столица. 1 мая — опять от тёплой Октябрьской. 9 мая, военная дата, — от Белорусского.

в этот раз я в нескольких ролях един: и в демонстрации иду скандирую, зажигаю, и записываю для «Резонанса» звуки демонстрации, беру интервью у незнакомых молодых людей, и затем выступать мы будем — ждёт с ночи под караулом Довгала и его отряда комсомольцев шикарная сцена на Лубянке, с красными баннерами КПРФ по бокам, в списке поддерживающих акцию СМИ красуется и моё «Независимое обозрение»... всё-таки кто-то этого добился: логотипы «Правды», барановской (Анатолия в смысле — много у меня теперь барановых-соратников: Иван и Анатолий, и в обкоме СКМ ещё Константин есть Баранов) Правды.ру, Правды России, «Советской России», «Резонанса» смотрят на демонстрантов, вселяют некоторую уверенность — вон их сколько, наших-то СМИ, ещё повоюем.

в солнечном сиянии и особо ощутимом на круглой Лубянской площади тепле — праздник усиливается. после гимна СССР выступают со сцены наши ораторы, колоритный партийный красавец с почти актёрскими данными, седоватый Куваев их представляет профессиональным ораторским голосом, на сцене целый президиум выстроился. где-то там с фотоаппаратом мелькает тот самый Илья Пономарёв в кепке КПРФ и красной серпасто-молоткастой майке поверх тельняшки. моё с ним знакомство произошло в неожиданном месте — на репетиционной базе на Делегатской, в ДК Детского парка, в подвале, среди плакатов-реклам гитарных Gibson'a — красный Flying V рядом с разножьем модели в красных кожаных шортах и на каблуках, слоновой кости толстый Les Paul, как бы повторяющий обнажённый женский торс (в роговой ложбине как раз видна сисЯтка). пока мы сидели, ожидая начала нашего репетиционного времени, вниз спустились две немолодые девушки и некий невысокий бородач молодой на вид, как только мы заговорили, я его оговорил способностью угадать имя (до этого внешний вид долларового миллионера Пономарёва и особенно его православно-окладистую бороду мне художественно описал редакционный коллега Максим Артемьев). посмеялись и познакомились — обоюдно рады этому обстоятельству, словно произошло давно намечавшееся соединение неких взаимозаряжающих элементов: нашей эшелонной звуко-словесной способности к уличной, площадной агитации и возможность загадочно полевевшего из бизнеса в радикалы-коммунисты Пономарёва создавать условия для такой агитации.

с Лубянской площади я уходил, вдохнув энергии праздника Первомая: из лиц молодых и старых, из освещённых домов. Первомай — день, когда отменяются, пусть ненадолго, автомобильные классовые законы, когда видеть Тебя с проезжей части могут не только пассажиры личного транспорта (район, где установлена сцена, у Соловецкого враждебного красным камням — общественный транспорт не посещает). заметил отсюда, как необычно наложен на старое лицо углового с Никольской на Лубянку аптечного дома серый фасад метро

«Дзержинская» (исконное название Эпохи). это всего лишь выступающая, наложенная на старую конструкцию дома и на расположение узких дореволюционных окон маска. маска новой Эпохи, конструктивистская, немного в духе «Красных Ворот»: с раскрывающимися правильными округло-воротными формами двух входных ниш, волнисто перетекающих в прямоугольность их окружающей рамы. серый фасад, переходя в прежнюю зелёность, ближе к углу закрывает краем своей рамы пару окон, пришлось их ради пропорциональности отменить. зато слева в раме они продолжают. такой неожиданный монтаж, постмодернизм, можно подумать. ещё раз, уже возле серого самого позднего здания КГБ, с символикой уже восьмидесятых — оглядываюсь на двутлазый вестибюль «Дзержинской». вот сочетание в Тебе эпох: советская как заглавие звучит громче прочих, но затем отдаёт место прежней, и по Никольской тихо можно входить в дореволюционность, которую теперь намеренно воспроизводят — хотя бы нелепым эклектическим подражанием модерну «Наutilus».

история этого новостроя, пожалуй, достойна места в хрестоматии реализованных либеральных грёз: название «Наutilus» носил ряд характерных для девяностых ларьков на месте будущего здания, доходящий до памятника первопечатникам, под которым, по преданию, находились расстрельные камеры Лубянки. так вот держатели этого ряда ларьков, который и мы с тобой, девочка моя-немоя, проходили не раз под Новый год, присматривая подарки в «Панинтере» и «Детском мире» — эти новые хозяева новой России скопили денег и построили на месте, сконцентрировав малость свою площадь, этот дом. конечно же, как пропуск в великолепно буржуазное будущее, они не забыли впустить святыню лужковского местного капитализма, Банк Москвы. как же без гешефта...

с двумя круглыми глазами и раззявленным кассовым аппаратом наверху углового центра — странный, тощий, подёрнутый то ли бизнес-конструктивизмом, то ли пионерлагерным мозаичным семидесятничеством, этот эклектик так и стоит, явно желая быть в паре не с серым пролеткультовским вестибюлем «Дзержинской», а с буржуазным «Метрополем», только вот мозаиками не вышел, сиреневый букетик Реставрации.

за мной яркая площадь и звуки митинга, умножающиеся, отражающиеся о Твои стены, тревожные и призывные — такое звучание теперь в диковинку, редко. а в годы советские, в праздники всенародные — такая радость и такие звуки, вспоминающие звучание революций в Тебе — были нормальны. эхо мегафонов, звукоусилителей, площадной музыки — особенно её. нет, это было тоже в определённых рамках — сейчас даже ближе к источнику. но какие шествия были — в той же «Заставе Ильича»! именно отсюда и с Мясницкой вливались колонны и текли к Красной площади, здесь Марианна Вертинская снималась в самых первых весенних (по времени съёмок) сценах «Заставы». советский народ, неся даже с портретом Сталина в белом круге ещё знамёна (не было повсеместного развенчания), в 1961-м тёк здесь поющей массой в день Первомая, и в этот же день начинался фильм, начиналась «Застава» на самом деле, как рассказал мне Марлен Мартынович Хуциев (что не поместилось в публикацию интервью с ним).

или это рассказала Марианна? да, именно она, если точно: ведь для неё это был вход в кино, эта первая съёмочная сцена, движение в демонстрации, встреча с Сергеем, с героем артиста Попова уже покойного ныне, о чём печально она вспомнила, давая мне интервью летом... здесь в колоннах они встретились второй раз — после того, как он проводил её до подъезда и не решился подойти. и теперь, в первомайском течение людском в Тебе, они уже не расставались — Ты забрала их, как меня и мою девочку более тридцати лет спустя.

но с тех пор тут достроились серые лубянские помещения — возводившиеся ради охраны завоеваний социализма, о чём говорят железные держатели флагов — щиты, на которых под созвездием серпа, молота и пятиконечной прорастают колосья. окна первого этажа словно крепостные бойницы, из таких в древности поливали варом врагов. и даже герб СССР, символ грядущей мировой революции с озаряющим весь земной шар рабоче-крестьянским союзом — тут повторяет над хмурым, почти крепостным или мавзолейным входом Лубянку тридцатых, Щусева, которая за углом. но там герб СССР, этот улыбающийся трудящимся серпом и замахивающийся молотом на контру плод пролетарской революции, созревший, почти вываливающийся из чёрной стены — оптимистичнее, экспансивнее. а нынешняя угрюмая Лубянка, которую ближе к Кузнецкому со стороны дореволюционной её части пугали своим взрывом девчата-энэрашницы — гнездо тех самых «чекистов», что ныне на страже «стабилизации» капитализма: одних олигархов присмирят, других одарят, сами приблизятся к экс-социалистической дивидентной собственности, к естественным монополиям... кончилась в них идея, о которой ритмично напоминают на серой стене слева и на пегой справа серпасто-молоткастые подфлажия. это не чекисты, а жандармы, стражи не Революции, не Дзержинского коллеги и последователи, а местоблюстители Реставрации и классовой дифференциации.

иду домой — чтобы пообедать, ходьба на демонстрации и кричалки порядком истратили небольшой энергозапас завтрака. иду мимо дома, где выступали Ленин и Дзержинский, и далее мимо аляповатого «чекистского», фэсбовского ресторана «Государственная граница» с ограждением для иномарок в виде пограничных столбов с гербом СССР — всё ты, пошлая ностальгия бездумных, всей этой братвы, патриотов разворовываемого отечества.

спуск по Кисельному к невидимой Неглинке открывает Твой вид вдаль, уже за моими краями — «Известия», Пушкинская площадь: всё и рядом, и далеко, Ты большая и солнечная сегодня. Ты красива независимо от времён, хоть и построили по пути к Пушкинской на месте, где мог быть наш дом Большого театра в духе ар декО офисно-пентхаусное строение.

вдыхая которую уже весну без тебя, моя девочка, я всё так же шагаю по Столице в будущее своё увы без тебя, без наших непредсказуемых любований-лазаний, читаю сообщения пегих и белых попутных стен, переглядываюсь с бездомными собаками, спящими в основном на тёплом газоне. весна дышит вызывающе, влекущая цветением всего в Тебе — от земельного брожения до лиственного созревания, ветерков, из старых дворов выдувающих Твою древность,

всё ещё тянущую к новому любованию там. этот запах не перескажешь — он и кажется самым жизни запахом в Тебе. длинное белое слева здание военное, подсвеченное щедрым солнцем, — зачем теперь (эти загадочные фары наверху локальные, как ребёнком думал — замаскированные ракетные шахты)? тоже был бастион Союза, солдатики его ещё охраняют, встречая с любопытством меня в бундесовом вражеском, казалось бы, прикиде. не их форма. режим, их здесь поставивший по инерции сторожить завоевания прошлого, не для этого будущего — что он скажет в ответ, придумает новые будёновки, красноармейские шинели, новую милитари-моду? нет, он вторичен по отношению к потенциально и до сих пор вражескому западному глобализирующемуся порядку, инерционен и скуден, режим Реставрации капитализма. он безыдеен и бесстилен. это всё тот же бюрократический позднесоветский стиль минус сам социализм в массах — с оставшейся элитностью воскресших в собственники через приватизацию номенклатурщиков-буржуёв. а стиль, Новое — несём мы. в песнях, в мыслях, под бундесовыми рубашками и майками «СССР», пропитанными молодым весенним потом неразделённых страстей, вынашиваем — Наше. идею не промежуточного социализма, который, как на резиночке, через товарно-денежные отношения и психологию может вернуться к капитализму, — идею революции сразу коммунистической, идею Союза коммун: коммунизма с немедленным и полным уничтожением частной собственности и розничной торговли. кормиться — в столовых на предприятиях. магазинов не будет вообще — незачем, всё необходимое получает трудящийся через систему централизованного распределения на месте работы. как строили конструктивистский квартал для тех же (но истинных, тридцатых годов) чекистов в Свердловске — в домах кухни минимальные, без плит даже. вот он, протокоммунизм был, общественные формы, влияющие на личные психологии, собирающие их в коммуну — всё по марксисту-психологу Выготскому, сначала внешняя развёрнутая форма действия, потом внутренняя свёрнутая, индивидуализированная. социализация есть индивидуализация — коммунистического, безусловно, aufheben. но объяснишь ли это всё солдатам, охраняющим белокаменный экс-советский объект? там и в грузовичках их на всякий случай держат ближе к Рождественке — вдруг что леворадикалы учудят на Лубянке. боится режим, стережёт порочный порядок, в котором эти самые солдатики будут полунищими всю жизнь, кто не вырвется в командование, а экс-комсомольцы олигархи будут острова покупать и виллы за рубежом. и сидят-то в кузовах, враждебно и пугливо глядят на меня, размашисто и деловито идущего в милитари с демонстрации — ребята младше товарищ Ча. им бы на наш концерт слушателями, чтоб хоть задумались — какой порядок защищают, во имя чего?

но надо быстрее идти — чтобы успеть подзарядиться пищей. и чтобы, взяв бас-гитару, так же пешком возвращаться. улицы и переулки, которыми мы с тобой бродили, пусты и солнечны. это день моих и трепетных, и горьких воспоминаний нашего любования, день моего движения в весне и в Тебе без тебя.

что же случилось за эти все годы? почему я иду к Лубянке не чтобы встретить мою драгоценную изящную девочку, не чтобы уводить её дальше в Тебя, а чтобы

играть и петь песни протеста? а ты со своим новорожденным увидишь этот день и демонстрацию, и меня там мелькнувшего на сцене, быть может, только на ТВ дома, подивисься, огорчишься моей судьбе? ведь вот она Столица, вот я иду с бас-гитарой в чехле за спиной — я, певший в предыдущем рок-составе именно о наших с тобой ласках над Китай-городом, певший с закрытыми глазами как Моррисон в тьму залов Форпоста, Ю-ту и Свалки эти звуки дождя и нежности. но кому нужны были те песни? они растворились в девяностых, с девяностыми.

а теперь и песни другие, и пою не я. я стал солдатом, рок-рядовым, лямка не просто басового чехла, а рок-винтовки на моём плече. «Возьмём винтовки новые, на них флажки...». именно так: новые винтовки это электрогитары. у моей ствол длиннее, чем у шестиструнной. мы одни из первых, ещё только чужими словами и песнями — «Священной войной» и «Ленпарткомом» («Только так победим» Н. Добронравова, что пели на съезде ВЛКСМ Ротару и другие первые голоса СССР в семидесятых) — говорящие с действительностью критически, осознанно протестно. мы уже отсюда за коммуны. если ты бы сказала мне, что мой путь влияния в это движение, в эти демонстрации по центральным улицам и на площадь Лубянской — только от личного отчаяния, следствие нашего разлада, тебе я перечить не стал бы. потому что ты единственная до сих пор — и только воспоминания наших моментов взаимного любования, откровений наших обнажённых тревожат моё нынешнее одиночество, хоть оно и с попутчицами, неплохими, чистыми и честными, но попутчицами (как Катюша). и, изучая, лаская её на узкой кровати, я уже не ищу откровения, я скорее её учу чему-то, оказываю опытную помощь старшего товарища ей, на десять лет меня младшей, что ли... не только руками и губами — но и словами, умными темами разговоров. и зачем мне её влюблённый внимательный взгляд, зачем я его притягиваю — ведь мне нужен, до сих пор нужен такой от тебя, и был нужен прежде, не всегда, а может быть, и никогда не достававшийся в годы прошедшие. поэтому Катюша и считает, что про нас из советского фильма романс «Почему ж ты мне не встретишься...», наивная, детская Катюша.

но — нам играть сегодня, выплыть мне из всех этих подробностей: и на сухом пространстве Твоей площади выступать, в Твоё пространство посылая наши в подвале Делегатской, ниже уровня сырой парковой оттаявшей земли, отрепетированные, томившиеся там, как корни или зёрна, песни.

встречаемся у памятника Высоцкому — успеваю даже слегка перегреться на солнце, прислонив бас к каменному ступенчатому амфитеатру, ожидая барабанщика и гитариста Мэйдена, одношкольника моего. Игорь-барабанщик появляется точно, с тяжёлой ношей тарелок и ведущего барабана, а остальных — мэйденовского друга Джавада, который снимать нас будет, и Мэйдена, едущих на машине к нам с Кутузовского с гитарами и съёмочной аппаратурой, ждём. подъезжают они нелепо с недопитым стаканом кока-колы из Макдоналдса — остановились у 24-й больницы, мы к ним перебежали и отправились по Бульварному кольцу к Лубянке. по Мясницкой быстро доезжаем, по перекрытой далее — в районе Библио-Глобуса стоят заградительные железяки и серые постовые.

два длинновласых брюнета-металлиста, один из которых ещё и бородат (наш гитарист-то), Мэйдэн с Джавадом держат шуточное пари — на каком метре от площади нас арестуют, вооружённых подозрительными кофрами? но, шаг за шагом, убеждаемся, что мы никому не нужны. и даже за ограждение у сцены проходим свободно — охранники-то все знакомые, наши эскаэмовцы. Рита из лесби-дуэта нанятых Пономарёвым организаторш концерта, утомлённая уже, провожает нас в павильон, накрытый пахучей клеёнкой — наш загончик. наклеены на пологи павильонов стикера, которыми в метро рекламировалась акция — наши, нами печатавшиеся и клеившиеся стикера. по сравнению с прошлым годом — размах невиданный. тогда только мы, «28 Панфиловцев» и «Анклава» (плюс если считать тот экспромт выступлением и «День донора») на Театральной напротив Большого театра будоражили общественное спокойствие. а ныне — и Sixty-nine пригласили, и «Запрещённых барабанщиков», и ГО, и всё это Илья Пономарёв постарался. по слухам, около сорока тысяч долларов стоило мероприятие. должен был появиться такой человек, не из лузеров, не из нашего малобюджетного брата — вкусивший и бизнеса, и околоолигархических благ, но из этого всего вышедший в левые, в нашу борьбу. что-то вышло в масштабах фестиваля. до начала рок-концерта, пока традиционные матрёшки и духовые оркестры разгоняли мух, и собирали загулявших после демонстрации последних пенсионеров, уже начала неизвестно откуда, со стороны Кузнецкого моста в основном, подтягиваться молодая публика, ради агитации которой всё и устраивалось — ребята с окраин, они на «Гражданку» пришли, стопроцентно. где-то увидели афиши, изготовленные едва ли не за два дня только.

наше выступление — переломное, мы как рубеж после случайных панковатых и развлекательных команд, какие-то рок-нелепости среди ещё как-то подходящих панков вытащили на сцену эти две лесби-устроительницы концерта Настя и Рита. некий, возомнивший себя ковбойской звездой светловласый патлач из группы «Отравы» — даже в губную гармошку дудел в полный серьёз. может, он спутал Первوماй с кантри-фестом каким? некоторые моменты решались прямо на ходу, когда, как обычно, стали сдвигаться и урезаться выступления. но спектр выступающих — широчайший. широкая коалиция оппозиции — такая широкая, что идеологическое основание её явно расплывается в неизбежных компромиссах-реверансах. зачем-то оппозиционный исламист Гейдар Джемаль аллахакбарил, агитировал первوماйскую площадь, уже заполнившуюся десятью тысячами зрителей. волнительное ожидание своего получаса, каркас сцены, наша охрана, вид Лубянской площади, заполненной народом из-за сцены, тоже зовущий, словно море, в которое надо решиться прыгнуть... но вот после очередных альтернативных пареньков, в которых и пустые пивные бутылки летели, вышли мы.

первые ряды составлены знакомыми лицами эскаэмовцев и акаэмовцев, Катя Заводнова, уже рассорившаяся с московскими нашими и вышедшая замуж за тверского члена ЦК СКМ Истомина, привезла из Твери свой актив. увидев нас, молодой народ с флагами восторженно, даже в незнакомых лицах мелькнул позитив — пошла по массам искристая энергия аванса. вступительное слово, пока

мы делаем plug, чтобы play, говорит Удальцов — о чём с Пономарёвым я у лесенки на сцену совещался, и из-под кепки КПРФ раздалось от хозяина мероприятия: «Да, Удальцову надо дать слово».

Сергей, как и в первый раз моего узрения его на сцене «Авангарда», низким, срывающимся на хрип голосом говорил про ненависть к тачкам богатеев, про классовую войну, в которой все должны стать авангардом — хитро спрятал рекламу своего лейбла, ну да какие могут быть между своими левыми счёты... некоторые его слова я проакцентировал на басУ — почти так же, как в «Авангарде» делали «Панфиловцы», уже есть классика и ностальгия.

но — начали. концерт, как максимальная выдача энергии вовне — никогда не запоминается, как и минуты самого тонкого и взаимного, переполняющего любования. запоминаются недоигрыши и недочувствия. то, что остаётся в качестве памятной картинке у исполнителя — ничтожно по сравнению с Реальностью или даже её видеоаналогом. здесь единство героя и повествователя рвётся и уходит в минус. внутри музыканта — только разовые вспышки. посмотришь в первые ряды, там симпатичные девичьи мордашки и тельца в тельняшках, но надо играть, смотреть на гриф бас-гитары. за этой — другая вспышка впечатления, обратной связи с аудиторией. перед такой мы ещё не выступали, многотысячная, народ стоит аж до «Детского мира». вспышка — это вся людская площадь, круглый всплеск, в центре которого как эпицентр укора режиму — пустое место памятника стражу революции Дзержинскому, который полупьяные контрреволюционеры (вот уж разбушевавшаяся чернь, от которой даже Москвин-Тарханов открестился: мол, это не мы, это сам народ, мы, диссиденты лежали пьяные после празднования победы) сняли в девяносто первом. уже тогда я в детском школьном стишке написал свой протест, там были строки: «...гуляй, шпана, менты-козлы не видят...». про снятие памятника, на интуитивном, дополитическом уровне переживал.

да — и не только мемуарные, реальная вспышка была: это АКМ в первых рядах в начале выступления на «Нашем марше» запалил фальшфейер или заводновские, или даже Лобанов, которого Заводнова, Истомина то есть, до сих пор считает изготовителем бутылок с зажигательной смесью. со сцены хорошо стали видны даже высокие чины в фуражках-аэродромах, вышедшие на балкон самой Лубянки послушать наше действо. стояли фэсбы и на круге-клумбе места памятника Дзержинскому, ужасаясь нашей смелости и крамоле (случайно потом слышал отзыв брата подруги гитариста, работающего в ФСБ: «Ну, они реально с ума сошли, зачем так глубоко в политику лезут?»). на «Священной войне» Лубянка, уже изрядно поливаемая дождём, но не расходящаяся, подпевала дружно и, казалось, медленно. всё вышло красиво и быстро — уже выдёргиваю шнур баса из высокого «Маршалла». хотя, по фотографиям судя, не так уж и масштабно это выглядело со стороны зрителей: большие красные боковины-баннеры, маленькие музыканты, валяющий из-за них сценический дым... дождливо нависшая над площадью Дзержинского действительность и огонь акаэмовского фальшфейера, прожигающий эту мглу снизу, как наши песни, — такая итоговая картинка.

этот Первомай вдохнул оптимизма, познакомил (я впервые увидел чрезвычайно похожего на Якушева Аграновского Дмитрия) и мобилизовал многих, и притом немосквичей: вдруг в нашу синеклещенчатую палатку, где приходили в себя эшелонцы, раздевались и пили минералку, заглянул некто Атомов с коллегой из Самары, вроде бы. незнакомая совершенно, но со своим изданием Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков, ВМГБ. потом подсказали товарищи по СКМ — это комсомол ВКП(б) Нины Андреевой, которая, как и я, активно использует категорию «советский народ». взяли подобие интервью у нас, подарили газету «Революция», в которой на первой полосе эпиграф из Роб-Грийе — тот самый, что использован уже мной в «Револе». но дальше — вообще сюрприз необычайный: появилась, нашла нас в артистической палатке Дашуля, моя однокурсница. Дарья Игоревна, что на сухаревской кравтире говорила «йес» и «я не сдам» в период коллективных сессионных подгоготовок. Соловьёва не скрывала ужаса от лицезретога на площади — конечно, она из первооткрывателей в нашем поколении братковской и продвинутой эстетики, всех этих дансингов и ресторансингов, ярмо которых с провинциальной черноголовской стойкостью несла вплоть до дурдома, в который загремела после разлада с очередным братаном. и вот вдруг интеллигент Чёрный играет на красной сцене опровергающие десять лет укоренявшуюся эстетику песни. включая старые песни о новом. из палатки нас с Барановым выманил Удадьцов.

чувствуя некоторый, скорее, моральный долг — ведь за выступление в Горбушке мы ничего не получили как группа, хотя и не обещал никто, но барыши-с... Сергей позвал нас в шашлычную — это было самым правильным и лаконичным решением. словно победителями с поля боя, мы спустились с Лубянки в подземные пути к метро, быстро от «Кузнецкого» доехали до «Пролетарской», и там приземлились в шашлычной, которая на полпути от метро к штабу АКМ.

Серёга с женой Стасей, Ваня с подружкой Настей и я один — Удадьцов угостил нас шашлычком, посидели, помириковали уже старые друзья-сослуживцы, поговорили о планах, послушали услужливо поставленный вместе дежурной попсы барановский карманный пауэр-метал...

после первомайского концерта родная редакция на Газетном с сайта КПРФ увидела своего обозревателя в новом качестве, чему завидовала отчасти персонально. с интересом просмотрел фотохронику у меня из-за спины замглавного Анатолий Баранов. но редакцию ждало ещё и пополнение: ведь настали посевные сезонные проблемы у Игошина, новых траншей со стороны Турсунова не шло, а средства газете требовались. поэтому, уже после разговоров о трудностях, оправдывающих задержку выплаты гонораров, что доводили оклады таких минималыщиков, как я, до десяти тысяч — появился совершенно новый персонаж в редакции.

на очередной планёрке среди лиц главного Турсунова, замглавного Баранова, ответственного подгоняюще-выпускающего редактора Молчанова, появилось новое — на плечах качка. качок в спортивном прикиде. обозреватель полосы «Общество», уже было считавший себя чуть ли не ведущим полосы, подумал спер-

ва, что это сам новый инвестор, но ошибся: это был его будущий шеф, ставленник инвестора. он-то и стал главным общественником, а вскоре и передовиком. вида братковатого, плечистого, качкастого, лицом прост и хохловат — это был Максим Калашников, уже довольно известный не одной своей книгой писатель.

планёрки с похвалами к лету двести сорок третьего кончились давно, кризис финансовый газета переживала и на вербальном уровне — восточный властитель Турсунов частенько по весне с апломбом поругивал сотрудничков за халатность. особенно это замечалось и удлинялось при сопротивлении последних, вроде Ани Фирсовой из Загорска, амбициозной обаятельной простушечки. с появлением Калашникова дело психологически на уровне руководства начало налаживаться. вызванные в кабинет Турсунова и Баранова на предмет окончательного знакомства, Калашников и Чёрный сразу же осеклись при налаживании коммуникации. новый редактор полосы «Общество» (коего до сих пор не было вообще официально) спросил номер сотового у Чёрного, а в ответ узнал, что такового пока не имеется, и с соболезнаванием такому классовому обстоятельству извинился. зато после этого уточнения, общение наладилось.

Калашников взялся за работу соответственно раскаченной богатырской своей конституции — хватко. Тошка Вотречев сразу сполз до уровня одного из авторов, предлагающих материалы на полосу, но закрепился здесь прочно — благодаря пониманию Калашниковым исторических обстоятельств, как-никак никто так крепко и с искони не держал это дитяtko-газету в руках, как его новый подопечный. наугад Вотречев, уже не пользуясь псевдонимами, предложил Калашникову материал, потрафивший националистическим имперским пристрастиям его — назвали статью «Новая география», она была про то, что США издали учебный школьный атлас, где нет половины стран Южной Америки вокруг Амазонки, а место сие названо как «охраняемая Штатами территория необходимых всему земному шару лесов». сотрудничество наладилось, но оно только начиналось.

первый же текст, данный обозревателем Калашникову, новый шеф так перелопатил сильной рукой прямо на глазах, обучая наглядно автора — что сперва испугаешься, а потом залюбуешься. эстетские, сбивчивые, многословные и длиннющие предложения Вотречева Калашников стал рубить на две, на три, и как потребуется — части. коротким и убедительным высказываниям — мускулистым ораторским хукам, особенно хлётским, действенным в начале статьи, во врезе — учил Калашников Антона Дмитриевича Вотерчева, вот речь его и менялась, оставляя и псевдоним в прошлом, факт исторический. Калашников приговаривал, перебивая, мощно качкОвой рукой с неприспособленными для миллионной компьютерной печати пальцами впечатывая клавиши, текстульки подопечного: «Учись, Митрич, пока я живой». за такое грубое вмешательство поначалу можно было бы поэту, стилисту обидеться, спорить — но я учился, понимая, что шеф в данном случае прав: газетное слово не должно размазываться в узком своём жанре, в столбце, просто не имеет места для толстовского художественного манёвра. зато Калаш, увидев в компе фотографии с Первой, искренне позави-

довал рок-ипостаси подчинённого, и выяснилась общность музыкальных метальных пристрастий: Калашников когда-то мечтал быть рок-музыкантом.

действительно, в который раз выходило, что перемены в жизни редакции идут только на пользу маленькому человеку, сплетнику-газетнику Вотречеву — вскоре, когда Калашников по жару стал являться в редакцию то в майке со Сталиным, то с гербом СССР, то с АКМом (автоматом), стало ясно, что в отделе «Общество» оказались единомышленники. и хоть приходилось приноравливаться к националистическим пристрастиям Калаша — но работа шла, и полосы выходили очень концентрированные, за что и были регулярно хвалены на планёрках, а Калашников получал ещё и за передовицы наградные к гонорару.

наступало новое трудовое лето, не сулившее отдыха — только вступивший в должность Калашников и не подумывал об отпуске, что распространялось и на подчинённого. тем более, и Турсунов в этом вопросе был неколебимо суров: «Я вам устрою бессрочный отпуск — все поубегали, кто-то же писать должен!». как всегда нерасторопный, застенчивый, медлительно-интеллигентный, Вотречев остался на амбразуре, периодически вызваниваемый Калашниковым по срочно для именно этих нужд купленному сотовому. «Митрич, где тебя носит? главный тобой интересуется», — слышал обозреватель, бегущий к редакции по знойной Петровке и Петровскому переулку внутри пахнущего недосыгаемыми дачными местами свежего деревянного коридора вдоль ремонтируемой и надстраиваемой больницы МВД, периодически ропща на своё гастарбайтерское положение, леворадикал тем не менее не раз про себя гедонистически отмечал при входе в респектабельное бизнес-помещение Холдинга и редакции, что сбылась давняя расплывчатая левацкая, периода работы в школе, мечта: писать что думаешь, носить что хочешь — свой милитаризм зимой и летом, сидеть в центре за компОм, распахнутым в Интернет, и получать за это нормальные буржуазные деньги — за свою способность складывать слова вместе. прохаживаясь своими летовско-кобэйновыми кедами по розовым плиткам пола Холдинга, по которым топтались и увесистые менеджеры «Реал-агро» — как не ощутить себя вытянувшим счастливый билет? штатный леворадикал.

Газетный переулок — словно специально Реставрация из улицы Огарёва переименовала его ради «Независимого обозрения». вход через самораздвижные двери, потом тихий выстрел замка железной двери бизнес-райка Холдинга — это охранник впускает мою знакомую рожицу, здрасте ему. справа за трибуной охранника на стеклянной столешнице журнального столика лежит стопочка свежего номера НО с передовицей Калашникова и моей на две трети полосой «Общество». чоп-чоп, скрип-скрип кедами по модной розовой плитке пола, поблёскивая коленками из-под длинных зелёных шорт. девушки за рецепшном здороваются, глядят с симпатией и некоторым неприятием стиля, материнским желанием приодеть, прихорошить мальчика. не для этого ли, не для укрепления своих позиций именно на этом новом фронте, включая и благосостояние, таскал газетные пачки, ещё не вполне укомплектованные своими статьями? не для этого ли увольнялся из школы, переходя почти на нелегальное положение, без записей в трудовой

книжке, без стабильного заработка, просто слугой бая Усманова? не только для этого благосостоятельного аспекта, конечно — по зову слева сердца...

тем не менее уже раскалившееся в центре лето неизменно притягивало прикинутого в альтернативные шорты и плоские кеды обозревателя к старинно-домому Газетному переулку от Охотного Ряда — снова с дачи, только теперь иным маршрутом, не на Новокузнецкую. по прохладной эстетически Doors'овой лесенке между двумя зданиями Телеграфа, на одном из которых, дальнем, подреставрировали, красно-бело подкрасили орден Ленина — поднимался к работе ещё не прожаренными солнцем утрами леворадикал. второе лето без отпусков — такова была мораль всех перипетий с газетой, которая всё же продолжала улучшаться, особенно с модным писателем Калашниковым на передовицах.

6–7.06.03. Платошка лежит на моем диване, я перед ней, где-то в районе музцентра, ковра — говорим. то есть, говорим с Михайловым на самом-то деле, но это в определённый момент оказывается Платошка. или с самого начала. я спрашиваю, как же вышло, что ты, Платошка, превратилась в Михайлова? (не по-сонному, точнее — наоборот, имею в виду) в Михайлова, так как именно он собирался ко мне прийти разговаривать. Платошка нетерпеливо отвечает, что она сюда пришла, имея вовсе не так уж много времени, чтобы тут разлёживаться и говорить со мной о ерунде, и спешит на деловую какую-то встречу или самолёт в заграницу (опять в стиле Михайлова). так что если я чего-то от неё хочу, то пора. а я хочу, хочу к её обильнейшим, со школы желаннейшим грудИльям сзади подобраться. для чего она благоволит — снимает лиф, я добираюсь, сзади обхватываю её сферы, они оказываются как бы утрамбованными в районе широких сосков (может, лифом?), но на этих твердоватых площадках всё же различимы вокругсосочные пупырьки. потом она снова требует большего, так как время поджимает — поэтому надо идти в ванную. раздевается дальше, встаёт — как это прекрасно: Платошка, шагающая и этим открывающая моей видимости свои припухлые нижние губки. те самые, к которым так стремились (но допущен был лишь голубоглазый старшекласник Морозов) мы все — Микнайлиди, Дубровский, я, да и Некрасов, пожалуй — наведываясь по поводу и без, когда она, например, пылесосила, в её набережный дом и советско-элитную квартиру лингвистических родителей, в которую с дома напротив заглядывали советские статуи золотыми солнечными вёснами годов 1990–91... на этом же Платошкином доме мы с ЮНГой Юлей Валовой, платонической моей подругой, и Дубровским, уже оставленным Платошкой — только с его стороны, стоя меж колонн изобильно вылепленной башни, пили портвейн, мальчишески рискуя-рисуюсь перед Юлей, вдыхая весну, глядя на Тебя-реку и башковитые дома напротив, в Юлины прозрачно-голубые куклины глазки...

а в Тимирязевской сельхозакадемии у Катюши настала пора практики, после которой можно идти гулять на ВДНХ, до которого сперва от Тимирязевки на троллейбусе, а потом через Ботанический сад можно. приехал на сорок седьмом троллейбусе за нею, путь к корпусу её долго по телефону выслушивал. свернул

с главной лиственничной аллеи направо за прудом, вышел на параллельную уже не аллею, а скорее деревенскую улочку — кругом ведь учебные огороды, сеточка-рабица, пропустил тарахтящий учебный трактор с кузовом впереди, как на юге видел, в Крыму. и тут за деревьями нашёл краснокирпичный корпус. встреченный у дверей комсомолец-новобранец ревниво удивился тому, что это я тут делаю. а ищу я девушку, которой, возможно даже более своего смутного желания, нравлюсь. здания тут действительно в основном тридцатых.

вот она в белом халатике среди старых амбулаторных шкафчиков и массивных кафедральных столов (пахнет тут школьной химией), ещё с пробирками что-то производящая. тут и крупные сокурсники водятся, рослые молодые парни, а она меня ждёт зачем-то, не её молодости левака со стажем. улыбается брюнеточно и добро, приветствуют белки карих глаз и зубки. увожу её, жадно поласкивая со спины и ниже по учебным полям Тимирязевки — большие меж микрорайонов разверзлись тут пахотные просторы, словно мы всё же на дачные вышли местности. вокруг среди учебных посевов колосятся студентки, глядят на нас, на парочку. студентки тут не стесняются, раздеваются до трусов и лифчиков, чтобы на практике и позагорать малость. через вспаханное выпуклое поле добираемся под солнцем до лазейки в железной ограде и, подождав проезда троллейбуса и легковушек, под мост ныряем, к новым жилым кварталам.

здесь во дворе рабочего квартала обнаруживаем статую советского спортсмена — белый, массивный, уверенный наш по временному расстоянию не очень далёкий, младше моей бабушки, предок вселяет уверенность в нашем комсомольском выборе...

за кварталами краснокирпичными ждём троллейбуса. всё же я убеждаюсь в том, что количество кропотливо, ещё с оптимизмом тридцатых, украшенных сталинских домов явно превосходит пресловутые потребности элиты — нет границы в этом стиле, нет перехода от «элитного» к «пролетарскому». в тех же толстостенных радостных домах с массивными балконами тут жили, как и на улице Горького, на набережной Максима Горького — пролетарии, и глядели на ежедневно укрепляющие их в классовом самосознании серпы да молоты ажурные, почти съедобные.

ждём троллейбуса с Катюшей, выдал ей конфетку, но мой неутомонный взгляд уже нашёл другой блондинистый объект внимания. с обильными бёдрышками, грудастенькая стоит длинноволосая блонд-старшеклассница, глядит на нашу пару оценивающе и, как обычно в таких случаях, себя мысля альтернативой более высокого класса в возможном с этим кавалером сочетании. бритнисИрсовая такая, пузико молодое и аппетитно впалый глазок-пупок наружу из джинс и под топилом. эх, товарищЧ, всё-то тебе неймётся! хотя под ладонью под талией Катюши как раз ймётся: там тоже есть что обнаружить, собственнически сжать, она в таком же постдевяностом стиле как бритнисИрсовая, миллениумная — когда стали не как ты, моя девочка, распространены подиумные худышки-нимфетки, а попопнее, посьестнее... но — как в попсовой песенке, только в переводе на более точный язык: нежеланная ждёт меня, тру-ля-ля... и при этом идём с

ней гулять, и не сказать, чтобы взаимонепонимание какое, отторжение — нет, и я ей, и она мне вполне аппетитны, нужны. но...

но это не наше с тобой любовное, моя девочка, скорее нежная дружба. и поэтому ли на лиственничной аллее в прошлый мой визит — она возле красно-кирпичных корпусов с круглыми окнами, тридцатых моих дорогих, тщетно пыталась склонить меня к поцелую. хотя всё было для этого вокруг — и старые учебные стены, и ветер в наших тёмных волосах, и весна, и никого идущего мимо. но не целовалось мне: не моя романтика, не моя девочка в конечном (вот в таком конкретном непроявлении нежности обнаруживающемся) счёте. тем не менее, влекомые Эпохой на ВДНХ, мы выбираемся из троллейбуса, за которым всё ехали модные очкастые и каскастые велосипедисты, и идём к воротам Ботанического сада. покупаю пару билетиков на вход и — углубляемся в природу, здесь давно запущенную, и оттого приближающую к временам создания этого сада.

нет, здесь — никаких архитектурных подсказок. разве что поросшая травой лестница да ворота в конце пройденного нами довольно быстро пути. тут и овраги, и пруды и даже возникает впечатление, что ты за городом. дорожки и лавочки, жёлтая спортивная разметка на старом красноватом, кирпично подкрашенном асфальте истрескавшемся. иногда — старые диковинные деревья. дуб, кедр. время бежит где-то позади нас вдоль автомагистралей, а мы глядим в кроны, в листья. несколько раз пробовал пойти дождь. пожалуй, лишь приблизившись к воротам — явно тридцатых годов, мы ощутили вход в Эпоху — вовсе не тот, главный или боковой на ВДНХ, а вход запасной, задний, чёрный. и всего-то подсказка — надпись над давно не работающим маленьким окошком на уровне пупка, строгая советская «КАССА». изгиб давно покрашенных, но выпуклых на зелёной стене железных букв, порядок. здесь советские граждане покупали билетки, потому как без билетика — извините, не полагается. пройдёте разберёмся. придумала свои обходительные, но строгие и все замечательные старомосковские речевые обороты вобрала Эпоха — выстроив их в соответствии с новым социалистическим порядком и культурой. и культурность речи и поведения, пришедшая от интеллигенции и дворянства — стала мерой поведения всего трудового народа. не случайно с неоклассицизмом вернулись в эти помещения ДК и балльные танцы, и манеры отчасти даже. лучшее у прошлого взять — худшее оставить, так знал и делал Сталин, так шла Эпоха вверх к пику коммунизма, вперёд. хамство — ни-ни. теперь-то наоборот — деградируют, матерятся и те, кто из культурных семей. да что нам с Катюшей об этом говорить — тут единомышленники, вздыхаем одинаково, за мат ругаем в организации, если кто допустит.

за зелёными воротами пересекли пустую дорогу и сразу же вышли в мир ВДНХ СССР у конструктивистского красавца-павильона водных и прудовых хозяйств. белый ар деко классических колонн не скрывает своего происхождения — без каких-либо украшений средней просто круглой колонной, поддерживающей конструкцию со сплошным окном. а боковые, тоже со сплошными окнами, части павильона, из которого как бы вытекает нижележащий пруд,

и даже шлюзовой вентиль имеется — так вообще кажутся пристроенными чуть ли не в брежневские уже времена. хотя близко к ним это строили, уже при Хрущеве, вероятно — ведь входные ворота со стороны метро — уже пятьдесят четвертый, без вождя.

бродим здесь, находим во всём следы Эпохи — в пруду выложенный золотистыми изразцами выросший из воды колос в кругу фруктового изобилия. всё это вполне логично перетекает из сталинской поры — большинство павильонов достраивалось уже без него. ведь здесь всё архитектурно парковое повествование — о победе социализма не на плакате, а в жизни по всей ширине СССР. рассказ о том, как его устроить — по всем направлениям. включая и устройство прудов, блеск богатств Эпохи, которые освобождённый труд советского народа узнал как добывать.

и ведут, перехватывают наши, посетителей, детей Эпохи, взгляды — павильон за павильоном. обнаружили даже ресторан неработающий — длинный. поднялись на второй этаж, тут тоже, вероятно, столики стояли — и ничего необычного: какой-нибудь военный уже в конце тридцатых, когда тут начали благоустройство («Светлый путь» посмотреть хотя бы), с семьёй мог прийти сюда, чтобы дети поглядели на недавноустроенные рукотворные чудеса родителей, на пруды и павильоны с этой высоты. чтобы среди сосен и елей играли, пока папа с мамой говорят за столиком, а им вежливый официант эпохи до- или послевоенного социализма подаёт «Южную ночь»... этот стиль зданий и ресторанной обстановки кажется мне очень знакомым — он же ждал меня маленьким, едва начинающим всё разглядывать вокруг деревьев, в родном саду «Эрмитаж». именно такие фонари — с массивными, как бы распадающимися коронами колосьев, за которыми светят неоновые лампы, на подсвеченных изнутри тем же неоном четырёхугольных колоннах, выходящих из полного круглого низа.

один павильон на удивление отремонтирован — почти лубочные керамические советские символы в нём свежи и ярки: павильончик приватизировали для проведения казачьих кругов некие братки-казаки из некоего землячества, что ещё раз подтверждается стоящими рядом джипОвинами чёрными. но с Катюшей мы идём в сторону центральной аллеи.

и вырастают потихоньку павильоны — «Прудовое хозяйство», маленький павильончик, как комментарий к водоёмам. павильоны, в которых когда-то выставлялось то, чем они озаглавлены — «Молочная промышленность», например... теперь тут только мёдом и торгуют. «Мясная промышленность» — павильон с рогатыми головами во фронтоне и с ведомым колхозником — видимо, на работу — гигантским племенным быком наверху, которого точно должны бы испугаться либеральные культурологи — вот он, зловещий, нависающий социализм. а нам с Катюшей нравится: ей особенно как студентке Тимирязевки — и весело, немного смущаясь и косясь на мою реакцию, разглядывает она быковое хозяйство, на-вострённое орудие труда при гимнастической талии, спрятанное культурным советским скульптором за громадной культуристической грудиной зверюги. напротив «Мясной промышленности» — с деревянным потемневшим от лет рез-

ным фронтоном и террасками нечто напоминающее кафе — возможно, как раз здесь логично было закусить шашлычком.

у павильона «Овцеводство» точно так же, как под быком, — рогатые головы держат в стене крышу, овечьи со спирально завёрнутыми рогами. центральный павильон «Животноводство», рядом с ним соответственно — «Коневодство» и «Свиноводство».

что это значит и значило для молодых левых из анархо-квартирки Олега Киреева — например, для людей поколения Димы Моделя и комп-дизайнера Паши Шевченко? для них всё это ещё «фи», «советский официоз», «показуха» — скорее повод для стёба. «Нам нравится изобретать новые концепции», — говорил, высокомерно затягиваясь и рисуясь перед своей экс-наркоманкой панк-подружкой с крашено-белыми перьями-волосами, гнилозубый торчок Шевченко у памятника Гагарину, под которым некий безумец при поддержке клуба Джерри Рубина обливался 1 марта в начале миллениума холодной водой, не переставая играть на бубнах и дудках, вроде бы желая таким образом стать космонавтом... вывернутая наизнанку либеральность и модничество-западничество — все эти новые левые с улицы Вавилова: Матрица, Нео — вот откровение для них, что сделал всё тот же диктующий стиль на разные вкусы Голливуд... а между тем — здесь точно такое же, только не иллюзорное, не интеллектуально-анашистское, а реальное конструирование мира, одного, главного с точки зрения революции, отвоёванного у капитала на одной шестой части суши, во всём его хозяйственном многообразии, мира СССР — комсомолка Катюша уже воспринимает политический посыл этого архитектурного эпоса ВДНХ.

леворадикализм — сталинизм, ленинизм-сталинизм. и именно я, сталинец, — леворадикал. не евровелек какой-нибудь — леворадикал здешний, без троцкистской боязни, шулерского передёргивания заветов Ленина. быть может, это народное, многоголосое, хоровое советское общество пятидесятых и было ближе всего к коммунизму. чего не хотелось бы видеть левачку, в отличие от леворадикала. радикализм и реализм — в признании достижений Эпохи и в припадении богатырском революционера к почве, которая действительно, действительно придала белокаменному сиянию Эпохи интернациональный и национальный колорит. к почве, в которой первый на Земле укоренился социализм. и колхозы с их МТС, и остатки частной собственности, из-за которых денежное хождение не прекратилось.

тут как в развитии высших психических функций. сначала экономика владеет обществом — капитализм. потом общество овладевает экономикой — революция и социализм. и процесс этого овладения длителен. новое общество овладевает экономикой, оставляя, но уже контролируя денежную меру, медленно изживая при ней и её фининспекторской помощи частную собственность, идёт к коммунизму.

так — можно. так строили. рассказывали в каждом павильоне, можно было зайти и спросить у научного специалиста — каковы успехи отрасли? и всё это вместе собрав, все эти смешные анархистам и обывателям, вроде бы, к революции уже не имеющие отношения нюансы народного хозяйства — виногра-

дарство, пчеловодство, прудовые хозяйства, мясную и молочную промышленность, коневодство, свиноводство — получался СССР, продовольственно независимый социализм в отдельно взятой стране, растущий и развивающийся, повышающий удои, повышающий благосостояние и изобилие предметов народного потребления: прогрессивный социалистический строй, должный всему миру показать верность и успешность своего пути.

за небольшим стадиончиком для показов животноводских, где на павильонах не без здорового юмора изображены барельефы-свиноматки и стоят красавцами вылепленные с подлинных чемпионов статуи-кони, за неработающим, странно уже в наши восьмидесятые, возможно, года распавшимся круглым кафе и павильоном «Ветеринария» — обнаруживаем образцово-показательный овальный магазинчик с аркадной колоннадой. здесь вообще сохранились невиданные, невероятные раритеты: советская реклама пятидесятых — макеты-банки, «Консервы» (так назывался магазин, остались над дверьми исконные железные буквы, ничего тут не менялось и на потемневшем дереве с 1950-х, даже ручки). так представлялась в своём начале и расцвете с регулируемым ценообразованием социалистическая торговля советскому правительству — одновременно стиль дальнейших вывесок с наклонным письмом, прописным курсивом, и окультуренная торговость: информация только о товаре, о содержимом, никакого подобия лейбла, который у буржуев, у враждебного Запада дороже и красивее содержимого банки.

Катюша ждёт, пока я за стеклом и запылённостью почти половины Эпохи разглядываю надписи. мы идём по овалу образцово-показательного гастронома, начиная от круглого барельефа с изображением советской женщины, которая собирала все эти плоды, что в банках в виде соков красуются, жаль выцвели сами банки.

Зеленый
горошек
мозговых сортов

Министерство промышленности
и продовольственных товаров
СССР
ГК
Главконсерв

виноград вытравлен прозрачным просветом в окружающих рекламу белых плафонах. о, советская нежность, Наша реклама!.. действительно, аппетитные штучки там в банках должны были лежать, этот горошек.

Министерство легкой и пищевой промышленности

Перец
фаршированный
морковью и луком
в томатном соусе

и далее этикетки под тем же министерским грифом, банки пузатенькие — такие, из которых, немного с видоизменёнными, но стилистически такими этикетками, мы в наши восьмидесятые, последние годы Эпохи ели болгарские огурчики и отечественные соки пили из трёхлитровых банок.

компот
Абрикосовый

Яблочный сок

насмотревшись на эти меня заждавшиеся послания Эпохи, заходим с Катюшей в магазин — у входа его, конечно, шашлычная, грубые клеёнчатые современные рекламы кока-кольные и пепсидные, даже на одно из стекло внешних наклеили глупую сине-красную канву «Пепси». советский образцовый магазин — эталон, матрица торговой точки в духе тех магазинов, что в доме четыре на Тверской, стены которых исписаны выпуклым золотящимся изобилием: рогами изобилия и гирляндами из них плоды, даже решётки отдушин выглядят прянично вкусно (кстати, того же чешуйчатого рисунка, что решётка моста у Котельнической и балконов под надстройкой 1934 года на доме первом, угловом с Тверской в Глинищевском переулке). здесь твоя мечта, твой сталинский стиль, Эпоха, — затмить капиталистические страны роскошью и культурой нашей торговли. изобилием металлических плодов, колосков, обрамляющих тонкие неоновые трубки над витринами, оформить вытянутые светильники и прилавков, эту от буржуев доставшуюся разделительную линию между продавцом и покупателем. прилавков как пережиток; пока сохраняется как неизбежная при частичном сохранении частной собственности мера труда и товарооборота — деньги — прилавков остаётся.

но в СССР эти роли условны. продавец без буржуазной «кровной» (как Сталин говаривал о классовой мотивации) заинтересованности в продаже, и покупатель не торгуется: акт покупки символический, деньги почти символические, потому и с Лениным (сохраняются, по Сталину, только из-за колхозов и остатков частной собственности на некоторые средства производства там). здесь и плюсы aufheben'a сталинского и минусы — затем самотёком, при сохранении всех этих прекрасных прилавков, общественных форм отношений, они при хрущевском возрождении прибыли медленно наполняются контрой, недовыведенным буржуазным содержанием, а в конце восьмидесятых и переполняются вовсе. жёсткость, с которой внедрялась коллективизация, стальную волю молодого

Сталина — сюда бы приложить, дабы вЫнедрить деньги из обращения в СССР, успеть это сделать до начала НТР.

с комсомолкой Катюшей читаем павильонное повествование в обратном направлении: выбираемся к космической площадке, побродив в садах, у заинтересовавшего ее памятника задумчивому, с шляпой, Тимирязеву, обнаружив ещё павильоны «Геология» и «Нефть». да, нефть — вот, пожалуй, что одно из всего экономического наследия СССР в РФ осталось бюджетообразующим хозяйственным фактором. а здесь на ВДНХ не хватает этой нефти даже на то, чтобы рубероидом покрыть нормально крышу павильона «Нефть»: вон, нелепо свисают сбоку чёрные края. да и о чём в этом павильоне рассказывать посетителям (и кому — неужели ставки научных сотрудников тут остались?) — как поделили нефтянку приватизаторы, а теперь ещё и иностранным капиталам открыли путь в долю по вывозу сырья? зато, при протекающей крыше павильона «Нефть» на ВДНХ, утекающая по нефтепроводам за рубеж нефть полнит мордашки избранных новой экономикой — элитные квартиры, несколько автомобилей, сверхобеспеченные, словно в парниках, растущие семьи, любящие, изощрённые в ласках по видеонаучению жёны, интерьеры из натурального дерева, из карельского какого-нибудь дуба, домашние кинотеатры... эта жизнь не мыслилась им в СССР, за неё и боролись «демократы», только она не всем им досталась, а «национальной элите», о которой мне вешал лапшу Плуг Палыч Бородин у элитного сиротского дома. поэтому теперь это и не Выставка достижений народного хозяйства — а всего лишь Всероссийский выставочный центр, читать надо между строк Постэпохи.

если помнить, что мы читаем ВДНХ с конца, то космическая тема — это венец Эпохи, поэтому она тут. рядом с отправным павильоном «Электрификация», с ленинским главным заветом по электрификации всей страны как полпути к коммунизму. но путь оказался длиннее. завоевание космоса СССР и расселение во Вселенной стали бы достойным продолжением такого стремительного начала. и стоит, точнее, нависает ракета — уже не народа-первопроходца, а народа-извозчика, сбросившего с орбиты свой недостроенный «Мир» и исправно теперь доставляющего иностранных космонавтов с нашими в нагрузку на МКС.

словно пряничный домик — явно в подарок дорогому Никите Сергеевичу строили на ВДНХ павильон Украины. кажется — вынешь одну отделочную бурую или синюю плитку, и на вкус она окажется сладким марципаном. и везде наверху союз рабочих и крестьян символизирован, на углу статуя советской украинки благословляет нас, комсомольцев миллениума, римским венком победы. у входа в павильон, тоже теперь переданного национальному представительству «бывшей республики бывшего» — рабочие стоят, сталевары и инженеры, спокойные и гостеприимные: «Мы завоевали для вас, девчата и ребята-внучата, социализм, так вы зайдите и посмотрите внутри, как там»... но не зайдём, проходим мимо сладкого сине-шоколадного домика мне на четверть ридной Украины — к следующему, уже белому и ввысь устремлённому павильону.

воистину невольный сарказм Постэпохи: под орденом Ленина в лепнине над входом красуется новое название павильона «Золото». да уж, подсказали нам:

Ленин — золото. истинно так у него и учимся, как вас свергнуть, господа. а большая пятиконечная, больше, чем над украинским домиком, звезда над этим павильоном — будто кремлёвская, только больше металлическая, золотая, сияющая окантовкой рубиновой революционной красноты.

разглядываем с Катюшей длинный осушённый водоём — в нём медного цвета железные рыбки-фонтаны, из рта которых должна струиться вода — всё кажется вовсе не полувековой давности, просто из-за воды постаревшим, этот развлекательный советский замысел, чтобы детишки дивились на волшебных рыб в воде. где-нибудь здесь должен был стоять и стоял до хрущёвских достроек ВДНХ заложивший за пазуху руку, как он любил, задумчивый вожь построения социализма в отдельно взятой стране, Иосиф Сталин. серый каменный, чуть выгнутый массив. он виден мельком в «Светлом пути», когда (тоже предсказывающие уже нас, наши гуляния в Тебе) идут по ВДНХ Любовь Орлова и её избранник: на фоне барельефов о животноводстве и виноградарстве, который мы с Катюшей пока не видели тут... идут, словно усталые после долгой работы и получившие награду — видят в стенах как хронологию итоги общего труда на знойной площади ВДНХ, в этом эстетическом средоточии достижений социализма.

остались теперь на ВВЦ какие-то случайные осколки страны — если судить по названиям павильонов, некоторые вообще — только цифрами и названиями. следом за широкой «Карелией» с потемневшим за десятилетия деревянным скульптурно-резным фронтоном (где идёт строительство социализма, лесозаготовки, возведение домов) и высокой белоснежной «Арменией», среди колонн которой тоже как опоры здания барельефные созидатели советского строя — идёт просто абстрактный «павильон № 71».

фонтан «Дружбы народов СССР» с массивными, сильными ногами советских женщин, красивых без нынешнего подиумного изящества; фонтан, которому Берия повелел быть ослепительно золотым — красуется уже после распада дружбы этих народов, когда советский народ рассыпался на прежние части. после двух Чеченских, после самоубийства Союза, приведённого в исполнение деградировавшими к проповеди рыночности партократиками во главе с Горби и Ёлкиным — стоит ещё этот хоровод былого величия. и, конечно же, бизнес не может оставить такую картинку в стороне — «Балтика» берёт в телерекламу: мол, пусть вам поассоциируется покажется, что это струи нашего пива. вот знатные колхозницы, которые нам сырьё поставляют. вместе мы сила, вместе мы россияне — вы потребители, мы производители, отчего бы не разыграть патриотизму на этой почве, пивному?

и ходят вразвалочку не получившие идейного и концептуального наследства правнуки Революции, не понимающие смысла архитектурных посланий над ними, резвятся на руинах Эпохи, на специальных фанерных горках и кубках широкоштантные скейтбордисты. грохочут под главным павильоном под раздающуюся из репродукторов песенку «Мы насосы, мы насосы». мы медленно с комсомолкой поднимаем взоры, словно кинокамеру от этого шумного лягушатника, в перерывах между прокатами курящего, глотающего пиво и дружелюбно матерящегося с подругами, ожидающими от них новых подвигов-рекордов, но-

вых ловких па с досками. прямая торжественная колоннада дорастает словно до написанных золотом титулов, до имени нашей и этих танцующих утят и матюгастых грохотливых лягушат Родины — Союз Советских Социалистических Республик, выше, над второй колоннадой чёрные люди-статуи устремили свои коллективные жесты тоже ввысь. стоящие парами по углам павильона гордые и жизнерадостные мужчины и женщины — они словно говорят нам: «Как прекрасно видное отсюда, созданное нами всего за две пятилетки труда, одну пятилетку войны и послевоенного восстановления — поднимайтесь выше, дальше, туда вперёд, к коммунизму идите, там великолепно, ребята!». но к кому им, потратившим столько сил на созидание более справедливого и совершенного социального строя в своей стране поколениям, обращаться? к матерщинным насосам?

правая часть по нашему пути — архитектура уже постсталинская, хрущёвская и брежневская, тут в возврате к кубизму и латентному конструктивизму воспевается НТР — период перехода социализма к коммунизму, по идее, снятие противоречий между умственным и физическим трудом. обходим центральный павильон и по дороге замечаем необычный, но традиционно клетчатый люк — «МСПТИ ГСМ г. Харьков», вот аж откуда его привезли, этот тяжёлый подножный, не многим заметный элемент Выставки. с другой, лицевой для входящих через главные ворота, стороны — колоннада вогнутая, словно гостеприимно зазывающая, забирающая к массивным дверям с окнами в форме сот. сверху глядят потускневшие златомозаичные гербы пятнадцати республик Союза. а сбоку к зданию — устремлению Эпохи прилепились новые бирки-вывески Постэпохи: «Ассамблея народов России», сколько вариантов эрзаца не выдумывали реставраторы капитализма — и СНГ, союз без скреплявшего Союз пролетарского интернационала, и эту «АссАмблю без ансамбля» с выхолощенным советским тамадой Абдулатиповым во главе. решили заглянуть внутрь с комсомолкой. ручки массивных дверей — исконные, с патиной, с витым рисунком, отполированным столькими хватками... здесь внутри, за вторым рядом дверей тоже можно разглядеть нехитрые метафоры преобразования помещения созданного Эпохой, рекламную мелкую поступь тут Постэпохи.

в помещение прежде явно большое и единое, торжественное — встроены теперь заслоняющие видение подлинных его масштабов клетушки коммерческих отдельчиков, торговые территории. как поделила частная собственность страну, как растащила на удельные княжества, байства и ханства СССР контрреволюция (и Твои дворы в центре симптоматично распилив заборами теперь) — так и этот зал разделили между собой разные зарубежные лейблы, фотоотделы, электроника, бытовая техника, игрушки. товары, деньги, цены, потребности и их опосредованное куплей-продажей удовлетворение — вот вам возврат к капитализму из-за неизжитости денежных знаков, из-за неминуемости переходной стадии. замахнулись в сталинском ещё изобильном стиле буржуев перебуржуить по уровню жизни, по потреблению на душу населения — так вот это население (при отсутствии последовательного, преемственного от Ленина — Сталина политического руководства как такового) и захотело этот уровень не снижать, не

обращая внимания даже на базис, а ну его, базис. правда, большинство населения так и не повысило этот уровень, а потеряло даже прежний — с гарантированным отдыхом, бесплатным лечением, жилплощадью, — но ведь кто-то же получил виллы зарубежные, все эти барские ощущения, лишённые которых в СССР, не этого ли ради идеала свершали священную контрреволюцию «демократы»? а те, кто остался внизу, вот и до сих пор бегут за покупками по бывшей Выставке и нынешнему Торжищу — граждане, доудовлетворяющие свои материальные потребности, мечты о приобретении японских телевизоров, бытовой техники. бегут-несут коробочки, за ними и сюда едут, тут подешевле — а это оформление пафосное скульптурно-архитектурное социалистическое, оно их не тревожит, пустой антураж, главное цены и товары, рынок-рынок.

в высоком помещении сделали второй этаж и к нему лестницы — не пропадать же дорогой территории. и глядят с потолка на это всё в левом от входа дальнем углу серп и молот, сплочённые в трудные годы, ждущие подкрепления тех, кто сумеет расшифровать за прежде казавшимися излишне помпезными полами, в барельефах и картинах — смысл, базис, революционный исток Эпохи, чтобы её продолжить. у правого дальнего угла в просвете между утыканными раздражителями-товарами, рекламами, выманивателями денежных знаков, торговыми скворечниками — глядят сверху со стены с бело-зелёных зарисовок советской жизни рабочие. инженеры, строители социализма склонились над огромной шестернёй, больше похожей на колесо первого трактора.

и даже отдел термопечати на ткани есть, где можно себе заказать майку «СССР». тоже как разновидность товара. выходим с Катюшей из этого забитого торгашами и товарами храма — не храма, конечно, куда более прогрессивной постройки, из архитектурного достижения Эпохи выходим, а не из общего места, где, извините, культ отправляют. то есть здесь-то теперь и отправляют — культ купли-продажи, опредмечивают потребность покупки и потребность в деньгах утоляют — на некогда освобождённой от капитализма одной шестой части земной суши.

к нам спиной памятник-Ленин в пальто, подробные видны его ботинки. лицо Владимира Ильича интеллигентно задумчиво, внимательно и немного озабочено — надеждой на то, что всё это вокруг стоящее, рассказанное архитектурой далёкого от него будущего 1930-х и 1950-х, свершится после пролетарской революции при мудрой, иногда даже в окопы нэпа отступающей, но не теряющей власти диктатуре пролетариата. проросли тут фонарями-колосьями будущие за революцией десятилетия.

у главного входа мы с АКМ устраивали году в 2001-м весной смычку комсомольских организаций «Мос-ковский ком-со-мол», шли к воротам распевая гимн СССР, хотели чтобы помимо АКМ и СКМ ещё и дружно с панками из клуба «Берег» (в котором и состоят ещё в «Авангарде» 1999-го перед концертом ГО и «28 ГП» виданные вылитый Сид Вишес и бородатый Летов-2) зашагать, я орал на них: «Панки, строиться!». но панки отвечали факами и продолжали гурьбиться, общаться на том же месте... давно это, кажется, было.

последовательность архитектурно-скульптурного повествования соблюдена — если идти не как мы наоборот — верно. сперва — вождь пролетарской революции Ленин и создание СССР, этот золотящийся мозаичным гербом Союза республик свободных павильон, затем сплочение в единый советский народ, в стремлении к бесклассовому интернациональному обществу в период двадцатых. и потом, уже ввиду впереди, с перспективой памятника-Сталина, с его целеполаганием и стратегией — к космическим высям. взятие которых на рубеже шестидесятых и было продолжением сталинских начал, разработок «шарашек», стратегических устремлений к мировому первенству СССР во всех сферах, особенно в космосе. да, это всё не состоялось бы без Ленина и Революции 1917-го, без Сталина и коллективизации, индустриализации, без Победы. великий советский народ — великий не словами, не легендами предков, не прежним, а настоящим — создаёт в Тебе новый центр, воздвигает своих исполинов Эпохи, выставку достижений своих до и после Победы, и восстановления в кратчайшие сроки. ВДНХ как проект будущего всей страны. менее чем через десятилетие по окончании мировой войны достраивает в ВДНХ довоенный 1939-1941 годов ВСНХ первоначального проектировщика (могущего и небоскрёбы возводить) Олтаржевского — чтобы дивились и агитировались иностранцы и соотечественники.

мы бродим с Катюшей боковыми путями, обнаруживаем ещё множество архитектурно замысловатых, ажурных, ардекорированных павильонов. мы ведь ориентируемся, весной были здесь в крайнем павильоне, где слева магазин Music Hammer (где я купил свою бас-гитару Washburn окраса sunburst) — на кубинском вечере, над сценой там, в здании с лепниной, в основном подсолнуховой, цветочной темы, выпуклыми белыми, ныне не позолоченными буквами сказано из Эпохи нам, будущим, вперёд: «Вперед, к торжеству коммунизма!». сбоку справа от сцены наверху полукруглый декор-балкончик в духе неоклассицизма, словно для августейшей фамилии, но — дань стилю. и зал был на кубинском вечере (хоть задник сцены политкорректно оформили соцветием триколора и звездатого кубинского знамени) полон не только нашим братом леваком, но и курсанты-жуковцы в чёрной форме клялись защищать остров Свободы с оружием в руках, звучало от кубинцев в ответ «Венсеремос!», полный зал единомышленников... Общество дружбы с Кубой, ветераны Карибского кризиса — все они, даже под триколором, но уверенные, что их страна вступится за Кубу перед США, если что — вот оно, гражданское общество, вы там наверху думайте что хотите, Путин, в меру ехидства и коварства юлите между Бушем и старой советско-кубинской поколенческой и идеологической, да и уже просто родственной дружбой, а мы тут сами уж..

находим на окраине парка даже охоте посвящённый павильон, не менее прежних изящный архитектурно, со статуями наших монголоидных соотечественников, советский народ, охотников — пушнина тут тема, а давно не перекрашивавшаяся синяя дверь в центре павильона кажется дверью в советское прошлое, даже видно что-то через неё, но не открыть. тут и о зверушках пушных заботятся, запах звериного жилья в овраге, в ещё существующих подсобных помещениях этого павильона... и возвращаясь по дуге назад — читаем ещё имена

павильонов с другой стороны: Академии наук СССР — Химия (где когда-то была выставка маминого института ГЕОХИ), Лесной промышленности, Гидрометеорологии даже. уходим боковым выходом, всё так же статуйно торжественным. рассказываю Кате про акции анархистов девяностых годов, тут на пруду за памятником Тимирязеву что — «Ледовое позорище» (ползли по льду с набитыми снегом подушками и дрались ими, рискуя провалиться под лёд, согреваясь затем анархо-краеведческим коктейлем, принципиально Д. Моделем и Захаром Мухиным разводимым из любых компонентов — полтора литра газировки и аперитив вроде «Карелии», например), в тот же день, когда нацболы отмечают «День нации». причём одни и те же неформалы участвовали в обеих акциях. было время, когда всё рядом, самое начало вселенной Постэпохи...

по прямой идём на остановку ждать шестьдесят девятого или тринадцатого троллейбуса — когда-то тут мы стояли семьёй: я, мама, бабушка, иногда и тётя с дядей. мы уезжали так обычно с празднования дня рождения двоюродного брата, тоже мартовского. но бывало холодно в уже весной пахнущем пространстве. к жившему по соседству с гитаристом Мастера Сергеем Попковым (некогда дарственно написавшим мне, ещё школьнику, диск «С петлёй на шее» с пожеланиями творческих успехов) моему музыкальному двоюродному братцу, лучшему джаз-барабанщику города — всегда интересно было ездить. особенно в подростковые времена: тут в угловом первом доме проспекта происходила взрослая, новая жизнь, жена брата занималась бизнесом, он — музыкой на домашних фибсах (имитация барабанной установки) и приготовлением обедов, гендерная инверсия такая.

троллейбус быстро довозит нас с комсомолкой по прямому пути до второго моста (из-за ремонта, тут тринадцатые троллейбусы поворачивают, по ту сторону то же самое) — то есть только до Марьиной Рощи, откуда мы замысливато по солнышку догуливаем до Музея Вооружённых сил (следующие буквы СССР, исконного названия, в стене замазаны) — решили посмотреть немного на экспозицию. самое главное обнаружение — то, что в мозаике на втором этаже, куда ведёт лестница — свободные советские люди, победившие мирным трудом милитаризм всех врагов в числе поверженных флагов у них под ногами, в числе нацистских и прочих, топчут триколор. тоже завет — пока не замазанный и не отредактированный режимом Реставрации. зато во втором же зале (а зал Гражданской, конечно же, закрыт — чтобы не усиливать, точнее, не транслировать шизофрению власти народу). и, конечно же, в ближайшем из залов (афганцев) наш герой-президент, президент-подводник в морском головном уборе (про «Курск» тут не упоминается, только снаружи в аллее есть теперь памятник, где идущая ко дну подлодка словно страна — с двуглавым символом Реставрации, падения, деградации, утопленничества), и целая его витрина отдельная, президентская, верховного главнокомандующего. проходим по знакомым с детства залам — всё помещение кажется меньше, а одежда времён Гражданской — слишком толстотканной и грубой, особенно шинели.

усыпанная немецкими крестами витрина вызывает у Катюшки воспоминание чьего-то рассказа, как пришедшие сюда бонхеды клялись, глядя на этот мусор: «Ничего, мы вернём вас на достойное место».

выходим к оружию в сад за музеем, к бронепоезду и танкам — от первых до нынешних, новых не изобретают. эволюцию танков интересно проследить: от лёгких и маленьких через массивные и крупнокалиберные — к тем Т-семидесятым, что снова полетче, но не менее прежних грозны при большей маневренности. всё это история оружия социалистического отечества, история и ракетной гонки вооружений — всё у нас было, чтобы нам не мешали строить наш социализм и достроить его до коммунизма. прямо в каждой модификации танка или самолёта видим это, всю эту реактивную, на перегонки в гонке вооружений устремлённость — где социализм даже в таких серебряных птицах и ползучих своих зелёных крупнокалиберных проявлениях не отставал, где революция наша (плацдарм дальнейшей) не сдавала позиций. такими лёгкими кажутся теперь напоминавшие ящеров передвижные на толстенных колёсах ракетные пусковые установки, ядерную ракету могущие отправить в любой момент по новому очагу контры.

по известной мне с детства лазейке через теннисные корты перебираемся из этого грустного, не нужного для продолжения борьбы с капитализмом (а нужного теперь только для внутренних войн вроде чеченской, кладбища советских военных оружейных завоеваний) в Екатерининский теперь, после перебирки Ов-ки Реставрации, парк. но Катюше даже весело — её парк Советской армии. зелёные, но никого не пугающие уже позади нас высятся арсеналы несокрушимой и легендарной не-Красной, непонятно какой, недофинансируемой буржуазным режимом армии. без Советов и армия обнищала... Катерине, имени которой парк — мороженое полагается, покупаем и идём к Театру советской армии. разглядываем его снизу, из-под двойного, словно зубного, ряда ардеколонн — сличаем с теми обещаниями, что у Катюши на «Речном вокзале».

на здании вокзала при входе со стороны воды и с другой — словно домашние украшения, кухонные, тарелки такие: в них Твои чудеса, пролетарская Столица, новые на рассвете Эпохи, 1930-х. станция метро «Киевская» Калининской линии, что за метромостом первая — узнаю по серпам-молотам в венцах колонн. метро «Дворец Советов», «Кропоткинская» нынешняя, которую архитектор Душкин проектировал, высотник — в ней колонны (для обзора с любой стороны) пятиконечными звёздами упираются в потолок, хотя такого не может быть, чётное количество граней. и среди прочих чудес, почему-то не жёлтый, как ныне, и не зелёный, как прежде, а красный — красуется Театр Красной армии, только наверху у него (а сверху он выглядит пятиконечной звездой) не башенка пустая нынешняя, а целая скульптура красноармейца в будёновке, с винтовкой. скульптор, знакомый семье, Яков Купреянов знает, где хранится та, так и не водружённая статуя, — в Даниловском монастыре. томится среди многовекового посконного уныния мощей да молебнов гигант-красноармеец, словно богатырь нового времени, пленённый в непреодолимой, непомерно для него тесной древности.

скульптура была сделана металлической и поллой — не поставили оттого, что аэродинамические параметры были рискованными, могла упасть от ветра. по замысловатому периметру театра, по длинной и высокой лестнице перебираясь под великими и далёкой красой ар декО пленяющими стенами — обходим театр. рассказываю спутнице Катюше, глядящей в круглые сверху просветы — про то, что театр изначально был спроектирован для демонстрации в нём массовых торжественных спектаклей, посвящённых победам рабоче-крестьянской армии над мировой контрреволюцией: даже танк мог въехать на сцену, такая крепость и твёрдость подъездов. и в спектаклях участвовали конные коллективы, и тоже человек Эпохи, Зельдин, известный голубоватостью манер, но Сталиным примеченный — здешний воспитанник и теперь воспитатель.

вот странная близость эпох в Тебе: за Театром Советской армии теперь, в этой координатной сетке, под загадочными и влекущими нас прежних, с моей девочкой, возвышениями, колоннадами и круглыми окнами театра — флигель больницы, где родился Достоевский, туберкулёзники там где-то ходят-гуляют. а мы с Катюшей уходим в сторону Лесной улицы зелёными незнакомыми ей просторами улиц.

нет, я не стану рассказывать нашего с ней пути — ведь это не мы с тобой, Тан, идём. и идём по-другому, товарищески скорее, но Катюше хотелось бы — чтобы не только, чтобы нежнее и чаще целовались. вот несправедливость и нечет какой-то — я у неё первый, но вовсе не тот, который ей нужен, её темпераменту, темпу, её жгучей масти. и я знаю, уверен, что и она не чувствует ко мне той свирепой, безжалостной, сметающей все сомнения тяги, что я испытывал к тебе, Тан. как бы ей объяснить? но не сейчас: ведь мы приближаемся к Бутырмам, обходим тюремные и следственные помещения со стороны Горлова тупика...

— А если меня посадят сюда, ты будешь ко мне приходить?

Катюша наивный ещё ребёнок в свои восемнадцать. но с героическими чистыми устремлениями. ей-богу, зря я, грешно как-то, поспешно её посвящал в ванной в свои изощрённые языческие снизу ласки, получая из её девственной нутри в ответ вкус совершенно тот же, что бывает под мышками, гормональный, вяжущий — запах и вкус неразделённых страстей, одинаковый у М и Ж. не зная, что тут можно ответить, она испуганным медвежонком карим глядела сверху, смущённая такой дальностью знакомого чаще по разговорам моего лица.

обойдя после массивного, но не без конструктивистской идеи здания ДК МВД и белокаменного травмпункта небольшую новую постройку-гараж, мы вышли в пространство прибутырских дворов и сразу же заметили близость жилого массива по отношению к местам заключения. сперва бросилось в глаза одиноко стоящее жёлтое здание без окон, но с глухими чёрными решётками наподобие жалюзи, на которые изнутри местами что-то цветное пакетное накручено. мы подумали, что это просто вентиляция, за решётками которой изнутри скапливается выветренный мусор, но потом всё же поняли, что это камеры. а дальше — и того откровеннее.

длинный и узкий, ещё один корпус, видимо, отводится в Бутырке для так называемых прогулок. всё отличие от камер тут в том, что сплошной этаж отго-

рожен от внешнего мира довольно широкими проёмами, позволяющими многое видеть, решётками. на них тоже заключённые накручивают полиэтиленовые пакеты — чтобы не за железо держаться, когда как волк глядишь и внутренне воешь на свободу. мы с Катей даже столкнулись с несколькими глядящими в нашу сторону оттуда глазами заключённых и как от прокажённых от них поспешили вперёд вдоль длинного панельного дома, ведущего нас наискось мимо этих мест заключения. какой соблазн для них, невольников — видеть, как в трёхстах метрах от них выгуливают собак жители панельного белого дома, как парни проводят мимо девушек. ведь отсюда можно и свидания устраивать с помощью бинокля. или побег — шарахнуть гранатомётом по стене в то место, о котором предупредим заключённых, чтобы освободили, и пусть в пролом бегут...

есть и такие у Тебя пока места, грязное, туберкулёзное жильё заключённых, среди которых в Постэпохе появились и политические, молодые просветлённые ребята и девчата — те, что пытались, ведомые такой же, как у нас с комсомолкой, мечтой что-то взорвать, изменить в этом мире своими в кофемолках перемалываемыми взрывчатыми веществами. за что и сидят теперь кто где: вместе со значительной частью работоспособного населения, по разным случаям упрятанного в эти обречённые, переполненные места, в душные рассадники болезней. от подобных пространственных запертЕй мы в ходе коммунистической революции должны освободить потом всю Вселенную — чтобы всем легко дышалось.

тёплый день сближает пространства, так что нам казалось возможно услышать разговоры и запахи из этого нежеланного, кое-где на просвет видного дома с хмурыми и сквозными внутри этажами. говорим с Катюшей о политзаключённых тут, о том, что «не зарекайся», особенно когда ведёшь идейную борьбу с властью. рассказываю ей, мало осведомлённой в истории нашей новейшей борьбы, про дело НРА, про Ракс, Романовых, Бирюкова. ведь начинали они все как неформалы, анархокоммунальные квартиры, анаша, «Трава и воля», начинали как с начала девяностых контркультурщики — а теперь их защищают комитеты по освобождению политзаключённых, эти революционные, часто между собою пережившие романтики влились в историю сопротивления Реставрации и контре. только вот контра эта выросла из самого официоза — в чём интрига Постэпохи. и, вроде бы, не контра вовсе — а обличённая традиционным народным портретным доверием и бряцающим двуглавым геральдикой пафосом, надбазисная, непреходящая, наследуемая через головы контрреволюций и правительств новой буржуазией от КПСС власть.

дворами же, всё говоря о политзаключённых, как-то вобрав в себя эту хмурую эстетику обмотанных пакетами решёток на прогулочных этажах Бутырок — мы выходим с комсомолкой на Лесную. иду показать ей некогда тобою, студентка МАРХИ Тан, подробно прокомментированную постройку самого начала конструктивизма — ДК завода имени Зуева. угол серого ДК — мелко остеклённый в два слоя (в железных рамках квадраты стёкол) высоченный цилиндр. вид футуристический, по тем временам начала века — вообще космический. на первой фотографии этого здания мимо проезжает ещё извозчик, что усиливает контраст времён:

каре́та прошлого ука́тывает в это самое прошлое, а конструктивизм, стоя на месте, на самом деле уже в будущем глядит на своих продолжателей, на потомство стенное по всей стране. когда-то большие окна шли наверху по опоясывающему цилиндрический объём заугляющемуся прямоугольнику во всю длину, но неблагодарные, эстетически не достойные создателя ДК Голосова потомки для каких-то функциональных нужд заложили, замуровали часть окон, остались только небольшие ниши. внутри виден спортивный зал. говорим с Катюшей о том, что, в принципе, эти пространства пролетарской архитектуры выполнили свою функцию — в них культурно и физкультурно воспитано не одно поколение наших родителей в целом, сюда ездили заниматься хореографией из разных районов. культура новой Эпохи, вобравшая лучшее из прежних, вливалась на паркете ДК в хореографических классах — в прежде ей недоступные классовые интеллектуальные ёмкости-пространства, множилась и расцветала в массах. и даже наше поколение захватило чуточку бесплатных занятий в подобных местах.

от ДК Зуева веду комсомолку на её зелёную ветку метро, к «Белорусской», но она настаивает на «Маяковской», чтобы ещё побыть-поговорить. на встречные в витрине рекламы с полуголой или вовсе голой, но с купюрами сфотографированной, смуглянкой в магазине то ли спортивном, то ли одежды, Катюша реагирует ревниво-любопытным вопросом: «Тебе это нравится?». стараюсь не коситься на соблазны и начинаю ей вовсе о другом говорить, о наболевшем — что связывающее нас не есть полноценное, не во всю мощь чувство. наивный КатюшОк сперва молча слушает, потом начинает делиться своими по этому поводу предчувствиями, а затем и вовсе пускает тихие слёзы. ох уж эта в моём исполнении онегинщина, ответ Евгения Татьяне!.. и даже памятник Фадееву и его разгромленному отряду во главе со всадником Левинсоном — не задерживает нашего внимания теперь. не спасёт и продолжающий тему ВДНХ сталинский дом пятидесятых за Садовым кольцом — массивный, широченный, с жезлами оградными на крыше и гранитным низом, серпом и молотом в шестерёнке-ромашке над воротами у посольства — где слева ресторан «Ампир» и Банк Москвы теперь.

она уезжает на свой край зелёной ветки метро уже без надежды встретиться со мной по-прежнему. но лучше оборвать раньше. видимо, теперь это входит у меня в порядок вещей, прямо как Корчагин стал лирический Твой поэт: никакого личного счастья в период общественных невзгод — уж коли дано мне их предвидеть и просто видеть своим эстетским оком под поверхностью так называемой стабилизации. не до Лава — быть бы РЕву. странно: только с Катюшей я понял, как может быть неприятна чужая внимательная симпатия, привязанность, даже и неумелая её нежность нежеланная — понял тебя, Тан, в некоторые моменты раздражавшуюся на мою любовАнника пристальность и настойчивость (тут-то и сказывалась не взаимность притяжения, один — всегда «позволяет»).

в этом лете, давно уже без ласк и взаимности твоей, моя девочка, меня тревожат сны преследования и наслаждения — сублимЕ-несублимЕ, пусть пси-

хоаналитики разбираются — они насквозь протравлены творческой редакцией, так что там и либидЫ никакой не видать...

сны преследования: Лимонов. ночь 26 июня 2003-го. первый сон обнаруживается на задней площадке школы, где происходили уроки по НВП: на квадратном асфальтированном и размеченном участке надевали противогазы, строились старшеклассники. я вижу издали и сверху (потому что это одновременно и восьмой этаж дома, где квартира тётки, а я вижу как бы через дом в сторону его двора к Арбату), как большая куча людей празднует освобождение Лимонова. он в вылинявшей серо-голубой кепке как у полицаев — в центре ритмично накачивающего на него столпотворения, не может войти в роль триумфатора и сначала растерян, неэмоционален. но потом он входит в экстаз и начинает какое-то пьяное камлание, двигает головой как голубь, издает вдох-выдыхательные ишачьи визги, громко чмокает (мм-птц, мmmm-птц) и по-пьяному безумно смеётся, выражая радость освобождения. догадываюсь, что этот безумец сейчас пойдёт меня, газетно писавшего о нем плохо, искать и не пощадит в этом угаре. ситуация как в прятках. поэтому начинаю приискивать места для убежища, иду по прозрачной, не низкой, не высокой линии от подъезда школы к детской площадке, что на углу к Калининскому, под деревьями. просыпаюсь, шатаюсь иду в туалет и сливаю горячий жёлтый страх в унитаз. засыпаю малость ошеломленным, но скоро.

второй раз Лимонов сидит с грустным и пожилым лицом, чем-то Путин. сидит чахлый, низко сутулившись, не один, за бабушкиным столом, осуждающе смотрит на меня: «Как же это ты так?..».

сон наслаждения: Волочкова. ночь 27-го. где-то над водопадами или курорт: широкая кровать или даже пол, хижина, бунгало. она нагая и изящная, подросткового склада, не нынешнего. предо мной с видом на узенький и неяркий даже в белёсой волосомаскировке входик. прозрачные нежные волосы. мы с ней совместно извиваемся, но до дела не доходит, хотя обозрение широкое и несколько раз восхищаюсь грудью.

1.08.03. не чувствовал Тебя так близко — из этих стен, из пространства этой самой центральной гостиницы. она называется Твоим именем. она велика над Кремлём.

бегаю тревожно вдоль серых, прямоугольно культурно рельефящихся щусевским ар деко стен. мы снова с товарищем Виктором: рвёмся сначала там, где главный гостиничный вход, три звёздочки под широконогим постфутуристским шрифтом «МОСКВА». заперто уже, замОк, и только призрак-охранник, изнутри за стёклами делающий пассы — мол, не здесь теперь вход. как-то раз в девяностых, возвращаясь вечером с концерта из КДС от Кутафы башни к Петровке, пройдя бухие молодёжные массы на Манежном комплексе, стали свидетелями апокалиптических, типичных пьяно-полицейских мановений Постэпохи. после очередного концерта СПС за гостиницей здесь патрулировали, как в военное время, конные омовцы, а двое восточноликих мужиков при полном равнодушии этих охранников порядка отливали переработанное пиво прямо сюда под

дверь, мы на них набросились всей семьёй, а они стали убеждать, что не могут ждать очереди в голубые туалеты, мол, почки больные, пожалейте нас... под эти по-советски радушные гостеприимные буквы названия гостиницы — гадили, окверняли стены Эпохи. а в каком торжестве поднималась она, соревнуясь с Совнаркомом в своих тридцатых! белые сильные статуи строителей нового общества в торжественном свете очередной годовщины революции глядели от Манежа сюда через освобождённую от доходных домов, сараюшек и церквушек Манежную площадь (обломки почти упиравшегося в новостройку-гостиницу модерна и эклектика ещё валялись у подножия «Москвы»)...

пытаемся с лица забежать, вход за колоннадой, вправо, там работяги отсылают в службу охраны. здесь базар, а не лицо гостиницы: туалеты, лотки пивные, вещевые, «Джекпот» торопится, выезжает. в крыле напротив музея Ленина тоже всё заперто. входим с тыла, в часть строенную в семьдесят шестом — семьдесят восьмом, после моего рождения, брежневскую. лестница как в санаториях, отделка дверей «под» то, что увидим вскоре, поговорив с директором гостиницы в его respectable-ном кабинете средней руки — широкий красноватый стол, вид из окна — прямо на Большую Дмитровку (видны даже башни на Садово-Триумфальной, крайняя с водонапорной или локаторной «шишкой»), по которой, проводив тебя до метро, моя девочка, я возвращался домой, иногда на выходе бросив взгляд в эту сторону.

из пристройки семидесятых входим в тридцатые. красный дубовый паркет, красные дубовые двери, плинтуса высокие. «ВАННАЯ» — добрая, старая надпись на дубовой двери. двери лестницы остеклены пупырчатым стеклом, как в домах пятидесятых. «ДАМСКАЯ КОМНАТА», «МУЖСКАЯ КОМНАТА» — тем же положим, с вежливыми закруглениями шрифтом. Ар декО. консьержка журит: поздно пришли.

вниз, к ресторану «Москва». гигантский вширь и ввысь зал. колонны квадратные — малахитовые и лазуритовые. тёмный паркет. широченные круглые люстры. в середине ресторана сцена, недавно возникшая — за ней спуск на лестницу. в центре в потолке — картина. это вид вверх, сквозь потолок и десятилетия: тридцатые советские годы.

девушка на качелях счастливо раскачивается, между балюстрад и арок в небеса. там вечер и салют. неоновые, сиренево-голубые, нежно закругляющиеся прописные буквы гостиницы: «Москва». вот где обнаружил уже потемневшую недореставрированную фреску моей Эпохи, в самом Твоём средоточии, в центре. куски её холста отклеиваются, отстают от специальной ниши в потолке. тихо гляжу, не вспугнуть бы в небесах прошлого мечту, рассмотреть бы её всю. шаги наши по паркету чётко слышны в опустевшем зале прошлого нашей Эпохи, голоса как в консерватории. словно сады Семирамиды: аркады, поднимающиеся в небо, на балюстрадах люди ликующие, глядящие тоже вверх, с красными флагами. дружная советская семья народов. девушки в платочках, комсомолки, наверно. спортсмен в белых спортивных трусах делает упражнения на кольцах. странная глупая маска на одном человеке. или это издёвка реставратора? курносая маска с гитлеровскими усами. нет, ведь карнавал, обычная маска (вспоминаю тему масок и в людских барельефах серого брата «Москвы» в Глинищевском пере-

улке). сбоку (слева от окон) торжественно освещённые буквы, выгнутые полукругом: СССР и пятиконечная звезда. с другой стороны композиции, в том же месте — серп и молот. дружная семья народов — сталевары, спортсмены и комсомолы — празднует свою победу в масштабах человечества. по углам балюстрады — задранные на дыбы лошадиные ноги статуй. как тут не вспомнить ВДНХ? большой стиль. духовой оркестр сообщает вечернему небу о празднике. было время: жил здесь народ-победитель, неся в мир, всему земному шару, всей Земле своё красное знамя освобождения труда от капитала. не донёс.

в прорехе стены пустая кафельная территория некогда громадной кухни ресторана «Москва». левее — лестница вниз. каменные плоские ромбы мрамора на перилах, за которые приятно держаться. зеркало, чтобы видеть, прихорашивать себя, поднимаясь в ресторан. часы слева и справа, над входом в банкетный зал с инкрустированным паркетом — остановились на «без десяти после часа»: дело в том, что часовая стрелка ближе не к двум, а к часу, не может от него оторваться. минутная: без десяти.

да, товарищ Сталин, я читаю твою Эпоху, твоё детище — только теперь, накануне разрушения этого последнего у Кремля бастиона Эпохи. мне нужна реальность, бывшая здесь: люди, звуки, шаги, порядки, манеры. пытаюсь понять, замкнутый в это навек опустевшее, почти уже не существующее помещение прошлого, великого, революционного и строительного, возводительного прошлого. сюда приходили высшие военные чины с ромбиками, квадратиками на шевронах. чинные, аккуратные, сдержанные. с жёнами, у которых волосы собраны в вьющиеся пучки над затылками: угостить отвоёванной у буржуев, совместным освобождённым трудом завоёванной, новой роскошью. выстроенной лучше дореволюционных дворцов красотой, но не буржуазной. красотой и роскошью теперь общей. дорогим был ресторан? наверняка. ведь не просто место для ресторанного светского посещения — чудо культуры, итог первых пятилеток, предвоенный оптимистический взлёт, как на тех качелях, девушка. защитники советского народа, угощаясь, глядели на эту картину в потолке и больше любили Родину и социализм.

её пытались реставрировать, видно, кое-где она отклеена уголками, висит. большая часть её почернела, потускнела до контуров. как и Эпоха в сознании утративших её коренное понимание масс.

спускаемся сквозь темноту вправо, в мраморный зал. потолок в квадратах, больших плитках. в каждой на розовом фоне барельефно выпуклое, керамическое — чудо света Советской страны, завоевания тридцатых. дом С.Н.К., сосед гостиницы, Совет Народных Комиссаров. Москва–Волга: здание речного вокзала из «Волги–Волги», со звездой на шпиле и другая, под таким же названием плитка — шлюзы. вестибюли метро «Арбатская» голубой линии и «Кропоткинской». улица Горького со статуей Советской конституции на месте теперь Долгорукого, ближе него к проезжей. Театр Красной армии (без статуи красноармейца наверху, то есть уже построенный). два вида самой «Москвы» — анфас с Манежной и, видимо, вид сзади, ещё не построенная колоннада. Манежная площадь: здание

бывшего американского посольства. павильон С.С.С.Р.: рабочий и колхозница на первоначальном, парижском постаменте. Крымский мост.

здесь же и последствия падения: потолок — это буквально потолок прошлого века, венец строительства, творения нового стиля, внизу — финал. здесь было казино в наше время. встроена стойка бара, на взломанном паркете валяются карты, двойка треф. напротив стойки бара — каморка, где меняли деньги на фишки. розоватые церкви вылеплены или нарисованы чем-то шершавым в имитации арки — уже при Брежневе.

мы у лестницы, которая в регистрационный зал спускается, куда я ещё в салон «Обухов» захаживал, теперь опустевший, даже иномарки покинули его, не говоря уж о потешных манекенах, призраках вождей. мрамор кремовый, богатый. перила тяжёлые. рисунок балясин — лейтмотив всей гостиницы (балконных внешних балясинок в белом мраморе): бруски с вертикальными ложбинами. из храма Христа Спасителя, оказывается, эта лестница вывезена перед сносом была. революционная, советская диалектика: разрушение во имя созидания новой красоты, нерелигиозной, светской, советской роскоши. советская власть разрушила храм девятнадцатого, антисоветская рушит храм двадцатого во имя новой роскоши и комфортабельности — назад-капиталистической.

потолки на этажах — «клетчатые». ар декО. в каждом впалом квадрате, фонированном бежевым, розовым, салатным, лимонным или голубым — на разных этажах — плавный полукруглый плафон. поздновато ты это увидел, товарищЧ. окна этажного вестибюля — от потолка до пола. ар декО, конструктивизм. ныне безжалостно разрушаемый большой стиль: рядом с линией лифтов проломлены дыры в потолке каждого этажа для сброса вниз по дощатому коробу обломков.

снова красный дуб, запах паркета старого — едва кошачий. запах тревоги здания. идём вдоль лицевого балкона за аркадами. белые рамы. белые двери, не убавляющие освещенности. как на корабле. сталинский порядок и аккуратность. при балконе — комнатка дежурного, чтобы не шалили выходящие на балкон на такой высоте. номера с видом на Большой театр. лезем по маленькой, конструктивистской лестнице на пятнадцатый этаж, на смотровой выход. наверху уже следы варварств, нацарапанные варом на пего-оранжевом фоне стен надписи работяг-рушителей, уверенных в том, что это последнее хулиганство: «кюрийка, однако», «место для курения!». их же сильные, работающие, плотные и мускулистые деды из дружной семьи (обречённых ныне своим же идейным предательством фундамента Эпохи) народов возводили это чудо своей Эпохи, а эти тощие смугляки за жалкие доллары 100-200 в месяц, за дающие им однодневные, а их семьям немногочисленные бытовые радости заморские деньжата — ломают весело. ломать — не строить. а ломают — так многие сбомжуются без работы — такой работы теперь не сыщешь, гордость какая будет — ведь «Москву» ломал. да, всему конец приходит — всему рукотворному и конец рукотворный. выходим на смотровую возле левой башни, если из гостиницы, от нас глядеть.

вид с советской высоты, из-под сталинской отделки карнизов и колонн башни (кстати, ребристых, классических): пустая, огороженная от террористов,

Красная площадь, Васильевский спуск, мост, троллейбусы, Москва-река, обшарпанный двор музея Ленина, кремлёвские закоулки. улица Горького и строящийся Триумф-палас вдали тенью. наступление Постэпохи оттуда же, откуда гитлеровцы рвались. люди внизу, на комплексе Манежной — ничего не подозревающие, а этот этаж уже рушат. номера разорены, «камышовые» сетки-опалубки болтаются. только в ванных — спокойные плавные плафоны, ровный, близко подогнанный кафель. советский комфорт и гигиена.

обойдя башню, легко нахожу вдали знакомые дома, и свой в том числе. «Склиф», ещё что-то высокое — за «Олимпийским» здание. да, с этой рубки — видеть будущее планировали строители гостиницы и социализма. и я вижу его, это будущее. оно ужасно для них. реальность ощущений здесь подзуживает к усилению: прыгнуть и захлебнуться Реальностью. чтобы не сомневаться, не сон ли. золотящиеся двуглавые Исторического музея внизу — какая ерунда по сравнению с пятиконечным густорубиновым таинством, с кремлёвскими звездами. а уже новая эпоха. Постэпоха. купили двуглавых у прибалтов братья Плути Палыча, занимавшегося Реставрацией кремлёвских покоев для контры, водрузили над Историческим — и вроде народ осознал, кто над ним властвует.

эй, советский мой народ, мыкающийся по Манежной площадке — ты ведь потомственно и граждански в основном ещё тот, что там на картине, на фреске Эпохи под потолком?! ты ещё живой — тех же годов рождения, что и гостиница. почему же ты стал таким немощным, способным только на потребление, на паразитарное существование за счёт продажи нефти да газа при нынешней «стабилизации»? почему ты стал невольником и лузером от собственных сомнений, переосмыслений, трусости идейной, запуганности от вражеских наветов. вот и рушат эту рубку, этот капитанский мостик флагмана, на котором плыли к коммунизму. мы плыли, не вымышленные — а реальные, с кровно- и мыслеобращением.

но что-то нас сбilo с пути, с мысли. буря? нет, всё в тихой воде произошло. справа висит громадная, заслоняющая балконы с аркадами, под которыми (четырьмя) в тридцатых красовалось всего-то «КАФЕ». жёлтая реклама МТС, как окончательное торжество капиталистической эстетики, закрывающая стыдливой вуалью убийство памятника социализма. я пользователь МТС теперь тоже. я житель этого времени. и я его переборю! надо мной выпуклый, имперский рисунок карниза — грядущий после ар декО неоклассицизм, который в здании том, внизу, посольства американского бывшего, за «Националом» уже вполне реализован.

ты строил мощь, Сталин. ты требовал силы от архитектуры. а демонстрация силы, убеждающая массивность, неоклассичность — это «излишество», как обозвали потом. но как ещё отринуть эстетские претензии буржуазного врага, обвинения в «чумазости» и доказать завоевания не только внутри, но и снаружи? вопреки наметившейся конструктивистской линии на рационализм использования материалов, минимализм — гордости требовал, величия и роскоши. чтобы доказать окружению буржуазных стран, чтобы пригласить их в гости в гостиницу и показать, как их перегнали, чтобы залюбовались буржуи, чтоб забулькали в них

ферменты, на роскошь ходкие. наши излишества — не излишества. это оружие агитации. роскошь — слуга нашей мировой революции, хоть и внутренний враг.

торжество Эпохи, тебя рушат. не ходить, не глядеть сквозь мавританские аркады (на вкус вождя) будущему населению, как многонациональные дети республик Союза прежде могли. «абсолютно асимметрична», — сказал наш рыжий провожатый работяга. да: иду налево, то есть к Охотному Ряду, и вижу впереди лестницу посреди коридора, такую же — своим линейным рисунком опор — как та, по которой взбирались, но которой на аналогичном месте нет позади меня. номера разорены, пол квадратно проломлен. товарищу Виктору не хватило плёнки. бегу вниз. вот восьмой. опять мимо заслонённых желтой растяжкой МТС окон пред аркадами. «с возвратом», — говорю консьержке, привлекательной даже в среднепреклонном возрасте. этажи, разноцветные на каждом потолки. вслед за рябью имитации мрамора пошёл мрамор ХХС. мимо венцов колонн, в которых опять Советская конституция или два серпа, обнявших сноп колосьев. по коридору быстрым шагом. «Ванная», «Мужская», «Дамская комната». брежневская часть. тёмные двери. выход, какая-то туркомпания за дюралевыми дверьми, лестница санатория. выход.

замечаю в венцах серых колонн вестибюля «Охотного Ряда» серпы и молоты в круге. но в другом времени. тут ходят без бюстгалтеров, очертания прелестей легко угадываются под обтягивающей одеждой. хвастают собой. потенциально торгуют, соблазняют. моё лицо тревожно, недоверчиво. забегаю в гастроном «Кокотный ряд» (из-за пририсованных дизайнером к «О» наклонных черточек внизу выходит «QXQTНЬИ»), здесь плёнок нет, зато есть ещё сталинское изобилие: низкие круглые люстры с ниспадающими бусами из мелкого хрусталя, собранными к центру в пучок.

две девчонки, видимо гостьи столицы, спрашивают закурить. какой тут курить?! скорее плёнку. чувствую время. как оно торопится, выбегает из-под стоящей слева от меня и наивно представляющейся названием с тремя звёздочками внизу гостиницы и ее эпохи. вниз, к метро. играет симфонический оркестр, протолкнуться трудно. Вивальди добавляет философского трагизма действию моему и там, наверху, разрушению. эти люди не в состоянии понять происходящего. проходит в тёмных очках какой-то тщедушный киборг с почти лысой светлоёжистой или даже крашеной головой. этот не имеет ни корней, ни приблизительного гражданства, это космоса гражданин, сотрудник какой-нибудь транснациональной корпорации, веб-дизайнер, творец виртуальности. девушка туристического вида расталкивает впередиидущих велосипедом. это не наследники Эпохи. эти люди здесь, под «Москвой», случайны. если землю, на которой они живут захватят американцы, которые, кстати, «ДекМос», и будут «восстанавливать» гостиницу — они не смогут сопротивляться, они согласятся.

справа в ларьке с CD нет плёнок. добегаю до перехода под Тверской. «Фуджи суперия» на все сто. ни копейки сдачи. обратно бегу. оркестр играет паузу, зевает ещё больше. классическая музыка кратковременно облагораживает людское болото, блуждающее и бегущее по переходу, по Манежной, к метро. это Апокалипсис, и над

этим всем ломают Эпоху. отбойными молотками грызут паркет дубовый, тревожно пахнущий по-кошачьи. так пахнет здание накануне гибели. знаю это по Рабочей-6. и, как там, снова бегу коридорами. вот они родные, к чему стремился — стены и дубовые двери, «Ванная». красный дубовый паркет, сложенный не только елочкой, но и квадратами, ромбами, с инкрустацией — на ступеньке ресторана, ведущей в банкетный зал. лестница ХХС, потом темнее и в мелкую точку продолжение.

я тороплюсь, несущая плёнку. заснять Твою часть. перенести на плоскость — без запахов, без всех степеней свобод, данных движением. мы не защищаем тебя, Эпоха. мы хороним тебя. но делаем это мы, твои наследники, с почестями и пристальным вниманием — не враги, не унижительно. хороним, пытаюсь понять, что надо сделать, чтобы нас с нашей революцией так не хоронили.

мы снова на восьмом, идём в полу-люкс. здесь пахнет сладковато дерьмом: гастарбайтеры уже постарались, канализация давно отключена. квадратная, под потолок подходящая арка отделана светлым мрамором. спальня. здесь могли происходить великолепные сцены страсти в стиле ар декО. заваленная навзничь на шелковые простыни, обнявшая шею партнёра тонкими изящными ногами обильногрудая иностранка. в объятиях нашего какого-нибудь комдива, форма его на массивном стуле или в этом стенном шкафу. было ли такое в то время? вряд ли: шпионаж, опасность доноса. Дыховичный что-то снимал в этом стиле — но в наше похотливое времёО. вход в ванную сквозной, с двух сторон: ближе ко входной двери по узкому коридору и из спальни. ручки медные и тяжёлые. от многолетнего, почти векового использования завалились, не держат параллель дубовому полу. вид из окна специальный, с угла на Тверскую и Охотный ряд: Националь. там реклама внизу: «векъ Националя». точно, не «Москвы» век, Рес-таврации. но над этой буквенной архаикой, неизбежной для контрреволюции — изразцовая картина советской победы социалистического труда. едет трактор, за ним вышки нефтедобычи, заводы, колхозы, внизу спешит паровоз, в коммуналке остановка. это вид для жителей «Москвы».

смотрим в другую сторону, на дом СНК, Думу. под триколором — земной шар рабочих и крестьян. герб СССР — что иное, как не символ мировой революции? Мировой Союз Социалистических Республик. ведь серп и молот покрывают всю Евразию и ниже.

зачем вам это нужно было, товарищ Сталин? нет, не массивная лепнина, обратившаяся потом простой государственностью. восстанавливать буржуазные пространства заново — зачем? банкетные залы, шикарные интерьеры. не восстанавливать, а даже ещё крупнее строить. и писать для буржуев по-дореволюционному «дамская комната». чтобы доказать, что этим может владеть не обязательно, не только хозяин-буржуй, но и пролетариат, советский народ? или не в этом дело — роскошь не портит людей. точнее, не роскошь портит людей, а частная собственность. социалистическая собственность, пусть и роскошная, не портит? возможно. но тезис опровергнут: ради новой роскоши буржуи рушат вашу, нынче отсталую. и буржуи эти вышли из советского народа — соблазняясь приватизировать эту роскошь. и приватизировали, и разрушают затем. Луж-

ков — пламенный госкапиталист. это для него не роскошь. вот построит тут президентский номер 575 метров квадратных — так будет роскошь. зачем вы играли по буржуазным правилам, товарищ Сталин?

вместо гостиницы с дорогими номерами — дом-коммуна как на улице Орджоникидзе. но нет, вы правы, туда приезжие буржуи не пойдут. их удивить надо на их языке, угодить им. неужели невозможна революция полная, не карнавальная для врага? хотя, всё равно придётся создавать специальные места для пержитков. но почему мне так дорого это детище советской эпохи. эпохи первой социалистической революции?

потому, что в ней, в «Москве» — не только сталинское изобилие и победа социалистической мотивации труда. в ней и революция 1905-го, мечта о будущих дворцах полуголодных красногвардейцев и красноармейцев, и десятилетие боев, кровопролития, классовой борьбы открытой и внутренней — и, наконец, победа. новое общество, новое имя — советский народ. и ему такой подарок. самое высокое тогда здание — 15 этажей фронтальная часть! на серую стену, глядящую затайливыми выступающими рамами (похожие — в доме-чаше напротив Киевского вокзала), что образованы эркерами и балконами, в город приходили тоже дивиться — самое прогрессивное, высокое здание. для гостей, для посетителей Столицы из дальних уголков Союза — самое лучшее. плечистый дом с аркадой в верхнем центре, несущей что-то неуловимо-восточное, сталинское, чудеса, угощения для всех органов восприятия внутри и снаружи, торжество. асимметрия фасада — запечатлённый росчерк, след подписи Сталина, поставленной сразу на двух проектах. не решились архитекторы как-либо трактовать. так и построили. вот вам и параллельный перенос. но и вышло логично: шикарная и более украшенная, замысловатооконная, эркерная, балконистая часть — лицом к городу. лицом к Кремлю, к руководству страны — аскетичная, простая. сперва бывший Грандъ-отель, к которому пристроилось плечо «Москвы», а потом — брежневская достройка.

если, глядя на фасад, в центральной балконной вертикали вообразимо убрать перемычки, создаваемые каждым этажом, который ниже предыдущего, и у которого балкон со сводом аркады, то высота каждой из трёх получившихся удлинённых аркад как раз будет равна самой верхней, четвертой, центрально венчающей. такая же примерно, но длинней — в доме на улице Горького, который левым углом к Моссовету, тоже наверху, в центре дома, тоже в «плечистой» раме.

но плечистый гигант («пехлеван») не мил сутулой, кающейся эпохондрии. эпохе хандры, Постэпохе.

номера, глядящие на Думу. дубовые рамы глупо оклеены бумагой от холода. небогатые тут под конец жили гости. они-то, помню, в халатах, с детишками на подоконниках здешних — из бывшей дружной семьи народов, а ныне челноки да гастарбайтеры — и выглядывали из заброшенных серых стен: когда я на грузовике КППРФ в мае 2001-го тут проезжал и раскачивал все попутные стены нашими кричалками, призывами... в ванной сушилка полотенец хромированная, шикарная для своих лет — как первая в нашем доме. перемычка от тридцатых-сороко-

вых годов к концу пятидесятых. медные ручки, дубовые двери — вы попали не в те руки. вы уже не роскошь, не стиль, не время. вы только мне и объективу Виктора сообщение. откровенное, временем тем пахнущее, твёрдое и массивное. но сверху слышны удары. это не Командор, это Лужков, разрушитель не своими руками. долбят дубовый паркет верхнего ресторана, которого мы уже не увидим — с площадки которого в «Цирке» снят вид на Большой театр и Театральную площадь, на метро «Охотный Ряд» (исходное название, потом стало «Проспект Маркса»).

но здесь ему не быть вместе с нами, местному Командору destroy-отрядов гастарбайтерских — пока что мы отступаем. где по коридору шёл молодой Шолохов в свой номер, глядя на подлинные большие картины соцреализма — дописывать свой соцреализм литературный.

конец августа — начало политического года. выставка, так сказать, экспозиция политических партий в Манеже. стенд КПРФ слева, Илья Пономарёв попросил прийти на пресс-конференцию нас, «Эшелон». отнеслись романтично-доверчиво, приготовились давать интервью, а забрёл только один, но верный фанат из провинции, помнящий наш концерт перед ГО в Горбушке. ему я и подарил все звуковые носители: сборник радикальной альтернативной музыки (СРАМ) да концертник наш первый. заглянул на несостоявшуюся в специальном помещении прессуху и тёзка Якушев, истерично обвиняющий КПРФ в сговоре с олигархами, оправдывающий манёвры Глазьева и Шеина, какую-то мифическую антиолигархическую коалицию...

фон стендов КПРФ — фотография краснознамённых масс на Лубянке с Первой последней, с той самой сцены, на которой и мы, «Эшелон», выступали. возможно, это одна из цифровых фотографий матроса Пономарёва, ныне уединившегося с ноутбуком в разделе персональных фотографий. каждая в рамочке — это как бы «лица КПРФ». в какой-то из центральных газет впечатления журналиста с этой политической выставки от моей фотографии были описаны словосочетанием «босоногий леворадикал». не так уж далеки слова от сути. ради этого снимка я пришёл в ненаступившем городском году рано утром в ЦК в Малом Сухаревском переулке, был припудрен нежными руками немолодой подружки фотографа и фотографировался после солидных, пузами толкающихся в коридоре и непрерывно весело беседующих членов ЦК. оформление ЦК внутри — офисный стиль самого начала Постэпохи: белая дощатая пластмасса на стенах, золотые таблички на дверях, прямо офис ООО какого-то. почему-то на моём персонаже фотограф решил отдохнуть от официоза, приудариться в вольности и попросил разуться: таким образом образ босоногого в пономарёвской майке с серпом и молотом леворадикала и возник. леворадикал как бы держит телефонную трубку, прерван разговор с региональным рабкором, вероятно. около голой пятки красуется маленькая чашечка (холодного) кофе, а вокруг — региональные партийные издания.

следующие дни выставки были насыщенней: остановив на секунду около партийного стенда, я взял комментарий у окутанного тайнами кассира партии Валентина Купцова (теперь соседа по фоторяду рядом) для НО и поставил его в нижнюю

колонку «Вопрос недели». потом отловил очень похожего на раввина советника ЛДПР и расспросил его о терроризме, этот уже не был скуп на словеса, от него веяло типично жириновской амбициозностью. в конце дня была так называемая презентация и пресс-конференция КПРФ. она действительно, как и стенд, собрала большинство — не в пример предыдущим псевдобрифингам. вставши широким фронтом, наши крепкие члены ЦК, жарко освещаемые направленным светом телекамер, давали ответы на бесчисленные вопросы про сговор с олигархами, про собственность Зюганова за рубежом, наплаканную караулокодилями слезами...

мы, СКМ, стоим позади ЦК с флагами — чтобы в камерах были наши символы, наше трёхбуквье чёрным на красном. тут и сенсация обнаруживается: Николай Николаевич Губенко вовсе не уходил из партии, спокойно говорит в телекамеры, что и партбилет при нём... он в избирательном списке КПРФ, ждёт декабря. тут же журналисты его отлавливают, и на нашем уровне, позади президиума, который целиком стоит на ногах, что усиливает пафос действия, делая его не сценической акцией, а встречей с народом, который в большом числе машет нам ответно флагами из длинного пищевода Манежа. все мы тут рядом — и Губенко из моей драгоценной «Заставы Ильича», и мы с моими молодыми бойцами московской организации, и даже (о встреча!) Ксю, моя полюбовница переходного периода, заразившая поэта журнализмом, тоже стремящаяся к Губенко, записать сенсацию.

Зюганов поворачивается, словно на солнцепёке изжаренный светом телевизионных софитов, точно из бани или из кузницы выпрыгнувший орловский мужик — утирает обильный пот, чтобы не перед камерами. да, работка тяжёлая — отвечать и перед язвительными телевопросиками, навешанными карауловскими фантазмами, и, что куда важнее, перед народом, поддерживающим партию, как последний оплот СССР, борьбы с режимом. запарился Зюганов в этом жарком информационном цеху Манежа...

отстояв с флагами, возвращаемся к родным стендам, где уже стоит, поджидает немного удивлённая Ксю:

- А ты тут каким образом? Я когда фото увидела — искренне была удивлена.
- Да так вот, долгая история. Это ведь ты меня заразила журнализмом...
- Не знала, что он передаётся таким путём...
- Передался, только долгий инкубационный период был. А через него и сюда вот, в эту фотогалерею попал. Теперь я твой коллега.

хмель старых телесных усад и тревог всплыл, вспенился внутри при этой встрече. стою рядом с её волос завитками, глазами болотной властительницы, легко увлекающей в свои владения, легко доступной, о чём и сама говорит: «У меня после тебя много было приключений, я и забыла, что мы там творили». но ей отвечаю на укол иначе: «Ты на видном месте в моей небольшой галерее». предлагает после этого пойти кофе выпить, дочка её уже в первый класс пошла, вот какие факты. нет, кофе пить с бывшей не иду, в эту реку второй раз не вступаю — бегу в редакцию. работа. надо слова Купцова о терроризме в «Вопрос недели» выставить.

последний, заключительный день выставки ознаменован стоянием нашим у сцены с новой знакомкой из Солнечногорска, пятнадцатилетней акселе-

раткой волейболисткой. и тут, пока вещает благостный Вешняков в нелепом однорыльном костюме, делающем его похожим на деревянного солдата Урфин-Джюса, происходит весёлое событие. давно мнутя на сцене, словно актёры старого спектакля, наш Зюганов зачем-то, довольный чему-то, сыто причмокивающий двойственным ртом мудрец Жириновский и другие действующие лица российской политики Постэпохи, стабилизации. какое-то движение перед сценой, сперва напоминавшее суету телевизионщиков или осветителей, внезапно преобразилось в стремительный полёт чего-то белого в сторону Вешнякова и тут же — во взлёт листовок перед сценой. какой-то невысокий человек в клетчатой рубашке, со скиновскими подтяжками метнулся, глядя секунду на зрителей вороватыми глазами автора события — и был выгашен немедленно двумя битюгами-детьми, секьюрититами в синих костюмах. это охрана Вешнякова или ФСО — поволокли мятежника в нишу, откуда спуск в туалет и ту самую кофейню, в которую я не пошёл с Ксю.

длинноволосая Милена, пятнадцатилетняя красotka пионерка из Солнечногогорска, стоявшая рядом со мной — в смятённых чувствах, таких политических событий ещё не видела. скорее, на её лице домашнее, бытовое осуждение мятежности, что испортили праздник. эх, деточка, ведь ты попала именно к тем, кто возглавляет движение непопавших на праздник, здесь нам кроме раздачи бесчисленного и весьма востребованного агитматериала — делать и нечего было бы! а мы нашими красными знамёнами КПРФ и СКМ, которыми велено было поддерживать наших представителей на сцене — машем в поддержку акции.

смешнее всего — продолжающий свою тронную речь об успехе выставки политических партий сам Вешняков, на котором я не сразу заметил пятно, на модном однорыльном синем костюме, как раз в поясничном районе, так сказать, начала ног. длинносопливой кляксой распластался то ли клей ПВА, то ли майонез... а внизу, в туалете охранники Вешнякова, проглядевшие покушение, избивали нацбола (как выяснилось из разбросанных листовок), брызги его молодой непокорной режиму крови летели по всему туалету, этому респектабельному помещению давая неожиданную окраску. именно так — как и под лицемерным вешняковским трёпом в Манеже, в фундаменте этой эрэфной демократии и стабильности вот такие кровавые сцены. не по обособленной злобе режима, а по его диалектической сущности: социальный конфликт и классовая дифференциация при стабилизирующемся капитализме просто требуют как нападения одних, ущемлённых, так и не менее жестокой защиты других — вот этих братков-секьюритинов, которым не видать теперь их штучко-баксовых зарплат и прежних услад, за что и мстят нацболу, мстят вдогонку событию, хотя не НБП тут королева бала, и не она во главе масс. потому что у масс пока вообще нет головы и даже стремящейся к ней шеи, они плывут покорно течению, а оно — Реставрация капитализма со всей его медленно накатывающей зверскостью. и будут брызгать кровью борцы с Реставрацией под ударами стражей этого порядка, будут их, мятежных и беззащитных пока, не

сплочённых — в точности следуя случайной базисной для его имиджа метафоре президента — мочить в сортире. пока не сменится формация...

из Манежа выбегаю вслед за Миленой. необычное имя, мама её и бабушка монголки, а дочка — таких русопятских, русоволосых волейболисток ещё поищи. пока с ней говорим у выхода о встрече — гляжу на прозрачный уже, выломанный с корнем верхний этаж «Москвы», где балконные аркады, внешность пока не трогали. просвет в будущую на этом месте белонебесную пустоту. то же самое и режим: оставляет внешний советский картиночный патриотизм уходящему поколению, постепенно заставляя жить по новым внутренним экономическим кондициям капитализма. пока в Манеже совершались политический маскарад и акция возмездия за лицемерие, тебя доламывали наверху, гостиница.

дни возвращения втягивают, но ещё взгляд высок. всё видится меньше и миниатюрнее годового, привычного. лето выпустило из Тебя — чтобы Тебя потом видеть заново, взглядом повзрослевшим и отвыкшим.

даже путь за Савёловский вокзал высчитан взглядом коротким, дома — подробно, полно маленькими. вот они, со всеми своими временными сообщениями. будет время их читать тут теперь. ходьба и взгляд — будто с более высокой точки. дни дальнейшие будут вземлять, приасфальчивать, опускать взгляд и поднимать рекламы, дома, растягивать расстояния.

ноги — важный параметр взгляда. подземный переход, мелкая товарная жизнь, музыка, пешеходы в рассечённой витринами сумрачности. дом Катерпилара, бывший Тизприбор (завод «Точный измерительный прибор») и весь квартал за ним — ближе, как на ладони. взгляд по возвращении — транзитный и композицию вычленяет по-другому, как завоеватель, не оставляя привычной невидимости. той, что была характерна в детстве — далёкое, но хоженное не укладывалось в картину ближайшего, оставалось фрагментом. видеть поворот Твоего кольца научился полностью лишь к концу своих двадцатых годов.

всё здесь, всё ждёт. даже бомжиха Раиса сидит накануне Газетного у закрытых стеклянных дверей магазина молодёжной моды в Доме композитора, с края у церкви:

— А Бога всё равно нет. Не Бог, а люди допустили такое.

она всегда высказывает то, что думают прохожие. поэтому с ней говорят. очень сообразительная, даже афористичная. глядела румяно на прохожих, держа, словно примеряя на себя грязноватую красную майку с гербом СССР летом. торговала? нет, скорее агитировала.

11.09.03. утром перенесена планёрка. сие наш немец-рекламщик, встретив у Дома композитора меня, деловито и заботливо сообщил — доставляет свежномер, видимо, в мэрию. странные судьбы: этот солидный рослый господин ариец явно работал на хорошей должности прежде, на BMW белом приезжает на работу, получает тут свои 500 грин, явно меньше, чем ранее, — и ничего, кроме разноса газет, не делает, никакой рекламы как не было в НО, так и нет... доделывают

гастарбайтеры, облицовывают плиткой гаражи напротив дома, в котором Шостакович жил и другие его коллеги.

даже не в двенадцать, а в час планёрка. успеваю начать писать про осушённые Патрики, заголовок наглый: «Мэрия отмывает купюры в Патриарших прудах». красиво пишется-воображается, вспоминаю кравцового Воланда в 302-бис. вытягивают от текста за стол. недовольство... главред на меня орёт: «И особенно ты!» (вне информационного поля). «Через два часа — новый план!» — мою полосу «Колесо обозрения» (название, Турсунов уверен, я «скоммуниздил») переделывать. добрый, запасливый, хозяйственный многодетный отец Калашников, задумавшись и повертев хитрым голубым глазом, достаёт и отдаёт мне интервью про новое эфирное топливо для мостранспорта. к фантасту Калашникову эти все новинки сами слетаются — его находят благодарные читатели, все эти научные сотрудники, не нужные новой сырьевой экономике и возвышающемуся над ней режиму. сажусь, упрямо дописываю, а потом сам рублю текст про Патрики осушенные, не озаглавленные рукавишниковым проектом. бой за новостность. учителя правы. готов носиться по Тебе, искать новостей.

перекус — три пирожка с капустой, красный чай и «Марс». звоню Мэйдэну, переназначаю на пять. рублю «эфир». вырубаю 10 тыс. знаков. с чужим легко — всю науку в корзину. долго жгу тяжёлым экраном глаза на текст, надоело. нужна улица и движение. все разошлись, план — главному. одобрил, оттепелел. можно уходить — вычитывать готовое бигшефа КалашА нет.

на улице встречаю его, курящего сигаретку из своего длинного мундштука (очень забавно смотрится качок с пролетарской внешностью, в мощных руках держащий этот атрибут аристократии), получаю от него задания-указания, советы, как не попадать под горячую руку шефа, и собственные предупреждения о снятии гонорара в следующий раз за некачественный текст. проходящие мимо по узкому тротуару в сторону соседнего с нами отделения милиции серые пузатые жандармы в фуражках-аэродромах — вдруг получают от Калашникова хоть и с оттенком раздосадованной обыденности, но довольно направленное приветствие: «Хай гитлер!».

о, смелый богатырь и модный писатель! не боится мой шеф выражать своё отношение и к этой выхолощенной до полицейской экс-советской форме бывшего дяди Стёпы, и к этим господам, и к охраняемому ими режиму — таким эпатажным манером. задира и скандалист, рок-н-рольно курчавый, довольно изящный, без бицепсов ещё, влюбчивый романтик в молодости — Калашников и не такие выдавал номера в середине девяностых: судился с Лужковым, побеждал, «обувал» нерусского олигарха Березовского на пять штук баксов и издавал на них свой патриотический «Меч империи».

иду под хмуростью прохода под консерваторией возле Рахманиновского зала, прямо в проходной двор выходящего окнами. ты, Тан, рассказывала, что на эту лестницу на задворках консерваторской кухни как-то с друзьями-поварами

вы лазили и тебе давали курить «шишки», вот была проказница студентка, ещё на МТЮЗ залезали, это в абитуриентский период твой, если точно.

зазубринки логотипа «Консервы», кафе новомодного: типа скрипичный ключ — полуконсервная банка. из консерватории в узкий гулкий Средний КислОвский переулок поёт старательный голос под тихий неразборчивый аккомпанемент. тротуар утыкан машинами — умно и быстро нахожу нужную траекторию, минуя Союз журналистов Москвы, в коем уже состою да плачу взносы. целуются-прощаются под старым домом немолодые, деловые, воодушевлённые дядя и тётя.

у посольства, что ли прибалтийского чего-то, стоит настоящий жандарм. красномордый, с бакенбардами, овально выкатывающееся из-под кожаной куртки брюхо. стоит на посту. хорошая работа: пляться на студенток театрально. толстый неповоротливый жандарм: двадцатого века как не бывало. думает о пиве, о девках, о зарплате, о державности, небось. на фуражке увесисто распростер крылья подходящий ему двуглавый, кокарда белогвардейская — всё на своём месте. Реставрация не топорная, довольно тонкая, если приглядеться. начинающаяся с вещей, и заканчивающаяся мыслями.

мы против вас. хотите уговорить жить рядом с такими явлениями? жить в одном времени — в этом, не меняя, не ускоряя его к вечности и бессмертию? не выйдет. будем бороться. постепенно, создавая партийный коллектив. создавая наши песни. вчѣсывая в рок-записи свои мысли, своё сопротивление этому брюхАшеству Реставрации, этому позору времени.

снесён не только дом парикмахерской у Арбатских Ворот, но и его продолжение, где был скворешник Попкова, кандидата в Мосдуму в 1999-м. давно это было. площадь — в солнце. очищенная от дома, от драгоценного мне запаха и вида Твоей стАри, территория заасфальтирована и расчерчена под брюхи иномарок. тут ставить будут свою собственность. движимую при их содержании: рулящем, флиртующим, глядящим на Тебя сквозь нежное и приватное тонирование стекОл. теперь путь к переходу близок. школьник резко тормозит, перед ним проносится «газель». за ним, обгоняя оторопевшего, я перехожу. сиястые аппетитно навстречу объекты. неисправимый я глазун. даже при отталкивающей тягелозадости оцениваю бюсты на предмет удобства в ручном пользовании. а если прилечь — то совсем красота, вольно разольются по обе стороны, глядя обалделыми сосками, покорные пальцам...

троллейбус сорок четвертый приходится ждать под солнцем. разогрелось к середине сентября. прислоняюсь бомжеватю к остановке, не находя тени. старики глядят на меня равнодушно. в рекламе на экране «Праги» — мелькают топлесс быстро — так, чтобы не разобрать. да, я тоже объект подобных пошлых воздействий. я один из тех на кого нацелена реклама и этот мирок. один из вас. но я против него и против вас, покорных такому самотѣку. и вы, едущие в иномарках по проезжей части, выкруливающие на Калининский с Бульварного — вы тоже зрители. всё течет в компромиссном порядке. компромисс: не вспоминать прорыва к коммунизму советского. забыть, отторгнуть. и дружить с этим временем, плыть в нём куда все. авось сладится. нет, на этой улице, то есть площади, невда-

леке от школы, где учился — есть сопротивление. видящее сопротивление, знающее и ищущее выхода отсюда (где и после контрреволюции красовалась надпись на одном из домов «Слава труду!», потом буквы сняли, остались только подерживавшие их рейки, как в почтовом индексе, угадывай теперь). но выход этот во времени, через время — в оседлании Реальности. в радикализации её революционной и поворот к вектору удаления от капитализма — коммунизму.

ехать с проверкой билетов и односторонним видением Тебя вправо. полмоста так и ремонтируют.

будущее вырисовывается из речей на Оргкомитете «Аникапа» и гитарных рифов. записали ещё припевную часть и куплет, начало другого припева «Революция отменяет»... докладчик по концерту я. Удальцов оправдывается за выпад и обиду на отмену марша 14-го — АКМ всё равно потопает с НБП, по их уже заявке. вокруг него летает муха. Будрайтскис говорит со своим интеллигентским носовым прононом красивое антифа. сзади сидит нацболоватый Жэка. Лобанов не надеется, что я поймаю муху. пришла Карин Клеман, сидит как ровесница, глядит нездешними глазами. надо выдернуть вытянувшийся из кистей переходящего знамени за бюстом Ленина волос желтый. докладываю. появляется Шапинов в чёрной рубашке. говорю «чернорубашечник». в тон хохме отдаёт хайль. уходя, выискиваем нужный файл наклейки из стопки моих дискет — на партийном компЕ. вторая, синяя «Басф» — нужная. но персЕк МГК Сидоров исчез. спускаюсь — ни следа. звоню-мобилю. они наверху курят. тут носятся машины. растут деревья, отделяющие приемную КППФ от автостреды. страда. несутся как время. деревца вырастут, новое время укрепят ветвями. наше ли оно будет? или рабочий квартал станет офисным и мы уйдём утихающей гурьбой в прошлое? просматриваю путь через стемневшую Автозаводскую. созерцание недолго, звоню домой: еду, через полчаса буду. то есть в десять. поднимаюсь, отдаю дискету Сидорову. на обратном пути хриплый пёс залаивает меня. или мой пакет, в котором зонт и повод для статьи, а их нужно до ночи написать две. это и есть борьба. либо подстёгивает время, либо в него строчишь словами и оно отступает, точнее, ты в его рост становишься и движешься параллельно с возможностью — потом, после долгой работы — вскочить на него. ночь, передо мной идущий к «Автозаводской» — в камуфляжной натовке, без подстёжки.

мой стих «не верь ни слову» — на стикер длинный в вагоне метро, надверный «топ-модели доступны». ждать все станции и после «Тверской», когда стало свободно. стремительно выискивать в сумке именно эту наклейку. нашёл в последний момент. только бы успеть наклеить до того как двери раскроются. успел — криво, но крепко. в нужное место. и имею право выйти на «Маяковской», поклеив свой, созвучный ему стих. принимай меня, «Маяковская». и вы — никчёмные голытьбоватые журналы на пути к длинной лестнице, элитные гуляки Триумфальной, приватно, respectfully пахнущие мягкими парфюмами. прохожу вас. из джипомЕрса к подъезду или «Банку Москвы» идёт толстобрюхий. воображаю удовольствие его трибунализации по ходу моего к нему движения. в сонную мякоть брюха. хозяин этих дней, уверенный в завтрашних. у меня на натовке комсзначок. маленький да удаленький. я — про-

тив вас. знай, толстый. моё удовольствие, превосходящее ваши сексы, — изжить вас, не оставить во времени. очистить время от вас. пусть постепенно. пусть сам отяжелею как Летов. потеряю векторность вверх. но делать это буду. так же степенно и целенаправленно, как вы делаете свой бизнес.

чтоб телами позными не блядили рекламы — в буржуя шарахает альбомом «Эшелон». чтобы люди не портились и не классовались-тусовались. и Ямаха, и «Азбука вкуса» — это лишь ваше временное. наше — боевое будущее. я юнец. я не ровесник своих одноклассников-семьян. я тинэйджер. встречаюсь и ношусь по Тебе невиданными кавалерийскими темпами от Нескучного сада до Комсомольской с четырнадцатилетней пионеркой из Солнечногорска — выяснилось, что пятнадцать ей только будет. бунтоватый умник, гитарить и гутарить умеющий, вкладывая туда эту ненависть к вам-буржуям.

трудно заснуть посреди ночи — в 3.47... час уже думая о том, что просыпаться в 5.30. но не цифры пугают: нужно встать, прорваться через ночь и незаполненное метро к товарищам — клеить мои стихи + агитки Антикапа по вагонам (в прошлом году, как раз на подъезде к «Новослободской», куда надо бежать сегодня, грузный мужик присмотрелся к наклеенной мной над дверьми белой агитке антикаповской, а когда понял, стал ругаться, удивив меня аргументом «как можно быть против капитала?», мол, мы всё пытаемся экономику наладить, а вы под ногами мешаетесь — говорил мне представитель поколения гробовщиков СССР).

чтобы будить общество, будоражить этими клейкими алыми агиточками других — нужно проснуться самому, жесткий и верный закон. в 5.30 не получилось, только размяк, засыпая — но в шесть вскочил и выскочил.

холод неприветлив, но зимой не пахнет — всего-то сентябрь пока. листьев свёрнутых несчастных понасыпало по пути. спит родной аквариум двора, только зажигающаяся в темноте красными и зелёными иномарочка по пути к арке закудаhtала, испугавшись близкого к ней прохождения леворадикала.

у арки на выходе — парень с сотовым, оглянулся. в такой час все недоверчивы. тротуар безлюден. не видны, но присутствуют рекламы. на углу к улице Чехова, где и положено — с вытянутой рукой, ловчая за авто («Волга» остановилась) одинокая путана в разводитистой кожаной одежде, а у дома художников-банка-МТС — греется машина с её страховщиками сутенёрами. вторую смену работает, пожалуй. удача — залечь, завлечь за долларную отплату. себя выложить на стол постельный: «Ешьте, пользуйте, изнашивайте, я богата мясами. Только платите. На жизнь и роскошь». рекламы подпевают её плотской стойкости.

я (от этого всего) — подземь, пуст переход, без журналов и запаха подогретых пирожков слоёных. сонный ум отстаёт, шаги свои кажутся быстрее, суеживыми и мелкими. в отражении новопоставленной стеклянной стены будущей торгтерритории — я рукивкарманах топОчуций поспешно. троллейбусы ещё не идут. к «Новослободской» пусто и небо хорошо видно — звезда глядит.

подсвечены рекламные высоты: «Лэнд Ровер» везёт страшного зверя египетского, он глядит на своего тягача, с соответствующим повороту передних колёс поворотом головы, точно съест. за столбом у троллейбусной остановки под стоматологическим стоит тёмный человек-тень и ждёт. по моём прошествии около него кто-то автоостановился. быстро иду — все «пасты» и рестораны в новом доме пустосветны.

свеж холодный воздух, что-то в нём располагающее, разрешающее всё дальнейшее мероприятие. мало машин, темно по-ночному, может, чуть светлее вдали за «Менделеевской». вот и громада торговая перед метро — справа силуэт Театра Советской армии: небо всё же Утрится, зеленовато по горизонту голубеет из черноты. метро тёплое кстати. тут согреюсь. пассажиров больше, чем ожидал. солдаты в грязных вахлацких камуфляжах садятся в мой поезд. а он уже обклеен нашивками. здорово уклеили. пассажиров даже много. но не настолько, чтобы не читались мои стихи на рекламах.

В 41-м твой дед-коммунист
За советскую Родину бился —
Для того ли, чтоб капиталист
На земле нашей вновь воцарился?

и

Не верь ни слову
Липкой рекламной лжи
Наживы закон презрев
Вступай в СКМ РФ

хорошо! уже не на моих оранжевых самоклеяках jetred, а большим тиражом, почти типографские стикеры. среди них также «Выдави из себя раба, первый шаг — вступай в комсомол!» — не моё, но нужное. еду с лёгкой дремой за пазухой. вот и «Парк Культуры». серая стена, вдоль. мраморные нежные барельефы — сцены культурной жизни, не нашей в пример. вот мы и занимаемся вандализмом по отношению к рекламам буржуйского антимира, чтобы *эту* культуру вновь культивировать. парадокс. сначала маяковский бунт — потом воспитание и подъём уровня новых поколений до классики. тот был веселее, алее — теперь, второй бунт уже чёрный, хоть и комсомольский.

надо же, как много беспокойной братии нашей собралось. ребята даже незнакомые имеются, самые на вид обыкновенные, тинэйджеры, студенты. ничего, предвещающего нападение на *смыслы* купленного пространства исконно пролетарского транспорта. и Катя, атаманша их славная, тут. Володар встречает горячо объятиями. стоим под исконными, кое-где поотваливавшимися буквами «станция метро Парк культуры имени А. М. Горького».

— Веселов будет?

— Ждём.

болтовня весёлая, однообразная, чтобы не заснуть. сколько можно заработать за сезон на арбузах. все облокотились на классическое перильце перед лестницей, на мраморных балясинах оно. Катя неугомонна шлёпнула и сюда «Не верь...». ругаю, отваживаю от растрат. Володар поехал наверх звонить Сидорову. ветерки навевают чих, а этого нельзя. легко всё же оделся. но потом с ветра уйдём. проходит служительница метро, глядит на нас без особой опаски. возвращается и спускается по лестнице нам в тыл. персЕк не будет, сообщает Володар: и Веселова не ждём, обойдемся своими запасами наклеек. переходим на красную линию. сонно, но весело, оживлённо двигаемся по лестницам. Катя опять клеит где ни попадя мои вирши — рядом с телефоном, откуда звоним опять персеку. говорю ей: вот, Кать, истинное предназначение стихов — не читать перед кучкой эстетов, а клеить, заклеивать, спорить ими с рекламами, перебивать коммерческую речь стихОм.

распределяемся на двойки. каждой двойке — вагон. заходим спокойно, выглядываем ментов. и, когда трогаемся — медленно, уверенно, как бы что-то ища в рекламах, вычитывая проходим от края до края. особенно приятно клеить на «Хотхэд», коктейль какой-то — прямо в центр, красное на красное. топ модели получают свое и Би лайн. вот и «Ленинские горы» Воробьёвы. тут уже светло. прохладная станция нам рада. Лужники красуются за осенЕющими листьВАми. клеим неотступно, после каждого перегона засыпая в специальный пакет Володара тыльные скользкие бумажки. Катя неугомонна: клеит и на станциях, на стены и сиденья. сержусь, жую.

доезжаем до «Юго-Западной» и — сразу перебегаем напротив в поезд. а он уже обклеен. и даже следующий — наш же, из которого вышли, возвращаются они быстро. дожидаемся свеженького, и заново дело. тут село много народу, какой-то утренний час пик. пропускаем, то есть проезжаем в нём не клея, вагон, в котором мент — я определил по красным полосочкам на штанах, куртка-то обычная кожаная. однако, выходя, всё же клеим пару — на карту и стекольную рекламу. ребята и Катя ссыпают очередную жатву бумажек Володару в пакет. вагон за вагоном, делаем свое дело. отдаем предпочтение белым рекламам с долларовым ликом — на лоб ему нашу агитку, янки. на станции узнаем предпочтения других:

— Там безголовая девица: дай голове отдохнуть. Вот ей прямо на место головы и клеить самый приколы, типа это её мысли.

думали раньше, что будут товарищи мои внезапные, на вид самые заурядные юнцы, с таким пониманием, в таком раже клеить мои тексты? заставляя вялых пассажиров читать эти строки — «В 41-м твой дед-коммунист, Наши танки, Не верь ни слову»... мои книги сейчас, на ближайшие дни, пока не обдерут — эти вагоны. вот моя литература, вот мой радикальный реализм... «моих партийных книжек».

вот и Ленинские горы, встречают уже просветом сквозь стеклянный павильон солнца — нас за работой приветствует светило красное. это наше утро и наше солнце, мы завоевали пространство вагонов словами своими, мыслями своими, своей речью. мы запустили в вены метро носиться мои словечки — и день у многих начнётся с чтения этих внезапностей, покрывших рекламы. ждём следующего поез-

да. за окнами станции — листья начинают выжигаться сединой по-своему, как это у них водится, на Ленгорах. сходить бы туда, подышать этим коротким временем...

осталось совсем мало агиток. раздаю те, что по медлительности и старательности, зачастую по смыслу, не успел расклеить. оп-па, на «Спортивной» целый вагон ментов, отступаем в задние. мой напарник клеит так задумчиво, старательно, приглаживая наклейку накрепко. вот как, стало быть: мы со смыслом это, усилием мысленным и ручным клеим поверх торговой болтовни. топ модели доступны? нате вам. не верь ни слову. а рядом — симметрично на других топмоделях Ей — в 41-м твой дед-коммунист. набор текстов для вмонтирования, для оспаривания рекламных реплик не велик, но достаточен, чтобы вклиниться и сбить подходящим словом настрой рекламного елеса. на «Фрунзенской» оказывается, что у каждого — не более чем две-три наклейки осталось, уравниваем возможности. доезжаю с бригадой нашей до «Парка» и оттуда — к себе на Кольцо. сегодня же репетиция, отоспаться нормально не мешает.

сон запоздалого прощания. из незнакомого района выхожу: перехожу улицу, обхожу машины — к глубокой арке. перед ней в дневном свете стоит ждущий твой папик в зелёной клетчатой рубашке, костюмных брюках и чёрном берете. ходит в задумчивости, поворачивается, меня не заметил. прохожу через арку и оборачиваюсь.

он дождался: слева из боковой двери в арке, ближе к дальнему краю засуетились. делаю навстречу несколько шагов и приглядываюсь к движению в темноте.

православной общине что-то привезли. возможно, продукты или детей с экскурсии. Тан серьёзна: стоит у двери и впускает туда прибывших, по-матерински или по-монастырски суетишься. она стала выше и как-то плоско полнее, возможно вновь беременна, с ней рядом уже большая дочка. все православно полноваты, увлечены прибытием-действием.

со мной Довгаль, торопит, мы уходим, я иду медленными широкими шагами, низко опустив голову: объясняю ему, что это ведь то, что не вернуть — я в последний раз видел её и она не изменится. надо понимать. долго иду с опущенной головой, Довгаль понял и молчит.

репетируем, как и весной — на Делегатской, в детском парке. отчесав очередных три прогона программы к Антикапу, даже «Венсеремос» подготовив в неальбомной трактовке — возвращаюсь домой, рядом совсем, по тёплой и влажно-воздушной уже осени. в мокроватом воздухе блестят светофоры Кольца, подсвеченными изнутри оконно-точечно тенями видны по левый внешний берег Кольца безшпильная башня милицейского дома перед Сухаревкой и высотка Ленинградской гостиницы дальше в сгущающейся осени. осени, набухшей листовенными откровениями — там, в детском парке, да и по другую, внутреннюю сторону водораздела Садового кольца.

иду со своей оружейной басухой в чехле за спиной — мимо скошенного овала доски мемориальной Утёсова, вот ведь две эпохи в одном доме, живём...

с ним и его собачкой, дружила и общалась моя бабушка, как только переехали на Каретный — выгуливая нашего Джоя, мраморного английского сеттера, научившего меня ходить в 89-й квартире (держался за его шерсть, а он, благородный, хоть и больно, хоть и рычал, но не мешал мне так приспосабливаться к вертикали). да, наступившая на Каретном ночь чуть душновата, какой-то непроветренный воздух и свет тяжеловатый у ограды «Эрмитажа».

за деревьями у нашей стены какие-то шорохи. бомжи? движения... за берёзой, разросшейся вширь тонкими ветвями, кто-то вдвоём, притаились. лёгкий негромкий выдох женский, остановка. похоже, они делают то же самое, что мы, моя далёкая во времени девочка (но не здесь под родными окнами, а во дворе за парикмахерской на Петровке) — только, словно прочитав уже мою поэму, у моего дома, стоя у стены, не снимая курток, у меня не получится пройти незамеченным — поэтому лучше быстрее к подъезду. она к нему спиной, растерянная, а он словно приперший её, настигнувший милиционер: «к стене, ноги на ширину плеч...». испуганно, точнее, вспугнуто вместе глянули на меня, такая боковая встреча взглядов, пока я прохожу полосу видимости их от подъезда между стеной и деревом. поняли, что не посягну на их процесс, и... но я уже за железной, медленно затворяющейся дверью. а они там ещё добавляют в душноватый воздух выдохов близящегося унисона своей страсти. вот как вышло, Тан: захлёбываюсь осенней лиственной, душной горечью уже воспоминаний, нереальности. я теперь только случайный, сухой, внешний наблюдатель того, что раньше было нашим, общим внутренним. и так это изрядно изгойно, I'm lonely boy... репетиции какие-то, драйв, отдача себя в стихию коллективных политических эмоций, сцены — а этого вот индивидуального телесного откровения, совместности нет как не было, утратил. и Катюше перестал кружить голову, дезинформировать — не моя девочка, судьба теперь одиноким котом с этой бас-гитарой да со взглядом внимательным быть Твоим странником и спутником.

и вот он, день марша. 9.35 — выхожу из «Чкаловской» — станции моих пересадок к Рабочей улице, к Дому. против света, в сторону вокзала — стоят. наши. мало милиции. красные банданы, панки (на одном майка «Азъ»), эскаэмовцы разные, в разных майках, но — наши, наши (!). обмен приветствиями, газеты, газеты... пикируем в электричку после предварительного, профилактического прокрикивания Курского вокзала «ре-во-лю-циями». солнечно, но по-утреннему холодно. вагон объявлен освобожденной территорией СССР, поём гимн Советского Союза, интернационал — красиво интонируя, идеально помня слова поет распространитель «Совета Рабочих Депутатов». в окна — флаги. каждая станция — агитпункт, Володар остервенело заводит скандирование вагона. имеет эффект — за газетой нашей к окну с перрона очередной станции потянулась бабулька, затем мужик средних лет, затем молодой малый... стены по пути расписаны РКСМб и «редс. народ. ру».

машинист свистит нам на прощание многожды, радостно отдавая нас рассветающему дню. строимся на шоссе под «столетодионочества» Летова, поющего из фургончика горкома. оперативная съёмка ФСБ (?), крупные «наезды» на лица, уже

покрикивающие. «Красные в городе», — Катюша Скрыпник с мегафоном — голосом юным, горячим. почти детским, насупившимся. в каком городе? мы пока в лесу.

перед поворотом в город навстречу нам, на смычку идут рязанские эскамоуцы — нетерпеливая радость на лицах, девичье подпрыгивание: обоюдный гул нашей колонны и свист (сзади у девочек свистки вроде милицейских). соединяем ряды, радость взаимная: от пополнения, весело. будем будить спящие кварталы. весь маршрут расписан СКМ-граффити. даже окрестности голубятни. осень нерешительная, светло-жёлтая, не перебивающая действия своими печальными веяниями. будим, будим — сначала лес, потом уже виднеющиеся окраины. маршрут по контурам Балашихи, осторожный, политкорректный. немногие встречные в основном удивлены.

проезд Маркса: сталинские, полнотелые, недавно выкрашенные и, в общем, очень оптимистические, будто новорожденные, если не вглядываться, пятиэтажки — жёлтые, салатовые. тут вы и живёте, граждане голосующие. в этом, нами расшифрованном материализованном завещании Эпохи социализма. граждане молчаливые. такая крикливая юность — вам неожиданна. но смотрите из окон сталинских, но приватизированных, с иностранной техникой и победнее, квартир — смотрите на нашу алознамённую лавину, прожигающую нерешительность подмосковной осени. проспект Ленина — до памятника. мамы с колясками, ещё рожают тут детей, есть на что, есть надежда, мы же — форсирование надежд, мы — осуществление их. остальное — на видео тов. Виктора. митинг и концерт на Старой площади, под бывшим ЦК КПСС и нынешней Администрацией Президента РФ.

4.10.03. две красные палки — прижатые, обмотанные флагом. сдерживают рулон сверху и снизу чёрные проволоки — такими в комплектах аудиотехники шнуры скреплены. выхожу в октябрь. утренняя стылость, правильно водолазка под натовкой. листья сметают дворники молодые, незнакомые, нездешние. пусто и весело тут. твоя красавица-власть, осень. каждый бы листок на деревьях детского сада рассмотреть, пересчитать в их прощальной, солнечно-землистой красе. но иду, спешу. солнце собирается быть тут. кто-то в этот день работает, зарабатывает: что-то ремонтируют в доме перед прачечной, носят. в подворотне закрашено «менты козлы». вынырнул из дворов: так эти красные и высыпают отовсюду, по одиночке, а потом сливаются в митинг.

что там? всё то же. рекламки соблазняют. мирра-люкс: блондиночка наслаждается результатами работы на её теле множества рабочих-гномиков. символично. очень милая, сладостная, радостная, домашняя модель. с такой бы жить семьёй да радоваться лет этак «цать», а потом... как полагается. в один день или порознь. ничего не поделаешь — другим уступай местечко, потомство не даром с ней наудовольствовал. «Русский холод» — ларёк.

в подземный переход в сторону «Новослободской». на той стороне административным комплексом, оказывается, озаглавлена огороженная территория. хорошо, что ещё не дошло и до этого строительства, можно и Краснопролетарскую рассмотреть за домом-скалой и немногими оставшимися в квартале деревь-

ями. военный, вынырнувший навстречу опустил, отвёл взгляд — на моём плече красное, хоть и свёрнутое. милиционер с аэродромом — тоже убежал глазами.

серый дом слева на Каляевской (Долгоруковской), я помню тебя и демонстрации детства: бутерброды с красной рыбой, газировку и воентехнику малюсенькую из красной мягкой, прозрачноватой пластмассы. и детки ангельского происхождения в качестве атлантов, вместо взрослых дядь поддерживают этот серый то ли модерн, то ли эклектик... мальчик и девочка. я и моя Тан, маленькие, предсказывают встречу и путешествия рядом, вплотную со стенами и крышами. детишки того возраста, когда я на первые демонстрации был ведом мамой. а теперь — я один из идущих на «мемориальные мероприятия левопатриотических организаций» как сказала радио-руссиянд. молодой человек с толстым отцом пригляделся ко мне, опознал отличия от прохожих.

знакомый внешне деятель сионизма, верный либерал из радикалПати испугался моего вида, тоже понял, что за палочки везу. в вагоне приземлил их на кроссовку. внизу «Октябрьской» — не как обычно, мало признаков митинга верхнего. милиции не много, палки замечают. девушки на эскалаторах отвлекают, но я на митинг. я красный, это самое важное. близится потолок вестибюля лепной белизной. возвещающие Победу фронтовички с горнами и венками в руках. лица подлинные, сороковых лица. красота того понимания. и фигуры: подтянутые, строгие и строевые. но при этом сдержанно-женственные, умеренно полные, стройные и крепкие. фронтовички-архангелы в сапогах (ах! кель моветон — занудили б диссидэстЕты). турникет, банкомат, выход. «Правда столицы» в руках бабушек, суют, пробегаю. Вахрушев, идущий рядом, не видит меня. переход улицы — тоже протест. ждём-ждём, потом я прорываюсь перед легковыми вдали.

митинг удался. Макашов говорит с большими паузами, говорить тут трудно всем, душно. лучше всех Куваев и Алскнис. Астраханкина заговаривается: «Слава и вечная память павшим и... нашей гражданской позиции». Проханов со слегка перекошенным к родинке лицом сначала, каким-то плюшево-несчастливым, недоверчивым видом выступает. но когда разговорился — пошла передовица. станция «Мир» — конечно же, космическая бабочка. но яростен. как-то даже скорословен для писателя: «С нами народ, Россия...», гот мит унс — чтд и це так далее.

самое главное — шествие. с Аграновским, «завтрашним» Андреем Смирновым, Рэдвольфом через дворик, согрев очи сталинским домом со двора, обгоняем медлительный пролив масс к послетоннельному приближению к «Прахе культуры» (как Рэдвольф сострил). видеть Тебя оттуда, где только машины и из машин видят. но они — на скорости, а мы идём, медленно. как раз чтобы разглядывать. мост Крымский — всё же не конструктивизм, а ар деко, теперь я вижу это чётко: как и в мраморном зале гостиницы «Москва» говорилось, этот мост есть одно из строительных достижений тридцатых, чудо нового советского света — тридцать восьмого года, как говорят изогнутые цифры на внутренней стороне опор, чего не замечал с пешеходной территории, а теперь, в таком странном и нечастом для моста (с девяносто первого и девяносто третьего) движении — отчётливо разглядываю. и даже тут, в метал-

лических клёпанных опорах есть цитаты в духе ар деко — как и в ленинградских колоннах у Невы носы корабельные, обломки кораблекрушений.

слева видна даже роспись ближайших по набережной к Крымскому мосту домов, величественный неоклассицизм стен и соцреализм их росписи: там дружная советская семья крепких, упитанных людей, немного украинских на вид, людей уже из цветных фильмов пятидесятих — отец держит на плечах ребёнка, играющего самолётиком, он будет авиатором, этот карапуз. родители в до- и послевоенном СССР для того воспитывают советских детей, чтобы те построили социализм до коммунизма. а как это сделать — подскажет верный мудрый вождь Сталин, афористически, диалектически, со своей восточной акцентировкой: «Производство средств производства». в этих стенах — уверенность их созидателей в том, что никогда в это пространство не заселится частное собственничество. но, увы, именно там оно подспудно, медленно, на ничтожных привилегиях, на разности условий быта тех, кто с балкончиками, и кто без выросло. и силу этот украшенный картиной советской реальности и надежд берёт от соседнего домика, пониже.

этот ещё чистого конструктивизма дитя, пролетарских 1920–1930-х, скромненький, невысокий, приземистый, низкие потолки, длинные общие балконы. на них сейчас стоят и веселятся девчонки — это тем более нелепо, что шествие траурное, а они и понятия не имеют. и шизоидные антисемитские песенки-сны Сантёра Харчикова про то, как на фонарных столбах «либералы висят, и молчат их поганые рты», звучащие под шансоновый пластмассовый ритмбокс — воспринимаются ими просто как дискотечный умца-умца, они подтанцовывают и весело глядят на шествие. вот он, исторический и политический разрыв, и взаимонепонимание поколений: им просто не интересно вникать в суть событий девяносто третьего — кто был прав, за что велась борьба, тем более, что чётких, как у большевиков, целей и политических требований у «мятежников», у проигравшего сопротивления не было.

но людская, вместо автомобильной, фронтально растянувшаяся вширь Кольца масса движется по мосту и под следующим мостом, что через наше сейчас во всю ширь Садовое. прохождение мимо вертепа «Распутин» вызывает разные скандирования — самое точное, это «товарищ, смелее — гони буржуа в шею!».

этим движением дотекаем мимо Зубовской площади, где нас на видео снимают зеваки иностранного вида — как раз из окон дома Светки, подружки толстяка, в будущем убитого братка Бандера, актёра Стычкина и потом многих ребят нашего двора. минуем и серый дом музыканта-одношкольника, подбарабанивавшего у Псоа Короленко Лёши Касьяна и семьи лингвистов Поливановых-Охотиных, что фасад имеет дореволюционный, с божественными сценами барельефными. смотреть с проезжей части на МИД интересно: подробно видна вся интрига диалога с кремлёвским стилем и даже резнокаменную завиточную древнерусскость этого устремлённого в коммунистическую Вселенную звездолёта. говорят, у него шпили не предполагалось по начальному проекту (поэтому же —

и звезды на нём?), но Сталин простым вопросом «А шпил будет?» достроил его, никто не взялся перечить.

далее к Белому дому не пойду с массой слушать около могил панихиды православныя — из течения выделяюсь и отправляюсь домой арбатскими дворами, слыша и наблюдая временами позади растворение демонстрации в Твоих звуках и людской обывательской повседневности, для которой ничего в этот день не произошло в девяносто третьем, всё идёт в правильном направлении.

прохожу сегодня в точности по маршруту миграции за век семьи Булановых-Успенских и моей затем, но ещё без меня — с Арбата на Каретный. начальная точка — на Композиторской улице, место серого конструктивистского дома. затем, через линию будущего Калининского проспекта — в дом за булочной, что во дворе серого с колоннадой наверху, откуда граждане наблюдали в девяносто третьем расстрел Дома Советов. оттуда — в скитания к Казани, в голодные годы. с Композиторской же ещё мой двоюродный дед Василий, первый красный комиссар 1917-го на Пресню шёл, рядом. шёл от семейных споров за столом, за завтраком — с отцом-монархистом и братьями, у всех были свои политические симпатии, а бабушка моя пока смотрела на происходящее в мудром ожидании.

во всех них себя узнаю — и в прадеде, упитанном, сегодня точно выглядевшем бы буржуазно, даже новорусско, который ходил по родной Тебе, не представляя, как же будет жить теперь расколота, утерянная империя без царя, самоотреченца, и без веры. вот и бросился он под колёса, но, мощный телосложением, не погиб сразу, а скончался от мук в поезде в районе Казани. бросился от этих мучительных раздумий московского дворянина, поднятого с родного пепелища (которое действительно станет пепелищем, будет взорвано), к которым присоединялась и необходимость решить, как отцу семейства, следовать ли советам друзей — бежать ли за границу, в Париж или Германию? голод мучил его, привыкшего есть сытно, массивного прадеда моего — мучил весь этот неуют нового, ещё не понятного, революцией изменяемого мира. и я так же бегал, раздражённо вычитывал в вывесках изменения Твои, только потом добираясь с годами до политической расшифровки происходившего. но прадед Василий Сергеевич принял решение главное и правильное — все остались здесь, кроме некоторых родственников по линии Булановых. и комиссар Василий Васильевич — тоже я, сегодняшний интеллигент, идущий в революцию рядовым. и бабушка, ходящая в семнадцатом к Никитским Воротам наблюдать бои, помогать загружать раненых в машины. и её решение не ехать с машинами — тоже верное, по пути могли встретиться юнкера, никого не пощадили бы, не стали бы разбираться в дворянском происхождении барышни.

и уносила Твоя и Эпохи история дальше мою семью, мою фамилию. вернувшись, в пути схоронивших прадеда — встретил Арбат, у бабушки-дворянки даже смены белья не было по возвращении, по Арбату шли без исподнего. спасли и путёвку в новую жизнь дали, во-первых, дружеские связи бабушкиной сестры Ольги, а во-вторых, то, что Василий Васильевич, специалист по современной ему литературе (снова узнаю себя, свои истоки) и красный комиссар, воевал то-

гда на Гражданской в районе Волги — как семье комиссара дали верхний, второй этаж в доме Немчинова в Большом Лёвшинском переулке. так революционный взрыв перебросил семью через Арбат в сторону Тебя-реки и Пречистенки. а оттуда уже через полвека — на Каретный. куда прадед в достославные времена до-революционной златоглавой стабильности, секретарства его в московской дворянской опеке, ездил приобретать экипаж с маленькой моей бабушкой — куда иду теперь я, правнук монархиста и внук, сын, племянник, соплемянник многих, с разным оружием в руках, с револьверами, книгами, спортивными снарядами в разных сферах строивших новую жизнь, коммунистов.

как долго по Твоим переулкам, среди этого рисунка, этих изгибов и поворотов домов ходят наши фамильные ноги, наша дворянская кость!.. на стенах, переживших поколения встречаются через полвека или век наши взгляды. и сколько поколений просто молчат об этом? их не слышно из прошлого — предки прадеда, откуда половина «Успенский», священники с Пятницкой и родственница игуменья Страстного монастыря, по месту которого теперь мы проезжаем в гости к тёте на пятнадцатом и тридцать первом — едем по Бульварному кольцу, по моей стеннОй с малолетства азбуке к Сивцеву Вражку, как раз к тому месту (перекрёсток Большого Афанасьевского и Сивцева вражка, теперь там сквер и генеральский дом), где родилась в прежнем доме Булановых-Успенских у моей прабабушки, урождённой в семье купца первой гильдии Булановой, бабушка моя Людмила Васильевна (исконное имя — Неонила, но потом его изменили на более удобное). почему бабушкин старший брат комиссар Василий Васильевич не писал ничего про своё время, а только собирал библиотеки, дружа с Маяковским? точнее-то — писал, пробовал себя в поэзии и показывал друзьям-поэтам, футуристам и прочим. но ничего не осталось. ничего, кроме его прекрасной и трагической судьбы — учившийся вместе с братьями Серафимом (который после прохождения всей ВОВ будет строить Плесецк) и Владимиром (будущим охранником Блюхера) в кадетском корпусе, как и полагалось Твоим дворянам, вошёл в революцию семнадцатого как в свою родную, красным комиссаром, бился в Гражданской, дошёл до Волги, в тифовой горячке затерялся по госпиталям, как Корчагин надломил своё здоровье в этом железном, стальном потоке классовой борьбы на стороне, по обывательской логике, не своего класса. потом снова вернувшись в Тебя, обнаруженный родными в больнице, жил, собирая на заказ библиотеки и медленно, как Островский зрения, лишался рассудка, даже внешней нормальности черепа после испытания Гражданской, зная свой диагноз, периодически пребывая в лечебнице (то ли в Белых Столбах, то ли в Столбовой по Курскому направлению или близ Ленинского проспекта на «Канатчиковой даче») в отдельном для комиссара домике, и там же погиб от нацистской бомбёжки в сорок пераом.

вдоль Садового кольца, не выходя на него, мимо Патриарших иду к родному сегменту, мимо приветливо зовущего Эпохой дома ИТР Наркомлеса. под Тверской улицей Горького проходить тут по переходу — всегда дело нервное, обязательно кто-нибудь играет и кланчит. вот возврат, вот Постэпоха и Реставрация. смысл исторического движения утерян — в стенах советской постройки

гостиницы «Минск» (которая маячит на заднем плане в шестидесятилетнем фильме «Дайте жалобную книгу» и в которой Бренер с Пименовым писали в начале девяностых свои манифесты), в этих стеклянных стенах теперь показательная имидж-лаборатория, неизвестно откуда берущие, явно не у станка зарабатывающие, немалые баксы тут прихорашиваются на виду у прохожих и дворняг из переуллка, куда я прячусь от пестроты Тверской. что же осталось теперь нам от Эпохи — от всех невероятных усилий в двадцатом веке нашего, и здешнего, народа? наступила бессмыслица, Постэпоха.

смотреть, как делают хорошие мордашки буржуйские прихлебатели. смотреть, как в очередной новострой заселяются офисы, банки, салоны красоты и рестораны. но на чём это всё зиждется, на каком экономическом фундаменте? какой рецепт изобрела Постэпоха в своей грозной поступи по развалинам Эпохи, по руинам прежней социалистической формации? сосать нефть, сосать газ из прежде всеобщих социалистических недр, продавать их за рубеж по выгодным пока ценам, на это шикавать и, уже в качестве снисхождения, содержать на уровне прежних десятилетий оказавшийся ни при делах народец, более сонного состояния у населяющего всю эту местность под нынешним названием «ЭрЭф» — не было в его истории. видимо, успехи Эпохи за век почти — так расслабили умственные мышцы, какое уж тут классовое самосознание. и торжествуют вывески Реставрации, язык контрреволюции там, где изобретался и где в пространство впервые вписывался революционный, аббревиатурный, футуристический язык новой Эпохи, социалистический — люками, что и теперь под ногами прохожих, этими ГТС, Телефон-Н.К.С, Телефон-М.С., У.М.К.С.-Мосэнерго... а теперь — тупые переводные транскрипции, говори, «Первопрестольная», поневоле с акцентом, выговаривай словеса тех, кто победил в «холодной войне» — Солярный, Бьюти Клуб... дом, в котором Союзэкспертиза (странная ностальгия названия — Союза нет, а экспертиза осталась, метафора бюрократической контрреволюции) — мне снился. в том сне у него со стороны Малой Дмитровки есть продолжение, образующее внутренний дворик — поразглядывав с той стороны стену под крышей, я потом действительно обнаружил след ската вовнутрь, во двор когда-то существовавшей крыши, и отделочные улики продолжения стены в сторону генеральской башни, последней номенклатурной махины Эпохи на улице Чехова. и вот в том дворике глядящих друг на друга стен одного дома, высоко, на уровне второго и третьего этажей, заглядывая свободно и вливаясь в летние окна, я путешествую — скорее не летаю, а плыву. потом эта плывучесть продолжается в спуске из «Известий» к станциям метро «Пушкинская» и «Тверская». где обычно жуткая жара летом, пока по эскалатору едешь, ощущается — залита вода, нужно поднырнуть. так и делаю, и обнаруживаю справа, там где была стена и светящиеся рекламы — огромное пространство, опускающееся под водой всё ниже и ниже (там действительно теперь Тверской пассаж). ныряю как птица, не испытывая недостатка в воздухе... там диковинные кабинки, какие-то зелёные кубы или целые вагоны внизу, кораллы, там что-то надо взять с собой чтобы доказать это открытие

во сне. это точно после какой-нибудь войны или революции там всё стало затоплено, около метро...

в Успенском, полуфамильном моём переулке, к которому перебегаю перпендикулярно двум потокам машин через улицу Чехова (чем Чехов-то не угодил буржуйам и их Реставрации, чем обидел Постэпоху, зачем лишили его имени улочку?) — воистину символическое соседство двух пространственных объектов Постэпохи. иметь новых русских друзей-одноклассников полезно — не затем только, чтобы узнавать ресторанные внутренности и выслушивать их матерные исповеди о тяжёлом кидальном бизнес-быте, но и для того, чтобы выяснять истинное содержимое новопостроенных объектов центра, куда сам не попадёшь. например, что в одном домике напротив церкви в Успенском переулке — бордель наверху в пентхаусе, а в подвале даже сауна, где крутые новые хозяева жизни играют в специальную игру «каменное лицо». за круглым столом в предбаннике садятся голые мужики, а под столом путана делает одному из них известную оральную услугу. задача ошущающего — не выдать удовольствие лицом. играют, пока мимика кого-нибудь не сломается. проигравший платит путане сто баксов. раньше там была волейбольная площадка интерната для глухонемых.

вот и стоят друг напротив друга две составные, взаимодополняющие половинки Постэпохи — вертеп и храм. идущие как раз сейчас «с работы» путаны — крестятся на церкву и уносят заработок в свой незамысловатый быт, на радость детишкам от прежних мужьёв-неудачников, научных сотрудников... надо же как-то содержать? мясистые два охранника, отслеживающие выход не особо фигуристых, пообжухлых широкозатых путан, что-то говорят друг другу, с аппетитом смотрят на сотрудниц нового заведения, дающего им работу и говорят друг другу: «Ну, ладно, всё, выходные, хватит». возможно, этим лакеям-секьюритинам иногда позволяют подсмотреть за оргиями в номерах наверху. оттуда же, вероятно, из окошек пентхауса великолепно видна церковь. экстазы буржуазии и путан озаряются блеском куполов или даже совпадают с колокольным звоном. вот они, диалектические оттенки Постэпохи: одни ударились во все тяжкие, смакуют ещё на советских харчах выкормленной и воспитанной плотью удовольствия, доступные теперь за денежные знаки, а другие реставрируют символы дореволюционной веры и стучатся лбами в пол церковей. напротив через Успенский переулок перекликаются, перепихиваются фрикции моленные и половые, шёпоты молитв и стоны путан. а поутру просящий у ворот церковных нищий или просто бездельник, глядишь, намолит и получит бумажку от пользователя путаны или от неё самой — edem das seine, каждому свой Эдем.

нет, даже эстетика подсказывает — у такого настоящего должно быть сверхискупляющее будущее: революция, более безжалостная к ближайшему прошлому Реставрации, к Постэпохе, чем семнадцатый к царизму и тогдашнему, теперь прогрессивным, производительным кажущемуся, капитализму. неужели, имея образование и сознание, способное откопать, проанализировать все экономические таинства так долго длящегося буржуазного реванша за счёт пассивности общественного большинства — мы станем жить по законам узурпировав-

ших и воспроизводящих власть предателей Эпохи, предателей общественного прогресса? нет, только бороться! бороться быстро и медленно — сегодня и завтра, но не бросать борьбу. в Постэпохе выразилась не только реставрация частного собственности — выразился более чудовищный императив, императив смертности.

живи и дай место следующему. живи лучше за счёт слабых — время не много, торопись и не обращай внимания на сопротивление. соси остервенело нефть из прежних социалистических недр, обирай сограждан сверхприбылью — но *живи*, наслаждайся этой кратковременностью по максимуму, на виллах с гаремами, с бутылками вин за десятки тысяч долларов! вот психологическая нутряная суть философии нынешнего капитализма. тут уже одним марксизмом её не скوىрнёшь — надо его прирастить наукой о бессмертии, ныне только на дерипаскины деньги ползущей к великой цели.

кратковременность существования усиливает конкурентную мотивацию. но революция и коммунизм освободят от этого замкнутого безнадёжья — только с устремлением к бессмертию земному и вселенному, когда человек человеку станет не конкурент, а сосед. бесчисленное множество бессмертных тридцати трёх летних индивидуальностей, отношения которых построены на бесконечном интересе к отличию от себя, к уникальности другого и его богатству ума и навыков, ласк и фантазий. а за это, за своё и детей своих бессмертие всякий живой, всякий наделённый жизнью человек не может не бороться, если он современный Человек разумный.

такая футурология рикошетит от древних салатовых стен модерна и напротив них посеревших от воды и времени болотных бородатых шеломах берендеевых физиономий под крышей одноэтажного пегого дома, явно видевшего моего прадеда тут. иду к институту Габричевского, бактериологические препараты производящему, прямо за лениво и весело переговаривающимися путанами, обгоняю их, и сочиняются простые такие строки на первое время открытой уличной борьбы с носителями философии смертности:

В каждый джип — гранату!
В каждый банк — снаряд!
Классовой расплаты
Красный мы отряд.

Долго здесь вы не жились
Время убивали,
Предали эпоху,
Родину продали.

Ваш жирок подщёчный,
Ваши лыбы пошлые -
Прошлому пощёчина,

Трудовому прошлому.

Если стены сталинские
Вас бы увидали —
То б на вас обрушились,
Камнем бы застлали.

В каждый джип — гранату!
В каждый банк — снаряд!
Классовой расплаты
Красный мы отряд.

Десять лет хозяева
Недр, земли и воли
Нас ни в грош не ставили,
Только не пороли.

Но подрос подросток,
Песен новых хочет —
Не про «тонешь-тонешь»,

А про комсомольцев.

Видя тел продажность,
Видя денег шоры —
С прошлым он срастается,
С настоящим в ссоре.

В каждый джип — гранату!
В каждый банк — снаряд!
Классовой расплаты
Красный мы отряд.

Нам пятнадцать-двадцать,
Мы другим пример:
Мы твои последыши,
Наш СССР.

Кровопийц-буржуев,
Их подруг гулящих -
Мы взрываем весело,
Исчезаем в чаще.

В чаще у столицы

Бывшей пролетарской,
Будущей всемирной
Центрокоммунарской.

В каждый джип — гранату!
В каждый банк — снаряд!
Классовой расплаты
Красный мы отряд.

ГриндерА, банданы,
АКаэМы, песенки:
Градопартизаны —
Не КаПээСэСники.

Ведь терять нам нечего,
Кроме будней смертности:
Мы за вековечное
Младочеловечество.

Власть стране — советскую,
Недр богатства — каждому,
Деприватизацию

И экспроприацию!

Нет рифм проще
Тех, что под курком:
Буржую — пулю,
Стране — Ревком!

21.10.03. попытки нагнать время — разглядеть в потоке прошлой реальности смысл и ту самую тенденцию, которая объясняет настоящее — вот мотив радикального реалиста. но мотив не нов. разница в реализации — мемуар обречен, если он только мемуар. похоже, нахожу, наконец-то, метод. извлечение давнишней реальности из памяти должно быть лишь побудителем все крепче держаться радреаловым щупом за каждый завтрашний день. именно: то, что недоразглядел вчера завтра будет другим, но соседнее с этим другим, прежде незамеченное, должно быть выписано из реальности так, чтобы не было мучительно больно за бестекстно прожитые дни...

итак, сегодня. инструмент радикального реалиста — кратковременная память. в ней то, что уже завтра исчезнет из сознания, останется только экстракт, подходящий для мемуаров, но не для радреала.

холод уже хватает за уши. последние с ветвей листья, сначала подсохшие, а теперь размокающие на асфальте. венец углового мебельного на Петровских

буржуи всё-таки сломали — чтобы вид из новой мансарды был. балконное там что-то соорудили... устраиваются, под себя переделывают Тебя. что ж, пока ходим-смотрим. остановить это не в силах и не в желаниях никто. обречён на свидетельствство. и в другом угловом Виенерический хаус второй ремонт проводит.

почему я так натурально, подкожно воспринимаю всё это? наследственная память облика? нет — собственная. тот был чище, яснее. этот — в облаках строительной пыли. и главное — принцип: частная собственность стремится выразить себя через субъективности, через своих носителей, через собою мотивированных. вот и долбасят, да, хороший офис сделали на темечке модерна. с видом милым, дорого пойдёт. вот это резюме и характерно. почему что-то в Тебе должны менять сообразно этим низменным мотивчикам? из прошлого, девятнадцатого, возразят: но ведь и создавали по той же причине. верно. но я не собираюсь признавать откат на век назад. ментальный откат, приведший к этому эстет-пиратству, Реставрации. да! пусть бы строили даже генеральские желтокирпичные — бесстильные, безразличные к эволюции отделок и линий. но они — во времени, они логичны. они — борьба с излишествами, хотя бы внешняя. а эти — всё заново. да ещё и без учёта современности исконной. нет, ребята буржуи: даже внешность, даже эта ваша возня с липовой реставрацией симптоматична. а клинику МВД ремонтируйте, вот ей ничего не помешает ваше. накопили менты-оборотни денег на ремонт — что ж, валийте, потомки чекистов. новых тут лечить будем. без привилегий. только странный козырек из медной чешуи не пойму зачем лепят, вырезают морщинистую жесть как в детском наборе... где дверь-то будет? там же лестница вниз? ресторанчик, что ли, задумал Церетели?

уже не дачно пахнет деревянный переход, сооруженный на время ремонта и надстройки эмвэдэшной поликлиники. холодно ибо.

кислоликая, дешёвособлазная тёлка брюнетка на рекламе журнала развела сися, самое глазолипкое прикрыв беленькой одеждой. над остановкой первого у книжного «Москва». переход почему-то теплее, хотя проветривается. немного болотен — решётки стока, испод.

где нужно смотреть напра-налево, дабы не пасть жертвой авто мэрии, заглядываюсь на неё, на мэрию, на Моссоветию, чёрт вас, буржуёв, дери. в каком здании прописался местечковый империалист! на воротах — «1946» и щит, явно украшенный прежде гербом СССР, а скорее того — серпом и молотом. во вздыбившихся за ним наконецниках знамённых древков они видны, на щите же — пустота. заслуженная властью. зато плиты сияют. здесь — Ленин. и поэтому Сталин поставил перед этим домом, с которого Ленин говорил про свершившуюся пролетарскую и отправлял на Гражданскую пролетариат — памятник Советской Конституции и ряд домов аж до Кремля почти. любуйся, Ленин, — твое дело продолжено и монументально воплощено. 800-летию посвящена ограда. патриотическая. Лужок не даром её прихорошил. но то патриотизм не буржуазный, хотя нынешним империалистам-пораженцам подходит... мол, русское преобладает над революционным. наивные: революционноеросло уже, но не в русское, а в советское: смотрите внимательней.

да, славянские вязанки «фашины» с топоричами-алебардищами, но при этом знамёна-то увенчаны чем? рабоче-крестьянским союзом. соблюдена историческая тактичность. кровь народа и руководство Партии. кто смотрит назад — врёт и лукавит. советский, Советский народ в этих «излишествах» славится — новой страны, новой эры. преданной нашей современностью эры.

флагодержатели следующего дома тоже серпасто-молоткастые, тема о-грады, Победы продолжена. прохановцы, нет вам тут пощады: Сталин ни шагу назад не сделал (к монархии и пр.), просто прибавил соков корневых советской эстетике. за Победу народной воли и сплочённости, победу над «звериного национализма», как называл он фашизм. из немецкого камня ли выложен низ? из того гранита, что везли для парада своей победы враги. так и должно быть — тризна. они везли, мы победили. теперь это твердь победившей Страны Советов. каменный рубеж Эпохи на центральной улице: зримая, гранита крепче которая, карбышевская, нестигаемая, недробимая сила народа-победителя. по времени совпадает: эта часть улицы Горького достроена после войны. когда маршируют на фронт по этому участку — здесь виден просвет и боковина дома, который вот — слева за воротами гордыми, с кессонами-патессонами нависшими. конст-руктивизм строили тут до генплана. справа в купеческой архитектуре вязь и излишества уже не сталинские: дореволюционные, никак не расшифрую герб Льва и Николая. что-то охотничье.

25.10.03, сон. выглядывая после дождя или в зной, но точно после какой-то дополнительной обработки заоконной видимости: обнаруживаю переливающуюся радужность и зеленоватую перламутровость изразцовой отделки зубцов на крыше современного дома напротив. заговорили сказкой, повели за собой, задышали, бликами щекоча до слёз глаза — слёз от откровения. чуть позже там же рассматриваю даже металлоконструкции какие-то, ритмично расставленные, зверей, что ли...

кануны Дня революции. в тепловатой дождливости и смеркании выхожу из Газетного — к Арбату, покупать 32 буденовки по заданию МЛФ — к премьеру «матрицы-революции» в «Пушкинском», устроим в буденовках и очках новых Нео, флэш-моб. полувидное сращение Газетного с Никитской, подворотня «Консервы», дворы, ветер поддувает в парус-зонт, торопит.

по пути от ГИТИСа, за Моссельпромом у девушек ветер зонт задрал кверху, словно когтеватую лапу, они смеются и возятся с ним, пытаюсь из-под него же не вылезать.

Прямо вертолёт!

— Да уж, не говорите.

автостоянка на месте бывшей парикмахерской, дома, примыкавшего в Домжуру. ларёк с боковой рекламой «Элэм», романтической в духе панамери-кэн — с выпятившей под сетчатым облегающим одеяньем сися гёрлой и понто-вым продвинутым мэном. не на этих ли образах зиждется буржуазная мировоз-

зренька соотечественника? зонт приходится складывать в подземном переходе, чтобы не цеплять прохожих. тут суют, как водится, бумажки, служат капитализму несчастные. «Панинтер» витринами хорохорится. где ты там, в сумерках, Арбат? уже грузно высится, надеясь выписаться своим впалокружием напротив башенки «Праги» новый дом — там, где и дореволюционный стоял. Реставрация пространства. базис диктует. торговые прибыльные территории застраивать.

матрёшечники под мелким дождиком укрыли свои товары полиэтиленом. майки СССР видны, будёновки. ты ли это, Арбат? где кафе «Арба», куда мы бегали из школы есть мороженое, почувствовать новую атмосферу? тогда-то нынешнее и начиналось, казалось нам, школьникам, желанным. новое там теперь кафе, не для школьников и не для бедных. конкуренция. безвестное исчезновение арбатских истоков перестройки.

новый домина выстроен на месте автостоянки и выезда из подземного комплекса Нового Арбата. тени, а не развлекательные прилавки. весь Арбат — тень горбачевской мечты, обглоданный, обветренный задник уже неактуальной декорации. светится кафельная стенка, светится изнутри надеждой на посетителей пустой ресторан, стоят ларьки и лотки с сувенирным шмотьём, но никого интересующегося этим. призраки-продавцы мёрзнут. сломан угловой дом напротив Староконюшенного, под которым был книжный развал с «Киноведческими записками»...

дома — тоже тени. лишь редкие окна светятся живо, утварью средней руки: остальные ждут богатых хозяев — проданы и пустуют до приезда из-за границы либо ждут покупки. плитки «звёзд», пластмассовые жалкие буквы, знакомые и незнакомые фамилии, картиночки. Вахтанговский несёт центральную вахту, льёт своим боковым цивилизованным фонтаном Турандотихи навстречу порывистому, охлаждающему уши дождю-кочевнику.

вот и лоток, указанный на бестолковом плане Головиным, румяным головастиком, кроликом-энерджайзером. продавец ни о какой договоренности не слышал, но набрать 32 будёновки соглашается. по цепочке среди своей сети лотков (а все тут продавцы централизованы и в накидках зелёных с желтыми буквами «Арбат») быстро собирают нужное количество. другой мужик достаёт из-под прилавка сумки и там ищет будёновки, находит лишь несколько. сумки многократно залеплявшиеся скотчем-хаки. эстетика девяностых: мокрые продавцы толстые, привыкшие выстаивать на холоде свой доход. отсчитываю тысячи за будёновки — чёрные, серые, зелёные и сиреневатые.

в три чёрных пакета кладём, ноша объемная получилась и не совсем невесомая. несу все три в одной руке, в другой — зонт. с этим бомжегабаритным хозяйством пробредаю мимо Дома литераторов и Щуки, забредаю в подвал Юпитера, в «Союз» за Моторхэдом. охранник насторожен, но соглашается эти пакеты чтобы я поставил близ его стола. капли блестящие и уже впитавшиеся на свежих будёновках, обмундировании акции. охранник недоразумевая глядел на содержимое. «Тряпки» — я его успокоил.

сон беспокоен: медленные передислокации головы под подушкой, перевороты, вращения, замедленно имитирующие движение часовых стрелок. встать полагается в 8.00 — чтобы успеть к 9.30 на Павелецкий.

но просып: в 8.47 молниеносная, ещё через сон уборка спальной территории, два глазированных сырка с чаем и вылет. опоздал лишь на 10 минут, допустимо. ждавший меня subtilный эмоциональный комсомолец Максим корит, подносит пачку газет, кладёт её на борт подземного перехода. сверху они много раз были хвАтаны, поэтому истёрлись, замусолились — газета в газете. комсомольский выпуск. Максим просит червонец на попить, даю сотню, другого нет. приходит из Павелецкого с пластмассовой бутылочкой, предлагает, отказываюсь. прощаемся, благодарю.

и мочевой дух тут, у вокзала, аккурат как в туалетах поездов дальнего следования. нет, стоять тут не след, ворОтит. переносу пачку на борт другого выхода подземного перехода. обзираю панораму по кругу. пасмурно-серо сверху, но свежо, даже промозгло при довольно светлом утре. угловая новостройка с башней без шпиля — эрзац-американизм, рамы неживые, выхолощенные. и кто-то же в этих помещениях своё евробудущее обитает, обретает. странная имитация циферблата, навешена поверх оконных линий верха башни. после революции достроим её шпиль и уберём американизмы.

— За какого кандидата газеты? — спрашивает носильщик, подруливший отдохнуть к переходу. Объясняю, что не кандидат, а партия. Даю экземп.

— Это хорошая, хорошо. Я за неё десять лет голосую, но ничего пока не выходит.

звоню Головину. орёт, что все под вертящейся рекламой. пересекая трамвайные железяки, иду, волоку пачку газет: под вращающимся треугольником человек пять... Рэдвольф, кузен Леонидас, Пономарёв, журналисты. ждём, пока из-за вокзала вылетит первый аэростат. Головин ведёт его под узцы, мы сначала пошли навстречу, потом так же вернулись через трамвайные рельсы. подвешиваем портрет Ильи, поднимаем.

— С днём сталинского воздухоплавания, — говорю бородачу нашему, изображённому.

пока операторы снимают интервью с ним, раздаю газеты прохожим. По просьбе одного оператора, снимающего из-под руки моей с газетами, повторяю раздачу: «С наступающим Днём революции!» звучит грозно. двое взяли, один прошёл. переезжаем на Октябрьскую площадь в машине кузена Леонидаса, при выезде из тоннеля остановлены ментом, Леонидас получил предупреждение. постояв на Октябрьской и не дождавшись ничего (а именно — последующего поднятия ещё одного дирижабля в стиле Red Alert с красным серп-молотом на серебряном фоне, на этот раз поднявшего тряпку-фотографию с головой Головина, которую близорукий прохожий принял за «ой, Берия!..»), с бородачом садимся в его женой ведомый БМВ и свирепо стартуем. она ему мстит за то, что сюда вытаскил, гонщица «Формулы-1». ножки под сеточкой заслуживают внимания. лицо

грубовато кожей и нервно. порывистость вождения её тошнотворностью напоминает мне о слабом завтраке. припадками скорости долетели до «Москвы» за пять минут и — долгожданный глоток воздуха. есть время проглотить превентивно два пирожка с капустой и яйцом, запить ананасовым соком — товар заветной лавочки в подземном переходе, которая кормила в позапрошлом году работника «Комиссии». у спуска под землёй под «Националем». гротескно сбоку, глядя в Думу на разрушаемой «Москве» красуется эпитафия на синем фоне: «Нам нужна единая, сильная Россия. В. В. Путин». выпитый пакетик-кубик сока летит в дырку мусорки вместе с пакетами, спускаюсь в «Охотный Ряд» встречать ребят.

один, потом ещё пять и пять — вот сколько нас. новые лица, пацаны совсем незнакомые, слушают с интересом незаметную мою агитацию. выходим на свет, к углу «Москвы», пока ребята собираются — сбегАю в «Фанограф» за гонораром. а вокруг «Москвы» вьются, орут вверх работяги, готовят к сносу, леса ладят. сильна Россия твоя, Путин, дело очевидное: крепкое здание, символ силы, мощи советской — рушат. «Площадь Революции» все ещё ремонтируют, приходится идти мимо краснокрашенной круглой башни, восстроенной китай-городской. новосаженные деревца там где раньше была проезжая заасфальтированность чахнут, листьев как не было.

проулок после лестницы пахнет старью и прокуренными квартирами, возможно — выдох ресторанов, кондиционерные откровения. спешат аполитичные граждане, шаркают по волглому асфальту в своих занятиях, за своими зарплатами-доходами угоняясь. вот и я туда же. колокольный гул. в одном-то дне с нашими призывными серп-молоткастыми аэростатами... не знают попы, что мы творим. их мир отреставрирован, блестит, ладно так всё. беда в другом: заводы так же не реставрируют, а в работающих — часовенки для молебнов. наука тоже стала набожной, суеверной. по ком звонишь, храмина? коробка для подати прилажена у входа на газоне.

ныряю к подъезду «Фана». лестница, звонок, пускают, паспорт требует печальный и малость агрессивный охранник. «Денежки только пятого декабря будут» — сказано (тут вообще как заклинания произносят слово «деньги» — главная толстая тут тётка так смачно и загадочно со мной однажды поделилась новостью про лужковский транш: «Структура дала деньги»). беру натурой, тремя экзами хотя бы, возвращаюсь.

у «Москвы» что-то орут наверх, а охраняющий некто залез и сел на забор, глядит и слушает вверх. орут с высоты «Москвы» людишки её разрушающие, низводящие, не могущие осилить это расстояние Эпохи своими голосами («Надо так, надо. Деньги платят за работу такую — и ладно. Значит, знают зачем ломают»). гляжу на купола и наивные фолк-церковные мотивы в витражах-окнах бывшего входа к ресторану. бордо-коричневый отделанный фасад, тебя убирают с наших глаз долой. но мы тебя отстроим заново, «Москва», — музеем Сталина и его Эпохи будешь.

мероприятие неожиданное в стильном осеннем периоде, новая акция МЛФ, для которой я, торжественно отвезённый на «Резонанс» в партийной вишнёвой «Волге» нарезал два диска песен комсомольских, оборонских, панфиловских, эшелонских — плывём по Тебе-реке на теплоходе «Аврора» и палим по Кремлю, зазываем на демонстрацию седьмого ноября. пожалуй, последняя акция, на которой я стоял рядом с Игошиным. почему-то по инерции обозреватель НО решил, что акция устроена на деньги Игошина, хотя позже Пономарёв сознался в собственном единоличном вкладе в прогулку. заплыв приурочили к очередному пленуму СКМ — и прямо от Тишинки, от Росагропромстроя поехали к Пресне, к World Trade центру, на набережную, где серенький, с комической пушечкой ждёт теплоход.

пока вожусь со звукообеспечением, пока региональные комсомольцы и комсомолки рассаживаются среди довольно тесных столиков ресторанный ряд — замечаю, что вся «команда» официантов и прочих матросиков «Авроры» поголовно голубая, даже с подкрашенными глазками. сидюк местный работать не хочет с моими самописными дисками. и, покуда я ковыряюсь в кнопках и выглядываю в окно нашего судна, за которым высится гостиница «Украина» — Илья берёт микрофон и приветствует собравшихся. из-за висящих по бокам зала и полностью закрывающих окна теплоходика клеёнчатых новых баннеров с надписями «КПРФ — интернетциональная партия» и «Путин: вперёд в прошлое, КПРФ — назад в будущее» в зале стоит жуткая вонь клеёнчато-красочная, новизна продукции сказывается.

разрешая долгие мои усилия по вразумлению сидюка, голубой стройный матросик, зашедший в звуковой закуток сцены, замечательно голубенько интонируя, говорит: «Да ты в дивидии пастаавь». спрашиваю — а прочтёт ли? «Да, странный ты, .. какая разница-то?». брюнетик эдакий, подведённые очи. худой, какой-то надиеченный, что ли, малый в матросском белом костюме, обтягивающем маслостую неплотную задницу... возьба моя с диском (выведение громкой музыки, когда бородатый лоцман «Авроры» Илья награждает победителей Интернет-конкурса из Омска и ещё откуда-то и передаёт слово опоздавшему и ждущему ужина Игошину) не позволила заметить отправления теплохода и того, как он повернул в сторону Киевского, ведь носом-то мы стояли аккурат наоборот у причала под Белым домом. но — уже проплываем и из холодного нутра нашей посудины наблюдаем тёплые, таинственные, Твои окошки в Платошкином доме...

сюрпризы Тебя-реки ощущал ведь, но столько лет назад — когда ты, моя Тан, пришла на выпускные катания моего курса, и мы не замечали, где плывём, что проплываем, и всё целовались на правом борту, из-за нас тактичные девушки не ломились в туалет со стороны кормы, а обходили по периметру всю палубу... под нами неслась весенняя вода, а мы утопали в устах друг друга, долго-долго. потом, вдруг обнаруживая нас на Ленгорах, я рассказывал о детских тут гуляниях, о маминном ГЕОХИ, о длинном эскалаторе от станции «Ленинские Горы»... и мы снова тонули поцелуем друг в друга, проплывали ремонтируемый мост, раздавшийся вишьрь рифлёножелезными перегонами метро. а теперь вот я на «Авроре».

со странной голубой командой и обслуживаемыми ими комсомольцами. действо на грани абсурда — но происходит. алтайские комсомольцы, пока проплываем Ленгоры, каким-то проходим на набережной дружно наступательно начинают скандировать: «Ленин, партия, ком-со-мол!». стоящий рядом в довольно тесной молодёжной толпе Игошин улыбается, но от такого звукового террора чувствует себя малость не в своей тарелке.

отработав звукакём и оставив диски крутиться без меня, подошёл к стойке бара и у очередного голубого, но на этот раз блондина, узнаю, что стоимость бутылки водки на судне — 600 рублей. наверху два Андрея из «Завтра», Фефелов и Смирнов решили скинуться и таким образом отдать мне гонорар за антилужковскую статью весеннюю — и водку эту дорожную, под статью плаванию, «Флагман», приобретаем. не ветерке речном, на корме прохладно, аж уши мёрзнут. водка помогает согреться изнутри — проплываем как раз набережную поблизости от редакции «Завтра» и пьём в который уже, но на этот именно раз — за штаб сухопутных войск, гордо глядящий на нас сталинизмом и невидимой сбоку надписью «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь».

под Крымским мостом проплываем и целим на Кремль. нелюбимый завтраками ХХС слева и справа любимый мною иофановский дом на набережной, палаты Малюты Скуратова, заводские закоулки Эйнемъа... холодное время, близость воды усиливает мёрзлость.

первый выстрел слышу внизу, в очередной раз возясь с диском, а потом проглатывая немного соку и шашлыков захватывая наверх на закуску очередного «Флагмана», на этот раз самими Андрееми купленного. электрического происхождения звук выстрела немного закладывает уши в холодном и клеёночато, тошнотно воняющем внутреннем мире «Авроры». в пылу непрерывного обслуживания с блюдами комсомольцев голубые матросики смотрят уже не так враждебно. весело тут проводит время другая часть общества, по которой мы и палим, соответственно: вероятно, стёбно-революционный кораблик в экстазе буржуазного реванша снимают на всю ночь толстосумые любители мальчишеских усад, какой-нибудь Айзеншпис... там есть и с кроватками каюты наверху, где мы сбросили свои верхние одежды, где я оставил свою кожанку...

особый восторг уже нетрезвого и немёрзнувшего товарища вызывает приближение «Авроры» к Космодамианской набережной и высотке на Котельнической. плывём по холодным Твоим водам почти на том же уровне, на котором находилась редакция НО... «Аврора» никак не может повернуть тут к Кремлю, узковато, а наверху вовсю Андрей из «Завтры» поют в сторону высотки: «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина». под высоткой я с комсомольцами из Барнаула и Рэдовольфом рассматриваю в уже весьма тёмной видимости явно путающиеся ино-марки и ярко одетые путаньи тельца, ругаемся и факУем в их сторону. и, наконец, развернувшись, плывём к Кремлю, стреляем ещё раз, на этот — наверху с Ильёй встречаю сей бабах, успешно клянча гонорар за сданную уже, но нигде не опубликованную статью про ревконтркультуру — на ещё одного «Флагмана». Пономарёв немного смущён: неужто все эти леворадикалы такие запойные.

всё же замёрзнув в неприятном ночном речном воздухе Тебя-реки, забираемся с Рэдловольфом и прочими товарищами вниз и поём вместе с диском Интернационал, зажигая весь уже расслабленный салон, держа кулаками «рот-фронт», эпатируя голубков-матросиков и своих сомневающихся, Игошина рядом нет.

высаживаемся там же, у Белого дома, символично — жаль безоружно. написать про это мероприятие мне нужно в НО завтра, если Турсунов съест такую новость или сверху из кабинета Игошина, занятого сотрудниками Ильи, пролоббируют. заглянув в их коллектив, как-то раз, с очередной статьёй или новостью — шутливо попросился на случай закрытия НО в компанию. Илья серьёзно и заботливо воспринял тему.

незаметно в быту Газетного переулка и радиопередач на «Резонансе» подкрался праздник Октября в ноябре — 7-е. в этот раз всё как обычно, за исключением открытия, сделанного нашей первой, идущей за духовым оркестром колонной, когда минули МГУ на Моховой: в солнце, на фоне ясного синего неба над Госдумой, над Совнаркомом, наполовину поднятое, развевалось большое Наше, красное знамя с хорошо видимыми от Манежа серпом и молотом жёлтыми, советскими.

пытаемся соединиться с этим событием, перекрыть голосовым скандированием выдувающую медь глупую оркестровую мазурку, комиссар боевых бригад Немец из АКМ орёт: «Хватит мазурки — даёшь ре-во-люцию!». праздник Революции усиливается с приближением к коридору Эпохи между Совнаркомом и гостиницей-Тобой. а как этот Совнарком строили! на фотографиях журнала «Огонёк» даже строительные леса, освещённые вечером, торжественно выглядят конструктивистской постройкой, нижнюю часть забрали под сплошные щиты с полукруглыми футуристическими выступами-башенками. и будущий вестибюль метро «Охотный Ряд» переотделявают, в лесах он. по соседству на фото, ещё заслонённая рядом старых охотнорядских доходных модерноватых хмурых домов, достраивается «Москва», которую нынче сверху, как дроздофилы или другие грызуны, гастарбайтеры делают прозрачной — вот вы и встретились, Эпоха с Постэпохой.

Совнарком строили тоже как чудо, как завоевание — а рядом, ещё закрывающий половину будущей улицы Горького, достраивал одноэтажный невзрачный домишка, его пока не трогали, воздвигая в торжественном вечернем освещении над ним небывалую массивность и высоту Совета народных комиссаров. домишки, заслонявшие будущее моё место работы в доме четыре, взрывали быстро и аккуратно, есть кинохроника. там уже мы, привыкшие к культурным и широким очертаниям улицы Горького, понимаем, насколько необходим был Генплан прочистки Твоих артерий, пролетарская моя Столица — как неизбежно было в Эпохе преобразование узенькой купеческой Тверской в гордую победную улицу Горького, которую назад разыменовали теперь издевательски, ведь по составу она вся Эпохальная, за исключениями малыми.

войдя в коридор между «Москвой» и Совнаркомом, глядя весело на оторопевших «космонавтов», демонстрация стала ловить сброшенные листовки, как мы тогда подумали, улыбающимися нам гастарбайтерами-ремонтниками с кры-

ши Госдумы. листовки блестели на солнце как дождь, написано на них было мало — «Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая революция!». так же в момент прохождения первых рядов (радостная демонстрация вбирала событие это как вполне логичное) с крыши Совнаркома, вынужденно при Реставрации именуемого Госдумой пока, упал какой-то выгоревший скомканный триколор. словно, пока он летел, пролетели и все года власти контры — флаг выплел и почти в белую тряпку обратился. но для того, кто это всё героически и самоотверженно для демонстрации произвёл наверху, пока по колоннам разливалась радость и скандирования обретали небывалую твёрдость — для него началась пора расплаты, его в этот момент уже тащили вниз чернорубашечные слуги режима по лестнице, специально за ноги, чтобы бился головой.

с утра, не имея пока редакционных заданий на Газетном, только на всякий случай от Турсунова сказанное по поводу поднявшего красное знамя: «Ну, пускай тебе расскажет, какой это он белены объелся, чтобы всё это проверить...», получаю партийное задание — навестить в ЦКБ нашего героя, поднявшего красное знамя над Думой. теперь команда Ильи Пономарёва, видимо, по дружеской договорённости на самом высоком уровне ЦК КПРФ — вполне принята некогда фыркавшим на его фамилию Игошиным и жиавёт не где-нибудь, а в помещении над редакцией НО, предназначавшемся для кабинета шефа на втором этаже. там и получаю инструкции.

Армен, вспоминаю его улыбку — детскую, добрую — и полнью яростью к тем, кто его истязал. он был у нас на «Резонансе» незадолго до 7-го ноября, рассказывал про родной Псков, пушкинские места. наш человек. но чтобы такую акцию совершить в одиночку... букет бордовых роз, тяжёлый пакет винограда, конфеты «Красный Октябрь» — партийная посылка. Головин звонит знакомой кремлёвской врачихе и просит сделать пропуск на нашу машину. наверно, с замотанной головой лежит. Сволочи, головой по ступенькам волокли. садимся в партийную «Волгу» вишнёвую, всё как встарь, только не номенклатура, а революционная новь в моем лице.

фотографы «Газеты» и «Коммерсанта» плюс его же репортёр Кашин. трое на заднем сидении. выезжаем в солнечный день улицы Герцена. замечаю на нижней части навесного лифта справа (в квартале, где магазин «Свет») надпись «Инт Эко» — старая, наклеенная, наивная, с воздушными шарами, возможно, тут началась империя-пирамида Батуриной. через Никитские Ворота разворачиваемся. так, надстраивают и угловой «Ткани» бывший. поворачиваем на уровне пушкинского венчального храма, всего огороженного остроконечно (чего нет в эпизоде какого-то фильма восьмидесятых с Филатовым в роли театрального режиссера, там дерево растёт с этой стороны у самой колоннады). дерево срублено во имя ограждения церковного владения.

яркий Калининский проспект с поворота от бульвара-тоннеля берёт нас в разгон. пролетаем на одном дыхании мост, высотку, дом Брежнева — Андропова и его дальний флигель наш заветно-музыкальный.

ясность, чёткость панорамы и сознания: едем навестить Нашего. Триумфальная арка, то есть, еду я один, но сопровождение прессы делает визит значимей. да и сам я — она же, только на этот раз заинтересованная, политпресса. знайте, как дорожим отважными. ЦКБ — легенда, о которой слышал, но не видел. в Кремлёвской больнице герой Красного Знамени. скажут «депутатский блат» — отвечу, что достойное место для Нашего. не в шике дело. солнце сильно греет через лобовое.

выруливаем на Рублёвку. знак приближения к сталинским местам неожиданный — угловая новостройка с блестящими стёклами напоминает Наркомтяж (который, серпасто-молоткастый и массивный рядом с исторически-приземистым Кремлём на месте гостиницы «Россия» должен был вырасти с мостом в придачу) в проекте: высокие арки, соединения корпусов. только всё железно-стеклянное, лёгкое.

глотят рекламы товаров, недвижимости, политиков-кандидатиков. торговый центр выстроен, нахально закрывающий этажей пять жилого дома. а мы едем по следам седьмого ноября. по следам борьбы и кары за борьбу.

через лес прямо — видны ворота. по бокам стражи архитектурного сталинизма, колонны и круглые слуховые окна декоративные. выхожу в лесную прохладу, приятную и освежающую после машинного сонноватого тепла и запаха. от охранников веет советскостью. говорю номер, ищут в старом посеревшем списке на стекле, после долго звонят по своей связи, отчего постоянно гудит вовне их же трубчатый сигнал. такие же в метро. гляжу в боковой предел с колоннадой сильной. больница Эпохи, большевиков здравница, мы к тебе приехали, спокойная, елями прикрытая. наконец, не взяв полтинника за проезд, пропускают. «Вперёд», — говорю, садясь в «Волгу», команду парадом уже я.

навстречу мерс и джип правительственные, гады. но мы здесь по другому поводу. слева — корпуса. доезжаем до круглой лужайки с круговым же объездом клумбы. спокойные лавочки, всё аккуратно, подметено. спрашиваем у идущей мимо медсестры, где вторая неврология, объясняет.

едем к главному корпусу. его выдающаяся вбок колоннада величава да и сам в рост могуч. сталинизм солнечный, тихий. пытаемся запарковаться вблизи, но потом едем на ту сторону здания. глупый переход достроил здание в наши дни, видна разница и хлипкость новостроя. старый же плитками отделки стоит и бежевеет на солнце сталинизм.

пробираемся через боковую какую-то дверь долго и плутая. обнаруживаем гардероб, раздеваемся. останавливать? пока — нет. садимся в лифт — на седьмой. си-не-серый лифт светится и блестит шиком. всё ж Кремлёвка. кнопки большие и круглые. свет сверху, с боков. идём по седьмому не в ту сторону сначала. мои шаги решительны, слова командны — голод только помогает сконцентрироваться. боевейшее настроение, будто не навещать героя, а мстить за него веду людей. пахнет парикмахерской, такие тут роскошества для больных, проходим её и попадаем в нужный коридор. видим в 716-й согнутые волосатые смугловатые ноги лежащего. это он. сразу входим. сосед пожилой говорит: «Подождите». только что сделали укол, тошнило во время еды.

Армен узнал меня, голова цела, но сам зеленоват. то, говорит, холодно, то жарко. сначала стушевался, пришлось вывести фотографов, ждут за дверью. рад меня видеть, подсаживаюсь на кровать. одевает тельняшку. долго общаемся, пока рассказываю, как мы увидели флаг — держит мою руку. улыбка на месте, значит, всё нормально, не так страшно, как думалось. как пробрались — интересуется. сам комментирует: «по-большевистски». зову репортёров. вспышки, интервью. пакет виноградный — на окно. и в коридор — искать ёмкость для роз. забегаю в кухню. прошу молодую судомойку — отзывчива, идёт со мной к дежурным, обнаруживаем на окне пластиковую бутылку, ёмкость для воды, отдают её без сожаления. откручиваю ей горлышко выданным на кухне ножом. горячую, поспешно мной налитую воду милая судомойка не рекомендует — выливаю и заполняю холодной.

чикают кадры с розами, досвиданьясь взаимный жест — «рот фронт» — успевает коммерсантовский фотограф поймать. выходим и долго обходим корпус вдоль стены. чудом пробрались, и теперь дело сделано, навестили, радость принесли. хоть газеты, в которых о нём пишут, и нельзя Армену читать. не в том дело. и будут писать ещё — затем и приехали. садимся в «Волгу» выезжаем. путь обратно быстр. набиваю СМС Мэйдэну: «еду, буду в 4-5». не нашел тире. но проскочили быстро обратный путь мимо остановок с грустными людьми. люди, не грустите: мы прорвались. мы здесь. мы проезжаем мимо вас, пока не известные и не понятные борцы.

мы. не репортёры и даже не я-журналист. мы — осмелившиеся. мы — краснознамённые, радость от подвига дающие и чувствующие. мы, едущие из ЦКБ — но не от власть предержащих буржуёв-либералов, а от подлинного кремлёвца, который реявший всю Эпоху над Кремлём флаг поднял над буржуазной Госдумой.

вот что он на диктофон мне для «Резонанса» наговорил тихим голосом пациента в боевой, не сдающейся врагу тельняшке — пациента, приходящего в себя после боя, глядящего поминутно на фотографию сына. он с ночи остался в Думе, благо сам — помощник депутата фракции КПРФ. заранее заказал флаг, чтобы серп и молот побольше, как раньше над Кремлём. ночевал на крыше, укрывшись полиэтиленом строительным (там ремонт как раз), спал не долго. дождался утра и забрался на специальную площадку у флагштока.

так и надо было — с началом разрушения гостиницы напротив — жест приобретал особый смысл, то помещение захвачено, но уличные бои ещё идут, здесь наша победа будет... ждал до последнего момента, глядя с Твоей высоты на центр — видел, как колонны проходят мимо кинотеатра «Ударник», приближаются к Манежу — точно так же следил за нашим движением, как мы потом не отрывали взглядов от его флага.

о, пространство моей Столицы — ты ещё не видывало таких подвигов со времён революционных боёв начала прошлого века, когда на Пресне с семёновцами в девятьсот пятом и у Кремля бились с юнкерами красногвардейцы! а потом, за время Эпохи, раньше, этот красный флаг здесь на флагштоке был и незаметен никому, привычен. наш городской партизан Армен встал над центром бывлой пролетарской Столицы, над изгрызенной сверху, захлавленной и словно разбомблённой «Москвой» напротив, над домом четыре справа, почти вливающимся в Госдуму, где

я с осени двести тысяч первого работал, революционизировал доступные информационные пространства, над Большим театром и дальнейшими закреплёвскими, замоскворецкими пространствами — и начал своё дело. прикрепил к тросу флаг, и стал медленно его поднимать — но вот диалектика и борьба противоположностей: чтобы поднять красный флаг, нужно опустить триколор. не то чтобы, как кричат нацболы и акаёмовцы, «триколоры в унитаз», но ровно сколь поднимешь красное — столько же и припустишь трёхцветное. и стал медленно торжествовать над матрачным трёхцветьем наш пролетарский, Наш красный флаг Эпохи и Родины. как над Берлином вставал он победно под солнцем.

но как же дошло до того, что это поднятие — у себя дома, а не в Берлине могло быть затем осуждено и отважный за это избит на месте? Реставрация и контра — процесс медленный, обывательский, в ходе которого частная собственность в общественном сознании восторжествовала и брюхом своим, словно часть поплавок — взяла и перевернула всё государство, некогда рабоче-крестьянское. и стали искренне ненавидеть и не понимать смысла этого красного знамённого символа под ним выросшие, и взвыли яростно шестидесятники с диссидентами, создавая звуковое прикрытие приватизации, от которой и сами-то ничего не получили, зато священную роль свою выполнили, сущностно повоняли, о чём Ленин предупреждал в своё время.

Армен поднял флаг до половины флагштока и озарил ало все ближайшие просторы с высоты, откликнулись ещё живые стены «Москвы», испугались, но не стали вмешиваться пришедшие и в этот праздничный день ремонтировать крышу ГД гастарбайтеры. флаг взмыл в ветре в небо над Тобой. тут-то и появились фэсэошники. молодец Армен, на случай именно таких обстоятельств да и просто для страховки — приковался наручниками к флагштоку и выбросил ключ. фэсэошники побоялись бить Армена на высоте — его уже фотографировали все успевшие занять мало-мальские высоты фоторепортёры газет. на фоне герба СССР, символа мировой революции, — Армен с улыбкой от совершенно-го героического дела глядит вниз, к нам, в ряды демонстрации. ведь именно наш цвет из извилисто поворачивающих к Совнаркому колонн подхватил он там наверху, словно вдохнула высь Столицы послание масс и взвился красный флаг на прежней высоте.

когда чернорубашечные фэсэошники подобрали ключ, немолодой начальник гастарбайтеров, до сих пор никаких действий в помощь власти не осуществлявших, — подбежал и дал пощёчину Армену. чтобы показать свою лояльность облечённым силой стражам буржуазного порядка. «Что ж ты, гад?.. ты же тоже, как я, советский!» — попытался Армен к нему обратиться, но его уже били и волокли чернорубашечники, одному из них он, боксёр, успел ответить, но только усугубил этим ответный террор карателей. его, потерявшего сознание, проводили сверху донизу по лестнице Думы — как яростно, должно быть, клацали попутные им медные вставки серпасто-молоткастые под перилами, не могущие помочь коммунисту противиться чернорубашечникам! его притащили в подвал и там, рядом с отхожим местом гастарбайтеров, приковали высоко к перилам на

несколько часов, чтобы руки помучить оттоком крови. на этом террор закончился — как же проморгали такую акцию защитники Госдумы из ФСО, есть за что мстить... милиция уже была добрее, как сам он говорил в палате ЦКБ. разрешил Армен и проблеме сомнения некоторых наших левых в «думских мальчиках» — точно такой же думский мальчик внешне, как какой-нибудь Сурайкин, пиджачный, приличный, вовсе не вид не герильеро — затаился в Госдуме и поднял флаг всего нашего (включая самых-самых, но до этого не додумавшихся) протеста.

приземляется «Волга», чтобы меня высадить за метро «Кутузовская» и серым, с колоннадной короной, неоклассицистским, целый квартал занимающим домом одноклассника Серёжки Козлова. иду вжигать, вчёсывать медиатором в струны драйвом песню «Революция отменяет смерть», инструментальную середину, соло. петь гитарой вариацию на «Время, вперёд!». из подземного перехода выхожу к солнцу. теперь играть будет лучше, со знаменем в прожитом утре, с Арменовой улыбкой.

1–2.12.03. видишь, Ты-гостиница, мне даже и приснилась, значит, не зря лазал. это был вообще сон полётов и превращений, вплоть до прозрачного состояния. хорошо ли?

каким-то образом оказался наверху «Москвы», около правой башни (там и был реально тогда), если глядеть на фасад. ощущения — боязнь высоты, незащищенность бортиками. видимо, Витёк там фигурировал на краю — я и за него боялся. взгляд вниз, на крышу ресторана и нагонял жути высотной. потом начинаю летательным, невесомым образом опускаться вниз, углубляться. или же это, наоборот, самая верхотура? но ощущение нижнего помещения (как бы продолжение мраморной лестницы ресторанной и длинное помещение, расположенное под внутренним двором). белые мраморные стены, тут заседает какая-то секта.

главное — это атавистический агрегат в центре помещения, прилегающего к лицевой части фасада (значит, верх — возможно, и крыша, но присутствует потолок). почему крыша: агрегат — ни что иное, как увеличенная, вытянутая и стилизованная под тридцатые Царь-пушка или что-то вроде неё. а такая может быть только на крыше — должна же она стрелять, иметь выход для дула. однако дуло неявно. старинен и замысловат лафет: вообще вся конструкция длинная и величественная. как бы центральная мачта на корабле, плотно схваченная лафетом, только горизонтальная. без узоров, задеревяневшего стального цвета. символ обороноспособности СССР или настоящее, сюда переставленное с какой-нибудь корабельной палубы наследие прошлого. или реверанс преемственности в сторону эпохи Петра I?

выше на белой стене к углу просматриваются фрески — то ли закрашенные, то ли, наоборот, отмазанные. некий святой бородач. и сидят-поют, своим делом занимаются какие-то сектантки, монастырщина тут, оказывается.

сегодня из Газетного увидел причину сна, нерв, тревоживший: именно эту башню «Москвы» уже сгрызли лужковские гастарбайтеры. стоишь, как объединенная сверху мышами, блёклая полая коробка, моя «Москва». а сон — про погруже-

ние в пучину древности, из которой гордо возвысилась советская Эпоха и её заглавием — ты, «Москва». только пушка непонятна. сомнение в Сталине (излишняя страсть к иваногрозности, монархии?) или важный фрагмент, никем не упомянутый? пушка для командного выстрела по врагам революции (направлена в сторону Манежа), точно на запад — сигнал к революции мировой? отсюда, с «Москвы», должный грохнуть... пушка в стиле сталинской авиации.

стена старейшая, 30-х, выходящая к Совнаркому, пока рушат с другой стороны, всё ещё держит во всю высоту и длину рекламу, уже успевшую поиспачкаться, прижиться на подлежащем слову пространстве: синий фон, белые буквы, круг с медведем внизу — *мы должны сделать россию единой и сильной. В.В. Путин.* так и делают. точнее не скажешь потом: «Йесс, мы её сделали, господа!».

о начале зимы — заблаговременно, с ещё закрытыми глазами, сквозь сон узнаю. выглянув: да, белизна, трудно отличимая от ещё вчерашней, новой жести крыши на музыкальной школе. и ниже заснежилось всё, зазябло. где же жёлтое сиянье крон?

идти-то не холодно, даже уютно. но всё же как-то непорядок... ведь октябрь. что ж ты, октябрь, так быстро сдался? и сверху снЕжит. листва опала недожелтев, обмороженная, искореженная лежит в снежных крупяных насыпях.

двойная запись — мой метод. иду делать пиар толстощеки. пишу куда надо — и сюда, себе. о том, как из этой власти да из этой скороспелой зимы изворачиваюсь. впервые вхожу в дом длинный бетонный на Садово-Кудринской, что перед Филатовской больницей от площади Восстания если смотреть. на его часы я глядел, поспешая из школы в бассейн Дворца пионеров на Миусской. жил с этим домом поверхностно, когда он был единоличной вотчиной НИИ какого-то. теперь в другой эпохе в него захожу. тут уйма учреждений, скопище сотовосвязных фирм. «Диксис» какой-то. «Сонет» гиганскими белыми буквами на синем фоне — на грубом бывшем чистом, по Корбюзье так полагается, объёме, он же вестибюль. бюро пропусков. НФ ДПРС — организация, в которую иду. жду лифта со многими влезем ли? если лифт длинный — влезем. нет, короткий. упхнулись. приходится на третьем выйти, выпустить женщину, другая держит кнопку дверей. мужчина ей говорит, что это бесполезно, но она уверена, что помогла мне. наверное, эта моя пилот-косуха идёт, красит? пятый.

полулестница слева — в староделанный нишнний коридор — нет, там 600-е. мне 536-ю. иду к центру, по дороге в окне вижу не только основные, как на тельняшке, ленточные окна вниз, но и вертикальные, где лестницы. да, массивный конца двадцатого конструктивизм брежневской поры. дом, оказывается, крестом устроен. дальше — парк Филатовской больницы и ближнего к нему посольства, лезут пустыми ветвями чёрные стволы из этой зимы. за один день зима настала. но я вошёл неожиданно в этот приготовившийся к холодам, пАрящий, паркующий машины район. башня сталинского замка на Маяковке — в лесах, подкрашивают. правильно: нам, сталинцам, на радость.

попал к очень упитанным. Чёрный — это я, говорю. не пугаются, долго жду главного. Путин висит портретом, флаги. толстенные, довольные все, спрашивают друг друга дружески, по-домашнему, точно перед разрешением запора на унитаза, на выдохе «Ну как, ты запарковался? Вот и хорошо». так же, вероятно, они в деловых уже, привычных постельных отношениях с обеспеченными своими жёнами — запарковываются... кормят их страховые компании — просто за то, что они их объединили и обеспечивают пиар в околдумских слоях. халявщики, им этот строй подходит. ничего своими руками не делают: элита, информационная эра. есть на чём укорениться мечтам о цивилизованном рынке, гражданском обществе, инвестициях, «длинных деньгах». как же вас победить-то, таких упитанных, в жизнь эту вросших?

хваткий поджарый пиарщик сильно жмёт руку. работал с губернаторами и сенаторами. такой на 200 долларов, как я, жить не захочет. этому и машину кормить, и в ресторанах обедать. а сам-то из Новосибирска. лицом малость монголоиден, сглаженно, по-сибирски. обо всём успели перетереть, вплоть до полевевшего Доренки, нового члена КПРФ. им тут уютно, шеф хорошо кормит. да и работа не пыльная. круглые столы, аналитика, встречи. новый мир. мир, на который я с партией собираюсь войной. а сам тут вальяжно беседую, веселю их, поддерживаю светский тон.

пиар-объект нервен, быстрослов и в глаза глядит редко, опоздал на час.отовый телефон его постоянно ксилофонит. мой живот выдает пролетария, время от времени, пока я пишу, стенографирую речь этого бая с усиками — взбурливает голодным рёвом. ухожу, долго не мурыжу. в молодую зиму Садового кольца за окном над лестничным пролётом — к дому «первой ипотечной», угловому на той стороне, с задраным современным козырьком, в Бронные края. и тут у оград особняков — замёрзшие листья. светло, зелено-жёлтые. как вас сморозило, бедных! снег прибывает. день захвачен зимой, как город завоевателем — стремительно, по нарастающей, хмуро.

день второй зимнего наступления. она взялась за дело хватко: вечер прошлый был типично зимен — ничего не видно, глаза сщурены: главная беда и режим зимы — это невидимость Тебя.

на деликатно выступающих гранях угловых камней руста у серого сталинского дома в Глинищевском (не вернуться мне в наш летний, Тан, Спасоглинищевский, не спастись...) — снежок. там, где дня три назад розовело и оранжевело солнце. дикий виноград, покусившийся, поползший на провод перетяжки через переулок тоже обмёрз, краснота его листьев не светит интеллигентно — с осенним сплином творческих жильцов сталинского замка — всё заснежено. «Банк нефтяной альянс» принимает именитых гостей: охранник не пускает женщину пройти к своему подъезду из-за барских машин, она скандалит. стрЕльнуть бы в этого холуя наповал в знак солидарности с жительницей и продолжить маршрут, как ни в чем не бывало. зелёные, не начинавшие желтеть листья деревьев вытянутого «заМосковского» сквера не согласны с нападением зимним — снег на них нелеп.

такие только ветром сбивать да смораживать крепление, отмораживать от веток — и то лежат внизу, гордо зеленея. коричневые податливые падению листья растоптаны в снежных болотцах до состояния грязи, напоминают навоз.

27.10.03. демо-версия зимы закончилась, сказал в кабинете Игошина, оккупированном МЛФ, румянец-Головин. с крыш вниз двора несёт капли, пудру холодно-морящую. запахло весной и свет весенний, хочется загулять в Тебе и встретить её — новую мою девочку, ветвящуюся в объятиях и обволакивающую одним только взглядом или видом, светом волос. она должна быть светлой. хватает черноты внутренней и внешней. каждая буква черна.

главный вызвал в кабинет, долго держит паузу, презрительно пЕря последний абзац. не вовремя втемяшилась на телефон многословная жена главного, из дворян она, сбила настрой. потом-таки:

— Ты сам-то в это все веришь, что написал? Ты действительно такой мудака, других слов не подберу? Вроде умным казался... при чём тут буржуа — вон комсомольцы твои бывшие, крестьяне-то спиваются, а вместо них китайцы работают в колхозах потому, что у них в Китае частную собственность не отменяли. Поэтому государство сильное и в космос полетели. Буржуа!.. Оставляю на твоей совести.

это про статью комсомольскую. правлю, но мало. вбиваю комментарии. важный момент — я сам себе цензор. и всё-таки мысль впускаю свою... докомплектовываю полосу колонкой про закрытие сельских школ. как на счётах сбрасываю лишние строчки потом. а самое красивое оставил всё же.

«Двести книг для женских колоний по просьбе Проханова». — Головин суёт бутерброд деньжищ. пообедав чаем и тремя пирожками с повидлом, с жиром на губах и ощущением стабильности — в маршрут по зимней тьме: Газетный — «Фаланстер» (где заказ: соберут к пятнице один комплект точно) — «Дуэль» (шесть статей разом, просроченных, нередактированных и комсомольская в их числе). цепь на двери «Дуэли» открывают: «Кто там?»

— Григорий Дебеж.

нацбол некий «Осенние бои» критикует в сорок второй «Дуэли». почитаем, что про нас пишут идейные оппоненты...

30.10.03. статью про комсомол, даже с бездарно вырубленными строками, то бишь логикой, слямзила Правда.ру — значит, не всё так безнадежно. А Баранов на новом месте работы, в Правительстве РФ, куда мы его саркастически проводили, напутствуя «не скурвиться в антинародном»? засветил он Алешина смелым высказыванием о раскулачивании ЮКОСа, и теперь не пресс-секретарь, а главред КПРФ.ру. и моя персональная страница там обновилась. спасибо Баранову или это последний выстрел Пономарёва? или вообще это Тугарёв, старый коллега по окружкому на Остоженке? «методы радреала» теперь там живут. и «Шаг». вот так.

в «Фаланстер» — за книгами. молодцы: собрали два комплекта 220 книг. домой обедать и ловить машину. у Театра Пушкина остановился морщинистый до-

брый водила. долго рулим, подъезжаем к «Фаланстеру». бритоголовый бородатый крепкий интеллигент Борис сам помогает носить коробки. говорит, что Фефелов звонил — волнуются, то-то Головин торопил... едем. Патрики снова в строй-технике. водитель на Спиридоновке спрашивает: «Это у вас Проханов редактор? Что-то спорит всё... он коммунист?»

— Нет, он за православие, самодержавие, патриот...

— Он заикается?

— Да нет, вроде...

завесили Театр повторного фильма рекламной марлей — плохой знак. неужто сломают — с рупором на крыше, ещё военных лет? путь от Никитских Ворот влево, к набережной Тебя-реки за Кропоткинской — наши, Тан, сокровенные места. медленно тянемся к Крымскому мосту. шофёр нерешительный. все эти пути-развозы стали мне за последние газетные годы настолько родны!... проезжаем штаб сухопутный войск — высокий, советский, с медалями «За Родину! За Сталина», за Сталинград, Севастополь, Ленинград. наверху штаба хрупкие, но грозные складки оружия, символы обороны социалистической родины. послевоенный расцвет сталинизма. есть в нём при всех державных излишествах, трактуемых славянофилами-реваншистами чуть ли не как возврат монархии — мощный материалистический, осязаемый руками и взглядом, объёмный аргумент реализма, которого нет у троцкистов (кроме утрюмого дома-крепости в Мексике).

вообще, троцкизм как запасной путь левых идеалистических планирований «а как бы было» — здесь съезживается чёртиком с эспаньолкой, шушукается с Гитлером об отделении Украины от СССР и роспуске колхозов, и затем скачет-прячется за океаны: дома, прожившие со сталинским, основным этапом строительства социализма, не оставляют ему шансов и шутейно-славянски, богатырски, тяжёлым неоклассицистским топом пугают ересь с Советской земли.

подъезжаем к жёлтенькому дому-особняку Союза писателей, бегаю туда-обратно, ношу коробки, развывая шарфом из-под кожанки. в кабинет Бондаренки с портретом Николая Второго над столом и бутылкой виски в корзине под столом, загружаем книги для женской колонии: мелодрамы, исторические романы, пусть самообразовываются там. и не узнают, что продвинутый левацкий «Фаланстер» их снабдил...

лишь ко второй зиме в редакции на Газетном стали появляться те, для кого и о ком мы пишем в НО. о ком мы говорим наверх, в Думу, везде где распространяемся своё «но». одна из героинь ведущего Подмосковную полосу Юры Мироненко (бывшего журналиста-гастарбайтера из «Российской газеты») — рассказала, присоветовала и мне героиню на полосу «Общество», уже покинутую бигшефом Калашниковым (которому стало «книжки некогда писать»). её выселили из квартиры, выкрали паспорт — она в центре социальной адаптации теперь обретается. явно мой очерк про ближайшую с Газетного бомжиху Раису начал давать плоды. и вот, со своими паке-тиками, пришуршала в гламурный игошинский Холдинг миловидная тётушка, ещё на вид не бабушка и вовсе не бомжиха, сравнительно с классическими образца-

ми. конечно, начальство могло реагировать на таких визитёров только удивлением и отстранением: «Дим, это к тебе»...

ну-с, пришло, сплетник-газетник, время тебе заглянуть на самое дно — в тот самый центр социальной адаптации. на окраину сначала на метро, а потом до конечной на автобусе. где-то среди фабрик, в промзоне спрятали этих лишних в новой Системе людей. под высоковольтными проводами, в дымах фабричных, уцелевших производств... Любовь Васильевна Атрощенко ведёт меня в своё жилище радостно. но история её невесела: на рынке украли паспорт из тележки, а домой уже не пустили. наркомафия... реальность в её воспоминаниях переплетается со страшными снами, как тут рассудку не помутиться... про то, как её душил до этого за несколько лет кто-то из будущей банды, а она прокусила губу, сделала вид, что пошла горлом кровь, его испугала и этим спаслась.

к зданию, стоящему недалеко от железнодорожной платформы, приближаемся, и чувствую от проходящих встречных его жильцов истинно-бомжовый дух, здешний. Любовь Васильевна уверена, что через КПП меня пропустят — тут, наоборот, надо скрыть, что я журналист, натягиваю свою «басевку» пониже, ёжусь в натовке и схожу за здешнего, вместе с ней прошмыгивая. всё, теперь я один из них. надо ещё пройти внутри здания.

Любовь Васильевна продумывает сложный путь через чужой этаж, чтобы не пересечься с их дежурной, которая её не любит и, как уверена героиня моего будущего репортажа, знакома с выселившими её с родной Голубинской улицы, следящая за ней. во дворе центра социальной адаптации сушатся длинной вереницей выстиранные вещи бомжей, простыни — верёвка прикреплена к автодаче, кем-то сюда пригнанной, к вип-бомжатнику местному.

дверь левого подъезда открылась сама нам навстречу, обхваченная с той стороны чернопалой опухшей рукой — бомж с половиной лица в сплошном отвисшем кровоподтёке глянул хмуро кровавым глазом и пошёл вдоль стены, за ним его спутница, укутавшаяся в грязный меховой воротник. моя съёженность под «басевкой» помогла пройти первый этаж, а на втором прошмыгнуть не удалось, местная, явно запойного вида с безумными глазами свиноподобная невысокая мадам, увидев Атрощенко, разъярилась: «А что это у нас четвёртый этаж по второму ходит? Я тебе, сука, дам — сюда не суйся, поняла?!». интеллигентно улыбаясь, как бы извиняясь за речевую специфику заведения, Любовь Васильевна повела меня всё же по своему лестничному пролёту, но не в свои покои, а на третий этаж. погружаюсь в безумные параноидальные закономерности центра адаптации, в котором ютятся аутсайдеры постсоветского общества времён стабилизации.

привела в квартирку своих знакомых — вот тут-то достоевщины нашего времени я и вкусил взглядом. во-первых, вовремя она предупредила, ни за что не брался — тут и туберкулёзные, и глистов постоянно выводят. во-вторых — всё видимое... водопроводную какую-то поломку сразу за дверью чинил, как только мы вошли поздоровавшийся с ней как просто с Любой, «обрубок» — человек на тележке. и тут же Любовь Васильевна стала суетиться, чтобы накормить местно-

го кота Ваську, зашуршала в пакетах своих, повела его к миске. и здесь теплится жизнь людей и животных, взаимная забота, маленькие радости... заглянула в чью-то дверь (тут как в коммуналке, все по комнаткам, общий туалет), поздоровалась с худой и какой-то красной знакомой моя проводница по дну Столицы. затем — в комнату её знакомой заглянули: здесь та же эстетика пакетиков, у каждой кровати куча пакетиков, на подоконнике пакетики, голые пружинные матрасы. здесь живут, питаюсь централизованно завозимыми просроченными консервами и прочими продуктами, люди, за пределами этого здания никому, да и тут-то особенно никому, не нужные, лишние, внесистемные.

Любовь Васильевна, продолжая экскурсию по дну, указала: «Вот здесь позавчера женщина умерла от рака»... затем всё же, проникли в её комнату, она почище, но такая же печальная обстановка. хотя бомжатником не назовёшь. тут срослись два здания — одно шестидесятых, а другое недавнего лужковского новостроя. и для бомжей, и для тех, чьи дома снесены ради возведения элитного жилья — сделали господа жилплощадь. пусть своих глистов тут плодят...

выбегаю из центра социальной адаптации, признаюсь, стремительно, из другой, правой двери, через КПП пролетаю тоже беспрепятственно. вплотную (что запрещено любыми нормами) к центру адаптации стоит и работает кондитерская фабрика «Меньшевик», на которую Атрощенко взяли за пять тысяч уборщицей, чем она радостно со мной поделилась. что ж, и здесь выживают, и тут устраиваются, радуются трудоустройству, борются за невесёлую, за короткую, среди бомжей, но жизнь.

история жизни Любовь Васильевны, рассказанная за эти полдня, — взгляд, погружение в искомую Эпоху. эта нынешняя бомжиха Постэпохи родилась на целине, в Кустанайском районе, в колхозе, в крестьянской семье среди ещё семи детей. в семнадцать с половиной лет получила медаль за освоение целины, работала на сеялке. поехала на съезд молодых передовиков производства в Целинограде в шестьдесят третьем, оттуда её направили в Москву на учёбу в Бауманку. стала студенткой, спортсменкой, прыгала с парашютом, научилась автовождению, снималась в фильме «Королевская регата» в массовке. работала инженером на оборонном производстве некоего закрытого НИИ в Балашихе. жизнь дала трещину позже — после замужества, «не сошлись» (с такой боевой и передовой) высокообразованными характерами бывшие однокурсники. стала жить отдельно на Голубинской улице в Ясенево. когда же её, как в детской сказке, выселили из однокомнатной наркомафиози, дети отказались помогать, взять к себе, а она продолжала беречь их отдельный быт — «у них своя жизнь».

всё-таки моя пытливость относительно подробностей — вызвала слёзы у героини репортажа, особенно когда пришлось вспомнить про детей. в двести-с-первом у неё украли паспорт и надломленная и так жизнь вовсе перешла в стадию без определённого места жительства. мыкалась по вокзалам и подъездам, пока «Врачи без границ» не подобрали, и с тех пор вот по таким центрам социальной адаптации, до сих пор без паспорта, без надежды вернуть квартиру...

но это, Дорогой Читатель, уже не поэма, а отдельная статья, точнее, её повторение. а таких — по одной в неделю выдавало НО...

поразителен финал этой истории: когда я передавал героине публикацию, результат нашей экскурсии и общения, ехал с ней в метро на сиденье, среди шуршащих её пакетов рядом, чем вызывал у обывателей недоумения — она, попрощавшись со мной на станции метро «Площадь Революции» и оставаясь в вагоне, вовсю сияла-улыбалась, радостно махала рукой. какой же запас оптимизма в вас, мои советские люди, униженные и ограбленные Постэпохой! какая жизненная энергия Эпохи всё ещё светится в вас! и подтверждают это притаившиеся на «Площади Революции» статуи Манизера: вероятно, по ночам они сходят со своих насиженных каменных мест на партсобрание большевистской ячейки, дети играют с глобусом и самолётиками, куры разбегаются по краснокаменной станции имени Революции (ФилМинлосу тут мерещились протекающие своды и чухоточные большевИчки — бедняга, это всё, на что способно было в девяностых его распропагандированное контрой воображение в сторону Эпохи)... к ним позже на собрание от партруководства приезжает со своей кремлёвской ветки товарищ Сталин, побывав до этого на «Маяковской» у бюста поэта, на «Кировской», поговорив с коллегой-вождём, на «Кропоткинской», «Дворец Советов» которая должна была называться. они говорят под землёй, персонажи недалёкой, но так безнадежно ментально потерянной «россиянами» Эпохи — они совещаются о своём прошлом, чтобы мы совещаались о своём будущем...

24.11.03. снег валит колко, острыми льдышками. лежит будто волны крупы и тает медленно. иду во двор с вонючим грузом: котовые недоедки несусь меньшим братьям, уличным — к помойке, за ней к стене кладу обычно. как положить-то в снег? забытые снегом голуби кидаются с мусорных ящиков и крыши, а кошек не видно. ну, тут и вам есть — корочка от корейки.

снег звучно колотится в кожу куртки. размывы снега на проезжей дуге к Каретному от детсадовского пространства, от мест моего детства и последующих бесчисленных, надстраивающих эту композицию снов. шагать по ненадёжной скользкой смеси: внизу тает, наверху как порошок.

видимость слабая, будто туман. снег съедает горизонты уже над домами Петровских Ворот. по такому не побежишь перед машинами. жду зелёного. угловой, обрубки спиленных Церетели ветвей во дворе «его» музея. работяги под тентом грызут белокаменный фасад, с тента изнутри вспихивая сбрасывают снег.

«Быть живым — *прикольно*» сообщает рекламный щит (что прямо перед входом в подъезд, наверху которого обитает газета НПСР «Патриот») о спектакле мачо-бородачо Грымова «Нирвана». заснеженный до выси Петровский переулок. да, Есенин на мемориальной доске: не твоё время, воробушки от этой столичной снежной колкости мокнут-мёрзнут.

дверь бокового входа в отделение милиции загадочно приоткрыта. можно сбежать. авты поставлены с тем расстоянием от стены, чтобы я худощаво пролез.

да, проезжие места занежены, эпические, долгие для рассматривания рисунки теперь на асфальте, переходы от кофе с молоком в прозрачно-свинцовую водность.

нет, это не народовольцы на ближнем к Большой Дмитровке подъезде сталинского дома пять. это Чайковский и ещё композиторы, наконец-то я их распознал.

ритуальный плевок в почвы дикого винограда театрального сталинского дома не удаётся — падает в продольный холмик снега на бордюре, но вместе с растаявшим оным туда попадёт всё равно. туда или на асфальт? «Банк нефтяной альянс», «Империи групп». снизу кондиционеры выгоняют густо прокуренный запах. да, альянс грабителей с населением: нефть родины кормит здешних толстомясых седаков серебристых комфортных авто и их офисных служек. зелёные листья ещё есть, держатся на ветвях вдоль двора дома в котором книжный «Москва». образцовый перед мэрией тротуар, без снега, тёплый снизу. но и без этого смесь на асфальте стает.

по прибытии на Газетный — по прошествии греющей руки у низа уличного холодильника кока-колы, словно спящей на прилавке продавщицы пирожков — дуэль с охранником Холдинга в том, чтобы открыть дверь. либо я, хватаясь за задний карман-кобуру, извлекая из него кошелек на задней панели которого нужный магнитокод — либо он быстрее, увидев меня в мониторе, нажмет спусковую кнопку, и дверь выстрелит доброжелательным зелёным огоньком сбоку на пульте, напоминающем телевизорный.

на сайте партии, пролазив в сети-почте долго и бессвязно, вдруг стремительно узнаю чрезвычайную новость: наш Главный покинул редакцию. мол, не хочет с коммунистами-радикалами иметь дела. Правда.ру сопровождает это домыслом насчёт дружного ухода чуть ли не всей редакции. нет, братцы, врёт: только демократом меньше стало. тем, который мои прописанные в статье о комсомоле убеждения «уйнэй» мне в лицо называл. значит, поручение отвезти молодому мачо с испаньолкой к девятому подъезду «Олимпийского» вчера конверт, мы в таких обычно газеты рассылаем, было прощальным. он назвал это «заданием партии», лицемеренькая эксплуатация. плюс мой звонок с сотового, на личные, так и не пополненные зарплатой средства. рубли, но — принцип. Ибрагим в таких случаях обязательно давал на машину, что компенсировало всячески.

в офисе атмосфера штаба. на ресепшне — знакомое лицо комсомольца Дугина, свои. распечатываю на макет для наклеек мятежный текст «Молодой патриот» — рекламагитку. заходя в комнату принтера, где люди-юноши-девушки действительно работают, звонят и мутят сделки, выношу попутные слова диалога: «да.., блин, но такая сделка, на два вагона, на дороге не валяется...».

25.11.03. а сегодня всё это тает. льются ручьи. почти весенние. но они вливаются (Большой Кисельный) в зиму. в лёд, морозную колкость. декабрь через пять дней.

рыба в утреннем пакетике — на отталину под стену за помойкой. так всё течёт, что правый ботинок не может к этому остаться равнодушен, намок к Петровке.

вырисовывается новая топография. лучи, соединяющие моё время в этом пространстве, эпизоды. «Патриот» — Петровка-26, «Информационная служба ГУВД» — в подворотне за парикмахерской на той же Петровке. да-да, там же, где мы когда-то, Тан... говоря с пресс-секретаршей ГУВД, выслушивая её детализированные объяснения, как пройти с Газетного к ним за сводкой — едва удержался от комментария: мол, да я знаю, мы там как раз с моей девочкой тр...

ах, а листья ещё осенне буреют, не сбитые снегопадом с немногих ветвей Петровки. в канцелярском старом помещении пресс-службы ГУВД в дворике, где, оказывается, Чехов квартировал (как спрессовались литераторы и годы — он там жил дальше, я тут и лепке учился малышом, и страсти, когда взрослее, сильно потом), работают обычные постсоветские обыватели. пока я вписываю в блокнот самые яркие убийства, они сутяжат про салатики, коллекция газет тут забавная, отдельная подшивка «Завтра», а «Совраски» с «Правдой» нет.

срастается в новых точках моими одинокими перебежками Твой центр. «Наш современник», где теперь работает Кожевников — на Цветном, карта центра соединяется новыми в старознакомых местах маршрутами. сейчас — правее. по слякотям. шутник белым разрисовал знак дорожных работ у ремонтируемой поликлиники МВД (чёрного человечка в красном треугольнике с лопатой) под кружевное бельё на нём и мордашку ацтекскую. по водам. какой-то БМВ прижался к стене ОВД. зато убрали щит с прохода в деревянный коридор вдоль Театра Немировича-Данченко. нырк перед очередным тёмным иномаркоходцем.

на КПРФ-то ру выложили мою статьёвниу «Дорог в списке олигарх у врага на выборах», но в печать?... несу по пути в «Наш Современник» — в «Патриот» оную статью. на чём теряю время. уже 15.30 с чем-то.

главред «Патриота» Земсков и его заместитель — не сказать, чтобы худы и аскетичны. патриотизм их кормит нормально. скинули, распечатали. в конце длинного коридора всё ещё принадлежащего «Патриоту» этажа — ленинский профиль и его же строки о газете как коллективном организаторе. тут, как и на улице Правды, на этаже «Правды» — ещё не выветрившийся дух восьмидесятых, будто не подпирают-выпирают этот этаж турфирмы, федеральные агентства и прочие бойцы Постэпохи. деревянная светлая отделка, стенды с лицами патриотической общественности, фотолаборатория заклеенная афганско-рэмбовской, розенбаумистой эстетикой конца Эпохи. бухгалтерши в комнатухах, слушающие радио «Тройка», никому неизвестные пожилые брюнеты поэты-усачи, ведущие рубрики.

о, осколок Эпохи! сколько ты ещё продержишься на плаву, ведь печатать тут свои статьи во вкладке «Молодой патриот», формировать картину молодежного левого движения, отпихивая нац-шизню вроде нацбола Малера — это мне не самодостаточное удовольствие, а агитация, рассчитанная на тех немногих молодых читателей, которые у «Патриота» есть, включая регионы?..

сляк да сляк правым башмаком-гриндеркОм, впитывающим каждую лужу, размяклый снежок. другой бы уже простудился, я же привык. согрел промоклость. места Дмитрия Пименова — аккурат двор, в который смотрит изнанка «Патриота». квартира его жены, главнокомандующей модельядями. шагая так —

через боковину Петровского бульвара, перед сочувствующим мне авто... два мира в одном. первый — это восьмидесятых коридор «Патриота», с Лениным в торце и его высказыванием про коллективного организатора. второй — это завтра, прессуха по случаю пятнадцатилетия дружественного Холдингу банка, надо одеться соответствующе, помыть хайра.

— Уважаемые граждане! — говорит динамик «Аннушки», кафе с таким названием ещё с кооперативных перестроечных времён на Цветном бульваре. — В окне под нашей вывеской вы можете купить сочную... свежую курицу, наши курицы готовятся по специальному рецепту...

кто там заседает в этой «Аннушке»? дармоеды — жарят в гриле кур, а потом их втридорога продают. живут на излишек стоимости. не прибавочной, но...

когда-то за этой «Аннушкой» и конкурирующими палатками грильностей был ёлочный базар. не в рыночной экономике, так, символический. бери любую — плати за длину.

что за социализм был, к чему пришли? деньги — почему не упразднили? эту буржуазную меру бытия. вот и вернулись по-денежному логичные времена.

зима настала и на Газетном. уже привычен, будничен путь — поворот с Тверской под имперской аркой в Брюсов переулок, потом налево за угол дома композиторов, дома Шостаковича, и, видя впереди второе серое здание Телеграфа да сияние купола колокольни Ивана Великого из недалёкого Кремля — вниз к Газетному по узкому двору композиторскому. толсто одетая в телугу бомжиха Раиса Максимовна перемещается со своим красным флагом, с флагом её и моей Родины — с утра она обычно среди других ждущих подкормки у задворков церкви, а потом пойдёт греться, спать на отдушину. на виду у всех проходящая тут на Газетном жизнь аутсайдера нового «демократического» общества.

и ведь насколько тут всё рядом — приёмная МВД, их машины, и изгой этого общества. не видят её. да они так же знают Раису, как вся наша редакция НО. а живёт она тут — ведь писал о ней в одном из наших номеров — потому что приехала с Украины выяснять дело об убийстве её сына в армии, да так тут всё протратила и осталась. на телогрейке ордена — заслуженная была на селе своём труженица. она, конечно, сумасшедшая — такое перенести и в здравом уме остаться невозможно, — но некоторые рассуждения абсолютно здравые. иногда она просто читает, кратко резюмирует мои здесь проносимые из газеты на «Резонанс», вынашиваемые, медленные мысли — даже когда я морщусь, как и все проходящие мимо отдушины за автостоянкой, усиливающей тёплым испарением снизу её бомжовую вонь: «Революцию надо!».

тут всё слаженно в новой, второй зиме на Газетном — и продажа сдобы с жареными, любимыми обозревательскими пирожками, и люк с распластанной стрекозой Телефон-МС (значит, уже 1950-х люк, когда народные комиссариаты переименовали в министерства) под флигелем некоего памятника архитектуры века давешнего далее к редакции, и милиция, которую Калашников приветствует хайлем, и наши раздвижные двери за табличкой Екос. я теперь абсолютно ин-

корпорированный господин: у меня в кошельке и магнитная карта для метро с одной стороны, и входная, тоже магнитная, белая пластмассовая карта, впускающая меня в двери Холдинга — пиликнет боковое устройство, стрелнёт замок — и я по уважаемому большому плитчатому покрытию розовому повизгиваю своими гриндерами.

наведываясь в комнату, где большой, на всех один принтер — слышу иногда обрывки речи тех, кто тут не буквы складывает в статьи, и не двести-триста баксов получает: «Ты что — перезвони обязательно, пока к шефу не пошли — тут сделка на три вагона...». это они с лета заготовленную муку продают, свою жатву — суетятся, команда. а мы паразитируем на этом труде своими негустыми окладами, создаём информационный, да к тому же ещё оппозиционный фон. не мы, а они в действительности этой капиталистической свои люди, на её языке говорят и по её понятиям действуют; толстенький, с плавным переливом шеи в щеки, в синем костюме менеджер, который «на проценте от сделок» выходит часто сбоку от принтерной, я с ним в своей бундесОвой рубашке сталкиваюсь: худым пузом — с избыточным.

однако и этот странноватый раёк, союз бизнеса и латентно-оппозиционной газеты длится не долго: декабрьские выборы, в которых Игошин снова проходит в ГД по списку КПРФ, так встряхнули редакцию, что из неё вылетел Турсунов гордым горным орлом, с самим же устроенным скандалом. а дело в том, что партия, которая газету и создавала для подобных нужд в перспективе, стала забивать полосы вполне уже откровенной, не латентной предвыборной агитацией за социализм — поэта Лукьянова-Осенева пиаря и прочих своих кандидатов. вот тут-то Турсунов и сломался — не оттого, что его замучили мои левацкие статьи, а оттого, что эта смычка низовой и верхней левизны наметилась. «Не хочу работать в коммунистической газете», — сказал Турсунов и ушёл, ретировался назад (а был до НО полпредом Яковлева) в помощники питерской властелины, о которой я успел ему рассказать некоторые подробности из академических источников: про сидения в бытности комсомолкой на коленях членов ЦК КПСС и про предрекавшиеся в советских элитных кругах в связи с путанской хваткой большие перспективы.

заменял на посту главного Турсунова в отсутствие уже его прежнего зама Баранова зам последнего полугодья Воробьёв Алексей Максимович — человек вполне наших оппозиционных взглядов и интеллигент, но, как шушукались Строев с Матвеевым, главред никакой. и направил меня теперь уже вполне полномостный Алексей Максимович, как и прежде всегда сводивший с интересными людьми, которых уменьшительно по имени звал, на предмет интервью — к легендарному и давно заочно известному Краснову, главе Краснопресненской управы, которого всеми правдами и неправдами сживал оттуда Лужков. завтра с утра. а сегодня — прессуха в банке, с которым сотрудничает Холдинг.

за МДМ их банковская башня. окаменевшая ещё советская, годов 70–80-х конструкция, её до девяносто первого я проезжал не раз — она была с зелёным телеграфным стеклом или чем-то вроде пластмассы под окнами, похожая на две ребристые гостиничные башни перед МИДом, из их семейства уже с западного

нашими скопированного постконструктивизма, об этом хорошо поэт Нилин рассказывает. в восьмидесятых там открытые были в жаркую весну окна некоего НИИ, окна, близкие моему троллейбусному маршруту на двадцать восьмом или тридцать первом на Ленинские Горы, во Дворец пионеров, в кружок автовождения. всё тогда было иным, не предвещающим перемен даже в названиях — когда начинал в некоторых Твоих участках выглядывать поэму, любил эти длинные троллейбусные повествования по окнам и домам линейные, под разговоры жителей центра в троллейбусе, был я хоть маленький но уже — I'm a sру..

но ту железную башню-банку теперь, когда в ней банк, — не узнать: после самораздвижных дверей подавляет зрелищем и звуком, своим массивным респектом — застеклённый водопад, респект охранников: в дорогих тонкотканых костюмах они, узнав цель моего визита, перепосылают меня друг от друга. выяснилось, что на прессуху — с бокового входа пускают нашего брата журналюгу, там список. выходу — направо за угол. да, со времён НИИ восьмидесятых зданище изменило характер, стало бастионом капитала. зелёнько называется модным жизнерадостным логотипом это укрепление, одно из сотен новшеств Постэпохи.

останавливая мою передислокацию за угол, ворота крепости открываются, выпускают в мир деньговоз с логотипом (как бы с маркировкой содержимых в нём денег), отвозящий и привозящий банковские боеприпасы. сколько их ездит по Твоим улицам — этих броневиков Постэпохи? пригодятся они в революцию, возможно. а пока — ни-ни к такой железяке приблизиться, там вооружённые карабинами сидят пацаны, они своё благосостояние и дающее его заведение защищать будут выстрелами. ну, господа сволота, посмотрим вас, поглядим вашу жизнь изнутри.

у охранников лист приглашённых: «Независимое обозрение», Чёрный. проводит в белейшей рубашечке паренёк к центральному входу изнутри, к застеклённому зеленоватому водопаду, только с другой стороны. и тут меня снова опознали, пропустили сквозь изящный турникет мимо раскормленного на добротном банковском харче, красномордого от вольготного бытия, мобса-секьюритина в чёрной униформе охраны. несколько охранников затем, пока ждал лифта, подбегали уточняя: «Дмитрий? «Независимое обозрение»?». трёхступенчатая дверь у здешнего лифта и его дублёра напротив. люди тоже журналистского вида скапливаются, ждут. лифты пока высоко: 8, 10, 11.

водопад позади нас — событие. успокаивающий мощный шум, укорощённая стихия, даже поэтическая, на мой взгляд. шум воды респектует входящих, падать должна бы нефть — гарантия банковского долголетия здешнего. и вся эта в духе логотипа банка зеленоватая толстостеклянная конструкция была бы сплошной маслянистой чернотой, с изолированным от посетителей запахом вечности. но верно — тут именно вода, прозрачность должна перетекать, создавая позитивный настрой у тех, кто принёс сюда свои денежки. ведь это сооружение — символ отмыывания денег. бывшая социалистическая (наряду со средствами производства) собственность, нефть — теперь частная, ловко сбываемая за рубеж собственность вполне естественно монополистических при реставриро-

ванном капитализме олигархий. и тут умные постсоветчики воздвигают мост: союз капитала бумажного, финансового и подземного, гарантирующего этот финансовый. взаимоднозначное соответствие, и как результат — обогнавший даже Постэпоху юбилей, пятнадцатилетие. и счастлив весь персонал, они славно пристроились обслуживая и защищая сей громадный текущий капитал — в том числе и своё благосостояние.

лифт с большими аппетитными кнопками. набились господа с мордашками стабильного вида. на третьем этаже вошёл и вежливо поздоровался (они все тут друг друга знают?) мальчик в синем комбинезоне с баллоном Королевской воды. заботятся о нутрях своих банковские служащие. на пятом этаже встречает нас очень шармированная улыбка девушки в зелёном жилетике и белой, гостеприимно расстёгнутой рубашечке, дабы стяжать полувидимым розовым перетеканием полусфер внимание журналистов мужеского полу и сразу их таким образом расположить к банку.

— Вот, Дмитрий, здесь у нас гардеробная, разденьтесь, а потом я вам дам материалы.

(я бы и совсем разделся, детка, только ты не уходи, тебе явно тут жарко, давай тоже разденся, служивая, я на столе здешнем расскажу тебе иную, антибанковскую истину после штучек четырёх громогласных с твоей стороны, скоротечных экстазов, на которые сбежится вся охрана и выбросит меня в окно...) запихал с трудом в её указанный узкий шкафчик с вешалками свой твёрдый молотцеватый с векторной «молнией» прикид, свою псевдодублёнку-косуху. мания величия и размножения банка: на каждой дверной табличке — зелёные лого.

выхожу, наплёчив сумку-планшет. гриндерА мои эпатажно грязны и крякают расслаивающейся подошвой. не в пандан башмачкам тех, кто сюда приезжает на своих машинах. девушка-встречалка снова улыбается. к чему бы? профессиональный оскал. жду обещанного ею минуту назад вручения материалов, а она... просит, чтобы я представился. успела забыть, тоже профессиональная болезнь, видимо. её программа улыбочивости и диалога — кратковременна, на 2–3 минуты. потом всё начинается сначала, надо активировать программу, вводить pin. имя, газета. да и с чего бы ей меня запомнить? работа. мы просто клиенты, которым надо улыбнуться, показать, вставая со стула, декольте, перспективу побряцывающих таящихся под белой одеждой двух таинств. папочку, отметив меня в списке галочкой, дала жёлтенькую. в папочке — в золотой фольге шоколадка, заглотите-угоститесь в честь юбилея банка. шоколад тоже с логотипом банка. а шоколадка-медаль — прямо детства агент. эта куколка, что помоложе меня на пяток лет будет, как раз получала в советском детстве такие на Новый год и не думала, что станет после контрреволюции такой секретуткой.

о, чего ради, если б знала ты, Эпоха — воспитывала в нежности и покое восьмидесятых этих детишек! знала бы ты, что выросшие эти детки из советских детсадилов и школ, все эти заботливо вскормленные в СССР цветы жизни — пойдут по дорвавшимся до запрещённых радостей бизнес-лапам, по дискотекам будут растрясать, разжижать кислотами и развратом тела и мозга. а те, что из вдав-

ших в депрессию в Постэпохе регионов — и вовсе пойдут на панель: на Тверскую девочки из Тверской области, к Киевскому вокзалу — мальчики из Киева... а ведь им пели песенки про голубой вертолёт и волшебника, с ними так нежно нянчились, пели про то, чему учат в школе, в детсадах — чтобы потом профессор Лебединский нахрипел пошлый кАвер на эту песню и понеслись вихри враждебные постэпохальные, и все недоучившиеся до институтов, не нужные своими умами и способностями Постэпохе детишки пошли на панель торговать первичным, природным капиталом: жрите наши тела, буржуи, чтобы нам было чего жрать.

«Комплексный финансовый сервис» — как умеют они, банковские, ловко и деликатно обращаться с языком, буквами... в длинной комнате, где будет прес-суха, мне, журналисту, вежливо указывают: «За углом чай-кофе». «Универсальная система вкладов. Ценность, подтверждённая временем. Выгода в деталях», — продолжают говорить аппетитными многообщающими графиками со стен пластиковые полотнища по бокам от краснобархатного герба с двуглавым, символом вот этого их корпоративного процветания, гарантом капитализма. богатый тут чай-кофе: два толстых высоких саморазливных термоса, бесчисленное количество пакетиков чая на любой вкус, кофейные пакетики тоже, разнообразные маленькие пирожки, канапе с рыбой-сыром-колбасой, торты. ну, товарищЧ, обожри буржуев, ощути всю вкусноту этих логотипов, выгоду в деталях — а то ведь с утра не ел ничего, а время обеденное, в редакции так не угостишься, а столовой на Газетном собственник Холдинга не повелел быть. ещё с двумя мальчиками-журналистами — резвлюсь, чашку за чашкой пью разных чаёв, пирожки с мясом два, три, хватаю проглатываю канапе, кубик навороченного торта на десерт. за окном — серая растущая вертикаль элитной новостройки, наверняка инвестировал в неё именно этот банк. но — пришёл президиум, надо и за дело браться.

комфортно сидящий за компОм мачо Дмитрий с педерастическим произношением и заострёнными самурайскими бачками попросил перевести сотовые телефоны в режим вибрации. и верно: а то в честь юбилея банка им тут свой обычный марш Буденного мой красно-коричневый мОби спел бы: «... и с нами Ворошилов, первый красный...». надо же, самый тут главный, весьма интеллигентный господин, говорящий как-то грустновато и философски про ощущаемую банком «социальную ответственность» — однофамилец встреченного мной на Октябрьской площади в Первомай двести тысяч второго левого писателя, что такой махноватый, длинноволосый, Младший, одним словом, хоть и мой ровесник (ну, ты уже должен был догадаться, ДЧ, дорогой читатель)...

о банк, как в юбилей тебя возносят! не перетащить ли из Спёрбанка и свои крохи сюда — ведь разбогатеть можно как, пятнадцать процентов дают годовых для социально незащищённых, для пенсионеров в честь своего пятидесятилетия, о банк! оба-на нк. ты и в десятке РФ по капиталу, и до семи с половиной миллиарда возвысился над прочими конкурентами, и 638 тысяч счетов... после слов Самого, пед-мачо стал показывать флэш-мультик к юбилею: там ходит сисястая, как девушка-встречалка, персона наподобие снегурочки, и разносит под Новый

год так называемые социальные пакеты. там крупа и прочие продукты, что великодушный банк дарит пенсионерам в честь своего пятидесятилетия, и предлагает им сделать вклад под пятнадцать процентов дабы в следующем году получить ещё больше подарков. а бабушки у подъезда, что сперва недоверчиво к модной снегурочке отнеслись, полюбили её всей душой. «новая эпоха — новые акционеры». «банковские продукты» — хорошая подмена термина. непроизводительный финансовый капитал, на нефти как на дрожжах тут настаиваемый, уже ощущает себя чуть ли не трудящимся. производители процентов. у Самого есть преамбула-паразит — «а поверите». на внезапный смех журналистов реагирует на своём сленге: «Плохой смех, плохой смех». о, европизация даже речи этих банковских заправил!.. а смех был вызван его ляпом про «инвалидов на телегах», что не сразу, но был исправлен: «ой, извините, колясках...». естественно, одна из халд-журналисток смачно и заразительно хихикнула.

после прессухи — фуршет, зовёт запрограммированная девушка-встречалка, фуршет юбилейный, со спиртным и обильным шведским столом, таким журналистов угощают нечасто, только на заре контрреволюции, в начале девяностых был сей романтизм и изобилие, как утверждает ветеран журнализма стильно-щетинный Анатолий Баранов. но мне не до фуршета. хватит в этом парнике пребывать, лучше домой пораньше приеду: сменю тётю у бабушки, она заболела, и одну теперь не оставишь.

на выходе от лифта моя поспешность показалась буйволам-охранникам не соответствующей стилю помещения — тем более что сам повёл себя комично. наивный: посмотрев, как передо мной сотрудница банка просто пальчиком нажала на поручне сенсор — попробовал за ней так же пройти. но турникет не пустил, ответив на мой жест красной лампочкой. охранник, стоящий рядом, уже глядел на меня с сомнением: мол, не наш же, чё тычет? это была не кнопка, а дактилоскопический сканнер, в его банке данных все пальчики банка. а мой артистический пальчик с овальной микронarezкой рубчиков — чужой, вот и не пускает умный механизм. пришлось прибегать к непродвинутому методу устного общения: мол, да, я с пресс-конференции, я в списке... пропустил секьюритин.

мимо водно-стеклянной громадины к дверям спешу. нет, ребята персонал, я не вкладчик, я не ваш, и ничего о вас не напишу в НО — этот визит был просто дружеским жестом уважения, просто Холдинг таким образом мной отмечен в списке приглашённых на юбилей, не зная, что я вынесу на свой Газетный оттуда, из святыни для них святых, часть негизетных, неформатных подробностей. бело-серая, неприютная тут зима. разные, нестильные прохожие. кончился банковский раёк, и я спешу домой. после всей этой логотипной ладности, угощения, словесного комфорта, всестороннего благополучия — в цветовой разнобой серо-пёструю аритмию Реальности, в её неудобный начально-зимний хаос. по пути к метро «Фрунзенской» — по лестнице вверх в высоко- и остроколонную галерею.

Дворец молодёжи, МДМ, строившийся торжественно на невидимом тогда зените Эпохи комсомольцами всего Союза, набит теперь банками и конторками не того уровня, где я был: кафешками, магазинчиками, обменниками. кончилась

обособленная, изолированная банковская действительность — и здесь зазвучало время, зазвучало, зашуршало прохожими в непредсказуемых подробностях течение Постэпохи, в которой советское дюралюминиевое в МДМ сменяется на ПВХ, на пластмассу и пестроту маленьких обособленных вывесок. частная собственность в эстетике Твоей как мозаика, дробит прежние едино-белокаменные дворцы и пестрит в их доступных с улицы помещениях разнбоем логотипов и услуг. а внизу, снова в андерграунде — глядит среди своего красноармейского каменного зала с постамента бюст Михаила Фрунзе, иваново-вознесенского большевика. да, товарищи: теперь вы в андеграунде по отношению к реставрируемой наверху капдействительности. и другой большевик из основателей Эпохи, товарищ Калинин, с которым часто дружески общалась бабушка, к которой спешу теперь — тоже нахмурился, его с верхнего этажа Библиотеки Ленина переместили вниз, поставили между двумя лестницами. правда, наверху его собеседниками в последние годы были только голуби... но то, что он глядел неявными, едва прорисованными очками как раз на свою приёмную — было исторично. что ж, спасибо реставраторам, пугливым по отношению к советским памятникам реставраторам дореволюционности («опустившим» Калинина, но зачем-то при этом посадившим перед льющей свет знаний Государственной библиотекой СССР имени Ленина депрессивного нац-монархиста, изгнателя бесов Достоевского, памятник, уже прозванный в народе «геморрой») — мы, новые левые, наследники большевиков, понимаем эту метафору ухода в подземелье, и там мы много вычитаем в тексте метро, между обычных, как знаки препинания, одинаковых кодовых надписей на дверях подсобных помещений «ВП II А» (что-нибудь вроде «Внутреннее Помещение...»).

в зиме начинающейся и митингах продолжающихся — на Остоженку-13 пришла неожиданно фигуристая девушка с горящими, хоть и светло-голубыми, глазами, в бежево-клетчатых брюках и голубом свитере, обтягивающем выдающиеся добротные формы. села напротив нашего президиума, подождала и попросила слова, чтобы рассказать о том, что привело к нам.

из богатой украинской семьи, она поехала учиться и работать в США, там мыла посуду в ресторанах, копила деньги на пластиковой карточке, развлекалась, жила с бойфрендом-скандинавом. но вот произошёл сбой в системе, ей достался несчастливый билет: карточка American Express однажды обнулилась. ей пришлось жить некоторое время в Штатах и потом добираться до дому за счёт бойфренда. богатые родители, конечно, дали денег на поездку сюда, чтобы правды добиться. Маша Менжинская, с такой вот революционной фамилией, в полнейшем отчаянии забралась на металлическую цепь Крымского моста, и оттуда её снимали уже при участии телевидения.

радикальный реализм просыпается именно в экстремальных ситуациях. а она из неё не вышла победительницей — через два месяца Маша покончила с собой, спрыгнув с самого высокого здания родного города. возможно, ниже следующая листовка — единственный оставшийся её программный документ,

написанный уже после общения с нами в горькоме. поэтому, мой текст, поддавшийся выше мемуарному ревизионизму — извини, подвинься, радреалу место дай (ни буквы, ни опечаток и препинания не меняю):

КАК Я ДЕЛАЛА РЕВОЛЮЦИЮ!

После того как меня обманула фирма «Американ Экспресс», оставив меня без копейки денег в Нью-Йорке и не вернув мне мои кровно заработанные. Я не просто разочаровалась в этой фирме, я поняла что обман и ложь для них обычное явление, если дело касается, как они считают третьих стран. Я решила нужно это изменить. Я хочу добиться справедливости. Я долго думала что делать, и придумала. Я разослала свою историю по всем коммунистическим и просто информационным изданиям, Я рассылала её три раза, но ответ так и не пришёл. И тогда я решила, буду действовать сама. Я приехала в Москву залезла на опору моста и сидела там так долго пока не приехала тележурналисты, потом я спустилась всё им рассказала, но результата на который рассчитывала не получила. На следующий день я подала иск на АЭ в правозащитную организацию и разослала по огромному кол-ву е-мейлов свою историю. Пришёл ответ из «Большой стирки» и «Принципа домино». После съёмок в передачах ничего не изменилось.

И я решила, буду менять этот мир сама.

А для того чтобы его изменить нужно, сделать идеологическую, культурную революцию. Революцию ответственности человека перед окружающим миром. Революцию христианских коммунистических принципов. Как известно первые христиане были коммунистами. И их цель была помогать ближнему и заботиться об окружающем мире, сострадать и любить. И я хотела говорить о том же, о любви и дружбе, мужестве и чести, сострадании и достоинстве.

Но как это сделать без поддержки?

Возвращаясь со съёмок, я увидела в метро наклейку, Союза коммунистической молодёжи, я сразу же туда позвонила. Со мной договорились о встрече. приехав на встречу, я рассказала свою историю и попросила поддержку. Единственное чем мне смогли помочь, это официальным разрешением на митинги. Но для того чтобы я могла говорить на митингах о чести и мужестве, о доброте и справедливости, мне нужна аудитория, а как её добиться без информационной поддержки. Мне стало известно, что в доме культуры Красный Октябрь, проходит праздник, посвящённый 85-летию комсомола и решила поддержку я найду там. Я поехала туда, своей пробивной силой добилась, чтобы меня выпустили на сцену, и со сцены начала говорить, о том, как наш мир становится всё злее и корыстней, как в нас гибнет доброе зерно, и люди всё больше отчуждаются друг от друга. я сказала, что если вы меня поддержите я могу это изменить, у меня из глаз потекли слёзы, — Помогите, сказала я, — Я больше всего в мире хочу счастья моего народа. После этого ко мне подходили ветераны войны и со слезами на глазах жали мне руку, но поддержку, реальную поддержку, я не получила. Даже, наоборот, ко мне подошёл один солидный дядя, тот который мог бы помочь и поддержать, и спросил: у меня тут есть кое какой текст, наберёшь на компьютере? После этого у меня как будто упало всё внутри. Я молю о помощи, говорю, что не могу смотреть на то, что творится с нашим обществом, а мне в ответ набери текст на компьютере. После этого я узнала о том, что через два дня в Кремле тоже проходит праздник, посвящённый 85-летию

комсомола, мне нужно было, во что бы то ни стало, раздобыть билет, а билеты то именные. Но я и с этим справилась. Я раздобыла билет, хотя это было практически невозможно и решила опять прорваться на сцену и попросить поддержку, на этот раз уже перед более солидной и влиятельной аудиторией. Я прошла в Кремль, хитрым путём проникла за кулисы, поговорила с режиссером всего мероприятия, но он мне сказал, что выпустить на сцену меня не может никак. Тогда я пошла в фойе и стала обращаться к людям со следующим текстом: Я такая-то такая, стала коммунисткой не по книгам, а по собственному опыту, не могу смотреть на несправедливость происходящую в мире, организовала ряд митингов, хочу чтобы люди задумались о происходящем вокруг, стали честнее и добрее, выступаю очень хорошо, люди меня понимают и поддерживают, нужна информационная поддержка, помогите. Но опять, как и в первый раз, меня никто не поддержал и не помог.

Тогда я поняла, что я одна, совсем одна. За свои деньги я спечатала наклейки и листовки, сообщающие о митинге. Вот их текст:

Мы Великий Народ, Выигравший войну.

Но мы забыли об этом. Мы стали злые и жадные. Наши девушки отдаются за поход на дискотеку или ужин в ресторане. Наши парни, не зная как себя занять, пьют и колются. Ветераны войны просят милостыню. Бездомные дети ночуют на вокзалах. В реки и воздух выбрасывают тонны отравы.

Нам внушают, что счастье в деньгах, накоплении и потреблении. Мы забыли, что такое Дружба, Честь, Достоинство, Бескорыстная любовь, Сострадание, Смелость, Доброта. Пора вспомнить, что Мы не бездушные машины для потребления, а Люди! ЛЮДИ!!! А Человек это звучит гордо.

Пора вспомнить, что человеческое счастье это когда ты можешь Дружить и Влюбляться, Помогать и Сострадать, когда у тебя Чистая Совесть и Доброе Сердце.

Приходите. Мне нужна ваша поддержка.

Я за Счастливую и Весёлую Жизнь! А ТЫ?

Менжинская Мария

И внизу я написала, когда и где проходят митинги.

Первое моё выступление должно было быть на Пушкинской площади возле памятника Пушкину. Я раздала очень много листовок, теперь мне нужна звуковая аппаратура, чтобы меня услышали. Я с трудом раздобыла мегафон, поехала на митинг, но опоздала на несколько минут. А в то же самое время, на той же площади под памятником Пушкину, проходил съезд Дедов Морозов, люди подумали, что это и есть то куда их звали, и разошлись, я приехала, но никого уже не было, но я не впала в отчаяние. Я опять иду и за последние деньги печатаю ещё 8 тысяч листовок, раздаю их всю ночь. На следующий день идёт сильный дождь, и никто не приходит. О следующих двух митингах даже никто и не узнал. Конечно, если бы я получила поддержку, всё бы получилось, люди бы услышали о светлом и добром, о том, о чём сейчас никто не говорит, но все этого хотят.

за дождями пошли неуверенные хлипкие снега. Маша под слезливым снегопадом выступала у Ярославского вокзала рядом с памятником Ильичу на нашем митинге, выступала долго, с повторами, сначала громко, потом жалобно — да, по норме наивно критикуемого ей общества, она уже была без того ума, кото-

рый полагается участникам процесса Постэпохи... обнулённая карточка АЭ запустила, направила её мысли вспять этому процессу, развернула сознание, и все Машины слова о справедливости, выбрасываемые, выстреливаемые как сигнал SOS в мегафоны митингов, отдавались в ней же всё новыми ударами отчаяния.

перед митингом у Ярославского мы грелись в метро, она попросила меня рассказать ей о научном коммунизме. попутно и мозаичные повествования потолка «Комсомольской»-кольцевой ей растолковывал — историю отечества от (первый вагон от «Проспекта мира») Александра Невского (Иисус на знамени которого похож на Иосифа, Виссарионовича) до Ленина на Красной площади и сталинского салюта Победы в 1945-м. за сорок минут успеть ей рассказать краткий курс «Истории ВКП(б)» и разубедить в христианско-коммунистических заблуждениях было делом не простым. Маша скорее не слушала, а рассматривала мою речь, глядела на губы, в глаза...

на Остоженке-13 в окружке после собрания мы вышли с ней коридор и договаривали возле чёрного пианино. там её странность, о которой персЕк Сидоров уже предупредил, сам и приведши её на собрание, выразилась в двух неожиданных прыжках «ножки-ножницы» после того, как она уверилась в том, что «за красной Бритни Спирс народ пойдёт». «Ты пойдёшь за мной?» — спросила, ответил утвердительно. «Йесс-йесс, мы сделаем это!» — прыгая приговаривала Маша.

но это она делала не со мной. гарна дивчина, которую буржуазный мир столкнул с ума — она на несколько дней до отъезда поселилась неподалёку от Комсомольской вокзальной площади, на Красносельской, у нашего товарища Володара и лишила его, от долгого совместного пребывания в одной комнате ночами, давнишней девственности по неменяемости (когда после акций нас заматали менты — его выпускали первым: справка).

в тёплом подземелье на Комсомольской, покуда я рисовал ей Эпоху как рывок к коммунизму, она терпеливо слушала, но потом вдруг прервала и попросила почесать спину под свитером — спина была горячая и пышущая, влажноватая. красная Бритни Спирс, вступив на безнадежный путь проповеди добра в обществе зла — нуждалась в прикосновениях мира, в контакте.

а дома на Украине, сразу после провала КПРФ на Думских выборах, она совершила свой последний прыжок. «За Счастливую и Весёлую Жизнь» не вышло бороться в одиночку, отчаяние победило.

овдовевший, разгорячённый едва вспыхнувшими отношениями Володар продолжил визиты в правозащитный домик в Малом КислОвском переулке, на этот островок либеральных надежд и гражданских иллюзий, приносил туда её запросы, документы, фотографии: с фотографий глядела на фоне бассейнов, баров и набережных избыточная жизнерадостная грудастая гарна дивчина в разнообразных топ-модненьких одеяниях, похожая на встречающихся летним вечером в двориках у Тверской. соблазнительная, благополучная дочка богатых родителей, ведшая с бойфрендами дома и в США весёлую пляжную и дискотечную жизнь... кто бы мог предсказать ей тогда бомжеватый видок в голубом заносившемся свитере, горячую влажную спину под ним, митинги, мегафоны под

слезливым снегом, разгадывание со мной мозаик-фресок на «Комсомольской»? маленькая пластиковая карточка, Американ Экспресс. офисные банковские оракулы в серых костюмчиках, которые суеверно молчат, пока в компьютерном пространстве «деньги идут»...

телесериал «Участок» зарекламировали дружно высокие и низкие рекламные пространства. Безруков милиционер, Золотухин бомжеват ...эх, да-да, о нашей жизни, россияне, отчего б да не поснимать сериальчики? поддержка отечественного кинематографа лужковским манером. порекламируем над Садовым кольцом, на Долгоруковской, на Садовнической. пусть смотрят, привыкают — другого не будет ибо. как бишь, в радиосериале «дом 7 подъезд 4», идущим с рокового девяносто третьего? «его герои это мы с вами»...

предатель-обыватель снимается, самонаблюдается. народные артисты СССР вписываются в российский быт неуклюжим, конфузным сперва, но затем всё более уверенным манером. текст звучит с экрана симптоматично статично, как неумело начитываемый — хуже, чем в плохом спектакле, чем монотонный перевод американских фильмов. а это и есть перевод, только уже перевод стрелок истории, лицензионный перевод целого общественного пласта с его судьбами и сюжетами на язык обитателей «бывшего СССР», россиянь. новая свободная (от целей Революции и Эпохи) Россия учится выговаривать слова Постэпохи, учится показывать на экране реалистические отношения братков и пуган, киллеров и ментов, секретуток и бизнесменов — да, господа артисты, в этом концлагере вам уготованы невесёлые роли. роли, унижавшие бы вас, если б не согласие заранее на любую зеркальность. сыграем и Реставрацию, и Азазель, Ваше Ваше-ство! Никита Михалков-с подскажет, ВВаше, ВВашество!

а что? и тут жить можно. ну, частная собственность — но мы ж народные, государственно награждённые. любите нас, платите нам, в журналы заглядывайте, в наши биографии и быты. аббревиатура СССР звучит в их званиях как бряцающая орденская бессмысленность — не разберёшь там заветного словечка социалистического.

удивительно в точку была серия одного сериала. Панкратов-Черный выходит из психиатрической и не узнает ущербной действительности. приезжает аккурат на Новобасманную, чуть ли не в твой дом, Тан, и лезет на крышу, чтобы сброситься. все реплики — в тему, о предательстве государственном, произошедшем тут за время его отлёжки.

«Лёгкий привкус измены», — говорит перетяжка на Камергерском (ближе к «дому под градусником» где стоит чахлый чахоточный Чехов — каждая эпоха делает писателя под стать себе: советская подняла чахоточно свернувшегося на кресле Гоголя в полный рост, Реставрация — истончила, зачахла Чехова, едва стоит, вот-вот ветром в спину сдует его на Тверскую, куда грустно глядит, да и чему тут радоваться, какое тут лучшее человечество, о котором мечтал любимый Сталиным оптимист Чехов?), спектакль МХАТа рекламируя. вот-вот. привкус эпохальной измены. но только не лёгкий, а приторный, лезущий из каждого цве-

та, каждого слова искусственной (масс-медиа) продукции. смиритесь, смотрите: вот так мы и живём. малобюджетные телеленточки — хуже застойных документальных, так как фальшь, лень и апатия актеров преобладают над сюжетом. зомби все — от убийц до ментов. никакого даже малейшего чувства своей роли. ну да, очередной чувак. громко сказанул, пробежался, стрельнул, за жизнь купе покалякал, в романе с герлОй подвигался. во всём формат: не заходить за флажки, за дозволенное трёхцветным (флагом, телевидением). да, менты, да, бандиты, да мы такие. но лучше не можем и не хотим быть: оттолкнуться не от чего.

да, жаль СССР, но что теперь поделаешь — жить надо тут, в оставшемся, в развалинах обустроиваться, комфортаку подкупить... проблема в том, что оставшееся — это как раз продолжающее исчезать, растворяться. тающая льдина — ваша «великая Россия», господа. тающая неизбежно, потому что в умах не за что ухватиться. хвататься только за быт, за имущество?.. нет коллектива, нет общества — есть индивиды: алчущие, конкурирующие, которым не за что друг друга любить. это и есть буржуазность. она и вытесняет последние советские, левые зацепки. а они-то, кстати, зацепки эти, и побуждают пока снимать позорные малобюджетки, но всё же о текущем моменте. мол, всё же надо взглянуть на себя, оправиться. но только узнавать себя в этих продвинутых зомби, монотонно начитывающих текст, не хочется.

мы — другие. мы — советские. мы так жить и дальше таять вместе с обывателем перед телеэкранами не будем. а будем бороться. и враг отступит, потому что у него нет цели. его цель, после всего торжественно обставленного вещного накопительства, в конечном счёте — сгинуть, освободить место другим таким же, перейдя в денежном эквиваленте наследства и в портретах-фотографиях к своим потомкам, размыв в них свои черты.... и снова проворот того же колеса, и снова человек не оправдывает своих возможностей, своей высокой организации материи, не совершает Революции такой, чтобы колесо перестало вертеться. смешивается с хаосом молекул.

наша же цель — бессмертие. реальное, не религиозно-загробное. ради жизни, ради всё новых ощущений, совершенствования и упрочения коммунизма. ради Реальности. неутолимой жажды Реальности. вечность каждого индивида. вечность против вешности. причём, не для избранных, а для всех. и если враг готов уступать место после своей жизни, то несложно будет заставить его это сделать раньше. мы же никому уступать не будем. потому что места во Вселенной хватит всем. мы вселимся в неё и сделаем из неё Расселенную, организовав коммунистическую жизнь на каждой планете, преобразуя природу планет под жизнь человечества.

да, на этом пути революционерам придётся гибнуть, но ради бессмертия других. коммунистическая революция высвобождает в каждом небывалую энергию, — воспрянувшую ради отвоёвывания жизни у смерти. как же всё это сделать даже после Революции?

вне конкуренции, вне ограничений витальных, вне заказа коммерческого учёные Революции изобретут, если целенаправленно работать будут под бдением коммунистического руководства, метод максимального продления жизни

гражданам Земли и Расселенной. ради этого и Революция. только коммунистическая — другой уже не поправить миропорядка.

07.01.04. сон про Платошкин дом. он при приближении оказывается розово-белым, совсем таким, какой на самом деле после последней покраски, плиток не видно, но наоборот — везде лепнина. и главное — совсем другие стены, планировка. много углублений, магазинные отсеки (каким-то образом сместившихся с их деревянными рамами 1930-х от дома № 2 в переулке Капранова за парком Павлика Морозова — сюда по круговой тяге Тебя-реки). много тут прохожих, и в магазинах люда. рамы, как ты, Тан, всегда замечала — старые в окнах магазинов, аптеки, чувствуется парковый или послевоенный ар декО. обхожу дом в сторону набережной — он совершенно другой, тут везде тонкие колонночки (как на ВДНХ у одного павильона) и другие хрупкие отделочные изыски.

гляжу в сторону моста, под которым мы с тобой любовались. там понаставили вплотную друг к другу гаражей — к нашему месту не пропихнуться. и большой поток идущих, поворачивающих по углу дома в сторону Белого, от метро видимо. участок у моста вытоптан, никаких следов газона. думал, может, это прошлое — раз такой окрас здания и внезапные подробности — но нет, это, как раз потОм, после нас.

возвращаюсь в сторону Платошкиного подъезда и обхожу дом со двора, иду правее и за угол. а дом оказывается замкнутым: и с этой стороны пристроили недавно этажики новые. то ли это вытянутые в длину, перпендикулярно от основного массива корпуса, как бывает у доходных домов, то ли странное новшество, дополнительная площадь для хранения вещей жильцов. здесь уже в определённом стиле сумятица и рамы разноцветные, дохожу до середины тыловой части дома и обнаруживаю, что дом вообще стилизован (причем, видимо, изначально, что сейчас только подчеркнуто достройками деревянных частей) под Китай — Японию. наверху и внизу — декоративные пагоды, причем верхние зиждятся на типичных для ар декО прямоугольных колоннадах с вертикальной планкой, бетонных, а нижние самими жильцами доделаны, деревянные.

сам дом стал типичным для нынешнего периода — полностью замкнут, а все пристройки только эту замкнутость усугубляют, со стороны двора много нелепицы, словно заплатки, и тем не менее исходная конструкция видна.

иду отсюда в сторону метромоста, каким-то образом его минуя (видимо, всё же — под), и обнаруживаю там, ещё не доходя углового берега автомобильного дома с советскими скульптурами наверху, что этот дом, а точнее, его предвещающие элементы со зверюшками сказочными в отделке (драконами извивающимися, такими а ля рюс) не пятидесятых, а шестьдесят второго года, на одной из отделочных плиток так значится, шрифт тоже стилизован под сказочный, извивающийся. могли ли такое построить в период борьбы с излишествами?

с уходом Турсунова на меня стали сыпаться редакционные задания одно за другим — на этот раз от Строева. это Госнаркоконтроль устраивает некий док-

лад, но не тут, а где-то под Тверью. пресс-секретарь Хворостяна, госнарконачальника в центральном федеральном, Пищулин, друг Строева, на него похожий, но повыше ростом — настаивает на моём присутствии там. надо уже в восемь прибыть на Школьную улицу.

да, Рабочая улица — вот именно так, из другого периода, из зимней ночи совсем запоздало приближаюсь к тебе. выхожу из подземных узлов станций «Римская» и «Площадь Ильича» («Застава Ильича»...). ветрило сильный сегодня и почему-то запахом осенний скорее или весенний — не пускает на Школьную улицу, в этот музей местечковой однообразной особнячности. точнее — это не особняки, а небольшие ровные разноцветные домики без террас или колонн. в одном из этих, напоминающих вариации на тему вестерна по-новорусски, домиков и поместился Госнаркочек. за входной дверью — трёххристый турникет и молоденький мент-срочник, строго по уставу или с недосыпу тоже, смотрящий на проходящих как на потенциальных нарконосителей, видимо. по списку нас бы пустили — да не к кому. так как Пищулин ещё и сам не являлся, нам, трём пунктуальным журналистам, уже прибывшим, пришлось посидеть-подождать. тут-то и ощутили недосыпки свои. журналистка «Новых», что ли, «известий» — вполне симпатичная. типаж я бы приблизил к Ксю, только попроще, поменьше, покудрявее. познакомились, стал пошучивать, развлекать сонных в отсутствие создавшего нас пресс-секретаря. он вскоре появился, извинился и повёл по новёхонькой лестнице среди европеоидных белых стен наверх, в свою каморку.

тут на втором этаже наподобие мансарды небольшая клетушка, где среди телефонов и факсов востроглазый бородачок Пищулин, человек уже немолодой, обрёл свою ставку и покой на государевой службе при конторе, изымающей незаконный наркооборот (степень незаконности — штука любопытная). чтобы выразить гостеприимство, Пищулин налил нам всем по чашке чаю из типично девяностыми годами пахучего пластмассового чайника, а даме — кофе. всё — без сахара. потянув чифиря под названием «Липтон», ничем его не закусив, мы дождались команды спускаться — оказывается, уже ждут «газель» и госнаркоменты нас, журналюг, а путь далёкий. сам Хворостян прибывает отдельной машиной...

наш начальник на первом сиденье рядом с шофёром — детина вида за тридцать, упитанного и восточного, с седым «пером» в чёрной мелковьющейся шевелюре, некий немалый чин ФСБ. укомплектовались в салоне с не снятыми полиэтиленовыми нахлобучками на сиденьях и поехали по ночным ещё улицам, видимым сквозь быстро затуманившееся нашим теплом изнутри стекло.

ты видна, Столица, но лишь фрагментами среди ментов — я у заднего самого окна сижу. мог бы даже на двух сиденьях расположиться и доспать — но не умею. мы вернулись к Садовому кольцу и поехали в сторону моего дома как раз — сколько лишнего пути и времени... из-за того, что точкой отправления была Школьная улица — всё в Тебе этим никак не просыпающимся ночным утром, выглядит иначе, чуть сдвинуто в пространстве, как во сне. поэтому и поворот на улицу Фадеева и плутание в переулках создают субпространство, какое-то новое

место, где интересно ехать и выезжать к Белорусскому вокзалу из незнакомых, быстро меняющихся закоулков за матовым влажным стеклом...

утро, освещающее законность, застаёт нас уже за Динамо, за круглым конструктивистским памятником начала Эпохи и начала её спада («Ещё раз про...» с Дорониной, которую так и не дождался тут Лазарев). Ленинградка ведёт нас почти как в Шереметьево, но повернуть не даёт, а прямо тянет в сторону Твери. едем молчаливо. журналистка успешно уснула, пыхтит в своём очень увлекательном, судя по выражению лица, сне. менты между собой переговариваются. я сижу молчу. Пищулин весело общается с пожилым журналистом, явно старым знакомым, приставшим к нам уже у дверей перед «газелью» ...

едем мы на сборище этой новой структуры, Госнаркконтроля в честь полугодия его существования. чиновники, поставленные охранять здоровье, лёгкие и вены нации — соберутся в местечке с неместным модным названием Эммаус, дабы рассказать об успехах борьбы с наркоторговлей на местах. наш Хворостян там выступит с докладом — радушный такой, широкий симпатичный дяденька родом из ФСБ, семья большая, с Путиным дружен, оттуда и должность. вряд ли он похож на дотошного, фанатичного борца с наркомафией — на первой встрече с прессой журналист РТР никак не мог от него добиться фактурного высказывания про какой-нибудь успех новой структуры. потом даже пожаловался эртээрщик в конце прессухи: мол, мне же велели с позитивом репортаж сделать, в следующий раз прямо текст потребую, а то звонят, требуют... на этот откровенный комментарий прессы Хворостян очаровательно, как-то по-дамски жеманно, интимно захихикал.

«газель» с точно так же, как и мы, журналисты, не достаточно выпавшимся шофёром, периодически путающе елозя на скользкой трассе, в уже явном утре (которого в салон добавило включённое водилой радио) — приближается к Твери.

вылезли на бензоколонке, купили печений, воды и шоколада — чтобы не спать. Пищулин решил накатить энергетического напитка, взбодриться. мы же с журналисткой продолжили общение. так и скоротали путь. сама Тверь промелькнула быстро и какими-то околицами, разок увидели в окнах над невысоким восьмидесятых годов домом вывеску некоего ещё живущего комбината, ларёк печати, и повернули на дачную стезю. здесь предвыборные плакаты Астраханкиной вернули меня в политический контекст момента. ещё задолго до поворота на Эммаус (имени, что ли, Мауса Мики этот санаторий?) мы ощутили значимость события: дабы оградить высокое начальство наиважнейшей антинаркоторговой структуры от вездесущих провокаторов на шоссе близ поворота к Эммаусу дежурил кордон ДПС. показанная нашим полным восточным начальником из окна, не останавливаясь, ксива Конторы моментально открыла нам дорогу.

высадившись из нашей скромной «газели» среди целой батареи чёрных БМВ и мерсов с мигалками, мы ещё раз ощутили значимость мероприятия, зашли в чистенький жёлтый подъезд санатория, все они посередь зимы меж собой похожи — «Липки», «Эммаус»... внутри на втором этаже ресторанные сотрудники соорудили столы с чайкофиями да пирожками, на которые мы, проголодавшие-

ся от тряски в «газели» журналисты, дружно накинулись. горячий разнообразный чай, на этот раз с сахаром, как-то отогрел души журналюжки и примирил с кишащим тут малоприятным на вид чиновничеством. какие-то, как обычно, папки нам сунули — оказалось, всего лишь рекламу «Эммауса» самого.

у входа в зал, где нам предстояло не уснуть в течение ближайших двух часов, стояли пафосные вооружённые детины — наглядно демонстрируя, видимо, серьёзность намерений режима в отношении искоренения наркоторговли. на меня в моей натовке братва посмотрела особенно внимательно, но вскоре переключилась на глазное ревностное ощупывание журналистки, (тем более что мы с ней шли общаясь), со мной как бы идущей...

в зале какие-то служивые тётушки догадались повесить большие репродукции плаката «Помни о колёсах», где скелетон выглядывает из-под трамвайного колеса — исконно этот плакат двадцатых годов напоминал об опасности перебежания трамвайных рельс вблизи транспорта, о чём не беспокоился булгаковский один персонаж... в новом ремиксе плаката «колёса» зазвучали актуально — особенно для чинуш поголовно советской генерации. а собрались тут они весьма разные. худенькие и молоденькие, очень амбициозные, в дорогих костюмчиках. жирные, до неприличия (в сие смутное время в ближайших окрестностях, к примеру, по меркам здешнего индивидуального прокорм-довольства месячного в несколько тысяч рублей от силы) избыточные — из тех, видимо, кто наиболее успешно борется с наркомафией, за что она их и преследует, надо догадываться. а убежать от преследований таким толстым очень тяжело... кто ж виноват, что у них такой обмен веществ?

в общем, вся эта шатия-братия начала свой двухчасовой отчётно-выборный концерт, который я даже и не думал заносить в блокнот, встрачивая туда секундно иногда только цифирь. на выступлении Хворостяна минуты на две, громко и нагло, завелись колонки, с которыми никто никак не мог справиться. колонки словно выражали далёкую отсюда волю народа: ну зачем ему все эти чиновничьи нагромождения? сменить базис — и не будет наркомании, не будет спроса, а распространителей карать просто и беспощадно. в кулуарах после вербального концерта Хворостян делился подозрениями, что это была провокация.

ближе к концу пафосно и назидательно, требовательно и критически выступил некто Владимир Владимирович, немолодой чекист-гэбист, большой в своей среде начальник, судя по генеральскому чину, седой и бодрый — впервые я увидел идейного защитника путинизма, тоже это президентов личный друг, как подсказали всезнайки-колеги. сухой и поджарый дедок разразился критикой по поводу лености и безынициативности штатных борцов с наркотрафиком, сотрясал их совести упрёками в отдалённости от проблем провинции, где, как в Кимрах местных, чуть ли не поголовная наркомания и целые кварталы наркобаронства. генерал-фэсб нажал на самые больные мозоли чиновников: на недостаточную преданность президенту и неисполнительность при требовательности в материальном аспекте. мол, зря хлеб жрёте. судя по раскормленным ковшам некоторых — они не хлебом единым питаются, это уж точно.

сижу в этой сонной, взаимно безразличной аудитории и думаю: как сие похоже на партсобрание — только не наше, младорадикальное, огненное, а годов восьмидесятых, но уже под двуглавым, в Постэпоху. всё точно так же — поверхностные, посторонние монологи, поиск виноватых, поручения. все здесь — бывшие партийные, беспартийных советских чиновников не было. вот они, тихие и скучные гробовщики Эпохи, умудрившиеся сохранить всю эту свою процессуальную муть, свои привилегии, блаты, хаты, нерядовые зарплаты, но уже в иной соцэкономформации — среди них есть и уверовавшие в новую стезю, в движение к цивилизованному капитализму, где и нужно осаживать наркоторговлю. да, эти болтуны упомянут и «угрозу нации», поверят в собственную значимость, в собственную необходимость... а на деле-то вряд ли они так уж потусторонни наркоторговцам — всегда можно договориться тем, кто имеет власть и имеет деньги... тут либо государство должно много платить стоящему на страже «здоровья нации», либо его перекупят бароны — выгодное положение. что-то и цветущий упитанный вид брюнета-начальника нашей «газели» подтверждает такую гипотезу.

но вот отмучились чиновнички, и оказалось, что самое-то интересное впереди — не зря боролись со сном и мы, журналисты. ресторанные сотрудники «Эммауса» накрыли уже в вип-зале Хворостяну сотоварищи длинный стол — там, небось, тоже под гербом будут они восседать. но нам, черни, — не сюда, где в дверях стоит улыбающийся, с некоторыми коллегами радушно обнимающийся как после успешного банного сеанса, Хворостян. нам — в общую ресторанный залу. но нас и тут, как выяснилось, не плохо накормят. чиновнички Постэпохи заинтересованы в том, чтобы журналисты уехали довольными, чтобы хорошо написали об их ударной борьбе с наркоторговлей. одетые торжественно тётушки с начёсанными кулками грубо крашенных волос на головах, эти вечные слиски-чиновницы, серопиджачные мужички, бывшие секретари по идеологии и оргработе, а ныне — профессиональные борцы с наркотрафиком... все уселись в уголке зала, где кушали и простые отдельные жители «Эммауса». да, неплохо борются с наркоторговлей чиновнички Постэпохи — ежели хватает на вот так посидеть в рестранчике и даже журналюг угостить по полной программе.

вся журналистская братия уселась за один стол, на чём деликатно настоял наш брюнет-начальник, фэсбы отделились, дабы их важные разговоры не просочились в наши вольные уши. тут же появились халдеи — и пошли витальные радости, одна за другой. для начала нам официант наполнил «Флагманом» большие рюманчики — хряпнули. странное дело: и журналистка вовсе не отстаёт от нас, мужичков, в этом деле привычных. так браво и быстро вкатывает в себя стоп за стопом...

закусочка в виде поперчённой буженины, огурчиков-помидорчиков, салатиков, особо любимого товарищЧем свекольного — понеслась трапеза во здравие Госнаркоконтроля, успевай подливать. изобретательные, профессиональные в этом вопросе, пожилые журналисты во главе с Пищулиным — не задерживались с выдумкой всё новых тостов, буквально под каждую вилку салати-

ка поспевавших. к моменту прибытия в профессионально изогнутых руках халдея супа в очаровательной белой фарфоровой супнице — весь журналистский корпус испытывал уже устойчивый приятный улёт от водочного сугрева и ароматной остренькой закуси. в зале, где пели чиновники, было прохладно, как и в пути — поэтому водка пришлась идеально во время.

согревая теперь наши нутры бульончиком, довольно незамысловатым — тепло из спиртового трансформировалось в температурное, что тоже не могло не радовать и не усиливать опьянение, пожилой железнозубый журналист из «Экономики» и жизни, пошёл в воспоминания весёлые, которые мы с молодой журналисткой слушали, как доверчивые безынициативные детки, в её глазах уже зажглась типично водочная бодрость, желание радоваться и узнавать новое за вкусным столом. дождавшись не очень изобильного, но стильно поданного второго из картошечки и неких чесночноватых котлет плюс второй бутылки «Флагмана» и соков уже за счёт Пищулина — мы заплывали в совершенно пьяную, объёмлющую, всепрощающую благодать, откуда нас вскоре вывезла родная «газель».

теперь кавалькада госнаркочинуш поехала из «Эммауса» в Тверь — в программу входил и показ нам, журналюгам, мест работы местного Госнаркоконтроля. завели в некое ментовское помещение (товарищ Ч подумал: хорошо, что я тут гость, вспомнил четырёхчасовую отсидку в день защиты Дома на Рабочей в подобном же широкорешётчатом обезьяннике...) административного домика годов семидесятых. новенький, недавно выкрашенный обезьянник, пахнущие провинциально масляной краской и деревянными полами коридоры... будучи на веселе и в поднятом настроении, мы, журналисты, поднялись наверх, куда тянулись и фэсбы. оказались в зале перед сценой и заняли места в первом ряду. сцена представляла собой грустное зрелище: к древнему краснобархатному занавесу прикреплён триколор, какой-то чахлый и неоптимистический. позади нас сидели низшие чины ведомства, лица молодые и не очень, но явно не того уровня, что только что бухали и угощались с нами в «Эммаусе». вдруг, едва в коридоре показались Хворостян-с и его высокопоставленные коллеги, позади нас раздалось командное: «Товарищи офицеры!?!». тут подразумевалось — вскочить в знак приветствия военачальников. мы, пьяные и неразборчиво весёлые журналюги, тоже вскочили, восприняв призыв к себе как к офицерам (или, в моём случае, как к товарищам). комизм ситуации разрешил Пищулин, показавшийся вслед за проходящими на сцену высокопоставленными фэсбами и всячески жестикующий и шипящий в нашу сторону: мол, идиоты, немедленно выходите оттуда, зрелище не для вас!

оказывается, в зале под триколором предполагалась серьёзная выволочка низшим чинам, что не для глаз и ушей журналюжких. типично лицемерная ситуация для Постэпохи: чиновное начальство оттянулось в ресторанчике, поплакались об угрозе здоровью нации, о бедных подростках-наркоманах в наркостолице Тверской области Кимрах и о недостаточном бдении своих подчинённых, накатили водочки, закусили отборно, насладились, повеселились — и поехали пороть свою челядь. вечно виновная в неисполнительности и государственных

проколах челядь — чины низшие, так никогда не закусывавшие и не выпивавшие, живущие в Твери в лучшем случае тыщенок на четыре-пять в месяц с семьями, молодыми жёнами, карапузами... водку пьющие разве что с сослуживцами на кухне по праздникам профессиональным вроде 23 февраля. ведь защищают же, вроде бы, отечество от наркозаразы — вот только что за отечество, не очень ясно? не СССР, не сверхдержаву, эрэфию нынешнюю куцую, осаждаемую нарконаступающим экс-советским народом из бывших республик Союза, из Таджикистана, Казахстана... грустные будни Постэпохи.

как-то потеряв оптимизм и весёлость, мы спустились вниз в «газель», и, после команды брюнета, полученной Пищулиным по телефону, что можно часок спокойно погулять, — пошли к набережной, по дороге прикупив уже не ресторанной водочки и закусочки. журналоги всегда возьмут своё и снизят стилистику госнархозастолья до своего: из пластмассовых стаканчиков будут жарить дешёвую водку, закусывая селёдкой из гастронома на лавочках набережной, пред заледенелой могучей Окой, на ветру то ли осеннем, то ли весеннем, под рассказы самого старого журналога, все восьмидесятые работавшего в своей «Экономике»... и ведь не пьянства ради, а опять лишь сугреву для — на холоде хмельным не ощутишь себя. вид домиков на противоположной набережной создаёт неожиданный романтический уют, требующий разумности и разборчивости. эти домики — в стиле Школьной улицы, только удлиненной и не так здорово отреставрированной. домики прошлых веков. на мосту порадовала товарищ Ча надпись чёрными буквами «СКМ» — работают комсомольцы Кати Заводновой-Истоминой (замуж за члена ЦК СКМ Истомина вышедшей московской десанточки нашей). в другом месте моста к нервно зачёркнутому «СКМ» приписано тоже чёрным «убирайтесь отсюда» — не всё спокойно тут, в провинции, но другого и не ждём. обывательская тверская действительность не веселее нашей, центральной: только тут на рекламных предвыборных плакатах местные буржуи, и народ, не так модно прикинутый бежит обналичивать в не столь модные магазинчики. и дует ветер, плохо ещё политически ощущаемый ветер перемен.

а хмельная компания журналистов и госнаркоментов отправляется восвояси — на этот раз весь салон «газели» болтает, знакомится, журналисты братаются с ментами и фэсбами, которые даже и о коммунизме умеют поговорить, Хрущева поосуждать. странное дело: внемлют моим скрытым леворадикальным аргументам низшие фэсбы, интересный диалог завязывается. а пожилой пожухлый и почти лысый железнозубый журналист-экономист требует продолжения банкета, покупаем на очередной бензоколонке «Урожай»-перцовку и греем из пластмассовых белых стаканцов полупростуженные у ледяной реки свои глотки. тошноватый едкий вкус перцовки, мешающийся с выхлопами в конце салона, с пьяным разговором с добрым худым фэсбом... вот такое окончание пафосного мероприятия в «Эммаусе». один только наш начальник-брюнет не поддался на разговоры и ехал себе на первом сиденье рядом с шофёром, задумчиво покуривая «Кэптан блэк»...

визит к Александру Краснову пришёлся на совсем хмурый день, близящийся к вечеру. параллельно забору Ваганьковского кладбища шёл. посмотреть на этого исторического человека интересно при любой погоде. он умудрился не только взбаламутить всю Пресню не голосовать за лужковского кандидата Моисеенко (переброшенного сюда как раз из нашего бывшего реакционного и нынешнего «резонансного» Замоскворечья), но и будет бороться на выборах в районные собрания уже в новом году.

в обычной хрущобе на невысоком этаже обнаружилась квартира мятежного, бывшего главы Управы Краснопресненской. деревянная дверь без каких-либо признаков элитности. правда, за ней — холодный старомосковский коридорчик с другими квартирами, и в торце железная дверь квартиры Краснова. квартира длинна и скромна: комнаты два-три идут в ряд, а в самом конце с окнами на углу — кухня. принёс несколько наших НОмеров, включая тот, где моя статья про разруху балконов в Замоскворечье. по стечению обстоятельств на личной, но не шикарной кухне с деревянным сидельным «уголком» оказался друг и соратник Краснова, то самый издатель и содержатель пёстро-оппозиционной «Дуэли», где начинал печататься Вотречев-Дебеж-Краснов, знаменитый Марксович и, по слухам, водочный король Смирнов, не имеющий, правда, родственного отношения к дореволюционному поставщику двора Его величества. в белом свитере мощный и немолодой, Смирнов сильно и широко своей ладонью встретил меня рукопожатием.

затем уже сам, неизменно при очках собеседующий, седой, как волк-вожак из «Маугли», интеллигент смутной эпохи, сторонник национал-капиталистического реванша, ведущий долгое время собственной передачи на «Народном радио», не давший на Патриарших воздвигнуть рукавишниковский Примус-НЛО, Александр Краснов стал излагать историю последнего конфликта с Лужковым. в последнем номере МК его объявили обвиняемым в убийстве многолетней давности. и НО должно было ответить МК хуком на хук. в бой вступали две газеты, каждая из которых уже успела остаться без Турсунова — МК в девяносто первом, НО в двести пятидесяти третьем. типичный чёрнопиаровский вброс ничем не подтверждённой информации в момент выборов — эта статья в МК. в деле десятилетней давности был найден просто факт прохождения в нём свидетелем Краснова, и из этого раздут скандал. а история — типичная для начала девяностых, приключившаяся с любовницей Краснова, судя по тому, как он рассказывал следственные подробности.

она была из новых, полнотелых и жизнерадостных бизнесвуменш, и однажды вечером её, в халатике и в тапочках зачем-то или за кем-то вышедшую из подъезда, застрелили. явно разборки по бизнесу — к Краснову тем более не имеющие отношения, что он давал порядочные суммы убитой взаймы и вряд ли бы стал здесь киллером собственного должника, вполне рентабельно бизнесующего и могущего вернуть суммы. но — сюжетик можно было подперчить, что и сделала лужковская МК-ка. да, этот мир ЗАО и ООО начала девяностых, «комки», первые прибыли, бизнес... уже не увидеть мне в обратном направлении сквозь

толстые стёкла очков Краснова те годы, только из отдельных всполохов дорисовывать. самое начало и бизнес-угара, и сопутствовавшего ему киллерства, романтика начала Постэпохи: романы с бизнес-партнёрами, рестораны-дискотеки, и ещё такое чисто рыночное новшество, о котором рассказывал мне в наших развозных путешествиях кузен Леонидас, как выплата натурой в случае провала торговли. причём неудачливую бизнес-партнёршу или партнёра, рыночную торговку или торговца ждало групповое секс-возмездие, вынужденное партнёрство с рядом бизнес-партнёров, включая грузчиков и охранников... зверская и пошлая Постэпоха, Краснов невольно возвращает меня к твоему началу, тварь.

чего ты только не видела за двадцатый век, Красная Пресня! и моего предка Василия Буланова-Успенского, первого твоего красного комиссара в 1917-м. и революцию 1905-го, когда баррикады из домашней и уличной утвари ошети-нивали на мостах над Пресней-рекой против царизма обросшие грязью и копотью в ходе сражения с казачками и семёновцами пролетарии, уже не возвращающиеся в дома, эсеры-бомбисты, привыкшие к весу маленьких ядер как к своей утяжелившейся мятежом плоти, анархисты из московского студенчества, с безумными друзьями эсерами-максималистами делящие еду и порох. и контрреволюцию — начавшуюся в 1991-м романтично с бивуаками и полевой кухней местной демократической интеллигенции, продолжившуюся пороховыми завесами в 1993-м, с пребыванием у Верховного Совета РСФСР уже совсем других защитников другого дома. и бизнес-передел, выведение (ради застройки элитным жильём для новых капиталюг и недрососов) предприятий с территорий исторических революционных сражений... и то, как интеллигентный, гуманный управляющий районного капитализма Краснов подчинил себе, причём вполне прозрачно для районного бюджета, весь расквартированный тут бизнес. конфликт Лужкова с ним понятен: не вливаясь в общегородскую систему, а самофинансируемый глава и его управа, а особенно пресненский прозрачный районный бюджет его не устраивали, рушилась «вертикаль», назначаемая только мэром. и, уже существующего как параллельная власть на Пресне, Краснова грубо отодвигали из управы с помощью верного лужковского десантника-назначенца, с помощью ОМОНа и других демократических доводов. так увидел и узнал я Краснова, которому Леонидас с большим уважением возил наши газеты и с которым дружило полрукводства редакции НО. ушёл из его неэлитной квартиры в густой декабрьский сумрак.

зима — тёмное время года Твоего, особенно стужённое стенами тут, на ваганьковских задворках Пресни, откуда мне ближе не до мой, а до моего экс-аспирант-тившего МТППИ на Шелепихинской набережной. или до проезда имени того самого Николая Шмита, который, будучи наследником мебельной фабрики (сожженной и разбомбленной семёновской артиллерией дотла в 1905-м), на его территории устраивал стрельбища, сам учил рабочих борьбе с капитализмом, а они устраивали для прикрытия его фабрики псевдостачки, когда бастовала вся Пресня — имени того Шмита, который в ходе революции 1905-го года всё же был разоблачён, арестован и

погиб в застенке царизма-капитализма, устно в разговоре с очаровательными изящными своими сёстрами завещал все капиталы большевикам.

от легендарного уже в Постэпохе сопротивленца даже в рамках и ему не чуждого капитализма Краснова, с Красной Пресни забирал меня Твой центр, звал дом — в мрачную зиму, рассвет которой, весна после которой не досчиталась у меня на Каретном одного родного человека, моей бабушки, нашей Людмилы Васильевны.

текст, ты добрался и до такого личного, семейного, что обычно не вверяют в твои непредсказуемые, безграничные для вычерпывания бесчисленными взглядами, просторы. но это тоже поэма — Твоя, Столица, — а потому вымолчать эту часть из неё мне нельзя. ведь кто я, как не говорящий должник своих прежних (истончавших восприятие, слово и кость) поколений, заселённый ещё в Эпоху (а пишущий, словами строчащий в Постэпоху) моей здешней бабушкой-дворянкой, Твоей центральной обитательницей? семья молодых физкультурников — были мои бабушка и дед. он — чемпион ещё до революции, она чемпионка по бегу 1920-х. и вот её век, на год даже и численно обогнавший соответственно её чемпионскому характеру век календарный, её век, захвативший, заселивший, засвидетельствовавший три эпохи — дореволюционную, советскую и постсоветскую, — завершался. завершался, несмотря на то что уже даже из привычки к её рядом бытию, мы и не думали о том, что нашей столетней бабушки может не стать.

в прошлом году её зимнюю простуду и грипп, быстро перешедший в воспаление лёгких, мы смогли одолеть. и после сильнейшего курса уколов антибиотиками (за которыми ночью я летел на проспект Мира в дежурную аптеку) она вернулась в новый год, в весну и лето, проведённое в самую жаркую пору, как обычно, на даче. да, её разум медленно уступал место в этом сильнейшем и рациональнейшем человеке место какому-то другому, полусознательному, полумемуарному состоянию, в котором она (в 101-то год, о чем тут речь?) уже не являлась прежним двигателем и опорой семьи, и не узнавала дачи, считая, увлекаемая детскими глубинами слабеющего сознания, что это Париж, поездка в Мураново или новый московский особняк... но в эту зиму 2003/04 победила в сражении с воспалением лёгких уже не наша спортивная, изящная бабушка, которую ты, моя девочка (помнишь?), упавшую во время самостоятельного мытья на заднем дворе дачном — поднимала как особа соответствующего пола, я чувствовал себя беспомощным и растерянным. а ты смазывала йодом её ранения...

нет, теперь зимний барьер болезни, уже, вроде, преодоленный с помощью тех же антибиотиков бабушкой — всё же оказался слишком высок, подорвал силы и последнюю (в сознании) опору её чрезвычайно стойкого, три инфаркта и два инсульта перенесшего, организма. мои предсонные размышления о смертности той зимой суеверный бы человек принял за нечто, связанное с бабушкиным состоянием, ощущение приближающегося к ней в соседней комнате небытия. а я думал о том, насколько человеческая смертность среди сравнительно вечного бытия неразумных небесных и земных объектов — несправедливое,

ущербное, не должное быть явление, которое только сам же человек может и должен срочно устранить.

просыпаясь из короткого, первого сна, это небывало жутко, как-то биологически очевидно раз за разом разумом ощущал — что великолепная игра «жизнь», в которой мы спим и бодрствуем, это состояние в котором мы довольно долго, десятилетиями пребываем, закончится *неизбежно* — и высказывал раньше текстом. нет, люди уходят от нас тогда, когда мы их отпускаем, суетно поверив в аргументацию болезней, неразумности, несоответствия их нашим нормам поэтому. но ведь можно научиться избегать болезней и старения, можно наукой дотянуться до бессмертия или большей длительности жизни, как минимум лет до 120 — уверен, можно, разум наш в силах...

сначала в ночи бабушка начинала очень развёрнуто разговаривать, громко аргументировать или молча, и уже затем взывая о помощи, заблуждаться в ближайшем пространстве, уже не в силах вырвать себя просыпающимся рассудком — на её зов просыпался и приходил, выводил её, заблудившуюся, уверенную, что в лесу, топчущуюся в углу кровати среди свисающих ветвей дикого домашнего винограда, успокаивал, укладывал. помощь теперь требовалась во всём витальном, постоянные дежурства нас, сменяющих друг друга её потомков... последние два раза я буквально на руках бабулю мою отводил на кухню — не шли ноги. но её разум, до последних месяцев светлая даже среди сумерек голова её всё же одобряла туда перемещение, без слов, но чувствовал одобрение: надо, надо идти, нужны усилия, нужен свет — «Да, так должно быть, правильно, что ведёшь».

когда-то бабушку, ещё не бабушку и даже не девушку, в большой семье Булановых-Успенских считали слабенькой — в церкви, среди духоты и чада она часто теряла сознание, так что ей на службу ставили специальный стульчик. не могла и предположить удушливая эпоха царизма и православной державности, что эта слабенькая Белочка (так за начало фамилии «Бул...» и за цвет волос бабушку прозвали в Институте благородных девиц, что ныне — МПС на Красных Воротах) станет после революции физкультурницей, тренером, воспитательницей беспризорников, специалистом по подвижным играм, будет готовить бойцов-лыжников в Великую Отечественную, напишет в соавторстве эпохальную книгу «Игры народов СССР» и проживёт более века — даже больше начавшейся при ней, в сознательном её возрасте Эпохи, лишь на сто втором году сойдёт с дистанции. но был и такой факт: православный, верующий мой дворянин-прадед, когда, на взгляд его и врачей (в том числе Боткина), безнадежно больную (тогда тоже) воспалением лёгких двенадцатилетнюю его дочь Людмилу посетили с иконой Казанской Богоматери — был уверен, что поможет. это ли помогло, но выздоровела, пережила всех ровесников.

а когда Белочка на трёхсотлетии дома Романовых, при посещении императорской семьёй Московского института благородных девиц, чуть не сбила Никлая Вторых, перебегая из ряда в ряд (будущие фрейлины стояли двумя шеренгами вдоль шествия царской семьи) — вот она уже начиналась Эпоха, и в ней разбег будущей чемпионки мира. правда, в тот раз, чуть не сшибив чинно вышагивавшего Романова,

она остановилась, замешкалась, испугалась, как и её глядящие из рядов подруги (наступало время покушений) — а царь погладил Белочку по голове, чем снял напряжение и двусмысленность ситуации. непрошеное, внезапное благословение уходящей, для меня позапрошлой, эпохи. и в Эпохе, стоящая перед судом в 1938-м, уже с мамой моей на сносках (отсюда, из этого внутриутробного судебного стресса у нас начиная с мамы почти генетическое стремление к истине, правде) — бабушка опять миновала опасный рубеж, к которому её подвела некто сослуживица по ЦДХВоДу Онегина и её кавалер Орлов, старый большевик, живший близ Пушкинской площади. естественно, пытались через дворянское, классово враждебное происхождение навести на бабушку навет: мол, ещё и родственники за границей, а муж сестры служил в штабе Деникина — но грубо, окольно работали Онегина с Орловым, не было и не могло быть аргументов непосредственно против моей бабушки, работавшей с Крупской, воспитывавшей беспризорников в самые тяжёлые годы подъёма, индустриального разбега Эпохи. когда за бабушку заступился Подвойский — полетели Орлов с Онегиной из Москвы вон.

и вот теперь эта громадная жизнь, прекрасно и в деталях ею припоминавшаяся до последнего года, медленно начинала уходить и из бабушкиного сознания, и из наших, её окружающих (точно ею посаженных деревьев) жизней. и, когда брат, тётя, мама были в ярко освещённой бабушкиной комнате, как-то деятельно пытаюсь создать жизнерадостную обстановку рядом с ней, глядела наша Людмила Васильевна в последние дни уже не на нас, а в неведомую нам даль своими голубыми глазами из-под белых седых волос: с таким неизъяснимым щемящим, очень осознанным выражением, которому название может быть только одно — смертная тоска.

но здесь, словно собравшись в пучок, события не давали опомниться. и Газетный, опережая домашнюю тяжёлую ситуацию, звал похожей — но неизмеримо мельче размерами, словно отражённой в том далёком и невидимом зеркале на уровне купола колокольни Ивана Великого — (но к Каретному приближавшейся медленней) новостью.

16 февраля — кончина газеты. всё, как и прежде для неё судьбоносное, инвзстор соначальство решили в воскресенье.

аккурат два года прожила. из этого же февральского (январского) мороза 2002-го начинали её делать — и вот в февральский же, но оттепельный, в мутный денёк она и завершилась.

Игошину просто-напросто сделали предложение, от которого он не смог отказаться: уже прошедшего по списку КПРФ от Владимира, его позвали во фракцию «Единой России». а для убедительности припугнули примерно так.

мы тебя самого, конечно, не тронем, ты депутат Госдумы, состоятельный человек, а вот твой менеджерский состав Холдинга на местах, по колхозам да фермам пошерстим — по части налогов и законосоответствия. не хочешь терять бизнес — тогда давай к нашим бизнесменам, а то левую оппозицию зачем-то подкармливаешь, против государства нашего, получается, идёшь — не в твоих и не в наших это интересах...

мы об этих переговорах знали ещё с декабря, и Матвеев довольно прямо говорил о сворачивании газетной оппозиционной активности, так как свою функцию НО выполнило: мол, «Единая Россия» свою одноимённую (немало с «Совраски» сдутую дизайном) газету издаёт, деньги есть — давай сюда, а за контр-у нового члена фракции не погладят по головке.

на ночь глядя, пока мы в седьмом микрорайоне Тёплого Стана поздравляли рок-коммунара, долговязого нашего витязя-янычара со срастающимися бровями Лёшу Кольчугина из «Разнузданных волей» — поздравляли-пили-пели, слушали его стихопесенный квартирник — звонил Строев. чего бы? волновался я (не получу ли нагоняй за нечто, пока неведомое?), топая по сладкому своей обязательной (положенной и обеспеченной окладом) будничностью маршруту к Газетному. с отделения милиции на Большой Дмитровке перед СовФедом счищали снег, оградили так, что пришлось сразу перейти к театру под бок. навстречу женщина с коляской едет, за ней машины, такая теснота. унылые, покорные дворники колупают лёд, добавляя его осколки ко всеобщей тающей перепачканной рассыпчатости.

дом сталинский не пропускает, в районе угла у ворот — что-то опять раскопали, толпятся в тёмно-синих с оранжевыми полосами униформах аварийщики. если идти быстро, то становится жарко, надо перчатки снять. выпаривает намёрзшее отовсюду, к этому примешивается столовая отдушина у бока книжного магазина «Москва».

всё уже примелькалось, даже сандаловый дух лавки в подземном переходе отсутствует, неприметны-непамятны прохожие. покачнувшись (для меня, вышедшего из подземного перехода), но на месте, но с торжеством, пусть и в измазанности влажнопыльной — стоит линия сталинского узорного по бордовому в столбцах дома, доходящего до Совнаркома. поворотная езда мэрских «Волг», менты, «в День красного офицера» — строкой на табличке ленинской на Моссовете. не вчитывался раньше. «офицерё»... красное?.. тогда, в ленинские годы, разве были офицеры? комдивы были... теперь офисёры, офисные крысы — вот население времечка нашего.

шась — в торжественную колоннадную арку, тьфу — в оползающий, сникший снег за забором, шась — мимо Дома композиторов, по снегу с песком в обход раскопа за подъездом-входом в кафе и ресторан.

как-то всё безмятежно, за исключением моего опасения из-за вчерашнего мне строевского звонка-недозвонка. обстукиваю гринדרА, подшагивая к входу. щёлкаю кошельком по пульта. охранник небывало направленно и панибратски — «закрой дверь», но она сама закрылась. мужичок сидит на диване, читает последний номер. вхожу, все в большинстве на месте. к Строеву: мол, не стал перезванивать, поздно.

— Ну, так ты же всё уже знаешь?..

— Что?

— Закрываемся мы.

вот такая история. дарю Артемьеву первую книгу. он шутит: да, только сегодня и успел бы.

товарищ Виктор сидит над фотографиями развалин «Трансвааля». вот невезуха: в кои-то веки нащёлкал, потратился, так номеру не быть... коллектив шутилив, суетлив и тревожен. ощущается потеря. Строев нервно что-то наговаривает Анне Гагановой назидательное: мол, заранее никто не знал, что закроемся.

(«Гага-нОва, Гага-нОва — зови меня так...»)

эх, родимая, моими руками собранная, сюда перевезённая редакция. не потянул инвестор НО. да у него и нет никаких «но» против власти. или, тем более, хитрит: наберёт новую политкорректную редакцию, Селезнёв ему сосватает людишек правильных. самая удивительная новость, связанная с закрытием НО, это то, что контрольный пакет (то есть основное финансирование газеты) всё время был у Купцова — Строев удивился моей неосведомлённости в этом вопросе как околопартийного малого. вот как Партия умеет хранить свои коммерческие тайны! все в редакции и за её пределами были уверены в том, что Игошин наш единственный благодетель. но даже при таком финансовом раскладе воля Игошина стала решающей. от КПРФ он откупился вещами попроще — комнатками теперь уже не для редакции, а для отдельных партийных и комсомольских чинуш-карьеристов. «люди, которые что-то решают в этой жизни», как говорил Усманов об Игошине, вот и иллюстрация: полетели, мы мелкие сошки, с насиженных мест, в результате решения на уровне шефа, на уровне собственника Холдинга. мораль Постэпохи, порядок капиталистический — не обессудь, наёмный работник.

что ж, отходим с Витьком по лабиринту старосоветских институтских коридоров-уровней на подготовленные позиции, в тылы у Ильи Пономарёва, тоже выселенного из кабинета шефа — в аппарат МЛФ, новое помещение, выходящее окнами в сторону дома композиторов, церкви и Тверской. Витёк замечает, что здание, судя по стоптанной витоперИлой лестнице, — рубеж тысячадевятисотого. забавно: здесь был Институт экономики переходного периода Гайдара, редакционные коллеги говорят, что даже с ним тут сталкивались — а теперь здесь те самые тылы, в которые мы отступили, не меняя адреса, занял Институт проблем глобализации. институт причины-аварии и институт следствия и аварийной, революционной помощи следуют друг за другом: время.

Партия, отныне я профессиональный революционер, на ставке, твой теперь по «фултайму», как сказал мой новый весёлый бородатый командир... помещение уже увешано моими плакатами — точно знал наперёд, радость нового помещения и от обретения новых, единомыслящих сотрудников. теперь не придётся саморедактироваться, как в НО с постоянным компромиссом между всё ещё демократЕющей линией Турсунова и левизной, которая, по идее, закладывалась в газету с самого начала, тем более что весь проект содержал таинственный партийный кассир Купцов...

день такой: иду, яростно скрежещу мыслями, пробираясь по Кисловским переулкам к Арбатской. в такие минуты погружений в переживания обычно и случаются гадости извне. на расстоянии вытянутой руки от зелёной стены (минув правозащитный подъезд, но чуть не доходя пожарной команды, напротив) прохожу под домом, что-то мстительно думая про всю эту инвесторскую бра-

тию, и тут — сверху в такт мыслям резко огрызнулся с карниза снег. не вылезая из злых размышлений, рефлекторно подался вперёд и в сторону; и точно за мной — ухнув и даже толкнув ветром в плечо — падает здоровенный пласт заледеневшего снега, точно на хрумкнувшую, звучно промявшуюся крышу машины. машина — в визг сигнализации, посильное, жалобное своему хозяину пипиканье ударенного механизма. я бы, если б на меня эта тяжесть приземлилась, уже и не пискнул. вот вам и «метафора» радреала — удар судьбы, малость промах вышел. удары по всем фронтам, год начался високосный.

да вот, мелочи жизни, путевой уличный эпизодец: конец газете, но не мне. пришибло-то бы не по-детски: сотрясение мозга, если не травма. бегу далее на запись, сторонясь домов, по кайме тротуара, пролезая между машинами и ментами из ментовской машины. а она — куда бегу, запись — вот не состоится, только чай попьём-позеваем два часа. день такой. снег, обломившись с крыши, пал, обломилась запись. шестнадцатое. четырежды четвёртое.

пока я уходил в сон с шести до семи вечера — в зыбкий, дурной, неверный — бабушка ушла насовсем (я все события застаю с опозданием, таков почерк судьбы). мама подняла, прибежали — она уже тихая, нет частого дыхания. звонок мой в «Скорую» — и посыпались как стервятники похоронные агенты своими звонками. самый идиотский, вкрадчиво-весёленький такой, голос был у запоздалого агента Дмитрия Владимировича. (сколько их в Москве? столько же сколько больниц? видно, доходное ремесло) тихие профессионально-скорбные паразиты делают на этом бизнес, страна-то вымирающая.

лицо бабушкино уже до этого, за день, стало холодным, а вот рука, которая лежала на животе, — долго тёплая, будто живая. теперь лицо, успокоившееся — мудрое, серьёзное. прямые ноги. другой какой-то холод — ощутимый теперь нам, находящимся рядом, глядящим в её сторону. цвет родного, предшествовавшего нашим чертам, лица всё более чужой, неживо-зеленоватый. мама целует бабушкины измученные последними месяцами нехождения, с обширными гематомами ноги, столько прошедшие по Тебе, по всей нашей одной шестой части суши, по Эпохе, перенесшие всех нас через столько трудности к нашим временам...

когда грубые, ухватистые два парня в синей униформе увезли в чёрном «комбинезоне» с «молнией» её из квартиры — точно такой же, в какую въезжали (только ниже этажом) благодаря её усилиям и займу денег у Улановой — бабушкино пространство начало сворачиваться. пустой маленький теперь диван, не увеличенный ею. это даже по звуку в квартире чувствуется — нет там жизни, в том её углу у окна, нет её занимаемого места. нет центра, вокруг которого вращалась наша семейная вселенная. нет магнита, тянувшего в последнее время с особой силой в дом. чуждая, непривычная нам (свыкшимся с её постоянством там) теперь свобода пространства.

и понимание, ощущение — какой громадный участок времени исчез отсюда вместе с нею. пусть и не создававшего себя под конец (в слабом, сдающемся

сознании) уже не субъективного, не структурированного в памяти — но времени, пережитого ею времени.

перед тем как погрузиться в забытье, тогда в постоянных столах — звала сестру, давно покойную (мать Колесана Колесаныча) Олю, супругу того самого деникинского штабного... этот зов казался то простым неотчётливым «ой», то проясняющимся именем сестры. «И к ней же отправилась», сказали бы сие(бо-го)верные. они жили в особняке на Композиторской в комнатах по двое: Оля с бабушкой, Серафим с Василием, и когда девочки хотели узнать время (часы гостинной были ближе к мальчикам) — спрашивали из своей комнаты Симу, а он с прононом в длинный семейный прямой нос отвечал: «Уже восемь продондилось», часы были с боем, словообразовательные способности в большой семье Булановых-Успенских были не только у Василия, поэта и будущего комиссара.

а из «Эрмитажа» ни в чём не бывалый грохот салютный: Масленица — широкая, как лица, животы, седалища и кошельки его, парка и ресторана там, посетителей.

кот не понимал, точил когти, как обычно, о диван бабушки, когда она на нём лежала, уже отсутствуя на этом свете. лицо умное и спокойное. так понимаешь смысл слова «покойный».

утро хмуро, ничего не обещающее. но затем, на улице — по дороге в фотографическое — весна. да, вот она и проявилась заранее. солнце выглянуло из-под опускающегося занавеса зимы. и яростно, радостно блестит асфальт Петровки — оттаявший лёдоснег. и радоваться бы, по прошествии этой зимы испытаний, что бабушка снова пересилила немощь, встаёт с нами, ходит, ест на кухне. но нет. уже никогда нет. хоть и сто один, а не скажешь, что дальше — ничего не могло быть. привыкли к чудесам её воли, воли к жизни.

и я иду по солнечной пустолодной Петровке мимо домов, многих из которых она старше была. или тех, что лишь едва старше её, ровесников по сути. на них, на карнизах снег, подтаивающий, падающий, так что огорожены участки тротуара, надо перебегать Петровку.

и на Тверской эта «широкая Масленица» — песенный гул, ансамбль прямо у входа в фотоэкспресс пританцовывает под фанеру. но здесь будут делать копии и увеличение с фото неделю, надо на Кузнецкий, в знакомый, но уже не персонально, МАРХИ. песенка, из-за акустических искажений двора Думы дробящаяся, словами обгоняющая музыку «Виновата ли я?» — вдогонку.

виновата, виновата, Расея — ещё как виновата. что допустила себя до дури этой, до провала в прошлое. ходите топчитесь на «празднике», не сознавая, в какой провал валитесь, россияне, пока маслянистые, жующие и дышащие перегазом хозяева порядка делят Постэпоху и топчат Эпоху. но мы тебя поднимем. потомки вот таких людей, в век величиной — как бабушка моя. работавших с Крупской, видевших, слушавших Ленина.

дома стоит обходить по проезжей — снег не выдерживает противоборства с солнцем, валится. словно кончилась вся хмурь, сопутствовавшая бабушки-

ным мучениям и слабости. пошла весна. светом, запахом — хотя ещё многожды замёрзнет.

манизеровский задумчивый пролетарий в стене Пассажа — ногой на фундаменте с серпом и молотом порознь. Пассаж на Петровке пуст, витрины виновато отступили: словно закрывается весь магазин. капли на полу — с застекленной крыши просочились, видимо. пуст, без посетителей или даже, как я, прохожих, иллюзорен этот музей вещей не для нас, смертных. только какая-то дива выгнулась у входа на построенной рекламе непонятно чего. декоративное кафе у дальнего выхода на Неглинную — как игрушечное. стулья несиженные, скатерти непримятые. жарко поддувает к турникетной двери-кресту кондиционер.

Центробанком занимаемое здание — постройка (точнее — по бокам массивные пристройки к дворцу эпохи прежней) Жолтовского. имперский неоклассицизм уже в 1927-м: даже угол дома, подъезд. этноимперский, сияюще-жёлтый. стиль подсказывает некую закадровую по той Эпохе эйфорию, достигнутое в ощущении совершенство и излишнюю весомость форм. после этого может начаться заблуждение, пробуксовывание на самом пике и потом, через хрущевскую панельность — в пике.

да, тринадцатая поликлиника наша (тут «излишества» предыдущей, досоветской эпохи)... а мы уже тут ходим без неё, в Тебя заселившую нас.

нет там, за Трубной, дОма этого исконного, постоянного магнита. она в холоде морга, а тут по улицам разливается солнце это, предвещающее внешнее время, в котором мы продолжаем шагать, её потомки. мимо тех же Твоих зданий и мимо только места уже разрушенного на Неглинной, за Пассажем — тоже её ровесник, скорее всего, был дом.

17.03.04. «Николы в Кузьминках» храм называется, но он не в Кузьминках, а на Пятницкой, за магазином «Радиотехника», куда я из редакции каждую неделю зимой и весной 2002-го ходил или ездил на трамвае за картриджами. здесь отпевание Натальи Михайловны Нестеровой, дочери художника, бабушкиной близкой до самых последних лет подруги, — високосный год начал своё дело с поколения наших дореволюционных уроженок, поколения долгожителей. матёрая крышка гроба (её) с православным крестом — дерево на дереве тёмном. как обычно, торг церковными книжицами и атрибутами — у стены, ближе к входу.

поют. работа их такая, церковников, — прощание с жизнью всю жизнь.

как это унижительно, если задуматься. какое-то действие над останками человека, ритуал, голосёнки эти мелодичные. некрофилия глобального масштаба — церковь. в момент испуга человека перед потерей Реальности — вклиниться со знанием якобы этого дела, с культом своим, и петь-отпевать, этим добра наживать. но не бизнес тут причина.

причина — страх. и надстройка на нём — религия. спрос тёмных масс. страх перед исчезновением. и вот — поют, подпевают, глядят на евангелические сцены, что на алтарном иконостасе, по бокам, за стёклами (зацелованными?).

поп говорит: «Наталья Михайловна совершенствовала свою душу... (и тут же, как доказательство —) регулярно причащалась, посещала...» попы моментально сделали из неё молельщицу, которой она никогда не была, просто следуя определенным семейным традициям. и даже тут бюрократия, короче говоря.

(Горький, увидев её на картине «Девушка у пруда», сказал обратное: «Такая в монастырь не пойдёт». и верно, как она рассказывала, в момент позирования отцу, она думала о своём любимом, который всё не приезжал к ней, ждала и уже гневалась.)

да и что это за «совершенствование»? ежели душа бессмертна, то она и совершенна должна быть раз навсегда: нет ни возраста, ни тем более «ай кью». смех и грех. первое есть, второго — нет. если способен на первое, на высмеивание подобных ляпсусов церковных, то второе — только слово. грех — это принятие понятия «грех». да и слово отвратительное, чвохающее. глинистое и с немыторотым придыхом.

поют «упокой души раб твоих». пардон, так они же бессмертны? зачем же их упокаивать? им жить полагается там, в вышнем мире. упокаивать тело надобно. причём не Господь это делает, а здешние, сильные. смотрю на фигуру крепкого мужика, закинувшего сумку за спину и циклично кланяющегося, крестьящегося. ну что это? перед чем гнёшься, перед чем делаешь жесты? перед алтарём, попами? или перед собственным страхом — лежать там и быть отпеваемым?

люди, прихожане, попы: был ли для вас век двадцатый, социалистический? век индустрии, культурного роста, международных фестивалей — куда он сгинул, откуда пролезла в действительность вся эта церковная тьма? никаких завоеваний революции — одна анафема как печать (божественно-бюрократическая) на её вековом движении. и вновь сонмы этих — жаждущих лишь отпущения грехов, жизни загробно-вечной. то есть — небытия. небытия благостного, картиночного, иконостасного, под такие мелодичные хоровые рулады. а не жизни реально-вечной, земной и вселенной. своей, с бесчисленными ощущениями, познанием всё новых истин — этой жизни они хоть малейшую возможность предполагают за всей этой некрофилией? или все они, как в мясорубке thewall'овской, собираются пройти свой путь земной до этого рубежа с отпеванием и распасться на микроэлементы (с надеждой, правда, что отпечаток их личности в виде души воспарит в вечность)?

если да — то их «анафемы» в адрес революции закономерны. это страх заведомых мертвецов перед возможной вечной жизнью. это тьма либо откровенного религиозного дурмана, либо обывательского идеализма, которая отрицает свет науки и революции, совершаемой не божьим велением, а волей масс, волей не рабов божьих, а хозяев своих жизней. хозяев таких, что не хотят отдавать своего этой бездне, украшенной алтарями и песенками про «упокой».

революция коммунистическая должна решить главный для человечества вопрос — отодвинуть порог небытия как можно дальше. чем дальше шагнёт наука о бессмертии (ныне прикормленная лишь Дерипаской в своих целях), тем дальше отступит религия.

но вот отпели. стоять так — щемит сердце. понимаю, почему бабушке в детстве плохо становилось на службах. гарь свечек и ладан — удушье плавное. и к чему все эти архитектурные нагромождения ввысь — невидимых изображений обязательнозанимбованных святых? впрочем, атеисту не понять. а, вон Иисус на кресте на самой вершине алтаря.

сами попы, особенно молодые, — забавны. бородки маленькие, повадки хозяйски-домашние. культ отпращивают, ходят широко ступая меж отпевал и подпевал из прихожан, как среди овец пастухи или собаки. хористки рты открывают богобоязненно, дабы душу не вытянуло сквозняком отпевания душ усопших. так деловито общаются с божественной и загробной сферами попики... заходят за алтарные врата, забыв притворить дверцы-икону. или проходят там быстро, бытовО и выходят с другой стороны. видны за алтарём разноцветные (синяя, красная, зелёная) лампадки, они должны создавать у прихожан впечатление волшебности и разнообразности, им недоступной. тамошняя икона большая — невидима почти, темна, как большинство по сю сторону находящихся. и все эти пухлые витые железяки... понимаю комиссаров, сгребавших этот металлолом ради войны или продовольствия в кучу и продававших за границе. всю эту атрибутику кульга нереальности нужно выменять хоть на толику реального.

нет, пока у человека есть свобода мыслить, перемещаться — нужно бежать от этой напыщенной некрофилии. но бежать не в страхе, а целенаправленно — к бессмертию. чтобы другие поколения с горя и от безысходности не впадали в этот фатализм и веру в загробную жизнь.

но вот все поцеловали столетнюю старушку во гробе. важно ли это ей? нет, это важно живым, ритуал. но зачем он такой? всё должно быть иначе. уж если исчезать, то есть расставаться с высокоорганизованной своей материей, то тут требуется совсем другая обстановка. её ещё придумать надо... Артюр Рембо: «любовь ещё надо придумать». так же — и аннигиляцию.

автобусы «Ритуала» — расталкивая суетные машинки на Новокузнецкой и на Пятницкой — к центру, по Калининскому, мимо Белого дома к Ваганьковскому везут нас в грустном, загазованном, закрытом по обычаю занавесочками (сквозь которые я всё же выглядываю) салоне.

по весеннему снегольду шагаю, провожая в землю Н. М., по Ваганьковскому кладбищу, мимо аляповатой златосияющей могилы с ангелом, братцем музы Шилова — морожу те самые пятки, которые она у меня много лет назад, у тогда недавнорожденного, целовала в Абрамцеве, приговаривая «еще не хоженные». румяно-кожаные: вот теперь почти тридцать лет уж хоженные и в правом протекающем гриндере даже мокнущие. довезли гроб до участка, положат его на гроб её мужа Фёдора Сергеевича Булгакова (сына религиозного философа С. Н. Булгакова), места хватит.

долго говорили музейные и родные. потом ребята из «Ритуала» умело подняли тяжёлый добротный гроб — поставили на головы и, ювелирно обходя змейкой изгороди могил, понесли к месту захоронения. и снова попоют попы и черницы, поморозят люд. цветы жестоко обрубает лопатой, сооружают пе-

сочный холмик. это и есть «упокой» реальный — лежать под холмом песка в этом размокающем по сезонам дереве и проваливаться с ним вместе вниз, разваливаться, терять облик, опадать.

по льду, по снегу — назад к тёплым автобусам. живым — жить! и греться шагами. вот могила, видимо, отца Высоцкого, рядом с артистом Ивашовым.

путь в автобусах с кладбища — по колдобинам Большой Декабрьской улицы (прощание с зимой) и по бульвару от метро «Улица 1905 года». целый ларёк тут, посвященный Высотскому. остановились и посадили своего от могилы Фёдора Сергеевича и Натальи Михайловны попутчика — подвести к метро. шофер ГУП «Ритуал» спешит — чуть его закрываемой дверью не прищемил. сколько тут уже понастроили: нет былых скромно наискось белевших хрущёб, осталась только посеревшая восьмизэтажка, которая ближе к метро. Стройлужкомплекс не стоит. новые типовые дома желтокирпичные и с подобием мансард при многоподъездности. заселили сюда хрущёбных жильцов или уже только новых, по новым ценам? удобства рядом...

по набережной и новым эстакадам выгадываем путь к Кутузовскому. красавцы-дома сталинские, гордые в своём неоклассицизме завоевания социализма, которые мне словно откровение увиделись за Москвой-рекой весной в 1997-м (когда приближался к Тебе от Самокатных или Шмитовских проездов, что ли) — теперь на скорости приближения по автомосту видятся. тогда на мост железнодорожный не был даже впущен охранником, который включил сирену и залаял собаку.

хитро вынырнули на Кутузовский и моментально доехали до Дорогомиловской к жёлтому длинному дому. как и во всех домах, стоящих на многомашиных магистралях дверь наружная закрыта, вход со двора.

дОма у Нестеровых — монашки, впускают. дверь как-то бесхозно, печально открыта (понятно: необходимость, чтобы не звонили все, постепенно поднимающиеся). но запах здесь не траура, а жизни: свежими огурцами и другими весенними уликами подготовки стола. весёлая Наталья Михайловна именно этот запах одобрила бы. жизнь и весна — оказавшаяся вне этого пасмурного и печального дня — пусть входит хоть вкусом. и глядит карим, не без заинтересованности, с накопившейся тягой к мужскому, взглядом одной из монашек, самой младшей из них, брюнетки: в коридоре, пока несёт незамысловатые блюда к столу, за столом внимание, сохраняя молчание. подумала она, из-за моих битловско-рамоновских волос, наверное, что я не родственник, не знакомый, а знакомый молодой художник — проговорила её наставница об уточнениях подопечной, приглашая нас снова в этот дом.

но монашки начинают стол традиционно-траурно (правильно сбивают аппетитом пробужденную жизнерадостность) со скуфьи и холодных бескровно-старческих блинов. особо подчёркивают черницы, что скуфья стояла рядом с покойницей во все время отпевания... рис, изюм, блин ножиком режу.

дом, далёкий, с одиноким там нашим котиком, именно сейчас ощущается опустевшим. зовущим этой пустотой, без бабушки. её поколение ровесников двадцатого века уходит — жизнерадостных, сильных, видевших и знавших всех основных действующих лиц века. переселяются они теперь в мемуарные тексты

и в памяти поминающих их сегодня. и сюда, в эти буквы, стучащие радреаловой кавалерией вдогонку своей Реальности.

сон историка 17.02.04. Лёхе Кожевникову, «Нашему современнику» я пригрезился. вот каким образом — по телефонному пересказу.

Иерусалим, жаркий вечер, еврейская белоодетая аудитория (раввины?) расположилась внизу склона, на котором оратор — я, римский посланник. в то-ге, поверх которой комиссарская кожанка (кстати, любимая верхняя одежда Лёхи). говорю настойчиво, утвердительно жестикую, слова такие: «Надо работать, неуклонно работать! и тогда идеи Карла Маркса заново осветят строительство нашей римской советской республики!»

кто-то из слушающих, некий старейшина-равве говорит: «Уже поздно, товарищ, — устали, пора бы разойтись, людям надо помолиться». в ответ — моё яростное «тьфу!»: «Я о революции толкую, а вам бы всё молиться!...»

децентрация: весна вырывает меня, Столица, из Твоей круговерти недель и колец, и часового вращения — выталкивает за пределы этого центробежного притяжения по партийному заданию. вот шагаю по Петровке, как мы с тобой тогда-то: шагаю, чтобы около Большого театра сесть в машину и рвануть в блицкриг по восьми городам, как было сказано на планёрке по новому месту работы — в Молодёжном левом фронте. план гигантский, названия городов пока не укладываются вместе, не выстраиваются. а уже девятый час, девять почти.

звонок Кости Бакулева, интеллигентного, турецковатого, с философской степенью моего теперь сотрудника, застаёт перешедшим Дмитровский переулок и глянувшим на рекламный щит над: там они всегда на тему «хэппи фэмили», ножки жоны идилической буржуазной чёрно-белой семейки burberry на пленёре архиаппетитны, такие ненавязчивые, но глянцеви́тостью и линиями просящие обрисовывающего их язычка.

— Ты где сейчас?

— В общем, иду... к ЦУМу подхожу уже.

— Мы ждём тебя у входа в «Театральную», на стоянке у Большого театра, увидишь.

хитро обобщил: на самом-то деле я ещё на уровне Пассажа.

надобность. нужен. Нашему делу: повезу с собой книги своей Поэмы-инструкции и диски-четырёхпесенники «Эшелона». иду со своим мягкостенным дипломатом на ляпочке — усовершенствованный, более респектный тип, производный от чёрных матерчатых сумок через плечо, этих клонов девяностых.

все эти пешеходики по Кузнецкому мосту... заполнившее устье Кузнецкого Моста стойбище брюхатых джипов на месте дореволюционного сквера, который самостийный землевладелец всем назло выращивал на глазах у этих подпирающих угловой филиал ЦУМа младенцев. но всё это, когда-то нами с тобой так внимательно зрительно вбиравшееся, вдыхавшееся почти ежевечерне — ми-

мо, мимо теперь. партийная задача. ехать и будить в регионах люд тремя словами: Молодёжный левый фронт.

Илью не заметил в поисках серебристого корпуса Лёниной, кузеновой «тойоты». весёлые мои сотрудники вон — видны и машут ручками. а вот конкретизуется и Илья — это человек, идущий туда же передо мной и говорящий по сотовому: им мог бы оказаться любой из здешних, вида он вполне респектабельного, хоть мой ровесник, но по окладистой бороде опознаваем даже сзади. сажусь третьим на заднее сиденье, закидываю пожиток за сиденье. вперёд.

Ты не отпускаешь: мутят сомнениями «ехать ли?» раскачка и подтормаживания, автомобильная, рессорная прорисовка Твоих дорожных подробностей в местах, где обычно я пеший зритель — теперь на скорости они и веселы и тревожны. пролетаем Старую площадь в уточнении — кто же писал письмо Ходорковского? Китайгородская стена. Илья здесь наиболее осведомлён, конечно, насчёт письма:

— Я знаю его стиль, думаю, эмбэха мог сам написать всё письмо или его основные части. Скорее — он всё же сам писал.

центр отпустил к Тебе-реке и вдоль неё разогнались, но тут же притягивает, вытягивает влево высотка Котельнической — взглядом пробег по торжественному бордовому фасаду и его возвышенным революционным барельефам. летим вдоль Яузы, там я после владимирских гастролей рок-коммуны догуливал инерцию пути, «Системовэдаун» помогал, напевал. вечереет, ступается. вот и мост Электрозаводской. проныриваем как раз теми коридорами — мимо ДК Электrozавода с колоннадой где Ильич выступал несколько раз — где мы начинали с тобой бродить, взаимно любясь, мокрые — уже не девочка и не женщина, и не моя — мамка не моего ребёнка. девочки, небось (будь с ней ласкова и счастлива воспитанием. хоть ты и другая, нелюбованная, не моя теперь.)

резкие Леонидаса удары по педалям актуализируют мысль — автоезде или загазованность или всё вместе в Тебе переносу ужасно, притащивать начинает, мутит. но выезжаем неумолимо к Преображенке. её пролетаем и останавливаемся, чтобы купить напитков. вот тут-то и думаю: а не лучше ли поездом. но нет: с напитками, заброшенными куда-то опять назад, заныряваем в «Макавто», покупаем много бигмаков и роялей и уезжаем. возле Лёниного дома, что за вздыбленным, локтистым «Локомотивом» стадионом — вылезаю, дышу и заглатываю без особого желания бигмак — во исполнение заповеди пилотов. её же и рассказываю покуривающей рядом Лиле. в полёт можно идти только с наполненным желудком, иначе — смутит. Лёня выносит одеяло, организует мне заднее, отдельное, пятое сиденье позади всех — и поехали. зачем машине пятый пассажир?

вырваться из Твоих дорожных кольцевых объятий, оторваться от Твоего притяжения центрального, заречного — практически невозможно. сила тяги центра действует то ли на вестибулярный, то ли на животнотряное. чувствую себя ужасно, мысль всё время: попроситься высадиться, ибо езду такую не вынесу. муки космонавтов переносу, вероятно. потеет и пыжится холёный столичный орга-

низм, привыкший ходить, перемещаться медленно, к режиму регулярности, постепенности и прочему постоянству. дышать глубоко, молчать. колесим, постоянно поворачивая, ищем выезд на Ярославку: первый пункт, куда едем — Ярославль.

когда мне утвердительно отвечают, что мы давно уже едем по Ярославке — понимаю, что путь к отступлению закрыт. сотрудница по части пресс-секретариата Лиля ужасается моим бледным видом. терплю. посасываю данный ей фруктовый «Ментос».

а ты как думал, товарищЧ? думал, запросто тебя Столица выпустит из годового привычия? что легко будет с идейками своими мятежными — там, внутри Садового кольца, хаживать? вот поезжай-ка в города малые, дальние — и там говори, выговаривай. а партизанам легко ли, колумбийским, например, а Че Геваре? они вообще должны уметь водить автомобили и прочие средства передвижения на безжалостной для себя скорости. и уж думать о том, что мутит ли — некогда. если борьба началась. так что терпи и напевай только сегодня писанную, до конца недописанную песню «Эшелона»: «Сквозь сомненья и муки». а это разве муки? а пытаются когда часами?

всякое размышление такое помогает. и ночь забирает нас, заглатывает шумным, колёсно льющимся, продувающим снизу шоссе, отпускает центр, Ты, Столица, остающаяся именем только на синих указателях и в кодах трасс. и мир реальный, Реальность пахнет не домашними покоем — а бензином, выхлопами, дорожной едкой пылью, соляжкой, всеми этими ферментами шоссе, которые и соединяют обособленные городские оазисы тёплых аутичных уютов. децентрация!

время к двенадцати, а от Ярославля мы всё ещё далеки. с мольбой гляжу на указатели. всё ещё не Сергиев Посад (где ты там, позади, моя ещё холодная запертая дачка?). мы его как-то хитро объехали.

мы ушли из-под контроля. в этой ночи вырвались из Столицы и понеслись со своим млефом в регионы. даёшь Ярославль! организм — смирись! организм революционера подчиняется необходимости. и пусть эта дорога всё хуже. даже «Кино» тут поможет «Башатунмаем» нелепым, играющим в салоне. постепенно ослабляю контроль над внутренностью и заговариваю. становится веселей. а дорога всё Уже и хуже. низкая, толстая Луна подглядывает за нашим лётом по волнистому шоссе из-под выжелченных ею облаков, Луна недобрая, большая, над силуэтными лесами и ангарами.

перед городом — нефтеполис некий. издали — иллюзия Москвы, много кругленьких, добрых огоньков (как на советских плакатах индустриальных), вырастающих из ночи словно на высотках, на шпилях. другая Котельническая словно бы там, слева вдали... вот единственное ядро здешней да и вездешней эрэфной экономики — нефтяные заводы, перегоняют природное сырьё в топливо для такой, как наша, вот автоезды повсеместной. Славнефть, Лукойл, ТНК и другие двигатели путинской стабилизации. Ярославль выявляется позже ожидаемого, но, пролетев во тьме Волгу, — понимаем, что уже на месте. и веселей мне ещё от того, что перестало подмучивать. едва белёсящий сквозь тьму плоский Кремль виден за заливом, за мостом. проспект, однако. Макдональдс справа освещённый, боль-

шой и пустой в ночи, с глупенькой отделкой ромбами, знак нынешней цивилизации: вот и мы везём про запас несколько роялей и бигмаков. как ни странно, один из них помог мне перенести трясоезду, приноровиться.

в домах ещё горят окна, люди тут смотрят телевизоры, греются в комфортах — а как мы устроимся? приземляемся вправо к какому-то дому, спрашиваем таксистов, где тут гостиница «Котросль». колесим вдоль трамвайных рельс, вполне железнодорожно выпирающих из остальной дороги. ездим взад-вперёд, выясняем местоположение гостиницы у сомнительных типов. тип с бутылкой пива в руках (когда мы пролетали вперёд, стоявший, главу уронивший на прилавок у ларька) попросил, по возвращении к нему как к справочному бюро, за информацию полтинник. финмотивация и тут работает. нашли «Котросль», смешно повертевшись посреди дороги, дивя последний автобус. дело к часу ночи.

холод на улице жестокий. проходим в гостиницу мимо, видимо, путан не-претенциозного вида. хитрая аминистраторша во-первых говорит, что брони нет, во-вторых, что мест нет, что ждут консилиум врачей. как в кино. но здесь ещё один трюк: звонок по нашей просьбе в некую гостиницу, где есть места, но нет отопления. тонкий ход. после этого — предложение номеров по две тысячи за ночь. и только до утра. останавливаемся на двух дорогих и одном дешёвом на троих. пока идут переговоры, компания из трёх мужиков и двух путан снимает два номера и удаляется наверх. вот как надо: познакомиться где-нибудь в ярославском казино, помиловаться у входа (видел, пока бегал в машину за дипломатом) и — в номер, взаимопознавательно сотрясать его в ночи. но не наша сие доля: отоспаться после самого забойного, жёсткого и адаптационного к тряске переезда необходимо. и согреться. едем в модном лифте на шестой. пахнет коридор гостинично, старомодно. залезаем в номер. простыни синие. падаю первый, засыпаю, пока Лёня с Костей пьют чай. Костя отечески гасит свет надо мной. поблагодарить уже губы не в силах — в сон опускаться, вперёд марш!

будили в просветившемся утре: проезд первого трамвая, будто прибытие того кинематографического паравоза, и попыхчивания проснувшегося Леонида. он — такой же: наполеоновским манером натягивает на уши подушку и спит. тоже чуток к шуму. и не храпит, что замечательно в нашем случае, ещё поночуем в таком же составе. собирающийся мыться в модном душе Костя утверждает, что завтрак входит в стоимость номера. идём, сговорившись с Лилей, вниз завтракать. девяносто рублей завтрак. но — садимся и ждём. завтрак богат, почти обед. и хорошо кофей идёт со сливками. плюс омлет, бутерброды колбасные, сырные и свининка с кетчупом да рисом. шучу на мусульманскую тему. Лиле неприятно: отец мусульманин. так вот её происхождение. её больших восточных глаз.

возврат и сбор вещей, на лифте вниз. действительно какой-то тут консилиум врачей кучкуется, регистрируется, чемоданчики зарубежные... и мы внизу собрались. едем на квартиру некую, на улицу Орджоникидзе. конспиративная квартира партийцев, № 17.

стенная роспись по пути — энбэпэшная: «выборы — отстой!». по солнечным незнакомым улицам выезжаем из центра и закатываемся в спальный район. пока ещё спящий. здесь живут те же думы, те же звуки, что и в московских спальных районах: на стенах «Алиса», «Кино», «ГрОб»...

на дверях подъездов одинаковые надписи «Высоцкий». кандидат? оборванная рекламка Инет-клуба на подъезде, у которого ожидаем. ждём долго, пока ждём — понимаем, что город едва проснулся. напротив нас через улицу магазин с нелепым названием «Домостроитель». ну, уж если есть в Москве сеть магазинов с названием еще более непосредственным «Домострой» — то почему бы не быть в Ярославле «Домостроителю»? вполне по Постэпохе названьице.

знания непростой Лёниной молодости помогают нам войти в подъезд, откуда пока никаких ответов не получали телефонных — он легко подобрал код. наклейка КПРФ на общем зелёном газетном ящике утверждает в мысли, что мы идём по адресу. дверь квартиры 17 железная, обитая серым дерматином. звоним. долго нет реакции, потом слышен женский голос, дверь открыла тётя средних лет в домашнем. Лёня никак не может объяснить, кто мы. появился и муж, видимо. на слова «КПРФ» и «Молодёжный левый фронт» нет реакции. на фамилию Воробьёв — контакт есть. но — не ждали. смеёмся, шутим и уходим. созваниваемся заново: оказывается, нас ждут не тут, а в университете, на нынешнем юрфаке. квартира возникла совершенно случайно, из боковых источников. дошучиваю, пока загружаемся в машину: судя по наклейке, здесь не одна такая квартира, жители которой знают фамилию Воробьёв и члены КПРФ.

здесь очаровывает твёрдость партийных позиций. подъехали, видим стоящую у дверей небольшого, но с колоннадой, сталинского здания универа молодёжь. проходим мимо книжного киоска внутрь и, сразу, через широкую центральную, похожую на балльный зал с классической колоннадой пятидесятых, но темноватую площадку — туда, куда указывает бумажка, в обком КПРФ. но оттуда возвращаемся назад и направо в коридор, где ещё одна комната партии. рассаживаемся за столом: троцкист из СоцСопра напротив двух немолодых нацболов, два эскамэовца и мы плюс тот самый Воробьёв — по убеждениям нацболам не уступит, как выяснилось из первого же его повышенно тонального монолога:

— Я не вижу в документах МЛФ ни слова об униженном, государствообразующем русском народе...

как ни смешно, но предлагаемый тезис Воробьёва полностью вливается в недавно рождённую на пленуме ЦК СКМ в Горках «жуковщину»: не назваться ли лучше левопатриотическим молодёжным фронтом? беседа из конструктивного русла — об организации акций и содружестве — переходит в спор продвинутого, судя по причёске, троцкиста с престарелыми нацболами. тот из них, который является помимо активности в местном НБП соучредителем ярославского отделения «Либеральной России», вахлячного вида седой толстячок, бывший директор рынка, бросает внезапно и с отеческой снисходительной интонацией троцкисту:

— Ну, вы хоть подстригитесь, тогда мы с вами и пойдём вместе.

юный троцкист, с носовыми бодро-задумчивыми интонациями Будрайтскиса, парирует это предложением к нацболам — обрасти. второй нацбол, мо- ложе директора рынка, на мою шутку о невлиании в МЛФ элементов, интер- претирующих происходящее как «пришествие Сатаны», реагирует серьезно и утвердительно: мол, да это и есть пришествие Сатаны, это он как христианин свидетельствует. вот они где, всходы прохановщины-то обнаружились. и этих тараканов морить нам придётся не раз. выходим с троцкистом поговорить, он — покурить. взволнованный охранник направляет нас в туалет, так как в коридоре дымить не комильфо. мимо по лестницам ходят элитарнозадые девушки с со- блазным пузно-попным просветом между джинсами и кофтялями, и уж совсем необъятные, как братья похожие, жизнерадостные, перекатывающиеся в непре- рывном веселье своём классово обусловленном, парни-жирдяи. троцкист ком- ментирует: это элитный факультет, тут на юристов учатся дети советско-постсо- ветской элиты, дети подсосавшихся к местным нефтяным магнатам чинуш.

уходя, замечаем стенд, характерный для такого удаления от Москвы, по- священный гражданской обороне. но понять юмористичность и метафориче- ски воспринять стенд-объект местные студиозища вряд ли могут: они ГО не слу- шают, судя по сексапильным, роскошным в пределах повальной вестернизации прикидам, да и не того классового они происхождения, чтобы интересоваться ГО. как здесь обком КППРФ держится — загадка. старый админресурс? и зная, так недвусмысленно прикреплённое к стене, стояло в комнате наших переговоров. медленно, перипатетично выходим из здания. Ярослав из Ярославля переда- ет со мной привет вокалисту «Эшелона» Баранову, с которым сидел в Красно- сельском ОВД после Антикапа-2002. перед загрузкой в машину вручаю диск наш комсомолке, как она представилась — нашей поклоннице, которая досель всё молчала, видимо, потому, что опоздала на встречу.

встреча с двумя яблочницами после короткого извилистого маршрута по центру с выборочным наблюдением мною нереставрированного (со старыми ра- мами, колоннами оград и дверьми) архитектурного сталинизма — скучная и сен- тиментальная. говорит самая старшая по званию и возрасту — минимально двигая верхней губой, словно схиму на неё наложив: в результате получается полное сход- ство с речью Явлинского, даже в интонациях. но ещё она окает, местный кОлОрит, уже близость Волги сказывается. лицом и среднеобильными формами она — именно яблоко, слегка подпечённое, но не лишившееся привлекательности.

судя по грусти в словах её, полная идейная капитуляция «Яблока», преобла- дание теперь ностальгических настроений (социальная защищённость в СССР, которую признал и подоспевший к нам местный восточноликий юрист «Ябло- ка») — благодатная почва для сотрудничества с МЛФ. расстаёмся друзьями, очаро- вав комсомольско-значкастой молодостью и без какого-то планирования быстро сорвавшейся у меня с уст фразой «Единым фронтом — против „Единой России“».

начинается подпольная жизнь гастролирующих баламутов. спускаемся в ресторацию, где нужно быстро поесть, что по определению сложно. рестора- бельный, скупо освещённый подвал. эстетика умеренной сиреневой кислотно-

сти. ведь и тут же процветает эта контра, этот класс — раз такие роскошноватые заведения в подвалах сырых домишек, в торговых рядах обитают. гардеробщица читает книгу и за моей кожанкой не спешит — вот правильная классовая позиция. всю жизнь читательница. и посетители ресторана уж подождут, кто бы они ни были. вряд ли догадывается — кто.

вторая за день порция свинины в великий пост — назло богобоязненным спутникам. запиваем дружно жидким апельсиновым соком, обсуждая проблему вымаривания нашим рейдом идеологических прохано-тараканов. выводы: меньше спорить, больше ориентировать на сотрудничество. попутно при этом втемняшивать в оправевшие за девяностые умы советский тип патриотизма и пролетарский интернационализм, чтоб всем тараканам неладно было, быдлу.

путь в Кострому — не близок, не далёк. улетаем из Ярославля тем же проспектом, мимо того же МақДака.

попутно дышим лесом. ещё в полях сереет снег. но свет — весенний, особенно тени чёрно-голубые между деревьями. летим, ныряем по дорогам. обгоняем тяжеловозы, трейлеры и местный личный автотранспорт. притормаживаем законопослушно у постов ДПС. посты снабжены повсеместно изящными дотами — узкая цилиндрическая будка с тонкой длинной прорезью, как в рыцарском шлеме, для ведения огня отшель. видно, это новшество появилось тогда, когда ждали чеченский блицкриг, который те пророчили на первых порах первой Чеченской войны — поехали бы во главе с Басаевым Москву брать, ан тут-то их из дота придорожного... вообще, по нынешним временам вещь-то нужная — мало ли кто по дорогам россиянкам ездит. а если не остановится? а если БМП с пехотой на броне вместо очередного трейлера? реалии постсоветИк периода. как яростно юродски гадал Егор Летов в одной песенке 1989-го года: «Мир или война, мир или война, мир или война, мир или война? — Война!».

когда солнце, так добро сопровождавшее нас в углублении нашем в поля, леса и балки, переключилось через полдень — проехав старые умеренные, обшарпанные и милые дома низенькие, переехав через мост над Волгой, где на льдах вовсю удят, въезжаем в Кострому. памятник Ивану Сусанину тут. неподалёку Ленин. Сусанин тоже в тридцатых годах поставлен, ради сращения с перекопанной революцией исторической почвой социализма в отдельно взятом государстве и старорусском городе.

пройдя чуть по солнцу, попадаем в административное сталинское здание и лезем по лестнице вверх, наблюдая щедрую несимволическую лепнину. попали на собрание некоей общественной организации, противостоящей буржуазеющей администрации города. последняя вознамерилась, уже заблаговременно спилив в центре города старинные деревья, подвинуть или вовсе изгнать памятники Сусанину и Ленину. на месте оном — четыре торговых павильона да построить чтоб. это та самая площадь обсуждается, которую мы прошмыгнули по пути сюда, обратив по автоматизму больше внимания на рекламы (и тут они есть!). «Исторический центр Сковородки» — так называется место. речи выступающих в переполненной комнате явно провоцируют в нас, уже разогретых по-

литическим азартом дискуссии в Ярославле — встрять. говорят верно — кроме человека, самого тяжелощёкого и испуганного, который от администрации раз. он успокаивает пожилую общественность: уверяет, что на памятник Ленину никто не посягает, да и Сусанина не тронут, а павильона планируют лишь два. да и сам он на должности своей лишь два месяца. шучу по этому поводу тихо, в сторону наших: судя по щекам и их густому окрасу — лет двадцать.

метод речения костромского бюрократа испытанный: прощупать возможный зазор конформизма, а потом задвинуть общественность в угол по полной амплитуде. но старики не сдаются. весело и грубовато отвечают по поводу мотивировок администрации в защиту спиленного дерева буржуа: «А на кой нам ваши коммерческие интересы?».

шучу в ухо Леонидасу: предлагаю поставить вопрос о сносе здания городской администрации. Лёня пересказывает хохму телеоператору, стоящему от нас поодаль. другой, очкастый представитель администрации города вышел из словесной баньки и даёт интервью наконец его дождавшемуся оператору и девушке-ведущей, местному РТР, поднявшись от нашей подозрительной кучки молодёжи выше на лестничный пролёт.

по окончании прений — входим, и оказывается, что большинство сидевших там — красные, наши, остались. молодых — два человека. скино-дегенеративного вида нацбол и аристократичный крупный светловолосый юноша, политехнолог, которому я зачем-то дарю в заключение беседы наш диск.

мы с Лёней выходим первыми, стоим у машины и, реагируя на проходящих мимо нас трёх девушек, Лёня не может не сказать, да просто вырывается из него зов природы: «Остаюсь!». девушки, похихикавшие проходя, скоро идут обратно, и тут уж кузен Леонидас их не пропускает мимо. поодаль от меня, доглатывающего содержимое кока-кольной бутылки, завязывает беседу с двумя восточного вида чаровницами, модно одетыми, и одной постройней и порусей. я, как объект малый, медленно притягиваюсь к энергетическому, жизнерадостному скоплению.

— А вот бас-гитарист группы... поэт...

«И его бас-гитара» — добавляю я, но уже идут все наши остальные. девушки, не без пирсинга на личиках, только успевают сказать, что мы молодцы. уезжая обратно к Сковородке, Лёня машет трём девицам-чаровницам. теперь путь — в Иваново, которое по моим представлениям должно быть недалеко от Ярославля, но оказывается вовсе не там.

да, родина, земля моя, из-под снегов выглядывающая — начинаю тебя видеть. ветхие вековые, вне эпох и технических признаков деревни. церкви отреставрированы завидно — по сравнению с убожеством домишек. отдельные хутора в полях — домов пять. кто там живёт. на что там живут?

путь в Иваново нам лежит через Шую. там — встреча с Тихоновым, с нашим красным губернатором. Шуя — откуда княжеский род. всё петляем, грызём неровности дороги на широком обозрении солнца, бензоколонок ТНК, Сибнефти и хмурых отдалённых лесов. где ж ты, Шуя? ни Шуя...

вот так шутя, прыгая колёсно по дороге и уже недюже опаздывая к губернатору, мы рядом с очередной церковью, зажевали шину. Илья и Лёня поменяли колесо на запасное моментально — прямо как в «Формуле-1». размышляя, где бы пристроиться, так и не успел. на бутылочках кока-кольных, накопившихся в салоне «Тойоты», рекламируется моя модель «Алкатэля».

по пути в Шую, уже близко к ней, въехали в удивительный какой-то посёлок, в котором древнейших, крупных, каменных и заметно от веков стояния тут усталых церквей, вероятно, больше, чем домов. некоторые отреставрировано блестят — обнаруживая монастырские признаки вдали. необычное место, особенно в таком свете: в медлительном вечерении и лёгкой туманности. церковь после резкого поворота направо — вовсе не реставрировалась никогда. падающие кресты, сетчатые каркасные маковки, загибающаяся ограда, подстать погосту, обитающему близ.

ещё не выйдя из ощущения этого призрачного церковного захолустья, останавливаемся после вполне модерново отделанного (тут, в Шую!) старинного дома, спросить у группы парней, правильно ли едем. вот такая она, Россия молодая: по противоположной стороне идут девушки, по нашей парни, кучками по двое-трое — от дома к дому, от магазина к кинозалу или зданию бывшего клуба, к дискотеке, друг к другу в гости, с пивом и без... о чём думают, пока идут? как знакомятся? судя по голосу и акценту отвечавшего нам парня, мы заехали уже достаточно далеко от сферы языкового московского влияния. хмурые парни, руки в карманы: куда идут, зачем — неизвестно? просто двигаются. а что тут делать? на какие заработки тут жить? в автосервисе работать, строителем на реставрации церквей? ходят и пропивают родительские или бабушки-дедушкины деньги.

после очередного перелеска начинается Шуя, уже в закате, в ступающемся вечернем тумане. найти Камешковскую улицу не легко. проехали туда и обратно весь город. гипотезы: Тихонов по телефону плохо выговорил другое название «Московская» или «Мешковская», но первое вероятней. дома не крашенные с момента сотворения — есть и тридцатых трёх- и пятиэтажки, судя по углобалконам. с тех-то пор и не красили, видимо. вот он, цвет провинции — в вечерении, с сохранившимися советскими табличками, пунктом приема стеклопосуды, с афишками малоразборчивыми. на автобусных остановках кое-где красуются наклейки, надписи КППФ. но общая атмосфера — Лукоморья, так и стоящего нетронутым с советских времён. и всё тут так же, как у нас: коммерческие ларёчки врисовались в быт около кирпичных низкоэтажек, рекламки умеренно пестрят, молодёжь одета ярче и моднее восьмидесятых, но не по-столичному, не по-Твоему... бедные, а одеваться умеют: не ходить же как бабки, на чьи пенсии рынок посещаем. рынков несколько, Тихонов велел километр проехать после некоего рынка. но выбрать — который из них, небольших, является точкой отсчёта — никак не можем. догадались: надо напрямик спрашивать у шуйчан — где дом губернатора. спросили, вырвав опять за железнодорожную границу города. и первая же женщина направила верно — к коттеджам. потом ещё на центральной улице дедушка, похожий на Тихонова, окончательно, как к себе домой,

направил нас. шучу: это сам Тихонов и был, обходчик владений, серый и незаметный красный губернатор.

но вот нашли (ещё раз у мальчишек местных спросили) Вторую Камешковскую улицу. вторая она. дом Тихонова — да, в ряду коттеджей так называемых, но отнюдь не выделяющийся из них, даже скромнее некоторых, выходящих на шоссе. видимо, это дома местных чинуш и бизнесменчиков — так вместе и поселились, у губернатора под боком. на нас невнятно выглянули из окошка, но признаков охраны — нет. пока Илья с Костей пошли поговорить на высшем уровне — прохаживаемся по улице, где холодно-вато вечереет, вдали летит тяжёлый самолёт. приехала дочь Тихонова в меховом воротнике, бухгалтерский типаж — ладная боярыня на вид, при худом и сумрачном муже, подозрительно на нас поглядывающем, покуривающем. странные тут стандарты: фасад дома от забора лишь в метре, причём кирпичноколонный забор — часть дома. между домом и забором — бетонная дорожка, упирающаяся в гараж, который вырастает в дом справа. из-за забора следующего дома лает пёс, вот выглянул — морда чао-чао, но зад бульдожий. явно не собирается пустить дальше.

а земля тут чёренкая. хожу её гриндерАми квашу, весеннюю. улетает за околицами в оранжевый горизонт тяжёлый самолёт. далеко мы забрались от Тебя... запах в небесно-светлом ещё вечере — печной и слабо-весенний. посреди ответвляющейся вправо улицы — бывшая стиральная машина, пятидесятих годов, бежевобокая, цилиндровая, как у нас была. чем служит — загадка. табличка полированная есть, но прочесть сложно. «Вятка»?

встреча на высшем уровне закончилась, выезжаем. дома у губернатора так и стоит ёлка с Нового года — некогда убрать. теперь — до Иванова, не далёко.

влетаем в город уже в ночи, он большой оказался. находим центральную площадь и, объехав гигантский памятник, ждём проводника с весьма ивановской, текстильной фамилией Шелкопляс. оказалось — он в другом месте стоял, но уже рулит сюда. молодой, представительный. сразу же — в администрацию. там нас ждут, но поднимаемся в Комитет по делам молодежи при погашенном свете. зато на этаже — празднество, встречает нас полный и весёлый парень, Жубаркин Сергей:

— Мы тут немножко... празднуем.

Сергей навеселе и очень настаивает на сауне для дорогих гостей. дорогие гости мягко отказываются. слава администрации: сауны уже не работают, одиннадцать часов, однако. тогда нас и везёт всё тот же проводник из Комитета в гостиницу «Турист». на шестом этаже необузданное какое-то детское веселье — то ли спортивная команда, то ли ещё что-то: прыгают перекрикиваются вокруг телевизора дети уже подросткового возраста. забросив вещи в номера, посидев в нашем, послушав, как пьяный Жубаркин на память читает текст «Тайм-аута» про навоз, и нечаянно наезжает за очкастость на Костю, потом, успокоительно называя его каким-то там правильным пацаном — отправляемся в местный «Шешбеш», но долго ещё группируемся на улице, за время это Жубаркин успевает проматериться при нашей даме в знак признательности за предоставленную

сигарету и огонёк. вспоминает, как учился в школе этого района и дрался тут — и так, что «дай дорогу».

в «Шеш-беше» «Парламентом», который якобы молоком очищенный, отмечаем прибытие, Жубаркин признаётся ещё до присоединения к тосту, что «пьян как фортепьян» и чтобы друг его за всем следил. несколько раз разливает стопку, но её терпеливо наполняют. черемша, перчик, хачапури, умыкнутый у отсутственно колеблющегося справа Жубаркина и филейный шашлык скрашивают накат водки, которой не хотелось на сон грядущий, но компанию обидеть нельзя. тайная жизнь млефа, ресторанная. надо же: в Иванове тоже есть ночные ресторанные сидельщики, парень подкупающий какую-то укуренную девушку угощением. песня про Саддама, вылившаяся из фонового потока местного ресторанный саундтрека, оживляет наш стол. «Живет Садда-а-ам, цветёт Садда-а-ам». православный, постящийся Костя пытается наесться жареными баклажанами, капустой и прочими скоромностями. что-то вспомнили про некоего Вагана, комсомольца, вроде бы. и тост ему посвятили — «За Вагана!». на что я шепнул Лёне в ухо, он пролил чай со смеху: «.. и за Ваганьковское».

однако же в час ночи и «Шеш-беш» закрывается. напившись на посошок великолепного чаю с отчётливым, явно местными шешбешатами изобретённым, вкусом ладана, собираемся.

спать с водкой внутрих и после такого огненного застолья — не советую, огненный мотор бухает в ночи, лучше не обращать внимания, а то и сон улизнёт. утро оказалось мягким, светлым и приветливым, есть время на марафет. пора мыть запатлёвшие волосы, ожирившиеся, противные.

ванная тут с сиденьем и ступенькой, которая заполняется водой, утекающей медленно. медленно и подходит вода тёплая, на вкус железистая, не Твоя, надо минуты две подержать открытый кран. нигде с таким удовольствием и тщанием не мылся, даже дома. видимо, нужно возненавидеть грязные волосы именно в пути, чтобы так их захотеть обновить. шампунь — мятный «Головаиплечи», жгуче холодит темя. аж петть хочется. едва выбираюсь — Лёня вернулся позавтракав. вот тут таки дали талончики покушать на полтинник, Лёня превысил норму, но ради дюже бодрящего кофе стоило, говорит. тут и мой сотовый распелся мелодией звонка незнакомца(ки). Лёня кидает полотенце, выбегаю в импровизированной махровой набедренной повязке. звонит Лиля, зовёт завтракать. пока сушусь да собираюсь — в столовой её уж нет. набираю блюд точно на полтинник: чай с лимоном, морковь со сметаной и блинчики с мясом. какое там утро солнечное за окном! свет греющий падает ко мне на стол, досушиваю волосы.

поднимаюсь с четвертого обратно, говорю со стенами советскими: как вам стоит в другой-то эпохе? строили вас для комфорта советских граждан, а теперь вы — часть сервиса, ещё не переделанная под евростандарты. отделанные деревом по-шестидесятнически стены лестницы прямо пахнут столовым и коридорным гостиничным духом, будничным и тканевым. гостиница построена в шестидесятых, буклет сообщает. Иваново — родина Советов, 1905 год, Иваново-Вознесенск тот самый, по-дореволюционному. вдали влекут тенями и ярко-

стями стены, опускающиеся в переулки: желание пойти побродить нарастает. пишу Лиле СМС, но она в парикмахерской местной, а гулять уже нет времени: меня ждут, оказывается, все внизу. собираюсь и спускаюсь, ключи просто отдаю дежурной, проверять 617-й номер она не торопится.

на первом этаже деловая обстановка: Илья с ноутбуком, Лилию достригают рядом в открытом нашему обзору парикмахерском салоне. выхожу вслед за Лёней, направляется он к машине, а я подышать хоть ивановскими атмосферами.

невесть откуда появившийся зов Иваново плюс мысль о недавнем знакомстве с продолжающей тебя красавицей в Мытищах... воздух неЕстит, воздух здешний зовёт в солнечное утро весны — аж позабудешь и партийный долг. приятно в весеннем пересвете солнечном утреннем и в ветре чувствовать запах своих ещё не высохших волос. река там течёт внизу, мосты пешеходные, фабричные контуры — уйти так и хочется туда, за реку, к незнакомым сращениям домов, встретить из песенки ивановскую невестушку тут нечаянно, и увезти с собой... но — зовут уже: загружаться на своё пятое заднее сиденье, в родной беспорядок багажа, газет и одежд.

опять к центральной площади направились, проезжаем невнятные фабрики текстильные — невнятные из-за несоответствия старых гордых заглавий и присуседившихся табличек. проезжаем Химический университет: серпасто-молоткастый (тонкие линии серпа и молота, прям кэпээрэфные), сталинский, оптимистический. есть в Иваново на что поглазеть. и столько конструктивизма! наградила за революционный первейший подъём архитектура этот город, исток красного командира Фрунзе... но всего не пересмотришь, да и возможности такой нет (найти бы иваново-вознесенский ряд домов Голосова).

и вновь площадь, выгружаемся и заходим с торца в длиннющее с пунктирно-ленточными окнами конструктивистское здание, с цитатой и профилем Ленина на торце (из цитаты прыгает мне на готовые категории «воля пролетариата»). тут КПРФ и «Яблоко» сидят, да ещё и семенами да булками по пути везде на этажах торгуют. что-то в этом ильфо-петровское.

местное «Яблоко» — женственное и несчастное. стульев не хватило для стремительных гостей — пришлось нам с Костей по углам на стол засесть, демократично и открыто. симпатичная светлая девушка в очках, Ира — замужняя. но полновата внизу, вероятно — именно поэтому. «Яблоко» жалуется на ивановскую безработицу и бесправие, на закрытые для них партфинансирования и возможности трудоустроиться для оппозиционеров: спрашивают при приёме на работу — состоите ли в партиях? так Иринино мужа спрашивали. грустные тётушки. слушаешь их — и ярость благородная растёт. текстильную промышленность в Иваново практически уничтожили, жалкие остатки, делающие полотенца да ковры, — вот всё, что пока существует. «Единая Россия» поставила себе цель — сжить с места Тихонова и во всём винит его. при этом хотят в области строить деревообрабатывающую фабрику. то есть от индустрии — к продаже леса. вот для чего и новый кодекс лесной подойдёт вполне. австрийцы инвесторы. австрийская бумажка из наших да древес.

но мы и эту заводь грустную взбаламутили: дал волну «Резонанса», координаты по СВ, время моей передачи, пусть слушают, пусть воспрянут. идём теперь в обком КПРФ, что этажом ниже. и левее. коридор в здании — конца не видно. этажи и двери высокие. и паркет старый, запах такой его — передающий беспокойство первых революционных лет. дом ещё двадцатых годов постройки, наверное.

в обкоме, нарциссично заклеенном кэпээрэфными и Харитоновыми самоклейками, Жубаркина ещё нет. поправляю портрет Ленина, что висел криво на самом видном, первом встречном взгляду месте кабинета. ждём, оглядываем кабинет. тут же появляется в дверях полный и подвижный Жубаркин — ни в одном просветлённом зелёном глазу, весёлый и бодрый, как сам и заметил: «Ну вот, совсем другой человек». сопровождая нас вниз к машинам разными весёлыми историями, Сергей гордо поведал, что готовится в своём районе (а он глава района, города Родники с 35-тысячным населением) сдавать комсомольскую ГЭС и (!) строить деревообрабатывающую фабрику. вот взгляд с разных сторон. трудоустройство и инвестиции — но какой ценой? помимо этого рассказал нам фольклорное название центрального памятника, который и в гостиничном буклете на особом месте — «Поднимающий знамя». «Вставай, уже открыли», напротив памятника в 70–80-х был магазин вин — в этом высказывании и, грубо говоря, локусе вся история и трагедия СССР: непонимание, обывательская профанация фундаментальных образов революции. да и мы, детишки восьмидесятых, видели, воспринимали в памятниках этих скорее огромные пятки, пальцы ног, фрагменты. но величие их впечатляло, а смысл понимали позднее — как в гостиничном буклете семидесятых годов: свадьбы сюда приезжали, молодожёны клали цветы к гигантским железным ногам символов революции, лежащей в основании их страны. и пока это делалось (под ещё тихий поганный бубнёж алкодиссидентов, слушающих ночами «голоса») — страна жила, фабрики работали, молодожёны получали новые квартиры, где мы и рождались в тех семидесятых, которыми датирован буклет, оставшийся в гостинице. рабочий — тот раненый, который выпустил знамя из своих рук, если глядеть на него фронтально — напоминает Ленина в Мавзолее, тому способствует рука его, слабеющая, лёгкая, отпускающая. тот же, который знамя поднимает — вот рабочий шестидесятых годов, когда ставили памятник. ему бы не только знамя удержать, но и справиться с решением задач своей диктатуры в условиях перехода к постиндустрии... отваливающаяся плиточная отделка стелы за железной частью памятника — всё это едино стилем крепкого, но наружно ветшающего наследия последних десятилетий СССР: железный, хмурый, на подъёме — знамени и эмоций — рабочий. слава тебе. мы вернём тебе смысл. вернём — революцией. а магазина того напротив хоть и нет, зато пьяны горожане, не видят выхода, не понимают смысла разрушения градообразующих текстильных производств. и, только выбудив их из этого губельного бездумья, мы шагнём к победе — вот условие.

Жубаркин заводит нас по просьбе продвинутого и многих умных повсюду знающего его коллеги по администрации Константина — в административное здание. там — некий молодой экономист в собственном офисе. внимательно

слушает эксклюзивные прибаутки о местных делах судебных в сфере преследования политически неудобного бизнеса, которые разговорившийся по утру Жубаркин смачно излагает. и, наконец, отправляемся в жубаркинские Родники. по пути вниз из офиса многообещающего экономиста, наклеиваю на дверь офиса «ЕдРа» стикер Sixtynine с рекламой «Выживу — стану крепче», который вот-вот релизнУт в Москве — то-то гадать будут ивановские едрята.

вот так, всё двигаясь в строку, по линии — вижу Иваново и снова — лесами да полями. переезды разные, проезжая которые Жубаркин что-то весёлое рассказывает про отмаливание знакомым попом еды непостной. дело к обеду. всё чистыми отгаивающими в солнце полями, ныряя и выныривая по горкам временами ребристой, тряской дороги, встречая только бензозаправки всё той же ТНК и Сибнефти — доезжаем до Родников, которые с дороги видны только по нескольким кирпичным домам. перпендикулярно шоссе сворачиваем. Жубаркина всё же мутит после вчерашнего с нами загула от езды, останавливаемся, чтобы отдышался. шутит: что народ-то подумает, в таких машинах ездит их глава. с кем-то переговаривается из водителей местного автобусного парка. 35 тысяч жителей, не так уж мало. интересно, как руководит, какую работу даёт им наш молодой (меня даже младше, но не по виду) эскаэмовец? въезжаем в сам городок — слева нетронутые советские святыни: памятник войнам Великой Отечественной, текстильная фабрика «Большевик», контрольный капитал в которой принадлежит некоему едрессу, и теперь там конкурсное управление, а активы выведены, скоро производство встанет окончательно, и Жубаркин тут бессилён. обратно к сельскому хозяйству вернуться, значит, бедолаги пролетариат. проезжаем пёстрые домики, пешеходиков местных — живёт провинция, телевизоры смотрит, в ларьки коммерческие заходит, глядит на машину нашу здесь непривычную своим «металликом».

миновав (о чудо! признак цивилизации тут, в километре от магистрали, в небольшом поселке городского типа) музыкальный магазинчик «Союз», подъезжаем к небольшому, на вид бело-сталинскому зданию администрации, где командует наш глава. который фирменно шутит, что стоящая в ряду машин администрации оранжевая машинка «Ока» — «капсула смерти», причём несущая вред не своему экипажу, а всему, что на её пути: на ней именно и катались его агитаторы — и победили же. в кого-то даже «въехали», но капсула осталась цела. а ещё пришлось по линии милицейского папаши Сергея выписывать неких хулиганов (так как бандитов тут нет: некого и нечего «держат»), которые играли в «фейсбол» с бандюками политических конкурентов от едра, иначе бы у агитаторш Сергея были проблемы, угрожали им.

Сергей в окружении молодых сподвижников (некоторые — родственники), поднимается с нами к своему кабинету. обыкновенное, но обновлённое, без излишеств, с твёрдыми современными стульями помещение начальника, секретарша, миграцияс — в углу триколор, на шкафу иконки подороже дизайном, в шкафу корешок томика Ленина.

может, тут и есть край света нашего расейского? так вот повернуть наугад перпендикулярно от дороги — и оказаться у истоков, в Родниках... красивый вид из угловых окон здания на солнечную, видимо, центральную площадь Родников с Доской почёта, клубом, редкими прохожими. странные сегодня посетители кабинета Городничего (как тут прозвали Сергея, согласно его же сообщению) — в бундесОвой рубаше один, с комсомольским значком... отсюда — посидев, повременив, повспоминав забытые во хмелю эпизоды вчерашнего с нами бытия Сергея, — отправляемся обедать. кружим по городку, встречаем светлые и озабоченные будничными темами, ждущие транспорта лица. Сергей попутно рассказывает, что его помощник устраивает рейды — отслеживает торговые точки, где продают спиртное несовершеннолетним, борются так.

этому мы и посвящаем тост, прибыв в маленький, судя по всему вип-зал придорожного кафе. угощение колоритное: морковно-какой-то салат со сметаной, коньяк и некая мясная и малость чесночная похлебка с картошкой в горшочках, картофель обжарен местами до обугленности. отобедав, отпугив и допив недурственный коньяк, узнав задушевную историю о том, как Сергей перешёл из местного РНЕ в СКМ, когда первые ударились в неприличный фашизм, — выходим к родному шоссе.

отобедавшими и легко хмельными очами — на солнце. глава района спешит теперь на встречу с колхозниками, у них праздник — начало сева. даю диск Жубаркину — на тему приезда в Иваново «Эшелона». глава обещает всяческую поддержку, расстаётся друзьями, малость зардевшийся от спиртного его голубоглазый помощник тоже улыбается (видимо, мой комсомольский значок производит такое впечатление) и объясняет — как нам красивее доехать до Нижнего Новгорода, вдоль Волги.

но мы выбираем путь быстрый, а не красивый. путь боковой, вправо, по дороге худшей, но кратчайшей. холмистой, продевающей как нить одну за другой деревеньки-бусинки — те, с которыми говорю не этом летУ, говорю молча, говорю глядя. глядя беглым взглядом вдаль на эту оттаивающую и местами наводнённую солнечным блеском в лужах землю.

вот ты какая, Расеюшка. ни железных, ни широких автомобильных дорог не соседка. мало что тут изменилось за век — стоят себе, темнеют от лет избушки. серые, замкнутые, внешне не надеющиеся на другое — выстаивающие наперекор временам тут. вопреки логикам советского прогресса или постсоветского регресса, Революции или Реставрации. где-то доживают старики. откуда-то идут прямо по шоссе километров за пять в школу потомки очевидцев двадцатого века. от которого — ищи-свищи тут следы теперь... разве что рядом с избой или домом повыше, при ограде строгой, сословной — автомобиль или просвечивающий голубые небеса двигателем трактор. ни комбайна, ни следов колхозности какой-нибудь. как тут живут они, старички местные, старожилы-то? ходят в учреждения, получают пенсию от изменившегося до противоположности своей некогда советского государства.

а Жубаркин молодец — праздник начала сева. значит, не даст в обиду крестьян своих экономике грабительской, внешней. если строителей неких придо-

рожных правильной данью — с начала стройки, а не запоздалого визита к нему — обложил. Этих крепкой рукой надо держать. а то повывезут и лес и поля. но — деревообрабатывающая фабрика, сам говорил. это явное наступление на зелёные богатства, единственный их теперь капитал, без текстильных заводов-то. откуда сырье повезут австрияки? тут же рубить и станут. эти вот леса — слева, справа — вырубать. и все эти сомненья-размышленья терпеть вам, домики серые бревенчатые. вам, с наличниками древними кружевными усохшими. да и решать бы вам, только молчите вы всё — потому за вас решают. да и кого поднимать на борьбу — дедушек-бабушек, что не бельмешат в политиках?

нет, поднимать, агитировать надо тех самых, идущих по обочинам в школу. и песнями прежде всего. вот с того диска, что оставил члену нашего ЦК и главе района, все более отдаляющегося по мере нашего пробега. ныряя, притормаживая на участках «тёрки» — заплутали.

решили сократить, а заехали в сказочную глушь деревенскую: первым знаком были два рыжих, перламутристых петуха, схватке которых мы не дали начаться, разделив бойцов своей траекторией. а кур сколько! есть за что бороться. по бокам дороги — оранжевые, недавно спиленные стволы, складированные аккуратно. иллюстрация недавних размышлений моих. тут и вырубают помаленьку леса. и вот по мере нарастания количества брёвен и глинистых кочек — понимаем, что заехали не туда. несмотря на то, что дорога идёт далеко, в обрамлении елей и сосен. размякшая тут дорога, без асфальта. а от того что она в тени, из-за деревьев — не отмерзает, снег повсюду, а где оттаяла, то не просыхает, мякляя вся и оранжево-глинистая. поворачиваем, с нашей низкой тойотной подвеской тут проехать невозможно. да и джип бы не осилил, увяз бы. возвращаемся к ближайшей автобусной остановке, тут тётушки дают навигацию — вернуться к развилке и ехать налево.

и едем — всё такими же деревеньками: то сближаясь, то расходясь с волнисто-колючим тёмно-зелёным лесным горизонтом. пока слева не открывается нечто огромное. это Волга. сначала мелькала невнятно, но вскоре открылась в бесконечную ширь. мы едем по перемычке, по насыпи — справа дома уже не деревенские, а дачного, часто кирпичного типа и мусор учащающийся, городской пластмассовый, пластиковый. слева Волга. гигантский, словно морской залив. и вода тёмно-синяя, почти чёрная, холодная — там, где вышла из льда. а на льду вовсю рыбачат. разброс лунок широк и отдалён, рисуют рыбаки. там, где лёд отступил от берега, — вода волнуется, дробится. Волга. грозная река. впереди — высоченные откосы рыжеют, и правей, ближе к нашему направлению, признаки электростанции или порта. чего-то технически крупного. над дорогой уже — приветствия: «добро пожаловать в город моторостроителей».

фабрика, а скорее, электростанция, хотя там явно портовый кран стоял и не один — времён сталинских. на цеховой серой стене, идущей к воде, гордыми чёрными буквами цитата из Ленина про коммунистический труд, и сам Ленин памятником выглядывает за торцом цеха. воплощение его идей ибо: электрификация как широченный шаг к коммунизму. мощные электроустановки, индустриализация тут светится. вот так и Эпоха: после изб и петухов, после разрознен-

ности деревенок с похожими названиями — на «ово» или «ки» оканчивающихся — революция и индустриализация. на каждом объекте такого рода должен быть профиль Ленина и теоретически суровые, но при этом просветлённые, солнечно целеустремлённые, мобилизующие его цитаты.

а городок-то моторостроителей небольшой, лишь предваряющий Нижний Новгород. слева всё индустриальное тянется, моторостроительное. а вот справа в обычных спальных кварталах — уже врисовано новое, необычное по прежневременности. обращаю внимание наших: салон красоты. это для кого, говорю, для жен моторостроителей-то? вряд ли. для женушек чинуш и бизнес-элиты местной — вот предназначенье. Леонидас шутит в ответ, что он как раз за салоны красоты именно для пролетарских женщин — грязные и с гаечными ключами они ему не милы.

но уже вырисовывается город основной. который Горький бывший.

едем по нему долго — пока снова к Волге не приближаемся и не видим правей впереди мосты и град на склоне, а затем и поднимаемся по фантастическому, вверх идущему длинному мосту. вот там и центр города. вдоль подстенной, подкрепостной узкой части древнего города едем. третий после двух столиц он считается. отсюда Немцов прибыл к Ельцину в преемники.

город-красавец, немыслимой какой-то, увеличенно-трёхмерной компоновки он, Нижний Новый город: слева широченные Волгины дали, прямо как из фильма сталинских времён. только малость подзаросли островки, замусорились. а справа — стена крепости над нами и домики под ней жмутся в историческом участочке между рекой-мамой и крепостью отца-града, где хочется загуляться, бродить по переулкам, упирающимся в подъём горы. по крутому холму к такой стене и не подступишься, правильно построили. над стеной выглядывают круглые окна конструктивизма местного и более классических, уже по времени последующих зданий. вот по нижнему (под стеной который) городу мы и едем. свой масштаб, своя мера сдвинутости, сопредельности домов. и видны наискось наклонные трассы, спуски от крепостной стены к укреплениям — вероятно, огневые точки. мы тоже наискось, но не спускаемся, а всползаем, и достигнув угловой точки, остановившись и — спросив молодую, студенческого возраста пару, верен ли путь, — едем уже прямо и оттуда направо.

в узком коридоре — что ни дом, то сталинский. учебные, ведомственные, жилые. розовые, серые, пегие, облупленные. ранние, скромные или поздние, с отделкой богаче, пышней. улица Минина вся вдоль институтская. стоят слева под козырьком у подъезда вуза студенты — как и в Столице, модные, современные, повсеместные, общаются, светятся наворотами причёсок и одежд. справа некий военный вуз, тот, что глядел на Волгу — пока мы ехали вниз — круглыми окнами. степенные стены, чрезмерно часто их не красят, поэтому они — если учесть их масштаб и сближенность с соседними — создают особый колорит, цветовую индивидуальность города. это провинцией не назовешь, но именно затёртость некая, при вполне чёткой архитектурной стилистики создаёт впечатление специфической отсталости, отдалённости от эпицентра временных волн.

доезжаем до площади перед кремлём, разворачиваемся мимо остановок общественного транспорта, которые сразу позволяют узнать и не узнать знакомую локализацию незнакомых граждан. даже маршрутки ходят так же, правда, с другими рекламами и надписями не там где у нас... всё вертимся вокруг памятника Минину. наконец остановились и вылезли в медленно близящийся к закату, что намечается за кремлём, совершенно незнакомый город. на крупной торцевой рекламе красуется девушка из телерекламы «Мегафона» — владелица контрольного пакета которого Лю Путина вездесуща в своём сотовом бизнесе. и в рекламах «Мегафона» не просто реклама телефона, тут сюрприз мужу-президенту, материализация его мечтаний, кто не заметил: проговаривается весь бизнес-план путинизма — некие деятели на нефтяных вышках инженеристого вида продвинутого ощущают себя большими людьми великой страны, вип-дизайнерского вида молодожёны, из которых оба не пролетарии, он с нагеленными кудряшками, а она зубаста весьма, такая кусок жизненных благ не пропустит мимо... вид лица той теледевушки тут на нижегородской рекламе тоже провинциален — снизу, поэтому подбордок кажется излишне буржуазным, пухленьким и от этого отталкивающим скорее. это та самая рекламная дива с немислимо как-то скомпонованными зубами — не скажешь, что некрасиво, но уж точно не типично, хищно и при этом привлекательно. то есть такая стабильность уже чрезмерная. город Немцова и Кириенки — только так объяснима эта, пуще московской, буржуазность. не сюда ли ходил Иван Грозный учить уму-разуму мятежных купчишек?

идём по местному Арбату, пешеходной улице с учащёнными магазинчиками и забегаловками — до недалёкого подъезда. в нём наверху, удивившись крупным скульптурным и довольно романтическим изваяниям Ильича, находим партийных функционеров. довольно невеселы они, и прибытием нашим скорее отягчены. надо что-то рассказывать... «Родная» газета лежит тут толстой стопкой. так-с, семигинская лапа.

ленивые младокоммунисты единственно гордятся проведённым у них в городе в 2000 году концертом ГО. один из панков в день концерта ответил местному телевидению на вопрос, пойдёт ли завтра в комсомол: «Завтра воскресенье, завтра не пойду, а в понедельник — да, точно». в окне, за говорящими попеременно медлительными нижегородцами — часть стены кремлёвской, за которую садится солнышко. выходим на холодный местный Арбат и едем в «Яблоко». ставим машину перед пустырьём, рядом с которым наподобие магазинной вертикальной вывески — Милиция. из двора справа выглядывает призрак конструктивизма, отданный милиции. где-то впереди — цирк и еще железнодорожные пути. миновав пустырь, оказываемся в улочках с затхлыми, давно не крашенными домами. но есть кафе или даже ресторанчик, у входа в который сидит чумазенькая, но довольная серо-белая котейка.

«Яблоко» размещается в двухэтажной бревенчатой избе, где кроме него плоды либеральных реформ — коммерческие фирмочки, автозапчасти. прямо у двери — какая-то огромная шестерня и круглая щётка от моющей уличной машины. в избе тепло, в избе бюро «Яблока». Большая часть — мужчины. ещё не вы-

ветрившиеся, с кусачими глазами либералы. главный — самый добрый. мы садимся в рядок, представляемся, и Илья начинает монолог, покуда главный из «Яблока» читает программные документы.

тёплое помещение, внимательные уважительные взгляды. хороший повод по-вспоминать прошедшее десятилетие, согласиться, что в девяносто третьем всем было наплевать, с их стороны резюме — пооттоваривать нас в связи с этим от новых попыток насильственно менять власть. но Илья недвусмысленно отвечает, что «мы хотим быть той силой». что, когда настанет революционная ситуация — возьмём, будем обладать всем необходимым. романтический пессимизм очкастенького яблочника в ответ (потом выяснилось, что он под шафе, оттого краснолик): глаза, упоительно блуждающие по потолку партийной комнаты. характерный признак «демократов»: во всех помещениях региональных «Яблоков» висит выборный плакат с Явлинским. как правило, там внизу, под уверенной его светской стойкой — выдержка про то, что цель реформ — доступность услуг населению, эцетэдэ.

какие-то благодатные пространственные ощущения непообедавших — от размытого закатного солнца в окне справа, при виде светло-зелёной карты с голубой Волгой на стене: карта показывает, сколько мы проехали и какие огромные у Волги тут и ниже отроги, раздвоения, вариативность. разговор затягивается. яблочники весело подтверждают, что подхватили инициативу нацболов по торговому вопросу — в кого-то они метнули, а «Яблоко» на следующий день прошло по местному Арбату, неся коробки с тортами, солидаризировались. как и везде — у демократов нет отторжения нацболовских методов, а об идеологии враждебной и ксенофобской они не пекутся, отворачиваются. я всё поторапливаю наших, чинно даю понять яблочкам, что мы спешим-с, далёк путь-с.

завершили прения: яблочки будут идти вместе с КПРФ 1 мая и МЛФ поддерживают, прочитав уставной текст. правда, частная собственность свята. о чём мы и перекинулись с красноликим очконосцем. они — за поддержку малого собственника. говорю: этой поддержкой вы легализуете и крупного. частная собственность — она либо есть, либо нет. но дискуссии избегаю, торопимся. уютный у них туалет, тепло и просторно, с щекоткой. в качестве бумизделий — рваные «Новые газеты» с Басаевым...

а путь-то нам далёк. обратно идём по пустынному переулку, уже мягко вечереет, солнышка не видать, собаки только тут бегают. а вдали позади, как во сне бывает, — большой купол, цирк, видимо, и признаки железной дороги верхние, фермы, осветительные рамы, провода. едем вниз, к Волге. на берегу в пивном заведении, сплошь у входа увешанном дорогими посетителями — Шевчуком, Макаревичем, Путиным, — обедаем, долго дожидаться блюд приходится. шашлык из вырезки не продымили, лентяи. потому что пива не заказывали. туалет европеоиден, но нашатырно вонюч.

выезжаем уже в ступающуюся тьму, где Волга только отблесками гигантская. ошибаемся в направлении, вертимся у моста, едем вверх на продолжение склона и по новому мосту... а вдали играет, шевелит в тёмное небо лучами света Нижний. город со своими пространственными правилами, дискотеками, переключкою стен для

звуков идущих, живущих тут. уйти бы в то, лишь отсюда утадываемое под ночью пространство незнакомого города за рекой, где вверх свет, где возвышаются полупонятные дома, научные институты, заводские башни — как во сне уйти, мягко и свободно, летуче, прямо с моста, не касаясь воды, ступая по крышам...

но — едем. после поворота останавливает и тотчас отпускает, увидев пом-деповскую ксиву Ильи, патруль. вытряхиваемся из ночнеющего города по шоссе, всё ещё встречая дома с жилым светом окон, рекламы и троллейбусы. и снова — в ночь лесную и полевую. игра в наблюдение дороги всеми нашими глазами из салона, в лобовое стекло. света в салоне нет, музыки тоже — Раммштекс выключили. слышно гулкое, дробное вращение колёс, льющееся биение протекторов по дороге. так все засмотрелись на дорогу, бегущую нам навстречу стабильно быстро, что притянулись к центральной линии, мешая позади сидящим (мне, самому заднему) видеть азартный фильм, гоночную игрушку на лобовом экране.

Костя от этого зрелища замутился. сначала по салону пошёл выхлопной человеческий дух, потом он попросил водички и пересел на переднее сиденье. ему обед с супчиком и овощами, капусткой и солёными огурцами не помог по пилотскому закону. а ехать всё равно ещё триста км. приноровился, но не без валидола.

изучая в тряске особенности приближения к Саранску, радуясь каждой встречной бензоколонке и жмурясь на встречные, не всегда вежливо притупляемые фары — прорываемся сквозь леса и поля, с постоянными отсветами, огоньками, множась в наших окнах. и вот они-то и сыграли обманную роль.

торопливо (до Саранска осталось всего 80 км) съезжая с очередной горки, мы попали на тёрку и колдобины, которые переднее левое не выдержало и ментально загубошлѐпило. когда вылезли, то я убедился, что постоянное ощущение из-за стекольных огоньков окружающего нас по бокам жилья — было иллюзией, желаемым, но не действительным. оказались посередь холодного морозящего чёрного леса. единственный свет — на редких придорожных фонарях, который и отражался-множился. вылезать приходится в рыжую топкую грязь. холодно, как-то весело даже от этого. потому что быстро начинается тряска самообогрева. надо одевать и шарф и шапку, дабы не утратить тепло. да, заночевать тут не хотелось бы.

трудно открутить гайки колеса, не поддамкратив — сообразили поздно, успев отчаяться и посрывать частично ухватистость ключа. нужен кирпич, нужен рычаг. поддамкратить необходимо, что и делаем. но вот чем бить по ключу?

на счастье, первый же вслед нам проезжий маленький автобус останавливается, хороший тут народ мордовский. мест в их салоне достаточно, чтобы нас увезти в случае. мужики все вылезли, человек пять и консилиумом нам помогли, дали насадку для увеличения рычага и молоток. Лёня победил гайки и снова ставит запаску. благодарим мужиков. оказывается, на этой тёрке они и сами дырявились, это известная ловушка. шутка местная: где кончаются дороги — начинается Мордва. в ритм додумываю: где кончаются дороги — начинается Саранск. как и перед Шуей, которую мы всё склоняли похабно, тут сработал метафизический

или мистический механизм: за брань город нам препятствует, не пропускает. за то что мы всё праздно хохмили: вот за Саранском...

но всё восстановлено, теперь с запаской на переднем ехать быстро не получится, но 120 — можно. доковыливаем по мокрой дороге до Саранска. ночной город пустоват и незамысловат. сумеречными окраинами достигаем гостиницы, довольно быстро — опять таксист помог навигацией. в гостиницу из холода и дождя входим уже засыпающими. самая приветливая, симпатичная и вежливая администраторша — тут. долго рисуем, выдаём бланкам свои сокровенные паспортные данные, с далёкими, сладостными тут по звучанию адресами. распознаем по номерам, мы опять с Леонидасом, по-спартански. падаем и засыпаем, из последних сил почистив зубья.

Лёня просыпается везде первым. пока я ещё и глаз не открыл, в окно выглядывает и говорит:

- Во те на! эрэнешный лозунг — «Слава России».
- На стене кто-то написал?
- Да нет. Большими буквами на доме, наверху.

в неведении вскакиваю и выглядываю. точно: прямо напротив гостиницы, на административном здании с двумя флагами (власовским и мордовским), синими подвыгоревшими выпуклыми буквами на синем фоне, во всю длину фасада над верхним этажом, как раньше, небось, «Слава КПСС» красовалась, пропечатано — «Слава России». «а вы как хотели — теперь наса хозяина на Капээсэса, а Россия, а хозяина любить и слусаца нужна».

вот вам и парадокс провинции: Мордовия более великодержавна, нежели сама по себе Россия, типично верноподданнические, вассальские настроения. «Россия для русских и для мордвы» — шутка мордвина из Родников, друга Жубаркина воплотилась. хотим царя, хотим хозяина, слава росту нефтевыкачивания, слава росту, удвоению и второму сроку ВВП, слава России, огрызку Союза!

заряжаем сотовые телефоны. душ тут самый смешной: просто из стены сам по себе душевое сито, а внизу резиновый коврик и сток. но хайр пока сносен. ощущение окраины усиливается, когда мы поднимаемся на два этажа выше — завтракать в буфет: из окон лестничного пролёта видна равнинная и вдали холмистая скудная урбанистика Саранска в рыжеватом утреннем свете. на этаже по дороге наверх обнаруживаем смешную табличку «Горничная находится». ниже таблички, в ней самой — прозрачная ячейка для бумажки с точным указанием.

стилизованный под бар восьмидесятых (да просто с тех пор не менявшийся) буфет пуст. завтрак (со свининкой опять!) готовят не сразу, покамест смакуем йогурты. буфетчицы развлекают свой слух латиносериалом, порывы и вздохи озвучивающих — спросонь нам нервичны и тем более фальшиво-нелепы. провинция и скука, кажется, даже в запахе этого, по назначению, весёлого места. батарея бутылок крепких напитков. вид из оргстеклянных желтоватых окон в углу буфета — холмистая даль Саранска — усиливает окраинную локализацию нашей экспедиции. Илья рассказывает, что совсем недавно ЮКОС был в Мордовии бюджетобразующим — его налоги составляли чуть ли не 80 процентов бюджета

та. здесь располагался юридический адрес ЮКОСа, здесь платили налоги. затягивается наша трапеза: слышно, как буфетчица дубасит наши свиные отбивные. и получились они хорошо, с рисом, приятно. ускоряем поглощение — внизу уже ждут представитель «Яблока» и ещё кто-то.

выписываемся из номеров быстро, спускаемся. оказывается, и на нашем этаже была весёлая табличка про горничную. внизу — холод и морось, стоят очень цивилизные дядя лет за сорок и продвинутый седеющий юноша в очках а ля Павловский. меня опять представили как музыканта, я добавил (забыв, что яблочники слушают), что мы играем рок коммунистического направления, на что дядя в цивилинном чёрном пальто ответил: «Все мы стремимся к одному и тому же, но по-разному». путь до офиса «Яблока» оказался близок. местные супермаркеты маленькие, но с модными объёмными вывесками, облезлые, клочкастые останочки транспорта, красная арматура тут, даже маршрутки рулят — люди будничные, ёжащиеся от непогоды, периодически пробиваемой солнцем. девушки, юноши, мода та же — псевдовытертые джинсы, курточки стёганные демисезонные, причёски а ля «Мумий-троль». по дороге проехали музей Эрзия — Костя прокомментировал, что тут всё связано с его именем. вроде местного Пушкина. и рядом с музеем в админздании — офис «Яблока». тут же правозащитная точка.

знакомимся. в углу комнаты девушка постукивает клавиатурой — явно смущена таким наплывом молодых и привлекательных, по разговору и представлениям — москвичей. глазками юлит. окорокАста, мЕстна, брюнетка. но над ней вскоре нависает еёный кавалер — светловолосый, худой и солдаватый юноша, явно позиционирующий себя аки её брутальный партнёр. целует за ушком, самцово возбуждается. попечатали, компьютер что-то прохихикал им пару раз, оделись и семейно удалились — девушка даже не успела порасстрелять все свои взгляды во вновь прибывших.

всё это время Илья пытался агитировать яблочников, чтобы выдали нам адреса-телефоны людей, которые могли бы участвовать в МЛФ. вскоре выяснилось, что дядя из «Яблока» сперва-то интересовался сугубо финансовой стороной взаимодействия, этак отстранённо и высокомерно даже — высокомерно по-провинциальному, что даже забавно. «Вот „Яблоко“ оплачивает нам здешний офис, сам я работаю на общественных началах...». через некоторое время, стал сам рассказывать о невесёлой обстановке в Саранске. помогал ему в этом и юноша Павловский. сам дядя — восемь лет официально безработный, в силу своей партийности отовсюду изгнан, чего по виду его не сказали бы даже мы, холёные, ветром дорог малость помятые, москвичи. прокуренные зубы, но улыбка непобеждённого морщинистого демидеалиста. юноша (очки и джинсы модно оттенили его размазанно-еврейские, провинциально асимметричные черты) оказался весьма эрудирован: «Я знаю всё и всех», — сказал он по поводу политической активности в Саранске. и добавил, выяснив, что мы коммунисты:

— Так, может, вам трудовой народ показать? Ему ведь тут ничего не надо, зарплату платили бы... А новое поколение, из институтов — поедут менеджерами

в Москву за пятьсот долларов трудиться с удовольствием, им о политике говорить бесполезно...

да-с. ощущение какого-то грязного киселя, в который мы со своей замызганной «тойотой» вдрыпались не только ночью после «тёрки», но и нынче — усиливается. юноша развлекает нас рассказом о друге-режиссере, написавшем что-то Пелевье про старичка-чекиста, который где-то со времён Гражданской спрятал вагон с золотом партии и никому из своих родных не выдаёт тайны местонахождения его. внуки для него устраивают инсценировки, будто приезжает Будённый, Ворошилов — всё впустую. потом он, вроде бы, соглашается ради целей «глобальной конспирации» выдать деньги, но в последний момент отказывается. юноша (как выяснилось, не такой уж юноша — сам начальник конторы и семьянин) это рассказал по поводу того, будут ли финансы тут у МЛФ. хитрый павловский юноша. «Я за идеи денег не плачу», — совсем уж разоткровенничался он о своей конторе. Саранск и Мордовия вся чуть ли не девяносто процентов голосов отдают регулярно за «ЕдРо» и Путина — кого тут агитировать? сам юноша родом из СПС, но на ставке у «Яблока», как мы поняли.

как иллюстрация местной обречённости (люди занимаются только выживанием в сложившихся условиях: не до политики) появляется новая толстенькая девушка и садится за партийный телефон заниматься своей работой. созванивается с подругами-референтками и решает квартирные вопросы.

— Русские, да, семья... Тогда я везу им показывать квартиру...

— Если что-то там будет не так, бомжатник — выкинь их, меня просили найти нормальных жильцов...

вот так и живут-работают, суетят за деньги, за жисть саранки. вскоре павловский юноша, сгущавший местный колорит для нас — индентифицирует, наконец, Илью как того — интернет-скандального, которого по ТВ часто показывали перед выборами. и меняется в лице. улыбается, пересаживается, показав немолодой и оседлый зад в модно вытертой джинсе. решил юноша позвонить знакомому — который ходоком ездил в Москву к Дугину и другим «великим умам».

— Тебе имя Илья Пономарёв что-нибудь говорит? Тогда быстро подходи в офис «Яблока».

в целом, демократы, которых местная власть мнёт и валяет — ничего не решили в плане взаимодействия с МЛФ. да, АКМ тут есть, РКСМ(б) — нет, нацбола сейчас увидим... и главное — никакой активности снизу. даже результат голосования оспаривает один лишь дядя из «Яблока». не из кого стряпать МЛФ. а на демонстрацию 1 мая — да, пойдут с КПРФ, уже решили. хоть это. показывают местную газету наподобие АиФ, которая раньше была оплотом демократии и свободной прессы, а теперь стала ЕдРёной. там разносят депутата-коммуниста, который мешает законотворчеству — фотография чёрнопиарная на сто процентов: он жмурится, лицо идиотское. красноликий правозащитник сетует по этому поводу — да, прессуют неугодных, Фёдоров в хороших отношениях с Путиным...

в комнату наискосок забегают тщедушный нацбол, отстреливаясь от нас тараканьим взглядом. вида невысокого, несчастного и бородато-интеллигент-

ного. павловский юноша гордо знакомит его с Ильей; адаптировавшийся, оперсоногратившийся Илья уже горстью, улыбочиво, заигрывает рукой со своей бородкой. разговор в комнате происходит недолго: сразу же спотыкается нацбол на интернационализме, основополагающем для участия в МЛФ. на радостях от такой широкой встречи, павловский юноша решает всех нас пригласить в музей Эрзиа. нацбол сомневается — пойдёт ли там разговор, рядом с обнаженной деревянной натурой.

а музей замечательный, ПЮ дарит нам значки Саранска и музея, надеваем музейные тапочки — и с медленно размолаживующейся, но ещё красавицей-экскурсоводом мы идём вдоль творческой судьбы Эрзиа. Эрзиа и Париж, Эрзиа и Христос — изгибистость декадента. модерн наилучшего образца — именно эротичный, толстомясый даже и экзотически-деревянный. таким и должен быть модерн. Леда и Зевс — грешат, бесстыдники. и не раз. лица, лица — уругвайки, аргентинки, вдали от родины в годы Второй мировой Эрзиа полностью попал под диктатуру природы, чему только завидовать можно. и два отдельных лица — Ленина и Сталина, вываянные из того же аргентинского дерева, привлекают наше особое внимание. Ленин наиболее идеализирован, расширены скулы, умудрён взглядом. Сталин — именно того большого стиля, аккуратный и избыточный, с зачёсом своим низким, с более овосточенными чертами, но полуулыбка — его. громадный голова-Моисей со слезой... хороший музей и красивая экскурсия — как голубоглазая ведущая блондинка-мордвинка, так и сама по себе экс-мастерская Эрзиа.

всё время, пока мы погружались в искусство, Илья спорил с тараканистым нацболом. мы застали уже разгар спора — тот всё никак не мог согласиться с интернациональным тезисом, за «железный занавес» стоя и за государство как высокую, непреходящую ценность. утверждает, пока мы, скинув тапки, выходим на нерешительно весенний воздух Саранска, что Ленин и СПС — за одно, за уничтожение государства, что для него неприемлемо.

понимая, что этот спор надолго, мы быстро собираемся, садимся в нашу «тойоту» с её замызганным первой половиной автопробега «металликом» (пыльную патину не смыл даже ночной дождь) и машем павловскому и тараканистому юношам, углубляясь в короткую городскую историю улиц и перекрёстков Саранска. да-с, сверхзадачей нашей поездки явно становится — рейд по вымариванию «тараканов»: утопизма вроде местного нацбольного. кстати, этот нацбол не состоит в НБП, и с чего взяли что нацбол? только по знакомым тараканам, вербально прущим из щелей всех разнобоких политических вопросов доморощенного патриотического оппозиционерства при сигнале «интернационализм».

дорога под гору, под окраины. и всё время вниз — уже полями с отдалёнными перелесками. спускаемся со Среднерусской возвышенности. тут явная монополия ЮКОСа до сих пор, все автозаправки его, родимого. сюда ещё не добрался путинский шмон. на одной из этих автозаправок (к чести ЮКОСа — на всех есть рабочие-заправщики: не только сверхприбыль мают, но и создают рабочие места, не самообслуживание) покупаем и весёлую, детскую

снедь, орешки, чипсы, пепсы. весенний дождик щекочет поля. как тут здорово пахнет, на спускающихся к черноземью просторах! давай, давай — начинайся, выпаривайся из однофамильной моей почвы, весна! и даже бензиновый дух ЮКОСа — аппетитен. всё вниз да вниз. горки и бровки — низкая подвеска считает дорожные трещины...

то обгоним дождь — то настигает. красивые и просторные окрест пути наши не портят даже серые тучи. земля моя. дыши, вдыхай весну освободившимися от снега порами — дыши, как я этим дождиком, смешивающимся с пылью нашего автопробега. ударим красным автопробегом по сонному сонму регионалов: Лёня — Козлевич (хозяин-водитель «тойоты»-Тну), Илья — командор Остап, Костя — Паниковский, Я — Балаганов, только Лиля не по Ильф-Петрову, но при всём этом — необходимый пресс-аташе экспедиции.

Пенза начинается поворотом налево, и замечательные следы СССР здесь не тронуты — орден Ленина на открывающей город стеле. тоже троллейбусы, тоже транспорт. хоть и без заметного пролётом архитектурного сталинизма, но — город уровня предыдущих. приятно дежа-вю: тоннель, к которому мы повернули — точь-в-точь как у Калининского на Садовом кольце.

приехали к горкому. и здесь — приятная, ностальгическая партийность, нас встречает ветеран партии, как сам и сказал, весело шурясь — первый секретарь:

— При советской власти был первый, и сейчас я первый.

обаятельный дедушка: курит, заигрывает с нашей Лилей, рассказывает о достопримечательностях города, которые нам некогда смотреть. вводит в курс дела: про мельчающее, вымирающее при Бочкареве производство, про исчезнувшую селёдку иваси, которую тут ловили прежде обильно. видный комсомольский лидер, которого я с пленума ЦК СКМ знаю, дарит нам десять пионерских галстуков. начинается пресс-конференция, которую СКМ (к великой их чести) снимает на собственную видеокамеру. как и везде — есть журналист бомжеватого очкастый, который после всех монологов Ильи и наших вкраплений наливает себе минералки со стола нашего и говорит: «Хороший тост». вопросов мало, в основном — не по теме МЛФ, а просто по поводу убеждений наших. а возможно ли...

но мы спешим в комсомольский подвал, куда нас сопровождает пензенский лидер СКМ. такого мы и не ожидали! сразу, ещё подъезжая — горящие глаза, много наших, много симпатичных... заходим в подвал, очень напоминающий акаёмовский на «Пролетарской». пробегаем по комнатам — дарю на радостях в первопопавшиеся руки наши диски (ребятам в майках «Ленин, партия, комсомол») — и забиваемся плотно в одну из комнат. много приятных, заинтересованных нашим визитом лиц — юношеских, девичьих, кокетливо улыбчивых, серьёзных... прогоняем дежурную, уже накатанную за время пути телегу. но нигде так внимательно, так животворно не воспринимали. оказывается, в Пензе есть газета «Юный ленинец», принадлежащая антиленинцам по сути — что-то вроде всех наших МК. там критиковали акцию АКМ, после которой АКМом местным занялись структуры, и ребятам пришлось нашим опять тянуть все акции в оди-

ночку. девчонки тут красивые, фигуристые и внимательные. предлагаю аудитории взять «Юного ленинца» на прицел и со временем вернуть ему подлинное содержание. все почти диски раздаю. насчёт Rage Against The Machine сообщаю местному активисту «новости» — что нет их давно.

общаемся горячо, бодро, хватко — то на улице, то опять в подвале. движение единомышленников мимо — натурально возбуждает, чувствуешь себя не просто востребованным, а уже детонатором, вошедшим в тесный родной пластид. на стене подвала — цветные информлистовки КПРФ из серии предвыборных, и эшелонная там есть. раздаю все свои «Поэмы-инструкции». забиваемся в салон родной Антилопы-Гну, прощаемся руками, взглядами, взмахами с комсомолом пензенским — и вперёд, по дороге машем ещё и идущей от штаба СКМ девушке, которая снимала пресс-конференцию и получила от меня по застенчивому её настоянию диск.

дождик выкапывает с небес весну на землю, на пензенский асфальт, что всё к нам бежит — с трещинками, в дождевую крапинку... едем уже через старый город: проезжаем деревянный дом, где Лермонтов останавливался, налево по перекрестку от него едем.

деловой и затем светский (формат не пресс-конференции и не собрания однопартийных ибо) разговор — в «Яблоке», которое располагается в загадочном здании — церковь, достроенная после революции до ДК. одна из самых истеричных всклокоченных яблочниц, когда уже разговор разгорелся, сообщила, что в подвале тут расстреливали, а в стенах следы замазывали, «большевистские аспиды», наши предшественники по коммунистической линии, за которых от нас ждут покаяния.

брошенная мной категория «коммуняки» — которые едротами и стали, в противовес коммунистам истинным — встречена была с восторгом. много тут яблочников. и книг у них много, и работают на выборах активно — оспаривают все поводы, все возможные случаи фальсификации. чего, как они утверждают, не делают наши: борются, но поражением, не вникая в методы, коими их облапошили, не смущаются.

а машина генерации конформизма и фальсификаций тут работает не хуже саранской: верноподданство, гражданская вялость, социальная апатия укоренились ещё с восьмидесятых. вот так: сначала поддерживая одного кандидата от КПСС, а теперь поддерживая одного президента и одну ЕдРёную партию, стали россияне пластилином — не видящим, что происходит по соседству с градообразующими, их кормящими заводами, но зато регулярно видящим обаятельного президента по ТВ. пластилин слеп, тёмн — неплохая метафора россиянства. лепите из нас благоверных россиянь — мы готовы, мы сами поможем, голоса перекинем в «бюллетнях» от Противсега — Путину, от Харитонова — Путину. красивый Явлинский и тут висит плакатный. и много книг, офис ещё прочный. хотя, и тут партия сократила финансирование. всё меньше кубышек у чистых демократов. и вот яблочники, эти стойкие конквистадоры гуманного капитализма — отстаивают права, «завоеванные» их переворотом 1991-го. чему стоило бы по-

учиться нашим красным, легко сдающимся патриотам — биться за каждый голос, чтобы слышен был наш.

истеричная яблочница всё предлагает нам поменять название — разорвать связь с коммунистами, покаяться и назваться чем-нибудь вроде «сетевой партии»... клиникё. самый интеллигентный — лидер «Яблока», с бородкой, внимательный, хозяйски разливающий по стаканам гостей нереального цвета газированный напиток, несколько бутылок которого «Яблоко» отрядило купить своего паренька быстренько, комильфо чтобы. сие на радость всё тому же крейзи вида журналисту, что поднял в горьком тост минералкой, он сидит и мечтает, попивая газированный мутаген, рядом с лидером «Яблока». я бы подумал, что лидер — провинциальный, философический полуиудей, из Муром, например. или из Пензы. за окнами, к которым подходит усаженный нами длинный стол — расчищающееся небо и начало вечера над заводским, на вид конструктивистским, цехом.

вырываемся из бестолковой дискуссии. здесь, как и до сих пор было, у «Яблока» хорошие отношения с КПРФ, Первомай будет совместным, план-минимум выполнила наша МЛФ-миссия. выходим на этаж ДК — а тут жизнь идёт своим чередом, вертят бёдрами мальчишки и девчонки, овладевающие латино-танцами. шутим с Лилей: Лёня, не смотри туда. отвечает: а я вот Лилю приглашу сейчас. в туалетных целях спускаемся в тот самый расстрельный подвал, следов пуль не видеть. наверху же, в вечеру у хмурой безнадежной стены того самого цеха, рядом с церковно-классицистскими стенами ДК — стоят и продолжают общаться провожающие-отъезжающие. дозвониться до дому не получается с Ильичова телефона с серпасто-молоткастой орнамент-заставкой: зато приветливо высвечивается моё имя после кропотливого набора родных цифр.

ух, теперь, сквозь этот, с убыстрением сгущающийся вечер — до Тамбова прорываться. истерическая дамочка взялась нас проводить по городу — дабы быть отвезённой на его окраину. снова — мимо дома с мемориальной доской о Лермонтове. по дороге — всё то же: надо менять название, зачем комсомол, плохой комсомол... убеждаем: стоит отделять идею от воплощения, коммунизм будущий от коммунык прошлого. но весёлая кликушка не унимается: нужно делать хорошие дела на радость всем, никого не ссорить, не стравливать, под новым названием, молодёжно и модно... высаживаем её с облегчением. и — в ночи к Тамбову, в дорожной невидимости и только встречной вспылчивости фар. лишь угадывая глубину темноты, можно понять, что — поля.

до Тамбова доехали даже быстрее ожидаемого, сразу же выехали на центральную, Советскую улицу, где и встретились с великолепным юношей — по манерам весьма голубым. он отконвоировал нас на своей зелено-металлической «девятке» в небольшую, хоть и на окраине, но респектабельную гостиницу «Славянская». уже на ресепшне мы поняли, что местечко оформлено под элитарное: женский персонал смотрит фильм с каким-то бывшим французским солдатом, что голый, с обозримым фаллосом, где-то в природе прячется от тигров и воюет с ними подручными средствами. журнальчики на журнальном столике с ньюс-

мейкерсдивами — ну, всё как в лучших домах. почему-то нам достались на каждого двухместные номера, щедрость напоследок. да и какие номера — в силу недавней постройки гостиницы всё новое и модное: от коврового серого бархатистого до светильников. и как раз — щётки для одежды и обуви: отчистить грязь саранскую, облепившую мой дипломатик после того, как Костя поспешно открыл багажник и шмякнул его.

душ с раздвижными полупрозрачными створками, как в рекламе, пакетики с толстым тюбиком пасты и щёткой плюс шампунем мятным — прямо точно таким же, каким я мылся в Иванове. сбегает в бар местный. хоть и не обедали, а есть уже не хочется. голубой говорок и жесты крупнокостного, вообще большого довольно юноши, развлекает. стены бара оформлены фотоколлажами видов из местных окрестностей, городских и природных, в которых обнаружилась даже рыжая девушка, топлесс: присевшая, в камуфляжных штанцах, вид сверху, средней увесистости груди. Илки её обозримы аккуратно до сосков, чуть их выдавая. интересный ракурс.

поздний ужин с пивом «Миллер». какие-то колбасные пасьянсы и бульон, запах которого сразу же показал его непригодность. сибиряк Леонидас такой же проглотил за милую душу. ну, ему-то в лужёное нутро в самый раз — да и водка всё дезинфицирует, а я решил пивком, только в снотворных целях, обойтись. да: жульен тут тоже халтурнейший, прямо с целыми макаронинами сыра — видимо, сказывается поздний час, поварское искусство засыпает. монитор показывает какие-то американские реал-ТВ-страсти, искусственно подогреваемые диктором: смотрите, уанс моо, сейчас собака набросится на мальчика! тупая, тупиковая цивилизация — такое показывающая ночью. других забав не находит, кроме как расчёсывать нервы под буржуазными наслоениями толстой кожи — всевозможными кровопролитиями, катастрофами, плачем, страхом. страстями себе подобных — но на этот раз ураган пришёл не в его прайваси, смотри со своей постели, потей, буржуа, баксовый выкормыш... и сюда аж достали своим смрадом, в Тамбов. вот пропаганда-то. чтоб вас волки сгрызли. а во хмелю восприимчивость растёт... надоело когда, мы попросили переключить канал барменшу — на какой-то музон, тоже местного интер-ТВ. второй бутылки нехолодного «Миллера» уже не нашлось, дали просто кружку мне, из которой Илья перелил непочатое своё «Невское». после мягкого «Миллера» оно — ёрш. но наконец-то всё опустошили и начали расходиться. голубой юноша, рассказывавший, какой редкой сентиментальностью обладает знакомый его коммунист (плачет, когда ему дарят бюст Ленина), сам уже от водки раскрасневшийся, зардевшийся — вызвал машину, дабы не покоцать свою «Ладу». он переезжает скоро в Москву, стал там помощником депутата — легко по говорку. Овой его ориентации догадаться, по какой части помощником. а Лёню блондинка с ресепшна, вписывавшая нас, просит перегнать машину на задворки — тут они не отвечают за сохранность. Леонидас, недетски нагруженный водкой, конечно, не мог не флиртовать с ней, но отказался — лучше уж не начинать в таком состоянии, да и машину вести тоже вопрос.

одинокое засыпать в двухместном номере — сон дороже, выбираю ближнюю к окну, побеждаю незнакомость лежанки, простыней, шумы коридорные, задворочные теряю из слухофокуса, и погружаюсь. проснуться нужно ровно полвосьмого — чтобы успеть принять душ, высушить волосы и в девять отправиться со всеми.

проснулся во свету сероватом заоконном, раньше телефонного будильника — отключил, повалился минутно и встал. пробуждаться окончательно, в модном душе, когда снизу, навстречу струям тянется по-утреннему настойчивый мой соглядатай — интересно. жаль ни на кого полупрозрачная дверца по ту сторону не произведёт впечатления содержимым профилем с этим указателем. ментоловый «Хэдэншолдерс» почему-то не холодит, как в ивановском «Туристе». вероятно, поновой, не настоялся.

выходит из ванной обнажённый, заросший четырёхдневной щетиной молодой человек, лет под тридцать. ну и как ты в зеркале у выходной двери со своим жезлом мужества смотришься? ресторанный стол последних дней отразился, но масштабов не изменил в пользу животного отделения. скипетр вертикален, но не перпендикулярен — как давно ты не был детонатором, голубчик (sorry, Henry Miller!). некого взрывать, мэн. не хотят взрываться, да и некогда искать — вот езжай да агитируй, сублимируй. руки вверх, скипетр вверх — вот такой ты, потягивающийся в этом путановом гостиничном интерьере, в сумеречном тамбовском утре, товарищ Ч. признайся, что так длительно не позировал ню аккурат с 1993-го года, десять лет.

тогда летом, на тёткиной квартире — над Твоими крышами Арбата и Остоженки, над зеленью Гоголевского бульвара, когда прятался от армии и поступал на психфак — в зеркале отороченном эротическими резными этюдами дяди на тему Адама и Евы, этот скипетр, ещё ни в кого не вдёванный, без головного убора, казался тебе несоразмерным прочему телесному дворянскому контексту откровением: очертя малиновую голову куда-то воздетым вектором будущего, с подзуживающими его, питающими страсть, играющими желваками в тугих мешочках, соответственно — двумя державами. ведь возбуждало тогда само по себе окружающее родной вид чужое местожительство, зеркало, картины, лето и ни с кем ещё не хоженные крыши, Столица за окном. насчёт несоразмерности потом Тан на моей широкой постели подтвердила: скипетр — словно палица или станковый пулемёт в кожухе, пересаженный на совсем ему не подходящие изящные ножки столика в стиле модерн... да, товарищ Торч: вот и следы от твоего всё далее изменяющего Тан знакомства с изменчивою левацкой подругой журналисткой, которая ни с кем не брезговала без предохранения и подозревала кое-что, на всякий случай посоветовав полечиться — на щёчке малиновой главы синей расплывшейся родинкой остались последствия самолечения, марганцевой терапии.

под тридцать. но вид-то всё необъезженно юношеский, хоть и с подглазными следами недосыпа — особенно если побриться. но времени уже нет: встрясаем хайрами, складываем в дипломат нехитрый скарб. даже позавтракать

не успею в модном баре. надо же: за окном внизу, загнанный в уголок наш серебристый автомобиль, значит, Лёня все же совершил этот подвиг во хмелю. или кто-то отогнал, по просьбе? телевизор, пока собираюсь — работай, доктор Айболит и кукольные пираты с больными зубами, детство лучше вчерашнего реал-ТВ... и ещё надо отэсэмэсить моей возможной девочке, она тоже где-то в отдалении от Тебя, походница-спортсменка: Ona na Valdaе, а on eshe dal'she, tambovskij volk emu s4as tovarish. No vetrom vesennim v Stolizu vlekom, Marianna, vas *a*du uvidet'. Revkom.

в коридоре — Лиля, тоже посвежевшая. говорит, надо забрать телевизионный пульт. возврат не зря: оставил сотовый с гордым там текстом-локализацией MTS Tambov, как ни в чём не бывало — как раз там, где пульт лежал. внизу уже все, а Лиля даже кофе попила, пока мы с Лёней листали журналы, говорили всё с той же симпатичной блонд-горничной. вот и Илья. позже — голубой наш гид.

эх, уютноЕ моЕ заднЕЕ сиденьЕ. разбираю завал бумаг и прочего. банку от пепси — в пригостиничную урну, на память. банка с заправки ЮКОС. дорога нам — в тамбовское «Яблоко». сумеречное утро, неприветливый город Тамбов и его коммерческие ларёчки, перекрёстки, немногочисленные остановки транспорта. зато приветлив парень на остановке, спокойно и развёрнуто подсказавший короткий путь. помещение «Яблока» — в невзрачном сталинском доме, который не ремонтировали со времён оных. на первом этаже задвинутая стройпринадлежностями — табличка некая «КПРФ», тоже партхаус, значит. запах старого административного помещения.

на этот раз — маленькая тусклая комната, в которую набились сразу и яблочники, и правозащитники, и журналист, тоже по убеждениям либерал. вот здесь уже и зевоту сдерживать сложно. голубой наш гид, покуда остальные слушали и спрашивали — попросил стройную тамбовчанку сбегать и купить аж целый баллон воды минеральной. разлил по разнообразным чашкам со смиренным комментарием «водички...». кто-то из наших, вчера с ним пивших, отказался с улыбкой — тогда он выпустил свою голубую интонацию на свободу: «Ну, я же не предлагаю водки?».

седопатлый, тщедушный и практически обеззубевший журналист-демократ после встречи набросился на меня, он оказался родом из местной рок-группы «Моби Дик». его заинтересовала левая рок-музыка. пришлось подарить предпоследний диск. покуда шли вниз по лестнице, он страстно обдавал меня затхлыми подгнившезубыми откровениями об их мальмстиновском стиле, о хардЕ, о тутошнем байк-шоу, о харлеях, один из которых, 1943-го года, местный умелец собрал аж на пятом этаже, у себя дома. «Моби Дик» разогревает тут «Арию», почётная работа. но все же обменялись цифрами, он гордо сообщил адрес сайта с доменом «ру»: мол, московский чел его сделал и держит.

поехали в институт на встречу со студентами-пиарщиками. универ предварают припаркованная, то есть в парке-палисаднике, долгом и широком, военная техника образца конца эпохи, 70–80-х — вот красота! правда, по ней, как по чучелам динозавров, ползает детвора, стволы запломбированы. но дух советско-

го воинства, красные пятиконечные звёзды — сообщают и из такого положения вектор Эпохи. биться на БМП, на БТРах, стрелять из пушек тяжелых и лёгких — по врагам трудового, по врагам советского народа, по империализму и его агентам — прорываться, как устремлённый со стелы в небо серебристый МиГ, и гордо с небес светить красной звездой нашей Родины...

пиарщики-студенты оказались девушками. лишь два парня на всю аудиторию. девушки разулыбались сразу же при нашем появлении, да и мы вошли в роль деловитых вояжёров. этакий семинар на колёсах. начал Илья, но как только пошли вопросы — такой степени бестолковости, что улыбки с наших лиц уже не сходили вовсе — пришлось вмешаться нашему «турецкоподданному» (на самом деле лишь наполовину армянину) Константину.

и вот сидим в этой просторной угловой аудитории, рассказываем про наши рискованные акции, про «Вову домой», про комсомол, про МЛФ — а за окнами качаются берёзы, подъёмный кран стоит, стройки некие вдали, элитного жилья, небось. красивая, в стиле времён Ивана Грозного, тёмно-русская девушка с ближайшей парты смотрит куда-то мимо нашего президиума. а речь-то о коммунизме. по мере вхождения в тему, после звучания смелых слов Ильи об антипутинской позиции, акциях, нашем взгляде, на который девушки уже начали отвечать испуганно-восхищёнными, стихия разволновалась и открыла окна, сквозняком — дверь. мы весело закрыли всё, дверь я посадил на тряпку. и снова — к теме.

парни с задней парты говорят сперва, что коммунизм — это прошлое, и радуются, что сие навеки невозвратимо. с другой — коммунизм, говорят, утопия. то есть — он и неизвестен им (как утопия), и уже был реализован (в прошлом) — такой парадокс. посему не зря вмешался Костя — саркастически и сократически почувствовав, что накал аудитории дорос до дискуссии, до содержательного его степендиат-философского вступления — сказал: «Таак, ну, давайте поговорим!.. Дима, вставай...» всё это напоминает сразу же «стенка на стенку». но Дима не встал, продолжая выполнять роль симпатичного комсомольского команданте-статиста, и правильно сделал: ведь Костя повёл студенчество в библейские дали и, конечно же, к аналогиям меж христианством и марксизмом, а тут бы мы разругались, что для агитации не подходит по жанру. Лиля подтвердила мои сомнения — я в дискуссию с высокомерными тамбовскими пиарщиками вламываться не должен, иначе надолго залипнем, а у нас ещё встреча со здешним лидером СКМ.

девушки-пиарщицы ответили Косте на его длительный и любопытнейший экскурс в марксизм и Манифест Маркса-Энгельса адекватно — спросили, сколько ему лет. он их успокоил, что успел побыть в восьмидесятых и диссидентом, и в КПСС его не приняли потому, что жена в другом городе живёт. каверзные юноши спросили, пользуемся ли мы в предвыборье чёрным пиаром, имея в виду «Вову домой», мол «ай-ай-ай» — видимо, это весь объём полученных ими знаний об искусстве пиара. скуку от таких деревянных вопросов почувствовали вскоре все: и студентки, и мы. но разговор продолжился, из которого выяснилось, что все будущие пиарщицы по убеждениям демократки, голосовали за СПС, мечтают

стать пиарщицами банкиров (хватит ли на всех?) и вот прямо сейчас принять их в комсомол мне (театрально, в такт полезшему за значками в карман — а там действительно значки Саранска и Эрзиза:) не удастся. кое-как закончили разговор. вышло — мы им про эмэлэфному, они нам — свои идеЕрёмные сомнения. на очередное наше «давайте» толстая говорливая будущая пиарщица оборвала:

— А давайте у нас уже пара сейчас будет?!

парни, задававшие каверзные вопросы, как только вышли из аудитории, высказали уважение и пожелания так держать. красавица времён Ивана Грозного оказалась и вовсе фотомодель фигурой: весьма длиннонога и понтова, выступает будто пава в высоких облегающих ляжки сапожках и мини, такой не комсомол и не коммунизм — такой мужа крутого подавай, при баблосах и при амбициях явно не провинциального масштаба. во дворе универа, который виден с лестничной клетки, оказался тоже склад военной техники. прямо на складе оружия стоит вуз — жаль, убеждения не позволяют, не привлекают внимания студенчества к этим ценностям. для них это — металлолом, адёе оружиеё.

долгое выходит прощание в длинном вестибюле универа, тут некая зазывалка-инсталляция, посвященная одному местному факультету. и девушки ходят полногрудые такие — добрые и плодородные, прямо как чернозём, которого мы чёрной ночью толком не видели, сюда едучи. всё ещё с нами музыкант-«Моби-Дик». с ним здороваются студенчество, знают. трудно его представить с гитарой, любая гитара его перевесит, потянет к земле неминуемо — наверное, клавишник (или ударник?). девушки и тут ходят соблазные, цивилизация в Тамбове — как и повсеместная, мода, сленг, вид... афиши довольно известных составов. мобидикер ругает ГО за барабанщика (Андрюшкина), что метроном не держит. отстаиваю того — как виртуоза триолей. на «Отпетых мошенников», говорит, пришло человек сто только — не любят рэп в Тамбове. а выступить тут нам — вполне возможно, там же, где и ГО, в «Спутнике». и все эти слова — на фоне величественной воентехники советской: собранно молчаливой, интеллигентной, справедливо грозной. эх, поганое, парадоксальное потомство — как варвары на руинах собственной империи! ведь это могло быть оружие мировой революции, победы над США... языком революции стал бы ваш. а вы — Моби Дик, рэп, хард, рокынролл, харлеи. культурное пленение — параллельное политическому, формационному. этим живут, в этом проживают, доживают до седин — такие археологические демократы седопатлаты. даже в Тамбове.

едем на вокзал — говорить с персеком СКМ. ждём долго, в машине, нас парковщики отгоняют влево, к стоянке от лестницы, не путаясь помдеповской ксivy Ильи... правильно отгоняли — туда автобусы тут же понаехали рейсовые, городские. у входа в вокзал пахнет торфом и вкусно хлебопекарней, покрикивают бабульки про автобус до Москвы — значит, мы уже в Твоей досягаемости. снова мороснУло. из дверей вокзала появился, снял приветственно кепку низкий лысоватый юноша с портфелем а ля пятидесятилетие, извинился за опоздание, повёл вверх вокзала, где можно поговорить. сели на прогибающиеся, в дырочку, бежевые железные сиденья — с «вентиляцией», в евростиле, без дерматина, который

впитывает бомжовость... говорит он точь-в-точь с теми же интонациями и придыханием, что анпиловская смена М. Донченко. разговор вышел короткий и бес-толковый — мал СКМ, а прочих организаций, как и в Саранске, по его наблюдениям, почти нет. одна НБП что-то делает (радуйся, Лимонов).

мэйл-@дрес пролил свет на сущность лидера и его немошной организации — redgoblin @ что-то там... красный гоблин — точно! маленький, лысенький, красненький, говорит поспешно впопыхахшно, грустно, извинительно будто б. зачем-то я ему подарил диск. может, с последней надеждой на оздоровление организации. и вот конючит: ни помещения, ни помощи, ни людей... когда спускались — снова извинялся за опоздание. но я оставил его товарищам — бегу смотреть, нет ли в газетном киоске «Завтры» с моей статьей про глобалайз. нет. «Совраска» есть, а «Завтры» нет.

дружно, помахав гоблину, в машину — и куда-нибудь перекусить, после гоблина стали все злее и голоднее. да ещё и кафе никаких на магистрали, от вокзала идущей прямо и вниз. первую же пиццерию приветили и срочно в нее побежали.

странное дело: и здесь, в Тамбове, есть этот цветастый пластмассовый стилёк макдачный — элитные детишки, папашки их одутловато-румяные. элитные, заплаченные из их густых кошельков радости. прямо тенденция — после респектабельной и сексапильной «Славянской»... не ожидали такого встретить тут. специальная вип-комната, где детишки-девочки с подкрашенными глазками празднуют чей-то день рождения, наивно и мимо поют в караоку. долго что-то мнётся у прилавка, за это время успеваем привыкнуть к громкому мультяшному говорку принимающей заказы девахи с лягушачьим ртом. она акает, хотя неместный это говорок: насколько я успел заметить, тут его почти нет.

недолгое пребывание в туалете, мытьё и сушка рук... ещё один штришок к стилю: над сушилкой, дабы сушащий ладони не скучал — бумажка с анекдотом. смысла я так и не понял, что-то про рыбаков и про ловлю на халяву, на мотыля.

выбегаем когда — замечаю сходство места с Калининским проспектом, будто мы из «Новоарбатского» вышли или из «Юпитера», «Метелицы»...

последняя в Тамбове встреча — возвращаемся к университету и его военизированному стоячему десятилетия тут конвою. разговор с тем самым товарищем, который плакал, когда ему дарили бюст Ленина. он высок и крупен. преподаёт в универе — хотя такой бы мог оказаться и в бизнесе. забиваемся с ним в придорожную кафешку деревянную. весёлая официантка, в кратчайшей юбчонке с пропорционально её окантовке полными ногами, принимает смешной заказ: семь порций чая с лимоном. идёт к бару, играя бёдрами под условной юбкой (как у футбольных американских подтанцовщиц). потому что в кроссовках. Лёня её, наперекор моим и Лилиным подкалываниям-ожиданиям, не оценил: «Какая-то Манька-Облигация».

разговор опять скучен и непродуктивен, да и плохо слышен из-за музыки, которая бесплатна и громка: большой человек из КПРФ жалуется на то, что его отнесли к семигинцам, что будут тут скоро чистки, какой там МЛФ... чаёк — го-

ряч, горек и бодрящ, лимон делает своё дело. сейчас сядем в нашу капсулу и рванём до ближней Рязани. местные немолодые люди посещают это местечко — покупают горшочки с похлёбкой (наверное, такой же, как мы в Родниках угощались), парни бандюганского возраста водку с газировкой пьют, восточные мужики что-то отмечают у входа...

чай обошёлся нам нехило дорого: в сто пятьдесят рублей почему-то. выходя, держу сильную дверь, пропускаю всех. переходим местную магистраль невпопад, как в Москве, без оглядки на светофоры. как приятно вновь залезть, плюхнуться пятой точкой на моё пятое место «на колесе», раскидать прессу, набранную за время пути, там где-то и недочитанная обгрызенная «Лимонка»... Тамбов медленно растворяется — от серых жилых массивов к деревянным старожилам, заборам, складам. и вот поля уже, а наша змейка-путь елозит, мы едем профессионально быстро, недаром Илья снова у руля.

вот он, наш чернозём — прямо чернослив, а не почва. такую землю немечкая фашина вывозила вагонами в Фатерляндию. почему-то вспаханы поля односторонне, только справа от нас. солнечны и лучезарны дали, где леса расступились... опять стоят пустоокопные разорённые коровники, опять обломки комбайнов мелькают на хоздворах у шоссе. следов от комбайнов «Нива», красных, с гордым выгибом груди и задними «знаками препинания» для утрамбовки сена — вообще нет. обломки Эпохи, мной ещё виданные в собранном, рабочем состоянии в Подмоскovie и дальше — в Сычёвке, на границе с Китаем, на Алтае, в конце восьмидесятых. успел объехать, увидеть тебя работающей и плодородной, Родина, до девяносто первого — чтобы знать теперь, за что боремся.

а мы летим, взлетаем по шоссеиным горкам и ныряем в спуски, слушаем Лёнину кассету с советскими песнями, в основном комсомольскими и стройотрядовскими. в который раз — «Радостный строй гитар...». был же и Градский когда-то оптимистом-коммунистом, хотя бы в голосе. пролетаем малые селения. наша скорость, наш вид не позволяет догадаться местным жителям, кто это несётся в серебристой коробчонке, какие тут песни звучат. эх, родные...

как-то чернозём меня расчувствовал — на «Звездападе» самоцветовском, как раз когда проезжаем очередной посёлок и у центрального административного здания — памятник маленькому Ильичу — даже слезу выпускаю. «Звездапаад», — кричит на закате песни девушкиным голосом далёкая, не наша молодость, Эпоха. как хочется туда?... да нет: не туда именно хочется, просто хочется продолжать в этой тональности, эту эпоху — эпоху тех, кто «смелые смЕли и их не смЕИ». (да, наш «Эшелон» — вперёд лети!) проломиться сквозь десятилетия, забетонировавшие брежневским стилем это радостное время — сквозь наше предательское лихолетье, угощающее этот бетон. время — не назад, куда ведёт контрреволюция, а время, вперёд! туда, в мир прекрасных, общительных, сияющих девушек, неожиданных надеждfull встреч, новых строек, домов культуры. всё, что отняло у нас время, свернувшее не в то русло, всё это нужно, нужно, нужно!

вот и мы смеем, сёла вы наши пролётные, мы, залётные — смеем думать не как в Кремле, а против Кремля, против этой разрухи, на которую вас обрёк

Ельцин-капитализм да законсервировал путинизм. мы вас освободим, сёла с маленькими Ибичами, мы — маленькие Ильичи — вновь наполним вас жизнерадостью молодёжи, созидательным оптимизмом, работой, возведением социализма, наконец. так велят песни, так велит прорыв двадцатого века в социализм, подталкивающий нас в спину, подгоняющий серебристо-замызанную машину, нашу «тойоту»-Антилопу. так велит наша совесть наследников Октября. красных, оптимистов, атеистов, интернационалистов. прорваться! сквозь эту дремучесть, сквозь безнадёжность, захолустье, бездорожье и безденежье. и для этого, сейчас слушая и слезясь под «Звездопад» (которому ещё во мне кавером своим подпевает укоряюще-героическим своим Егор Летов), мы готовим рывок в революцию. и взойдёт на этом чернозёме наш урожай.

какие высокие там обрывы впереди — тектоника никак. на краях обрыва — бревенчатые хмурые дома да посветлее церкви, всё как раньше. стоят молельные, стоят вековые: глядят с обрыва на нашу дорогу, бегущую, как время, мимо них. а они стоят и стареют — медленнее, чем кто-либо ожидает. даже церкви нереставрированные — и те лишь веками, не десятилетиями, изнашиваются, ветрами, подвижкой почв, сползанием к обрыву...

по краям нашей трассы пошли аллеи, похожие на итальянские. какой-то лихач местный воспринял нашу «тойоту» с московским номером аки вызов своей «девятке»-«Ладе»: мы его обогнали, как многих, а он догнал и едет впереди, дразнит задом. только норовим высунуться и обогнать — ать, машина на встречу. и, главное, быстро за ним несёмся — если резко затормозит, то смятка неминуема.

так, альбом «Эш», вроде бы, инструментально дописан... допишут ли без меня? протянут до осени, лентяи. а ведь быстро летим по горкам. азартная это игра. причём у нас-то преимущества скоростные, но дразнилка на «Ладе» берёт тактической хитростью, не отрывается, но и не выпускает вперёд, так и гоним, весёлые соревнования на трассе. говорю Лёне:

— Так, ну, доставай базуку, что ль...

Илья смеётся, но не отстаёт, всё надеясь обрулить дерзкого провинциала с задним тонированным стеклом. ситуацию разрешила смешная случайность — впереди выстроилась короткая очередь, заканчивающаяся милицейской машиной с мигалкой. сколь понтовый с равными, столь же трусливый с карательными, высшими, провинциал этого испытания не выдержал — притормозил, уткнулся в очередь, а мы лихо просвистели мимо всего паравозика — у нас же ксива помдеповская. и никаких знаков, свистков, сирен нам вдогонку: главное — неожиданность и уверенность.

из-за того, что подъезжаем со стороны железной дороги — ощущение близости начинающейся Рязани к Москве. Лёня, говорит, тут жил. много домов сталинского периода, изобильного декора, в свете закатного солнца они приветливы и горды — но вида выцветшего, с подтёками и проплешинами. их явно давненько не красили.

сразу же прорубаем к центральной площади и ДК. здесь всё кажется уже почти московским — даже глуполикий, упрямый молодняк, стучащий скейтами по асфальту. прыгнет с доски своей, уронит её — глотнёт пепси. вот и занятие, вот и досуг. к нам наконец подошли парни: один, густо-черноволосяй мелким бесом правозащитник, сел в салон и направил к месту, где пресса нас ждёт, а мы на час опоздали.

Рязань, как и Ярославль, отмечена только стенной росписью нацболов «не ходи на выборы» и ещё РНЕ рисует свои проросшие костлявые свастики — «Россия, пробудись», «смерть исламу»... я не разглядел подпись и разругался, что это НБП рисует — мол, пусть потом не говорят, что свастика не их символ, но молодой правозащитник поправил: действительно не их, а РНЕ. всё это недалеко от входа в воинский вуз, мы же — в другой вуз входим, который напротив.

вот, под конец вояжа — раздухарились: хорошо поставленная речь, ровный президиум, докладчик Илья стоит и пальцами бородку тревожит в повествовательной задумчивости. и Лёня вовремя вернул про профсоюз МАИ, и я превентивно осаживал критику либеральную, сомнения в марксизме крыл советскими козырями, и Костя опять прочитал коротенькую лекцию по поводу актуальности марксовой социологии. от страстности наших выступлений один седой костлявый дяденька проиндуцировался и задал яростный вопрос: а не хочет ли МЛФ заняться тем, чего не делает Шойгу, — помогать медикаментами, попутно рассказал истоки собственной обиды, его институт на мели, их аппаратуру МЧС не покупает... о, сколько их тут, обиженных и от обиды умами повредившихся! и ведь объясни им всё, не нервничая, не зашкаливая агитацией — распропагандируй демократов этих честнейших, убеждёнейших, антиталитарно философствующих! что мы — движение молодежное и политическое, а не «Врачи без границ». Костя, пока я ещё вдыхал воздух для ответа, шепнул: «Только спокойно, поспокойней».

но беседа в целом удалась и пошла со второй половины по конструктивному руслу — уже сконструировали взаимодействие со считающими здесь себя левыми нацболами, с правозащитниками и Комитетом солдатских матерей, который методично закрашивает свастики РНЕ, что показывают по телевидению местному — а фашня возобновляет свои орнаменты на тех же местах. долго обмениваемся всевозможными адресами, уже перешедши в деканат для чаепития: милая девушка Ира с совершенно рязанской внешностью, русая, коротконосенькая, веснушчатая и круглоликая, задумчивая и внимательная светлыми глазами своими — из Комитета солдатских матерей и экологов — тоже наконец открылась общению со мной. а нацбол жаловался на конкуренцию и необщительность с лидером рязанского СКМ, Эвелиной. но надеялся, что после наших просьб — сговорятся.

из вуза вырвались — договаривая со всеми уже на улице, глядя нежно и приветливо на рязанских пыльных серо-пятнистых кошек и бурых собак, что группируются отдельно, но равноудалённо от контейнеров, в закатном пятнистом тепле. девушка Ира, со всё ещё держащейся на лице улыбкой взаимопони-

мания, такой загадочной малость, отделилась от группы и пошла домой, помахав нам на прощание изящными пальцами. мы же — рулим на встречу с командованием рязанского СКМ.

оказались на некоей окраинной улице в спальном на вид квартале. вскоре вдаль показалось командование. восточноликая выющеволодая брюнетка Эвелина одета ещё по-зимнему, зато импозантно — меха воротника её жгучей масти идут. простота в общении Эвелинина ещё больше нас к ней потянула, оценил её и Илья: она назвала ближайшие кафе «рыгаловками», что долго нас веселило, мы все пытались снова спровоцировать произнесение ею этого словечка — так вкусно, запанибратски и шутливо.

в конце концов (а вояж как раз этим и завершается) — идём в ресторан на местном Арбате, вырулив туда немыслимыми дощатыми закоулками вслед за таксомотором, который Эвелину и её спутника повёз. снимаю тяжёлое зимнее облачение с Эвелины и сдаю в гардероб, глаза её искривлены и коварны. Илье говорю, пока шагаем в зал-едальню: «Какая фемина!». ресторан оформлен в лучших традициях новорусского мещанства и Реставрации: твёрдые знаки в самом блёклости названии, на стене в нашем вип-зале, куда мы попросили подать вина и самого быстрого приготовления блюда (колбасное ассорти со свежими овощами), — идилическая фреска, которую можно назвать несколькими названиями: «Рязанская буржуазия у городского пруда», «Элитные народные гуляния» или «Лебеди на волшебном блюде России, которую мы потеряли».

застолье весёлое, Эвелина без шубы — полненькая, красивая и непосредственная. все представились, я — как поклонник всего прекрасного, проакцентировал взглядом: кого именно в данном случае. Илья тоже сфокусировал восточную красавицу, которая при всём очаровании и весёлости успевала насаживать всё новые и новые кругляши колбасного ассорти, закусывая их перчиком и запивая вином. потом приносят долгожданное мясцо с ничтожным гарниром, следующие бутылки вина... Илья явно уже решил расслабиться, не думая о последнем рывке, а уже под десять часов, ехать при этом не менее трех-четырёх часов. мы с Лёней поняли друг друга с полувзгляда: он примет рулевое управление своего авто, поэтому и не пьёт. родную Антилопу-то жалко вверять. после двукратных окликов на тот конец стола «а не пора ли?» с моей стороны, на которые Илья недоумевает, и просьбы Кости, понявшего мезансцену, к официантке — принести счёт — дело медленно трогается. для этого мне приходится выпить добрую половину бутылки Кинзмараули, дабы меньше расслаживались Илья в беседе с Эвелиной. да, магнетическая девушка. при этом — любит вкусно кушать.

местный Арбат, как и наш, изобилует оставленными на тротуарах бутылками — прилив санитарного чувства заставляет меня переставить одну из них к урне. очень долго, несколько раз усаживаемся в машину. но попрощаться вылезем. очаровательно-восточная, коварнейшая Эвелина спрашивает:

— Как, Дим, и ты тоже уезжаешь?

— Нет, я собирался остаться...

отвечаю её коварству на голубом глазу со скрытой шутливостью, а сам выдумываю посмешней отговорку — мол, газета «Правда» ждёт и тэ дэ. а она говорит, соблазнительница, что сейчас — самое бы время погулять тут, полазять. ух... но — ехать. сажаем одного из её подручных, который местный корреспондент «Правды» зараз — и он нас направляет. вывезли беднягу за черту города, где он, всё скромничая и чаруясь сопутствием с нами, признался, что ему бы уже вылезти — а то долго возвращаться придется.

экий жгучий Кинзмараули! так в животе и щекочет и бултыхается. нет, остановиться придётся — дабы с ним расстаться, выструтить его. за перекрёстком, перед которым мы высадили рязанского спецкора, — бегу в лесок, к бывшей какой-то оgrade и сладострастно изливаю, много и медленно, всю нашу винную вечерю, красное осталось во мне, земле — обесцвеченное, гармония.

уезжаем из электрических пересветов рязанских — по широкому шоссе, к Тебе. несёмся быстро — Лёня торопится и сам: жена его приревновала при последнем телефонном разговоре. возвращаемся, дальние ангары на холмах, поля и сёла — наш разговор мы в стемневшем дне весеннем прекращаем временно, но возврат сюда обязателен. как и договорились с Эвелиной — концертный визит будет. скорее всего, на Антикап.

а как же иначе, вечереющие поля и деревни? ведь бытие, тут устаканившееся — унизительно, прозябание это. проглядели, как историю повернули, вывернули в другую сторону. и вот воздвиглись хозяева мира сего — бензоколонки, глупые пластмассовые магазинчики. хорошо, что мы их быстро проезжаем, пешее восприятие ещё более злит. а мы — минуем, это помогает думать в нужном, революционном направлении. в направлении Твоём, Столица, — мы возвращаемся обновлёнными, вдохнувшими свежего воздуха, вобравшие взгляды спорщиков и единомышленников, жгучие, требовательные и страстные взгляды пензенских комсомольцев, комсомолок..

менять, революционизировать нынешнее устаканившееся в путинской стабилизации бытие — где мера всего деньга. и гребут её бензоколонки, нефтесосы, и магазины — и нищают, вымирают колхозы, деревни, заводы малых городов, доразваливается советская индустрия. ловушка в том, что и СССР не избавился от денег — поэтому переход, возврат капитализма с этой мерой труда и благ оказался незаметен. но с государственными монополиями было всё проще, деньги были символичнее, нежели теперь.

мера всего и вся — деньги. все эти придорожные, пришоссейные постройки — пестрят вывесками, услугами, продажей. огоньки эти зазывные горят за деньги, сжигают энергию, сжигают средства на эту энергию денежные. всему мера — рубль, а над ним надзиратель в тридцать раз его выше — доллар. и человек измерен деньгой (затрата сил, ума, жизни), и дома эти, и скорость наша — сжиганием бензина — тоже ей исчислена. всё движение это электрическое, энергетическое, разнообразное, встречное, ярко-фарное, поспешное — имеет параллельный подсчёт в деньгах, бегут колёсики счётчиков. жизнь, прокорм, времяпрепровождение — всё на этих счётах исчисленное, всё уложено в счётное

множество. а конец этого счёта — исчезновение потребителя из мира товаров и услуг, аннигиляция индивида. и она же — в переводе результатов индивидуального труда в денежный эквивалент.

сколько заработал — столько потратил. кто решает, какова ценность моего труда, моего слова, моей мысли, моего действия? те, которые самые богатые, — понравилось им, значит, нужно, значит, дорого будет стоить. а мятежное — стремящееся перевернуть всю эту систему унижительного денежного исчисления бытия? как оно вам, приватизаторы? почём заплатите? я заложу свой пластид и детонатор в книгу. и вы её прочтёте. и вы за неё заплатите. такова воля революции. такова революция воли человечества.

чудовищная цифровая субреальность — эти тёмные сказочные леса, земля под старыми посконными домишками с наивной старообрядческой резьбой на наличников, придорожные квадратные метры: всё это имеет рублёвый эквивалент, измерено рубликом вдоль и поперёк.

и как возбуждают, вероятно, эти виды, эти деревья господ, освоивших метод оцифрения, цифровой трансформации природной и рукотворной Реальности в деньги. и леса уже не леса — а сырьё для того австрийского лесокombината в Ивановской области. и деревни — декорации, тут можно вдолбить либо добычу чего-нибудь, либо элитный развлекательный комплекс, в который будут ездить другие господа, переводящие нефть, леса, ископаемые, чужой труд в свои капиталы, аккумулирующие этот денежный эквивалент в своих карманах и переводящие его в наслаждения для тела, для замысловатого своего сознания. и таким «стабилизация» сделает весь наш, ещё вот такими местами отдалёнными хоть и пост-, но советский мир.

эти новые существа прут, множатся в ожидании своего будущего, на этой дороге истории, на этой, словно в «Матрице» светящейся только условными огоньками действительности: увесистые, щекастые, кошелькастые из мужской половины и грудастые, бедрастые, сексапильные их мадамы. смуглые, проваленные в соляриях, накачивающие искусственными упражнениями в фитнесах и силиконами себе сексапильность, привлекательность для себеподобных или более высоких, мясистых по уровню доходов. они будут востребованы, make yourself. дабы жить по тому счетчику славно, без беспокойств, в довольствии и счастье — если не замечать и не осмыслять встречающиеся за окнами реалии чужой нищеты.

нефть, которой пропитана подземная вечность России — вот кровь экономики нынешней. но она питает неравномерно население РФ. толстыми струями она вливается и превращается в изысканные бальзамы в жилах приближённых к нефтедобыче. как они благолепны! какие они испытывают наслаждения — мы и названий-то этих не знаем. ищут более сложных путей раздражения своих рецепторов. а встречаясь на улицах с бюджетниками, недоумевают: как это, эти рудименты, эти потусторонние существа, наследие непонятного социализма — ещё живут в своей системе ценностей, ещё работают за бюджетные гроши, ещё к чему-то стремятся?

да, стремимся. мы из этих, из бюджетных. но стремимся не как-то, художбно просуществовать при вас — а изменить, низвергнуть принципы вашей социальной иерархии. мы, готовящие вам невиданное аутодафе, — вам, жирдяи, нефтяные вампиры. и революция грянула бы раньше, но пришёл странненький рациональненький «силовик», затормозивший сближение, столкновение глыб наших классов. Путин — лишь менеджер, попытавшийся на пиратском, на индивидуалистском постсоветском мародёрстве надстроить, запустить, чтобы хоть как-то работало государство, предназначенное, даже по буржуазным канонам, не только для этих бурно развивающихся тяжелотелых мутантов. чтобы нефтепродукта в денежном эквиваленте через казну-бюджет досталось в необходимой для выживания мере и тем жителям деревенок, городов с вымирающими заводами, с неизвестно для какой работы готовящими по советской инерции вузами...

страшная картина будущего в этой электрической ночи встанет там, где уже ничего не видно: позади нас, в регионах-донорах. впереди же и западней — красавцы-гипермаркеты, салоны красоты, аэропорты, аквапарки, элитные коттеджи и кварталы: идеал Путина, идеал «Мегафона». но для кого? нефть будет питать не только мясо олигархов, но потечёт и в жилы индустрии эрэфии, все помирятся, успокоятся и будут вместе строить капитализм. но, чем толще гипермаркеты — тем ужимистей, нищей деревни, малые городишки, в которых тоже супермаркеты выживают магазинчики старые. но одинаково строить капитализм бедный и богатый не будут, а без нефтяного допинга существующая классовая структура хрустнет в мгновение, и ее растопчет новый пролетариат — восставший и воссоединившийся советский народ, возвращающий себе советскую землю и социалистическую собственность. а пока частная собственность как глобальная эпитафия на надгробии СССР позволяет, легализует происходящее: где мелкий собственник не сопротивляется крупному, не сознает себя бесперспективным пролетарием, мирится с олигархической иерархией.

с лесов сползаем вниз — учащение огоньков предсказывает города малые, раздвоенное на некоторое время и пространство шоссе сдвоилось обратно, и фары встречных снова обжигают. Лёня не владеет интеллигентским жестом потупления фар-очей при встречном потоке — как и они сами, это делал только Илья. автозаправки учащаются — Ты скоро, значит. огни уже постоянно мельтешат по бокам, снова мелькают слева и справа бензоколонки Сибнефти, ЮКОС всё реже. громоздятся эстакады...

и вот уже Ты. хоть ещё не началась, но знаковая окантовка дороги не выпускает, постоянно напоминает, строчит знакомыми именами ближних подмосковных городишек. но, миновав отметку сорок километров, как назло — поймали несчастным левым задним гвоздь. и как раз — ровно двенадцать часов. племяш мой весёлый Алёшка (отец уже, блин, в отличие от засидевшегося в девках дяди) с Серпуховки прислал СМС — Христос, говорит, воскрес. воистину, судя по нашей аварии. и снова Лёня не может выкрутить все гайки. и домкрат не помогает — одна никак не скручивается, аж ключ сорвали. и хоть кто-нибудь остановился бы.

холодно, надо шарф и шапку надеть всё же. смешным привидением дефилирует Лиля, завернувшись в Лёнино салонное одеяло. ставлю сигнальный треугольник: этот участок шоссе плохо освещён. какие-то домишки вдали тенями на фоне тёмно-синего неба. напрягший всю свою сибиряцкую мощь Лёня пыхтит и выбивается из сил — никак. и никто не реагирует на жесты: боятся, небось — ночь, много людей у машины, не инсценировка ли. неужели весёлая непосредственность Лили не отгоняет таких страхов? пробуем вместе с Лёней — никак. слетает. Лёня пинает ключ ногой, как стартёр мотоцикла — отваливается ещё быстрее. да, чтобы в Тебя прибыть — не просто хорошо ехать надо, а вот пройти такое испытание, полчаса помёрзнуть. и даже Лёниной мощи недостаточно, чтобы отворить ключом этот неожиданный замок. первый остановившийся — не имел ключа подходящего, попросил прикурить от Лилиной зажигалки и уехал.

второй добрый человек оставил нам свой ключ, так торопился — и дело всё-таки пошло. сняли колесо: в нём словно точно, аккуратно вбитый — гвоздь, точнее, его шляпка. ставим незаменимую, в который раз, запаску. быстро теперь уже не поедem, дело хоть и к часу ночи. в салон — греться. и медленно набирать долгожданную скромную скорость, осторожно вливаться по Твоим эстакадам и развилкам в окраины. Лёня остановился метров через триста — проверил — не отлетает ли запаска. глюк. дальше — домой, домой...

так завершается наша сказка странствий: вокруг возвращаются, снова вступают во власть едва различимые Твои масштабы, свои традиции сочленения, выправки домов, освещения, вывесок, тротуарно-стенных соотношений... завозим в Ясенево Лилю, потом к Академической — Илью и едем втроём вдруг по Кутузовскому. в ночной Тебе, словно в безвременье какого-то очередного, но непрерывно, сонно узнаваемого — то по рекламам, то по номеру маршруток, значкам метрополитена — города. пусть быстрый Кутузовский поёт нам сталинизмом, узорами, вплетёнными в изобилие звёздами — когда нет машин, центростремительная Твоя сила нарастает и расстояние от Нескучного до Александровского сада пролетает мгновенно. решили рубиться через центр, мимо «Ударника». привет, Ленин, выросший из масс на Октябрьской площади — привет маленькое Садовое кольцо, ведущее и слева, и справа домой. только слева — ближе, роднее.

и дальше, в этой рассвеченной ночи, среди пустых улиц и молчаливо приветливых домов Якиманки, Полянки — тем же маршрутом, после «Ударника», как мы с Лёней возили первые номера нашей газеты. было-то недавно, а — целую политическую страницу назад.

легко пропускают серый набережный дом, мост и Кремль, на мосту, которым ходим в дни демонстраций даже мои шепотливые весёлые скандёжки «Красный флаг — над Кремлём!» и «Завер-шим ре-формы так...» не тревожат сосредоточенности развозящего нас Развозжаева. фамилия его, кстати, производна не от «возить», а от — распустишь, ослабить вожжи: Гуляй-поле, короче говоря, вольница сибирских лихих мужичков, кто-то из его предков был атаманом.

пересекаем Тебя-реку с невидимым, всегда неожиданным, словно вращающимся, расположением возвышений — светящегося редкими окошками домика в Староваганьковском переулке позади Дома Пашкова, высотки МИДа, «Пентагона» (башни с пятиконечной звездой), книжного ряда Калининского и всего, что правее, к моему дому ведёт. да, кузен Леонидас: ни Манежа, красовавшегося шлемами римскими ритмичными под крышей, ни гостиницы «Москвы» теперь нам не увидеть в былом величии Столицы — покрыты вдовьими зелёными вуалями и медленно «растут вниз». горелый Манеж просвечивает хмуро — показывает желающим отомстить за всё лихоletье Кремль: он теперь доступнее взгляду и прострелу, особенно из имперских развалин. «Москва» — огрызается старческими распатанными клыками, светит исподним, неприличным для такого здания — кафелем санузлов во всю высоту стояка, разными цветами стен на разных этажах. эпоха государственной разрухи. тебя мы и пришли судить — мы, наследники СССР. впитаем всё унижение, воспламеним его как нефть — ту, что всё же досталась нам в жилы через бюджет, — и восстанем.

раскалённая светом и блудом, моя Столица, мы освободим Тебя. Ты уже разрушена ими, а той, что Тебя планируют они — пятизвёздочной, комфортной для своих утех, буржуазно отреставрированной — я Тебя и представлять не хочу, уж тем более видеть, свидетельствовать, современничать. значит — борьба. значит — революция. и значит — встанет новая «Москва», ещё выше, ещё плечистее. а торговый комплекс подземный, «Охотный Ряд» который — будет многоуровневым музеем Тебя и Твоих революций. с выходом в Манеж — в век дореволюционный и прежние.

заезжаем влево с Леонидасом, будто газеты везём — на пустую Большую Дмитровку, как два года назад. быстро пролетают все мои дома-соглядатаи, собеседники, с которыми делился счастливыми взглядами и мыслями после встреч с тобой, моя прошлая девочка. будет ли новая? приехала ли? спит уже? она на тебя похожа — но она словно развёрнутая твоя идея, это с первого взгляда видно, а был только первый взгляд да четыре часа от силы с нею общения. возвращаюсь к ней, к Тебе и... к борьбе. и, главное, она понимает смысл этой борьбы, её глаза смотрели в правильную сторону, туда же, куда наша мечта. Дмитровка Большая пропускает под высоко нависшим модерном бывшего «Чертёжника», напичканного теперь ресторанами, вывеска диетической столовой всё висит, не светится только. вся она, Дмитровка, ремонтируется, латается — щиты и фонарики. и ночной безлюдный СовФед — как раньше, когда мы с Леонидасом привозили сюда наше НО. быстро подбегает и Нарышкинский сквер, начало Страстного. Лёня почему-то приземляется налево. выбираюсь неуклюже, долго подхватывая дипломат, шарф, шапку. странно прощаться с привычным уже салоном нашей «тойоты»-Гну и ручаться на раздельную ночёвку с Костей и Лёней, что понесутся теперь по Ленинградскому...

несмотря на тусклое световое пекло — да, в Тебе всегда теплее, чем за Твоими пределами, — прохладно, шапка не лишняя. как некий обжёванный долгой дорогой бомж выгляжу рядом с двумя путанами, которые нарочито и са-

мопредлагающе здороваются с неким подъехавшим на джип-мерсе. да уж, я их избыточные в дорожных одежах прелести и занимаемое этим телесным торгом пространство огибающий — лишний на данном «празднике жизни». значит, надо от исходных данных — решить задачу, привести сии нежелательные элементы в новый вид, поставить в новые условия и сконструировать из них ответ. ответный ход — не побоюсь повториться. после которого — не будет ни путан, ни их клиентов на таких шикарных индивидуальных авто, занимающих место целого грузовика. а будет вместительный, на пол-улицы салоном, общественный транспорт.

шаги по плиткам Страстного бульвара обнаруживают странное кажущееся торможение — привычка нестись с помощью колёс и видеть быстрое приближение к себе впередилежащей дороги, словно некая инерция, толкает переключить скорость. но — иду. второй час ночи, а на лавочках сидят, бдят обитатели Твои, пьют и глядят — молодая шумная компания, мой проход в чёрной кожанке как метеор воспринявшая, не глядяваясь.

шагаю как с работы — и именно с работы, новой партийной работы, только на которую не как прежде — ездил за триста километров в день, всё дальше и дальше по отходящему от Тебя сегменту, словно рисуя новое Твоё кольцо, отдалённое на 300 км, северо-восточнее, а потом — южнее.

возврат на автоинерции и сонный взгляд будят знакомые масштабы и знаки — только с лёгкой отвычкой от них. Высоцкий на месте, загораживает руками путь на Страстной и спрашивает своей хриплой песней у Небесного — замечает ли без золотой цепи? и всё Твоё — маленькое, свёрнутое, как обычно после отлучек. да ещё и после привычки короткой к новым провинциальным законам и масштабам городов. без пятнадцати два ночи. простите, Петровские — завтра выйду к вам: вижу, всё тут то же — маленький темнооконный трёхэтажный угол, от него через проезд зелёная растяжка, ресторан «Бульвар» на месте бывшего рыбного. светофор хоть и не зелёный, а красный в сторону Каретного, но пойду — от Трубной никто не едет. до встречи завтра, в свете, в Тебе. 26 апреля 2004 года.

сюда, на улицу Орджоникидзе к дому-коммуне приближался медленно, годами. сперва — просто проходя по Второму Донскому мимо и наблюдая ещё играющих на спортплощадках жителей этого громадного некогда общежития. ощущался некий размытый, вытянутый за деревьями фронтально — дух времени, тогда ещё не локализованного моими знаниями об Эпохе, просто что-то из области «Покровских Ворот»...

но с появлением политического заземления эстетических восприятий — пришёл уже внимательно изучить дом восемь дробь девять, дом-коммуну Николаева. раз во второй или третий привёл комсомолку Катюшу, помнится — водил, рассказывал, незаметно соблазнял внутри... экая клаустрофилия у товарищЧя. но именно к домам Эпохи такое испытываю после Рабочей, 6, а этот — ещё более ранний, но пахнувший так же, древним исконным, тут век простоявшим арома-

том Эпохи — самый пик этот дом-коммуна, строившийся одновременно с Центросоюзом Корбюзе на Мясницкой. и есть определённое сходство — длинная плоскость, а за ней помещения с лестницами-пандусами.

ты, дом, ты, коммуна — только с лица узнаваемая как начало, как самый мощный и смелый разбег Эпохи. глядя в громадную, кажется, бесконечную плоскость, разлинованную окнами и лишь в середине и по краям ритмично отмеченную словно корабельными балконами со стороны Второго Донского — ощущение обнаруживаешь, что это громадная человеческая фабрика, что за этой стеной бесчисленная инфраструктура комнат, залов, учебных помещений. общежитие МИСиСа...

потихоньку разваливаются эти балконные тверди, просвечивают выкорчеванные, пустые этажи — ты разорена, коммуна Эпохи, пространственный текст, мне дошедший оттуда. обхожу под корабельными балконами, по часовой стрелке коммуны и обнаруживаю конструктивистский изыск, пожалуй, тут Николаев и Корбюзе затмил: при бесконечной фронтальной длине спального корпуса с комнатками по шесть квадратных метров, в которых во всех около четырёх тысяч размещалось студентов, по двое в одной — толщина этого корпуса ничтожна. она только — коридор и комнаты, больше ничего. метров восемь — вся толщина этой махины с лица пего-выцветшей, как дом на Рабочей, цвета Эпохи бежеватого, ар деко и конструктивизма цвета.

далее — переходный к столовой, библиотеке и спортзалу корпус, тоже теперь жилой, судя по окнам. а исконно, в бытность здания общежитием — тут были только душевые. прекрасная идея Эпохи — здесь ты разворачиваешься в этом архитектурном воплощении-замысле во всю величину. дом-машина для жилья. для жилья нового поколения, которое построит коммунизм.

поэтому — все эти тысячи молодых тел, проснувшиеся утром в небольших индивидуальных помещениях (которые не должны затягивать, удерживать, растаскивать коллективистское общество, а только дют ночлег), следуют через корпус душевых, освежаясь, любуясь мышечной красотой товарищей, вперёд. следующий корпус, замыкающий конструкцию, устремлённую к Твоему центру — кормит, учит и отпускает в МИСиС. но после душа — как же без зарядки? поэтому справа, если бежать от спальной плоскости, — длинные балконы с корабельными толстотрубными поручнями. здесь молодые граждане страны социализма, будущие инженеры-сталевары делают физические упражнения, вдыхая весеннюю силу деревьев, дразня утренних прохожих своей красотой.

в столовую влез автосервис. и остренькие, напоминающие своим рядом пилу, зубцы, шедовые (как тут не вспомнить In My Shadow: Tool) фонари дневного света (впускающие его наискось вниз, в помещение) на крыше — служат не освещению приёма пищи коммунарами-студентами, а ремонту личных авто. теперь столовый корпус выглядит как сарай, размокающий, упёршийся как корабль своей носовой частью в непроходимую твердь: квартал силикатнокирпичных пятиэтажек годов пятидесятых, постсталинских. да, разменяли на личные быты коммуны. здесь продолжали жить общежитием, но не ремонтировали, не

хранили послание его, застывшее движение коммуны к коммунизму. элементы конструктивизма даже тут, с изнанки столовой видны — полукругом возвысившийся некий объект, трудно опознаваемый, технический.

тоже как минус-метафора Постэпохи: со стороны столовой, выходящей на улицу Орджоникидзе, — лестница, ведшая прежде студентов на второй этаж, обрублена снизу, на уровне базиса. вот и высится теперь никому не нужная громада конструктивистского воплощения мечты о коммуне. сколько слухов и легенд об этом здании ходило с момента его создания — и что архитектора (Николаева) посадили за то, что здание, как самолёт, указывало с земли направление на центр Твой, куда лететь бомбить... и что Николаев покончил жизнь самоубийством, после того как кто-то бюрократический и скрыто-буржуазный из госприёмки, осмотрев общежитие, сказал, что оно похоже на тюрьму. но это только легенды, Николаев дожил до семидесятых годов.

вот и сторона переходного душевого корпуса с балконами — широкими, корабельными... внутри общежития лишь один оставшийся для хождения пандус, в среднем переходном звене. какая-то осыпавшаяся мозаика, творчество студенчества годов восьмидесятых или семидесятых, надо полагать. столовая, недоступная, запертая, уже не существующая, всё ещё пахнет студенческими щами, веет в косой коридор, ведущий к лестнице. тут внизу остались стенды — как улика об окончании, о крушении Эпохи: прежде залепленная последующими объявлениями, но ныне почему-то открывшаяся целым археологическим слоем на стенде — агитка за референдум времён ещё борьбы Горбачёва и Ельцина, начала девяностых. на плакатике — две карты, две, точнее говоря, контурные кляксы СССР и под каждой комментарий. слева очертания СССР переливаются триколоритно и подпись о содружестве свободных республик, справа — тот же фон, но розово-красный, за тюремной решёткой и подпись, что, мол, неужели вы, граждане, за то, чтобы Союз возглавляла прежняя партноменклатура, и за её привилегии? то-то победивший тогда на этой дешёвой мульке Ельцин ныне и купается в осуждённых им привилегиях, дарованных наследником — Путиным.

выше этажом — тоже мозаика, как и внизу, годов шестидесятых: на красно-оранжевом фоне классовых битв Маркс — Энгельс — Ленин. естественно, неблагородные потомки заляксили чёрным пятном часть мозаики и выковыряли зрачки теоретикам научного коммунизма. но пахнет древними тридцатыми коммуна. футуристический в полумраке окон, закрытых фанерой, уходит ввысь винтовой пандус, словно уменьшенный путь машин вверх гаража. теперь тут обиталище небогатых офисов и гастарбайтеров без регистрации — в основном в душевом корпусе. только на одном этаже длинного спального корпуса осталась пара шестиметровых исконных комнаток. надпись в переходном коридоре душевого корпуса «Место для курения» ближе к спальному, перед вторым лестничным пролётом, симметричным дальнему (с корабельной сеточкой под перилами, по которому все и поднимаются) — почему-то точь-в-точь возвышающимися, наползающими друг на друга буквами повторяет мои художества на стенах дома б на Рабочей улице. там, из-за того что нельзя было вылезти дальше из окна, вынуж-

ден был ужимать надписи: «Рабочая, б», «Слава Хуциеву!», «Дом культа 60-х», «Да здравствует конструктивизм!», «Не дадим разрушить наше прошлое!»... надписи, за которыми Захар Мухин, откликнувшийся в 2000-м со своим ТВ на призыв к защите авангардной архитектуры — поставил многоточие, а домик-то снесли. вот теперь и этот домина на очереди, его точно не будут реставрировать — да и кому он нужен с его коммунистическим замыслом внутренностей? разве что оставить оболочку и полностью переделать внутри под банк, например...

да, тут в пространстве коммуны, окружённом новым временем, — Постэпоха, контрреволюция. и чудес, альтруизма от неё не надо ждать, будет наступать, рушить, ждать пока сам разрушится архитектурный революционный завет. нужно запечатлеть в себе, считать медленно разрушающийся текст коммуны. да будет другими ДЧ (дорогими читателями) зрима, как мной и комсомолкой Катюшей, коммунальная суть здания — её общественная, открытая окнами из коридоров высота, с которой видны уже и дома пятидесятых с башенками ПВО за улицей Орджоникидзе, и завод имени Серго Орджоникидзе... подхожу и к краю спального корпуса, ближнему к улице Орджоникидзе, — и вижу в весенней размачивающей атмосфере расслаивающуюся словно дерево арматуру-рельсу, поддерживающую оконную вертикаль. метафора? нет, материальная первичность — вёсны Постэпохи размывают памятник Эпохи, словно дерево расслаивается под воздействием времени металл, разжавевшийся каркас Эпохи...

читать, вбирать выраженный материально, пространственно завет Революции: можно жить весело и дружно вне личных бытов, вне накопительства, затаскивания в свои комнаты мебели и прочих комфорта. личные пространства, не лишая минимального комфорта, сведём к минимуму, к шести квадратным метрам, чтобы тянуло, вытягивало оттуда в коллектив, в библиотеку, столовую, спортзал, к учёбе, к производству, к коммунизму... воспитывать новое общество, нового человека — этим пространственным коммунизмом, этим жилым механизмом.

уходили с комсомолкой Катюшей к Ленинскому проспекту, Нескучному саду — к уже украшенным изобильно стенам Эпохи дальнейшей середины тридцатых и пятидесятых, урожаями и символикой... великая краса и великая тайна обрыва, трагедии, краха Эпохи: вот в эти-то квартирки (у кого-то с балкончиком, а у кого-то без), снаружи рапортующие советской символикой, радостными урожаями, товарищ Сталин, к сожалению, и заселилась вновь бактерия буржуазная, вЕщная, стяжающая. конечно, не в полную силу — но для полной силы контру и свершили тамошние жилыцы.

но этот каркас номер 8/9, этот механизм инженера Николаева — он в основе Эпохи: воплощённые революционные мечты, сближающие людей по-новому, воспитывающие коммунистов из самой-самой молодёжи, с младых когтей, ежедневно прокручивающий их по своему прекрасному конвейеру. а ответ Постэпохи тут очевиден, с примесью антитоталитарщины это слова того же самого легендарного буржуазного даже после революции бюрократа госприёмки: «Как это жить в шести квадратных метрах, это же тюрьма? даёшь сно-

ва особняки!». промежутка тут быть не может — не вверх к коммунизму, так вниз в капитализм.

«Красный автобус» — мы так его называли — сегодня будет весь день колесить по маршруту «К» в центре. красный К. автобус бесплатный (за счёт МЛФ катание гражданам сегодня), идущий по самому центральному и короткому из всех маршруту, агитирующий таким образом — как раз тогда, когда повысились тарифы на проезд в метро и наземном... встречать его к Раушской набережной идём с Новокузнецкой, прямо-таки к Мосгортрансу почти, по боевому маршруту Сапёра.

начинается мероприятие пикетом с подавляющим участием АКМ, скандированием «не-пла-ти!», раздачей свежего номера их «Контрольного выстрела» в весеннем солнышке, на набережной Тебя-реки. тут же, среди припаркованных иномарок, топчется и читает наши листовки знакомый нам по предыдущим акциям колоритный брателло (ему бы в бандюганских фильмах сниматься), «хряк в кожаном пальто» — фэсб, постоянно, иногда лично, иногда через двух белобрых подчинённых-братков отслеживающий акции леворадикалов. места действительно ностальгические, особенно в весеннем освещении — поорав на Мосгортранс, повспоминав акцию Сапёра прошлогоднюю, народ частично расходится, так как никак не едет ожидаемый нами и телевидением автобус. его в гараже долго разукрашивали Карелин с Неживым и Герасимовым, нашими эскаэмовскими активистами, а теперь где-то в районе улицы 1905 года они застряли в пробке.

в конце концов, когда Илье Пономарёву на моб отзвонились наши кондукторы красного автобуса и сообщили, что они в районе кинотеатра «Ударник» — мы выдвинулись им навстречу, весёлою молодую гурьбой. тут и наша самая молодая депутаточка Маша, болтаем, заигрываем.

автобус стоит напротив Болотной набережной, на другой стороне канала, миновав «Балчуг» и все дальнейшие перекрёстки, мосты — идём к нему. вдали за «Ударником» высится Пётр Колумбович... вид у автобуса явно не традиционный, синий он, скорее, это автобус для поездок экскурсионных, загородных. за лобовым стеклом — нервно, чуть ли не шариковой ручкой нарисованная буква «к». зато внутри — подключённая к здешней сети наша музыка в бумбоксе, Sixtynine. как поехали — заиграли и советские песни, развернулся «неба утреннего стяг», это Игорёк Герасимов, наш бывший писатель-фантаст, постарался, подобрал музыку.

начинаем кружить по маршруту «К» — в точности повторяя путь, которым мы отвозили с Космодамианской набережной НО в Госдуму с Леонидасом и Ермолаичем. и демонстраций весенне-осенних это маршрут: от дома на набережной — до памятника Марксу. время обеденное, из-за этого пассажиров не много, но все, что заходят, — наши: тут же их агитируем листовками и речами. мимо «Москвы», на высоких обломках которой что-то жгут, едем... остановившись у Маркса — долго зазываем в мегафон пассажиров, молодняк реагирует на речи продвинутого Будрайтскиса. мы с Машей уютно примостились на правом первом сиденье и, грешным делом, тискаемся.

на Лубянке, у конструктивистских двух ворот входа в метро, Илья Будраётскис особенно хорошо и громогласно в мегафон зазывает толпящихся у ларьков и лотков — причём опять подсаживается молодёжь. ему немного мешает наш пожилой член КППФ, выкрикивая тоже из другой двери: «Ребята, будьте патриотами!». прикинутый рэпово и европейски в серо-выцветшем балахоне с капюшоном приземистый смуглянка-Будраётскис бодро, мгновенно парирует наезд на больную троцкистскую мозоль: «Будьте патриотами бесплатного общественного транспорта!». надо отдать должное ему — не жалея глотки, в сидящийся мегафон, он один наиболее действенно зазывает и агитирует люд, а тут уж им, уловленным нами на бесплатность проезда, раздаются агитматериалы, листовки по поводу сегодняшней акции, с призывами прийти 1 мая на демонстрацию, и газеты КППФ «Правда Столицы».

да, моя весенняя Столица, — вот, кружу в дне весёлом и ярком, в этом необычном красном автобусе, рассовываю всем немногим пассажирам листовочки, на коленях катаю депутатку от МЛФ...

этот маршрут — словно непрерывное, закольцованное как диск Герасимова в бумбоксе, воспоминание времён начала НО и наших времён, Тан. сидящая у меня на коленях депутатка районного собрания этому не помеха: когда от Лубянки мимо Старой площади мы спускаемся к Китай-городу и там по узкому проезду пробираемся к Солянке — вспоминаю только наши с тобой там хождения... с Солянки, вполне экскурсионно после угловой остановки дивясь высотке, этой громаде Эпохи, наш красный автобус поворачивает к мосту и оттуда, ныряя под мост, как и мы когда-то, — оказывается прямо у института дизайнерско-технологического, конструктивистского этого механизма самого начала тридцатых. здесь гурьбу студентов опять успешно сзывает Илья. они и вовсе оторопели — тут же у институтских дверей проходит акция бесплатной раздачи кока-колы, и вот с этой бесплатной кока-колой они залезают в салон, проезжают с нами не один даже круг — общаемся с симпатичными девчонками на политические темы и не только. и вновь повторяется круг маршрута «К» (может, и название отсюда «К» — от кругового его характера?). удивительно, что этот маршрут ещё существует, мало здесь пассажиров. зато вот студенчество успешно агитируем перед демонстрацией.

и вновь по боевым местам Сапёра, «Независимого обозрения», демонстраций, Раушской набережной: автобус, поворачивая за «Балчугом», едет потом по Болотной набережной, вдоль английского посольства, мимо снесённого целого квартала, теперь это место от парка казней до Тебя-реки напоминает теннисные корты... на мост, падаем к Дому Пашкова и снова возвращаемся в самом Твоём центре, снова агитируем, дораздаём следующей партии студентов-экскурсантов последние листовки, газеты, спорим с ними и между собой в уже наплывающем вечере. выхожу как раз на остановке у памятника Марксу — и по темнеющей, светящейся весенне-летне огоньками чуждых витрин Петровке вверх домой...

она входит с высоким худым кадыкастым Карелиным моментально, в камуфляжной тональности сарафане, быстро и лучисто глядит на находящихся

в комнате, как на экскурсии. она — та девушка, комсомолка с далёкого краснодарского сайта (с нашим расширением). глядит и... узнаём:

— А это... кто? Чё...

— Чёрный, да-да.

тут не без объятий дружеских — порывом первым. мой — от компьютера, её — от дверей. а реализация — рукопожатие и взаиморазглядывание, любопытское, как у детей. она меньше и как-то миниатюрнее, обозримее, чем на картинках.

— Вот ведь... живая Франческа.

— Да, а я с живым товарищем Чёрным разговариваю...

такой, поминутный обмен любезностями. потом — видео. их акции, круглый стол МЛФ, говорящие Карелин и Илья, она тоже говорит, в роли телеведущей. и очень убедительно и весело. это по нашему, тамошнему советскому (!) телеканалу. щё не вмерли партийны СМЫ. в телеке она такая же как, в компьютере — авторитетная, фотогеничная, шире и фактурнее, что ли. в пилоточке фронтовой, фронтовичка-комсомолка такая. а живая — совсем другая. то есть лучше. именно потому, что видна с разных сторон, подвижна: личико поменьше и поУже, зелёные, как сарафан, глаза беспокойно-кошачьи. ну, товарищЧ, начал ты свою пристальность...

убежала в Думу и через час прибежала ни с чем: Шапинов не смог выписать пропуска, так как не было у предполагаемой экскурсантки паспорта. весёлая, очарованная всем этим нагромождением впечатлений и потому рассеянная — она так и ходит по Столице без паспорта в своём боевом сарафане, Франия.

команда: сейчас же вести её в Фаланстер. но не удержались от совместного влезания в Нэт на их сайт и пишем совместное письмо виртуальному врагу, дразним встречу:

КРАСНЫЙ ФОРУМ\\17.05.04

Сидим мы тут, Мировой, пьём чай в Москве и тебя, Мировой, обсуждаем.

Д. Ч.: Курим трубку мира, Франческа очень весёлая, изящная и ещё лучше, чем на фото. Вот. С ней приятно общаться. Сейчас допьём чай и пойдём в модный левацкий магазин, где продаются: а) книги Д. Черного б) музыка «Эшелона» и в) майки Sixtynine... Впрочем, отдаю клавишу Франческе.

Франческа: А Дмитрий Чёрный тоже супер! Надеюсь, сыграет вместе с группой мне сегодня. Он мне, Мировой, диски группы «Эшелон» подарил.

тов. Колташов: Мировой, нам тебя не хватает как символа глобализации! А наша альтерглобализация состоялась — мы уже вместе.

Д. Ч.: И пошли гулять по пролетарской столице!

но вот посмотрели клип «Анклава» «Лёд под ногами майора», допили чай и побежали вчетвером, как же такую девушку отпустишь... идём нескладно, пере-

дислоцируясь, проталкиваясь между загромоздивших переулки иномарок, непрерывно говоря. Низами, МХАТ, Тверской бульвар — сообщаем о последней тут 7 мая акции. за ней, вроде бы ведомой, но смело сорвавшейся через проезжую перед потоком, перебегаем к Театру Пушкина. к Бронной, к перекрёстку мимо церкви. она всё в непрерывном удивлении своими огромными зрачками и в пространственном поглощении столичном:

— Это уже «Фаланстер»? Здесь Литературный институт рядом?

— Да, через Пушкинский театр — следующая стена.

— Ты-ы Диму можешь спрашивать, о-он живёт в старой Москве и всё тебе расскажет-т-тут. Ну, ладно, ребята, я дальше не пойду, чтобы не рисковать временем, пока...

Карелин, к ней, понятно, равнодушный — долго прощается, рисуется, ещё бы. массивный комсомолец из Думы Макаров идёт с нами в магазин третьим. он, в общем, интеллигентный. вот только подворотня, которой я повёл гостью, явно не интеллигентна: там кто-то пролезает меж гаражами, стремясь, видимо, к справлению там праздника нужды. но мы его, слава Тебе, не видим. наискось двориком, где дети у песочниц. книжный магазин «Гений» — нет, не наша цель. а следующая подворотня — да, розовая. хотели мимо пробежать, но направил. а там и надпись. «А» анархистское, «Ф» — фанатское. «Фаланстёр», как я его слэнгово называю.

в этом же доме мы с однокурсниками бородачом Бостанджиевым и АлексИсом Кравцовым наблюдали ещё первокурсниками характерный эпизод девяностых, о которых много писали и снимали, но которые сами ни разу не видели — разборки. точнее, даже, — их последствие. у подъезда, ближнего к фаланстерской подворотне, лежал, приваленный к двери, и медленно сползал парень в коричневой кожанке, на которой отчётливо, неизвестно откуда натекшая везде была кровь, красное на коричневом. второй пацан истерично и ритмично орал: «Ну, суки! волки позорные! всем теперь издец!», «всем, кто смотрит!». а напротив на тротуаре, у школы, — действительно скопились зеваки. второго пацана, видимо, вообще не трогали, а первый, судя по всему с ножевыми или пулевыми ранениями, уже терял сознание, периодически выплёвывая кровь и глядя на окровавленные ладони. мимо той действительности, как-то сгрудившись и ускорившись, мы прошли тогда с сокурсниками на Патрики... и вот уж вовсе другая наступила подэпоха в Постэпохе — «Фаланстер», Франческа.

майку подбираем гостье по размеру, самая маленькая не совсем, но подходит, рукава не ниже локтя. старенький сидящий гость, с седыми кудрями еврей, хитрый, просит её повертеться, дабы засвидетельствовать соответствие размера и заключает, увидев со спины: «К вам идёт». веду её голодный взгляд по стенду левацких газет, по книжным корешкам и обложкам, но ничего не покупаем, а вот диск Анклава вытаскиваем бесплатный. и торопимся дальше, прощаемся с крупным комсомольцем Макаровым, он её целует, однако, слишком смачно и хозяйски в щёчку.

но — увёл. и — к Патрикам. говорим сбивчиво, взаимно удивлённо, как и подобает. просто радуясь диалогу, звуку незнакомых досель друг другу голосов, течению речи. у неё очаровательный акцент или говорок, что-то такое, но очень деликатное и удивлённое, с таким голосом и речью — женственно весело журчащей — хочется идти рядом. а тучи намечаются, не зря взят зонт. пока по переулкам загибаем путь, рассказывает о «комсюках» — это их начальство, сидящее на зарплатах городской администрации и на митингах их же, своих же, перекрикивающее, глущащее: «Зат-кни-тесь!». свинтусА.

а вот и Патрики с новой отделкой и пустым мощёным серо-зелёным местом для скамеечного памятника Михалафанасичу. говорю нескладно, не по-экскурсоводски. листва уже во всю ширь распустилась и укрыла аллеи у пруда. бортики водоёма отделаны серо, но домика утиноного — нет, поэтому рыжая бездомная утка сидит на специальной травонасаждавательской плёнке, на берегу. когда добегаем мимо новостроенного элит-гостиничного домины «Патриарх» в духе постар декО некоего до Ермолаевского переулка (бывшей улицы Жолтовского) — тьма туч совсем в просвете верхнем заполняет небо, навстречу спешат пары людские, боящиеся попасть под дождь. Франческа идёт необычным, чуть подпрыгивающим на высококаблуках сапожках шагом, рядом со мной, то впереди, то сзади — через сквер к Садовому кольцу. успеваю указывать ей признаки архитектурного сталинизма, но глядит не на них, а на меня.

пробегаем шумный и информационно (рекламно) интенсивный участок до дома Булгакова — и вот мы в подворотне, тоже скрытого под вывесками и магазинами, дома 302-бис. на этот раз дом серо-зелён. войти в булгаковский подъезд теперь — код набирать. но по блестящим железным кнопочкам легко угадывается рисунок трезубой вилки — с первой попытки открываю. внутри. тут главное — домашний, чуть деревянный, чуть клеёночный — вековой выдержки запах стари стен. их красили недавно, кравцовского Воланда на первой площадке слева — покрасили. Франческа, поднимаясь за мной, не успевает переводить взгляд, читать настенные записи. но и здесь вклинились тупо своими крестами да свастиками пульверизаторными скины — сетуем. добегаем до верха, замечаем маргарит, бегемотов, нацарапанных, наскальных (в оставленных малярами серых староцветных окошках) и тут же — вниз, не так много времени на впечатления. на котором тоже умудрились что-то написать, высокое окно вверху пролёта открыто и впускает дождевой и лиственный сюда дух, примешивая к стенной здешней древности.

на выходе — девчонки, видимо местные, прячутся в подъезде, цветастые. на Франческу все внимательно оглянулись, проводили наш проход от подъезда к арке. а над Садовым тяжело и серо «тьма уже накрыла Ершалаим», капли сыплются, учащаясь. зонт не зря взят: открываю и чуть с наклоном назад пытаюсь оберегать нашу гостью комсомолочку от радушного душа столичного. памятник-Маяковский виден вдали — указываю Франческе, — он совсем потерян масштабно, стоит, растерян среди агрессивной цветастой информации, так что и разобрать сложно.

не только площадь Маяковского, но площадь Антикапа-2002 — рассказываю, показываю, куда прорывались нацболы, где остальные дрались — пока пробираемся через автостоянку к памятнику: это тем более сложно делать, что, маневрируя, зонтом нужно постоянно закрывать каблукастую быстро идущую комсомолочку, её волосы солнечные, от капель.

«Побольше ситчика моим комсомолкам!» — железно пробасил бы Маяковский, глядя, как дождь мочит гостью из Краснодарской комсомольской организации. на поэта глядим издали и ближе, читаем сбоку «И я как весну...». вот мы в весне и читаем, спасибо, товарищ. вдали слева теперь, в лад с Маяковским — только что пройденный от Патриарших дом хоть и с глупым названием «Патриарх» (VIP-гостиница, видать), но с легендарно спиральной татлинской башней Третьего Интернационала наверху, не совсем точным, упрощённым подобием. так что обе эстетические эпохи Маяковского теперь в виде башен (обе жёлтые) создают ему исторически верный фон — Татлин, конструктивизм (вдали, так как начало) и башня «Пекина», арх-сталинизм, соцреалистический неоклассицизм.

— У меня такая же гитара, — сообщает Франческа по поводу увиденной в подземном переходе к дому Пастернака, где всегда кто-нибудь тренчит, монеты кланчИт. льёт уже неистово, даже зонт не спасает. пробегаем вдоль Оружейного переулкa, проталкиваемся через машинный поток, а дождевой нас подхлестывает. проклиная себя: ведь мог же комсомолочку на троллейбусе довести от 302-бис. но тогда бы памятник не посмотрели. пытаюсь обрадовать указанием относительной близости дома, к которому осталось только под Садовым обратно перебежать. в подземный переход вбегаем уже мокрыми основательно, сзади особенно, Франческины волосы в капельках. бедная: в ее сапожки наверняка уже тоже дождь проник, по таким лужам бежали!

в подворотне желанного моего дома уже точно обнаруживается тотальная промоклость обуви, чвахаю и сам правой. быстрыми широкими шагами, которые задаёт Франческа, доходим, добегаем до подъезда, тут уже козырёк спасает, внутри как раз соседка тётя Лида со старичком псом Антоном входит. бывалая любовница, красавица в молодости, тётя Лида разглядывает Франческу по дороге в лифте и не без подколки спрашивает: «А мама дома?..».

забежали и разулись в ужасе: мокрые следы по линолеуму, но Франческа сконцентрирована не на этом, вокруг осматривается на картины:

— Я дома у Дмитрия Чёрного...

— А вот моё, так сказать, персональное обиталище — сообщаю по вошествии в свою маленькую «детскую» комнату, предварительно выдав тёплые малиновые тапки на мокренькие ножки Франчески.

— А ты мне фотографии вашей группы покажешь?

показываю «Эшелон» — включаю компьютер. села в моё кресло — свежий, только что из дождя вынесенный, в капельках цветок из солнечного края. какую рыбку выудил из потоков уличных! глаза — зелено сияющие, огромные, радостно голодные. волосы — волнистые лучи, чуть влажные, в капельках. яблоко даю, и Франческа с удовольствием в него вонзается, бедная: ведь ничего ж не ела, не-

бось, с утра да с того самого чая с полмарсом на Газетном. пока открывает в компе сгитарные мои, Летова фото, иду на кухню, ставлю суп и сосиски. но диалог не прекращается и тут, бегаю в комнату и обратно на кухню, пока выясняем, как лучше звонить в Краснодар — сюда или отсюда. Франческа уже на телефоне, присела — очаровательный восемнадцатилетний товарищ в коротком сарафане тёмного хаки.

всё же оторвал её от телефона — радостно делящуюся новостями. когда белорусский борщ из банки был уже почти комнатной температуры. но ей нравится. накормил, холодным компотом даже угостил, а вот на вафельный торт уже не осталось времени: к Донченко (ура!) не поедет, тётя ждёт обиженная — приехала красотка, а так с нею и не пообщалась. звоню Мэйдену — гитару не повезу, тем более дождь, риск. а пойду её проводить, солнечную, по нашему последождевому холоду. самому-то есть во что переобуться, а вот ей — нет, так и почапает в мокрых сапожках... взят зонт, надето утепление в виде водолазки. теперь мы с ней одинаковые: милитаря, и в цвете схожи — моя бундесовая рубаха и её сарафан.

путь — вниз по Петровке, к Охотному Ряду. холодно, но интересно — каждый шаг в разговоре отсчёт, а хмурое окружающее незаметно на её ярком, глазастом фоне. ей на Сиреневый бульвар. отчего-то решил, что надо до «Черкизовской» ехать, по красной ветке.

вот и Большой театр, площадка перед ним, откуда мы недавно уезжали сами в тур региональный, да вот до Краснодара Франческиного не доехали, жаль.

она непривычная к эскалатору совсем, удивлённая, зачарованная: стоит слева, я подтягиваю вправо, к традициям, к себе. подойдя к платформе, сообразили, что ехать — как в записке — нужно до «Первомайской». перебегаем переходом театральным на синюю, на «Площадь Революции», правильно. оказавшись там, быстрый экскурс: по железным скульптурам Манизера — начало эпохи от 1905-го до 1930-х. дети с глобусом, что завершают скульптурный ряд — наши родители, уроженцы тридцатых, говорю в открытые широко, с огромными зрачками в окантовке хаки, глаза Франчески. и в вагоне — в них же, лицом к лицу, говорим о далёком краснодарском её и близком, здешнем моём, нашем. о трудностях пропаганды социализма в обывательской усреднённости, о мире без денег, о глупой и самонадеянной презумпции буржуазности в слоях наемных рабочих краснодарских... так стоять друг против друга — небезопасно, что-то усиливается, растёт: чем дальше её глаза, её лицо, говорящие весёлые губы, родинки на полуоткрытых сарафаном плечах так близко.

выход из «Первомайской» — в спальные кварталы, озаглавленные сталинскими пяти- и вышеэтажками. пожарная вышка тридцатых годов, как на Тушинской, заводская труба — впереди. мы идём с тобой, товарищ Франческа, в этом холодном мокром мае, а над нами — узоры изобилия, наши единомышленные дома жилые сталинские, нам они подмога. там троллейбусная остановка впереди, ты продрогла заметно. но укрыться за дверью попутной кафешки — не суждено, подъехал пятьдесят пятый.

доставить её, доконвоировать до тёткиного дома — растерянную, плохо ориентирующуюся в огромной Столице — моя партзадача. троллейбус едет долго и замысловато, в лиственном сне, в зелёном начале сумерек. успеваем диалогом воспроизвести начало «В белом гетто» sixtynine'новского. кварталы, где спят, Сиреневый бульвар, деревья, магазинчики, люди с колясками детскими, бутылками пив...

вышли, и ты опять потерялась, но язык до Киева доведёт — а уж до тёткиного дома подавно. вот и нужный подъезд, даже код подошёл. сразу же нас встретила надпись чёрным фломастером за дверью — «смерть буржуям». цитата из песни нашей, эшелонской? не случайно тут. но ты не знаешь её происхождения, товарищ Ф. и дальше у лифта — «Наша родина — СССР» и АКМ, это явно они поработали. в кварталах спальных и спящих...

ничего не поделаешь, а отпустить её придётся — вверх наедине с лифтом. как не хитри, высчитывая вероятность нахождения на восьмом номера её квартиры. и скромно попрощаться — в три поцелуя (небрит! колюч, дуралей).

и — выйти из обычного подъезда, словно там не оставлено это маленькое краснодарское солнышко. комсомольская молодость, радость — здесь, в этом едва початом веке, в этом зелёном спальном районе, Сиреневый бульвар. где все и понятия не имеют о комсомольских наших значках, о нашем. где только бутылка пива — верная спутница пешеходов наших лет. или вульгарная косметика. «комс» или «косм»...

а ведь это мог бы быть подъезд — завершающий романтику, обычную в нашем случае, московскую, где целовались бы, прощались. но ты — не отсюда, в этом секрет. и я доставил тебя, привёз в этот Сиреневый, в этот безмерно лиственный микрорайон. а на троллейбусе назад — не поеду, пойду. унося с собой сквозь сумерки, морось и холод (мимо узорно символических, дружественных сталинских стен) весь свет сегодняшней встречи. и скорей бы ты приехала домой — встретимся на вашем сайте ведь, где мы отметились по ходу знакомства.

КРАСНЫЙ ФОРУМ\17.05.04\18.05.04\

Красавица Франческа, привет! Как добралась? Не простудилась, всё же, от московского дождика?

У нас холодно по-прежнему, солнце неуверенно выглядывает временами. Сегодня был на суде Бениаминова, я иду свидетелем защиты. Прямо красный нон-стоп такой выходит: вчера ты, сегодня утром родными переулками — на несанкционированный митинг у Тверского суда: флаги, кричалки, растяжка МЛФ, боевой (не Неприкаемый:) дух.

К Тверскому суду пришло столько кэпээрэфников! Это горком, спасибо Куваеву. В новостях (Ren-TV) что-нибудь обязательно покажут. Потом рвались в зал суда — ведь слушание открытое. Менты никого не пропускали, потом начали, я пробился как пресса, потом обратно стали отгонять, когда разъяренные женщины стали ментам тумачить (одна отхлестала цветами по физиономии самого напористого, любо-дорого выглядело). Но я по-партизански смекнул, что в здании обязательно есть другая, симметричная лестница — и из предбанника, за которым обосновался второй кордон ментов, прошел в другую сто-

рону по коридору первого этажа, позвонил Илье, прошел через (!) зал заседания на втором и пробрался-таки на третий с нужной стороны. Было много журналистов, все облепили Армена в перерыве. Но заседание быстро закончилось: у обвинения было недостаточно свидетелей, точнее, говорили они не то, что нужно обвинению, не стыковалось — это как раз те фээсошники свидетельствовали, которые Армена с крыши снимали и избивали, мы их потом привлечём. Теперь 2 июня следующее слушание.

Ф: Дима, привет! Ну как там Сокольники? Мы тоже ребят приняли, правда я переходила дорогу и меня полностью (лицо, одежду) обрызгала машина из лужи. Мне последнее время на дождь и лужи везет :). А так — все прошло удачно, я даже сказала напутственное слово, а потом мы повязали галстуки.

Я дала диски нашим ребятам, были довольны. Дим, я приехала от вас в эйфорическом состоянии. Столько единомышленников, очень вдохновляет. Но теперь сессия. В универе забыли, как я выгляжу. А еще мой преподаватель-писатель узнал об МЛФ из новостей и просит меня написать для его журнала «Кубань». Вот сдам сессию (только бы сдать) и начну подготовку к лагерю МЛФ. Надеюсь, ты и все ваши там будете.

Кстати, наш секретарь Вася сказал, что, вроде бы, «Резонанс» должен ловиться. И он в администрации узнает точно.

\19.05.04\

Дима, спасибо, но не хвали меня. У нас в комсомоле все девчонки хорошие :) Приедешь — сам убедишься. 15 июня у нас будет уже совсем жарко. Познакомим вас с нашими комсомольцами и комсомолками, устроим тоже костер.

О Армен и Дима Аграновский! А я их теперь лично знаю. Круто! Постараюсь послушать. Я теперь о московских друзьях буду долго вспоминать.

28.05.04. слёзы во сне, пронзительный, как откровение, плач — всегда удивляет, зовёт, требует. родная школа что-то потянула, захотела от ещё окончательно не вылезшего из кокона куколочки подростка, по которому пока не стукнул тридцатник. какие-то детские, девичьи хождения на углу этажного коридора, который ближе к женскому туалету. сознание того, что туда не вернуться — к этим мечтам и местам, к этому запасу времени и пространства впереди, оттуда.

и доказывай теперь, с бьющими из подбородка и из-под носу методично усами-бородами, с этой ошетилившейся на закаляющее время кожей, что не сможешь там быть как раньше, быть одним из тех, перемещающихся у окон коридора, влюбляющимся в прохожих сверстниц, и как финальный эпизод — что угодно за возможность ходить в шинелеватом, но на самом деле политбюрошном пальто по той подростковой весне с её снегами и льдами, в простуженной нутри и снаружи, но при этом вдыхать именно те, первейшие и самые зовущие вёсны.

2.06.04. автобус ПАЗ омовцев стоит у автошколы, сами они в чёрных комбинезонах потаптываются у кабины, невесело матерятся, посматривают растерянно-хмуро по сторонам. тут — проход наискось, налево, к проёму до-

мов, за которыми — вон суд, тёмно-малинового цвета. Тверской районный. нас тут по темноте весенней носило с барабанщиком Мотей в пивные сессии — ни разу не обратили внимания, что это именно суд. так, административное какое-то здание...

люди, взгляды у входа знакомые, свои и акаэмные, телевизионщики с Рен-Тв. народу порядком меньше, чем на первом заседании. и всё тот же дедок, выглядящий как постаревший, при неизменных очках, сотрудник НИИ, Михаил Шматов с плакатом стихотворным, не без сдвигологии: «Встаёт Армен с советским красным флагом, ещё Кантарией взнесённым над Рейхстагом... за нами — водрузить его над рейхс-Кремлём». какое-то бессилие и заранняя расслабленность — от ощущения, что ничего от нас не зависит. пришли услышать приговор. уже не держим, а вешаем на железные двуногие отгородки времён демократизации наш транспарант МЛФ. и вокруг одни старички нам помогают, молодёжь наша невовлечённо глазеет, активно совещается кучками в сторонке.

среди всех вдруг проявившийся Армен выделяется своим ростом, широкоплечистостью, улыбочивостью и открытостью. в светло-зелёном он костюме, напоминающем френч Сталина. в быстром интервью перед входом внутрь, Армен говорит ТВ, что ожидает только полного оправдания, если есть в стране Правосудие.

да, дружище, — есть-то оно всегда есть, только нынче право не у всех, а отсюда и судие, судилище в пользу тех, кто правее, полноправнее, полноличнее, полновеснее, жирнее. кто в Кремле — тот и прав, того и правосудие. классовое правосудие, кое разносил вдребезги Сартр. сегодня объявят приговор. прошлый раз — был вторым, когда мы все, свидетели, говорили. суд полностью в этом прохладном лете сливается всеми тремя частями. прошлая, вторая была такой.

запускают нас, свидетелей обвинения: «Чёрный!.. Пономарёв!»: свои не только пропускают, но и узнают таким образом — коридор взглядов, дорогого стоящий: не медные трубы, но надежда, уважение, делегирование, что ли.

долгая разговорная толкотня у входа на третьем этаже в зал. тут же и свидетели обвинения, фээсошники, избивавшие Армена. все рядом, все земные и здешние. и разные до противоположности. их позиция — молчалива и неприступна. они за порядок. неважно, за какой. они — сторожевые. и готовы, не вдумываясь в суть происходящего, исполнить свой долг «па полной». испытывают к нам если не ненависть, то угрюмое непонимание, граничащее с брезгливостью. и это оправдано — голосистые, хватающие каждого потенциального собеседника за пуговицу, безумноватые орденоносные бабульки, бомжеватые от них запахи — позволяют на самом низменном уровне складываться такому отторжению. но ведь это и есть поколение очевидцев и носителей до сих пор той самой Победы, которой праздник отмечают 9 мая и которой флаг, поднятый Арменом, осветил эти пожилые судьбы на закате. они всё спорят, доказывают друг другу нашу правоту, эти ветераны, а мы, молодые, находим в такой ответственный момент время и пообжиматься. потому и правда за нами: завидливо на наши тесные манёвры у лестницы глядят фээсошники, пытаются постичь нашу

кибальчиш Ову тайну, которая позволяет одной из акаэмовских девушек, самой молодой депутатке райсобрания от МЛФ, мягкими местами жаться к одному юноше (юноша! ты, кстати, уже староват для такого звания).

суд какой-то школьный: помещение мало и плоско. все вошли, а мы как свидетели остались на лавочках снаружи. начинаем волноваться, как перед экзаменом. ещё раз повторяем, что можно говорить, а что нет. пожилая ветеранша советуется, что дать почитать юной либеральствующей знакомой, не любящей Сталина. советуем с Ильёй Юрия Жукова. её знакомый, неизвестно почему так поздно поднявшийся сюда, становится свидетелем защиты — нужен один молодой человек. выбежавший Аграновский объясняет ему, что не нужно вспоминать — точнее, в каких выражениях описывать упавший «объект преступления».

неужели вот тут и вершатся многие судьбы, судом здешним. отсюда выводят приговорённых к сроку? не верится как-то. банально канцелярское, непафосное помещение и предбанник. впрочем, это вполне по Кафке. худощавый и нервный охранник суда с непонятной голубо-жёлтой символикой на чёрной форме — то и дело снуёт из зала клестнице.

Маша, наш самый молодой в РФ депутат, пишет СМС: «сейчас вас вызовут! удачи!» с неизменной мордашкой.

вхожу и сразу теряюсь, на галёрке смешки: куда податься? сидящие спиной ко мне адвокаты указывают взглядами, да и сама Стешина приглашает к центральной трибунке. стоять спиной к своим весьма неудобно и неожиданно.

подхожу сперва к столику, где соседствующая с прокурором стенографистка даёт мне подписать нечто. точность и быстрота росписи в незнакомом документе играет в нашу пользу — в несколько уверенных шагов я опять у трибуны. полная и неоформленная в своём условно-судейском, чёрном с невнятным воротничком одеянии, молодая очкастая толстуха Стешина малопонятной, тихой скороговоркой зачитывает мне про ответственность за показания, что могу быть привлечён по какой-то статье. далее — отвечаю на вопросы Аграновского, он не по ситуации суров и медлителен, не может никак сформулировать некоторые вопросы.

в целом действие напоминает не суд из The Wall, а, скорее, экзаменовку: говорю мягко и чуть неуверенно, как бы сомневаясь в своих мнемических способностях. возникает картина седьмого ноября 2003, описываю эмоции — радость (Агран уточняет: какие эмоции?), ощущение, что Армен сделал подарок демонстрации. в этот момент прошли Манеж и трубачи-дудачи, шедшие перед нами, вовсю старались — а мы увидели над «рубкой» Совнаркома полуподнятый красный флаг и сразу заскандировали: «Хватит мазурки, даёшь — ре-во-люцию, ре-во-люция!» (но этого всего рассказывать Стешиной, конечно, свидетель защиты не стал). рентивишники после предыдущего заседания показывали, как Армен держится за флагшток — вот был момент высотного подвига над Столицей. и вся высота этого дня, городской отзвук, вид Арменова поступка — вошли если не в классное, школярское помещение суда, то в моё

воспоминание-воображение точно. всё из последнего 7 ноября возвращается сюда в судебное пространство и моё субпространство сознания.

и судят его именно за это — за верхнюю, высшую краснознамённую красноту и за радость, возникшую внизу, в колоннах, благодаря его смелой вылазке. потом в видеозаписи были кадры, как неуверенно, не брутально около Армена оказываются и топчутся те самые фээсошники.

но мой допрос (вероятно, всех уже косвенно уверившим в своём со мной незнакомстве) Аграновским заканчивается. Стешина отпускает, благоволя возможностью мне остаться в зале...

потом его же наручниками фээсошники (fascioошники) за спиной ему руки сомкнули, уводили с крыши без видимого насилия — понимали, что их снимают уже поймавшие в кадр ТВ-камеры. один из них так и говорил другому: «Не бей его здесь, пока видят». а спустившись на подчердачный этаж, они сразу и начали своё чёрное, под стать форме, дело. били в живот, Армен потерял сознание, потом тащили вниз за ноги, голова билась по ступенькам.

всё это судья Стешина, конечно, знала. и впору бы заводить дело на избивавших Армена, до сотрясения мозга доведших своими побоями и обращением. но заказ из напуганного поступком Армена Кремля поступил иной: «мочить и этих, красных, в сортире».

тут можно искать символизм, вероятно. с крыши — с торжественной центральной высоты Столицы, оторвав от знамени Победы, от солнечной и ветреной небесной яркости-голубизны, — Армена за ноги по лестнице, так чтобы билась голова, чтобы «выбить дурь», спустили в полутемный подвал, с отхожим духом подсобное рабочее помещение, где высоко, над головой пристегнули наручниками к лестнице, часа четыре Армен так провёл. и это знала Стешина из показаний подсудимого. для экранизации этого эпизода — как Армена тащат экзекуторы по лестнице — важна деталь: мелькающие-сопровождающие своего восприемника, смелого наследника, бронзового цвета металлические вставки лестницы Совнаркома, где благодарно улыбается Советская эпоха: барельефно выглядят серп и молот с колосающимся урожаем...

ничего этого я не говорю, конечно, просто вспоминая уже влившееся в Твою поэму, падающего триколора не видел. ничего, кроме листовок. листовки ярко вертелись в солнечном свете. на листовках — тогда не прочитанная мною надпись: «Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая революция!». это весьма неприятное для своих уст словосочетание Стешина была вынуждена прочитать при объявлении приговора, но это позже, уже в конце.

конечно, чувство ободряющего, поддерживающего, словно подсказывающего каждое слово за спиной, тыла — тех самых ветеранов, бабулек и дедулек — делало свое неудобное суду дело. но я говорил всё без пафоса, скромно и растерянно, что не позволяло залу явно высказывать свою поддержку. ощущение в момент поддержки залом моих воспоминаний того, что судящие Армена в меньшинстве, что их всего-то — сзамозаводящийся, саморазозляющийся и притаптывающе-мнующийся, когда говорит, прокурор Циркун да Стешина плюс

невольница-стенографистка, да ещё охранники правопорядка, которых судья всякий раз натравливает на самых бурно поддерживающих пенсионеров, которые с ненавистью этих своих выдворителей чуть ли не бьют сумочками. наши несдающиеся пенсионеры... да, в зале пахнет мочой, оппозиционной шизой и сединой — но сейчас это не важно. важны их аплодисменты — когда Армен говорит своё последнее слово. я грешным делом стащил из компа МЛФ (словно специально — именно на моём он набирал) им набитую эту речь. и не решился притронуться к этому идеально отражающему его речевые индивидуальности, внезапному для него самого радикальному реализму, во имя которого я совершил единственное вмешательство — снял заглавные буквы, ни одного знака препинания не меняя:

Последнее слово подсудимого по статье 329 УК РФ Бениаминова Армена Иосифовича. г. Москва, Тверской районный суд. 2.06.2004:

уважаемые товарищи, уважаемый суд, Ваша честь. я долго думал над тем, как могло случиться, что я вдруг оказался подсудимым, оказался на скамье подсудимых, да, фактический получается, что раз человек под следствием, и следствие пришло к выводу, что он виновен и это так.

почему это случилось и как это случилось и знаете, честно говоря несколько непонятно. непонятно ситуация, когда сейчас уважаемый обвинитель говорил о подрыве государственной власти. я хотел бы узнать мнение товарища обвинителя о том, что когда в 1991 году 17 марта состоялся референдум всесоюзный, когда весь народ Советского Союза 74,16 % высказались за сохранение Советского Союза, тогда некий господин Горбачёв, невзирая на то, что высшим суверенитетом, несущим власть стране является его многонациональный народ, сказал, что Советский Союз, как геополитическая единица перестаёт существовать.

о чём тогда думали обвинители? почему они молчали? правда, был один прокурор — Виктор Иванович Илюхин, который возбудил уголовное дело против Михаила Сергеевича Горбачева, президента СССР по статье «Измена Родине». и Виктор Иванович Илюхин сразу перестал быть прокурором, его сняли с работы. а вся страна тогда молчала. все советские люди, которые тогда присягали Советской власти, Советскому Союзу. люди, которые состояли в КПСС, вдруг стали противниками Советского знамени и Советского Союза.

почему, когда ночью с Кремля снимался официальный флаг Советского Союза соответствующий всем параметрам и по размеру и по цветовой гамме, с серпом и молотом — никто не возмущался. обвинение и прокуратура молчали и господин Блохин, будущий депутат Госдумы сам полез на крышу Кремля снимать советский флаг. потому что это оказался сделать комендант Кремля, отказались сделать офицеры. он полез и сорвал государственный флаг.

почему обвинение молчало, когда господин Ельцин издал указ № 1400, где фактически писалось, что конституция РФ и все законы соответствуют имеют место быть по той части, в которой они соответствуют данному указу. тем самым он себя поставил над конституцией и над законом.

тем не менее г-н Ельцин не стоит перед судом и Горбачев не стоит. понимаете?
и все признают такое положение вещей и так должно быть.

я бы хотел знать, до каких пор такая система будет продолжаться. когда люди, которые вмиг перекрасились, вмиг забыли все свои присяги и убеждения, перекрасились и считаются такими правильными. а люди, которые говорят о том, что думают, они являются преступниками, нарушившими закон.

уважаемые товарищи! Ув. Суд!

я хочу обратить ваше внимание еще на один факт. это то, что гос. Дума признала по закону, что есть два официальных флага. есть гос. Флаг Победы, знамя Победы. есть указ Ельцина 1996 года.

можно по разному относиться к Президенту Ельцину. но он подписал указ о знамени Победы. можно по разному относиться к Госдуме, но она признала, что официальным флагом вооруженных сил России является красный флаг, размером и соотношением 1:2.

Госдума приняла закон о том, что государственным флагом РФ является трехцветный флаг, так наз триколор, соотношением размеров 2:3. и это есть гос. Флаг РФ. как бы я ни относился к Госдуме и к правящей партии, я привык, меня так воспитали признавать законы и государство. как бы я ни относился к этой партии «Единая Россия», я понимаю, что если Госдума приняла этот закон, если Совет Федерации его утвердил и Президент подписал, это есть закон. я понимаю, что если общество приняло этот флаг как гос. флаг России, то он имеет право быть гос. Флагом России. и никто не должен над ним надругаться. я это понимаю, прекрасно понимаю. но вместе с тем, я хочу, чтобы люди помнили, что было 24 июня 1945 года, парад Победы. когда шли наши войска, победители. впереди шел генерал Варенников с красным знаменем. и шли солдаты, которые несли флаги поверженных фашистских войск. и несли флаги бендеровских желто-блакитный и несли трехцветный флаг РОА, которую возглавлял А.А. Власов.

и такой же флаг был брошен к мавзолею. что теперь? из-за того, что этот флаг в 1991 году стал официальным флагом России мы должны привлекать к наказанию этих советских солдат?

а что мы должны говорить нашим ветеранам, партизанам-псковичам, которые видели, как расстреливали партизан власовские солдаты в псковской области, именно под этим власовским флагом. понимаете? власовским???

это история. и об этом нельзя забывать.

не надо забывать также, что красный флаг был поднят народом. этот цвет — цвет крови людей, нашей крови. Красный флаг был поднят в революции. с красным флагом люди поднимались в атаку и шли на врага, на Гитлера, и побеждали.

я помню, что мой дед был фронтовиком и тоже воевал под красным флагом. Красный флаг был водружен над Рейхстагом. и это был праздник. 30 апреля 1945 года Красный флаг был водружен над рейхстагом. понимаете?

и наши деды, они побеждали с этим знаменем. потом восстанавливали страну. с красным знаменем восстанавливали! прорывались в космос первыми. и все было с Красным знаменем. к сожалению, это история, да история, что трехцветный флаг исторически во многом связан с поражениями.

с этим флагом мы проиграли русско-японскую войну. с этим флагом воевали бело-гвардейцы в гражданской войне. с этим же флагом воевал генерал Власов. понимаете? это — история, которую нужно знать и помнить.

но если в нашей стране сегодня такая ситуация, когда все общество, все правительство и Президент считают и признают, что это государственные флаг, то это государственный флаг. и мы, конечно относимся с уважением к этому флагу, потому, что это государственный флаг. но история, она история. и если мы уважаем историю, то почему бы властям не уважать историю? почему ими забыт, что есть федеральный закон под названием КЗОТ, принятый в 2001 году, где четко написано название праздника 7 ноября — это годовщина Октябрьской революции, день согласия и примирения.

но несмотря на это, постоянно все телеканалы, все СМИ говорят, что это только — день согласия и примирения.

давайте выйдем и спросим любого молодого человека. вот здесь сидели даже один из свидетелей — сотрудник ФСО, не знал, что за день 7 ноября. спросим ребят, которые по улице ходят, они скажут что это день согласия и примирения. почему забывают нашу историю? или нужно чтобы все граждане превратились в вот таких вот членов КПСС, которые сразу пошли сначала в партию ДВР, потом в НДР, а сейчас — все они поголовно в ЕР?

разве это правильно? разве это справедливо? и какой может быть день согласия и примирения, когда выплачивают детские пособия в размере 70 рублей? 70 рублей! вы вдумайтесь!!! да, господин обвинитель!

когда по официальной статистике в питомнике для собак в Москве в день на корм собак тратится 60 рублей (замечание судьи, что не имеет отношения к делу).

Ваша честь, Ваше право меня останавливать, но я хотел, чтобы обвинение и суд поняли настоящий мотив, причину моего поступка. если вы считаете это неважным, то я могу сказать иначе....

я вам скажу официальные данные Госкомстата. естественная убыль населения России в год составляет порядка 700 тыс. человек. еще одни статданные: Псковская область имеет население 744 тыс на 2003 год. в год население России уменьшается на одну Псковскую область. если такими темпами вымирать, что будет через 10 лет? давайте подумаем! к чему мы придем? что касается уголовного дела. у меня была идея. я хотел поднять красный флаг. хотел поднять кр. Флаг в годовщину ВОСРеволюции. я хотел поднять знамя, с которым воевал мой дед. я хотел, чтобы ветераны увидели, что на Госдуме, на которой герб Советского Союза хотя бы в праздничные дни может быть флаг Советского Союза с серпом и молотом. чтобы мерзавцы не смели говорить, что это — красная тряпка. понимаете?

чтобы они понимали, что это — знамя наших побед. я этого хотел. я всю ночь не спал на крыше Государственной думы и иногда ловил себя на мысли: ну ладно, Армен, вот ты, да, вот тебе сейчас надо готовиться к госэкзамену, да, получить второе высшее образование, надо диссертацию писать. наконец, я работаю помощником депутата по ГД — это статус: в 32 года я — федеральный госуд. служащий категории Б. а зачем это надо? зачем поднимать красный флаг? сам же себе отвечал: что это же праздник! это праздник именно ВОСР! и я думаю, что я не зря дрожал вот этой ночью на этой крыше, в ноябрьскую ночь. и я добился того, что у многих людей, у большинства гр-н Сов. Союза, и России, кто

готов мыслить не штампами правительства, как им любимая власть скажет, а вот кто готов сам мыслить. мы сделали праздник. это был праздник. именно. потому что кр. Знамя было поднято на здании Госдумы. и то, что на обвинение сверху давили или как, что зацепились именно за этот парашют, который по всем параметрам не подходит под флаг, в котором полосы расположены вертикально, здесь вот раскрывали его и все видели. извините, это французское гос-во может считать, что это их флаг. как бы ни говорили, ведь у флага должны быть параметры 2:3 и горизонтальные полосы. здесь совсем другое. это не может быть флагом. и считать меня преступником, за то, что я случайно уронил парашют, который кому-то напоминает госфлаг, я считаю это неверно, товарищи.

и хотел еще раз сказать. если бы сегодня было 6 ноября, и я опять стоял бы перед выбором подняться мне на крышу Госдумы или, как сотни других обычных многотысячных людей, идти себе я не знаю, там выпить водки перед праздником, поехать на природу с женой, сыном, друзьями и просто заниматься сам собой, написать главы своей диссертации, которая до сих пор не закончена, или сделать то что я сделал, я опять выбираю то что я сделал. я еще раз поднял бы кр. флаг, ибо это день ВОСР надругаться над рос флагом я не хотел. не было таких мыслей. и я себе не ставил такой задачи. раз общество приняло этот флаг, раз приняли, утвердили. никто не имеет право его срывать и сбрасывать.

я всего лишь хотел поднять кр. знамя. и я его поднял. я считаю, что я невиновен, я считаю, что суд меня оправдает, а если суд меня не оправдает, то все равно история меня оправдает, ибо я невиновен.

такой замечательный, искренний конспект своих мыслей перед последним заседанием суда, свой черновик оставил Армен в моём компЕ — вот и сюда он дошёл в результате. чтобы без пересказов. пусть и с особенностями письма.

почему я у спуска в переход под Тверскую у Охотного Ряда, под «Националем», так зло ответил побирающемуся мужлану («пшёл нАуй!»)? шипяще ответил, сам не подозревая такого концентрата ненависти...

вероятно, потому, что с утра не работал Интернет на Газетном. 13.05. иду к памятнику Жукова чтобы передать там агитматериал — к концерту рок-коммуны 15-го, в честь Че в «Релаксе» — «Анклав» назвал его «El Che vive!». красные, как майки, афиши, жёлтые, в цвет флаеров стикера — кое-как мной порубленные (из-за сближенности на макете не смогли печатники сами рубануть), всё не слава богу. и альбом мы застопорили эшелонный — никак сведение не начнём, а действительность-то чешет дальше без наших песенок. отсюда и злость.

протока мимо подземелья «Охотный Ряд» — людИт, многолЮдит. девушки, декольте, трясосИ... всплываю под «Москвой» в сторону памятника. какой там «Москвой»? остатки догладывают, не выше трёх этажей стоит за ширмой, конечно же, над разрушением желтитя МТС — начинали рушить под их рекламой и заканчивают. а я, дурак, их мобильными услугами пользуюсь, 916... но куда податься? к людыпутинской «Мегафоне»? о, рекламы как «Мегафона» хороши — там столько сказано о розовых мечтах режима, столько ни разу сам Путин не выговаривал в обращениях, посланиях, заседаниях. подарок жены и её пиарщиков.

выход из-под земли облеплен как отхожее место (а отхожие, голубые будочки тут действительно рядом). суют кокакольные детища, бумажки. люди-бумажники, совальщики реклам в прохожие руки автоматизируются забавно: направо, налево суют, играют уже. но сколько надежды в глазах! при полном отчуждении от действия: неважно, что там написано, правда ли, ложь ли — важно впарить. впиарить. работа такая, за это платят-с. ах, прочитайте что там написано — и мой профессиональный долг будет выполнен, не зря получу деньги... побирушки. только под видом работы. нешто они таким «производством», такими услугами реально зарабатывают? нет — им просто отрезают ломоть от всеинного происхождения доходов. перераспределение...

в таком месте, перед памятником Жукову — лучше всего передавать агитмат (у меня, кстати, похожая по масштабам «рекламная продукция»). среди мягких ходячих игрушек — Мики-Маусов, Дональдов, среди разносчиков бутылочек кокакольных, среди всех этих атрибутов Постэпохи. постоять, привыкнуть, поглядеть горестно на огрызок «Москвы», опадающий за занавесом МТС. на жёлтом занавесе — люди, говорящие по сотовым. прогрессивные. нездешние. женщины, мужчины. секретарши, топ-менеджеры. а я жду акаэмовца Василия. такой вот коллажик. жду, спрятавшийся между невольниками-распространителями кокакольщиками, рядом с Мики-Маусами, Дональдами (проходящая с родителями девочка добавляет: «Мам, и утка там, утка там!»), жду чтобы передать хоть лёгкую, но антисистемность, с родным лого «Эшелона».

памятник Жукову — как последний ход в шахматной игре, мат, отвоевались. ход, запирающий Красную площадь для красных. жест Жукова: «всё, ребята, стойте, не ваше (не наше) время». для военной техники, для парадов — текучих оттуда, с Тверской — улицы Горького и, раздваиваясь, втекающих на площадь к Мавзолею. то были стройные, непрерывные ряды, постепенно вооружавшейся, всё современнее и современнее Красной армии. на репетиции парадов вечерами по нашему Каретному средь Эпохи грохотали танки и БМП, мы выглядывали в окна, зная, что это устрашающий шум того оружия, которое будет нас защищать если что, и тут мы не отстаём от противника, Красная армия всех сильнее... и у неё была своя Красная площадь — приятная, правильная для советской Эпохи переключки времён в названиях. но теперь, если бы и поехали — по пути преграда — лесенка торгового центра. военная колонна, только ужавшись в змейку, могла бы проехать. да и то — лишь с одной стороны Исторического музея.

имя Василий в АКМ — архетипное. ещё в 1999-м, в декабре я увидел другого Василия — он стоял в качестве охранника на входе в коридор, ведущий в зал кинотеатра «Авангард», где уже саундчековалась ГО, жарил отдалённо и желанно летовский саунд. в чёрной беретке на кудрях, в майке с Летовым в позе Иисуса (+ зелёная подпись «Нечего терять») этот Василий, маленький и не по росту укренный, он время от времени дружески успокаивал напирющую толпу: «Ребята, всё же бэст — там Егор, я сам его видел, сейчас начнём пускать...». потом появился хайратый басист «28 Панфиловцев» (на самом деле — из металлистов Ю-тушников) и подарил ближайшим фанам календарики Трудороссии с автографами Ле-

това: «Тут вам дядя Егор привет передаёт». Василий Первый ещё мелькнул в журнале «Трава и воля» — рядом с его, вероятно, статьей о мытарствах по монастырям и голубой ориентации привечавших его батюшек. подписана она была «Товарищ Василий», после Василий исчез, в АКМ миллениума его уже не было, вероятно, скурился или что ещё сопутствующее. такими они были, предтечи бойцов АКМ — анархизм, летовщина, трава. и воля...

Василий возникает галсами, со стороны площади Революции, с опозданием, к половине, походка его вполне под стать мультяшным героям, среди которых состоится передача — спешит, помахивая хвостом длинных чёрных волос: камуфляжно, защитно окрашен, вразвалочку, нет, не всё столь безнадежно в обществе Постэпохи: уже появляются из толпы эти люди, новые, пока не сильно отличные от толпы, но в умах носят революционную альтернативу Реставрации. Революцию. неотличимые от рок-фанов или неформалов недавнего прошлого, начала девяностых, только их банданы и майки, рюкзаки — либо Че озаглавлены, либо серпасто-молоткастые, либо вообще никак вы их не узнаете, законспирированы. горячие умы, длинные волосы, пропотевшие чёрные майки со Сталиным, Че Геварой или Егором Летовым или бундесовые рубахи... да, это наши.

вынимаю две голубые коробки рафлатака — вручаю. по вручении вылетают улики — жёлтые стикера, летят стопкой точно к подножию памятника, а оно отгорожено. но длинные руки Василия всё достают, быстро. договариваюсь — кто где афиши повесит: я в «Зиг-Заге», он у дяди Бори. и разбегаемся в разные стороны.

високосный год продолжил свой людской покос. о том, что нашего дядю Юру забрало небытие — узнаю в самом неподходящем месте, на отдыхе рок-коммуны после концерта в «Релаксе», в местечке Омутище на академической дедушки-альпиниста даче «Анклава», за сто километров от Тебя. в душном дне, словно специально низко нас накрывшим без продыху облаками, словно на дне, где трудно вдохнуть воздух — мы играли в футбол, гоняли по небольшому полю, но обливаясь семью потами при этом. спортивные рок-коммунары... редкие сутки совместного бытия творческих единомышленников вне Тебя, вне правил года города.

купались в песчаном пруду, ближайшем к дому братцев-анклавцев Егора и Николая, ополоснулись в душе и потом, греясь, на дыму готовили шашлык, развернули флаг СССР, повесили на бане-душевой, пели наши песни — о революции, о Сталине (Баранов заменил его Троцким, но только доля шутки тут была, идейные расхождения в группе стали ощутимы в последнее время), «Венсеремос». а наутро — мамино сообщение по сотовому: в том самом душном, тяжком дне в далёкой городской Твоей больнице дяди моего — всегда в нашу квартиру, да где бы он ни был, приносившего уверенность, жизнерадостность, какую-то перспективу рациональную — и не стало.

по возвращении: путь по нелетнему прохладному, с моросью деньку — на похороны, от «Семёновской», бывшей изначально «Сталинской», к местной боль-

нице. как похожи эти места. пространственно повторяется одна и та же схема, как и с моргом близ ВДНХ, откуда мы забирали нашу бабушку (в тех же краях она лежала несколько лет назад летом в жаркой больнице): широкое шоссе, поворот в правую сторону, от центра если ехать, после углубления в микрорайоны, но не доходя до железнодорожной окраины — больница и её дальняя часть, где и...

холодные руки родственников, чёрные лёгкие рубашки, поблёскивающие на женских лицах следы размазанных или медленно стекающих слёз. странно сказать, но в этом году уже становится привычкой обряд такой. зайти и видеть этого всегда сильного, улыбавшегося нашего родного (с чертами лица моего деда) в гробу — нет, не страшно... просто несоответственно. всегда его большие и мягкие, сильные мастеровые ладони и пальцы — теперь сомкнуты и неприветливы. а лицо словно во внимательном сне, чуть говорящее его характерным выражением: «нет-нет, вот уж сейчас-то мне не мешайте». бумаженцию православную положили зачем-то. впрочем, был в последнее время, или даже не заметил я с каких пор — да, не очень броско православным, на уровне традиций, верности незапрошлым, нам неведомым канонам своих непосредственно предков.

уже в этом году становящийся привычным — путь в крематорий, туда же, куда бабушку везли зимой... в прежние времена лица большой Даборкинской семьи собирались лишь за столом на Серпуховке: весёлые, бесчисленные, поющие, хохмящие. теперь вот в автобусе с зашторенными окнами едем летом. да, медленные разговоры с родственниками по прибытии на скорбном пространстве перед длинным рядом дверей крематория, ужасного этого, но неизбежного конвейера. и позитив среди негатива: двоюродный брат мой увидел, сколько у него родни по дедово-материнской Даборксинкой линии (фамилия эта от слова «табор» произошла, семейная легенда гласит, что в белорусском селе проходил табор, и цыган один, влюбившийся в местную селянку, остался, и наплодили они целое село и назвали его окружающие названием «даборки»). проводив в этот нижний путь дядю Юру последними слезами и прикосновениями к ледяным руками, как до этого мою бабушку, сознавая, что в именно это момент, погружаясь вниз, родные черты исчезают уже из видимости *навсегда*, выходим — к транспорту, к пути, к продолжению здешней нашей жизни... и едем на островок Серпуховки, выброшенный аж в Перово, едем большою семьёй.

в таком же тепле, в листе 2000 года мы перевозили сюда мебель Серпуховки, втаскивали чёрное пианино... но и здесь, в этом помещении нет теперь гвоздя, остова, дяди Юры, остались его сын да сестра. тут приходится по комнатам распределиться, не поместимся. пустота этих комнат, особенно его — вот неявный, но истинный траур. не берёт его большая, хозяйская, знающая расположение здешних предметов рука ничего, и пространство дядиЮриной дальней комнаты с кроватью, на которой мы с племяншем Алёшкой скакали детьми-чёртиками, сворачивается, её разгребают в поиске новых сидений, которых не хватает в других комнатах...

нет, не в наших традициях все эти плакальщицы — большая семья советский оптимизм не потеряла, даже частично и раздружившись с советским соот-

ветственно Постэпохе. за столом со вкусом свежих помидоров, огурцов, зелёного лука, редиски красной, жгучей водки из конуса-штофа, которую дядя Юра всегда находил (и не дорогую и интересную: медовую, хлебную какую-нибудь) с лицами родными, напоминающими чертами свои — мы плывём в этом новом кораблике помещения бывлой Серпуховки в своё будущее, каким бы оно не было (и в нём уже живёт правнучка дяди Юры, доча пламяша моего, обставившего дядьку-меня по этой теме)... но ближайшее впереди всё же — похороны, повезём на Ваганьковское прах.

десятый съезд партии совпал с завершением вещания «Резонанса» — определённо в этом году к лету настал некий рубеж для людей и людских организаций. ушла ещё одна, (радиовещательная) составляющая моей журналистской суеты, таким образом оставляя во мне безраздельно властвующего профессионального революционера и поэта с данной поэмой на сносях. конечно, «Резонанс» не мог продолжаться вечно: вся эта запоздалая, сохранившаяся на Пятницкой, 25 советская эстетика: деревянные двойные двери при входе в студию ещё годов пятидесятых, нищенские зарплаты, бабинные магнитофоны, наши скромные там празднества-новогодия, на которые с тортами приходил сам Титов, главный редактор, престарелый румяный комсомольский работник, приводил ещё того главреда «Правды» Ильина... аппаратные, где я из архива часами с нашими операторами выуживал свои передачи на диск... песни Эпохи, звучащие каждую пятницу в наших передачах, песни о Сталине, «Физкультурная боевая песня» моя любимая, словно бабушку мою вижу в рядах физкультурниц перед Мавзолеем и вождём. липкие звонки радиослушателей после эфира, обратная греющая связь, лестничная беготня с пропусками, подготовка выступлений, кубинские, греческие и прочие наши бесчисленные гости — всё это не могло продолжаться вечно, конечно. а деньги на «Резонанс», как-то хитро заторможенные в Мост-банке (возможно, трюк власти, подобный осаде ЮКОСа), почти совпавши со съездом-икс обвалили всю систему, редакция задолжала и дело дошло до приостановки вещания и отзыва лицензии в конце концов. безусловно, такие жаркие и мятежные передачи не могли пройти незамеченными, этот островок левачества и советского упорного сопротивления — нашли способ окружить и изолировать. не вызывая политических подозрений, нажав на главную кнопку, финансовую. и ни с кого не спросишь... сами денег не нашли, Купцов тоже не всеилен. тяжёлая мораль Постэпохи: борющихся за отмену денежных знаков вообще — деньгой и бей, пока твои правила. и на съезде номер десять партийный кассир надёжа Купцов, как-то ущемлённо прихрамывая, выходил с Зюгановым из кабинета с совещания-планёрки в сторону мрачного обесточенного зала, призывая немного обречённо его за собой с деревенским, типичным для ЦК произношением «г»: «Ну, пойдём, Геннадий...».

на съезде в тёмном огромном зале, при подсвечивании фонариками со стороны охранников у трибуны, при освещении светом телекамер — история партии, если и не хотела до сих пор поворачивать в сторону революции, то с по-

мощью провокационного импульса режима, пошло её движение влево. моё присутствие на съезде в качестве журналиста высветило не только Зюганова при свете фонариков на этой тайной вечере (всё проповедующего своё открытие, что социализм это русская идея нового столетия(но и более мне интересных неожиданных героев зрительного поля: стоящих позади него у знамён в качестве почётного караула мальчишек-матросиков, уж не знаю, с настоящими или бутфорскими акаэмами, — вот это более пророческие элементы сцены были.

на съезде была и Ксю, время от времени мы выходили на свет перемолвиться словечками, коллеги-журналисты. видеть её в белом платье и таких же трусиках на просвет с кресла в проходном ряду — своеобразная ностальгия. и особенно когда повернётся спиной: вот же, был же я за этими ягодичными пределами в том среднем сужающемся просвете, и кажется, что очень давно был... болтаем про всякую ерунду, про «ЖиЖи», о котором я не имею представления. коварная Ксю показывает возможности своего сотового телефона с объективом — снимочки, сделанные ею в какой-то женской душевой («Да нет, это не я, ты что, совсем забыл, как я выгляжу?...»). в это время в тёмном зале вершится история, как напишут завтра и сегодня газеты.

на свет, к окну центрального здания комплекса «Измайловский» мы выходим ещё и потому, что сюда должен прибыть парнишка с РБК, который принесёт вести с «пароходного» съезда отщепенцев. поработали с этой провокацией все вместе враги партии очень серьёзно: перерубили кабель, питающий зал, где-то очень далеко, как сказал Зюганов «за МКАДом». Николай Харитонов орал с трибуны на невидимых этих злодеев, будто в кинорубке могли исправить это положение сии злодеи, к которым вернулась от его выступления совесть... подкупили четырёхстами баксами двоих водителей автобусов, что везли делегатов — они их вывезли чёрт знает куда, далеко от «Измайловского», и там высадили, заявив что заблудились и бензин кончился. в общем, продуманная провокация, включая последующий звонок ничего об этом, конечно же, не знающего президента ВВ Зюганову: «Что там у вас случилось?».

забавно, но не смешно, что именно этот стареющий, но организационно твёрдый ветеранский костяк партии подвергли испытаниям — в условиях их же традиций, просто автобус приехал не туда. а ведь так привыкли наши партийцы к государственной заботе о них, что привезут именно туда, куда надо. ну чем не объемлющая метафора Постэпохи — вот так же и ранее все эти наши, теперь-то образумившиеся, но, похоже, не вполне, партийцы ждали, что партия-наш-рулевой приведёт их к коммунизму. а она вырулила к перестройке, рыночным реформам, к капитализму и высадила из уютного салона — ковыляйте, ветераны, ищите дорогу теперь сами.

вот чтобы из чащи партократии и карьеризма, из советского ещё опасного расслабона старшего партийного поколения вывести, чтобы дорогу вместе с ними и товарищами помладше даже меня новыми, к новой революции найти — и полез в 2000-м я в эти авгиевы конюшни, и стал сплетником-газетником, таскачОм НО в Госдуму, ведущим «Молодого патриота», и, наконец,

полгода как уже пресс-секретарь ЦК СКМ РФ, родного комсомола. радикализировать партию снизу, но сохранить её, сохранить этот мощный, даже Реставрацией и Постэпохой не сломленный механизм сочленения индивидуумов — сохранить, чтобы привести в действие в революционной ситуации. механизм, гремевший по просторам Бывшего многогазетной партийной прессой, радиостанцией «Резонанс»; механизм, переживший им же порождённую Эпоху — воспроизведённый и «ЕдРом», но на буржуазном базисе. на оставшийся с названием на букву «к», вопреки всем атакам контры механизм Коммунистической партии. сломать государственная контра пытается настойчиво — чему пример десятый съезд.

насытившись под завязку шведским угощением съезда, ещё потусовавшись с журналистами и комсомольцами, мы, как-то стихийно объединившись с бывшей любовницей Ксю, пошли к метро. будоража, вдогонку нам полетел клич одного из пожилых безумцев, стоявших с плакатами-флагами на защите входа «Измайловский» (от семигинцев защищали пенсы́ десятый съезд): «Ответьте только на один вопрос, журналисты — когда вы поженитесь?». попал дед пальцем в небо — нас обоих с Ксю передёрнуло, ведь она на это и намекала тогда-то, в холодной квартирке в хрущёбе близ Павелецкого, отдаваясь от мужа, отдаваясь мне... почти хором весело ответили девушка в белом, мамашка первоклассницы, и юноша в милитари: «Теперь уже никогда!». дед не понял юмора, а мы пошли к метро. статуи внизу «Измайловской», Зоя Космодемьянская и бородатый партизан, герои моей Эпохи отвлекли от телесно шествующей рядом со мной, но не будящей тяги ностальгии, болтали в вагоне ни о чём, глядели незаинтересованно друг на друга экс-любовники. распрощались на площади Революции — да, именно тут переход моей фабулы и фатума из блужданий девяностых в партийность миллениума.

2.07.2004. где же митинг? говорили, к памятнику подходить, К. Марксу. но Театральная площадь живёт полузаполненной, расслабленной повседневно: у подземного перехода за Малым театром кучкуются проторекламные подростки... «студкоммуна», скорее всего. название-то какое обязывающее. но на лицах этих написано незамысловатой мимикой главное послание Постэпохи: пофиг. и такой же, если не генеральный пофиг — по поводу отдалённых, отсюда только и угадываемых (вот и понял — где митинг, у Музея Ленина) звуков митинга.

пропускает «Метрополь», ходят, показываются на столичном солнышке, на лесенке перехода своими упитанными задиками-грудинками девахи нецентрального происхождения (мода пошла на вываливающиеся из ниже талии посаженных джинс задЫ). обычный денёк... но нет: по эту сторону перехода подземного, то есть у «Метрополя», справа уже видно — чем денёк необычен. стоят сгрудившиеся ПАЗики и худые, невыспанные, смутные срочники в серой бендеровской форме, в кепариках полицейских: значит, что-то ждут власти от этих отдалённых, явно нелояльных звуков.

а митинг-то вон, полыхает у внутренне недоступного «бывшего» музея Ленина. но что-то грустно в это солнечное утро мне. и даже знамёна красные, трепещущие там, откуда слышится звукоусиленный голос — не разжигают. всё грустно: и ритмичное стояние этих, ничего не понимающих, ментов-юнцов, и митинг ни на что не надеющихся старцев по поводу попраiania их прав... интересно, что в головах этих под серыми кепками — головах, которые должны «контролировать» ситуацию? прислушиваются ли к содержанию выступлений, отсюда уже слышных? или думают: «а мне наплевать, я не старый»? кем себя считают — наследниками СССР или россиянами эрэфными? понимают ли связь эту зыбкую — нынешнего митинга и СССР? или вообще не думают о таком? а обо мне, одетом камуфляжно (майка из «Полигона» и зелёные альтернативщицкие шорты), то есть с боевой раскраской — что думают? что случайный прохожий или — дай-то бог! — что я как раз «одинИз», тот, который может участвовать в «беспорядках», то есть который идёт со своими мыслями, со своим пониманием, сознательно идёт Туда, а именно это Туда для них потусторонне в этой, сверху навязанной им приказом, нарядом, начальством игре...

но чем ближе, тем ярче и участнее. и всякая грусть станет конструктивной, то есть побудительной: не грустью, а горечью, осознанной действительностью, которую нужно менять.

уже издали узнаю лица наших, стоящих кто где. здороваюсь — это такой странный узор зигзагами, от кучки к кучке. вот вдаль троцкачи и наш Григорий Сивачёв, завернувшийся по-фанатски во флаг СКМ, мною рисованный. вот низкий, с явно аномальной внешностью, весёлый распространитель газеты «Рабочий Совет». сколько их, этих газет? кто издаёт их? тут же ходят с ящичком сбора средств для политузников. тут не до юмора, но слово «политУзники» — на вербально-ассоциативном уровне фигурирует-дефилирует как нечто смешное мультяшное: собачки-тузики, телепузики с майки Егора Летова какие-то ассоциируются звуковО.

что ж за сонная грусть на меня налипла сегодня? а ведь надо начинать записывать репортаж для сегодняшней передачи «Молодой патриот» — митинг давненько начался... далее должен бы последовать сам репортаж, начинающийся со слов после не скрытого вздоха, выводящего звуки митинга на комментарий: второе июля, площадь Революции...

конечно, грустинка вместе с пылинками (а сколько пылинок — столько и грустинок) прилетела ко мне от напротив митинга разрушаемой «Москвы». да уж, символ: рушат законы советские, рушат и здание той же эпохи. единственное тут реально происходящее, а не словесно — это разрушение «Москвы». и грустна, если не траурна, мысль о собственном бессилии в данном случае: уже не придумываю как год назад предлог попасть в гостиницу, не бегаю между Газетным и дирекцией к которой вход с торца — с письмом от главреда НО. не лезу на одно из плеч гостиницы, чтобы увидеть оттуда, с высоты сталинской, начало уже другой, этой, теперешней эпохи: серый необлицованный Триумф-палас (престановка букв тут может скаламбурить: «я па...л с паласа», самого высокого здания в

Европе); не бегаю коридорами, пытаюсь одновременно оживить взглядом и укрепить эти стены. стен-то уже и нет. чудовищно хмурый, как в разбомблённом Берлине зияет провал внутреннего этажного интерьера за окнами и сохранившейся за чем-то надписью «ресторан Столичный». не была ты, Москва Сталинская с рестораном «Столичным» настолько доходна, чтобы тебя оставили первозданной, здание. а выходящая к Музею Ленина стена с ослепшими окнами ещё хранит наверху идеосимволические барельефы — усталые там серп с молотом разлеглись отдохнуть, опершись на звезду, на лаврах... правильно: Брежневская эпоха достраивала архитектурный этот сталинизм.

встретив Рэдовольфа-Белова и говоря с ним в диктофон, подхожу к следующей кучке, выключаю запись, приветствую Немца акаэдного, прикинутого мрачноцветно и, как всегда, по-фанатски, в задиристой бейсболке. он сразу говорит:

— Так, ребят, далеко не уходите, за нами держитесь — пойдём когда к Марксу.

вот и это бы в диктофон. но, впрочем, это не для эфира, не комментировать же цивилизным голосом: куплено 10 фальшфейеров и готовится прорыв-перекрытие Охотного Ряда во главе с Зюгановым. АКМ для этого поджаро мобилизовался и только ждёт сигнала. а сигналом фальшфейер и станет.

толпа медленно потекла в направлении памятника, по дороге с Рэдовольфом любуемся фонтаном, из которого задолго до переименования площади в «Революции» добывали воду «человеки»: прислуга, челядь. блестят на солнце пухлые пиписчатые малютки-атланты, подпирающие фонтан, старина столичная. а там впереди — глыба-Маркс. и обступают его пожилые живые обломки эпохи, которой его теория фундаментом была. и есть...

мы продолжаем светские беседы с Рэдовольфом, он знакомит с двумя ребятами из его областного пополнения. они ещё и говорить-то не научились... скромные, но здесь, уже...

Гуныкин запалил фальшфейер — как продолжение постепенно разжигаемого настроения масс вокруг памятника Марксу. шум проезжей части и напрягшиеся омовцы неплохо отделяют происходящее у памятника от остальной театральности, летней спокойной респектабельности площади — там у Малого театра продолжают кучковаться рекламщики-кокаколышки, люди идут по своим делам. ну, бросят взгляд сюда с той стороны... неужели так же было и перед 1905-м? кто-то стоял, слушал, простужался на митинге, а кто-то шёл мимо в бакалею или к Мюру тутошнему, серому, готичноватому?

воспылавший факел действовал воодушевляюще на пенсионные массы недолго, погас. прошло минут десять. и вот, совершенно внезапно, внутри скучкованных у памятника масс возник вектор вовне. движение мгновенное, бесповоротное — но почему к троллейбусной остановке? тем более, что за ней, почти вплотную к ней — ментовской пазик. словно ребята давно там не были. но тут не до шуток: комсомольцев АКМ и СКМ, рванувшихся и поваливших оторопевших омовцев, быстро отпрянули. на лицах ментовского командования растерянность и пострадалость (такого резкого и целенаправленного броска они не ожидали, готовились, небось, просто «отдавливать быдло») сменилась яростью и бы-

стрыми командами догонять и карать налётчиков. ОМОН пошёл квасить ответным клином. выхватили и поволокли из атаковавшего звена наших Гришку Сивачёва, Веселова и акаёмовцев во главе с Удальцовым — к тому самому, так и не преодоленному автобусу (Немец потом прокомментировал: оказывается, предполагалось обогнуть ПАЗ и оттуда уже двинуться к Думе, перекрывая Охотный Ряд). генерал-майор из куваевских охранников, в фуражке и при параде всех своих орденских знаков орал на омоновского полковника: «Полковник, отставить!». но один из омовцев выполнил приказ старшего по званию вовсе не в том направлении: положил на асфальт, грозя дубиной. пожилые массы (почувствовалась перед этим не дрожь, но словно стон или синяк задвигался по телу массы) отреагировали на омоновский рейд сразу же:

— Фа-ши-сты! Фа-ши-сты!

с той же стороны точно заработал конвейер: первый пазик, в который нахватили мятежников, в момент контрнапора масс, отъехал и тут же подкатил второй, куда тоже нашлось кого пригласить. в этот ПАЗ из масс под усиливающеся «фа-ши-сты!» полетело то ли яблоко, то ли иной фрукт, смачно и стыдяще внутринаходящихся, расплющившийся о боковое стекло. чувствовалось, что кинули бы и что потяжелее, да не оказалось под рукой. действие у стеклянной троллейбусной остановки вовлекло в себя пожилое большинство, кто-то, беспомощно шаря палочками, оказался под ногами у омоновских жеребцов. телеоператор один, стараясь выбрать наибольший охват происходящего для своей в синем чехле камеры, так ловко сгорбился и вписался в дальний верхний угол, «девятку» этой самой остановки, что его и не сразу заметишь. началось перетягивание некоторых, уже ухваченных омовцами молодых красных неудобников. кто-то был красен действительно: кровь лилась по лицам, коим досталось вскользь демократизаторами. третий, в который тоже кого-то нагребли, случайно прихватив и неприкосновенного Тюлькина, ПАЗ откатил, и напор на омоновскую цепь стих, причём Куваев сам, спиной к верным серым псам маргариновой демократии, встал как барьер перед своими, негодующими, уже раскисшими от поражения и осиротевшими массами, и в мегафон стал успокаивать:

— Товарищи, спасибо всем, кто пришёл сегодня на митинг. Московский горком выносит вам благодарность. Но здесь, к сожалению, ничего не решается. Давайте мирно расходиться...

я разошёлся тотчас — ждёт эшелонная запись. вот уж действительно «Священная война». выходит, что наша работа сегодня — ответ, своеобразный трудовой творческий фронт против происходящего. звучала у Музея Ленина «Священная война» классическая. а вот тов. И. Баранов сегодня переписывает уже бэк-вокал в нашей эшелонной версии. в шутку на нашем слэнге обзываем эту перепись «бык-вокал»: пишем-то мычание. акапельно получается ну чистейший кавказ. сталинизм, однако? с музыкой, правда, это исчезает. но пора, уже близятся пять часов — из сталинизма архитектурного, ютящего два года наш революционный саунд-эмбрион — на «Резонанс». там у «Кафе Макс» Олег Киреев ждет уже, небось, а я опоздать могу, при этом надо еще что-нибудь переест успеть.

через «Октябрьскую» и на оранжевую — выходит экономия времени. так что прибываю к пяти, успеваю спуститься с седьмого резонансного этажа и за чем-то купить внизу в грильно-пивном ларьке невкусную ачму в двух экземплярах и пепси в бутылке, в банке нет.

что-то там рядом с кафеМаксом выдалбливают в радиоцентре, конкуренты, небось. ачма на своём покрытии имеет какие-то купоросового цвета точки-палочки. снять их крайне сложно. но такое лучше не есть. точки вынуты, а пресная ачма, явно не первой свежести, скучная и малосольная, без сырного вкуса, а с сыротестовым маслянистым — поглощается, хоть и без удовольствия. и на жаре. вот пепси — это питание. пожалуй, основное. пока жду Киреева на жердочке забора, где точно так же до меня рядом восседала девушка с сотовым. потом добавляются громкоговорящие и непрерывно матерящиеся юнцы — бойцы компьютерного фронта.

— Лёх, а чем биться против ильичей... у меня ничего не действует?!

двое из войнов виртуальности выглядят стандартно-продвинуто, но уже зажёванно и, скорее, даже дворово, неряшливо — худые, как их грубо, но точно называют, «задроты». скорость азартного тыркания клавиши «спэйс», при лежащей на коленях клавише, ни с чем (кроме как с мастурбацией) не сравнишь. третий, самый громкоголосый, толстый и грозный на вид, хоть и не такой скорословный — вообще персонаж характерный. пират. у него повязка на одном глазу. правда, не чёрная, а марлевая. видать, так замучил глаза виртуальным террором, что пришлось операцию делать. и не пожалеешь такого — это люди, живущие вне мира реальных сил, реальных энергий и борьбы реально наличествующих в обществе идей. для них «ильичи» — это нарисованные виртуальными постдисидентами-художниками монстры.

но где же Киреев? уже даже больше половины. а в шесть десять начало. подняться нужно минут за десять. спешащие часы сотового торопят ещё сильнее, там уже больше без четверти. о, кто-то очень кирееватый выходит из Интернет-кафе! радушно ринулся. а это не он. блин, приходится топтаться теперь неприкаянным — зачем так рванул на глазах у публики?

вот воробышко — правильно меня понял, я эту вторую ачму явно не хочу глотать: на, дорогой, кусманчик, на второй. один проглотил, другой уволок. вот это куш, на неделю.

Киреев появился в самый предпоследний момент, без пяти по спешащим. понеслись внутрь, получили в бюро пропусков синюю рамочку для проездного с номером на бумажке — и вверх. домосед Киреев приехал на трамвае, конечно. от этого и опоздал, артист. Киреев мал и сух, горячеглаз и весел, как обычно. взлетаем наверх, располагаемся на синем диване в предбаннике «Резонанса» и успеваем даже переговорить впопыхах о некотором, выбрать в качестве двух обязательных песен в (условленную между нами по мылу как антифа) передачу «Бандьера росса» и «Гренаду» столь любимого Киреевым Утесова.

оп, новости-то за нашей беседой неспешно-задушевной кончились, а уже наша заставка пошла!

резко с дивана вшмыгиваю в студию, но Киреева за собой не наблюдаю. а «Гуэрилла рэдио» уже переходит в «Молодую гвардию». уж полночь близится, Киреева всё... выбегаю — оказывается, он пролетел мимо открытой двери самой студии зачем-то в пульговую, операторскую, и ищет там меня, благо что вооруженный очками... ну, не был человек на радио! ну, странник он, триппёр, так сказать. вот, заблудился, блин, не вовремя. затаскиваю его и, не отдышавшись, начинаю эфир. далее можно бы по логике прослушать сиди с передачей «Молодой патриот» от 2 июля 2004 года, если кто имеет сию трэшку. того самого числа ни я, ни Киреев не знали, что это вообще последняя передача под таким названием на таком радио. 10 июля «Резонанса» не стало. чувствовали мы с Довгалем или просто угадали, но последнюю передачу 9-го пустили в записи, которая с «Анклавом» и РВ была недавно, сами не пришли, были ибо на комс-разборках непреложных, в тот момент наиважнейших. но — мой пардон за запрещённый сентиментальный приём мемуаристики, возвращаемся в радеал.

— Нет, менты виноваты!

это Олег отвечает одному слушателю, который имеет милицмейское звание и в эфире извинялся за ОМОН, сказал, что не все такие. но Киреев пошёл в атаку:

— Вам стоит снять форму и посоветовать сделать то же самое вашим сотрудникам...

звонивший товарищ потом перезванивал после эфира: не все так плохо, он ведет пропаганду, у Белого дома в девяносто третьем в свое время стоял... однако Киреев сел на излюбленного антимент-конька и красиво его погонял. что логично перешло в тему антифа и замечательную цитату:

— Охранники фашизма — это сторожевые псы, у которых агрессия превышает чувство самосохранения.

а за стенами Новокузнецкой, 25 — прямо в том направлении, куда указывает его угол-вход, на Манежной площади, перед разрушаемой, догрызаемой всеми возможными экскаваторами «Москвой» уже готовится другое действо, куда я зову Киреева после удачного, красиво высказанного им (о советских завоеваниях в борьбе с фашизмом: «Только ради этого стоило быть СССР») окончания передачи, пока умильно сипит Утёсов заключительную песню. забываем на пульте студии новый «Образ жизни», словно школьную тетрадку — Киреев настоял, чтоб взял я и читал, — садясь в свой трамвай, что довезёт его аккуратно до дому, до Вавилова его легендарного, того же поколения дом, что и мой.

вышел из новоотремонтированного выхода «Площади Революции» и, снова встретившись лицом к лицу с «Москвой» в разгромленном Берлине, спешу к тоже разгромленному экс-Манежу, к ступеням торг-разв-комплекса. до уровня четвертого-пятого этажа уничтоженная, добиваемая, гостиница «Москва» с влажной пылью сеет вокруг печальный, траурный запах. известковый, астматический. последние выдохи дома. запах внутренней стари Твоей. так пахнут гибнущие дома, за несколько дней вынужденные выдавать свои запаховые таинства проходим — тревожно, безнадежно. мокрым деревом и штукатуркой. так

было на Рабочей. оттуда этот запах стал так неприятно знаком мне. успел до 19.20 к Манежной. до радиопередачи вызвавшая меня по мОбу Марина из нашего аппарата МЛФ, звонит, когда я иду на предполагаемую толпу, минуя тут и сям поколение «нэкст» и туристов, топчущих посыпаемую пеплом сталинской архитектуры стеклянно-каменисто-фонтанную верхотуру комплекса на Манежной. пляжная, засвеченная тут обстановка.

— Дим, ну ты где?

— Да вот уже на комплексе, к Манежу, к фонтану иду.

— К какому фонтану?

— Да вон там вроде толпешник некий.

— Что-то я тебя не вижу. Мы в центре... А, так ты у второго купола — ты нас прошёл уже.

— Не понял. А вы-то где?

— Повернись и иди назад, в сторону Думы... Ты в чём?

— Да в том же, камуфляжная майка, альтер-шорты.

— Всё, я тебя вижу, ага. А ты меня?

— Розовенькая? Вижу.

подходим компанией из МЛФ и АКМ к камере — только мы пока и съёмочных три человека. толстенький гнилозубый режиссер этих уличных включений «Свободы слова» приветствует нас всегдашней улыбкой, ещё раз переговаривается с Мариной. «Москва» продолжает дышать на нас прощально пыльно.

— Дим, в общем тут план следующий: первыми говорим мы. Белов как очевидец из автобуса расскажет, как там избивали и прочее. Потом ты расскажешь про само столкновение...

— Да я уже в радиоэфир всё это выговаривал, так что наработано.

— Замечательно. А потом АКМ расскажет, что сейчас в отделении, кому какие травмы нанесены...

немного нас. шесть человек, стоим — горячие красные, переминаемся в предчувствии информационного боя. остается еще минут десять. но, пока начнётся передача, реклама, время есть. АКМ, как всегда, притягивает к себе панков, прямо тут, у Манежного комплекса даже: со стороны Иверских выбрали два панка и подгребли к акаэмовцам со своим знаменем хаотично двигающимся, две панкушки потому, что у АКМ сегодня тут, они магнитят. слышны приветствия, какие-то общие темы обнаружились. ирокезистый и наиболее грязный в майке «Азъ» бросил:

— Не, анархия реально уже не катит...

— Правильно, товарищ: уан солюшон — революшон!

— Ладно, мы тут с вами потусуем, может, в камеру попадём.

— Ты зря так, если шутишь: наши вот в камере сейчас по-настоящему.

— Ха, вышло весело — типа, да, я не в том совсем смысле...

появляется от Иверских же галантный в оранжевой рубашке Костя. вид имеет туриста, причем иностранца. комментирую-цитирую «Любовиголубей»:

— Это откуда ж к нам такого красивого дядечку занесло?

Костя тушуется от шутки, но быстро и опять же галантно переплывает к новым темам. забавно, что с той же стороны выходит уже теперь настоящий иностранец с кем-то, но в точно такого же цвета рубашке-безрукавке.

постепенно прибавляется люда: сначала прибежал еще один товарищ из АКМ, только что из китайгородской каталашки, вот он-то и расскажет, что там. выстраивается всё строго и непримиримо, если нам дадут всё это высказать.

ощущение столпотворения возникло с появлением Жириновского, который почему-то из рядом стоящей Думы приехал напротив через улицу на машине, с эскортом раскормленных секьюрити и легко опознаваемых бандосов: народ почувствовал, что нечто публичное тут будет происходить — камеру прибавив к Жириновскому. мелькнули зеленоватые криминальноватые и пэтэушные лица ЛДПР-молодняка и их жевтоблакитные знамёна. Жириновского как-то болтает вместе с окружением окрест камеры. цвет лица свидетельствует — он избранный, он из Думы, у него тут же берут какие-то оторопевшие кобылистые девахи автографы. даже книжки Жирика возникли откуда-то, видимо, из его свиты: «ивАн, застегни ширИнку», ой, то есть — «Иван, запахни душу» называются. но какие охранники в костюмчиках убедительные. такие, что ненавязчиво вобьют вас по самую шляпку в землю, при этом не нарушая респектабельность происходящего с их шефом. тут же сценарий, видимо, поменялся. да и как ещё мог разместиться тут, около камеры, не попав в самый её фокус Жирик, имеющий в плечах вместе со свитой метров восемь? встал перед камерой, вследствие чего мы уже оказались на галёрке, вместе с зеваками. вот величайшее таинство: как из шести — десяти человек, бывших у камеры десять минут назад, вырастает круглая, центристремительная толпа, где уже пальца не воткнёшь.

однако понты Жири пообломали. ему вежливо намекнул всё же гнилозубый восточный толстячок, что его место пока не в самом центре. жиры рассеились, и мы по команде Марины моментально выстроились в линию, поместив Белова перед камерой. на транслирующем нам «Свободу слова» без звука экране уже из рекламы Синди «Арктик» (ё дэй ё вота) родилась заставка шустрой программы. и вот он, седокудрый Савик, бывший антисоветчик. имя по росту. Саввой такого не назовёшь. Савва — это толстый и высокий татаристый промышленник, финансировавший наших предшественников...

после показа щёк и лбов мыслящих в студии, слово всё же выдали к нам, на площадь — как раз в процессе приближения к нам этого потенциального слова грохнули что-то в «Москве», отчего повалила неумная пыль прямо-таки на весь наш бурлящий перед камерой люд. и тут, наконец, Белов начал отвечать на вопрос Савика: что же было у памятника Карлу Марксу (пока Савик говорил, мелькнули кадры сегодняшней съёмки, где валяются с ног ветераны, а ОМОН теснит массы и истоиво взмахивает демократизаторами)?

Белов — молодец, спокойно и внятно нарисовал картину, где вовремя не вызвана была скорая помощь к нашим пострадавшим, всё что в автобусах было. и резюмировал: не за льготы бьёмся — за нашу народную власть. а начал правильно пафосно: «Здравствуйтесь граждане великого СССР, ныне оккупированно-

го буржуазной властью». что-то в таком роде, на записи передачи можно точный текст считать. и это летит в эфир! в прайм-тайм. и эти самые граждане, понятное дело, восторжеслись. и если не согласились, то задумались. первый ход сделан. моё камуфляжное плечо мелькало подле Белова. чувство локтя, плечо товарища... речь его закончилась, когда очередное облако пыли «Москвы» опускалось на нас, и я успел в микрофон с уходящим звуком крикнуть: «Савик, вы слышите этот грохот?..» (Это рушатся не только стены «Москвы», но и последние завоевания социализма). были другие варианты продолжения: это звучат улицы, на которые выходит сегодня политическая жизнь. вероятно, фидбэк от прозвучавших в эфире моих слов и разрешил бы дилемму меж вариантами...

нашу мезансцену благодарят и просят уступить место жирикОвцам. рассеиваемся и уже со стороны камеры лепимся. тут стоит крупная путановидная подруга депутата ЛДПР — вид у него арабский или минимум ближневосточный: худой бедуин печально оглядывает нас, в его глазах — увлечённость дискурсом и тяжёлая, многопоколенная тоска семитских племён. вот тут-то и начинаются в толпе искры: так и не сказавший ни слова АКМ хочет поднять на заднем плане за элдэпээровцами свой красный флаг с буквенноствольной эмблемой, но молодёжь из криминальной свиты Жира тут же сипит:

— Ты чё? Убери свою тряпку, щас завалю!

тинэйджакам под напором бандосовых аргументов тушется, но флаг ниже лиц не опускает. однако, когда дали слово Жирику, за ним виднелись только жевтоблакитные... ну, пожилой клоун начал свой экспромт. в конце словототка, в котором клялся, что все из его фракции голосовали против закона (враньё, есть список, голосовали точно 50 на 50, сам он — действительно против), и предлагал «да, а деньги надо раздать народу» — Жирик полез в карман своего понтового серебристого пинжака, извлёк оттуда толстенную пачку пятисоток (так, на карманные расходы), и тут же ими заинтересовалась обязательная, оказавшаяся сбоку от Жира бабулька, собственно, народ и представившая в зари-совке. но, посветив деньгами, Жирик положил их обратно. однако низменное ожидание чуда в толпе зажглось. он чувствует самые звериные инстинкты толпы, клоун этот, не такой он уж дурак, не думайте, кандидат клоунадских наук. на этом моменте, когда все ожидали денежного дождя, слово у Жирика забрали назад в студию.

тут же в эйфории сам Жирик пошёл кутить с народом в верхнее кафе охотнорядское, в комплекс, засветились вспышки, часть толпы укочевала. но остались плотным строем как раз депутаты ЛДПР, включая незабвенного почволюб Чучева и некоего совсем молодого и наглого лэдэпээровца: «Я тоже молодой, сказали, что слово дадут молодым!». ребята явно не хотят уступать позиций, хоть мы им и намекаем, что уже не на их улице праздник. Марина настаивает на вытеснении оных, что и делаем мы мягко, вливаясь со стороны камеры. с нами подтягивается к камере и АКМ со знаменем, что опять вызывает злую склоку позади нас опять с аргументом ЛДПР «пряма тут завалю!». а страсти-то накаляются, однако. молодой депутат ЛДПР хамит нашей милой Марине — отвечая на наше наступ-

ление — что-то про женскую неудовлетворённость, чтоб дома на муже вымещала... приходится мягко и его осадить тут уж мне:

— Ты давай-ка тут не хами. Хочешь, режиссёра спроси — кто сейчас выступать должен.

молодчик ЛДПР на вежливом наречии ничего ответить не может — давит-ся яростью, в то время как интеллигентный и иссушенный безнадежными политическими связями всеми забытый националист Чуев переговаривается со мной: что, мол, да, чуёт, что слова уже не достанется. грустный политлузерОк. неизвестно какой хитростью или силой, но, микроскопически маневрируя и скапливаясь, мы снова образуем авангард перед камерой (но Чуева изжить не удалось, так и стояли щека к щеке). и в момент включения нашей площади опять я уже во всеоружии, к речи готов, первый выхватываю слово и медленно начинаю стрелять своими сентенциями в студию, где они как-то мимически отражаются на сытом хомячке Рогозине и прочих мыслителях. этот факт — то, что говоримое мной сейчас в реальном времени слушают, причём не только эти лица в студии, но и невидимые лица перед экранами, — неожиданно бьёт как хмель в голову, и не удаётся речь развернуть во всю длину, чтобы выйти через метафору к пыльно и с грохотом опадающей под насилием лужковских грызунов гостинице «Москве», к Тебе, к этому месту, где всё происходит, и вдохнуть в речь все мятежные образы и эмоции сего дня, энергию, вычепнутую отсюда, не удаётся, сам виноват, стушевался — только вякнул что-то краткое про власть Советов и кинул детский аргумент, почему за неё бороться будем — «потому что все мы дети СССР». и цитату из Ленина напутал... впрочем, всё это есть в видеозаписях. ибо то была предпоследняя передача «Свобода слова» вообще. как и «Молодой патриот» на «Резонансе», прямо печать момента тут некая.

и вот, отвоевавшись, отстрелявшись, ещё стоим перед камерой, следим, какое там пошло по мыслителям эхо наших уличных реплик: некий пересказал чью-то заграничную фразу, что эрэфия до сих пор социалистичнее Китая. начинают собираться, кудрявить провода техники, а низкий восточный толстячок, уведя нас в сторонку, делает разбор полётов:

— В общем, нормально, ребята, дальше работать с вами мы будем. Только поменьше бы догматизма — ничего от ваших цитат, поверьте, не изменится, — а вот когда вы сказали про то, что не оказывалась своевременно медицинская помощь, про кровь на лице комсомолки, — вот это удачно было, это запомнят...

камера «Свободы слова», ставшая на эти полчаса воронкой для притяжения и трансляции уличных энергий — выключена и толпа, потерявшая центр притяжения, продолжая всё хаотичнее и медленнее кружиться, расходится. Марина опасается рейда Жириковских бандосов, но я вместе с ней, придерживая товарища за талию, как кавалер, вышагиваю из круга перед камерой. стоим и кучкуемся вместе. белая пыль Москвы уже чётко ощущается на нёбе сухостью. да, «Москва» — вот до чего дошло моё стремление к ощущению тебя до конца, до твоего конца, перед муляжным воскресением... акаэмовец где-то за спинами нашими отвечает на звонок командования:

— Да всё нормально, хоть мы и не успели выступить — но товарищ Чёрный, в общем, всё правильно сказал.

такие отзывы воодушевляют. но всё же сказал товарищ Чёрный хуже Белова. тот держался уверенней и повествовательней излагал. меньше чехарды вышло. теперь всей ватагой уходим — к Тверскому суду, где, по мнению АКМ, сейчас кто-то из их бойцов. решаем идти пешком под моим чутким руководством. Жирiku, который направился к своим машинам, кричит некий уцелевший из окружавшей нас тут толпы крепкий парниша в чёрной майке с зелёными листьями анаши:

— Молодец, Вольфыч, мы с тобой — легализация марихуаны в России возможна!

воронка телекамеры, действительно подтянула из центра всю там находившуюся, в том числе и бездумно-безумную, энергию. поняв, что прыгать на нашу красную группировку элдэпээровские не намереваются — уходим вдоль Москвы... если так можно назвать этот грохочущий пыльный участок. теперь уже, когда мы залезаем в железный закрытый коридор, сооруженный вдоль площадки, вдоль ещё нижних этажей стен — твоя пыль, «Москва», твоя растворяющаяся в Столице плоть совсем заполняет дыхание, накрывает духом сталинской старины, ещё год назад тут во весь рост возвышавшейся. ровно год, даже более понадобилось, чтобы сломить этого исполина Эпохи.

а мы, вдохнув, запечатлев «Москву» такой, последней — идём выручать наших к Тверскому суду. совратил я аказмовских юнцов и юнниц идти пёхом. движемся хаотично — то натыкаясь на иномарки, злясь, то залезая обратно в железный коридор. снова, но уже на другом конце «Москвы» вылетает с другим анашист-лигалайзец.

— Ну что, девчонки, легализуем марихуану в России?

две панкушки из АКМ что-то вторят, хихичат. у одной из них бандана с марихуаной, так что оно и понятно... проходим место сражений перед Карлом Марксом, троллейбусную остановку. теперь рекламные пестрилки снова притягивают к себе всё внимание прохожих. какие-то курортные дивы, густонеоновые волны, просчитанная по секундам грудная соблазнительность загарная. лишь на полчаса утром перехватила внимание краснознамённая борьба, заведомо обречённая, малочисленная, но позволившая нам сегодня прорваться — из самого что ни на есть сегодня — на ТВ, сделать тему для часового ток-шоу. только сейчас начинаю понимать, что всё планировалось. и даже то, что без Зюганова всё равно пошли ломить всей силой. и то не всей, а тонким клинышком...

подземный переход к Малому театру пустоват, наша весёлая и энергичная компания пролетает его быстро, на обочине остаются все в одиночку для каждого отвлекающие, соблазнительные элементы летних одежд и кожный просвет гуляющих вечерне в центре девах... приятно вести за собой эту ватагу, зная, как короче пройти. в глазах у нас — ощущение продолжающегося действия, высказывания, не окончившегося там, в телеэфире, но продолжающегося сейчас. и тяжёлый даже Островский незаметен. заметны живые, встречные. им своим ви-

дом и неубранным, как у футбольных фанатов у одного накинутого шалью, флагом АКМ говорим — что вот мы, есть, идём.

модные обыватели — одетые летне-облегчённо, дабы виднелись сися, в обуви на холёную, с крашеными ноготками, босу ногу — приглядываются. выставленные в новом простенке ЦУМа фотографии дореволюционных здешних видов, столь милых Реставрации — так же, как и модные обывалки с кавалерами дивятся на процессию. но даже наши в авангарде мужские взгляды в область выпирающих под тканями сосков — революционны, захватывают, критичны и стремительны. перевернём ваш мир! не будете тут холёно благоуханно расхаживать, брезгливо обходя (или подавая — один чёрт) зловонных тощих нищих. мы с ногинским активистом Беловым, как обычно, в авангарде — идём и ускоряем движение разговором. настолько, что когда огибаем (таки безжалостно вырубленный) бывший сквер перед ЦУМом, приходится подождать своих и всех. откуда-то с нами шагает притусовавшийся очкастый юнец в чёрном. такие всегда возникают в ходе неординарных действий, словно из воздуха.

протиснувшись (только что не растолкав, не попереворачивав) между джипастыми иномарками, уже чешем по Неглинной. жёлтое здание Центрального Банка глядит высокомерно. знал ли товарищ Жолтовский, для кого возводишь свой неоклассицизм?.. для банкиров — для низвергнутого той, далёкой революцией класса. и им сей стиль подошёл весьма.

Белов чувствует усталость и моего темпа не выдерживает, да и подрастянулись мы. пока ждём задних — лицезреем лакейский будень элитной парикмахерской. где без работы стоящие худосочные гей-парикмахеры покуривают у крылечка. идея клипа: улица миллениума глазами такого парикмахера. дым снизу камеры и мерный ленивый матюшок, прибаутки халдейского племени. задумываются ли такие на тему социальных льгот? да нет: они ведь в правильном местечке прислуживают, им хватает чистогана... и ведь есть клиентура — вон кого-то бесполого, но кожей благополучного, глянцево-изобильного, в глубине салона стригут в неоновой подсветке, словно на выставке или на витрине. оставляют модные пёрышки, подкрасят их потом. стюдио лайн Лореаль — гель, мусс, спрей — гель стюдио лайн! такая была телерекламина на заре капдевяностых...

пробегаем и Неглинный бульвар, что аккурат над Трубой произрастает. ребята всё чаще интересуются у своего меня-Сусанина: скоро ли суд? но быстро пересекаем асимметричный перекрёсток у Петровского бульвара, пробегаем участок до Цирка, где рассеиваемся, протискиваясь между фотографирующей у машины Никулина ребятнёй, не обращаем внимания на афиши ПиДжей Харви, не до этих удовольствий, пролезаем под колоннами Цветного бульвара — и уже углубляемся во дворы, где спрятался суд.

здесь пустынно. выясняется, что идти надо было к Китайгородскому всё-таки отделению. кто-то из акаэмовцев взбреднУл, за что извиняется. решено не шествовать туда по иссячению сил, но мирно утолить набеганную за день жажду. тут же появляется троцкистка с мемориальцем (что выяснилось позже), и сталинцы братаются с троцкатнёй посредством звяканья жезлов демократии, пив-

ных бутылей. надо же, куда только не влезли ларьки — даже перед крымской лестницей воткнулся один, где и покупаем: Белову охота «Охоту», мне — «Козла Великопоповского», АКМ воздерживается, денег нет, небось. от влезшего под бочок метро «Цветной Бульвар», где раньше была сквозная галерея, кафе «Профессор Плейшнер» с псеводнемецким водопроводным люком у входа — нас деликатно отгоняет грустный халдей, но мы уже не агрессивные, усталые. стоим-глядим на одного подрулившего к кафе жирного посетителя с другом. вон они, вражины. хозяева и слуги. *serve the servants...* не знают, кто тут в пивные горны дует в честь своего информационного выступления сегодняшнего. троцкачи сообщают достоверно, что всех выпустили. что суды будут в понедельник. всем — штрафы. уже отпустивший своих двух ногинских новых комсомольцев Белов (кстати, именно так оштрафованный на 500 руб. за «Вову домой!»), осушив две бутылки, поспешно ретируется за ними. дома его жена должна была записать «Свободу слова». просвещённый сталинец оставил у троцкачей хорошее впечатление. очкастый юноша в чёрном всё это время с нами, молча. сначала просто стоял и заворожённо слушал, потом сбегал за... минеральной «Бон-аквой», чтобы совершать те же хлебательные действия, что и все. для поддержания дальнейшего разговора — тоже пополняюсь в ларьке перед метро единственно доступным на наскребённое янтарным «Ярпивом». после «Козла» — крепче, спиртястее. троцкач-мемориалец, оказывается, неплохо осведомлён в сфере диссидентской поэзии, Губанова знает и особенно потомка неубитого революционерами надзирателя Бастилии Делоне, да и вообще тут поблизости у них какая-то дворянская знакомая с квартирой, она про Делоне знает всё. и даже близость «Мемориала», что в моих Каретных много раз видан попутно товарищ Чем, добавляется к деятельной, как паззл собравшейся топографии суток. «Площадь Революции» — «Кутузовская» — «Новокузнецкая» — «Манежная» — «Цветной Бульвар». от раздобревших и разболтавшихся троцкачей, покинув их на углу метро, ухожу своими дворами, тут близко. дома — серия телефонных звонков: видели, видели, молодец!

так неожиданно, поспешно — замкнуть два разных местонахождения: эшелонный звукозаписной андроповский дом на Кутузовском (точнее — флигель Мэйдена) и Ваганьковское кладбище. прийти с благоухающими пионами, что предназначены для кладбища, в квартиру сталинского дома — вовсе не на свидание, не к девушке, а по общему нашему делу, в Инэт... и отсюда — обратно под тёплый редкий дождь июльский. интересно, эти капли на лепестках розовых и сизых пионов — подкармливают их?

появилась такая возможность — без метро, просто перебежав по новому застеклённому мосту реку, за сорок минут пройти от Кутузовского до Ваганьковского. и в застеклённом мосту — иду. меж плиток трава на подходах к этой прозрачной, перетянувшейся через Тебя-реку гусенице. всё обустроено автостоянно, даже подземно для богатой клиентуры той банки, которая возвышается, озаглавливает мост. вход — широкая вращающаяся дверь-локатор. протанцовываю через неё с цветами. пахнет тут почему-то мочевато. но это лишь сходст-

во — вероятно, это цветочный или растительный запах, моющего средства, возможно, бомжеватость заподозрить вряд ли тут в элитном новострое можно. странное сооружение — охранники в модных формах ходят, а прохожих почти нет. горизонтальный эскалатор движется мне навстречу, параллельный. неужели арендаторы этой банки и торговых помещений внутри синегрубой гусеницы покрывают своими арендными платами всё это благолепие и содержание обслуживающего персонала? тайна. но надо спешить — на входе было 13.23, а на выходе, когда миновал художественные витрины с ленивыми натурщицами на лениво стилизованных под неопрятность полотен — 13.26. эскалатор, спускающий вниз под присмотром американоватого охранника — проводит вашим взглядом по неразросшейся травянистой ложе с дверью, этакий балкончик, откуда вверх пока скромно, и явно не без главенства усилий местных цветочниц, лезут лианы. внизу столпотворенье — экскурсанты не могли выйти направо и выходят налево. вписавшись в эту компанию — замечаю, что зонт мой так и не закрыт, закрываю и тут же на улице открываю. Впрочем, и тут нельзя завернуть направо, по поводу чего ругается явный неэкскурсант «всё по-закрывали!» — может, это уже политические настроения масс?) приходится — налево, прошмыгнуть под мостом.

да, позавчерашний день должен был повысить градус общественного недовольства. может, оно так вот прорывается в случайных и не по поводу репликах? или пока это — наше желаемое за действительное?

здесь далее — прямо, как по линейке, перпендикуляр от Тебя-реки и далёких сталинских торжеств архитектурных. в строительном убранстве и полном безлюдье. хотя нет, навстречу внутри закрышенного прохода — детская четвёрка, две блондинистые девочки пригляделись к цветам. нет, это не вам, не живым, девочки, цветочки. хотя и пахнут они так, как только живой может понять.

тут всё строится что-то. экспоцентр. местами — бывшие индустриальные объекты, затерявшиеся среди новых павильон-построек цехА. вот так наш социализм и свернулся — не перепрыгнув барьер от индустрии к постиндустрии. индустрия предполагала такие широкие улицы, большие транспортные остановки, громадные заводские помещения и коллективы. как на ОЭМК в Старом Осколе... ну а теперь тут — выставка достижений уж никак не народного, а капиталистического хозяйства — утопающая, правда, в зелени, недостроенная и невнятная. 1-й Красногвардейский проезд — одинокая синяя маршрутка повернула и, открыв дверь, остановилась. меня ждёт? нет, я перехожу улицу, пока слева и справа не нахлынули проезжие. и иду направо, к той самой зелени. куда уводят невнятные выставочные кварталы.

сахарофабинный завод тут, остановка автобуса так называется — хоть это осталось пока. за жилым кварталом — светло-кирпичная башня и корпуса заводские. хорошо жить в этом 1-м Красногвардейском проезде: тихо, зелено. видимо, тут предполагалось интенсивное движение, подземный переход сделали. но — пусто. справа в зелени выставочный домик «Экспо».

и вот открытие: соединение двух островков, виданных в разное время и по разному поводу. проезд Красногвардейский выходит прямо к военкомату на Мантулинской. дом-военком по-прежнему загадочен и грязновато-зелен. крутые, немного немецкие скаты крыши делают его сказочно-загадочным и немного зловещим. или, скорее, хмурым.

сюда ездил — по повесткам, когда по новому территориальному делению перенесли наш военкомат. спрашивал у милицейского отделения близ «Баррикадной», как сюда добраться, и на автобусе, новыми путями, невиданными (радостно сквозь тревогу открываемыми) кварталами ехал. заводской квартал на Рочдельской, стадион и весомый по тогдашним представлениям ретро-ДК, забавно, что после, уже имея «откосную» справку из Бакулевки, когда обнаруживал на пачках рафинада упоминание этой улицы, Мантулинской — хоть и весело-облегчённая, но оторопь брала. название улицы (этого места повинности, необходимости, витально-административного возрастного долга) взяло из отрочества наследственные мурашки — понятное дело, от «манту», от неприятного укола под кожу, выясняющего расположенность к туберкулезу. и в этом же районе, только дальше (потому что моложе, в более раннем возрасте, еще и не подозревая о таких далях, попал туда) за метро «Улица 1905 года» — то есть для меня именно в этом, заБаррикадном сегменте Столицы — был тубдиспансер, куда меня привела встревоженная мама, когда после одной из школьных «мант» реакция «пуговки» была положительной. добрая знакомая, медицинская старушка, мать эмигрировавшей еврейской подруги помогла пройти все кабинеты, рентгены на огромных, локтистых аппаратах. в старом модерновом особняке располагается поныне это невеселое учреждение, на задворках зоопарка. ничего опасного не обнаружили, посоветовали усилить питание. ох уж эта наследственность по материнской линии, вывезенная из эвакуации, из татарского Поволжья!.. тогда только энергичная спортивная бабушка вытянула болезную младшую дочурку: лечила, кормила маслом, спасла ветвь, вот и до меня дотянувшуюся. но на ветви отметина. та самая из слабенького отрочества моего «пуговка», единственная — остальные были снова нормальные, то есть отрицательные, отрицающие склонность организма к нежеланному болезненному влиянию. остановка автобуса перед зданием военкомата, откуда ведет почти детская парковая лесенка мимо низкого железного бордюрика, называется коротко — «Мантулинская». имени героя революции 1905 года.

придётся пропустить этот белый поворачивающий колавоз — но идти в направлении продолжу, на тротуар выйду перед началом газона. под военкоматом остался старый заборчик у газона — здание либо тридцатых, либо послевоенное. не удивлюсь, если строили его пленные немцы. и тут же, где во времена моих зимних вынужденных визитов сюда стояли пустоконные общаги-двухэтажки, высоченный новострой, рядом с которым некогда грозный, наискось вставший военкомат совсем незначителен. вот и кварталы рабочие, скромно-конструктивистские пошли, как в Италии. в эти окна заглядывал, проходя от метро «Улица 1905 года» дворами рабочих кварталов, колдуя и вымаливая, чтобы

в зеленовато-зловещем здании военкомата победила моя нежеланность армии. и победила, хорошие окна тут.

лёт не дождь, а пыль, залетает под зонт. приятна эта малолюдность — хорошо видны окрестности. тут много повыросло. элитное жильё? все ли квартиры заполнились, нашлись ли покупатели?

прямо пересекаю Шмитовский проезд, но пропускаю спешащих от бульвара автоводил своей, второй, встречной половины дороги, а когда собираюсь идти — уже и светофора свет зелёный. какой огромный этот массив жилой пятиэтажек тридцатых годов: от бульвара 1905 года до сюда. не сомневаюсь, что построен именно для рабочих Пресни, для основного её населения, для потомственных — детей тех, кто начинал в 1905-м и 1914-м тут бороться за свою пролетарскую власть. а вот нынче вовсе не для пролетариев элитное, лезущее ввысь жильё тут производится, выживая заводы, где трудились жители этих кварталов. а многие уже не трудятся, переориентировались. да и где тут работать? влезли меж заводских территорий, зачастую их же и используя — казино, автосервисы... сахарофафинадный завод, мельница, разгрузочный порт за Тобой-рекой ближе к Филям — вот и всё, что осталось.

идуший передо мной пожилой и неопрятный гражданин сворачивает заинтересованно к аккуратному навесу. пункт сдачи бутылок? нет, помойка. но там уже кто-то роется, так что дедок вынужден ждать. и тут очередь, среди бомжей-пенсионеров, не выживающих уже на одну пенсию. а рядом, слева — элитного жилья рост. типичный инерционный, ещё девяностых годов заправки, буржуазный идеализм его идеологический базис: наострившись при высоких мировых ценах на нефть и на первом этапе дармовой распродажи-приватизации социалистической собственности жить элитно на нетрудовые доходы, ренту и прочую радость Реставрации испытывая — они полагают, что и все вокруг так же смачно живут, что элита растёт как на дрожжах, что благосостояние растёт у всех слоёв общества и в новые жилплощади полезут несметные желающие принести свои денежки инвестору-застройщику.

но нет, господа, ваша экономика ущербна и неустойчива, вы не придумали того, что рождено было революцией пролетарской, 1917-м — ноу-хау трудоустройства, индустриализации, формулы развития экономики с вытекающим из этого развития ростом благосостояния не только торговцев нефтью, но и производящего сектора, широкого, от инженеров до слесарей, большинства трудящихся. нынешняя экономика есть та же самая, ополчившись на которую в своё время начал перестройку Горбачёв: «Народ не знает, что вся страна существует только за счёт продажи нефти!». ну и что, мудрый Горби, придумал ты, как изменить ситуацию? наоборот — развалил и ту, что была, экономику, посадив на нефтяную иглу развалины СССР.

здесь, перед нагло вылезшей новостройкой (задвинувшей бывший Пресненский машиностроительный завод) с какими-то флагами — сверну вправо на улицу Косикова. тишь да зелень на краю рабочего квартала. сюда бы идти с моей девочкой, вдыхать шевелящуюся под редкими и мелкими каплями зелень, блуждать.

тут и тротуар не везде проложен со стороны бывшего завода. смешно трясётся шлагбаум, словно мышца у него такая нервозная. от ветра? или такой минимальный электроимпульс? можно идти по проезжей части, машин нет.

нет, навстречу едет «девятка» серая «Лада». но места хватит. тут налево, во вторую Звенигородскую. правильно — где был наш машстрой — теперь сервис-центры «Мерседеса» и «Ямахи». всё логично: сами неконкурентоспособны, так выпускаем арендаторов, сильнейших мировых фирмачей. и только и дела теперь — сокрушаясь о постиндустриальной российской импотенции, стричь купоны от ренты, продажи площадей. небось, и не вспомнят юные жители сейчас, как этот квартал назывался — Пресненский машиностроительный... а ведь я какой-то осенью или весной сюда загуливал в полусумерках. читал надписи люков и на стенах вывески этих автосалонов, пробирался среди уткнувшихся в длинную стену машин. тебя искал, девочка моя — и когда грозила армия...

время? сорок семь минут второго на сотовом, который обгоняет. значит — сорок. двадцать минут хватит дошагать до входа в Ваганьково. хоронить дядю Юру там за воротами, справа, в сторону могилы Высоцкого соберёмся. такая вот перемена — был дядя огромный, хоть и пожилой, но сильный человек, с большими добрыми руками. дядя — единственное мне видимое представление о деде моём, его мимике, чертах лица. а теперь дядя — только символический пепел в урне. идём, чтобы положить эту емкость в землю, в фамильное даборкинское место.

всё же вышел я не точно — не к углу ваганьковской ограды, но тут зато есть подземный переход. и дальше, вдоль тенистого и тихого забора другого кладбища — спешу. можно и не спешить: пятьдесят шесть минут на моих, времени более чем достаточно, чтобы достигнуть уже хорошо видных цветочных ларьков, мимо мастерских с лаконичными надписями «ковка», «камень». виды оград выставлены. тут же шашлычная, ресторан, целый примитивный комплекс торгово-«развлекательный» на углу армянского кладбища. вот и стены новостроек, занявших место хрущоб, сквозь которые мы раньше под зеленью летней или осенней пробирались к Ваганьковскому. живут ли там обитатели тех хрущоб? скорее всего. но дома стали выше. хотя стиль сохранили, только снизу желто-кирпичены, а выше — всё те же панели.

цветочные торговки ругают дождь. дождь из светлого неба. ходят медленно, пересчитывают деньги. неужели работает вся эта машина: спрос — предложение — окупаемость? или правда, что непроданные, ещё свежие самые шикарные и дорогие цветы сжигают ночью охапками — «так не доставайся же ты никому». всё ближе к жёлтым воротам Ваганькова. ларёк Высотского — единственно сохранивший исконный коричнево-латунный дизайн «комков» начала девяностых — поёт «Россыпи». такое дополнение к могиле: видеокассеты, запечатлённые движения голоса, играющих, бьющих гитару рук, лица. что осталось.

сбравшись лицами родными, в рукопожатиях ощутив всё ту же нервную прохладу — идём, пробираемся к участку. моя балетная тётя видела меня по ТВ в «Свободе слова», но сравнивает почему-то с Рогозиным... на Ваганьковском со-

хранились могилы и прошлого века — запомнилась одна небольшая серая плита с надписью «Уснула вечным сном с...». и дата, вторая и последняя, продолжающая дату рождения.

из-за бесчисленных заборчиков — мы вынуждены кое-как между них протиснувшись, встать вокруг могилы и, пока в песчаную почву погружают и закупают урну с прахом дяди Юры, ждём со своими цветами, вырезаем из пластиковых старых бутылей для них вазы, затем бережно устанавливаем цветы. прямо под один из немногих мостовых камней на территории за остроконечным заборчиком, даже не в каменно обрамлённую могилу, хороним прах. да, сюда нечасто забираемся, в эти странные, огороженные места скорби людей и деревьев, которые древние тут под стать месту сохнут, гибнут, окружённые могилами...

быстро и неуклюже выпиваем и закусываем, рассредоточившись по периметру колкой своими пиками ограды. вкус бутербродной закуски словно с дядиюриным всегдашним немногословным в глазах и ладных движениях оптимизмом призывает нас, родных, молодых и старших, продолжать жить и ощущать жизнь — лишь с привкусом водочной горечи и задумчивого скорбного опьянения сегодня.

4.08.04. от «Москвы» — не осталось высоты. сворачиваем с Довгалем, неся ветром сдуваемые в сумках туристические коврики и зонты от солнца — с Газетного на Тверскую. там клубится пыль внизу, у бывшей гостиницы добывает её оседлавший руины, ползающий и цепляющий всё, что выше его, экскаватор. а над ней, на бывшем её месте — пастельное небо. дореволюционное, самодержавное. чем-то лубочное. открылось гигантское пространство, в котором выглядят признаки досоветской эпохи: церковки, куполочки, подслащивающие пастельное небо «стабилизации». пастельное ещё и потому, что пылью подкрашено. у Телеграфа под решётками с молниями, символизирующими молнии телеграмм («...и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить...») — странный дуэт длиннохвостого кудрявого гитариста и проходившей мимо бабульки, беззубо что-то напевающей в его микрофон, воткнутый в маленький комбик. собаки на паперти, две связанные поводками. и женщина с ребёнком. и ломают «Москву». если это называется «стабилизация», то я против такой стабилизации. хотя идут навстречу нам сексапилистые девчонки, запутаешься в различиях. но всякая хозяйски — нет-нет, да осмолит бряцкающее внизу имущество. как-никак по внешности встречают. да и за неё же, непонравившуюся, провожают.

и продают тут, по пути, в железном жарком проходе мимо будущей стройки нового отеля, как ранее — майки, сувенирчики под бывшим «Интуристом» — безучастно дораспродают символику Родины.

а мы, глотая последнюю стенную пыль «Москвы» — дух подвально-влажный и тайный, — обходим огороженные рекламами развалины (на одной глупый парниша в спортивном прикиде что-то рекламирует, не обернётся на уничтожение памятника Эпохи взглянуть: смотрит вперёд, к нам, в своё рекламное

будущее). остались лишь углы серой гостиницы. и ещё выглядывают ближние к колоннаде окна с их узкими деревянными фрамужками в коричневых рамах, уже никуда не пропускающими сквозняки. ничего не поддерживающие колонны «Москвы» — без отделочной белизны, торчит арматура из обрубленных мест.

наших голодающих отогнали от памятника Марксу на новые лужковские лужки да лавочки. во сне голодающие мне привиделись совсем исхудавшими, как в Освенциме, и плохо узнаваемыми. но тут не совсем так: только Галю Дмитриеву, не сильно похудевшую, но со сгоревшем на здешнем солнцепёке лицом и кажущуюся пониже ростом — узнаю не сразу. а ведь дома у неё грудничок, но за ним есть кому присмотреть, там коммуна. ибо так, как знают, поступают революционерки нового поколения. то ли ещё будет.

а идея, если угодно, радикально реалистическая метафора голодовки такова (да-да, Путятишна, «прозрачна», как твоя экономика): хотите монетизировать льготы, поставив их в зависимость от инфляции, заставить нас голодать? ну что ж, мы вас поняли — и голодаем уже. хотели нас голодными увидеть? смотрите. смотрите на новых героев-комсомольцев, своей жизнью срастающихся с политикой — пока вами творимой, но вскоре и ими тоже. но, когда они окрепнут...

здесь все от организаций МЛФ — и Будрайтскис, и Немец, и некий врач от старшего поколения, проверяет состояние. голодающая ветеранка, с такой же, как у наших белой тряпичной повязкой, лежит, прямо с орденами. как всегда, откуда-то наплывший в бомжовом пополнении, усач что-то голосит про Советский Союз...

ставим сумки с турковриками, зонтики, сообщаем, что Удальцова судят в Тверском. собираем туда делегацию из неголодающих. и в метро «Площадь Революции», мимо глядящего на нас ободряюще и мудро белого памятник Ленина.

покупаю на немцев сотню четыре пачки «Союз-Аполлона» серебряного, две «Бон-аквы». у суда встречаем Сивачёва — заметно худой животом, вытянувшийся и тоже краснолицый, сгоревший. голодовка третий день. а ему ещё за беспорядки 2-го тысячу рублей штрафа присудили. Удальцову — сутки административки. выходит прикованный наручниками за одну руку к менту, второй, поплотнее и выше рангом — конвоирует. бегу за процессией, пытаюсь уговорить, чтоб сигарет хотя бы передали, и, наконец, всучиваю неприкованному менту, который явно польстился на неизбежную халявную сигарету из новенькой пачки. Серёга идёт гордый, голодный, возвышенный. так и надо. это его день. не его ведут — он ведёт случайно прицепившихся серо-безликих по своей судьбе, принадлежащей революции.

такое лето выдалось нам. другое — иным. они-то не в курсе. мелькнуло что-то в новостях. но голодать-то зачем на эту тему? надо угощаться. живи, жри на полную. и сидят у «Цветного Бульвара» в открытой кафешке, пристроившейся к стене метроздания.

раньше, когда мы с суда над Бениаминовым здесь сами бегали перекусить с ним в подвальчик — так не ощущался контраст. а сейчас — на полную. наши красные там голодают на Театральной на солнцепёке, а эти буржуазные функ-

ционерчики тут заправляются, флиртуют, лыбятся буржуазно, мужики оценивают привлекательность проходящих с нами девушек — будрайтскисову нацболку с наколкой на предплечье (угловато стилизованный серп и молот с кубическими буквами НБП) и акаэмовку (в красной майке с самодельно пришитым серпом и молотом жёлто-клеёнчатый).

жрите, жрите своих рябчиков, ещё не последний день, но вот лета последний месяц — в следующем настанет вам двухдневный краснознамённый инфокошмар, марш «Антикапитализм».

6 августа, там же.

тот же маршрут: напечатав на Газетном пятнадцать полосок с надписью импактом «Голодовка», нарезав их, несу со степлером к месту голодовки. степлером бумажки будут прикреплены к нарукавным повязкам. садящийся принтер сделал продольные буквы в фактуре штрих-кода: с полосчатой теряющейся или вдруг возвращающейся яркостью черноты, такой курьёз.

место «Москвы» просвечивает теперь донизу, остались не съеденными лишь углы. и всё те же окна угла, глядящего в сторону Жукова. светло-коричневые рамы. ниже реклама с небрежно развалившейся на случайных стульях топомоделью. в лёгкой беленькой фигнуле на теле и малость показывающих живот джинсишках. так и на улице сегодня все попадают. просто бум животикопозывания. но эта — выше их и пространственно, и в смысле — образцово. им всем фотографии долго объясняют, уверен, что нужно сделать свою видимость максимально отдающей, но не напрямую, а так — небрежно, отсрочено. ведь просчитывают же до мелочей реакцию глядящего на рекламу быдла! то есть, по их социологии — и меня.

а я здешний. хожу, гляжу на эти завлекаловы штуки. со своих косточек аристократичных, шагаю ими мимо. тут пора спросить — да кто такой, что тут делаю, в центре богатейшего города в бедственные времена? почему не с чувихой, что время-то теряю? ведь надо тискать этих — глядеть на рекламы, завидовать, что не с такой чиксОй, а попроще, лицензионными, подражающими — и снова тискать, приглашать, совращать, изменять...

но не моя дорога, уважаемые здесь присевшие, прислонившиеся к тёплым камням перед закрытым Музеем Ленина хозяйюшки выставленных на просвет под одеждами сись. разных, с разнообразными диаметрами расплывов сосочных. да, сочных. а я вот иду с пятнадцатую совершенно вам непостижимыми билетиками. на каждом — надпись «Голодовка». это здесь-то, где стаи туристов наперебой жрут всё вокруг глазами и ртами. где отбросы от потребления фаст-фуда не вмещаются в модные лужковские урны.

голодовка. вон они. среди новопосаженных деревьев — там, где когда-то я приезжал на сто одиннадцатом из МГУ, но ближе к Марксу — красное знамя. и ещё рядом два на ветвях — АКМ и СКМ. крупнее буквы у нашего, СКМ. мной рисованное прошлым летом. и контраст ищущему именно наших тут — ощутим вычурно. если вдумываться, искать аналогии — то потеряешь эту реальность. а

она по-сегодняшнему банальна, и именно этим мощна: толпа отдыхающих, вот всех этих девАх выставяющих, пусть с разной степенью навязчивости, но явно свои достоинства (сидя, полусидя, стоя, оглядывая себя хозяйски сверху вниз), пареньков-горнистов, дующих в себя пиво, эта хаотичная сближенность говорящих, смеющихся, глядящих, потеющих, в основном молодых, нашего возраста россиян перетекает без какого-либо рубежа — в группку наших голодающих. и уже глаза другие глядят, из осунувшихся лиц. глаза внимательные, но, чуть разглядев приближающегося к ним в боевой камуфляжной раскраске — начинающие радоваться. просто что свой. что часть того зрительного поля, которое разворачивается в дни наших действий.

кто-то из потреблядушек, находящихся напротив наших худеньких голодающих товарищей — вглядываются с интересом, непониманием и появляющимся едва драматизмом (то есть пониманием). «Hungry strike». надпись на белом листе ватмана. это для интуристов — чтобы не пропускали достопримечательность, не думали, что всё тут гладко, что такой европейский сервис. жму руки акаэмовцам, -кам и своим.

и пусть проструится время как сквозь пальцы, неразборчиво — через осязание словами. но full-contact молодой левой поросли с противоположной стороны уже намечается. и будут новые битвы: режим Реставрации будет продолжать свои реформы, добивать социализм по уголкам законов ещё девяностых годов, и общество классово будет расслаиваться, и соответственно, вытолкнутый из своей же страны в беспросветное гетто, будет сплачиваться новый пролетариат, запах потных левацких одежд которого и неформальный вид которого уже заметен на улицах, ничего нового пока не ждущих, нового витка истории не предполагающих...

завершение лета пролетело в радостях и горестях, в трудах и отдыхах. горести: ещё одни похороны, продолжение мрачного покоса года, доставшего козой и до песенной, композиторской семьи Ивана Баранова — воспитавшей, выучившей нашего лидера и фронт-мэна. пока мы записывали «Антибуржуазную» на Кутузовском, пока музыкально-вокально фиксировали обещания смертоносного возмездия буржую — обрушился этот удар. сбита машиной, черепная травма от удара об асфальт. «Мы ненавидим ваши тачки!..» — слова Удальцова на Первомае-2003. «о камни безжалостной судьбы разобьётся» — слова не наши, не членов «Эшелона», но песни уже записанной нами до «Антибуржуазной». не суеверий ради, для полноты образно-словесной картины. рок-коммунары сплотились в этот час испытания для Ивана: вместе приехали, на каждом шагу рядом были, помогали с похоронами, не отступали ни на секунду. в холодный, дождливый, словно уже осенний, день августа — високосный год пил нашу скорбь, вёз в морг и крематорий автобус, к которому я за это лето, как ни ужасно, привык. в маленькой квартирке Ивана в Люберцах встретились музыкальные сопротивления — стар и млад. Егор Махоркин и Трап Кербя, участвовавшие вместе в конкурсе «Песни сопротивления». рок-музыкант и бард-патриот поколения Высотского. сла-

вянофильского вида длинноволосый и бородатый седой неунывающий мудрец Трап всё обращался время от времени к матери Ивана перед выездом в морг: «К тебе пришёл, а тебя-то и нет...»

но лето и солнце возвращались после хмури. можно было бы отдельно и подробно рассказать о лагере Че Гёвары у однофамильного моря моего, о купаниях моих, лазаниях по джунглеватым склонам с гибкими комсомолочками во главе с Франческой... но не время и не настроение в свете вышеизложенного. и вперёд увлекает политическая осенняя стезя — сайт, публикациям на котором я так радовался прежде. КПРФ.ру теперь я поддерживаю. это ли не радикальный реализм в Сети? я растворён в подборке новостей, синтезирую общую информационную картину сайта. не вычитать стилистки? но тут уже aufheiben. хотя, в некоторых заголовках... начало новой работы: нажатие синенькой «Е» на экране — дырявит его и заполняет водой океана информации, в котором сЕти, сЕти...

то, что я так и не увидел твоего — не своего ребёнка, привело во сне к тебе в дом. там ещё какой-то парень, что ли, с девушкой, какая-то суета на полу, вроде бы, ты что-то собираешь в своей комнате на паркете в поездку. но это точно ты — немного нервна, трагична, фатальна, изящна, рядом прыгает и тычет мне в руки носом Маруська.

через короткое время ты что-то говоришь про присутствующего рядом, в соседней комнате некого «Ну, это... И», и все, кроме меня, понимают — о ком ты говоришь, называя его И. это имя твоего ребёнка, уменьшительное (как у моей после тебя любовницы-журналистки была дочь, которую она звала Ле).

он появляется из незнакомого коридора, словно трансформируется из Маруськи, потому что спаниеля с того момента не видно. входит, вроде бы тоже пытаясь что-то делать с вещами короткими ручонками, И. ростом чуть выше собаки, он даун. кривые короткие руки и ноги-запятые — явно не вырастут. лицо продолговатое с искривлённым, удивлённым носом, блондин, глаза прозрачно-голубые, внимательно-обиженные. с абсолютно взрослым лицом и движениями ребёнка. вот он какой, твой И, несчастный. продолжение нашего, твоего надрыва, всей этой прОклятости...

что будет тут по логике собственников? они думают — всё так гладко и потечёт дальше, носители должностей в нынешних учреждениях, офисах и фирмах, владельцы денежных знаков будут их менять на блага и прибавлять в благосостоянии. но есть проламывающая эту манекенную бутафорию и незаметную стагнацию-Реставрацию логика — революционная. и человечество, отравившееся денежностью и вещностью — достойно лучшей участи, путь к которой неимоверно труден, но уже указан Эпохой (до её поворота назад). не будет денежных знаков, не будет частной собственности: из разъединения на индивидуальные быты, в которые ещё Эпоха свернула энтузиазм коллективизма — мы снова выйдем навстречу друг другу в коммуну. труд не будет отчуждён и измерен деньгой. над единоличным стяжательством предков, над капиталами и толсто-

мясами олигархами, когда-то управлявшими страной и решавшими судьбы страны, как над героями сказок будут бисерно смеяться дети нашей коммуны.

кто знает, не пойди я этим левым путём — было бы мне нынешнее счастье? счастье поэтов и писателей (и как так извернулась история, чтобы после обеспеченных, спокойных восьмидесятых, целенаправленного строительства благополучного общества настало снова ненастье, где жить и бороться за иную жизнь опасно и азартно, где художник нищ и становится политиком, перебивается мелкими случайными заработками?). счастье ходить по Твоему центру голодненьким, читать Твои стенные тексты среди замыленных глаз сытых этих брателл и петлять возле их иномарок, слыша из ресторанов дразнящие речи зазывал в стиле хрюнделя Фоменки — «ешь, ешь — чем больше ты ешь, тем лучше нам!..». счастье не знать буржуазного достатка, этого жирка на лицах, компромиссов ради благосостояния — а носить на дискетах, как птица к своему гнезду в клюве веточки, сюда на Газетный с Каретного частички Твоей поэмы.

не знаю, где же поэма Столицы — в нашем с тобой времени у неё внутри, в наших путях здесь, в домах или во всем ее времени, начавшемся с Долгорукого, задолго от (и до) нас? тут время и пространство — только разные интонации повествования, подхваченного нами, нашими шагами и взглядами вверх, в Тебя. Твоё время прописано в пространстве, мы научились его отыскивать в своем движении, догадывать подробности, находить следы вековых отпечатков (пулевых ранений в стекло, оставшееся над подъездом одного из домов на Пятницкой до сих пор [след революции?]). но чем глубже мы вгуливались и вживались нашим взаимным (и в чем-то тройственным) любованием в Тебя и Твое прошедшее, мне становилось всё более интересно — что станет будущим и как в нём отпечатаемся мы? поэма Столицы не закончена. может быть, Её поэма — это наша революция (то, что мы — не прежние, индивидуальные мы с тобой, а я с этими молодыми новыми товарищами по МЛФ — вычитал в Ней и что собираемся достроить)?

232-23-66. задумчивая и неощутимая боль. просто телефонные цифры. и слёзный взрыв воспоминанья. нет, не воспоминанья. понимания, что ты — только прошлое, только там, в недостижимом прожитом. прожитом именно так, как вышло. с этим устаканившимся осадком, который всколыхнул твой телефонный код.

так вышло. вышло, закончилось. вытолкнут из тебя, как ты делала тогда в Ладеево ночью — нежно, в шутку, словно бы лягаясь. а в общем, выходило нелепо и недосказано. внезапно и откровенно. нежно и подробно, бесчисленно ощущаю в минутах совместных. когда мы по пути к метро останавливались на твоей Новобасманной и пока проезжали, светились в ночь троллейбусы, я тебе объяснял, что не смогу без тебя жить. именно такими, да, такими словами. из-за того, что ты сердилась или обижалась, шла строгая по зиме со мной, провожающим.

помню первую взаимную речь рук в моём кармане, который согревал тебя. только предлог, чтобы тактильную тонкую нить начать вить — рассказ тебе, каким могу быть нежным. даже в таких изолированных условиях зимой. чтобы вспоминала лето, наши крыши, дождь и мои ласки по мокрому сарафану.

настало долгое время, когда мы не нужны обнажённые друг другу и своей Столице, когда мы безвозвратно порознь, сухи и одеты. ты растишь дочь, я вынашиваю поэму и революцию. хотелось бы думать, моя — не моя девочка, что с самого начала Вселенной ты была — моя. никто не мог делать с тобой то, что я. целовать, как я, и ласкать. но ведь делает же теперь, и успешнее: вплоть до родов. понимаю: был нужен рубеж, разрешение, переход в новый период. и всё это так осязаемо... не моя девочка растит не мою девочку.

а в осенЕющей Тебе обнаруживаются мои одноклассные Некрасов с Михайловым, зовут в очередной рейд общения-пития, наш новорусский друг угощает, везёт беременного революцией в своём мерсе по ресторациям. сколько их тут наплодилось за Реставрацию — заведений, где никому не интересно, кто ты: бандит, олигарх или революционер, откуда у тебя деньги, главное, что ты их тут оставишь.

«Пушкин» с его стилизацией меню: чего стоит одна «преизрядная похлёбка...», над меню работали высокооплачиваемые эстеты явно. это они научились делать — кожаные обложки этих дражайших, дороже всех Маяковских и Шекспиров для них, книг, чтобы получать-получать чистоган с посетителей. и стоят-глядят за каждым откушивающим их блюд-с. глядят и корешки книг, мёртвых, антуражных — соответствовать названию ресторации, библиотечность такая спокойная. даруй мне тишь Твоих библиотек... на месте «Пушкина» был в восьмидесятых проходной скверик, небольшое открытое кафе позже, потом оно преобразилось в чеченские двухэтажные острокровельные железные беседки, тоже открытые, но подороже, с центральным закрытым павильоном. с началом Чеченской кампании — всю композицию, включая деревья, сравнивали с землёй. потом вырос, придавил участок элитный «Пушкин». нас несёт по ресторанам, какие они везде гостеприимные...

о, Реставрация позволяет-с: здесь вы платите за всё, включая обстановку и всенепременно услужливые улыбки и движения обслуги, даже возможность побарствовать! а они будут только подливать в вашу рюмочку и делаться при этом незаметными. и в каждой ресторации — столь стабилизационные белёсые благополучные лики халдеев. посмотришь и поймёшь: сейчас он будет прислуживать мне, заботливо раскладывать приборы в салфетке, ставить тёплую тарелку, наливать ром, но я явно меньше него зарабатываю своими интеллектуальными усилиями — вот парадокс, *serve the servant. La Casa...*

Амалия Мордвинова светло-завитушчато рыжее, заходит в наш ресторанчик, курит, дружелюбно улыбается нашим скользкостям, что отпускаем, хмельные, в её направлении. гусятная печень — длинная, жирная и жареная, вкус чужой

болезни, ничего эстетского... к чести угощающего надо сказать, что излишняя моторность и распонтованность одного халдея из La Casy и его взбесила: как постоянный посетитель — намекнул метрдотелю, чтобы мальчик поунял понты. но это не классовый, это хозяйский подход... сколь определённый род занятий у этой официантской прослойки — столь и название для них придумано безжалостное. халдеи...

да, ну за мою славу карбонария, надо, конечно, угостить меня сигаркой рублей в шестьсот стоимостью (как разовый мой набег на рынок), раз уж ром Гавана Клуб... очередной тельный и мышцастый халдей картинно, словно на конкурсе или на телеэкране разжигает сигару, машет ею, до нас доходит слегка противный, но кофейно-легендарный дым. о, Че!.. который не мог без этого вкуса победить свою астму во влажных горах Сьерра-Маэстры...

и хоть порядком выпивший, но очень хватко рулящий своим очкастым мерсом, мой тёзка-однокашник мечется с нами по этим ресторанным убежищам Постэпохи (кстати, на месте «ЛякАзы» была обычная галантерея советская ещё в девяностых). от резких его рулевых дёрганий на Трубной площади мутит недетски. но спасает набитость брюх и пьяность.

нет, даже при всей политической располосованности нашей нынче (буржуй с месячным доходом в 10 тыс. \$ и нищий маргинал со своими двухстами интернетными) мы остались теми же — школьными, пацанами. заносчивый и всегда спортивно стремящийся к победе Микнайлиди — добывающийся, сочинению которого о Маяковском я завидовал... недаром в его бизнес-среде его и прозвали поэтом. он им, этим свиньям, затем его предававшим фрагментарно — читал Гумилёва. нет, Михоэлс — не типичный новый русский. это интеллигент, аристократ своего положения. теперь уже — совладелец заводов, тэ дэ, пароходов...

начинавший как лирик из лириков, кудреватый шатен, глазастый, влюбчивый, вегетарианец, со своей зачитанной в старших классах «Бхагвад-Гитой» в жёлтом рюкзачке... он после всех воспарений поставил чёткую задачу — если не поступит в Плешку, покончит с собой. но поступил в другой вуз, где вскоре, овладев главными знаниями (первоначальное накопление капитала) и первым бизнесом, стал просто покупать сессию за сессией. и мечта о Платошке растворилась, утрамбовывалась и с помощью продажной любви, и с помощью новых длинных знакомств. этот лирический юноша стал стальным человеком Постэпохи, он её высчитал и оседлал с самого начала. не мне, тёзке, в пример — догоняющему её километрами строк.

мог бы, хотел бы, воспитанный в интеллигентской нежности — нежиться в новом возрасте, в любовании с изящной избранницей. в домашнем ночном, чуть подсвеченном уюте. и эти движения, истома щекотно-напряжённая, влистая долгим наслаждением в мышцы, незаметно с нами выбирается через окно сна к стенам Долгоруковской улицы, над «Менделеевской». притяжение смещено к стенам: переворачиваясь вместе, удерживая истому друг в друге, мы — в тёплой кофейной слякоти Твоих улиц, поднявшейся к стенам, облепившей

тёмно-зелёные малахитовые камни. едут под нами троллейбусы, наискось, обнажённые, перекатываемся в нежном мягком снеге стен и во влажных проникающих языческих и устных ласках друг друга. в прохладной слякоти зимой или во влажных простынях летом.

три недосказанных сна.

сон, поднимающий у Кремля из стари в небеса Эпохи. он был давно, но запомнился — неожиданными в нём словами и открывшимся видом... место — хмурая слякотная Варварка, цепь церквей перед гостиницей «Россия». я внутри одной из колоколен или, летающий, оказываюсь там, не поднимаясь по лестнице, через худое окно. поднявшись уже высоко, на узкой винтовой лестнице встречаю монашку-подростка, чёрная на белом фоне стен — почему-то её румянец определяется мной как нездоровый. или это поборовший смирение румянец от встречи в этих стенах неположенного, неожиданного меня. в руках её палеховский расписной поднос, на нём — как то ли отвечает она, то ли просто сам заключаю — пепел Ивана Грозного. несёт его бережно и секретно. почему пепел? ведь его же не кремировали, кажется... но эти размышления не во сне, потом.

из колокольной окрест открылся невычислимый, превышающий все ожидания вид: сперва на Котельническую, где высота словно указывает одним своим гостеприимным крылом в сторону Новокузнецкой, а там на широкой открытой площади спешат, пересекаются траекториями быстрой ходьбы утренняя пешеходы. отсюда видно даже с увеличением, кажется — именно как на ладони. все эти будни, словно не секунду вижу, а длительный период, обозримое предсказание повторов, каждого прохода от тротуара к тротуару, через трамвайные пути...

но взгляд теперь притягивает Кремль — точнее, даже не он, его и вовсе не видно, он внизу (может, это уже вобравшая меня высота гостиницы «Россия» показывает?) — в другую сторону Тебя-реки гляжу, и там торжественное чистое небо со свежайшими, до слёз романтичными, многообещающими облаками. и главное, что тянет туда взгляд — это серый дом, вытянувший шею надстройки, кубической башни, над ним и несутся бельевые свежие облака, его щекочит тенью. вероятно, это дом пять в Глинищевском переулке так сместился по Твоим кругам, по часовому Твоему кругу во сне — влево, назад, в район Кропоткинской... там моё будущее, это Эпохи зов и блеск, это её облачные тени и яркий небесный, сине-ослепительный свет...

сон любит зеркальность: часто оказываюсь по ту сторону Каретного. и забирает ещё и неизбежный наблюдатель — прежняя эпоха, модерн. дом, видевший, возможно, моего прадеда, прибывающего по соседству к арочным окнам каретных мастерских за экипажем...

вышел на крышу дома напротив, на ту самую, по которой мечтал уводить тебя, идти к тебе на Красные Ворота или более долгим путём через Труб-

ную, моя девочка. вышел из надстройки, что с односкатной крышей высится — и во сне угадал верно — над лестничным пролётом левого подъезда. вышел глядеть на свои окна. они в снах легко и подробно видны. но долго на крыше не остаюсь — есть надобность уйти оттуда, возможно, и дождь. через пропитанную голубиным и древнедревесным запахом тьму прохожу, и оказываюсь на лестничной клетке — её потолок образован слегка заребрённым в четыре линии сводом. не модерн, а, скорее, готика... побелка становится чуть ли не ощутима, но я спускаюсь ниже — от бывшей лифтовой, тоже побелённой двери с сеткой, что приспособлена не пускать таких, как я, зевак на крышу. но размышления, а точнее, постскрипtum додумки о том, как же я туда попал, — словно отматываемый назад фильм, уже постфактум решаю, как сбивал, сбиваю замОк или перелезаю сбоку. только чтобы выйти из этого лестничного подъёма на крышу.

дом, в котором вестибюль метро «Охотный Ряд», односкатные элементы крыши которого мы привыкли с тобой видеть, выходя из-за Большого театра с Петровки — на этот раз притянул внимание сна. забираюсь на эту крышу в ходе некоей экскурсии — теперь оборудовали и такие возможности. с автобусов прямо по лестнице туда. но там на этих скатах почему-то играют роллеры в хоккей с мячом. приходится прижаться к бортику и глядеть с крыши на сторону Большой Дмитровки. тут всех обитателей крыши, экскурсантов и роллеров застаёт врасплох летний дождь. все приседают, но зонты не у каждого. дождь-то грибной и недолгий, без отключения солнца на время полива.

затем уже внизу, у самого входа в метро со стороны Большой Дмитровки, заглядываю за угол — понимая вдруг, что оказался на экскурсии не в своём времени, возможно, в будущем — а за углом, между Театральной и Революции площадями работает футуристическими овальными лопастями невиданная машина по рыхлению асфальта, большие работы ведутся, много прохожих и обходящих. оттуда, в основном из-за жары, распространяемой дополнительно и дорожными работами, назад сворачиваю, выбираюсь на Дмитровку.

вновь незаметный скачок вверх на уровень крыши — как бы продолжение экскурсии, но уже в одиночестве на крыше вестибюльного дома с серпами-молоточками на серых отделочных колоннах. здесь не просто прохладно — отсюда вечерняя открывается зима в Большой Дмитровке. кому-то говорю, комментирую, что это правильная плата, отдых от жары тут, снежок ловить ладонями и глядеть, как успокаивается улица в сторону «Педкниги».

и дальше продолжая круговую свою панораму — обнаруживаю потрясающее, неожиданное откровение: отсюда видна не просто прошлая Ты, но и весь рельеф под домами. замечательно видно, как ухает, спадает Кузнецкий Мост к Неглинной, у которой обнаруживаются и неизвестные притоки со стороны Петровки. и протекает Неглинка, изгибается от Трубной к Кремлю чуть ли не под Большим театром, но уж под ЦУМом точно. и мостовые Кузнецкого — пегие, будто нарисованные пастелью, как на документальных по-

желтевших кинолентах. и всё это дышит откровением, вызывает в некое новое лето — видеть крышу Большого театра: выситься, выситься, чтобы видеть ещё подробнее Тебя.

после начала поэмы и её жарких продолжений настанет зима — зима борьбы, ежедневной, информационной, уличной, и, конечно, внутренней. будут битвы в горкоме КПРФ на Автозаводской — борьба за власть в городской комсомольской организации между поддавшимся на раскольную критику КПРФ, дрейфующим вслед за Сидоровым к ВКПБ Веселовым и нашим твердокаменным кэпээрэфником Довгалем, и выкатывающийся как лавина, обрастающий новыми участниками из зала в коридор после многонедельного словесного противостояния мордобой. и боксёрские, быстро в физиономию Веселова (вплоть до быстрого нокаута и распластывания на полу) набросанные точные удары комсомольца Артура из 5СБ, службы нашей партийной безопасности. откол части крикливых вслед за Веселовым — в их числе и комсомолка Катюша, которой моё пошловатое, сбавливающее сватовство вместо себя за глаза человечка пониже ростом и внешне ей более подходящего пошло на пользу... затем — восстановление численности организации, сплочение заново, становление, партучёба вокруг костяка уже старых комсомольцев Довгала, Ермалаева, Чё... и уличная борьба на новом витке, в холодающем новом веке, в его зиме столетия Первой русской ре...

в неё уходим мы своими пока не многочисленными рядами — комсомольцы, леворадикалы миллениума — все герои второй части поэмы. ищем в Тебе, проториваем вход в будущее, в революцию. и, похоже, этот пространственно-временнОй коридор пролегает, перемещается в центре, то на Театральной, то где-то в районе Газетного, в коридорах бывшего гайдаровского института, в днях, обжигающих компьютерным экраном, партийными сайтами... путь — во вбиваемых радикальным реалистом на них (сайтах) новостях, медленное продвижение к радостям информационных побед, со звуками мр3революционных песенок «Эшелона», с Антикапа-2004...

и будет ещё не высказанное тут следом за летней голодовкой АКМ — СКМ — новые факелы у Министерства образования и науки на Тверской, здания сталинского, из которого выживать буржуазных чиновников пришёл АКМ, из здания, чьи подфлажные серпы-молоты и звёзды так пристально я разглядывал по свежему прежде пути на Газетный — приковывание Удальцовым себя к батарее в кабинете министра...

хватит ли сил совершить невозможное у всех этих товарищЧей — вычитывать, дописать, донести революционный завет и Революцией низвергнуть Реставрацию, провалившую общественное сознание в пучину религиозности и верноподданства любому царю, в небывалую деградацию экономики и надстройки? из пересохшего водоёма личной жизни ныряю в борьбу и не знаю: вынырну ли после революции в желанном обществе? словно в бассейне «Москва» — когда из холодного застеклённого коридора от раздевалок и душевых

литературно-художественное издание

Черный Дмитрий

Поэма столицы

роман

Ответственный редактор О. Старикова

Компьютерная верстка: Г. Сенина



Объединённое гуманитарное издательство
101000, Москва, Кривоколенный пер. д. 10 стр. 6а
Факс: (495) 621-9852; тел.: (495) 744-3170;
e-mail: info@ogi.ru

За пределами России наши книги можно купить:
www.esterum.com

Книги издательства ОГИ можно приобрести:

м. «Чистые Пруды», Кривоколенный пер., д. 10, стр. 5,
кафе «Билингва», тел.: (495) 623-6683;
м. «Чистые Пруды», Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2,
клуб «Проект О.Г.И.»;
м. «Площадь Революции»/«Лубянка», ул. Никольская, д. 19/21,
кафе «Пирог»;
м. «Охотный Ряд»/«Театральная», ул. Большая Дмитровка, д. 12/1,
стр. 1; кафе «Пирог»;
м. «Перово», Зеленый просп., д. 5/12; кафе «Пирог»;
м. «Китай-город», Новая площадь, д. 14,
кафе «Нейтральная территория», тел.: (495) 621-2737.

Оптовые продажи: тел. (495) 744-3171, e-mail: info@ogi.ru

Подписано в печать 11.09.2007

Формат 70×100 1/16. Объем 50 печ. л. Гарнитура Garamond.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.

Заказ № .